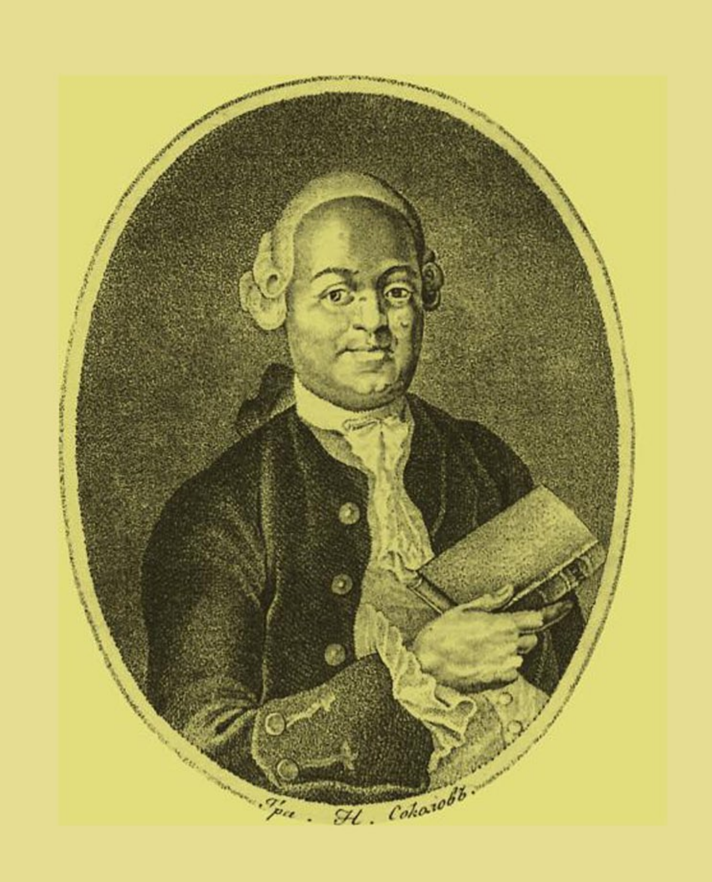
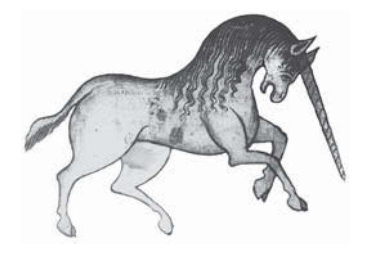


Б.А. Успенский

ВОКРУГ ТРЕДИАКОВСКОГО

ТРУДЫ ПО ИСТОРИИ РУССКОГО ЯЗЫКА И РУССКОЙ КУЛЬТУРЫ



Б.А. Успенский

ВОКРУГ ТРЕДИАКОВСКОГО

ТРУДЫ ПО ИСТОРИИ РУССКОГО ЯЗЫКА И РУССКОЙ КУЛЬТУРЫ



Москва «ИНДРИК» 2008

ОГЛАВЛЕНИЕ

ОТ АВТОРА

Эта книга была задумана к юбилею Василия Кирилловича Тредиаковского — в 2003 году исполнилось триста лет со дня его рождения, — но выходит с значительным опозданием. В ней представлены работы, посвященные различным аспектам творчества, а также жизненным перипетиям этого выдающегося деятеля русской культуры. Особое внимание уделяется литературной и языковой полемике XVIII — начала XIX в.; в этой связи рассматриваются отношения между Тредиаковским и его современниками (такими, как Феофан Прокопович, Кантемир, Адодуров, Ломоносов, Сумароков) и отражение его творчества в позднейших спорах Карамзина и Шишкова и их последователей. Таким образом, книга посвящена не одному Тредиаковскому, но именно Тредиаковский является ее основным героем.

Собранные в книге работы (монографии и статьи) печатаются в исправленном и в ряде случаев дополненном виде. В то же время мы не стремились избавиться от повторов, неизбежных в случае объединения работ, написанных в разное время и для разных изданий.

Книга делится на части. Первые три части имеют монографический характер, в последней части объединены статьи на разные темы. В начале каждой части приводится ее содержание.

В тех случаях, когда публикуемая работа делится на главы, которые, в свою очередь, подразделяются на параграфы, главы обозначаются римскими цифрами, а параграфы — арабскими; таким образом, например, ссылка на § I-3.2 означает ссылку на § 3.2 главы I соответствующей работы, и т. п.

Примечания имеют сквозную нумерацию в пределах каждой главы. Если при ссылке на параграф или примечание нет указания, к какой главе они относятся, имеется в виду параграф или примечание той же самой главы, в которой встретилась данная ссылка.

Многоточия, набранные обычным (а не полужирным) шрифтом, и разрядка в цитатах, равно как и текст, взятый в квадратные скобки, всегда принадлежат автору данной книги. В свою очередь, многоточия, представленные в цитируемом тексте, набраны полужирным; выделения в цитатах, принадлежащие автору цитируемого текста, передаются курсивом.

Примечания в тексте цитаты, обозначенные цифрами, принадлежат нам. Примечания, принадлежащие автору цитируемого текста, обозначаются астерисками; эти последние примечания приводятся в нашем тексте вслед за основным текстом цитаты.

При цитировании мы, как правило, заменяем буквы, отсутствующие в современном русском алфавите, на их нынешние эквиваленты: *ѣ* на *е*, *і* и *ѵ* на *и*, *ѳ* на *ф*; равным образом устраняется ъ на конце слова.

Библиографические ссылки даются сокращенно; эти сокращения раскрываются в разделе «Цитируемая литература». Как правило, мы указываем при этом фамилию автора и год публикации соответствующей книги или статьи (так, например, сокращение *Карамзин, 1984* отсылает к публикации Карамзина 1984 г.). В случае многотомных изданий вместо года публикации может указываться том цитируемого издания (так, например, сокращение *Карамзин, III* отсылает к III тому собрания сочинений Карамзина). Тома при этом обозначаются римскими цифрами, в случае же более мелких подразделений — если том, в свою очередь, состоит из нескольких выпусков с самостоятельной пагинацией, — используются арабские цифры (например, сокращение *Тредиаковский, II/1* относится к 1-й части II тома соответствующего издания). В некоторых случаях мы сочли удобным ссылаться не на автора, а на редактора (например, академическое собрание сочинений Ломоносова под редакцией М. И. Сухомлинова обозначается как *Сухомлинов, I–V*, в отличие от последнего академического издания Ломоносова, которое обозначается как *Ломоносов, I–XI*) или на переводчика (например, «Езда в остров Любви» Талемана в переводе Тредиаковского обозначается как *Тредиаковский, 1730*).

При цитировании классических произведений мировой литературы (например, сочинений Горация, Данте, Буало), когда не имеется в виду какое-либо конкретное издание, римская цифра, следующая за названием произведения, обозначает главу или соответствующий крупный раздел, а арабская цифра — параграф или же стих; так, обозначение *«Convivio», I, 5* относится к 5-му параграфу I главы дантовского «Пира»; обозначение *«L'art poétique», II, 9* отсылает к 9-му стиху II песни «Поэтического искусства» Буало; и т. п.

При датировке произведения, опубликованного при жизни автора, его создавшего, мы исходим из даты первой публикации, за исключением тех случаев, когда более или менее достоверно известна реальная дата создания текста: в этих, и только в этих, случаях дата, которую мы указываем, может не совпадать с датой опубликования.

Названия цитируемых произведений в ряде случаев даются в сокращении.

Ссылки на работы, принадлежащие автору данной книги, всегда даются по последнему изданию с указанием года первой публикации (например, ссылка *Успенский,* 1992/1997 означает, что работа, опубликованная в 1992 г., дается по изданию 1997 г.).

Даты даются по старому стилю, если речь идет о событиях, относящихся к России, но по новому стилю в том случае, когда мы говорим о том, что произошло за границей. При ссылке на документы мы приводим ту дату, которая на них обозначена (соответственно, письма иностранцев, находящихся в России, могут быть датированы по новому стилю, письма русских, находящихся за границей, — по старому).

Автор выражает благодарность Марку Самуиловичу Гринбергу и Андрею Борисовичу Шишкину за разрешение опубликовать работы, написанные в соавторстве с ними.

ИЗ ИСТОРИИ РУССКОГО ЛИТЕРАТУРНОГО ЯЗЫКА XVIII — начала XIX века. ЯЗЫКОВАЯ ПРОГРАММА КАРАМЗИНА И ЕЕ ИСТОРИЧЕСКИЕ КОРНИ

ВВЕДЕНИЕ

1. История русского литературного языка до XVIII в. — это история русского церковнославянского языка, т. е. церковнославянского языка русской редакции (русского извода). Это означает, что литературный язык был книжным (на церковнославянском языке в принципе не разговаривали, он не мог служить средством разговорного общения — см. об этом: Успенский, 1994; Успенский, 1987/2002) и вместе с тем относительно стабильным (эволюция церковнославянского языка носила в большой степени искусственный характер, будучи связана с сознательной деятельностью справщиков, и в основных моментах контролировалась древнерусскими книжниками). Существенно, что нормы церковнославянского языка определялись не столько нормативными грамматическими описаниями (описания такого рода появляются вообще относительно поздно), сколько наличием, так сказать, образцовых текстов, написанных на этом языке, а именно, текстов Св. Писания и богослужебных книг, которые в той или иной степени заучивались наизусть (эволюция языка этих текстов и осуществлялась именно в процессе книжной справы). Такого рода тексты выполняли эталонную роль, задавая образцы языкового употребления и тем самым моделируя языковую деятельность. Это обстоятельство впоследствии специально подчеркивает Тредиаковский, который говорит о «церьковных книгах, неизменяющихся никогда и тем классических» (статья о прилагательных 1755 г. — Пекарский, 1865, с. 108), — пытаясь вписать таким образом церковные книги в рамки представлений европейской образованности.

С XVIII в. появляется новый литературный язык, противопоставляющий себя церковнославянскому. Отказ от стабильных книжных норм приводит на первых порах к стремительной и не всегда последовательной — скачкообразной — эволюции этого языка, которая предшествует его стабилизации в начале XIX в. Возникновение этого нового литературного языка в большой степени связано с идеологией Петровской эпохи и непосредственно с петровскими реформами — в частности с реформой русской азбуки, четко размежевавшей церковную и граж-

данскую письменность. Хорошо известно, что Петр I принимал прямое участие в решении языковых проблем: достаточно вспомнить реформу азбуки (1710), предписания Федору Поликарпову переводить книги («Географию генеральную» Варения и лексиконы) «не высокими словами славенскими, но простым русским языком», используя при этом лексические ресурсы приказного языка (1717) [1], указания Синоду о переводе «Библиотеки» Аполлодора на «общий Российский язык» (1722) и о составлении катехизиса на «простом» языке (1724), наконец, собственноручную правку «Лексикона вокабулам новым…», а также языка «Духовного регламента» (1720) [2] и других текстов (см.: В. Левин, 1972; Успенский, 1994, с. 96, 99, 113; В. Покровский, 1910, с. 1–3; ср. еще: Верховской, I, с. 160; там же, II, отд. I, с. 15; Пекарский, 1862, I, с. 227, 243; Пекарский, 1862, II, с. 242–244, 262, 368, 436, № 189, 204, 323, 393; Мат. АН, I, с. 79; Обнорский и Бархударов, II, 1, с. 150–153; там же, II, 2, с. 47–65). Наряду со строительством новой России, новой русской культуры, была выдвинута задача создания нового литературного языка — иными словами, создание нового литературного языка выступает как важный момент в процессе европеизации русской культуры.

Это строительство новой России при Петре носило символический и сознательно мифологизирующий характер. Знаменательно, например, что наряду со строительством каменного Петербурга, призванного олицетворять собой новую Россию, Петр налагает по всей стране запрет на строительство каменных зданий: таким образом фактически создается образ старой, деревянной России, т. е. России прошлого, — образ, вообще говоря, не вполне соответствующий действительности (см.: Лотман и Успенский, 1982/1996, с. 136–137; ср.: ПСЗ, V, с. 126, № 2848; ПСЗ, VI, с. 290, № 3706). Создание новой русской культуры предполагало сознательную дискредитацию старой: новое создается за счет старого, как его антипод. Совершенно так же создание нового литературного языка, предназначенного для светских нужд, — непосредственно связанное с реформой азбуки и размежеванием церковной и гражданской письменности — оставляло за церковнославянским языком права и функции языка церковного, культового, каким он в конце концов и стал (ранее его использование отнюдь не сводилось к этой функции, хотя связь с богослужением всегда определяла отношение к этому языку).

Итак, создание нового литературного языка определяется не столько реальной необходимостью, сколько идеологическими потребностями, обусловленными, в свою очередь, культурной ориентацией: эта задача выступает и формулируется как своего рода социальный заказ.

Но как строить этот литературный язык? Каким он должен быть? Ответы на эти вопросы могли быть самыми разными; поэтому первые опыты создания литературного языка носят экспериментальный характер: в XVIII в. тексты, написанные разными авторами и претендующие на литературность, могут существенно различаться в языковом отношении, не образуя при этом стилистического противопоставления (ср.: Успенский, 1994, с. 97–98). В это время выдвигаются разнообразные языковые программы, отражающие различные концепции литературного языка. Все они так или иначе идеологически окрашены: так или ина-

че, позитивно или негативно, они связаны с западным культурным влиянием, с европеизацией русской культуры. Не всегда эти программы находят конкретное осуществление; тем не менее, во всех случаях изучение их крайне любопытно и с языковедческой и с культуроведческой точки зрения.

Различные представления о том, каким должен быть литературный язык, обусловливают интенсивную полемику, и соответственно XVIII век и начало XIX века в России протекают под знаком бурных и ожесточенных споров о языке. Споры эти занимают, можно сказать, центральное место в русской культурной жизни этого времени, они приобретают широкий общественный смысл, абсорбируя идеологические, политические, религиозные проблемы (см.: Лотман и Успенский, 1975/1996). Та или иная языковая позиция становится как бы знаменем, позволяющим определить, так сказать, партийную принадлежность человека — в рамках той или иной концептуальной схемы: отношение к церковнославянизмам или к заимствованиям (поскольку они осмысляются как таковые) играет в этот период примерно такую же роль, какую в дальнейшем будет играть в русском обществе отношение к монарху или к революционерам. Иными словами, споры о языке как бы моделируют самосознание русского общества: они предлагают набор альтернативных решений, выбор между которыми и определяет общественную и идеологическую позицию [3].

Радикальное размежевание с церковнославянской языковой традицией, отталкивание от церковнославянского языка выдвигает программное требование *писать, как говорят*, т. е. установку на разговорное употребление. Таким образом, разговорная речь оказывается включенной в сферу литературного языка, т. е. она может соответствовать или не соответствовать языковой норме (норме литературного языка). Отсюда, в свою очередь, встает вопрос о том, *как следует говорить*, — вопрос, который ранее вообще не относился к компетенции литературного языка. В самом деле, установка на разговорную речь может предполагать ориентацию на тот или иной социальный или же локальный диалект (например, речь престижного социума или же речь культурного центра); наряду с социальной и локальной диалектной дифференциацией существует дифференциация и по другим признакам — например, по-разному говорят мужчины и женщины, и на это различие может обращаться внимание; и т. п. Разнообразие речевого употребления ставит перед кодификаторами литературного языка проблему выбора: различные возможности языкового употребления так или иначе связываются с проблемой языковой правильности и широко дискутируются. Это проявляется между прочим и во внимании к *неправильной* речи: так возникает интерес к народной речи, поскольку она противопоставляется речи высших социальных слоев (при этом те или иные диалектные черты могут обобщаться в языковом сознании, выступая как специфические знаки речи простолюдинов) [4].

Антитезой к требованию писать, как говорят, выступает требование *писать по правилам*: в одном случае критерием языковой правильности является ссылка на речевой узус, в другом — ссылка на рационально обоснованные предписания. Установка на разговорное *употребление* противостоит, таким обра-

зом, установке на грамматику, условность узуса противопоставляется рациональности грамматических норм. Существенно, что на русской почве эта дилемма естественно связывается с противопоставлением церковнославянского и русского начала. Само собой разумеется, что в условиях церковнославянско-русской диглоссии, когда литературным языком был церковнославянский, эта проблема вообще не стояла (не была актуальной); вместе с тем, с появлением русского литературного языка, противопоставляющего себя церковнославянскому, установка на употребление в принципе обусловливает ориентацию на русский, а установка на правила — на церковнославянский языковой полюс; иначе говоря, установка на употребление сближает литературный язык с разговорной речью, а установка на правила их противопоставляет, причем противопоставление это осуществляется через славянизацию литературного языка.

В ходе языковой полемики, отражающей борьбу этих противоположных установок, и вырабатываются стабильные нормы русского литературного языка; обе тенденции оказываются таким образом исключительно значимыми для судьбы литературного языка.

Требование писать, как говорят, — принципиально новое для России, оно знаменует решительный и демонстративный отказ от предшествующей (церковнославянской) культурной традиции и именно противопоставляется этой традиции: литературный язык, ориентированный на разговорное употребление, противопоставляется церковнославянскому по самой своей природе. В этом контексте данная языковая программа естественно воспринимается как новаторская и революционная. Это требование, эту языковую программу принято связывать с именем Карамзина, приписывая Карамзину роль реформатора русского литературного языка: соответственно, карамзинистов именуют «новаторами»[5] и говорят именно о языковой «реформе» Карамзина. Роль Карамзина по отношению к новому русскому литературному языку оказывается — в некотором смысле — аналогичной роли Петра по отношению к новой русской культуре: оба деятеля оцениваются в сущности одинаковым образом, по одной — мифологической — модели (ср. в этой связи: Лотман и Успенский, 1984, с. 525–526). Значение Карамзина в истории русского литературного языка действительно очень велико, но, как представляется, оно нуждается в уточнении — именно в уточнении, а не в переоценке, поскольку речь идет не о результатах деятельности Карамзина, но об исторических предпосылках этой деятельности.

Бесспорно, что Карамзин имел непосредственное отношение к данной языковой программе, но был ли он первым, выдвинувшим это требование? В какой мере правомерно говорить вообще о языковой «реформе» Карамзина? В какой степени его деятельность может быть оценена как «новаторская»? Кажется, что с подобными определениями можно согласиться только отчасти. Можно даже думать, что основным принципом литературной и языковой деятельности Карамзина было, напротив, следование уже проложенными путями — но такими, которые в русской литературно-языковой ситуации по тем или иным причинам могли восприниматься как новшество. Сам Карамзин мог осмыслять свою по-

зицию как нейтральную, при том что для других она могла представать как революционная или эпатирующая. Во всяком случае у Карамзина были предшественники: карамзинская концепция литературного языка, безусловно, опирается на определенную традицию — как общеевропейскую, так и собственно русскую. Общеевропейские истоки концепции Карамзина, вообще говоря, достаточно очевидны, тогда как русские — гораздо менее понятны. Мы последовательно рассмотрим те и другие, предпослав этому рассмотрению обобщенную характеристику самой концепции.

В соответствии со сказанным определяется композиция данной работы. Мы начнем ее с рассмотрения языковой программы Карамзина и его сторонников — карамзинистов. Это рассмотрение будет носить обобщенный, суммарный характер: наличие довольно большого числа специальных исследований, посвященных частным вопросам, избавляет нас от необходимости вдаваться в детали; к тому же характеристика карамзинистской концепции литературного языка не является для нас самоцелью, она необходима прежде всего как отправной пункт — для того, чтобы выявить исторические корни этой концепции, т. е. предшественников Карамзина. Итак, наша задача — определить основные черты карамзинизма как культурного (идеологического) явления, поскольку они проявляются в отношении к языку.

Здесь необходимо отметить, что сам Карамзин не дал сколько-нибудь четкого и последовательного изложения своей языковой концепции. Отдельные высказывания о языке, разбросанные по разным его произведениям, как правило, полемически заострены, а в каких-то случаях даже и противоречивы (постольку, поскольку Карамзин может полемизировать как со своими оппонентами, так и со своими эпигонами, — ср. подробнее: Лотман и Успенский, 1984, с. 529–530). Тем не менее, современники Карамзина — как сторонники, так и противники — воспринимали эту концепцию как цельную и вполне последовательную, и именно это восприятие определило отношение к Карамзину как к реформатору русского литературного языка. Поэтому, говоря о языковой программе Карамзина, мы будем ссылаться как на высказывания самого Карамзина, так и на декларации его последователей (в особенности П. И. Макарова), которые в ряде случаев более отчетливо выразили эту программу. Можно сказать, что основное внимание будет уделено не столько Карамзину, сколько карамзинизму.

Охарактеризовав языковую программу карамзинизма, мы перейдем к рассмотрению тех культурных влияний, которые обусловили ее появление. Прежде всего мы рассмотрим западноевропейские истоки этой концепции литературного языка, а именно, связь ее с декларациями итальянских, а затем французских теоретиков языка. Основное внимание, однако, будет уделено предшественникам Карамзина на русской почве; центральной фигурой в этом отношении оказывается Тредиаковский, который, как будет показано, предвосхитил как языковую программу карамзинистов, так и программу их противников, т. е. сторонников Шишкова. Таким образом, в значительной своей части данная книга посвящена именно оценке значения Тредиаковского для истории русского литературного языка.

2. Итак, в данной книге рассматриваются теории литературного языка в России XVIII — начала XIX в. Изучение языковых программ, как и вообще представлений носителя языка о том, каким должен быть язык, имеет первостепенное значение для истории литературного языка — оно дает ключ к интерпретации языкового материала, мы получаем возможность таким образом прочесть текст глазами того читателя, для которого он был предназначен.

При этом исследователь языковых программ должен учитывать, с одной стороны, возможность несовпадения языковой программы и языковой практики, с другой же стороны — возможность дословного совпадения того, что говорят русские теоретики литературного языка, с тем, что говорили их западноевропейские предшественники. И то и другое нуждается в специальном анализе.

Действительно, с точки зрения внешнего наблюдателя языковая практика нормализаторов русского литературного языка совсем не всегда соответствует провозглашаемым ими декларациям. Положим, Тредиаковский в 1730 г. демонстративно провозглашает необходимость приближения литературного языка к разговорной речи и отказа от славянизмов (см. главу II наст. работы); и тем не менее, язык, которым он пишет, существенно отличается от разговорного, и в нем нетрудно обнаружить славянизмы. Совершенно очевидно, что Тредиаковский избавляется от тех славянизмов, которые он воспринимает как таковые, т. е. которые маркированы в его языковом сознании[6]. Отказ от книжных элементов такого рода, по-видимому, и должен обеспечить с точки зрения Тредиаковского приближение к разговорной речи — таким образом реализуется принцип «писать, как говорят». Вместе с тем, само восприятие славянизмов может определяться именно противопоставлением книжной и разговорной речи, т. е. получать функциональное осмысление.

Полвека спустя Карамзин, как мы увидим, фактически повторяет декларации молодого Тредиаковского, т. е. также призывает к ориентации на разговорную речь и к отказу от славянизмов (см. гл. I наст. работы); при этом славянизмы могут быть обнаружены и у Карамзина, подобно тому как их можно найти у Тредиаковского. В то же время при одинаковой субъективной установке языковая практика Карамзина очень заметно отличается от языковой практики Тредиаковского. Это объясняется тем, что понятие славянизма, будучи функционально осмыслено, меняет свое содержание. Принципиально одинаковая установка получает таким образом — в разные исторические периоды — существенно различную реализацию.

Совершенно так же пуристический протест Шишкова против иноязычного влияния отнюдь не означает, что заимствования вообще чужды языку Шишкова, — он реагирует на заимствования определенного рода, которые отмечены как таковые в его языковом сознании (см.: Лотман и Успенский, 1975/1996, с. 470). Основные понятия стилистики — такие, как понятие книжного элемента (и, в частности, славянизма), разговорного (просторечного) элемента, заимствования и т. п., — исторически изменчивы. Соответственно интерпретация языковых программ, оперирующих подобными понятиями (необходимая для того, чтобы соотнести их с языковой практикой), предполагает выяснение их а к т у а л ь н о г о содержания.

Так, например, ключевое для истории русского литературного языка противопоставление церковнославянского и русского начала может осмысляться — на разных этапах эволюции русского литературного языка и в разной перспективе — как противопоставление «книжного» и «разговорного» («письменного» — «устного»), «церковного» и «светского» («сакрального» — «мирского»), «своего» и «чужого» («славянского» — «неславянского», «национального» — «европейского», «восточного» — «западного»), «старого» и «нового» («архаического» — «современного») и т. д. и т. п. Сами понятия «славенского» и «русского» оказываются при этом взаимно обусловленными — изменение представлений о «славенском» непосредственно сказывается на изменении представления о «русском», и наоборот; иначе говоря, понятия «славенского» и «русского» или «книжного» и «некнижного» находятся в динамическом взаимодействии (см.: Лотман и Успенский, 1975/1996, с. 454 и сл.). Тем самым в разные эпохи и в разной перспективе славянизмы могут пониматься либо как слова церковнославянского происхождения, либо как слова, представленные в церковных книгах, либо как архаизмы («коренные» слова), либо как книжные элементы, неупотребительные в разговорной речи, и т. п.; это обусловливает, в свою очередь, возможность ассоциации славянизмов с архаическими русизмами, а также с полонизмами, латинизмами и другими лексическими элементами, которые объединяются с собственно церковнославянской лексикой по тому или иному признаку. Отсюда становится возможной ситуация, когда архаическое русское слово имеет специфический книжный оттенок, а соответствующий церковнославянизм (слово церковнославянского происхождения) воспринимается как нейтральный, будучи вполне возможен в разговорной речи, ср., например, в современном языке такие пары, как *шлем — шелом*, *плен — полон*, *между — меж*, *совершать — свершать*, *собирать — сбирать* и т. п.

Итак, с точки зрения стороннего наблюдателя реализация той или иной языковой программы может представляться непоследовательной и неполной: так, Тредиаковский, призывая писать на простом русском языке, довольно широко пользуется славянизмами, Шишков, предписывая избегать заимствований, сам их употребляет. Но в каждом случае важно понять, что́ сам автор программы относил к славянизмам, заимствованиям и т. п., т. е. какое именно содержание он вкладывал в соответствующую категорию: только после этого мы вправе судить о том, как он следует своей программе, насколько он последователен в ее реализации.

Таким образом, изучение языковых программ (с непременным учетом языкового сознания) должно предшествовать оценке языковой практики авторов этих программ. Мы будем заниматься прежде всего языковыми программами и только через их призму приближаться к рассмотрению языкового материала.

Мы видели, что одни и те же концептуальные схемы могут наполняться — в разных конкретных условиях — существенно различным актуальным содержанием. Мы говорили о временно́м или, иначе говоря, историческом аспекте этой проблемы, когда одна и та же языковая программа в разные исторические пе-

риоды реализуется различным образом, обусловливая неодинаковую языковую практику. Вместе с тем, данная проблема имеет и иной, а именно, пространственный или географический аспект, когда одна и та же концептуальная схема наполняется различным содержанием не во времени, а в пространстве, т. е. не в разные исторические периоды, а в разных культурных ареалах.

Необходимо признать, что русские споры о языке, обусловленные различным пониманием того, каким должен быть литературный язык, вообще говоря, не могут считаться вполне оригинальными. Это совершенно понятно, если иметь в виду, что языковые программы, о которых идет речь в настоящей работе, появляются в условиях активного усвоения западноевропейской культуры, т. е. западноевропейских культурных программ и концептуальных схем. Русская культура строится — сознает себя — как сколок с культуры западноевропейской: не в последнюю очередь это проявляется и в отношении к литературному языку. Как мы увидим, в целом ряде случаев новые для России установки (языковые программы) могут быть обусловлены сознательной ориентацией на западноевропейскую языковую ситуацию; тем самым те или иные декларации о языке, знаменуя решительный разрыв с предшествующей (церковнославянской) литературно-языковой традицией, могут в то же время дословно соответствовать тому, что говорилось на Западе.

Так, в частности, русская языковая полемика обнаруживает настолько разительное сходство с итальянскими спорами вокруг так называемого «Questione della lingua», что в принципе может рассматриваться даже как их продолжение (ср. в этой связи главу I наст. работы). Сами не отдавая себе в этом отчета, спорящие стороны могут повторять то, что уже было сказано — в иных условиях и по другому поводу — несколькими столетиями раньше. Образно говоря, участники русской языковой полемики как бы надевают на себя уже готовые маски итальянского театра и играют те роли, которые предписаны этими масками. Не так важно при этом то обстоятельство, что влияние итальянской языковой ситуации на русскую было не непосредственным и что сами участники споров о языке в России могли ориентироваться — позитивно или негативно — прежде всего на французскую языковую ситуацию (последняя в свою очередь испытала прямое влияние ренессансных споров о языке и выступала, таким образом, в качестве посредника в процессе осуществления культурных контактов). Независимо от конкретных путей, которыми проникали ренессансные лингвистические идеи в Россию, сходство итальянской и русской языковой полемики настолько очевидно, что позволяет говорить о пересадке проблематики итальянского «Questione della lingua» на русскую почву.

Еще более разительно, как мы увидим, сходство русской языковой полемики рассматриваемого периода с выступлениями французских теоретиков языка XVII–XVIII вв. Это относится не только к Карамзину или другим деятелям русского Просвещения, которые сознательно ориентируются на западноевропейскую культуру, но — может быть, не в меньшей степени — и к Шишкову и его сторонникам. Как это ни парадоксально, «и франкофильство Карамзина, и язы-

ковое славянофильство Шишкова могут рассматриваться в тех же идеологических рамках, которые характеризовали споры о языке [в Западной Европе] в предшествующие столетия» (Пиккио, 1984, с. 18). Русские языковые программы могут быть простым повторением — иногда даже дословным — соответствующих западноевропейских деклараций.

Тем более необходимо подчеркнуть, что западноевропейские — ренессансные по своему происхождению — идеи получают в русских условиях специфическую окраску и в ряде случаев существенно меняют свое содержание.

В западноевропейской перспективе деятели русской культуры предстают как обычные эпигоны, более или менее дословно повторяющие то, что говорится на Западе. Это мнение в какой-то мере поддерживается и самими русскими, которые строят свою культуру по западной модели и усматривают свою задачу именно в перенесении, трансплантации западной культуры на русскую почву. Так, например, Сумароков видит в Ломоносове русского Малерба («Он наших стран Мальгерб…» — «Эпистола о стихотворстве», 1748 г., см.: Сумароков, I, с. 347), тогда как великий князь Павел Петрович, будущий император Павел I, говорит о Ломоносове: «Это наш Волтер» (Порошин, 1881, стлб. 457); Тредиаковский, в свою очередь, пишет Сумарокову, что он согласен признать его русским Вольтером: «Верьте, я вас от всего се́рдца признаваю, понеже вам, как-ви́дно, того только и желается, первенствующим нашим Волтеро́м…» («Ответ о сафической и горацианской строфах», 1755 г. — Пекарский, II, с. 256). Соответствующие наименования присуждаются и оспариваются; имена французских классиков выступают в сущности как звания, которыми может быть удостоен русский писатель. Явления русской культурной жизни определяются, таким образом, по западноевропейской шкале ценностей — эти явления, собственно, и оцениваются лишь постольку, поскольку они соотносимы с фактами западноевропейской культуры.

Русские авторы настойчиво подчеркивают в это время необходимость ориентации на чужую культуру. По словам Лукина, «заимствовать необходимо надлежит: мы на то рожденны» (предисловие к «Пустомеле», 1765 г. — Лукин, I, с. 154). То же говорит и Карамзин в «Письмах русского путешественника», обсуждая петровские реформы: «Иностранцы были умнее Русских: и так надлежало от них заимствовать, учиться, пользоваться их опытами… Какой народ не перенимал у другаго?» (Карамзин, II, с. 513; Карамзин, 1984, с. 253)[7]. Итак, принимается европейская система ценностей и европейская точка отсчета[8].

Такова общая культурная установка, которая закономерно проявляется и в отношении к литературному языку: реформаторы русского литературного языка, как правило, вовсе не стараются быть оригинальными — напротив, они стремятся привести русскую литературно-языковую ситуацию в соответствие с западноевропейской системой понятий и ценностей. Новое для России оказывается вполне традиционным для Запада.

Историю русской литературной и языковой полемики XVIII — начала XIX в. проще всего написать как историю эпигонского повторения того, что было уже сказано на Западе; в целом ряде случаев речь идет, действительно, о дословном

цитировании (переводе). И тем не менее, такой взгляд на вещи так же неправомерен, как неправомерно видеть здесь целиком и полностью самобытное развитие, изолированное от западного влияния. Культурная и, в частности, языковая ситуация в России существенно отличалась от западной, и прямое перенесение западных схем было в принципе невозможным: русские культуртрегеры, стремящиеся перенести в Россию западноевропейские концептуальные схемы, неизбежно сталкивались с проблемой адаптации этих схем на русской почве (применительно к языку эти схемы накладывались прежде всего на актуальную для русского языкового сознания дихотомию церковнославянского и русского). Задача приспособления западноевропейских концепций и реалий к русской действительности была отнюдь не тривиальной: решение этой задачи требовало — ниже мы проиллюстрируем это на конкретных примерах — подлинно творческих усилий. Соответственно исследователь, изучающий историю русских представлений о литературном языке, никоим образом не может ограничиться установлением иноязычного источника — нахождение такого источника отнюдь *не решает* проблемы, а только *ставит* ее.

Историю русской литературной и языковой полемики можно понять — в зависимости от точки зрения — и как результат трансплантации западноевропейских идей и как результат имманентного внутреннего развития. И тот и другой подход сам по себе недостаточен и может привести к принципиально неверным выводам: исследователь должен учитывать оба импульса, которые в совокупности и определяют эволюцию русского культурного и языкового строительства в рассматриваемый период. Сложным процессам динамического взаимодействия «своего» и «чужого» по мере формирования нового русского литературного языка и посвящена в конечном итоге настоящая работа.

ПРИМЕЧАНИЯ

[1] Предписания Федору Поликарпову были переданы Петром через И. А. Мусина-Пушкина; о том, что соответствующие распоряжения Мусина-Пушкина точно воспроизводят слова Петра, см.: Успенский, 1994, с. 99–100 (примеч. 46). К аналогичному замечанию Петра восходит, несомненно, и указание Мусина-Пушкина (1716 г.) исправить «славенороссийский» перевод «Разговоров дружеских» Дезидерия Ерасма, употребляя «русский обходительный язык» (см.: Пекарский, 1862, II, с. 367–368, № 323).

[2] Текст «Духовного регламента» с правкой Петра опубликован в изд.: Верховской, II, отд. I, с. 26–76. Относительно языковой правки см. с. 29 (примеч. 20 и 23), 30 (примеч. 30), 36 (примеч. 65), 38 (примеч. 81), 50 (примеч. 139), ср. также замечания Петра (слова, отмеченные крестиком), не учтенные Феофаном Прокоповичем, на с. 29, 33, 40, 53, 57, 58.

[3] Показательна дневниковая запись А. В. Никитенки, заехавшего в 1834 г. в Вологду к больному Батюшкову: «Он [Батюшков] говорил страшный вздор… что он где-то видел, как кто-то влачил в пыли Карамзина и русский язык…» (Никитенко, I, с. 158). В бреде душевнобольного явственно звучит напряжение литературно-языковой борьбы предшествующей эпохи.

[4] Характерно, что Семен Порошин специально говорит со своим воспитанником, великим князем Павлом Петровичем (наследником престола и будущим императором Павлом I), «мужичьим наречием», а именно, цокая (Порошин, 1881, стлб. 184); одновременно тот же Порошин учит Павла писать письма «нарочно дурным складом, совсем без понктуации и с понктуациею вздорною» (там же, стлб. 76) — и то и другое делается, очевидно, в превентивных целях, т. е. для того, чтобы Павел говорил и писал по-русски п р а в и л ь н о. Со второй половины XVIII в. в комедиях может имитироваться диалектная речь; к наиболее ранним примерам относятся «Корион» Д. И. Фонвизина (1764), «Опекун» А. П. Сумарокова (1765) и «Щепетильник» В. И. Лукина (1765), где простолюдины цокают; ср. также гиперкорректное ёканье в «народной опере» М. И. Попова «Анюта» (1772) и т. п. (см.: В. Виноградов, 1938, с. 128; Князькова, 1965, с. 142–151; Пыпин, 1868, с. LIX); в 1778 г. Н. П. Николев в предисловии к пьесе «Розана и Любим» констатирует, что имитация диалектной речи в театральных представлениях — вполне обычное явление (см.: Николев, 1781, л. А/2–2 об.). В это же время появляются диалектные словари (см., в частности: Симони, 1898; Фомин, 1787; ср.: Булич, 1904, с. 1104–1105; Князькова, 1966; первый список диалектных слов был составлен еще в 1734 г., однако он не столь показателен, поскольку был сделан для немецкого путешественника И. Г. Гмелина, см.: Панов, 1956). В конце XVIII — начале XIX в. появляются произведения на диалектном языке (Березайский, 1798; ср.: Винокур, 1959, с. 156–157) и первые записи диалектной речи (Глушков, 1801; ср.: Булич, 1904, с. 1105–1107).

Знаменательно, что интерес к диалектам возникает при этом на фоне общего интереса к п а т о л о г и и р е ч и — постольку, поскольку диалекты воспринимаются в принципе именно как п а т о л о г и ч е с к о е явление: возникновение диалектов более или менее единодушно рассматривается в это время как порча языка, которая произошла от картавых, шепелявых, гугнивых людей, заик и т. п., ср., например, соответствующие заявления Тредиаковского в «Разговоре об ортографии» 1748 г. (Тредиаковский, III, с. 265–266), Сумарокова в трактате «О правописании» 1768–1771 гг. (Сумароков, X, с. 24) или Анд-

рея Богданова в его «Кратком ведении и историческом изыскании о начале и произведении вообще всех азбучных слов…» 1755 г. (БАН, 32.12.7, л. 6–7). Вполне закономерно поэтому, что наряду с имитацией диалектной речи мы встречаем в комедиях имитацию разнообразных дефектов речи — таких, например, как картавость или заикание (так в анонимной комедии «Подражатель» 1779 г. — «Российский Феатр», XXVII, с. 5–52). Это отождествление диалектологии и дефектологии отчетливо выявляет ту социальную норму, которая служит точкой отсчета: простонародная речь выступает в этой перспективе как речь по самой своей природе неправильная.

[5] Это наименование, видимо, идет от Вяземского, ср. характеристику Карамзина в «Старой записной книжке»: «Карамзин в языке и литтературе нашей был *новатор* (это слово почти Русское и всем понятно: от слова *ново*), в историческом и государственном отношении был он консерватор» (Вяземский, X, с. 288).

[6] Точно так же современный носитель литературного языка может не воспринимать как славянизмы, например, такие слова, как *сладкий*, *член*, *пища* и т. п., поскольку слова эти представлены в его разговорной речи и не противопоставляются формам типа **солодкий*, **челон* или **пича*.

[7] Ср. еще далее у Карамзина: «Немцы, Французы, Англичане, были впереди Русских по крайней мере шестью веками: Петр двинул нас своею мощною рукою, и мы в несколько лет почти догнали их… Все *народное* ничто перед *человеческим*. Главное дело быть *людьми*, а не Славянами. Что хорошо для людей, то не может быть дурно для Русских; и что Англичане или Немцы изобрели для пользы, выгоды человека, то *мое*, ибо я человек!» (Карамзин, II, с. 514–515; Карамзин, 1984, с. 254). И в другом месте Карамзин писал: «Петр Великий, могущею рукою своею преобразив отечество, сделал нас подобными другим Европейцам. Жалобы безполезны… Мы не хотим подражать иноземцам, но пишем, как они пишут: ибо живем, как они живут; читаем, что они читают; имеем те же образцы ума и вкуса; участвуем в повсеместном, взаимном сближении народов, которое есть следствие самаго их просвещения. Красоты *особенныя*, составляющия характер Словесности *народной*, уступают красотам общим: первыя изменяются, вторыя вечны. Хорошо писать для Россиян: еще лучше писать для всех людей. Если нам оскорбительно итти позади других, то можем итти рядом с другими к цели всемирной для человечества, путем своего века…» («Речь в Российской Академии», 1818 г. — Карамзин, III, с. 649).

[8] Эту принципиальную ориентацию на чужой культурный эталон исключительно отчетливо характеризует разговор между великим князем Павлом Петровичем и его воспитателем графом Н. И. Паниным, записанный Семеном Порошиным: «Как между протчим разговорились о езде Его Превосходительства [Панина] из Швеции сюда, и дошла речь до города Торнео, то спросил Его Высочество, „каков этот город?“. Его Превосходительство ответствовал, что дурен. Государь Великой Князь изволил на то еще спросить: „хуже нашего Клину или лутче?“. Никита Иванович изволил ему на то сказать: „уж Клину-та нашева конечно лутче. Нам, батюшка, нельзя еще, о чем бы то ни было, разсуждать в сравнении с собою. Можно разсуждать так, что это там дурно, это хорошо, отнюдь к тому не применяя, что у нас есть. В таком сравнении мы верно всегда потеряем“» (Порошин, 1881, стлб. 457). Подобные высказывания очень характерны.

ПРИМЕЧАНИЯ

[1] Предписания Федору Поликарпову были переданы Петром через И. А. Мусина-Пушкина; о том, что соответствующие распоряжения Мусина-Пушкина точно воспроизводят слова Петра, см.: Успенский, 1994, с. 99–100 (примеч. 46). К аналогичному замечанию Петра восходит, несомненно, и указание Мусина-Пушкина (1716 г.) исправить «славено-российский» перевод «Разговоров дружеских» Дезидерия Ерасма, употребляя «русский обходительный язык» (см.: Пекарский, 1862, II, с. 367–368, № 323).

[2] Текст «Духовного регламента» с правкой Петра опубликован в изд.: Верховской, II, отд. I, с. 26–76. Относительно языковой правки см. с. 29 (примеч. 20 и 23), 30 (примеч. 30), 36 (примеч. 65), 38 (примеч. 81), 50 (примеч. 139), ср. также замечания Петра (слова, отмеченные крестиком), не учтенные Феофаном Прокоповичем, на с. 29, 33, 40, 53, 57, 58.

[3] Показательна дневниковая запись А. В. Никитенки, заехавшего в 1834 г. в Вологду к больному Батюшкову: «Он [Батюшков] говорил страшный вздор… что он где-то видел, как кто-то влачил в пыли Карамзина и русский язык…» (Никитенко, I, с. 158). В бреде душевнобольного явственно звучит напряжение литературно-языковой борьбы предшествующей эпохи.

[4] Характерно, что Семен Порошин специально говорит со своим воспитанником, великим князем Павлом Петровичем (наследником престола и будущим императором Павлом I), «мужичьим наречием», а именно, цокая (Порошин, 1881, стлб. 184); одновременно тот же Порошин учит Павла писать письма «нарочно дурным складом, совсем без понктуации и с понктуациею вздорною» (там же, стлб. 76) — и то и другое делается, очевидно, в превентивных целях, т. е. для того, чтобы Павел говорил и писал по-русски п р а в и л ь н о. Со второй половины XVIII в. в комедиях может имитироваться диалектная речь; к наиболее ранним примерам относятся «Корион» Д. И. Фонвизина (1764), «Опекун» А. П. Сумарокова (1765) и «Щепетильник» В. И. Лукина (1765), где простолюдины цокают; ср. также гиперкорректное ёканье в «народной опере» М. И. Попова «Анюта» (1772) и т. п. (см.: В. Виноградов, 1938, с. 128; Князькова, 1965, с. 142–151; Пыпин, 1868, с. LIX); в 1778 г. Н. П. Николев в предисловии к пьесе «Розана и Любим» констатирует, что имитация диалектной речи в театральных представлениях — вполне обычное явление (см.: Николев, 1781, л. А/2–2 об.). В это же время появляются диалектные словари (см., в частности: Симони, 1898; Фомин, 1787; ср.: Булич, 1904, с. 1104–1105; Князькова, 1966; первый список диалектных слов был составлен еще в 1734 г., однако он не столь показателен, поскольку был сделан для немецкого путешественника И. Г. Гмелина, см.: Панов, 1956). В конце XVIII — начале XIX в. появляются произведения на диалектном языке (Березайский, 1798; ср.: Винокур, 1959, с. 156–157) и первые записи диалектной речи (Глушков, 1801; ср.: Булич, 1904, с. 1105–1107).

Знаменательно, что интерес к диалектам возникает при этом на фоне общего интереса к п а т о л о г и и р е ч и — постольку, поскольку диалекты воспринимаются в принципе именно как п а т о л о г и ч е с к о е явление: возникновение диалектов более или менее единодушно рассматривается в это время как порча языка, которая произошла от картавых, шепелявых, гугнивых людей, заик и т. п., ср., например, соответствующие заявления Тредиаковского в «Разговоре об ортографии» 1748 г. (Тредиаковский, III, с. 265–266),

Сумарокова в трактате «О правописании» 1768–1771 гг. (Сумароков, X, с. 24) или Андрея Богданова в его «Кратком ведении и историческом изыскании о начале и произведении вообще всех азбучных слов…» 1755 г. (БАН, 32.12.7, л. 6–7). Вполне закономерно поэтому, что наряду с имитацией диалектной речи мы встречаем в комедиях имитацию разнообразных дефектов речи — таких, например, как картавость или заикание (так в анонимной комедии «Подражатель» 1779 г. — «Российский Феатр», XXVII, с. 5–52). Это отождествление диалектологии и дефектологии отчетливо выявляет ту социальную норму, которая служит точкой отсчета: простонародная речь выступает в этой перспективе как речь по самой своей природе неправильная.

[5] Это наименование, видимо, идет от Вяземского, ср. характеристику Карамзина в «Старой записной книжке»: «Карамзин в языке и литтературе нашей был *новатор* (это слово почти Русское и всем понятно: от слова *ново*), в историческом и государственном отношении был он консерватор» (Вяземский, X, с. 288).

[6] Точно так же современный носитель литературного языка может не воспринимать как славянизмы, например, такие слова, как *сладкий*, *член*, *пища* и т. п., поскольку слова эти представлены в его разговорной речи и не противопоставляются формам типа **солодкий*, **челон* или **пича*.

[7] Ср. еще далее у Карамзина: «Немцы, Французы, Англичане, были впереди Русских по крайней мере шестью веками: Петр двинул нас своею мощною рукою, и мы в несколько лет почти догнали их… Все *народное* ничто перед *человеческим*. Главное дело быть *людьми*, а не Славянами. Что хорошо для людей, то не может быть дурно для Русских; и что Англичане или Немцы изобрели для пользы, выгоды человека, то *мое*, ибо я человек!» (Карамзин, II, с. 514–515; Карамзин, 1984, с. 254). И в другом месте Карамзин писал: «Петр Великий, могущею рукою своею преобразив отечество, сделал нас подобными другим Европейцам. Жалобы безполезны… Мы не хотим подражать иноземцам, но пишем, как они пишут: ибо живем, как они живут; читаем, что они читают; имеем те же образцы ума и вкуса; участвуем в повсеместном, взаимном сближении народов, которое есть следствие самаго их просвещения. Красоты *особенныя*, составляющия характер Словесности *народной*, уступают красотам общим: первыя изменяются, вторыя вечны. Хорошо писать для Россиян: еще лучше писать для всех людей. Если нам оскорбительно итти позади других, то можем итти рядом с другими к цели всемирной для человечества, путем своего века…» («Речь в Российской Академии», 1818 г. — Карамзин, III, с. 649).

Эту принципиальную ориентацию на чужой культурный эталон исключительно отчетливо характеризует разговор между великим князем Павлом Петровичем и его воспитателем графом Н. И. Паниным, записанный Семеном Порошиным: «Как между протчим разговорились о езде Его Превосходительства [Панина] из Швеции сюда, и дошла речь до города Торнео, то спросил Его Высочество, „каков этот город?“. Его Превосходительство ответствовал, что дурен. Государь Великой Князь изволил на то еще спросить: „хуже нашего Клину или лутче?“. Никита Иванович изволил ему на то сказать: „уж Клину-та нашева конечно лутче. Нам, батюшка, нельзя еще, о чем бы то ни было, разсуждать в сравнении с собою. Можно разсуждать так, что это там дурно, это хорошо, отнюдь к тому не применяя, что у нас есть. В таком сравнении мы верно всегда потеряем“» (Порошин, 1881, стлб. 457). Подобные высказывания очень характерны.

I

ЯЗЫКОВАЯ ПРОГРАММА КАРАМЗИНИСТОВ: ЗАПАДНОЕВРОПЕЙСКИЕ ИСТОКИ

1. Деятельность Карамзина и его окружения очевидным образом связана с западноевропейским культурным влиянием. В лингвистическом аспекте это проявляется в стремлении организовать русский литературный язык по подобию литературных языков Западной Европы, т. е. поставить литературный язык в такое же отношение к разговорной речи, какое имеет место в западноевропейских странах. Иными словами, дело идет о стремлении перенести на русскую почву западноевропейскую языковую и литературную ситуацию; непосредственным образцом при этом служит французский литературный язык. Отсюда закономерно следует принципиальная установка на разговорную речь, т. е. на естественное употребление (usus loquendi), а не на искусственные книжные нормы (usus scribendi). Выдвигая программное требование «писать, как говорят» в статье «Отчего в России мало авторских талантов?» (1802), Карамзин прямо ссылается на «французов», т. е. на пример французского литературного языка: по его словам, «Французский язык весь в книгах… а Русской только отчасти: Французы пишут как говорят, а Русские обо многих предметах должны еще говорить так, как напишет человек с талантом»; «Русской *Кандидат Авторства*, недовольный книгами, — здесь же заявляет Карамзин, — должен закрыть их и слушать вокруг себя разговоры, чтобы совершеннее узнать язык» (Карамзин, III, с. 528–529).

Таким образом, в идеале разговорная речь и литературный язык должны слиться, но основная роль при этом принадлежит именно разговорной стихии как естественному началу в языке.

Такой подход не исключает создания неологизмов (необходимых для выражения тех или иных понятий, заимствуемых из западных языков), но и само создание неологизмов в конечном счете мотивируется ссылкой на западноевропейскую языковую ситуацию — в данном случае на опыт немецкого языкового строительства. В письме к Ш. Бонне от 22 января 1790 г., помещенном в «Письмах русского путешественника», Карамзин пишет: «Надобно будет составлять или выдумывать

новыя слова, подобно как составляли и выдумывали их Немцы, начав писать на собственном языке своем» («Il faundra faire de nouvelles compositions, et même créer de nouveaux noms, ce que les Allemands ont été obligés de faire, quand ils sont commencé à écrire en leur langue» — Карамзин, II, с. 344–345; Карамзин, 1984, с. 170–171). Однако усвоение неологизмов в принципе также предполагает апробацию в разговорной речи, — или же критерий вкуса (языкового чутья), который по идее должен быть функционально эквивалентен апробации такого рода[1]. «Слова не изобретаются Академиями, — заявляет Карамзин в своей инаугурационной речи на торжественном собрании Российской Академии (1818), — они раждаются вместе с мыслями или в употреблении языка или в произведениях таланта, как счастливое вдохновение» (Карамзин, III, с. 644).

Предложение Карамзина во всяком случае не оригинально: ср., например, в «Кошельке» Н. И. Новикова обсуждение возможности «с крайнею только осторожностию употреблять иностранные речения», а вместо этого «отыскивать коренные слова российские и сочинять вновь у нас не имевшихся, по примеру немцев», причем специально подчеркивается, что «сие утвердиться не может, если не будет такая же строгость наблюдаема и в обыкновенном российском разговоре» («Кошелек», 1774, л. 1; Берков, 1951, с. 478). Подобные рекомендации опираются вообще на достаточно устойчивую традицию калькирования немецких слов (ср.: Тихонравов, 1874, I, с. XXI; там же, II, примечания, с. 550, 555, 586 и словарь; В. Виноградов, 1938, с. 29–30; Лотман и Успенский, 1975/1996, с. 457, 463; Успенский, 1983/1994, с. 161). Таким образом, и в этом случае сказывается общая ориентация на западноевропейскую языковую ситуацию.

1.1. Следует вообще оговориться, что карамзинисты ориентируются не на реальную, а, так сказать, на идеальную разговорную речь, апробированную критерием вкуса[2]. «… Русские обо многих предметах должны еще говорить так, как напишет человек с талантом», — признается Карамзин, а его последователь П. И. Макаров — один из самых ярких теоретиков карамзинизма — замечает в рецензии на перевод романа Жанлис: «… Надобно иногда писать так, как должно бы говорить, а не так, как говорят» (ММ, IV, с. 122)[3]. Такая позиция, понятно, допускает известное несовпадение литературного языка и разговорной речи, которое, однако, никоим образом не обусловлено их принципиальным противопоставлением. Речь идет, напротив, о модификации и совершенствовании разговорной речи как средстве создания литературного языка.

Подобный подход закономерно обусловливает повышение роли индивидуального творчества в процессах формирования и эволюции языка; в частности, эволюция литературного языка оказывается связанной с модой — через индивидуальное начало. Нетрудно усмотреть идейную связь этой концепции литературного языка с характерным для Карамзина пониманием «натуры» как изящной, украшенной природы[4], что придает специфический смысл той установке на естественность, которую вообще декларирует Карамзин. Эстетизация природы подразумевает взгляд на естественное через призму искусственных текстов: так,

пейзаж просматривается сквозь литературное его описание, великий человек современности — через литературный образ великого человека прошлого, и т. п. Применительно к языку это означало бы облагораживание естественного употребления сквозь призму некоторой сложившейся языковой нормы. Но поскольку такой традиции не было, подчеркивалась роль моды, которая давала образцы не прошлого, а будущего употребления.

1.2. Критерий вкуса имеет принципиально важное значение в эстетике Карамзина и в его подходе к лингвистическим проблемам (ср.: В. Левин, 1964, с. 122–126). Апелляция к вкусу прежде всего выражается в характерном для карамзинистов призыве к «приятности» языка. В «Пантеоне Российских авторов» (1802) Карамзин объявляет «приятность слога» отличительной чертой нового — карамзинистского — этапа русской литературы (Карамзин, 1801–1802, II, страница к портрету Кантемира; Карамзин, I, с. 577)[5]; между тем П. И. Макаров в рецензии на книгу Шишкова «Рассуждение о старом и новом слоге Российского языка» обсуждает вопрос, как «сделать для нас Руской язык приятнее других языков» (ММ, IV, с. 182) — тем самым фактически признается, что русский язык уступает в этом отношении французскому. Необходимо писать «приятно», т. е. так, как «говорят люди со вкусом», заявляет Карамзин в цитированной уже программной статье «Отчего в России мало авторских талантов?»; задача «истинных Писателей» — показать, «как надобно выражать приятно некоторыя, даже обыкновенныя мысли» (Карамзин, III, с. 528–529); именно с этих позиций он оценивает как разговорный, так и литературный язык. «Девушка, имеющая вкус, не может ни сказать, ни написать в письме *колико*», — замечает он, например, в рецензии на перевод «Клариссы» Ричардсона (МЖ, IV, с. 112), а по поводу славянизированных од Н. П. Николева и Д. И. Хвостова он пишет И. И. Дмитриеву 1 июня 1791 г.: «То-то вкус! то-то язык! — Боже! умилосердися над нами!» (Грот и Пекарский, 1866, с. 19). Соответственно, издавая «Вестник Европы», Карамзин видит свою задачу именно в том, чтобы занимать публику «приятным образом, не оскорбляя вкуса ни грубым невежеством, ни варварским слогом» (Карамзин, 1802, с. 229).

Вкус понимается при этом как «некоторое, *эстетическое чувство*, нужное для любителей Литтературы» («Цветок на гроб моего Агатона», 1793 г. — Карамзин, III, с. 361–362), опирающееся на интуицию и «неизъяснимое для ума» («Речь в Российской Академии», 1818 г. — Карамзин, III, с. 646) — чувство, которому в принципе невозможно научиться: «Не только дарование, но и самый вкус не приобретается: и самый вкус есть дарование. Учение образует но не производит Автора», — говорит Карамзин в «Пантеоне Российских авторов» (Карамзин, 1801–1802, III, страница к портрету Тредиаковского; Карамзин, I, с. 583)[6]. Такое понимание противопоставляет «естественный вкус» просветительскому рационализму XVIII в.[7]

Таким образом, ощущение противопоставляется разуму, «чувствование» предпочитается «умничанью», т. е. каким бы то ни было рациональным правилам.

«Простота, — чувствование — превыше всякого умниченья; грешно сравнивать натуру, Génie, с педантскими подражаниями — с натянутыми подделками низких умов», — писал Карамзину А. А. Петров 1 августа 1787 г. (Карамзин, 1984, с. 504). Ср. рассуждение о народности у Вяземского в «Разговоре между Издателем и Классиком» (предисловии к «Бахчисарайскому фонтану» Пушкина) 1824 г.: «Классик. Что такое народность в словесности? Этой фигуры нет ни в пиитике Аристотеля, ни в пиитике Горация. Издатель. Нет ея у Горация в пиитике, но есть она в его творениях. Она не в правилах, но в чувствах» (Вяземский, I, с. 169). В применении к языку это означает, что непосредственное ощущение (языковой вкус) ставится выше грамматики (языковых правил). Соответственно, отвечая Ал. И. Тургеневу, который критиковал Вяземского за высокую оценку «безграмотного», с его точки зрения, «Опыта теории партизанских действий» Дениса Давыдова[8], — Вяземский пишет 3 июня 1823 г.: «За что нападаешь ты так на книгу Дениса и на меня за то, что упомянул о ней? … Ты все хочешь грамоты; да что ты за грамотей такой? Есть ошибки против языка, но зато есть и подарки языку. Уж мне этот казенный штемпель! Жжет душу. Наш язык на то только и хорош, чтобы коверкать его, жать во всю Ивановскую: соки еще все в нем. Говорил и тебе это сто раз, а ты все свое умничанье!» (Ост. архив, II, с. 329)[9]. Всякого рода «умствование», опора на правила может восприниматься как измена вкусу и расцениваться как «педантство»; «… Потерять щастливую мысль, или выразить ее слабо, для некоторой лишней чистоты языка, — заявляет, например, П. И. Макаров в рецензии на „Рассуждение…“ Шишкова, — будет непростительное педантство» (ММ, IV, с. 166).

Сама апелляция к вкусу, столь важная для языковой концепции карамзинистов, в значительной степени обусловлена тем, что литературный язык ориентируется на некий (четко не определяемый и потенциально открытый) текст, а не на систему нормативных правил. Отсюда вообще на первый план закономерно выдвигаются проблемы стилистики — при этом стилистики речи, а не стилистики языка, — и прежде всего лексической стилистики, поскольку норма литературного языка не дана как системное целое, а ориентирована на речь (на «текст» в широком смысле); между тем слово как элементарная единица речи осмысляется как единица речевого стиля. Иными словами, апелляция к вкусу предполагает установку на употребление, а не на правила. Вполне естественно и закономерно поэтому, что отказ от ориентации на употребление может осмысляться как борьба с вкусом; соответственно Воейков называет сторонников Шишкова «вкусоборцами» (Воейков, 1808, с. 118), ср. также у Вяземского в стихотворении «Милонову» 1811 г.: «Когда Шишков, Батый талантов, грозит смерть вкусу нанести…» (Вяземский, III, примечания, с. I)[10].

2. Изменяемость вкуса («вкус изменяется и в людях и в народах» («Речь в Российской Академии», 1818 г. — Карамзин, III, с. 646) оправдывает изменение как литературы, так и литературного языка, и это определяет отношение к языковому

прогрессу. Изменения языка признаются естественным и неизбежным процессом и объясняются «естественным, безпрестанным движением живаго слова к дальнейшему совершенству» (там же — Карамзин, III, с. 644). «Удержать язык в одном состоянии не возможно: такого чуда не бывало от начала света… — писал в этой связи П. И. Макаров, полемизируя с Шишковым (в рецензии на „Рассуждение…“ Шишкова). — Придет время, когда и нынешний язык будет стар…» (ММ, IV, с. 162–163).

Соответственно определяется отношение карамзинистов к заимствованиям, которые признаются вообще естественным явлением в языке и вместе с тем одним из основных факторов языковой эволюции: по словам Макарова, «все языки составились один из другаго обменом взаимным» (ММ, IV, с. 165). С точки зрения карамзинистов, каждый язык неизбежно подвержен иноземным влияниям, и это доказывается, в частности, воздействием греческого на церковнославянский. «Почему нам одним не занимать? — спрашивает Макаров в той же рецензии, — мы ли первые начали?» (ММ, IV, с. 165). Возражая Шишкову и его сторонникам, которые считали церковнославянский язык «коренным» славянским языком, карамзинисты указывали на наличие в нем широкого слоя грецизмов: если русский язык изменился в результате татарского, польского, европейского влияния, то древний славянский язык изменился в результате влияния греческого. По словам Карамзина, «Авторы или переводчики наших духовных книг[11] образовали язык совершенно по Греческому, наставили везде *предлогов*, растянули, соединили многия слова, и сею *химическою операциею*[12] изменили первобытную чистоту древняго Славянскаго. *Слово о полку Игореве*, драгоценный остаток его, доказывает, что он был весьма отличен от языка наших церковних книг» («О Русской Грамматике фанцуза Модрю», 1803 г. — Карамзин, III, с. 604)[13]. Эти слова Карамзина почти дословно повторяет П. И. Макаров (в том же 1803 г.!) в рецензии на «Рассуждение…» Шишкова: «Наши предки успели занять от Греков множество названий и несколько метафор; успели, оставя древнее Славенское наречие, образовать свой язык по свойству Греческаго. *Процвел ли* он *заимствованными красотами* [слова, выделенные курсивом, представляют собой в данном случае цитаты из книги Шишкова]… решительно сказать не можем: для сего надлежало бы видеть и *понимать* чистый Славенский язык, котораго теперь не видим» (ММ, IV, с. 159). О греческих заимствованиях в церковнославянском языке говорят, утверждая неизбежность иноземного влияния, и критики шишковского «Рассуждения о старом и новом слоге…» — П. И. Макаров (ММ, IV, с.164) и анонимный рецензент «Северного вестника» (Письмо от неизвестного, 1804, с. 28), которого отождествляют обычно с Д. И. Языковым (см.: Мордовченко, 1959, с. 80–81). Между тем, Д. В. Дашков, полемизируя с Шишковым, писал, что хотя «основанием Рускаго языка есть Славенский», но «в *наречие Руское* вмешалось множество Татарских и других иностранных слов» и оттого «оное наречие отделилось совершенно от своего корня… и таким образом стало особым языком, как другие Европейские» («О легчайшем способе возражать на критики» — Дашков, 1811, с. 31–32, ср. с. 57–59); в другом месте Дашков говорит: «… Язык, которым гово-

рили мы, давно уже отделился от Славенскаго введением множества Татарских слов и выражений, совсем прежде неизвестных» (рецензия на «Перевод двух статей из Лагарпа…» — Дашков, 1810, с. 260, ср. также с. 261, 266).

Таким образом, наличие в церковнославянском языке грецизмов оказывается для карамзинистов важным аргументом в их полемике с партией Шишкова, позволяя им, с одной стороны, отличать церковнославянский язык от «коренного», или «первобытного» славянского языка, т. е. от праславянского (см. ниже, § **I-3.2**), и, с другой стороны, утверждать принципиальное равноправие церковнославянского и русского языков. С точки зрения карамзинистов, наличие заимствований в русском языке никак не может служить препятствием признанию его достоинства (dignitas) и способности быть языком литературным[14]. Напротив, заимствования из европейских языков признаются естественным и неизбежным следствием развития ума и нравов. Как писал П. И. Макаров в рецензии на «Рассуждение…» Шишкова, «язык следует всегда за Науками, за Художествами, за просвещением, за нравами, за обычаями» (ММ, IV, с. 163); между тем «в отношении к обычаям и понятиям, мы теперь совсем не тот народ, который составляли наши предки; следственно хотим сочинять фразы и производить слова по *своим* понятиям, *нынешним*, умствуя как Французы, как Немцы, как все нынешние просвещенные народы» (там же, с. 169–170); характерным образом французские и немецкие понятия объявляются при этом «своими».

Итак, заимствованная лексика ставится в прямую связь с общим процессом европеизации русской культуры; отсюда, в частности, использование иностранного слова может мотивироваться отсутствием соответствующего русского слова для выражения того или иного понятия, т. е. невозможностью выразить данное содержание собственно русскими средствами, ср. характерные рассуждения Вяземского в «Старой записной книжке»: «У нас жалуются, и жалуются по справедливости, на водворение иностранных слов в Русском языке. Но что же делать, когда наш ум, заимствовавший некоторыя понятия и оттенки у чужих языков, не находит дома нужных слов для их выражения? Как, например, выразить по-русски понятия, которыя возбуждают в нас слова naif и sérieux, un home naif, un esprit sérieux? *Чистосердечный*, *просто сердечный*, *откровенный*, все это не выражает значения перваго слова; *важный*, *степенный* не выражают понятия свойственнаго другому; а потому и должны мы поневоле говорить *наивный*, *серьезный*. Последнее слово вошло в общее употребление» (Вяземский, VIII, с. 38)[15]. И в другом месте «Старой записной книжки» Вяземский говорит: «О нашем языке можно сказать, что он очень богат и очень беден. Многих необходимых слов для изображения мелких оттенков мысли и чувства не достает… Иностранныя слова брать заимообразно у соседей не хорошо; а впрочем Голандские червонцы у нас в ходу, и никто ими не брезгает. В том-то и дело, что искусному писателю дозволяется, за неимением своих, пускать в ход Голандские червонцы. Карамзин так и делал. Делают это и Англичане» (Вяземский, VIII, с. 26). Существенно вместе с тем, что употребление заимствований может одновременно мотивироваться и ссылкой на е с т е с т в е н н о с т ь выражения; так, например, обсуждая в первой

(журнальной) редакции «Писем русского путешественника» скульптуру Лаокоона, Карамзин замечает: «Фидиас соединяет сии два *момента*…» — и сопровождает эту фразу комментарием: «Здесь бы можно было сказать *по-Руски два времени*; но, с позволения Гг. Пуристов, оставляю в тексте иностранное, в сем смысле более Рускаго известное слово» (МЖ, III, с. 321, примеч.; Карамзин, 1984, с. 424; в последующих редакциях «Писем…» весь этот пассаж выпущен).

Показательно, что, признавая необходимость заимствований из французского языка, карамзинисты могут выступать против его распространения в русском обществе и таким образом отстаивать права языка русского [см. соответствующие выступления Карамзина в статье «О любви к отечеству и народной гордости» 1802 г. (Карамзин, III, с. 474–475), а также в «Письмах русского путешественника» (Карамзин, II, с. 684–685; Карамзин, 1984, с. 338); ср. еще письмо И. И. Дмитриева к Жуковскому от 13 марта 1835 г. (И. Дмитриев, II, с. 315–316)][16]. Здесь нет никакого противоречия: протест против французского языка как такового никак не распространяется на отношение к галлицизмам именно потому, что заимствования признаются естественным фактором языковой эволюции; иначе говоря, отношение к заимствованиям определяется тем, что они рассматриваются именно как явления р у с с к о й речи.

2.1. Основной источник обогащения русского языка карамзинисты видят во французском языке. Это отношение к французскому языку и французской культуре основывается на убеждении в единстве пути всех народов, охваченных процессом цивилизации: путь этот мыслится как постепенное и последовательное движение к одной цели, где одни народы оказываются впереди, а другие следуют за ними; французскому народу суждено было возглавить это движение (на соответствующем историческом этапе), и поэтому французская культура служит ориентиром для других культур, шествующих по дороге прогресса[17].

Значение французского языка как языка культуры и просвещения специально подчеркивается в декларациях карамзинистов; так, Вяземский писал в статье об И. И. Дмитриеве (1823): «Сие раскрытие, сии применения к нему [русскому языку] понятий новых, сии вводимые обороты называли галлицизмами, и может быть не без справедливости, если слово *галлицизм* принято в смысле *европеизма*, т. е., если принять язык Французский за язык, который преимущественнее может быть представителем общей образованности Европейской» (Вяземский, I, с. 126). Равным образом в предисловии к своему переводу «Адольфа» Бенжамена Констана (1831) Вяземский признается, что здесь допущены «галлицизмы понятий, … потому что тогда они уже европеизмы» (Вяземский, X, с. XI)[18]; одновременно Вяземский подчеркивает, что в своем переводе он хотел «изучивать, ощупывать язык наш, производить над ним попытки, если не пытки, и выведать, с к о л ь к о м о ж е т о н п р и б л и з и т ь с я к я з ы к у и н о с т р а н н о м у» (там же). Итак, русский литературный язык, по мысли карамзинистов, должен ориентироваться на французский. Ср. еще характерное замечание Вяземского в «Старой записной книжке»: «… Галлолюбие или французомания не враждебны правильному раз-

витию Русской речи. Французский язык, своею точностью, ясностью, логическими оборотами речи, может служить хорошим курсом и преподаванием для правильнаго образования слога и на другом языке»; Карамзин, заявляет Вяземский, читал французских авторов, «чтобы научиться писать по-русски так, как он после писал» (Вяземский, VIII, с. 487–488).

Как видим, говоря о заимствованиях как о естественном следствии языковых контактов, определяющих развитие и совершенствование языка, карамзинисты могут иметь в виду заимствования как на уровне формы, так и на уровне содержания, т. е. как заимствованную лексику, так и семантические кальки; оба явления естественно связываются, воспринимаясь как реализации одной и той же общей тенденции. В самом деле, введение иноязычных слов (заимствованной лексики) оправдывается прежде всего необходимостью передать те оттенки мысли (значения и смыслы), которые не выражаются средствами русского языка; но тот же эффект может быть достигнут и иным способом, а именно, употреблением русских слов в новых значениях, не свойственных им ранее, но соотнесенных со значениями тех или иных иноязычных слов, — при этом значение русского слова калькирует значение соответствующего иноязычного слова, т. е. русское слово предстает как семантическая калька (в точности та же задача выполняется, наконец, и неологизмами, создаваемыми карамзинистами, — см. выше, § **I-1**)[19]. Карамзин в статье «Отчего в России мало авторских талантов?» именно призывает «давать старым [словам] некоторый новый смысл, предлагать их в новой связи», предупреждая при этом, что делать это следует «столь искусно, чтобы обмануть читателей и скрыть от них необыкновенность выражения» (Карамзин, III, с. 528). Между тем, в заметке «О богатстве языка» (1795) Карамзин писал: «Истинное богатство языка состоит не во множестве звуков, не во множестве слов, но в числе мыслей, выражаемых оным. Богатой язык есть тот, в котором вы найдете слова не только для означения главных идей, но и для изъяснения их различий, их оттенок, большей или меньшей силы, простоты и сложности. Иначе он беден; беден со всеми миллионами слов своих. Какая польза, что в Арабском языке некоторыя телесныя вещи, на пример *мечь* и *лев*, имеют 500 имен, когда он не выражает никаких тонких нравственных понятий и чувств? В языке, обогащенном умными Авторами, в языке выработанном, не может быть *синонимов*; всегда имеют они между собою некоторое тонкое различие, известное тем писателям, которые владеют духом языка, сами размышляют, сами чувствуют, а не попугаями других бывают» (Шевырев, 1854, № 12, с. 184)[20]. Такая позиция закономерно предполагает заимствования в плане содержания, т. е. появление семантических калек.

Необходимо подчеркнуть, что Шишков и его сторонники в принципе возражают как против лексических заимствований, так и против семантических калек, с основанием усматривая в обоих случаях проявления иноязычного влияния (см., например, замечания Шишкова в «Рассуждении о старом и новом слоге…» — Шишков, II, с. 23–27). Замечательно вместе с тем, что Жуковский, полемизируя с Шишковым, демонстративно отказывается считать семантические кальки галлицизмами. В своих маргиналиях на принадлежащем ему экземпляре «Рассужде-

ния…» Шишкова он замечает: «*Сцена* есть французское слово, но почему *переворот* французское? [Шишков трактует *переворот* как кальку с *révolution*, см.: Шишков, II, с. 27]. Оно изображает идеи, а идеи ни французские, ни русские. Душа народа может получать и выражать идеи прежде другого, другой выражает ее после него на своем языке». И в другом месте, где Шишков пишет, что «с одной стороны в язык наш вводятся нелепыя новости, а с другой истребляются и забываются издревле принятыя и многими веками утвержденныя понятия» (см.: Шишков, II, с. 46–47), — Жуковский восклицает: «Какие понятия? Разве слова понятия?» (Библиотека Жуковского, I, с. 112, 114, 119)[21]. Переводя проблему языковых контактов в план содержания, карамзинисты могут подчеркивать, таким образом, универсальный характер человеческого мышления, единый путь эволюции человеческого разума; естественным следствием отсюда является вывод о необходимости ориентации на западную культуру и, в частности, о необходимости всякого рода заимствований.

2.1.1. Влияние французского языка сказывается, помимо лексических заимствований и семантических калек, прежде всего в синтаксисе. Карамзин в значительной степени перестраивает структуру русского периода, ориентируясь при этом на синтаксический строй французского языка. Это проявляется, например, в постпозиции прилагательного, в более строгой постановке подлежащего перед сказуемым, в результате чего рема может предшествовать у Карамзина теме, ср., например: «Мальчик лет тринадцати был проводником моим» («Остров Борнгольм»), «Опасности и героическая дружба были любимою его мечтою» («Рыцарь нашего времени») и т. п. (см.: Ковтунова, 1969, с. 169–177). Ориентируясь на французский синтаксис, Карамзин одновременно ориентируется и на разговорную речь. Если структура периода в русской литературе XVIII в. определялась установкой на ораторскую интонацию (ср. в этой связи: Тынянов, 1929, с. 48–86), то ориентация на разговорную речь, а следовательно, и на разговорную интонацию, требовала перестройки синтаксической структуры. «Карамзиным выдвигается лозунг борьбы с громоздкими, запутанными, беззвучными или патетически-ораторскими, торжественно-декламативными конструкциями, которые отчасти были унаследованы от церковнославянской традиции, отчасти укоренились под влиянием латино-немецкой ученой речи. Принцип произносимой речи, принцип легкого чтения литературного текста, принцип перевода стиха и прозы в звучание, свободное от искусственных интонаций высокого слога, ложатся в основу новой стилистики» (В. Виноградов, 1938, с. 179–180; ср. еще: В. Виноградов, 1941, с. 271–277; Булаховский, 1941, с. 3–5).

Уже в конце XVIII в. В. С. Подшивалов связывает новые формы синтаксического построения фразы с французским влиянием на русский литературный язык: «В старину употребляемы были в речи периоды долгие, и потому союзы были необходимы; но ныне опущение их, то есть союзов соединительных, особливую составляет приятность; а особливо стиль Французской, от всех ныне принимаемой, не мало заимствует от сего красы своей» (Подшивалов, 1796, с. 29). Синтак-

сическая реформа определяет одну из существенных сторон карамзинистского «нового слога». По словам Н. И. Греча, «Ломоносов создал язык, Карамзину мы обязаны слогом русским» (Греч, I, с. 127). При этом ориентация Карамзина на французский синтаксис связывается с отказом от латинско-немецкого синтаксиса Ломоносова (там же, с. 110–111; ср.: В. Виноградов, 1935, с. 55–56): латинский синтаксис (как и немецкий) соотносится с книжным ораторским началом, а французский синтаксис — с началом разговорным. Оппозиция латинского и французского при этом явно переносится на оппозицию церковнославянского и русского: как латынь ассоциируется с церковнославянским, так французский ассоциируется с русским разговорным языком. Ориентация на разговорную речь и ориентация на французский язык органически смыкаются в данном случае у карамзинистов.

Ориентируясь на французский синтаксис в отношении порядка слов, Карамзин может в то же время отрицательно относиться к буквальным переводам с французского, т. е. к синтаксическим и фразеологическим калькам, — постольку, поскольку такого рода кальки могут противоречить естественным навыкам русской речи, воспринимаются как неестественные; ср. критические замечания Карамзина на этот счет в статье «Странность» 1802 г. (Карамзин, III, с. 609–610), а также в разборе комедии «Оптимист» 1791 г. (МЖ, I, с. 233)[22]. В других случаях, употребляя соответствующие конструкции, Карамзин специально отмечает их как галлицизмы и просит прощения у читателя за их использование, подчеркивая таким образом их необычность или во всяком случае неосвоенность в русской речи, — как, например, в «Письмах русского путешественника» (Карамзин, II, с. 198, 241; Карамзин, 1984, с. 100, 120), а также в письме к И. И. Дмитриеву от 22 июня 1793 г. (Грот и Пекарский, 1866, с. 38); Карамзин явно исходит при этом из того, что данные обороты в принципе уместны в русском языке и могут быть в нем употреблены, т. е. он, по-видимому, стремится к их освоению в русском языке. Вообще термин *галлицизм* может относиться у Карамзина и его последователей к тому, что неупотребительно в русской речи; в этом смысле данный термин может пониматься как отрицательная стилистическая характеристика — *галлицизм* означает в таких случаях ‛буквализм’, — если только не предполагается, что соответствующие средства выражения должны быть освоены в русском языке. Это вполне понятно, поскольку карамзинисты, вообще говоря, ощущают себя как пуристы и стремятся к чистоте языка; однако проблема чистоты решается ими не в этимологическом, а в синхронно-функциональном плане — актуальным в этом смысле является не происхождение того или иного явления, а соответствие его реальным речевым навыкам, т. е. употреблению. Таким образом, и Шишков и Карамзин борются с галлицизмами, но при этом по-разному их понимают (в плане происхождения или в плане употребительности)[23]; такое же различие, как мы увидим, прослеживается и в их отношении к славянизмам (см. § **I-3.1**).

3. Итак, языковая программа карамзинизма предполагает принципиальную установку на узус, а не на стабильную норму. Литературный язык в принципе ориентируется на разговорную речь и подчиняется ей в своем развитии. Естественным следствием такой установки является стремление избавиться от специфических книжных элементов, поскольку они осмысляются как таковые, — прежде всего от славянизмов, неупотребительных в разговорном общении и возможных лишь в письменном тексте[24].

При этом то, что самими карамзинистами осмыслялось как сближение литературного языка с разговорной речью, языком общества, — неизбежно понималось их противниками как отказ от национальной литературной традиции. Для Шишкова, в частности, язык общества вообще «не имел никакого отношения к языку литературы. Сама постановка вопроса об их взаимовлияниях лишена была для него смысла» (В. Левин, 1962, с. 187)[25]; такой же подход характерен в общем и для других «архаистов». Если в свое время разговорная речь не входила в систему литературного языка и осмыслялась как нечто прямо ему противоположное (такое понимание и сохраняется у Шишкова и его партии), то теперь, согласно концепции карамзинистов, она оказывается включенной в стилистический диапазон литературного языка; вообще, нормализация литературного языка связывается с нормализацией разговорной речи[26]. Соответственно, если ранее понятия «книжного» и «литературного» языка в общем совпадали по своему содержанию, то теперь «книжный» язык постепенно приобретает новое, а именно, более узкое значение по сравнению с «литературным» языком. «Книжное» начинает пониматься как то, что относится к литературному языку, но при этом невозможно в разговорной речи. В этом именно смысле карамзинисты борются с книжным языком: так, карамзинист П. И. Макаров, развивая мысль Карамзина, призывает в уже упоминавшейся рецензии на книгу Шишкова «писать как говорят, и говорить как пишут… чтобы совершенно уничтожить язык книжной» (ММ, IV, с. 180). Речь идет при этом по существу не столько о борьбе непосредственно с церковнославянской языковой стихией, сколько вообще — о борьбе с теми языковыми средствами, которые в принципе не применяются в разговорной речи. Поскольку, однако, в точности таким же образом карамзинисты могут понимать и «славянизмы» — а именно, как слова, невозможные в разговорной речи[27], — постольку понятия «книжного» и «славенского» для них совпадают. В результате антитеза «разговорного» и «книжного» соответствует антитезе «русского» и «славенского». Так, в своей рецензии на прозаический перевод поэмы Ариосто «Неистовый Роланд» Карамзин писал: «Слог нашего Переводчика [П. С. Молчанова] можно назвать изрядным; он не надут славянщизною, и довольно чист» (МЖ, II, с. 324); как видим, чистота стиля связывается с отсутствием славянизмов[28]. В рецензии на перевод «Клариссы» Ричардсона Карамзин иронически упоминал о «моде, введенной в Руской слог „големыми претолковниками N. N., иже отревают все, еже есть Руское, и блещаются блаженне сиянием славяномудрия“» (МЖ, IV, с. 112)[29], ср. также пародийные стихи с утрированной славянизацией языка в письме Карамзина к Дмитриеву без даты, написанном около

1794 г. (Грот и Пекарский, 1866, с. 45–46)[30], — в обоих случаях славянизация языка выступает как пародийный прием, наглядно демонстрирующий языковую позицию Карамзина. То же имеет в виду Карамзин, когда протестует в предисловии к «Аонидам» 1797 г. против «излишней высокопарности, грома слов не у места» (Карамзин, 1797, с. V). Достаточно показательны, наконец, и возражения Карамзина, касающиеся отдельных славянизмов, в его критических разборах и откликах; так, например, отзываясь на стихи Дмитриева, Карамзин пишет их автору: «*Персты* и *сокрушу* производят какое-то дурное действие», «*отзыв* для меня лучше, нежели *отглас*», «*вóзьмет* не хорошо по ударению» (письма от 17 августа 1793 г., 6 сентября 1794 г. и 21 января 1797 г. — Грот и Пекарский, 1866, с. 42, 50, 73); в рецензии на «Опыт состояния Швейцарии» Карамзин подвергает критике слово *возделываются* во фразе «Все части учености возделываются там с успехом» и замечает при этом: «Лучше бы было в сем смысле сказать по-Руски *обработываются*» (МЖ, III, с. 222); ср. еще в рецензии на перевод «Клариссы»: «В простом слоге лучше сказать *сделаться предметом* чего нибудь, нежели *учиниться»* (МЖ, IV, с. 113).

Несколько менее показательны замечания Карамзина по поводу славянизмов в пьесах, поскольку речь идет в данном случае не столько о стилистике, сколько о требовании реалистичности диалогической речи. Так, например, в рецензии на комедию «Граф Ольсбах» Карамзин говорит: «… Жаль, что Г. Переводчик употребляет слова *сие* и *оное*, что на Театре бывает всегда противно слуху. Употребляем ли мы сии слова в разговорах? Естьли нет, то и в Комедии, которая есть представление общежития, употреблять их не должно» (МЖ, I, с. 357); ср. также сходные замечания в рецензии на комедию «Оптимист»: «*Кажется, чувствую как бы новую сладость жизни*, говорит Изведа; но говорят ли так молодыя женщины?», «… *Разве* — в том смысле, в каком это слово здесь употреблено [имеется в виду значение ‘кроме’], — и *учинить*, вместо *сделать*, не льзя сказать в разговоре, а особливо молодой девице» (МЖ, I, с. 232–233). Речь идет здесь о правдоподобии изображения, о приближении его к реальной действительности. Совершенно так же карамзинисты могут специально подчеркивать недопустимость славянизмов и в прозаических диалогах, т. е. в прямой речи действующих лиц в художественной прозе. Так, в рецензии на перевод «Клариссы» Ричардсона Карамзин говорит: «*Колико для тебя чувствительно*, и проч. Девушка, имеющая вкус, не может ни сказать, ни написать в письме *колико*» (МЖ, IV, с. 112). Равным образом П. И. Макаров в рецензии на перевод книги Лантье подвергает критике выражение *мудрецы сии*, употребленное одним из действующих лиц, замечая: «Кто в разговоре с друзьями скажет: *сии*?» (ММ, II, с. 62); ср. еще здесь же: «*Воспринимает движение*! И такое слово употреблено Аристиппом в разговоре с друзьями!» (с. 63), «*Малозначущая Философия — есть превыше!* Пусть укажут нам хотя одну женщину, которая так сказала говоря с другом!» (с. 65).

Едва ли можно, однако, сделать вывод, что борьба со славянизмами и установка на разговорную речь обусловлены у карамзинистов исключительно стремлением к правдоподобию, реалистичности или натуралистичности изображения.

Необходимо подчеркнуть, что борьба карамзинистов со славянизмами не ограничивается рамками диалогической речи, но в принципе распространяется на весь литературный язык. Вместе с тем, ссылка на диалогическую речь особенно наглядно демонстрирует неуместность специфических книжных средств выражения в литературном языке.

Итак, славянизмы — постольку, поскольку они ощущаются как таковые, т. е. поскольку они невозможны в разговорной речи, — расцениваются карамзинистами как чужеродный элемент в русском языке; соответственно они наделяются эпитетами с отрицательной стилистической характеристикой — славянизированный слог обыкновенно квалифицируется как *жесткий*, а также *грубый*, *дикий* и т. п. Так, например, Карамзин в письме к Дмитриеву от 23 июня 1791 г. характеризует «Лиро-дидактическое послание» Н. П. Николева как *жесткое*: «Это ж е с т к о е послание (и притом *лирическое*!!!) так натерло мой мозг, что он несколько часов был подобен болячке» (Грот и Пекарский, 1866, с. 20). Аналогичным образом и П. И. Макаров в рецензии на книгу Шишкова называет слог последнего «жестким», подчеркивая при этом, что речь идет именно о славянизации языка: «… Слог его вообще можно назвать *жестким*, а не дурным. Приметно, что он действительно занимался чтением наших старинных книг» (ММ, IV, с. 197). Между тем, Батюшков в своем полемическом «Видении на брегах Леты» (1809) писал о поэтах-архаистах:

Их мысль на небеса вперенна,
Слова жь из Библии берут.
Стихи их хоть немного ж е с т к и, —
Но истинно Варяго-Росски.
(Батюшков, I, с. 84)[31]

(см. подробнее: Лотман и Успенский, 1975/1996, с. 476–484; Успенский, 1975, с. 67). Словоупотребление такого рода восходит к определенной традиции, которая будет специально рассмотрена ниже (см. § **II-2.1**).

3.1. Восприятие славянизмов как чужеродных элементов в русском языке соответствует у карамзинистов восприятию церковнославянского языка как ч у ж о г о, и н о с т р а н н о г о языка. Действительно, карамзинисты рассматривают церковнославянский и русский языки — в синхронно-функциональном плане — как р а з н ы е я з ы к и, между тем как Шишков и его сторонники, исходя из представления о том, что русский язык непосредственно развился из церковнославянского, рассматривает эти языки — в диахроническом плане — в принципе как о д и н и т о т ж е я з ы к, единый в своей субстанциональной сущности (подробнее о позиции «архаистов» см. ниже, в § **III-3**). Весьма характерна в этом отношении полемика Шишкова и Дашкова по поводу термина *славенороссийский*. Шишков, понимая «славенский» и «русский» как один язык, называет русский литературный язык «славенороссийским»[32]. Возражая Шишкову, Дашков выступает, между прочим, и против наименования «славенороссийский», полагая, что над-

лежит говорить либо о «славенском», либо о «руском» или «российском» языке (рецензия на «Перевод двух статей из Лагарпа…» — Дашков, 1810, с. 258–259): «… Для чего Французы не называют языка своего *Латиновельхофранцузским*? — спрашивает Дашков. — … Англичане еще более имели бы права называть язык свой *Французоанглийским*, ибо большая часть их выражений взята ими у соседей своих» (там же, с. 264–265; ср. также с. 261–262). В другом месте Дашков говорит о «мнимом Славенороссийском языке», заявляя, что он был бы готов согласиться на то, чтобы русский литературный язык называли «Славенороссийским, Варягоросским, или как бы то ни было», если бы шишковисты «довольствовались сими названиями и не выводили из оных весьма пагубных для языка последствий» («О легчайшем способе возражать на критики» — Дашков, 1811, с. 3, 14–15; ср. с. 19–21, 55)[33].

Признание церковнославянского и русского самостоятельными и независимыми (равноправными) языками приобретает, таким образом, принципиальное значение в полемике карамзинистов с «архаистами», и карамзинисты постоянно и настойчиво подчеркивают в полемических выступлениях свое отношение к церковнославянскому как к иностранному языку; это отношение естественно распространяется на «славенороссийский» язык Шишкова и его окружения, т. е. на славянизированный литературный язык. Так, П. И. Макаров в рецензии на «Рассуждение…» Шишкова утверждает, что язык, который стремится ввести Шишков, это именно «особливой язык книжной, которому надобно учиться как чужестранному» (ММ, IV, с. 179–180), тогда как Д. Н. Блудов в программном арзамасском документе — «Видении в какой-то ограде, изданном обществом ученых людей» (1815) — обращается к «архаисту» Шаховскому с ироническим призывом: «И хвали ироев русских, и усыпи их своими хвалами, и тверди о славе России, и будь для русской сцены безславием, и р у с с к и й я з ы к п р о с л а в л я й с т и х а м и н е р у с с к и м и» (Бобров, IV, с. 271); «славенский» и «русский» предстают при этом в том же оксюморонном плане, что «слава» и «бесславие» и т. п. Аналогичное противопоставление «славенского» и «русского» находим у Пушкина в письме к Вяземскому от 27 марта 1818 г.:

И над Славенскими глупцами
Смеется русскими стихами…
(Пушкин, XIII, с. 3)

То же имеет в виду и Батюшков в сцене «Вечер у Кантемира» (1816), вкладывая в уста Кантемира следующие слова: «Я первый изгнал из языка нашего грубыя слова славянския, чужестранныя, несвойственныя языку русскому» (Батюшков, II, с. 235). Равным образом Бестужев-Марлинский говорит в статье «Взгляд на старую и новую словесность в России» (1823), что Карамзин «преобразовал книжный [т. е. литературный] язык Руский… отбросил ч у ж д у ю пестроту в словах, в словосочинении и дал ему [русскому литературному языку] народное лице» (Бестужев, 1823, с. 15); под «чуждой пестротой», несомненно, имеется в виду церковнославянский элемент.

Можно сказать, таким образом, что как карамзинисты, так и их литературные противники («архаисты») выступают против инородных элементов в языке, но расходятся в своих представлениях относительно того, какие именно элементы являются инородными. Сторонники Шишкова, исходя из диахронической перспективы (взгляд на русский язык с точки зрения его прошлого), рассматривают как инородные элементы те заимствования, которые приобрел русский язык в процессе своего развития; поскольку при этом считается, что русский язык произошел из церковнославянского, славянизмы заимствованиями не признаются. Между тем, карамзинисты, исходя из синхронической перспективы (взгляд на русский язык с точки зрения его настоящего), рассматривают как инородные элементы в русском языке как раз славянизмы, т. е. заимствования из церковнославянского языка, поскольку церковнославянский признается вообще другим языком, отличным от русского. Итак, противопоставление по признаку «свое — чужое» объединяет обе полемизирующие партии — при том что конкретная интерпретация данного противопоставления оказывается у них прямо противоположной; соответственно каждая партия может претендовать на роль очистителей языка[34].

Можно заметить вместе с тем, что концепция литературного языка оказывается тесно связанной как у «архаистов», так и у карамзинистов с решением достаточно общих лингвистических проблем, так или иначе относящихся к истории русского языка. Карамзинисты рассматривают межъязыковые контакты, обусловливающие заимствования из одного языка в другой, как один из основных факторов языковой эволюции (см. выше, § **I-2**); сторонники Шишкова настаивают на том, что русский язык непосредственно образовался из церковнославянского. И то и другое, вообще говоря, неверно, но в данном случае это не имеет значения: именно представления о языке и его истории — вне зависимости от их правильности — и определяют практику языкового нормирования.

3.2. Отношение к церковнославянскому и русскому как к разным языкам или же как к одному языку определенным образом связано с вопросом о происхождении русского языка. В отличие от Шишкова Карамзин отказывается считать, что русский язык происходит из церковнославянского: как мы видели (см. § **I-2**), уже в 1803 г. он вполне четко противопоставляет язык «наших духовных книг» «первобытной чистоте древняго Славянскаго», т. е. отличает церковнославянский язык от славянского праязыка («О русской грамматике француза Модрю» — Карамзин, III, с. 604); то же говорит вслед за Карамзиным и П. И. Макаров в рецензии на «Рассуждение…» Шишкова (ММ, IV, с. 159). Эту мысль Карамзин развивает затем (в 1817 г.) в «Истории Государства Российского»: «Не имея никаких памятников… первобытнаго языка Славянскаго, можем судить о нем только по новейшим, из коих самыми древними считаются наша Библия и другия церковныя книги, переведенныя в IX веке Св. Кириллом, Мефодием и помощниками их. Но Славяне, приняв Христианскую Веру, заимствовали с нею новыя мысли, изобрели новыя слова, выражения, и язык их в средних веках без сомнения так же

отличался от древняго, как уже отличается от нашего. Разсеянныя по Европе, окруженныя другими народами, и нередко ими покоряемыя, Славянския племена утратили единство языка, и в течение времен произошли разныя его наречия…» (Карамзин, 1818–1829, I, с. 104–105). По его словам, слог Библии, переведенной на церковнославянский язык Кириллом и Мефодием, «сделался образцем для новейших книг Христианских, и сам Нестор подражал ему; но Русское особенное наречие сохранилось в употреблении, и с того времени мы имели два языка, книжный и народный. Таким образом изъясняется разность в языке Славянской Библии и *Русской Правды* (изданной скоро после Владимира), Несторовой летописи и *Слова о полку Игореве…*» (там же, I, с. 251). Одновременно Карамзин отмечает сходство церковнославянского языка с сербским, обусловленное происхождением Кирилла и Мефодия: «Сии два брата и помощники их основали правила книжнаго языка Славянскаго на Греческой Грамматике, обогатили его новыми выражениями и словами, держась наречия своей родины, Фессалоники, то есть Иллирическаго или Сербскаго, в коем и теперь видим сходство с нашим Церковным» (там же, I, с. 251)[35]. И позднее Карамзин говорит в своей «Истории…»: «Оставляя употребление собственнаго Русскаго, необразованнаго наречия, Писатели тщательнее держались Грамматики церковных книг или древняго Сербскаго, коего памятник есть наша Библия, и коему следовали они не только в склонениях и в спряжениях, но и в выговоре или в изображении слов…» (там же, V, с. 411). Совершенно так же и М. Т. Каченовский может противопоставлять «коренный славянский» язык «церковному», утверждая, что «нынешний церковный наш язык есть старинное Сербское наречие», а «древний коренный Славянский язык нам неизвестен» (Каченовский, 1816, с. 257)[36]. Итак, Карамзин, как и Каченовский, отождествляет церковнославянский язык с древнесербским; тем самым церковнославянский и древнерусский оказываются изначально противопоставленными, они рассматриваются как самостоятельные и равноправные представители славянской языковой семьи. Этот тезис послужил важным аргументом в полемике карамзинистов с партией Шишкова, которая в принципе понимала церковнославянский язык как праславянский.

Исключительно характерна в этом смысле реакция Батюшкова на доклад Каченовского, прочитанный в 1816 г. в Московском обществе любителей российской словесности (и напечатанный затем в «Трудах» этого общества, ч. VII, 1817 г.). В письме к Гнедичу от 28–29 октября 1816 г. Батюшков пишет: «Каченовский читал *разсуждение о славянских диалектах*. Я не критик, я невежда, но кажется, он режет истину. Он утверждает, что Библия писана на сербском диалекте; то же, думаю, говорит и Карамзин. А славенский язык вовсе изчез; он чистый и не существовал, может быть, ибо под именем Славен мы разумели все поколения славенския, говорившия разными наречиями, весьма отличными одно от другаго. Он разбудит славенофилов. Если правду говорит Каченовский, то каков Шишков с партией! Они влюблены были в Дульцинею, которая никогда не существовала. Варвары, они изказили язык наш славенщизною! Нет, никогда я не имел такой ненависти к этому мандаринному, рабскому, татарско-славенскому

языку, как теперь! Чем более вникаю в язык наш, чем более пишу и размышляю, тем более удостоверяюсь, что язык наш не терпит славенизмов, что верх искусства — похищать древния слова и давать им место в нашем языке, котораго граматика, синтаксис, одним словом, все — противно сербскому наречию. Когда переведут Священное Писание на язык человеческий? Дай Боже! Желаю этого!» (Батюшков, III, с. 409–410)[37]. Соответственно в наброске статьи о русской словесности 1817 г. Батюшков пишет: «Библия, которую мы, по привычке, зовем славенскою» (Батюшков, II, с. 336); совершенно так же Бестужев-Марлинский в статье «Взгляд на старую и новую словесность в России» (1823) говорит о Библии, написанной «на Болгаро-Сербском наречии», противопоставляя церковнославянский язык языку древнерусскому, образовавшемуся, по его мнению, в результате смешения «Варяго-Россов (Норманнов)» «с родом Славянским» (Бестужев, 1823, с. 1–2). То же самое заявляет и Н. А. Полевой в статье «О древнем языке словенском» (1824): «Прежде всего должно оставить всегдашнюю неопределенность названия *Словенский язык*. До сих пор немногие писатели поняли важность разделения языка церковнаго от народнаго Словенскаго и необходимость *разобрать их каждый особо*» (Н. Полевой, 1824, с. 36–37); между тем в рецензии на сборник Катенина К. А. Полевой писал о Катенине и других последователях Шишкова (младших «архаистах»): «Ошибка их в том, что они по следам предшественников своих почитают Руских Славянами, и Церковно-Славянский язык древним Русским» (К. Полевой, 1833, с. 566).

Аргументация Карамзина, поддержанная Каченовским, произвела сильное впечатление на его литературных противников (сторонников Шишкова), заставив их в конце концов пересмотреть свой взгляд на природу церковнославянского и русского языка и на их соотношение в историческом плане. Так, в 1833 г., отвечая на рецензию К. А. Полевого, Катенин заявлял от имени писателей-«архаистов»: «Они [„архаисты“] не почитают „язык Церковно-Славянский древним Русским“; знают не хуже других, что Библия переведена людьми не Русскими; но уверены, что с тех пор, как приняла ее Россия, ею дополнился и обогатился язык Русский, скудное дотоле наречие народа полудикаго…» (Катенин, 1833, с. 458). Признание исконной противопоставленности церковнославянского и древнерусского языка заставляет представителей данного направления «отказаться от историко-лингвистического обоснования высокого слога и опереться исключительно на функциональное значение церковнославянизмов и архаизмов вообще» (Тынянов, 1929, с. 125–126).

Различное решение вопроса о происхождении русского языка в партии Шишкова и в партии Карамзина определяет различное восприятие славянизмов. Поскольку карамзинисты не считают, что русский язык происходит из церковнославянского, и рассматривают последний как самостоятельный язык, принципиально отличающийся от древнерусского, славянизмы закономерно воспринимаются ими как заимствования, т. е. как иноязычные вкрапления в русскую речь, — но не как архаизмы. Совершенно иначе, между тем, воспринимают славянизмы Шишков и его сторонники, и это объясняется тем, что они отождествляют цер-

ковнославянский язык с предшествующим состоянием русского языка; отсюда славянизмы трактуются как архаизмы или же как слова, призванные демонстрировать связь с литературной традицией и определяющие вместе с тем преемственность этой традиции.

3.2.1. При этом карамзинисты, как мы знаем, в принципе вполне положительно относятся к заимствованиям, считая их естественным и закономерным явлением языковой эволюции; таким образом, признание славянизмов заимствованиями само по себе не может служить препятствием к их употреблению в рамках литературного языка. Существенным, однако, является то обстоятельство, что славянизмы представляют собой заимствования из языка мертвого. Если заимствования из живых европейских языков — прежде всего галлицизмы — призваны обогащать язык в процессе «естественного, безпрестанного движения живаго слова к дальнейшему совершенству» («Речь в Российской Академии», 1818 г. — Карамзин, III, с. 644) и рассматриваются в общем как непременное условие культурной коммуникации, взаимного обмена мыслями в процессе человеческого общения, то заимствования из мертвых языков никак не связаны с культурной и языковой эволюцией, с поступательным движением человеческой мысли (ср. выше, § **I-2**). Противопоставление живых и мертвых языков оказывается, таким образом, принципиально значимым для карамзинистов, воспринимаясь как реализация более общего противопоставления естественного и искусственного. Именно это и имеет в виду Батюшков, когда призывает в цитированном письме Гнедичу «перевести Священное Писание на язык человеческий» (Батюшков, III, с. 410). «Человеческими» Батюшков признает исключительно языки живого человеческого общения, противопоставляя таким образом живой русский язык искусственному и мертвому языку церковнославянскому. Сходным образом Жуковский, констатируя в своем конспекте по истории русской литературы (1826–1827), что мысль Шишкова «была дать преобладание в нашей словесности славянскому наречию Библии», прибавляет: «Мысль явно ложная, так как этот язык является некоторым образом языком мертвым! … Можно его использовать для того, чтобы обогатить живой язык; но именно этот язык может и должен быть усовершенствован» («Antagoniste de Karamsine l’amiral Schischkoff, minister de l’instruction publique, dont l’idée etait de faire dominer dans notre littérature le dialecte slavon de la Bible. Idée évidemment fausse! Car cette langue est en quelque manière une langue morte! Elle n’existe pour nous que dans la traduction des écritures. On peut en fair usage pour enrichir la langue vivante; mais c’est celle-ci qui peut et doit être perfectionnée» — Жуковский, 1948, с. 302, 311). С тех же позиций и Д. В. Дашков, говоря о славянизмах, обсуждает «необходимость пользоваться мертвым для нас языком для подкрепления живаго» (рецензия на «Перевод двух статей из Лагарпа…» — Дашков, 1810, с. 263; ср. возражения Шишкова в «Присовокуплении к Рассуждению о красноречии Священного Писания…» и ответные замечания Дашкова в памфлете «О легчайшем способе возражать на критики» — Шишков, IV, с. 100–101; Дашков, 1811, с. 42–46).

Различение живых и мертвых языков непосредственно связывается при этом с противопоставлением разговорного и книжного начала: живые языки, в отличие от мертвых, связаны с разговорным употреблением, тогда как в мертвых языках есть только грамматические правила, но нет критерия употребления — это определяет субстанционально различную природу живых и мертвых языков[38]. Таким образом, оппозиция церковнославянского и русского естественно соотносится с противопоставлением «употребления» и «грамматики». Характерны в этом смысле слова Карамзина в «Истории Государства Российского»: «Вообще язык наш от XIII до XV века приобрел более чистоты и правильности. Оставляя употребление собственнаго Русскаго, необразованнаго наречия, Писатели тщательнее держались Грамматики церковных книг… однакожь, подобно Летописцу Нестору, сшибались иногда и на употребление: от чего в слоге нашем закоренела пестрота, освященная древностию, так, что мы и ныне в одной книге, на одной странице пишем *злато* и *золото*, *глад* и *голод*, *младость* и *молодость*, *пию* и *пью*» (Карамзин, 1818–1829, V, с. 410–411).

3.3. Русский литературный язык как язык новой — европеизированной — литературы противопоставляется у карамзинистов церковнославянскому языку как языку церковных книг. Так, П. И. Макаров заявляет в рецензии на «Рассуждение…» Шишкова: «Слог церковных книг не имеет никакого сходства с тем, которого требуют от писателей светских. … Наши старинные книги не сообщают красок для роскошных будуаров Аспазий, для картин Вилландовых, Мейснеровых или Доратовых. Громкая лира [т. е. ода] может иногда подражать Давидовой арфе [т. е. Псалтыри]: но веселое, нежное, романическое воображение пугается темных пещер, в которых добродетель укрывалась от прелестей мира» (Макаров, IV, с. 175–176)[39]. Макаров демонстративно отдает предпочтение европейской литературе перед Псалтырью (отдавая дань традиции, он допускает влияние Псалтыри лишь на традиционный и фактически уже изживший себя жанр торжественной оды) и явно предпочитает в то же время «прелести мира» — христианской «добродетели».

Соответственно новое понимание литературного языка соотносится у карамзинистов с новым пониманием «литературы», ее объема и задач: если ранее *литература* означала ʽобразованность’, ʽученость’, ʽписьменность’ в широком смысле (в соответствии с этимологией этого слова, ср. *homo litteratus* ʽграмотный, образованный человек’), то в XVIII в. *литература* начинает пониматься как ʽизящная словесность’ (*belles-lettres*)[40]. При этом слово *литература*, оказываясь равнозначным слову *словесность*, вытесняет у карамзинистов это последнее и начинает восприниматься вообще как галлицизм (ср. франц. *littérature* и лат. *litteratura*), вызывая нападки литературных противников Карамзина (см., например, возражения Шишкова в «Рассуждении о старом и новом слоге…» — Шишков, II, с. 296–297, примеч.; ср.: Биржакова, Воинова и Кутина, 1972, с. 161–162; Веселитский, 1972, с. 221–224; Быстрова, 1966). Тем самым, если ранее «литература» не противопоставлялась «науке» и «литературные» тексты включали в себя науч-

ные, то постепенно эти понятия приобретают почти антагонистический смысл; вопрос об отличии писателя от ученого и о специфике художественной литературы, отличающей ее от научного текста, специально рассматривается в статье Карамзина 1791 г., посвященной херасковскому «Кадму и Гармонии» (МЖ, I, с. 80 сл.; ср.: Берков, 1952, с. 510). Противопоставляя в статье «Нечто о науках, искусствах и просвещении» 1794 г. «полезные искусства» и «изящные [или: приятные] искусства», Карамзин связывает первые со свойственным человеку стремлением «жить *покойно*», а вторые — с желанием «жить *приятно*» (Карамзин, III, с. 381, ср. с. 393); таким образом, наука связывается прежде всего с прагматикой и оказывается вне эстетических критериев, которые принадлежат исключительно компетенции «изящных искусств» и, в частности, литературе[41]. Знаменательно, что если в первоначальной редакции «Писем русского путешественника» (1791) Карамзин пользуется выражением *изящные науки* для передачи франц. *belles-lettres* или *beaux-arts* (см.: МЖ, II, с. 23; Карамзин, 1984, с. 416, примеч. 22), то в последующих изданиях он может заменять *Изящные Науки* на *Изящные Искусства* (см.: Карамзин, II, с. 73; Карамзин, 1984, с. 40 и с. 410, примеч. 24), хотя делает это и не всегда последовательно (см.: Карамзин, II, с. 76, 120; Карамзин, 1984, с. 42, 62); соответствующая правка относится к 1797 г., т. е. появляется уже в первом отдельном издании «Писем» [42].

При этом противопоставление науки и литературы у карамзинистов находит соответствие в противопоставлении книжного и литературного языка: литературный язык призван обслуживать именно литературные тексты, тогда как книжный язык может употребляться в текстах научных и им подобных [43]. Характерно, что когда Карамзин выступил со своей «Историей Государства Российского», язык которой по сравнению с другими карамзинистскими сочинениями должен быть квалифицирован как архаический, ее появление было воспринято противоположной партией как отказ от принципов «нового слога» и возвращение к предшествующей традиции. Шишков писал, например, в «Сравнении Сумарокова с Лафонтенем…», что Карамзин в «Истории Государства Российского» хотя и не «образовал язык, но возвратился к нему, и умно́ сделал» (Шишков, XII, с. 168)[44]. Это мнение, как ни странно, разделяется и одним из самых проницательных исследователей литературно-языковой полемики начала XIX в. — Ю. Н. Тыняновым. «Не очень распространен… тот факт, — говорит Тынянов, — что не Карамзин победил Шишкова, а, напротив, Шишков Карамзина. По крайней мере в 20-х и 30-х годах было ясно многим, что в „Истории Государства Российского“ Карамзин сдал свои стилистические позиции своим врагам» (Тынянов, 1929а, с. 4; ср. также: Тынянов, 1929, с. 292–293). Вряд ли можно с этим согласиться: необходимо помнить, что «История Государства Российского» не является литературным произведением в собственном смысле, т. е. не принадлежит к компетенции художественной литературы (хотя и создало целую литературную традицию и могло восприниматься современниками как sui generis произведение литературное), и именно в силу этого обстоятельства с позиции карамзинистов здесь вполне оправдано применение специфически книжных языковых средств. То, что

было воспринято сторонниками Шишкова как победа, на самом деле входило в программу «нового слога».

4. Установка на разговорную речь определяет социолингвистический аспект языковой программы карамзинизма. В самом деле, противопоставление письменного и разговорного языка проявляется, в частности, в том, что первый имеет принципиально наддиалектный характер, тогда как второму свойственно диалектное дробление (на географические или социальные диалекты): первый стремится к единообразию, второй — к дифференциации. В том случае, когда литературный язык отчетливо противопоставляет себя разговорной речи — как, например, латынь или церковнославянский, — одни и те же нормы правильной речи призваны объединять самые разные слои общества (при том, что степень владения соответствующими нормами может существенно различаться в разных социальных группах); напротив, ориентация литературного языка на разговорную речь естественно связывается с речевыми навыками определенного социума. Соответственно с отказом от единых критериев языковой правильности (объединяющих все общество в целом) закономерно возникает проблема социального престижа тех или иных речевых навыков: социальная норма выступает при этом как субститут книжной.

Язык карамзинистов явно ориентируется на разговорную речь светского общества или, иными словами, на социальный диалект дворянской элиты. В статье «Отчего в России мало авторских талантов?» Карамзин ссылается прежде всего на речь «лучших Домов», т. е. beau monde'а, рассматривая совершенствование этой речи как необходимое условие создания литературного языка; по мысли Карамзина, «Автору надобно иметь не только собственно так называемое дарование… но и… тонкой вкус и знание света»; без знания света, без наблюдения, «что ему нравится и по чему», «трудно Писателю образовать вкус свой, как бы он учен ни был»; «хорошие Авторы» появятся в России только тогда, когда «увидим между светскими людьми более ученых, или между учеными более светских людей» (Карамзин, III, с. 528, 527, 530, 531). По словам ближайшего сподвижника Карамзина И. И. Дмитриева, Карамзин «по зрелом размышлении пошел своей дорогой и начал писать языком, подходящим к разговорному образованнаго общества семидесятых годов» («Взгляд на мою жизнь» — И. Дмитриев, II, с. 61)[45]. В другом месте И. И. Дмитриев говорит о «языке правильном, простом, но благородном, каков Карамзинский (не в осуду будь сказано Полевому и его обезьянам)» (письмо к П. П. Свиньину от 18 апреля 1832 г. — И. Дмитриев, II, с. 303), и это в точности совпадает с оценкой Карамзина в записках Вигеля: «До него не было у нас иного слога, кроме высокопарного или площадного; он изобрел новый, благородный и простой» (Вигель, I, с. 130). Эпитет *благородный* явно относится при этом к речи дворянского социума (которая противопоставляется у Дмитриева мещанскому языку К. А. Полевого и его окружения); слово *простой* знаменует в этом случае ориентацию на разговорную

стихию; итак, имеется в виду разговорная речь дворянской элиты, которая противостоит как «высокопарному», т. е. славянизированному слогу, так и «площадной», т. е. простонародной речи. Между тем К. А. Полевой писал о последователях Карамзина (младших карамзинистах): «… Эта школа не так многочисленна печатно, как словесно, и не столько действует она в Литтературе, сколько в так называемом л у ч ш е м о б щ е с т в е» (рецензия на сборник Катенина — К. Полевой, 1833, с. 565). Ср. в этой связи также призыв П. И. Макарова «для изтребления педантства» согласовать «книжный наш язык» с «языком хорошаго общества» («Некоторые мысли издателей Меркурия» — ММ, I, с. 10); в противном случае, заявляет Макаров в другом месте, «пропадет уже вся надежда сделать для нас Руской язык приятнее других языков» (рецензия на «Рассуждение…» Шишкова — ММ, IV, с. 182) — ориентация на французскую языковую ситуацию предстает при этом со всей очевидностью. Соответственно, полемизируя с Шишковым, Макаров предлагает последнему попробовать перевести на «старый слог» разговоры «большого света» и таким образом проверить качество того языка, сторонником которого является Шишков. Так, в рецензии на книгу Шишкова Макаров писал: «Вместо жалоб, что мы не любим своих обычаев, лучше бы приложить несколько переводов из тех Французских романов, которые наполнены разговорами людей большаго света; или из тех легких сочинений, какими замысловатая Вольтерова Муза пленяла любезных Парижских Граций: тогда Читатели уверились бы, что старинный наш язык достаточен для выражения каждой мысли. Естьли же таких сочинений перевести не возможно, то по крайней мере надлежало бы доказать, что мы, переняв образ жизни чужестранной, и желая показывать то же остроумие, каким блистают другие народы, не имеем однакожь надобности изъяснять понятий других народов» (ММ, IV, с. 178–179)[46].

Отсюда языковая полемика «архаистов» (славянофилов) и «новаторов» (карамзинистов) имеет отчетливо выраженный социальный характер. Так, карамзинисты могут вести борьбу с церковнославянской языковой стихией под знаменем борьбы с «подьяческим»[47] или «семинарским» языком, эксплицитно переводя языковую полемику в социолингвистический план[48]: славянизмы осмысляются как семинаризмы или речевые признаки приказного сословия, т. е. книжный язык фактически переосмысляется в социолингвистической перспективе в своего рода сословный жаргон (именно в результате этого процесса появляется отрицательно-ироническое значение славянизмов в литературном языке — например, таких, как *пресловутый*, *оглашенный*, *осклабиться*, *разглагольствовать*, *распинаться* и т. п.).

Соответственно одни и те же оценочные характеристики могут иметь существенно различный смысл у карамзинистов и у их литературных противников: если у первых они выступают как социолингвистические оценки, то у вторых они фигурируют безотносительно к социальному расслоению общества. Такие эпитеты, как *благородный*, *простонародный* и т. п., применительно к характеристике языка (слога) употребляются в карамзинистской критике исключительно как социолингвистические оценки: эпитет *благородный* относится к языку светского

общества, *простонародный* — к языку низших сословий. Между тем, для Шишкова и его сторонников эпитет *благородный* в качестве стилистической характеристики равносилен «важному, высокому, книжному», тогда как *простонародное* может относиться к разговорному началу, характеризуя разговорную речь всех слоев общества, включая и представителей светской элиты. Эта разница отчетливо видна, например, в полемике Катенина и Бестужева (1822) о книге Греча «Опыт краткой истории русской литературы». Катенин пишет: «Знаю все насмешки новой школы над *Славянофилами*, *Варягороссами* и проч.; но охотно спрошу у самих насмешников: каким же языком нам писать Эпопею, Трагедию, или даже важную, благородную прозу?» (Катенин, 1822, с. 251–252). Отвечая на эти слова, Бестужев возражает: «… Для редкости, я бы желал взглянуть на Поэму или Трагедию, в наше время писанную на Славянском языке, хотя бы не стихами, но в *благородной* (т. е. не мещанской) прозе!» (Бестужев, 1822, с. 263). Заимствуя в качестве чужого слова у Катенина эпитет *благородный* (курсив в приведенной цитате соответствует кавычкам в современном употреблении), Бестужев придает этому слову существенно иной — и именно социолингвистический — смысл: для Катенина *благородный* равнозначен «важному», для Бестужева *благородный* — это не «мещанский»; оба понимания, таким образом, оказываются полемически противопоставленными[49]. Аналогичное различие может быть прослежено и в употреблении эпитета *подлый*. Так, карамзинист В. Измайлов, критикуя драму Н. И. Ильина «Великодушие, или Рекрутский набор», писал об авторе этой пьесы: «Можно ли было ему, рожденному с добрым сердцем и благородными чувствами, приятно заниматься подлым языком бурмистров, подьячих…» (Измайлов, 1804, с. 237). «Северный вестник» возражал Измайлову: «Выражение *подлый язык*, есть остаток несправедливости того времени, когда говорили и писали *подлый народ*; но ныне благодаря человеколюбию и законам, *подлаго народа* и *подлаго языка* нет у нас! а есть, как и у всех народов, *подлыя мысли*, *подлыя дела*. Какова бы состояния человек ни выражал сии мысли, это будет *подлый язык*, как на пр.: *подлый язык дворянина*, *купца*, *подьячего*, *бурмистра* и т. далее» (Письмо к издателям, 1804, с. 35–36)[50]. Совершенно такое же различие имеет место и в отношении характеристики *простонародный* как стилистической оценки: в отличие от карамзинистов, которые обозначают этим словом все то, что противостоит речи хорошего общества, для «архаистов» *простонародное* может относиться вообще к разговорному началу, характеризуя разговорную речь всех слоев общества. В «Разговорах о словесности…» Шишков замечает, например, что требование «писать как говорим» означает «не знать различия между красноречивым и простонародным, между возвышающим душу и употребляемым для объяснения ежедневных надобностей языком» (Шишков, III, с. 6–7). Соответственно, когда Шишков возражает против введения в «благородный язык» «простонародного произношения», отвечающего букве *ё* (там же, с. 25–38; см. также: Шишков, XII, с. 201–202; Шишков, 1870, II, с. 351–356, 387–388, 411–412; Сидорова, 1956, с. 171), то оппозиция, выражающаяся определениями *благородный* и *простонародный*, относится вовсе не к социолингвистическому противопоставлению дворянской ре-

чи и речи простого народа, а к противопоставлению книжного и разговорного языка (живая разговорная речь не отличалась по данному признаку от речи простолюдинов) — эпитет *благородный* означает здесь ʻвысокий, книжныйʼ, а *простонародный* соответствует ʻразговорномуʼ. Между тем, карамзинисты вкладывают в эти термины именно социолингвистическое содержание: *простонародное* равнозначно у них ʻподломуʼ, т. е. ʻмужицкомуʼ, а также ʻмещанскомуʼ, ʻподьяческомуʼ и т. п. Так, например, призывая ориентировать литературный язык на разговорную речь, П. И. Макаров предупреждает против следования «выражениям простонародным»; в рецензии на перевод романа Жанлис Макаров писал: «Господин Переводчик весьма старался применяться к языку, употребительному в обыкновенном разговоре. Только надлежало бы ему подражать людям, которые говорят *хорошо*, а не тем, которые говорят *дурно*. Выражения простонародныя не должны Писателю служить правилом» (ММ, IV, с. 121–122)[51]. Социолингвистическая ограниченность карамзинистской концепции литературного языка непосредственно связана с установкой на разговорную речь.

4.1. Итак, установка карамзинистов на разговорную речь предполагает ориентацию на речевые нормы элитарного общества. Мы знаем об этих нормах главным образом по их утрированным, карикатурным изображениям в сатирической литературе второй половины XVIII — начала XIX в., где они обычно именуются «щегольским наречием». Если отвлечься от преднамеренного сатирического утрирования и ряда стереотипных приемов изображения щеголя-петиметра, «щегольское наречие» и может рассматриваться как дворянский социальный диалект в его специфических формах, иначе говоря, речь дворянства постольку, поскольку она не нейтральна, социально маркирована, т. е. противостоит (и в известных случаях сознательно противопоставляется) речи всего остального русского общества. Естественно, что эти специфические формы общения в первую очередь характерны для столичных салонов и отличаются прежде всего гетерогенностью, обусловленной влиянием со стороны западноевропейских языков: именно европеизмы, в первую очередь галлицизмы (заимствования и кальки), и создают наиболее очевидный социолингвистический барьер между речью дворян и речью остальных слоев общества. Вообще «щегольское наречие» — это явление, целиком относящееся к разговорной сфере, поэтому в целом ряде моментов оно может смыкаться с просторечием. О близости «щегольского» языка к народному просторечию писал П. М. Бицилли (1936, с. 6): «В сущности, оба эти… языка были одним и тем же языком: „щегольской“ отличался от „деревенского“ только примесью варваризмов»[52].

По словам В. В. Виноградова, «изучение „наречия“ „щеголей“ и „щеголих“ конца XVIII века нельзя отделять от вопроса о светском языке русской дворянской интеллигенции (столичной и находившейся под влиянием столиц — провинциальной), которая, разрывая связи с традициями церковной книжности, питалась французской „культурой“… Не будет парадоксальным утверждение, что диалект „щеголей“ и „щеголих“ XVIII века стал одной из социально-бытовых опор лите-

ратурной речи русского дворянства конца XVIII — начала XIX века» (В. Виноградов, 1935, с. 195–196).

Упорная — и, видимо, безуспешная — борьба с «щегольским наречием» в литературе второй половины XVIII — начала XIX в., может быть, ярче всего указывает на значимость этого феномена как культурно-исторического явления. Во всяком случае влияние «щегольского наречия» отчетливо прослеживается в современном литературном языке, и это позволяет констатировать определенную разговорную традицию, которая первоначально была характерна исключительно для дворянского beau monde'а, а затем стала общим достоянием. Если такие, например, слова, как *интересный* (в значении ʻлюбопытныйʼ, ʻзанимательныйʼ, но не ʻвыгодныйʼ, ʻприбыльныйʼ), *серьезный*, *развязный* — в свое время одиозные (социолингвистически маркированные) и характерные для стилизованной речи галломанов-петиметров в сатирической литературе XVIII в., — вошли в русский литературный язык как нейтральные выражения и совсем не ощущаются здесь как гетерогенные элементы, то мы обязаны этим именно традиции разговорной речи, идущей от «щегольского наречия» (см.: Лотман и Успенский, 1975/1996, с. 612–613, 617–618, 651–653, примеч. 22, 30, 164)[53]. Это влияние не ограничивалось лексикой, распространяясь также на фонетику (к фонетическим признакам «щегольского наречия», которые получают в дальнейшем более или менее широкое распространение, относятся грассирование и манерное шепелявенье[54], а также прононс и вообще особая фоностилистика иностранных слов), синтаксис (ср. примеры синтаксических галлицизмов, вошедших в литературный язык, у Исаченко, 1976, с. 190, 388–390; ср. еще: Лотман и Успенский, 1975/1996, с. 620–621, примеч. 38), фразеологию (см. об этом: Лотман и Успенский, 1975/1996, с. 497, а также с. 572, 605–606, 618–619, 625, 630, примеч. 239, 9, 32, 53, 75). Значительная роль в адаптации соответствующих выражений и конструкций принадлежит именно карамзинистам, деятельность которых в определенной степени и узаконила данную традицию.

Языковая практика Карамзина и его последователей довольно точно соответствует вообще тем образцам «щегольского наречия», которые мы находим, например, в новиковских журналах или в комедиях конца XVIII — начала XIX в. Не случайно реформа Карамзина может связываться позднее именно с «щегольской чистотой языка» (Булгарин, 1831, № 286, с. [4]).

Связь карамзинизма с «щегольской» культурой не ограничивается социолингвистическим аспектом и проявляется даже в личном поведении. Целый ряд карамзинистов, такие как П. И. Макаров, П. И. Шаликов, В. Л. Пушкин, несомненно, были щеголями[55]. Не менее очевидно щегольство и самого молодого Карамзина: не случайно А. М. Кутузов в 1791 г. пишет карикатуру на Карамзина, где выводит его в образе петиметра Попугая Обезьянина, который говорит о себе: «Мое воспитание не отличалось ничем от прочаго нашего дворянства воспитания: научили меня болтать по-французски и немецки; на сих двух языках имел я счастие читать множество романов, — на грубом российском языке сказка... Наставники мои были чужестранцы...» и т. д. и т. п. (Барсков, 1915, с. 70–73;

попугай и *обезьяна* представляют собой стереотипные обозначения щеголя в сатирической литературе второй половины XVIII в.), ср. сходный отзыв о Карамзине как о ксенофиле в письме М. И. Багрянского к А. М. Кутузову того же 1791 г. (несколько более позднем по времени — см. там же, с. 86)[56]. Отметим еще в этой связи «Похвальную речь Ермалафиду, говоренную в собрании молодых писателей» Крылова, направленную, как полагают, против Карамзина (1793), где Крылов в следующих выражениях описывает Ермалафида — Карамзина: «Он один только в состоянии с такою легкостью… хваля Юнговы *Нощи*, заметить, что немцы обуваются щеголеватее французов». «„Разве ты всю грамматику выучил?“ — спрашивали у него. „Нет, — отвечал неоцененный герой, — но, поверьте, что я и без грамматики могу пощеголять моим слогом“» (Крылов, I, с. 387–388). Об устойчивости данного представления можно судить хотя бы по следующей характеристике Карамзина во второй редакции «Дома сумасшедших» А. Ф. Воейкова (1818–1822):

Карамзин, Тит Ливий русский,
Ты, как Шаликов, стонал,
Щеголял, как шут французский…
Ах, кто молод не бывал?
(Лотман, 1973, с. 14)[57]

Щеголем, увлеченным светской жизнью, рисуют молодого Карамзина и его друзья. И. И. Дмитриев вспоминает, например, о встрече с Карамзиным в Симбирске в 1784 г.: «… Я нашел его уже играющим ролю надежнаго на себя в обществе: опытным за вистовым столом; любезным в дамском кругу и оратором перед отцами семейств…» (И. Дмитриев, II, с. 25)[58], тогда как А. А. Петров пишет Карамзину 20 мая 1785 г.: «Мне весьма приятно слышать, что ты не совсем чужд в Большом Симбирском Свете» (Карамзин, 1984, с. 502). Сам Карамзин в письме к Лафатеру от 14 августа 1786 г. с сожалением говорит об этом периоде своей жизни, признаваясь, что он «позволял себе наслаждаться удовольствиями большого света» («erlaubte ich mir… die Lustbarkeiten der großen Welt zu genießen»), сделавшись «большим любителем всех светских развлечений и страстным картежником» («Ich ward ein großer Liebhaber von allen weltlichen Lustbarkeiten, und auch ein hitziger Kartenspieler» — Карамзин, 1984, с. 465 и 485). Тем не менее и позднее Карамзин отнюдь не чуждается «удовольствий большого света». Показательна, между прочим, шуточная надпись И. И. Дмитриева к портрету Карамзина (1790-х гг.):

Он дома — иль Шолье, иль Юм или Платон;
Со мною — милый друг; у Вейлер — селадон;
Бывает и игрок — когда у Киселева,
А у любовницы — иль ангел, или рева.
(И. Дмитриев, I, с. 138)[59]

Карамзин предстает в этих стихах как салонный поэт и галантный эпикуреец — русский Шольо, — сочетающий светскую жизнь с маской философа[60]. Как писал Вяземский, «до второй женитьбы своей [в 1804 г.]… вел он [Карамзин] жизнь

довольно светскую. Тогда, как я слышал от него, играл он в карты, в коммерческия игры, и вел игру довольно большую… С тех пор, что я начал знать его, он очень редко, и то по крайней необходимости, посещал большой свет» («Старая записная книжка» — Вяземский, X, с. 250–251)[61]; как видим, этот светский период жизни Карамзина совпадает со временем его интенсивной литературной (и журнальной) деятельности — отказ от светских увлечений хронологически совпадает с начинающимся отходом от литературной работы.

Есть все основания утверждать, что разговорная речь Карамзина несла на себе явный отпечаток «щегольского наречия», ср. отзыв Г. П. Каменева (в письме к С. А. Москотильникову от 10 октября 1800 г.) о речи Карамзина: «Карамзин употребляет французских слов очень много. В десяти русских верно есть одно французское. *Имажинация*, *сентименты*, tourment, energie, epithet, *экспрессия*, *экселлировать* и проч: повторяет очень часто» (Бобров, III, с. 130). Каменев здесь же приводит и образцы речи Карамзина, где мы находим специфические образцы «щегольского наречия» (например, «*темная* любовь к литтературе», «этот автор… ничем не *брильирует*» и т. п. — см. об этом: В. Виноградов, 1935, с. 196–197). Черты «щегольского наречия» могут быть прослежены и в литературном творчестве карамзинистов, и прежде всего в первом (журнальном) варианте «Писем русского путешественника» Карамзина. Уже первая фраза «Писем русского путешественника»: «Разстался я с вами, милые, разстался!» — должна была служить своеобразным сигналом, задавая тон всему сочинению и соответствующим образом ориентируя читателя: слово *милые* в подобном контексте воспринималось как модное, «щегольское» слово[62], именно так и была воспринята эта фраза современниками Карамзина[63]. Впоследствии это слово становится одним из типичных ярлыков карамзинизма как литературного направления (см.: Лотман и Успенский, 1975/1996, с. 661–664, примеч. 221; Альтшуллер, 1975, с. 100–101, 103).

В дальнейшем соответствующие черты могут отчасти устраняться из литературных текстов по мере того, как они осознаются как ненейтральные, и в этом отношении очень показательна последующая авторская правка «Писем русского путешественника» (см. о ней: Сиповский, 1899, с. 170–237; Карамзин, 1984, с. 394–447); однако в большинстве случаев подобные выражения и конструкции усваиваются в литературном языке, утрачивая специальный социолингвистический оттенок. Естественно, что в литературных текстах черты «щегольского наречия» как собственно разговорного явления прослеживаются все же в меньшей степени, нежели в обиходной речи; в этом плане показательно сопоставление языка «Писем русского путешественника» с языком подлинных писем молодого Карамзина — например, его писем к И. И. Дмитриеву, — иначе говоря, сопоставление литературных и эпистолярных текстов[64]. Даже в условиях сознательной ориентации на разговорную языковую стихию литература предполагает определенный отбор средств выражения (с помощью критерия вкуса), и соответственно разговорная речь подвергается здесь известной фильтрации; наконец, необходимо помнить, что карамзинисты ориентируются не столько на реальное, сколько на идеальное состояние разговорной речи (см. выше, § **I-1.1**).

Соответствующая правка «Писем русского путешественника» в какой-то степени может быть связана и с изменчивостью «щегольского наречия» как социального диалекта дворянской элиты. «Щегольское наречие» характеризуется относительной нестабильностью и подвержено изменениям, связанным с фактором моды (это не мешает прослеживать здесь определенные традиции разговорной речи). Одновременно влияние разговорной речи дворянского общества на речь других сословий (прежде всего, городского мещанства) обусловливает постоянное обновление «щегольского наречия», определяющееся стремлением элитарной речи к обособлению, — когда те или иные выражения, ранее принадлежавшие «щегольскому наречию», перестают употребляться его носителями, воспринимаясь теперь как «мещанские», устаревшие и т. п., т. е. приобретая специальный стилистический и социолингвистический нюанс. Так, Шишков в «Рассуждении о старом и новом слоге…» констатирует, что «обветшалыя иностранныя слова, как например: *авантажиться*, *манериться*, *компанию водить*, *куры строить*, *комедь играть* и проч. … прогнаны уже из большова света и переселились к купцам и купчихам» (Шишков, II, с. 23, примеч.); все эти выражения были характерны в свое время для «щегольского наречия» (см.: Лотман и Успенский, 1975/1996, с. 568, примеч. 218)[65].

Основные признаки карамзинского подхода к литературному языку, охарактеризованные еще в классической работе Я. К. Грота о Карамзине, а именно: «ограничение [роли] славянизмов», «введение иностранных слов для новых понятий», «сообщение прежним словам нового значения» и «составление новых слов» (Грот, II, с. 79–83), — находят соответствие в практике «щегольской» речи[66]. Точно так же карамзинистов и представителей «щегольского наречия» объединяет ориентация на дамский язык и вкус (см. об этом ниже, § **I-4.2**) и отношение к языковой эволюции, в которой усматривается не порча языка, а прогрессивное явление, связываемое с совершенствованием вкуса. Если носители «щегольского наречия» в большинстве случаев и не ставили перед собой собственно литературных задач, то для них всегда были актуальны проблемы изящества, манерности, «приятности» речи (ср.: Лотман и Успенский, 1975/1996, с. 478–479). Известная карамзинская характеристика новой русской литературы в «Пантеоне Российских авторов»: «*приятность слога*, называемая Французами Elegance» (Карамзин, 1801–1802, II, страница к портрету Кантемира; Карамзин, I, с. 577) ближайшим образом соответствует требованиям «приятного вкуса», «приятства слуха» и т. п., выдвигавшимся для «щегольского наречия»: не случайно цитированная фраза вызвала особенно резкие нападки оппонентов Карамзина[67]. Можно сказать, что слово *élégance* фигурирует в начале XIX в. как ярлык карамзинизма[68] (вероятно, отсюда возникло и слово *элегантный*, кажется, неизвестное в языке XVIII в.[69]). Любопытно в этом смысле, что, перепечатывая «Пантеон Российских авторов» в собрании сочинений 1820 г., Карамзин устраняет слова «называемая Французами Elegance» (ср.: Карамзин, I, с. 577) — явно в связи с их откровенно эпатирующим характером[70].

Все сказанное позволяет видеть в носителях «щегольской» речи ту культурную среду, которая способствовала возникновению карамзинизма. Не случайно

Кюхельбекер мог считать, что язык карамзинистской литературы — это не что иное, как «un petit jargon de coterie» («О направлении нашей поэзии, особенно лирической, в последнее десятилетие», 1824 г. — Кюхельбекер, 1979, с. 457). То же, по-видимому, говорит и Пушкин, когда характеризует язык карамзинистов как «язык условленный, избранный» в статье «О поэтическом слоге» 1828 г. (Пушкин, XI, с. 73) и вместе с тем противопоставляет «щегольство речей» «простонародному слогу», принятому в «истинно дворянском» обществе, в набросках к VIII главе «Евгения Онегина» 1830 г.:

В гостиной истинно дворянской
Чуждались щегольства речей
И щекотливости мещанской
Журнальных чопорных судей.

В гостиной светской и свободной
Был принят слог простонародный
И не пугал ничьих ушей
Живою странностью своей.
(Пушкин, VI, с. 626–627)[71];

ср. еще о том же и в статье Пушкина «О новейших блюстителях нравственности» 1830 г. (Пушкин, XI, с. 98)[72]. Уже в письме к Вяземскому от 1–8 декабря 1823 г. Пушкин заявлял: «Я не люблю видеть в первобытном [в первоначальном варианте: гордом первобытном] нашем языке следы европейского [в первоначальном варианте: французского] жеманства и фр[анцузской] утонченности. Грубость и простота более ему пристали» (Пушкин, XIII, с. 80, 385).

Знаменательно при этом, что в своем употреблении слова *простонародный* Пушкин примыкает не к карамзинистам, а к сторонникам Шишкова (ср. выше, § **I-4**); такое употребление соответствует вообще языковой позиции Пушкина приблизительно с середины 1820-х гг. (см. о ней: Тынянов, 1929, с. 87–227; В. Виноградов, 1935, passim; Томашевский, 1959а, с. 385–392; Лотман и Успенский, 1975/1996, с. 500–501; Успенский, 1983/1994, с. 167 сл.). Соответственно, отвечая на придирки критики к стилю «Полтавы», Пушкин писал в 1830 г.: «Слова *усы*, *визжать*, *вставай*, *рассветает*, *ого*, *пора* казались критикам *низкими*, *бурлацкими*; но никогда не пожертвую искренностию и точностию выражения провинциальной чопорности и боязни казаться простонародным, славянофилом и тому под.» («Опровержение на критики», 1830 г. — Пушкин, XI, с. 159) — эпитет *простонародный* явно ассоциируется в этом контексте с позицией Шишкова и его партии (слово *славянофил* восходит вообще к прозвищу Шишкова и в дальнейшем распространяется на его сторонников).

4.1.1. Говоря о «щегольском наречии», целесообразно различать социальный жаргон и социальный диалект, поскольку данный термин фактически закрывает оба значения (см.: Успенский, 1987/2002, с. 13, § 1.3). Под социальным жаргоном понимается вообще речевая норма, приобретаемая в сознательном возрасте и свя-

занная с вхождением в некоторую социальную корпорацию, к которой, по условию, нельзя принадлежать с самого рождения (примером могут служить всякого рода профессиональные арго, блатная речь и т. п.); пользование такой нормой предполагает осмысление себя членом данного социума, причем сам социум негласно регламентирует право на соответствующее речевое поведение. Овладение жаргоном всегда носит более или менее искусственный характер и связано с осознанным стремлением к обособлению и противопоставлению некоторой социальной группы всему остальному обществу. Однако «щегольское наречие» как социальный жаргон обнаруживает тенденцию превращаться в социальный диалект столичного дворянства, когда соответствующие формы общения органически усваиваются в процессе естественного обучения языку уже в детском возрасте и таким образом распространяются на все общество. Итак, в основе «щегольского наречия» как социального диалекта лежит «щегольское наречие» как социальный жаргон. Первое питается вторым, т. е. жаргон постоянно обогащает диалект и в свою очередь постоянно обновляется, пытаясь обособиться от него. Жаргону вообще свойственна изменяемость, нестабильность, подчиненность моде, и эти его качества в конечном счете отражаются на диалекте.

Карамзинисты в принципе ориентировались на «щегольское наречие» как социальный д и а л е к т, тогда как объектом сатирических нападок в литературе XVIII — начала XIX в. служили прежде всего жаргонные явления. Точнее можно было бы сказать, что карамзинисты использовали такие средства выражения, которые, по их мнению, м о г л и б ы стать социальным диалектом дворянства; в этом отношении они могли, так сказать, предвосхищать события, т. е. использовать жаргонные выражения, если в них усматривалась потенциальная возможность превращения в диалектные формы. Эта ориентация на диалект, а не на жаргон соответствует общей установке на естественное начало в языке, присущей вообще карамзинизму как интеллектуальному явлению; одновременно попытка предвосхитить будущее употребление соответствует отношению карамзинистов к языковой эволюции, в которой усматривается не порча языка, а прогрессивное явление, связанное с совершенствованием вкуса (ср. выше, § **I-2**). Вместе с тем, для преобладающей части русского общества оба явления органически объединялись под именем «щегольского наречия»; вообще границы между жаргоном и диалектом были крайне нестабильны и могли по-разному интерпретироваться в зависимости от субъективной позиции и индивидуального опыта. Иначе говоря, карамзинисты, по-видимому, были склонны придавать термину *щегольское наречие* более специальное значение, нежели то, которое было вообще принято в языке. Соответственно сами карамзинисты, как правило, предпочитают не пользоваться терминами *щегольство*, *щегольской* и т. п. в своих стилистических характеристиках, между тем как другие могут воспринимать их как типичных представителей «щегольского наречия».

4.2. Связь с «щегольским наречием» и вообще с разговорным языком светского общества определяет ориентацию карамзинистов на ж е н с к у ю речь. Необходимо иметь в виду, что законодателями норм щегольской речи были именно

женщины («щеголихи»); аналогичную роль играли женщины и во французской салонной культуре — французский салонный жаргон может называться «жаргоном прециозниц» (см. ниже, § **I-4.3**). Вместе с тем, в женской среде была особенно распространена галломания, и речь светских дам второй половины XVIII — начала XIX в. была по преимуществу макаронической, ср. в этой связи отзыв Пушкина в письме к брату от 24 января 1822 г. о «полу-русском, полу-французском» языке «московских кузин» (Пушкин, XIII, с. 35), а также многочисленные свидетельства о предубеждении женщин против русского языка и предпочтении ему языков иностранных (см., в частности: В. Левин, 1964, с. 128–130; Лотман, 1980, с. 221–224; ср. еще: Вигель, I, с. 275, 329).

Отсюда русские петиметры считали необходимым говорить именно так, как говорят женщины, и в новиковском «Живописце», например, мы встречаем знаменательное заявление мужчины-петиметра: «Необходимо… должен я… говорить нынешним щегольским женским наречием, ибо в наше время почитается это за одно не из последних достоинств в любовном упражнении» («Живописец», 1772, ч. I, л. 4; Берков, 1951, с. 293)[73]. В социолингвистической перспективе противопоставление «щегольского наречия» книжному языку может восприниматься как противопоставление «женского» слога «подьяческому», ср. характерный упрек издателю «Трутня», т. е. Новикову, от лица сочинительницы-щеголихи: «… Из женскава слога сделал ты подьяческай, наставил ни к чему: *обаче*, *иначе*, *дондеже*, *паче*. Мы едаких речей ничуть не пишем, у мущин они в употреблении, а у женщин нет» («Трутень», 1770, л. XIV; Берков, 1951, с. 233–234) — славянизмы при этом осмысляются как признаки приказного языка. Совершенно так же и Карамзин в рецензии на перевод «Неистового Роланда» может противопоставлять женскую речь приказному слогу («*В следствие чего*, *дабы* и проч. … это слишком по-приказному, и очень противно в устах такой женщины, которая, по описанию Ариостову, была прекраснее Венеры» — МЖ, II, с. 325), тогда как в «Письмах русского путешественника» он противопоставляет «женский язык» «высокопарному» стилю (ср. описание впечатления от чтения «Мыслей о любви» маркизы Л* в салоне госпожи Гло*: «… Я думал: … *высокопарно, темно, и совсем не женской язык*!» — Карамзин, II, с. 586; Карамзин, 1984, с. 289)[74]. Вполне закономерно поэтому, что в своих критических разборах, которые мы цитировали выше (в § **I-3**), Карамзин и его последователи особенно настойчиво подчеркивают недопустимость славянизмов в речи женщин.

Следует подчеркнуть вообще, что речь женщин всегда была относительно свободна от книжного влияния и соответственно женщины могли восприниматься как хранители собственно разговорной речевой традиции; это связано, конечно, с различиями мужского и женского образования (ср.: Алексеев, 1984). В частности, в условиях церковнославянско-русской диглоссии именно мужчины являлись носителями церковнославянского языка (обучение книжному языку при диглоссии распространяется преимущественно на мужскую часть общества); естественно, что в условиях борьбы с церковнославянской языковой стихией женская речь должна была ассоциироваться с противоположным полюсом[75].

Отсюда объясняется ориентация карамзинистов на язык и вкус светской дамы и вообще характерная для этого направления феминизация языка и литературы: женщины выступают, с одной стороны, как обладательницы тонкого вкуса и «нежного слуха»[76] и, с другой стороны, — как носительницы естественного начала в языке. Соответственно Карамзин в статье «Отчего в России мало авторских талантов?» сетует на то, что «милыя женщины, которых надлежало бы только подслушивать, чтобы украсить роман или комедию любезными, щастливыми выражениями, пленяют нас, не Русскими фразами» (Карамзин, III, с. 528); то же говорит он и в «Письмах русского путешественника»: «Наш язык и для разговоров право не хуже других; надобно только, чтобы наши умные светские люди, особливо же красавицы, поискали в нем выражений для своих мыслей» (Карамзин, II, с. 684–685; Карамзин, 1984, с. 338)[77]. Между тем, П. И. Макаров в рецензии на перевод романа Жанлис призывает писателей «подражать людям, которые говорят *хорошо*, а не тем, которые говорят *дурно*» и добавляет: «У нас *язык общества* еще не образовался, потому что люди, которые могли бы образовать его, а особливо *женщины*, занимаются предпочтительно языками иностранными» (ММ, IV, с. 121–122). Таким образом, именно женщины, по мысли карамзинистов, создают «язык общества»; тем самым литературный язык, ориентированный на речь светского общества, должен ориентироваться прежде всего на речь женщин — в результате творчество писателя, говоря словами Макарова, оказывается в зависимости от «роскошных будуаров Аспазий» (рецензия на «Рассуждение…» Шишкова — ММ, IV, с. 176). В программной статье «Некоторые мысли издателей Меркурия» тот же Макаров писал: «Для изтребления педантства, напротив того — для соглашения книжнаго [т. е. литературного] нашего языка с языком хорошаго общества — мы хотели бы, чтобы Женщины занимались Литературою; от тонкаго их вкуса, от пылкаго их вображения, от нежной их души ожидаем хороших Авторов…» (ММ, I, с. 10–11). Итак, женщины призваны противостоять «педантству», т. е. специфически книжному элементу в литературном языке. Соответственно Батюшков советует Гнедичу в письме от 19 сентября 1809 г.: «… Излишний славянизм не нужен, а тебе будет и пагубен. Стихи твои… будут читать женщины, а с ними худо говорить непонятным языком» (Батюшков, III, с. 47), — как видим, показателем хорошего слога является понятность его для дам. В «Певце в Беседе любителей русского слова» (1813) Батюшков так формулирует программу карамзинизма:

Кто пишет так, как говорит,
Кого читают дамы.

(Батюшков, I, с. 174)

— оба условия предстают при этом как естественно и органически связанные.

В статье «Отчего в России мало авторских талантов?» Карамзин замечает, что «светския женщины не имеют терпения слушать или читать» русских писателей, «находя, что так не говорят люди со вкусом»; если же спросить у них: «как же говорить должно?», «всякая из них отвечает: „не знаю; но это грубо, несносно!“» (Карамзин, III, с. 529). Итак, именно женщины выступают как представители чи-

тательской аудитории, и вместе с тем они являются законодательницами вкуса. Отвечая Карамзину, Шишков писал в «Рассуждении о старом и новом слоге…»: «Милыя *дамы*, или по нашему грубому языку *женщины*, *барыни*, *барышни*, редко бывают сочинительницами, и так пусть их говорят, как хотят» (Шишков, II, с. 128–129). Таким образом, и Карамзин и Шишков видят в женщинах носительниц разговорной стихии, однако по-разному это оценивают: для Карамзина они становятся вершителями судеб литературного языка, для Шишкова — вообще не имеют к нему никакого отношения.

4.3. В свете сказанного не может не обратить на себя внимание характеристика в «Письмах русского путешественника» Жана Луи Геза де Бальзака, одного из законодателей хорошего тона и вкуса прециозных писателей, как «славного *щеголя* Французскаго языка (разумеется, по тогдашнему времени)» (Карамзин, II, с. 504; Карамзин, 1984, с. 249). Следует иметь в виду, что прециозная литература с ее утонченным стилем, противопоставляющим себя вульгарной речи, с ее установкой на causerie аристократических салонов и ориентацией на дамский вкус, наконец, с характерными для нее пасторальностью, риторической декламационностью и лирическими реминисценциями обнаруживает явное типологическое сходство с карамзинизмом. Вместе с тем, так называемый «жаргон прециозниц» («jargon de précieuses») — с аффектацией языка, с постоянным обновлением словаря путем искусственного введения неологизмов, с использованием слов в переносном смысле и т. п. (см.: Сомэз, I, с. XLI–LXIV; Латюйер, 1966, с. 37–38) — в целом ряде моментов оказывается сходным с русским «щегольским наречием», в формировании которого, как мы уже упоминали, основная роль также принадлежала женщинам («щеголихам»). Характеристика такого рода, бесспорно, свидетельствует о внимании к проблемам «щегольского наречия» в его отношении к литературному языку.

Характерно, что, говоря в «Письмах русского путешественника» от лица своего собеседника, некоего аббата Н* (явно условный персонаж, служащий для выражения взглядов самого автора), о золотом веке французской литературы, Карамзин называет прежде всего представителей прециозной литературы — таких, как Вуатюр, Менаж, Пелиссон, Саразен; по словам Карамзина, они «блистали остроумием, сыпали Аттическую соль на общий разговор и были законодателями забав и вкуса» (Карамзин, II, с. 457; Карамзин, 1984, с. 224, ср. комментарий на с. 645–646)[78]. Речь идет при этом об эпохе, когда во Франции было еще «хорошее общество (la bonne compagnie)». Об интересе к прециозной литературе в какой-то мере может свидетельствовать и цитата из Брантома в «Письмах русского путешественника» — автора «Жизнеописания галантных дам» («Vies des dames galantes»), которое пользовалось большой популярностью в кругах прециозных писателей (Карамзин, II, с. 528–529; Карамзин, 1984, с. 260–261, ср. комментарий на с. 658)[79].

Ассоциация карамзинизма с прециозностью нашла отражение в «Происшествии в царстве теней, или Судьбине Российского языка» Боброва (1805), написанном в манере лукиановского разговора (см. изд.: Лотман и Успенский, 1975/1996,

с. 573–602), непосредственным источником которого является «Les héros de roman. Dialogue à la manière de Lucien» Буало: если сочинение Буало высмеивает прециозных авторов, то диалог Боброва обличает карамзинистов — карамзинизм предстает при этом как своего рода русский вариант прециозной культуры.

В этом же плане заслуживает внимания связь языковой программы Карамзина с идеями Вожела (Vaugelas): как известно, Вожела был непосредственно связан с представителями прециозной литературы и его знаменитые «Remarques sur la langue françoise» (1647) в значительной степени отражают взгляды салона мадам де Рамбулье.

5. Влияние Вожела и его последователей на Карамзина несомненно[80]. Заявления карамзинистов о соотношении литературного языка и разговорной речи, о необходимости ориентироваться на речевые навыки «лучших домов» (beau monde'а), наконец, о роли писателя, обладающего чувством вкуса, в образовании языковой нормы могут ближайшим образом напоминать положения Вожела[81]. Понятие «вкуса» у карамзинистов содержательно соответствует понятию «употребления» у Вожела; как отмечает В. Д. Левин, «опора на „вкус“ собственно и означает опору на „общее употребление“, на речевую практику образованного общества» (В. Левин, 1964, с. 125). То, что карамзинисты говорят об изменяемости языка и вкуса (см. выше, § **I-2**), прямо соответствует мысли Вожела о постоянном изменении языка и употребления (см.: Вожела, 1647, л. 15 об., с. 39, 157, 534). П. И. Макаров «отсылает» в одном из своих критических разборов не понравившиеся ему слова и выражения — как правило, это славянизмы — к «Трибуналу Вкуса» (рецензия на перевод книги Лантье — ММ, II, с. 67), подобно тому как Вожела в свое время объявлял употребление «арбитром» при решении языковых проблем: Вожела именно говорит об «Употреблении… которое весь свет называет… арбитром или властителем языков» («Cét Usage… que tout le monde appelle… l'arbitre, ou le maistre des langues» — Вожела, 1647, л. 1 об.)[82]. В другой рецензии, говоря о необходимости согласовать литературный язык с общим употреблением («применяться к языку, употребительному в обыкновенном разговоре»), Макаров призывает различать хорошее и дурное употребление: «… Надлежало бы… подражать людям, которые говорят *хорошо*, а не тем, которые говорят *дурно*. Выражения простонародныя не должны Писателю служить правилом» (рецензия на перевод романа Жанлис — ММ, IV, с. 121–122). Это в точности соответствует положению Вожела о двух употреблениях в языке, ср., например: «Есть, без сомнения, два вида употребления: доброе и дурное», «Мы полагаем, что народ владеет лишь дурным употреблением, тогда как доброе употребление владеет нашим языком» («Il y a sans doute deux sortes d'Usages, un bon et un mauvais», «Selon nous, le peuple n'est le maistre que du mauvais Usage, et le bon Usage est le maistre de nostre langue» — Вожела, 1647, л. 1 об., 9 об.; ср.: Бюфье, 1754, с. 17). Наконец, характерная для карамзинистов феминизация литературного языка, проявляющаяся в ориентации на язык и вкус светской дамы (ср. выше, § **I-4.2**), обнаруживает разительное сход-

ство с установкой Вожела (см. относительно Вожела в этой связи: Флютр, 1954). Если в глазах Вожела достоинство женской речи определяется тем обстоятельством, что она свободна от влияния латинского языка[83], то карамзинисты призывают ориентироваться на женскую речь потому, что она свободна от церковнославянского влияния. Отношение Вожела к латыни, таким образом, соответствует отношению карамзинистов к церковнославянскому языку.

Необходимо подчеркнуть, что Вожела противопоставлял языковое употребление, как нечто немотивированное, рациональным грамматическим правилам: по его словам, употребление в принципе не поддается рациональному объяснению и может вступать в конфликт с правилами (Вейнрих, 1960, с. 4, 13–15)[84]. На этом основании употребление противопоставляется грамматике: Вожела обсуждает именно «все способы говорения, которые употребление установило против правил грамматики» («toutes les façons de parler, que l'Usage a establies contre les reigles de la Grammaire» — Вожела, 1647, с. 305, ср. еще с. 310–311, 375, 469). Вообще говорить по грамматике, т. е. в соответствии с правилами («parler grammaticalement»), с точки зрения Вожела, — совсем не то же самое, что говорить по-французски («parler françois»)[85]. То же утверждают и карамзинисты, провозглашая критерий «вкуса, неизъяснимого для ума», и соответственно противопоставляя «чувствование» — «умничанью» (см. выше, § **I-1.2**); ср. еще частые у карамзинистов выступления против «педантства», которое явно или неявно противопоставляется ориентации на употребление (ср., например, у П. И. Макарова в статье «Некоторые мысли издателей Меркурия» — ММ, I, с. 10; см. выше, § **I-4**). В статье «Отчего в России мало авторских талантов?» Карамзин заявляет: «Все Французские Писатели, служащие образцем тонкости и приятности в слоге, *переправляли*, так сказать, школьную свою Реторику в свете, наблюдая, что ему нравится и по чему» (Карамзин, III, с. 530); между тем П. И. Макаров, как мы уже видели, усматривает «непростительное педантство» в том, чтобы жертвовать языковой выразительностью для соблюдения «некоторой лишней чистоты языка» (рецензия на «Рассуждение…» Шишкова — ММ, IV, с. 166–167; ср. выше, § **I-1.2**). Эти высказывания явно восходят к мысли Вожела о том, что чистота языка определяется употреблением, а не школьными правилами. Весьма характерны возражения Шишкова против подобной позиции; так, в «Рассуждении о красноречии Священного Писания…» изображается спор «Славенина» (шишковиста) с «Руским» (карамзинистом), причем «Руский» говорит: «Употребление *тиранн*: оно делает вкус, а против вкуса никто не пойдет», а «Славенин» ему возражает: «Мы последовали употреблению там, где разсудок одобрял его, или по крайней мере не противился оному. Употребление и вкус должны зависеть от ума, а не ум от них; ибо ежели употребление и вкус станут управлять умом, так кто же будет управлять ими?» (Шишков, IV, с. 86–87)[86]. Нельзя не отметить, что карамзинистское понимание «вкуса» рассматривается здесь как производное от «употребления»; но особенно знаменательно то обстоятельство, что в уста своего оппонента-карамзиниста Шишков фактически вкладывает слова Вожела, ср. у последнего: «употребление… которое весь свет называет… тираном» («cét Usage… que tout

le monde appelle… le Tyran»), «употребление — король языков, чтобы не сказать тиран» («l'Usage est le Roy des langues, pour ne pas dire le Tyran») и т. п. (Вожела, 1647, л. 1 об., с. 16)[87].

Важно отметить, что противопоставление «употребления» и «грамматики», т. е. рациональных грамматических правил, на русской почве естественно связывается с противопоставлением церковнославянской и русской языковой стихии, поскольку русский язык соотносится с употреблением, а церковнославянский — с правилами (ср. выше, § **I-3.2.1**). Соответственно выступления карамзинистов против «педантства» могут пониматься в том же плане, что и их борьба со «славенщизной»; Шишков свидетельствует, например, в «Рассуждении о старом и новом слоге…», что «нынешние Писатели» «с гордым презрением» говорят о тех, кто в писаниях своих употребляет славянские слова: «он Педант, провонял Славянщизною…» (Шишков, II, с. 29). Итак, подобно тому как для Вожела «педантство» ассоциируется с латынью, для карамзинистов оно соотносится с церковнославянским.

6. Истоки языковой концепции Карамзина — равно как и концепции Вожела — достаточно очевидны. Хотя ближайшей моделью, на которую ориентировались карамзинисты, служила западноевропейская языковая ситуация, корни этой концепции восходят, несомненно, к итальянским ренессансным спорам о языке, известным под названием «Questione della lingua». Западноевропейская — французская и отчасти немецкая — литературно-языковая традиция лишь способствовала усвоению ренессансных идей на русской почве. В самом деле, лингвистическая идеология Карамзина и его окружения ближайшим образом соответствует позиции, которая была сформулирована еще Данте и получила дальнейшее развитие в выступлениях таких его последователей, как Леон Баттиста Альберти, Лоренцо де Медичи, Бальдассаре Кастильоне и др. Требование «писать, как говорят», конечно, восходит к идеям дантовского «Convivio» (I, 5–13): речь идет в сущности о достоинстве (dignitas) разговорной речи и возможности использования ее как средства литературного общения. Подобно Альберти, для Карамзина достоинство разговорной речи зависит от того, кто ею пользуется, т. е. престиж языка определяется скорее творческим («авторским») началом, нежели какими-либо имманентными свойствами. Если говорить вообще о достоинстве (dignitas) и норме (quidditas) литературного языка как основных аспектах итальянского «Questione della lingua» (ср.: Пиккио, 1984, с. 2; Пиккио-Симонелли, 1976, с. 176, 180, 182, passim), то можно сказать, что проблема достоинства решается для Карамзина как проблема культурного п р е с т и ж а, а проблема нормы, т. е. отбора языковых средств выражения, — как проблема в к у с а; и то и другое в конечном счете восходит к Данте, ср. его трактат «De Vulgari Eloquentia» (II, 1; I, 11 сл.). Необходимость обращения к естественному началу в языке была провозглашена Данте в первом параграфе того же трактата («De Vulgari Eloquentia», I, 1), причем здесь специально подчеркивается роль женщин в передаче естественных речевых навыков (ср. ориентацию карамзинистов на женскую речь). Уже Данте противо-

поставляет «употребление» (usus) «разуму» (ratio), причем это различие связывается у него с противопоставлением живых и мертвых языков: если норма итальянского языка основывается на употреблении, то латынь основывается на разуме, т. е. на рациональных грамматических правилах («Convivio», I, 5). Совершенно так же Вожела определяет разницу между французским языком и латынью, а карамзинисты — между русским и церковнославянским языком. Связь теории языка и теории литературы, размежевание книжного и литературного языка, противопоставление науки и искусства, столь важные для карамзинизма, также имеют вполне очевидное ренессансное происхождение.

Пожалуй, ближе всего языковая позиция карамзинистов соответствует позиции Кастильоне, который, выступая против того, чтобы письменная речь отличалась от устной, провозглашает требование изящества речи, явно сходное с карамзинским требованием «приятности слога». Требование изящества речи связано у Кастильоне, как в дальнейшем и у карамзинистов, с установкой на светское употребление (ср. у Данте: «De Vulgari Eloquentia», I, 18). В терминах итальянской языковой полемики («Questione della lingua») «щегольское наречие», столь актуальное для карамзинистов, — это не что иное, как «lingua cortegiana», описанный в трактате Кастильоне «Il Libro del Cortegiano» (главы 28–39). Как для Кастильоне, так и для карамзинистов критерием изящества (приятности) речи выступает утонченный вкус. Наконец, Кастильоне не только призывает избегать архаизмов и вообще форм, не находящих опоры в живом употреблении, но и допускает использование заимствованных форм (галлицизмов и испанизмов), поскольку они приняты в светской речи; это опять-таки соответствует теории и практике карамзинизма. Любопытно отметить, что так же, как и у Кастильоне, языковая программа Карамзина направлена на расширение лексических и синтаксических возможностей. Вожела, оказавший столь большое влияние на Карамзина, продолжает именно линию Кастильоне.

Итак, карамзинская концепция литературного языка вполне укладывается в схему «Questione della lingua». Возможные колебания в рамках карамзинистской программы в общем и целом соответствуют путям, намеченным еще на итальянской почве (ср. содержательный обзор различных аспектов итальянской языковой полемики у Пиккио-Симонелли, 1976).

6.1. Вместе с тем, необходимо отметить, что ренессансные (в основе своей — дантовские) идеи, попадая на русскую почву, могут получать существенно иное содержание — иногда даже прямо противоположное тому, которое они первоначально имели. В самом деле, проникновение ренессансных идей очевидным образом связано с европеизацией русской культуры, в результате которой на русскую языковую ситуацию усваивается взгляд извне и ей приписывается чужая система ценностей. В ряде случаев это придает соответствующим идеям своеобразный, как бы «перевернутый» характер.

Так, выступления итальянских гуманистов связаны прежде всего с борьбой за национальный язык. Латынь воспринимается здесь как интернациональный

язык культуры и цивилизации, тогда как противостоящая книжному языку разговорная речь становится знаменем национального самосознания. Латынь интернациональна, а разговорный язык национален, однако в масштабах нации написанное на латыни доступно лишь ученому сословию, а написанное на разговорном языке — всему обществу. Таким образом, сторонники латыни настаивают на универсальности литературного языка в рамках образованного сословия (ср., например, позицию Петрарки), тогда как сторонники национального языка выступают с требованием демократизации литературного языка, что, в свою очередь, связано с понятием общественной жизни, предполагающим в принципе равные права для всех граждан в обществе. Соответственно ориентация литературного языка на разговорную речь может мотивироваться в Италии чисто утилитарными задачами (ср. особенно выступления Альберти и Пальмиери). Фактически речь идет о расширении понятия общества за счет его дефеодализации: общественная жизнь должна учитывать интересы буржуазии, и тем самым литературный язык должен обслуживать купцов и ремесленников в той же мере, как и представителей других сословий. Между тем, в русских условиях борьба с церковнославянской языковой стихией может приобретать прямо противоположное содержание. Именно церковнославянский язык связывается здесь с национальным началом, тогда как разговорная речь культурной элиты — подчеркнуто космополитична. Ориентация литературного языка на разговорную речь связана вообще с европеизацией русской культуры, и при этом разговорная речь европеизированной части русского общества имеет по существу интернациональный характер, будучи насыщена заимствованиями и семантическими кальками. Литературный язык этого рода не столько объединяет общество, сколько разъединяет его, и вместе с тем он явно способствует международным культурным контактам: литературный язык призван обеспечить прежде всего адекватную передачу того содержания, которое может быть выражено на европейских языках. Мериме имел все основания считать, что «фраза Пушкина звучит совсем по-французски», и подозревать, что русские «бояре», перед тем как писать по-русски, думают по-французски (из письма к С. А. Соболевскому от 31 августа 1849 г.: «Je trouve que la phrase de Pouchkine *Пиковая Дама* est toute française, j'entends française du XVIII-e siècle… Je me demande quelquefois si vous autres *Бояре* vous ne pensez pas en Français avant d'écrire en Russe? y a-t-il quelque livre écrit en Russe avant qu'on ne sut le Français?» — А. Виноградов, 1928, с. 99–100)[88]; не случайно Вяземский, как мы видели, призывал к намеренному использованию в литературном языке «галлицизмов понятий», т. е. семантических калек с французского языка, потому что «они уже европеизмы» (Вяземский, X, с. XI; ср. подробнее выше, § **I-2.1**). В этих условиях литературный язык, ориентированный на разговорную речь дворянской интеллигенции, приобщает русскую культуру к западноевропейской цивилизации. В плане содержания (т. е. на семантическом уровне) этот язык выступает как средство международного общения, объединяя просвещенные сословия в разных странах; однако в пределах нации он оказывается в полной мере доступен лишь избранной части общества. В этом смысле литературный язык данного типа скорее

соответствует по своей функции латыни как интернациональному языку образованного общества, нежели национальному итальянскому языку. В отличие от латыни церковнославянский язык отнюдь не рассматривается в данный период как язык культуры и цивилизации: поскольку культура мыслится как европеизация, эта роль приписывается французскому языку, на который и может ориентироваться теперь русский литературный язык. Одновременно изолированность церковнославянского языка от западноевропейского влияния заставляет воспринимать церковнославянскую языковую традицию в качестве национальной традиции. При этом представление о церковнославянском языке как о «коренном» языке-предке, а о русском языке как о результате порчи этого коренного языка в процессе повседневного употребления (которая ставится в прямую связь с разного рода иноязычными влияниями), обусловливает возможность объединения в языковом сознании славянизмов и архаических русизмов. В итоге западноевропейское влияние способствует консолидации церковнославянской и русской национальной стихии, объединению их в одну стилистическую систему (см.: Хютль-Ворт, 1974, с. 36–37; Лотман и Успенский, 1975/1996, с. 461 сл., 474 сл.). Именно поэтому борьба с этим влиянием ведется в России — в самые разные исторические периоды — с позиций церковнославянского языка: вспышки пуризма периодически выражаются в славянизации языка, т. е. проявляются в активизации славянизмов, мобилизации церковнославянских языковых моделей и т. п.[89] Дихотомия церковнославянского и русского языков может осмысляться таким образом в плане противопоставления «национальное — интернациональное» или же «национальное — западноевропейское».

Остается отметить, что если в Италии борьба за литературный язык нового типа велась в большой степени в интересах буржуазии, то русская буржуазия (купечество) связана скорее с церковнославянской, нежели с западноевропейской языковой стихией. В русских пьесах речь купца или крестьянина, как правило, выделяется славянизмами, которые выполняют примерно ту же функцию, что галлицизмы в речи столичного дворянина как сценического персонажа[90].

Итак, при всей очевидности преемственной связи между идеями итальянских гуманистов и программой карамзинизма необходимо признать, что то, что в Италии воспринималось как «национальное» и «демократическое», приобретает в России прямо противоположное содержание. С пересадкой итальянских идей на русскую почву «национальное» претворяется в «европейское», а «демократическое» становится «кастовым».

ПРИМЕЧАНИЯ

[1] Обзор неологизмов Карамзина см. в работе: Хютль-Ворт, 1956, с. 42–62. Вместе с тем, как показали исследования относительно недавнего времени, многие неологизмы, по традиции приписываемые Карамзину, существовали уже и до него: роль Карамзина в создании неологизмов нуждается вообще в радикальной переоценке (см. там же, с. 43–45; ср. еще: Чижевский, 1947, с. 353–354; Мишин, 1958).

Характерной иллюстрацией сказанного может служить хотя бы слово *промышленность*, которое является едва ли не самым известным примером карамзинского словотворчества. Карамзин вводит слово *промышленность* в «Письмах русского путешественника» в 1791 г., замечая: «Не может ли сие слово означать латинскаго indastria или французскаго industrie?» (МЖ, III, с. 298, примеч.), а при переиздании «Писем» в 1803 г. он заявляет: «Это слово сделалось ныне обыкновенным: Автор употребил его первый» (Карамзин, II, с. 168; Карамзин, 1984, с. 86 и 423, примеч. 10); это мнение поддерживается Ал. И. Тургеневым (письмо к Вяземскому от 10 декабря 1819 г. — Ост. архив, I, с. 370) и П. А. Вяземским («Старая записная книжка» — Вяземский, X, с. 178). И тем не менее Карамзин не может считаться создателем данного слова: слово *промышленность*, и именно в данном значении, фиксируется по крайней мере за десять лет до «Писем русского путешественника» (см.: Алексеев, 1972, с. 133). Это типично для Карамзина, который очень часто оказывается не столько и н и ц и а т о р о м, сколько удачным п о п у л я р и з а т о р о м тех или иных нововведений.

[2] Это соответствует принципиальной утопичности идеологической позиции Карамзина, который может выступать за идеальное самодержавие, но против самодержцев, за народ, но против мужиков и т. п. — и вообще призывает (в статье «Отчего в России мало авторских талантов?») сообщать словам «некоторый новый смысл» (Карамзин, III, с. 528; ср. ниже, § **I-2.1**). Подобная установка придает своеобразный, подчас парадоксальный смысл декларациям Карамзина и в каких-то случаях может давать основание увидеть несоответствие программы и ее практического осуществления. Ср.: Лотман и Успенский, 1984, с. 529–530.

[3] Ср. затем тот же мотив у Баратынского в письме Вяземскому от лета 1829 г., где обсуждается выполненный Вяземским перевод «Адольфа» Бенжамена Констана: «Чувствую, как трудно переводить светского Адольфа на язык, которым не говорят в свете, но надобно вспомнить, что им будут когда-нибудь говорить и что выражения, которые нам теперь кажутся изысканными, рано или поздно будут обыкновенными. Мне кажется, что не должно пугаться неупотребительных выражений. Со временем они будут приняты и войдут в ежедневный язык… Вспомним, что те из них [sic! читай: те из нас], которые говорят по русски, говорят языком Пушкина, Жуковского и вашим, языком поэтов, из чего следует, что не публика нас учит, а нам учить публику» (Баратынский, 1902, с. 50).

[4] Ср., например, стихотворение «Дарования» (1796), где, обращаясь к Поэзии, Карамзин восклицает:

Натуры каждое явленье
И сердца каждое движенье
Есть кисти твоея предмет;
Как в светлом, явственном кристале,
Являешь ты в своем зерцале
Для глаз другой, прекрасной свет;
И часто прелесть в подражаньи
Милее, чем в Природе нам:
Лесок, цветочик в описаньи
Еще приятнее очам.

Эту строфу автор снабжает следующим подстрочным примечанием: «Все прелести Изящных Искусств суть не что иное, как подражание Натуре: но копия бывает иногда лучше оригинала — по крайней мере делает его для нас всегда занимательнее: мы имеем удовольствие сравнивать» (Карамзин, I, с. 144). В другом стихотворении того же времени («К бедному поэту») Карамзин писал:

Непроницаемым туманом
Покрыта истина для нас.
Кто может вымышлять приятно,
Стихами, прозой — в доброй час!
Лишь только б было вероятно.
Что есть Поэт? искусный лжец:
Ему и слава и венец!
(Карамзин, I, с. 66)

[5] Замечательно, что в точности в таких же терминах оценивает слог молодого Карамзина Андрей Болотов в своих дневниковых записях 1795 г. Так, Болотов пишет о Карамзине: «Сочинитель сей час от часу входит более в кредит у всей публике [sic!], и прославился сладостию и особливою приятностию, господствующею во всех его сочинениях и слоге»; здесь же Болотов упоминает о «приятных сочинениях» Карамзина и замечает, что «он многих переучил хорошему и приятному слогу, и произвел многих себе подражателей» (Губерти, 1887, с. 23, 25, 31). Ср. еще отзыв Болотова о «пленительном и очаровательном слоге» карамзинской повести «Остров Борнгольм» (там же, с. 23). Самооценка Карамзина совпадает, таким образом, с отзывами его поклонников.

[6] Отношение к вкусу как к естественному дару нисколько не противоречит мнению карамзинистов, что вкус как эстетическая категория может *совершенствоваться* искусством, ср., например, у Карамзина: «вкус нежный, утонченный Искусством» («Записки старого московского жителя», 1803 г. — Карамзин, III, с. 334).

[7] В какой-то мере такое понимание соответствует «религии чувства», которую провозглашали масоны. Ср.: Мордовченко, 1959, с. 19, 21.

[8] В письме от 22 мая 1823 г. Тургенев писал Вяземскому: «Как тебе не совестно „Историю Российского Государства“ ставить наряду с безграмотною „Историею партизанских действий“» (Ост. архив, II, с. 325). Поводом для этого упрека послужила статья Вяземского «Замечания на краткое обозрение русской литературы 1822 г. [Ф. В. Булгарина]», где Вяземский, полемизируя с Булгариным, с похвалой отзывается об «Истории Государства Российского» Карамзина, «Опыте теории налогов» Н. И. Тургенева и «Опыте теории партизанских действий» Дениса Давыдова, называя их в качестве «сочинений европейских» в русской литературе (Вяземский, I, с. 102).

Ср. отзыв Пушкина о языке этого сочинения Дениса Давыдова в стихотворении «Недавно я в часы свободы…» (1822 г. — Пушкин, II, с. 274).

[9] И позднее, отзываясь на «Разбор трех статей, помещенных в записках Наполеона» Дениса Давыдова (1825), Вяземский замечает: «Как в полевых действиях Давыдова, так и в самом языке, Тугуты военные и литературные [барон Тугут — австрийский дипломат и государственный деятель] найдут, вероятно, погрешности непростительные, ибо для них успех ничего не значит, когда он не выведен из постановленных правил, а вспыхнул под внезапным вдохновением… Живость мыслей и чувств пробивается сквозь сухость пред-

мета и увлекает читателя; ему недосуг справиться, наслаждается ли он в силу такого-то риторического узаконения, и не достанется ли ему вместе с автором от журналиста, разбирающего книгу, как школьный учитель разбирает черновые тетради учеников и ничего перед своими глазами не видит, кроме деепричастий, местоимений, кавык и проч., и проч.» (Вяземский, I, с. 196–197).

[10] Шишков в «Рассуждении о старом и новом слоге…» критикует свойственное карамзинистам употребление слова *вкус* как семантической кальки с франц. *goût* (см. Шишков, II, с. 161–165). Отвечая на эту критику, карамзинисты не ограничиваются полемикой о слове, но обсуждают и само понятие; в полемическом контексте борьба с *вкусом* может естественным образом связываться с отсутствием вкуса. — Ср. реакцию Шишкова на наименование *вкусоборец* в «Рассуждении о красноречии Священного Писания…» (Шишков, IV, с. 75).

[11] Замечательно, что Карамзин считает возможным говорить об «авторах» духовных книг, при том что церковь признает эти книги богодухновенными. Если иметь при этом в виду, что слово *автор* конкурирует в языке XVIII — начала XIX в. со словом *творец* — в частности, *автор* характерно для карамзинистов, а *творец* для писателей-«архаистов» (см.: Лотман и Успенский, 1975/1996, с. 614–615, примеч. 25), — становится ясно, что ремарка Карамзина сознательно рассчитана на эпатирующий эффект.

[12] Выражение *химическая операция*, выделенное Карамзиным в качестве «чужого слова», заимствовано, по-видимому, из герметического языка масонов, где оно означает алхимические опыты, направленные на получение чистой материи: речь идет, таким образом, об искусственном, лабораторном создании того, что в обычных условиях создается природой. Очевиден иронический смысл употребления такого рода, поскольку в данном случае Карамзин говорит об «изменении первобытной чистоты», т. е. о процессе, приводящем к прямо противоположному результату по сравнению с тем, к чему стремились алхимики; одновременно Карамзин недвусмысленно подчеркивает искусственный характер церковнославянского языка.

[13] Здесь же Карамзин заявляет, что «Русской язык есть Славянской, измененный временем, употреблением и примесом некоторых чужих слов» (Карамзин, III, с. 603); слово *славянский* относится при этом к славянской языковой общности, а не к церковнославянскому языку. Относительно противопоставления церковнославянского и древнерусского языков у Карамзина см. специально § **I-3.2** наст. работы.

[14] Знаменателен в этом смысле отзыв Карамзина в «Письмах русского путешественника» об английском языке: «… Английской язык… богат и обработан во всех родах [т. е. жанрах] для письма — богат *краденым*, или (чтоб не оскорбить Британской гордости), *отнятым* у других. Все ученыя и по большой части нравственныя слова взяты из Французскаго или из Латинскаго, а коренные глаголы из Немецкаго. Римляне, Саксонцы, Датчане истребили и Британский народ, и язык их; говорят, что в Валлисе есть некоторые его остатки. Пестрота Английскаго языка не мешает ему быть сильным и выразительным…» (Карамзин, II, с. 750; Карамзин, 1984, с. 369–370). Английский язык являет для Карамзина предельный случай насыщенности лексическими заимствованиями, этот язык воспринимается им в сущности как язык креолизованный — однако это обстоятельство никак не умаляет в его глазах достоинства английского языка как языка литературного.

[15] Относительно восприятия этих слов в конце XVIII — первой половине XIX в. см.: Лотман и Успенский, 1975/1996, с. 612–613, примеч. 22; ср. еще относительно слова *серьезный*: Курганов, 1769, с. 423; Греч, II, с. 56. Что касается слова *наивный*, которое во времена Вяземского еще не «вошло в общее употребление», то оно встречается уже в письме Карамзина к И. И. Дмитриеву от 14 июня 1792 г. (Грот и Пекарский, 1866, с. 26).

[16] Особую тревогу вызывает у карамзинистов увлечение женщин французским языком, что связано с принципиальной ориентацией на женский язык и вкус. См. специально об этом ниже, § **I-4.2**.

[17] В письме в «Le Spectateur du Nord» (1797) Карамзин писал: «Французский народ прошел через все степени цивилизации, чтобы оказаться на той вершине, на которой он находится в настоящее время»; одновременно он отмечает «быстрый полет нашего народа к той же цели», восклицая: «Удивительно всесилие творческого гения, который, вырвав Россию из летаргического сна, в который она была погружена, направил ее на пути света с такой силой, что по прошествии малого числа лет мы находимся впереди вместе с народами, которые многие века обгоняли нас» («La nation française a donc passé par tous les degrés de la civilization pour arriver au point où elle se trouve actuellement. En comparant sa marche trainante au vol rapide de notre people vers le même but, on crie au miracle; on s'étonne de la toute-puissance d'un génie créateur, qui, arrachant tout d'un coup la nation russe au sommeil léthargique, dans lequel elle étoit plongée, l'a poussée dans la carrière des lumières avec tant de force, que dans peu d'années, nous voila merchant de front avec les peuples qui s'y avançoient bien des siècles avant nous» — Грот и Пекарский, 1866, с. 478; Карамзин, 1984, с. 453, 460). Высказывания Карамзина обнаруживают определенное сходство с взглядами Кондорсе, по всей вероятности, знакомыми Карамзину (см.: Лотман и Успенский, 1984, с. 533). Ср. слова П. И. Макарова в рецензии на «Рассуждение…» Шишкова: «Мы переняли от чужестранцев Науки, Художества, обычаи, забавы, обхождение; стали думать, как все другие народы (ибо чем народы просвещеннее, тем они сходнее)…» (ММ, IV, с. 161).

[18] Как предполагает Ахматова (1936, с. 96–98, 113), предисловие Вяземского к «Адольфу» — и именно в той его части, которая касается вопросов языка, — было отредактировано Пушкиным. Как бы то ни было, цитированный пассаж, поскольку он перекликается со статьей Вяземского о Дмитриеве 1823 г., бесспорно принадлежит самому Вяземскому.

[19] Одновременно использование семантических калек с французского может мотивироваться и ссылкой на практику разговорной речи. Так, в предисловии к переведенному им роману Ж. де Мемьо «Граф Сент-Меран» П. И. Макаров писал: «В сем же первом томе найдет читатель: *Графу хочется, чтоб воспитанник приобрел несколько побольше света…* — Говорят: галлисизм! — нет не галлисизм. *Приобретать* по Руски; *света* по Руски, падеж тот, правила граматики соблюдены; по чему же галлисизм? — Не употребительно п и с а т ь слово *свет* в сем смысле. Не употребительно г о в о р и т ь; для чего же хотят, чтоб Графиня Момпаль говорила как учитель языков в классе со своими учениками?» (Макаров, 1795, с. XII–XIII). Ориентация на разговорную речь столичного дворянства выступает при этом очень отчетливо.

[20] Двадцатью годами позже Карамзин повторяет те же утверждения в своей речи, произнесенной в Российской Академии (1818), заявляя, в частности, что «богатство языка есть богатство мыслей» (Карамзин, III, с. 641). Здесь же говорится и о роли писателей в обогащении языка: «… Непосредственное… его [языка] *обогащение* зависит от успехов

общежития и Словесности, от дарования Писателей — а дарования единственно от Судьбы и Природы. Слова… рождаются вместе с мыслями…» (с. 644). — В точности то же говорит и Вяземский в «Старой записной книжке»: «Богатство языка не состоит в одном богатстве слов» (Вяземский, IX, с. 9).

[21] Ср. в этой связи реплику Ал. И. Тургенева в письме к Вяземскому от 10 декабря 1819 г.: «На что ковать слова? Придут мысли — будешь уметь их выразить…» (Ост. архив, I, с. 370); позиции Тургенева и Жуковского обнаруживают определенное сходство.

[22] Ср. еще аналогичные замечания в критических разборах П. И. Макарова (ММ, I, с. 53; ММ, IV, с. 195), а также письмо Ал. И. Тургенева к Вяземскому от 28–29 сентября 1820 г. (Ост. архив, II, с. 79; ср. ответ Вяземского от 8 октября 1820 г. — там же, с. 85). В «Старой записной книжке» Вяземский отмечает между прочим, что Карамзин «не допускал галлицизма *на счет*» (Вяземский, X, с. 19).

[23] Вместе с тем, если Шишков сосредоточивает борьбу с галлицизмами на лексическом уровне, то Карамзин это делает на уровне синтаксиса и фразеологии. Ср. замечание М. А. Дмитриева: «Шишков находил у Карамзина *галлицизмы*, которых нет; а сам, употребляя славянския или старинныя русския слова, и думая писать подобно предкам, очень часто делал галлицизмы и не замечал этого… Он не знал, что галлицизм, германизм и проч. заключается не в слове, а в *обороте речи*; что он относится не к этимологии языка, а к синтаксису» (М. Дмитриев, 1869, с. 72). Соответственно Вяземский говорит в предисловии к переводу «Адольфа»: «Я берегся от галлицизмов слов, так сказать синтаксических или вещественных, но допускал галлицизмы понятий, умозрительные…» (Вяземский, X, с. XI).

[24] Поскольку понятие славянизма приобретает при этом чисто функциональный смысл, отношение к конкретным лексическим славянизмам может довольно существенно варьироваться у разных авторов и в разные периоды. Об эволюции понятия славянизма во второй половине XVIII — начале XIX в. см.: Замкова, 1974; ср. также: Лотман и Успенский, 1975/1996. Ср. о славянизмах у Карамзина: Ковалевская, 1958; В. Левин, 1962, с. 192–193, 208 (примеч. 77); В. Левин, 1964, с. 245, 255 сл., 295 сл., ср. еще с. 315–316.

[25] Полемизируя со статьей Карамзина «Отчего в России мало авторских талантов?», где Карамзин ссылается на французов и призывает писать, как говорят, и говорить, как пишут, Шишков замечает в «Рассуждении о старом и новом слоге…»: «Расинов язык не тот, которым все говорят, иначе всякой бы был Расин» (Шишков, II, с. 134). Равным образом, возражая П. И. Макарову, Шишков говорит: «Книжной язык так отличен от языка разговоров, что ежели мы представим себе человека, весь свой век обращавшагося в лучших обществах, но никогда не читавшаго ни одной важной книги, то он высокаго и глубокомысленнаго сочинения понимать не будет… Вопреки сему часто бывает, что человек пресильной в книжном языке едва в беседах разговаривать умеет…» («Прибавление к Рассуждению о старом и новом слоге…» — там же, с. 434–435). Обсуждая ту же тему в своих заметках о трагедии Озерова «Димитрий Донской» (1807), Шишков писал: «Нынешние писатели, господа-карамзинисты, этого не понимают и только кричат: неужли нам говорить по-славенски? — Мы хотим писать, как говорим в беседах!» (Сидорова, 1956, с. 171).

[26] Ср. в этой связи мнение Вигеля, что Карамзин «создал и разговорный у нас язык» (Вигель, I, с. 130). Весьма характерен протест Шишкова против стилистического нормирования разговорной речи. Отвечая на критику П. И. Макарова, Шишков писал в «При-

бавлении к Рассуждению о старом и новом слоге…»: Макаров «думает, что мы разговариваем между собою простым, средним и высоким языком! Признаться, что я о таком разделении разговоров наших на различные слоги отроду в первой раз слышу» (Шишков, II, с. 432). Как отмечает В. В. Виноградов, «Шишков склонен относиться к устной стихии как к некоторому субстанциональному единству, которое строится на принципиально иных основах, чем язык литературы» (В. Виноградов, 1935, с. 71; В. Виноградов, 1938, с. 199).

[27] Шишков не без основания замечал в «Рассуждении о красноречии Священного Писания…», что карамзинисты основываются «на том мечтательном правиле, что которое слово употребляется в обыкновенных разговорах, так то Руское, а которое не употребляется, так то Славенское» (Шишков, IV, с. 58). Тем не менее, и сам Шишков фактически может понимать славянизмы именно таким образом, замечая, например: «*рек*, *конь*, *чрево* (по просту: *сказал*, *лошадь*, *брюхо*), суть Славенския слова, то есть неупотребительныя в разговорах», «*болезненно*… [слово] Славенское; ибо мы в просторечии не говорим: *мне болезненно*, а говорим *больно*, *тяжело*, *досадно* или тому подобное» (там же, с. 70, 67).

[28] Выражение *надут славянщизною* в этой цитате, может быть, представляет собой реминисценцию из Тредиаковского, который говорит о «глубокословной славенщизне» в предисловии к «Езде в остров Любви»; при этом именно у Тредиаковского мы впервые встречаем упоминание слова *славенщизна* в отрицательном контексте (см. ниже, § **II-2**). «Езда в остров Любви» была, несомненно, известна Карамзину (скорее всего, в перепечатке 1778 г.): еще в 1780-е гг. эта книга читалась и обсуждалась молодыми карамзинистами, которые упражнялись одновременно в пародировании стиля Тредиаковского (см. § **II-7** наст. работы). Что касается слова *надутый* как характеристики высокопарного, славянизированного слога, то оно также, насколько мы знаем, пущено в ход Тредиаковским (см. об этом § **II-3.1** наст. работы).

Цитированная фраза Карамзина вызвала резкий протест Шишкова в «Рассуждении о старом и новом слоге…», который приводит данный текст (не называя его автора) как пример «презрения ко всему Славенскому языку» (Шишков, II, с. 254).

[29] Слово *големый* в приведенной фразе представляет собой, вероятно, отклик на «Лиро-дидактическое послание» Н. П. Николева (1791), см.:

Отколе в древний век Гомер
Пиита и творец големый
В неизчерпаемой пример
Сокровища извлек в Поэмы.
(Николев, III, с. 133)

Карамзинский «Московский журнал» немедленно реагировал на это слово. Вслед за цитированной рецензией Карамзина Дмитриев опубликовал в том же журнале стихотворение «Гимн восторгу» (1792), где писал, высмеивая приемы «громкой» одической поэзии:

Уже не смертного то глас —
Големо каждое тут слово,
Непостижимо, громко, ново —
Соплещет сам ему Пегас!
(И. Дмитриев, I, с. 128)

Големый выступает здесь как синоним к *громкий*; при этом эпитет *громкий* во второй половине XVIII — начале XIX в. может употребляться для обозначения славянизмов

(Лотман и Успенский, 1975/1996, с. 649, примеч. 154; см. также § **II-2.1** наст. работы). Как свидетельствует Карамзин в письме к Дмитриеву от 21 октября 1792 г. (Грот и Пекарский, 1866, с. 32), Николев принял стихи Дмитриева на свой счет: при перепечатке «Лиро-дидактического послания» он писал в предисловии к III тому своих «Творений»: «… Мое *големое* поместить в свою безтолковщину весьма *неголемо*» (Николев, III, с. IV). См.: Арзуманова, 1965, с. 74; Альтшуллер, 1968, с. 208–210.

Слово *големый* может восприниматься как типичный архаизм уже в 1730-е гг.: в этом качестве оно фигурирует в записке Феофана Прокоповича от 10 августа 1736 г. (ОДДС, III, приложения, стлб. XXV–XXVI), которую мы цитируем в § **II-5** наст. работы.

[30] Стилистический анализ этих стихов Карамзина см. у В. Виноградова (1949, с. 179), где специальное внимание уделяется выяснению роли славянизмов. По мнению Виноградова, стихи эти представляют собой пародию на стиль Ф. О. Туманского; не менее вероятно, однако, что здесь пародируется стиль Тредиаковского. Ср. упоминание Тредиаковского в пародийно-стилизованном контексте в письме Карамзина к Дмитриеву от 22 июня 1793 г., причем здесь также обыгрывается славянизация языка (Грот и Пекарский, 1866, с. 39).

[31] Эпитет *варягоросский* пародийно соотносится здесь с названием *славенороссийский*, против которого выступали карамзинисты (см. § **I-3.1** наст. работы; ср. еще: Лотман и Успенский, 1975/1996, с. 536–537, примеч. 708).

Характерно в этой связи автобиографическое признание Катенина в «Элегии» 1828 г.: «Ж е с т к и м и г р у б ы м казалось им пенье Евдора» (об автобиографическом характере этого произведения см.: Тынянов, 1929, с. 161). Ср., вместе с тем, обыгрывание эпитета *жесткий* в пушкинской эпиграмме (на Александра I) «Ты и я», 1817–1820 гг.:

Афедрон ты жирный свой
Подтираешь коленкором;
Я же грешную дыру
Не балую детской модой
И Хвостова ж е с т к о й о д о й,
Хоть и морщуся, да тру.
(Пушкин, II, с. 130)

Оды Хвостова, как известно, славились своим напыщенным псевдославянским стилем.

[32] Шишков следует при этом Тредиаковскому и Ломоносову. См. § **III-3** наст. работы.

[33] В этом же смысле могут быть поняты и характерные для карамзинистов пародийные наименования церковнославянского языка — «славеноварварским» (Дашков, 1810, с. 296), «татарско-славенским» (см. письмо Батюшкова к Гнедичу от 28–29 октября 1816 г. — Батюшков, III, с. 409–410) или «варягоросским» (см. у Батюшкова в «Видении на брегах Леты», 1809 г. — Батюшков, I, с. 84).

[34] Так, в первой трети XIX в. не только партию Шишкова, стремившуюся очистить русский язык от иноязычных элементов, но также и карамзинистов могли считать пуристами. «Северная пчела» (1831, № 286) писала, например: «У нас не было классического вкуса ни для прозы, ни для стихов, и п у р и з м, т. е. щ е г о л ь с к а я ч и с т о т а я з ы к а, только что родился под пером Карамзина» (В. Виноградов, 1938, с. 306, примеч. 2); эпитет *щегольской* в этой цитате мы обсуждаем в § **I-4.1** наст. работы. Точно так же и Кюхель-

бекер называет карамзинистов «школой так называемых очистителей языка», см. запись в его дневнике под 17 января 1833 г.: «Перечитывая сегодня поутру начало третьей песни своей поэмы [„Юрий и Ксения“], я заметил в механизме стихов и в слоге что-то пушкинское. Люблю и уважаю прекрасный талант Пушкина: но, признаться, мне бы не хотелось быть в числе его подражателей. Впрочем, никак не могу понять, от чего это сходство могло произойти: мы, кажется, шли с 1820 года совершенно различными дорогами, он всегда выдавал себя (искренно ли или нет — это иное дело!) за приверженца школы так называемых очистителей языка, а я вот уж 12 лет служу в дружине славян под знаменами Шишкова, Катенина, Грибоедова, Шихматова» (Кюхельбекер, 1979, с. 222). Приведенные цитаты не оставляют сомнения в том, что «очистителями языка» называли себя сами карамзинисты; ср. в этой связи цитированное выше (§ **I-3**) замечание Карамзина относительно чистоты слога в рецензии на перевод Ариосто (МЖ, II, с. 324). Жуковский говорит в конспекте по истории русской литературы (1826–1827): «Шишков обвинял Карамзина в том, что он исказил язык, введя в него иностранные фразы, особенно галлицизмы. Карамзин, напротив, необычайно очистил язык» («Schischkoff accusait Karamsine d’avoir dénaturé la langue en y introduisant des formes étrangères, surtout les gallicismes. Karamsine au contraire a extrêmement épuré la langue» — Жуковский, 1948, с. 302, 311).

[35] Ср.: «Доказательством, что в окрестностях Фессалоники, или Солуня жили Славяне-Сербы, служит известие Константина Багрянороднаго…» (Карамзин, 1818–1829, I, примечания, с. 217, примеч. 532).

[36] Ранее Каченовский отождествлял церковнославянский и праславянский (см., например: Каченовский, 1809; ср.: Булич, 1904, с. 725, 775; Мордовченко, 1959, с. 96–97). Близость высказываний Карамзина и Каченовского, кажется, невозможно объяснить влиянием одного автора на другого, см.: Кларк, 1975, с. 498–500; здесь же отмечается зависимость взглядов Карамзина на отношение между церковнославянским и сербским от трактата Иосифа Добровского «Geschichte der böhmischen Sprache», определенно известного Карамзину (Кларк, 1975, с. 495; ср.: Добровский, 1791, с. 316–317, 323).

[37] В другом, более раннем письме к Гнедичу (от августа-сентября 1811 г.) Батюшков предупреждает своего корреспондента: «Берегись одного: словенскаго языка» (Батюшков, III, с. 141). Ср. еще на ту же тему в письме от 19 сентября 1809 г. (там же, III, с. 47), которое мы цитируем в § **I-4.2** наст. работы.

[38] Различение живых и мертвых языков у карамзинистов и подчеркивание субстанционально различной природы живых языков по сравнению с языками мертвыми восходит к идеям Данте (см. его трактат «Convivio», I, 5). См. § **I-6** наст. работы.

[39] Макарову как бы вторит Вяземский в «Старой записной книжке»: «Славянский язык хорош для церковного богослужения. Молиться на нем можно, но нельзя писать романы, драмы, политические, философские рассуждения» (Вяземский, VIII, с. 39). О лире как символе одического жанра см.: Клейн, 1984.

[40] Полагают, что наиболее ранний пример употребления слова *литература* в новом — современном — значении этого слова представлен в эпиграмме А. С. Хвостова «Послание к творцу посланий» 1781 г., где автор так обращается к Д. И. Фонвизину:

Не надобно наперекор натуре
Себя за старосту считать в литературе.

См.: Берков, 1930, с. 108 (примеч. 1); Лотман и Успенский, 1975/1996, с. 668 (примеч. 246).

[41] Вместе с тем, в стихотворении «Дарования» (1796) Карамзин писал:

Посредством милых Граций, Муз,
Приятность с *пользой* заключила
Навеки дружеский союз.
(Карамзин, I, с. 142)

Еще до Карамзина аналогичное разграничение проводил Г. Н. Теплов в «Рассуждении о начале стихотворства» (1755); по словам Теплова, «науки и искусства между собою отделяются тем, что первые обращаются к пользе, а последние иногда к пользе, а иногда к единому увеселению или изощрению нашего разума…» (Теплов, 1755, с. 3); ср. еще знаменательный пример в «Российской грамматике» Ломоносова (1757): «Стихотворство моя утеха; физика мои упражнения» (Сухомлинов, IV, с. 194; Ломоносов, VII, с. 555). Приоритет в этом отношении принадлежит, по-видимому, Тредиаковскому, который первым в России последовательно противопоставляет науку и искусство. Именно у Тредиаковского — в «Слове о витийстве» 1745 г. — мы впервые встречаем выражение *изящные науки* в значении ‘beaux-arts’ или ‘belles-lettres’, ср. нем. *schöne Wissenschaften* (Тредиаковский, III, с. 550). При этом Тредиаковский говорит здесь о «приведении в совершенство изящных Наук, и высоких Знаний»; в других местах того же сочинения он противопоставляет *Знания* и *изящнейшие Науки* (с. 559) или же просто *Знания* и *Науки* (с. 553, 560, 584); в латинской версии «Слова о витийстве» слово *наука* соответствует у Тредиаковского лат. *ars*, а слово *знание* — лат. *scientia*. Ср. в этой связи главу II наст. работы.

[42] Выражение *Изящные Искусства* можно встретить у Карамзина уже в статье «Нечто о науках, искусствах и просвещении» 1794 г. (Карамзин, III, с. 381, 388) и в стихотворении «Дарования» 1796 г. (Карамзин, I, с. 144, примеч.). К истории данного выражения см.: В. Виноградов, 1966, с. 440–441; Веселитский, 1972, с. 164–165; Хютль-Ворт, 1956, с. 110–111.

[43] Ср., вместе с тем, отзыв Карамзина о публичных лекциях по физике профессора П. Н. Страхова, читанных в Московском университете, в письме к М. Н. Муравьеву (попечителю университета) от 24 декабря 1803 г.: «Не только многие благородные молодые люди, но и лучшие здешние дамы слушают его с удовольствием; он же говорит ясно и с довольною приятностью» (Карамзин, III, с. 684).

[44] Ср. позднейший отзыв В. Плаксина об этом произведении: «Карамзин, частию убежденный некоторыми дельными замечаниями противной партии в ошибках своих относительно языка, частию начитавшись старинных летописей и вникнув в характер Русского языка и в сродство онаго с Славянским, умел выбрать средину между формами иноязычными и между Славянизмом; а сим сродством он примирился с враждующею партией» (Плаксин, 1833, с. 327–328).

[45] Ср., между тем, сходную оценку языка самого И. И. Дмитриева в записках М. А. Дмитриева: «Басни и сказки Дмитриева очаровали современников… Он первый начал говорить в них я з ы к о м с в е т с к о г о о б щ е с т в а, и первый проложил путь языку Онегина» (М. Дмитриев, 1869, с. 115). Как считает М. А. Дмитриев, басни И. И. Дмитриева превосходят басни Крылова и Хемницера «по чистоте и благородству слога» (там же).

[46] Ср. еще здесь же: «Слог церковных книг не имеет никакого сходства с тем, котораго требуют от Писателей светских… Наши старинныя книги не сообщают красок для

роскошных будуаров Аспазий, для картин Вилландовых, Мейснеровых, или Доратовых. Громкая лира [т. е. ода] может иногда подражать Давидовой арфе [т. е. Псалтыри]: но веселое, нежное, романическое воображение пугается темных пещер, в которых добродетель укрывалась от прелестей мира…» (ММ, IV, с. 175–176). Макаров демонстративно отдает предпочтение европейской литературе перед Псалтырью (уступая традиции, он признает влияние Псалтыри лишь на традиционный и фактически уже изживший себя жанр торжественной оды) и явно предпочитает в то же время «прелести мира» христианской добродетели.

[47] Для отношения карамзинистов к приказному языку см., в частности, замечание Карамзина в рецензии на перевод «Неистового Роланда» относительно выражений *вследствие чего*, *дабы* и т. п.: «это слишком по-приказному» (МЖ, II, с. 325). Позднее, принося благодарность императрице Елизавете Алексеевне за оказанную милость (дочь Карамзина была пожалована в фрейлины), Карамзин пишет в письме от 1 сентября 1821 г.: «Не умею писать к Вам *приказным* слогом: дозвольте же мне мысленно поцеловать Вашу ручку…» (Карамзин, 1862, с. 49) — славянизированный приказный слог явно противопоставляется при этом галантному стилю салонной беседы.

[48] Именно с конца XVIII в. начинают говорить вообще об особом «семинарском» языке. Так, в критических заметках А. Болотова 1791 г. мы встречаем отрицательный отзыв о «семинарских красноречиях» (Морозов и Кучеров, 1933, с. 206); по-видимому, речь идет о славянизации языка (вероятно, синтаксиса), неуместной, по мнению критика, в жанре «романа». Ср. также отзыв В. Л. Пушкина о своем племяннике (1810-х гг.): «…Александровы стихи не пахнут латынью и не носят на себе ни одного пятнышка семинарского» (из воспоминаний М. Н. Макарова — Цявловский, 1931, с. 35); под «латынью» здесь явно имеется в виду церковнославянский, т. е. речь идет об отсутствии славянизмов в стихах А. С. Пушкина. То же имеет в виду и Вигель, когда отзывается об одах княжны Е. С. Урусовой как о «писанных слогом семинариста» (Вигель, I, с. 275). О языке семинаристов как антиподе «благородного нашего языка» упоминает И. И. Дмитриев в письме Жуковскому от 13 марта 1835 г. (И. Дмитриев, II, с. 315), ср. еще в стихах Дмитриева «Триссотин и Вадиус» (вольный перевод из Мольера, 1810 г.): «… видно по стихам, что он семинарист» (там же, I, с. 243). Ср. социолингвистическую трактовку славянизмов фактически как жаргонных явлений в комедиях конца XVIII в. — в частности, в «Самолюбивом стихотворце» Н. П. Николева 1775 г. (в речи Наборщика) и в «Недоросле» Д. И. Фонвизина 1781 г. (в речи Кутейкина).

[49] Ср., между прочим, аналогичный (т. е. социолингвистический) смысл и выражения *высокий язык* в употреблении Бестужева. Так, отзываясь о драматических произведениях Шаховского, Бестужев писал: «Разговорный язык его развязен, текущ, но не довольно высок для хорошаго общества» («Взгляд на старую и новую словесность в России», 1823 г. — Бестужев, 1823, с. 34).

[50] Ср. протесты против сословного употребления слова *подлый* в журналах Н. И. Новикова (см.: Афанасьев, 1859, с. 250–251), в «Опыте Российского сословника» Д. И. Фонвизина (Фонвизин, I, с. 226–227), а также острые дискуссии по поводу употребления этого слова как социальной или этической категории в «Комиссии по выработке нового уложения» 1767 г. (спор между М. Щербатовым, с одной стороны, и Я. Козельским, И. Чупровым — с другой). См. еще об этом слове § **III-4** наст. работы.

[51] Последняя фраза Макарова содержит в себе скрытую цитату из Горация («Ars poëtica», 71–72). Формулировка Макарова совпадает при этом с переводом Горация, принадлежащим Тредиаковскому, который цитирует соответствующее место в разных своих сочинениях (см. об этом § **II-4.3** наст. работы); таким образом, данная фраза свидетельствует, по-видимому, о знакомстве Макарова с творчеством Тредиаковского.

[52] Отсюда в светской «щегольской» речи можно найти разного рода нелитературные коллоквиализмы, например, такие, как *ихний* (И. И. Дмитриев в письме к Жуковскому от 13 марта 1835 г. констатирует, что это слово употребляется в «большом свете» — И. Дмитриев, II, с. 315, ср. с. 308) и т. п. Ср. еще: В. Левин, 1964, с. 367; В. Виноградов, 1935, с. 382.

[53] Конкретные примеры такого рода можно значительно умножить, см., в частности: Лотман и Успенский, 1975/1996, с. 497, а также с. 606–611, 621–625, 627–629, 631, 638–640, 644, 654, 660 (примеч. 15, 17, 39, 49, 50, 63, 68, 79, 111, 125, 135, 152, 210). Некоторый материал по «щегольскому наречию» можно найти в исследовании Е. Э. Биржаковой (1981).

[54] Свидетельство о том, что подобное произношение восходит именно к «щегольскому наречию», можно найти в «Живописце» Н. И. Новикова (1772, ч. II, л. 12; Берков, 1951, с. 418), а также в «Сатирическом вестнике» Н. И. Страхова (1795, ч. IV, с. 102; В. Покровский, 1903, прилож., с. 60). К истории грассирования в русском произношении см. еще: Самилов, 1978; В. Виноградов, 1935, с. 427; ср.: Лотман, 1979.

[55] Ср. характеристику В. Л. Пушкина как типичного щеголя и модника в записках Вигеля: «Сибарит, франт, светский человек, он имел великое достоинство приучать ушеса щеголих, княгинь и графинь к звукам отечественной лиры» (Вигель, I, с. 341, ср. с. 131–132); см. еще воспоминания Вяземского («Автобиографическое введение» — Вяземский, I, с. XXIX). Об облике Макарова см.: Геннади, 1854; Лотман и Успенский, 1975/1996, с. 441–446. Относительно Шаликова см. очерк В. Саитова в кн.: Батюшков, I, с. 434–437; ср.: М. Дмитриев, 1869, с. 94–95, 97–98. Ср. в этой связи уподобление «прежних петиметров» и «франтов нынешних», под которыми понимаются именно карамзинисты, у А. А. Палицына в «Послании к Привете» 1807 г. (Поэты 1790–1810-х гг., с. 765); при этом противопоставление *франта* как современного щеголя и *петиметра* как щеголя прошлого времени можно встретить и в «Письмах русского путешественника» Карамзина (Карамзин, II, с. 450, ср. с. 674; Карамзин, 1984, с. 220, ср. с. 333 и комментарий на с. 642–643).

[56] С этим образом, может быть, в какой-то мере перекликается «Моя исповедь» Карамзина (1802), в которой могут быть усмотрены элементы пародийной автобиографии — сознательно утрированные и полемически подчеркнутые.

Сказанному отнюдь не противоречат спорадические выпады Карамзина против щегольства и галломании — например, в «Письмах русского путешественника» (Карамзин, II, с. 674, 684–685; Карамзин, 1984, с. 333, 338) или в статьях «О любви к отечеству и народной гордости» 1802 г. и «Странность» 1802 г. (Карамзин, III, с. 474–475, 609–610), — которые объясняются, скорее всего, тактическими соображениями, т. е. ответом на реальную или возможную критику. Следует иметь в виду вообще, что негативные выступления Карамзина в целом ряде случаев не столько свидетельствуют о действительных взглядах автора, сколько говорят об актуальности для него соответствующей проблематики. Ср. в этой связи: Лотман и Успенский, 1984, с. 526–530.

[57] Наименование Карамзина русским Титом Ливием, которое приобретает в этом контексте иронический характер, восходит, по всей видимости, к посланию Жуковского к

И. И. Дмитриеву (1813), где Карамзин называется «наш Ливий-Славянин» (Жуковский, II, с. 31).

[58] Ср. запись М. А. Дмитриева (племянника И. И. Дмитриева), сделанную, очевидно, со слов отца или дяди: Карамзин «в своей молодости… приезжал на свою родину, в Симбирск, и едва там не остался. Там молодой человек, умный, хорошенький собою и приехавший из Петербурга, разыгрывал роль светского юноши» (М. Дмитриев, 1869, с. 67).

[59] В доме Д. И. Киселева (отца графа П. Д. Киселева) светская Москва собиралась для игры в карты. Фамилия Вейлер ничего нам не говорит.

[60] Ср. в этой связи письмо Карамзина к И. И. Дмитриеву от 27 июля 1798 г.: «Тебе сказали с удивлением, что я танцую! и ты поверил! Вздор мой друг! Я умею по крайней мере соблюдать Decorum автора. Мне ли прыгать серною с кирасирскими офицерами? Я на бале то же, что шуба летом или *парасоль* зимою: вещь самая безполезная, и не трогаюсь с места, как гора Альпийская. Нет человека, которому бы так-называемый свет был скучнее, нежели мне» (Грот и Пекарский, 1866, с. 97–98). Независимо от выраженного здесь отношения к светской жизни (в котором также можно было бы усмотреть некоторый налет дендизма), знаменательно уже одно то, что Карамзину приходится защищаться от соответствующих обвинений. Вместе с тем, сам Карамзин сообщал брату (В. М. Карамзину) 9 января 1796 г.: «О себе скажу вам, что я живу по прежнему, езжу из дома в дом, играю в бостон и пр. Ни в какую зиму не бывало в Москве такого множества балов, как ныне; все жалуются на недостатки в деньгах, но между тем везде видна роскошь» (Карамзин, III, с. 710).

Щегольское поведение отнюдь не противоречило поэтическому облику или, говоря словами самого Карамзина, — «decorum'у автора». Ср. в этой связи характерное свидетельство Семена Порошина: «… Пошел разговор о кадетских офицерах, князе Шаховском и Валуеве, кои во время польскаго избрания при князе Николае Васильевиче Репнине были. Его превосходительство Никита Иванович [Панин] много издевался над их жеманством, и нежными приемами [здесь названы типичные атрибуты щегольского поведения]. Сказал при том: „конечно оба они поэты, или по крайней мере которой нибудь из них“. Отвечал я, что ни которой ни стишка сделать не умеет…» (Порошин, 1881, стлб. 469).

[61] Показательно, что в дошедших до нас копиях писем Петрова к Карамзину (которые были сняты по распоряжению Карамзина и в начале XIX в. готовились им для публикации) представлена собственноручная правка Карамзина, который, между прочим, устраняет все то, что давало основания обвинить его в «щегольстве». В частности, отредактированной оказалась и цитированная фраза Петрова из письма 1785 г.: «Мне весьма приятно слышать, что ты не совсем чужд в Большом Симбирском Свете»; Карамзин правит: «Мне весьма приятно слышать, что ты не совсем печален» (Карамзин, 1984, с. 502, примеч. 7; ср. еще с. 501 и комментарий на с. 688).

[62] Это слово обычно для стилизованной речи петиметров в сатирической литературе XVIII в., например, в стихотворной полемике о петиметрах 1750-х гг. («Сатира на петиметра и кокеток» Елагина и др. — Поэты XVIII в., II, с. 373, 391), в журналах Новикова («Трутень», 1770, л. VI; Берков, 1951, с. 202–203), в произведениях Княжнина («Чудаки» 1790 г., «Исповедание Жеманихи» 1783 г. — Княжнин, 1961, с. 547, 646), в «Переписке моды» Страхова (Страхов, 1791, с. 7, 68). Шишков констатирует в «Рассуждении о старом

и новом слоге…», что слово *милый*, как оно употребляется Карамзиным, является «одним модным словцом, каковыя по временам проявляются иногда в столицах» (Шишков, II, с. 147; слово *один* в этой фразе выступает в функции артикля). Шишков рассматривает *милый* как слово интимной семантической сферы, и именно в силу этого обстоятельства, с его точки зрения, слово это не всегда уместно в литературном употреблении (там же, ср. также с. 112; ср. еще об этом слове в заметках Шишкова о трагедии Озерова «Димитрий Донской» — Сидорова, 1956, с. 166); в то же время как раз интимно-эротические ассоциации слова *милый* и обусловливают его употребляемость в «щегольском наречии».

[63] См. иронический отзыв М. И. Багрянского о Карамзине в письме к А. М. Кутузову от 29 января 1791 г.: «Pour vous donner quelques idées de son style excellent je vous citerai quelques morceaux des lettres qu'il adresse à ses *милые*» (Барсков, 1915, с. 86); это отклик на «Письма русского путешественника», которые появились в январской книжке «Московского журнала» 1791 г. Вообще Карамзин охарактеризован в этом письме как типичный петиметр.

По-видимому, именно в результате реакции такого рода в позднейших редакциях «Писем русского путешественника» Карамзин может опускать слово *милый* или же заменять его на семантически эквивалентное. Так, уже в редакции 1797 г. выпущено одно из обращений к «милым» друзьям в начале «Писем…» («Что я по сие время вытерпел, милые, и еще терпеть буду!» — Карамзин, 1984, с. 394, примеч. 2); другое подобное обращение («Ах, милые друзья мои!») устранено в редакции 1814 г. (см. там же, с. 431, примеч. 9). В той же редакции Карамзин правит *сердце милаго Руссо* на *сердце Руссо* (там же, с. 433, примеч. 27) и заменяет *милыми свойствами души* на *любезными свойствами души* (там же, с. 445, примеч. 1). Ср. еще правку, связанную с устранением слова *милый*: Карамзин, 1984, с. 428 (примеч. 36), 444 (примеч. 2).

[64] В качестве характерных примеров «щегольской» лексики в письмах Карамзина к Дмитриеву могут быть отмечены (по изд.: Грот и Пекарский, 1866), в частности, такие слова, как *интересный* в значении ‛intéressant’ (с. 39), *интересовать* (с. 11), *наивный* (с. 26), *трогать* в значении ‛toucher’ (с. 52, 67, 76, 129, 138), *дурачество* (с. 119), *темно* в значении ‛obscurément’ (с. 40, 258), *милый* (с. 42, passim), *жени* (с. 26), *браво* (с. 9, 50), *adieu* (с. 52, 53). Для стилистической оценки этих слов см.: Лотман и Успенский, 1975/1996, с. 651–653, примеч. 164 (о словах *интересный*, *интересовать*, *интересоваться*), с. 640, примеч. 125 (о слове *трогать*), с. 570, примеч. 228 (о слове *дурачество*), с. 640–643, примеч. 126 (о слове *жени*), с. 625–626, 660, примеч. 54, 210 (о слове *браво*); относительно слов *наивный* и *милый* см. выше, примеч. 15, 62; относительно слова *темно* — ниже, примеч. 74.

[65] Свидетельство о том, что галлицизмы попадают из языка светского общества на улицу, становясь достоянием мещанского просторечия, можно найти и в гоголевских «Мертвых душах» (Гоголь, VI, с. 164–165, 471–472, ср. еще с. 182–183), ср. также письмо И. И. Дмитриева к Жуковскому от 13 марта 1835 г. (И. Дмитриев, II, с. 315–316). Яркой иллюстрацией этого процесса служит, между прочим, дневниковая запись Кюхельбекера, сделанная 23 апреля 1835 г. в Свеаборгской крепости: «Что значит просвещение! Сегодня, когда прохаживался, матрос из стоящих на карауле взглянул на небо и воскликнул: „Какое прелестное небо!“. Лет за десять назад любой матрос в *нашем* флоте, вероятно, даже не понял бы, если бы при нем кто назвал небо прелестным… Как после этого еще сомневаться, что наш век идет вперед?» (Кюхельбекер, 1979, с. 362). Речь идет о галли-

зированном значении слова *прелестный*, соответствующем франц. *charmant*, которое в свое время было присуще «щегольскому» жаргону (ср. нижеследующее примеч.). Выражение *прелестное небо* в подобном значении можно встретить и у самого Кюхельбекера (например, в дневнике — Кюхельбекер, 1979, с. 48), т. е. он реагирует в данном случае именно на снятие социолингвистических ограничений; изолированное положение Кюхельбекера делает его вообще особенно чувствительным и внимательным ко всякого рода языковым изменениям.

[66] О том, что петиметры выдумывали новые слова и пускали их в обращение, см., например: В. Покровский, 1903, с. 39–40, 54 и приложения, с. 19; Порошин, 1881, стлб. 295–296. Такое же языковое поведение было свойственно французским щеголям и щеголихам, представителям французской прециозной культуры (ср. § **I-4.3** наст. работы).

Что касается придания словам новых значений, то примером здесь могут служить такие слова, как *прелестный*, *очаровательный*, *обаятельный*, *обожать* и т. п. Первоначально эти слова связывались со злым, колдовским или языческим началом; однако в речи щеголей они были сближены со своими французскими эквивалентами (*charmant*, *séduisant*, *idolâtrer* и т. д.) и стали употребляться в положительном смысле. Именно этот смысл и был воспринят карамзинистами; в этом значении они вошли и в современный литературный язык. Ср.: Лотман и Успенский, 1975/1996, с. 497, 629 (примеч. 68), 638–639 (примеч. 111), а также: В. Виноградов, 1953, с. 208–209; Хютль-Ворт, 1956, с. 144–145; Хютль-Ворт, 1963, с. 145; Хютль-Ворт, 1974, с. 35; Лотман, 1970.

[67] Ср., например, пародирование этой фразы у Шишкова в «Рассуждении о старом и новом слоге…», где, в частности, помещена стилистически обыгранная элегия, написанная «нынешним просвещенным слогом, в котором сохранен весь Француский элеганс» (Шишков, II, с. 350, ср. с. 4, 16, 27 примеч., 29, 47, 138, 343, 348) или у Д. И. Хвостова в эпиграмме «Госпожа и ткачи» («Друг просвещения», 1805, ноябрь).

[68] Показательно в этом смысле, что эпиграмма Д. И. Хвостова «Госпожа и ткачи», где пародируется слово *élégance* (см. предыдущее примеч.), была направлена не против самого Карамзина, а против П. И. Шаликова, и при этом другой карамзинист — И. И. Дмитриев — принял ее на свой счет (ср. ответную эпиграмму Дмитриева «Без имя Рифмодей глумился сколько мог» — И. Дмитриев, I, с. 239); история этой полемики раскрыта в дневнике Хвостова (ИРЛИ, ф. 322, № 11, л. 4, 26). Слово *élégance* объединяет, таким образом, карамзинистов как литературное направление.

[69] Слово *элегантный* не зафиксировано в картотеке Словаря русского языка XVIII в., хранящейся в Институте лингвистических исследований РАН.

[70] Ссылки на «приятность» слога вообще очень характерны для Карамзина и его последователей, и это прямо связано с апелляцией карамзинистов к вкусу как стилистическому критерию (см. выше, § **I-1.2**). Слова *приятный*, *приятность* выступают при этом в текстах конца XVIII в. как обычные соответствия к франц. *élégant*, *élégance* (Веселитский, 1972, с. 165–166; Лотман и Успенский, 1975/1996, с. 549–550, примеч. 130).

[71] «Живая странность» как характеристика «простонародного слога» в набросках к «Евгению Онегину» перекликается со «странным просторечием», которое противопоставлено «языку условленному, избранному» в статье «О поэтическом слоге»; здесь проявляется романтизация народной языковой стихии, и в этом смысле призыв Пушкина

учиться у «московских просвирен» («Опровержение на критики», 1830 г. — Пушкин, XI, с. 149) сопоставим, например, с призывом Кюхельбекера читать восточных поэтов.

[72] Ср. в этой связи противопоставление «хорошего», подлинно дворянского общества (bonne société) аристократическому, «высшему» обществу (haute société) у Пушкина в наброске к статье «Опыт отражения некоторых литературных обвинений» 1830 г., в статье «Опровержение на критики» 1830 г. (Пушкин, XI, с. 410, 152) и, наконец, в «Романе в письмах» 1829 г. (Пушкин, VIII, с. 49, 52–53).

[73] Речевая травестия отвечает при этом общей травестии щегольского поведения. Ср. воспоминания Вигеля о щеголях рубежа XVIII и XIX вв.: «Жеманство, которое встречалось тогда в литературе, можно было также найти в манерах и обращении некоторых молодых людей. Женоподобие не совсем почиталось стыдом, и ужимки, которые противно было бы видеть и в женщинах, казались утонченностями светского образования. Те, которые этим промышляли, выказывали какую-то изнеженность, неприличную нашему полу, не скрывали никакой боязни и, что всего удивительнее, не совсем были смешны. Между нами [„архивными юношами“] были также два молодца, или лучше сказать, две девочки, которые в этом роде дошли до совершенства, Колычев и Ижорин… Истребляя между нашими молодыми людьми наружные формы, столь поносные, особенно для русских, — пишет далее Вигель, — нынешний век перенес их в другую крайность и мужественности их часто придает мужиковатость» (Вигель, I, с. 110–111). То же имел в виду и Пушкин, замечая в «Разговоре о критике» (1830): «… Мы и в литературе, и в общественном быту слишком чопорны, слишком дамоподобны» (Пушкин, XI, с. 91).

Устойчивость этой черты позволяет видеть в ней определенную традицию щегольского поведения — традицию, которая прослеживается и в более позднее время.

[74] Слово *темно* в этом контексте следует сопоставить с выражением «*темная* любовь к литтературе», отмеченным Г. П. Каменевым в разговорной речи Карамзина (Бобров, III, с. 130), которое Виноградов (1935, с. 196–197) с основанием расценивает как «щегольское» (ср. выше, § **I-4.1**); показательно, что Каменев подчеркивает это слово, выделяя его как стилистически маркированное. Слово *темно* выступает здесь как семантическая калька с франц. *obscur*.

[75] Когда Пушкин заявляет в «Евгении Онегине» (III, 28):

Без грамматической ошибки
Я русской речи не люблю.
(Пушкин, VI, с. 64),

то предметом обсуждения является речь женщин как носительниц устной языковой стихии: именно в этом контексте оказывается уместным как заявление о предпочтении употребления «грамматике», любование «неправильной» речью («Неправильный, небрежный лепет…»), так и положительный отзыв о галлицизмах («Мне галлицизмы будут милы…»).

[76] Ср. характерную ремарку И. И. Дмитриева в статье «О русских комедиях» (1802): «Какое же удовольствие найдет благовоспитанная девица, слушая ссору однодворца с его женою, брань дурака с дурою, которых каждое слово несносно для н е ж н а г о с л у х а?» (И. Дмитриев, II, с. 171–172); почти дословное повторение этой мысли мы находим затем у Н. П. Брусилова в «Письме к приятелю о Руском Театре»: «… Что за удовольствие модным дамам слушать целой час разговор деревенских баб и девок?» (Брусилов, 1805,

с. 60). Соответственно Пушкин в письме к Бестужеву от 13 июня 1823 г. иронически упоминает о «нежных ушах читательниц», которые могут быть испуганы «отечественными звуками: *харчевня*, *кнут*, *острог*» (Пушкин, XIII, с. 64).

[77] Ср. еще в статье Карамзина «О любви к отечеству и народной гордости» 1802 г.: «Оставим нашим любезным светским дамам утверждать, что Русской язык груб и не приятен; что charmant и séduisant, expansion и vapeurs не могут быть на нем выражены; и что, одним словом, не стоит труда знать его. Кто смеет доказывать дамам, что оне ошибаются?» (Карамзин, III, с. 474). Как мы уже отмечали, словам *charmant* и *séduisant* соответствуют у карамзинистов *прелестный*, *очаровательный* и т. п. (см. выше, примеч. 66).

[78] И. И. Дмитриев рассказывает в своих воспоминаниях, что отец учил его французскому языку, заставляя переводить сочинения Вуатюра, Костара и Бальзака (И. Дмитриев, II, с. 4, ср. с. 133). То обстоятельство, что знакомство с французским языком и литературой начиналось в русских дворянских семьях через сочинения прециозных авторов, представляется крайне знаменательным.

[79] Ср. в этой связи выпады против прециозных писателей (Бальзака, Вуатюра, Марини) в речи Гнедича на собрании Вольного общества любителей российской словесности 13 июня 1821 г. (Гнедич, 1821, с. 142). Полемика с французскими и итальянскими авторами XVII в. оказывается вполне актуальной в России в начале XIX в.

[80] Отмечая влияние Вожела на Карамзина, Томашевский (1959, с. 44–45) обращает внимание на особую близость идей Карамзина к идеям последователя Вожела, аббата Бугура (Bouhours), указывая при этом на то обстоятельство, что, в отличие от Вожела, Бугур, как и Карамзин, был сторонником неологизмов и заимствований. Само собой разумеется, что влияние Вожела на Карамзина и карамзинистов могло быть не непосредственным, а осуществляться через его многочисленных эпигонов и последователей, и не исключено, в частности, что Карамзин действительно был знаком с идеями Бугура, произведения которого пользовались в свое время широкой известностью. И тем не менее, совсем не обязательно искать французский источник, для того чтобы объяснить положительное отношение Карамзина к заимствованиям и неологизмам (к тому же Томашевский вообще, по-видимому, несколько преувеличивает расхождения Вожела и Бугура в вопросе о неологизмах, ср.: Брюно, IV, 1, с. 443–444). В самом деле, русская литературная и языковая ситуация существенно отличалась от французской в силу принципиальной ориентированности русской культуры на культуру западноевропейскую (и прежде всего именно французскую). С одной стороны, формирование новой русской литературы и нового русского литературного языка происходило в условиях интенсивной переводческой деятельности, в процессе которой переводчики постоянно и неизбежно сталкивались с проблемой выработки средств выражения для передачи новых понятий. С другой же стороны, разговорная речь элитарного общества, на которую ориентировали литературный язык Вожела и его последователи, в России отличалась именно насыщенностью заимствованиями (и прежде всего галлицизмами). Тем самым реализация программы Вожела — постольку, поскольку она ориентирует литературный язык на разговорную речь, — в русских условиях с необходимостью предполагала легализацию заимствованных элементов в литературном языке.

[81] Ср., например, у Вожела: «… Устной речи принадлежит первенство в ценностном и иерархическом плане, тогда как письменная — только лишь ее отражение… Но согласие

хороших авторов — это как бы печать или проба, которая утверждает язык двора, отмечает доброе употребление и выносит вердикт в сомнительных случаях» («… La parole qui se prononce, est la premiere en ordre et en dignité, puis que celle qui est escrite n'est que son image… Mais le consentement des bons Autheurs est comme le sceau ou une verification, qui authorise le langage de la Cour, et qui marque le bon Usage, et decide celuy qui est douteux» — Вожела, 1647, л. 2). То, что Вожела говорит об «ощущении и практике лучших современных авторов» («le sentiment et la pratique des meilleurs Autheurs du temps») или об «общем ощущении тех, кто в совершенстве владеет нашим языком» («le sentiment general de ceux qui sçavent parfaitement nostre langue») и т. п. (там же, л. 8, с. 469), вполне соответствует карамзинистскому критерию вкуса. Одновременно понятие вкуса присутствует в концепции Вожела в виде «суждения слуха» («jugement de l'oreille» — ср.: Гуковская, 1957, с. 210); наконец, Вожела может прямо сопоставлять языковое употребление с гастрономическим вкусом (Вожела, 1647, л. 4).

[82] О юридических метафорах у Вожела см. специально: Вейнрих, 1960. Вообще, как показывает Вейнрих, Вожела в значительной степени основывался в своей языковой концепции на понятиях и терминах обычного французского права его времени (но не римского права). Можно сказать, таким образом, что противопоставление французского языка и латыни соответствует в понимании Вожела противопоставлению обычного права и римского права.

[83] По словам Вожела, «женщины и все те, чей язык не окрашен латынью, могут извлечь из этого выгоду» («Les femmes et tous ceux qui n'ont nulle teinture de la langue Latine en peuvent tirer du profit» — Вожела, 1647, л. 17 об.); ср. также: «… Когда возникают сомнения по языковым вопросам, бывает лучше спрашивать мнение женщин или же тех, кто ничему не учился, чем советоваться с теми, кто весьма искушен в греческом и латыни» («… Dans les doutes de la langue il vaut mieux pour l'ordinaire, consulter les femmes, et ceux qui n'ont point estudié, que ceux qui sont bien sçavans en la langue Grecque, et en la Latine» — там же, с. 503, ср. с. 128, 380). Об отношении Вожела к латинизмам (которые он трактует как варваризмы) см. там же, с. 486, 509.

[84] По словам Вожела, «употребление в языках сильнее рассудка», «употребление… многое творит безрассудно и даже вопреки рассудку» («l'Usage [est] plus fort que la raison dans les langues», «l'Usage… fait plusieurs choses sans raison, et mesme contre la raison» — Вожела, 1647, с. 35, 375, ср. также с. 387). В другом месте Вожела говорит: «… Глубоко заблуждаются и погрешают против главного принципа языка те, кто умствуют о нашем языке и решительно осуждают общепринятый способ говорения на том основании, что он противоречит рассудку, так как отнюдь не рассудок, а употребление и аналогию следует здесь принимать во внимание… Употребление творит многое вопреки рассудку» («… Ceux-là se trompent lourdement, et pechent contre le premier principe des langues, qui veulent raisonner sur la nostre [langue], et qui condamnent beaucoup de façons de parler generalement receuës, parce qu'elles sont contre la raison; car la raison n'y est point du tout considerée, il n'y a que l'Usage et l'Analogie… l'Usage fait beaucoup de choses… contre raison» — там же, л. 7–7 об). Употребление (usage) противопоставляется рассудку, или разуму (raison), также на с. 92–93, 148, 173, 228–229, 302–303, 508, 558 цит. издания.

[85] Это противопоставление, собственно говоря, восходит к Квинтилиану, на которого и ссылается Вожела, ср.: «… По превосходному изречению Квинтилиана, одно дело

говорить по-латыни, другое — говорить по грамматике» («… Ce mot de Quintilien est excellent, *aliud est Latinè, aliud Grammaticè loqui*» — Вожела, 1647, с. 375).

[86] Точно так же в «Рассуждении о старом и новом слоге…» Шишков полемизирует с мыслью Карамзина о том, что авторы должны «угадывать лучший выбор слов» («Отчего в России мало авторских талантов?» — Карамзин, III, с. 528). Шишков пишет: «Надлежит о словах разсуждать и основываться на коренном знаменовании оных, а не угадывать их; ибо естьли писатель сам угадывать будет слова, и заставит читателя угадывать их, то и родится из сего нынешний невразумительный образ писания» (Шишков, II, с. 131–132).

[87] Замечательно между тем, что Карамзин в статье «Великой муж Русской грамматики» (1803), посвященной А. А. Барсову (см. об этом: Успенский, 1981/1997, с. 628 и с. 644–645, примеч. 6), вкладывает в уста последнего призыв сообразовываться с употреблением, а не подчиняться исключительно грамматическим предписаниям, и при этом также цитирует Вожела: «Мой друг! *употребление* есть избалованное дитя народов, с которым не льзя обходиться сурово; надобно во многом щадить его. Давно уже Русские говорят: *между полями* и *между полей* [первый вариант соответствует грамматике, второй — употреблению], соображаясь иногда с приятностию слуха. Сохрани нас Бог от тиранства!» (Карамзин, III, с. 326). Мысль Вожела оказывается, таким образом, переиначенной — «тиранство» приписывается в данном случае правилам, а не употреблению!

[88] Действительно, в письмах и заметках Пушкина значение того или иного русского слова очень часто поясняется в скобках соответствующим французским эквивалентом, как бы обнажающим французский языковой субстрат русской речи (В. Виноградов, 1935, с. 262–266; В. Виноградов, 1938, с. 239–240).

[89] Так, в XX в. «Петер*бург*» закономерно преобразуется в «Петро*град*» (в 1915 г.) и затем, последовательно, в «Ленин*град*» (в 1924 г.), ср., между тем, полногласный элемент в исконной форме «Нов*город*» и т. п. (ср.: Унбегаун, 1936); позднее *голкипер* меняется на *вратарь* и т. п.

[90] Ср. у Пушкина в «Египетских ночах» (о Чарском): «В журналах звали его поэтом, а в лакейских сочинителем» (Пушкин, VIII, с. 263) — характерным образом европеизму в речи образованного общества соответствует славянизм в речи низших социальных слоев.

II

ЯЗЫКОВАЯ ПРОГРАММА РАННЕГО ТРЕДИАКОВСКОГО: ТРЕДИАКОВСКИЙ И КАРАМЗИН

1. Итак, языковая программа Карамзина имеет совершенно очевидные западноевропейские корни. Но совершенно неправильно было бы представлять себе карамзинскую концепцию литературного языка как новое для России явление. Карамзинизм является в России не на пустом месте, напротив, — ему предшествует более или менее устойчивая культурная традиция. Рассмотрение этой традиции демонстрирует сложную историю отражения проблематики итальянского «Questione della lingua» на русской почве; вместе с тем оно принципиально важно для правильного понимания сущности языковой полемики конца XVIII — начала XIX в.

Языковая программа карамзинистов была в значительной степени предвосхищена еще в 30-е гг. XVIII в. в выступлениях В. К. Тредиаковского и В. Е. Адодурова, к которым примыкают и некоторые другие авторы. Адодурову принадлежит первый опыт кодификации русской речи, т. е. первая грамматика русского языка, предназначенная для самих его носителей (см.: Успенский, 1975)[1], Тредиаковскому принадлежит ряд важных теоретических выступлений по проблемам литературного языка. Оба автора реализуют свои идеи на практике прежде всего в переводческой деятельности. Необходимо подчеркнуть, что заявления Тредиаковского и Адодурова обнаруживают в этот период разительное сходство и даже текстуальную близость (Успенский, 1974/1997 — наст. изд., с. 509–527; Успенский, 1975, с. 64–71): оба автора, по-видимому, работали одно время в непосредственном творческом контакте, и это делает в ряде случаев практически невозможным определение того, кому из них принадлежит та или иная формулировка[2].

Так же как карамзинисты, Тредиаковский (в этот период своего творчества) и Адодуров сознательно ориентируются на западноевропейскую языковую ситуацию, стремясь перенести ее на русскую почву, т. е. создать здесь литературный язык того же типа, что западноевропейские литературные языки. Адодуров позднее вспоминал: «… Я при Академии наук учился языкам латинскому, немецкому и

французскому и при том имел случай собственные мои недостатки в правильном употреблении природного нашего языка несколько усмотреть и оные в себе, по возможности, исправить» (Пекарский, I, с. 511); таким образом, владение западноевропейскими языками оказывается необходимым условием правильности русской речи[3]. Соответственно Тредиаковский в «Слове о витийстве» (1745) превозносит достоинства французского языка как «приятнейшего, слатчайшего, учтивейшего и изобильнейшего» из всех европейских языков, примеру которого подражают «премногие учтивейшие и просвещеннейшие в Европе Народы», и призывает к переводам с европейских языков как средству очищения русского языка (Тредиаковский, III, с. 579–580, 584; ср. ниже, § **II-4.3**). Эти слова следует сопоставить с заявлением Тредиаковского в «Речи к членам Российского собрания» (1735) о том, что русский язык «приятнейшим… становится» (Тредиаковский, 1735, с. 13)[4], т. е. приближается по своим свойствам к языку французскому (речь идет о десятилетии 1725–1735 гг., т. е. именно о том периоде, когда Тредиаковский и Адодуров активно включаются в творческую работу, направленную на реформирование русского языка). В тех же выражениях, как мы видели, формулируют затем свою программу карамзинисты (см. выше, § **I-1.2**).

Следует иметь в виду, что деятельность Тредиаковского и Адодурова в рассматриваемый период была ближайшим образом связана с Российским собранием при Академии наук, которое было организовано в 1735 г. по образцу Французской академии и должно было выполнять те же задачи. При этом сама идея организации Российского собрания принадлежит, по всей видимости, Тредиаковскому (Берков, 1936, с. 25–26; Куник, 1865, с. XVII–XVIII).

Характерно, что задачи Российского собрания, сформулированные Тредиаковским во вступительной речи 1735 г. (Тредиаковский, 1735, с. 6) и повторенные затем в «Lettre d'un Russien…» в 1736 г. (Тредиаковский, 1849, с. 105; Тредиаковский, 1935, с. 354–355), текстуально совпадают с перечнем обязанностей Тредиаковского, который был составлен при его поступлении на службу в Академию наук в 1733 г., где Тредиаковский обязуется «вычищать язык руской пишучи как стихами, так и не стихами… окончить Грамматику, которую он начал, и трудиться совокупно с прочиими над Дикционарием руским» и, наконец, заниматься переводами (Пекарский, II, с. 43); см. об этом: Успенский, 1975, с. 69–70[5]. Надо полагать, что соответствующие обязанности Тредиаковского были сформулированы им самим под влиянием трудов членов Французской академии.

Замечательно вместе с тем, что, выступая с программной речью на открытии Российского собрания, знаменующей начало деятельности этого ученого общества и определяющей его задачи, Тредиаковский заканчивает ее предложением подвергнуть критическому рассмотрению и исправлению прежде всего сам текст этой речи: «… Для начатия вашея должности, самую сию речь в ваше отдаю разсмотрение, прося, чтоб вы в ней не правильное исправили, не достаточное наполнили, не приличное приличным и надлежащим украсили, лишнее вон выняли» (Тредиаковский, 1735, с. 16). При всей условности этого предложения оно

все же очень характерно: строительство литературного языка имеет явно выраженный экспериментальный характер, и соответственно создание текстов на этом языке мыслится именно как лингвистический эксперимент.

2. Ориентация на западноевропейскую языковую ситуацию обусловливает у Тредиаковского и Адодурова, как позднее и у карамзинистов, требование сближения литературного языка с разговорной речью. Это выражается в принципиальной установке на «употребление», которая соответствует апелляции карамзинистов к вкусу. При этом именно Тредиаковский и Адодуров впервые в России начинают говорить о языковом «употреблении» (применительно к проблемам литературного языка), т. е. вводят это слово как лингвистический термин (ср.: Берков, 1936, с. 42–45). Об «употреблении» как основе литературного языка Тредиаковский говорит уже в «Речи к членам Российского собрания» 1735 г. (Тредиаковский, 1735, с. 13), затем в «Новом и кратком способе к сложению Российских стихов…» 1735 г. (Тредиаковский, 1735а, с. 19–20) и в ряде последующих сочинений; Адодуров использует термин *Gebrauch* в грамматическом очерке 1731 г. (Адодуров, 1731, с. 3) и термин *употребление* в грамматике 1738–1740 гг. (Успенский, 1975, с. 55); о содержании, которое вкладывается в этот термин, мы будем специально говорить ниже (см. особенно § **II-6**).

Установка на употребление обусловливает требование писать, как говорят (которое у Тредиаковского и Адодурова распространяется даже на орфографию[6]), и протест против «глубокословныя славенщизны», т. е. против славянизмов в той мере, в какой они ощущаются как таковые. Так, в предисловии к «Езде в остров Любви» (1730) Тредиаковский сообщает читателю, что книга П. Талемана («Le voyage de l'isle d'amour») переведена им не «славенским языком», «но почти самым простым Руским словом, то есть каковым мы меж собои говорим»: «На меня, прошу вас покорно, неизволте погневаться, (буде вы еще глубокословныя держитесь славенщизны[7]) что я оную [книгу] неславенским языком перевел, но почти самым простым Руским словом[8], то есть каковым мы меж собои говорим. Сие я учинил следующих ради причин. Первая: язык славенскои, у нас есть язык церковнои; а сия книга мирская[9]. Другая: язык славенскои в нынешнем веке у нас очюнь темен[10], и многия его наши читая неразумеют; А сия книга есть *сладкия любви*, тогоради всем должна быть вразумителна[11]. Третия: которая вам покажется может быть самая легкая, но которая у меня идет за самую важную, то есть, что язык славенскои ныне жесток моим ушам[12] слышится, хотя прежде сего не толко я им писывал, но и разговаривал со всеми: но зато у всех я прошу прощения, при которых я с глупословием моим славенским[13] особым *речеточцем*[14] хотел себя показывать» (Тредиаковский, 1730, предисл., с. [3–4]; Тредиаковский, III, с. 649–650).

При этом дело идет о языке, который призван прежде всего обслуживать новые жанры художественной литературы, связанные с западноевропейским культурным влиянием (ср. предисловие к «Езде в остров Любви»), но в принципе дол-

жен также распространиться и на старые, традиционные жанры. Так, в предисловии к своему переводу «Слова о терпении и нетерпеливости» Фонтенеля (1744) Тредиаковский сообщал читателю, что оно предлагается читательской аудитории «притом и для сего, дабы самым делом показать, что истинное витийство может состоять одним нашим употребительным языком, не употребляя мнимо высокаго славянскаго сочинения» (Пекарский, II, с. 104, примеч.)[15]; все это очень близко опять-таки к будущей программе карамзинистов.

Не менее выразителен протест против славянизмов в грамматическом очерке Адодурова 1731 г., написанном почти одновременно с предисловием к «Езде в остров Любви» (ср.: Успенский, 1975, с. 66) — в условиях непосредственного творческого контакта обоих авторов. Оба произведения явно написаны вообще с одних и тех же позиций и в ряде случаев, как мы увидим, обнаруживают прямые текстуальные совпадения, они как бы дополняют друг друга, демонстрируя разные аспекты одной языковой программы; соответственно они и должны рассматриваться вместе — как теоретический трактат и его практическая реализация[16]. Адодуров регулярно подчеркивает в своем очерке, что это грамматика именно русского, а не церковнославянского языка, и вполне последовательно отмежевывается от церковнославянизмов: вообще упоминания о церковнославянском языке в этой грамматике даются, как правило, в отрицательном контексте и имеют, так сказать, характер превентивного предупреждения, т. е. Адодуров приводит церковнославянские формы с тем, чтобы предупредить читателя, что ими не следует пользоваться (ср.: Унбегаун, 1958, с. 110). Так, например, говоря о склонении существительных, Адодуров заявляет — с явно выраженным полемическим вызовом, — что он дает окончания, «которые могут показаться неприличными любителям славянских выражений» («welches vieleicht Liebhabern der Slavonischen Redens-Arten möchte anstößig seyn»), поскольку он описывает естественное употребление («die natürliche Art zu decliniren»); по его словам, церковнославянские окончания, особенно в склонении, режут ухо и ныне изгоняются из русского языка («… Nunmehro aller *Slavonismus* vornehmlich eine solche Art zu decliniren aus der Rußischen Sprache eruliret, und einen greßlichen Laut in denen Ohren derer Heutigen erreget…» — Адодуров, 1731, с. 26); это заявление дословно соответствует тому, что говорит Тредиаковский в предисловии к «Езде в остров Любви», — мы остановимся на этом совпадении ниже (§ **II-2.1**). В другом случае Адодуров отвергает церковнославянские окончания, ссылаясь на то, что они противоречат духу русского языка, ср.: «Некоторые желают… возможно, из почтения к церковнославянскому языку, придавать словам на *жа*, *ша*, *щя* и *я* в дательном падеже единственного числа окончание *-и* [вместо правильного, по мнению Адодурова, окончания *-ѣ*], но на это нет достаточных оснований, такой способ совершенно противен духу русского языка» («Einige wollen… vielleicht aus Hochachtung für die Slavonische Sprache, bey den Wörtern, so sich in жа, ша, щя, und я endigen, den *Dativum Singularis* auf ein и formiren, aber solches geschiehet nicht allzu recht, maaßen es dem *Genio* der Rußischen Sprache gäntzlich zu wieder ist» — там же, с. 15); апелляция Адодурова к «духу русского языка» («der *Genius*

der Rußischen Sprache») должна быть сопоставлена при этом с заявлением Тредиаковского в предисловии к «Езде в остров Любви» о желании «в своиство нашего природнаго языка уметить» (Тредиаковский, 1730, предисл., с. [4]; Тредиаковский, III, с. 650); см. подробнее об этом ниже (§ **II-3.2**). Итак, позиция Адодурова и позиция «любителей славянских выражений» прямо противоположны: то, что является неправильным с точки зрения этих «любителей» («речеточцев», если говорить словами Тредиаковского), признается Адодуровым правильным, нормативным, и наоборот — то, что правильно для Адодурова, неправильно с точки зрения приверженцев церковнославянского языка; оппозиция русского и церковнославянского трактуется при этом как противопоставление «естественного» употребления и искусственных книжных норм.

Церковнославянский язык для Адодурова, как и для Тредиаковского, — это прежде всего д р у г о й язык, отличный от русского, и Адодуров последовательно и настойчиво подчеркивает это в своей грамматике. Так, он сообщает, например, что, «хотя некоторые хотели бы [слова] *князь* и *камень* склонять во множественном числе как *князіе* и *каменіе* [вместо *князи*, *камни* или *князья*, *каменья*], это совершенно неправильно, так как тогда эти слова стали бы славянскими, в каковом языке встречается данное окончание» («Zwar wollen князь und камень auch von einigen andern in *Plurali* князіе und каменіе decliniret werden, jedoch solches ist gantz unrecht, weil alsdenn diese Wörter Slavonisch werden müsten, als in welcher Sprache diese Flexion statt findet» — Адодуров, 1731, с. 26); упоминая о кратких формах прилагательных, он замечает, что «о сокращении славянских прилагательных можно было бы сказать еще многое, однако к этому следует стремиться в славянской грамматике, каковая совсем не является нашей целью» («Von der Contraction derer Slavonischen *Adiectivorum* wäre zwar noch vieles zu observiren, jedoch solches muß in einer Slavonischen *Grammatica* gesuchet werden, als welche unsern Endzweck gantz nicht angehet» — там же, с. 28–29); ср. еще: «слова, в которых *й* краткому предшествует *і* — славянского происхождения; в русском языке они заменяют это *і* на *е*, например: *врабій* — *воробей*, *Сергій* — *Сергей* и т. д.» («Diejenigen Wörter bey welchen gemeldetem й *contracto* das і vorherstehet, sind Slavonischen Ursprungs, und verwechseln dieses і in der Rußischen Sprache mit е, als: врабій, Rußisch, воробей der Sperling. Сергій, Rußisch, Сергей, *Sergius* u. s. w.» — там же, с. 24) — отсюда он и описывает именно русское склонение слов такого рода (на *-ей*), закономерно отличая его от церковнославянского словоизменения (там же, с. 26)[17]. Одновременно Адодуров последовательно ссылается на «употребительные» («gebräuchlich») русские формы (см.: Адодуров, 1731, с. 10–11, 20, ср. также с. 44); имеется в виду, конечно, разговорное употребление, и соответственно, упоминая о славянизмах, Адодуров считает нужным отметить именно неупотребительность их в русской разговорной речи (см. замечания о формах двойственного числа или о склонении слова *Господь* во множественном числе — там же, с. 13, 27). Критерий употребления приобретает, таким образом, первостепенное значение при кодификации русского языка, определяя разницу в принципах описания русского и церковнославянского языков.

Противопоставление церковнославянского и русского языков очень отчетливо и наглядно выступает у Тредиаковского в «Стихах эпиталамических…», написанных примерно тогда же, когда Тредиаковский работал над «Ездой в остров Любви» (оба произведения были созданы в Гамбурге весной 1730 г. — Строчков, 1963, с. 474, 478), и отражающих, надо думать, ту же языковую программу; «Стихи эпиталамическия…» были опубликованы среди других поэтических опытов молодого Тредиаковского — «стихов на разныя случаи» — в приложении к «Езде в остров Любви» (Тредиаковский, 1730, с. 162–167; Тредиаковский, III, с. 742–746). Мы наблюдаем здесь характерное чередование русского и церковнославянского языка, которое очевидным образом связывается с разницей в речевой установке. Это стихотворение в целом написано по-русски в сказовой, повествовательной манере, приближающейся к разговорной интонации; вместе с тем здесь вычленяется значительный по объему текст на церковнославянском языке, маркированный по своим языковым характеристикам. При этом текст на русском языке представлен от лица самого Тредиаковского, а текст на церковнославянском языке — от лица Аполлона: когда Тредиаковский говорит от своего имени, описывая — в повествовательной форме — ту или иную последовательность событий, он пользуется русским языком, когда же он воспроизводит слова Аполлона, обращенные к новобрачным (кн. А. Б. Куракину и его супруге), т. е. собственно эпиталаму, он переходит на церковнославянский. Это своеобразная дань литературной традиции, т. е. традиции торжественного, витийственного стиля (уступка которому возможна именно в рамках стихотворной речи — см. специально об этом ниже, § **II-3.1**), которая оказывается тем самым противопоставленной новой русской литературе. Замечательно при этом, что языческий бог говорит по-церковнославянски: церковнославянский язык воспринимается, таким образом, в связи не с религиозной, а с архаической культурной традицией — как язык культуры, а не культа. Сам жанр эпиталамы мотивирует обращение к античному началу, которое ассоциируется при этом с церковнославянской языковой стихией, объединяясь с ней по признаку древности, архаичности; итак, оппозиция «церковнославянское — русское» воспринимается в связи с противопоставлением «древней» и «новой» литературы[18].

2.1. Едва ли не первый прецедент апелляции к вкусу как к эстетическому критерию, которым следует руководствоваться в языковом нормировании, — столь характерной в дальнейшем для карамзинистов — содержится опять-таки в предисловии к «Езде в остров Любви», где Тредиаковский объясняет отказ от «глубокословныя славенщизны» прежде всего субъективным восприятием церковнославянского языка как «жестокого» или «жесткого»: «… Язык славенскои ныне жесток моим ушам слышится» (см.: Тредиаковский, 1730, предисл., с. [4]; Тредиаковский, III, с. 649)[19]. Знаменательно, что эту причину сам Тредиаковский демонстративно считает «самой важной» среди тех факторов, на которые он ссылается в обоснование своей языковой позиции. Совершенно идентичное заявление содержится, как мы уже могли видеть, и в грамматическом очерке Адоду-

рова 1731 г.: «… Nunmehro aller *Slavonismus*… aus der Rußischen Sprache eruliret, und einen greßlichen Laut in denen Ohren derer Heutigen erreget» (Адодуров, 1731, с. 26). Поскольку этот очерк Адодурова, по всей видимости, переводился с русского, а не писался непосредственно по-немецки, следует предположить, что слово *greßlich* (в современном правописании: *gräßlich*) представляет собой прямой перевод русского слова *жестокий*; тем самым оказывается возможным предложить следующую реконструкцию исходного русского текста для данной фразы: «… Ныне всякая славенщизна… изгоняется из русского языка и жестока сегодняшним ушам слышится»[20]. Тот факт, что Адодуров имел, видимо, ближайшее отношение к публикации «Езды в остров Любви» (см.: Успенский, 1974/1997, с. 617 — наст. изд., с. 519–520; Успенский, 1975, с. 64–65), делает отмеченное совпадение особенно знаменательным.

Если церковнославянские формы характеризуются в очерке Адодурова эпитетом *жестокий* (*greßlich*), то соответствующие русские формы расцениваются как *изящные* (*zierlich*)[21] или *красивые* (*schön*). Адодуров сообщает, например, что форма *питье* «употребительнее и изящнее», чем *питіе* («Питіе das Geträncke wird häuffiger, auch zierlicher *per Contractionem* gebraucht…» — Адодуров, 1731, с. 27)[22]; в другом случае он замечает, что «гораздо красивее сказать *дверью* вместо *дверію*, *дверьми* вместо *дверями*, *плетью* вместо *плетію*, *плетьми* вместо *плетями* и т. д.» («… Ist es viel schöner, wenn ich sage дверью an statt дверію, дверьми an statt дверями, плетью an statt плетію, плетьми an statt плетями, u. s. w.» — там же, с. 23)[23]. Понятие «изящества (элегантности)» или «красоты» речи явно связывается при этом с критерием употребления, т. е. таким образом расцениваются именно употребительные формы[24]. Знаменательно, что в Вейсманновом лексиконе, в приложении к которому был опубликован очерк Адодурова и в подготовке которого он принимал непосредственное участие (Мат. АН, I, с. 486, 603; Пекарский, I, с. 504), мы находим противопоставление: «zierlich Wort, colores Rhetorici, красныя слова» и «harte Wort, *verba minantia*, *inclementer dicta*, грозныя, свирепыя, жестокия слова» (с. 763). Вообще слово *жестокий* выступает в Вейсманновом лексиконе в том же синонимическом ряду, что *грубый*, *неприятный* и т. п.: «rauh, *asper*, *durus*, жестокии, суровыи, угрюмыи, грубыи… неприятныи» (с. 487), ср. еще: «rauh anfahren, *aspere et graviore verbo aliquem apellare*, жестокими, грубыми, неприятными словами на кого напасти» (с. 487), — тогда как по отношению к голосу, т. е. к звучащей речи, это слово одновременно оказывается здесь синонимом слова *громкий*: «starcke [Stimme], vox magna, grandis, силныи, жестокии, превеликии, громкии» (с. 610). Соответственно восприятие славянизмов как «жестоких» слов отвечает ассоциации их с «громкостью»[25], ср. в дальнейшем определение славянизмов как «громких» слов у Сумарокова, Карамзина, П. И. Макарова, Пушкина (см.: Лотман и Успенский, 1975/ 1996, с. 649, примеч. 154).

Сходным образом Тредиаковский, характеризуя в предисловии к «Езде в остров Любви» славянизмы как «жест(о)кие», в других своих произведениях применяет эпитет «нежный» для характеристики специфических явлений русского языка. Так оценивается, например, аканье: по словам Тредиаковского, «нежней-

шийй московский выговор необходимо произносит… (о), как (а)» («Разговор об ортографии», 1748 г. — Тредиаковский, III, с. 207)[26]. Но точно таким же образом могут характеризоваться вообще все явления, противопоставляемые церковнославянской языковой стихии и соответственно ассоциируемые с «нынешним» языком. Так, Тредиаковский говорит о «нынешнем нашем нежном *вы*» (в предисловии к «Речам кратким и сильным» 1744 г., а также в предисловии к «Аргениде» 1751 г. — Пекарский, II, с. 104, примеч.; Тредиаковский, 1751, I, с. LXI–LXII, ср. также ниже, § **II-6.1**); в другом месте он говорит о «нежном дамском выговоре» («Разговор об ортографии», 1748 г. — Тредиаковский, III, с. 285)[27], и это явно связано с тем, что женская речь свободна от славянизмов (ср. выше, § **I-4.2**, а также ниже, § **II-6.2**). Слово *нежный* выступает при этом, по-видимому, как семантическая калька с франц. *délicat* (ср.: «un style délicat», «un goût délicat», «une oreille délicate» — Фюретьер, 1727, s. v. *délicat*; Сл. Фр. Академии, I, с. 456), т. е. в значении, близком к нем. *zierlich*; действительно, как *нежный*, так и *zierlich* коррелирует с *délicat*[28]. В «Науке о стихотворении и поэзии» (1752), представляющей собой перевод «L'art poétique» Буало, Тредиаковский говорит о «нежнейшем слоге» пасторальной поэзии (Тредиаковский, I, с. 41), причем слово *нежнейший* соответствует слову *élégant* во французском оригинале («L'art poétique», II, 6). Поскольку стилистические противопоставления, заимствуемые у французских авторов, явно связываются Тредиаковским с противопоставлением церковнославянского и русского начала (ср. ниже, § **II-3.1**), эпитет *нежный* и в этом случае ассоциируется, видимо, с русской языковой стихией[29].

В точности так же Тредиаковский может говорить о «нежности» французского языка (так, например, в предисловии к I тому «Римской истории» Роллена, 1761 г. — Тредиаковский, 1761–1767, I, с. *г*; см. цитату ниже, § **II-4.3**). При этом если французский язык расценивается как «нежный» в противопоставлении латыни, то русский язык квалифицируется таким образом в противопоставлении церковнославянскому[30]. Знаменательно в этом смысле, что Тредиаковский в одном месте соотносит эпитет *нежный* с лат. *humanus* 'человеческий'. Так, в предисловии к своему собранию «Сочинений и переводов…» 1752 г. Тредиаковский говорит: «… Аристотель назвал Сто́пу Иамб, как то Квинтилиан свидетельствует, нежною, Iambus humanior videtur» (Тредиаковский, I, с. XVII). Как видим, «нежное» оказывается равнозначным «человеческому», «естественному» — тому, что, говоря словами Тредиаковского, «людскости исполнено» (см. там же)[31]; здесь же Тредиаковский хвалит Теренция «за точное следование естеству, за неухищренную простоту, за красную и нежную чистоту языка» (Тредиаковский, I, с. IX). Совершенно очевидно, что «нежность» французского или русского языка определяется именно опорой на естественное употребление: эти языки являются «нежными» постольку, поскольку они выступают как средство живого человеческого общения. Итак, «нежность» соотносится у Тредиаковского как с изяществом (франц. *délicat*), так и с естественностью (лат. *humanus*): критерий красоты, изящества речи однозначно связывается таким образом с естественным, разговорным началом в языке.

Нет никакого сомнения, что эпитет *жестокий* (*жесткий*), так же как и *нежный* и т. п., калькирует французское словоупотребление. С вероятностью следует видеть здесь семантическую кальку слова *dur*, которое вполне обычно выступает во французском языке в качестве стилистической характеристики[32]. Достаточно показательна в этом смысле IV сатира Кантемира. В окончательной редакции сатиры (1743) Кантемир, так же как Тредиаковский и Адодуров, пользуется выражением *жесток ушам*:

С трудом стишка два сплету, да и те не спелы,
Жостки, досадны ушам, и на те походят,
Что по целой азбуке святых житье водят.
(Кантемир, I, с. 92)

В примечании к своей сатире Кантемир при этом сообщает, что речь идет о стихотворных житиях святых черниговского архиепископа Иоанна Максимовича (Кантемир, I, с. 97, ср. еще с. 254), которые были изложены церковнославянскими силлабическими виршами[33]; таким образом, эпитет *жесткий* и в этом случае соотносится с церковнославянской языковой стихией. Между тем, в первой редакции кантемировской сатиры (1731) эти стихи читались иначе, а именно:

С трудом стишка два сплету, да и те не спелы,
Тверды, ушам досадны, и на те походят,
Которы по азбуке святых житье водят.
(Кантемир, I, с. 250)[34]

Итак, *твердый* и *жесткий* выступают здесь как взаимозаменяемые варианты: совершенно очевидно, что и тот и другой эпитет соотносится с франц. *dur*, которое охватывает значения ʻтвердыйʼ и ʻжесткийʼ, имея также значение ʻжестокийʼ; вместе с тем то обстоятельство, что Кантемир заменяет *твердый* на *жесткий* в окончательной редакции своей сатиры, может объясняться влиянием традиции, идущей в конечном счете от Тредиаковского и Адодурова, т. е. традиции, связывающей эпитет *жест(о)кий* с церковнославянским языком[35].

То же выражение (*жесток ушам*) в дальнейшем мы находим и у Сумарокова в «Наставлении хотящим быти писателями» (1774), который говорит о «пастушьих стихах», т. е. идиллиях и эклогах:

В них громкия слова чтеца ушам жестоки,
В лугах подымут вихрь и возмутят потоки.
(Сумароков, I, с. 366)

«Наставление хотящим быти писателями» представляет собой, как известно, переделку более ранних эпистол Сумарокова (1748), но в «Эпистоле о стихотворстве» соответствующее место выглядит иным образом:

В них гордыя слова, сложения высоки,
В лугах подымут вихрь и возмутят потоки.
(Сумароков, I, с. 338)

Это место у Сумарокова восходит к «L'art poétique» Буало (II, 8–10), причем выражение *гордые слова* представляет собой перевод франц. *grands mots*, соотносясь вместе с тем с «l'orgueil d'un vers présomptueux». Заменяя *гордые слова* на *громкие слова*, Сумароков дает понять, что говорит о славянизмах (ср. выше относительно эпитета *громкий*); совершенно тот же смысл имеет и эпитет *жестокий* — на русской почве как *громкий*, так и *жестокий* прочно связываются с церковнославянской языковой стихией[36].

Итак, и у Кантемира и у Сумарокова отражается цитированная выше фраза Тредиаковского из предисловия к «Езде в остров Любви». Характерно, что и тот и другой автор пользуется этим выражением в окончательной (позднейшей) редакции, т. е. они правят свои произведения, приближая их к фразеологии Тредиаковского и Адодурова; это очевидным образом говорит о распространении данной фразеологии — эпитет *жест(о)кий* как характеристика славянизмов становится регулярным явлением у русских авторов. Впоследствии, как мы уже знаем, такое словоупотребление берется на вооружение карамзинистами (см. выше, § **I-3**), и это не случайное совпадение: карамзинисты продолжают традицию, идущую от Тредиаковского и Адодурова.

Замечательно, что то же семантическое противопоставление, которое применительно к антитезе церковнославянского и русского языка выражается эпитетами *жестокий* и *изящный* (или *нежный*), мы находим у Тредиаковского в «Стихах похвалных Парижу» (1728), опубликованных в приложении к «Езде в остров Любви»:

Красное место! драгои берег Сенски!
где быть несмеет манер деревенски:
Ибо все держиш в себе благородно,
Богам, богиням, ты место природно.
. . . .
Красное место! драгои берег Сенски!
кто тя нелюбит? разве был дух зверски!
(Тредиаковский, 1730, с. 182; Тредиаковский, III, с. 755)[37]

В самом деле, эпитет *зверский* в этом контексте — не что иное, как семантическая калька того же французского слова *dur*, одно из значений которого может быть определено как ʻдикий, нечеловеческийʼ[38]; выражение *дух зверский* передает, таким образом, французское выражение *un esprit dur* (ср.: Сл. Фр. Академии, I, с. 535; Фюретьер, 1727, s. v. *dur*)[39].

Итак, как французский «благородный манер», так и «изящная» русская речь противопоставляется дикости, грубости («зверскому», «жестокому»); это противопоставление и определяет, в частности, восприятие церковнославянского языка как антипода русской речи.

Характерно, что славянизированный высокий слог может в дальнейшем расцениваться карамзинистами как «дикий» (ср. выше, § **I-3**); опять-таки, и в этом случае эпитет *дикий* калькирует значение франц. *dur*. Когда Карамзин, например, оценивает стиль Ломоносова как «дикий» и «варварский» («… Отдавая всю

справедливось красноречию Ломоносова, не упустил я заметить штиль его *дикой*, *варварской*, во все не свойственной нынешнему вкусу; и старался писать чище и живее» — эти слова Карамзина приводит Г. П. Каменев в письме к С. А. Москотильникову от ноября 1800 г., см.: Бобров, III, с. 143), то это не что иное, как дословный перевод французского *un style dur et barbare*; ср. хотя бы совершенно аналогичную оценку стиля Тертуллиана у аббата Бугура: «Les pensées de Tertullien tirent une partie de leur force de son stile dur et barbare» (Фюретьер, 1727, s. v. *stile*).

2.2. Установка на употребление, т. е. на usus loquendi, и отказ от славянизмов выступают как наиболее характерные черты концепции литературного языка у Адодурова и Тредиаковского в 1730-е гг. Следует иметь в виду, что аналогичную позицию занимают в это время Ломоносов и Кантемир. Для суждения о языковой позиции Ломоносова в этот период наглядный материал дают его маргиналии и пометки (1736–1739) на книге Тредиаковского о стихосложении (см.: Сухомлинов, III, примечания, с. 6–11; Берков, 1936, с. 56–63), которые демонстрируют явную ориентацию на разговорную речь; позднее Ломоносов, как известно, будет придерживаться другой точки зрения. Ряд слов и выражений, которыми пользуется Тредиаковский, квалифицированы здесь Ломоносовым как «inusitatum», т. е. как «неупотребительные» (Берков, 1936, с. 57), — критерием, таким образом, выступает для Ломоносова именно употребление. Ломоносов особенно решительно нападает на славянизмы, которые встречаются в стихах Тредиаковского (см. специально об этом ниже, § **II-3**), в ряде случаев сопровождая слова такого рода ироническими замечаниями [40] или же предлагая заменить их на соответствующие русизмы [41]. Заслуживает внимания, в частности, следующая запись Ломоносова: «Новым словам ненадобно старых окончаниев давать, которыя не употребительны н[а] п[ример] *пробуждéна* in accusativo вместо: *пробýженово*; лутче сказать *воз'бýжденна*» (Сухомлинов, III, примечания, с. 11; Берков, 1936, с. 55 и 56; ср.: Успенский, 1975, с. 218). Как видим, под «новыми словами» Ломоносов понимает русизмы, поскольку они противопоставляются коррелирующим с ними славянизмам, и при этом он протестует против оформления этих «новых слов» церковнославянскими окончаниями. Несколько позднее в «Примечаниях на предложение [Тредиаковского] о множественном окончании прилагательных имен» 1746 г. Ломоносов подчеркивает: «… Славенский язык от великороссийского ничем столько не разнится, как окончениями речений» (Ломоносов, VII, с. 83). Эти высказывания Ломоносова ближайшим образом напоминают цитированный выше (§ **II-2**) протест против славянизмов в грамматическом очерке Адодурова 1731 г., где также подчеркивается недопустимость церковнославянских окончаний в склонениях (Адодуров, 1731, с. 26).

Для характеристики позиции Кантемира очень показательна авторская переработка сатиры III: если первоначальная редакция этой сатиры (1730) написана еще славянизированным слогом, то во второй редакции (около 1738 г.) Кантемир более или менее последовательно заменяет славянизмы на соответствующие рус-

ские формы (см.: Серман, 1973, с. 182; Веселитский, 1974, с. 52), ср. в примечании к этой сатире ссылку на «простой разговор» (Кантемир, I, с. 78)[42]. Вместе с тем, уже в предисловии к своему переводу «Таблицы Кевика философа» (1729) Кантемир сообщает: «…Я нарочно прилежал сколько можно писать простее, чтобы всем вразумительно» (Кантемир, II, с. 384); точно так же в примечании к «Речи к… Анне Иоанновне» (1731) Кантемир говорит о «простом и народном почти стиле» своих сатир (там же, I, с. 307); ср. еще упоминание о «простом» слоге сатир и в предисловии Кантемира к сатирам 1743 г. (там же, I, с. 8). Эти слова Кантемира разительно напоминают цитированное выше (§ **II-2**) заявление Тредиаковского в предисловии к «Езде в остров Любви» о «почти самом простом Руском слове» (Тредиаковский, 1730, предисл., с. [3]; Тредиаковский, III, с. 649).

3. Показательно, что в «Новом и кратком способе к сложению Российских стихов…» 1735 г. Тредиаковский может относить славянизмы к разряду поэтических «вольностей» (licentia), т. е. о т к л о н е н и й о т н о р м ы, допустимых только в поэзии, но невозможных в прозе[43]. Так, среди «главных вольностей», «которыя можно в стихе токмо положить, а не в прозе», Тредиаковский упоминает следующие: «Глаголы втораго лица́, числа́ единственнаго, могут кончиться на *ши*, вместо на *шь*; так же и не определенные на *ти*, вместо на *ть*. Например: *пишеши*, вместо *пишешь*, и: *писати*, вместо *писать*»; «Местоимения *мя*, *тя*, вместо *меня*, *тебя*; так же *ми*, *ти*, вместо *мнѣ*, *тебѣ*, не не частож кладется *ти*, вместо *твой*»; «Многие звательные падежи, которые у нас все подобны именительным… могут иногда в Стихах образом славенских кончится. Так вместо *Фiлотъ*, может положится: *Фiлоте*; что я и употребил в одной моей Сатире»[44]; «… *Брегу́*, можно положить вместо *берегу́*; *брежно*, вместо *бережно*; *стрегу*, за *стерегу*…» (Тредиаковский, 1735а, с. 16, 18, 20, пункты I, II, VIII, XIV; ср. еще аналогичное замечание о звательном падеже на с. 86–87). Одновременно здесь специально подчеркивается допустимость в стихах лексических архаизмов, «ныне в прозе не употребляемых», — таких, как *ратоборец*, *рать*, *витязь* и т. п. (там же, с. 18, пункт IX)[45], и это явно связано с тем обстоятельством, что архаизмы такого рода чужды разговорной речи; таким образом, ориентация литературного языка на разговорную речь в принципе может распространяться только на прозу. Именно по этому критерию Тредиаковский противопоставляет «простую», т. е. прозаическую, и «пиитическую» эпистолу: «Пиитическая Эпистола Стилем только разнится от простыя, для того что в Пиитической Эпистоле, и стиль долженствует быть Пиитический, Аполлиноватый, и весьма с Парнасским не разглашающийся»; напротив, в простых эпистолах, по словам Тредиаковского, «должно умеренну быть в Аполлинствовании, для того, что все высокое в Эпистоле не имеет места» (Тредиаковский, 1735а, с. 36, 35): «аполлинствование», таким образом, соотносится у Тредиаковского с высоким слогом (см. подробнее ниже, § **II-3.1**)[46].

Данный принцип (т. е. противопоставление стихов и прозы по этому принципу) фактически проводится в жизнь уже в переводе «Езды в остров Любви»: как

показал Ю. С. Сорокин, стилистически не нейтральные славянизмы (маркированные как таковые) характерны главным образом для стихотворных эпизодов этого произведения, но не для прозаического повествования (Сорокин, 1976, с. 49–51). Таким образом, заявление о «почти самом простом Руском слове» может относиться только к прозе «Езды в остров Любви».

Совершенно так же, по-видимому, объясняется и синтаксическая инверсия, т. е. свободная расстановка слов, столь характерная для Тредиаковского, которая наблюдается уже и в раннем его творчестве (см.: Бонди, 1935, с. 63–65; Пумпянский, 1941, с. 232–235). Это явление явно противоречит принципу «писать, как говорят»; но следует иметь в виду, что отступление от обычного порядка слов допускается Тредиаковским в стихах, но не в прозе, т. е. также представляет собой своего рода «поэтическую вольность» (ср.: Бонди, 1935, с. 64). Поскольку инверсия такого рода была возможна в церковнославянских текстах (где строение фразы нередко калькирует греческое словорасположение), данное явление может расцениваться как синтаксический славянизм[47], допустимый в стихах на тех же основаниях, что и славянизмы лексические.

Позднее, отвечая на критику Сумарокова, Тредиаковский говорит в «Письме от приятеля к приятелю» 1750 г.: «Господин Автор изволит смеяться над теми, кои иногда в стихах прелагают ча́сти сло́ва [т. е.: переставляют части речи][48], буттоб наш язык так же был связан тем как Французской или Немецкой» (Куник, 1865, с. 448). Таким образом, Тредиаковский констатирует, что перестановка слов возможна лишь в поэтическом тексте. При этом такая возможность обусловлена, по мнению Тредиаковского, свойствами «нашего языка». Следует иметь в виду, что в это время Тредиаковский склонен уже не противопоставлять церковнославянский и русский языки, а объединять их, настойчиво подчеркивая церковнославянскую основу русского литературного языка (см. об этом ниже, § **III-3**). Русский литературный язык оказывается аналогичным по своим синтаксическим свойствам не таким языкам, как французский или немецкий, а таким, как греческий или латынь. Если в каких-то случаях строение русской фразы подчиняется у Тредиаковского латинскому синтаксису (см. об этом: Пумпянский, 1941, с. 232–233), то это может указывать на функциональное отождествление церковнославянского и латыни как книжных языков (ср. ниже, § **II-4.2**).

Отметим, что Адодуров занимает, кажется, более радикальную позицию по отношению к славянизмам, чем Тредиаковский, поскольку он возражает против славянизмов как в прозе, так и в стихах. Так, он замечает в своей грамматике 1738–1740 гг. (в § 66): «... *ю* употреблялось прежде вместо *ея*, которое есть местоимение третияго лица в винителном падеже рода женскаго; в сем знаменовании употребляется оно от некоторых еще и по ныне при сложении стихов; однакож от тех, которые чистость языка хранит[ь] стараются, а особливо в простой речи оно уже весма не принимается» (Успенский, 1975, с. 115, ср. с. 18, 196). Это замечание может относиться непосредственно к Тредиаковскому, отражая полемику Адодурова и Тредиаковского по данному вопросу[49]. Сходным образом и Ломоносов, полемизируя с Тредиаковским, заяв-

ляет себя противником славянизмов в поэзии, так же как и в прозе, т. е. его позиция (в этот период) в принципе не отличается от позиции Адодурова (см. выше, § **II-2.2**). Что касается Кантемира, то его взгляды на поэтический язык обнаруживают определенное сходство со взглядами Тредиаковского (см. ниже, § **II-3.1**).

3.1. Тредиаковский, насколько мы знаем, первым употребляет эпитет *надутый* для характеристики высокого слога в его неоправданном, немотивированном употреблении. Так, в своем трактате о стихотворстве 1735 г. Тредиаковский заявляет: «В Эпи́столах о важных делах, а особливо о науках, должно умеренну быть в Аполлинствовании, для того что все высокое в Эпи́столе не имеет ме́ста; а тот, кто projicit ampullas[50], et sesquipedalia verba, как говорит Гораций, то есть, *кидает надутыя, и в полтора фута слова́*, всегда завирающимся называется» (Тредиаковский, 1735а, с. 35)[51]; и позднее в «Письме от приятеля к приятелю» 1750 г., критикуя оду Сумарокова, Тредиаковский говорит о строфе, «в которой полагает он [Сумароков] пример всея Пиитическия высокости»: «Она вся то, что у Французов называется *фебю́с* [*phébus*]; а мы можем назвать, *надутых пузырей пускание*, или *ртом облаков хватание*» (Куник, 1865, с. 466, ср. еще тот же образ на с. 473). Франц. *phébus* означает поэтическую непонятность, приподнятость речи; сходное значение имеют слова *аполлинствование* и *аполлиноватый* в трактате Тредиаковского 1735 г. (Тредиаковский, 1735а, с. 35–36), которые являются, несомненно, неологизмами Тредиаковского. При этом *аполлинствование* может рассматриваться как своеобразная калька с *phébus*, поскольку оба слова образованы от имени Феба-Аполлона, однако, в отличие от *phébus*, *аполлинствование* и *аполлиноватый* не имеют отрицательного семантического оттенка[52].

Хотя Тредиаковский и ссылается на Горация, эпитет *надутый*, по всей видимости, соотносится не столько с латинским, сколько с французским словоупотреблением: действительно, *надутый* в равной мере может рассматриваться как калька с франц. *ampoulé* и как калька с франц. *enflé* (ср. такие выражения, как *un discours ampoulé*, *un style ampoulé*, *un style enflé*, а также *enfler son style*), в той или иной степени соответствуя также франц. *boursoufflé*, *bouffi*; вообще метафорика надутости, раздутости, набухания, пухлости и т. п. применительно к оценке языка и стиля очень развита во французском языке[53]. В «Науке о стихотворении и поэзии» 1752 г. (переводе «L'art poétique» Буало) Тредиаковский пользуется словом *надутый* для передачи франц. *ampoulé*:

Не нравится уму надменный Барбарисм,
Надутагож Стиха и пышный Солецисм.
(Тредиаковский, I, с. 36);

ср. соответствующее место во французском оригинале:

Mon esprit n'admet point un pompeux barbarisme,
Ni d'un vers ampoulé l'orgueilleux solécisme.
(«L'art poétique», I, 159–160)[54]

Если в данном случае слово *надутый* соотносится с *ampoulé*, то в других случаях оно, несомненно, может соотноситься с *enflé*. Так, в прямом соответствии со значением франц. *enflé*, рус. *надутый* может характеризовать как язык (стиль), так и человека: если в применении к языку *надутый* означает ‘высокий (стиль)’, то применительно к человеку это слово означает ‘гордый’ [55]; такая же в точности полисемия характерна и для франц. *enflé*, тогда как эпитет *ampoulé*, в отличие от *enflé*, может относиться во французском только к языку, но никак не к человеку [56].

Необходимо подчеркнуть, что *enflé* семантически соотносится во французском языке с *dur*, ср. определение в словаре Фюретьера (1727, s. v. *enfler*): «*Enfler* — remplir de vent, ou d’autre chose un corps, pour le rendre plus dur…». Тем самым *надутый* как калька с *enflé* косвенно соотносится с *жест(о)кий* как калькой с *dur* (ср. выше, § **II-2.1**): действительно, и тот и другой эпитет выступает как средство характеристики высокого слога. При этом на русской почве эпитет *надутый*, так же как и *жест(о)кий*, устойчиво связывается с славянизацией языка, т. е. со злоупотреблением славянизмами; именно в этом смысле пользуется выражением *надутый слог* Ломоносов в рассуждении «О пользе книг церьковных в Российском языке» 1758 г. (Ломоносов, VII, с. 589); точно так же и Карамзин, как мы уже видели, называет «чистым» слог, который «не надут славянщизною» (рецензия на прозаический перевод поэмы Ариосто «Неистовый Роланд» — МЖ, II, с. 324); совершенно такой же смысл имеет и протест Карамзина в предисловии к «Аонидам» 1797 г. против «надутого описания», «излишней высокопарности, грома слов не у места» (Карамзин, 1797, с. V сл.; ср. выше, § **I-3**) [57].

Позднее Тредиаковский первым же употребляет в аналогичном значении и эпитет *напыщенный*, который выступает при этом как калька с франц. *guindé* или *soutenu*, одновременно соотносясь также с *enflé*, *boursoufflé*, *bouffi* и т. п. Так, в предисловии к I тому «Римской истории» (1761) Тредиаковский говорит об авторах, злоупотребляющих высоким стилем: «Сей громогласен и велелепен; но пуст вещей [т. е. лишен содержания], и напыще́н, как от во́днаго отока, словом» (Тредиаковский, 1761–1767, I, с. *е*) [58]; равным образом в предисловии к «Тилемахиде» (1766) он замечает о Фенелоне: «Знал он твердо, что всякой Речи должно иметь свои Неравности: иногда надлежит ей быть Высокой, но не Напыщенной; а иногда Простой, но не Подлой. Ложный то вкус, чтоб везде и всегда украшать, распещрять, и роскошствовать» (Тредиаковский, II, с. LII) [59]. Эпитет *напыщенный* означает в сущности то же, что и *надутый*: в обоих случаях имеются в виду, так сказать, излишества высокого слога, неоправданное, неуместное применение высоких, торжественных средств выражения; в дальнейшем как тот, так и другой эпитет естественно связывается с чрезмерной или неуместной славянизацией языка.

Такие стилистические оценки, как *надутый* или *напыщенный*, в принципе означают, вообще говоря, фактическую легитимацию высокого стиля, т. е. допущение в рамках литературного языка специфических средств выражения, связанных с торжественной речью. В самом деле, «надутой» или «напыщенной» в соответствии со значением исходных французских слов (*ampoulé*, *enflé*, *guindé*,

soutenu и т. п.) признается такая речь, в которой эти специфические средства выражения употребляются немотивированно, неоправданно, т. е. без необходимых или достаточных оснований: «надутость» («напыщенность») предполагает вообще несоответствие выражения содержанию или же общей ситуации — в частном случае при этом предполагаются высокие средства выражения при пустом содержании. Подобно тому как во французской стилистической номенклатуре такие характеристики, как «un style (discours) ampoulé, enflé, guindé, etc.», предполагают существование стиля, который определяется как «un style sublime, élevé, pompeux, magnifique, etc.» (причем эпитеты *sublime*, *élevé*, *pompeux*, *magnifique*, в отличие от *ampoulé*, *enflé*, *guindé*, *bouffi*, *boursoufflé*, имеют нейтральный, но никак не отрицательный смысл), в русском языке характеристика слога как «надутого» или «напыщенного» предполагает существование таких условий, когда те же самые средства выражения признаются уместными и оправданными.

Если эпитет *надутый* или *напыщенный* связывается при этом с употреблением славянизмов, то это означает соответственно признание славянизированного слога как стилистической возможности в рамках литературного языка, т. е. признание возможности в определенных условиях пользоваться ресурсами церковнославянского языка. Такая возможность и допускается Тредиаковским — в рассматриваемый период — для поэтической речи; именно это, по-видимому, он и имеет в виду, когда говорит об «аполлинствовании», уместном в поэзии, но недопустимом в прозе[60]. Эта возможность особенно заметно проявляется в таком высоком поэтическом жанре, как ода, поскольку торжественная ода связывается в России с традицией проповеди и панегирика, т. е. с церковнославянской литературной традицией (см.: Живов, 1981, с. 65–70; Живов и Успенский, 1983, с. 47–48). Характерно в этом смысле, что в «Рассуждении о оде во обще» (1734) Тредиаковский объединяет псалмы и оды, определяя оду как мирской псалом: «Охотник Россииский может приметить высоту слова, какова должна быть в Одах, в псалмах святаго Пииты псалтирическаго, то есть, блаженнаго Пророка и Царя Давида: ибо псалмы не что иное, как Оды, хотя на Россиискии не стихами переведенные» (Тредиаковский, 1734, л. В/2 об.)[61]. Под «россииским» языком в данном случае имеется в виду, конечно, язык церковнославянский[62].

Сопоставляя одическую поэзию с Псалтырью, Тредиаковский развивает мысль, высказанную Буало в «Discours sur l'ode» — сочинении, к которому восходит вообще «Рассуждение о оде…» Тредиаковского (так же, как ода «О здаче города Гданска» Тредиаковского восходит к оде Буало «La prise de Namur»). Существенно, однако, что на русской почве это сопоставление приобретает принципиально новый смысл, соотнося одическую поэзию с церковнославянской языковой стихией. Если Буало основывается в своем трактате («Discours sur l'ode») прежде всего на поэтических принципах, объединяющих оду с псалмами, — таких, как логическая непоследовательность («un sens rompu»), метафоричность и т. п., — то Тредиаковский делает основной акцент на «высоте слова», которая закономерно ассоциируется при этом именно со славянизацией языка. В самом деле, когда Буало говорит о Псалтыри, он не имеет в виду языковую манифеста-

цию этого текста, и соответственно в центре его внимания оказывается не столько язык как таковой, т. е. формальные средства выражения, сколько все то, что остается неизменным при переводе с одного языка на другой — семантика (возвышенное содержание, образность и т. п.) и риторика (способ построения периода) данного произведения. Между тем, в центре внимания Тредиаковского — именно языковые проблемы: действительно, Тредиаковский говорит о церковнославянской Псалтыри, т. е. о вполне конкретном тексте, которому присущи определенные средства выражения; ориентация на этот текст предполагает уподобление ему в собственно языковой сфере, т. е. заимствование средств выражения. Характерно, что Буало, сопоставляя оду с псалмами, ничего не говорит о «высоте слова»; это выражение принадлежит Тредиаковскому, и в данном контексте оно оказывается исключительно значимым, более или менее однозначно указывая на связь оды с церковнославянской традицией.

Аналогичный смысл имеет у Тредиаковского и выражение *глубокость речей* по отношению к оде: Тредиаковский констатирует в «Рассуждении о оде во обще», что ода отличается от мирской песни «важностию материи, и глубокостию речеи» (Тредиаковский, 1734, л. С/4 об.). Действительно, выражение *глубокость речей* ближайшим образом соответствует эпитету *глубокословный* как характеристике церковнославянского языка в выражении *глубокословная славенщизна*, которое употребляет Тредиаковский в предисловии к «Езде в остров Любви» (см. выше, § **II-2**); «высота слова» и «глубокость речей» оказываются, таким образом, равнозначными характеристиками. Вместе с тем, «высота слова», необходимая для одической поэзии, явно противопоставляется «простоте слова», к которой призывает Тредиаковский в том же предисловии к «Езде в остров Любви», когда говорит о прозе (см. там же)[63]. Как видим, противопоставление поэзии и прозы может соотноситься с противопоставлением церковнославянского и русского языка.

Итак, Тредиаковский заимствует французскую стилистическую номенклатуру, пытаясь применить ее к русской языковой ситуации и, в частности, связать с дихотомией церковнославянского и русского языков: введение стилистических оценок (таких, например, как *надутый* и т. п.) имплицитно предполагает определенную иерархию стилей. В «Рассуждении о оде во обще» (1734) и затем в «Новом и кратком способе к сложению Российских стихов…» (1735) можно усмотреть уже элементы теории трех стилей, последовательно осмысленной в дальнейшем в применении к русскому языковому материалу Ломоносовым в его рассуждении «О пользе книг церьковных…» (1758); в этом смысле Тредиаковский является предшественником Ломоносова (см.: Сизова, 1982, § III). Так, в «Рассуждении о оде…» Тредиаковский упоминает о противопоставлении «высоких» и «низких речей», выделяя наряду с ними и «средние речи» (Тредиаковский, 1734, л. С/4 об.); равным образом в «Новом и кратком способе…» он замечает, что стиль эпистол «ни высок ни низок» (Тредиаковский, 1735а, с. 34). Теория трех стилей, вообще говоря, могла быть известна Тредиаковскому как из античных, так и из отечественных риторик (см., например: Вомперский, 1970), но мож-

но с уверенностью утверждать, что наиболее актуальными для него были сочинения французских авторов, на которых он непосредственно ориентировался[64].

При этом французские стилистические теории, попадая на русскую почву, получают гораздо более четкое и определенное содержание, нежели то, которое они имели во Франции. В самом деле, во Франции противопоставление стилей основывается прежде всего на традиции литературного употребления, т. е. в основу стилистической классификации кладутся не столько какие-либо формальные признаки, конституирующие тот или иной стиль, сколько связанная с ним литературная традиция, опирающаяся на критерий вкуса и осмысляемая как языковое чутье. При таком подходе характеристика стиля имеет по необходимости обобщенный и до некоторой степени интуитивный характер: стиль определяется как целое, тогда как отдельные слова получают стилистическую характеристику через соотнесение с этим целым. Между тем, в России соответствующие стилистические оппозиции соотносятся прежде всего с церковнославянским или, напротив, с русским языковым полюсом и тем самым получают гораздо более содержательный (в лингвистическом отношении) смысл: включение стилистических оппозиций в дихотомию церковнославянского и русского делает возможным стилистическую характеристику отдельного слова (словоформы) или грамматической конструкции, что позволяет определить стили на более или менее формальном лингвистическом уровне. Такая классификация стилей осуществляется Ломоносовым, однако пути ее намечены уже в ранних работах Тредиаковского.

Само собой разумеется, что основное значение приобретает в этих условиях противопоставление высокого и низкого стилей, которое так или иначе отражает противопоставление церковнославянского и русского языков, тогда как упоминание среднего стиля объясняется скорее как дань европейской литературной традиции, т. е. своего рода условность. Противопоставление высокого и низкого стилей прилагается Тредиаковским к различению поэтической и прозаической речи. Знаменательно при этом, что прозаическая речь, манифестирующая низкий стиль, выступает как нейтральная, тогда как поэтическая речь и, соответственно, высокий стиль маркированы у Тредиаковского: славянизмы, как мы видели, рассматриваются скорее как вольность (licentia), допустимая в определенных условиях, нежели как нормальное явление. Это вполне закономерно, если иметь в виду реализацию принципа «писать, как говорят», который имеет основное значение для Тредиаковского в данный период: понятно, что ориентация на разговорную речь гораздо более естественно и последовательно может осуществляться в прозе, а не в стихах; стихотворная речь по самой своей природе противопоставлена разговорной речи, и поэтому здесь могут допускаться условности высокого стиля, т. е. может делаться отступление в пользу предшествующей (церковнославянской) литературной традиции — постольку, поскольку это книжная традиция, противостоящая разговорному началу в языке.

Нечто подобное, по-видимому, имеет в виду и Кантемир, который признается в примечаниях к «Речи к… Анне Иоанновне» (1731): «Обыкши я подло и низким штилем писать, не смею составлять панегирики, где высокой штиль упо-

треблять надобно» и одновременно говорит об оде: «… Надобно, чтоб тут все речи были важныя…»; при этом язык панегирика и оды противопоставляется здесь языку сатиры, который квалифицируется как «простой» (Кантемир, I, с. 306–307; ср. выше, § **II-2.2**). Вместе с тем, выражения «простой слог» или «простое речение» могут противопоставляться у Кантемира «стихам» (так в примечаниях к III сатире 1731 г. — Кантемир, I, с. 237, 247) и, следовательно, относиться к прозе; можно сказать, таким образом, что сатиры Кантемира написаны прозаическим, а не специальным стихотворным стилем — последний предполагает известную долю славянизации. Противопоставление прозы и поэзии основывается у Тредиаковского и Кантемира на сходных принципах. Это противопоставление получает затем теоретическое обоснование в «Письме Харитона Макентина» (1742), где проза в противоположность стихам также определяется как «простой слог» или же «простосложное сочинение» (Кантемир, II, с. 2–3, § 5; см. ниже, § **III-2.1**).

3.2. Отказ от славянизмов и установка на употребление органически связаны в программе Тредиаковского. Действительно, установка на употребление имеет у Тредиаковского в большой степени теоретический и декларативный характер: установка на употребление в принципе предполагает кодификацию разговорной речи, однако в данном случае она в основном предшествует такой кодификации. В этих условиях ориентация на употребление осуществляется скорее за счет отказа от каких-то специфических книжных средств выражения, чем за счет воспроизведения реальной разговорной речи, — иными словами, она реализуется скорее в негативных, чем в позитивных формах. Славянизмы — постольку, поскольку они отмечены как таковые в языковом сознании, — и воспринимаются как специфически книжные средства выражения; напротив, немаркированные славянизмы оказываются стилистически нейтральными формами, т. е. не расцениваются как книжные элементы. Точка отсчета задается, таким образом, именно книжным языком, отступление от которого — в тех или иных значимых моментах — и осмысляется как ориентация на разговорную речь.

В рамках дихотомии церковнославянского и русского все, что не воспринимается как русское, закономерно квалифицируется как церковнославянское, и наоборот: поэтому ориентация на разговорную речь в языковой практике реализуется как отказ от специфических признаков церковнославянского языка и не касается тех форм, которые неактуальны для данной дихотомии, т. е. не соотносятся в языковом сознании с противопоставлением церковнославянской и русской языковой стихии.

Соответственно, например, в прозаических частях «Езды в остров Любви» Тредиаковский совсем не употребляет усеченных форм действительных причастий (согласованных с именем, т. е. выступающих в атрибутивной или полупредикативной функции), которые, между тем, несколько раз встречаются в стихотворных пассажах «Езды…»; надо полагать, что такие формы воспринимаются Тредиаковским как поэтическая «вольность» и связываются с книжным, церков-

нославянским началом — действительно, они характерны для определенного типа церковнославянского языка, встречаясь, например, в таких текстах, как «Фацеции», «Римские деяния» и т. п. (см.: Запольская, 1985). Напротив, полные (неусеченные) формы действительных причастий — бесспорно, церковнославянские по своему происхождению — регулярно встречаются у Тредиаковского, последовательно соответствуя при этом причастным формам французского оригинала; совершенно очевидно, что подобные формы не отмечены как славянизмы для Тредиаковского, т. е. воспринимаются им как более или менее нейтральные языковые элементы, не противоречащие в принципе ориентации на употребление[65]. Таким образом, основным противопоставлением является для Тредиаковского противопоставление усеченных и неусеченных причастных форм, причем усеченные формы (в соответствующей функции) маркированы как специфически книжные, неупотребительные в разговорной речи; соответственно, противостоящие им неусеченные формы оказываются стилистически нейтральными элементами — иначе говоря, оппозиция «книжного» и «некнижного», принципиально важная при установке на употребление, реализуется в данном случае в плане противопоставления усеченных и полных (неусеченных) форм причастий, но не применяется к характеристике причастий как таковых. Равным образом и Адодуров в своем грамматическом очерке 1731 г. кодифицирует причастные формы, явно не рассматривая их как славянизмы (Адодуров, 1731, с. 44, ср. с. 41 сл.); то же повторяется затем и в пространной грамматике Адодурова 1738–1740 гг., дошедшей до нас в соответствующих частях в шведском переводе Грёнинга (Грёнинг, 1750, с. 165, ср. с. 135–136, 138–139). Напротив, Ломоносов впоследствии (в «Российской грамматике» 1757 г.) подчеркивает церковнославянское происхождение причастий (за исключением страдательных причастий прошедшего времени), соответственно относя их к высокому слогу (см. §§ 440, 442, 444, 446, 448, 453 его грамматики — Ломоносов, VII, с. 546–550).

Итак, в целом ряде случаев церковнославянские по своему происхождению формы не опознаются Тредиаковским как славянизмы и фактически кодифицируются в рамках русской речи. Более того: в некоторых случаях подобные формы могут даже восприниматься Тредиаковским как нейтральные, тогда как соответствующие русские (по происхождению) формы квалифицируются им как «вольности». Так, в «Новом и кратком способе…» 1735 г. поэтической «вольностью» (licentia) объявляются, наряду со славянизмами (см. выше, § **II-3.1**), также и некоторые специфические русизмы. Например, Тредиаковский трактует здесь как «вольность» форму прилагательного *долгой* (род. падеж ед. числа женск. рода), признавая нормативной только форму *долгия*, и т. п. Соответственно, рассматривая стихотворную строку Кантемира «Уме слабый, плод трудов не долгой науки!» (начало I сатиры Кантемира в первоначальной редакции 1729 г. — Кантемир, I, с. 190), Тредиаковский расценивает как «вольности» формы *уме* и *долгой* и предлагает другой, «несколько совершеннейший» вариант: «Ум толь слабый, плод трудов краткия науки!» (Тредиаковский, 1735а, с. 86–87)[66]. И позднее в «Письме от приятеля к приятелю» (1750) Тредиаковский заявляет, что выражение

«*любезной дщери*, вместо *любезныя дщери*, есть непрáвильно, и досадно слуху», ссылаясь на то, что форма *любезной* есть форма дательного, а не родительного падежа (Куник, 1865, с. 462); совершенно так же он критикует здесь выражения *красы безвестной*, *твоей державы*, *сей девицы*, предлагая писать соответственно *красы безвестныя*, *твоея державы*, *сея девицы* (там же, с. 469, 456, 470)[67]. Аналогичным образом в том же трактате о стихотворстве Тредиаковский признает «вольностью» выражение *совершенной правдой*, расценивая его как отклонение от нормативного *совершенною правдою* (Тредиаковский, 1735а, с. 17, пункт V). Необходимо отметить, что рекомендации Тредиаковского в точности совпадают в этих случаях с рекомендациями Адодурова: формы, квалифицируемые Тредиаковским как нормативные (прилагательные на *-ыя*/*-ия* в род. падеже ед. числа женск. рода, прилагательные и существительные на *-ою*/*-ею* в твор. падеже ед. числа женск. рода), кодифицированы как единственно возможные в обеих грамматиках Адодурова — как в краткой грамматике 1731 г. (Адодуров, 1731, с. 14–17, 29–30), так и в пространной грамматике 1738–1740 гг. (Грёнинг, 1755, с. 84–89, 107–111)[68]. Можно предположить, что квалификация форм прилагательных на *-ой*/*-ей* (в род. или твор. падежах) как «вольности» и соответственно кодификация форм на *-ыя*/*-ия* (в род. падеже) и *-ою*/*-ею* (в твор. падеже) обусловлены стремлением устранить омонимию с формами дат. и предл. падежей на *-ой*/*-ей*; та же тенденция к устранению омонимии в формах прилагательных проявляется, возможно, и в позднейших предложениях Тредиаковского о правописании прилагательных в им. падеже мн. числа (ср. ниже, § **III-1**).

Точно так же Тредиаковский в трактате 1735 г. считает «вольностью» формы типа *щастье* вместо *щастие*[69], *вспою*, *счиняю* и т. п. вместо *воспою*, *сочиняю* и т. п., равно как и формы *меж*, *иль*, *хоть* вместо *между*, *или*, *хотя* (Тредиаковский, 1735а, с. 17–18, пункты VI, VII, III)[70].

Необходимо думать, что во всех этих случаях соответствующие противопоставления не связываются Тредиаковским — по тем или иным причинам — с противопоставлением церковнославянского и русского языков. Вместе с тем, приведенные примеры ясно показывают, что Тредиаковский, вопреки своим декларативным заявлениям, совсем не всегда основывается на реальном употреблении; напротив, в некоторых случаях он пытается регламентировать это употребление, т. е. не только определить нормы русской разговорной речи, но в какой-то мере и предписать нормы правильного употребления. Можно сказать, что, подобно Карамзину, Тредиаковский ориентируется не столько на реальное, сколько на и д е а л ь н о е употребление. Когда Тредиаковский утверждает, например, что «Езда в остров Любви» переведена «почти самым простым Руским словом, то есть каковым мы меж собои говорим» (Тредиаковский, 1730, предисл., с. [3]; Тредиаковский, III, с. 649), то слово *почти* оказывается чрезвычайно значимым: Тредиаковский, как впоследствии и карамзинисты, имеет в виду не то, как говорят, а то, как должны говорить (ср. выше, § **I-1.1**). При этом Тредиаковский пытается исходить прежде всего из проникновения в дух («свойство») русского языка; в том же предисловии к «Езде в остров Любви» он обращается к чита-

телю: «Ежели вам, *доброжелателныи читателю*, покажется что я еще здесь в своиство нашего природнаго языка не уметил, то хотя могу толко похвалиться, что все мое хотение имел, дабы то учинить; а колиже не учинил, то безсилие меня к тому недопустило, и сего, видится мне, доволно есть к моему оправданию» (Тредиаковский, 1730, предисл., с. [4]; Тредиаковский, III, с. 650). Равным образом и Адодуров, как мы уже видели, упоминает в своем грамматическом очерке 1731 г. о «духе русского языка» («der *Genius* der Rußischen Sprache») и исходит из этого в своих регламентациях, в частности, при противопоставлении русских и церковнославянских форм (Адодуров, 1731, с. 15; ср. выше, § **II-2**). Само собой разумеется, что понятие «свойства» (духа) языка воспринято русскими авторами от французских теоретиков.

4. Упоминание о «темноте» и невразумительности церковнославянского языка в предисловии к «Езде в остров Любви» («… Язык славенскои в нынешнем веке у нас очюнь темен, и многия его наши читая неразумеют…» — Тредиаковский, 1730, предисл., с. [4]; Тредиаковский, III, с. 649)[71] разительно напоминает позднейшие заявления карамзинистов. О непонятности церковнославянского языка Тредиаковский говорит и в примечании к «Военному состоянию Оттоманския империи» (1737), где отношения церковнославянского и русского языков рассматриваются — характерным образом — в сопоставлении с западноевропейской языковой ситуацией: «Подлинно, что Российской язык все свое основание имеет на са́мом Славенском языке; однако, когда праведно можно сказать, что Французской, или лучше, Италиянской, не самой Латинской язык, хотя и от Латинскаго происходит: то с такоюж справедливостию надлежит думать, что Российской язык есть не Славенской: ибо как Италиянец не разумеет, когда говорят по Латински, так мало и Славянин, когда говорят по Российски, а Россиянин, когда по Славенски» (Тредиаковский, 1737, с. 16, примеч.). Здесь особенно отчетливо выражено восприятие церковнославянского и русского как разных и в принципе равноправных по своей функции языков. Представляет интерес и соотнесение церковнославянского языка с латынью, а русского — с французским (или итальянским): такое соотнесение, как мы увидим ниже (§ **II-4.2**), вообще характерно для Тредиаковского на данном этапе.

Именно функциональное равноправие церковнославянского и русского языка заставляет Тредиаковского сравнивать «Россиянина», говорящего «по Славенски», со «Славянином», говорящим «по Российски». Вместе с тем, это сопоставление очень показательно для выяснения взглядов Тредиаковского на отношения между этими двумя языками не только в функциональном, но также и в генетическом плане. Слово *славянин* означает в цитируемом пассаже не представителя славянской расы, а представителя южных славян (именно о южных славянах идет речь в тексте, к которому относится данное примечание). Соответственно слово *славенский* выступает здесь у Тредиаковского в двух значениях: оно означает ʽцерковнославянский’ и в то же время относится к определенной разновид-

ности славян, а именно, к южным славянам. Оба значения данного слова, как кажется, естественным образом связываются в представлении Тредиаковского: во всяком случае он говорит одновременно о том и о другом.

Совершенно так же и Адодуров в своем грамматическом очерке 1731 г. может говорить о «славянах» («die Slavonier») как о носителях «славенского», т. е. церковнославянского языка («die Slavonische Sprache»). Так, например, он замечает здесь, что у «славян» есть три степени сравнения и двойственное число, и противопоставляет по этим признакам церковнославянский и русский язык, церковнославянскую и русскую грамматику. «Славяне насчитывают три таких степени, а именно, положительную, сравнительную и превосходную… Между тем, в русском языке прилагательные не имеют сравнительной степени» («Die Slavonier zehlen dergleichen *Gradus* drey, als den *Positivum*, *Comparativum* und *Superlativum*… In der Rußischen Sprache aber lassen die *Adjectiva* keinen *Comparativum Gradum* zu…» — Адодуров, 1731, с. 11–12)[72]; «Славяне имеют… двойственное число, обычное в греческом языке… однако в русском языке оно неупотребительно» («Die Slavonier haben… den in der Griechischen Sprache gewöhnlichen *Dualem*, … aber in der Russischen Sprache ist dieser nicht gebräuchlich» — там же, с. 13). Равным образом Адодуров упоминает, что «ъ и ь именуются у славян припряжногласными» («ъ und ь… heißen bey den Slavoniern *Vocales adjunctae*» — там же, с. 3)[73]; констатируя, что в русском языке «неупотребительно множественное число от слова *Господь*» и что соответствующая форма, если она встречается в русском тексте, «является церковнославянской», т. е. должна пониматься в церковнославянском, а не в русском значении этого слова (в значении ‘господин’, а не в значении ‘бог’), Адодуров замечает: «Славяне же склоняют его [это слово] следующим образом: им. и зват. *господіе*, род. *господей*» и т. п., т. е. дает церковнославянскую парадигму («Der *Pluraliis Numerus* von diesem Worte [Господь], ist in der Rußischen Sprache, allwo es als ein *Nomen Proprium* genommen wird, nicht gebräuchlich. Dahero wenn es ja in *Plurali* vorkommt, solches erstlich Slavonisch ist und denn auch nicht mehr von Bedeutung ist als das teutsche Herr. Es wird aber folgender Maaßen von den Slavoniern in *Plurali* decliniret: *Nom.* und *Voc.* господіе, *Gen.* господей…» — там же, с. 27). Соответственно Адодуров определяет славянизмы именно как слова, в которых русские подражают «славянам»; так, отмечая, что звательный падеж в русском языке совпадает с именительным, Адодуров считает нужным подчеркнуть: «Исключение составляют чистые славянизмы или слова, в которых русские желают подражать славянам» («Der *Vocativus* in beyden *Numeris* dem *Nominativo* gleich sey. Ausgenommen in denjenigen Wörtern, die pur Slavonisch, oder in welchen die Rußen die Slavonier nachahmen wollen» — там же, с. 13)[74].

Итак, как Тредиаковский, так и Адодуров противопоставляют русских и «славян» и связывают это противопоставление с противопоставлением русского и церковнославянского языков. Поскольку «славяне» и русские мыслятся как разные народы, постольку церковнославянский и русский воспринимаются как разные языки. Соответственно церковнославянский язык предстает по отноше-

нию к русскому как чужой, иностранный язык; отношение церковнославянского к русскому — в точности такое же, как отношение латыни к французскому или итальянскому.

При этом Тредиаковский, как мы видели, непосредственно ассоциирует «славян» с южными славянами. Что имеет в виду Адодуров, говоря о «славянах», нам в точности не известно, однако единство взглядов Тредиаковского и Адодурова в этот период, которое отчасти было продемонстрировано выше (см. § **II-2**), позволяет предположить, что совпадения в фразеологии у них не случайны: очень вероятно, что Адодуров, как и Тредиаковский, видел в южных славянах («славянах») живых носителей церковнославянского («славенского») языка[75]. Церковнославянский язык предстает в этой перспективе как кодифицированная форма южнославянских говоров.

Ассоциация церковнославянского языка с южнославянскими языками характерна, вообще говоря, для западных авторов (у которых она прослеживается по крайней мере с XVI в.)[76], тогда как русские склонны были ближайшим образом соотносить церковнославянский и русский языки, видя в церковнославянском, так сказать, квинтэссенцию или подлинную сущность русского языка. К западным источникам и восходят, скорее всего, представления Тредиаковского и Адодурова о природе церковнославянского языка.

4.1. Вместе с тем, Тредиаковский в цитированном примечании к «Военному состоянию Оттоманския империи» заявляет, что «Российской язык все свое основание имеет на самом Славенском языке»; сравнивая при этом отношение «Российского» языка к «Славенскому» с отношением французского или итальянского к латыни, Тредиаковский явно имеет в виду, что русский язык происходит из церковнославянского, подобно тому как французский и итальянский происходят из латыни[77]. Отсюда с необходимостью следует, что южнославянские языки, с точки зрения Тредиаковского, сохраняют древнейшее языковое состояние, т. е. являются более архаичными, тогда как в русском языке представлен результат позднейшей языковой эволюции; иными словами, живые славянские языки связываются, очевидно, для Тредиаковского с разными стадиями языковой эволюции, причем южнославянские языки отождествляются им, видимо, с исходным (общеславянским) языковым состоянием, т. е. ассоциируются со славянским праязыком. Точно так же русские книжники, соотнося церковнославянский и русский языки, одновременно видели в церковнославянском родоначальника славянских языков; соответственно русский язык, поскольку он ассоциировался с церковнославянским, мог восприниматься как относительно более архаичный по сравнению с другими славянскими языками[78].

Таким образом, следуя устойчивой филологической традиции, Тредиаковский, как, видимо, и Адодуров, воспринимает церковнославянский язык как праславянский или общеславянский, т. е. видит в нем источник всех славянских языков. Позиция Тредиаковского и Адодурова не отличается в данном случае от позиции предшествующих им филологов — как русских, так и иностранных[79].

Однако, если русские книжники ближайшим образом соотносили церковнославянский и русский, то Тредиаковский и Адодуров, вслед за западными авторами, непосредственно соотносят церковнославянский и южнославянские языки. Можно сказать, что русские книжники отождествляли церковнославянский и русский, поскольку видели в церковнославянском кодифицированную форму русского языка, одновременно усматривая в нем фиксацию древнейшего состояния всех славянских языков. Между тем, Тредиаковский и Адодуров отождествляют церковнославянский и южнославянские языки, поскольку видят в церковнославянском кодифицированную форму южнославянских говоров, одновременно усматривая в нем фиксацию древнейшего состояния всех славянских языков.

Взгляды Тредиаковского и Адодурова на генеалогическую иерархию славянских языков и на языковую природу церковнославянского языка оказываются тем самым диаметрально противоположными по отношению к взглядам их русских предшественников (таких, например, как Федор Поликарпов): на фоне русской филологической традиции соответствующие высказывания Тредиаковского и Адодурова предстают как революционные и эпатирующие. При этом соотнесение церковнославянского и русского языков с разными славянскими народами предвосхищает то, что будут говорить в начале XIX в. Карамзин и Каченовский. Знаменательно при этом, что выступления Карамзина и Каченовского были восприняты современниками как откровение (достаточно напомнить эмоциональное письмо Батюшкова к Гнедичу от 28–29 декабря 1816 г., которое мы цитируем в § **I-3.2**) — пионерские декларации Тредиаковского и Адодурова были начисто забыты к тому времени (чему в немалой степени способствовало изменение языковой программы Тредиаковского и, в частности, его взглядов на отношения между церковнославянским и русским языком, см. ниже, § **III-3**).

Ассоциация церковнославянского языка с южнославянскими говорами, провозглашаемая Тредиаковским и Адодуровым, имеет принципиально важное значение для последующего пересмотра вопроса о происхождении русского языка. Действительно, этот тезис создает условия для признания южнославянской диалектной базы церковнославянского языка, что, в свою очередь, очевидным образом способствует осознанию того, что русский язык не восходит к церковнославянскому. Вполне закономерно в этом смысле, что уже во второй половине XVIII в. слышатся голоса — пусть единичные, — выступающие сначала против отождествления церковнославянского и древнерусского языка, а затем последовательно — против отождествления церковнославянского и праславянского; и то и другое прямо предвосхищает рассмотренные выше заявления карамзинистов (см. § **I-3.2**). Так, уже Ломоносов в отзыве о плане работ А.-Л. Шлёцера (1764) проводит четкое различие между древнерусским и церковнославянским языком и, видимо, полагает, что оба языка восходят к одному общему источнику (Ломоносов, IX, с. 412–413; см.: Успенский, 1988/1997). Естественным выводом отсюда является вывод о том, что в церковных книгах лишь отчасти отражается древний («коренной», «первобытный») славянский язык, т. е. праславянский. Этот вывод вполне явно формулирует затем А. А. Барсов (кстати сказать, ученик

Тредиаковского!), утверждая в своем рассуждении «О древности и превосходстве Славенскаго языка…» (1786), что «коренное его [Славенскаго языка] наречие» сохранено «менее в церковных книгах, восприявших в поздния уже времена свое бытие, нежели во многочисленных его отродиях», т. е. в живых славянских языках (Барсов, 1786, с. 142). Исходя из этого тезиса, Барсов выдвигает задачу создания общеславянского словаря и вместе с тем призывает к обогащению русского языка за счет заимствований из родственных славянских языков[80].

Окончательное признание того, что русский язык не происходит из церковнославянского, последовало лишь в XIX в., и есть все основания думать, что решение данного вопроса созрело на той почве, которая была подготовлена усилиями Тредиаковского и Адодурова: Ломоносов и Барсов оказываются в данном случае как бы связующим звеном между Тредиаковским и Адодуровым, с одной стороны, и карамзинистами — с другой.

Существенно во всяком случае, что вопрос о происхождении русского языка вообще не является на данном этапе актуальным для Тредиаковского и Адодурова: взаимоотношения церковнославянского и русского языков рассматриваются ими прежде всего в функциональном, а не в генетическом аспекте, и таким образом признание того, что русский язык происходит из церковнославянского, никак не сказывается на характере кодификации русского языка, т. е. не обусловливает положительного отношения к славянизмам, — церковнославянский и русский, независимо от их происхождения и генетических связей, предстают для Тредиаковского и Адодурова прежде всего как разные языки.

4.2. В том же предисловии к «Езде в остров Любви» Тредиаковский замечает, что ранее его отношение к церковнославянскому языку было совершенно иным и он даже пользовался этим языком как средством разговорного общения: «… Прежде сего не толко я им [языком славенским] писывал, но и разговаривал со всеми: но зато у всех я прошу прощения, при которых я с глупословием моим славенским особым *речеточцем* хотел себя показывать» (Тредиаковский, 1730, предисл., с. [4]; Тредиаковский, III, с. 649–650); по всей видимости, речь идет о периоде обучения в Славяно-греко-латинской академии, т. е. о 1723–1726 гг. (Л. Майков, 1897, с. 8 сл.; Пекарский, II, с. 5)[81]. Необходимо отметить, что уже и здесь может быть усмотрена фактическая ориентация Тредиаковского именно на западноевропейскую языковую традицию.

В самом деле, церковнославянский язык в России, в отличие от латыни на Западе, никогда не использовался в подобной функции. Еще в самом конце XVII в. (т. е. всего за каких-нибудь тридцать лет до поступления Тредиаковского в Академию!) русские, по свидетельству Г. Лудольфа, писали по-церковнославянски, но говорили по-русски; такое же распределение функций имело место и в более раннее время (см. специально об этом: Успенский, 1983/1994; Успенский, 1987/2002; ср. ниже, § **III-2**). По словам Лудольфа, «подобно тому, как никто из русских не может писать или рассуждать просвещенным образом, не

пользуясь славянским языком, так и наоборот, — в домашних и интимных беседах нельзя никому обойтись средствами одного славянского языка… Так у них и говорится, что разговаривать надо по-русски, а писать по-славянски» («… Sicuti nemo erudite scribere vel disserere potest inter Russos sine ope Slavonicae linguae, ita è contrario nemo domestica et familiaria negotia sola linguâ Slavonicâ expediet… Adeoque apud illos dicitur, loquendum est Russice et scribendum est Slavonice…» — Лудольф, 1696, л. A/2). Лудольф при этом подчеркивает, что «чем более ученым кто-нибудь хочет казаться, тем больше примешивает он славянских выражений к своей речи или в своих писаниях, хотя некоторые и посмеиваются над теми, кто злоупотребляет славянским языком в обычной речи» («… Quo quis doctior caeteris reputari vult, eo plus Slavonici sermonibus et scripturae immiscet, licet nonnulli ridere illos soleant, qui in communi sermone Slavonica nimium affectant» — там же, л. A/1 об.). Именно в этом свете и следует понимать извинения Тредиаковского перед теми, при ком он в свое время, разговаривая по-церковнославянски, «особым *речеточцем* хотел себя показывать»[82].

Следует полагать, что среди студентов Славяно-греко-латинской академии церковнославянский язык воспринимался как функциональный эквивалент латыни в качестве языка ученого сословия, и, соответственно, они могли разговаривать на этом языке[83]. Во всяком случае цитированное свидетельство Тредиаковского находит документальное подтверждение в учебных тетрадях студентов Славяно-греко-латинской академии за те же годы. В этих тетрадях мы встречаем характерные упражнения по переводу с русского языка на церковнославянский: соответствующие тексты расположены в параллельных колонках с надписью «простѣ» и «славенски», см., например, тетрадь домашних упражнений студента Михаила Иванова за 1726–1728 гг. (ГПБ, Вяз. Q.16, л. 72–75; см. Успенский, 1987/2002, с. 509, § 19.2). Это один из первых примеров параллельных церковнославянско-русских текстов в великорусских условиях: параллельные тексты свидетельствуют о параллелизме функций, откуда, в частности, и вытекает возможность использования церковнославянского языка как средства разговорного общения[84]. Здесь же можно найти и переводы как с латинского на церковнославянский, так и с церковнославянского на латинский: церковнославянский и латынь при этом непосредственно коррелируют друг с другом как языки эрудированных людей и тем самым как языки науки и образованности.

Подобное восприятие церковнославянского языка может быть поставлено в связь с культурной экспансией Юго-Западной Руси на великорусскую территорию, наблюдаемой со второй половины XVII в. Но следует иметь в виду, что Юго-Западная Русь вообще служила проводником западного влияния на великорусскую культуру: во второй половине XVII в. культурная экспансия Юго-Западной Руси подготовила почву для непосредственного западного влияния, столь интенсивного после петровских реформ. При этом языковая ситуация в Юго-Западной Руси явно соотносилась с польской языковой ситуацией, т. е. церковнославянский язык воспринимался как функциональный эквивалент латыни, а так

называемая «проста мова» — как эквивалент польского литературного языка. Таким образом, церковнославянский язык приобретает здесь функции, свойственные латыни на Западе (см. об этом: Успенский, 1983/1994, с. 70 сл.; Успенский, 1987/2002, с. 392 сл., § 15.4).

4.3. Поскольку церковнославянский язык в качестве языка ученой корпорации мог восприниматься как своеобразный эквивалент латыни, постольку соперничество церковнославянского и русского языков могло в какой-то степени отражать конкуренцию латыни и национального (в частности, французского) языка в академической среде. Тредиаковский мог ориентироваться в этом отношении, между прочим, на Роллена, учеником которого он себя считал и которого вообще глубоко почитал[85]: отказ Тредиаковского от «глубокословныя славенщизны» может быть сопоставлен в этом смысле с борьбой Роллена за равенство французского языка с латынью во французском университетском обиходе (см.: Серман, 1962, с. 211–212, 215). Позднее в предисловии к первому тому «Римской истории» (1761) Тредиаковский подчеркнет особую заслугу Роллена в предпочтении природного французского языка: «… Он возмнил наконец, что слава, за искусство в тех обоих язы́ках [греческом и латинском], приличествует паче или Геродоту, как Греку, по сладости греческаго, илиж Ливию, как Римлянину, по красоте римскаго. Ему, как Французу, честнее будет, когда покажет умение свое в нежности французскаго: ибо в сем он Обществе роди́лся, воскормился, обучился; а потому, для пользы сему точно и жить, и знать, и действовать долженствует. Изрядно, помышлял, беседовать с мертвыми людьми, и мертвыми язы́ки; но преизряднее, разсудил, разглагольствовать с живыми и язы́ком живущим[86]… С сим намерением, издал он природным себе язы́ком Книгу, состоящую в четырех То́мах, а наименованную: *Способ как учить и учиться*. Весь тогда Народ по сей уже́ познал, что он не втуне Профессор Красноречия…» (Тредиаковский, 1761–1767, I, с. *г–д*). В устах профессора «российския и латинския Элоквенции», каковым Тредиаковский становится в 1745 г., такого рода отзыв особенно знаменателен.

Надо полагать, что Российское собрание, идея создания которого принадлежала, видимо, Тредиаковскому (см. об этом выше, § **II-1**), было призвано заменить латинский язык русским в качестве ученого языка Академии наук. Как мы уже знаем, Российское собрание создавалось по образцу Французской академии; таким образом, русская языковая ситуация естественно соотносилась с французской, конкуренция русского и латыни (в конечном счете и конкуренция русского и церковнославянского) отражала конкуренцию французского и латыни. В проекте положения об учреждении Академии наук и художеств 1724 г., составленном Л. Л. Блюментростом и отредактированном Петром I, предписывается употребление в Академии латыни, однако в дальнейшем предусматривается введение русского языка в качестве языка науки и просвещения[87]; таким образом, Российское собрание должно было способствовать осуществлению петровского замысла[88].

Отражение французской языковой ситуации, именно соперничества французского языка с латынью, имеет место у Тредиаковского и в «Слове о витийстве» 1745 г., сочиненном по случаю назначения «профессором российския и латинския Элоквенции» (Тредиаковский, III, с. 541–604). Тредиаковский выступает здесь против исключительной роли латинского языка как языка науки и образованности[89]. По мысли Тредиаковского, русский язык должен следовать примеру французского, которому удалось утвердиться в качестве национального языка в самых разных областях культуры: там, где во Франции употребляется французский язык, в России должен употребляться русский. Французский язык объявляется «приятнейшим» из всех европейских языков («приятнейшим, слатчайшим, учтивейшим, и изобильнейшим всех прочих Европейских» — Тредиаковский, III, с. 579), тогда как русский язык, как замечает Тредиаковский в другом месте, только еще становится таковым («приятнейшим оной становится» — «Речь к членам Российского собрания» 1735 г., см.: Тредиаковский, 1735, с. 13; см. выше, § **II-1**)[90]. В «Слове о витийстве» Тредиаковский ссылается и на другие европейские народы, которые ориентируются на французов: «… Понеже и другие премногие учтивейшие и просвещеннейшие в Европе Народы, как проницательнейшие Агличане, благорассуднейшие Голландцы, глубочайшие Гишпанцы, острейшие Италиянцы, витиеватейшие Поляки, тщательнейшие Шведы, важнейшие Немцы (выключая, из всех сих, некоторых угрюмыя школы учителей, которые не основательно думают, что, хотя не все, то, по крайней мере, наибóльшая часть Учения состоит токмо на Латинском языке) примеру ужé и славе Французов ныне подражают, и с благополучным успехом желаемое получают» (Тредиаковский, III, с. 580)[91]. Допуская возможность использования латыни наряду с другими языками, Тредиаковский решительно восстает против мнения о каком-либо преимуществе латыни перед «природным» языком: «… Да употребляют ученые Люди… также и Латинской язык к общей Наук способности; только да не называют его благороднейшим всех прочих, а особливо каждой своего природнаго, сие не знаю чем угрюмым дышет, и да не приписывают толь много чéсти Латинскому языку, дабы думать, что все нáвсе Учение токмо на нем состоит… обличает его [латинского языка] спесь Аглинской, показывает чванство его Италиянской, доносит на тщеславие его Немецкой, но сильняе всех доказывает его в том гордость Французской» (там же, с. 583–584). Отсюда закономерно следует вывод о достоинстве русского языка и о необходимости его совершенствования: «Того ради, без всякаго сомнения, уповаю, что и наш также, напоследок, сие самое собою наикрепчайше поттвердить имеет, ежели сперва многие переводы с других языков и начнет и совершит, и сим образом пословия своего сочинения вычистит, а при всем том, многия и различныя вещи именами называя, богатое изобилие слов получит. И так, да переводят, которые цветут из наших искусством языков, все что преизряднейшее, все что полезнейшее, все что достойнейшее в чужих языках, на наш Российской язык; да обогащают Россию выборнейшими Книгами; да утоляют жажду во многих, которую они имеют к чтению, к получению наставления, к наслаждению разума и сéрдца, к приобре-

тению не токмо бо́льшаго в разуме просвещения, но, что вящшее есть, и твердейшаго исправления в добродетельное сердце… Но однако да не вознерадят Ученые наши также и собственным своим трудом что-нибудь между тем сочиненное, Обществу подавать…» (там же, с. 584–585). Тредиаковский в сущности в значительной степени повторяет здесь программу Российского собрания: заявление в «Слове о витийстве» Тредиаковского о том, «что о природном своем языке, больше нежели о всех прочих, каждому надлежит попечение иметь» (там же, с. 571–572), прямо соответствует начальной фразе в его программной «Речи к членам Российского собрания» 1735 г.: «… Дождались мы щастия, Мои Господа, что и о совершенстве Российскаго языка попечение восприемлется» (Тредиаковский, 1735, с. 3). Тем самым Тредиаковский в «Слове о витийстве» как бы настаивает на продолжении деятельности Российского собрания (которое к тому времени уже прекратило свое существование).

Знаменательно, что Тредиаковский в цитированных пассажах последовательно характеризует латинский язык как «угрюмый». Совершенно аналогично молодой Пушкин в дальнейшем может пользоваться тем же эпитетом для характеристики своих литературных противников-«славенофилов», ср.:

Угрюмых тройка есть певцов —
Шихматов, Шаховской, Шишков…
(Пушкин, I, с. 150)

И лоб угрюмый Шаховского…
(Пушкин, XIII, с. 5)

Отношение Тредиаковского к латыни совпадает, по-видимому, с отношением Пушкина к церковнославянскому языку: в обоих случаях эпитет *угрюмый* выступает как семантическая калька с французского[92] — по-видимому, как калька с франц. *sérieux*[93]. Значение ʻугрюмый, невеселый, мрачныйʼ действительно входит в семантический спектр франц. *sérieux* наряду с другими, сопутствующими значениями. То обстоятельство, что в употреблении Тредиаковского актуализируется именно отрицательное значение этого французского слова, несомненно, обусловлено его ориентацией на салонную, игровую культуру (см. ниже, § **II-6.2**).

Характерно в этой связи, что эпитет *угрюмый* в употреблении Тредиаковского и, видимо, Адодурова может фигурировать как синоним эпитета *жестокий*. Так, в Вейсманновом лексиконе 1731 г. — в работе над которым, как мы знаем, принимал участие Адодуров (см. выше, § **II-2.1**) — *угрюмыи* и *жестокии* соответствуют одновременно лат. *durus*: «rauh, asper, durus, жестокии, суровыи, угрюмыи» (с. 487). Точно так же в стиховедческом трактате Тредиаковского 1735 г. оба эпитета предстают в одном и том же общем значении, а именно, в значении ʻстрогий, ригористичныйʼ и т. п.: «Слово, *Купидин*, которое употреблено во второй моей Элеги́и, не долженствует к соблазну дать причины ж е с т о к и я добродетели христианину… Однако не надеюсь, чтоб не нашолся кто у г р ю м ы й, и меняб за сие всячески не порочил…» (Тредиаковский, 1735а, с. 46). Если эпитет

жестокий, как мы видели, выступает у Тредиаковского как характеристика церковнославянского языка (см. выше, § **II-2.1**), то слово *угрюмый* выступает у него как характеристика латинского языка — в этом контексте оба эпитета оказываются, таким образом, более или менее равнозначными[94].

Настаивая на превосходстве «природного» своего языка перед латынью, Тредиаковский подчеркивает в «Слове о витийстве» важность опоры на употребление. Именно «наичастейшее употребление, и почитай ежечасное» и обеспечивает «безопасность в сочинении», т. е. природную, естественную безошибочность в выборе выражений, чего в принципе не может быть в латинском языке, даже у лучшего латиниста (Тредиаковский, III, с. 572–573): в отличие от латыни, «в природном языке все само собою течет, и как бы на конце языка, или пера слова́ раждаются. Нет зоботливаго попечения о правоте изображений, нет сомнения в рассуждении слов, нет остановки, нет боязни… Кто употребляет природной язык… все ему тотчас употребление и доказывает и утверждает, также и до всего доброхотною природою и привычкою, от самых младых лет, провождаем и веден бывает» (там же, с. 575). То, что здесь говорится о латыни, вполне применимо и к церковнославянскому языку: соотнесение русского и французского языка естественно отвечает вообще ассоциации церковнославянского и латыни[95] — соответственно выступления Тредиаковского против церковнославянского языка основываются на тех же принципах, что и его выступления против латыни. О параллелизме между отношениями церковнославянского и русского, с одной стороны, и латыни и французского — с другой, Тредиаковский, как мы уже видели, вполне эксплицитно говорит и в примечании к «Военному состоянию Оттоманския империи» 1737 г. (см. выше, § **II-4**).

Итак, именно возможность опоры на употребление и определяет, с точки зрения Тредиаковского, преимущество живых национальных языков (таких, как французский или русский) перед мертвыми (такими, как латынь или церковнославянский), где есть только правила, но нет критерия употребления. В статье о прилагательных 1746 г. Тредиаковский однозначно связывает противопоставление употребления и правил с противопоставлением живых и мертвых языков: «Употребление должно признавать за самую владычественную силу во всяком языке, ибо оно токмо имеет, по мнению Горациеву, и власть, и право, и правило как говорить [на полях приписано: „Епист. о наук. стих.“, т. е. ссылка на „Ars poëtica“ Горация][96]. Посему, сильняе оно всех грамматических противных ему пра́вил преднаписанных на живой язык, потому что не по пра́вилам употребление, но по употреблению смотря пра́вила определяются. Инако, тшчетныя бы пра́вила были, для того чтобы они положены были на то, чего нет в языке» (Вомперский, 1968, с. 88). Почти в тех же выражениях говорит о себе персонифицированное Употребление в «Разговоре об ортографии» 1748 г.: «Власть моя над всеми языками есть превеликая, и, так сказать, не имеюшчая пределов: ибо *я токмо могу говорить, как хочу*, токмо сходно с природою языка; *я в том имею неоспоримое право*; *я токмо и пра́вило* [здесь сноска с цитатой из «Ars poëtica» Горация], *по которому должно поступать в языке*. Чегоради, меня надлежит

предпочитать всеконечно всем пра́вилам, от грамматистов положенным, которыя уже́ не согласны со мною употреблением: ибо не от пра́вил я употребление, но от меня пра́вила в живушчих языках. Инако, тшчетныяб были правила, длятого чтоб они то преднаписывали, чего или ни у кого нет на́-слове, или мне в видимую противность» (Тредиаковский, III, с. 218–219).

Именно живые языки — такие, как французский или русский,— характеризуются Тредиаковским, как мы уже знаем, эпитетом *нежный* (в противопоставление мертвым языкам, которые расцениваются им как «жест(о)кие» или «угрюмые»); при этом Тредиаковский соотносит *нежный* с лат. *humanus* ‘человеческий’ (в предисловии к собранию «Сочинений и переводов…» 1752 г. — Тредиаковский, I, с. XVII; см. выше, § **II-2.1**), и в этом смысле заявления Тредиаковского о «нежности» русского языка соответствуют заявлению Батюшкова о том, что только русский, а не церковнославянский язык является «языком человеческим», т. е. языком живого человеческого общения (в письме Гнедичу от 28–29 октября 1816 г. — Батюшков, III, с. 410; см. выше, § **I-3.2**). Оппозиция «жест(о)кого» и «нежного» вписывается, таким образом, в противопоставление мертвых и живых языков.

Как видим, высказывания Тредиаковского предвосхищают соответствующие заявления карамзинистов. Это и неудивительно, поскольку как Тредиаковский, так и Карамзин исходят из одного и того же круга источников. Хотя Тредиаковский и ссылается на Горация, едва ли не большее значение имеют для него французские теоретики языка, которые именно и соотнесли противопоставление правил и употребления, намеченное Горацием, с противопоставлением мертвых и живых языков, идущим от Данте (ср. выше, § **I-6**). К тем же источникам восходят, как мы знаем, и представления Карамзина о природе литературного языка.

5. В том же «Слове о витийстве» 1745 г. получает дальнейшее развитие и специальное обоснование мысль о принципиальной необходимости ориентации на разговорную речь. Провозглашая онтологическую ценность родного («природного») языка, как языка, основанного на естественном употреблении, Тредиаковский рисует здесь пространную и красноречивую картину разнообразного его функционирования: «Чтоб с самаго нача́ла мнение мое объявить, определяю, что о природном своем языке, больше нежели о всех прочих, каждому надлежит попечение иметь: но чего ради я так определяю, причины, которыя у меня наиважнейшими почитаются, здесь рассмотреть охотно потщусь. Из оных самая первая есть: *наичастейшее употребление, и почитай ежечасное*. Ибо куда бы кто, в самом порядочном городе, ни пошел, везде он природной свой язык услышать имеет. Ежели в большой колокол благовестят ему в Церьковь, в Церькве природным его языком как молитвы проливаются, так Божие проповедуется Слово. Буде, или для должности, или для любопытства, впустится верьховнаго Самодержца в Палаты; в Палате все (выключая иностранных, где их обыкновенно много бывает, или с чужестранными разговаривающих) природным языком и взаимно себе поздравляют, и доброжелание свое объявляют, и друг другу приветствуют, и

прочее разговаривают как искренно, так и лицемерно, а сей он язык услышав, и сам для че́сти не захочет другим говорить. Пускай претстанет в Сенате пред Сенаторами; в Сенате также природным языком, и о нужде своей претставит, и что они определят, темже языком написано будет. Пускай войдет в судейскую пред Судью; пред Судьею равным образом, как дело свое оправданием, или уликою очистит, ежели оно справедливое, так и обвинен будет за оное, буде оно не справедливое, природным языком. Угодноль ему будет вытти на площадь? На площади природным языком и сам говорить имеет, и от других темже разговоры поймет. Пускай придет смотреть в празник комедию; и на театре природным языком баснь претставляется. Пускай придет к купцу; с купцом природным же языком за товар его в цене торговаться будет. Что больше? Величавному солдату потакать станет, природным языком; работника наймет, природным языком; приятелей поздравит, природным языком; на слуг закричит, природным языком; детям наставление преподаст, природным языком; другую самого себя Половину или ласкаво примолвит, или гневно с нею говорить станет, природным языком. И так, всем одного и тогож Общества должно неопходимо и Богу обеты полагать, и Государю в верности присягать, и Сенаторов покорно просить, и Судей умилостивлять, и на площади́ разговаривать, и комедию слушать, и у купца покупать, и солдатам уступать, и работных людей нанимать, и приятелей поздравлять, и на слуг кричать, и детей обучать, и жену приговаривать, и пи́сьма писать, и хвалить, и хулить, и советовать, и отводить, и обвинять, и оправлять, и чего не должно? Но все сие токмо что природным языком» (Тредиаковский, III, с. 571–573). Итак, один и тот же язык необходимо употреблять и при дворе, и в государственных учреждениях, и на площади, так же как и в театре; в разговоре с высшими, с равными и с низшими; при написании письма и при обучении детей. Тредиаковский говорит в сущности о том, что литературный язык как язык культурного общения должен совпадать с разговорным, одновременно подчеркивая полифункциональность литературного языка.

Вместе с тем, «природный язык» оказывается здесь у Тредиаковского — неожиданным образом — и языком церкви, т. е. язык церковного богослужения в принципе не отличается от разговорного. Поскольку Тредиаковский в то же время подчеркивает разницу между церковнославянским и русским языком (см. выше, § **II-2**), очевидно, что он имеет в виду не реальную, но идеальную ситуацию. Мысль о необходимости богослужения на родном языке в принципе объединяет программу Тредиаковского с установкой Феофана Прокоповича, и очень вероятно, что здесь сказывается именно влияние Феофана.

Действительно, Феофан Прокопович был сторонником перевода церковных книг на живые национальные языки. Уже в курсе богословия, который он читал в Киево-Могилянской академии в 1712–1716 гг., он специально обсуждал вопрос: «Возможно ли переводить Священное Писание с еврейского, греческого, латинского или какого-то иного непонятного языка на другие языки, свойственные той или иной нации, ей знакомые и употребительные в разговорном общении» («Utrum liceat S. Scripturam ex hebraeo, graeco, latino aut alio quopiam ignoto

idiomate, in alias etiam linguas unicuique nationi proprias, notas et vernaculas vertere» — Феофан Прокопович, 1782, с. 236), обосновывая именно целесообразность и необходимость такого перевода. Феофан, правда, здесь же подчеркивает понятность церковнославянского языка для русских, как и для других славян (там же, с. 246, 252–253, 256, 260)[97], но это обусловлено полемикой с католическими богословами, которые настаивали на употреблении латыни в славянских странах и ставили под сомнение достоинства церковнославянского языка: перед глазами Феофана была прежде всего польская языковая ситуация, и он выступает против латыни как языка чуждого славянам и противопоставляет ей родной для них церковнославянский язык[98]. Так или иначе Феофан вполне однозначно заявляет здесь о правомерности перевода церковных книг на разговорный язык (lingua vernacula)[99].

И в дальнейшем Феофан Прокопович последовательно и целенаправленно стремится к упрощению языка церковных книг, к сближению его с языком разговорным. Так, в частности, в «Духовном регламенте» (1718–1720) Феофан говорит о необходимости иметь катехизис, написанный «просторечно» и доступный «простым человеком», который бы читался «в церкве пред народом» (Верховской, II, отд. I, с. 37); эта идея была частично реализована в его букваре 1720 г. («Первое учение отроком…»), в котором содержится катехизисное изложение православного вероисповедания, предложенное «просторечием», а не «славенским высоким диалектом» (Феофан Прокопович, 1721, л. 4 об.–5)[100]. В «Духовном регламенте» упоминается о «темноте» церковнославянской учительной литературы («Также и книги великихъ учителей: Златоустого, Ѳеофилакта[101], и прочіихъ писаны суть еллинскимъ языкомъ, и в томъ токмо языкѣ внятны суть: а переводъ ихъ славенскій сталъ теменъ, и съ трудностію разумѣется от человѣкъ и обученныхъ, а простымъ невѣжамъ отнюдь непостизаемый есть» — Верховской, II, отд. I, с. 37), и это разительно напоминает приведенное выше (§ **II-2**) заявление Тредиаковского о «темноте» церковнославянского языка в предисловии к «Езде в остров Любви» — настолько, что мы вправе считать, что Тредиаковский цитирует в данном случае Феофана Прокоповича[102]. Наконец, подобно Тредиаковскому, который называет церковнославянский язык «жест(о)ким» (см. выше, § **II-2.1**), Феофан Прокопович говорит о «грубости» и «стропотности» церковнославянского языка. Так, в мнении о исправлении Библии от 10 августа 1736 г., поданном в Синод, Феофан заявлял: «… Ветхое Славенскаго языка грамматическое учение весьма есть грубое, как в наречиях многих, так и в складе речей. Наречия обретаются обетшалыя, которыя давно уже износились и стали онучами, да и чтущим неудобоdo разуменныя, например: *елма*, *колма*, *врѣсноту*, *убо*, *непщую*, *потщаваю*, *плищъ*, *щуди*, *голимый*[103] и проч., а склады бывают стропотные, наипаче эллинизмы, то есть наречия не природе Славенскаго, но по природе Эллинскаго языка сопрягаемыя, например: *учуся грамотѣ* вместо *грамоты*, понеже еллинское σπȣδέω *учуся*, сопрягается с дательным падежем; також и следующия: *пріиде, во еже освятити*, а для чего бы не тако: *пріиде освятити*, а *во еже* лишнее и темность наводит; *надѣюся быти прощенію*, а не

лучше ли: *надѣюся, яко будетъ прощеніе*, и проч. и проч.; а люде не искусный и силы диалектов неразумеющий, нашед в лексиконе таковыя стропотности и гнилости, помышляют, что они нашли премудрость и оных употребляют, для удивления народнаго, а своего смеха достойнаго чванства сами безумныи книгочии» (ОДДС, III, приложения, стлб. XXV–XXVI)[104]. Если эпитеты *грубый* и *стропотный* как характеристики церковнославянского языка ближайшим образом напоминают эпитет *жест(о)кий*, то выражение *безумныи книгочии* в этом контексте заставляет вспомнить о слове *речеточец*, которое в сходном значении фигурирует в том же предисловии Тредиаковского к «Езде в остров Любви» (см. выше, § **II-2**). Как видим, Феофана Прокоповича и Тредиаковского объединяют не только сходные моменты языковой программы: характерным образом их заявления могут обнаруживать текстуальную близость (ср. в этой связи влияние Прокоповича на Кантемира — Пумпянский, 1941, с. 177–184).

Отношение Феофана Прокоповича к латыни также ближайшим образом напоминает отношение к латыни Тредиаковского. Так, в «Разговоре гражданина з селянином да певцем или дячком церковным», написанном не позднее 1716 г., Феофан говорит устами «гражданина»: «… Добро есть всякимъ языкомъ Бога и Христа, в Него же вѣруемъ, хвалити и величати имя Его спасительное (Филип. II, 11). Толко бы, умѣяй различнія языки, другь зъ другомъ бесѣдовалъ или слово Божіе проповѣдовалъ языкомъ и нарѣчіемъ, обоимъ себѣ свѣдомимъ и извѣстнимъ, а не страннимъ нѣкіимъ слишащему невѣдомымъ». К числу «странных», т. е. иностранных, языков относится и латынь; признавая, что «то дѣло» не «есть худое умѣты латинскій язик», Феофан презрительно отзывается здесь о «латынниках», которые считают знание латыни признаком мудрости: «Аще же и разглаголствовать по латиній умѣютъ, уже зѣло себе мудрих быти мечтаютъ, презирая гордо протчіих всѣхъ, неучившихся писма латинскаго». «И философія не значитъ собою латинскій язикъ, — подчеркивает Феофан, — ибо можетъ быти философъ и русскій человѣкъ, и во всякомъ язикѣ любомудроваты мощно» (Верховской, II, отд. III, с. 62–63). Таким образом, Феофан Прокопович, как впоследствии и Тредиаковский, выступает против использования латыни как обязательного языка богословия, философии и вообще эрудированного знания и заявляет себя, напротив, сторонником полифункционального использования природного языка.

Для отношения Феофана Прокоповича к живым и мертвым языкам — в частности, к русскому языку и к латыни — представляет интерес, между прочим, свидетельство фон Гавена, датского путешественника, общавшегося с Феофаном в последний год его жизни (1736). По словам фон Гавена, «он [Феофан] мог понимать и изъясняться на различных европейских языках; однако в своем отечестве он не хотел без крайней необходимости разговаривать ни на каком языке, кроме латыни, которой он владел как лучший академик» («Adskillige Europæiske Sprog kunde hand baade forstaae og tale: men hand vilde dog ikke i sit Fædrene-Land uden største Nøds-Fald tale andre fremmede Sprog end det Latinske. Deri var hand og saa færdig, som den beste Academicus» — фон Гавен, 1743, с. 23)[105]. Итак, Феофан

избегает употребления в России живых иностранных языков — постольку, поскольку в качестве средства разговорного общения эти языки могут конкурировать с русским языком; он предпочитает в случае нужды пользоваться латынью, которая не является конкурентом русского языка в сфере разговорной коммуникации. Совершенно так же Феофан может выступать против монополии латыни как языка науки, поскольку как раз в этой сфере (в качестве книжного языка) латынь конкурирует с русским. Очевидно, что в основе этой языковой концепции лежит именно представление о полифункциональности природного языка, выступающего в функции языка литературного: это представление объединяет Феофана Прокоповича и Тредиаковского.

5.1. Отношения Феофана Прокоповича и Тредиаковского никогда не были предметом специального рассмотрения, и это заставляет остановиться на них подробнее. Мы видели, что Тредиаковский цитирует «Духовный регламент» Феофана Прокоповича в программном предисловии к «Езде в остров Любви» 1730 г. (см. выше, § **II-5**); отметим еще в этой связи восторженный отзыв Тредиаковского о Феофане в «Рассуждении о оде во обще» 1734 г. (Тредиаковский, 1734, л. B/2 об.), а также крайне уважительное упоминание о нем в «Речи к членам Российского собрания» 1735 г. (Тредиаковский, 1735, с. 13; см. подробнее ниже, § **II-6**). Достойно внимания, что знакомством с литературным творчеством Прокоповича Тредиаковский обязан Адодурову, который вскоре по возвращении Тредиаковского из-за границы (скорее всего, осенью 1730 г.) обратил внимание Тредиаковского на латинскую оду Феофана, посвященную коронации Петра II (см.: Успенский, 1974/1997, с. 617 — наст. изд., с. 519–520; Успенский, 1975, с. 64–65).

Тредиаковский лично знал Феофана[106] и пользовался его поддержкой в своих столкновениях с архимандритом Платоном Малиновским (впоследствии — в 1748–1754 гг. — московским архиепископом), который еще в 1731 г. заподозрил Тредиаковского в неверии, а в 1732 г. обвинил его в ереси («Экстракт о бывшем архимандрите Малиновском» — ЦГАДА, ф. 7, № 515; Пекарский, II, с. 30, 36–38; Чистович, 1868, с. 384–385). Повод для этого последнего обвинения дала какая-то «псалма», сочиненная Тредиаковским, т. е. песнь духовного содержания, которую Тредиаковский пропел в присутствии духовных особ; это произошло в монастырской слободе Александро-Невского монастыря. Платон Малиновский заявил по поводу этих стихов, что «оная псалма вере нашей противная и еретическая» и что «не его-де [Тредиаковского] дело богословския сочинять вещи, для которых-де имеются многие достойнейшие»; Платона поддержал бывший при этом чудовский архимандрит Евфимий Колетти, который сказал, что «подлинно тут много противности нашей греческой православной церкви» (Пекарский, II, с. 37; Чистович, 1868, с. 385). Уже на следующий день Платон был вынужден просить прощения у Тредиаковского, и это, несомненно, объясняется тем, что Тредиаковский обратился за помощью к Феофану Прокоповичу; необходимо иметь в виду, что как Платон Малиновский, так и Евфимий Колетти бы-

ли противниками Феофана и принадлежали к направлению Стефана Яворского и Феофилакта Лопатинского (ср.: Чистович, 1868, с. 299, 332, 371, 375, 379–380, 425, 430–434, 443).

Это столкновение было спровоцировано, в сущности, самим Тредиаковским; в свою очередь, за действиями Тредиаковского стоял не кто иной, как Феофан Прокопович. Действительно, непосредственно перед описанным эпизодом — обвинением в еретичестве — Тредиаковский по поручению Феофана Прокоповича читал в присутствии всех синодальных членов (в том числе самого Феофана, Платона Малиновского и Евфимия Колетти) «стихи, зовомые сатиры, и во оных написана была укоризна на великороссийских богословии учителей, якобы ничего не знают… Как прочтут книгу Камень веры, то-де учение в себе полагают и мудрыми себя ставят, и прочее ко укоризне учителем было писано ж…» (Пекарский, II, с. 37–38; Чистович, 1868, с. 384). Речь идет, по всей вероятности, о I сатире Кантемира, в первой редакции которой содержатся выпады как против безграмотного духовенства, так и против «Камня веры» Стефана Яворского (Кантемир, I, с. 190–191, ср. с. 199)[107]. Ответом на это выступление собственно и явился демарш Платона Малиновского. Вполне вероятно, что Платон считал Тредиаковского автором этой сатиры и что ее содержание как-то объединилось в его сознании с содержанием «псалмы» Тредиаковского. Все это произошло после исполнения певчими духовного концерта великомученице Екатерине: «И тогда-де пение было певчими концерт великомученице Екатерине. А после-де пения помянутый Тредиаковский, выняв у себя тетрадь, и подал покойному Феофану архиепискому новгородскому. И оный Феофан, архиепископ, велел тоё тетрадь оному Тредиаковскому прочесть вслух, и Тредиаковский-де читал… И тогда-де он, Малиновский, не смея в компании честных духовных персон про[тиворечить?] тому Тредиаковскому, смолчал» (Пекарский, II, с. 37–38; Чистович, 1868, с. 384). Создается впечатление, что члены Синода были созваны для прослушивания концерта, и Феофан воспользовался этим для нанесения ответного удара по своим противникам: весь эпизод выглядит как заранее продуманная акция. Феофан был ее режиссером, а Тредиаковский — исполнителем.

Есть все основания полагать при этом, что музыка к данному концерту была сочинена самим Тредиаковским. Действительно, Тредиаковский был духовным композитором, и до нас дошел певческий сборник 1740-х гг. (собрание духовных концертов — ГИМ, Синод. певч. 355), где значится ряд музыкальных произведений Тредиаковского, а именно, песнопения в честь великомученицы Екатерины (№ 92) и Анны Пророчицы (№ 93)[108], два песнопения в честь Александра Невского (№ 91 и 94)[109], а также два псалма (пс. C и пс. XX — № 95 и 249) и библейская песнь «С нами Бог» (№ 160). Выбор святых при этом исключительно показателен: Тредиаковский сочиняет концерты в честь святых, тезоименитых императрице Анне Иоанновне и ее сестре Екатерине Иоанновне, герцогине Мекленбургской, которая еще в 1731 г. покровительствовала Тредиаковскому, хваля его «Езду в остров Любви» и обещая представить его императрице (см. письмо Тредиаковского Шумахеру от 4 марта 1731 г. — Пекарский, II, с. 27–28; ср. ни-

же, § **II-6.1**). В январе 1732 г. по случаю торжественного въезда Анны Иоанновны и сопровождающей ее Екатерины Иоанновны в Петербург Тредиаковский сочиняет стихотворения, им посвященные, и подносит их императрице и ее сестре (Тредиаковский, 1963, с. 125–128); надо полагать, что тогда же были им сочинены и названные концерты[110]. В этих условиях исполнение концерта Тредиаковского, посвященного Екатерине, в присутствии всех синодальных членов приобретало официальный характер и призвано было укрепить авторитет Тредиаковского в глазах духовенства; несомненно, это произошло по инициативе Феофана Прокоповича.

Следует подчеркнуть, что как в 1731, так и в 1732 г. обвинения в неправославии, которые выдвигает против Тредиаковского Платон Малиновский, непосредственно связаны с пребыванием Тредиаковского за границей, т. е. предполагается, что именно там он заразился вольномыслием. Так, в 1731 г. Платон, будучи у архимандрита Заиконоспасского монастыря Германа Копцевича[111] (впоследствии — в 1731–1735 гг. — архангелогородского епископа), «спрашивал… Тредиаковскаго: каковы учения в чюжих странах он произошел? И Тредиаковский-де сказывал, что слушал он философию. И по разговорам о объявленной философии во окончании пришло так, яко бы Бога нет. И слыша-де о такой отейской философии, разсуждал он, Малиновский, с означенным епископом Германом, что и оный Тредиаковский, по слушанию той философии, может быть во оном не без повреждения» (Пекарский, II, с. 30). И позднее, в 1732 г., в связи с полемикой по поводу упомянутой «псалмы» Тредиаковского, Платон говорил Тредиаковскому: «Не думайте-де… чтоб вам, бывши в чюжих краях и приехав, Церковь православную порочить своими ересьми» (там же, с. 37). Речь при этом может идти как о рационалистической философии, с которой Тредиаковский познакомился в Парижском университете[112], так и о западном богословии, которому Тредиаковский учился в Сорбонне[113]. В то же время именно западная культурная ориентация Тредиаковского определяла, по-видимому, его отношение к Феофану Прокоповичу.

Не исключено вместе с тем, что столкновение Тредиаковского с Платоном Малиновским было в какой-то мере спровоцировано и выходом в свет «Езды в остров Любви». Заслуживает внимания в этом смысле письмо Тредиаковского к Шумахеру от 18 января 1731 г., написанное вскоре после опубликования этой книги, где говорится о различной реакции на нее в разных слоях русского общества[114]. Тредиаковский сообщает здесь: «Среди принадлежащих к духовенству есть такие, кто благожелателен ко мне; другие обвиняют меня… говоря, что я первый развратитель русской молодежи… Но оставим этим тартюфам их суеверное бешенство: они не из тех, кто может мне навредить, ведь это подонки, которых в просторечии зовут попами» («Parmi ceux, qui sont du clergé il y en a qui m'en veulent du bien; d'autres, qui s'en prennent à moy…, disant que je suis le premier corrupteur de la jeunesse Russienne… Mais passons à ces Tartufes leur folie superstitieuse: ils ne sont pas de ceux, qui peuvent me nuire, car c'est la lie, que l'on appelle vulgairement les pops» — Малеин, 1928, с. 431; Письма XVIII в., с. 45–46). К числу духовных лиц, которые выступили против «Езды в остров Любви», и

относится, может быть, Платон Малиновский. В самом деле, первая из упомянутых встреч Тредиаковского с Платоном состоялась именно в начале 1731 г.[115] Архимандрит Герман Копцевич был ректором Славяно-греко-латинской академии, где в 1723–1726 гг. учился Тредиаковский[116], и вполне вероятно, что, приехав в Москву, Тредиаковский сразу же, т. е. уже в январе 1731 г., посетил свою alma mater, у ректора которой он и мог встретиться с Платоном; с Платоном Тредиаковский был знаком еще до отъезда за границу, поскольку Платон с 1724 по 1727 г. был префектом московской Академии (С. Смирнов, 1855, с. 208, ср. с. 197). Естественно думать при этом, что Тредиаковский захватил с собой свою книгу (только что вышедшую) и показал ее собеседникам, что и могло вызвать обвинение в атеизме. Уместно отметить в этой связи, что в том же письме к Шумахеру Тредиаковский упоминает и о каких-то мирских, не духовных лицах («ceux qui sont du monde»), которые после выхода в свет «Езды в остров Любви» обвиняют его «в неблагочестии, в безрелигиозности, в деизме, в атеизме, наконец, в разнообразных ересях» («d'impieté, d'irreligion, de Deïsme, d'atheisme, enfin de toutes sortes d'heresies» — Малеин, 1928, с. 431–432; Письма XVIII в., с. 45–47); как видим, данная книга в принципе может вызывать нарекания такого рода. Во всяком случае Платон Малиновский знал, надо думать, о «Езде в остров Любви» и, несомненно, относился к ней отрицательно; так, при следующей их встрече — в 1732 г. в Петербурге, когда возник спор о «псалме» Тредиаковского (см. выше), — «оный Малиновский… оному Тредиаковскому… говорил, что оная псалма вере нашей противная и еретическая: вот бы он сочинял девичьи песни» (Пекарский, II, с. 37); здесь явно слышатся отголоски споров вокруг «Езды в остров Любви»…

Если, говоря о представителях духовенства, которые выступают против «Езды в остров Любви», Тредиаковский действительно имеет в виду Платона Малиновского, то нельзя ли предположить, что, сообщая здесь же о тех духовных лицах, которые к нему расположены, он подразумевает Феофана Прокоповича или его окружение?[117]

Представляется вероятным, что те черты идеологии Феофана Прокоповича, которые давали повод обвинять его в протестантизме, воспринимались Тредиаковским через призму янсенизма: Тредиаковский мог ассоциировать Феофана с Ролленом или же видеть в нем русского Боссюэ[118]. При этом Тредиаковский мог понимать янсенизм как религиозную форму просветительства; для нашей темы особенно важно то обстоятельство, что янсенисты, так же как и Феофан Прокопович, были в принципе сторонниками перевода церковных книг на живые национальные языки (см.: Брюно, V, с. 25–31)[119].

6. Так же как и для карамзинистов, для Тредиаковского и Адодурова оказываются актуальными языковые теории Вожела[120]. Слово *употребление* у Тредиаковского и Адодурова выступает вообще как семантическая калька с франц. *usage*, и ему придается совершенно такой же смысл, какой соответствующий француз-

ский термин имеет у Вожела и его последователей. Так, характерная для Тредиаковского и Адодурова ссылка на «общее употребление» (см.: Успенский, 1975, с. 55–57) отвечает ссылке на «usage général et établi» у Вожела; «доброе употребление» у Адодурова или «наилучшее употребление» у Тредиаковского соответствует «bon usage» у Вожела, и т. д. Напомним, что именно Тредиаковский и Адодуров вводят слово *употребление* как лингвистический термин в научный оборот (см. выше, § **II-2**).

Вслед за Вожела «употребление» признается более важным критерием при установлении языковой нормы, чем какие бы то ни было рационально обоснованные правила (ср. выше, § **I-5**). Предпочтение употребления правилам («грамматике») отчетливо звучит, например, в «Речи» Тредиаковского 1735 г., обращенной к членам Российского собрания: «Украсит оной [наш язык] в нас двор Ея Величества в слове наиучтивейший, и богатством наивеликолепнейший. Научат нас искусно им говорить благоразумнейшие Ея Министры, и премудрейшие Священноначальники, из которых многие, вам и мне известные, у нас таковы, что нам з а г о с п о д с т в у ю щ е е пра́вило[121] м о ж н о б ы и х в з я т ь б ы л о в Г р а м м а т и к у…» (Тредиаковский, 1735, с. 13).

Упоминание «священноначальников» в этом контексте вряд ли может рассматриваться как существенный отход от программы Вожела и дань традиционной русской языковой ситуации. Скорее всего, имеется в виду конкретно Феофан Прокопович, сочинениями которого, как мы уже знаем, восторгались молодые Тредиаковский и Адодуров (ср. выше, § **II-5.1**). Феофан (который был еще жив в то время) — конечно, очень нетипичная для России фигура священнослужителя: он имел такое же отношение к придворной и политической жизни, как и к церкви, и, таким образом, упоминание его в одном ряду с министрами и придворными вполне естественно и закономерно. Здесь уместно напомнить о роли церковных деятелей в политической и придворной жизни Франции (где звание аббата, например, отнюдь не мешало быть щеголем и принадлежать именно к тому кругу, на который ориентировался Вожела). Если иметь в виду при этом определенное сходство в языковых установках Феофана Прокоповича и Тредиаковского и, в частности, то обстоятельство, что Феофан в свое время — за пятнадцать лет до выступления Тредиаковского — заявил себя как сторонник «просторечия» и противник «славенского высокого диалекта» в произведениях, предназначенных для широкой публики («Первое учение отроком…», 1720 г.), эта ссылка не должна вызывать удивления (ср. выше, § **II-5**, § **II-5.1**).

Влияние Вожела и его последователей особенно явно проявляется в социолингвистических установках Тредиаковского и Адодурова. Действительно, ориентация на разговорную речь непосредственно связана как у них, так в дальнейшем и у карамзинистов с социолингвистическим расслоением общества. Когда Тредиаковский говорит об «употреблении», он имеет в виду «нынешнее», или «общее учтивое употребление», «наилучшее употребление двора и людей искусных» («le meilleur usage de la Cour et des habiles gens»), «знатнейшего и искуснейшего дворянства», «общее… большей части знатных и искусных людей»; это

употребление противопоставляется им простонародному, или «подлому», «блинникову» употреблению, см. «Речь к членам Российского собрания» 1735 г. (Тредиаковский, 1735, с. 13), «Разговор об ортографии» 1748 г. (Тредиаковский, III, с. 212–214, 220–221), «Lettre d'un Russien…» 1736 г. (Тредиаковский, 1849, с. 105; Тредиаковский, 1935, с. 354), предисловие к переводу «Речей кратких и сильных» 1744 г. (Пекарский, II, с. 104, примеч.), статью о правописании прилагательных 1746 г. (Вомперский, 1968, с. 88); ср. об Адодурове: Успенский, 1975, с. 56–57[122]. Итак, под «общим употреблением» понимается не разговорная речь вообще, но речь светского общества как культурной элиты[123]. Совершенно очевидно, что образцом для Тредиаковского служит ситуация во Франции, и он стремится применить к русским условиям французскую языковую политику[124]. Поскольку речь светского общества ярче и отчетливее всего выражалась в так называемом «щегольском наречии» (ср. выше, § **I-4.1**), постольку для Тредиаковского, как позднее и для карамзинистов, можно констатировать определенную связь с «щегольской» культурой: в обоих случаях имеется в виду подражание «легкости и щеголеватости речений изрядной компании» (эти слова Тредиаковского через сто лет сочувственно процитирует Пушкин в статье «О предисловии г-на Лемонте…» 1825 г. — Пушкин, XI, с. 33, примеч.)[125], которое в терминах итальянской языковой полемики может быть охарактеризовано как *lingua cortegiana*.

6.1. Свидетельство о существовании уже в этот период особого речевого поведения щеголей-галломанов можно найти у Кантемира. Между прочим, Кантемир сообщает в примечаниях ко II сатире (первая редакция, конца 1729 или начала 1730 г.), что слово *вкус* как семантическая калька с франц. *goût* характерно именно для щегольской речи (Кантемир, I, с. 224; ср.: Веселитский, 1974, с. 48). Употребляя в тексте сатиры выражение *вкус в платьях* (ср. еще здесь же: «кафтан по вкусу» — Кантемир, I, с. 211), Кантемир сопровождает его следующим примечанием: «*Вкус в платьях.* Вкус только в кушаньях говорят; а тут кажется для того употреблено слово сие, что щоголям оно обычайно с французскаго языка, в котором если хотят похвалить, что платье какое искусно выдумано и прибрано хорошо, то говорят: это платье хорошева вкусу» (Кантемир, I, с. 224). II сатира Кантемира описывает вообще щегольское поведение; есть основания подозревать, что Кантемир и сам в юности был щеголем (примерно до 1729 г. — ср. ниже о его увлечении галантной поэзией), и таким образом его замечания о щегольской культуре могут иметь характер, так сказать, свидетельского показания. Знаменательно, что не кто иной, как Тредиаковский, последовательно вводит слово *вкус* в данном значении в литературный язык (Хютль-Ворт, 1970, с. 133; Хютль-Ворт, 1956, с. 24, 67, 86; Вомперский, 1970, с. 110–112)[126]. Мы уже говорили о том, насколько важно понятие «вкуса» для карамзинистов (см. выше, § **I-1.2**).

Заслуживает внимания то обстоятельство, что Тредиаковский — один из первых русских авторов, который сознательно и последовательно вводит в литературный язык обращение на *вы*[127], вместе с тем обращение такого рода может рассматриваться как черта галантной щегольской речи, ср. в этой связи проте-

сты Сумарокова, Курганова, Фонвизина и т. п. (Черных, 1948, с. 90–91; Унбегаун, 1939; Ковалевская, 1976, с. 124–125; Лотман и Успенский, 1975/1996, с. 667, примеч. 243; Алексеев, 1982, с. 109, примеч. 44).

У нас очень мало сведений о щегольской речи первой половины XVIII в. (совершенно иначе обстоит дело со второй половиной этого столетия, где на основании обширной полемической литературы мы можем составить более или менее полное представление о «щегольском наречии»), и мы по необходимости вынуждены ограничиться отдельными примерами, иллюстрирующими связь Тредиаковского с щегольским употреблением; речь вообще может идти прежде всего о маркированных галлицизмах — заимствованиях и кальках, — а также, видимо, о полонизмах[128]. Тем не менее, на фоне языковой программы молодого Тредиаковского — в значительной степени восходящей к программе Вожела — такого рода примеры представляются достаточно информативными.

Необходимо отметить, что «Езда в остров Любви» в переводе Тредиаковского пользовалась необыкновенным успехом в кругах столичных щеголей. 27 января 1731 г. — приблизительно через месяц после выхода «Езды в остров Любви» — Тредиаковский писал Шумахеру из Москвы: «Я могу поистине сказать, что моя книга входит здесь в моду, и, к несчастью или же к счастью, я также вместе с ней. Честное слово, сударь, я не знаю, что делать: меня ищут со всех сторон, всюду просят мою книгу…» («Je puis dire veritablement, que mon livre devint ici à l'a mode, et par malheur ou bien par bonheur, moy aussi avec lui. Ma foy, Monsieur, je ne sais que faire; on vient me chercher de tous cotés, on me demande par tout mon livre…» — Малеин, 1928, с. 432, примеч.; Письма XVIII в., с. 47). В других, более ранних письмах (от начала января[129] и от 18 января 1731 г.) Тредиаковский сообщал Шумахеру, что все люди с хорошим вкусом желают поскорее приобрести его книгу («tout le monde de bon goût veut l'avoir avec une rapidité»), что книга пользуется успехом при дворе («ceux qui sont à la cour, en sont tout à fait contents»)[130], между тем как некоторые духовные лица его осуждают, «говоря, что я первый развратитель русской молодежи, тем более что до меня она совершенно не знала прелестей и сладкой тирании, которую причиняет любовь» («disant que je suis le premier corrupteur de la jeunesse Russienne d'autant plus qu'elle ignoroit absolument avant moy les charmes, et la douce tyrranie, que fait l'amour» — Малеин, 1928, с. 431; Письма XVIII в., с. 44, 45–46)[131]; выше (§ **II-5.1**) мы пытались установить, кого именно из духовенства имеет в виду Тредиаковский в этом письме.

В том же письме Шумахеру от начала января 1731 г. Тредиаковский упоминает об успехе, которым ознаменована «Езда в остров Любви» у «его сиятельства» — имеется в виду, конечно, его меценат и покровитель кн. А. Б. Куракин, которому он посвятил свою книгу[132], — сообщая при этом, что он надеется быть представленным императрице Анне Иоанновне и преподнести ей экземпляр «Езды…» (Письма XVIII в., с. 44–45). Между тем, в письме Шумахеру от 4 марта 1731 г. Тредиаковский отмечает особое расположение, которым пользуется как он сам, так и его книга у сестры императрицы, герцогини Мекленбургской Ека-

терины Иоанновны, в дом которой он вхож: «… Ее королевское высочество принцесса Екатерина… оказывает мне такие милости, которые превосходят все мои ожидания, то хваля меня, то мою книгу, то выказывая свое благоволение и, вместе с тем, обещая самолично представить меня императрице» («… Son Al. Royale M-me la Princesse Catherine… me fait de telles grâces, qui passèrent mes espérances, tantôt en me donnant de louanges, tantôt a mon livre, tantôt en me témoignant sa bienveillance jointe à la promesse de me présenter à Sa Majesté Impériale par elle même» — Пекарский, II, с. 27–28)[133].

Можно сказать, таким образом, что Тредиаковский вращается в придворной среде, причем пользуется поддержкой очень влиятельных особ; именно в этой среде и имеет успех «Езда в остров Любви»[134]. Как А. Б. Куракин, так и С. К. Нарышкин, у которых живет в Москве Тредиаковский (см. его письма Шумахеру от января и марта 1731 г. — Письма XVIII в., с. 44, 47–48; Пекарский, II, с. 28–29), были в родстве с императорской фамилией[135]. Еще более значимо покровительство Екатерины Иоанновны[136] — кстати сказать, матери будущей регентши Анны Леопольдовны; не случайно, по-видимому, в дальнейшем (в 1733 г.?) Тредиаковскому поручается преподавать русский язык принцу Антону-Ульриху, жениху Анны Леопольдовны (Пекарский, II, с. 58).

В этих условиях апелляция к Вожела, призывающему ориентироваться на язык двора, представляется вполне естественной. В отличие от Франции, в России не было языка двора, однако было щегольское употребление, которое и могло восприниматься как функционально аналогичное явление; это щегольское употребление было ориентировано на западные культурные нормы — в частности, на французскую культуру, — что опять-таки естественным образом отличало русскую ситуацию от французской. Таким образом, перенесение установок Вожела на русскую почву закономерно обусловливает опору на щегольское употребление, т. е. на элитарную речь социальных верхов. Есть все основания полагать, что покровители Тредиаковского были близки к щегольской культуре — это достоверно известно во всяком случае о С. К. Нарышкине, который слыл первым щеголем своего времени (см.: Д. Бантыш-Каменский, 1836, IV, с. 10; Лозинский, 1925, с. 246)[137].

Ориентированность молодого Тредиаковского на французскую языковую культуру и французский литературный вкус предвосхищает галломанию второй половины XVIII в. (см.: Хютль-Ворт, 1970)[138]. Как отмечал Л. В. Пумпянский, именно с появления «Езды в остров Любви» в России «начинается история офранцужения дворянской бытовой и моральной культуры»; с выходом «Езды в остров Любви» русское общество получает кодекс французского галантного политеса, своего рода кодекс изящной эротики (Пумпянский, 1941, с. 239, 227, 222)[139]. В этом плане интересно отметить, что в описании любовных отношений Тредиаковский может отклоняться от французского оригинала, заменяя отвлеченные и перифрастические обороты Талемана конкретными образами и эротическими ситуациями (см. красноречивые примеры у Сермана, 1973, с. 107–109)[140]. Не менее показательно вместе с тем, что Тредиаковский может пользо-

ваться в своем переводе эпитетом *щегольской* там, где это никак не оправдывается французским оригиналом[141]. Как в том, так и в другом случае мы можем констатировать стремление переводчика приспособиться к потребностям русской читательской аудитории (той публики, для которой предназначается «Езда в остров Любви») — Тредиаковский как бы расставляет акценты, необходимые для русского читателя.

Отношение Тредиаковского к моде в этот период в какой-то мере напоминает позднейшее отношение карамзинистов, так же как и петиметров. Непосредственный интерес представляет при этом определение моды, которое дает Тредиаковский в примечании к переводу «Военного состояния Оттоманския империи» (1737): мода определяется здесь как «введеный обычай по общему почти согласию, как, и какое носить платье, как убираться, как говорить и прочая» (Тредиаковский, 1737, с. 37, примеч.); знаменательно, что наряду с одеждой Тредиаковский упоминает о речевом поведении[142].

Достойно внимания, наконец, что Тредиаковский — первый русский автор, который публикует в печати свои любовные песни (придавая им тем самым не индивидуальную, а общественную ценность и значение литературных произведений), что, естественно, вызывает негодование приверженцев старины (см.: Серман, 1973, с. 101; ср. вообще о любовных песнях Тредиаковского и их распространении: Позднеев, 1964; Позднеев, 1958, с. 74–76; Позднеев, 1970)[143]; характерно при этом, что в своем «Рассуждении о оде во обще» (1734) Тредиаковский непосредственно связывает «мирскую песню» с любовной тематикой, одновременно подчеркивая ее принципиальную связь с разговорной языковой стихией: «… Материя песнеи часто, и почти всегда, есть *любовь*, либо иное что подобное, и легкомысленное, и только что сердце человеческое улещивающее; речь же самая бывает в них иногда сладкая, а всегда льстящая, часто суетная, и шуточная, не редко мужицкая и ребячья» (Тредиаковский, 1734, с. С/4 об.; ср. подобный же текст и во второй редакции «Рассуждения о оде…», 1752 г. — Тредиаковский, I, с. 278)[144]. Ср. любовные песни молодого Кантемира, которые, однако, остались неопубликованными (см. свидетельство об этом во второй редакции IV сатиры Кантемира и в примечаниях к ней — Кантемир, I, с. 92, 97; ср. комментарий В. Я. Стоюнина — там же, с. XXI–XXII). Сочинение или же исполнение любовных куплетов входило, вообще говоря, в комплекс поведения петиметра[145]; характерно, что в 1740 г. Кантемир жалеет, что в молодости тратил время на подобные занятия (см. там же)[146]. Следует подчеркнуть, что песня занимает в русской поэзии (и в культурном быту) XVIII в. несравненно более заметное место, нежели в западноевропейских ее образцах (см.: Берков, 1936, с. 104–111; Лотман, 1985, с. 228) — постольку, поскольку это основная форма любовной (галантной) лирики.

Знаменательно, что после «Езды в остров Любви» Тредиаковский публикует в 1737 г. «Истинную политику знатных и благородных особ» — перевод книги «La véritable politique des personnes de qualité»[147]. Если «Езда в остров Любви» может рассматриваться как своеобразный учебник любовного обхождения и га-

лантных нравов (см. выше), то «Истинная политика…» — это учебник придворной, аристократической морали; как та, так и другая книга рассчитана на элитарное общество и ставит перед собой задачу культурного воспитания социальной элиты[148]. Может быть, не случайно в июле 1735 г. Адодурову и Тредиаковскому поручается сверить с оригиналом и отредактировать перевод книги «Gracian, l'homme de cour» (Мат. АН, II, с. 761–762), выполненный Сергеем Волчковым; этот перевод под названием «Грациан придворной человек» был опубликован в 1741 г.[149] Существенно при этом, что придворный мыслится как модель культурного человека. Таким образом, ориентация на щегольскую культуру вполне органично вписывается в культурную программу Тредиаковского. Это проявляется, в частности, и в отношении к языку.

Описывая в письме к Шумахеру от 18 января 1731 г. полемику вокруг «Езды в остров Любви», Тредиаковский сообщает, что его обвиняют в тщеславии («… Одни называют меня тщеславным, так как я заставил этим трубить о себе, а это, говорят они, свойственно человеку самовлюбленному, который выставляет напоказ свою суетность» — «… Les uns me donnent le nom de vain, parceque j'ai fait par là sonner trompette de moy, et que cela est, disent ils, d'un homme prevenû en sa faveur, qui expose sa vanité au public»), а также в неблагочестии, в неправославии, в том, что он развращает русскую молодежь (Малеин, 1928, с. 431–432; Письма XVIII в., с. 45–46; ср. выше, § **II-5.1**). Не в последнюю очередь эта полемика касалась языка «Езды в остров Любви». По свидетельству Г.-Ф. Миллера, современники обвиняли Тредиаковского в том, что он «пренебрег духом родного языка, слишком следуя французскому словосочинению» («Man sagte hr. Trediakowski sey, mit hintansetzung des genies seiner muttersprache, zu sehr der französischen wortfügung gefolgt» — Мат. АН, VI, с. 172; Пекарский, II, с. 24); характерно, что точно такие же упреки раздаются в дальнейшем по адресу карамзинистов.

О полемике вокруг «Езды в остров Любви» может свидетельствовать выступление Ивана Сечихина, переводчика «Анфроскопии» (латинского физиогномического трактата Андрея Оттона Кольберга Померана)[150]. В предисловиях к своему переводу (датированных 20 декабря 1732 г.) Сечихин заявляет себя приверженцем языковой программы Тредиаковского, выступая с апологией «Езды…». Так, в предисловии «К Зоилу»[151] Сечихин выражает уверенность в том, что его труд не избежит нападок Зоила, поскольку перед тем осуждению последнего подверглась «Езда в остров Любви»: «Знаю бо, что сия моя новопереведенная книжица не уйдет твоего тщания, понеже и „Езда в остров Любви“ за приятность и за чистоту своего перевода, такожде и за материю, в ней трактуемую, всякия похвалы достойная, имела честь от тебя быть прочтенна, о которой ты зело благоразумно, как слепой о красках, разсуждая, едва головы своей не попортил, и святую свою простоту и неведение, яко день светлый, очесам нашим предпоставил… Правду сказать и по совести, оная книга за самую материю честному свету никак не может быть неблагоугодна, понеже трактует о любви, которую в начале сам Бог в раю узаконил и потому и в самой натуре основание свое имеет, и которая на самом феатре света, во Франции, просто скажу, во всем

политичном свете за вещь незазорную содержится; разве ты у мордвы и у чуваши инако научился? Еще же не помнишь ты, Зоилу бедный и сострадания достойный, сколь остроумный автор оный [имеется в виду Поль Талеман] вся качества и свойства любви той изыскал и представил, яко преводивший оную на российский язык господин Третьяковский во избрании сея небезосновательное показал свое разсуждение. Чистота же и приятность его [Тредиаковского] перевода еще и деду твоему, бедный Зоилу, во сне не греживалася; сие я сказал без всякого похлебства, по такой чистой совести, которою, в сердце своем подвижен, правду до смерти своей должен исповедати» (ГБЛ, ф. 200, № 82, л. 6–7; ср.: ГБЛ, ф. 29, № 47/1559, л. 3–3 об.; Куприанов, 1853, с. 125). «Езда в остров Любви» противопоставляется при этом «Бове» и — характерным образом — церковнославянской «Пчеле»: оба произведения объединяются в своей противопоставленности «политичному свету» с его галантной литературой и соответствующим языком: «Знать, деревенския бабы, на попрядуху собравшись… с тобою конференцию имели и цензоровать тебя научали. Хорошо для вас книга о Бове Королевиче, в которой повествуются древния оныя о Лукопере исполине, преславном Полкане и Милитрисе истории; еще же и книга Пчела, не знаю по истинне которым автором изданная, без всякого погрешения… яко благочестия твоего наставница, апробации достойна, ис которой ты многия доводы в публичных деспутациях на свадбах у мужиков деревенских и у братины по празником со учеными оными дьячками и пияным клиром привести можешь» (ГБЛ, ф. 200, № 82, л. 7 об.–8; ср.: ГБЛ, ф. 29, № 47/1559, л. 4; Куприанов, 1853, с. 126). Знаменательна ссылка на клириков, носителей церковной традиции, которые ассоциируются с деревенскими мужиками, поскольку и те и другие принадлежат к патриархальной культуре: как церковнославянская «Пчела» объединяется с лубочной литературой («Повестью о Бове…» и т. п.), так клирики объединяются с крестьянами — духовное сословие и народ в равной мере противостоят «политичному свету», ориентирующемуся на Францию как на «феатр света».

«Езда в остров Любви» выступает для Сечихина как идеальный, недостижимый образец: Сечихин в принципе принимает языковую программу Тредиаковского, провозглашенную в предисловии к «Езде…», хотя на практике и не умеет ей следовать — для него гораздо более естественно писать книжным «славенороссийским» языком. Так, в предисловии «К Меценату» он просит извинения в том, что перевел данную книгу «славенороссийским, а не общим российским языком», и выражает надежду, что в дальнейшем он сможет переводить и «российским общим языком»: «… А яко славеноросииским, а не общим россииским языком к тебе Меркурий мои приходит, древности любовно попусти извинитися, негли, глаголю, получит мой Меркурий случай и российским общим языком тебе услужити» (ГБЛ, ф. 200, № 82, л. 2; ср.: ГБЛ, ф. 29, № 47/1559, л. 1 об.). Вместе с тем, в предисловии «К Зоилу» он сперва обращается к своему оппоненту на церковнославянском языке, а затем говорит: «Ныне ведай, Зоилу бедный, что я тебя за самого простяка признаваю и мышлю, что не токмо иного чего другаго, но и славенского не можешь разуметь языка, и что тебе нужней ведати, пред-

ложу тебе уже общим российским языком давать» (ГБЛ, ф. 200, № 82, л. 7; ср.: ГБЛ, ф. 29, № 47/1559, л. 3 об.; Куприанов, 1853, с. 125). Казалось бы, здесь противоречие, поскольку переводчик перед тем признавался в своем неумении писать на «общем российском языке». Однако в данном случае выражение *общий российский язык* означает просто некнижный язык: автор, в отличие от Тредиаковского, не считает себя способным искусно, «приятно» писать на нем, что и лишает его возможности пользоваться таким языком в литературном употреблении; вместе с тем, поскольку Зоил выступает (или мыслится) как сторонник церковнославянского языка, упрек в незнании этого языка оказывается особенно язвительным[152]. Итак, признается необходимость изящного владения разговорным языком, которое и обеспечивает «чистоту и приятность» литературной речи. При этом новый литературный язык, противопоставляемый церковнославянскому и основывающийся на разговорном употреблении, в принципе связывается с галантной культурой, с «политичным» обхождением — с ориентацией на «самый феатр света», т. е. на Францию и вообще на «весь политичный свет»[153].

6.2. Исключительно показателен перечень имен образцовых авторов, который дает Тредиаковский в своей вступительной «Речи к членам Российского собрания» 1735 г.[154] Говоря о необходимости создания русской риторики, Тредиаковский предлагает следовать латинским, французским и немецким образцам[155]: «Чтож еще страшит нас? Реторика? Помогут нам в ней премногие творцы Римские, а наипаче хитрый и сладкий в слове Марк Туллий Циценрóн. Помогут Французские Балзáки, Костáрды, Патрю́, и прочие безчисленные. Помогут многие преславные писатели Немецкие, а особливо здесь Превосходительнейший наш главный Коммандир…» (Тредиаковский, 1735, с. 14). Итак, из латинских писателей Тредиаковский называет лишь Цицерона; ссылка на немецких писателей ограничивается упоминанием президента («командира») Академии наук барона фон Корфа, которое имеет откровенно тактический характер; таким образом, основное значение придается авторам французским. Но характерен выбор этих авторов: Тредиаковский называет не современных ему писателей, а авторов прошлого века, причем основное место занимают представители прециозной литературы, которая очевидным образом соотносится с галантной «щегольской» культурой. На первом месте упоминается Бальзак — тот самый Бальзак, которого Карамзин, как мы уже знаем (см. § **I-4.3**), впоследствии назовет «славным *щеголем* Французскаго языка» (Карамзин, II, с. 504; Карамзин, 1984, с. 249). Затем называется Костар(д)[156] — также прециозный автор, постоянный посетитель салона мадам де Рамбулье, ближайшим образом связанный с Бальзаком, Менажем и Вуатюром и известный прежде всего своими полемическими выступлениями; имя Костара могло быть особенно близко Тредиаковскому, так как борьба за изящный, галантный стиль сочеталась у Костара (как и у самого Тредиаковского) с обширной эрудицией и с профессиональными знаниями в области как древних (классических), так и современных языков[157]. Что же касается Патрю, то он — так же как и Цицерон — назван в качестве образцового оратора: Патрю

был первым автором, произнесшим речь при вступлении во Французскую академию, и этот прецедент был настолько удачен, что он положил начало данной традиции: естественно, что для Тредиаковского, который мыслит Российское собрание как аналог Французской академии, этот прецедент имеет особое значение[158].

Нужно сказать вообще, что салон и Академия не противопоставляются Тредиаковским, и это имеет вполне сознательный и принципиальный характер: светская и ученая жизнь воспринимаются как различные и взаимно дополняющие друг друга формы французской культурной жизни, и именно в перспективе общей ориентации на Францию Тредиаковский пытается объединить эти культурные струи (которые в самой Франции могут осмысляться между тем как противопоставленные начала — серьезное и игровое, публичное и интимное, просветительское и эзотерическое, нормативное и свободное, и т. п.). Такое объединение оправдано спецификой русской культурной ситуации (поскольку она отличается от французской), определяя вместе с тем культуртрегерскую позицию Тредиаковского[159]. Можно предположить, что образцом для Тредиаковского в этом отношении был Фонтенель, многолетний секретарь парижской Академии наук (с 1699 по 1741 г.), сочетавший деятельность ученого с репутацией светского человека. Характерно в этом смысле, что при поступлении на службу в петербургскую Академию наук в 1733 г. Тредиаковский принимает титул секретаря Академии (Пекарский, II, с. 43; Мат. АН, II, с. 393); это звание было чисто номинальным (см.: Пекарский, II, с. 44; ср.: Мат. АН, II, с. 300, 392–393, 449, 475, 500, 620; там же, III, с. 518, 529; там же, V, с. 404, 837–838; там же, VI, с. 232), и надо полагать, что инициатива его принятия принадлежала самому Тредиаковскому[160]. Тем более показателен этот титул в семиотическом плане — Тредиаковский, видимо, осознавал себя как русского Фонтенеля; ср. свидетельство Г.-Ф. Миллера, по словам которого Тредиаковский, получив звание секретаря, «настолько возомнил о себе, как если бы ему тем самым было сообщено достоинство Фонтенеля» («… Wurde ihm von der academischen canzellei der titel eines secretairs beigelegt, womit sich herr Trediakowski so gross wusste, als ob ihm damit auch die verdienste eines Fontenelle wären mitgetheilt worden» — Мат. АН, VI, с. 232)[161].

Достаточно знаменательно в свете сказанного прозвище *Тресотиниус*, которое дает Тредиаковскому Сумароков в одноименной пьесе («Тресотиниус», 1750 г. — Сумароков, V, с. 297–324) и которое повторяет затем в несколько измененной форме (*Трисотин*) Ломоносов в направленной против Тредиаковского эпиграмме «Искусные певцы всегда в напевах тщатся…» 1753 г. (Ломоносов, VIII, с. 542). Источник этого прозвища — «Les femmes savantes» Мольера, где под именем Триссотена (Trissotin) выведен аббат Котен (l'abbé Cotin)[162] — салонный поэт, высмеянный Буало, объединяющий в себе, подобно Костару, щеголя и педанта. Это сочетание — щегольства и педантства — является, по-видимому, характерным для молодого Тредиаковского[163]. Во всяком случае прозвище Тредиаковского содержит указание на соотнесенность с щегольской культурой.

Этой общей культурной ориентации ничуть не противоречит выбор романа Поля Талемана для перевода при вступлении Тредиаковского на литературное

поприще; действительно, П. Талеман может рассматриваться как типичный представитель прециозной литературы (см.: Латюйер, 1966, с. 42–43; ср. также: Мишо, XL, с. 595–596; Грант, 1954, с. 973)[164]. По словам Л. В. Пумпянского, «выбор Тредиаковского свидетельствует… о том, что его литературные вкусы обращены были к совершенно определенной стадии в развитии французской литературы, к плеяде Гомбервиля, Ля-Кальпренеда, Жоржа Скюдери, М-ль де Скюдери и т. д.» (Пумпянский, 1941, с. 238). Все эти авторы непосредственно связаны с прециозной литературой[165]. Наконец, к этому же литературному кругу, как мы уже упоминали, принадлежал и Вожела, оказавший столь сильное влияние на молодого Тредиаковского.

Как отмечает Ю. М. Лотман, «„Езда в остров любви“, представленная Тредиаковским русскому читателю в 1730 г., была оторвана от своего естественного культурного контекста: от салона с его атмосферой, поэзией и специфическим поведением. Текст, который воспринимался как неотъемлемая часть культурного пространства, сделался текстом изолированным и замкнутым в себе. Одновременно он был изолирован от литературного контекста — других „прециозных географий“ и прециозной романистики вообще. Он стал Единственным Романом. Из среднего литературного произведения он превратился в эталон». Однако задачей этого произведения было именно создать в России нечто подобное французскому салону: «… В оригинальной ситуации французской прециозности культурная среда порождала роман определенного типа, а в переводной ситуации текст романа призван был породить соответствующую ему культурную среду» (Лотман, 1985, с. 227). Соединение романа Поля Талемана с любовными песнями ясно показывает, что Тредиаковский сознательно ориентировался на русскую щегольскую культуру (ср. выше, § **II-6.1**, об исполнении любовных песен как типичном атрибуте щегольского поведения): русская щегольская культура, по-видимому, воспринималась Тредиаковским как явление, функционально аналогичное культуре французского салона, — можно предположить, что он видел здесь почву, на которой мог быть создан русский салон.

Именно на французскую прециозную литературу ориентируется Тредиаковский и в своем трактате о стихотворстве 1735 г., где опубликованы две его элегии вместе с рассуждением о сущности этого жанра. Элегию во Франции культивировали только поэты прециозной школы, и прежде всего графиня де ла Сюз, на которую и ссылается Тредиаковский наряду с античными авторами (Тредиаковский, 1735а, с. 39, 45, 86). Как писал Г. А. Гуковский, «Тредиаковский издал свои элегии и свое предисловие к ним в эпоху падения французской элегии» (Гуковский, 1927, с. 51); в этих условиях обращение к предшествующей традиции становится особенно знаменательным.

Характерно, что в «Эпистоле от Российския поэзии к Аполлину», вошедшей в состав трактата о стихотворстве 1735 г., Тредиаковский посвящает «нежной дела Сюзе» целых две строки — при том, что братья Корнели вместе с Расином удостоились здесь всего одной строчки (Тредиаковский, 1735а, с. 38–39). Надо сказать вообще, что основное место в «Эпистоле…» занимает французская поэ-

зия (34 строки, 15 имен), за ней следует немецкая (22 строки, 11 имен) и латинская (14 строк, 11 имен). При этом непомерно большое внимание уделено здесь малым жанрам и легкой поэзии. Анализ упоминаний французских авторов в данном произведении заставляет предположить, что «Тредиаковский во время своего пребывания в Париже непосредственно соприкоснулся с салонной культурой и салонной поэзией, „poésie fugitive“… Его литературный вкус обнаруживает в „Эпистоле…“ влияние этой культуры, и легкая поэзия оказывается для него более актуальной, чем высокие жанры классики. Соответственно в его похвале французской литературе, которая предложена в форме сравнения с литературой античной, речь идет только о французских „песнях“, а не о трагедии или эпосе» (Ахингер, 1970, с. 21–22). Ср.:

Песен их что может быть лучше и складняе?
Ей! ни Греция, ни в том мог быть Рим умняе.
(Тредиаковский, 1735а, с. 39)

К сожалению, мы почти ничего не знаем о парижских знакомствах Тредиаковского — о том литературном круге, который мог оказать на него влияние. Тем не менее, одно имя мы все же можем назвать, и имя это в достаточной мере показательно — это имя аббата Жирара, теоретика французского языка и стиля, о котором с чувством признательности и уважения вспоминает Тредиаковский в своем «Слове о витийстве» 1745 г. (Тредиаковский, III, с. 592). Придворный аббат, занимавший во время общения с Тредиаковским должность «королевского секретаря-переводчика», а в эпоху регентства бывший домашним капелланом герцогини Беррийской — дочери регента Филиппа Орлеанского, нравы которой в 1717–1719 гг. обличались в известных «филиппиках» Лагранжа-Шанселя[166], — Жирар был сторонником изящного, галантного стиля. В предисловии к своей книге «La justesse de la langue françoise» 1718 г., на которую ссылается Тредиаковский в «Слове о витийстве», — книге, посвященной герцогине Беррийской, — Жирар призывает «говорить хорошо, поскольку мы можем показать красоту наших мыслей только через красоту наших выражений» («Parlons donc, puisqu'il est doux et naturel de parler. Mais parlons bien, puisque nous ne pouvons faire paraître la beauté de nos pensées que par la beauté de nos expressions» — Жирар, 1718, с. X; ср.: Мазон, 1958, с. 24). В другом месте Жирар полемизирует с Вольтером и, между прочим, дает Вольтеру урок хорошего тона (речевого этикета); обсуждая, как следует обращаться к членам королевской семьи, и исправляя языковые погрешности Вольтера, Жирар заявляет: «Вот принятое употребление, которое я наблюдал и наблюдаю при дворе и в столице, по крайней мере среди тех, кто знает свет» («Voilà l'usage établi que j'ai vû et que je vois encore observer à la Cour et à la Ville, du moins par ceux qui savent le monde» — Жирар, 1719, с. 3; ср.: Мазон, 1958, с. 27, примеч. 2). Труды Жирара — в частности, та его книга, на которую ссылается Тредиаковский, — были написаны в атмосфере салона, столь типичной для эпохи регентства, и обнаруживают определенную связь с прециозной литературой (см.: Мазон, 1958, с. 24, 27–28). Именно в подобном кругу Тре-

диаковский мог познакомиться с книгой аббата Талемана («Le voyage de l'isle d'amour»), которую он счел нужным предложить в своем переводе русскому читателю (см. там же, с. 36), — книгой, с которой и началось, как мы знаем, знакомство русской публики с галантной французской литературой.

Существенно отметить, что Жирар последовательно отстаивал права и достоинство французского языка, стремясь освободить его от латинского влияния. Знаменательно, что в 1716 г. Жирар выступает с проектом фонетической орфографии, избавленной от этимологических написаний, и прежде всего от латинизмов («L'ortografe française sáns équivoques et dàns sês principes naturels», 1716). Обосновывая фонетический принцип правописания, Жирар писал: «Коль скоро наш язык сбросил иго латыни, не правомерно ли освободить [от нее] также наше правописание? Если оно представляет собой лишь принадлежность произношения, не должно ли оно следовать за всеми его [т. е. произношения] изменениями? Почему употребление, во всем столь изменчивое по своей природе, оказывается неизменным в правописании?» («N'est-il pàs juste que puisque notre langue a secoué le joug de la latinité, nous délivrions aussi notre ortografe? Si elle n'est qu'accessoire à la prononciacion, ne doit-elle pas suivre tous lés changemans de celle-ci? Pourquoi l'Usage si inconstant de sa nature en toutes choses sera-t-il fixé pour la seule ortografe?» — Брюно, VI, с. 943; Мазон, 1958, с. 21–22)[167]. И позднее в другой своей работе («Les vrais principes de la langue françoise», 1747) Жирар видит одну из своих задач именно в том, чтобы снять «покров латыни», за которым скрыты подлинные принципы французского языка (Жирар, I, с. V; ср.: Мазон, 1958, с. 34).

Есть все основания связывать «Разговор об ортографии» Тредиаковского, посвященный именно обоснованию фонетической орфографии, с влиянием Жирара (см.: Мазон, 1958, с. 37–39). Подобно Жирару, Тредиаковский стремится освободить русскую орфографию от этимологических написаний, которые характерны между тем для орфографии церковнославянской: вообще принцип фонетического письма провозглашается Тредиаковским именно для русского языка — тем самым русский язык, опирающийся на употребление и связанный с фонетическим правописанием, оказывается противопоставленным церковнославянскому языку, основывающемуся на правилах и связанному с этимологическими написаниями. Противопоставление русского и церковнославянского у Тредиаковского ближайшим образом соответствует противопоставлению французского и латыни у аббата Жирара (ср. выше в этой связи, § **II-4.3**).

Вместе с тем, принцип фонетической орфографии, который провозглашается как Тредиаковским в «Разговоре об ортографии» 1748 г. (см.: Винокур, 1959), так и Адодуровым в его грамматике 1738–1740 гг. (см.: Успенский, 1975), может быть связан с прециозной культурой, а именно, с лингвистическими идеями «прециозниц» (précieuses), которые, как свидетельствует Сомэз, предлагали писать слова так, как они произносятся, — «с тем чтобы женщины могли писать по-французски столь же уверенно и правильно, как мужчины» («afin que les femmes peussent écrire aussi asseurement et aussi corectement que les hommes» — Сомэз, I,

с. 178–179)[168]. Тредиаковский прямо говорит об этом в «Разговоре об ортографии» и в этой связи характерным образом ориентирует литературный язык на женские языковые нормы, что опять-таки соответствует позднейшей программе карамзинистов (ср. выше, § **I-4.2**): «Правду сказать, ежелиб у нас несколько госпож зделались авторами; (как то Франция хвалится Скудериею [M-lle de Scudéry], Дациерою [M-me Dacier], дела Сюзою [de la Suze]; и другими; Голландия Мариею Шурманною [A. M. van Schuurman]; древняя Греция своею Сапфою [Сапфо]) тоб скоряе пра́вильнейшая сия ортография ввелась, а не исправная вывелась: ибо я приметил из некоторых дамских писем, что оне больше наблюдают звоны в составлении своих слов…» (Тредиаковский, III, с. 191)[169]. Характерно, что в том же произведении Тредиаковский упоминает о «нежном дамском выговоре» (с. 285), подчеркивая «легость в выговоре, к которой во всех языках особливо нежный женский пол склонен», и специально отмечая при этом, что «нежный выговор» женщин «ни на какую пра́вильность не смотрит» (с. 118–119)[170]: эпитет *нежный* соотносит женскую речь как с русской языковой стихией, так и с щегольским употреблением (см. выше, § **II-2.1**; ср. также: Лотман и Успенский, 1975/1996, с. 478–483). Совершенно так же и Вожела советовал обращаться к женщинам в спорных случаях произношения (Флютр, 1954; ср. выше, § **I-5**); между тем один из предшественников Вожела, Луи Мегре, уже в первой половине XVI в. выступает с проектом фонетической орфографии, отстаивая автономность французского письма, независимость его от латинских написаний, — и при этом призывает писать так, как пишут дамы, не искушенные в орфографической науке и поэтому приближающиеся в письме к отражению реального французского произношения, а не условных орфографических навыков: Мегре находит женское письмо («la façon d'escrire») «гораздо более разумным и менее искусственным, нежели письмо наших самых ученых мужей» («beaucop plus raysonnable, et mieux pour suyuie selon l'Alphabeth, que celle des plus sauãs homes des nostres» — Мегре, 1545, л. D/4 об. – D/5; ср.: Сизова, 1982, § 2)[171].

Таким образом, и в отношении к французской салонной культуре XVII в. позиция Тредиаковского (в рассматриваемый период его творчества) оказывается сходной с позицией карамзинистов: о близости карамзинизма к прециозной литературе мы уже говорили выше (§ **I-4.3**).

7. Связь лингвистической идеологии карамзинизма с программой Тредиаковского (в первый период его творчества) была вполне очевидна как для карамзиниста Вяземского (отчасти и для Пушкина), так и для «архаистов» Бахтина и Катенина. По словам Вяземского, Тредиаковский «как будто предчувствует и предугадывает Карамзина»: «Его [Тредиаковского] мысль, что наш язык должен образоваться употреблением, что *научат нас им говорить благоразумные министры* и проч., очень справедлива. Он чувствовал, что один письменный язык есть язык мертвый. Здесь он как будто предчувствует и предугадывает Карамзина» («Старая записная книжка» — Вяземский, VIII, с. 89). Ср. замечание Пушкина

в статье «О предисловии г-на Лемонте к переводу басен И. А. Крылова» (1825): «Любопытно видеть, как тонко насмехается Тредьяковский над *славянщизнами* Ломоносова, как важно советует он ему перенимать *легкость и щеголеватость речений изрядной компании*!» (Пушкин, XI, с. 33, примеч.) — подобно Вяземскому, Пушкин видит в Тредиаковском предтечу карамзинизма[172]. Между тем, Бахтин писал: «Открытие тайны писать как говорим, не принадлежит нашему веку. Еще прежде, чем Карамзин наставлял сему кандидатов авторства, профессор Елоквенции Тредьяковский уже давно проповедывал оную. Потрудитесь прочитать предисловие к переводу сего великаго мужа: *Езда на остров любви*… Из краткой сей речи вы ясно можете усмотреть, что напрасно некоторые полагают Тредьяковскаго

С Телемахидою в руке,
С Ролленем за плечами

начальником Славянофилов; напротив того он есть истинный глава тех,

Кто пишет так, как говорит,
Кого читают дамы»

(Бахтин, 1822, с. 36–37)[173]. Ср. сходные мысли в письме Катенина Бахтину от 28 апреля 1829 г. (Катенин, 1911, с. 143), которое мы цитируем ниже (в § **III-5**): Катенин отмечает здесь, что Тредиаковский в определенный период своего творчества «ударился в нежности», причем слово *нежность* соответствует как характеристике разговорной языковой стихии, так и характеристике карамзинизма как литературного и эстетического направления (ср.: Лотман и Успенский, 1975/1996, с. 477–484). Отвечая на цитированную статью Бахтина, Вяземский соглашается с утверждением, что «тайну писать как говорить… давно проповедывал Тредьяковский», и видит разницу между Тредиаковским и Карамзиным в том, что эту программу Карамзину удалось выполнить, а Тредиаковскому — не удалось («О двух статьях, напечатанных в „Вестнике Европы“», 1822 г. — Вяземский, I, с. 90–91).

Эта связь могла реально осуществляться, в частности, через А. А. Барсова, который испытал непосредственное влияние Тредиаковского и, со своей стороны, оказал значительное влияние на Карамзина (ср.: Успенский, 1981/1997). Вместе с тем, есть прямые свидетельства о том, что в 1780-е гг. молодые карамзинисты читали «Езду в остров Любви»[174]. В этой связи определенный интерес представляет переиздание «Езды в остров Любви» в 1778 г., т. е. уже после смерти Тредиаковского[175].

ПРИМЕЧАНИЯ

[1] Грамматика Адодурова частично дошла до нас в русском списке и полностью — в шведском переводе Михаила Грёнинга (Грёнинг, 1750), см. специально об этом: Успенский, 1972/1997; Успенский, 1975; в последней работе опубликован дошедший до нас русский фрагмент данной грамматики. Этой пространной грамматике Адодурова (1738–1740) предшествовал его краткий грамматический очерк русского языка, опубликованный на немецком языке в приложении к Вейсманнову лексикону 1731 г. (Адодуров, 1731), т. е. описание русского языка, предназначенное не для русской, а для иноязычной аудитории.

[2] Тредиаковский и Адодуров были знакомы, вероятно, с 1723 г., когда они вместе учились в Славяно-греко-латинской академии (в 1723 г. Тредиаковский числится по классу синтаксимы, Адодуров — по классу пиитики, см.: ОДДС, X, стлб. 1342, 1338). По возвращении из-за границы в 1730 г. Тредиаковский некоторое время (по всей вероятности, с сентября по декабрь 1730 г.) жил на квартире у Адодурова, бывшего в то время академическим студентом (Мат. АН, VI, с. 172; Пекарский, I, с. 540; там же, II, с. 18). Именно по совету Адодурова, по всей видимости, Тредиаковский опубликовал в приложении к своему переводу «Езды в остров Любви» П. Талемана (1730) собственные стихотворные опыты (см.: Успенский, 1974/1997, с. 617 — наст. изд., с. 519–520; Успенский, 1975, с. 64).

[3] Замечательно, что в инструкции, данной Ломоносову и двум его товарищам при отправлении их на учебу в Марбург в 1736 г., между прочим содержится предписание «стараться им о получении такой способности в русском, немецком, латинском и французском языках, чтоб они ими свободно говорить и писать могли» (Куник, 1865, с. 247; Пекарский, II, с. 290). Итак, русские студенты командируются в Германию, в частности и для того, чтобы усовершенствоваться в родном языке! Взгляды самого Ломоносова на литературный язык в этот период в общем не противоречат такому пониманию (см. § **II-2.2** наст. работы).

Не менее характерно, что в XVIII в. учителями русского языка могут являться в России иностранцы. Сумароков в статье «К несмысленным рифмотворцам» (1759) говорит о преемственности своих знаний в области русского языка: «… Должен я за первыя основания в Русском языке отцу моему, а он тем должен Зейкену, который выписан был от Государя Императора Петра Великаго в учители, к господам Нарышкинам, и который после был учителем Государя Императора Петра Втораго» (Сумароков, IX, с. 278). В Сухопутном шляхетском корпусе, где он учился в 1732–1740 гг., русский язык преподавал немец Эрик Весман (Лузанов, 1907, с. 55, примеч.); примеры такого рода могут быть умножены.

Ср. характерное замечание Жуковского на полях «Рассуждения о старом и новом слоге…» Шишкова: «… Русскому языку должно учиться ни в русских книгах, ни в словенских, но… у иностранных, древних и новых» (Библиотека Жуковского, I, с. 110); упоминание «древних и новых» авторов представляет собой, разумеется, отголосок французского «спора древних и новых» в 80-х гг. XVII в.

[4] Слово *приятнейший* в случае французского языка имеет значение превосходной степени, а в случае русского языка — значение сравнительной степени; различие в степени качества выступает при таком сопоставлении очень выразительно.

Сходным образом, как мы увидим, французский и русский языки могут квалифицироваться Тредиаковским как «нежные» — французский в противопоставлении латыни, русский в противопоставлении церковнославянскому (см. § **II-2.1** наст. работы).

[5] Обязательство Тредиаковского было составлено на французском языке и подписано президентом Академии наук Г. Кейзерлингом 14 октября 1733 г. (Мат. АН, II, с. 393); цитируемый перевод принадлежит самому Тредиаковскому (Пекарский, II, с. 43; ср. еще: Мат. АН, VII, с. 286). Этому контракту предшествовало написанное на латыни заявление Тредиаковского от 10 сентября 1733 г., в котором он предлагает Академии свои услуги и выдвигает свои требования. Тредиаковский обещает здесь «трудиться по мере сил для изящества словесности, на русском языке народившейся, насколько оно возможно на этом языке, а также… заботиться обо всем, что до изъяснения правил грамматики русской, до поэтической игры, до блеска риторики способно относиться», и, наконец, заниматься переводческой деятельностью («… Operam meam, qua industria polleo, posito, A.[cademiae] S.[cientiarum] I.[mperiali] illâ meà indigere, hanc in dicta academia navabo, scil. studebo, pro virili, elegantiae litterarum lingua rossica, quanta in hac lingua possit esse, conceptarum; et quidquid ad explanandas regulas grammaticae, nempe rossicae, poeseos lusum, rethoricesque [sic!] nitorem spectare valeat, non quidem ad amussim, sed juxta modulum ingenii mei, me sedulo curaturum obstringor. Istis insuper, si opus fuerit, adjicio interpetationis quoque laborem e gallico, sive è latino sermone in rossiacum…» — Мат. АН, II, с. 380).

[6] В пространной грамматике Адодурова (1738–1740) был впервые на русской почве провозглашен фонетический принцип орфографии; Тредиаковский в дальнейшем (1748 г.) посвятил этому вопросу специальный трактат (см. об Адодурове: Успенский, 1975, с. 52–55; о Тредиаковском: Винокур, 1959, с. 468–469). Для обоих авторов фонетическое письмо служит целям размежевания церковнославянского и русского языков, в целом ряде случаев давая возможность противопоставлять написание русских и церковнославянских форм.

[7] Слово *славенщизна* — несомненный полонизм, ср. польск. *słowiańszczyzna*, образованное по той же модели, что и, например, *polszczyzna*, *ruszczyzna* и т. п. (Кохман, 1972, с. 41). Это слово встречается уже у Федора Поликарпова, который в 1723 г. писал в Синод о переведенных Епифанием Славинецким и напечатанных в Москве в 1665 г. творениях Отцов церкви: «Книга Григория Назианзена, с прочими, иже с ней, преведена необыкновенною славянщизною, паче же рещи еллинизмом, и за тем о ней мнози недоумевают и отбегают» (Браиловский, 1894, с. 31). Любопытно, что как Поликарпов, так и Тредиаковский в приведенных цитатах употребляют слово *славенщизна* в отрицательном контексте. Тем не менее, данное слово само по себе, по-видимому, первоначально не имело отрицательного оттенка: во всяком случае Тредиаковский может употреблять его и в положительном контексте — так, например, в статьях о прилагательных 1746 г. (Вомперский, 1968, с. 89) и 1755 г. (Пекарский, 1865, с. 105–106), а также в «Разговоре об ортографии» 1748 г. (Тредиаковский, III, с. 207); слово *славенщизна* может относиться при этом как к церковнославянскому языку, так и ко всей совокупности славянских языков, к их общей природе (оба эти значения не противопоставляются у Тредиаковского, ср. § **II-4.1** наст. работы).

В дальнейшем это слово прочно приобретает отрицательные коннотации — так, по-видимому, уже у Ломоносова в наброске статьи «О нынешнем состоянии словесных наук в России» около 1756 г. (Ломоносов, VII, с. 581, примеч.) и затем определенно у Сумарокова в статье «О правописании» 1771–1773 гг. (Сумароков, X, с. 15; ср. § **III-1** наст. работы), у Карамзина в рецензии на перевод Ариосто, 1791 г. (МЖ, II, с. 324; ср. выше, § **I-3**), у Шишкова в «Рассуждении о старом и новом слоге…», 1803 г. (при пародировании «нового слога» — Шишков, II, с. 346, 350, ср. с. 254–255), у Батюшкова в письме к Гнедичу от 28–29 октября 1816 г. (Батюшков, III, с. 409; ср. выше, § **I-3.2**), у Пушкина в статье «О предисловии г-на Лемонте…» 1825 г. (Пушкин, XI, с. 33; ср. **§ II-7**

наст. работы). Эти отрицательные коннотации данного слова, по всей видимости, восходят именно к его употреблению в предисловии к «Езде в остров Любви», поскольку предисловие Тредиаковского приобрело широкую известность (ср. примеч. 28 к главе I и примеч. 1 к главе III наст. работы).

Что касается эпитета *глубокословный* как определения к слову *славенщизна*, то это, по всей вероятности, неологизм Тредиаковского: этот эпитет соотносится с прилагательным *глубокоречивый*, которое встречается в церковнославянской Библии (Иез., III, 5), означая непонятную речь; ср. еще *глубокословие* ʻсуемудрие, суесловиеʼ в рукописном Требнике XVI в. (БАН, Арх. д., № 72, л. 87; Сл. рус. яз. XI–XVII вв., IV, с. 36). Вместе с тем, этот эпитет соотносится с выражением *глубокость речей*, выступающим как характеристика высокого, поэтического слога в «Рассуждении о оде во обще» Тредиаковского 1734 г. (Тредиаковский, 1734, л. С/4 об.; см. § **II-3.1** наст. работы).

[8] О «простоте слова» Тредиаковский говорит также в конце предисловия к «Разговору об ортографии» 1748 г.: «… Смею надеяться, что… за простоту, понятную всем, сло́ва, не всяк на меня негодовать имеет» (Тредиаковский, III, с. IV). В обеих цитатах *слово* означает ʻречьʼ и, возможно, является семантической калькой с франц. *parole*. Интересно отметить, что в предисловии к «Езде в остров Любви» русская р е ч ь противопоставляется церковнославянскому («славенскому») я з ы к у. Соответственно *простое слово* может рассматриваться, вообще говоря, и как калька с лат. *lingua rustica*, что связывает употребление Тредиаковского с традицией «простой мовы» в Юго-Западной Руси (ср.: Успенский, 1983/1994, с. 66, 96). Ср. передачу лат. *rusticus* через рус. *простый* в Вейсманновом лексиконе 1731 г.: «homo rusticus, грубыи, простыи человек, деревенскии мужик» (с. 513); выражение *homo rusticus*, в противоположность *homo litteratus*, означало в свое время человека, не владеющего книжной латынью, и соответственно выражение *lingua rustica* выступало как обозначение живого языка, противопоставленного латыни.

[9] Это заявление непосредственно связано, конечно, с петровской реформой алфавита, которая положила начало четкому размежеванию церковных и гражданских (мирских) книг, соотнося это противопоставление с формальными языковыми признаками: поскольку гражданский шрифт связан по своему происхождению со скорописью, противопоставление церковного и гражданского шрифта соотносится с противопоставлением церковнославянского и русского языка (ср.: Успенский, 1983/1994, с. 60–64, 115–118; Живов, 1986, с. 62–63). Тредиаковский заявляет, таким образом, о своей верности петровской программе, он выступает именно как продолжатель петровского начинания: то, что начато на уровне графики, продолжается теперь в более широком масштабе.

[10] Эта фраза Тредиаковского восходит, по-видимому, к «Духовному регламенту» Феофана Прокоповича (1718–1720) и может рассматриваться, таким образом, как скрытая цитата. Феофан Прокопович в «Духовном регламенте» в следующих выражениях говорит о святоотеческих писаниях: «… Переводъ ихъ славенскій сталъ теменъ, и съ трудностію разумѣется от человѣкъ и обученныхъ, а простымъ невѣжамъ отнюдь непостизаемый есть» (Верховской, II, отд. I, с. 37). Тем более важно подчеркнуть, что Тредиаковский, в отличие от Феофана Прокоповича, говорит о церковнославянском языке как таковом, а не о конкретном церковнославянском тексте. Об отношении Тредиаковского к Феофану Прокоповичу см. вообще ниже (§ **II-5.1**).

[11] Сходным образом в «Рассуждении о оде во обще» (1734) Тредиаковский замечает о «мирской песне», что, поскольку содержание песен «часто, и почти всегда, есть *лю-*

бовь», язык их близок к разговорному просторечию, будучи при этом «сладким» и «льстящим», т. е. прелестным (Тредиаковский, 1734, л. C/4 об.; ср.: Тредиаковский, I, с. 278). См. § **II-6.1** наст. работы.

[12] Слово *жестокий* или *жесткий* выступает здесь как калька с франц. *dur*. Подробному рассмотрению этого эпитета мы посвящаем специальный раздел настоящей работы (см. § **II-2.1**); там же прослеживается и последующая история выражения *жесток ушам*.

[13] Слово *глупословие* представляет собой, несомненно, неологизм Тредиаковского и, может быть, соотносится в этом контексте со словом *глубокословие* 'суемудрие, суесловие' (см. выше, примеч. 7); в этом случае выражение *глупословие славенское* следует рассматривать как результат обыгрывания выражения *глубокословная славенщизна*.

[14] Слово *речеточец*, выделенное Тредиаковским в тексте как «чужое слово», взято им из лексикона Федора Поликарпова (1704), где оно фигурирует в качестве отдельной словарной статьи («*речеточецъ*, зри риторъ» — Поликарпов, 1704, л. 82 третьей фолиации), а также в толковании слова *ритор* (*риторъ* рѣчеточецъ, краснословецъ, вѣтіа» — там же, л. 82 об.). При этом определение слова *ритор* у Поликарпова восходит к словарю Памвы Берынды, где соответственно мы также находим интересующее нас слово: «*ритѡръ*: рѣчеточецъ, вѣтіа, хитрословецъ, красомовца, ораторъ» (Памва Берында, 1627, стлб. 209; Памва Берында, 1653, с. 140). Таким образом, словарь Берынды был одним из источников словаря Поликарпова, причем Поликарпов, видимо, расписывал слова, входящие в толкования, и в некоторых случаях вводил их в словник; именно это произошло со словом *речеточец*, которое и привлекло к себе внимание Тредиаковского. Ср. в этой связи полемические выпады против Поликарпова в «Разговоре об ортографии» Тредиаковского (Тредиаковский, III, с. 120–126, ср. с. 102–103, 107), а также в грамматике Адодурова 1738–1740 гг. (Успенский, 1975, с. 61).

Отметим еще *рѣчеточство* с неясным значением ('производство речи'?), дважды встречающееся в статье «О осми частех слова» по рукописи XVII в. (ГПБ, Погод. 1655), см. изд.: Ягич, 1896, с. 477, 478 (характеристику рукописи см. там же, с. 710).

[15] «Слово о терпении и нетерпеливости Фонтенелево, получившее награждение за красноречие» было опубликовано в 1752 г. в составе «Сочинений и переводов как стихами, так и прозою» Тредиаковского (Тредиаковский, I, с. 379–397), однако цитируемое предисловие не вошло в издание. Это едва ли случайно, поскольку языковая программа Тредиаковского подверглась к тому времени кардинальному пересмотру, что отразилось как в стилистической, так и в содержательной правке текстов, созданных в первый период его творчества (см. §§ **III-1**, **III-4** наст. работы). Выступления в пользу «употребительного языка» и противопоставление его «мнимо высокому славянскому сочинению» противоречили языковой программе зрелого Тредиаковского; есть все основания полагать, что и язык данного перевода был отредактирован Тредиаковским в соответствии с новыми установками.

[16] Знаменательно в этом смысле, что цитируемые ниже выпады против церковнославянского языка в адодуровском очерке 1731 г., демонстрирующие разительное сходство (и даже дословные совпадения) с заявлениями Тредиаковского того же времени, отсутствуют в позднейшей, пространной грамматике Адодурова (1738–1740) — при том, что другие формулировки краткого грамматического очерка Адодурова обычно повторяются в его пространной грамматике. Это обстоятельство было отмечено Унбегауном (1958, с. 113–114); Унбегаун, естественно, ссылается при этом не на грамматику Адодурова, а

на грамматику Грёнинга, поскольку в то время ничего еще не было известно о том, что грамматика Грёнинга представляет собой не оригинальное сочинение, а перевод пространной грамматики Адодурова (ср. выше, примеч. 1).

Можно предположить, что замечания о церковнославянском языке в кратком грамматическом очерке Адодурова появляются именно в процессе непосредственного творческого контакта Адодурова и Тредиаковского, т. е. должны быть отнесены на счет их совместной работы.

[17] В других случаях Адодуров может говорить о «славянах» как носителях церковнославянского языка, последовательно противопоставляя их русским носителям русского языка. См. специально об этом § **II-4** наст. работы.

[18] Эти стихи Тредиаковского в дальнейшем подвергаются критике как Ломоносова, так и Сумарокова; но характерно, что оба автора, резко расходящиеся в своих взглядах на русский литературный язык, критикуют эти стихи с разных позиций и соответственно высмеивают разные части данного произведения — русскую и церковнославянскую. Так, Ломоносов в послании «Зубницкому» (1757), направленном против Тредиаковского, обличает выражение *некошна*(*я*) *дорога* в русской части «Стихов эпиталамических…» как нелитературное, приводя его вместе с другими, стилистически аналогичными выражениями в качестве образца «мерзкого склада» Тредиаковского:

Твой мерзкой склад давно и смех нам и печаль:
Печаль, что ты язык российской развращаешь,
А смех, что ты тем злом затмить достойных чаешь.
. . . .
Давно изгага всем читать твои синички,
Дорогу некошну, вонючия лисички:
Никто не поминай нам подлости ходуль
И к пьянству твоему потребных красоуль.
(Сухомлинов, II, с. 142; Ломоносов, VIII, с. 630)

Ломоносов цитирует здесь различные стихотворения Тредиаковского, опубликованные в приложении к «Езде в остров Любви» (см.: Сухомлинов, II, примеч., с. 188; Ломоносов, VIII, с. 1081); при этом он выделяет коллоквиализмы Тредиаковского, «развращающие», по его мнению, русский литературный язык, — явно выступая в данном случае как сторонник высокой поэтической речи, где коллоквиализмы такого рода недопустимы.

Напротив, Сумароков в «Сонете, сочиненном нарочито дурным складом» (1755) пародирует церковнославянскую речь Аполлона в «Стихах эпиталамических…», выступая при этом с прямо противоположных позиций, т. е. он критикует специфически книжные выражения Тредиаковского как искусственные, нарушающие естественность речи:

Всяко се наряд твой есть весь чистоприправный…
(Сумароков, IX, с. 107)

Ср., между тем, описание новобрачной в «Стихах эпиталамических…»: «Власами ни Венера толь чисто приправна» (Тредиаковский, 1730, с. 165; Тредиаковский, III, с. 744); пользуемся случаем, чтобы поблагодарить М. Гринберга, обратившего наше внимание на эту аллюзию.

Итак, Ломоносов нападает на русскую часть «Стихов эпиталамических…», а Сумароков — на церковнославянскую; совершенно очевидно, что это определяется разницей в их языковых установках. Стихи Тредиаковского провоцируют нападки авторов, стоя-

щих на полярно противоположных позициях, — постольку, поскольку стихи эти написаны в двух языковых системах.

[19] Форма *жесток* не имеет здесь акцента у Тредиаковского, но можно думать, что прилагательные *жесткий* и *жестокий* могли дифференцироваться лишь стилистически, но не семантически (ср.: Кипарский, 1962, с. 273); во всяком случае в «Тилемахиде» Тредиаковского показано ударение *жéстоко* в значении ʻжестокоʼ («Жéстоко всех казнит…» — Тредиаковский, II, с. 340); вместе с тем в «Науке о стихотворении и поэзии» (переводе «L’art poétique» Буало) мы встречаем у Тредиаковского *жестóко* в значении ʻжестко, строгоʼ («Запретил жестоко, слабому Стиху вступать» — Тредиаковский, I, с. 45). В «Способе к сложению Российских стихов» 1752 г. Тредиаковский специально отмечает возможность «двоякого» ударения в этом слове, ссылаясь при этом на «общее употребление»: «По… общему употреблению часто в некоторых словах слоги двояко ударяются, например: *Жестóко* и *жéстоко*» (Тредиаковский, I, с. 127, примеч.). Равным образом и в словаре Поликарпова (1704, л. 105 об. второй фолиации) *жестóкъ* и *жéстокъ* фигурируют как вариантные формы, по-видимому, не различающиеся по значению, ср. еще здесь и наречие *жéстокѡ*. Еще Прокопович-Антонский (1812, с. 73) считал *жéсток* и *жестóк* «однозначущими словами», соотнося *жéсток* с церковным, *жестóк* с гражданским ударением.

Выражение *жесток ушам* перекликается с выражением *жестокий в слухи зык*, которое употребляет Тредиаковский в «Науке о стихотворении и поэзии» в том месте, где речь идет о Малербе:

Разумным сим творцом очищенный язык
Уж перестал влагать жестокий в слухи зык.
(Тредиаковский, I, с. 35)

Ср. соответствующее место во французском оригинале:

Par ce sage écrivain la langue réparée
N’offrit plus rien de rude à l’oreille épurée.
(«L’art poétique», I, 135–136)

[20] Исходя из несомненной близости данного очерка Адодурова и предисловия Тредиаковского к «Езде в остров Любви» мы считаем возможным и целесообразным использовать при переводе адодуровского текста ту же лексику, которую употребляет Тредиаковский. Поэтому мы пользуемся в нашей реконструкции словом *славенщизна* (см. о нем выше, примеч. 7); основания для того, чтобы передавать лат. *slavonismus* как *славенщизна*, можно найти при этом в статье Тредиаковского о правописании прилагательных (1746), в латинской и русской версиях которой *slavonismus* и *славенщизна* фигурируют как эквивалентные соответствия — иначе говоря, *slavonismus* выступает здесь как латинский эквивалент по отношению к рус. *славенщизна* (см.: Сухомлинов, IV, примеч., с. 18 и 19).

[21] Ср. в Вейсманновом лексиконе 1731 г.: «zierlich, ornatus, elegans, красивыи, лепыи, изрядныи, красныи» (с. 775).

[22] В пространной грамматике Адодурова 1738–1740 гг., соответствующие разделы которой сохранились лишь в шведском переводе М. Грёнинга, эта характеристика отсутствует. Ср.: «Питie, dryck, brukas oftare *per contractionem*…» (Грёнинг, 1750, с. 104).

[23] Ср. аналогичную характеристику и в пространной грамматике Адодурова 1738–1740 гг. (это место также дошло до нас лишь в шведском переводе), где отмечается, что

формы на *-ью* и на *-ьми* «употребительнее и изящнее» («brukas… oftare och zirligare»), чем соответствующие формы на *-iю*, *-ями* (Грёнинг, 1750, с. 98).

[24] Так, обсуждая вариантные написания прилагательных с основой на шипящие, типа *свѣжая* и *свѣжяя, свѣжое* и *свѣжее*, Адодуров в одном случае замечает, что формы типа *свѣжая*, *свѣжее* «много изящнее» («viel zierlicher»), чем такие формы, как *свѣжяя* и *свѣжое*, а в другом случае констатирует, что эти формы «более употребительны» («viel gebräuchlicher» — Адодуров, 1731, с. 10–11). Ср. еще оценку суперлативных образований с префиксом *наи-* и словом *самый* как «более изящных» («zierlicher»), если они производятся от форм сравнительной, а не превосходной степени, — имеется в виду, видимо, неупотребительность таких образований, как *наимилейший* и т. п. (там же, с. 12–13).

[25] Ср. описание риторики высокого стиля у Тредиаковского в «Слове о витийстве» 1745 г. Обсуждая здесь искусственные риторические приемы высокой речи, которая противопоставляется речи, основанной на естественном употреблении (ср. § **II-4.3** наст. работы), Тредиаковский характеризует ее одновременно как «громкую» и «жестокую»: «Сей [писатель] перуны мечет и гремит; но другой не знаю что приятное вещает, и слаткое играет. Сего жестотою неглатка есть Элоквенция…» (Тредиаковский, III, с. 598); ср. в латинской версии «Слова о витийстве»: «Hic fulminat, atque tonat; at ille nescio quid suave canit, et dulce modulatur. Istius asperitatis piena est Eloquentia…» (Тредиаковский, 1745, с. 104).

Это рассуждение воспроизводится затем в предисловии к I тому «Римской истории» (1761), где Тредиаковский также определяет высокий стиль как «громогласный» (Тредиаковский, 1761–1767, I, с. *е*; ср. ниже, § **II-3.1**). Тот же образ Тредиаковский употребляет и в «Науке о стихотворении и поэзии» (1752), представляющей собой перевод «L'art poétique» Буало, — при описании пасторальной поэзии:

Сладостиюб нежно нам вся она [пастушка] дышала,
Громом бы высоких слов нас не устрашала.
(Тредиаковский, I, с. 41);

ср. во французском оригинале:

Il faut que sa douceur flatte, chatouille, éveille,
Et jamais de grands mots n'épouvante l'oreille.
(«L'art poétique», II, 9–10)

[26] Аналогично и Ломоносов в эпиграмме «Искусные певцы…» (1753) говорит, что

Великая Москва в язы́ке толь н е ж н а,
Что *а* произносить за *о* велит она.
(Сухомлинов, II, с. 132; Ломоносов, VIII, с. 542)

Вообще о восприятии аканья в XVIII в. см.: Успенский, 1983/1994, с. 200–202; Успенский, 1974/1997, с. 613–614 — наст. изд., с. 517–518; Успенский, 1975, с. 71–72.

[27] Любопытно, что Тредиаковский приписывает здесь произношение в латыни *t* вместо *th* и *p* вместо *ph* «нежному выговору» римских «Госпож» — «легкости в выговоре, к которой во всех языках особливо нежный женский пол склонен». «Можно сие и нашим языком доказать, ежелиб о сем дело у меня было», замечает он в этой связи (Тредиаковский, III, с. 118–119).

[28] Франц. *délicat* обычно переводится в XVIII в. именно как *нежный*: такое соответствие можно найти, в частности, и в переводах Тредиаковского, ср. хотя бы его перевод «Истинной политики знатных и благородных особ» 1737 г. (ср.: Ремон де Кур, 1737, с. 4; Ремон де Кур, 1750, с. 1). Отсюда *деликатный* и *нежный* регулярно выступают в XVIII в. как лексические дублеты, эквивалентные по своему значению. Так, в «Совершенном воспитании детей» Беллегарда, опубликованном в 1747 г. в переводе С. Волчкова, к слову *деликатное* дается глосса *нежное* (с. 225); здесь же формулируется требование «на своем природном языке чисто, и деликатно писать» (с. 93). Сумароков в статье «О истреблении чужих слов из русского языка» (1759) высмеивает тех, кто говорит *деликатно* вместо *нежно* (Сумароков, IX, с. 246); такое же соответствие дается в словаре иностранных слов, помещенном в журнале М. Д. Чулкова «И то и сьо» (1769, неделя 26, с. [5]), а также у Курганова (1769, с. 391). Ср. в письме Карамзина к Дмитриеву от 30 июня 1814 г.: «Знаю твою нежность (сказал бы *деликатность*, да боюсь Шишкова)…» (Грот и Пекарский, 1866, с. 183).

[29] То же, по-видимому, имеет в виду Тредиаковский и в своем трактате о стихотворстве 1735 г., когда говорит о «нежности» прозаической дедикации как особого жанра: «нежна и хитра Дедикация в Прозе» (Тредиаковский, 1735а, с. 35); это очевидным образом связано с противопоставлением языка прозы и поэзии, где Тредиаковский допускает использование славянизмов (см. ниже, § **II-3**). Ср. еще во второй редакции «Рассуждения о оде во обще» (1752) характерное противопоставление по языку стансов и высокой одической поэзии: «… Стансы… все тож что Оды, но токмо нежные, и непарящие в высоту» (Тредиаковский, I, с. 279; в редакции 1734 г. это место отсутствует).

[30] Сходным образом и эпитет *приятный* выступает у Тредиаковского для характеристики как французского, так и русского языка (в «Слове о витийстве» 1745 г. и в «Речи к членам Российского собрания» 1735 г.). См выше, § **II-1**.

[31] Слово *людскость* — очевидный полонизм у Тредиаковского (ср. польск. *ludzkość* ‘человечество, человечность’). Это слово неоднократно встречается у Тредиаковского, в частности, в «Тилемахиде» (см.: Орлов, 1935, с. 53).

[32] Эпитет *dur* как стилистическая характеристика нередко встречается у Буало, который, между прочим, регулярно применяет его к Шапелену; очень вероятно, что именно на Буало прежде всего и ориентировались русские авторы. Ср. в этой связи позднейшее замечание М. А. Дмитриева: «Известно четверостишие Буало на поэму Шапеленя, написанное его ж е с т к и м слогом»; имеется в виду «Vers en style de Chapelain», где Шапелен охарактеризован как «l’auteur dur»; характерно, что Дмитриев сообщает при этом русское подражание этому четверостишию, изложенное подчеркнуто славянизированным слогом (М. Дмитриев, 1869, с. 85).

[33] Кантемир имеет в виду, по всей видимости, книгу «Алфавит собранны, рифмами сложенны…» (Чернигов, 1705), хотя описание Кантемира не вполне соответствует ни содержанию, ни выходным данным этой книги. Ср. перечень книг, изданных Иоанном Максимовичем: Махновец, 1960, с. 407–408.

[34] Цитируемые стихи Кантемира представляют собой подражание VII сатире Буало, однако в интересующем нас случае Кантемир отходит от французского оригинала.

[35] Одновременно Кантемир может соотносить рус. *жесткий* и с франц. *sec*, что, между прочим, нашло отражение в относящемся к тому же времени, что и цитируемые

сочинения Тредиаковского и Адодурова (а именно, к 1730 г.), кантемировском переводе «Разговора о множестве миров» Фонтенеля. В предисловии Фонтенеля здесь говорится, что автор старался философию «привести в такую меру, чтоб была ни весьма ж е с к а для всех общества людеи, ни гораздо шутлива для ученых», причем к слову *жеска* Кантемир делает следующее примечание: *«Жеска.* Пофранцузски в оригинале стоит seche, что в сем месте значит своиство неприятное, недающее ни какои забавы» (Кантемир, II, с. 393). Необходимо иметь в виду, что слова *sec* и *dur* очень близки по значению; существенно, что *sec*, как и *dur*, может служить стилистической характеристикой, причем выражения *style dur* и *style sec* могут восприниматься как синонимичные (см.: Фюретьер, 1727, s. v. *sec*; s. v. *stile*).

36 Соответствующее место в переводе Тредиаковского мы цитировали выше (см. примеч. 25). Любопытно отметить, что позднейшая версия сумароковских стихов (1774) приближается к переводу Тредиаковского (1752): «громкие слова» у Сумарокова соответствуют «грому… высоких слов» у Тредиаковского, и мы можем предположить, что здесь в какой-то мере сказалось влияние Тредиаковского. Таким образом, как выражение *чтеца ушам жестоки*, так и выражение *громкие слова* в сумароковском «Наставлении хотящим быти писателями» в конечном счете восходят, видимо, к фразеологии Тредиаковского.

37 Слово *место* здесь — явный полонизм (ср. польск. *miasto* ʻгородʼ).

38 Ср. определение в словаре Фюретьера (1727, s. v. *dur*): «*Dur*, se dit figurément, et signifie, inhumain; … cruel» (ср. также: s. v. *feroce*). Не случайно нем. *greßlich* (*gräßlich*), которым, как мы видели, пользуется Адодуров для перевода русского слова *жестокий*, определяется в Вейсманновом лексиконе 1731 г. как «зверообразныи» (с. 260–261).

Замечательно, что в том же значении, что и Тредиаковский, — и в сходном контексте — употребляет данный эпитет щеголь Верхоглядов в комедии Лукина «Щепетильник» (1765): «Наш язык самой зверской; и коли бы не мы его чужими орнировали словами, то бы на нем добрым людям без opiôру дискурировать было не можно» (Лукин, II, с. 222–223). Не исключено, что это слово в данном значении было характерно для «щегольского» употребления.

39 Ср. еще выражение *зверская жизнь*, которое соответствует лат. *vita dura* ʻдикая жизньʼ, в рассуждении Тредиаковского «О слове, или словесности» (1763): «Словесность наша… Ободрительница и Примирительница, и наконец Положительница, и от зверския нас жизни Отвратительница» (Тредиаковский, 1761–1767, VII, с. VIII).

40 Так, подчеркивая слово *ибо*, Ломоносов приписывает на полях: «яко, понеже и то писано»; к слову *вем* он добавляет: «веси, весть»; к слову *бо* — «свене, бохма» (позднее в рассуждении «О пользе книг церьковных в Российском языке» *свене* фигурирует в качестве типичного примера «неупотребительных и весьма обветшалых слов» — Сухомлинов, IV, с. 227; Ломоносов, VII, с. 588, ср. с. 898); местоименная форма *мя* сопровождается замечанием «socordia», т. е. ʻоплошностьʼ; критикуя церковнославянскую конструкцию родительного восклицания *О ра́за преблагополучна!* (ср. позднее стилистическую оценку таких конструкций в § 570 ломоносовской «Российской грамматики» — Сухомлинов, IV, с. 217; Ломоносов, VII, с. 547), Ломоносов пародирует ее, приписывая на полях: *О!!! велелепнейшия оплеухи* (при этом обыгрывается двузначность слова *раз*). См.: Берков, 1936, с. 56, 62, 63; последняя фраза Берковым прочтена неправильно, ср. факсимильное воспроизведение ломоносовской ремарки на с. 59.

[41] Так, например, Ломоносов рекомендует здесь заменить *на земли* на *на земле*, *дражайший* на *дороже*, *высочайший* на *выше*, *должен* на *обязан*, *бо* на *вить*, *утре* на *завтра*, *бóки* на *бокá*, *на вéк* на *нá век*, *пременúтся* на *премéнится*, *украсúтся* на *укрáсится*, *расширéнна* на *расшúренна*, *подарéнна* на *подáренна*, *украшéнна* на *укрáшенна.* См.: Берков, 1936, с. 56; Сухомлинов, III, примеч., с. 7.

[42] Отметим, что если в примечании к V сатире (1737) Кантемир пишет: «*Знатному слуга господину*. Вместо *знатнаго господина слуга*. Обыкновенно во С[вященном] П[исании] дательный падеж вместо родительнаго употреблять», то в примечании к VIII сатире (1739) он замечает: «*И спина гнется ему*. *Ему* вместо *его*. Часто так и некрасиво дательный вместо винительнаго употреблять можно» (Кантемир, I, с. 132, 174). Итак, то, что раньше поддерживалось авторитетом церковных книг, признается теперь «некрасивым».

[43] Любопытно в этой связи, что, переиздавая в 1721 г. грамматику Мелетия Смотрицкого, Федор Поликарпов приводит вслед за Смотрицким вариантные формы прилагательного *святых* и *свят* («тѣхъ ст҃ых, или свѧть») в род. падеже мн. числа, причем вторую форму сопровождает пометой: «піитически» (Смотрицкий, 1721, л. 69 об.); ср. издания грамматики Смотрицкого 1619 г. (л. 3/7 об.) и 1648 г. (л. 133 об.), где показаны те же формы, но отсутствует данная помета. Это, кажется, единственный случай пометы такого рода у Поликарпова. Вместе с тем, в рукописном варианте «Чина технологии», выступающего в качестве приложения в том же издании грамматики Смотрицкого 1721 г., Федор Поликарпов замечает, что формы двойственного числа «употребляху древніи преводницы серби и славяне во своих преводах послѣдующе греком, двойственное число прежде имѣвшымъ во употребленіи, наипаче ради стихотворныя их мѣры» (ЦГАДА, ф. 381, № 1241, л. 67 об.; Поликарпов, 2000, с. 120).

[44] Сатира, о которой упоминает Тредиаковский, до нас не дошла.

[45] Слово *ратоборец* дважды встречается в «Лексиконе треязычном» Федора Поликарпова 1704 г. — как в самом словаре (л. 80 об. третьей фолиации), так и в тексте предисловия (л. 5 об. первой фолиации). Может быть, не случайно вообще, что из шести примеров лексических архаизмов, которые упоминает здесь Тредиаковский, четыре примера представлены в данном лексиконе (*богатырь*, *всадник*, *ратоборец*, *рать* — л. 26, 62 второй фолиации, 80 об. третьей фолиации) и только два примера в нем отсутствуют (*витязь*, *рыцерь*). Последние два слова, по-видимому, ассоциировались с произведениями типа «Повести о Бове», которые в XVIII в. могли восприниматься как архаические (см.: Успенский, 1984/1996, с. 395–397, примеч. 40, 41 — с. 497–498 наст. изд.; ср. также § **II-6.1** наст. работы).

[46] Можно предположить, что к поэтическому стилю Тредиаковский относит в этот период и мифологические имена (имена античных богов). См.: Живов и Успенский, 1984/1996, с. 504–505; ср. также § **III-1.2** наст. работы.

[47] Характерно, что Кантемир в «Письме Харитона Макентина» (1742), говоря о специфике «стихотворного наречия» по сравнению с языком прозы, указывает как на необходимость использования в поэзии лексических славянизмов, так и на необходимость перестановки слов в стихах (Кантемир, II, с. 2–3, § 5). Оба явления, по-видимому, объединяются им как однотипные, ассоциируясь с церковнославянской языковой стихией. См. § **III-2.1** наст. работы.

Синтаксическую инверсию можно встретить и у поэтов конца XVIII в., например у Хераскова (см. примеры у Алексеева, 1981, с. 74–75, примеч. 26), где этот прием выступает

как признак высокого стиля, т. е. в той же функции, что и лексические славянизмы. Возможность перестановки слов в стихах специально отмечается Подшиваловым (1798, с. 55).

[48] О термине *части слова* в значении ʻpartes orationisʼ см.: Успенский, 1975, с. 169.

[49] Можно предположить, в частности, что имеется в виду следующее место из стихотворных вставок в «Езде в остров Любви»: «В жаре любовном целовал ю присно» (Тредиаковский, 1730, с. 86; Тредиаковский, III, с. 699).

[50] Лат. *ampulla* имеет значение ʻпузырьʼ, ʻнапыщенное словоʼ. Ср. *ampullor* ʻнапыщенно выражаться, высокопарно говоритьʼ.

[51] Тредиаковский цитирует здесь «Ars poëtica» Горация (стих 97). Ср. соответствующее место в прозаическом переводе этого произведения, который Тредиаковский опубликовал в 1752 г.: «… Отвергают надутыя и полтарафутныя сло́ва» (Тредиаковский, I, с. 93).

[52] Ср. в этой связи аналогичное противопоставление имен Аполлон (Apollon) и Феб (Phébus) в «Les héros de roman» Буало, где Меркурий (Mercure) заявляет: «Hélas! Apollon et moi, nous sommes des dieux qu'on n'invoque presque plus; et la plupart des écrivains d'aujourd'hui ne connoissent pour leur véritable patron qu'un certain Phébus, qui est bien le plus impertinent personnage qu'on puisse voir». Говоря о «нынешних писателях», которые почитают Феба (Phébus), Буало, очевидно, имеет в виду авторов, которые пишут напыщенным, выспренным слогом (phébus), т. е. здесь явно обыгрывается связь имени нарицательного phébus с именем собственным Phébus. При этом Феб (Phébus) как отрицательный персонаж противостоит у Буало Аполлону (Apollon) как богу поэзии. Такое же в точности противопоставление проявляется — пусть не в столь явной форме — и у Тредиаковского, который, несомненно, был знаком с пьесой Буало: знакомство с этой пьесой и отразилось, по-видимому, в неологизме *аполлинствование*.

[53] Одновременно *надутый* как стилистический термин может расцениваться и как полонизм, ср. польск. *nadęta mowa*, *nadęty styl* и т. п. (слово *nadęty* в аналогичном значении фиксируется в польском уже со второй половины XVI в., см.: Сл. польск. XVI в., XV, с. 465); не исключено, что и польск. *nadęty* в свою очередь также представляет собой кальку с французского. Поскольку вся система стилистических терминов у Тредиаковского построена по французскому образцу, *надутый*, несомненно, выступает у него как эквивалент соответствующих французских слов (*enflé*, *ampoulé* и т. п.): польский язык может выступать в этих условиях в качестве дополнительного или посредствующего источника.

Таким образом, *надутый* может рассматриваться как заимствование из польского и вместе с тем как семантическая калька с французского: можно сказать, что Тредиаковский пользуется старой славянской калькой с французского и при этом актуализирует ее, вновь соотнося с французским употреблением.

[54] Ср. еще выражение *надутый плач* в том же переводе Тредиаковского, которое соответствует у Буало *une plainte ampoulée* (песнь III, стих 136): «глася смешно́ надутый плач» (Тредиаковский, I, с. 58).

Слово *пышный*, семантически соотнесенное с *надутый*, также может рассматриваться как полонизм (см.: Кохман, 1978, с. 46–49).

[55] Слово *надутость* в значении ʻгордостьʼ встречается в XVII веке в текстах югозападнорусского происхождения — например, в словаре Памвы Берынды (1627, стлб. 145;

1653, с. 30), а также в «Зерцале духовном» 1652 г. (ГИМ, Син. 760, л. 249; ср.: Горский и Невоструев, II, 3, с. 723) — и может рассматриваться как полонизм. Вместе с тем, глагол *надутися* в значении 'возгордиться' отмечается в русских памятниках с XII в. и представляет собой, по-видимому, семантическую кальку с греческого (см.: Хютль-Ворт, 1967, с. 2297). Как бы то ни было, в применении к языку, а не к человеку слово *надутый* соотносится с французским или польским словоупотреблением (ср. предыдущее примеч.).

Сумароков в комедии «Лихоимец», написанной не позднее 1768 г., подчеркивал связь указанных значений слова *надутый*: «Каковы наши чувствия и мысли, таковы и слова: надутой человек изображается надутыми словами, низкой низкими, громкой громкими, нежной нежными, а разумной благопристойными» (Сумароков, V, с. 74). Совершенно аналогичное совпадение значений имеет место и в таких прилагательных, как *высокопарный* или *напыщенный*. Характерно в этом смысле, что Сумароков, перерабатывая свою «Эпистолу о стихотворстве», заменяет *гордые слова* на *громкие слова* (см. выше, § **II-2.1**) — оба выражения выступают, таким образом, как синонимичные.

[56] Это обстоятельство специально подчеркивается в Сл. Фр. Академии (I, с. 62): «*Ampoulé*, *ée.* adj. Enflé. Il ne se dit guéres qu'au figuré; et seulement en parlant de prose ou de vers».

[57] Ср. в этой связи характеристику ломоносовских стихов в «Lettre d'un jeune seigneur russe à M. de ***» А. П. Шувалова (1760): «Поэзия его благородна, блестяща, возвышенна, но часто жестка и надута» («Sa poésie est noble, brillante, sublime, mais souvent dure et ampoulée» — Берков, 1935, с. 363).

[58] Соответствующий пассаж в значительной степени повторяет рассуждение Тредиаковского о разнообразии стилей в «Слове о витийстве» (Тредиаковский, III, с. 598–599), которое мы отчасти цитировали выше (в примеч. 25).

[59] Вместе с тем, в самом тексте «Тилемахиды» Тредиаковский употребляет слово *напыщенный* в значении 'гордый': «Чу́довище гордо» и «напыще́нно Страшилище» выступают здесь как синонимичные обороты (см.: Тредиаковский, II, с. 337).

[60] Ср. в этой связи «Стихи эпиталамическия…» 1730 г., где речь Аполлона, обращенная к новобрачным (т. е. эпиталама), дана на церковнославянском языке, отчетливо выделяясь из основного текста данного произведения (Тредиаковский, III, с. 742–746). Как мы уже отмечали (см. выше, § **II-2**), это своеобразная дань предшествующей (прошлой) литературной традиции, которая признается уместной именно в жанре эпиталамы.

[61] Эта мысль получает дальнейшее развитие и обоснование при переиздании «Рассуждения о оде во обще» в собрании сочинений 1752 г., где Тредиаковский подкрепляет ее обширной цитатой из Роллена (Тредиаковский, I, с. 280–281; ср.: Ахингер, 1970, с. 28–29).

Вполне закономерно поэтому, что свои стихотворные переложения псалмов Тредиаковский именует «одами» — так уже в «Трех одах парафрастических…» 1744 г. (Тредиаковский, 1744) и затем в «Сочинениях и переводах…» 1752 г., где эти переложения значатся в разделе «Оды божественные» (Тредиаковский, I, с. 307–338); характерно, что под той же рубрикой фигурируют также стихотворные переложения и других библейских текстов (там же, с. 338–376) — все эти тексты объединяются как по своему содержанию, так и по своим языковым характеристикам ввиду соотнесенности с церковнославянской традицией. Совершенно иной подход, между тем, у Сумарокова, который опре-

деляет переложения псалмов как «стихотворения духовные», четко отличая их от «од» (ср. вышедшие в одно время — в 1774 г. — и дополняющие друг друга сборники Сумарокова: «Стихотворения духовныя» и «Оды торжественныя»; ср. также: Сумароков, I, с. 1, 221). Полное стихотворное переложение Псалтыри, законченное Тредиаковским в 1753 г. (которое ему не удалось опубликовать), носило название «Псалтирь, или Книга псалмов блаженнаго пророка и царя Давида преложенных лирическими стихами и умноженных пророческими песньми от Василья Тредиаковскаго» (Тредиаковский, 1989, с. 1–2); слово *лирический* относится при этом именно к одическому жанру (ср. о лире как эмблеме оды в XVIII в.: Клейн, 1984, с. 8–14), и характерно, что в предисловии к этой книге Тредиаковский противопоставляет свое переложение псалмов «Псалтири рифмотворной» Симеона Полоцкого (1680), которая не отвечает требованиям одического жанра: «Преложение Симеона Полоцкаго есть не токмо не Лирическое, но и какова б было из поэзии вида [т. е. жанра] определить не без трудности» (Тредиаковский, 1989, с. 3–4). Тредиаковский специально подчеркивает при этом, что в своем стихотворном переложении псалмов он стремился сохранять максимальную близость к церковнославянскому тексту Псалтыри: «… От положенных речей в нашем переводе [славенской Псалтыри] всячески не удалялся и, сколько возможно было, оными самыми Стих мой составлял…» (там же, с. 7). Отметим, что работа Тредиаковского над стихотворным переводом Псалтыри относится в основном ко второму периоду его творчества, когда он является вообще сторонником славянизации литературного языка (см. § **III-1** наст. работы); тем не менее, в данном случае заявления Тредиаковского определяются не столько изменением его языковой программы, сколько развитием тех положений, которые были высказаны им еще в «Рассуждении о оде…» 1734 г.

[62] Если название *рус(с)кий* ассоциируется с этническим началом, то *российский* выступает как производное от имени *Россия* как наименования страны или государства. Соответственно, если «русский» язык противопоставляется «славенскому», т. е. церковнославянскому языку, по своей природе (такое противопоставление мы встречаем, например, в предисловии Тредиаковского к «Езде в остров Любви»), то под «российским» языком в принципе может подразумеваться как «русский», так и «славенский» язык: «российский» язык, в отличие от «русского», — это язык, функционирующий на территории России (государства русских), т. е. принципиально важным является в данном случае именно функциональный, а не генетический аспект. Так, например, в «Речи к членам Российского собрания» 1735 г. или в примечании к «Военному состоянию Оттоманския империи» 1737 г., которое мы цитируем в § **II-4** наст. работы, выражение *российский язык* у Тредиаковского, несомненно, относится к русскому языку; и вместе с тем в «Рассуждении о оде…» то же выражение может употребляться для обозначения языка церковнославянского.

[63] Как уже отмечалось, *слово* в подобном контексте означает ‘речь’ (см. выше, примеч. 8).

[64] Ср., например, характерные указания французского руководства по гомилетике конца XVII в. («L’art de prêcher» — ср.: Чиоранеску, II, с. 810, 896, 1032, № 27736, 27737, 30589, 35029): «*Высокий стиль* должен быть величественным и поддерживаться благородными выражениями, способными сообщить высокую идею; он должен быть возвышенным, без того чтобы быть напыщенным. *Простой стиль* должен быть естественным, без помпы и без украшений; но он не должен быть низким и подлым, для того чтобы быть простым. *Средний стиль* сочетает в себе величие высокого и простоту простого

стиля» («Le *stile sublime* doit être majestueux, et soutenu d'expressions nobles, et capables de donner une haute idée: il doit être élevé, sans être guindé. Le *stile simple* doit être naturel, sans pompe, et sans ornemens: mais il ne doit pas être bas et rampant, sous pretexte d'être simple. Le *stile mediocre* participe de la grandeur du sublime, et de la simplicité du simple» — Фюретьер, 1727, s. v. *siile*).

[65] Соответствующее восприятие причастий объясняется тем, что они выступают как кальки западноевропейских причастных форм, в ряде случаев непосредственно с ними коррелируя (ср.: Исаченко, 1974, с. 255; Лотман и Успенский, 1975/1996, с. 522–524, примеч. 28).

[66] Любопытно, что Кантемир, которому был хорошо известен цитируемый трактат Тредиаковского (см. примеч. 31 к главе III наст. работы), никак не отреагировал на критику Тредиаковского: перерабатывая свою I сатиру в 1743 г., Кантемир правит и начальную строку, которая в окончательной редакции принимает следующий вид: «Уме недозрелый плод недолгой науки!» (Кантемир, I, с. 9). Как видим, Кантемир оставляет без изменения все то, что Тредиаковский расценивает как «вольность», и делает это явно сознательно. Необходимо иметь в виду, что Кантемир в это время настаивает на специфике русского «стихотворного наречия», в котором славянизмы оказываются закономерным явлением (см. об этом § **III-2.1** наст. работы); естественно, что с этой точки зрения звательная форма *уме* представляется вполне уместной, т. е. не нуждается в исправлении.

[67] Соответственно Г. Н. Теплов в записке о Тредиаковском 1755 г. расценивает подобные формы как специфичные для стиля Тредиаковского, и это служит ему одним из формальных оснований для того, чтобы опознать Тредиаковского как автора анонимного письма, содержащего критику Теплова, Сумарокова и Миллера (ср.: Пекарский, II, с. 188–193): «Все родительные падежи прилагательных имен женскаго рода по его [Тредиаковского] правилам кончатся на *ы*, *ия*, *ыя*, *ея*, и таковыя окончания по привычке и по неволе из его рта уже истекают, которых он и утаить не мог. Мы пишем в родительном падеже *системы Картезиевой*, а он *системы Картезиевы*, *великой милости*, а он *великия милости*, *доброй славы*, а он *добрыя славы*, *своей рѣчи*, а он *своея рѣчи*» (Теплов, 1868, с. 72).

[68] Б. Г. Унбегаун писал о грамматическом очерке Адодурова 1731 г.: «В тех случаях, когда существует возможность выбора между церковнославянской и русской формой, Адодуров неизбежно отдает предпочтение русской форме; если же церковнославянская форма не допускает такой альтернативы, Адодуров кодифицирует ее, по всей вероятности, квалифицируя такую форму как русскую» (Унбегаун, 1958, с. 111). Как видим, это не вполне точно, хотя общая тенденция определена Унбегауном совершенно правильно: она в равной мере может быть отнесена как к теоретическим опытам Адодурова, так и к языковой практике Тредиаковского, направленным на кодификацию русского языка.

[69] Любопытно отметить, что в трактовке формы *щастье* Тредиаковский расходится с рекомендациями Адодурова, который, как мы видели, отдает предпочтение (как в кратком очерке 1731 г., так и в пространной грамматике 1738–1740 гг.) формам *питье, дверью, плетью* по сравнению с формами *питiе*, *дверiю*, *плетiю*, признавая в очерке 1731 г. формы первого рода не только более употребительными, но и более «изящными» («zierlich») или «красивыми» («schön») (Адодуров, 1731, с. 23, 27; ср. выше, § **II-2.1**). Это один из редких — можно сказать, исключительных — случаев расхождения Тредиаковского с

рекомендациями очерка Адодурова 1731 г.; в пространной грамматике Адодурова (1738–1740) таких расхождений больше, и здесь наблюдаются даже полемические выпады против Тредиаковского (см.: Успенский, 1975, с. 195–196), свидетельствующие о частных расхождениях между двумя авторами (в рамках общей языковой программы). И позднее в «Письме от приятеля к приятелю» (1750) Тредиаковский заявляет, что формы «*подобьемъ*, вместо *подобіемъ*… *Офелью*, *Полонья*, вместо *Офелію*, *Полонія*» — «досадны нежному слуху» (Куник, 1865, с. 450); эпитет *нежный*, как мы уже знаем, связывается, вообще говоря, с русской языковой стихией (ср. выше, § **II-2.1**).

В стихотворных пассажах «Езды в остров Любви» Тредиаковский употребляет как форму *щастию*, так и форму *щасье*, рифмующуюся с *ненасье* (Тредиаковский, 1730, с. 86, 77; Тредиаковский, III, с. 699, 693); выбор формы, по-видимому, определяется стихотворным размером. Именно эти свои стихи, скорее всего, и имеет в виду Тредиаковский, когда обсуждает соотношение подобных форм.

[70] В отношении форм типа *вспою* или *счиняю* и т. п. следует иметь в виду, что в современном языке такие русские по происхождению формы, как *свершать* или *сбирать*, воспринимаются как архаизмы, тогда как соответствующие формы церковнославянского происхождения (*совершать*, *собирать*) имеют относительно нейтральный характер; аналогичное соотношение характеризует и такие пары, как *меж* — *между* и т. п. (см.: Трубецкой, 1927/1995, с. 193; Лотман и Успенский, 1975/1996, с. 464). Вероятно, подобного рода восприятие могло иметь место — по крайней мере, для каких-то лексических пар — уже и во времена Тредиаковского, что и отразилось в его рекомендациях. Тем не менее, Адодуров в своей пространной грамматике 1738–1740 гг. считает нужным отметить, что «в предлоге *воз* гласное *о* п о н ы н е ш н е м у у п о т р е б л е н и ю часто выкидывается… так вместо *возношу* часто употребляют *взношу*» (Успенский, 1975, с. 123–124); равным образом и Ломоносов, полемизируя с рассматриваемым трактатом Тредиаковского (в записи на принадлежавшем ему экземпляре этой книги 1736–1739 гг.), противопоставляет церковнославянскую форму *возбужде́нна* русской форме (вин. падежа) *пробу́женово*, т. е. отдает, видимо, себе отчет в церковнославянской принадлежности префикса *воз-* (см. выше, § **II-2.2**). Скорее всего, стилистические противопоставления форм с префиксами *воз-* ~ *вз-* (*вос-* ~ *вс-*), *со-* ~ *с-* неодинаковым образом реализовывались в разных конкретных случаях, т. е. вопрос о стилистической окраске той или иной формы мог по-разному решаться для разных лексических пар.

[71] Это же представление отразилось, возможно, и в выражении *глубокословная славенщизна.* См. выше, примеч. 7.

[72] Совершенно аналогичное замечание относительно расхождения церковнославянского и русского языков по данному признаку содержится в «Технологии» Федора Поликарпова, 1725 г. (ГПБ, НСРК F 1921.60, с. 96–97; см. теперь изд.: Поликарпов, 2000, с. 288), которая, может быть, была одним из источников адодуровской грамматики 1731 г. Ср.: Успенский, 1983/1994, с. 110.

[73] Адодуров, скорее всего, имеет в виду в данном случае грамматику Смотрицкого, где буквы *ъ* и *ь* определяются как «припряжногласные». См.: Смотрицкий, 1619, л. А/3–3 об.; Смотрицкий, 1648, л. 46; Смотрицкий, 1721, л. 2, 254 об.

[74] Упоминание о «славянах» как о носителях церковнославянского языка можно встретить и в грамматике Смотрицкого (Смотрицкий, 1619, л. I/7 об.; Смотрицкий, 1648, л. 151), но Смотрицкий при этом не противопоставляет «славян» и «русских».

[75] Невозможно согласиться с Б. Г. Унбегауном, который предположил, что, говоря о «*славянах*», Адодуров имеет в виду русских приверженцев церковнославянского языка, т. е. тех, кто предпочитает употреблять церковнославянские формы в русской речи (см.: Унбегаун, 1958, с. 111).

Любопытно, что в позднейшей — пространной — своей грамматике (1738–1740) Адодуров, кажется, совсем не упоминает о «славянах» в подобном контексте, т. е. отказывается от фразеологии такого рода. Вместе с тем, о «славянах» как носителях церковнославянского («славянского») языка несколько раз говорит Ломоносов в «Российской грамматике» 1757 г. (в §§ 440, 442, 444, 570); Ломоносову, кстати, была известна краткая грамматика Адодурова 1731 г. и неизвестна, по-видимому, пространная его грамматика 1738–1740 гг. (см.: Успенский, 1975, с. 11, 88–89). В этом же смысле Ломоносов говорит о «древних славянах» в рассуждении «О пользе книг церьковных…» 1758 г. (см.: Сухомлинов, IV, с. 184–185, 227; Ломоносов, VII, с. 546–547, 588). Таким образом, под «славянами» Ломоносов понимает, очевидно, носителей древнего славянского языка, который в это время, по-видимому, отождествлялся им с церковнославянским (впоследствии Ломоносов будет различать эти понятия, ср. § **II-4.1** наст. работы). Между тем Тредиаковский, как, вероятно, и Адодуров, воспринимает таким образом южных славян, т. е. видит в них носителей архаической языковой традиции.

[76] Так, Герберштейн ассоциировал церковнославянский язык со словенским (Исаченко, 1976, с. 119–121, 133–134; ср.: Исаченко, 1977), а Матвей Меховский и Павел Иовий — с сербским языком (Н. Толстой, 1976, с. 189, 183). Можно предположить, что это мнение в конечном итоге идет от южных славян. Подобно тому как русские могут называть церковнославянский язык «русским» (см.: Соболевский, 1903, с. 36–37; Успенский, 1983/1994, с. 65–66, 86, 98), южные славяне могут называть его «болгарским» (см., например, «Слово св. Кирила, учителя словеньску языку», представляющее собой болгарскую переделку сочинения «О писменех» черноризца Храбра — Ягич, 1896, с. 15, 17; равным образом и Феофилакт Болгарский в своем греческом житии Климента Охридского говорит, что Кирилл и Мефодий «перевели богодухновенные писания с греческого на болгарский язык» (ἑρμηνεύουσι δὲ τὰς υεοπνεύστους γραφὰς ἐχ τῆς ἑλλάδος γλώττης εἲς τὴν Βουλγαρικήν — Милев, 1966, с. 80, ср. с. 88) — поскольку сочинение Феофилакта восходит к славянским источникам, здесь отражается, возможно, славянская терминология. Полемизируя с южнославянскими книжниками, Константин Костенечский (XV в.) протестует против мнения, будто бы в основание церковнославянского языка лег болгарский или сербский язык, приписывая вместе с тем основную роль языку русскому (Ягич, 1896, с. 108–110, ср. с. 88–89); такого рода мнение было, по-видимому, распространено у южных славян.

[77] Ту же мысль Тредиаковский высказывает и в других, более поздних своих сочинениях — таких, например, как статьи о правописании прилагательных 1746 и 1755 гг., «Разговор об ортографии» 1748 г., мнение о диссертации Миллера 1750 г., «Три рассуждения…» 1758 г., предисловие к «Тилемахиде» 1766 г. См. ниже, § **III-3**.

Мнение Адодурова о происхождении русского языка нам, к сожалению, неизвестно, но можно предположить, что оно не отличалось от мнения Тредиаковского.

[78] Любопытно, что такого же мнения придерживаются некоторые инославянские авторы — например, Константин Костенечский в трактате «Сказание изьявленно о писменех» XV в. (Ягич, 1896, с. 108–110, ср. с. 88–89), Матвей Стрыйковский в «Хронике…»

1582 г. (Стрыйковский, 1582, с. 109), Джильс Флетчер в описании России 1591 г. (Флетчер, 1591, л. 48 об.), Юрий Крижанич в предисловиях к трактату «Граматично изказанје об Руском језику» 1666 г. (Крижанич, 1859, предисловие «К чтительем», не имеющее пагинации, и с. I–II; ср.: Бодянский, 1859, с. III–VIII); о сходной позиции других хорватских книжников XVII—XVIII вв. см.: Засадкевич, 1883, с. 192–204.

[79] Представляется типичным, например, мнение Федора Поликарпова, который видел в «славенском» языке «поистиннѣ отца многихъ ѩзыкωвъ благоплоднѣйша. Понеже ωт негω аки ωт источника неизчерпаема, прочiимъ многимъ произыти ѩзыкωмъ, сирѣчь польскому, чешскому, сербскому, болгарскому, литовскому, малорωссiйскому, и инымъ множайшымъ» (Поликарпов, 1704, л. 2 первой фолиации). Знаменательно, что, перечисляя славянские языки, происшедшие из «славенского», т. е. церковнославянского языка, Федор Поликарпов не называет русский язык, по-видимому, ближайшим образом отождествляя его со «славенским», т. е. видя в нем не столько самостоятельный язык, сколько упрощенную форму церковнославянского языка; вполне закономерно в этом смысле, что он может называть «славенский» язык также и «росским» и одновременно говорит о «славенском» языке как о «природном» (там же, л. 7 первой фолиации). Сходный взгляд на церковнославянский язык как на родоначальника всех славянских языков представлен в предисловии к рукописному «Лексикону языков польского и словенского» 1670 г. (ЦГАДА, ф. 381, № 1792; см.: Погорелов, 1899, с. 101–102), а также у Лудольфа в его грамматике 1696 г. (Лудольф, 1696, л. А/1–1 об.) или у Спарвенфельда в его письмах к Лейбницу 1697–1698 гг. (см.: Биргегорд, 1981, с. 222–223). При этом если Лудольф считает, что среди славянских языков наибольшую близость к своему источнику, т. е. церковнославянскому языку, сохраняет русский («Inter Slavonicae… originis dialectos, Russica… proxime ad fontem suum accedit…»), то Спарвенфельд таким же образом трактует болгарский и сербский, расценивая их соответственно как «самые чистые» славянские языки.

[80] Рассуждения Барсова, где, в частности, утверждается, что «Славенский язык» «есть один из первоначальных и коренных языков, и если не древнейший Еврейскаго… то по крайней мере оному современный» и что «Европейские языки, произшедшие от Латинскаго или Немецкаго, обязаны началом своим Славенскому» (Барсов, 1786, с. 138, 140), ближайшим образом напоминают рассуждение Тредиаковского «О первенстве Словенского языка перед Тевтоническими», которое вошло в состав «Трех рассуждений…» 1758 г. (см.: Тредиаковский, III, с. 319 сл.).

Ср. письмо В. В. Капниста к А. А. Прокоповичу-Антонскому от 17 января 1793 г., где утверждается, что именно русский, а не церковнославянский язык является «коренным или первоначальнейшим» славянским диалектом ввиду его «простоты и краткости» (Капнист, 1823, с. 338).

[81] Ревнителем церковнославянского языка Тредиаковский, несомненно, был и в предшествующий — астраханский период своей жизни. Мы можем судить об этом по церковнославянской грамматике, собственноручно переписанной Тредиаковским в 1721 г. в период обучения у капуцинов (ГИМ, Чертк. 337). Этой грамматике предпослано предисловие Тредиаковского, написанное по правилам школьной риторики и говорящее о необходимости изучения грамматики для совершенного владения языком, а также силлабическое четверостишие; предисловие подписано: «учени́къ латі́нски[х] шко́лъ: Basilius Trediacovensis» и датировано 30 сентября 1721 г. (л. 5), ср. также дарственную надпись Тредиаковского: «сїю кн҃гу грамма́тїку подарил я Василей Тред[ь]яковскїй Сунгарѣ Притомовичу

да владѣет ею вѣчнѣ» (л. 1). Предисловие и четверостишие представляют собой наиболее ранние дошедшие до нас произведения Тредиаковского: они написаны на витиеватом, украшенном церковнославянском языке и показательны для характеристики языковой позиции Тредиаковского в период, предшествующий его отъезду за границу. Что касается самой грамматики, то она не представляет собой почти ничего оригинального: это список с печатной грамматики, изданной в Кременце в 1638 г. и представляющей собой, в свою очередь, сокращение грамматики Мелетия Смотрицкого 1619 г. (некоторые отличия могут быть обнаружены в парадигме глагола, преимущественно в сослагательном наклонении). Заслуживает внимания то обстоятельство, что Тредиаковский учился церковнославянскому языку по книге, отражающей югозападнорусские, а не великорусские нормы церковнославянского языка. См. подробнее: Успенский, 2001 (наст. изд., с. 531).

[82] Феофан Прокопович в записке об исправлении Библии 1736 г. упоминает о «безумных книгочиях», которые злоупотребляют церковнославянскими словами и выражениями (ОДДС, III, приложения, стлб. XXVI). См. подробнее § **II-5** наст. работы.

[83] Именно эту ситуацию, по всей видимости, описывает И. В. Паус в своей рукописной «Славяно-русской грамматике» 1705–1729 гг. По словам Пауса, «славянский язык используется больше в церкви, а русский распространен в обыденной жизни, но в государственных и научных вопросах пользуются все же славянским. Между тем русский язык — достояние простого народа». Паус замечает при этом: «Потребность в славянском языке можно видеть в том, что как только в обыденной речи заходит разговор о высоких или духовных предметах, тотчас начинают употреблять славянский язык» (БАН, Собр. иностр. рукописей, Q 192, л. 5, 3, ср. также л. 9; см.: Михальчи, 1969, с. 34–35, 40, 51). Надо полагать, что Паус ориентируется на образованное русское общество, т. е. на среду ученых людей.

[84] Параллельные тексты на церковнославянском и на «простом» (русском) языке можно найти — в те же годы и в том же социуме — и в грамматике Федора Максимова (1723, с. 98–100, 109, 113–114), которая предназначена именно для учеников духовных школ (эта грамматика была создана в новгородской епархиальной «грекославенской» школе).

[85] По свидетельству Г.-Ф. Миллера, Тредиаковский «хвастался, что в парижском университете был слушателем знаменитого Роллена» («Er hat sich… wohl gerühmt, bei der universität zu Paris ein zuhörer des berühmten Rollin gewesen zu seyn» — Мат. АН, VI, с. 172; Пекарский, II, с. 9); то же сообщает и Новиков (1772, с. 217), по словам которого Тредиаковский «красноречию и истории учился у славнаго Роллена». Пумпянский (1941, с. 217) и Ахингер (1970, с. 15, примеч. 4) берут эти свидетельства под сомнение, поскольку Роллен в годы пребывания Тредиаковского во Франции уже не преподавал в Парижском университете (еще в 1720 г. он, как янсенист, ушел с должности ректора университета). Тем не менее, Тредиаковский мог слушать лекции Роллена, который в то время читал риторику во Французской королевской коллегии (см.: Кибальник, 1981, с. 225).

[86] Выражение *живущий язык* представляет собой кальку с франц. *langue vivante*. Тредиаковский может пользоваться и выражением *живой язык* (в статье о прилагательных 1746 г. — Вомперский, 1968, с. 88).

[87] Здесь говорится: «Каждый академикус обязан систем или курс в науке своей в пользу учащихся младых людей изготовить, а потом оные имеют на императорском иж-

дивении, на латинском языке, печатаны быть. И понеже российскому народу не токмо в великую пользу, но и во славу служить будет, когда такия книги на российском языке печатаны будут, того ради надлежит при каждом классе академическом одного переводчика, и при секретаре — одного ж, и тако во всех четырех классах, определить» (Мат. АН, I, с. 18–19; Уставы АН, с. 35). Этот проект был рассмотрен на заседании Сената 22 января 1724 г. В декабре того же года Сенат потребовал «ведения, для каких художеств каким языкам обучать учеников» в Академии. В ответ на этот запрос последовало разъяснение, что в академическом университете преподавание будет вестись на латинском языке, тогда как в академической гимназии для обучения будет применяться и русский язык: «… Понеже профессоры и с своими студентами учить будут латынским языком, который собственно учения называется, того ради, которые будут слушать учения и совершенно какую науку принять пожелают, надобно тем уметь латынский язык…; а инаго языка к тому не нужно… И при том, понеже всем ученикам, без разбору, надобно учиться генеральным элементам арифметики и геометрии, которые к обучению других рукоделий и манифактур нужны, и для таких, которые не будут прилежать к наукам, будет оное на русском языке показано» (Мат. АН, I, с. 75–76, ср. также с. 73). Между тем, в проекте «указа» Академии наук, составленном в конце 1725 г., подчеркивается исключительная роль латыни: «Что ж к языку принадлежит, которым всяк свои умъствования изъявляти имеет, понеже удобь предусмотряем, что разных наций люди в собраниях присутствовати будут, вся та, яже каждый о своей науке мудрования на среду принесет, латинским языком предлагатися имеют, ибо сей наипаче ученым свойственный и употребительный язык бывати обыче» (Иванов, 1853, с. 178–179; Победоносцев, 1863, с. 9).

[88] В дальнейшем положение меняется в связи с усилением русской партии в Академии наук: русский язык начинает конкурировать с немецким, тогда как латынь может восприниматься как компромиссный язык, в какой-то мере удовлетворяющий как немецкую, так и русскую партию (см.: Пиккио, 1984, с. 17–18; ср. о чередовании языков, употреблявшихся в Академии для ведения протоколов в XVIII в.: Пекарский, 1865а, с. 4; Бак, 1984, с. 189). Вместе с тем, подчеркивается роль русского языка как языка научного общения, который официально вводится наряду с латынью в академический обиход. Уже в «Регламенте Академии наук и художеств» 1747 г. узаконивается употребление при Академии как латинского, так и русского языка, при том что употребление других иностранных языков (в частности, немецкого или французского) признается недопустимым. Ср. здесь: «Как все изобретения, так и журнал, и все, что в Собрании академиками отправляться имеет, должно писано быть на латынском или российском языке, а французской и немецкой никогда употреблен быть там не должен» (§ 19); аналогично русский и латинский языки предписывается использовать как при преподавании (§§ 38, 46), так и при чтении диссертаций на публичных ассамблеях Академии (§ 29); при этом диссертации, написанные на латинском языке, должны быть переведены на русский (§ 29) и, вместе с тем, сам латинский язык должен преподаваться только на русском языке, «в которой не должны мешаться никакой иностранной — францусской и немецкой» (§ 45) (см.: Уставы АН, с. 45, 50, 52, 47, 51). К истории вопроса см. еще: Бак, 1984, с. 189–203; о преподавании на латинском и русском языках в Московском университете см.: Успенский, 1981/1997, с. 645–646.

В результате русский язык в соответствующей сфере начинает употребляться параллельно с латынью, определенным образом с ней коррелируя. Можно сказать, что если в рамках литературного употребления (в качестве языка художественной литературы) рус-

ский литературный язык XVIII в. в значительной степени был ориентирован на французский и немецкий языки, то в рамках научного употребления (в качестве языка науки) он был ориентирован на латынь.

[89] Это тем более знаменательно, что данное «Слово…» в соответствии с академической традицией было произнесено Тредиаковским в собрании Академии наук именно на латинском языке (Пекарский, II, с. 108). «Слово…» Тредиаковского было издано в 1745 г. с параллельным текстом на русском и латинском языках, причем перевод с латинского на русский принадлежит самому Тредиаковскому.

Характерно вместе с тем, что посвящение графу М. Л. Воронцову, предпосланное «Слову о витийстве», было издано на французском и русском языках; это соответствует специальным предписаниям Тредиаковского в трактате о стихотворстве 1735 г., где подчеркивается, что прозаическая дедикация должна быть «нежной» (Тредиаковский, 1735а, с. 35; ср. выше примеч. 29). Таким образом, латинский язык «Слова о витийстве» контрастирует с французским языком посвящения; между тем русский язык соединяет в себе качества латыни как языка науки и французского языка как языка светского обращения.

[90] Характерно в этом смысле, что, говоря в записке от 10 сентября 1733 г. (составленной в связи с поступлением на службу в Академию наук) о «изяществе словесности» («elegantia litterarum») на русском языке, Тредиаковский делает знаменательную оговорку: «насколько оно [изящество] возможно на этом языке» («quanta in hac lingua possit esse» — Мат. АН, II, с. 380). Ср. выше примеч. 5.

[91] Мысль о необходимости ориентации на французский язык (в контексте общей ориентации на французскую культуру) и о принципиальной возможности сделать свой язык таким же «приятным», каким является французский, получает в дальнейшем широкий резонанс. Так, например, Яков Козельский писал в «Философических предложениях»: «А что некоторые разсуждают о лучшей приятности Французскаго языка пред другими, думая, будто бы она ему натуральна, то это делается от незнания свойства, происхождения и возращения языков. Нет на свете такого языка, коего бы не можно было столькож сделать приятным, как Французской, ежели только ввесть в него столько наук, художеств, мод и страстей, как во Французском» (Козельский, 1768, с. 210–211). Существенно, что Тредиаковский первым формулирует эту мысль в России (в «Речи к членам Российского собрания» 1735 г. и затем в «Слове о витийстве» 1745 г.).

[92] Как мы уже знаем, «Слово о витийстве» было переведено Тредиаковским с латыни (см. примеч. 89); тем более знаменательно, что в данном случае Тредиаковский отклоняется от латинского текста и явно ориентируется на французское словоупотребление. Ср. латинские соответствия: «pinguis Minervae Paedagogis» («угрюмыя школы учителей»), «hoc nescio quid olet paedagogicum» («сие не знаю, чем угрюмым дышет») (см.: Тредиаковский, 1745, с. 70, 76); характерно в этом плане и употребление глагола *дышать* («угрюмым дышет»), которое также соответствует скорее французскому, чем латинскому языку, т. е. *дышать*, так же как и *угрюмый*, выступает у Тредиаковского как семантический галлицизм (франц. *respirer* qch; см. об этом слове как галлицизме: Лотман и Успенский, 1975/1996, с. 538, примеч. 73).

[93] Так, в «Езде в остров Любви» Тредиаковский пользуется словом *угрюмый* для перевода франц. *sérieux*, ср.: «*Почтение* мне там нетак казался угрюм как сперва, поступь он имел тогда щогольскую, и лице все веселое» (Тредиаковский, 1730, с. 69; Тредиаков-

ский, III, с. 689), что соответствует следующей фразе во французском оригинале: «Le Respect n'avoit plus la mine si sérieuze, il avoit l'air galant enjoüé & le vizage riant» (Талеман, 1671, с. 55). Попутно отметим, что эпитет *угрюмый* (sérieux) оказывается противопоставленным в данном контексте эпитету *щегольской* (galant).

[94] Иной смысл имеет эпитет *примрачный*, которым позднее пользуется Тредиаковский для характеристики церковнославянского перевода Псалтыри (в предисловии к стихотворному переложению псалмов 1753 г. — Тредиаковский, 1989, с. 6). См. специально об этом в главе III наст. работы, примеч. 8.

[95] Характерно в этом плане, что, выступая против употребления латыни, Тредиаковский отнюдь не протестует против распространения французского языка в России и, в частности, находит вполне естественным писать письма по-французски. 19 марта 1751 г. Тредиаковский впервые за двадцать лет пишет Шумахеру по-русски, оправдывая это своей болезнью (Пекарский, II, с. 161).

[96] Ср. тот же текст в прозаическом переводе «Эпистолы к Пизонам» (т. е. «Ars poëtica») Горация, опубликованном Тредиаковским в составе «Сочинений и переводов…» 1752 г. (Тредиаковский, I, с. 90); стихотворные переводы соответствующего отрывка из эпистолы Горация можно найти в «Разговоре об ортографии» 1748 г. (Тредиаковский, III, с. 218, примеч.) и в рассуждении «О слове, или словесности» 1763 г. (Тредиаковский, 1761–1767, VII, с. XIII–XIV). Тредиаковский неоднократно ссылается на это высказывание Горация в разных своих работах (см. примеч. 121 к данной главе, а также примеч. 24 к главе III наст. работы). В латинском оригинале цитируемая фраза выглядит следующим образом: «… Usus, quem penes arbitrium est, et jus et norma loquendi» («Ars poëtica», 71–72).

[97] Феофан сопоставляет при этом отношения церковнославянского и живых славянских языков с отношениями книжного греческого и простого, а также с отношениями еврейского и арамейского (см.: Феофан Прокопович, 1782, с. 252, 256). Сопоставление церковнославянского языка с книжным греческим, а русского с простым греческим вполне обычно в XVII и особенно в начале XVIII в. (см.: Успенский, 1983/1994, с. 78, 97, 109; Успенский, 1987/2002, с. 400–402, 492–493, 506–507, §§ 15.4, 18.3, 19.2). Особенно знаменательно, однако, сопоставление церковнославянского с еврейским, а русского с арамейским языком, поскольку Феофан неоднократно заявляет здесь, что Христос говорил по-арамейски, а не по-еврейски, т. е. не на том языке, на котором написан Ветхий Завет (Феофан Прокопович, 1782, с. 251, 255): в этом контексте данные сопоставления приобретают особый смысл, т. е. таким образом косвенно подчеркивается достоинство русского языка. Арамейский язык Феофан называет «сирийским» (lingua syriaca), ср. в этой связи специальное значение, приписываемое «сирийскому» («сирскому», «сурьянскому») языку в славянской письменности (см.: Успенский, 1979/1996).

[98] Ср. выступления Феофана Прокоповича против экспансии латыни в «Разговоре гражданина з селянином да певцем или дячком церковным» (до 1716 г.), которые мы цитируем на с. 114 наст. работы.

[99] Эта мысль не звучала сколько-нибудь крамольно в Юго-Западной Руси, где церковнославянский язык постепенно вытеснялся «простой мовой», на которую переводились церковные книги и которая вторгалась даже в сферу богослужения (см.: Успенский, 1983/1994, с. 75–82; Успенский, 1987/2002, с. 397–404, § 15.4). Равным образом православное богослужение могло совершаться в Юго-Западной Руси и на польском языке, кото-

рый также тем самым конкурировал с церковнославянским, см., например, Псалтырь, переведенную с церковнославянского на польский язык и предназначенную для православного богослужения, которая была издана в 1638 г. монахами виленского Святодуховского монастыря (Успенский, 1983/1994, с. 83, примеч. 29; Успенский, 1987/2002, с. 405–406, § 15.5).

[100] Букварь Феофана Прокоповича в 1722 г. был административным порядком введен в «архиерейские школы», предназначенные для детей духовного звания и готовящие священнослужителей, с предписанием заучивать тексты букваря наизусть (ПСЗ, VI, с. 697–698, № 4021), а в 1723 г. этот букварь было предписано читать в церквах Великим постом (там же, VII, с. 26, № 4172). Таким образом, «просторечие» вторгается в сферу церковного богослужения; вместе с тем знакомство с этими «просторечными» текстами считается необходимым условием при изучении церковнославянского языка и церковнославянских богослужебных книг. См.: Успенский, 1983/1994, с. 95–96, 111–112, 199–200; Успенский, 1987/2002, с. 491–492, 510, §§ 18.3, 19.2.

[101] Имеются в виду толкования на Евангелие Иоанна Златоуста и Феофилакта Болгарского, неоднократно издававшиеся в Москве в XVII в. (см.: Беседы Иоанна Златоуста на евангелиста Матфея, 1664; Беседы Иоанна Златоуста на евангелиста Иоанна, 1665; Евангелие с толкованием Феофилакта Болгарского, 1649 и 1698 гг.). О трудности языка бесед и поучений Иоанна Златоуста еще в 1683–1684 гг. писал неизвестный автор книги «Статир» (ГБЛ, Румянц. 411, предисловие, л. 5–5 об.; см.: Успенский, 1983/1994, с. 196–199).

[102] Ср. выше, примеч. 10. Отголосок этой же фразы «Духовного регламента» можно усмотреть в I сатире Кантемира (как в первоначальной редакции 1729 г., так и в окончательной редакции 1743 г.), где Кантемир также отмечает неясность церковнославянского перевода толкования Иоанна Златоуста на Евангелие (Кантемир, II, с. 21, 31 и с. 194, 203).

[103] Имеется в виду слово *голѣмый* — то самое слово, которое полвека спустя служит объектом насмешек для карамзинистов (см. выше, примеч. 29 к главе I наст. работы).

[104] По свидетельству фон Гавена (1743, с. 24), который приехал в Россию в 1736 г., здесь ходили слухи о том, что при помощи Феофана Прокоповича будет издана вся Библия на церковнославянском и русском языках с примечаниями; не исключено, что цитируемая записка Феофана имеет то или иное отношение к этому проекту. В мае 1735 г. на василеостровском подворье Феофана, действительно, начато было печатание Библии (Титлинов, 1913, стлб. 432; П. Морозов, 1880, с. 371).

[105] Цитируемое свидетельство фон Гавена не вполне точно понято Чистовичем (1868, с. 627–628) и вслед за ним П. Морозовым (1880, с. 392).

[106] Г. Н. Теплов в записке о Тредиаковском 1755 г. отмечает, что Тредиаковский бывал в доме у Феофана Прокоповича, где, очевидно, и познакомился с Тепловым: «Тредиаковский, бывая в доме у Феофана, за враля всегда принимался, сколько Теплов от малолетства помятует», — сообщает здесь Теплов (1868, с. 78). Тредиаковскому, между прочим, было известно прозвище *барашек*, которое дал малолетнему Теплову дьячок, учивший его грамоте (там же); ср. упоминание Барашка, т. е. Теплова, в «регулах», составленных Феофаном для основанной им школы (Чистович, 1868, с. 727, пункт 2). Таким образом, речь идет о времени, когда Теплов был учеником школы Феофана Прокоповича в Петер-

бурге и при этом о времени, когда Теплов был еще ребенком (год рождения Теплова в точности не известен — различные источники называют 1711, 1717 или 1720 г.). Феофан взял Теплова в свою школу, когда тому было около 9 лет (см.: Добрынин, 1872, с. 124), и надо полагать, что его сразу же начали учить грамоте; тогда же, видимо, он и получил свое прозвище. Осенью 1730 г., когда Тредиаковский приехал в Петербург (из Германии), Феофана Прокоповича там не было: с 1729 по начало 1732 г. он вместе с Синодом находился в Москве (Чистович, 1868, с. 335 и с. 740, примеч.; ср.: Успенский и Шишкин, 1990, с. 222, примеч. 138 — наст. изд., с. 427–428, примеч. 149). Таким образом, цитированное свидетельство Теплова относится к периоду, начинающемуся с 1732 г.

[107] Как известно, I сатира Кантемира была написана (в 1729 г.) в поддержку Феофана Прокоповича (в связи с полемикой вокруг «Камня веры»), который широко ее пропагандировал. См.: Пумпянский, 1941, с. 181–182.

[108] В оглавлении к сборнику ошибочно указано, что это песнопение посвящено Анне Праведной. Это существенно, поскольку именины императрицы приходились на 3 февраля (ст. стиля), т. е. на память Анны Пророчицы: 3 февраля 1732 г., в день ангела императрицы, Тредиаковский преподнес ей «Панегирик, или Слово похвальное…» (Пекарский, II, с. 31; ср.: Мат. АН, II, с. 213).

[109] Те же концерты Тредиаковского, посвященные Александру Невскому, дошли до нас также в сборнике Центральной научной библиотеки Национальной академии наук Украины, № 118/114 (см.: Герасимова-Персидская, 1983, с. 123). О Тредиаковском как композиторе см. еще: Вольман, 1957, с. 28–30.

[110] Что касается Александра Невского, то концерты в его честь, скорее всего, определяются восприятием его как патронального святого Петербурга. Не исключено, однако, что сочинение этих концертов имеет какое-то отношение к награждению покровителя Тредиаковского, кн. А. Б. Куракина, орденом Александра Невского (награждение состоялось 9 июля 1730 г.): ср. упоминание об этом событии в посвящении Куракину, предпосланном «Езде в остров Любви» (Тредиаковский, 1730, посвящ., с. [3]; Тредиаковский, III, с. 645).

[111] Фамилия архимандрита (епископа) Германа в разных источниках передается поразному: Пекарский (II, с. 30) читает ее как *Коптевич*; С. Смирнов (1855, с. 196), Чистович (1868, с. 384) и Строев (1877, стлб. 813) передают ее как *Концевич*; мы следуем Харламповичу (1914), который последовательно придерживается написания *Копцевич*.

[112] О своих занятиях философией Тредиаковский упоминает в предисловии к «Езде в остров Любви», замечая, что эти занятия не позволили ему выполнить перевод данной книги в Париже (Тредиаковский, 1730, предисл., с. [1–2]; Тредиаковский, III, с. 647–648).

[113] Сорбонной в это время называли теологический факультет Парижского университета. Тредиаковский в автобиографической «ведомости» 1754 г., по-видимому, отличает Сорбонну от Университета: «… Пришел в Париж, где в Университете… обучался Математическим и философским Наукам, а Богословским тамже в Сорбоне» (Пекарский, 1865а, с. 30; Пекарский, II, с. 8).

[114] «Езда в остров Любви» вышла в свет в конце 1730 г., скорее всего в конце декабря 1730 г. (см. ниже, примеч. 132). См. переписку Тредиаковского и Шумахера в связи с выходом данной книги (Малеин, 1928, с. 431–432; Письма XVIII в., с. 44–48; Пекарский, II, с. 25–29), а также переписку Шумахера с комиссионером Академии наук в Москве

В. В. Киприановым, касающуюся ее распространения (Бородин, 1936, с. 106). Относительно полемики вокруг «Езды в остров Любви» см. специально § **II-6.1** наст. работы.

[115] Эта встреча не могла состояться позднее 2 мая 1731 г., когда архимандрит Герман Копцевич был рукоположен в епископы (С. Смирнов, 1855, с. 197; Харлампович, 1914, с. 534).

[116] Герман Копцевич стал ректором московской Академии в 1728 г., т. е. во время пребывания Тредиаковского за границей; тем не менее, Тредиаковский мог знать его и раньше, поскольку с 1722 по 1726 г. он преподавал в Академии, а с сентября 1726 г. был академическим проповедником (С. Смирнов, 1855, с. 197; Харлампович, 1914, с. 655, 657, 666, 743). Когда Тредиаковский учился в Академии, ректором был Гедеон Вишневский (с 1722 по 1727 г. — С. Смирнов, 1855, с. 196), давний враг Феофана Прокоповича (см.: Чистович, 1868, с. 33–34, 40–42, 155, 203, 303). Что же касается Германа Копцевича, то он, кажется, был как-то связан с Феофаном: во всяком случае, Феофан упоминается в завещании Германа, написанном 8 июля 1735 г. (см.: Герман, 1878, с. 308).

[117] Вместе с тем, приходится отвергнуть предположение Сермана (1962, с. 216–217) о том, что по совету Феофана Прокоповича Тредиаковский переводит статью из журнала «Spectateur» (№ 139 от 9 августа 1711 г.) «Сравнение между Людовиком XIV и Петром Алексеевичем Российским Императором в рассуждении славы». Эта статья была переведена не в 1731 г., как предполагал Пекарский (II, с. 26), а существенно позже, во всяком случае после смерти Феофана: сохранился автограф данного перевода (ААН, разр. II, оп. 1, № 206, л. 197–200 об.) на бумаге с водяными знаками 1738–1746 гг. (Ю. Левин, 1967, с. 14, примеч. 44); перевод опубликован (см. там же, с. 81–83), причем, судя по языку, он был выполнен в первой половине 1740-х гг. Серман основывается на том, что Феофан Прокопович цитирует данную статью в своем «Слове на похвалу Петра Великого» 1725 г., однако к этому может иметь отношение не перевод Тредиаковского, а другой, анонимный перевод той же статьи, выполненный в 1720-е гг. (ААН, разр. II, оп. 1, № 205, л. 17–19 об.; см. публикацию: Ю. Левин, 1967, с. 80–81).

[118] Боссюэ был не янсенистом, а галликанцем, но галликанство — это в сущности не что иное, как политический янсенизм.

[119] Отношение Тредиаковского к янсенизму — это особая тема, которой посвящена отдельная работа (см.: Успенский и Шишкин, 1990 — наст. изд., с. 319–456). Здесь достаточно отметить, что во время пребывания за границей Тредиаковский был близок к янсенистским кругам. Как Голландия, где Тредиаковский проживал с начала 1726 по конец 1727 г., так и Париж, где он жил с конца 1727 по лето или осень 1729 г., были центрами янсенизма. Янсенистом был Роллен, которого Тредиаковский считал своим учителем (см. выше, § **II-4.3**), янсенисты были сосредоточены и в Сорбонне, где Тредиаковский, как он позднее сообщал, обучался «богословским наукам» (Пекарский, 1865а, с. 30). Тредиаковский был непосредственно связан с кн. И. П. Долгорукой, которая именно под влиянием янсенистов в 1727 г. перешла в Голландии в католичество; вместе с тем он имел прямое отношение к янсенистской миссии аббата Жюбе де ла Кур, который в 1728 г. отправился в Россию в качестве духовника И. П. Долгорукой и которому Сорбонна поручила вести переговоры о соединении восточной и западной церквей (см.: Пирлинг, IV, с. 368; Бурсье, 1753, с. 331). Объединение церквей мыслилось на янсенистско-галликанской основе; в условиях раскола католической церкви (ознаменовавшегося фактическим

отделением от Рима утрехтской иерархии) объединение это могло выглядеть как создание новой церкви, противопоставляющей себя ультрамонтанистскому Риму.

С янсенистами был ближайшим образом связан и Кантемир (см. об этом: Грасгоф, 1963), который, как и Тредиаковский, был идеологически близок к Феофану Прокоповичу. Для ассоциации Феофана с янсенизмом существенно отметить, что янсенисты сочувственно отнеслись к I сатире Кантемира, обнаруживающей профеофановскую ориентацию (см.: Грасгоф, 1966, с. 67; Грасгоф, 1963, с. 4).

[120] Тредиаковский неоднократно ссылается на «Вожласа», т. е. Вожела, — в частности, в «Разговоре об ортографии» 1748 г. (Тредиаковский, III, с. 209, 215) или в предисловии к собранию «Сочинений и переводов…» 1752 г. (Тредиаковский, I, с. XII).

[121] Слово *правило* в этом контексте, по-видимому, восходит к «Ars poëtica» Горация (стихи 71–72), где «употребление» (usus) объявляется «правилом говорения» (norma loquendi). Как мы уже видели, цитируя это высказывание Горация, Тредиаковский передает лат. *norma* как *правило* (см. выше, § **II-4.3**).

[122] Мы отвлекаемся пока от того факта, что в «Разговоре об ортографии» и в статье о правописании прилагательных соответствующие высказывания имеют несколько иной смысл, чем в более ранних произведениях Тредиаковского. Этот вопрос будет специально рассмотрен в § **III-4** наст. работы.

[123] На употребление, принятое при дворе, Тредиаковский ссылается и в «Слове о витийстве» 1745 г., замечая здесь, что тот, кто услышит природный язык при дворе, «для че́сти не захочет другим говорить» (Тредиаковский, III, с. 572; ср. выше, § **II-5**). Итак, употребление при дворе определяет престиж и достоинство языка и, в частности, возможность его функционирования в качестве литературного языка — тем самым литературный язык оказывается ориентированным (в той или иной степени) на язык двора.

[124] Достаточно характерны в этом смысле «Стихи похвалныя Парижу» (1728), которые по другому случаю мы уже цитировали выше:

Красное место! драгои берег Сенски!
где быть несмеет манер деревенски…
(Тредиаковский, 1730, с. 182; Тредиаковский, III, с. 755)

Позднее, в рассуждении «О древнем, среднем и новом стихотворении Российском» (1755), Тредиаковский вспоминал: «… По возвраще́нии моем в Отечество 1730 года, в Сентябре месяце, начал я себя производить, по молодости и по Французскому духу, в Обществе некоторыми Стишками…» (Тредиаковский, I, с. 783).

[125] Источник этой пушкинской цитаты из Тредиаковского не установлен. Не исключено, что у Пушкина был какой-то устный источник информации. Во всяком случае цитируемый текст вполне адекватно отражает существо дела.

[126] Хютль-Ворт (1956, с. 24, 86) приводит примеры подобного употребления у Тредиаковского в «Разговоре об ортографии» (1748), а также в «Тилемахиде» (1766); Вомперский (1970, с. 111) указал на аналогичный пример уже в переводе итальянской комедии «Газета, или Ведомости» (1733), который, однако, не претендует на литературную значимость. Более показательно в этом смысле употребление слова *вкус* как кальки с франц. *goût* в «Рассуждении о оде во обще» (1734): «Подлинно, хотя некоторые добраго

вкуса не имеющие…» (Тредиаковский, 1734, л. D об.) — это наиболее ранний пример употребления данного слова в подобном значении в собственно литературном контексте. Отметим еще прилагательное *вкусный* в соответствующем значении в «Эпистоле от Российския поэзии к Аполлину» 1735 г. (Тредиаковский, 1735а, с. 38; ср.: Хютль-Ворт, 1956, с. 86), а также *добровкусность* в «Феоптии» 1754 г. (Хютль-Ворт, 1966, с. 969) — в обоих случаях слово *вкус* как калька с франц. *goût* участвует в производстве новых слов независимо от французского словоупотребления, что свидетельствует о вхождении этого слова (в данном значении) в русский литературный язык. Совокупность подобных примеров — демонстрирующих вполне определенную последовательность — и позволяет приписать Тредиаковскому основную роль в процессе усвоения данного значения литературным языком.

Уже Вейсманнов лексикон 1731 г. различает в сущности прямое и переносное значения корня *вкус*, но в одном случае рекомендует форму *вкус*, а в другом — *вкушение*: «Geschmack (Sinn), gustus, вкушение (чувство); in der Speise, sapor, укус, вкус» (с. 240). Напомним, что в подготовке этого словаря принимал участие Адодуров, столь близкий Тредиаковскому в своей языковой установке.

[127] Такое обращение можно встретить уже в «Езде в остров Любви» (см. предисловие «К читателю»). В дальнейшем оно получает у Тредиаковского специальное обоснование. Так, в предисловии к своему переводу (с латинского) «Речей кратких и сильных» 1744 г. Тредиаковский сообщает: «Переводя переменил я… Латинское важное Ты, в нынешнее наше нежное Вы для общаго учтиваго употребления» (Пекарский, II, с. 104, примеч.); заслуживает внимания, между прочим, эпитет *нежный*, соотносящий обращение на *вы* с разговорным началом и с щегольской речью (см. выше, § **II-2.1**). Тот же принцип выдержан и в переводе (также с латинского языка) «Аргениды» 1751 г., причем в предисловии к этому произведению Тредиаковский так комментирует обращение на *вы*: «Хотяж впрочем Латинский язык и не может употреблять в единственном числе, во втором лице, множественнаго *вы*, вместо *ты*: однако я везде, где или знатных людей между собою производятся разговоры, или с ними кто из нижайшаго состояния разговаривает, употребил оное нежное Вы, за важное Ты. Сим я последовал точно н ы н е ш н е м у н а ш е м у у ч т и в е й ш е м у у п о т р е б л е н и ю. Мне рассудилось, что я худо могу зделать, ежели инако зделаю. И по истинне, перевода моего не будет уже́ читать грубых времен новогородка Марфа посадница: он зделан для нынешняго учтиваго и выцвеченаго [*выцвеченый* — полонизм у Тредиаковского, ср. польск. *wyćwiczyć* ʻобучить’; полонизмом является и слово *учтивый*, ср. польск. *uczciwy* ʻчестный, благородный’ — см. подробнее главу III наст. работы, примеч. 57]… Однакож, употреблял я и единственное Ты, когда или высокая какая особа говорит с подлою, или провещатель о чем прорицает: употреблено также Ты и во всех здесь стихах. В первом случае поступил я точно по употреблению искуснейших; но во втором, для стихотворческия и Пиитическия важности» (Тредиаковский, 1751, I, с. LXI—LXII). Совершенно так же в предисловии к I тому своего перевода «Римской истории» Роллена (1761) Тредиаковский считает необходимым предупредить, что он «употребляет, где должно, множественное *вы*, за *ты* единственное», замечая при этом: «… Пренебрежем ли нашего сло́ва учтивость, и толь наипаче, что она вкоренилась уже́ и утвердилась всеобще Придворным и Гражданским… употреблением? Так что инако говорить, оставляя при своей исправности Церьковный, и потому Верьховный Язык, то слыть невежею» (Тредиаковский, 1761–1767, I, с. *кѳ*). Напротив, в предисловии к своему переводу философских сочинений Сенеки (1759) он за-

являет, что «в противность учтивейшему употреблению» переводчик отказывается от обращения на *вы*, которое не соответствует жанру философского сочинения, заменяя *вы* на *ты*: «самая важность философския материи… позволила и… разрешила, извиняя» писать «единственное Ты за множественное Вы» («Сенекины мысли… переведенные на российский язык В. Тредиаковским в Санктпетербурге 1759 г.» — Архив Петерб. ин-та истории АН, ф. 36, собр. Воронцовых, оп. 1, ед. хр. 726, л. XXI; цит. по изд.: Дерюгин, 1985, с. 101).

Любопытно, что в рукописном оригинале «Разговора от ортографии» Тредиаковский может править при обращении «Российского человека» к «Чужестранному» *ты* на *вы* (например, *при тебе* исправляется на *при вас*, и т. п. — ААН, разр. II, оп. 1, № 137, л. 42).

[128] Хютль-Ворт (1970, с. 134) отмечает относительную толерантность Тредиаковского к заимствованиям; показателен в этом смысле его перевод книги Марсильи («Военное состояние Оттоманския империи», 1737 г.), где обнаруживается целый ряд заимствованных слов (во многих случаях ранее не зафиксированных), которые сопровождаются глоссами или же развернутыми словарными определениями, т. е. вводятся именно как новые слова (Алексеев, 1982, с. 97). Примером семантической кальки у Тредиаковского может служить, между прочим, междометие *ах*, выступающее как средство выражения положительных, а не отрицательных эмоций (ср., например, в «Приветствии, сказанном на шутовской свадьбе» 1740 г.: «Ах, вижу, как вы теперь ради…» — Тредиаковский, I, с. 755; Тредиаковский, 1963, с. 354; Успенский и Шишкин, 1997, с. 312 — наст. изд., с. 545); междометие *ах* в данном значении фиксируется позднее как атрибут «щегольского наречия» (Лотман и Успенский, 1975/1996, с. 606–608, примеч. 15).

Любопытно отметить в этой связи, что Кантемир употребляет слово *сериозный*, при том что это слово еще в конце XVIII — начале XIX в. воспринималось как специфически щегольское, т. е. было характерно исключительно для «щегольского наречия» (Лотман и Успенский, 1975/1996, с. 612–613, примеч. 22; ср. выше, § **I-4.1**); см. в реляции Кантемира из Лондона от 27 июня 1735 г.: «Он дюк разумел, что дело сие гораздо сериозно и что обещает весьма бедственныя консеквенции…» (Александренко, II, с. 271).

[129] Это письмо (дата на котором не обозначена) было написано между 3 января 1731 г., когда Тредиаковский прибывает в Москву (о чем он и сообщает Шумахеру в своем письме — Письма XVIII в., с. 44) и 9 января того же года, когда оно было получено в Петербурге Шумахером (Малеин, 1928, с. 430).

[130] В том же письме от 18 января 1731 г. Тредиаковский упоминает, что «многие придворные» («plusieurs courtisans») просят у него «Песнь», посвященную коронации Анны Иоанновны (Письма XVIII в., с. 46–47), — успех при дворе «Езды в остров Любви» явно распространяется и на другие сочинения Тредиаковского, которые также входят в моду. Позднее, приводя в трактате о стихотворстве (1735) свое рондо, посвященное дню рождения императрицы, Тредиаковский отмечает, что это рондо «зделано во всеподданейшее поздравление, по прошению некоторыя придворныя особы» (Тредиаковский, 1735а, с. 32).

[131] Ответные письма Шумахера опубликованы Пекарским (II, с. 25–27). Об успехе «Езды в остров Любви» сообщал Шумахеру и В. В. Киприанов (комиссионер Академии наук в Москве) в письме от 21 января 1731 г.: Киприанов просит здесь Шумахера выслать «господина студента Тредьяковского книгу», которую «приняли изрядно» (Бородин, 1936, с. 104).

[132] Кн. А. Б. Куракин, который покровительствовал Тредиаковскому еще в Париже, имеет самое непосредственное отношение к появлению «Езды в остров Любви». В предисловии к своей книге Тредиаковский сообщает, что, когда он был в Гамбурге, Куракин велел ему «чрез одно свое писмо из Москвы перевесть какую нибудь книжку Французскую на наш язык»; Тредиаковский выбрал для этого книгу Поля Талемана, которую он читал еще в Париже и которая пользовалась там большой популярностью (Тредиаковский, 1730, предисл., с. [1–2]; Тредиаковский, III, с. 647–648). По правдоподобному предположению Г.-Ф. Миллера (Мат. АН, VI, с. 172, ср. также с. 231), «Езда в остров Любви» печаталась в типографии Академии наук на деньги Куракина; следует думать, что по возвращении из-за границы в сентябре 1730 г. Тредиаковский остановился в Петербурге (а не проследовал сразу в Москву, где жил в это время Куракин) именно в связи с публикацией своей книги.

Вполне естественно, что Тредиаковский посвятил свою книгу Куракину, и надо полагать, что сразу же по выходе этой книги он отправился в Москву, чтобы лично преподнести ее своему меценату; в Москву Тредиаковский прибыл 3 января 1731 г. (см. его письмо к Шумахеру от начала января 1731 г. — Письма XVIII в., с. 44) — таким образом, «Езда в остров Любви» вышла, по-видимому, в конце декабря 1730 г. По прибытии в Москву Тредиаковский остановился у Куракина (этот адрес фигурирует в его письмах к Шумахеру от начала января и от 27 января 1731 г. — Письма XVIII в., с. 44, 47–48); позже, однако, он переехал в дом Семена Кирилловича Нарышкина (см. его письмо к Шумахеру от 4 марта 1731 г. — Пекарский, II, с. 28–29), и есть основания думать, что его отношения с Куракиным ухудшились (Малеин, 1928, с. 430; некоторые намеки на это содержатся в том же письме от 4 марта 1731 г. — Пекарский, II, с. 27–28). Как бы то ни было, Куракин сохранил благожелательное отношение к Тредиаковскому до конца своих дней (он умер в 1749 г.): в письме к Делилю от 13 декабря 1747 г. Тредиаковский упоминает об особенной щедрости, которую проявили по отношению к нему Куракин и Воронцов после того, как все его имущество сгорело в пожаре (Письма XVIII в., с. 55, 57); Куракину Тредиаковский в свое время посвятил «Езду в остров Любви», а Воронцову — «Слово о витийстве».

[133] Тредиаковский был представлен императрице в Петербурге в январе 1732 г. (Пекарский, II, с. 31); надо полагать, что переезд Тредиаковского из Москвы в Петербург связан с переездом туда двора (императрица прибыла в Петербург 15 января 1732 г. — там же, с. 30).

[134] Показательно, что, упоминая в письме к Шумахеру от 18 января 1731 г. о каких-то мирских (не духовных) лицах, которые выступают против «Езды в остров Любви», Тредиаковский добавляет: «… но мне наплевать на них, тем более, что они люди очень незначительные», подчеркивая таким образом, что его противники совсем не имеют веса в обществе («… je m'en fiche, d'autant plus qu'ils sont d'une très petite consequence» — Малеин, 1928, с. 431–432; Письма XVIII в., с. 46–47).

[135] Мать Александра Борисовича Куракина, первая жена Бориса Ивановича Куракина Ксения Федоровна Лопухина, приходилась родной сестрой Евдокии Федоровне Лопухиной — первой жене Петра I и бабке Петра II; таким образом, А. Б. Куракин был двоюродным братом царевича Алексея Петровича и двоюродным дядей Петра II. Семен Кириллович Нарышкин был в родстве с матерью Петра I, Наталией Кирилловной.

[136] Ср. стихи Тредиаковского, посвященные Екатерине Иоанновне, а также духовный концерт, сочиненный им в честь тезоименитой ей святой. См. выше, § **II-5.1**.

[137] Ср. в этой связи письма С. К. Нарышкина к М. Л. Воронцову от 20 июля и 10 сентября 1742 г. (из Лондона), где Нарышкин выказывает себя знатоком женской моды и где — характерным образом — постоянно фигурирует слово *вкус* в качестве кальки с франц. *goût*: «… Не мало я благодарствую за вашего превосходительства полагательства на мой вкус в пересылке опушки на женский шлафорок»; «Приключенное умедление в оной покупке есть от жестокой болезни моего портнаго, который своим добрым вкусом учинился славным… Ныне носят почти только шитыя платья, который все укрыты блестками… Я б за немалое себе принял удовольствие, ежели б трафил ея [А. К. Воронцовой, супруги М. Л. Воронцова] вкусу…» (Архив Воронцова, II, с. 569–570, ср. еще с. 571). Отметим, что С. К. Нарышкин был хорошо знаком с Кантемиром (в 1741 г. он приезжает в Париж инкогнито и общается с Кантемиром) и, подобно Кантемиру и Тредиаковскому, интересовался католицизмом (Лозинский,1925, с. 241–242; ср. выше, примеч. 119).

[138] Отметим, что подобная ориентированность, по-видимому, характеризует прежде всего Тредиаковского, а не Адодурова: последний был связан скорее с немецкой культурой. Ср. аналогичное различие между Ломоносовым и Кантемиром: если Ломоносов явно связан с немецкой языковой культурой, то Кантемир тяготеет к культуре французской (наряду с итальянской).

[139] Ср. воспоминание Андрея Болотова о том, как в 1752 г. в Петербурге он прочел одну рукописную книгу: «Составляла она перевод одного французского и, прямо можно сказать, любовного романа, под заглавием „Эпаминонд и Целериана“, и произвела во мне то действие, что я получил понятие о любовной страсти, но со стороны весьма нежной и прямо романтической, что после послужило мне в немалую пользу» (Болотов, I, с. 172; ср. еще ниже, примеч. 145). Итак, русские дворяне учатся «любовной страсти», так же как они учатся галантному обхождению; «Езда в остров Любви» и была первым руководством такого рода. По словам Ю. М. Лотмана, «„Езда в остров любви“ читалась как подробное описание нормативов поведения влюбленного, перипетий любовной тактики, описание ролей в любовной игре. Это был своеобразный учебник шахматной теории любовного поведения. Для каждой ситуации давались нормативные выражения различных переживаний любовного чувства. Эту роль выполняли инкорпорированные в текст романа песни и стихотворения. Они давали для каждого чувства ритуализованную форму выражения» (Лотман, 1985, с. 227).

[140] Полемика вокруг «Езды в остров Любви» была в значительной степени вызвана самой темой любви — столь характерной для французской литературы и столь необычной для русского читателя, — и один из поклонников Тредиаковского, некто Иван Сечихин, специально оправдывает (в 1732 г.) правомерность обращения к этой теме, непосредственно связывая ее с европеизацией русской культуры и с ориентацией на Францию (см. об этом с. 124–126 наст. работы). После публикации «Езды в остров Любви» Тредиаковскому неоднократно, по-видимому, приходилось защищаться от обвинений в безнравственности. Так, в уже упоминавшемся письме к Шумахеру от 18 января 1731 г. Тредиаковский сообщает, что некоторые духовные лица — может быть, имеется в виду Платон Малиновский (ср. выше, § **II-5.1**) — обвиняют его, «как некогда обвиняли Овидия за его прекрасную книгу, где он рассуждает об искусстве любить. Они говорят, что я первый развратитель русской молодежи, тем более что до меня она совершенно не знала прелестей и сладкой тирании, которую причиняет любовь. Что вы думаете, сударь, о распре, которую затевают со мной эти ханжи? Неужели они не знают, что сама Природа, эта прекрасная и неутомимая владычица, заботится о том, чтобы научить все юношество,

что такое любовь. Ведь в конце концов наши отроки созданы так же, как и другие, и они не являются статуями, изваянными из мрамора и лишенными всякой чувствительности; напротив, они наделены всем, что возбуждает у них эту страсть. Они читают ее в прекрасной книге, которую составляют русские красавицы, каких очень мало в других местах» («… d'autres, qui s'en prennent à moy, comme jadis on s'en prit à Ovide pour son beau livre dans lequel il traite l'art d'aimer, disant que je suis le premier corrupteur de la jeunesse Russienne d'autant plus qu'elle ignoroit absolument avant moy les charmes, et la douce tyrranie, que fait l'amour. Que pensez vous, Monsieur, de cette querelle que me font ces bigots là? Ne sçavent ils pas que la Nature même, cette belle et infatigable maitresse prend soin d'apprendre à toute la jeunesse ce que soit l'amour? Car enfin nos garçons sont faits de même que les autres, et ils ne sont pas comme des statuës taillées de marbre et destituées de toute la sensibilité; au contraire ils ont tous les ressorts qui leur excitent cette passion là. Ils la lisent dans un beau livre que composent les belles Russiennes telles, qui sont fort rares ailleurs» — Малеин, 1928, с. 431; Письма XVIII в., с. 45–46).

Соответственно, публикуя в трактате о стихотворстве 1735 г. две свои элегии, Тредиаковский стремится предупредить подобные обвинения: «Я что пускаю в свет две мои Элеги́и плачевныя, то весьма безопасно; но что пускаю их любовныя, по примеру многих древних и нынешних Стихотворцов, в том у добродетельнаго Российскаго читателя прощения прося, объявляю ему, что я описываю в сих двух Элеги́ях не зазорную любовь, но законную, то есть, таковую, какова́ хвалится между благословенно любящимися супругами… Неповинная моя в том совесть, хотя меня совершенно оправляет; однако не надеюсь, чтоб не нашолся кто угрюмый, и меняб за сие всячески не порочил… Никогдаб, поистинне, сие на меня искушение не могло притьти, чтоб издать в народ оныя две Элеги́и, ежелиб некоторые мои приятели не нашли в них, не знаю како́ва, духа Овидиевых Элеги́й» (Тредиаковский, 1735а, с. 45–46). Стремление к эпатажу, столь характерное для «Езды в остров Любви», гораздо менее заметно вообще в трактате 1735 г.

[141] Так, например, в «Езде в остров Любви» читаем: «С сим намерением нарядяся по щоголски и богато прибыл я с моим Купидином к неи…» (Тредиаковский, 1730, с. 18; Тредиаковский, III, с. 663). Ср., между тем, во французском оригинале: «Dans ce dessein, après m'étre ajustè propremant, Amour me mena chez elle…» (Талеман, 1671, с. 17).

[142] Ср. определение моды в примечаниях к сатирам Кантемира: «Мода слово французское, значит обычай в ношении платья, в употреблении всяких уборов и в самых наших поступках» (Кантемир, I, с. 128); «Мода есть слово французское: значит обычай в ношении платья, или в церемониях каких и поступках» (там же, с. 202); «*Мода* слово французское, Mode, значит обыкновение в платье и уборах и самых нравов человеков. Крестьяне у нас называют *поверьем*» (там же, с. 57; здесь же Кантемир упоминает и о «щегольских правилах» ношения одежды). Ср. в этой связи протест Шишкова в «Рассуждении о старом и новом слоге…» против тех, кто называет «писателя *автором*, поверье *модою* и проч.» (Шишков, II, с. 229).

Слово *мода* фиксируется в русском языке с 1698 г. (Биржакова, Воинова и Кутина, 1972, с. 380); тем не менее, как Тредиаковский, так и Кантемир считают необходимым дать определение этого слова.

[143] Ср. в этой связи цитированное замечание Платона Малиновского в адрес Тредиаковского: «… Вот бы он сочинял девичьи песни» (вместо того, чтобы сочинять духовные «псалмы»). См.: Пекарский, II, с. 37; ср. выше, § **II-5.1**.

[144] Ср. в этой связи заявление Тредиаковского в предисловии к «Езде в остров Любви»: «… Язык славенскои в нынешнем веке у нас очюнь темен… А сия книга есть *сладкия любви…*» (Тредиаковский, 1730, предисл., с. [4]; Тредиаковский, III, с. 649). Ср. выше, § **II-2**.

[145] Ср., например, красноречивое свидетельство Болотова, относящееся, впрочем, к более позднему времени. Описывая Петербург в 1752 г., Болотов пишет в своих воспоминаниях: «… Светская нынешняя жизнь уже получала свое основание и начало. Все, что хорошею жизнью ныне называется, тогда только что заводилось, равно как входил в народ и тонкий вкус во всем. Самая нежная любовь, толико подкрепляемая нежными и любовными и в порядочных стихах сочиненными песенками, тогда получала первое только над молодыми людьми свое господствие, и помянутых песенок было не только еще очень мало, но они были в превеликую еще диковинку, и буде где какая проявится, то молодыми боярынями и девушками с языка была неспускаема» (Болотов, I, с. 169, ср. с. 172). Описываемая здесь атмосфера светской, щегольской жизни очень напоминает разговоры вокруг «Езды в остров Любви». И в другом месте, описывая свою жизнь в деревне (в том же 1752 г.), Болотов пишет: «… Препровождал я время свое в распевании и тананакании любовных песенок, выученных и затверженных мною в Петербурге… Я уже упоминал, что, живучи в Петербурге, навык я несколько светскому обхождению и лишился многих деревенских грубостей» (там же, с. 196). Итак, распевание песенок расценивается как непременное условие светской жизни.

Характерен в этом плане презрительный отзыв Ломоносова о Сумарокове 1760 г.: «Génie créateur: сочинял любовные песни и тем весьма счастлив, для того что и вся молодежь, то есть пажи, коллежские юнкеры, кадеты и гвардии капралы, так ему последуют, что он перед многими из них сам на ученика их походит. Génie créateur!» (Ломоносов, IX, с. 635). Следует подчеркнуть, что Сумароков в принципе мог ассоциироваться с щегольской культурой (см. об этом: Успенский, 1984/1996, с. 372 сл. — наст. изд., с. 479 сл.).

[146] Окончательная редакция IV сатиры Кантемира оформилась, как обычно полагают, к 1743 г. (в связи с подготовкой сборника стихотворений 1743 г.); во всяком случае интересующие нас стихи, как указывает сам Кантемир в примечании к этой своей сатире, были написаны в Париже, когда ему было 32 года, т. е. в 1740 г. (Кантемир, I, с. 97).

[147] В предисловии к своему переводу Тредиаковский высказывает предположение, что эту книгу написал Фенелон; в действительности ее автором является Н. Ремон де Кур (см.: Чиоранеску, III, с. 1734, № 58717). Так или иначе, это первое засвидетельствованное обращение Тредиаковского к Фенелону. Соответственно книгу завершает перевод стихотворения Фенелона «Правила благоразумия и добронравия человеческаго, или Образ добродетельнаго человека» (Св. кат. XVIII в., I, с. 406–407, № 2677; ср. № 2680; там же, Дополнения, с. 110, № 2680; ср.: Пекарский, II, с. 69, примеч.); это стихотворение в переработанном виде было затем включено Тредиаковским в его «Сочинения и переводы…» 1752 г. (см.: Тредиаковский, I, с. 564–566).

[148] В то время как «Езда в остров Любви» была издана, по всей вероятности, на деньги кн. А. Б. Куракина (см. выше, примеч. 132), «Истинную политику…» Тредиаковский напечатал за свой счет, причем на этом деле он потерпел убыток (Пекарский, II, с. 68–69; Мат. АН, III, с. 460, 589; Тредиаковский, 1851, с. 229). Надо полагать, что перевод и публикация данной книги были обусловлены прежде всего задачами культурного просвещения.

[149] В предисловии к переводу Волчков сообщает, что в 1735 г. он поднес свой труд императрице Анне Иоанновне; совпадение в датах позволяет с уверенностью утверждать, что Адодуров и Тредиаковский работали именно над переводом Волчкова. Речь идет о «Карманном оракуле» («Oráculo manual») Грасиана, который во французском переводе носил название «Homme de cour». Это французское название сохраняется — в непереведенном виде — в немецких и голландских переводах данной книги, что отвечает восприятию французского языка как языка двора.

[150] Иван Михайлович Сечихин в мае 1733 г. числился учеником геодезии при петербургской портовой таможне; осенью того же года он переводится в Академию наук геодезистом «для обучения вновь наукам», а в дальнейшем становится переводчиком при Академии (Куник, 1853, с. 169; Мат. АН, II, с. 329–330, 334, 396–397, 551; там же, IV, с. 92–93, 494–495, 504–505, 513; там же, V, с. 13, 586; там же, VI, с. 508; Протоколы АН, I, с. 67, 260); 20 февраля 1742 г. он увольняется из Академии наук и становится переводчиком при кабинете императрицы Елисаветы Петровны (там же, V, с. 44–48, 49, 320). Относительно принадлежности Сечихину перевода «Анфроскопии» см.: Куник, 1853, с. 157; Соболевский, 1908, с. 32, примеч.; ср. еще: Кобеко, 1861, стлб. 111–112. Этот перевод сохранился в нескольких списках, в частности в собрании Ниловой пустыни (ГБЛ, ф. 200, № 82) и в собрании И. Д. Беляева (ГБЛ, ф. 29, № 47/1559). Переводу «Анфроскопии» предпослано три предисловия Сечихина: «К Меценату», «Беспристрастному читателю», «К Зоилу», которые мы и цитируем ниже по списку Ниловой пустыни с конъектурами по списку И. Д. Беляева; конъектуры специально не оговариваются, орфография и пунктуация в цитатах несколько модернизированы. Предисловие «К Зоилу» было опубликовано Куприановым (1853, с. 124–126) и частично Викторовым (1881, с. 28–31).

[151] Это предисловие перекликается с «Эпиграммой к охуждателю Зоилу», которую Тредиаковский поместил в конце «Езды в остров Любви» (Тредиаковский, 1730, с. 210; Тредиаковский, III, с. 774); не вполне ясно, кто имеется в виду под Зоилом у Сечихина — конкретное лицо или же обобщенный литературный образ (что же касается эпиграммы Тредиаковского, то это, конечно, дань литературной традиции). Характерно, что в конце предисловия «К Зоилу» мы находим прямую цитату из предисловия Тредиаковского к «Езде в остров Любви»: «полно бранится, пора помирится» (ГБЛ, ф. 200, № 82, л. 8 об.; ср.: ГБЛ, ф. 29, № 47/1559, л. 4; Куприанов, 1853, с. 126), ср. ту же фразу и у Тредиаковского (Тредиаковский, 1730, предисл., с. [3]; Тредиаковский, III, с. 649).

[152] Отмеченное расхождение теоретических взглядов и навыков письменной речи приводит Сечихина, между прочим, к характерному оправданию смешения книжного церковнославянского и разговорного русского языка. Так, в предисловии «К Зоилу» он говорит: «… Я… смешенно славенского и российского общего употребил языка, что мне всякой разумной во зло не поставит, разсуждая обще немощь человеческую; и тако я в том погрешил иногда для скорости, не могущии много разсуждати о малом деле, ведая, что позволяется в различных языках употребляти слов иностранных для лутчего из[ъ]яснения или для красоты или просто за употребление. Для чего же мне запретит кто мешать в славеньском языке российския общия, или в российской славенския слова? Понеже сии оба языка от рождения моего мне природны суть и с собою всякое сходство и согласие имеют» (ГБЛ, ф. 200, № 82, л. 7–7 об.; ср.: ГБЛ, ф. 29, № 47/1559, л. 3 об.; Куприанов, 1853, с. 125–126). Можно сказать, что Сечихин исходит, в сущности, из ситуации церковнославянско-русского двуязычия, которое и оправдывает смешение такого рода:

ситуация двуязычия — одинакового владения иностранным и родным языком — является для него исходной, хотя он и заявляет, что оба языка (церковнославянский и русский) для него родные; во всяком случае отношения церковнославянского и русского языка сопоставляются с отношениями иностранного и родного языка. Из ситуации церковнославянско-русского двуязычия исходит и Тредиаковский в предисловии к «Езде в остров Любви», хотя одинаковые исходные установки и приводят у обоих авторов к разным результатам.

При этом у Сечихина намечается, по-видимому, новое понимание термина *славенороссийский*: если ранее «славенороссийский язык» означал то же, что «славенский», т. е. церковнославянский язык (см. § **III-3** наст. работы), то теперь «славенороссийский» может пониматься как результат смешения «славенских» и «российских» элементов, т. е. появляется возможность противопоставления «славенороссийского» и «славенского» языка. Замечательно, что такое понимание в дальнейшем характерно для Ломоносова (см. ниже, § **III-5**).

[153] Ср. в этой связи цитированное выше (примеч. 91) заявление Якова Козельского о том, что любой язык — имеется в виду, конечно, в первую очередь русский — можно «столькож сделать приятным, как Французской, ежели только ввесть в него столько наук, художеств, мод и страстей, как во Французском» (Козельский, 1768, с. 211). Замечательно упоминание «мод и страстей», которые наряду с «науками» и «художествами» призваны обеспечить подлинно культурный статус литературного языка: функционирование литературного языка оказывается прочно связанным, таким образом, с галантной культурой.

[154] Вообще, ссылки такого рода в программных выступлениях Тредиаковского чрезвычайно значимы для выяснения его позиции по тем или иным вопросам. Ср. блестящий анализ литературной ориентации Тредиаковского, осуществленный Л. В. Пумпянским на основании списка поэтов, упоминаемых в «Эпистоле от Российския поэзии к Аполлину» (1735), включенной в «Новый и краткий способ к сложению Российских стихов…» Тредиаковского (Пумпянский, 1937).

[155] В дальнейшем Тредиаковский поднимает тот же вопрос в связи с ходатайством о месте профессора латинского и российского красноречия (1743). Академическое собрание возражало Тредиаковскому, что должность профессора российского красноречия не была предусмотрена Петром Великим при учреждении Академии наук, при том что предусматривалась должность профессора латинского красноречия (последнюю занимал в то время Штелин). В ответ на это Тредиаковский писал в академическую канцелярию 22 ноября 1743 г. и затем — почти в тех же выражениях — в Сенат 28 февраля 1744 г.: «Хотя и не положена профессия российския элоквенции, да не положена ж и латинская, но токмо положена элоквенция, которая не привязана к одному латинскому, но может состоять на всяком… Ежели бы элоквенция здесь привязана была к одному токмо латинскому, то бы все профессоры элоквенции, обретавшиеся здесь, и ныне обретающийся здесь г. Штелин не издавали своих сочинений стихами и прозою на немецком, котораго элоквенция также не положена в прожекте [об учреждении Академии наук], как и российская. Следовательно российская элоквенция в здешней Академии еще бóльшее имеет право немецкой для наичастейшаго и общаго своего употребления и толь бóльшее, что сия Академия учреждена в пользу россиянам» (Пекарский, II, с. 99; ср.: Тредиаковский, 1851, с. 233). Иными словами, правила латинского красноречия должны распространять-

ся, по мнению Тредиаковского, как на немецкий, так и на русский язык: латинская риторика выступает как образец, на который должны ориентироваться немецкие и русские авторы. Несколько позже (в 1745 г.), при вступлении в Академию наук в качестве профессора латинского и российского красноречия, Тредиаковский произносит «Слово о витийстве», IV часть которого посвящена доказательству того, что «элоквенция» одна и та же у всех народов, хотя и неодинакова в каждом отдельном обладающем ею лице (Тредиаковский, III, с. 595 сл.).

Ориентация русской риторики на западную модель была официально узаконена затем «Регламентом Академии наук и художеств» 1747 г., где говорится (в § 48): «Реторики руской или элоквенции особливо не обучать [в Академическом университете], ибо кто знает, в чем элоквенция на латинском языке состоит, тот знать может и на всех языках оные правила…»; таким образом, правила русской и латинской риторики должны были в принципе совпадать (Уставы АН, с. 52).

[156] Правописание имени Костара допускало большое разнообразие. В частности, сам Костар писал свое имя Coustart.

[157] «Le plus galant des pédants et le plus pédant des galants», — отзывались о Костаре современники (Талеман де Рео, VII, с. 14; Фурнель, 1862, с. 469; Мишо, IX, с. 307).

[158] Вместе с тем, Патрю был известен и как теоретик стиля: он комментировал Вожела (см. его «Remarques sur les Remarques de Vaugelas») и его называли «французским Квинтилианом» («le Quintilien français»).

[159] Ср.: «Французская культура XVII в. выработала две формы организации культурной жизни: Академию и салон. Именно их Тредиаковский хотел бы воссоздать в России. Показательно, что во Франции организованная Ришелье Академия и оппозиционная „голубая гостиная“ госпожи Рамбулье находились в сложных и часто антагонистических отношениях, но это не было существенно для Тредиаковского, который, конечно, был в курсе занимавших Париж эпизодов борьбы, интриг, сближений и конфликтов между салонами и Академией. Он не становился на ту или иную сторону, так как хотел перенести в Россию культурную ситуацию в целом» (Лотман, 1985, с. 223). Для нас во всяком случае существенна ориентация Тредиаковского на культуру салона.

[160] Отметим, что в записке Тредиаковского от 10 сентября 1733 г., предшествующей зачислению его на службу в Академию наук (см. выше, примеч. 5), Тредиаковский претендует на то, чтобы стать адъюнктом Академии: в этой записке он предлагает Академии свои услуги и формулирует те условия, на которых он согласен занять эту должность (Мат. АН, II, с. 380–381); любопытно при этом, что Шумахер уже в документе от 4 декабря 1732 г. именует Тредиаковского адъюнктом (там же, с. 213). Упомянутая записка составлена весьма решительно и даже безапелляционно; вместе с тем она отличается шутливым тоном (необычным для официального документа), сочетающимся с признаками учености, — сочетание это, как мы знаем, вообще характерно для молодого Тредиаковского. Она начинается словами: «Условия, на которых я, нижеподписавшийся, приму обязанности ассоциата или, как говорят, адъюнкта в Императорской Петербургской Академии Наук, а если из них хотя одно будет изменено или отвергнуто, то отнюдь не приму» («Conditiones quibus concessis, me infra scriptum suscepturum esse officium associati, seu, ut vulgò, adjuncti in academia imperiali scientiarum Petropolitana; quarum vero saltem si unica negaretur, vel mitigaretur, nequaquam»); кончается же этот документ угрозой: «Если

хотя бы в одном из пунктов обманет меня ожидание, тотчас же тогда, оставив все обязанности свои, распрощаюсь с Академией с глубоким, впрочем, почтением к господину Президенту и всему собранию…» («Sin vero saltem unius articuli non concessi expectatio me fallat, tunc e vestigio, ad omnia officia devinctus, valedicam A. I. S. pronusque venerabor excellentissimum dmn. praesidem, et totum nobiliss. et clariss. aeque ac doctissimorum virorum collegium…»). Все условия, которые поставил Тредиаковский, были приняты, и через месяц (14 октября 1733 г.) Тредиаковский зачисляется в Академию «с титлом секретаря» (Пекарский, II, с. 43); уверенный тон Тредиаковского и быстрота решения вопроса заставляют предположить, что дело это было уже решено заранее. Звание адъюнкта, видимо, почему-то не устраивало Тредиаковского — может быть, чисто филологически: не случайно в цитированной записке от 10 сентября 1733 г. он подчеркнуто предпочитает название ассоциата («associatus, seu, ut vulgò, adjunctus»; «associatus, seu, ut vocant, adjunctus» — Мат. АН, II, с. 380); вместе с тем титул секретаря явно рассматривался им как нечто большее по сравнению со званием адъюнкта.

Достойно внимания, что поступление Тредиаковского на службу в Академию наук совпадает по времени с изменением статуса Адодурова, который в том же 1733 г. становится адъюнктом Академии наук; не исключено, что оба события как-то между собою связаны.

161 Заслуживает внимания то обстоятельство, что как Фонтенель, так и Тредиаковский занимались прежде всего популяризаторской, а не собственно научной деятельностью. При этом популяризаторская деятельность приобретала в России особенно явно выраженную просветительскую направленность.

Тредиаковский неоднократно упоминает Фонтенеля в связи с пасторальной поэзией — так, например, в трактате о стихотворстве 1735 г. (Тредиаковский, 1735а, с. 39, 85) и в «Мнении о начале поэзии и стихов вообще» 1752 г. (Тредиаковский, I, с. 189), — выступая вместе с тем как его переводчик (см. «Слово о терпении и нетерпеливости Фонтенелево…» 1752 г. — Тредиаковский, I, с. 379–397). Характерно, что в «Эпистоле от Российския поэзии к Аполлину» при перечислении представителей французской литературы Фонтенель оказывается одним из трех французских авторов, современных Тредиаковскому, — наряду с Вольтером и Жаном-Батистом Руссо (Тредиаковский, 1735а, с. 38–39) — при том что подавляющее большинство писателей, которые фигурируют в этом списке, относятся к предшествующей эпохе (см.: Ахингер, 1970, с. 21).

162 В первых версиях комедии Мольера имя героя звучало ближе к его прототипу — *Tricotin*, и только впоследствии оно изменилось в *Trissotin*; в последнем случае обыгрывается корень *sot*- ‘глупый’, т. е. Trissotin как бы равносильно *Trois fois sot*. Если Ломоносов прилагает к Тредиаковскому имя мольеровского персонажа, не изменяя его (Трисотин), то Сумароков явно сближает это имя с фамилией Тредиаковского (Тресотиниус), одновременно обыгрывая его как *très sot*, т. е. ‘очень глупый’. Латинизированное окончание *-ус* в сумароковской пьесе соответствует амплуа педанта.

163 В «Разговоре об ортографии» (1748) «Российский» человек, от лица которого выступает сам Тредиаковский, говорит «Чужестранному»: «Сколько я ни старался оправдить себя пред вами: но оправдание мое только к тому послужило, что, может быть, я и во всю мою́ жизнь имею слыть у вас школьною только мухою» (Тредиаковский, III, с. 308–309). В рукописном оригинале «Разговора об ортографии» (ААН, разр. II, оп. 1, № 137) первоначально стояло: «… слыть у вас педантом, способным токмо к школ… [нрзб.]». Очень вероятно, что Тредиаковский отвечает здесь на обвинения в педантстве.

[164] Возражения И. З. Сермана, который пытается противопоставить Талемана прециозным писателям (см.: Серман, 1973, с. 105), основываются на недоразумении. Едва ли можно считать, что Талеман критически относится к «жаргону прециозниц» (jargon de précieuses), как думает И. З. Серман. Следует иметь в виду, что во французском языке слово *jargon* могло не иметь отрицательного смысла.

[165] Что же касается «Путешествия Кира» («Voyage de Cyrus»), которое Тредиаковский собирался переводить вслед за «Ездой в остров Любви» (см. об этом в письме Тредиаковского к Шумахеру от 4 марта 1731 г. — Пекарский, II, с. 28–29), то речь идет не об одном из многочисленных подражаний «Великому Киру» мадемуазель де Скюдери («Artamène, ou Le Grand Cyrus»), как это предполагает Л. В. Пумпянский (Пумпянский, 1941, с. 238), а об известном романе А. Рамзея «Les voyages de Cyrus» (ср.: Ахингер, 1970, с. 16–17, примеч. 14). Этот выбор отчасти предвосхищает перевод «Аргениды» Барклая и «Тилемахиды» Фенелона, т. е. речь идет в данном случае не о галантном, а о политико-философском произведении. Любопытно, что эта книга не понравилась покровителю Тредиаковского князю А. Б. Куракину (см. об этом в том же письме к Шумахеру); данное обстоятельство, скорее всего, и заставило Тредиаковского отказаться от своих планов.

[166] Характерно, что Тредиаковский со свойственным ему стремлением охватить все аспекты французской литературной жизни упоминает об этих «филиппиках» в «Эпистоле… к Аполлину» 1735 г.:

Эпигра́ммы тот писал, ин же Филиппи́ки,
Славны Оперы другой сладкой для музы́ки.
(Тредиаковский, 1735а, с. 39)

[167] Любопытно, что Жирар уже пишет *Anglais*, *Hollandais*, *Française*, *connaître*, хотя сохраняет *oi* в имперфектах (Брюно, VI, с. 961, 943).

[168] Сомэз приводит и образцы этой дамской орфографии (см.: Сомэз, I, с. 179–184). Замечательно, что во многих случаях приводимые им написания соответствуют норме современной французской орфографии.

[169] Отметим вообще, что Тредиаковский, подобно карамзинистам, придает особое значение женщинам в литературном процессе. Он специально говорит о женщинах-писательницах как в «Эпистоле от Российския поэзии к Аполлину» 1735 г. (Тредиаковский, 1735а, с. 39), так и в стихотворении «Уж требует того…», где фигурируют среди прочих те же женские имена, что и в «Разговоре об ортографии» 1748 г.: Мария Шурма́нна, Сафо, Скудерия, Дасие́ра, Деласю́за (Тредиаковский, 1761–1767, XI, с. XXVIII). Стихотворение «Уж требует того…», опубликованное Тредиаковским в «Предуведомлении» к XI тому «Римской истории» Роллена (1764), представляет собой перевод из Томаса Мора, однако строфы, посвященные женщинам-писательницам, отсутствуют у Мора и добавлены самим Тредиаковским (см. там же, с. XXVIII, примеч.). Тредиаковский сообщает в том же «Предуведомлении», что данное стихотворение переведено им «давно уже» (там же, с. XXIV); поскольку оно перекликается с «Разговором об ортографии», можно с вероятностью датировать его 1740-ми годами.

[170] Тредиаковский, впрочем, оговаривается, что женское письмо может отражать и неправильное произношение (например, когда женщины пишут *миласливая* вместо *милостивая*, — Тредиаковский, III, с. 191). Языковая норма в принципе распространяет-

ся, таким образом, и на разговорную речь, а значение женщин состоит прежде всего в том, что они ориентируются на нее в письменных текстах.

[171] Последователем Мегре был Жак Пелетье дю Ман, который изложил взгляды Мегре на орфографию в предисловии к своему «Dialogue de l'ortografe e prononciation françoeze» (Пелетье, 1550, с. 4–5; ср.: Сизова, 1982, § 2). Тредиаковский был знаком с трудом Пелетье: в «Разговоре об ортографии» он упоминает Пелетье как одного из наиболее авторитетных авторов, писавших об орфографии (Тредиаковский, III, с. 4). Через трактат Пелетье Тредиаковский мог познакомиться с идеями Мегре.

[172] Вяземский цитирует здесь «Речь к членам Российского собрания» Тредиаковского (ср.: Тредиаковский, 1735, с. 13). Относительно Пушкина см. выше, примеч. 125.

[173] Выражение *кандидат авторства* — цитата из статьи Карамзина «Отчего в России мало авторских талантов?» (ср.: Карамзин, III, с. 528). Стихотворные цитаты — из «Певца в Беседе любителей русского слова» Батюшкова (ср.: Батюшков, I, с. 168, 174).

[174] Так, в письме от 11 июня 1785 г. А. А. Петров иронически рекомендует Карамзину писать «на Рускословянском языке долгосложно-протяжно-парящими словами» и прибавляет: «Для дополнения же твоего искуства писать таким слогом, советую тебе читать сочинения и переводы в стихах и в прозе Вас. Тредиаковского, *коего о в любви езде остров книжницею пользуюсь, переводною, ныне, с Французского языка, и весьма ту читаю*» (Карамзин, 1984, с. 503); очевидным образом при этом пародируется стиль Тредиаковского. Ирония в данном случае совсем не исключает серьезного отношения: необходимо делать скидку на шутливо-пародийный тон письма Петрова, придающий иронический оттенок почти всем его высказываниям. Конечно, слог Тредиаковского должен был казаться Петрову безнадежно устаревшим, но это относилось скорее к реализации соответствующих идей, нежели к самим идеям. Во всяком случае, сам факт тщательного чтения «Езды в остров Любви» одним из основоположников карамзинизма заслуживает пристального внимания.

Приведенный пассаж свидетельствует о знакомстве Петрова не только с «Ездой в остров Любви», но и с собранием сочинений Тредиаковского 1752 г. («Сочинения и переводы как стихами, так и прозою Василья Тредиаковскаго» — это название Петров цитирует в своем письме), а также с «Тилемахидой». Действительно, пародийное выражение *долгосложно-протяжно-парящие слова* восходит, по-видимому, к предисловию к «Тилемахиде», ср. здесь: «сей долгопротяжный Эписодий», «от долгопротяжнейших Пиим» (Тредиаковский, II, с. XXIV, LXIII); эпитет *долгопротяжный* встречается еще и в предисловии Тредиаковского к I тому «Римской истории» (Тредиаковский, 1761–1767, I, с. *s*).

[175] В 1770-е гг. издаются и другие произведения Тредиаковского, а именно, ранее не публиковавшиеся «Три рассуждения о трех главнейших древностях Российских» (СПб., 1773) и «Деидамия» (М., 1775). Примечательно, что в списке подписчиков на «Три рассуждения…» мы встречаем между прочим имена Адодурова, Теплова, Елагина, Хераскова, Щербатова, Державина, Козицкого, Мотониса, Нартова, Зиновьева.

III

ЯЗЫКОВАЯ ПРОГРАММА ПОЗДНЕГО ТРЕДИАКОВСКОГО: ТРЕДИАКОВСКИЙ И ШИШКОВ

1. Итак, молодой Тредиаковский наряду с Адодуровым и, может быть, некоторыми другими литературными деятелями 1730-х гг. выступает как предтеча карамзинизма.

Между тем, во второй половине 1740-х гг. Тредиаковский резко меняет свою концепцию литературного языка. Вот как оценивал эту эволюцию Тредиаковского Сумароков в статье «О правописании» (1771–1773): «Г. Тредьяковской в молодости своей, старался наше правописание испортити простонародным наречием, по которому он и свое правописание располагал: а в старости глубокою и еще учиненною самим собою глубочайшею Славенщизною: тако пременяется молодых людей неверие в суеверие…» (Сумароков, X, с. 15)[1]. Сумароков по существу говорит не только о правописании, но вообще о позиции Тредиаковского по отношению к литературному языку в первый и во второй периоды его творчества.

Важной вехой в этой эволюции явилось «Письмо от приятеля к приятелю» 1750 г., посвященное рассмотрению творчества Сумарокова. Предвосхищая Ломоносова, Тредиаковский говорит здесь о пользе чтения церковных (т. е. церковнославянских) книг для овладения правильным русским слогом. По мнению Тредиаковского, языковые ошибки и стилистические неудачи Сумарокова обусловлены прежде всего тем, что «не имел в малолетстве своем Автор [Сумароков] довольнаго чтения наших Церьковных книг; и потому нет у него ни обилия избранных слов, ни навыка к пра́вильному составу речей между собою» (Куник, 1865, с. 495–496); под «избранными словами» понимаются, таким образом, славянизмы, и Тредиаковский резко критикует здесь Сумарокова за использование просторечных выражений, предлагая в ряде случаев вместо коллоквиализмов использовать соответствующие по смыслу слова церковнославянского происхождения (см. ниже). Совершенно так же, говоря о синтаксических ошибках Сумарокова, Тредиаковский постоянно ссылается на «церковные книги», ср., напри-

мер, замечания, касающиеся глагольного управления: «… Автор положил глагол *спасаю* с родительным падежем без предлога *от*. Мы прочии все положилиб сию речь так: *Ты от грозпаго меча спасаешь*, а не *Ты грозпаго меча спасаешь*. Но Автору угодно писать по новому. Впрочем, сколько его сие сочинение ни новое, и ни противное языку; однако он ясно о себе показал, что он мало читывал молебный канон, называемый Параклис: ибо там точно, да и праведно, стои́т: *от тяшких и лютых мя спаси*. Не лучшель по сему Автору приняться за наши прежде книги, дабы научиться пра́вильному сочинению?» (там же, с. 449); «… *На жизнь алкать*, сочинено весьма странно: ибо глагол *алчу* есть самостоятельный, и не правит никаким падежем, то есть, говорится просто *алчу*. Пусть прочтет Автор послания Святаго Апостола Павла, то и увидит во многих местах мою́ правду, а свою́ превеликую погрешность» (там же, с. 478). В другом месте, полемизируя опять-таки с Сумароковым, Тредиаковский протестует против употребленной Сумароковым конструкции *отлучаюся покою*, подчеркивая, что данный глагол требует предложного управления (с предлогом *от*), и ссылаясь в обоснование своей позиции на употребление этого глагола в Новом Завете (II Фес., III, 6); здесь же он настаивает на ударении *си́и* (он рассматривает как погрешность употребленную Сумароковым форму *сии́*), ссылаясь при этом на ударение в церковных книгах, а именно, в Псалтыри (Пс. XIX, 8) («Ответ о сафической и горацианской строфах», 1755 г. — Пекарский, II, с. 256)[2]. Совершенно такую же аргументацию мы встречаем в письме Тредиаковского к Г.-Ф. Миллеру (редактору «Ежемесячных сочинений») от 7 августа 1757 г. относительно формы *преддворие*, которую употребил Тредиаковский в своей статье («О беспорочности и приятности деревенския жизни») и которая в опубликованном тексте была исправлена на *преддверие*: Тредиаковский защищает употребленную им форму, ссылаясь опять-таки на канонические церковные книги (Мк. XIV, 68) (Разоренова, 1959, с. 212–213)[3].

Ориентация на церковнославянский язык осуществляется как в плане выражения, так и в плане содержания — иначе говоря, церковные книги предстают для Тредиаковского не только как регулятор стилистической правильности, но и как критерий, позволяющий судить о правильном употреблении того или иного слова. В том же «Письме от приятеля к приятелю» Тредиаковский обвиняет Сумарокова в том, что тот дает словам неправильное значение, и это происходит, согласно Тредиаковскому, именно из-за незнания церковнославянского языка: «… Должно видеть ложныя знаменования, данныя от Автора словам, а сие происходит от того, что Автор отнюд не знает кореннаго нашего языка Славенскаго» (Куник, 1865, с. 479). Иллюстрацией служит, в частности, слово *поборник*, которое выступает у Сумарокова в значении ʻпротивникʼ, между тем как в церковнославянском языке слово это означает ʻзащитник, споспешникʼ: Сумароков следует в данном случае обычному р у с с к о м у употреблению[4], однако, по мнению Тредиаковского, именно церковные книги определяют подлинное, т. е. правильное значение данного слова — Тредиаковский прямо ссылается в этой связи на богослужебные тексты, объясняя неправильное, с его точки зрения, употребление

тем, что Сумароков, видимо, редко ходит в церковь: «… Сие показывает, что или Автор мало бывает в церькве на великих вечернях, и на всенощных бдениях, или бывает да не тогда, когда первый глас поется: ибо инако, тоб Автор мог услышать в Богородичне начинающемся *Всемирную славу*, что слово *поборник* значит не *противника*, но *защитника*, и *споспешника*» (там же, с. 480, ср. также с. 478, 481–482)[5]. Сходным образом выяснение значения слова *твердь* предполагает, как указывает Тредиаковский, обращение к Псалтыри, т. е. анализ употребления этого слова в церковных книгах (там же, с. 481; ср.: Серман, 1965, с. 125)[6].

Совершенно аналогично, отвечая на критику своего посвящения («дедикации») к «Аргениде», Тредиаковский заявляет, что в его посвящении «слова все избранныя», и ссылается при этом на «церковныя наши книги». Так, Тредиаковский говорит о словах *по истине* и *либо*, употребление которых вызвало возражение со стороны его оппонентов (Ломоносова, Крашенинникова и Попова): «… Всяк читавший довольно церковныя наши книги, ведает, что они [эти слова] чистыя Славенския…» («Доношение на экзаменаторов дедикации», 1750 г. — Тредиаковский, 1849, с. 137). Далее Тредиаковский объясняет употребление этих слов, одновременно критикуя стиль своих оппонентов: «… Первое [слово *по истине*] употреблено у меня для так называемаго напряжения и ораторскаго числа, а второе [слово *либо*] вместо *может-быть*, а не за *или*; оба ж они употребительныя, а не странныя, каковы у Ломоносова *условие*, *сотрет*, *робный*, ни низкия, какия у Крашенинникова *глядит*, *пальцы*, ни напоследок развращенныя, как у Попова *ото дня на день*» (там же, с. 137). Как видим, «славенские» слова, которые находятся в церковных книгах, противопоставляются словам, которые в этих книгах отсутствуют. Церковные книги оказываются, таким образом, принципиально важным фактором при рассмотрении стилистической принадлежности слова и, вместе с тем, в процессе кодификации русской лексики.

Соответственно, оправдывая свои философские термины, которые он вводит в русский язык, Тредиаковский подчеркивает, что эти термины «подтверждаются все книгами нашими церковными» (доношение в академическую канцелярию от 11 декабря 1752 г. — Пекарский, II, с. 167); подробнее об этом будет сказано ниже (§ **III-3.1**). В других случаях Тредиаковский говорит о церковнославянском языке как о «мере чистоты» русской речи, «правиле писания» и «источнике» русского литературного языка (эпиграмма на Сумарокова начала 1754 г. — Успенский, 1984/1996, с. 377 — наст. изд., с. 483; статья о прилагательных 1755 г. — Пекарский, 1865, с. 109, 103); см. ниже, § **III-2** и § **III-3**. Вполне последовательно Тредиаковский объявляет в этот период «церьковные книги» — «классическими», т. е. образцовыми и, вместе с тем, учебными книгами (статья о прилагательных 1755 г. — Пекарский, 1865, с. 108).

Ориентация на церковнославянскую языковую модель проявляется и в предложениях Тредиаковского о правописании окончаний прилагательных во мн. числе: *-и* в мужском роде, *-е* в женском, *-я* в среднем, см. его статьи 1746 и 1755 гг. (Вомперский, 1968; Пекарский, 1865, с. 102–116), а также «Разговор об ортографии» 1748 г. (Тредиаковский, III, с. 60–62, 195–238). Полемика, вызванная этими

предложениями, отражает борьбу церковнославянской и русской языковой стихии (см. об этом: Успенский, 1984/1996, приложение II — наст. изд., с. 484–485)[7].

Характерно, что если в свое время Тредиаковский говорил о непонятности («темноте») церковнославянского языка (см. выше, § **II-4**), то уже в «Разговоре об ортографии» 1748 г. он, напротив, подчеркивает его полную понятность: «… Всяк и не ученый наш совершенно разумеет славенский язык в церьковных наших употребляемый книгах…», «… Мы все разумеем наш славенский [язык] и неучась» (Тредиаковский, III, с. 203–204)[8]. Изменение отношения к церковнославянскому языку особенно наглядно проявляется в трактовке поэтических «вольностей»: если ранее Тредиаковский относил славянизмы к разряду «вольностей», т. е. допустимых отклонений от нормы (см. выше, § **II-3**), то теперь его позиция прямо противоположна: так, например, если в трактате о стихотворстве 1735 г. «вольностями» признаются такие формы, как «*пишеши*, вместо *пишешь*, и *писати*, вместо *писать*» (Тредиаковский, 1735а, с. 16), то в статье о правописании прилагательных 1755 г. Тредиаковский объявляет «вольностью», напротив, форму «*спать* вместо *спати*» (Пекарский, 1865, с. 106). Не случайно, по-видимому, во второй редакции трактата о стихотворстве (1752) Тредиаковский исключает из раздела о поэтических «вольностях» все конкретные примеры, ограничиваясь лишь общими фразами (см.: Тредиаковский, I, с. 165–166). Очевидным образом при этом меняется перспектива рассмотрения: если ранее точкой отсчета для Тредиаковского в принципе являлся русский язык (и в этой перспективе он рассматривал славянизмы), то теперь в этом качестве выступает для него язык церковнославянский (и с этих позиций Тредиаковский подходит к русизмам).

Достаточно показательна в этом же плане правка ранних произведений Тредиаковского, осуществленная автором при перепечатке их в собрании сочинений 1752 г.: с одной стороны, Тредиаковский правит язык этих произведений, отчетливо его архаизируя за счет введения славянизмов и частичного устранения просторечных элементов (см.: Берков, 1936, с. 44; ср.: В. Виноградов, 1938, с. 89–90), с другой же стороны, он производит содержательную правку своих заявлений по вопросам языка (см. специально ниже, § **III-4**).

1.1. Говоря в «Письме от приятеля к приятелю» (1750) о «избранных словах», т. е. о славянизмах, Тредиаковский особенно подчеркивает необходимость «выбора слов» и правильного «избрания речей» в высоких жанрах. Так, например, он говорит о Сумарокове: «Помнит ли почтенный Автор, что он Оду сочинял, то есть самый высокий род стихотворения? … для чегож не старался он о выборе слов? Ода не терпит обыкновенных народных речей: она совсем от тех удаляется, и приемлет в себя токмо высокие и великолепные. По сему, чегоб ради ему не положить *воззри*, вместо *взгляни*?» (Куник, 1865, с. 456); «… Худо он умеет сло́ва выбирать: ибо пишет в Трагедиях *опять* за *паки*, *этот* за *сей*, *эта* за *сія*, *это* за *сіе*» (там же, с. 476). Сходным образом Тредиаковский рекомендует здесь Сумарокову заменить «подлое» *миг* на «одическое» *мгновение*, приличествующее «высокому стилю» (с. 459), и считает неисправной форму «*во-*

пящих вместо *вопіющих*» (с. 470) — в обоих случаях критика Тредиаковского направлена на язык сумароковской оды.

Таким образом, славянизация языка признается непременным атрибутом высоких, серьезных жанров (то же впоследствии говорит и Ломоносов в рассуждении «О пользе книг церьковных в Российском языке»); именно подобные жанры и оказываются теперь в центре внимания Тредиаковского — соответственно роль жанров такого рода в литературном процессе определяет роль церковнославянской языковой стихии в формировании литературного языка.

Знаменательно, что в предисловии к «Феоптии» (1754) Тредиаковский выступает с решительным осуждением легкой, игровой поэзии, «возбуждающей страсти», — т. е. именно таких произведений, с которыми он сам выступил в свое время перед русской публикой и которые вызвали тогда столь бурную полемику (см. выше, § **II-6.1**): «В нынешние времена повсюду стихи по большой части употребляются токмо или на пустые игралища, или на другие светские сочинения, возбуждающие страсти» (Серман, 1961, с. 162). Таким стихам Тредиаковский противопоставляет философскую, метафизическую поэзию, связывая ее как с античной, так и с церковной традицией. Эволюция литературных взглядов Тредиаковского предстает при этом очень отчетливо — Тредиаковский явно отказывается от тех положений, которые он провозглашал в своей молодости. В виду ассоциации элегии с прециозной литературой, о которой мы говорили выше (§ **II-6.2**), может быть не случайно то обстоятельство, что, переиздавая (в кардинально переработанном виде) в 1752 г. свой трактат о стихотворстве 1735 г., Тредиаковский не воспроизводит своих элегий, опубликованных в первом издании.

Критическое отношение к первому периоду своего творчества доходит при этом у Тредиаковского до такой степени, что он — несмотря на крайнюю нужду в деньгах — скупает экземпляры «Езды в остров Любви» и уничтожает их (Мат. АН, VI, с. 232; Пекарский, II, с. 24).

Взгляды Тредиаковского на литературный язык и на литературу оказываются, таким образом, взаимосвязанными и взаимозависимыми: характерным образом изменение этих взглядов совпадает вообще с изменением его культурной и идеологической позиции. Не случайно, если в первый период Тредиаковского обличали в атеизме, деизме и всякого рода ересях (см. выше, § **II-5.1**), то во второй период его, напротив, обвиняют в «суеверии» (см. цитированный отзыв Сумарокова в статье «О правописании», 1771–1773 гг. — Сумароков, X, с. 15), тогда как сам Тредиаковский определяет себя как «грековера» (Теплов в записке о Тредиаковском 1755 г. сообщает: «… Где про себя говорит [Тредиаковский], что в Академии… презрен и гоним, то между прочими резонами пишет и то, что он за то ненавидим, что *грековер…*»; здесь же отмечается, что слово *грековер* принадлежит самому Тредиаковскому — Теплов, 1868, с. 77, 73)[9]. Со своей стороны, Тредиаковский обвиняет в этот период Сумарокова в безверии или неправоверии — в «Письме от приятеля к приятелю» 1750 г. (Куник, 1865, с. 470–471, 490), а также в доношении в Синод от 13 октября 1755 г. (Пекарский, II, с. 187), — выступая при этом приблизительно с тех же позиций, с каких в свое время вы-

ступали его оппоненты. Знаменательно в этом смысле, что если в первый период Тредиаковский называл своих противников «тартюфами» (в письме к Шумахеру от 18 января 1731 г. — Малеин, 1928, с. 431; Письма XVIII в., с. 45; ср. выше, § **II-5.1**), то во второй период так именуют его самого (например, Теплов в записке 1755 г. — Теплов, 1868, с. 79)[10].

1.2. Весьма характерно отношение Тредиаковского в этот период к сакральным образам и к цитатам из Св. Писания. В «Письме от приятеля к приятелю» 1750 г. Тредиаковский упрекает Сумарокова в том, что тот вкладывает в уста Оронта в комедии «Тресотиниус» слова Христа: «… Когда Автор был толь великим Христианином в Оронтовом лице, что кощунства своего в XI явлении не усумнился употребить и слова́ Христа Спасителя нашего: то я здесь, где нет ни малаго скоморошества, не могуль дерзнуть тож зделать, но с благоговением, и привесть в мое утешение из тогож Спасительнаго Евангелия речи, именнож, *претерпевши до конца, той спасен будет*» (Куник, 1865, с. 440); итак, кощунством признается цитата из сакрального текста в комедии, т. е. в низком жанре[11]. Одновременно Тредиаковский протестует против мифологической образности в высоких жанрах — таких, как ода, — которая приводит к недопустимой контаминации христианских и языческих понятий (см.: Живов и Успенский, 1984/1996, с. 509–510). Это в большой степени обусловлено тем, что высокие жанры связаны с церковнославянской языковой стихией, между тем как низкие жанры ассоциируются, напротив, с русской языковой стихией — поэтика классицизма органически связывается при этом с противопоставлением церковнославянского и русского и, вместе с тем, с традиционными воззрениями, расценивающими смешение христианских и языческих элементов как недопустимое кощунство.

Вообще Тредиаковский выступает в этот период с позиций рационалистического пуризма, и это прежде всего проявляется в отношении к словам, так или иначе связанным с сакральной сферой. Так, например, он протестует против выражения *небесна красота* в применении к языку (во второй редакции статьи о прилагательных, 1755 г. — Пекарский, 1865, с. 105–106)[12]; против выражения *отверзлась вечность* (вместо *древность*), когда речь идет о героях, поскольку «вечность единому токмо Богу свойственна, а не Героям» («Письмо от приятеля к приятелю», 1750 г. — Куник, 1865, с. 461); против мысли «о безконечности зримаго сего мира» (жалоба на Миллера 1755 г. — Пекарский, II, с. 194) и т. п. — иначе говоря, против фигурального, метафорического употребления слов, обозначающих сакральные материи[13]. Наконец, Тредиаковский возражает и против применения христианского словаря к нехристианским понятиям, а именно, против употребления Сумароковым в переложении псалмов слова *церковь* в значении иудейского храма («Письмо от приятеля к приятелю», 1750 г. — Куник, 1865, с. 450)[14].

Для характеристики пуризма Тредиаковского показательно его посвящение («дедикация») к «Аргениде», обращенное к императрице Елизавете (1750), а также полемика вокруг этого посвящения. Упоминая здесь о музах «Аргениды»,

Тредиаковский говорит: «Воспоют оне на пребогатом славенороссийском языке песнь нову; но песнь сию великолепную и сладчайшую» (Пекарский, II, с. 149). Это парафраза Псалтыри, ср.: «Воспойте Господеви песнь нову…» (Пс. XCV, 1; Пс. XCVII, 1; Пс. CXLIX, 1; ср. также: Пс. XXXII, 3; Пс. XLII, 10), т. е. Тредиаковский сознательно перефразирует библейский текст, приспосабливая его к иному содержанию. Посвящение Тредиаковского было отдано на рассмотрение академикам Крашенинникову и Ломоносову и адъюнкту Попову, которые, отметив эту фразу и некоторые другие, заключили, что в тексте Тредиаковского есть места, где наблюдаются «или ложныя мысли, или излишнее ласкательство». Отвечая на это обвинение, Тредиаковский писал в академическую канцелярию, что оно в гораздо большей степени приложимо к Ломоносову, когда тот говорит, «что Египетския пирамиды строены чрез многии веки человеками, а Царское село строит божество. Не большель тут и не хужель что-нибудь находится ложных мыслей и излишняго ласкательства?» («Доношение на экзаменаторов дедикации», 1750 г. — Тредиаковский, 1849, с. 136, 140; Пекарский, II, с. 148, 150).

По-видимому, Тредиаковский смотрит на оборот, заимствованный им из Псалтыри, как на условную поэтическую фигуру, которая относится исключительно к плану выражения и тем самым вообще не имеет отношения к библейскому содержанию: это своеобразный фразеологический церковнославянизм, т. е. фразеологическое клише, восходящее к библейскому тексту; поскольку этот фразеологизм фигурирует независимо от библейского содержания, он и не может привести к «ложным мыслям». Такому чисто условному употреблению противопоставляется ломоносовский текст, где само содержание оказывается ложным, наполненным «ложными мыслями».

2. Замечательно, что если подход карамзинистов к литературному языку соответствует позиции раннего Тредиаковского, то подход их литературных противников — «архаистов» (Шишкова, Боброва и др.) соответствует позиции того же Тредиаковского, но уже во второй период его творчества. Действительно, если в первый период Тредиаковский ориентируется на западноевропейскую языковую ситуацию, то во второй период он исходит из признания специфики языковой ситуации в России по сравнению с ситуацией во Франции или Германии и провозглашает необходимость дистанции между литературным и разговорным языком, как это имело место и ранее — в условиях церковнославянско-русской диглоссии, когда литературным языком был церковнославянский. Для диглоссии характерно вообще принципиальное противопоставление литературного (книжного) и разговорного языка и четкое распределение их функций: если, с одной стороны, разговорный язык не признается возможным в литературном употреблении (т. е. в текстах, претендующих на литературный престиж), то, с другой стороны, литературный язык не допускается в разговорном общении. Именно такие отношения и существовали в допетровской Руси между литературно обработанным (нормированным) церковнославянским языком и литературно не об-

работанным (ненормированным) языком русским (см.: Успенский, 1983/1994; Успенский, 1987/2002).

Можно сказать, что Тредиаковский стремится теперь воссоздать ситуацию диглоссии в специальных рамках гражданского языка. Отсюда установка на «двоякое (сугубое) употребление» или «двойственный диалект»[15], а именно, литературный («славянороссийский») и разговорный («российский») (см. «Разговор об ортографии» 1748 г., статью о прилагательных 1755 г. и предисловие к «Тилемахиде» 1766 г. — Тредиаковский, III, с. 213; Пекарский, 1865, с. 107; Тредиаковский, II, с. LXXIII), — причем отношение между литературным и разговорным языком строится именно по принципу диглоссии. Очень характерно в этом плане стремление привести во взаимно-однозначное соответствие литературные и разговорные формы, отчетливо проявляющееся в глоссах у Тредиаковского: отношения между литературной и разговорной речью явно копируют отношения между церковнославянским и русским языком[16].

Литературный («славенороссийский») язык понимается Тредиаковским как язык книжный, письменный по преимуществу; он искусственно создается, отталкиваясь от разговорного («самого общего») языка; отсюда, в частности, характерное словотворчество Тредиаковского, очень близкое к тому, что имеет место у пуристов конца XVIII — начала XIX в. Таким образом, являясь традиционалистом в самом отношении к литературному языку (поскольку он следует традиционной для России схеме отношений между литературным и разговорным языком), Тредиаковский выступает как новатор в творимых им формах этого языка.

«Славенороссийский» (т. е. светский литературный) язык фактически противостоит у Тредиаковского как «российскому» (разговорному), так и «славенскому» (церковнославянскому) языку, но при этом имеет место явная ориентация «славенороссийского» языка на «славенский»: таким образом «славенороссийский» язык предстает как результат искусственной архаизации разговорного языка за счет церковнославянской стихии, осуществляемой прежде всего в лексическом плане. «Славенский» язык провозглашается Тредиаковским «мерой чистоты» русской речи (эпиграмма на Сумарокова, см. ниже)[17], и соответственно «скудость и теснота Французская» может противопоставляться теперь «богатству и пространству Славенороссийскому»[18]; так, в предисловии к «Тилемахиде» (1766) Тредиаковский говорит о «славенороссийском», т. е. русском литературном языке: «Природа ему даровала все изобилие и сладость языка того Еллинскаго, а всю важность и сановность Латинскаго. На чтож нам претерпевать добровольно скудость и тесноту Французскую, имеющим всякородное богатство и пространство Славенороссийское» (Тредиаковский, II, с. LXIII)[19]. Вообще, если в свое время Тредиаковский всячески превозносил достоинства французского языка и стремился уподобить русский язык французскому (см. выше, § **II-1**), то теперь, напротив, он настойчиво подчеркивает те преимущества, которыми обладает русский язык по сравнению с французским. Вместе с тем, если ранее Тредиаковский противопоставлял французский язык латыни — и вообще отдавал явное предпочтение живым национальным языкам, ориентированным на употребление, перед

мертвыми языками, где есть только правила, но нет критерия употребления (см. выше, § **II-4.3**), — то теперь он предпочитает сравнивать русский литературный язык с классическими языками древности, т. е. латинским и греческим[20].

В этот период своего творчества Тредиаковский настойчиво подчеркивает специфику русской языковой ситуации, отличающую ее от ситуации в странах Западной Европы. Критикуя языковую концепцию Сумарокова, Тредиаковский писал в эпиграмме «Не знаю, кто певцов в стих вкинул сумасбродный…» (1754):

Он красотой зовет, что есть языку вред:
Или ямщичий вздор, или мужицкий бред.
. . . .
За образец ему в письме пирожный ряд.
На площади берет прегнусный свой наряд,
Не зная, что у нас писать в свет есть иное,
А просто говорить по-дружески — другое.
. . . .
У немцев то не так, ни у французов тож:
Им нравен тот язык, кой с общим самым схож.
Но нашей чистоте вся мера есть славенский,
Не щегольков, ниже́ и грубый деревенский.

(Успенский, 1984/1996, с. 377 — наст. изд., с. 483)[21]

Более подробно Тредиаковский говорит о том же во второй редакции статьи о прилагательных (1755): «Ведомо, что во-французском язы́ке, дружеский разговор есть пра́вило красным сочинениям[22] (de la conversation a la tribune), для того что у них нет другаго. Но у нас дружеский разговор есть употребление простонародное; а краснейшее сочинение есть иное изряднейшее употребление, отменное от простаго разговора, и подобное больше книжному Славенскому, о котором-можно-пра́ведно сказать, что-оно-есть-ва́жное, приятное, дельное, сильное, философическое, приличествующее больше высоким наукам, нежели нежным, для того что Славенский язык есть мужественный[23]. Никто не пишет ни письма́ о домашнем деле, чтоб он не тщался его написать отменнее от простаго разговора: так что сие всеобщим у нас правилом названо быть может, что „кто-ближе подходит писанием гражданским к Славенскому язы́ку, или, кто-бо́льше славенских обыкновенных и всех ведомых слов употребляет, тот у нас и не подло пишет, и есть лучший писец“. Не дружеский разговор (la conversation) у нас пра́вилом писания; но книжный церьковный язык (la tribune), который-ра́вно в духовном обществе есть живущим, как-и-бесе́дный в гражданстве[24]. Великое наше счастие в сем, пред многими Европейскими народами!» (Пекарский, 1865, с. 109)[25]. О том, что французский и немецкий языки, в отличие от русского, «не имеют кроме гражданскаго употребления», Тредиаковский говорит также в предисловии к «Тилемахиде» 1766 г. (Тредиаковский, II, с. LXXIV, примеч.; ср. подробнее ниже, § **III-2.1**)[26].

Точно так же Шишков в дальнейшем противопоставляет русскую и французскую литературно-языковую ситуацию, отмечая при этом (в «Прибавлении к Рассуждению о старом и новом слоге…»), что если французский язык «процве-

тал под пером светских писателей», книжный русский язык процветает только «под пером духовных»; отсюда следует вывод о значении церковной литературы для светских авторов (Шишков, II, с. 417, 421–424). Подобно Тредиаковскому, Шишков утверждает, что французский язык беднее русского, поскольку в нем нет высокого слога, ориентированного на церковнославянское начало: «… Сила Давидовых песней (и вообще всех высоких сочинений) на Славенском языке превосходит силу оных на Француском, по не имению в сем последнем таковых слов, как *растерзал*, *вретище*, и тому подобных, отличающих высокий слог от простонароднаго. Французы… часто должны бывают употреблять одинакия слова, как в простом, так и высоком слоге. Они например между выражениями: *он разодрал свое платье* и *он растерзал свою одежду*, не могут чувствовать такой разности, какую мы в своем языке чувствуем, потому что они как в том, так и в другом случае употребят одинакий глагол déchirer… Малое упражнение в языке своем и безпрестанное чтение одних переводных с Французскаго языка книг заразило некоторых писателей ложным мнением, что поелику не находят они сих возвышенных слов во Француском языке, то и в нашем оныя не иное что суть, как Славянчизна, старина, которую должно презирать и оставлять без употребления» («Опыт Славенскаго словаря» — Шишков, V, с. 134–135)[27]. Соответственно Шишков, так же как и Тредиаковский, настаивает на необходимости размежевания книжного и разговорного языка, которые различаются именно по критерию близости к языку церковнославянскому, ср., например: «Поверьте мне, господа писатели, что ненавистники славенского языка вас совсем с пути сбили. Нельзя важные сочинения писать таким слогом, как мы говорим дома с приятелями» (из заметок о трагедии Озерова «Димитрий Донской» — Сидорова, 1956, с. 171). Одинаковое понимание литературного языка как книжного языка, принципиально противопоставленного разговорной речи, проявляется у обоих авторов в стремлении установить корреляцию между книжными и разговорными формами: параллельные соответствия церковнославянских и просторечных выражений, которые в большом количестве мы находим у Шишкова (см.: В. Виноградов, 1935, с. 66–67), разительно напоминают глоссы Тредиаковского, хотя и выполняют другую задачу (если у Тредиаковского соответствия такого рода призваны пояснить книжные формы, то у Шишкова они иллюстрируют обычно невозможность замены книжной формы на разговорную).

2.1. Стремясь воссоздать ситуацию диглоссии в рамках гражданского употребления, Тредиаковский констатирует — и это особенно важно для нашей темы, — что традиционное для России понимание литературного языка как книжного языка, принципиально противопоставленного живой речи, разделяется далеко не всеми. В «Разговоре об ортографии» (1748) он указывает, что «при дворе некоторыи не принимают двоякаго употребления в языке, и ссылаются по большой ча́сти на непрямое, и испорченное от простаков» (Тредиаковский, III, с. 213)[28]. Равным образом и в предисловии к «Тилемахиде» (1766) Тредиаковский пишет: «Когда некоторыи из Наших (привыкших к Французскому

и Немецкому Язы́кам, не имеющим кроме гражданскаго употребления, а в нашем Гражданском Сочинении увидевших два, три, речения Славенския, или Славенороссийския) восклицают как будто негодуя, *Это не порусски*: то жалоба их не в том, чтоб те речения были противны сво́йству Российскаго Язы́ка, но что оныя положены не Площадныя, не Рыночныя, и словом, не Подлыя, да и знающим знаемыя» (Тредиаковский, II, с. LXXIV, примечание). Итак, по свидетельству Тредиаковского, не перестают раздаваться голоса в пользу полной эмансипации русского языка, освобождения его от «славенщизны» и сближения литературного языка с разговорной речью (как это имеет место в странах Западной Европы). Упоминаемые Тредиаковским лица как бы продолжают следовать той программе, сторонником которой был в свое время и он сам. Соответствующая позиция, как указывает Тредиаковский, характерна для светского (придворного) общества, для тех, кто владеет иностранными языками и ориентируется на Запад. Совокупность этих указаний не оставляет сомнения в том, что речь идет о «щеголях», т. е. о прозападнически настроенной дворянской элите. Иными словами, надо полагать, что данная концепция литературного языка свойственна носителям «щегольского наречия»[29].

Замечательно вместе с тем, что осознание специфики русского литературного языка, по сравнению с литературными языками Западной Европы, в 40-е гг. XVIII в. в какой-то мере характерно и для Кантемира, который писал в своем «Письме Харитона Макентина» 1742 г.: «Язык французской не имеет стихотворнаго наречия; те-ж речи в стихах и в простосложном сочинении принужден он употреблять… Наш язык, напротиву, изрядно от славенскаго занимает отменныя слова, чтоб отдалиться в стихотворстве от обыкновеннаго простаго слога и укрепить тем стихи свои…» (Кантемир, II, с. 2–3, § 5)[30]. Здесь же Кантемир подчеркивает необходимость перестановки слов в стихах, т. е. синтаксической инверсии, которая также призвана служить обособлению специального «стихотворного наречия» от «обыкновенного простого слога» (см. там же). Позиция Кантемира может показаться близкой к позиции молодого Тредиаковского, который, как мы уже видели (§ **II-3**), также допускает в стихах использование славянизмов и перестановку слов; вообще в «Письме Харитона Макентина» можно усмотреть непосредственное влияние теоретических взглядов Тредиаковского[31]. Но если Тредиаковский в свое время трактовал подобные приемы как «вольность», лишь допустимую в поэтическом тексте, то Кантемир настаивает, в сущности, на их необходимости.

Наконец, и Ломоносов, как известно, отказывается — приблизительно в те же годы — от своей первоначальной концепции литературного языка как языка, ориентированного на разговорную речь, и признает необходимость обогащения русского литературного языка за счет использования церковнославянских средств выражения (см. в этой связи § **III-5**). Можно сказать, таким образом, что Тредиаковский, Кантемир и Ломоносов претерпевают более или менее аналогичную эволюцию в своих взглядах (ср. выше, § **II-2.2**)[32], но именно у Тредиаковского она находит наиболее четкое и последовательное выражение. В самом деле, уста–

новка Кантемира имеет гораздо более эклектический, а программа Ломоносова — существенно более компромиссный характер.

3. В этот период Тредиаковский не противопоставляет «славенский» и «российский» языки, но подчеркивает их субстанциональную общность. Уже в первой редакции статьи о прилагательных 1746 г. Тредиаковский говорит о «сличии и сходстве, по са́мой бо́льшей ча́сти, славенскаго с нашим языка, о котором всем весьма есть известно, что он нашему источник и корень, и с которым наш мало нечто разнится» (Вомперский, 1968, с. 87). По словам Тредиаковского, «российский наш язык имеет одну… природу с славенским», и это положение иллюстрируется общностью лексики, морфологии и синтаксиса: «… Так что руский наш язык и называется славенороссийский, тоесть, российский по народу, а славенский по своей природе» («Разговор об ортографии», 1748 г. — Тредиаковский, III, с. 202–203). Церковный язык признается «щитом и утверждением» российского языка: «… Щит ему [российскому языку] и утверждение безсмертный наш язык церковный. Итак, будет он вечно и достодолжно называться Славенороссийским» («Три рассуждения…», 1758 г. — Тредиаковский, III, с. 372). В других случаях Тредиаковский говорит о «Славенском, или церковном» языке, «который-нашему-Славеноросси́йскому, или Гражданскому, и источник, и отец, и точное подобие, и от коего-ни-на-пе́рст, чтоб так сказать, наш не отступает» (статья о прилагательных 1755 г. — Пекарский, 1865, с. 103), или о «Славенском языке, или уже́ Славенороссийском, непосредственно проистекающем от того» (предисловие к «Тилемахиде» 1766 г. — Тредиаковский, II, с. LXXIV)[33]; оба языка в своем существе как бы составляют единое целое, различия между ними имеют поверхностный характер.

Само название «славенороссийский», вводимое Тредиаковским как наименование русского литературного языка, призвано вообще продемонстрировать принципиальное — природное — единство церковнославянского и русского языков. Необходимо иметь в виду, что ранее (до Тредиаковского) наименование «славеноросс(ийс)кий» означало то же, что «славенский», т. е. выступало как обозначение церковнославянского языка (русской редакции)[34], — вводя соответствующую терминологическую дифференциацию, Тредиаковский явно стремится подчеркнуть внутреннюю связь между церковнославянским и русским литературным языком, которые понимаются в сущности как один язык, реализующийся в церковной и в гражданской сфере[35].

Мысль о том, что церковнославянский и русский представляют собой две разновидности одного языка, различающиеся лишь на поверхностном уровне, очень отчетливо выражена уже в «Разговоре об ортографии» (1748): по словам Тредиаковского, «всяк и не ученый наш совершенно разумеет славенский язык в церьковных наших употребляемый книгах, чемуб отнюд быть невозможно, ежелиб славенский язык не́ был один и тот же с нашим». И далее: «Вся разность, которая находится у нашего [языка] с славенским, касается

токмо, так сказать, до поверхности языка, а не до внутренности, тем что состоит она либо в нововводных словах, восприятых от чужих языков; либо в отменных весьма немногих словах, как за славенское *аще*, *у* нас *ежели*, либо в простейшем выговоре от народа введенном, как вместо *глава*, *голова*, вместо *пити*, *пить*, вместо *млеко*, *молоко*. Но такая разность не мешает нимало, быть нашему языку одним и тем же с славенским...» (Тредиаковский, III, с. 203). Этот вывод дословно повторяется затем в «Трех рассуждениях...» (1758), где Тредиаковский также настаивает на том, что «Российский язык один и тот же с Славенским» (там же, III, с. 524, примеч.). О «единстве Славенския и Российския речи» Тредиаковский упоминает и в предисловии ко II тому «Римской истории» (1762), ссылаясь при этом на то, что «Славянин и Россиянин едино есть по Родоначалию» (Тредиаковский, 1761–1767, II, с. *з*). В другом сочинении Тредиаковский писал, что «язык наш стал славенороссийским [из „славенского“, т. е. церковнославянского], для того что уже́ он начал принимать слова́ варяжския, то есть Российския, каковы, может быть, *лоб* вместо *чела́, вор* вместо *татя*, *глаз* вместо *ока*, *рот* вместо *уста́*, *губы* вместо *устне*, *изба* вместо *клеть*, *крик* вместо *вопль*, и прочия премногия, так как он же ныне примешал, приняв прежде многия и татарския слова́, в себя ж от собщения токмо многияж из всех почитай Европейских...» (отзыв о диссертации Миллера, 1750 г. — Пекарский, II, с. 246). Итак, расхождение между церковнославянским и русским языком объясняется в данном случае исключительно иноязычным влиянием[36]. Это разительно отличается от того, что Тредиаковский говорил в первый период творчества, когда он утверждал, напротив, что церковнославянский и русский суть два разных и равноправных языка (см. выше, § **II-2**).

Примечательно, что если ранее Тредиаковский противопоставлял «славенский» и «российский» языки, ссылаясь на то, что «Славянин» и «Россиянин» не понимают друг друга (Тредиаковский, 1737, с. 16; ср. выше, § **II-4**), то теперь, напротив, он настаивает на принципиальном единстве «славенского» и «российского» языка, ссылаясь на то, что «Славянин и Россиянин едино есть», и подчеркивая полную понятность «славенского» языка для русских. Совершенно так же, если ранее Тредиаковский, исходя из сходства языковой ситуации в России и во Франции, уподоблял русский язык французскому, а церковнославянский латыни, теперь он заявляет о неправомерности такого уподобления; этот вывод в полной мере отвечает вообще признанию специфики русской языковой ситуации, которое и обусловливает пересмотр концепции литературного языка (ср. § **III-2**). Так, говоря в «Разговоре об ортографии», что разница между русским и церковнославянским языком не мешает «быть нашему языку одним и темже с славенским», Тредиаковский замечает: «Мешалаб она, ежелиб была такая, какая у Латинскаго с Французским, италианским, и гишпанским, длятого что сии три языка отменились от латинскаго всею природою сочинения, хотя и ясно видимо, что оне произошли от него, так что сим трем народам надобно учиться полатински, чтоб его разуметь; а мы все разумеем наш славенский и неучась. Следовательно, наш язык есть один и тотже с славенским» (Тредиаковский, III,

с. 203–204). Итак, латынь и французский (resp.: итальянский, испанский) различаются по своей природе; между тем церковнославянский и русский имеют «одну природу» и соответственно должны рассматриваться как две разновидности (реализации) одного и того же языка.

Такое понимание характерно вообще для диглоссии: члену языкового коллектива при диглоссии свойственно воспринимать сосуществующие языковые системы как один язык, который реализуется как бы в двух ипостасях — высокой (книжной) и низкой (некнижной), — тогда как для лингвиста или вообще стороннего наблюдателя естественно в этой ситуации видеть два разных языка (Успенский, 1983/1994, с. 6; Успенский, 1987/2002, с. 25, § 2.2). Именно на таком понимании и будут впоследствии настаивать Шишков и его сторонники[37]. Они также утверждают, что «славенский» и «русский» — это в сущности один и тот же язык; «русский», т. е. разговорный язык, предстает как результат порчи языка «славенского», обусловленной главным образом иноязычным влиянием. По словам Шишкова, «язык у нас славенский и руский один и тот же. Он различается только (больше нежели всякой другой язык) на высокой и простой. Высоким написаны священныя книги, простым мы говорим между собою и пишем светския сочинения, комедии, романы, и проч. Но сие различие так велико, что слова, имеющия одно и тоже значение, приличны в одном и неприличны в другом случае: *воззреть очами* и *взглянуть глазами* суть два выражения, не смотря на одинакое значение слов, весьма между собою различныя. Когда поют: *се жених, грядет во полунощи*, я вижу Христа; но когда тож самое скажут: *вон жених идет в полночь*, то я отнюдь не вижу тут Христа, а просто какова нибудь жениха. Сколько смешно в простых разговорах говорить высоким славенским слогом, столько же странно и дико употреблять простой язык в священном писании. Не всяк ли бы поневоле разсмеялся, естьли бы в Псалтыре вместо: *рече безумен в сердце своем несть Бог*, стали читать: *дурак говорит нет Бога*? Между тем смысл в сих двух выражениях есть один и тот же… Вместо: *Аз есмь Господь Бог твой*, столько же странно сказать: *Я Бог твой*, сколько в какой нибудь простой речи, например вместо: *я еду в гости*, сказать: *аз еду в гости*» («О переводах Священных писаний» — Шишков, 1870, II, с. 215–216). В другом месте Шишков писал: «В книге могу я сказать: *гряди Суворов, надежда наша, победи врагов!* но естьли бы я в личном моем разговоре с ним сказал ему это, так бы все сочли меня сумасшедшим. В книге могу я сказать: *звездоподобный*, *златовласый*, *быстроокий*; но естьли бы я в беседе таким образом разговаривать стал, так бы всех поморил со смеху… Весьма бы смешно было в похвальном слове какому нибудь Полководцу, вместо: *Герой! вселенная тебе дивится*, сказать: *Ваше Превосходительство, вселенная вам удивляется*» («Прибавление к Рассуждению о старом и новом слоге…» — Шишков, II, с. 433–434). Шишков довольно точно формулирует здесь принцип диглоссии: невозможность употребления книжного языка в контексте, предполагающем разговорную речь, и наоборот. Именно такой подход и позволяет ему рассматривать церковнославянский и русский как один язык: «Отколе родилась неосновательная мысль сия, что Славенский и Руский язык

различны между собою? Ежели мы слово *язык* возмем в смысле наречия или слога, то конечно можем утверждать сию разность; но таковых разностей мы найдем не одну, многия…», — заявляет Шишков в своем «Рассуждении о красноречии Священного Писания…» (Шишков, IV, с. 55 и сл.); соответственно Шишков предпочитает говорить вообще о «славенском, также называемом российском языке»[38]. Между тем, литературные противники Шишкова полагают, напротив, что «славенский» и «русский» представляют собой два разных и в общем равноправных языка (см. выше, § **I-3.1**) — в точности так же, как полагал и Тредиаковский в первый период творчества.

Характерным образом высказывания Шишкова могут дословно соответствовать при этом заявлениям Тредиаковского: так, например, слова Шишкова о том, что «Славенский язык есть корень и основание Российскаго языка» («Рассуждение о старом и новом слоге…» — Шишков, II, с. 81), разительно напоминают утверждение Тредиаковского, согласно которому «славенский» язык есть «нашему [языку] источник и корень» (статья о прилагательных 1746 г. — Вомперский, 1968, с. 87). Подобные совпадения, может быть, не случайны.

Утверждая принципиальную общность «славенского» и «русского» («российского») языка, Шишков замечает в «Прибавлении к Рассуждению о старом и новом слоге…»: «… Естьли Славенский язык отделить от Российскаго, то из чего же сей последний состоять будет? Разве из одних Татарских слов, как-то: *лошадь*, *кушак*, *калпак*, *сарай*, и проч.; да из площадных, и низких, как-то: *калякать*, *чечениться*, *хохлиться,* и тому подобных; да из чужестранных, как-то: *гармония*, *элоквенция*, *сериозно*, *авантажно*, и проч.» (Шишков, II, с. 359, примеч.). Это в точности соответствует цитированному выше высказыванию Тредиаковского о том, что основное различие между «славенским» и «российским» языком «состоит… в нововводных словах, восприятых от чужих языков» («Разговор об ортографии» — Тредиаковский, III, с. 203). Необходимо отметить вообще, что при объединении «славенского» и «русского» языка в языковом сознании «славенский» язык воспринимается как свой, а «русский» связывается с инородным началом. Между тем, при размежевании этих языков и уравнивании их в правах «русский» естественно воспринимается как свой язык, а «славенский» — как чужой. Отсюда как Тредиаковский (во второй период), так и Шишков могут расценивать те русские слова, которые не находят себе соответствия в церковнославянском, как иноязычные заимствования (характерны в этом смысле цитированные выше рассуждения Тредиаковского о «варяжских, то есть Российских» словах — таких, как *вор*, *лоб*, *глаз*, *рот*, *губы*, *изба*, *крик*, — в отзыве о диссертации Миллера, см.: Пекарский, II, с. 246)[39].

3.1. Отношение к церковнославянскому языку исключительно наглядно демонстрирует эволюцию взглядов Тредиаковского. Если ранее Тредиаковский говорил о церковнославянском и русском как о разных языках, то теперь он признает их разновидностями одного языка. Если ранее он утверждал непонятность церковнославянского языка, то теперь, напротив, он настаивает на полной его

понятности. Если ранее он сопоставлял церковнославянский с латынью (а русский — с французским), то теперь он подчеркивает неправомерность такого сопоставления. Соответственно, если ранее он выступал против славянизмов в русском литературном языке, то теперь он является горячим сторонником славянизации литературного языка; в частности, если ранее славянизмы объявлялись поэтическими «вольностями», т. е. рассматривались как допустимое отклонение от нормы, то теперь таким образом трактуются русизмы. Признавая субстанциональную общность церковнославянского («славенского») и русского («славенороссийского», «российского») языка и рассматривая их как один язык, Тредиаковский ориентируется на проникновение в дух языка, в его глубинную сущность, в его природу; поскольку церковнославянский и русский языки совпадают по своей природе, постольку «мера чистоты» русского языка и определяется его близостью к церковнославянскому.

Представление о том, что русский язык происходит из церковнославянского и имеет с ним «одну природу», обусловливает возможность объединения в языковом сознании славянизмов и архаических русизмов. Именно в языке Тредиаковского намечены те пути консолидации церковнославянской и народной языковой стихии, по которым будут следовать затем Шишков и другие «архаисты». Этимологические разыскания Тредиаковского в «Трех рассуждениях о трех главнейших древностях Российских» 1758 г. (см.: Тредиаковский, III, с. 317 сл.) как бы предвосхищают аналогичные поиски Шишкова, ср. вообще интерес к «коренным» или «первобытным» словам в конце XVIII — начале XIX в. (Лотман и Успенский, 1975/1996, с. 462–465). При этом то обстоятельство, что церковнославянский и русский языки мыслятся как о д и н и т о т ж е я з ы к, позволяет как Тредиаковскому, так и его последователям сочетать славянизмы и «коренные» русизмы без какого-либо оттенка макаронического обыгрывания. Это сочетание славянизмов и просторечных элементов и составляет основную особенность стиля Тредиаковского (ср.: Пумпянский, 1941, с. 234, 236–237, 262).

В соответствии с положением, что одно из основных отличий русского языка от церковнославянского состоит в заимствованной лексике — «в нововводных словах, восприятых от чужих языков» (см. цитированное выше свидетельство «Разговора об ортографии»), — славянизация литературного языка может проявляться именно в отказе от заимствований. Соответственно, в предисловии к «Аргениде» (1751) Тредиаковский заявляет: «Почитай ни одного от меня… не употреблено чужестраннаго сло́ва, сколькоб которыя у нас ныне в употреблении ни́были; но все возможныя изобразил нарочно, кроме митологических, славенороссийскими равномерными речами: ибо род и важность по́вести сея того требовали» (Тредиаковский, 1751, I, с. LX–LXI). Не менее показательно, что, перепечатывая в собрании сочинений 1752 г. свои ранние произведения, например оду «О здаче города Гданска» 1734 г., Тредиаковский может последовательно устранять оттуда заимствованную лексику (см.: Алексеев, 1982, с. 96). Вообще заимствования из новых европейских языков, которые наблюдаются у Тредиаковского в первый период творчества, в принципе не характерны для второго периода.

В эпиграмме на Сумарокова (1754) Тредиаковский эксплицитно противопоставляет «избранные слова», т. е. славянизмы, «странным», т. е. заимствованным словам, причем противопоставление славянизмов и заимствований (европеизмов) осмысляется, видимо, в плане оппозиции книжного и разговорного начала: славянизмы относятся к книжной языковой стихии, а европеизмы — к разговорной (ср.: Лотман и Успенский, 1975/1996, с. 487–488):

Славенский наш язык есть правило неложно,
Как книги нам писать, и чище коль возможно,
В гражданском и доднесь, однак не в площадном,
Славенском по всему составу в нас одном.
Кто ближе подойдет к сему в словах избранных,
Тот и любее всем писец есть, и не в странных.

(Успенский, 1984/1996, с. 377 — наст. изд., с. 483)

Обсуждая в «Трех рассуждениях…» (1758) деградацию латинского и греческого языков в результате смешения их с другими языками, Тредиаковский замечает: «… Тож ныне страждет и наш Славенороссийский, принявший в себя слова чужеродныя западныя, от единаго токмо теснейшаго сообщения с западными народами. Однако, наш никогда во всеконечное повреждение упасть не возможет: твердо и во веки его содержит, хранит, и спасает от проказы Славенский книжный» (Тредиаковский, III, с. 511).

Итак, если ранее Тредиаковский выступал как проводник и проповедник западноевропейского влияния, то теперь, напротив, западноевропейское влияние признается вредным или во всяком случае опасным для русского литературного языка — спасение от него Тредиаковский видит в обращении к церковнославянской традиции. Характерно, что если в первый период Тредиаковский сопровождает глоссами заимствованные слова, которые он сознательно вводит в литературный язык (ср., например, глоссы к таким словам, как *декрет*, *ботаника*, *каталог*, *портрет*, *мода*, *пансион*, *метр-д'отель*, в «Военном состоянии Оттоманския империи», 1737 г. — Тредиаковский, 1737, с. 21, 29, 34, 37, 40, 59), то во второй период он считает нужным глоссировать «славенороссийские» речения (ср., например, глоссы в «Тилемахиде» 1766 г., см. выше, § **III-2**). Это очевидным образом соответствует изменению представлений Тредиаковского о природе русского литературного языка — в обоих случаях глоссами снабжаются слова, которые имеют отчетливо выраженный литературный статус; при этом заимствованные слова, которые раньше объяснялись, могут служить теперь для объяснения «славенороссийских» слов, т. е. объясняющее и объясняемое поменялись местами[40]. Отношение Тредиаковского к иноязычным заимствованиям (в рассматриваемый период) ближайшим образом напоминает отношение к ним «архаистов» второй половины XVIII — начала XIX в.

Стремление избежать иноязычных заимствований обусловливает процесс калькирования и появление неологизмов, которые закономерно оформляются при этом по церковнославянским моделям (ср.: Лотман и Успенский, 1975/1996, с. 456 сл.). Вместе с тем, наряду с искусственным образованием неославянизмов

Тредиаковский в данный период широко пользуется и прямыми заимствованиями из церковных (или вообще церковнославянских) текстов. Так, в «Слове о премудрости, благоразумии и добродетели» 1752 г. (см.: Тредиаковский, I, с. 481–561) он вводит целый ряд терминов, которые должны соответствовать латинской философской терминологии; отвечая своему рецензенту (Тауберту), Тредиаковский писал в академическую канцелярию 11 декабря 1752 г.: «… Оныи термины подтверждаются все книгами нашими церковными, из которых я оныи взял» (Пекарский, II, с. 167). Замечательно, что церковные книги рассматриваются Тредиаковским как авторитетные прежде всего в стилистическом отношении (ведь семантика соответствующих терминов претерпевает при этом довольно существенные изменения). В церковных книгах Тредиаковский видит неисчерпаемый источник потенциального обогащения русской лексики, и это явно связано с тем, что церковнославянский и русский языки признаются имеющими «одну природу». Как показали специальные исследования Д. И. Чижевского и Г. Хютль-Ворт, многие слова, которые считались неологизмами, созданными Тредиаковским, в действительности взяты им из церковнославянских текстов (Чижевский, 1940, с. 114–120; Чижевский, 1942, с. 49–50; Хютль-Ворт, 1956, с. 17–18; ср. также: Петрова, 1966, с. 154 сл.). И в этом случае Тредиаковский предвосхищает практику «архаистов» второй половины XVIII — начала XIX в.[41]

4. Новая концепция русского литературного языка своеобразно сочетается с установкой на употребление, от которой Тредиаковский не отказывается и во второй период своего творчества, но понятие «употребление» получает теперь принципиально иной смысл. Любопытно проследить, как Тредиаковский постепенно отходит от прежних позиций, корректируя ранние свои высказывания по вопросам литературного языка. Достаточно показательна, в частности, содержательная правка, которой подвергаются ранние теоретические выступления Тредиаковского при их воспроизведении в собрании сочинений 1752 г. Так, перепечатывая в 1752 г. свою «Речь к членам Российского собрания», Тредиаковский делает весьма существенное добавление к тому месту, где говорится об ориентации литературного языка на употребление, а именно, указывает, что литературное употребление непременно должно быть основано «на разуме», т. е. на рациональных правилах: «… Не может общее, красное, и пишемое обыкновение не на разуме быть основано, хотя коль ни твердится употребление, без точныя Идеи об употреблении» (Тредиаковский, I, с. 266). Это добавление радикально меняет самое концепцию литературного языка. Ведь ранее, как мы знаем, Тредиаковский был верным последователем Вожела, который как раз противопоставлял «употребление» («usage») «разуму» («raison») и решительно отвергал возможность какой бы то ни было рациональной мотивировки «доброго употребления» («bon usage») (см. выше, § **I-5**). При этом, если в 1735 г. в «Речи к членам Российского собрания» Тредиаковский призывал к совершенствованию разговорной речи, на которой, как он тогда полагал, и должно основываться литературное употребление, — иными словами,

призывал писать, как говорят, — то в 1752 г. он говорит о совершенствовании как разговорной, так и письменной речи: разговорная речь уже не признается единственным основанием литературного языка и самодостаточным средством к овладению им и его совершенствованию. Во фразе «Научат нас искусно им [русским языком] говорить благоразумнейшие… Министры, и премудрейшие Священноначальники…» к слову говорить в редакции 1752 г. добавлено: «и писать». Равным образом, утверждая теперь, что употребление должно основываться на разуме, Тредиаковский, как мы видели, говорит об «общем, красном, и пишемом обыкновении». Эта модификация, это смещение акцентов также чрезвычайно значимы.

Уже со второй половины 1740-х гг. Тредиаковский, формально оставаясь последователем Вожела и повторяя его положения, вносит в них новое содержание. Тредиаковский впервые упоминает о «разуме» применительно к «употреблению» в статье о прилагательных 1746 г.: он говорит в этой статье, что в тех случаях, когда приходится выбирать между разными употреблениями, «тому [употреблению] должно следовать, которое согласнее с разумом, и от сего зашчишчено быть может» (Вомперский, 1968, с. 88, ср. также с. 89). Более подробно те же мысли развиваются в «Разговоре об ортографии» 1748 г., где Тредиаковский вкладывает в уста Употреблению следующие заповеди, непосредственно восходящие к декларациям Вожела[42]: «Мне употреблению да будет всегда повиновение… Власть моя над всеми языками есть превеликая, и, так сказать, не имеюшчая пределов…[43] Чегоради, меня надлежит предпочитать всеконечно всем пра́вилам, от грамматистов положенным, которыя уже́ не согласны со мною употреблением: ибо не от пра́вил я употребление, но от меня пра́вила в живушчих языках… Я употребление, есмь наибольше всеобшчее, и наибольше с собою согласное…»[44]; но вслед за тем Употребление прибавляет: «Однако, не столько я всеобшчим, и с собою согласным[45] [являюсь], чтоб во мне самых малых, и почитай нечувствительных языку, не́-было разностей[46]. В таком случае, то я правым почитаю, что с разумом согласно, и им одобрено быть может: ибо я не нечто безрассудное, но разумное» (Тредиаковский, III, с. 217–219)[47]. Соответствующие заповеди, высказанные от лица Употребления, Тредиаковский заключает так: «Подлинно, сколько сей господин употребление ни показывал свою́ власть над языком: однако, видно что и сам он повинуется иногда разуму длятого токмо, что милость его[48] не хочет быть в премногих головах без всякаго рассуждения. Я не таюсь: я поныне подлинно думал, что власть употреблениева над языком есть ничем не ограниченная; но теперь вижу, что и им самим разум владеет» (Тредиаковский, III, с. 221–222); это признание со всей ясностью свидетельствует о пересмотре языковой концепции, т. е. Тредиаковский открыто признается в том, что его взгляды на литературный язык претерпели существенное изменение.

В соответствии с этой новой концепцией языка Тредиаковский призывает в «Разговоре об ортографии» «говорить с рассуждением» и настаивает вообще на необходимости «благоразумного» («благорассудного») употребления. Он заявляет: «И понеже употребление языка, есть не нечто слепое, но благора-

зумное, длятого что благоразумными утверждаемое, и от искусных восприемлемое: тогоради и силу оно толь великую имеет над языком» (Тредиаковский, III, с. 214). Но здесь Тредиаковский в сущности уже прямо полемизирует с Вожела, который сопоставлял употребление с верой, говоря, что и то и другое необходимо принимать «просто и слепо, не обращаясь за естественным разъяснением к разуму» («… Il est de l'Usage comme de la Foy, qui nous oblige à croire simplement et aveuglément, sans que nostre raison y apporte sa lumiere naturelle» — Вожела, 1647, л. 7 об.). Скрытая полемика с Вожела содержится и во второй редакции статьи о прилагательных (1755), где Тредиаковский говорит: «Знаю, что употребление, есть праведный судия язы́ку, верховный властелин над оным, и ему законодавец [это — цитата из Вожела![49]]. Но знаю и то, что-прямóе употребление есть всеобщее и постоянное: ибо, когда-оно-не-такóе, то ужé есть не употребление, но некоторая несообразимая разность в язы́ке, и его повреждение. Ежели употребление в чем ни будь различно, то прямое употребление есть оное, которое с-твéрдым разумом соглашается, и от него одóбрено быть может: ибо нет другаго праведнейшаго Судии на изыскание истинны, кроме разума, когда-употребление-несхóдство и пестроту какую имеет. Буде же из двух, или многих разностей, никоторая от твердаго разума подтвердиться не может, то, в таком случае, должно следовать тому, что-или-бóльшая, или просвещеннейшая часть людей употребляет» (Пекарский, 1865, с. 107). Характерно, что если ранее — в первой редакции статьи о прилагательных (1746) и в «Разговоре об ортографии» (1748) — Тредиаковский в случае вариации употребления рекомендовал выбирать то, которое согласуется с разумом, то теперь он высказывается более решительно: употребление в принципе должно быть согласно с разумом, и только когда разум не дает достаточного основания для выбора того или иного варианта, ставится вопрос о каком-то ином критерии, причем в этом случае рекомендуется следовать употреблению просвещенных (ученых) людей, т. е. именно разумной части общества[50].

«Благоразумное» употребление, к которому призывает теперь Тредиаковский, предполагает, в сущности, ориентацию на рациональные грамматические правила[51]. Такая ориентация органически связывается у Тредиаковского с подчеркиванием церковнославянской основы русского литературного языка — с провозглашением церковнославянского языка «правилом писания» и «мерой чистоты» русской речи (ср. выше, § **III-2**). Как мы уже неоднократно отмечали, противопоставление «употребления» и «грамматики» естественно ассоциируется на русской почве с противопоставлением церковнославянской и русской языковой стихии: русский язык соотносится с употреблением, а церковнославянский — с грамматическими правилами. Таким образом, обращение к церковнославянскому началу, столь характерное для Тредиаковского во второй период его творчества, закономерно обусловливает ориентацию на «правила», а не на «употребление» — одно прямо следует из другого. Тредиаковский вполне определенно говорит об этом уже в «Письме от приятеля к приятелю» 1750 г.; так, здесь высказывается предположение, что языковые погрешности Сумарокова проистекают не только от недостаточного знакомства с церковными книгами (см. выше, § **III-1**), но и от

того, «что обучался он [Сумароков] может быть по пра́вилам не своему, да чужим языкам»; Тредиаковский при этом замечает: «Сей недостаток толь есть общий, что почитай и средняго состояния люди егож предпочитают, не зная, как думаю, что бесчеснее Россианам не знать по Российски, нежели как инак» (Куник, 1865, с. 496). Соответственно Тредиаковский обвиняет здесь Сумарокова в том, что тот основывается не на «грамматике», а на «площадном употреблении», т. е. не на грамматических правилах, а на разговорном узусе (там же, с. 476). Итак, изучение «своего» (родного) языка «по правилам» признается необходимым для правильного владения этим языком, т. е. для того, чтобы «знать по Российски»[52]. Само собой разумеется, что такая позиция в корне противоположна как программе Вожела, так и программе самого Тредиаковского в первый период его творчества.

Совершенно так же идея «двоякого (сугубого) употребления», провозглашаемая в «Разговоре об ортографии» (Тредиаковский, III, с. 213–214) и затем в статье о прилагательных 1755 г. (Пекарский, 1865, с. 107), формально восходит к различению «хорошего» и «дурного» употребления у Вожела и Бюфье[53], на которых, собственно, и ссылается Тредиаковский в «Разговоре об ортографии», — но заимствуемая им схема наполняется принципиально иным содержанием. Тредиаковский, в отличие от Вожела или Бюфье (и, вместе с тем, отступая от своих прежних позиций), говорит не о социолингвистическом противопоставлении, но о противопоставлении «благоразумного» и обыкновенного употребления, которое обусловливает различение литературного и разговорного языка. В «Разговоре об ортографии» Тредиаковский пишет: «С умом ли обшчим употреблением называть, какое имеют деревенскии мужики, хотя их и больше нежели какое цветет у тех, которыи лучшую силу знают в языке? Ибо годитсяль перенимать речи у сапожника, или у ямшчика? А однако все сии люди темже говорят языком, что и знаюшчии; (тоесть, которыи или хорошее имеют воспитание, или при дворе обрашчаются, или от знатных рождены, или в науках, и в чтении книг с успехом упражнялись) но не толь исправным способом, природным языку, коль искусныи. Первыи говорят так, как они для нужды могут; но другии, как должно, и с р а с с у ж д е н и е м. И понеже употребление языка, есть не нечто слепое, но благоразумное, длятого что благоразумными утверждаемое, и от искусных восприемлемое: тогоради и силу оно толь великую имеет над языком» (Тредиаковский, III, с. 214); здесь же мы встречаем и характерный протест против «мужицкого и гражданского языка» (там же, с. 220). Тредиаковский как будто продолжает следовать программе Вожела[54], так же как он это делал в первый период своего творчества (см. выше, § **II-6**); однако теперь речь идет об ориентации не только на светских, но и на ученых людей (характерным образом при этом цитированный пассаж, как уже было показано выше, содержит полемический выпад против Вожела)[55]. Между тем, во второй редакции статьи о прилагательных (1755) Тредиаковский, в сущности, уже вовсе не говорит о светском употреблении, но ориентируется исключительно на употребление «ученых» людей. Обсуждая здесь необходимость «следовать тому, что-или-бо́льшая, или просвещеннейшая часть людей употребляет», Тредиаковский замечает: «Чрез бо́льшую часть не разуме-

ются поселяне, но учтивыи граждане, а чрез просвещеннейшую не простаки, но ученыи люди, чрез обе ж сии ча́сти не разные две, но одна и та ж…: ибо надежнее верить в чистоте язы́ка чесным и просвещенным мужам, нежели безрассудной че́рни. Из сего следует, что сугубое есть по природе употребление: одно чистое и учтивое, другое неправое и подлое, которое-больше-есть-не-употре́бление, но заблуждение, коему-родны́й отец, есть незнание» (Пекарский, 1865, с. 107). Итак, «учтивое» у Тредиаковского равнозначно теперь ученому, а «подлое» означает непросвещенное[56]; между тем у раннего Тредиаковского слово *учтивый* имело иной смысл и соответствовало не ученому, но светскому употреблению![57] При этом «учтивое» или «не подлое» употребление предполагает обращение к церковнославянскому языку, ср. цитировавшееся уже выше заявление Тредиаковского: «кто-ближе подходит писанием гражданским к Славенскому язы́ку, или, кто-бо́льше славенских… слов употребляет, тот у нас и не подло пишет…» (там же, с. 109)[58]; как видим, *писать подло* означает у Тредиаковского, в сущности, «писать, как говорят»; равным образом, говоря здесь же об употреблении «просвещеннейшей части», Тредиаковский прямо ссылается на «церковные книги» (там же, с. 108, ср. с. 107).

Соотнесение «учтивого» употребления с церковнославянской языковой стихией отчетливо выступает и в «Трех рассуждениях…» (1758), где Тредиаковский замечает по поводу названий днепровских порогов в описании Константина Багрянородного: «… Российския его [Константина] имена суть простонародныя, а Славенския учтивейших людей речения» (Тредиаковский, III, с. 529)[59]. Совершенно очевидно, что эпитеты *подлый*, *простонародный* и т. п. имеют в подобных контекстах характер не социолингвистической, а собственно стилистической оценки. Ср. в этой связи также «Письмо от приятеля к приятелю» 1750 г., где Тредиаковский решительно выступает против ориентации литературного языка на «подлое», «площадное», «сельское» употребление (Куник, 1865, с. 459, 469–470, 476, 477, 479, 482), противопоставляя его употреблению «искусных людей» (там же, с. 471); поскольку объектом его нападок является аристократ Сумароков, невозможно понимать эти слова в буквальном социолингвистическом смысле — речь идет именно об ориентации на разговорную языковую стихию (см. подробнее: Успенский, 1984/1996, с. 366–372 — наст. изд., с. 475–479). В частности, эпитет *сельский* представляет собой, видимо, буквальный перевод лат. *rusticus*, ср. *lingua rustica* как обозначение языка, противопоставленного книжной латыни; такой же смысл имеет, по всей видимости, и эпитет *мужицкий* в цитированном только что пассаже «Разговора об ортографии», а также *деревенский* в рассматривавшейся выше (в § **III-2**) эпиграмме на Сумарокова — «сельское», «деревенское», «мужицкое» выступают, таким образом, у Тредиаковского как общие характеристики разговорной речи.

Эпитету *простонародный* у Тредиаковского закономерно противостоит эпитет *благородный*. Так, например, в «Разговоре об ортографии» Тредиаковский подчеркивает «необходимость различия между простонародным и подлым[60] языком с таким, которому надлежит быть благороднее и чишче, длятого что сей

последний долженствует употребляем быть в писменных и ученых сочинениях» (Тредиаковский, III, с. 200); *простонародный* и *подлый* здесь предстают как синонимы, причем если *простонародный* антитетически соотносится с *благородным*, то *подлый* так же соотносится с *чистым*. Поскольку эпитет *простонародный*, как и *подлый*, у Тредиаковского относится к разговорной речи (всех слоев общества), эпитет *благородный* может служить ему для характеристики славянизмов, т. е. относится к языку высокого слога, а не к языку высшего (аристократического) общества. Соответственно в статье о прилагательных 1755 г. «простонародные» окончания прилагательных, введенные в 1733 г. и ориентированные на традицию приказного языка, противопоставляются «благородному» правописанию, ориентированному на церковнославянскую традицию (см.: Пекарский, 1865, с. 109–110). Между тем, в письме к Г.-Ф. Миллеру от 7 августа 1757 г., посвященном редакционным исправлениям в его (Тредиаковского) статье «О беспорочности и приятности деревенския жизни» (опубликованной в июльской книжке «Ежемесячных сочинений» за 1757 г.), Тредиаковский заявляет: «… *исскакивать*… благороднейшее, нежели *выскакивать*» (Разоренова, 1959, с. 210) и, вместе с тем, говорит об употребленном им глаголе *восследствовать*: «Подлинно, он есть не простонародный: да можно ж было приметить, что-и-сочинениийце-мое-все удаляется несколько от площадныя грязи…» (там же, с. 210). Протестуя в том же письме против замены причастной формы деепричастием на *-чи* (*снимающий* — *снимаючи*), Тредиаковский замечает: «… Деепричастия-на-(*чи*), кроме *будучи*, в высоком стиле, и особливо в стихах, не сносны… Удивительно, чего ради Справщик силою меня толкает в грязь и в тесноту площади? Я люблю всегда не за многими пробираться там, где-чище» (там же, с. 214); «грязь» площадной речи явно противопоставляется при этом «чистоте» церковнославянского языка и соотнесенного с ним высокого слога (ср. характеристику церковнославянского языка как «чистого» и как «меры чистоты» русской речи, см. выше, § **III-2**). Можно с уверенностью утверждать, что, говоря о площадной грязи, о подлости, простонародности, Тредиаковский (в этот период) не имеет в виду навыков низших слоев общества и вообще какого бы то ни было социального диалекта. Так, например, он говорит здесь же о «подлом выговоре», не различающем *ѣ* и *е* (с. 215); но различение *ѣ* и *е*, описанное Тредиаковским в «Разговоре об ортографии», было присуще исключительно норме к н и ж н о г о произношения и отнюдь не было свойственно разговорной речи, включая сюда и речь культурной и социальной элиты, — следует полагать, что и сам Тредиаковский не различал соответствующие звуки в обычном разговоре (ср.: Успенский, 1968, с. 29 сл., 54 сл.; Успенский, 1971, с. 13–15; Успенский, 1975, с. 187, 192). Итак, такие стилистические характеристики, как *благородный*, *простонародный*, *подлый* и т. п., относятся у Тредиаковского в данный период к противопоставлению книжного (литературного) и разговорного языка, но не имеют отношения к социолингвистическому расслоению общества, т. е. к социальной диалектологии[61]. В точности такое же употребление подобных эпитетов, как мы уже говорили, характерно в дальнейшем для Шишкова и его сторонников (см. выше, § **I-4**).

Сходным образом в «Разговоре об ортографии» Тредиаковский мотивирует необходимость писать во множественном числе *добрыи*, а не *добрые* и вообще различать прилагательные во множественном числе по роду, в частности, тем, что мужики-зазывалы на московских площадях произносят *добрые молодцы* (Тредиаковский, III, с. 209)[62]. Казалось бы, речь идет просто о социолингвистическом отталкивании от народного языка. Однако в действительности это не совсем так, поскольку отталкивание это осуществляется исключительно в сфере высокой, книжной речи; тем самым позиция Тредиаковского существенно отличается от программы Вожела. Действительно, Тредиаковский вполне допускает возможность несоблюдения предлагаемых им языковых норм в обычной разговорной речи и даже в письменных текстах, которые не касаются у ч е н о й м а т е р и и, — иными словами, в н е э р у д и р о в а н н о й, н е п р о с в е щ е н н о й речи: «Безразборныя окончания [т. е. не различающиеся по роду], — говорит Тредиаковский, — пускай останутся токмо в самых простых разговорах, или ешче в таких писменных сочинениях, которыя не касаются до ученых дел» (там же, с. 198)[63]. Мы видим, что идея «двоякого употребления», как будто заимствованная Тредиаковским у Вожела, фактически приспособляется им к принципу диглоссии; характерно, что применение нормы литературного языка связывается прежде всего с ученым содержанием. В самом деле, «безразборныя окончания» оказываются возможными как раз в тех речевых сферах, где в условиях церковнославянско-русской диглоссии предполагалось употребление не книжного церковнославянского, но русского разговорного языка: разговорный язык выполняет у Тредиаковского те же функции, которые он выполнял при диглоссии, однако место церковнославянского занято теперь гражданским «славенороссийским» языком.

Таким образом, продолжая пользоваться терминами и формулировками Вожела, Тредиаковский вкладывает в них принципиально новый смысл. В результате такого переосмысления схема Вожела, т. е. различение «хорошего» и «дурного» употребления, будучи применена к русской языковой ситуации, приводит Тредиаковского к диаметрально противоположным выводам по сравнению с теми, которые были сделаны им — на основании той же самой схемы! — в первый период творчества; в самом деле, если ранее она приводила Тредиаковского к борьбе со «славенщизною», то теперь она позволяет ему провозглашать церковнославянскую основу русского литературного языка. Не менее характерно, что если в свое время Тредиаковский отождествлял «простой» язык с разговорным употреблением (говоря в предисловии к «Езде в остров Любви» о «простом Руском слове, то есть каковым мы меж собои говорим» — Тредиаковский, III, с. 649; ср. выше, § **II-2**), то теперь он склонен противопоставлять эти понятия. Так, призывая в статье о прилагательных 1755 г. следовать «грамматическим правилам» и ориентироваться на «церковные книги», Тредиаковский предупреждает против опоры на те навыки разговорной речи, которые характерны для большей части носителей русского языка и распространяются в русском обществе: «… Са́мая больша́я часть у нас грамматических пра́вил не знает, и потому, са́маяж больша́я часть клонится от незнания к неправому употреблению; а мно-

жеством свои́м привлекает к себе иногда и знающих, для того что хотя-какое-есть-ло́жное употребление, но от множества употребляющих, показывается мнимо быть правым». И далее Тредиаковский заявляет: «Ведаю я в нас ложное мнение о простоте, то есть, старание говорить и писать несходственно с чистотою язы́ка, буттоб благородная и достохвальная оная простота… состояла в явном повреждении язы́ка: можно писать просто и некудряво, однако по грамматической исправности и чистоте речей» (Пекарский, 1865, с. 108–109). Как видим, Тредиаковский решительно протестует против концепции, связывающей «простой» язык с разговорным употреблением — при том, что концепция эта была провозглашена в свое время им самим! «Простой» язык как форма литературного языка предполагает, утверждает теперь Тредиаковский, ориентацию прежде всего на «грамматику», а не на употребление. Таким образом, Тредиаковский существенно переосмысляет понятие «простого» языка, согласуя его с новой концепцией литературного языка; и в этом случае он не отказывается от терминологии, которую применял ранее, но наполняет ее новым содержанием.

Итак, оставаясь по видимости последователем Вожела, Тредиаковский существенно отходит от его концепции и постепенно переходит на позиции рационалистического пуризма, в значительной степени предвосхищая взгляды Шишкова (ср.: Томашевский, 1959, с. 44). При этом заявления о значении «разума» для «употребления» непосредственно сочетаются у Тредиаковского с подчеркиванием церковнославянской основы русского литературного языка; как то, так и другое положение впервые высказывается в статье о прилагательных 1746 г. (Вомперский, 1968, с. 87–88).

В том же «Разговоре об ортографии» Тредиаковский пишет об употреблении: «Оно [употребление] так есть благорассудное, что ежели ему и случится нечто переменить в языке, или новое ввесть, не переменяет и не вводит просто и устремительно; но прежде справливается с своими уставами, которыи нарочно для языка у него зделаны, не будет ли та перемена, или какое новое введение, противно природе того языка, чье есть Употребление» (Тредиаковский, III, с. 214). Таким образом, некоторое установившееся и апробированное традицией (иначе говоря — нормативное, классическое) употребление признается исходным, из него выводятся те или иные закономерности, определяющие природу данного языка, с точки зрения которых и следует оценивать все нововведения в языке[64]. Для русского литературного языка, по мысли Тредиаковского, эта исходная ситуация задана церковнославянским («славенским») языком, который определяет «меру чистоты» русской речи. Ср. также во второй редакции статьи о прилагательных (1755): «Нет всеобщаго употребления, как-бы-оно-по-различию-времени-различа́лось [т. е. к какой бы эпохе в эволюции языка оно ни относилось], которое-всеконе́чноб противно было всеобщему сво́йству того язы́ка, в коем-оно Употребле́нием: ибо, в противном случае, не́былоб уже́ оно употреблением живущаго язы́ка, но всесовершенным его истреблением» (Пекарский, 1865, с. 107)[65]. Иначе говоря, предполагаются некоторые панхронические закономерности употребления, отвечающие природе данного языка на всех этапах его развития. По-

сколько «славенороссийский», т. е. русский литературный язык представлен как результат развития «славенского», т. е. церковнославянского, закономерности употребления в этих языках оказываются общими.

Совершенно то же будет говорить и Шишков, предлагая (в «Рассуждении о красноречии Священного Писания…») различать «общее употребление» и «частное употребление»: «… Общее объемлет весь язык и все времена; частное относится к некоторому времени и наречию», причем «частное употребление должно почерпаться из общаго или иначе сказать, язык должен быть основанием наречию…» (Шишков, IV, с. 87–88). Таким образом, «общее употребление», определяющее дух языка и его облик, признается в принципе неизменным, тогда как «частное употребление», происходящее из «общего», — подвержено изменениям. Поскольку «общее употребление» связывается для Шишкова с книжной церковнославянской языковой стихией, а «частное» — с русской разговорной стихией, позиция Шишкова мало чем отличается от позиции Тредиаковского. При этом различение «общего» и «частного» употребления у Шишкова формально восходит опять-таки к соответствующему различению у Вожела и других французских теоретиков языка XVII в. («usage général» и «usage particulier», см.: Вейнрих, 1960, с. 4, 26), но соответствующая схема наполняется существенно иным содержанием. Мысль Тредиаковского о том, что власть употребления ограничена разумом, что разум владеет употреблением («Разговор об ортографии» — Тредиаковский, III, с. 221–222) и, соответственно, «прямое употребление есть оное, которое с-тве́рдым разумом соглашается, и от него одо́брено быть может» (статья о прилагательных 1755 г. — Пекарский, 1865, с. 107), находит отклик в словах Шишкова, которые мы по другому поводу уже цитировали выше (в § **I-5**): «Мы последовали употреблению там, где разсудок одобрял его, или по крайней мере не противился оному. Употребление и вкус должны зависеть от ума, а не ум от них…» («Рассуждение о красноречии Священного Писания…» — Шишков, IV, с. 86); ср. еще у Шишкова: «… Не всегда должно полагаться на один суд навыка, не внимая советам разсудка…» («Сравнение Сумарокова с Лафонтенем» — Шишков, XII, с. 182, примеч.).

5. Языковая программа зрелого Тредиаковского (со второй половины 1740-х гг.) в ряде моментов предвосхищает ломоносовскую программу литературного языка 1750-х гг. Так, вслед за Тредиаковским Ломоносов говорит о пользе чтения церковных книг для овладения правильным русским слогом, см. особенно его рассуждение «О пользе книг церьковных…» (Сухомлинов, IV, с. 225–232; Ломоносов, VII, с. 587–592), а также § 116, 343, 512 его «Российской грамматики» (Сухомлинов, IV, с. 53, 128, 204; Ломоносов, VII, с. 431, 496, 563), ср. еще подготовительные материалы к грамматике Ломоносова (Ломоносов, VII, с. 690–691, № 8, 16); при этом ломоносовская грамматика, на титульном листе которой значится 1755 г., была фактически закончена лишь в 1756 г. и увидела свет в начале 1757 г., а трактат «О пользе книг церьковных в Российском языке», обозначенный в выходных данных 1757 г., был написан, по-видимому, в августе 1758 г. (см.:

Ломоносов, VII, с. 844–851 и 892–893). Между тем, еще в «Риторике» 1748 г. Ломоносов писал (в § 165): «Что до чтения книг надлежит, то перед прочими советую держаться книг церковных (для изобилия речений, не для чистоты)» (Сухомлинов, III, с. 219–220; Ломоносов, VII, с. 237). Примечательна эта оговорка: Ломоносов еще далек от того, чтобы связывать чтение церковных книг со стилистикой русской речи, как он это делает впоследствии в рассуждении «О пользе книг церьковных...»[66]. Тредиаковский, однако, уже в 1750 г. призывает к чтению церковных книг, совершенно определенно заявляя о них как о регуляторе стилистической правильности («Письмо от приятеля к приятелю»), и, соответственно, в 1754 г. провозглашает церковнославянский язык «мерой чистоты» русской речи (эпиграмма на Сумарокова) (см. выше, § **III-1** и § **III-2**).

Если Тредиаковский настаивает, как мы видели, на «благорассудном употреблении» (см. «Разговор об ортографии» 1748 г.), то Ломоносов говорит впоследствии о «рассудительном употреблении» — как в «Российской грамматике» (§ 86), так и в трактате «О пользе книг церьковных…» (Сухомлинов, IV, с. 41, 227; Ломоносов, VII, с. 420, 589). При этом «лучшее, рассудительное употребление» связывается в грамматике Ломоносова с грамматическими правилами и противопоставляется «повсядневному употреблению» (§ 238); в другом месте грамматики Ломоносов противопоставляет «употребление» — «правилам» (§ 256). В этой своей установке на два типа употребления Ломоносов прямо следует Тредиаковскому, хотя в отличие от Тредиаковского он не исключает «повседневного употребления», свойственного разговорной речи, из сферы литературного языка.

Примечательно, что как для Тредиаковского, так и для Ломоносова «благорассудное» или «рассудительное» употребление так или иначе связано с обращением к церковнославянской языковой стихии: в обоих случаях имеет место сознательная апелляция к церковнославянскому языку как к мере правильности русской речи. Одновременно Ломоносов заявляет в грамматике, что для собственно русского (разговорного) языка, в отличие от языка церковнославянского, нельзя дать точных грамматических правил: «у... правил грамматических, до Российских речений токмо касающихся, не льзя требовать точных изъятий без остатку», и здесь основным является критерий употребления, причем «повсядневное употребление» называется «общим всех учителем» (§ 238) — Ломоносов явно следует в данном случае Вожела, который регулярно именует употребление «учителем» (maistre). Соответственно, обсуждая здесь такие специфически русские образования, как уменьшительные (гипокористические) формы собственных имен, Ломоносов считает необходимым подчеркнуть, что такого рода формам «не по правилам, но по употреблению учиться должно» (§ 256) (Сухомлинов, IV, с. 99–100, 104; Ломоносов, VII, с. 471, 475)[67]. Заслуживает внимания в этом же смысле название шуточной пьесы Ломоносова (1750-х гг.): «Суд Российских Письмен перед Разумом и Обычаем от Грамматики представленных» или в другой редакции «Суд между Российскими Литерами перед Разумом и Обычаем, которых представляет Грамматика» (Сухомлинов, IV, с. 234–246; Ломоносов, VII, с. 379–388): противопоставление «разума» и «обычая» явно восходит к Вожела

(ср. у последнего противопоставление «raison» и «usage») и вместе с тем соотносится с противопоставлением церковнославянского и русского языков — «разум» и «обычай» выступают, таким образом, в роли арбитров, на суд которых выносится русская азбука. В какой-то мере это спор между произношением и написанием (ср. здесь: «Произношение и Правописание также между собою спорят» — Сухомлинов, IV, с. 245; Ломоносов, VII, с. 388, примеч. *д*), т. е. между устной языковой стихией и письменной традицией, поскольку первая соотнесена с русским, а вторая — с церковнославянским началом.

Ориентация на церковнославянский язык закономерно приводит обоих авторов к отказу от заимствований из иностранных языков. Пуристические декларации Тредиаковского (см. о них выше, § **III-3.1**) предвосхищают выступления Ломоносова против заимствований, см. особенно ломоносовское рассуждение «О пользе книг церьковных...» (Сухомлинов, IV, с. 230; Ломоносов, VII, с. 591), а также набросок «О переводах» второй половины 1750-х гг. (Ломоносов, VII, с. 768). Характерно при этом, что, выступая вообще против заимствований, Тредиаковский и Ломоносов никоим образом не протестуют против грецизмов, поскольку они непосредственно ассоциируются с церковнославянской языковой стихией и, в сущности, воспринимаются как славянизмы[68].

Вслед за Тредиаковским Ломоносов различает термины *славенский* и *славенороссийский*, применяя последний термин не к церковнославянскому, а к русскому литературному языку (ср. выше, § **III-3**). В то же время Ломоносов придает этому наименованию несколько иное значение, нежели Тредиаковский: под «речениями славенороссийскими» Ломоносов понимает слова, употребительные как в «славенском», так и в «российском» языке («О пользе книг церьковных...» — Сухомлинов, IV, с. 227; Ломоносов, VII, с. 589). Тем самым, если у Тредиаковского название *славенороссийский* выражает идею ориентации русского языка на церковнославянский (см. об этом в § **III-3**), то у Ломоносова это название выражает идею объединения в русском литературном языке церковнославянского и русского начала[69].

Равным образом высказывания Тредиаковского о специфике русской языковой ситуации по сравнению с языковой ситуацией в странах Западной Европы — специфике, которая определяется церковнославянским влиянием на русский язык (см. выше, § **III-2**), — предвосхищают соответствующие заявления Ломоносова. Говоря о церковнославянском влиянии, Тредиаковский восклицает: «Великое наше счастие в сем, пред многими Европейскими народами!» (статья о правописании прилагательных 1755 г. — Пекарский, 1865, с. 109). То же, в сущности, говорит Ломоносов в рассуждении «О пользе книг церьковных...»: «Сим [высоким] штилем преимуществует Российский язык перед многими нынешними Европейскими, пользуясь языком Славенским из книг церьковных» (Сухомлинов, IV, с. 227; Ломоносов, VII, с. 589)[70].

Как мы знаем, в свое время Ломоносов стоял в общем на тех же позициях по отношению к литературному языку, что Адодуров или молодой Тредиаковский, т. е. он был сторонником ориентации на употребление (см. § **II-2.2**). Этой концепции он придерживается еще и во второй половине 1740-х гг. — в то время,

когда Тредиаковский меняет свои позиции. Так, например, отвечая (в 1746 г.) на предложения Тредиаковского, касающиеся правописания прилагательных, Ломоносов говорит, что если не следовать «общему употреблению», «Великороссийской язык... больше испортится, нежели исправится» (Сухомлинов, IV, с. 2; Ломоносов, VII, с. 83). Здесь же Ломоносов приводит пример того, насколько важнее употребление, чем какие бы то ни было рационально обоснованные правила: возражая Тредиаковскому, который пытается вывести именно п р а в и л а правописания прилагательных, Ломоносов замечает: «Неправость доводов, в сих параграфах предложенных [имеются в виду предложения Тредиаковского], изъясняет следующий пример: прилагательные мужеские великороссийские на *ей* имеют в женском всегда *яя* или *ая*, в среднем *ее*: *синей*, *синяя*, *синее*; *искренней*, *искренняя*, *искреннее*; *линючей*, *линючая*, *линючее*; одно изо всех исключается только: *божей*, *божья*, *божье*. Толикое множество помянутых правильных [т. е. отвечающих правилам] прилагательных не могут преодолеть употребления и ему приказать, чтобы *божей* как прилагательное, им подобное, в женском роде было так, как они: *божая*, в среднем — *божее*» (Ломоносов, VII, с. 84, примеч.; данный пассаж не воспроизведен в изд. Сухомлинова). Этот пример наглядно иллюстрирует, по мнению Ломоносова, что при установлении языковых норм, в частности нормы правописания прилагательных, «никакие теоретические доводы не довольны, но как во всей грамматике, так и в сем случае одному употреблению повиноваться должно» (Сухомлинов, IV, с. 2; Ломоносов, VII, с. 84). Характерно, что в том же ответе Тредиаковскому Ломоносов говорит о необходимости противопоставления церковнославянского и русского литературного языка — ориентация на употребление закономерно проявляется в отталкивании от церковнославянской языковой стихии. По словам Ломоносова, «Славенской язык от Великороссийскаго ничем столько не разнится, как окончениями речений. Например, пославенски единственные прилагательные мужеские именительные падежи кончатся на *ый* и *ій*, *богатый*, *старшій*, *синій*; а повеликороссийски кончатся на *ой* и *ей*, *богатой*, *старей*, *синей*. Пославенски, *сыново́мъ*, *дѣло́мъ*, *ру́цѣ*, *мене*, *пихомъ*, *кланяхуся*; повеликороссийски: *сыновьямъ*, *дѣламъ*, *ру́ки*, *меня*, (*мы*) *пили*, (*они*) *кланялись*» (Сухомлинов, IV, с. 1; Ломоносов, VII, с. 83). Отсюда Ломоносов считает неуместным предложение Тредиаковского, в основе которого лежит ориентация на церковнославянский язык, т. е. стремление приблизить русский литературный язык к церковнославянскому. Таким образом, Ломоносов стоит еще на позициях, характерных для первого этапа кодификации русского литературного языка.

Как видим, эволюция языковой программы Ломоносова в какой-то мере повторяет эволюцию взглядов Тредиаковского на литературный язык.

6. Итак, позиция Тредиаковского в рассматриваемый период близка к концепции литературного языка у «архаистов» конца XVIII — начала XIX в. Вполне закономерна поэтому высокая в целом оценка, данная Тредиаковскому Радищевым в «Памятнике дактилохореическому витязю»[71], хотя Радищев и упрекает здесь

Тредиаковского в отсутствии вкуса[72]. Отношение к Тредиаковскому в «Беседе любителей русского слова» было, как правило, положительным (см.: Альтшуллер, 1976).

Особенно показательны отзывы о Тредиаковском епископа (впоследствии митрополита) Евгения Болховитинова в его письмах к графу Д. И. Хвостову. Так, в письме от 10 сентября 1808 г., называя Тредиаковского отцом русской тонической поэзии, Евгений замечает: «… Его Телемахида (сколько модные писцы ей ни смеются) останется важным памятником сей поэзии и силы нашего языка в оной. Я часто с удовольствием многия места сей поэмы читаю и думаю, что когда язык наш от французовщины обратится к своему началу, то Телемахида будет не столько смешить нас, как теперь» (Забелин, 1859, стлб. 249). Упоминание «модных писцов» и надежда на освобождение русского языка «от французовщины», т. е. галлицизмов, достаточно ясно свидетельствует о языковой позиции автора письма (в дальнейшем — почетного члена «Беседы любителей русского слова»). Точно так же в письме от 24 июля 1813 г. Евгений пишет о Тредиаковском: «Без него, может быть, не видали бы мы ни Ломоносова, ни Сумарокова… Правда, они ему ни в чем не подражали, и сами проложили себе новую дорогу. Но Петров, кажется, оглядывался и на него и не брезговал иногда самовымышляемыми выражениями, похожими на Тредьяковскаго[73]. Сие то в нем брезгливые критики назвали надутою славянщизною. Но славянщизна останется для нас навсегда пробным камнем красноречия нашего» (Грот, 1868, с. 150)[74]. Соответственно в письме от 30 апреля 1820 г. Евгений называет Тредиаковского «учителем нашим» (там же, с. 188), а в письме от 7 мая 1822 г. он так оценивает лексические инновации (словотворчество) Тредиаковского: «Как ни судите вы о корнесловах; но я думаю, что как Грамматики основою есть словопроизведение, так и вообще словесности. Не можно дождаться очищения и усовершения языка без остепенения значения слов. А сего то мы еще и не имеем и потому то всякой по своему толку пишет. Тредьяковский правильно начал с этимологии, но не дошел до реторики. Сумароков начал витийствовать, не научась этимологии. Ломоносов знал этимологию, но не оставил нам руководства к оной в грамматике своей, ни в реторике. Итак правильно ныне начали с Тредьяковскаго начала» (там же, с. 195). Последняя фраза, бесспорно, имеет в виду языковую практику «архаистов»[75]. Итак, Евгений не испытывает никакого сомнения относительно преемственности связи между Тредиаковским и писателями-«архаистами» начала XIX в.[76] Вполне естественно в то же время, что, по мнению Евгения, последние сочинения Тредиаковского «гораздо чище и сноснее, нежели первоначальныя» (Евгений, 1845, II, с. 215).

Весьма характерен, наконец, отзыв о Тредиаковском Катенина, который писал Бахтину в уже упоминавшемся письме от 28 апреля 1829 г.: «Г-н антикварий! просветите мое невежество: в котором году Тредьяковский издал Телемахиду? мое издание in 4 [in quarto] 1766-го года; только первое ли оно? в предъизъяснении своем он тут строгий славенофил… он пишет греческия имена, как должно,

et qui plus est, у него в сей осмеянной поэме не мало хороших и даже прекрасных стихов. После ее что ли ударился он в нежности? или, после нежностей, обдумавшись, решился снова быть речеточцем?» (Катенин, 1911, с. 143)[77]. Катенину естественно думать — по аналогии с появлением «нового слога», которому предшествовала эпоха писателей-архаистов (Фонвизина, Елагина и др.), — что Тредиаковский, так сказать, впал в карамзинизм, начав со славянофильских позиций; в действительности же дело обстояло как раз наоборот.

* * *

Итак, в языковой и литературной полемике конца XVIII — начала XIX в., в спорах «архаистов» и «новаторов», как бы отражаются различные этапы эволюции взглядов Тредиаковского на литературный язык. Можно полагать, что в деятельности Тредиаковского заложены предпосылки последующих концепций русского литературного языка, определяющие экстремальные возможности его эволюции. Тредиаковский опережает свое время — и в этом, вероятно, одна из причин непризнания его современниками; когда его идеи по существу получили признание, отношение к нему было уже определено[78].

Если иметь в виду отмеченную выше общность языковой программы Тредиаковского и карамзинистов и, вместе с тем, то обстоятельство, что в 30-е гг. более или менее сходную позицию занимают такие авторы, как Адодуров, Ломоносов и Кантемир, — то эволюция русского литературного языка в послепетровский период предстает не в виде последовательного процесса русификации (постепенного отказа от церковнославянского языкового наследия), идущего по прямой линии, а в виде чередующихся колебаний между полюсами, ассоциирующимися со «славенской» и «русской» языковыми стихиями (при том, что понятия «славенское» и «русское» взаимозависимы — негативно ориентированы, т. е. антитетически определяются одно через другое, — и соответственно на каждом этапе эволюции меняют свое содержание). Иными словами, в процессе эволюции имеет место попеременная ориентация на «книжную» и «некнижную» языковые стихии (причем «книжное» и «некнижное» на каждом этапе наполняются конкретным лингвистическим содержанием в зависимости от того, какова исходная точка развития). Обе ориентации представлены при этом в деятельности самого Тредиаковского — на разных этапах его творчества.

Мы закончим эту книгу словами Л. В. Пумпянского, который писал о Тредиаковском: «Как ничтожное угловое отклонение радиуса приводит к громадным линейным смещениям на окружности, так каждый шаг, совершенный Тредиаковским… в эти решающие годы, привел к неисчислимо важным последствиям и потому должен быть тщательно понят во всех своих деталях» (Пумпянский, 1937, с. 159); Пумпянский имеет в виду прежде всего поэтическую деятельность Тредиаковского, но этот вывод сохраняет свою силу и в отношении его деятельности как реформатора литературного языка.

ПРИМЕЧАНИЯ

[1] Говоря об «учиненной самим собою… Славенщизне», Сумароков, видимо, имеет в виду характерные для Тредиаковского (во второй период его творчества) новообразования по церковнославянским моделям, т. е. те случаи, когда славянизмы не заимствуются, а искусственно создаются в языке. Выражение *глубокая славенщизна* в сумароковском тексте, по всей вероятности, представляет собой реминисценцию программного заявления Тредиаковского об отказе от «глубокословныя славенщизны» (ср. выше, § **II-2**) — и в этом случае содержит в себе скрытый полемический заряд. Последние слова Сумарокова («тако пременяется молодых людей неверие в суеверие») связаны с изменением общей культурно-идеологической позиции Тредиаковского (ср. § **III-1** наст. работы).

[2] Ср. замечание Барсова относительно этого местоимения в «Российской грамматике» 1783–1788 гг.: «… Вместо *сий*, усилившагося примером первенствующаго в российских Стихотворцах г. Ломоносова, кажется и в стихах можно еще, а кроме стихов и должно употреблять правильное *сíи*» (Барсов, 1981, с. 82). Таким образом, Барсов рассматривает форму *сíи* как нормативную, а *сий* трактует как допустимое в стихах отклонение от нормы, т. е. как поэтическую вольность.

[3] Ср., между тем, форму *преддверие* у Тредиаковского в «Разговоре об ортографии» 1748 г., где обыгрывается связь этого слова со словом *дверь*: «Сие ваше преддверие допустило меня ужé до порога: извольте, прошу, отворить мне и дверь, и впустить меня к окончаниям прилагательных ваших имен…» (Тредиаковский, III, с. 198).

[4] Слово *поборник* в значении ʽпротивник, враг’ достаточно обычно в текстах XVIII в. — см., например, в Манифесте о восшествии на престол Екатерины Второй 1762 г. (Бартенев, IV, с. 219) или же в стихотворении Н. Н. Поповского «Возражение, или Превращенный петиметр» 1753 г. (Поэты XVIII в., II, с. 384), полемически направленном против И. П. Елагина; любопытно между тем, что в стихах Елагина, инспирировавших данное стихотворение, *поборник* употребляется в смысле ʽзащитник’ (см. там же, с. 374).

Ср. позднейшие рассуждения Сумарокова по поводу этого слова в статье «О правописании» (1771–1773): «… Слово *Поборник*, не то знаменует каково оно, но совсем противное; Поборник мой по естеству своему тот, который меня поборает: а по употреблению тот, который за меня другова поборает» (Сумароков, X, с. 14). Итак, «естество», т. е. естественное (непосредственное) восприятие данного слова, обусловленное его этимологическими связями, противопоставляется «употреблению» — под «употреблением» в данном случае понимается употребление в церковных книгах, т. е. Сумароков признает, что слово *поборник* употребляется в значении ʽзащитник’, но констатирует неестественность такого употребления, несоответствие его здравому смыслу. Не исключено, что на эти рассуждения Сумарокова оказала какое-то влияние критика со стороны Тредиаковского.

[5] С тех же позиций Тредиаковский критикует в «Письме от приятеля к приятелю» и слово *поборно* у Сумарокова (Куник, 1865, с. 482; ср.: Серман, 1965, с. 122–123). Ср. еще в этой связи критические замечания относительно употребления глагола *поборать* в отзыве Тредиаковского о сумароковской трагедии «Гамлет» от 10 октября 1748 г. (Мат. АН, IX, с. 461; Пекарский, II, с. 130).

[6] Иначе, впрочем, рассуждает Тредиаковский в отношении слова *седалище*, которое Сумароков употребляет в трагедии «Хорев» в значении ʽстул’ (Сумароков, 1747, с. 70):

«… Кий [герой трагедии] просит, пришед в крайнее изнеможение, чтоб ему подано было *седалище.* О! рассуждение слепаго мудрования. Знает Автор, что сие слово есть Славенское, и употреблено в Псалмах за стул: но не знает, что Славенороссийский язык, которым Автор все свое пишет, соединил с сим словом ныне гнусную идею, а именно то, что в писании названо у нас *афедроном*. Следовательно, чего Кий просит, чтоб ему подано было, то пускай сам Кий, как Трагическая персона введенная от Автора, обоняет. Такое точно во всем Авторово искусство!» (Куник, 1865, с. 483). Надо полагать, что Тредиаковский критикует в данном случае не столько язык, сколько авторское искусство Сумарокова, не сумевшего предугадать того комического эффекта, который образуется в данном контексте. Сумароков иронически отзывается на данное замечание в комедии «Чудовищи» (1750), где выводит Тредиаковского под видом педанта Критициондиуса, заставляя его разбирать свой «Хорев» (Сумароков, V, с. 263), но тем не менее учитывает эту критику: действительно, в последующих изданиях «Хорева» эта реплика Кия отсутствует (см.: Серман, 1965, с. 120–121). Ср. употребление слова *седалище* в значении ʻзадницаʼ в «Елисее» Майкова 1771 г. (В. И. Майков, 1867, с. 340, 354), а также в «Современнике, или Записках для потомства» Болотова 1795 г. (Морозов и Кучеров, 1933, с. 177); между тем Карамзин в переводе из Оссиана употребляет *седалище* в значении ʻсидениеʼ — видимо, в качестве славянизма, служащего задачам стилистической архаизации (В. Левин, 1964, с. 245).

[7] Это славянизированное правописание противостоит правописанию, установленному в 1733 г. и в какой-то мере продолжающему традицию приказного языка: *-е* в мужском роде, *-я* в женском и среднем; правописание последнего рода было, кажется, введено Адодуровым (см.: Успенский, 1975, с. 31–34). Тем самым эти противопоставленные друг другу системы отражают языковые установки, соответствующие различным этапам эволюции взглядов Тредиаковского на литературный язык.

[8] Сказанному не противоречит то обстоятельство, что в предисловии к своему стихотворному переложению псалмов (1753) Тредиаковский говорит о «примрачности» канонического церковнославянского перевода Псалтыри, где «примрачность» противостоит «ясности», понятности: «… Собственно Славенский наш [перевод], инде несколько примрачен, а еще-бóлее неведающим, при незнании вобще Грамматических прáвил, древностей Еврейских, и свойств Еврейскаго языка»; при этом, как подчеркивает Тредиаковский, «славенский» перевод Псалтыри с греческим «во всем согласен, кроме помянутых примрачностей» — соответственно, с помощью греческого, латинского и французского переводов он «добирался… по возможности, до желаемыя… в Славенской Псалтире ясности» (Тредиаковский, 1989, с. 6–7). Совершенно очевидно, что эпитет *примрачный*, выступающий, по всей видимости, как семантическая калька с франц. *obscur*, относится в данном случае не к общей характеристике церковнославянского языка, но к характеристике конкретного церковнославянского текста, трудного для понимания ввиду излишнего буквализма перевода. Таким образом, речь ни в коей мере не идет здесь об отрицательной оценке церковнославянского языка как такового. Более того, Тредиаковский дает понять, что непонятность («примрачность») канонического церковнославянского текста Псалтыри обусловлена слишком большой близостью к еврейскому оригиналу — настолько большой, что точное понимание этого текста предполагает, вообще говоря, знание «свойств еврейского языка»; иными словами, «примрачность» текста создается в данном случае именно отклонением от «свойств» языка церковнославянского.

Тредиаковский пользуется словом *примрачность* — примерно в это же время — в своем переводе «L'art poétique» Буало (1752), где «примрачность» опять-таки противостоит «ясности», соответствуя в этом случае франц. *sombre*:

Суть в некоих умы примрачностей таких,
Что зрится быть всегда за тучею мысль их.
(Тредиаковский, I, с. 35)

Ср. у Буало:

Il est certains esprits dont les sombres pensées
Sont d'un nuage épais toujours embarrassées.
(«L'art poétique», I, 147–148)

Равным образом, рассуждая о разнообразии стилей в предисловии к I тому «Римской истории» (1761), Тредиаковский замечает: «Сей быстр, уборист, и краток; но тем са́мым неявствен, примрачен, или и густо покровен тьмою» (Тредиаковский, 1761–1767, I, с. *s*).

[9] Слово *грековер* подразумевает, по-видимому, приверженность к православию в его традиционных формах. Если в молодости Тредиаковский был близок к католическим кругам (как в Астрахани, так и в Голландии и Франции) и даже принимал участие в акции янсенистов, направленной на объединение западной и восточной церквей (см. выше, примеч. 119 к главе II), то в зрелом возрасте он выступает как ревностный защитник православия. Теплов приводит в своей записке слова Тредиаковского (из его подметного письма 1755 г., до нас не дошедшего), обращенные против иноверцев, присутствие которых в России, по его мнению, причиняет ущерб православию: «Чтож… до единства веры, то нельзя, чтоб иноверной не мнил своей веры лучшею, и потому по времянам не подсмеевал бы господствующия» (Теплов, 1868, с. 76). Не случайно Тредиаковский может ассоциироваться в этот период с фанатиками-староверами (см. приписываемую Ломоносову «Оду Тресотину» — Сухомлинов, II, примеч., с. 179–182; Ломоносов, VIII, с. 826–829).

[10] Ср. характеристику Тредиаковского как «безбожника и ханжи» в ломоносовской эпиграмме «Зубницкому» 1757 г. (Сухомлинов, II, с. 142; Ломоносов, VIII, с. 630) — эта характеристика сочетает обвинения, выдвигавшиеся против Тредиаковского в первый и во второй периоды.

[11] В опубликованном тексте «Тресотиниуса» отсутствует место, вызвавшее нарекания Тредиаковского. По всей видимости, Сумароков принял во внимание данное замечание.

[12] Это выражение принадлежит Ломоносову (см. эпиграмму Ломоносова «Искусные певцы всегда в напевах тщатся…», 1753 г. — Сухомлинов, II, с. 132; Ломоносов, VIII, с. 542), однако Тредиаковский приписывает его Сумарокову. См.: Успенский, 1984/1996 — наст. изд., с. 459–508.

[13] Ср. возражения Г. Н. Теплова в записке 1755 г. против пуристической позиции Тредиаковского. По словам Теплова, Тредиаковский «хочет навести коварно из простой речи зло или церковное, или гражданское, к чему Тредиаковский во многих предисловиях, челобитных, протестах и изветах склонность свою оказал…»; и далее: «На всякаго сочинителя толк безбожия наводит [Тредиаковский] из маловажных слов… По его мозгу ни-

какого из сих слов прилагательных употребить нельзя: *совершенный*, *безконечный*, *беспредельный*, *безчисленный*, *безмерный*, хотя бы такия слова к *хлебу*, к *пище*, к *народу*, ко *вкусу* и пр. приложены были. Тот час скажет, *когда безчисленный, тогда неограничаемый, а когда неограничаемый, то без начальный, а когда безначальный, то все совершенный, а когда всесовершенный, то самобытный* и прочее. И после таковых глупостей софистических восклицает как бешеный: *о безбожное утверждение!*» (Теплов, 1868, с. 73, 76).

[14] Ср. возражения Никиты Добрынина (во второй половине XVII в.) против замены в псалмах слова *церковь* словом *храм*, осуществленной никоновскими справщиками (см.: Румянцев, 1916, с. 461, 470, 502; приложения, с. 337, 350–351, 354–357).

Сходным образом Тредиаковский может возражать против наименования язычника Гомера «пророком богодухновенным» (предисловие к «Тилемахиде», 1766 г. — Тредиаковский, II, с. VII). Это возражение восходит, по всей вероятности, к Буало, который предупреждает против смешения христианского и языческого:

Ce n’est pas que j’approuve en un sujet chrétien
Un auteur follement idolâtre et païen.
(«L’art poétique», III, 217–218)

Ср. это место в переводе Тредиаковского (1752):

Сие не для того, чтоб, в слоге Христианском,
Хвалил Пиита я в язычестве поганском.
(Тредиаковский, I, с. 61)

[15] Формально (но не содержательно) восходящая к схеме Вожела. См. ниже, § **III-4**.

[16] Ср., например, многочисленные глоссы к «Тилемахиде», где книжные («славенороссийские») слова, употребленные в тексте, последовательно поясняются соответствующими разговорными («российскими») словами, вынесенными на поля. Этот материал в своей совокупности может рассматриваться как своего рода стилистический словарь. Необходимо отметить, что в целом ряде случаев такие пояснения явно не связаны с трудностями понимания, т. е. даются глоссы к общеизвестным словам, например: *зело — весьма* (Тредиаковский, II, с. 119), *ланиты — щеки* (там же, с. 267, 647), *выя — шея* (там же, с. 137, 195, 636) и т. п.; подобные примеры свидетельствуют о сознательном, программном характере использования глосс, которые служат задачам установления лексической нормы.

В других случаях Тредиаковский может вводить глоссы непосредственно в текст. Сумароков в комедии «Тресотиниус» (1750) пародирует этот стиль Тредиаковского: «Ета бумажка ясняе вам скажет, какую язву в серце моем, приятство ваше, то есть красота ваша, мне учинило, то есть зделало» (Сумароков, V, с. 301).

[17] Ср. характеристику церковнославянского языка как «чистого», а отсюда и ориентацию на этот язык при установлении русских языковых норм в «Разговоре об ортографии» 1748 г.: обсуждая правописание прилагательных, Тредиаковский говорит, что необходимо писать так, «как нам чистый наш язык велит, а именно, славенский» (Тредиаковский, III, с. 210). Показателен отзыв Сумарокова о правописании такого рода (имеется в виду окончание *-ии* в прилагательных муж. рода мн. числа, которое вводит Тредиаковский): «… *ии* пахнет отверженною от нас хотя и недельно [читай: „не дельно“] Сла-

венцизною» («Примечание о правописании», 1770-х гг. — Сумароков, X, с. 42); Сумароков, подобно Тредиаковскому, считает отказ от «славенцизны» «не дельным».

[18] О «пребогатом славенороссийском языке» Тредиаковский писал уже в 1750 г. в посвящении императрице Елизавете в «Аргениде» (Пекарский, II, с. 149); мы цитировали это место выше (см. § **III-1.2**).

[19] Ср. менее решительную формулировку в несколько более раннем предисловии Тредиаковского к XII тому «Римской истории» (1765): Тредиаковский утверждает здесь, что русский язык «при способности своей природно обильной, гладкой, и звонкой, не токмо литься может Сочно как Французский, но и шествовать Пышно как Латинский, и стремиться еще Пылко как Греческий» (Тредиаковский, 1761–1767, XII, с. XXI). В данном случае Тредиаковскому важно не противопоставить русский и французский языки (как он это делает в предисловии к «Тилемахиде»), но подчеркнуть богатство стилистических возможностей русского языка, присущее ему от природы: в обоих высказываниях русский язык предстает как язык, охватывающий все положительные качества других языков — латинского, греческого или французского.

Сходным образом, говоря в примечании к V тому «Римской истории» (1763) о том, что Роллен передает «силу, важность и млечность Ливиеву латинскую… свойством сладости французския», Тредиаковский заявляет: «Нашему языку равно тещи и французскою гладкостию и латинским извитием» (Тредиаковский, 1761–1767, V, с. 90; ср.: Дерюгин, 1985, с. 92). Ср. подробнее в примечании к III тому (1762): «… Французский язык течет как река по самой природе, не имея ни в средине, ни напоследи предшествующих мыслей; а… Латинский льется как тонкий пламень вкруг обращаясь, превращаясь и извиваясь. Так что в одном господствует Сочность, а в другом жар и сияние: да и много подлинно осанист первый, но столькож сановит, сколько важен и вторый; в обоих же равная сладость. Однако наш, как силен и тещи и жещи…, и перваго имеет Сок, и втораго блеск, а обоих в себеж одном медвенную Добронравность» (там же, III, с. 61–62).

[20] Соответственно в «Письме от приятеля к приятелю» (1750) Тредиаковский упрекает Сумарокова в том, что «нет в нем ни малаго знания так называемых учоных языков», в частности латыни, почему и «полагается он больше надлежащаго на Француских писателей» (Куник, 1865, с. 496). Напротив, Теплов в записке 1755 г. обвиняет Тредиаковского в чрезмерном пристрастии к латыни, а также к «гречизне» (Теплов, 1868, с. 74, 77, 78); этот отзыв разительно контрастирует с тем, что в свое время (в 1745 г.) говорил о латыни Тредиаковский в «Слове о витийстве» (см. выше, § **II-4.3**).

[21] Необходимо подчеркнуть, что данная эпиграмма Тредиаковского направлена именно против Сумарокова, а не против Ломоносова, как это обычно утверждается. Стихи Тредиаковского, действительно, представляют собой ответ на хулящую его сатиру Ломоносова «Искусные певцы всегда в напевах тщатся…» (см.: Сухомлинов, II, с. 132; Ломоносов, VIII, с. 542); однако Тредиаковский, по-видимому, не знал, кто был автором этой сатиры, и приписал ее Сумарокову. См. об этом: Успенский, 1984/1996 — наст. изд., с. 459–508; там же и обоснование датировки.

[22] Выражение *красные сочинения* (или *красные письма*) означает у Тредиаковского ‘изящная словесность’, т. е. соответствует *belles-lettres*. См. это выражение уже в «Письме от приятеля к приятелю» 1750 г. (Куник, 1865, с. 462, 474); между тем в предисловии к «Тилемахиде» 1766 г. Тредиаковский пользуется выражением *красная словесность*

(Тредиаковский, II, с. LXVI, примеч.), ср. *словесные красные Науки* в предисловии к собранию сочинений 1752 г. (там же, I, с. VII).

[23] Ср. о противопоставлении «мужественного» церковнославянского языка и «нежного» русского: Лотман и Успенский, 1975/1996, с. 481–483.

[24] Ср. такую же формулировку в вышеупомянутой эпиграмме на Сумарокова:

Славенский наш язык есть правило неложно,
Как книги нам писать, и чище коль возможно…
(Успенский, 1984/1996, с. 377 — наст. изд., с. 483)

Заявление о том, что церковнославянский язык есть «правило писания», перефразирует известное высказывание Горация, который называл «употребление» (usus) «правилом говорения» (norma loquendi) («Ars poëtica», 71–72). Тредиаковский, как мы уже знаем, неоднократно ссылается на это место у Горация в разных своих работах (см. примеч. 96 к главе II наст. работы); в данном случае он неявным образом с ним полемизирует.

[25] Последняя фраза Тредиаковского предвосхищает заявление Ломоносова в предисловии «О пользе книг церьковных…» (1758): «Сим [высоким] штилем преимуществует Российский язык перед многими нынешними Европейскими, пользуясь языком Славенским из книг церьковных» (Сухомлинов, IV, с. 227; Ломоносов, VII, с. 589).

[26] Идеи Тредиаковского любопытным образом перекликаются с замечаниями Б. Г. Унбегауна о «двумерности» русского литературного языка, обусловленной сопряжением церковнославянской и русской языковой стихии: Унбегаун определяет русский литературный язык как «двумерный» («a two-dimensional language») и противопоставляет его таким «одномерным» языкам («one-dimensional languages»), как, например, современные украинский или белорусский (см.: Унбегаун, 1973). Ср. также сходные мысли Н. С. Трубецкого (1927/1995, с. 194–196).

[27] В полном согласии с этой точкой зрения находится вывод Шишкова о том, что французские авторы не могут ничего дать для обогащения русского языка. Так, в «Рассуждении о старом и новом слоге…» Шишков полемически заявляет: «Волтеры, Жан-Жаки, Корнелии, Расины, Молиеры, не научат нас писать по Руски» (Шишков, II, с. 10), ср. реакцию Жуковского на эту фразу (см.: Библиотека Жуковского, I, с. 110, 119). Французскому языку Шишков противопоставляет здесь церковнославянский: «Ничего нет безразсуднее, как думать, что Славенский язык не нужен для красоты новейшаго Российскаго слова, и что гораздо нужнее для сего Француский язык…» (Шишков, II, с. 66); «… Славенский язык есть корень и основание Российскаго языка; он сообщает ему богатство, разум, силу, красоту. И так в нем упражняться, и из него почерпать должно искуство красноречия, а не из Боннетов, Волтеров, Юнгов, Томсонов и других иностранных сочинителей…» (с. 81).

[28] Тредиаковский различает «прямое» и «непрямое» употребление, причем «прямое» соответствует книжному, а «непрямое» — разговорному языку (см. § **III-4** наст. работы). Разговорную (обиходную) речь в соответствии с традицией он рассматривает как результат порчи книжного языка.

[29] Не исключено в то же время, что при этом имеется в виду не кто иной, как Сумароков, который в данный период рассматривается Тредиаковским именно как предста-

витель «щегольской» культуры (см.: Успенский, 1984/1996, с. 372–376 — наст. изд., с. 479–482). Сумароков вообще в большой степени выступает как последователь молодого Тредиаковского, и полемика Тредиаковского с Сумароковым — это, в известном смысле, полемика с самим собой.

[30] Цитированное высказывание Кантемира обнаруживает разительное сходство с программой Н. И. Гнедича, который писал: «Язык поэзии у всех почти народов есть язык особенный; а у нас тем более, что не только формами, но и самою сущностию он отличается от языка общественнаго. Сущность сию дает ему наш язык Славенский, давно образованный и утвержденный; а для составления форм поэтических нужны только были дарования: они нам дали образцы для многих родов, и образцы превосходные для поэзии высокой. Следственно, на успехи нашего языка стихотворнаго общество менее имеет влияния, чем на успехи прозы. Проза, напротив — во всех родах гражданскаго красноречия образуется вместе с обществом; и образованность ея нигде не предшествовала образованности народной. Никакое дарование не успеет в ней без помощи общества, а тем более в языке, которым не говорят люди образованные. Всякое новое слово писателя, как бы оно ни было хорошо, всякое новое выражение, как бы оно ни было счастливо, не может утвердиться, если общество в кругу своем не полагает на нем печати употребления. И тогда от слов до выражений, от выражений до оборотов, все в языке произвольно, неопределенно, неверно; безпорядок царствует в речах его. Но, напротив, язык богатеет и утверждается, если им говорят; употребление дает всему силу; а тонкость в словах, легкость в оборотах и приятность в выражениях, образующия прекрасный язык гражданский, составляет одна разборчивость и вкус общества…» (Гнедич, 1814, с. 87–88, ср. также выше, на с. 85, примеч., заявление Гнедича, что «наш язык гражданский не утвержден еще постоянно употреблением общества»). Итак, Гнедич противопоставляет поэтический язык — языку прозы, причем если последний должен ориентироваться на употребление, то первый должен ориентироваться на церковнославянскую языковую стихию.

[31] Кантемир определенно говорит здесь о своем знакомстве со стиховедческим трактатом Тредиаковского 1735 г. («Новый и краткий способ…»): он с похвалою отзывается об этой книге, которую получил в Париже в 1742 г. (см.: Кантемир, II, с. 1; ср. письмо Тредиаковского по этому поводу от 16 (27) мая 1743 г. в изд.: Кантемир, II, с. 440). В ряде случаев Кантемир прямо повторяет или развивает положения Тредиаковского, иногда частично их модифицируя. Ср. рассуждения Кантемира относительно морфологических славянизмов в «стихотворном наречии» (в главе «О вольностях в мере стихов» «Письма Харитона Макентина»), которые ближайшим образом соответствуют замечаниям Тредиаковского о поэтических «вольностях» в трактате 1735 г. (ср. выше, § **II-3**).

[32] Эта эволюция, возможно, связана с усилением националистических тенденций после переворота 1741 г. (ср.: Пумпянский, 1941, с. 185).

[33] Здесь же Тредиаковский замечает, что от «кореннаго Славенскаго» языка происходят как «Российский», так и «Славенороссийский» — «так что первый сему Славенскому Внуком, а вторый Сыном праведно может наименоваться» (Тредиаковский, II, с. LXXIII). Иначе говоря, если «Славенороссийский», т. е. русский литературный язык, «непосредственно проистекает» от «Славенского» (церковнославянского), то «Российский», т. е. русский разговорный язык связан со «Славенским» опосредованно — через «Славенороссийский».

[34] Название «славенорос(ийс)кий» как обозначение церковнославянского языка было, по-видимому, образовано в XVII в. по аналогии с названием «еллиногреческий» как наименованием книжного греческого языка: подобно тому, как «еллиногреческий» язык противопоставлен «простому» или «общему» греческому языку, «славенороссийский» язык противостоит «простому» российскому языку; в соответствии с тем, как книжный греческий язык мог называться как «еллинским», так и «еллиногреческим», церковнославянский язык мог именоваться как «славенским», так и «славенорос(ийс)ким». Русская языковая ситуация очевидным образом уподоблялась при этом греческой (ср.: Успенский, 1983/1994, с. 78, 97, 109; Успенский, 1987/2002, с. 400–402, 492–493, 506–507, §§ 15.4, 18.3, 19.2); применяя термин «славенороссийский» к русскому литературному языку, Тредиаковский не выходит за рамки этой общей схемы, основывающейся на аналогии между греческой и русской языковой ситуацией.

[35] По аналогии со «славенороссийским» Тредиаковский может говорить в этот период и о «славенопольском» языке (в «Трех рассуждениях…», 1758 г. — Тредиаковский, III, с. 338, 340, 357, 459, 515, 529), подчеркивая таким образом природную (генетическую) общность «славенского» и польского языка.

[36] Приведенные в этом отзыве лексические церковнославянско-русские соответствия в значительной мере повторяются Тредиаковским в цитированной выше эпиграмме на Сумарокова. Ср.:

Читают *око* все, хоть говорят все ж *глаз*;
Не *лоб* там [в «славенском» языке], но *чело*; не *щеки*, но *ланиты*;
Не *губы* и не *рот* — *уста* там багряниты.
(Успенский, 1984/1996, с. 377 — наст. изд., с. 483)

[37] Сходство концепции Тредиаковского и Шишкова в этом отношении было отмечено Г. А. Гуковским (см.: Гуковский, 1962, с. 83). Ср. также: Колуччи, 1972, с. 243.

[38] Не менее показательны протесты Шишкова против того, что в отчетах Библейских обществ тексты Св. Писания на русском языке именуются «переводом на *природной* руской язык, словно как бы тот [церковнославянский] был для нас чужой. Отселе, — заключает Шишков в своих записках, — презрение к коренным самым знаменательнейшим словам; отселе несвойственность многих выражений; отселе неразумение сильнаго, краткаго слога и введение на место онаго почерпнутой из чужих языков безтолковицы» («О переводах Священных писаний» — Шишков, 1870, II, с. 214, примеч.).

[39] Совершенно так же Татищев может считать — на тех же основаниях — такие слова, как *это*, *эво*, *вот(а)*, *чуть*, *очюнь*, *пужаю*, *чорт* «сарматскими», т. е. также иноязычными по своему происхождению. См. письмо Татищева к Тредиаковскому от 18 февраля 1736 г. (ААН, разр. II, оп. 1, № 206, л. 94 об.; ср.: Татищев, 1990, с. 224), а также его «Разговор дву приятелей о пользе науки и училищах» 1730-х гг. (Татищев, 1979, с. 96).

[40] Так, в «Тилемахиде» мы находим такие глоссы, как *зодчество — архитектура* (с. 36, 132, 247, 432), *зодческий — архитектурный* (с. 375), *присенки — портик* (с. 375), *причелины — корниш,* т. е. ‘карниз’ (с. 375), *истукан — статуя* (с. 36, 438), *щегла — машта* (с. 3, 58, 636), *кормило — руль* (с. 3, 107, 271), *крушец — металл* (с. 126, 259, 579), *цата — монета* (с. 246, 603), *багрец — пурпур* (с. 6, 79), *цата — медаль* (с. 372), *рубы — парчи и штофы* (с. 378), *лицевидны узоры — мусия или мозаик* (с. 280), *пени — штрафы*

(с. 384), *извещенье — репорт* (с. 551), *посредность — неутралитет* (с. 618), *шипки — розы* (с. 282, 609, 647, 782), *шипковый — розовый* (с. 372), *масличпа* (ветвь) — *оливная* (с. 295), *елейк — оливка* (с. 524, 668), *поприще — стадия* (с. 147), *мусикия — музыка* (с. 751), *стихия — элемент* (с. 174), *декеосо́фия — юриспруденция* (с. 720). Как видим, в разряд «славенороссийских» слов могут попадать и грецизмы, которые объясняются через соответствующие латинизмы; в других случаях греческая мифология поясняется здесь с помощью латинских соответствий, например, *Паллада — Минерва* (с. 1), *Афродита — Венера* (с. 1), *Зевс — Юпитер* (с. 11), *Посидон — Нептун* (с. 14), *Ника — Виктория* (с. 453) и т. п. Таким образом, греческие формы могут ассоциироваться с церковнославянской языковой стихией, а латинские формы — с русской языковой стихией. Это противопоставление соответствует по своему характеру противопоставлению «восточной» и «западной» формы грецизмов в церковнославянском и русском языке (типа *вивлиофика — библиотека*) — этому вопросу Тредиаковский уделяет специальное внимание в своих работах (см.: Успенский, 1975, с. 60–61).

[41] Ср. особенно предисловие М. Попова к переводу (с французского) «Освобожденного Иерусалима», где обосновывается необходимость обращения к церковнославянскому языку в переводческой деятельности. По словам Попова, при переводе поэмы Т. Тассо он занимался «приискиванием в *Духовных Книгах*… равносильных речений тем, каковыя попадалися… во Французском» (Попов, 1772, с. [*i*]).

[42] Говоря об «уставах употребления», Тредиаковский прямо ссылается здесь на Вожела и его последователя Бюфье, так же как и на Горация: «… Я… читал об них вкратце у римлянина Горация, да у двух французов, а именно у Вожласа, и у Иезуита Бюфиера» (Тредиаковский, III, с. 215; ср. еще здесь ссылку на Бюфье на с. 66, примеч. 1, и на с. 270). Что касается Горация (которого Тредиаковский цитирует на с. 218 той же работы), то имеется в виду его «Ars poëtica»; ср. выше, § **II-4.3**.

[43] Ср. у Вожела: «… l'Usage, que chacun reconnoist pour le Maistre et le Souverain des langues vivantes… Cét Usage… que tout le monde appelle le Roy, ou le Tyran, l'arbitre, ou le maistre de langues» (Вожела, 1647, л. 1–1 об.).

[44] В рукописном оригинале «Разговора об ортографии» (ААН, разр. II, оп. 1, № 137) вместо «наибольше собою согласное» первоначально стояло: «нимало не пременное». Иначе говоря, Тредиаковский говорит здесь о фиксированности употребления: последнее связывается для него не с изменениями, но с традицией.

[45] В рукописи «Разговора об ортографии» (ААН, разр. II, оп. 1, № 137) вместо «с собою согласным» первоначально стояло: «не пременным».

[46] В рукописи «Разговора об ортографии» (ААН, разр. II, оп. 1, № 137) после слова «нечувствительных» первоначально стояло: «нововводных». Имеются в виду «нововводные разности» — изменения в языке, допускаемые в рамках языкового употребления, которые «нечувствительны языку», т. е. не противоречат его природе.

[47] Между тем, Вожела предлагал в подобных случаях ориентироваться не на рассудок, а на то, как говорят женщины (см.: Флютр, 1954, с. 242). Ср. выше, § **I-5**.

[48] *Его милость* — так почтительно именует Тредиаковский персонифицированное Употребление.

[49] «Cét Usage… que tout le monde appelle… l'arbitre, ou le maistre des langues» (Вожела, 1647, л. 1 об.).

[50] Следует отметить, что об употреблении разумных людей Тредиаковский упоминает уже в «Речи к членам Российского собрания» 1735 г., говоря о «Грамматике доброй и исправной, согласной мудрых употреблению» и подчеркивая: «Утвердит оной [наш язык] нам и собственное о нем разсуждение, и восприятое от всех разумных употребление» (Тредиаковский, 1735, с. 6, 13). Существенно, однако, что здесь он еще не утверждает, что употребление должно о с н о в ы в а т ь с я на разуме (как он это делает, между прочим, во второй редакции данной «Речи…» 1752 г. — см. выше). Тем не менее, при желании можно было бы видеть в этом упоминании зародыш будущей концепции литературного языка.

[51] Иллюстрацией к сказанному может служить хотя бы рассуждение Тредиаковского о необходимости ударения на первом слоге в слове *весна* — в форме вин. падежа ед. числа (*вéсну*). Тредиаковский полемизирует при этом с Сумароковым, который считает форму *вéсну*, употребленную Тредиаковским, неправильной. В обоснование своей позиции Тредиаковский ссылается на другие слова аналогичной структуры, т. е. двусложные слова женского рода, кончающиеся на *-а/-я* и имеющие в им. падеже ед. числа ударение на последнем слоге, а в им. падеже мн. числа — ударение на первом слоге (*зимá — зи́мы* и т. п.). Для таких слов он выводит следующую закономерность: они получают в вин. падеже ед. числа ударение на первом слоге (*зи́му*) в том случае, если в сочетании с предлогом имеет место перенос ударения на предлог (*нá зиму*). Все это верно и для слова *весна*: поскольку мы говорим *нá весну*, мы должны говорить *вéсну*. Полемизируя с Сумароковым по поводу этой формы, Тредиаковский заключает: «Не угодно ль будет уступить сие знать основательнее таким людям, кои-в-сем-лет-с-три́тцать обращаются?» («Ответ о сафической и горацианской строфах», 1755 г. — Пекарский, II, с. 255).

Рассуждения Тредиаковского не лишены оснований: форма *вéсну* действительно является более старой, и только с XVIII в. наблюдается переход ударения на окончание в литературном произношении (см. *вéсну* еще у С. Марина в I сатире 1807 г., при том что у Ломоносова, Сумарокова, Державина, Хераскова, Чулкова находим *веснý* — Хазагеров, 1973, с. 58; Воронцова, 1979, с. 37). Так или иначе, показательно стремление Тредиаковского обосновать правильность данной формы ссылкой на «правила», а не на «употребление».

[52] То же говорит и Г. Н. Теплов в трактате «О качествах стихотворца рассуждение» 1755 г.: «… Береги́ свойства собственнаго своего языка… Не вóвсе себя порабощай… употреблению, ежели в народе слово испорчено, но старайся оное исправить» (Теплов, 1755, с. 384–385). Призыв «не порабощать себя употреблению» содержит скрытую полемику с Вожела, который именовал употребление «тираном» (Вожела, 1647, л. 1 об., с. 16; ср. выше, § **I-5**). Одновременно Теплов говорит здесь о пользе грамматики и выступает против тех, кто называет знание грамматики «педанством», что также явно направлено против концепции Вожела, который противопоставлял грамматике употребление. При этом Теплов ассоциирует знание грамматики и чтение церковных книг как необходимые условия для выработки хорошего русского слога: «… Ея [грамматики] знание, которое педанством называешь, и церьковных славенских книг чтение весьма потребны к доброму слогу и правописанию» (Теплов, 1755, с. 383), ср. еще: «Когда хочешь быть Автором, будь не отменно в некоторых случаях и Педант» (там же; о необходимости знания «грам-

матических правил» Теплов упоминает также на с. 378). Здесь же Теплов выступает и против ориентации на чужие языки: «То что лю́бим в стиле Латинском, Французском или Немецком, смеху достойно иногда бывает в Руском» (там же, с. 384–385). Позиция Теплова оказывается, таким образом, очень близкой к программе Тредиаковского в рассматриваемый период, и мы вправе усматривать здесь прямое влияние Тредиаковского (следует иметь в виду, что во время написания данной статьи Тредиаковский и Теплов были связаны друг с другом, отношения их испортились лишь к осени 1755 г.). Ср.: Успенский, 1984/1996, с. 403 (примеч. 56) — наст. изд., с. 502.

[53] Ср.: «Il y a sans doute deux sortes d'Usages, un bon et un mauvais» (Вожела, 1647, л. 1 об.); «En chaque langue il y a un bon usage et un mauvais usage» (Бюфье, 1754, с. 17).

[54] Ср. у Вожела: «Le mauvais [usage] se forme du plus grand nombre de personnes, qui presque en toutes choses n'est pas le meilleur, et le bon [usage] au contraire est composé non pas de la pluralité, mais de l'élite des voix…Voicy donc comme on definit le bon Usage. C'est la façon de parler de la plus saine partie de la Cour, conformément à la façon d'escrire de la plus saine partie des Autheurs du temps» (Вожела, 1647, л. 1 об., ср. л. 4 об.).

[55] Ср. также в первой редакции статьи Тредиаковского о прилагательных (1746): «Ежели употребление будет в чем двоякое, или и больше, то тому должно следовать, которое согласнее с разумом, и от сего зашчишчено быть может… Будеж из двух, или многих употреблений, ниодно от праваго разума зашчишчено быть не может, то оное предпочитать должно, которое большей ча́сти лучших и ученнейших людей нравится: ибо основательнее следовать людям чеснаго воспитания, извеснаго учения, и твердаго рассуждения, нежели чашче грубой и несмысленной подлости. И потому, в сем случае то токмо есть прямое употребление, которое обшчее есть бо́льшей ча́сти знатных и искусных людей, а подлое употребление, есть не употребление, но погрешение, основанное на не знании и на грубости» (Вомперский, 1968, с. 88).

[56] Соответственно в рассуждении «О слове, или словесности» (1763) Тредиаковский говорит: «Когдаж из некоторых Званий, туж и одну вещь значащих, одно почитается *Подлым* или *срамословным*, а другое *высоким*, или *сладким*, или *важным*, или *скромным*; то сему не иная есть причина, как токмо что дурныя слова́ между Че́рнию и грубаго состояния, а хорошия между Честными и Учеными, и Учтивыми Людьми суть в употреблении» (Тредиаковский, 1761–1767, VII, с. XIV).

[57] Ср., например, в «Речи к членам Российского собрания» 1735 г.: «Украсит оной [русский язык] в нас двор Ея Величества в слове наиучтивейший…» (Тредиаковский, 1735, с. 13); в других случаях Тредиаковский, как мы видели, соотносит с «учтивым» употреблением галантное обращение на *вы* (см. примеч. 127 к главе II наст. работы).

Слово *учтивый* — очевидный полонизм, ср. польск. *uczciwy* ʻчестный, порядочный, добросовестныйʼ, а также ʻблагородный, почетныйʼ. В словаре Федора Поликарпова (1704, л. 147 об. третьей фолиации) это слово определяется как «honestus, venerabilis»; вместе с тем уже в Вейсманновом лексиконе 1731 г. *учтиво* соотносится с *вежливо* (с. 122) — последнее значение развивается, по-видимому, на русской почве. Таким образом, в разные периоды у Тредиаковского реализуются разные значения данного слова.

[58] Точно так же и «площадное» употребление противопоставляется у Тредиаковского именно «славенскому» языку. Соответственно, в отзыве (1748) на сумароковскую тра-

гедию «Гамлет» Тредиаковский критикует смешение стилей: «… Инде весьма по славенски сверьх Театра, а инде очень по плошчадному ниже Трагедии» (Пекарский, II, с. 130; Мат. АН, IX, с. 461); в этой фразе обращает на себя внимание, между прочим, характерное распределение славянизма *весьма* и русизма *очень*: «весьма по славенски» — «очень по плошчадному». Такой же смысл имеет, конечно, и противопоставление «площадного употребления» и «грамматики» в «Письме от приятеля к приятелю» (см. выше) — речь идет о выборе между разговорным и книжным началом, и именно с этих позиций Тредиаковский критикует здесь Сумарокова. «Подлое» и «площадное» оказываются, таким образом, у Тредиаковского равнозначными характеристиками.

[59] Отметим, что «российскими» Тредиаковский называет здесь варяжские названия порогов, приводимые у Константина; в соответствии с выдвигаемым здесь предположением о славянском происхождении варягов, он трактует эти имена как славянские. Напротив, в отзыве о диссертации Миллера (1750) Тредиаковский считает «варяжскими» те русские слова, которые не находят соответствия в церковнославянской лексике (Пекарский, II, с. 246; ср. выше, § **III-3**).

Характерно также следующее высказывание в «Трех рассуждениях…»: «Подлинно, чернь и самая подлость выговаривают: *розбить* вместо *разбить*, *розвесть* вместо *развесть*, *розгонить* вместо *разгонить*, *роздарить* вместо *раздарить*, *розсеять* вместо *разсеять*, и прочая; но сии Словесники от учтивейших людей знающих в языке силу, всегда осмехаемы бывают» (Тредиаковский, III, с. 474), — специфические русизмы (с приставкой *роз-*) ассоциируются с «подлостью», тогда как противопоставленные им славянизмы (с приставкой *раз-*) — с употреблением «учтивейших» людей. В этом же ключе следует воспринимать и заявление Тредиаковского в предисловии к «Аргениде» (1751): «… По истинне, перевода моего не будет уже́ читать грубых времен новогородка Марфа посадница: он зделан для нынешняго учтиваго и выцвеченаго, в которое наш язык не имеет уже́ ни *оже*, ни *аче*, ни других премногих Архаисмов, тоесть старины глубокия» (Тредиаковский, 1751, I, с. LXI–LXII) — и в этом случае специфические русизмы противопоставляются «учтивому и выцвеченому [т. е. обученному!]» употреблению; относительно эпитета *выцвечен*(*н*)*ый* см. выше, примеч. 127 к главе II наст. работы.

[60] В рукописном оригинале «Разговора об ортографии» (ААН, разр. II, оп. 1, № 137) вместо *подлым* первоначально стояло: *грубым*.

[61] Совершенно так же употребляет эпитеты *площадной* и *простонародный* и Теплов, взгляды которого на литературный язык, как мы уже отмечали выше, обнаруживают вообще прямую зависимость от Тредиаковского. Так, в трактате «О качествах стихотворца рассуждение» 1755 г. Теплов вслед за Тредиаковским говорит о пользе чтения церковных книг для овладения правильным русским слогом, о необходимости ориентации на грамматические правила, а не на языковой узус (см. выше, примеч. 52) и, вместе с тем, обвиняет Сумарокова в «речах площадных и простонародных» (Теплов, 1755, с. 387); «площадные и простонародные» речи явно относятся при этом к разговорному началу, т. е. имеется в виду установка на разговорное употребление. Относительно направленности данного трактата против Сумарокова и сумароковской школы см.: Модзалевский, 1962, с. 147–156; ср.: Берков, 1936, с. 167–170.

[62] Ср.: «Умеюшчий человек несколько чужих языков, знает, что в каждом языке живушчем есть два способа, как им говорить. Первый употребляют люди знаюшчии силу в

своем языке; а другой в употреблении у подлости и кресьян. Посему, первый способ есть чишче и исправнее, и длятого благороднее; но другий испорченный незнанием подлых людей, и длятого в презрении и осмеянии всегдашнем. Так у древних римлян вместо чистых opus est, si vultis, amari, aisne, подлость выговаривала opu'st, sultis, amarier, ain'. Так ныне и у французов вместо чистых же chapeau, l'eau, étudié, cependant, самая чорная подлость выговаривает chapiau, l'iau, etugué, stapendant. Равным образом и у нас, чернь токмо, и незнаюшчии люди, не умея выговаривать сии имен прилагательных окончания на (і), внесли оныя безразборныя то на (е), то на (я). Кто из мужиков, на московской плошчади, инако к себе, кушать просит, как *добрые молодцы, на вот горячие?* [в первоначальной — рукописной — редакции „Разговора об ортографии“ (ААН, разр. II, оп. 1, № 137) на месте последней фразы стояло: „Каждый Блинник, или Пирожник, на московской плошчади, не инако просит к себе за деньги кушать, как токмо сим приветом *добрые молотцы, дворяна государева, добро пожаловать, на вот пироги горячие, тепере вынес*“]. Сих людей и подобных образец послужил к тому, что в наш язык внесены безразборныя окончания, а пото́м и утверждены несколько, так что уже́ и печатать начали; однако не в церьковной печати. И как латинским языком Цицерон, и прочии степенныи авторы, не писали по Плавтову sultis, вместо si vultis; также как и француским Вожелас и премногии, не писалиж никогда chapiau, вместо chapeau: так и нам, поистинне, не должнож писать сих окончаний таким образом, каким оныя выговариваются от неискусных людей: ибо говорить по обрасцу не знаюшчих людей: то показывать и в себе такоеж незнание языка, или слепое слепым повиновение. Ктомуж, самая отмена от нискаго языка требует, чтоб знаюшчему чишче, лучше, исправнее и благороднее выговаривать свой язык; следовательно и писать оным, и так, что и к тому всему особливо прилежать, которое у обшчества не весьма важным в языке почитается» (Тредиаковский, III, с. 208–210).

[63] В предисловии к своему переводу философских сочинений Сенеки (1759), Тредиаковский мотивирует отступление от принятых им правил правописания прилагательных (вопреки этим правилам, он пишет здесь в им. падеже мн. числа *-е* в мужском роде, *-я* в женском и среднем) тем, что стиль Сенеки лишен «высокоценных прикрас». При этом Тредиаковский продолжает настаивать, вообще говоря, на своих правилах («что праведно и не преодоляемо по всеобщему и самолучшему употреблению язы́ка, то не может никогда быть криво»), но считает возможным отступить от них в данном случае, с тем чтобы соответствовать простому, неукрашенному стилю оригинала. Ср.: «Я... здесь и прилагательныя множественныя имена мужскаго рода (что ныне у нас как пятая сущность [на полях: quinta essentia]) окончиваю на *е*, а не на *и*, как то во всех моих прочих писаниях делал... Чего же ради я здесь поступил сам против всеобщаго и самолучшаго того употребления? Переводя Сенеку, восхотел я некак Сенеке уподобиться, доношу. При расточении во всей его латинской словесности, не весьма высокоценных прикрас, надобно стало пустить дешевле и Российскаго слова токмо те окончания, так чтоб продаваться уже им хотя пятерным числом бывшим по осмерному, нежели ни за что быть отдаваемым на *-я*» («Сенекины мысли... переведенные на российский язык В. Тредиаковским в Санктпетербурге 1759 г.» — Архив Петерб. отд. Ин-та истории РАН, ф. 36, собр. Воронцовых, оп. 1, ед. хр. 726, с. XXI; ср.: Дерюгин, 1985, с. 102). Как отмечает А. А. Дерюгин, свою уступку допустить окончание *-е* вместо *-и* «как более дешевое» Тредиаковский маскирует шуткой, основанной на числовом значении этих букв: *е* = 5, *и* = 8. Что же касается замечания о том, что окончание *-я* отдается вовсе «ни за что», то здесь может быть усмотрен выпад как против Ломоносова, который склонен был рассматривать

окончания *-е* и *-я* как вариантные («Примечания на предложение [Тредиаковского] о множественном окончении прилагательных имен», «Российская грамматика», §§ 116, 161 — Сухомлинов, IV, с. 4, 53, 78–80; Ломоносов, VII, с. 87, 430–431, 452–454), так и против Сумарокова, который предлагал писать окончание *-я* во всех трех родах («К типографским наборщикам», «О правописании», «Примечание о правописании» — Сумароков, VI, с. 309; Сумароков, X, с. 29–30, 42).

Философские сочинения Сенеки, конечно, «касались до ученых дел», и в соответствии с декларациями Тредиаковского следовало бы ожидать здесь соблюдения предложенных им правил правописания прилагательных. Несоблюдение этих правил определяется в данном случае особенностями переводимого оригинала — не содержанием текста, а его стилистическими особенностями: Тредиаковский стремился передать сниженный стиль Сенеки.

[64] В ряде случаев Тредиаковский более ясно говорит о языковых изменениях в первоначальном (рукописном) тексте «Разговора об ортографии», чем в окончательной (печатной) версии. Соответствующие места были процитированы выше.

[65] В первой редакции (1746) эта мысль формулируется так: «Коль ни пременяемое само в себе есть употребление, по прошествии нескольких лет, однако никогда не бывает в нем такия перемены, которая бы всеконечно противна была природе того языка, котораго она ввелась в употребление. Инако, не была бы она употреблением переменившимся в том языке, но совершенным онаго истреблением» (Вомперский, 1968, с. 88). Ср. еще замечание в «Разговоре об ортографии» о «первоначальной древности нашего языка, в котором хотя ужé и многие… находятся перемены; однако всегда в нем одно и тож пребывает свóйство…» (Тредиаковский, III, с. 197).

[66] Правда, в рукописном тексте «Риторики» (в рукописи 1747 г.) данная оговорка отсутствует, но тем более знаменательно, что она появляется в печатном издании 1748 г. См.: Сухомлинов, III, примеч., с. 209; Ломоносов, VII, с. 237 (примеч. *а*).

[67] В подготовительных материалах к грамматике сохранилась запись Ломоносова: «в конце грамматики usus te plura docebit [т. е.: употребление тебя доучит]» (Ломоносов, VII, с. 613). Соединение «правил» и «употребления» в грамматике Ломоносова соответствует характерному для него стремлению объединить в рамках русского литературного языка церковнославянское и русское начало (см.: Успенский, 1983/1994, с. 140 сл.).

[68] Ломоносов прямо указывает на значение грецизмов для обогащения русского языка. Так, в трактате «О пользе книг церьковных…» он писал: «Ясно сие видеть можно, вникнувшим в книги церьковныя на Славенском языке, коль много мы… видим в Славенском языке Греческаго изобилия, и оттсуду умножаем довольство Российскаго слóва» (Сухомлинов, IV, с. 225–226; Ломоносов, VII, с. 587). Ср. запись Ломоносова на греческой грамматике Феофила Голия: «Для терминов во многих науках, в физике, в химии, в астрономии, а особливо в анатомии, в ботанике и во всей медицине, греческий язык весьма надобен» (Кулябко и Бешенковский, 1975, с. 135), а также замечание в подготовительных материалах к грамматике: «С греческаго языка имеем мы великое множество слов русских и славенских, которыя для переводу книг сперьва зануждu были приняты, а после в такое пришли обыкновение, что бутто бы они с перьва в российском языке родились. Так же многия Redensarten [обороты речи]» (Ломоносов, VII, с. 608–609, ср. с. 612).

[69] Лишена основания мысль А. А. Алексеева о том, что стилистическая теория Тредиаковского с различением «славенского», «славенороссийского» и «российского» языков возникла под влиянием ломоносовской теории трех стилей (см: Алексеев, 1982, с. 108). Факты говорят скорее об обратном влиянии.

Ломоносовское понимание термина «славенороссийский» развивается затем в программном предисловии к «Словарю Академии Российской» (1789), где «славенороссийский язык» трактуется именно как сплав «славенского» и «российского» языка.

[70] Вместе с тем, известное высказывание Ломоносова в посвящении к «Российской грамматике», где о русском языке говорится как о языке, обладающем положительными качествами всех основных европейских языков (см.: Сухомлинов, IV, с. 9–10, ср. примеч., с. 45–47; Ломоносов, VII, с. 391, ср. с. 862, примеч. 1), может быть сопоставлено с позднейшими высказываниями Тредиаковского (в предисловии к XII тому «Римской истории» 1765 г. и в предисловии к «Тилемахиде» 1766 г.), которые мы цитировали выше (см. § **III-2** и примеч. 19).

[71] Ср. любопытные наблюдения А. А. Алексеева над сходством стилистических приемов у Тредиаковского и Радищева. Приводя ряд слов, которые на протяжении всего XVIII столетия встречаются только у этих двух авторов, А. А. Алексеев заключает: «… Приведенные лексические совпадения показывают, что Радищев… учился кое-чему у Тредиаковского. Следовательно, можно полагать, что далеко не случайным было совпадение определенных стилистических принципов у того и другого автора, выражавшееся прежде всего в том, что оба они не стремились избегать столкновения в одном контексте разногенетических или стилистически противоречивых языковых элементов» (Алексеев, 1977, с. 108).

[72] Упрек в отсутствии вкуса — обычное обвинение в адрес Тредиаковского (см. вообще об отношении к Тредиаковскому в литературе конца XVIII — начала XIX в.: Орлов, 1935, с. 22 сл.; Степанов, 1976; Пекарский, II, с. 224–225; Лотман и Успенский, 1975/1996, с. 673, примеч. 279; Письма XVIII в., с. 375–376, 388). Между тем, упрек этот едва ли может считаться справедливым. Тредиаковский вовсе не обнаруживает отсутствия вкуса, когда пишет на иностранном языке: общепризнано, например, что его французские стихи никак не уступают среднему уровню французской поэзии его времени. Однако применительно к русскому языку он, по необходимости, находится в совершенно другом положении: в данном случае он не может в о с п о л ь з о в а т ь с я уже сложившейся и апробированной языковой нормой, а должен ее с о з д а в а т ь. Именно эти поиски нормы и создают Тредиаковскому соответствующую репутацию. Ср.: Пумпянский, 1941, с. 234.

[73] Ср. замечания Л. В. Пумпянского о влиянии Тредиаковского на творчество В. Петрова (Пумпянский, 1941, с. 235).

[74] Об исторической заслуге Тредиаковского перед потомством Евгений пишет также в другом письме от июля 1813 г. (см.: Грот, 1868, с. 148).

[75] Говоря об «остепенении значений слов», Евгений, по-видимому, подразумевает придание словам первоначально заложенного в них высокого («степенного») смысла, обнаружение которого в принципе должно осуществиться в процессе этимологических разысканий. Это непосредственно связано с характерным вообще для «архаистов» поиском «коренного», первобытного облика языка.

[76] Отрицательное отношение своих современников к Тредиаковскому Евгений склонен объяснять естественным изменением языка. В цитированном уже письме от 24 июля 1813 г. он говорит: «Сей переводчик [Тредиаковский] любил буквально выражать свои подлинники и сей строгости жертвовал даже вкусом, котораго, правду сказать, и современные ему соотчичи тогда еще не имели. Доказательством тому Кантемир, котораго в свое время называли русским Горацием и котораго однакож слог хуже еще Тредьяковскаго. С другой стороны, не надобно и нам хвалиться преимуществом нашего слога. Слог живых языков есть не что иное, как платье до износу или до перемены моды…» (Грот, 1868, с. 149). Ср. в письме от 30 апреля 1820 г.: «… Естьли бы перевести на Греческий язык (ибо на другой никакой невозможно) Телемахиду Тредьяковскаго, то и она показалась бы Гомером. Ибо в ней есть множество выразительных красот, но в старинном уже для нас наряде, как и у самаго Гомера» (там же, с. 188).

[77] Слово *речеточец* — цитата из предисловия Тредиаковского к «Езде в остров Любви» (см. выше, § **III-2**); слово *нежность* соотносится с характеристикой карамзинизма (см.: Лотман и Успенский, 1975/1996, с. 481–484). Говоря о правописании грецизмов, Катенин имеет в виду написание их согласно нормам церковнославянского, а не русского гражданского языка, т. е. в соответствии с правилами рейхлинова произношения, принятого в церковнославянском языке, а не произношения эразмова, принятого в языке русском. См. об этом: Тредиаковский, II, с. LXXIII–LXXVI (предисловие к «Тилемахиде»), Тредиаковский, III, с. 124–125 («Разговор об ортографии»), Тредиаковский, 1761–1767, I, с. 29 (предисловие к I тому «Римской истории»); ср. также: Успенский, 1975, с. 60–61.

[78] Характерно, что когда в 1823 г. в издании Общества любителей российской словесности при Московском университете было опубликовано «Сокращение речи г. Тредьяковскаго о *богатом, различном, искусном и несходственном витийстве*» (см.: Войцехович, 1823, с. 148 сл.), было сочтено необходимым заново перевести это сочинение с латинского на русский язык, т. е. перевод, принадлежащий самому Тредиаковскому (ср. выше, примеч. 89 к главе II наст. работы), признан был неудовлетворительным. Таким образом, если идеи Тредиаковского не потеряли своей актуальности, то язык его вызывает в это время резкую оппозицию.

Как писал Г. А. Гуковский, «молодые поколения поэтов, часто продолжая его дело, не ценили его [Тредиаковского], может быть именно потому, что пошли дальше его по открытым им путям» (Гуковский, 1927, с. 14).

УКАЗАТЕЛЬ ОБСУЖДАЕМЫХ СЛОВ И ВЫРАЖЕНИЙ (ВЫБОРОЧНЫЙ)

ЛИТЕРАТУРНАЯ ВОЙНА ТРЕДИАКОВСКОГО И СУМАРОКОВА В 1740-Х — НАЧАЛЕ 1750-Х ГОДОВ

(совместно с М. С. Гринбергом)

I. История отношений Тредиаковского и Сумарокова: хроника военных действий

§ 1. Введение

Середина XVIII века проходит в России под знаком острой и необычайно напряженной литературной борьбы; едва ли не центральное место в этой борьбе занимает полемика Тредиаковского и Сумарокова. Их споры имеют первостепенное историко-культурное значение: в ходе этой распри в негативной, полемической форме отрабатываются программные установки, которые определяют направление литературного развития[1]. Более того: именно в результате полемики Тредиаковского и Сумарокова появляются новые жанры — так создаются первые в России комедии («Тресотиниус» и «Чудовищи» Сумарокова; «новая сцена» из «Тресотиниуса», сочиненная Тредиаковским), первые пародии, направленные на индивидуальный стиль (такие, например, как сумароковская песня «О приятное приятство…» и т. п.), наконец, первые критические трактаты («Письмо от приятеля к приятелю» Тредиаковского и «Ответ на Критику» Сумарокова)[2]. Можно сказать, что эта литературная война в сущности объединяет полемизирующие стороны, делая их участниками общего культурного процесса: поле битвы оказывается той творческой лабораторией, в которой разрабатывается как теория, так и практика литературы.

Для историка русской культуры важны и интересны все этапы, все перипетии этой литературной войны. Между тем, соответствующие тексты, будучи наполнены актуальным полемическим содержанием, не всегда легко поддаются прочтению: как правило, они нуждаются в специальной интерпретации, своего рода дешифровке. Задача настоящей работы — предложить интерпретацию этих текстов; решение этой задачи на каждом этапе с необходимостью предполагает описание историко-литературного фона полемики и, следовательно, выяснение всех обстоятельств, вызвавших к жизни интересующие нас тексты.

§ 2. Начало распри: притязания Сумарокова на ведущую роль в литературе; трагедия «Хорев»

Открытая распря между Тредиаковским и Сумароковым начинается осенью 1748 г., когда Сумароков создает «Эпистолу о русском языке»; с этого времени войну можно считать объявленной. Однако появлению сумароковской эпистолы предшествовали некоторые события, нагнетавшие напряженность в отношениях

писателей. По-видимому, уже в начале 1740-х гг. между ними возникает личный и творческий антагонизм.

Первые оды молодого Сумарокова на новый, 1740 год (см.: Сумароков, 1740; Сумароков, 1957, с. 49–53) были написаны по образцам, предложенным Тредиаковским в «Новом и кратком способе…» 1735 г.: одна «хореическим пентаметром», другая «хореическим эксаметром». То, что в начале своей поэтической деятельности Сумароков был последователем Тредиаковского, подтверждается и позднейшей запиской Ломоносова (1760), в которой говорится, что Сумароков «стихосложение сперва принял развращенное от Третьякова» (т. е. Тредиаковского) и «написал ругательную эпиграмму» на новые правила стихосложения, предложенные Ломоносовым (Ломоносов, IX, с. 634); эта сумароковская эпиграмма до нас не дошла.

В более зрелом возрасте Сумароков назвал свои первые стихи «слабыми», одновременно подчеркнув, что у него не было учителей: «Я будто сквозь дремучий лес сокрывающий от очей моих жилище Муз без проводника проходил… Русским языком и чистотою склада, ни Стихов, ни Прозы, не должен я ни кому кроме себя…» («К несмысленным рифмотворцам», 1759 г. — Сумароков, IX, с. 277–278).

То же самое он повторил в одной из элегий:

Без провождения я к Музам пробивался,
И сквозь дремучий лес к Парнассу прорывался.
(Там же, с. 75)

Значение этих позднейших и, безусловно, пристрастных деклараций нельзя преувеличивать; но существуют и объективные свидетельства того, что стремление Сумарокова к творческой независимости возникло достаточно рано. Действительно, после возвращения Ломоносова из Германии в июне 1741 г. Сумароков — в условиях соперничества Ломоносова и Тредиаковского — принимает сторону Ломоносова и тем самым отходит от Тредиаковского; вместе с тем постепенно Сумароков порывает и с Ломоносовым (см.: Гринберг, 1990). Это желание занять самостоятельную позицию проявляется в том, что в 1743 г. Сумароков выступает инициатором известного поэтического состязания (см.: Тредиаковский, 1744), по-видимому, надеясь доказать свое творческое превосходство (см. свидетельство Тредиаковского в «Письме от приятеля к приятелю» — Куник, 1865, с. 443)[3].

Однако первым действительно важным шагом, реализовавшим желание Сумарокова добиться полностью самостоятельного положения в литературе, стало создание им в 1747 г. трагедии «Хорев». Прошение об издании «Хорева» в академической типографии было подано Сумароковым на имя президента Академии наук К. Г. Разумовского 28 октября 1747 г. (см. документы академической канцелярии за сентябрь-октябрь 1747 г.: ААН, ф. 3, оп. 1, № 110, л. 492–501; Мат. АН, VIII, с. 581; Письма XVIII в., с. 68). Уже 5 ноября в журнале канцелярии была сделана запись о принятии трагедии к изданию (ААН, ф. 3, оп. 1, № 110, л. 494), а в январе 1748 г. печатание ее завершилось.

Это событие имело большое значение — прежде всего для самого Сумарокова. Не удовлетворяясь реноме светского стихотворца, автора модных любовных песенок[4], он претендовал теперь на место ведущего национального поэта, впервые предлагающего читателю отечественный образец одного из главных классицистических жанров. Как известно, в середине XVIII в. происходит интенсивное освоение западноевропейской жанровой системы; соответственно строится и литературная ситуация — писатели распределяют свои роли, ориентируясь на признанные образцы. Создавая «Хорева», Сумароков явно стремится получить вакантную роль русского Расина или Вольтера (как его впоследствии и называли); тем самым он пытается не только занять место рядом с Тредиаковским и Ломоносовым, уже стяжавшими литературный успех, но и превзойти их, достигнуть первенства среди русских писателей.

До нас не дошли высказывания Тредиаковского и Ломоносова о «Хореве», относящиеся к времени создания и опубликования трагедии, но есть основания считать их реакцию по меньшей мере неодобрительной. Действительно, уже в рецензии Тредиаковского на вторую трагедию Сумарокова «Гамлет», написанную в октябре 1748 г., слышатся отзвуки осуждения «Хорева» (Мат. АН, IX, с. 460–461; Пекарский, II, с. 130–131; см. ниже, в § **I-3.2** цитату из этой рецензии), а скрупулезность уничтожающего разбора, которому была подвергнута сумароковская трагедия в «Письме от приятеля к приятелю» 1750 г. (ср. ниже, § **I-6.1**), заставляет думать, что критика вынашивалась Тредиаковским в течение долгого времени. Вполне вероятно, что Тредиаковский тогда же создал и какие-то утерянные впоследствии сатирические произведения, содержавшие нападки на «Хорева», — вот что, во всяком случае, заявляет в сумароковской комедии «Чудовищи» (1750) педант Критициондиус, в лице которого выведен Тредиаковский: «На трагедию Хорева, сложил я шесть дюжин Епиграмм, а некоторыя из них и на Греческий язык перевел…» (Сумароков, V, с. 267).

Что же касается Ломоносова, то он непосредственно после создания «Хорева» — в 1747 г. или в начале 1748 г. (см.: Гринберг, 1990, с. 121) — критиковал Сумарокова за то, что тот «взял многое в свою трагедию из французских стихотворцов» (см. статью Сумарокова «Критика на Оду» — Сумароков, X, с. 82).

Для полноты описания отношений Тредиаковского и Сумарокова в период до 1748 г. укажем, что между ними, судя по всему, имели место и другие столкновения, обусловленные конкуренцией в жанре любовной песни. Так, в той же комедии «Чудовищи» Сумароков дает понять, что Тредиаковский каким-то образом критиковал его песню «Прости мой свет» (Сумароков, V, с. 267); по всей видимости, эти же нападки определили содержание одного из фрагментов сумароковской «Эпистолы о стихотворстве» (1748), о чем еще будет идти речь ниже (см. § **I-5.3**). Действительно, известна стихотворная эпиграмма «На песню „Прости мой свет“», и в рукописном сборнике «Разные стиходействии» (ИРЛИ, разр. II, оп. 1, № 635, л. 66) в качестве автора этой эпиграммы указан Тредиаковский[5]. Дошедший до нас текст явно испорчен, и это мешает безоговорочному установлению авторства Тредиаковского. Как бы то ни было, независимо от то-

го, кто на самом деле был автором этой эпиграммы, существенно то, что в XVIII в. им мог считаться Тредиаковский. Таким образом, представляется вполне вероятным, что Сумароков в «Чудовищах» и «Эпистоле о стихотворстве» откликается именно на это произведение.

§ 3. Противоборство Тредиаковского и Сумарокова во время издания трагедии Сумарокова «Гамлет» и его «Двух эпистол»

Итак, в 1748 г. Сумароков был поставлен перед необходимостью защищаться и отстаивать свои литературные притязания. Решая эту задачу, он создает еще одну трагедию — «Гамлет», а также ставшие знаменитыми «Две эпистолы»[6]; первая из эпистол содержит анализ положения, в котором находился русский литературный язык, и мысли автора о дальнейших путях развития этого языка, вторая излагает буалоистский кодекс литературных законов классицизма (в сумароковской рецепции). Эпистолы Сумарокова были насыщены выпадами, задевавшими обоих его соперников: с их появлением борьба на русском Парнасе резко обострилась. Ближайшим выражением этой борьбы стала запутанная история двукратного рецензирования рукописи эпистол до их издания, к изложению которой мы перейдем, предварительно рассмотрев сатирические аспекты «Эпистолы о русском языке» (в ее начальной части был сосредоточен основной полемический заряд сумароковского произведения).

§ 3.1. Сатирические аспекты «Эпистолы о русском языке»

Первые двадцать стихов «Эпистолы о русском языке» были посвящены общей характеристике русской литературно-языковой ситуации и, вообще говоря, не содержали ничего обидного для противников Сумарокова. В то же время безусловно обидными были дальнейшие стихи (21–44), следовавшие непосредственно после заявления о том, что в России нет хороших писателей:

Довольно наш язык в себе имеет слов;
Но нет довольнаго числа на нем писцов.
Один последуя несвойственному складу,
Влечет в Германию Российскую Палладу,
И мня что тем он ей приятства придает,
Природну красоту с лица ее берет.
Другой не выучась так грамоте, как должно,
Поруски, думает, всего сказать не можно,
И взяв пригоршни слов чужих, сплетает речь,
Языком собственным, достойну только сжечь.
Иль слово в слово он в слог Русской переводит,
Которо на себя в обнове не походит.
Тот прозой скаредной стремится к небесам,
И хитрости своей не понимает сам.
Тот прозой и стихом ползет, и письма оны,
Ругаючи себя, дает писцам в законы.

Хоть знает, что ему во мзду смеется всяк;
Однако он своих не хочет видеть врак.
Пускай, он думает, меня никто не хвалит.
То сердца моево нимало не печалит:
Я сам себя хвалю: на что мне похвала?
И знаю то, что я искусен дозела.
Зело, зело, зело, дружок мой ты искусен,
Я спорить не хочу, да только склад твой гнусен.
Когда не веришь мне; спроси хотя у всех:
Всяк скажет, что тебе пером владети, грех.
(Сумароков, I, с. 331–332)

Намеки, содержащиеся в стихах 33–44, особенно прозрачны: в самом деле, мы находим здесь прямую отсылку к только что изданному «Разговору об ортографии» Тредиаковского («Разговор…» вышел из печати в сентябре 1748 г.). В этой книге Тредиаковский предлагал исключить из алфавита букву «земля» (*з*) и последовательно ставить вместо нее «зело» (*s*); это предложение открыто высмеивается Сумароковым (см.: Успенский, 1984/1996, с. 391–392 — наст. изд., с. 494)[7].

Вполне вероятно, что в стихах 25–30 также подразумевается Тредиаковский (ср.: Пекарский, II, с. 133, а также комментарий в изд.: Сумароков, 1935, с. 432). Действительно, ранним переводам Тредиаковского, начиная с «Езды в остров Любви», присущ буквализм (ср. характеристику языка «Езды…»: Сорокин, 1976, с. 47 и др.), и у Сумарокова были достаточные основания для утверждения, что «слово в слово он в слог Русской переводит, которо на себя в обнове не походит»; та же мысль, по-видимому, содержится и в замечании о «словах чужих», из которых Тредиаковский «сплетает речь языком собственным».

Вместе с тем, в стихах 21–24 и 31–32 речь идет, надо полагать, о Ломоносове (ср.: Пекарский, II, с. 133, а также комментарий в изд.: Сумароков, 1935, с. 432). Тесная связь Ломоносова с немецкой поэтической традицией позволяет, по-видимому, утверждать, что именно он «влечет в Германию Российскую Палладу»; что же касается стихов 31–32, то в них Сумароков впервые формулирует определение, которое по меньшей мере дважды использует впоследствии для критики Ломоносова (см. подробнее: Гринберг, 1990, с. 116–117).

Если согласиться со сказанным, то композиция начальной части «Эпистолы о русском языке» выглядит довольно стройной. Выразив в первых двадцати стихах мысль о достоинстве национального языка, Сумароков далее пытается опорочить двух главных своих противников, наносящих ущерб этому достоинству. «Один», т. е. Ломоносов, пытается навязать российскому красноречию (олицетворяемому Палладой) чужеродную традицию (стихи 21–24). «Другой», т. е. Тредиаковский, причиняет языку вред неудачной переводческой деятельностью (стихи 25–30). «Тот» (первый) склонен к высокопарному («стремится к небесам»), но пустому и невнятному («хитрости своей не понимает сам») витийству (стихи 31–32). «Тот» (второй), чьи сочинения противопоставляются творчеству первого

по признаку «низости» («прозой и стихом ползет»)[8], тщится поучать других («письма оны… дает писцам в законы», — подразумеваться здесь может в первую очередь «Новый и краткий способ» 1735 г., где теоретические положения иллюстрируются собственными стихотворными произведениями Тредиаковского, но также и его книги 1740-х гг.: «Слово о витийстве» 1745 г. и «Разговор об ортографии» 1748 г.); однако никто не следует его наставлениям — напротив, все смеются над ним и над его самохвальством (стихи 33–44).

Знаменательно, что под удар Сумарокова, выступающего в роли законодателя языка и литературы, попадают законодательные сочинения обоих его соперников. Действительно, наряду с «Новым и кратким способом» Тредиаковского здесь критикуется «Риторика» Ломоносова, в которой широко представлены примеры художественной прозы в авторских переводах, — только ее может иметь в виду Сумароков, говоря о «скаредной прозе», которая стремится к небесам[9].

Далее, в позитивной части эпистолы, излагаются представления Сумарокова о «хорошем складе», но и в эту часть включена полемическая реплика, развивающая тему стихов 25–30 (о плохих переводах — с возможной аллюзией на Тредиаковского): описывая принципы «похвального перевода», Сумароков осуждает таких переводчиков, которые «точно нарекают все слова», но размещают их «без порядка» (стихи 75–94). Как мы увидим ниже, этот выпад, скорее всего, также направлен против Тредиаковского (см. § **I-5.3**).

Подводя итог, отметим, что полемический подтекст сумароковской эпистолы существенно различается в зависимости от адресата полемики: намеки на Тредиаковского совершенно ясны и однозначны; напротив, выпады против Ломоносова достаточно завуалированы и в принципе оставляют возможность иного прочтения. Важно при этом, что полемика с Тредиаковским носит недвусмысленно личный характер, поскольку содержит аллюзию на его конкретный текст (а именно, «Разговор об ортографии»); между тем в случае Ломоносова критикуется не столько его личность, сколько определенный писательский тип.

§ 3.2. История издания «Гамлета» и «Двух эпистол»

Без точного понимания всех обстоятельств, сопутствовавших прохождению «Гамлета» и «Двух эпистол» через академическую цензуру, невозможно правильно представить себе отношения между втянутыми в этот процесс писателями — Тредиаковским, Ломоносовым и Сумароковым — и, что не менее важно, правильно оценить некоторые строки «Эпистолы о стихотворстве», непосредственно продиктованные этими отношениями, а в дальнейшем, после опубликования эпистол, и определявшие их. События, связанные с рецензированием «Гамлета» и «Двух эпистол», уже комментировались в научной литературе[10]. Мы попытаемся описать их с возможной полнотой, используя материалы Архива Академии наук: документы канцелярии (ААН, ф. 3, оп. 1, № 122, л. 65–81 и № 123, л. 65–79; далее ссылки только на номер дела и листы) и авторские наборные рукописи «Гамлета» и «Двух эпистол» (ААН, разр. II, оп. 1, № 62 и № 132; далее ссылки только на листы)[11].

Из документов явствует, что 8 октября 1748 г. Сумароков «в канцелярию академии наук взнес сочинения его Гамлет трагедию скорописную которую желает при академии напечатать». В тот же день было постановлено отдать трагедию на рецензирование: «Того ради определено оную трагедию освидетельствовать профессорам Тредиаковскому и Ломоносову, не окажется ли во оной чего касающагося кому до предосуждения. Что ж касается до штилю такое имеют оставить как оно написано…» (№ 122, л. 66–66 об.; ср.: Мат. АН, IX, с. 457). Далее Тредиаковскому предлагалось освидетельствовать рукопись в течение 24 часов и передать ее Ломоносову.

Обращают на себя внимание требования канцелярии к рецензентам, кажется, беспрецедентные в академической практике. Несомненно, Сумароков мог оказать влияние на канцелярию, пользуясь своим положением адъютанта при графе А. Г. Разумовском (напомним, что К. Г. Разумовский, брат А. Г. Разумовского, был президентом Академии наук). Надо полагать, что именно по настоянию Сумарокова в ордер было внесено указание не касаться «штиля» трагедии (ср.: Ломоносов, IX, с. 937).

Отзыв Тредиаковского был написан и сдан в канцелярию 10 октября. Тем же числом датирован и отзыв Ломоносова, переданный в канцелярию 11 октября; этот последний отзыв сводился к краткому замечанию о том, что в трагедии «нет… ничего, что б предосудительно кому было и могло б напечатанию оной препятствовать» (№ 122, л. 70; Мат. АН, IX, с. 461; ср.: Летопись, 1961, с. 130).

Иной характер носила рецензия Тредиаковского. Указав, что в трагедии «не видно ничего предосудительного никому доброму» и даже назвав ее «довольно изрядною», Тредиаковский затем переходил к похвале более сомнительного свойства: «Автор самую важную погрешность, в первой своей трагедии Хореве (в которой порок преодолел, а добродетель погибла) в сей прилежно исправил» (ср. выше, § **I-2**); далее, сохраняя внешне доброжелательный тон, рецензент намекал на подражательность нового сочинения Сумарокова: «Что ж до сушчественных свойств трагедии, а именно, до ужаса и жалости, в сей не инако они господствуют, то есть с таким же возбуждением пристрастий, как и в Софокловой трагедии, названной Едип: но характер сея новыя больше сходен с оною французскою, которой имя Полиевкт».

Наконец, Тредиаковский обращался к замечаниям о стиле трагедии, прямо нарушая тем самым указание канцелярии: «Впрочем, как в первой Авторовой трагедии, так и в сей новой, везде рассеяна неравность стиля, то есть, инде весьма по славенски сверьх театра, а инде очень по плошчадному ниже трагедии, также находятся в той и в сей многие грамматические неисправности; а слово *побороть* и в противном употреблено знаменовании…». В заключение Тредиаковский сообщал, что он «несколько неглатких и темных стихов… принял смелость вновь переделать, и написать их на белых, в подлиннике рукописном, страницах карандашем. Ежели угодно будет Автору, то для его они употребления пускай служат: но буде не понравятся, то в благонадежном дерзновении моем у него ж прошу прошчения…»[12].

Излагая свои критические замечания, Тредиаковский отмечал вместе с тем, что «надлежит показать Автору некоторое снисходительство для многих благородных, и нравоучительных разумений…» (№ 122, л. 69; Мат. АН, IX, с. 460–461).

Отзыв Тредиаковского, строго говоря, должен был считаться положительным. Тем не менее, мы едва ли ошибемся, заключив, что поучительный тон отзыва не мог не задеть честолюбия Сумарокова, притязавшего на место первого русского трагика. Получив из канцелярии свою рукопись с подчеркиваниями и поправками Тредиаковского и ознакомившись с рецензией, в которой критиковался стиль «Гамлета» и — видимо, не в первый раз — осуждалась «порочная» развязка «Хорева», рассерженный Сумароков не нашел ничего лучшего, как стереть все варианты, предложенные Тредиаковским для совершенствования текста, и часть подчеркиваний[13], а затем, написав на титульном листе «Подчертки карандашем не значат ничево» и заключив эту надпись в рамку, возвратил 14 октября рукопись трагедии в канцелярию. В тот же день, сославшись на одобрительный отзыв Ломоносова (о рецензии Тредиаковского умалчивалось), канцелярия постановила принять трагедию Сумарокова к изданию (№ 122, л. 71–73; Мат. АН, IX, с. 479–480). 3 декабря «Гамлет» был напечатан (№ 122, л. 76).

Примерно в это же время Тредиаковскому и Ломоносову пришлось оценивать и «Две эпистолы» Сумарокова, поступившие на их рассмотрение до 12 октября[14]. Как мы уже видели, значительную часть первой эпистолы составляли неприкрытые нападки на Тредиаковского[15] и — не столь откровенные, но все же, вероятно, понятные адресату — на Ломоносова. Не удивительно, что отзыв Тредиаковского на эпистолы (написанный 12 октября) был достаточно резким: в нем указывалось, что Сумароков нарушил правила литературной полемики, обличая не абстрактные пороки, а их конкретных носителей: «Коль они [эпистолы] ни изрядны, и ни достойны света; однако ешче б изряднее и достойнее того быть могли, ежели б в них, особливо ж в первой, меньше было сатиры, а больше б она походила на епистолу. В ней толь великое чтется язвительство, что не пороки пишушчих больше пятнаются, сколько сами писатели, так что и звательный падеж одного употреблен, и только что не собственное имя, по примеру так называемыя древния Аристофановы комедии, которая впрочем в Афинах тогда накрепко запрешчена была начальствуюшчими…» (№ 123, л. 70; Мат. АН, IX, с. 473–474; Пекарский, II, с. 131)[16].

Под «звательным падежом» могло подразумеваться только прямое обращение Сумарокова в стихе 41 к не названному по имени, но легко узнаваемому по такому признаку, как «зело» (см. выше, § **I-3.1**), Тредиаковскому[17]: «Зело, зело, зело, д р у ж о к м о й ты искусен»[18] (и далее, в стихах 42–44: «склад твой гнусен», «спроси хотя у всех», «тебе пером владети грех»).

Если отзыв Тредиаковского, несмотря на его сдержанный тон, можно назвать неодобрительным, то реакция Ломоносова — в точном соответствии с характером направленных против него сатирических выпадов Сумарокова — была двусмысленной и уклончивой. Свое мнение о сумароковских эпистолах Ломоносов не сообщил в канцелярию, а изложил в письме от 12 октября, направленном

на имя Тредиаковского в Историческое собрание (Ломоносов, X, с. 460–461). Основная тема этого письма (вопрос о регламенте Академического университета) не имела отношения к эпистолам: суждение о них было высказано мимоходом, в виде ремарки. Направляя письмо в Историческое собрание, которое должно было обсуждать университетский регламент, Ломоносов лишал Тредиаковского возможности использовать его отзыв об эпистолах как самостоятельный документ. Тредиаковский, который надеялся, видимо, что Ломоносов, как и он, даст Сумарокову отпор, был поставлен в довольно трудное положение: он имел в руках отзыв, который не обладал официальной силой.

Сложность ситуации достаточно хорошо отражена в доношении Тредиаковского в канцелярию Академии наук, написанном, скорее всего, 12 или — что гораздо менее вероятно — 13 октября[19]: «Понеже по письму, присланному мне от господина секретаря Ханина, отослал я вчера при письме моем две епистолы Александра Сумарокова, объявляя ему [Ломоносову], чтоб он изволил, разсмотрев их, также в канцелярию репортовать о мнении своем: но господин Профессор Ломоносов вместо чтоб репортовать о том в канцелярию прямо, изволил ко мне в конференцию своеручное письмо, в котором не токмо мнение свое объявляет об оных епистолах, но и нечто относящееся до регламенту университетскаго, чего мне прежде общего определения произвесть в канцелярию не возможно. Того ради, токмо то, что касается до епистол, выписав из онаго письма, предлагаю канцелярии, а в уверение подписуюсь своеручно. Василей Тредиаковский» (№ 123, л. 71). Далее следовала выписка из письма Ломоносова, подлинность которой была заверена подписью Тредиаковского: «Что надлежит до стихов Александра Петровича, то не имея к себе прямо ордера в канцелярию репортовать не могу; но только на ваше письмо вам ответствую, и думаю, что Господину сочинителю сих епистол можно приятельски посоветовать, чтобы он их изданием не поторопился, и что не сыщет ли он чего нибудь сам, что б в рассуждении некоторых персон отменить несколько надобно было. Присылая его стихи остаюсь…» (№ 123, л. 71 об.; ср.: Ломоносов, X, с. 460–461).

Как видим, Ломоносов умело избежал открытого столкновения с защищенным высокими покровителями Сумароковым, уклоняясь от обязанности дать формальное заключение об эпистолах и специально оговаривая частный, неофициальный характер своего отзыва. В результате этого маневра Ломоносов не только оказывался в безопасной позиции, но и подставлял под удар Тредиаковского, стравливая своих основных литературных противников. Вместе с тем Ломоносов, видимо, рассчитывал, что его письмо станет известным Сумарокову и тот поймет заключенный в нем намек на возможность компромисса. Кажется, что письмо было предназначено одновременно для двух адресатов, которые должны были извлечь из него разный смысл: предполагалось, что Тредиаковский отнесет выражение «некоторые персоны» к себе и к Ломоносову, Сумароков же в этом контексте мог отнести его к одному Ломоносову.

Получив из канцелярии рукопись своих эпистол и ознакомившись с отзывами на них, Сумароков не мог не оценить разницы в поведении рецензентов[20].

Вместе с тем, ему пришлось решать, как поступить дальше: при наличии лишь одного официального отзыва, и притом неодобрительного, канцелярия, по-видимому, не могла распорядиться о печатании (недаром в ноябре рукопись была отправлена на повторное рецензирование; см. ниже). Можно было изъять из первой эпистолы наиболее грубые и открытые выпады против Тредиаковского и попытаться склонить его к более снисходительной оценке. Сумароков избрал другой путь: он счел тактически выгодным заключить союз с Ломоносовым и сосредоточиться на борьбе с Тредиаковским. С этой целью он ввел в заключительную часть «Эпистолы о стихотворстве» четыре новых стиха (389–392), в которых дается такой совет будущему одописцу:

И с пышным Пиндаром взлетай до небеси,
Иль с Ломоносовым глас к небу[21] вознеси:
Он наших стран Мальгерб: он Пиндару подобен;
А ты Штивелиус, лиш только врать способен.
(л. 18 об. – 19)[22]

Можно не сомневаться, что решение открыто осмеять Штивелиуса-Тредиаковского[23] далось Сумарокову гораздо легче, чем компромисс с Ломоносовым[24]. Неискренний, чисто тактический характер этой похвалы Ломоносову особенно понятен, если обратить внимание на то, что Сумароков не стал изымать из первой эпистолы фрагменты, в которых новоявленный Пиндар и Мальгерб подвергался критике. Вместе с тем, введение панегирического отзыва о Ломоносове изменяло актуальный смысл этих фрагментов: читатель, не знакомый с историей текста, вполне мог теперь отнести их к некоему обобщенному писательскому типу, а не к первоначальному адресату — что, несомненно, устраивало Ломоносова.

9 ноября Сумароков вновь — на этот раз с подачей формального прошения о напечатании (№ 123, л. 66; Мат. АН, IX, с. 533) — представил в канцелярию свои эпистолы.

Это прошение начиналось так: «По желанию моему и по определению его сиятельства императорской академии президента, отданы для печатания на мой кошт в типографию сочиненныя мною две епистолы…». Далее Сумароков указывал, как следует печатать его сочинение.

Из прошения Сумарокова видно, что к этому времени он заручился твердой поддержкой президента Академии К. Г. Разумовского (возможно, этому содействовала предварительно достигнутая договоренность с Ломоносовым).

В тот же день, 9 ноября, канцелярия составила постановление, касающееся освидетельствования эпистол Тредиаковским и Ломоносовым (№ 123, л. 67; Мат. АН, IX, с. 533), и направила рецензентам соответствующие ордеры (№ 123, л. 68, 69). В постановлении говорилось: «А как оные профессоры [Тредиаковский и Ломоносов] оныя епистолы, по мнению своему, к печати удостоят, тогда отдать в печать…». Далее было указано, как именно следует печатать эпистолы, и сама конкретность этих указаний наводит на мысль, что исход дела был предопределен заранее.

Уже 10 ноября Тредиаковский дал свой отрицательный отзыв на эпистолы: «По силе ордера, присланного ко мне сего ноября от 9-го дня, приложенные при нем две Епистолы, сочиненные стихами, я прилежно разсмотрел, доношу, что хотя оне некоторым образом и поправлены, однако язвительства из них не токмо не вынято, но ешче оное в них и умножено. Того ради, видя, что оне самым делом злосные сатиры, а именем токмо епистолы, поносительных тех сочинений по самой безпристрасной совести, аппробовать не могу. Впрочем, предаю все власти и благорассуждению Канцелярии…» (№ 123, л. 72; Мат. АН, IX, с. 535). В постскриптуме он счел нужным заметить, однако, что в них «нет ничего противнаго как закону, так и Государству».

Тогда же, 10 ноября, рукопись была переслана Ломоносову, который отдал свою рецензию в канцелярию 17 ноября. Как бы отвечая Тредиаковскому и беря под защиту Сумарокова, он указывал, что «сатирические стихи» в эпистолах «ни до чего важнаго не касаются, но только содержат в себе критику некоторых худых писцов без их наименования». «А понеже таковые стихи… у всех политических народов позволяются… для того рассуждаю я, — заключал Ломоносов, — что вышеупомянутыя Епистолы по желанию Авторову напечатать можно» (№ 123, л. 73; Мат. АН, IX, с. 555).

На основании этого отзыва эпистолы были отданы в печать; к 15 декабря они были напечатаны (№ 123, л. 77–78; Мат. АН, IX, с. 598–599).

Попутно отметим, что между первым и вторым рецензированием Сумароков изъял из «Эпистолы о русском языке» восемь стихов, следовавших после стиха 74 («И двери чтение к искусству отверзает») и посвященных Феофану Прокоповичу:

В том древний Демосфéн в пример быть может дан
Лет средних, Златоуст, последних, Феофан,
Последователь сей пресладка Цицерона,
И красноречия Российскаго корона.
Хоть в чистом слоге он и часто погрешал;
Но красноречия премного показал.
Он Ри́тор из числа во всей Европе главных,
Как Мосгейм, Бурдалу, между мужей преславных.
(л. 3–4)[25]

Одновременно были удалены двенадцать стихов из «Эпистолы о стихотворстве», следовавших после стиха 18 («Передо всеми то читает без стыда»); в них говорилось о Кантемире и Феофане Прокоповиче:

Преславнаго Депрó, прекрасная сатира,
Подвигла в севере разумна Кантемира
Последовать ему, и страсти охуждать:
Он знал как о страстях пристойно рассуждать,
Пермесских голос нимф, был ввек его утеха,
Стремился на Парна́с; но не было успеха.

Хоть упражднялся в том доколе был он жив;
Однако был Пега́с всегда под ним ленив.
Разумный Феофан, котораго природа
Произвела красой Славенскаго народа,
Что в красноречии касалось до нево,
Достойнаго в стихах не зделал ничево.
(л. 7)[26]

Устранение этих стихов повлекло за собой изъятие в «Примечаниях на употребленный в сих епистолах стихотворцев имена» примечаний, относящихся к Феофану и Кантемиру (л. 20, 22)[27].

По всей вероятности, мы имеем дело с тактической уловкой Сумарокова, снявшего критические замечания о названных по именам умерших писателях, но сохранившего гораздо более актуальные намеки на не названных прямо, но еще живых современников[28].

§ 4. Полемическая атака Тредиаковского в «Предуведомлении» к переводу «Аргениды»

Ответные действия рассерженного Тредиаковского последовали довольно скоро: он нападает на Сумарокова в «Предуведомлении» к переводу «Аргениды» Барклая, который был им завершен в июле 1749 г.[29] Сразу оговоримся, что этим нападкам не суждено было увидеть свет, — из рукописи «Аргениды» (ААН, разр. II, оп. 1, № 77) видно, что «Предуведомление» (л. 3–53 архивной фолиации, с. I–XCIX авторской пагинации) до напечатания подверглось правке Тредиаковского, при этом была вычеркнута весьма обширная часть (с. LXXIII–LXXVI авторской пагинации), в которой Тредиаковский обличал Сумарокова, называемого здесь Архилашем Архилохичем Суффеновым (ср.: Ломоносов, IX, с. 949); о возможных причинах этой правки мы скажем ниже (§ **I-5**). Эта часть «Предуведомления» достойна внимания не только потому, что непосредственно связана с литературной войной Тредиаковского и Сумарокова в следующем, 1750 году, но и потому, что из нее могут быть извлечены некоторые сведения, важные для истории литературы. Вот этот текст:

«Я не сомневаюсь, что за сие новое сочетание в десятеростишных токмо, и кажется что пристойнее хореических строфах[30], тщеславный, и недалее, буде и то с основанием, сочетаваемых слогов мудрствовать имеющий Архилаш Архилохич Суффенов (как в голубиных свитках, наполняемых язвительными лешими, чужими лоскутками, и толь худо сшиваемыми, что нити знать, нечитанными объявлениями, и глубоким незнанием не токмо того, что выше, но и того, что просто Грамматическое; так может быть уже и в недействуемых и вечно бесполезных козлогласованиях) не опустит подняться и разглашать с хулою, наподобие трещотки, высокомерно и самолюбно, что он такое сочетание, не зная всеконечно свойства просодий наших, презирает, ругает, опровергает, особливо, что

оно ему неугодно. Но сколько такой ни жарким и ни злым будет зоилом; однако никогда от меня другаго не услышит ответа, кроме молчания, для того что я отдаю всем благорассудным полное о состоянии моем и о трудах рассуждение, и точное определение, презирая всемерно тщеславие тако́ва Архилаша, и* кроме себя никого не видящаго, а несколько заслуженную славу людей терзать силящагося, дабы пред незнающими оказать ему свою пустошь величавною дельностию; и не смотря ни мало, что такой один недостойно покорыствуется, как другой Прадон, сению. Впрочем, хотя б и необходимо надобно когда было, чтоб сего сложения человеку в ответ нечто сказать; однако ж и в таком случае, не надеюся я от себя, что б иным чем мог прыскание его возразить, как токмо тем, что благоразумный Эзоп в притчах своих предлагает об угрызающем псе, да и сие еще тогда в себе, молча, и к пустозвону не прилагая, а именно…[31]

Лихому псу звонок на шею привязать
Велел хозяин сам, чрез то б всем показать,
Что пес тот лют добре; затем бы прочь бежали, **
Иль палку б на него в руках своих держали.
Но злой пес мня, что то его мзда удальства,
Стал с спеси презирать всех лучшего сродства.
То видя говорил таварыщ стар годами:
Собака! без ума ты чванишься пред нами
Тебе веть не в красу, но дан в признак звонок,
Что нравами ты зол, а разумом щонок.

Но буде и сия моя умеренная, в рассуждении Архилаша, поступка чесным и искусным людям имеет быть тогда не угодна; то я желаю, и прошу покорнейше, чтоб все сие почтено было за несказанное. Что ж до тако́ва Архилаша Суффенова; то он хотя не будет верить, хотя лихом поминать, только больше того никогда не увидит от меня и не услышит: сие ж не для того, чтоб довольно трудившимся и примечавшим людям не быть против ветренаго в состоянии: едва будет что, где б таких мыслей и нравов охуждатель исправно и без бреден мог говорить, не получив основательнаго наставления, а думая, что он им пользуется; но для сего, чтоб многии не почли такова и впрямь за достойнаго в сих делах соперника.

* φιλαύτου γὰρ ἀνδρός, οὐ φιλοχάλου, παντὸς ἀεὶ βέλτιστον ἡγεῖσθαι
То есть: Человек, любящий себя, а не доброе, думает всегда, что он всех лучше. Плутар. в жит. Аратовом

** τῶν μνῆσαι, φίλον τέχνον, ἄμυνε δὲ δήϊον ἄνδρα
Илиад. X стих 84; то есть: О сих помни, любезное чадо, а от злаго человека бега́й».

Начальное предложение вычеркнутого Тредиаковским текста («Я не сомневаюсь, что за сие новое сочетание…» и т. д.) выглядит криптограммой и требует специального толкования. Что касается прозвища, данного Сумарокову, то фа-

милию *Суффенов* комментирует сам Тредиаковский в «Письме от приятеля к приятелю» 1750 г. (Куник, 1865, с. 484): она произведена от имени тщеславного и бездарного римского поэта Суффена, высмеянного Катуллом; отчество *Архилохич* объясняется претензиями Сумарокова на роль создателя русского ямба — метра, связанного в истории поэзии с именем греческого поэта Архилоха (см.: Успенский 1984/1996, с. 406 — наст. изд., с. 505)[32]. Эти претензии Тредиаковский отклоняет в своем «Предуведомлении» несколькими страницами раньше (ААН, разр. II, оп. 1, № 77, с. LIX–LX; ср.: Тредиаковский, 1751, I, с. LXV–LXVI)[33]. Имя *Архилаш* может быть связано с французским *lâche* ‘слабый, трусливый, подлый’ (ср.: Резанов, 1931, с. 234) и выражать превосходную степень любого из этих качеств[34]; одновременно это имя может ассоциироваться с тем же Архилохом, предполагая членение *Архил-аш*, — формант *-аш* в этом случае как бы представляет Сумарокова доморощенным Архилохом (ср.: Успенский 1984/1996, с. 405 — наст. изд., с. 504).

Говоря о том, что Архилаш «не далее… сочетаваемых слогов мудрствовать» имеет, Тредиаковский, очевидно, желает обличить недостаточную образованность и в особенности филологическую некомпетентность Сумарокова, ни на что, кроме стихоплетства (сочетания слогов), по его мнению, не способного.

Упоминание «недействуемых и вечно бесполезных козлогласований»[35] явно подразумевает трагедии Сумарокова «Хорев» и «Гамлет» — Тредиаковский называет их «недействуемыми», поскольку они еще не ставились на сцене.

Труднее понять, что такое «голубиные свитки, наполняемые язвительными лешими» (в этих свитках выступает тщеславный Архилаш). Разгадку подсказывает эпиграмма Ломоносова «Злобное примирение», написанная спустя десятилетие, в 1759 г. В ней Ломоносов откликается на неожиданное соглашение между Тредиаковским (Сотином) и Сумароковым (Аколастом):

> С Сотином — что за вздор? — Аколаст примирился!
> Конечно, третей член к ним, лешей, прилепился…
> (Ломоносов, VIII, с. 659)

П. Н. Берков определил «третьего члена», сопоставив эти стихи с письмом Ломоносова И. И. Шувалову, в котором содержалась следующая жалоба: «Здесь видеть можно целый комплот: Тр[едиаковский] сочинил, С[умароков] принял в Пчелу, Т[ауберт] дал напечатать без моего уведомления в той команде, где я присутствую» (Ломоносов, X, с. 534)[36]. Берков заключает, что «леший» — кличка И. Тауберта (см.: Берков, 1936, с. 245; Ломоносов, VIII, с. 1098–1099). В рассматриваемом нами тексте это предположение подтверждается тем, что слово *голубиный* намекает на фамилию *Тауберт* (*голубь* по-немецки — *die Taube*). В таком случае под «голубиными свитками» следует понимать «Санкт-Петербургские ведомости», редактировавшиеся Таубертом. В самом деле, «чужие лоскутки» — это, по всей видимости, иностранные известия, из которых большей частью состояла эта газета, а «объявления» печатались в конце каждого номера и сообщали сведения делового и коммерческого характера.

Правда, Тауберт, редактировавший «Ведомости» в разное время (в том числе с декабря 1743 по май 1748 г.), к моменту написания «Предуведомления» не был их редактором (с мая 1748 г. эти обязанности были переданы Штелину и Ломоносову, сам же Тауберт с августа 1748 по 4 октября 1749 г. находился в заграничной командировке, см.: Пекарский, I, с. 647–660). Тем не менее, для Тредиаковского было вполне естественным связывать это издание с именем его недавнего редактора. Характеристика языка «Санкт-Петербургских ведомостей», отличающегося, по словам Тредиаковского, «глубоким незнанием не только того, что выше, но и того, что просто Грамматическое», в принципе могла уязвлять любого из его врагов: Ломоносова, Тауберта и особенно, разумеется, Архилаша-Сумарокова — или всех их вместе взятых.

К сожалению, пока не удалось ответить на основной вопрос, который ставит первое предложение анализируемого текста: что именно подразумевал Тредиаковский, говоря о выступлениях Сумарокова в «Ведомостях»? Этот остающийся открытым вопрос, однако, не столь существен для нашей темы. Гораздо важнее характеристика, которую дает Тредиаковский своему врагу в изъятой части «Предуведомления». Основные черты этой характеристики будут разрабатываться и закрепляться в ходе дальнейшей полемики.

Главная из этих черт — «тщеславный», «высокомерный и самолюбный» нрав Архилаша-Сумарокова. Чванливость и суетное честолюбие, по мнению Тредиаковского, полностью определяют личность Сумарокова и его поведение. Характерно, что фигурирующая в приведенном тексте басня, осмеивающая Сумарокова, получает в дальнейшем у Тредиаковского название «Пес чван» (Тредиаковский, 1752, I, с. 190)[37].

Все позднейшие антисумароковские сочинения Тредиаковского так или иначе повторяют, варьируют и развивают этот мотив. Отсюда обыгрывание неоднозначности слова *амбиция* в сцене с Архисотолашем из «Письма от приятеля к приятелю» 1750 г. (см. ниже, § **I-6.2**; ср.: Успенский, 1984/1996, с. 407 — наст. изд., с. 505); отсюда же и отчество Архисотолаша — Филавтонович (в рассматриваемом нами тексте Тредиаковский использует для характеристики Сумарокова цитату из Плутарха, начинающуюся словом φιλαύτου («человек, любящий себя…»). Ср. также эпиграмму 1754 г. («Не знаю, кто певцов…»), в которой о Сумарокове говорится, что он «глупством… надменный» (Успенский, 1984/1996, с. 365, 377 — наст. изд., с. 475, 483); или ироническое согласие Тредиаковского признать хвастливого противника «первенствующим нашим Волтеро́м» в «Ответе на письмо о сафической и горацианской строфах» (Пекарский, II, с. 256).

Далее, Архилашу свойственны глупость и невежество («пустошь»), и поэтому он является «трещоткой» и «пустозвоном». Этот мотив также сохраняется в более поздних инвективах Тредиаковского; ср. хотя бы в эпиграмме 1754 г.:

Не штука стих слагать, да и того ты пуст.
Безплоден ты во всем, хоть и шумишь как куст.

(Поэты XVIII в., II, с. 393; Успенский, 1984/1996, с. 378 — наст. изд., с. 484)

Кроме того, Архилаш — «жаркий зоил», он злобен и может быть уподоблен «лютому псу» (ср. басню «Пес чван», о которой мы говорили выше). Эта линия также находит продолжение в эпиграмме 1754 г.:

Что ж ядом ты блюешь, и всем в меня стреляешь,
То только злым себя тем свету объявляешь.
Уймись, пора уже, пора давно, злыдарь.

(Поэты XVIII в., II, с. 393; Успенский, 1984/1996, с. 378 — наст. изд., с. 484)

Отсюда, безусловно, и именование Аколаста-Сумарокова «кобелем» и «красношерстым лыском» в другой эпиграмме на Сумарокова из Казанского сборника (Афанасьев, 1859а, стлб. 520).

Наконец, Архилаш-Сумароков назван «ветреным», что в тогдашнем культурном контексте включает его в ряд вертопрахов-щеголей (петиметров); таким образом, уже здесь Тредиаковский связывает Сумарокова с миром щеголей — впоследствии и эта тема получит дальнейшее развитие (ср.: Успенский, 1984/1996, с. 372–373, 405 — наст. изд., с. 479–481, 504).

Так Тредиаковский впервые пытается набросать характерный психологический и социальный портрет своего врага, мстя ему за сходные действия в «Двух эпистолах». Мы намеренно рассмотрели эту сторону «Предуведомления» довольно подробно: здесь особенно ясно видно стремление представить живое лицо противника утрированной, жесткой маской. Это стремление характерно как для Тредиаковского, так и для Сумарокова и проявляется с каждым новым столкновением все сильнее — признак, свидетельствующий о начале подлинной литературной войны. Не удивительно, что на следующем этапе этой войны сами маски оживают и находят воплощение в гротескных сценических образах Тресотиниуса (Критициондиуса) и Архисотолаша.

§ 5. Комедия Сумарокова «Тресотиниус»

Как мы убедились, в начальной фазе противоборства (до 1750 г.) удача была на стороне Сумарокова. Действительно, ему удалось провести в печать «Две эпистолы», в которых его противник несколько раз подвергся грубой и откровенной диффамации, между тем выпад Тредиаковского в «Предуведомлении» к «Аргениде» не стал известен широкой публике. Отсюда не следует, однако, что этот выпад вовсе не достиг цели. Содержание изъятого фрагмента стало известно Сумарокову: таким образом, для самих писателей и для их близкого окружения война протекала как поочередный обмен ударами. Не остался без ответа и полемический пассаж из «Предуведомления», который был нами рассмотрен.

Мы не знаем, когда и по чьему приказанию Тредиаковский был вынужден устранить этот пассаж. Вообще говоря, это могло случиться и до 9 января 1750 г., когда он передал в канцелярию дополняющие перевод «Изъяснения на митологические места, находящиеся в Аргениде», после чего (16 января) «Аргенида»

вместе с «Изъяснениями» была направлена в Историческое собрание «профессорам Штрубе, Ломоносову, Фишеру и адъюнктам Крашенинникову, Попову», которым поручалось ее «пересмотреть по местам» (Мат. АН, X, с. 231, 243–244). Более вероятно, однако, что изъятие было сделано по настоянию рецензентов в течение января-февраля 1750 года[38].

Достоверно известно, что Сумароков тогда же (скорее всего, до 24 февраля; см. ниже, § **I-5.1**) ознакомился с «Предуведомлением»: в «Письме от приятеля к приятелю» 1750 г. Тредиаковский сообщает, что подслушал, как Сумароков обсуждал прозвище «Архилаш Архилохич Суффенов» с одним из своих друзей (Куник, 1865, с. 482–484). Вполне возможно, что Сумароков был так или иначе причастен к удалению фрагмента об Архилаше. Во всяком случае, он хорошо знал обстоятельства, сопутствовавшие этому событию. Действительно, в двух сумароковских произведениях 1750 г., направленных против Тредиаковского, мы находим ядовитые намеки на происшедшее. В комедии «Тресотиниус» один из персонажей, сказав о сатирах, сочиняемых Тресотиниусом-Тредиаковским, замечает: «Боится толко таво, что не позволят напечатать, для того что он пишет немного дерзновенно…»[39]. Спустя несколько месяцев в «Ответе на Критику» Сумароков вновь уязвляет своего врага сходным образом: «… Ясно, что он превеликою на меня надут злобою; да на меня ли одного? на весь свет: за то, что ево сочинений ни кто не хвалит; а паче те которым они на разсмотрение даются, можно ли их напечатать позволить» (Сумароков, X, с. 101–102).

Надо полагать, что Сумароков не мог не рассердиться, узнав себя в малопривлекательном и явно не лишенном черт сходства портрете Архилаша. Он наносит ответный удар, создавая небольшую пьесу «Тресотиниус», которой суждено было стать первой русской комедией. В этой пьесе Сумароков использовал для осмеяния своего врага традиционный комедийный образ жениха-педанта.

§ 5.1. Датировка комедии и некоторые проблемы ее текстологии

В печатных изданиях «Тресотиниуса»[40] после списка действующих лиц находим следующее указание: «Зачата 12 Генваря 1750, окончена Генваря 13 1750, С. Петербург»[41]. Таким образом, если верить Сумарокову, комедия была написана им за два дня. Более того, он утверждал, что создал свою пьесу всего за шесть часов; свидетельство об этом мы находим в «Письме от приятеля к приятелю» Тредиаковского — обсуждая здесь мнение о легкости пера Сумарокова, Тредиаковский говорит: «Славящии остроту в нем превосходную, тем токмо доказывают, что он сию безделушку [комедию „Тресотиниус“] сочинил скоро, а именно в шесть часов… однако ж сии прославящии не знают, что Авторова комедия почитай вся взята из сочинений комических Барона Голберга, а особливо персона Капитана Самохвала. Ежели по сему надлежит переводить; то найдутся, кои сие ж самое и в половину тех часов могут зделать, да еще и весьма исправнее» (Куник, 1865, с. 441).

Однако этим высказываниям Сумарокова не следует, кажется, чрезмерно доверять. Можно предположить, что Сумароков говорил об этом и для того, чтобы

похвастаться своими творческими возможностями, и для того, чтобы уязвить Тредиаковского[42].

Другие указания относительно времени написания комедии «Тресотиниус» содержатся в рукописных списках[43]: здесь сообщается, что она была сочинена в феврале 1750 г. Эти указания говорят, возможно, о том, что Сумароков в течение января-февраля дорабатывал текст комедии и, приступив в конце января к подготовке театральных представлений вместе с кадетами (см.: Волков и театр, 1953, с. 80), вносил в него какие-то изменения.

Принято считать, что первое представление «Тресотиниуса» на сцене состоялось 30 мая 1750 г. (см.: Лонгинов, 1875, с. 6, 62; Рулин, 1923, с. 132; Берков, 1977, с. 29); запись об этом представлении имеется в «Камер-фурьерском журнале» (КФЖ, 1750, с. 62), а также в «Журнале дежурных генерал-адъютантов» (Евдокимов, 1897, с. 204). Однако в титуле комедии в списке ГИМ из собрания Черткова находим иные сведения:

> «Тресотиниус.
> Комедия г. Суморокова
> Сочиненная в Санкт-Петербурге 175 [sic!] году в феврале
> представлена впервые
> того ж году февраля
> 24 числа».

Так же выглядит название в списке ЦГАЛИ, с той разницей, что указано не 24, а 27 февраля — но это явная описка, так как 27 февраля в 1750 году начался Великий пост (ср.: КФЖ, 1750, с. 30) и театральных представлений быть в этот день не могло. Наконец, в каталоге библиотеки П. Г. Демидова, где также имелся (не дошедший до нас) список «Тресотиниуса», находим следующую запись: «Комедия Трисотиниус Александра Сумарокова, сочиненная февраля 24 дня, 1750» (Демидов, 1806, с. 259). Здесь, видимо, дата сочинения отождествлена с датой представления.

Все эти данные приобретают особую убедительность в сопоставлении с записью от 24 февраля 1750 г. в «Журнале дежурных генерал-адъютантов»: «При дворе ея императорского величества представлена была кадетами комедия» (Евдокимов, 1897, с. 195). Если принять во внимание, что всякий раз, когда игрались французские комедии, записи в журнале отражали это обстоятельство[44], то отсутствие эпитета позволяет предположить, что 24 февраля была показана комедия русская — а это наверняка был «Тресотиниус».

Правда, «Камер-фурьерский журнал» под 24 февраля ничего не говорит о театральных представлениях, однако под 25 февраля 1750 г. мы читаем: «При Дворе Ея Императорскаго Величества в новых парадных покоях, в которых сделана комедия, была Русская трегедия, называемая „Хорев“, которую играли кадеты» (КФЖ, 1750, с. 30). Надо полагать, что речь идет здесь о том же представлении, о котором сообщает «Журнал дежурных генерал-адъютантов» (разница в датах не должна смущать, поскольку такое же расхождение между

данными журналами — в один день — мы наблюдаем и в других случаях)[45]. Существенно при этом, что 30 мая 1750 г. «Тресотиниус» был показан — в качестве «нах-комедии» или, иначе, «нах-шпиля»[46] — именно в сочетании с «Хоревом»; то же, очевидно, имело место и 24/25 февраля, когда и состоялось первое представление «Тресотиниуса». Очень вероятно вообще, что Сумароков, сочиняя свою комедию, имел в виду создать так называемый «нах-шпиль» для «Хорева» (это подчеркнуто, в частности, тем обстоятельством, что один из героев комедии «Тресотиниус», Брамарбас, цитирует по ходу действия стихи из «Хорева»); таким образом, объединение в одном представлении «Хорева» и «Тресотиниуса» имеет, видимо, полемическую подоплеку: Сумароков сочетает комедию, высмеивающую Тредиаковского, с трагедией, которую тот критиковал. Ср. запись в «Камер-фурьерском журнале» под 30 мая 1750 г.: «В вечеру, во обыкновенное время, в оперном доме отправлялась Русская трагедия, называемая „Хорев“, и нах-комедия „Тресетиниус“ [sic!], в присутствии Ея Императорскаго Величества и Их Императорских Высочеств» (КФЖ, 1750, с. 62; ср.: Евдокимов, 1897, с. 204).

Ни императрица, ни наследник с супругой (т. е. Петр и Екатерина) не присутствовали на представлении «Тресотиниуса» 24/25 февраля, носившем, видимо, пробный характер. Вполне возможно, что именно перед этим представлением Тредиаковский «случился быть между ширмами» и подслушал разговор Сумарокова с одним из кадетов о прозвище «Архилаш Архилохич Суффенов», о чем он пишет в «Письме от приятеля к приятелю» (Куник, 1865, с. 484)[47].

Особый интерес представляют разночтения в различных вариантах комедии Сумарокова — эти разночтения, возможно, отражают работу автора над текстом и отчасти могут быть связаны с его реакцией на критику Тредиаковского. В этой связи возникает вопрос о том, какой вариант комедии был в распоряжении самого Тредиаковского в момент написания «Письма от приятеля к приятелю».

Как видно из «Письма от приятеля к приятелю», в руках Тредиаковского был список, который по крайней мере в одном отношении отличался от всех известных нам вариантов «Тресотиниуса»: в этом списке комедия состояла из семнадцати явлений[48]. Можно думать, что Тредиаковский располагал одним из самых ранних списков, поскольку во всех известных нам вариантах текста (как печатных, так и рукописных) представлено восемнадцать явлений. Не исключено, что Сумароков на каком-то этапе работы над комедией (может быть, между 13 января и 24 февраля) изменил текст, пополнив первую половину пьесы (явл. I–X) еще одним явлением.

Более того: в обсуждаемом нами списке содержалась реплика Оронта, на основании которой Тредиаковский в «Письме от приятеля к приятелю» обвинил Сумарокова в «кощунстве»: «Автор был толь великим Христианином в Оронтовом лице, что кощунства своего в XI. явлении не усумнился употребить и слова́ Христа Спасителя нашего» (Куник, 1865, с. 440).

В печатных изданиях соответствующая реплика Оронта отсутствует, но она налицо во всех известных нам рукописных вариантах, кроме парижского списка. Сказав, что Тресотиниус сочиняет против Брамарбаса сатиры (ср.: Сумароков,

V, с. 315), Оронт продолжает так (цитируем по списку ЦГАЛИ[49]): «… боится толко таво что не позволят напечатать, для того что он пишет немного дерзновенно, как то всем свойственно которыя по сирски знают. Однако душа ево будет прискорбна, ежели таво ему напечатать не позволят». Кощунственная аллюзия здесь обыгрывает слова Христа «прискорбна есть душа моя до смерти» (Мф., XXVI, 38; Мк., XIV, 34).

Прилагая эти слова Христа к Тресотиниусу, Сумароков высмеивает патетически благоговейное отношение Тредиаковского к словесности вообще и к собственному творчеству в частности. Тредиаковский парирует этот удар, обвиняя Сумарокова, напротив, в неблагочестивом отношении к сакральному тексту, в «скоморошестве» (Куник, 1865, с. 440); его выпад, очевидно, достигает цели — именно этим, скорее всего, и объясняется отсутствие данной реплики как в печатных изданиях, так и в парижском списке.

Обратим внимание на расхождения в важном для нас тексте песенки Тресотиниуса (явл. III): судя по рукописным вариантам, качество ее воспроизведения в печатных изданиях следует признать неудовлетворительным. Мы находим здесь, в частности, нарушения стихотворного размера, которые никак не могли нести функциональной (пародийной) нагрузки[50] (Тредиаковский, безусловно, не ошибался в таком простом элементе поэтической техники, как счет слогов)[51].

Представляется целесообразным реконструировать песенку Тресотиниуса с учетом рукописных вариантов. Вот эта реконструкция (именно реконструированный текст мы используем ниже, анализируя пародийные сочинения Сумарокова; см. § **I-5.3**):

Красоту на вашу смотря[а], распалился я, ей! ей!
О, изволь меня избавить ты от страсти тем моей![б]
Бровь твоя меня пронзила, голос кровь мою[в] зажог,
Мучишь ты меня Климена и стрелою сшибла с ног.
Видеть мне тебя есть благо[г],
О богиня всей любви!
Только то мне есть не благо,
Что живешь в моей крови.
Ибо[д] ты меня, спесиха слатенька[е], любезный[ж] свет,
Завсегда так презираешь, о! увы! моих злых бед!
Хоть Климена из под тиха покажи мне склонный вид!
И не делай больше серцу преобидимых[з] обид.
Не теряй свою[и] тем младость,
Приклони[к] ко мне себя,
Мысль моя[л] увидит сладость,
Буду жить ся[м] не губя.

[а] Так в списках ГИМ, ЦГАЛИ, ААН и в печатных изданиях, см. «Полное собрание всех сочинений» А. П. Сумарокова, изданное Н. И. Новиковым, ч. V (изд. 1-е — М., 1781; изд. 2-е — М., 1787), и «Российский Феатр», ч. XV (СПб., 1787). В парижском списке: «На красоту вашу…».

[б] Так в списках ГИМ и в парижском списке. В списке ААН: «А изволь…». В печатных изданиях: «Изволь меня избавить…». В списке ЦГАЛИ: «Изволь тем меня избавить ты от страсти сей моей». Неверная конъектура П. Н. Беркова: «Ах, изволь…». Основанием для выбора нашей конъектуры послужил пародируемый здесь стих Тредиаковского: «О, изволь от страсти к ней ныне мя избавить!» (см. § **I-5.3**).

[в] Так в списках ГИМ, ЦГАЛИ, ААН, парижском списке. В печатных изданиях отсутствует слово «мою». У П. Н. Беркова верная конъектура.

[г] Так в списках ГИМ, ЦГАЛИ, ААН; в парижском списке и в печатных изданиях: «драго». Поскольку вариант «благо» представлен в четырех ранних списках, полагаем, что он безусловно принадлежит Сумарокову; что же касается варианта «драго», то он отражает более позднюю редакцию, которая может принадлежать как Сумарокову, так и другому лицу.

[д] Так в списках ГИМ, ЦГАЛИ, ААН, парижском списке. В печатных изданиях: «Иль». Неверная конъектура Беркова: «Или».

[е] Так в списках ГИМ, ААН, парижском списке, в печатных изданиях. В списке ЦГАЛИ: «спесиха, слатенкой…».

[ж] Так в списках ГИМ, ЦГАЛИ, парижском списке, в печатных изданиях. В списке ААН: «любовный».

[з] Так в списке ЦГАЛИ. В списках ГИМ, ААН: «… преобидимых ты обид». В парижском списке и в печатных изданиях: «… преобидных ты обид». Этот стих Тресотиниус еще раз произносит в прозаическом тексте (в том же явлении); при этом в соответствующем месте списков ГИМ и ААН дан — как и в списке ЦГАЛИ — не нарушающий размера вариант: «преобидимых обид». На этом основании мы и избрали нашу конъектуру.

[и] Так в списках ГИМ, ААН, парижском списке, в печатных изданиях. В списке ЦГАЛИ: «ты всю».

[к] Так в списках ГИМ, ААН, парижском списке, в печатных изданиях. В списке ЦГАЛИ: «преклони».

[л] Так в списках ГИМ, ЦГАЛИ, парижском списке, в печатных изданиях. В списке ААН: «мою».

[м] Так в списках ГИМ, ААН, парижском списке, в печатных изданиях. В списке ЦГАЛИ: «я». Этот вариант, как и ряд других, отклоненных нами выше (в примечаниях *а*, *д*, *е*, *з*, *и*, *к*), объясняется, скорее всего, ошибкой писца.

§ 5.2. Гротескный образ Тресотиниуса-Тредиаковского

По тексту сумароковской комедии рассыпаны многочисленные намеки, помогающие зрителям (или читателям) понять, что в лице главного ее героя изображен Тредиаковский.

Прозвище «Тресотиниус» восходит, конечно, к «Les femmes savantes» Мольера[52], где под именем Триссотена (Trissotin) выведен аббат Котен (l'abbé Cotin) — салонный поэт, высмеянный Буало[53]. Заимствуя имя мольеровского персонажа, Сумароков явно сближает его с фамилией Тредиаковского (*Тре*сотиниус); одновременно обыгрывается французское *très sot* — таким образом, это имя означает ʽочень глупыйʼ. Латинизированное окончание *-ус* здесь очевидно соответствует амплуа педанта[54]; это окончание, возможно, коррелирует с церковнославянским окончанием *-ий* в фамилии *Тредиаковский* — при том, что такие фамилии писались обычно с окончанием *-ой*[55].

Наряду с пьесой Мольера Сумароков использовал в качестве основного источника комедию Гольберга «Jacob von Tyboe eller den stortalende Soldat», в не-

мецком переводе (который и был доступен Сумарокову) — «Bramarbas oder der groszsprecherische Officier». Замечательно, что это та же комедия, к которой восходит прозвище «Штивелиус» в сумароковской эпистоле о стихотворстве; при этом гольберговскому «магистру Штифелиусу» (Magister Stiefelius) соответствует у Сумарокова: «Тресотиниус, педант» — в обоих случаях гольберговский персонаж соотносится у Сумарокова с Тредиаковским.

Опознанию Тредиаковского в Тресотиниусе способствует и передразнивание названия его должности в Академии. При поступлении на службу в Академию наук Тредиаковский стал называться секретарем Академии; это звание было чисто номинальным, и надо полагать, что он назвал себя так сам, по собственной инициативе. Поэтому в канцелярских документах он именовался «под титулом секретарь» (Пекарский, II, с. 43–44; Успенский, 1985, с. 149 — наст. изд., с. 127). Как раз это наименование и высмеивается в сумароковской комедии: в VI явлении Тресотиниус сообщает, что он «титулярный учитель Арапскаго, Сирскаго и Халдейскаго языков», в XII явлении над этим трунит Брамарбас («Прямой титулярный неведомых нам языков учитель»), а в XVI явлении Тресотиниус, хваля подьячего, говорит, что тот «достоин секретарем быть» (Пекарский, II, с. 151–152; Филиппов, 1928, с. 198–199). Что касается знания Тресотиниусом Арапского, Сирского и других экзотических языков, то обычное полиглотство комедийного педанта (ср.: Рулин, 1929, с. 262) в данном случае приобретает специальные коннотации, так как Тредиаковский неоднократно апеллировал в своих сочинениях к авторитету древних языков (которых не знал Сумароков)[56].

Столь же характерной чертой, помогающей узнать Тредиаковского — точнее, маску, под которой он выводится в сатирических сочинениях Сумарокова, — является то, что Тресотиниус расхваливает собственные сочинения, хотя другие их не хвалят (ср. стихи 35–40 «Эпистолы о русском языке», где начата уже разработка этого мотива)[57].

Сумароковский Тресотиниус говорит языком Тредиаковского — показательны, например, такие формы, как *очюнь*[58], *по премногу*[59], *песенка*[60], а также ряд стилистических оборотов, в частности, тавтологические повторы (*прекрасная красота*, *приятная приятность*, *преобидимые обиды*)[61], плеонастические амплификации[62] и т. п. Эти черты языка Тресотиниуса-Тредиаковского специально обыгрываются в комедии. Ср. диалог Кларисы и Тресотиниуса при первом же выходе Тресотиниуса на сцену:

> «*Тресотиниус.* Прекрасная красота, приятная приятность, по премногу кланяюсь вам.
>
> *Клариса.* И я вам по премногу откланиваюсь, преучоное учение» (явл. III).

Здесь же, читая свою песню, в которой есть стих «И не делай больше серцу преобидимых обид», Тресотиниус говорит Кларисе: «Как вам ето слово кажется, и не делай больше серцу преобидимых обид! Не сильно ли это сказано?».

В этом же диалоге Тресотиниус возглашает: «песенка сочинена очюнь, очюнь, подлинно говорю, что очюнь хорошо, да еще и хореическими, суда-

рыня, стопами»[63]; на что Клариса отвечает: «О ч е н ь сударь хорошо; я вам верю что ета п е с н я хороша».

Равным образом Сумароков пародирует прием глоссирования, чрезвычайно характерный для научного стиля Тредиаковского. Ср.: «Ета бумажка ясняе вам скажет, какую язву в серце моем, приятство ваше, то есть красота ваша, мне учинило, то есть зделало» (явл. III); «… Вы таки и не стараетесь, чтоб вам знать орфографию, то есть правописание» (явл. XVI).

В ряде случаев реплики Тресотиниуса восходят к тем или иным произведениям Тредиаковского и должны восприниматься именно на этом фоне. Мы находим, например, скрытую цитату из предисловия к «Езде в остров Любви» (1730)[64]; наиболее часто обыгрывается «Разговор об ортографии». Подобно Тредиаковскому, Тресотиниус постоянно рассуждает о языке, особенно о буквах. В частности, здесь изображается спор Тресотиниуса с другим педантом, Бобембиусом, о форме буквы *Т*[65] — Тресотиниус является сторонником «тверда об одной ноге», а Бобембиус— «треножного тверда» (явл. V, XVI, XVIII)[66]; между прочим, Сумароков, по-видимому, обыгрывает при этом специфическое употребление эпитетов *подлый* и *благородный* как лингвостилистических характеристик в «Разговоре об ортографии», где *благородный* соответствует книжному, а *подлый* — разговорному началу[67].

Вместе с тем, Тресотиниус спорит с подьячим, настаивая на употреблении «зела», т. е. буквы *ѕ*, вместо *з* («земля»), — Сумароков, таким образом, продолжает полемику с «Разговором об ортографии», начатую в «Эпистоле о русском языке» 1748 г. (см. выше, § **I-3.1**). Ср.:

«*Тресотиниус.* … Тут поставь зело.

Подьячий. Благодетель мой, у нас зела в приказах не пишут; ныне зела и в писменных азбуках нет.

Тресотиниус. Я хочу, и действительно хочу, чтоб стояло зело, а не земля» (явл. XVI).

Ср. еще:

«*Подьячий.* … Да как знал я, что и зело, а не землю в заглавии написал.

Тресотиниус. Покажи… Хорошо, вижу, вижу, хорошо и смотреть нечево, и все написано по орфографии» (там же)[68].

Высмеивая фонетическую орфографию, принципы которой излагались Тредиаковским в «Разговоре…», Сумароков заставляет Тресотиниуса говорить *слатенька* (явл. III) — ср. орфограмму *слаткий* в «Разговоре…» (Тредиаковский, 1748, с. 94); специфическое правописание Тредиаковского переводится при этом в план звучащей речи, и это порождает комический эффект.

Удачно используя то обстоятельство, что трактат Тредиаковского написан в форме живого диалога, Сумароков уснащает речь педанта просьбами «не поскучить», «не погневаться», внимать «с рассуждением», столь характерными для «Разговора» (Тредиаковский, 1748, с. 8, 24, 27, 100, 103, 122, 155 и т. д.). Первая же реплика Тресотиниуса — его галантное обращение к Кларисе («Прекрасная

красота, приятная приятность, попремногу кланяюсь вам») отсылает к начальной сцене «Разговора…» (там же, с. 7–8), также демонстрирующей гипертрофированную любезность участников диалога (ср.: «*Рос.* … Я токмо благодарствую попремногу за ваше приятство и неоставление… *Чуж.* … Попремногу к вашим услугам»); надо сказать, что и сцена их расставания, занимающая несколько страниц (там же, с. 449–453), наполнена такими же словесными поклонами и расшаркиваниями (слово *попремногу*, перенесенное Сумароковым в его комедию, как бы фокусирует эту преувеличенную вежливость).

Кажется, к «Разговору…» восходит и хвастливое утверждение Тресотиниуса, что его песня не «безделка» и что «в етой безделке много дела» (явл. III) — в сочинении Тредиаковского Российский человек неоднократно говорит о важных «мелочах» и «безделицах» (Тредиаковский, 1748, с. 9–10, 65), а по поводу изобретенного им тонического способа стихосложения заявляет, что он им «как не бездельным» гордится (там же, с. 156–157).

В целом Тредиаковский предстает в комедии Сумарокова как смешной педант, который готов отдать жизнь за малейшие детали правописания. Ср., например: «Я лутче умру, нежели едакое неправедное и поносительное против одноножнова тверда выговорю слово» (явл. XVI); «… Я до последней капли чернил свое твердо защищать буду» (явл. V) и т. п.; в конце пьесы отвергнутый невестой Тресотиниус заявляет: «Я против вас наделаю сатир полтораста; а ты Бобембиус, хоть радуйся нещастью моему; только ведай, что я с тем умру, что одноножное твердо треножнаго правильняе» (явл. XVIII).

Специально подчеркивается при этом низкое социальное положение Тредиаковского: «… Каков ево чин, таков ево и поступок… Прямой титулярной неведомых нам языков учитель» (явл. XII).

§ 5.3. Пародирование поэтической техники Тредиаковского

В уста Тресотиниуса была вложена уже упоминавшаяся любовная песенка, пародировавшая основные особенности лирики молодого Тредиаковского (текст этой песенки приведен нами выше, в § **I-5.1**). В настоящем разделе мы исследуем механизм сумароковской пародии по возможности подробно; при этом наряду с песенкой Тресотиниуса нами будет рассматриваться пародийная песня Сумарокова «О приятное приятство…», впервые напечатанная Н. И. Новиковым в «Полном собрании всех сочинений» Сумарокова (см. изд.: Сумароков, VIII, с. 193–194; также: Сумароков, 1935, с. 307; Сумароков, 1957, с. 284–285). П. Н. Берков датирует эту песню началом 1750-х гг., предполагая, что она непосредственно связана с «Тресотиниусом» (в изд.: Сумароков, 1957, с. 559). По характеру своей пародийности это произведение, действительно, близко напоминает песенку Тресотиниуса[69].

Песенка Тресотиниуса, как и песня «О приятное приятство…», должна оцениваться на фоне соперничества Сумарокова с Тредиаковским в важнейшем для литературного развития 1740–1750-х гг. жанре любовной песни — и, шире, любовной лирики в целом[70].

Известно, что многие стихотворения молодого Тредиаковского, в том числе из «Езды в остров Любви», стали в 1730-х гг. популярными песнями. Эта популярность долго оставалась высокой (Ливанова, I, с. 46–56) и начала снижаться лишь к концу 1740-х гг. (Позднеев, 1964, с. 90). И хотя сам Тредиаковский, для которого 1740-е гг. стали временем радикального пересмотра воззрений на поэтическое творчество и литературный язык, едва ли был склонен в это время претендовать, как в 30-е годы, на репутацию модного автора любовных песенок, Сумароков, судя по всему, видел в нем вполне реального конкурента в этом жанре[71]. Уже в «Эпистоле о стихотворстве», где песне отведено неожиданно много места (в сравнении с «Поэтическим искусством» Буало), Сумароков, говоря о «скаредных песнях» (стихи 349–358), метил, возможно, в Тредиаковского (см.: Серман, 1973, с. 117)[72].

Столь подробное обсуждение жанра песни в эпистоле Сумарокова было стимулировано, возможно, тем обстоятельством, что Тредиаковский ранее критиковал сумароковскую песню «Прости мой свет» (см. выше, § **I-2**)[73]. Действительно, именно эта песня предстает в эпистоле Сумарокова в качестве своеобразного жанрового эталона, противопоставленного плохим, «скаредным» песням (стихи 338–345):

Скажи прощаяся: Прости теперь мой свет!
Не будет дня, чтоб я не зря очей любезных,
Не источал из глаз своих потоков слезных
. . . .
Прости в последний раз, и помни как любил.
(Сумароков, I, с. 346)[74]

Достаточно сравнить эти стихи с песней «Прости мой свет» (см.: Сумароков VIII, с. 258), чтобы убедиться в их близком сходстве[75]; таким образом, есть основания полагать, что этот фрагмент эпистолы заключает в себе не только жанроописательное, но и полемическое содержание.

Сумароков сближает песню с жанрами, посвященными изображению серьезной, обычно несчастной любви: идиллией и даже элегией[76]. Можно сказать, что он переводит песню из разряда поэтических мелочей — куда она помещена Буало и куда, видимо, ее относил Тредиаковский, — в круг произведений, обладающих достоинством средних жанров[77].

Что же имеет в виду Сумароков, говоря в своей эпистоле о «скаредных песнях»? Нормативное описание жанра песни, предложенное Сумароковым, противопоставляется прежде всего витийственному, «кудрявому» слогу:

Слог песен должен быть, приятен, прост и ясен,
Витийств не надобно; он сам собой прекрасен,
Чтоб ум в нем был сокрыт, и говорила страсть;
Не он над ним большой, имеет серце власть[78].
Не делай из Богинь красавице примера,
И в страсти не вспевай: Прости моя Венера,

Хоть всех собрать Богинь, тебя прекрасняй нет!
Скажи прощаяся: Прости теперь мой свет!
. . . .
Прости в последний раз, и помни как любил.
Кудряво в горести никто не говорил[79]:
Когда с возлюбленной любовник разстается,
Тогда Венера в мысль ему не попадется.

(Сумароков, I, с. 346)

Говоря о «кудрявом» песенном слоге, Сумароков, очевидно, имеет в виду устарелый, с его точки зрения, сентиментально-галантный стиль, доминирующий в любовной лирике, вставных ариях переводных повестей и русской драмы первой трети XVIII в. — так называемый поэтический стиль Петровской эпохи[80].

Несомненно, что в глазах Сумарокова Тредиаковский является типичным представителем этой поэтической школы: пародии Сумарокова на Тредиаковского — песенка Тресотиниуса и песня «О приятное приятство…» — обнаруживают поэтому органическую связь с «Эпистолой о стихотворстве». Если в эпистоле дается самая общая характеристика старомодного «кудрявого» слога любовной лирики, то в своих пародиях Сумароков стремится представить конкретные образцы такого слога. Песенка Тресотиниуса точно воспроизводит набор общих мест, характерных для поэтического стиля Петровской эпохи: так, Тресотиниус сообщает, что, увидев Кларису, «распалился» страстью к ней, умоляет избавить его от любовных страданий, начавшихся после того, как возлюбленная его «стрелою сшибла с ног», говорит о сладости любви и о блаженстве созерцания возлюбленной, просит «спесиху слатеньку» не презирать его чувство и явить ему милость[81]. Особенно характерным опознавательным признаком устарелой галантности, по Сумарокову, служит наименование предмета любви «богиней» (это прямо выражено в цитированном выше отрывке из «Эпистолы о стихотворстве») — соответственно, Тресотиниус обращается к Кларисе: «О богиня всей любви!»[82]. Одновременно такое наименование отражает актуальную для этого времени полемику о мифологических образах, о которой мы скажем ниже (см. § **II-3.1**).

Наряду со стандартными клише поэтического стиля Петровской эпохи пародии Сумарокова содержат в себе и ряд очевидных аллюзий, имеющих конкретные адреса в произведениях молодого Тредиаковского. Исключительно показателен, например, второй стих песенки Тресотиниуса («О, изволь меня избавить ты от страсти тем моей!»), который почти точно воспроизводит пятикратно повторяющийся — и тем самым носящий характер рефрена — стих элегии II из «Нового и краткого способа…»: «О, изволь от страсти к ней ныне мя избавить!» (Тредиаковский, 1735а, с. 54–57)[83].

В сумароковских пародиях обыгрываются и другие стихотворения из «Нового и краткого способа…», в частности, любовные песенки «на французские голосы». Так, стих «Утирая бровь» из песни Тредиаковского «Худо тому жити…» (Тредиаковский, 1735а, с. 26)[84] находит отражение в песне «О приятное приятст-

во…»: «Ты нестраждь уж больш так ныне, / Утирая милу бровь»; как характерный элемент, вносящий окраску трафаретной прециозности, «бровь» встречается также и в песенке Тресотиниуса («Бровь твоя меня пронзила»)[85]. Очень характерно, что Тресотиниус в своей песенке называет Кларису Клименой — это явно отсылает к песне «Сколь долго, Климена…» из того же трактата Тредиаковского (там же). Стихи из песни «О приятное приятство…»:

Как синицы птички нежно
Между любятся собой,
Их любовь как с щастьем смежна
В драгости живет самой

— могут быть поставлены в связь, во-первых, с популярнейшей «Песенкой… на мои выезд в чужия краи» Тредиаковского (ср.: «поют птички / со синички» — Тредиаковский, 1730, с. 205)[86], во-вторых, с «Эпистолой от Российския поэзии к Аполлину» из «Нового и краткого способа…» (ср.: «Не презренна и сестра от тебя та нежна / с Тевтом, Ибером живет что в средине смежна») — в этом случае связь создает главным образом рифма *нежна — смежна* (Тредиаковский, 1735а, с. 38).

Сумароков включает в свои пародии и другие рифмы-сигналы: *сладость — младость* (песенка Тресотиниуса), *ныне — благосты́не*[87], *приятство — изрядство* (песня «О приятное приятство…»)[88].

Наряду с рифмами-сигналами в сумароковских пародиях представлены и слова-сигналы, которые, с точки зрения Сумарокова, характерны для стиля Тредиаковского: это, кроме уже упомянутых слов *благостыня*, *чистоприправный*, такие слова, как *изрядство*, *желтоясный* (песня «О приятное приятство…»), *ей! ей!* (песенка Тресотиниуса)[89].

Предметом пародирования становятся также поэтические «вольности», описанные Тредиаковским в «Новом и кратком способе…» и употреблявшиеся им в стихах: *ти*, *однак*, *больш* (Тредиаковский, 1735а, с. 16–17). Ср.: «Но однак открылась ти», «В том ти серце вот в залог»[90], «О восхить ево, восхити / Больш еще, любви божок», «Ты ж не страждь уж больш так ныне» (песня «О приятное приятство…»).

Отдельного упоминания заслуживают местоименные формы *мя* и *ся*. Хотя формы *мя* и *тя* рассматриваются Тредиаковским в «Новом и кратком способе…» как «вольности», они вполне обычны в поэзии XVIII в. — поэтому в принципе эти формы не несут в пародиях Сумарокова функциональной нагрузки[91]. Тем не менее, такое сочетание, как *от мя* («Прочь от мя ушла свобода» — песня «О приятное приятство…»), по-видимому, рассчитано на комический эффект, так как в данном случае *мя* неправомерно замещает форму родительного, а не винительного падежа. Что касается формы *ся*, то она вообще не фигурирует в списке «вольностей», составленном Тредиаковским, и всего лишь один раз встречается в его стихах[92]. Нет сомнения, однако, что у Сумарокова употребление формы *ся* имеет откровенно пародийный характер: «Буду жить, ся не губя» (песенка Тресотиниуса), «Тщусь сама ся дать ах! в страсть» (песня «О приятное приятство…»).

Ранним стихам Тредиаковского присуще неурегулированное сочетание книжной и просторечной лексики (что вообще характерно для поэтического слога Петровской эпохи). Эта их особенность также находит отражение в пародиях Сумарокова, где соседствуют «спесиха слатенька»[93] и «О! увы! моих злых бед!», «из под тиха»[94] и «Климена… покажи мне склонный вид» (песенка Тресотиниуса), «восхить любви божок» и «слатенький дружок» (песня «О приятное приятство…»)[95].

Особенно ярко пародийность рассматриваемых произведений Сумарокова выражается в их синтаксисе. Главную роль здесь играют не столько такие средства, как родительный восклицания «О! увы! моих злых бед!»[96] или составные именные сказуемые с ненулевой связкой «Видеть мне тебя есть благо», «Только то мне есть не благо» (песенка Тресотиниуса)[97], сколько расстановка слов, имитирующая сложные латинизированные построения Тредиаковского: «Станем друга друг любити», «О любезный будь мой здрав», «Между любятся собой», «И седин мы до своих» (песня «О приятное приятство…»).

Как уже неоднократно отмечалось, свобода инверсий была одной из наиболее характерных черт поэтического языка Тредиаковского[99]. В этом, как ни в чем другом, реализовалась основная его поэтическая установка — на затрудненную стихотворную речь и вообще на «трудный язык» (Пумпянский, 1941, с. 262).

Известно также, что Тредиаковского «особенно пленяло свободное место междометия в латинской фразе. В результате *ах* или *о* стоят у него (сотни раз) там, где меньше всего ожидаешь восклицательного перерыва фразы» (Пумпянский, 1939, с. 70; здесь же приводятся и примеры).

Указанная особенность синтаксиса Тредиаковского также воспроизводится Сумароковым: «Тщусь сама ся дать ах! в страсть», «Мой збег с ней прочь о! и нрав», «И зело, ах! мя зажог», «Бречь, о станем, ах любовь!» (песня «О приятное приятство…»)[100]. Возможно, что и этот элемент обыгрывается не только в лингвостилистическом, но и в версификационном плане, поскольку в данном случае междометия выступают в качестве так называемых стихотворческих «затычек» (chevilles).

Мы видим, таким образом, что важнейшие элементы пародийности рассматриваемых произведений нерасторжимо связаны с версификационной техникой. Этот аспект вообще оказывается принципиальным для понимания сумароковских пародий.

Хотя Тредиаковский в соответствии с требованиями французской теории стихосложения осуждает «затычки» (см. предисловие к «Сочинениям и переводам» 1752 г., в котором излагаются критерии «добраго перевода» — Тредиаковский, 1752, I, с. XI), надо признать, что он использует их в собственных сочинениях чрезвычайно часто[101].

Характернейшими «затычками» в стихах Тредиаковского являются *весь*, *тот*, *сам* (в разных родах и падежах), *всяко*, *се*, *вот*; ими и насыщает Сумароков свои пародии: «О, изволь меня избавить ты от страсти т е м моей!», «О богиня в с е й любви», «не теряй свою т е м младость» (песенка Тресотиниуса); «Тщусь с а м а ся дать ах! в страсть», «В е с ь мой дух за невозможно / Ставит пламени

уйти», «В драгости живет самой», «Твой ли жар уж весь понятен», «В том ти сердце вот в залог» (песня «О приятное приятство…»)[102].

Если учесть перечисленные выше «затычки»-междометия и такие очевидные «затычки», как: «Но однак открылась ти», «В летах так с тобой мы красных / и седин мы до своих… / В мыслях станем жить одних» (песня «О приятное приятство…»)[103], — то становится ясно, что это одно из главных средств конструирования «дурного склада», который Сумароков считает характерным для Тредиаковского. Наряду с этим фронтально употребляемым средством Сумароков использует и такие, как соседство односложных («Тщусь сама ся дать ах! в страсть», «Мой збег с ней прочь о! и нрав», «О любезный будь мой здрав» — песня «О приятное приятство…»); монотонию («О, изволь меня избави*ть т*ы о*т* с*т*рас*т*и *т*ем моей»[104], — песенка Тресотиниуса; «Все в тебе я *зр*ю и*зр*ядство», «Тщу*с*ь *с*ама *с*я дать ах! в *с*тра*с*ть», «Будь в*с*егда в*с*е в благо*с*тыне», — песня «О приятное приятство…»)[105]; стечения согласных («те*м м*ладость», — песенка Тресотиниуса; «*в в*ласть», «тщу*с*ь *с*ама», «а*х*! *в стр*а*с*ть», «ка*к с щ*астьем», — песня «О приятное приятство…»).

Таким образом, «дурной склад» пародий Сумарокова создается в значительной мере за счет синтаксиса и версификационной техники[106].

В целом же рассмотренные нами произведения Сумарокова заключают в себе многосторонний пародийный механизм (более сложный и тонко организованный, чем, скажем, пародии того же Сумарокова на Ломоносова). Анализ этого механизма помогает лучше понять соотношение лингвопоэтических систем Тредиаковского и Сумарокова: если первая из них была ориентирована на многообразие стилистических средств и затрудненность стиха, то вторая требовала стилистического единообразия и версификационной облегченности.

Итак, если в репликах и монологах Тресотиниуса Сумароков весьма остроумно пародировал специфический строй ученой прозы Тредиаковского, то в песенке Тресотиниуса им была столь же безжалостно осмеяна поэтическая техника противника. В результате Тредиаковский был представлен Сумароковым как смехотворный педант, нудно рассуждающий о буквах и сочиняющий нелепые стишки в устарелом вкусе. Действие пьесы оканчивалось провалом его жениховского искательства и полным посрамлением в глазах Оронта, отца невесты, — поистине, Тресотиниусу оставалось только «умереть с тем, что одноножное твердо, треножнаго правильняе» (Сумароков, V, с. 324). Комедия Сумарокова нанесла Тредиаковскому глубокую и весьма чувствительную рану.

§ 6. Трактат Тредиаковского «Письмо от приятеля к приятелю»

§ 6.1. Полемическое содержание трактата

Как видим, своим сравнением сумароковских эпистол с «древней Аристофановой комедией», употребленным в первом отзыве на эти сочинения (см. выше, § **I-3.2**), Тредиаковский накликал на себя беду: спустя полтора года он действительно подвергся жестокому публичному поруганию в комедии; при этом был

опорочен и он сам, и все его литературное творчество. Теперь слово было за ним, и Тредиаковский приложил все усилия, чтобы достойно отомстить врагу. Он создает пространное «Письмо от приятеля к приятелю» — критическое сочинение, содержащее детальный и беспощадный разбор опубликованных к тому времени произведений Сумарокова. Это сочинение было написано по поручению Г. Н. Теплова[107], так что Тредиаковский мог рассчитывать на поддержку могущественного покровителя. Тредиаковский приступил к написанию своего памфлета, скорее всего, после 24 февраля 1750 г. — вероятной даты первого представления «Тресотиниуса», на котором он, видимо, присутствовал (см. выше, § **I-5.1**). Поскольку уже в июне 1750 г. Сумароков создал комедию «Чудовищи», в которую включил сцены, непосредственно отвечавшие на критику Тредиаковского, следует полагать, что «Письмо…» было написано весной 1750 года[108].

Известны два списка «Письма…», хранящиеся в Архиве Академии наук (ААН, разр. II, оп. 1, № 139 и № 140). Один из них (№ 139) содержит авторскую правку; второй (№ 140) представляет собой копию первого и также содержит поправки, сделанные рукой Тредиаковского. Текст «Письма…» по второму списку опубликован А. Куником (1865, с. 435–500); далее при ссылках на «Письмо…» мы указываем только страницы этого издания.

Во вступительной части своего трактата Тредиаковский объявлял, что его цель — защититься от выпадов Сумарокова в эпистолах и особенно в новой комедии, где тот, по определению Тредиаковского, «несноснейше… размножил» прежние «обиды и язвительства». Противопоставляя себя бесцеремонному противнику, автор «Письма…» утверждал, что в своей критике он воздержится от нападок на личность Сумарокова, ограничиваясь обсуждением его творчества: «искусство его в сочинениях станет токмо пред мой суд» (с. 442); однако нельзя не признать, что слова его весьма существенно разошлись с делом. Фактически Тредиаковский так же «размножил» в «Письме…» памфлетные уколы, знакомые нам по изъятому фрагменту «Предуведомления» к «Аргениде» (см. выше, § **I-4**). Как и там, Сумароков обвиняется в высокомерии и самохвальстве: упоминается его «внутреннее самолюбное удовольствие» (с. 439), «несносное тщеславие», «презрение… к лучшим себя писателям» (с. 442), уверенность в превосходстве над другими поэтами (с. 443) и в высочайших достоинствах собственных сочинений (с. 453, 466). Тредиаковский замечает, что «давно ужé-было пора ему опомниться, себя и свои силы осмотреть, а напоследок, тщеславия и самохвальства убавить» (с. 452).

В разборе двустишия из сумароковского «Хорева», представляющего собой довольно точный, хотя и не вполне удачный перевод из «Меропы» Вольтера, Тредиаковский пишет: «Удивительно, учит Автор в Эпистоле о Русском языке как переводить, а сам ни шкиля, как говорят, не умеет. Не бесстыдное ль то тщеславие? Надобно поистине железное иметь чело» (с. 485)[109].

Здесь интересна непосредственная полемика с «Эпистолой о русском языке» — это место «Письма…» подтверждает наше предположение о том, что соответствующие пассажи в эпистоле, где критикуются плохие переводы (стихи 25–30 и

отчасти 75–94), направлены именно против Тредиаковского (см. § **I-3.1**). Обсуждая претензии Сумарокова на роль отечественного классика (ср. § **I-2**), Тредиаковский заключает свой трактат следующей инвективой: «Однако, при всех сих недостатках, такое имеет [Сумароков] о своем достоинстве и способности мнение, что почитай не меньше себя он почитает Корнелия и Расина: прочих всех как с некоторыя высоты презирает. Сие точно ложное о себе мнение его и ослепляет…» (с. 496)[110].

Значительное место отводится в трактате обличению невежества, злости и ветрености Сумарокова. При этом Тредиаковский — так же, как в первом отзыве на эпистолы (см. § **I-3.2**), но более ясно и недвусмысленно — уподобляет своего врага остервенелому Аристофану, а себя — смиренному Сократу: «Смотря на все такое недостойное ругательство, воспоминал я мыслию Аристофанову комедию, названную *Облака́*, … коею, во веки театральный токмо игрок, Аристофан смеялся, над пречесным во веки ж в язычестве мужем Сократом. Но есть ли что толь чесное, чего б или ветреный, или надменный скалозубы не могли преобращать в смешное? Вкратце, Авторов Тресотиниус есть выше поруганием Облаков Аристофановых; сие значит, что в Авторе нашем больше было злости и остервенения к ругательству, нежели в Аристофане» (с. 438–439).

Здесь же Тредиаковский вновь, как в басне о чванливом псе из «Предуведомления» к «Аргениде» (см. § **I-4**), сравнивает Сумарокова с собакой (для чего использует цитату из Сенеки): «Я сожалею, что Автор, назвав меня непристойным именем, приводит в необходимую нужду благоразумных людей называть либо себя и знаменательнее того: а с другой стороны́, безмерно радуюсь, что он сим свои́м примером показал, коль безвреднее есть при таких случаях быть в терпении и молчании, нежели подавать посторонним без пользы причину к бо́льшему еще осмеянию себя: ибо, по мнению Сенеки из II. книги о гневе, главы 32, „тот велик и благороден есть, который, по подобию больших зверей, спокойно слышит лаяние маленьких собачек“» (с. 439)[111].

Надо сказать, что обширный перечень недостатков Сумарокова, описанных в «Письме…», не исчерпывается нравственными или интеллектуальными пороками. Тредиаковский не отказывает себе в удовольствии упомянуть некоторые физические особенности своего противника, которые в контексте сатирической литературы тех лет служат опознавательными знаками, позволяющими сразу определить объект нападок (см. подробнее: Успенский, 1984/1996, с. 353–358 — наст. изд., с. 466–469). Такими особенностями Сумарокова являются рыжий цвет волос, заикание и склонность к морганию — следствие плохого зрения. В «Письме…» мы находим несколько пассажей, обыгрывающих эти черты: «Авторовы моргали очи с радости, и с внутренняго самолюбнаго удовольствия…» (с. 439); «не дивлюсь, что поступка нашего Автора безмерно сходствует с цветом его волосов, с движением очей, с обращением языка, и с биением се́рдца» (с. 443); «слово *миг*, есть подлое, и следовательно не одическое. Вместо его высоким стилем говорится *мгновение ока*. Может статься, что слово *миг*, Автор предпочитает *мгновению* по привычке своих очей» (с. 459).

Таким образом, гротескный образ Сумарокова представлен в «Письме…» еще более ярко, чем в изъятом фрагменте «Предуведомления» к «Аргениде»; если же принять во внимание приложенную к «Письму…» сцену, в которой Сумароков выводится как балаганный персонаж — не менее смехотворный, чем Тресотиниус (эту сцену мы подробно рассматриваем в следующем параграфе), — то нужно признать, что ни до, ни после трактата Тредиаковского Сумароков не подвергался столь безжалостному поруганию.

Вместе с тем, Тредиаковский развивает в «Письме…» мощную атаку, подрывающую творческую репутацию противника. Придирчиво анализируя литературную технику Сумарокова, Тредиаковский порицает композиционную нестройность, сумбурность его од, их неясность и высокопарность (надутость); несоответствие трагедий Сумарокова драматургическим канонам; наконец, общую подражательность его произведений. Обличая, как и в рецензии на трагедию «Гамлет» (см. выше, § **I-3.2**), творческую несамостоятельность Сумарокова, Тредиаковский пишет: «… Авторова комедия почитай вся взята из сочинений комических Барона Голберга, а особливо персона Капитана самохвала… Хорев трагедия, о которой я имею вам донесть ни́же, вся на плане Французских трагедий; да и не только по плану она взята из Французских, но и в рассуждении изображений. Га́млет, как очевидныи сказывают свидетели, переведен был прозою с Англинския Шекеспировы, а с прозы уже́ зделал ея почтенный Автор нашими стихами. Эпистола о стихотворстве Руском вся Боало Депрова. В Эпистоле об языке Руском почитай все ж чужие мысли. Оде Парафрастической был предводителем Псалом; а другой его оде хотя не знаю я подлинника, однако ж не надеюсь, что б она вся его была: во всех собственных его сочинениях, придатки его как отливаются от чужих выработанных мест, а у него по большой ча́сти обессиленных переводом: и весьма б было сие чудесно, ежели б ему что нибудь выдумать от себя. … Автор толь мал в вымысле, что ни имен для смеха выдумать от себя не мог: его и Штивелиус в Эпистоле о стихотворстве так же чужой, а именно из помянутаго ж Голберга, и сей самый Тресотиниус Молиеров Трисотень» (с. 441–442).

Таким образом, все шесть напечатанных произведений Сумарокова (две оды, две трагедии и две эпистолы) и его представленная публично комедия, как утверждает Тредиаковский, фактически не могут считаться оригинальными. В конце своего трактата Тредиаковский повторяет то же обвинение: «… Нет почитай ничего в сочинениях Авторовых, которое не́-было б чужое. … Пускай не думает Господин Автор, что я не знаю всех его похищенных мест: я им при случае всем роспись по Алфавиту могу зделать…» (с. 484–486).

Заслуживают особого внимания критикуемые в «Письме…» случаи неискусного (по мнению Тредиаковского) словоупотребления, порождающего эффект комичной непристойности. Наиболее приметен в этом отношении пассаж, где осуждается употребление Сумароковым в трагедии «Хорев» слова *седалище* в значении ‘стул’ (Сумароков, 1747, с. 70): «… Кий [герой трагедии] просит, пришед в крайнее изнеможение, чтоб ему подано было *седалище*. О! рассуждение слепаго мудрования. Знает Автор, что сие слово есть Славенское, и употреблено в Псалмах за стул: но не знает, что Славенороссийский язык, которым Автор все

свое пишет, соединил с сим словом ныне гнусную идею, а именно то, что в писании названо у нас *афедроном*. Следовательно, чего Кий просит, чтоб ему подано было, то пускай сам Кий, как Трагическая персона введенная от Автора, обоняет. Такое точно во всем Авторово искусство!» (с. 483).

Необходимо оговориться, что речь здесь идет не о нарушении стилистической чистоты или ясности, а о несоблюдении благопристойности (риторическом огрехе, создающем возможность обсценного прочтения не рассчитанного на это текста, — так называемом cacemphaton). На тех же основаниях Тредиаковский осуждает в трагедиях Сумарокова форму *какоеб* (написание, допускающее непристойное переразложение, — так называемое cacemphaton iuncturae), неправильное употребление слов *блудить* и *тронуть*: «Не чувствует он [Сумароков] при разборе слов оных, кои худо в важное сочинение полагаются, для того что гнусное нечто по употреблению означают, и соединяют, как то *блудя*, вместо *заблуждая*, *какоеб*, вместо *какое*, а (*б*) или (*бы*) можно относить к иным частям сло́ва: то *тронуть* его, вместо *привесть в жалость*, за Французское toucher, толь странно и смешно, что невозможно словом изобразить. Вы можете тотчас почувствовать неблагопристойность сего сло́ва на нашем языке из околичности. В Трагедии Га́млете, говорит у Автора женщина именем Гертруда, в дейст. II в явл. 2. что она

И на супружню смерть не тронута взирала.

Кто из наших не примет сего стиха в следующем разуме, именно ж, что у Гертруды супруг скончался не познав ея никогда, в рассуждении брачнаго права, и супруговы должности? Однако Автор мыслил не то: ему хотелось изобразить, что она нимало не печалилась об его смерти. Того ради надлежало-было ему написать так сей стих:

И на супружню смерть без жалости взирала»

(с. 476–477)[112].

Значительное внимание уделено в «Письме…» и критике версификационного мастерства Сумарокова: Тредиаковский обнаруживает в его стихах «затычки», уродливые повторы, недопустимые (с точки зрения критикующего) предцезурные пиррихии в шестистопных ямбах и т. п. В результате не остается, кажется, ни одной области писательского искусства, в которой создатель «Письма…» не обнаружил бы полной творческой несостоятельности своего оппонента[113]. Однако наибольшее место в трактате занимает критика языка Сумарокова, который оценивается Тредиаковским с позиций, определившихся в течение 1740-х гг. Эта критика будет рассмотрена нами ниже, в разделе, посвященном сопоставительному анализу лингвостилистических ориентаций Тредиаковского и Сумарокова (§ **II-4**); там же будет рассмотрена и полемика, связанная с проблемами формальной дифференциации жанров.

§ 6.2. Гротескный образ Архисотолаша-Сумарокова

К основному тексту «Письма от приятеля к приятелю» прилагается постскриптум, в котором автор сообщает следующее: «P.S. При окончании сего моего к вам,

получил я новый список с Комедиишки Тресотиниусом названныя: в сем списке нашел я, к великому моему удивлению, что, между действующими лицами, прибавлен, пóсле педантов, не знаю какой Архисотолаш, а против сего имени написано, маляр шалýн. Смотрю далее; ан последнее седмое надесять явление стало ужé осмым надесять, а пóсле шестаго надесять написано: Сцена XVII, но под сим заглавием, те ж и Архисотолаш. Тогда нáчал я читать, да и прочел сию новую сцену, которую здесь вам всю предложу, и уповаю, что она вам несколько не незабавною покажется» (Куник, 1865, с. 497).

В этой «новой» сцене, сочиненной, как и основной текст «Письма…», самим Тредиаковским, в лице главного героя Архисотолаша Филавтоновича Кривобаева выведен Сумароков[114]. Имя *Архисотолаш* представляет собой наращение употребленного в «Предуведомлении» к «Аргениде» имени *Архилаш* («архиподлец», см. § **I-4**), в которое вставлен корень *сот* (от франц. *sot* 'глупый'), непосредственно извлеченный из сконструированного Сумароковым имени *Тресотиниус*. Если *Тресотиниус* означает 'очень глупый' (с добавлением латинизированного окончания), то *Архисотолаш* — 'очень глупый и подлый'. Тредиаковский тем самым принимает вызов Сумарокова и платит ему той же монетой, возвращая полученную от него кличку в модифицированном и усиленном виде. Отчество *Филавтонович* недвусмысленно указывает на самолюбивый характер Сумарокова (ср. § **I-4**), фамилия *Кривобаев* столь же ясно говорит о качестве его сочинений (ср. в «Письме…»: «Вот же вам теперь, Государь мой, не правопись, но кривопись Авторова…», с. 479).

Архисотолаш назван «маляром»; при этом он заявляет, что «малюет картины говоруньи» и «намалевал на рынок картин с семь, которые так живы, что все говорят как сойки» (с. 497, 500, 498). Слова *маляр* и *малевать* представляют собой полонизмы, которые характерны вообще для языка Тредиаковского и сами по себе не имеют отрицательных коннотаций; ср. польск. *malarz* 'художник'; *malować* 'изображать'. Мы можем предположить, что, представляя Сумарокова таким образом, Тредиаковский имеет в виду его драматургическую деятельность и особенно его претензии на место первого российского драматурга; под «семью живыми картинами», которые говорят «как сойки», соответственно подразумеваются пьесы Сумарокова — к ним относятся, в частности, трагедии «Хорев», «Гамлет», «Синав и Трувор», комедии «Тресотиниус» и, видимо, «Третейный суд» (первоначальный вариант комедии «Чудовищи»; см. ниже, § **I-7**)[115]. Когда Тресотиниус заявляет Архисотолашу: «Я здесь имею честь быть женихом, хотя и не по заслугам; однако мне не надобно малиóванова Гименея: я не люблю отнюд пустоши. Прошу пожалуй обойди нашу деревню, как говорят, и малюй что и где хочешь» (с. 498), — имеется в виду, по всей вероятности, именно пьеса «Тресотиниус», сюжет которой составляет сватовство Тресотиниуса. Как видим, слово *малеванный* здесь означает «изображенный на сцене».

Наименование Архисотолаша «маляром» дает Тредиаковскому возможность использовать забавную игру слов. Архисотолаш представляется так: «Я, сударь, дорогой старичок, по имени Архисотолаш, по отечеству Филавтонович, по прозванию Кривобаев, а по художеству мал**…** мал**…** яр,**…**, яр еры юс» (с. 497).

Тредиаковский, как видим, издевается над заиканием Сумарокова (см. выше, § **I-6.1**). Одновременно благодаря каламбурному разложению слова *маляр* выясняется, что Сумароков «мал по художеству» (ср., между прочим, характеристику в основном тексте «Письма…»: «Автор толь мал в вымысле, что ни имен для смеха выдумать от себя не мог», с. 442) и, вместе с тем, «яр»; последняя характеристика соответствует уже отмеченной черте портрета, созданного в «Предуведомлении» к «Аргениде» (см. § **I-4**)[116]. Эта игра слов повторяется в коротенькой сцене с Архисотолашем еще дважды, в обращениях к нему Тресотиниуса («О! Господин мал**…** мал**…** по художеству, и яр еры юс по тому ж…», с. 498) и Бобембиуса («Разве, Господин мал**…** мал**…** и яр еры юс по художеству, зло у тебя добром…?», с. 498).

Сочиненная Тредиаковским сцена как бы иллюстрирует — в наглядной и полемически заостренной форме — то, что говорится в критическом разборе произведений Сумарокова, составляющем основной текст «Письма…». Так, в «Письме…», обсуждая «ложные знаменования», которые придает словам Сумароков, Тредиаковский критикует использование в трагедии «Гамлет» слова *поборник* в значении ʽпротивникʼ вместо ʽзащитникʼ, ʽспоспешникʼ (с. 479–480, ср. с. 482, где идет речь о неудачном стихе, включающем слово *поборно*); мы цитируем это место ниже, в § **II-3**[117]. Хотя Сумароков признал свою ошибку и в списке погрешностей, приложенном к трагедии, исправил *поборник* на *рушитель*, это все же не удовлетворило Тредиаковского, указавшего, что слово *рушитель* неупотребительно в языке (с. 480). Этот промах Сумарокова, как и обсужденная выше (§ **I-6.1**) двусмысленность слова *седалище*, обыгрывается в речи Архисотолаша: «Ох устал! жаль што нет нигде блиско седалища стульнова. Вот нещастье наслало на меня како́ва Поборника, то-бишь, Руши́теля» (с. 499).

Одновременно мы обнаруживаем в «новой сцене» и прямые отклики на самое комедию «Тресотиниус». Так, здесь находит отражение уже обсуждавшийся нами спор о букве «твердо» (см. выше, § **I-5.2**). Обращаясь к Архисотолашу, Тресотиниус говорит: «О! Господин мал**…** мал**…** по художеству, и яр еры юс по тому ж: я здесь имею честь быть женихом, хотя и не по заслугам… Как бы я вам не сказал тако́ва одноножнова тверда, которое будет зело, зело, зело твердо» (с. 498).

Последние слова Тресотиниуса противопоставлены при этом стихам сумароковской «Эпистолы о русском языке» («зело, зело, зело, дружок мой, ты искусен»): если Сумароков обыгрывает двойное значение слова *зело*, то Тредиаковский обыгрывает двойное значение слова *твердо* — у того и у другого автора соответствующее слово выступает и как название буквы, и как наречие.

Точно так же полемическую функцию несет и реплика педанта Ксаксоксимениуса: «Зографе! от сею обою по едином коемждо аще и бохма еси поревновал суемудрием твоим: обаче не к тому отселе неистов пребуди. Тем же убо гряди вон с миром, прежде даже и в респоту не рекут ти зла» (с. 500).

Эта реплика очевидным образом соотносится с единственной репликой Ксаксоксимениуса в тексте «Тресотиниуса»: «Подаждь ми перо, и абие положу знамение преславнаго моего имени, его же не всяк язык изрещи может» (явл. XVI).

Существенно, что Тредиаковский приводит в «Письме…» реплику Ксаксоксимениуса из «Тресотиниуса» как наглядную иллюстрацию того, что Сумароков не владеет церковнославянским языком. Он находит здесь пять погрешностей и дает ту же фразу в исправленном виде (с. 438). Заставляя Ксаксоксимениуса теперь — в «новой сцене» — бранить Архисотолаша на сугубо изощренном церковнославянском языке, Тредиаковский вновь демонстрирует свое превосходство над Сумароковым.

Итак, Сумароков изображен Тредиаковским как невежественный, неумелый и злобный драматург. Вместе с тем, Архисотолаш-Сумароков недвусмысленным образом ассоциируется с миром щеголей. Так, он заявляет, что знает «свет» («ежели в ком нет амбиции, тот или незнающий света, или прямо дурак») и «щегольское употребление» (с. 498); в этом же плане аттестует его и реплика слуги Кимара, поучающего Архисотолаша, как нужно говорить (поступать) «по щегольские» (с. 499). Видимо, о том же говорит и определение *шалун*, прилагаемое к Архисотолашу, — *маляр шалун* означает в данном случае ʻдраматург-вертопрахʼ.

То, что Сумароков выведен как щеголь, несколько неожиданно, поскольку сам он неоднократно выступал впоследствии с обличениями щеголей-петиметров. Тем не менее, в глазах Тредиаковского Сумароков выглядит, видимо, именно таким образом: этому способствует аристократическое происхождение Сумарокова, его положение при дворе (в качестве «генеральс-адъютанта» графа А. Г. Разумовского он входит в придворную сферу), его высокомерие («амбиция»); в полемику здесь включается, тем самым, социальный аспект[118].

Причастность Архисотолаша-Сумарокова к свету и щегольской культуре наглядно проявляется в его речи, где характерным образом соседствуют заимствованные (*пензел*, *палет*, *амбиция*)[119] и разговорно-просторечные элементы (*ба!*, *безмала без тово*, *то-бишь* и др.)[120]. Так, он использует слово *амбиция* в значении франц. *ambition*, не свойственном русскому употреблению[121]. При этом он тут же дает стандартный русский эквивалент для слова *амбиция*, а именно, *высокомерие*. Тем самым Тредиаковский добивается тройного эффекта: во-первых, создается общее впечатление сумятицы, характерной для речи Архисотолаша, во-вторых, Тредиаковский подчеркивает, что его оппонент не умеет пользоваться иностранными словами, и в-третьих, оказывается, что Архисотолаш намеренно игнорирует русское употребление — зная, что *амбиция* означает в русском языке ʻвысокомериеʼ, он употребляет это слово в значении ʻжелание, стремлениеʼ[122]. Таким образом, когда Архисотолаш заявляет: «я говорю так, как все», получается, что он имеет в виду не общепринятое, а именно «щегольское употребление» — то, как говорят люди, «знающие свет». Вместе с тем, в этой же фразе Архисотолаш использует слово *амбиция* в его обычном значении («ежели в ком нет амбиции, тот… незнающий света…»), а затем пытается снова противопоставить два значения этого слова («вить не та Амбиция, што Амбиция…»), — что довершает представление о полной абсурдности его речи. Ср.:

«*Архисотолаш*. … Есть ли у вас Амбиция, а по Руски высокомерие, чтоб я вам намалевал сладкословеснейшаго Гименея?

Бобембиус. Что то за превращение? Говоришь ты, есть ли у нас Амбиция! … Амбиция всегда и везде есть, была, и будет крайным злом, а сло́ву сему, не токмо что делу, пора сожжену быть на площади, потому что оно очень вредительно добронравию. Эрго, надобно было тебе спросить, есть ли у нас охота, или некоторое любопытство, чтоб видеть мали́ванова твоево этою вохрою Гименея.

Архисотолаш. Видно что ты и впрямь Философ, и потому всио ставишь в строку: я говорю так, как все; а сказать правду, ежели в ком нет амбиции, тот или незнающий света, или прямо дурак: а я знаю щогольское употребление, и хотя са́мую малую толику, или и безмала без тово, однако по Французски… Вить не та Амбиция, што Амбиция; да Амбиция, што явная Амбиция, а другова ей звания нет» (с. 498–499).

Изображая Архисотолаша носителем щегольского наречия, Тредиаковский подчеркивает связь Сумарокова с вульгарно-разговорной языковой стихией, которая соотносится в сознании Тредиаковского с этим наречием (см.: Успенский, 1984/1996, с. 366–376 — наст. изд., с. 475–482). Продемонстрировать эту связь призвана и реплика слуги Кимара[123], в которой утрированно воспроизводятся основные особенности речевой манеры Архисотолаша. Кимар разоблачает Архисотолаша: «этот Яръерыюс Кривобаев не прямой Мараль, да Псетоусиус Мараль…» (с. 499); однако в нем мы видим представителя той же площадной стихии, доводящегося Архисотолашу ближайшим собратом. Так же, как Архисотолаш, Кимар употребляет заимствованные слова; при этом он их коверкает — так, он говорит *мараль* вместо *маляр*, *партестую* вместо *протестую* (в значении ʽуверяю’ — семантическая калька франц. *protester*), *псетоусиус* заменяет у него, видимо, *псевдоусиос*, и таким образом *Псетоусиус Мараль* означает ʽложносущностный художник’; одновременно *мараль* соотносится с уничижительным *маратель* (ср.: Успенский, 1984/1996, с. 372–373 — наст. изд., с. 480). Итак, если Архисотолаш искажает значения употребляемых им заимствований, то Кимар коверкает их форму. Вообще же основной смысл реплики Кимара в том, что Архисотолаш фактически не знает и «щегольского употребления» (владение которым, как мы видели, составляет его гордость); Кимар поучает его, упрекая в использовании русского слова там, где обозначаемый предмет (подрамник) может быть назван лишь иностранным словом: «… Этот Яръерыюс Кривобаев… Псетоусиус Мараль, как то ясно по ево басням: … панеже вот так то с высока́ носка́ нада по щегольские! панеже для тово што он называет пялцами Рамы» (с. 499).

В связи с окрашенностью речи Архисотолаша «площадным» употреблением целесообразно рассмотреть вопрос о связях всей сочиненной Тредиаковским сцены с традицией фольклора и низового комического театра. Такие связи оказываются очень тесными — не случайно сам Архисотолаш называет себя «публичным» и «всерыношным» маляром (с. 498, 500). Они обнаруживаются и в цитированной нами выше саморекомендации Архисотолаша (ср. детскую народную считалку: «Еры, еры, катится мужик с горы; еры, ять некому поднять; еры, юс сам поднимус»), и в его буффонной загадке с характерной игрой звукосочетаниями («два брата с Арбата»), и в таких употребляемых им оборотах речи и

поговорках, как «мимо рта суется», «дай языку каши», «на свой салтык оборотит», «я не последняя спица в колеснице». Особенно близка к традиции балаганных интермедий перебранка Архисотолаша с Кимаром, напоминающая лубочный стих (см. подробнее: Якобсон, 1966, с. 631). Так, чисто гаерским приемом является оханье и тьфуканье Кимара: «… Потому што, ох! для тово што, нет! затем што, тьфу! ибо, тьфу тьфу!» (с. 499)[124].

Такова же и брань Архисотолаша: «Молчи, скотина скот, животина живот, зернший, табашник, кабашник, пропоец, писмонос, мошнорез, чорныя работы подрятчик! што тебе дела!» (с. 499)[125].

Намеренно связывая речь Архисотолаша и всю приложенную к «Письму…» сцену с традициями фольклорного комизма, Тредиаковский одновременно достигал двух целей. Во-первых, он разоблачал в Сумарокове недостойного гаера, принадлежащего «подлой», «площадной» стихии (если Тресотиниус был представлен как педант, то Архисотолаш — как балаганный шут); во-вторых, включаясь в текст «Тресотиниуса», «новая» сцена низводила всю эту комедию до уровня тривиальной арлекинады (в то время как пьеса Сумарокова, ориентированная на Мольера и Гольберга, очевидно претендовала на иной, более высокий литературный статус)[126].

§ 7. Антикритические сочинения Сумарокова: комедия «Чудовищи» и «Ответ на Критику»

По указанию самого Сумарокова, комедия «Чудовищи» была сочинена им «в Июне месяце 1750 г., на приморском дворе» (Сумароков, V, с. 250). Первое представление комедии состоялось 21 июля 1750 г. (КФЖ, 1750, с. 78)[127]. Пьеса игралась в качестве «нах-комедии» после трагедии Сумарокова «Синав и Трувор» — точно так же 30 мая в одном представлении были даны «Хорев» и «Тресотиниус» (там же, с. 62).

Известен и другой вариант этой комедии Сумарокова, носящий название «Третейной суд». Этот вариант отличается от «Чудовищ» прежде всего тем, что в нем отсутствуют две сцены, которые содержат непосредственную перекличку с «Письмом от приятеля к приятелю» и тем самым однозначно связывают образ действующего в комедии педанта Критициондиуса с личностью Тредиаковского[128]. В «Третейном суде» подобная связь не выглядит столь явной, и поэтому нельзя с полной уверенностью утверждать, что этот вариант комедии имеет отношение к литературной войне Сумарокова и Тредиаковского[129]. Не приходится сомневаться, что «Третейной суд» был написан раньше, чем «Чудовищи», и что в ходе литературных баталий первой половины 1750 г. Сумароков, прочитавший «Письмо от приятеля к приятелю», ввел в свою комедию упомянутые выше сцены и переименовал ее[130], стремясь подчеркнуть «чудовищность» своих персонажей[131]. Комедия «Чудовищи», высмеивающая Тредиаковского, и была представлена кадетами на придворном театре 21 июля 1750 г. (КФЖ, 1750, с. 78)[132]. Позже, в доношении в Академию наук от 28 сентября 1758 г., Тредиаковский писал о гоне-

ниях, которым ему пришлось подвергнуться: «ненавидимый в лице, презираемый в словах, уничтожаемый в делах, охуждаемый в искусстве, прободаемый сатирическими рогами, изображаемый чудовищем…» (Пекарский, 1866, с. 179; Пекарский, II, с. 208), — явно подразумевая в последних словах комедию Сумарокова.

Как и в «Тресотиниусе», в «Чудовищах» Сумароков использует для дискредитации своего оппонента образ педанта-жениха[133]. Вновь осмеивается полиглотство Тредиаковского (в явлении II второго действия Критициондиус, беседуя с Финеттой, сообщает, что он переводит свои сочинения «на Греческий язык» и даже пишет сатиры «на Сирском языке»); иронически изображается его самохвальство (в этой же беседе с Финеттой он хвастает своей известностью и косвенно уподобляет себя Гомеру)[134]. С особенной издевкой показана любовь Критициондиуса-Тредиаковского к многописанию: выясняется, что он «сочинил критику в двенадцати томах in-folio» на песню «Прости мой свет», сложил «шесть дюжин Епиграмм» на трагедию «Хорев», написал «девяносто девять Сатир» против кадетов, представлявших «Русския трагедии» (явл. II второго действия); наконец, он прямо говорит о себе: «… Я ж коротко написать ни чево не умею. Мне коли писать, так уж писать» (явл. X третьего действия)[135]. Напомним, что и в «Тресотиниусе» опозоренный педант, угрожая семейству своей бывшей невесты, заявлял: «Я против вас наделаю сатир полтораста».

В «Чудовищах» имеется также выпад, очевидным образом связанный с «Разговором об ортографии»: в уже упомянутой беседе с Финеттой Критициондиус похваляется написанным им дополнением к книге о букве *i*, что, видимо, является отзвуком предложения Тредиаковского изъять из русского алфавита букву *и*, сохранив только *i*.

Однако наибольший интерес в «Чудовищах» представляют две сцены, тесно связанные с ближайшими событиями войны Тредиаковского и Сумарокова, — эти сцены содержат аллюзии на «Письмо от приятеля к приятелю» и комедию «Тресотиниус».

В VI явлении первого действия Критициондиус и его друг Дюлиж беседуют сначала о французском языке, всячески его расхваливая, затем расточают похвалы французской драматургии, а от нее переходят к драматургии русской (последняя часть их беседы отсутствует в «Третейном суде» — ср.: Резанов, 1907, с. 159), именно к трагедии Сумарокова «Хорев». Критициондиус бранит творение Сумарокова, особенно осуждая употребление слова *седалище*: «Стул назван седалищем, будто стулом назвать было нельзя, а ежели для тово не названо стулом, что стул по немецки; так бы можно было сказать, подай скамью, или сказать: подай на чем сесть».

Когда Дюлиж выражает мнение, что «лутче сказать подай канапе», Критициондиус соглашается: «Да и то б не хуже было. Поетам ета вольность дается, что нужды ради и чужое слово положить можно, а седалище слово из Славенщизны, даром что ево и малые знают робята».

Этот ход Сумарокова следует признать довольно ловким. Как мы помним, в «Письме…» Тредиаковский высмеял употребление слова *седалище* в сумароков-

ском «Хореве» (см. § **I-6.1**). Но Тредиаковский осуждал его с точки зрения благопристойности; Сумароков же, умышленно не замечая этого, переводит полемику в план стилистики. В результате Тредиаковский — в полном противоречии с его истинной позицией (в обсуждаемый период) — предстает защитником неуместных в трагедии коллоквиализмов или сниженных средств выражения (*стул*, *канапе*, *скамья*, *на чем сесть*) и противником использования обычных средств книжного языка[136]. Не подлежит сомнению, что полемический аспект был для Сумарокова в данном случае гораздо важнее, чем принципиальный, — тем более что основная часть зрителей, присутствовавших 21 июля на представлении «Чудовищ», не была знакома с «Письмом…», и следовательно, с существом критики Тредиаковского. Вместе с тем, интересно то обстоятельство, что в трагедии «Синав и Трувор», представлявшейся 21 июля непосредственно перед «Чудовищами», Сумароков вновь — думается, демонстративно — употребил слово *седалище*, повысив стилистический контекст еще на степень: если в «Хореве» Кий говорит о скамье («Подай седалище»), то здесь речь идет уже о царском престоле («Он все с высокаго седалища / … брежет и учреждает» — Сумароков, III, с. 163)[137].

Еще более грубый выпад против Тредиаковского мы находим в явлении II второго действия. В беседе со служанкой Финеттой Критициондиус разоблачает себя как злобный зоил, ненавидящий Сумарокова за его успехи в жанрах любовной песни и трагедии, и одновременно как «нескладный писец», презираемый «всем русским народом». Ругая Сумарокова, Критициондиус говорит о своем враге: «Етот же автор зделал Комедию на учоных людей, и премудраго господина Шапелена назвал в ней под вымышленным именем Тресотиниусом. Хорошо ли это, что на учоных людей делать Комедии?».

Прием, использованный здесь Сумароковым, не лишен остроумия. Как мы уже отмечали, Тредиаковский и в отзывах на «Две эпистолы», и в «Письме…» обвинял Сумарокова в том, что он нарушает кодекс литературной полемики, запрещающий прямые, «без закрышек», указания на личность соперника. Цитированная реплика Критициондиуса внешне как бы отводит критические нападки Сумарокова от Тредиаковского, ибо из нее выясняется, что в лице Тресотиниуса был выведен «Шапелен», однако эта уловка заведомо фиктивна, поскольку всем хорошо известно, что Тресотиниус — это Тредиаковский. Таким образом, Сумароков открыто издевается над своим врагом, соединяя его гротескный образ с нарицательным именем педанта и плохого писателя, осмеянного Буало: Тредиаковский предстает в «Чудовищах» как педант «в кубе» (Критициондиус–Тресотиниус–Шапелен).

Почти одновременно с «Чудовищами» Сумароков создает небольшой трактат, посвященный защите от нападок Тредиаковского в «Письме от приятеля к приятелю», — «Ответ на Критику». Время его написания можно определить по указанию самого автора: в конце трактата Сумароков говорит о своей трагедии «Синав и Трувор» как находящейся в работе, но еще не конченной; таким образом, «Ответ на Критику» был написан в июне-июле 1750 г., точнее — после ознакомления Сумарокова с «Письмом…» и до представления 21 июля, когда была

впервые показана трагедия «Синав и Трувор» (см. комментарий в изд.: Сумароков, 1935, с. 467). Напечатано это сочинение Сумарокова было только в 1782 г. — в составе полного собрания сочинений Сумарокова, изданного Н. И. Новиковым.

Самое интересное в «Ответе на Критику» — полемические возражения Сумарокова Тредиаковскому по лингвостилистическим вопросам; они рассматриваются нами в следующей главе (см. § **II-4**).

Мы убедились, что и в 1750 г., когда столкновения писателей приобрели особенно острый характер, события сложились крайне неблагоприятно для Тредиаковского: он подвергся обиднейшему осмеянию в двух комедиях, поставленных на сцене; в то же время созданный им обширный антисумароковский трактат остался неопубликованным — тем самым эта контратака, как и попытка отомстить Сумарокову в «Предуведомлении» к «Аргениде», имела, очевидно, лишь ограниченный эффект.

Важно подчеркнуть, что обе сумароковские комедии, высмеивавшие Тредиаковского, — и «Тресотиниус», и «Чудовищи» — были сыграны кадетами в придворном театре в присутствии императрицы (Елизаветы Петровны), наследника престола (будущего императора Петра III) и его супруги (будущей императрицы Екатерины II) (КФЖ, 1750, с. 62,78; Евдокимов, 1897, с. 203, 209). Это был сильный удар, сделавший Тредиаковского посмешищем в глазах двора, и это обстоятельство, несомненно, сыграло роль в его последующих невзгодах. Именно отсюда, как кажется, объясняется отношение к Тредиаковскому Екатерины II, при дворе которой в наказание за ту или иную провинность предписывалось прочесть или выучить наизусть несколько стихов из «Тилемахиды»: шуточные правила, предписывающие это наказание, были составлены самой императрицей (см.: Орлов, 1935, с. 22–23; ср.: Пумпянский, 1941, с. 247–248; Лотман и Успенский, 1975/1996, с. 673)[138].

Литературная битва Тредиаковского и Сумарокова в итоге оказалась гибельной для репутации Тредиаковского: он был отвергнут элитарным обществом, и это непосредственно сказалось и на его человеческой, и на его творческой судьбе. Сумароков же вступает в 1750-е годы, стяжав — во мнении большинства — славу законодателя русской поэзии и «отца русского театра»; таким образом, он в короткое время завоевывает сразу три престижных амплуа: отечественного Буало, Расина и Мольера.

ПРИМЕЧАНИЯ

[1] Третий из основных участников литературного процесса, Ломоносов, в течение рассматриваемого нами периода (1740-е гг.) почти не вмешивается в открытую полемику, хотя, как будет показано ниже, его влияние на события нельзя счесть незначительным. Об отношениях Сумарокова и Ломоносова в эту пору см. специально: Гринберг, 1990.

[2] Первым трактатом такого рода, вообще говоря, нужно признать небольшую сумароковскую статью «Критика на Оду», направленную против Ломоносова (1747–1748 гг.; о датировке статьи см. коммент. в изд.: Сумароков, 1935, с. 466; а также: Гринберг, 1990, с. 115); однако «Письмо…» Тредиаковского, второе по очередности, своим объемом и теоретической ценностью несомненно превосходит это сочинение Сумарокова.

[3] Впоследствии Сумароков настаивал на том, что ему принадлежит приоритет в осуществлении реформы русского стихосложения, точнее, в создании «ямбического гекзаметра» (шестистопного ямба), и это вызвало решительные возражения Тредиаковского в «Предуведомлении» к «Аргениде», — см.: Тредиаковский, 1751, с. LXV–LXVI. (Отголосок этих споров звучит и в рукописном стихотворном пасквиле на немецком языке, направленном против Ломоносова и датированном 1754 г., — здесь, в частности, говорится, что Сумароков утверждал, будто бы именно он преобразовал русское стихосложение по немецкому образцу: «Sumrakoff, der die Scansion / Auf deutsch wollt' hab' erfunden…» — Погодин, 1865, с. 88.) Нам не известны какие-либо сочинения Сумарокова, подтверждающие его притязания. Скорее всего, эти притязания были беспочвенны: русский эквивалент александрийского стиха был создан не им, а Ломоносовым (см.: Голенищев-Кутузов, 1973). Однако существуют данные, показывающие, что уже в первой половине 1740-х гг. Сумароков проявлял известную самостоятельность в освоении ямбического размера и даже, быть может, влиял в этом отношении на Ломоносова (см.: Тарановский, 1975, с. 36).

[4] Признано (см., например, комментарий в изданиях: Сумароков, 1935, с. 423; Сумароков, 1957, с. 96; также: Ливанова, I, с. 65–93), что в середине 1740-х гг. поэтическая репутация Сумарокова была связана главным образом с популярностью его песен; если же говорить о четырех его одах, изданных к этому времени, то они, судя по всему, не могли соперничать с блестящими одами Ломоносова.

[5] Приводим текст этой эпиграммы:

На песню «Прости, мой свет»

Наш автор в музу так влюбился,
Что день и ночь он с ней всегда,
Да и не хочет никогда,
Чтоб где не вместе находился,
Однако же отстать от ней в один день рад,
Вот тут какой ток лился из глаз,
Слез пролито в один миг с таз,
Но, говоря, изъявить не можно,
Как нутр его рвался неложно, —
Признак, что тогда в нем был бред.

Хотел он песню спеть к отраде,
Да спел идиллию во складе,
Так застонав: «Прости, мой свет».
(Серман, 1973, с. 103)

[6] Точное название: «Две епистолы. В перьвой предлагается о руском языке, а во второй о стихотворстве».

П. Н. Берков упорно датировал «Две эпистолы» 1747 годом — так уже в монографии 1936 г. (Берков, 1936, с. 69) и затем в подготовленном им издании сочинений Сумарокова (Сумароков, 1957, с. 115, 125, 127, 527; в одном случае, впрочем, год здесь указан правильно, см. с. 516). В последнем издании (на с. 527) дана при этом ссылка на Мат. АН, IX, с. 533; эта ссылка, однако, неправомерна, поскольку в цитируемом источнике фигурирует правильная дата — 1748 г.

Ту же неверную датировку (1747) находим в статьях Г. А. Гуковского, опубликованных посмертно (Гуковский, 1962, с. 89; Гуковский, 1962а, с. 109). Мы едва ли ошибемся, предположив, что эта дата внесена в текст П. Н. Берковым, редактировавшим сборники, в которых помещены данные статьи.

[7] И в других сочинениях, направленных против Тредиаковского, Сумароков употребляет *зело* как своеобразный опознавательный сигнал — в «Тресотиниусе» (см. § **I-5.2**, ср. также § **I-6.2** наст. работы), в песне «О приятное приятство» («Мне зело ты преприятен / И зело, ах! мя зажог» — Сумароков, VIII, с. 194), в «Ответе на Критику» («зело зело братьев я здесь в угодность ево положил много» — Сумароков, X, с. 97; ср. § **II-4** наст. работы).

[8] Сумароков здесь мог иметь в виду коллоквиализованный, а местами и неприкрыто вульгарный язык ранних сочинений Тредиаковского.

[9] «Риторика» была издана летом 1748 г. Таким образом, в своей эпистоле Сумароков откликается по меньшей мере на два произведения, только что вышедшие из печати: «Риторику» Ломоносова и «Разговор об ортографии» Тредиаковского.

[10] Большая часть соответствующих документов приводится в издании: Пекарский, II, с. 129–134. Ср. также: Ломоносов, VII, с. 821; Ломоносов, IX, с. 620–621 и особенно 937–939; Мат. АН, IX, с. 457, 460, 461, 473, 474, 478–480, 533–535, 554–555, 598–599.

[11] Наборные рукописи «Гамлета» и «Двух эпистол» описаны В. И. Резановым (см.: Резанов, 1904, с. 47, 37–40); это описание, однако, неполно и не совсем точно.

[12] Тредиаковскому следовало бы просить прощения не только за несколько предложенных им улучшений стихов Сумарокова, но и за весьма большое количество критических карандашных помет (подчеркиваний), которые сохранила рукопись трагедии.

[13] По рукописи трагедии можно восстановить все стертые подчеркивания и некоторые из переделанных Тредиаковским «не глатких и темных стихов», написанных на полях и чистых страницах.

[14] К 12 октября эпистолы были прочитаны обоими рецензентами: этим числом помечен отзыв на них Тредиаковского (№ 123, л. 70; Мат. АН, IX, с. 473–474; Пекарский, II, с. 131), и в этот же день написано письмо Ломоносова, в котором излагается его мнение об эпистолах (Ломоносов, X, с. 460–461; ср.: Летопись, 1961, с. 130).

Следует иметь в виду, что почти все документы канцелярии, относящиеся к «Двум эпистолам» (в том числе прошение Сумарокова об их издании и соответствующие постановления канцелярии), датированы ноябрем. Однако давно уже установлено (см.: Пекарский, II, с. 131–132; Ломоносов, IX, с. 620–621, 938–939), что ноябрьское рецензирование эпистол было повторным. Обращает на себя внимание то обстоятельство, что в журнале канцелярии нет отметки о первом поступлении эпистол, и это, по-видимому, указывает на то, что обычный порядок прохождения рукописей через канцелярию в данном случае был нарушен (см. комментарий в изд.: Ломоносов, IX, с. 938). Можно предположить, что неофициальный порядок приема рукописи был обусловлен высокими связями Сумарокова.

[15] Отметим, что в рукописи эпистол стихи 33–44, наиболее зло высмеивающие Тредиаковского, вписаны под знаком вставки на левой, чистой стороне разворота (л. 2 об.; соответствующий знак вставки стоит на л. 3 после стиха 32). Нельзя, однако, согласиться с комментатором академического издания Ломоносова Г. П. Блоком, утверждающим, что стихи 33–44 были введены в текст вместе с другими изменениями после первого рецензирования эпистол, т. е. после 12 октября (см. комментарий в изд.: Ломоносов, IX, с. 939); если бы это было так, невозможны были бы столь неодобрительная реакция Тредиаковского в его первом отзыве на эпистолы и, главное, его слова о «звательном падеже одного из пишущих», подразумевающие как раз этот фрагмент (см. с. 228 наст. изд.).

Не исключено, что Сумароков внес эти стихи в рукопись 10 октября, после того как ознакомился с обидным отзывом Тредиаковского на его трагедию (см. выше, § **I-3.2** наст. работы): вставка написана набело, без помарок, которых, вообще говоря, довольно много в рукописи. В таком случае следует полагать, что эпистолы были переданы Сумароковым в канцелярию позже, чем «Гамлет», — т. е. 10 или 11 октября.

[16] Говоря о комедии Аристофана, Тредиаковский имеет в виду «Облака», где высмеивался Сократ (см. § **I-6.1** наст. работы).

[17] Приходится отклонить мнение П. Н. Беркова, утверждавшего, что, говоря о «звательном падеже», Тредиаковский имел в виду стих «А ты Штивелиус лиш только врать способен» (Берков, 1936, с. 94). Во-первых, Тредиаковский говорит в своем отзыве о «первой» эпистоле, т. е. об «Эпистоле о русском языке», а этот стих входит в «Эпистолу о стихотворстве»; во-вторых, во время первого рецензирования эпистол в их тексте еще не было стиха о Штивелиусе (см. ниже, примеч. 22).

[18] Еще в «Новом и кратком способе» 1735 г. Тредиаковский писал, что «звательные падежи… у нас все подобны именительным» (Тредиаковский, 1735а, с. 18). Ср. формы звательного падежа в грамматике Ломоносова 1755 г.: *о ты, рука сильная*; *о ты, победа громкая* (Ломоносов, VII, с. 411).

[19] Доношение Тредиаковского не датировано. Однако в нем указывается, что он передал рукопись эпистол Ломоносову днем раньше; поскольку Ломоносов дал отзыв на эпистолы 12 октября, мы должны заключить, что эта передача произошла 11 октября или — если предположить, что Ломоносов действовал особенно быстро, — 12 октября; отсюда можно датировать и само доношение.

Отметим, что в «Летопись жизни и творчества М. В. Ломоносова» (Летопись, 1961, с. 133) вкралась неточность: доношение Тредиаковского упомянуто здесь дважды, в октябре и в ноябре, — очевидно, из-за того, что этот недатированный документ подшит в дело № 123, к ноябрьским материалам (ср. выше, примеч. 14).

[20] Рукопись эпистол была возвращена Сумарокову после рецензирования, т. е. не ранее 12 октября. Как мы знаем, в это время он уже получил обидную рецензию Тредиаковского на «Гамлета». Не приходится сомневаться, что раздражение Сумарокова должно было достигнуть крайних пределов.

[21] Так в рукописи; в печатном тексте стих 390 читается: «Иль с Ломоносовым глас громкий вознеси». Очевидно, Сумароков обратил внимание на неудачный повтор (*до небеси — к небу*) и устранил его в корректуре.

[22] В наборной рукописи указанные стихи написаны на левой (чистой) стороне разворота (л. 18 об.) под знаком вставки — соответствующий знак вставки стоит после стиха 388 «Эпистолы о стихотворстве» на правой стороне разворота (л. 19). На то, что эти стихи отсутствовали в исходном тексте эпистолы, указывает и еще одно обстоятельство: имени Ломоносова, упоминаемого только здесь, первоначально не было в «Примечаниях на употребленные в сих епистолах стихотворцов имена». Это ясно видно из наборной рукописи, где имя Ломоносова стоит последним в перечне упоминаемых в эпистолах авторов (в печатном тексте этот перечень дан в алфавитном порядке), а соответствующее примечание буквально втиснуто в текст — ради этого Сумарокову пришлось зачеркнуть поставленные ранее три финальных астериска и искривить последнюю строку этого примечания, заводя ее за слово «КОНЕЦ» (л. 27).

Таким образом, совершенно очевидно, что знаменитые, часто цитируемые стихи о Ломоносове-Мальгербе и бездарном Штивелиусе-Тредиаковском представляют собой позднейшую вставку в текст «Эпистолы о стхотворстве». Не вызывает сомнений и то, что эта вставка была сделана после первого рецензирования. Действительно, в повторном отзыве на эпистолы Тредиаковский указал, что «язвительства из них не токмо не вынято, но ешче оное в них и умножено» (№ 123, л. 72; Мат. АН, IX, с. 535), — между тем в рукописи нет никаких изменений, которые могли бы «умножить язвительство», кроме интересующей нас вставки (мы имеем в виду изменения, появившиеся после первого рецензирования, — ср. выше, примеч. 15).

Тот факт, что обсуждаемые нами стихи были включены Сумароковым в «Эпистолу о стихотворстве» после первого рецензирования, упомянут (без разъяснений и обоснования) в комментариях к IX тому академического собрания сочинений Ломоносова, опубликованному в 1955 г. (Ломоносов, IX, с. 939), однако в более позднем издании П. Н. Беркова (Сумароков, 1957) он оставлен без внимания.

[23] Наиболее вероятно, что кличку *Штивелиус* или *Штивелий* пустил в обращение Ломоносов в своей эпиграмме на Тредиаковского «На сочетание стихов Российских», написанной, соответственно, раньше, чем «Две эпистолы». Действительно, в этой эпиграмме мы находим прямой намек на Тредиаковского, утверждавшего в «Новом и кратком способе» 1735 г., что «сочетание Стихов [т. е. чередование мужских и женских стихов] так бы у нас [в русской поэзии] мерское и гнусное было, как бы оное, когда бы кто наипоклоняемую, наинежную, и самым цветом младости своея сияющую Эвропскую Красавицу, выдал за дряхлаго, чорнаго, и девяносто лет имеющаго Арапа» (Тредиаковский, 1735а, с. 23–24). Обыгрывая это утверждение, Ломоносов пишет:

Штивелий уверял, что муж мой худ и слаб,
Безсилен, подл и стар, и дряхлой был арап…
(Ломоносов, VIII, с. 543)

Сумароков же в «Эпистоле о стихотворстве» пользуется кличкой «Штивелиус» как уже готовой и, рассчитывая в создавшейся ситуации заручиться поддержкой Ломоносова, как бы выражает согласие с его мнением (ср.: Успенский, 1984/1996, с. 393 — наст. изд., с. 495). Аргументы П. Н. Беркова в пользу того, что эпиграмма Ломоносова написана позже, чем эпистолы Сумарокова, не выглядят убедительными (см.: Берков, 1936, с. 96).

[24] Об этом достаточно красноречиво говорит характеристика Ломоносова, введенная Сумароковым после первого рецензирования эпистол в «Примечания на употребленные в сих епистолах стихотворцов имена» (см. выше, примеч. 22): «ЛОМОНОСОВ, русской стихотворец, хороший лирик. Петербургской академии наук, и историческаго собрания член и профессор химии». Из этой характеристики едва ли можно заключить, что речь идет о русском Пиндаре и Малербе. Правда, в рукописи Сумароков поставил сначала «весьма хороший», а затем, зачеркнув, — «великий лирик» (л. 27); однако впоследствии — видимо, в корректуре, после второго рецензирования, — резко снизил оценку. Весьма знаменательно и то, как характеризуется в эпистолах Гюнтер, чье имя устойчиво ассоциировалось с именем подражавшего ему Ломоносова: «ГИНТЕР, немецкий стихотворец последняго времени, котораго тщательно составленныя и вычищенныя им стихи, хотя таковых и гораздо менше, нежели других, превеликой похвалы достойны [в рукописи зачеркнуто: „нежели нетщательно сочиненных и невычищенных“]».

Стоит отметить, что несколькими годами позже, во время открытых столкновений Сумарокова и Ломоносова, сумароковский лагерь дезавуировал хвалебные стихи о Ломоносове, включенные в «Эпистолу о стихотворстве». Обращаясь к Сумарокову, его ученик и единомышленник Елагин писал:

Где Мальгерб тобой почтенный,
Где сей Пиндар несравненный,
Что в эпистолах мы чтем?
Тщетно оды я читаю,
Я его не обретаю,
И красы не знаю в нем.
(Берков, 1936, с. 113–114)

[25] Эти стихи частично воспроизведены в изд.: Ломоносов, VII, с. 821, однако при этом они ошибочно отнесены ко второй эпистоле Сумарокова. Комментаторы данного издания (Г. П. Блок и В. Н. Макеева) полагают, что изъятие стихов с критикой Феофана Прокоповича было произведено по настоянию Ломоносова (см. там же); нам не известны какие-либо документальные свидетельства, обосновывающие это мнение.

[26] Укажем на два любопытных исправления в рукописи: *Великий Феофан* исправлено на *Разумный Феофан*, а *Российскаго народа* на *Славенскаго народа*.

[27] Вычеркнутые из «Эпистолы о стихотворстве» стихи, а также примечание о Кантемире воспроизведены у В. И. Резанова (1904, с. 39) и вслед за тем у П. Н. Беркова в изд.: Сумароков, 1957, с. 116, 127. Примечание о Феофане Прокоповиче публикуется нами ниже (в примеч. 10 к главе II); здесь же предлагается уточнение к публикациям В. И. Резанова и П. Н. Беркова.

[28] Следует оспорить эдиционные принципы П. Н. Беркова, включившего последний фрагмент (двенадцать стихов о Кантемире и Феофане Прокоповиче) в текст «Эпистолы о стихотворстве» (в изд.: Сумароков, 1957, с. 116). Это было бы правомерно только в том

случае, если бы мы доподлинно знали, что устранение данного фрагмента противоречило воле автора. Попутно отметим, что в издании П. Н. Беркова эти стихи воспроизведены не совсем точно: вместо *Он знал, как о страстях разумно рассуждать* в рукописи читаем: … *пристойно рассуждать*.

[29] Формальное поручение президента Академии наук К. Г. Разумовского выполнить этот перевод было получено Тредиаковским 8 февраля 1748 г., однако не исключено, что к этому времени работа над переводом уже была им начата. 4 октября 1748 г. Тредиаковский просил у Академии «книжной галандской бумаги» для переписки «Аргениды» (Мат. АН, IX, с. 60, 450); скорее всего, значительная часть работы была в эту пору сделана. К 17 июля 1749 г. «Аргенида» была переведена и переписана набело (Мат. АН, X, с. 51).

Как известно, это был второй перевод «Аргениды», выполненный Тредиаковским: Тредиаковский впервые перевел роман Барклая еще в 1724–1725 гг., в бытность свою студентом риторического класса Славяно-греко-латинской академии. В 1740-е гг. он не располагал текстом этого перевода и вынужден был переводить «Аргениду» заново — тем более что его литературная и языковая позиция к этому времени существенно эволюционировала. См.: Николаев, 1987; Успенский и Шишкин, 1990, с. 204–205 — наст. изд., с. 406.

[30] Говоря о «новом сочетании в десятеростишных… строфах», Тредиаковский подразумевает завершающее перевод «Аргениды» стихотворение «Снесшийся с кругов небесных…», строфы которого имеют экспериментальную рифмовку АбАбВ'В'гДгД, где В'В' — дактилическая рифма (см.: Тредиаковский, 1751, II, с. 876–882).

[31] В рукописи на месте отточия находится текст латинской басни Иоакима Камерария, который мы опускаем.

[32] Имя Архилоха Тредиаковский упоминает и несколькими годами позже в своих «Сочинениях и переводах» (1752), где он целиком перепечатывает книгу «Три оды парафрастическия…» (ср.: Тредиаковский, 1744). Эта книга, как мы уже знаем, описывает поэтическое состязание Тредиаковского, Ломоносова и Сумарокова в 1743 г. Тредиаковский раскрывает теперь анонимность этого состязания и добавляет к своему предисловию сноску, в которой пишет о Сумарокове: «Мог бы он многое привесть из Горация в подтверждение первому мнению, а именно, что Архилохова ярость Иамбом была ВОРУЖЕНА» (Тредиаковский, 1752, II, с. 95).

Можно полагать, что пресловутая «ярость» и «остервенение» Архилоха, а также «угрызающий и своевольный» характер его стихов, о которых говорит Ш. Роллен в своей «Древней истории» (мы цитируем перевод Тредиаковского — Роллен, 1749–1762, II, с. 329–330), включаются как отличительные черты в создаваемый Тредиаковским сатирический портрет Сумарокова (см. с. 251, 255 сл. наст. изд.).

Ср. стихотворение Сумарокова «Противу злодеев» (впервые напечатано в журнале: «Праздное время, в пользу употребленное», 1760, 2 сент., с. 153–154), возможно, сохраняющее связь с полемикой конца 1740-х гг.:

Ты ямбический стих во цвете,
Жестоких к изъясненью дел
Явил, о Архилох, на свете,
И первый славно им воспел!

Я, зляся, воспою с тобою
Не в томной нежности стеня;
Суровой возглашу трубою;
Трохей, сокройся от меня!

и т. д.

[33] Анализ изменений, внесенных Тредиаковским в эти страницы «Предуведомления» позже (в 1751 г.) и обусловленных его спором с Ломоносовым о первенстве в проведении реформы русского стихосложения, см. в кн.: Куник, 1865, с. XLII–XLIII.

[34] В пользу высказанного предположения говорит то, что годом позже, превращая эту кличку в «Архисотолаш» (см. § **I-6.2** наст. работы), Тредиаковский вставляет в нее новый корень *сот* (франц. *sot*) между *архи* и *лаш*.

[35] Одно из значений слова *козлогласование* в церковнославянском языке — ‘трагедия’ (Срезневский, I, стлб. 1247).

[36] Речь идет о том же событии, которое вызвало эпиграмму: Сумароков, редактор журнала «Трудолюбивая пчела», опубликовал статью Тредиаковского «О мозаике», которая задевала Ломоносова («Трудолюбивая пчела», 1759, июнь, с. 353–359). Именно на это и жалуется Шувалову Ломоносов.

[37] Уже П. Н. Берков высказал предположение, что басня «Пес чван», опубликованная в «Сочинениях и переводах» Тредиаковского, направлена против Сумарокова (Берков, 1936, с. 95). Как видим, предположение П. Н. Беркова полностью подтверждается; кроме того, выясняется, что эта басня была написана не позднее 1749 г.

[38] Положительный отзыв был дан рецензентами 28 февраля, причем Ломоносов не подписал общий рапорт, так как «не был в тех собраниях, где об оном переводе рассуждали, для болезни». Постановление о печатании «Аргениды» было принято месяцем позже, 29 марта (ААН, ф. 3, оп. 1, № 137, л. 459–463; Мат. АН, X, с. 359–360).

[39] В печатном тексте эта фраза отсутствует, но она сохранилась в рукописных вариантах (см. § **I-5.1** наст. работы).

[40] Первое известное нам печатное издание «Тресотиниуса» увидело свет в 1781 г. — в «Полном собрании всех сочинений…» Сумарокова, изданном Н. И. Новиковым.

В научной литературе иногда утверждается, что первое издание «Тресотиниуса» вышло уже в 1750 г. (Лонгинов, 1871, с. 1649; Рулин, 1923, с. 134; Филиппов, 1928, с. 194, примеч. 1; Сумароков, 1935, с. 462), однако «Сводный каталог русской книги гражданской печати XVIII века» (Св. кат. XVIII в.) не отмечает данного издания ни среди известных, ни среди разыскиваемых книг; во всяком случае «Сокращенная повесть о жизни и писаниях А. П. Сумарокова» 1778 г. («Санкт-Петербургский вестник», ч. 1, 1778, январь, с. 45–46) говорит о «Тресотиниусе» как о ненапечатанном произведении (ср.: Рулин, 1923, с. 131, 134). Сведения о публикации «Тресотиниуса» в 1750 г. основываются на недоразумении: утверждают, будто бы А. Д. Галахов видел своими глазами это издание. Между тем, Галахов в соответствующем месте своей «Истории русской словесности…», перечисляя издания сумароковских сочинений, говорит буквально следующее: «Указываю только те издания, которые рассмотрены мною в императорской публичной Библиотеке и библиотеке Академии наук». Среди указанных при этом изданий значится «Тресотиниус, ком[едия] (1750; изд. 4-е — 1786)» (Галахов, I, с. 384). Совершенно ясно, что 1750 год здесь означает не дату издания, а время написания комедии.

Столь же недостоверны, судя по всему, и сообщения о том, что «Тресотиниус» был опубликован в 1756 и 1768 гг. (ср.: Рулин, 1923, с. 134).

После издания 1781 г. «Тресотиниус» был дважды опубликован в 1787 г. — во втором издании «Полного собрания всех сочинений…» Сумарокова (Сумароков, V, с. 297–

324) и в «Российском Феатре» (ч. XV, с. 261–296). Что касается издания 1786 г., на которое ссылаются Галахов и некоторые другие авторы, то речь идет, по-видимому, об отдельном оттиске из второго новиковского собрания сочинений — оттиски из этого собрания выходили иногда с датой 1786 г. (ср.: Рулин, 1923, с. 134).

[41] Поскольку «Аргенида» как раз в эти дни стала рассматриваться канцелярией, такое указание хорошо согласуется с нашим предположением о том, что «Тресотиниус» был непосредственной реакцией Сумарокова на оскорбительные выпады в предисловии к «Аргениде».

[42] Точно так же, отвечая на «Письмо от приятеля к приятелю» Тредиаковского, Сумароков заявляет, что не может уделить ответу более двух часов, противопоставляя таким образом свой стиль работы педантической манере Тредиаковского: «Ежели на все то что он написал ответствовать; так я очень много потеряю времени; а часа два за работу долгой ево критики, я употребить к ево услугам не скуплюсь» («Ответ на Критику», 1750 г. — Сумароков, X, с. 93).

[43] Нам удалось ознакомиться со следующими списками «Тресотиниуса»:

Списки ГИМ:

1) *Забелинский* (ОПИ, ф. 440, И. Е. Забелина, № 1141); на существование этого списка наше внимание обратил проф. М. Левитт (Marcus Levitt), за что мы ему весьма признательны. Титульный лист в рукописи отсутствует и, соответственно, здесь не содержится указаний относительно времени написания и постановки комедии. Почерк середины XVIII в.

2) *Чертковский* (ОПИ, ф. 96, № 24236а/3318; рукопись ранее была в Музейском собрании отдела рукописей ГИМ под № 1458, поступила туда из Чертковской коллекции). Список не имеет конца (отсутствует последняя страница). Почерк второй половины XVIII в. По-видимому, чертковский список был непосредственно скопирован с забелинского; там, где не оговаривается противное, аббревиатура ГИМ в нашем тексте указывает на оба списка.

Список ЦГАЛИ (Коллекция рукописей, ф. 1345, оп. 2, № 298, л. 48–62). Рукопись помечена 1755 годом (л. 4).

Список ААН (разр. II, оп. 1, № 141, л. 155–166). Рукопись 1750-х годов. В. И. Резанов указывает, что текст данного списка совпадает с изданием Новикова (см.: Резанов, 1904, с. 49), однако это указание неверно.

Парижский список (Парижская национальная библиотека, отдел рукописей, Slave, 40, л. 444–462). В. И. Резанов неточно характеризует текст списка как «совершенно совпадающий» с новиковским изданием (Резанов, 1907, с. 164). Рукопись не датирована; почерк середины XVIII в.

Существовали и другие списки:

Список Виленской публичной библиотеки (№ 283). Рукопись середины 1750-х годов. См. описание: Добрянский, 1882, с. 508–509 (№ 324). В настоящее время утерян.

Список из библиотеки П. Г. Демидова. См.: Демидов, 1806, с. 259; Ундольский, 1846, с. 23, № 538. Рукопись сгорела в московском пожаре 1812 года.

Список из библиотеки Н. Н. Виноградова. См.: Н. Виноградов, 1917, с. 33–34. По характеристике Н. Н. Виноградова, «скоропись половины XVIII столетия». Собрание Н. Н. Виноградова поступило в Музей истории религии и атеизма (Бельчиков, Бегунов и

Рождественский, 1963, с. 118, № 996) и в Государственный архив Костромской области (Личные архивные фонды, I, с. 142). В Музее истории религии и атеизма этой рукописи нет, а фонды костромского архива недоступны ввиду происшедшего там пожара.

[44] См., например, запись от 30 января 1750 г.: «представлена была французская комедия» (Евдокимов, 1897, с. 193) или аналогичные записи от 5, 8, 20 февраля того же года.

[45] Ср., например, такое же расхождение в отношении даты первого представления комедии Сумарокова «Чудовищи» — 21 июля 1750 г. согласно «Камер-фурьерскому журналу» (КФЖ, 1750, с. 78), 20 июля согласно «Журналу дежурных генерал-адъютантов» (Евдокимов, 1897, с. 209). Ср. ниже, примеч. 127.

[46] Тредиаковский позднее вспоминает об этом обычае в своем «Рассуждении о комедии вообще и в особливости», которое было задумано как предисловие к переведенному им «Евнуху» Теренция (1752); комедия Теренция должна была сопровождать сочиненную Тредиаковским трагедию «Деидамия» (1750). Вот что пишет Тредиаковский: «… Сочинена мною трагедия, а оставить ее одну и без товарища, мне уже самому не похотелось. Обыкновенно трагедия препровождаема бывает некоторым родом служанки, называемая малая комедия, какие явились и на нашем языке прозою, а чтоб сказать о них по совести, больше сквернящие наш язык, нежели обогащающие [Тредиаковский явно имеет в виду в данном случае сумароковские комедии „Тресотиниус“ и „Чудовищи“]. Не токмо сими нашими негодницами и безпутными я гнушаюсь, но и всеми на других языках прозаическими малыми комедиями. Оне все как противны уставу комедии, так и недостойны твердаго разума. Того ради, рассудил я дать моей трагедии в товарища родную ея сестру, то есть прямую комедию и в пять действий и стихами. Собственную сочинить, не нашел я в себе столько ни довольства, ни способности: известно, что на сочинение комедии почитай вдвое надобно искусства против трагедии» (Пекарский, II, с. 168–169; Модзалевский, 1935, с. 312–313).

Последней фразой Тредиаковский несомненно намекает на скороспелые комедии Сумарокова, в частности, на «Тресотиниус».

[47] Если бы это произошло 30 мая, то такие события, как создание (или, по крайней мере, существенная доработка) обширного «Письма от приятеля к приятелю», в котором сообщается об этом подслушивании, ознакомление с «Письмом…» Сумарокова, находившегося в это время за городом, «на приморском дворе», и написание им (или, как минимум, переделка) ответной комедии-памфлета «Чудовищи», должны были бы вместиться в один месяц — июнь (ср. §§ **I-6**, **I-7** наст. работы). В принципе эта возможность не исключена, но все же такой ход событий не слишком вероятен.

[48] Действительно, в начале «Письма» Тредиаковский сообщает, что комедия «состоит… в семнатцати явлениях» (Куник, 1865, с. 437); далее он дважды цитирует явление XII, называя его явлением XI (с. 440, 442); наконец, он прилагает к своему трактату сочиненную им «новую сцену» из «Тресотиниуса», которую объявляет предпоследним, семнадцатым явлением (с. 497).

[49] В списках ГИМ и ААН — незначительные разночтения.

[50] В издании сочинений Сумарокова 1957 г. редактор П. Н. Берков внес в текст три произвольные конъектуры, восстанавливающие размер (две из них отмечены угловыми

скобками, одна не отмечена никак). Однако лишь в одном случае из трех сделанная конъектура подтверждается рукописными вариантами (ср. нашу реконструкцию текста песенки). См.: Сумароков, 1957, с. 284.

[51] Вот что писал сам Сумароков в «Ответе на Критику» (речь шла о типографской погрешности, нарушившей размер шестистопного ямбического стиха: *Хотя* [вместо *хоть*] *смерть в глазах его*, *он зрит бесстрашным оком*): «Такой ошибки в Стихосложении ни какой слагатель стоп зделать не может; ибо всякому слагателю стихов трудняе зделать стих неправильный нежели правильной» (Сумароков, X, с. 101).

Показательно в этом отношении и название другой пародии на Тредиаковского, опубликованной Сумароковым в 1755 г.: «Соне́т нарочно сочиненный дурным складом. Для показания, что естьли мысль и изрядна, Стихи порядочны, Рифмы богаты, однако при неискусном, грубом и принужденном сложении, все то Сочинителю ни како́ва плода, кроме посмешества не принесет» («Ежемесячные сочинения», 1755, август, 201; Сумароков, IX, с. 107).

Как видим, Сумароков признает за соперником способность создавать «порядочные стихи» (т. е. безошибочные с точки зрения стопосложения) и усматривает порочность его поэтической системы в другом — специфическом «дурном складе» (см. § **I-5.3** наст. работы).

[52] Вообще о западноевропейских источниках комедий Сумарокова см.: Сухомлинов, II, примеч., с. 392–399; Филиппов, 1928, с. 194, 208; Рулин, 1929, с. 254–269; Резанов, 1931, с. 233–237; см. также обобщающую работу: Кунце, 1971, с. 25–46.

[53] В первых версиях комедии Мольера имя героя звучало ближе к его прототипу: Tricotin, и только впоследствии оно изменилось в Trissotin; в последнем случае обыгрывается корень *sot* ʻглупыйʼ, т. е. Trissotin означает ʻтрижды глупыйʼ.

[54] Уместно отметить, что прототип Тресотиниуса, мольеровский Триссотен, был выведен как бездарный виршеплет, соединяющий в себе черты щегольства и педантства. Для сведущей аудитории эта аллюзия должна была подчеркнуть соответствующие черты в маске сумароковского антагониста, — хотя такое сочетание было свойственно молодому, а не зрелому Тредиаковскому (см.: Успенский, 1985, с. 150 — наст. изд., с. 127; ср. также § **I-7** наст. работы).

[55] Позднее, в статье «О правописании», Сумароков специально отмечал, что Тредиаковский дал «имени породы своей окончание Малороссийское, по примеру педантов наших; ибо *ой* пременяти в *ий* есть у педантов наших то, что у Германских педантов Латинской *ус*» (Сумароков, X, с. 27). Сам Сумароков писал эту фамилию *Тредьяковской*.

[56] Ср. отзывы Оронта о Тресотиниусе: «Он знает по Арапски, по Сирски, по Халдейски, да диво не знает ли он еще и по Китайски, и на всех етих языках стихи пишет, как на Русском языке…» (явл. I); «… Он говорит, что кто не умеет по Сирски и по Халдейски, тот еще не прямой человек. Вот так-то он сказывает» (явление 1); «… Он пишет немного дерзновенно, как то всем свойственно, которыя по сирски знают» (явл. XII; в печатном тексте эта реплика отсутствует — см. выше, § **I-5.1**). В споре с Бобембиусом о форме буквы «твердо» Тресотиниус заявляет: «А твое твердо не Руское, не Греческое, не Арапское, не Сирское, не Халдейское» (явл. V; в печатном тексте отсутствуют слова: «не Греческое»).

То, что экзотические языки выступают в данном случае как эквивалент латыни и греческого, подтверждается тем обстоятельством, что сам Тредиаковский в «Разговоре об ортографии» (Тредиаковский, 1748, с. 345) использует такое же средство иронии: «Ежели кто россианин захочет прямо пороссийски писать; тому необходимо должно знать все в свете языки, нашими буквами по случаю иногда изображаемые? Надобно ему знать поиндийски, поперсицки, поарапски, потурецки, покитайски, пояпонски, поамерикански, помалабарски…». Тредиаковский обсуждает здесь принципы правописания заимствованных слов, оспаривая необходимость сохранения греческой орфографии в заимствованиях из греческого языка.

Показательно в этом контексте и замечание Теплова, относящееся к Сумарокову: «Скажи ему по нещастию слово Латинское, тот час грубым лицем и презрительным смехом закричит: ты де по Сирски говоришь» (Теплов, 1755, с. 378; ср.: Модзалевский, 1962, с. 147).

[57] Попутно отметим еще одну перекличку «Тресотиниуса» с сумароковской «Эпистолой о русском языке». В XIII явлении Ераст говорит Брамарбасу: «Как тебя Тресотиниус бранить ни станет, хоть в стихах, хоть в прозе, тебе ему ни шпагой, ни палкой не отомщать». Эта характеристика Тресотиниуса совпадает с характеристикой Тредиаковского в «Эпистоле…»: «Тот прозой и стихом ползет» (см. выше, § **I-3.1**).

[58] Форма *очюнь* характерна для раннего Тредиаковского (в частности, для «Езды в остров Любви»); против нее выступает Адодуров в грамматике 1738–1740 гг., и — возможно, под влиянием критики Адодурова — Тредиаковский в 1740-е гг. начинает писать *очень* (см.: Успенский, 1975, с. 195).

[59] Слово *по премногу* характерно для Тредиаковского: оно встречается, например, в «Слове о витийстве» 1745 г., в «Разговоре об ортографии» 1748 г. (см. с. 244 наст. работы) и пр.

[60] Ср. у молодого Тредиаковского: «Песенка… на мои выезд в чужия краи», «Песенка любовна», «Песенка к краснои девушке» (в приложении к «Езде в остров Любви»).

[61] Позднее Сумароков отмечает в «Ответе на Критику» (1750), что такие выражения, как *прекрасная красота*, *приятная приятность*, *горькая горесть*, *сладкая сладость*, *из негодных негоднейшая*, суть «любимые изъяснения» Тредиаковского (Сумароков, X, с. 95).

[62] Ср.: «очюнь, очюнь, подлинно говорю, что очюнь хорошо», «ето дело не малое, подлинно говорю что не малое», «изволите послушать, да послушайте ж сударыня», «Твое твердо [т. е. начертание буквы *т*] есть подлое и по премногу подлое», «Я хочу, и действительно хочу, чтоб стояло зело [буква *s*], а не земля [буква *з*]». Теплов в записке о Тредиаковском 1755 г. специально упоминает о «репитиции безпрестанной, амплификации также» и «плеоназмах» как о типичных чертах стиля Тредиаковского (Пекарский, 1870, с. XXVIII; Пекарский, II, с. 188).

[63] Упоминание здесь «хореических стоп» подразумевает «Новый и краткий способ…» Тредиаковского, в котором он утверждал, что хорей «Стопа есть наилучшая» (Тредиаковский, 1735а, с. 67). Одновременно это упоминание может отсылать нас к поэтическому состязанию 1743 г., в котором Тредиаковский отстаивал достоинства хорея.

[64] Ср. в «Тресотиниусе»: «Правда, многим покажется, что ето безделка; однако, позвольте моя государыня сказать, что в етой безделке много дела, что я аргументально

доказать могу» (явл. III); в «Езде…»: «А буде кто тому не верит, тому я способно могу доказать еще Математическим Методом, что я правду сказал» (Тредиаковский, 1730, предисловие). См. об этом: Берков, 1977, с. 33.

Не исключено, что слово *аргументально* непосредственно пародирует стиль Тредиаковского. Теплов в записке о Тредиаковском 1755 г. приписывает последнему образование слова *номинальный* в соответствии с *nominalis*, ср.: «Он один вымышляет и русския слова, а именно: nominalis — номинальный» (Пекарский, 1870, с. XXIX; Пекарский, II, с. 190). Слово *аргументально*, вероятно, обыгрывает неологизмы такого рода.

[65] Существуют веские доводы в пользу того, что в лице Бобембиуса Сумароков изобразил Ломоносова и что прение Бобембиуса и Тресотиниуса сохраняет отголоски каких-то споров Ломоносова и Тредиаковского (см.: Рулин, 1929, с. 240, 248–249; Успенский, 1984/1996, с. 403 — наст. изд., с. 502–503; Гринберг, 1990). Это обстоятельство подтверждает поверхностный характер компромисса между Сумароковым и Ломоносовым, заключенного годом раньше в ходе издания «Двух эпистол».

[66] В. А. Филиппов отметил, что источником этой гротескной дискуссии послужило рассуждение Тредиаковского о «троерогих» омегах (см.: Филиппов, 1928, с. 199; ср.: Тредиаковский, 1748, с. 147); к этому можно добавить, что и некоторые другие буквы описываются в «Разговоре об ортографии» с помощью териоморфных уподоблений (см., например: Тредиаковский, 1748, с. 44–46, 152–154, где речь идет о «головках», «спинках», «хвостиках» букв). Возможно, утверждение Тресотиниуса, что «треножное твердо, есть некакой урод» (явл. V), также навеяно «Разговором…», в котором Чужестранный человек, рассуждая о букве э, говорит, что «в семье не без урода» (Тредиаковский, 1748, с. 135).

[67] Ср. заявление Тресотиниуса: «Твое твердо есть подлое и по премногу подлое, а мое благородное, и не только Славено-Российское, но и Греческое» (явл. V).

См. вообще об употреблении этих эпитетов в полемике Сумарокова и Тредиаковского: Успенский, 1985, с. 189–192 — наст. изд., с. 191–192; Успенский, 1984/1996, с. 366–371 — наст. изд., с. 475–479.

[68] Кажется, Сумароков, обыгрывая двойное значение слова *зело* (см.: Успенский, 1984/1996, с. 392 — наст. изд., с. 494), использует в пародийном ключе не только первое значение (название буквы), отсылающее к «Разговору об ортографии», но и второе (наречное), которое служит моделированию устарелого слога (ср. в ранней песне Тредиаковского: «Способ даст убору, / Чистому зело» — Позднеев, 1964, с. 91). Ср. § **I-5.3** наст. работы.

[69] В качестве параллельных примеров мы будем использовать и «Сонет, нарочно сочиненный дурным складом…» («Ежемесячные сочинения», 1755, август, с. 191; Сумароков, IX, с. 107–108). Таким образом, в нашем разборе будут учтены все стихотворные пародии Сумарокова на Тредиаковского.

[70] О том, что песенка Тресотиниуса связана именно с этой конкуренцией, писал еще В. Н. Перетц (Перетц, II, с. 63). Ср. § **II-3.1** наст. работы.

[71] Вполне возможно, что, говоря в «Разговоре об ортографии» об «охотниках до стихов», которые «будут повторять, чего ради я сию песенку [т. е. свой орфографический трактат] не стихами зделал» (Тредиаковский, 1748, с. 438), Тредиаковский, эволюционировавший от легких жанров к серьезным, хотел задеть Сумарокова и его поклонников.

То же ироническое отношение к Сумарокову, не способному, по мнению Тредиаковского, к серьезному творчеству и умеющему лишь сочинять «песенки», отразилось в «Письме от приятеля к приятелю», где Тредиаковский ядовито замечает, что его противник некстати изображает в оде нимф — подобные персонажи, полагает Тредиаковский, мыслимы только в «песенке» (Куник, 1865, с. 463). Ср. § **II-3.1** наст. работы.

[72] В пользу этого предположения говорит то, что в своей характеристике этих песен Сумароков использует слово *песенка*, характерное для стиля Тредиаковского (ср. выше, § **I-5.2** и примеч. 60):

Ни ударения прямова нет в словах,
Ни сопряжения малейшаго в речах,
Ни рифм порядочных, ни меры стоп пристойной
Нет в песне скаредной, при мысли недостойной.
Но что я говорю при мысли? да в такой
Изрядной песенке нет мысли никакой.
(Сумароков, I, с. 346)

[73] Ср. реплику Критициондиуса-Тредиаковского из сумароковской комедии «Чудовищи»: «На песнь „Прости мой свет“ сочинил я критику в двенадцати томах in folio» (Сумароков, V, с. 267).

Достойно внимания, что конкуренция писателей в жанре любовной песни находит прямое отражение в обеих комедиях Сумарокова, направленных против Тредиаковского («Тресотиниус» и «Чудовищи»): Тресотиниус, беседуя с Кларисой, настаивает на том, что его песенка лучше, чем сумароковская песня «О места, места драгие» (явл. III).

[74] Примечательно, что песня — единственный из упоминаемых в «Эпистоле о стихотворстве» жанров, удостоившийся такого прямого описания (все прочие жанры описываются лишь косвенно). Это обстоятельство также показывает, что Сумароков придавал характеристике песни особое значение.

[75] Иначе говоря, здесь имеет место своего рода автоцитата; разумеется, нельзя ожидать в эпистоле, написанной шестистопным ямбом, точного воспроизведения песни, написанной комбинированным четырех- и трехстопным ямбом.

[76] По точному наблюдению А. М. Пескова, «песня в трактовке Сумарокова выглядит вариантом элегии» (Песков, 1982, с. 74).

[77] Показательно, что уже упоминавшаяся нами эпиграмма на песню «Прости мой свет» (см. выше, § **I-2**) завершается следующим упреком, адресованным Сумарокову:

Хотел он песню спеть к отраде,
Да спел *идиллию* во складе,
Так застонав: «Прости, мой свет».
(Серман, 1973, с. 103)

[78] Ср. характеристику элегии в «Поэтическом искусстве» Буало: «Il faut que le coeur seul parle dans l’élégie» («Нужно, чтобы в элегии говорило только сердце»).

[79] Стих «Кудряво в горести никто не говорил» также является перифразой стиха Буало, входящего у него в характеристику трагедии. Это место в «Эпистоле о стихотворстве» исключительно важно (см. § **II-4** наст. работы).

[80] Напомним вкратце основные черты этого стиля (см. подробнее: Перетц, I–II; ср. также: В. Виноградов, 1938, с. 81–84). Любовь изображается как «негасимый огонь», внезапно и мгновенно «запаляющий душу»; сердце влюбленного при этом получает рану (язву) от стрелы, пущенной взорами или красотою возлюбленной (или от золотой стрелы Купидона); влюбленный в смятении, он тает от любви, как воск; следуют признание, описывающее его муки, и обращенная к гордой возлюбленной мольба исцелить его от них («показать милость») — при этом любовное страдание изображается в гиперболических формулах («печаль зельна, скорбь пребезмерна»), а предмет любви сравнивается с цветком или драгоценным камнем (сапфиром, адамантом); сообщается о счастье любить («при тебе моя радость, и горесть мне сладость»); после ответного признания выражается желание постоянной, вечной любви («любезно поживем лета многа»). Возможны и общие места, связанные с переживанием любовных несчастий: жалобы на разлуку и, как обычное ее следствие, слезы и рыдания (также гиперболизированные: «море слез», «вечный плач»); воспоминание о любовном счастье; смерть от любви. Важной чертой указанного стиля является упоминание античных богов, особенно Венеры и Купидона.

[81] Ср. в стихах Тредиаковского: «Покинь Купидо стрелы: / уже мы все не целы / но *сладко уязвлены* / любовною стрелою», «ах сеи *огнь сладко* пышет!» («Прошение любве»); «любовь *язвит* едину» (там же); «*язву сердца*» («Элегия I» из «Нового и краткого способа…»); «О коль *сладости сердце* чювствуя имеет, / видеть противность всегда красоты любовну, / что в благородной *спеси* чрез жестокость несловну, / *сладку огня* в нем наглость зажещи умеет!», «А любовь снесть не может так *спеси* высокой», «*Горю* о тебе *сердцем*, болю всей утробой, / и чювствую *сладость*», «*Купид* чрез свои *стрелы* ранит человеков» (стихи из «Езды…») «*Ну ж умилися*, / сердцем склонися» («Песенка любовна») и т. п.; см.: Тредиаковский, 1730, с. 7, 41, 117, 179, 180; Тредиаковский, 1735а, с. 48.

Необходимо отметить, что рассмотренная нами сторона сумароковских пародий связана с осмеянием Тредиаковского как представителя определенной поэтической школы: разрозненно (т. е. как языковые, а не стилистические элементы) все эти «язвы», «стрелы», «любовный жар» и т. п. встречаются и в песнях самого Сумарокова, но в его пародиях они даны в том стабильном сочетании и той высокой концентрации, которые создают легко узнаваемый образ соответствующего стиля.

[82] В «Чудовищах» Критициондиус-Тредиаковский именует богиней служанку Финетту, а в сочиненных им стихах — героиню комедии Инфимену: «Богиня красоты, драгая Инфимена» и ниже: «И с женихом тебя, Богиня, поздравляю» (Сумароков, V, с. 269, 270, 296). Ср. также в «Сонете, нарочно сочиненном дурным складом…»: «Вид Богиня твой всегда очень всем весь нравный»; «И на час ко мне хотя о Богиня подь» («Ежемесячные сочинения», 1755, август, с. 191; Сумароков, IX, с. 107–108).

[83] Кажется, эта элегия Тредиаковского отражена пародиями Сумарокова с наибольшей полнотой. В описании Илидары мы находим у Тредиаковского тривиальное уподобление ее богине («схожа на богиню», «богиням та казалась сродна»), как и не менее тривиальное упоминание злата и адамантов («Все б ее перстам иметь с златом адаманты»), а также «чистого убора», который не столько украшает красавицу, сколько сам украшен ею («Чист и строен та хотя свой убор носила, / Больше же, однак, собой оный весь красила»). Ср. у Сумарокова в «Сонете, нарочно сочиненном дурным складом…»:

Всяко се наряд твой есть весь чистоприправный,
А хотя же твой убор был бы и ничто,
Был однак бы на тебе злату он не равный,
Раз бы Адаманта был драгоценняй сто.

Указанное место созвучно и «Стихам эпиталамическим на брак князя Куракина…» (Тредиаковский, 1730, с. 165): «Власами ни Венера толь чисто приправна» (ср.: Успенский, 1985, с. 80 — наст. изд., с. 137); эта перекличка обсуждается ниже.

«Чистый убор» находим также и в песне Тредиаковского «Худо тому жити» («Способ даст убору, / Чистому зело» — Позднеев, 1964, с. 91); «адамант» — в «Оде в похвалу цвету розе» из «Нового и краткого способа…» («Адамант от перл есть в цене коль разный» — Тредиаковский, 1735а, с. 61; ср.: А. Морозов, 1960, с. 680).

[84] В «Новом и кратком способе…» цитируется лишь одна строфа этой песни; полностью ее текст воспроизводится в работе: Позднеев, 1964, с. 91–92. Эта песня, по всей видимости, была очень популярна (см. там же).

[85] Ср. в «Сонете, нарочно сочиненном дурным складом…»: «Объяви прекрасна бровь о любви всей прямо».

[86] Несколькими годами позже Ломоносов также использовал этот образ, обличая Тредиаковского: «Давно изгага всем читать твои с и н и ч к и» (Ломоносов, VIII, с. 630).

[87] Ср. в стихах Тредиаковского:

Горю о тебе сердцем, болю всеи утробои
и чювствую с л а д о с т ь,
Что вижу любви твоеи знак ко мне особои
стреги твою м л а д о с т ь.
Ах! так верный мои Тирсис! твоя страсть гаряча
нравится мне н ы н е.
Благодари Жалости, перестань от плача,
будь во б л а г о с т ы н е.
Ты, мое серце, н ы н е
любя хвалбу едину
О прошлои в б л а г о с т ы н е
торжествуи любви выну.
(стихи из «Езды в остров Любви» —
Тредиаковский, 1730, с. 41, 81);

Так, надлежит новобрачным приветствовать н ы н е
Дабы они во все свое время жили в б л а г о с т ы н е.
(«Приветствие на шутовской свадьбе» —
Тредиаковский, 1963, с. 354–355; Успенский и
Шишкин, 1997, с. 312 — наст. изд., с. 545)

Поживем в б л а г о с т ы н е
Мы все везде от н ы н е.
(«Песнь…» из «Нового и краткого способа…» —
Тредиаковский, 1735а, с. 75)

Надо отметить, что рифмы *сладость — младость* и *ныне — благостыне* входят (как и однокоренные рифмы) в круг стереотипных выразительных средств поэтического сти-

ля Петровской эпохи (ср.: «Щастие, Элеоноро, сама ты погубила! / Нанесла печал[ь] своей младости. / Гордым ответом болезнь возбудила, / Коей причастна ныне сладости»; «Елика ныне во благостыне / Утратил случаев способнейших! / Все ради тебя сокрушил себя» и др.; примеры из работы: Перетц, II, с. 16, 21).

[88] Такие же рифмы находим и в «Сонете, нарочно сочиненном дурным складом»: *славный* — *равный* — *чистоприправный*, *премного* — *убого*. Ср. в стихах Тредиаковского:

Палладийскои вся ЕЯ красота есть р а в н а,
власами ни Венера толь чисто п р и п р а в н а…
(«Стихи эпиталамическия…» —
Тредиаковский, 1730, с. 165)

Диане, чей храм чудно был п р и п р а в н ы й.
Про Фарос светящий,
Неж вéрьхом горящий.
Делск, иль про Кумир, что Аммонов, с л а в н ы й.
(«Мадригал» из «Нового и краткого способа…» —
Тредиаковский, 1735, с. 81)

Я насладился потех любовных п р е м н о г о,
При любви серце было мое н е у б о г о.

Мочнои богини любве сладость так есть м н о г а,
что на сто олтарях еи жертва есть у б о г а.
(стихи из «Езды в остров Любви» —
Тредиаковский, 1730, с. 80, 104)

В издании «Езды в остров Любви» в последнем стихе вместо «убога» напечатано «у Бога». Принимаем конъектуру, предложенную в изд.: Тредиаковский, 1963, с. 118, ср. с. 482.

[89] Слово *изрядство* встречается, например, у Тредиаковского в «Эпистоле от Российския поэзии к Аполлину»:

И прибежище, покой, здравие, богатство,
И желание, и честь; словом, все и з р я д с т в о.
(Тредиаковский, 1735а, с. 43)

Слово *желтоясный* не встретилось нам у Тредиаковского. Скорее всего, оно является непрямой аллюзией на искусственное образование *краснозарный*, употребленное Тредиаковским в стихотворении «Песенка любовна»:

Так в очах ясных!
так в словах красных!
в устах сахарных,
так в краснозарных!
(Тредиаковский, 1730, с. 181)

Ср. у Сумарокова в песне «О приятное приятство…»:

В летах так с тобой мы красных
и седин мы до своих,
И в сединах желтоясных,
В мыслях станем жить одних.

«Желтоясные седины», таким образом, соответствуют «краснозарным устам» (вероятность этой аллюзии, как нам кажется, подтверждается близостью контекстов).

Междометие *ей!* очень часто встречается в стихах молодого Тредиаковского: «Ей! ни Греция, ни в том мог быть Рим умняе»; «Галлия имеет в том, ей, толику славу»; «Юнкер, которому, ей, всяких добр желаю» («Эпистола от Российския поэзии к Аполлину» — Тредиаковский, 1735а, с. 39–40); «Ей, МОЙ ГОСПОДИ! грехи что мои довольны» («Сонет» — там же, с. 31); «Божие ты, ей! светло изводство» («Стихи похвалныя России» — Тредиаковский, 1730, с. 160); число примеров можно умножить. Это междометие, несомненно, связано и с поэтическим стилем Петровской эпохи. Отметим попутно, что оно входит в число излюбленных Тредиаковским восклицательных междометий и пародируется Сумароковым также и в этом аспекте (см. ниже, примеч. 100).

[90] Ср. в «Сонете, нарочно сочиненном дурным складом…»: «Ти покорный я слуга много и премного…».

[91] Разумеется, для того чтобы констатировать пародийную направленность той или иной формы, недостаточно обнаружить ее у пародируемого автора — нужно еще установить, что эта форма не встречается в аналогичных произведениях пародиста. Поэтому, например, нельзя считать пародийными формы *иль*, *хоть*, инфинитивы на *-ти*, а также усеченные прилагательные в атрибутивной функции: «любовь… смежна», «милу бровь» (песенка Тресотиниуса), «прекрасна бровь» («Сонет, нарочно сочиненный дурным складом…»); ср.: Винокур, 1959а, с. 347–348. Действительно, такие формы, также трактуемые как «вольности», широко употребляются и самим Сумароковым, и другими поэтами XVIII — начала XIX в.

[92] См. в «Стихах эпиталамических…»: «Не речеши, и щастьем богам ся сравнити» (Тредиаковский, 1730, с. 165). Этот пример встречается в подчеркнуто славянизированной речи Аполлона.

[93] В ранних произведениях Тредиаковского нам удалось обнаружить лишь одно существительное с суффиксом *-иха* (*щеголиха*, в переведенной Тредиаковским итальянской интермедии «Игрок в карты», см.: Перетц, 1917, с. 211), однако в «Письме от приятеля к приятелю» находим *стоичиха* и *молокососиха*. Возможно, в этом случае пародия Сумарокова отражает реальную языковую практику Тредиаковского.

[94] Ср. в «Езде в остров Любви»: «Я испоттиха допрошался того места» (Тредиаковский, 1730, с. 31).

[95] Ср. в «Сонете, нарочно сочиненном дурным складом…»: «На час… подь» и «о Богиня».

[96] Ср. у Тредиаковского в «Оде вымышлене в славу правды, побеждающия ложь…» из «Нового и краткого способа…»: «О раза преблагополучна!» (Тредиаковский, 1735а, с. 65). Этот стих в экземпляре, принадлежавшем Ломоносову, снабжен иронической маргиналией: «О!!! велелепнейшия оплеухи» (неверны прочтение и комментарий П. Н. Беркова, см.: Берков, 1936, с. 63; ср. к интерпретации этого места: Успенский, 1987/2002, с. 322, § 11.6).

[97] В «Сонете, нарочно сочиненном дурным складом…»: «Изо всех красот везде он всегда есть славный», «Всяко се наряд твой есть весь чистоприправный». Эта конструк-

ция, принадлежащая, как и предыдущая, церковнославянскому синтаксису, распространена в стихах Тредиаковского чрезвычайно широко: «Палладийскои вся ея красота есть равна», «Дворы там весьма суть уединенны», «О коль сердцу есть приятно», «И Горациева всем есть люба уж Лира», «О все время есть сему слатко и приятно!», «Коль монарша здесь сала есть богата» и т. п. (Тредиаковский, 1730, с. 30, 131, 165; Тредиаковский, 1735а, с. 38, 49, 81).

98 В «Сонете, нарочно сочиненном дурным складом…»: «Вид Богиня твой всегда очень всем в е с ь нравный», «Уязвляет, оный бы ни увидел к т о», «Раз бы Адаманта был драгоценняй с т о». Искусственность порядка слов здесь, как мы видим, может подчеркиваться выдвижением одного из инвертируемых или дислоцируемых членов синтагмы на наиболее сильные места стиха — в позицию рифменного или предцезурного икта, — либо сочетаться со сверхсхемным отягчением.

99 Уже Радищев в «Памятнике дактилохореическому витязю» писал: «Тредьяковский разумел очень хорошо, что такое Стихосложение…; но, знав лучше язык Виргилиев, нежели свой, он думал, что и преношения в Российском языке можно делать такие, как в Латинском» (Радищев, II, с. 215–216)

100 Ср. в «Сонете, нарочно сочиненном дурным складом…»: «Полюби же ты меня, ах! Не много хоть».

В сочетании с междометиями, стоящими в нормальных синтаксических позициях («О изволь меня», «О богиня», «распалился я ей! ей!», «о! увы! моих злых бед!» [песенка Тресотиниуса], «О приятное приятство», «О восхить ево, восхити», «О мой слатенький дружок», «О любезный…» [песня «О приятное приятство»], «о Богиня подь» [«Сонет, нарочно сочиненный дурным складом…»]), эти междометия создают почти непрерывный восклицательный фон, соответствующий эмоциональной окраске многих стихотворений молодого Тредиаковского (ср. хотя бы неоднократно упоминавшуюся «Элегию II» из «Нового и краткого способа…»).

101 Именно эти «затычки» нередко подчеркивает Ломоносов в стихах из «Нового и краткого способа; например: «То не могут и тобой в с я к о мук избыти», «Мысли, зря смущенный ум, с а м и в с е мятутся» (ср.: Берков, 1936, с. 58); «Ложь… / Вышла в с я из ада безденна» (на полях насмешливая ремарка Ломоносова: «Я думал, что половина» — там же, с. 63); «Илидара здесь жила в с я белейша снега» (скабрезная ремарка Ломоносова: «а то черно пятно брат было» — там же, с. 62) и т. п.

102 Ср. в «Сонете, нарочно сочиненном дурным складом…»: «Вид Богиня твой всегда очень всем в е с ь нравный», «В с я к о с е наряд твой есть весь чистоприправный», «Объяви прекрасна бровь о любви в с е й прямо».

103 Ср. в «Сонете, нарочно сочиненном дурным складом…»: «Пышно ты одета хоть иль х о т я убого», а также: «Иль позволь прийти к тебе поклониться т а м о» (при этом *тамо* не имеет никакой опоры в контексте).

104 Ср., например, у Тредиаковского: «С *тем* о *т*ом не говори, смысли*т* к*т*о ч*т*о мало» (Тредиаковский, 1735а, с. 28).

105 В «Сонете, нарочно сочиненном дурным складом…» находим особенно яркие серии: «Вид Богиня твой *все*гда очень *все*м *весь* нравный», «Изо *все*х красот *вез*де он

*все*гда есть славный, / Говорю… я предо *все*ми то», «*Вся*ко *се* наряд твой есть *весь* чистоприправный».

[106] Это, между прочим, эксплицитно выражено в пространном названии цитируемого нами пародийного сонета: «Соне́т нарочно сочиненный дурным складом. Для показания, что естьли мысль и изрядна, Стихи порядочны, Ри́фмы богаты, однако при неискусном, грубом и принужденном сложении, все то Сочинителю ни како́ва плода, кроме посмешества не принесет». Говоря о «порядочных» стихах, Сумароков, очевидно, подразумевает отсутствие нарушений силлабо-тонического размера.

[107] Позднее в доношении, поданном 8 марта 1751 г. президенту Академии наук графу К. Г. Разумовскому, Тредиаковский писал: «Сочинил я критику по приказу бывшаго академическаго ассессора Григорья Теплова на некоторыя сочинения Господина Александра Петрова сына Сумарокова» («Москвитянин», 1842, № 1, с. 122–125).

По предположению А. Куника, «Письмо…» Тредиаковского первоначально предназначалось для печати.

[108] Неверно мнение П. И. Рулина, утверждающего, что «Письмо…» написано до 8 марта 1750 г. (Рулин, 1929, с. 250–251). Обосновывая это мнение, П. И. Рулин ссылается на цитированное доношение Тредиаковского, в котором сообщается, что Тредиаковский по приказу Теплова «сочинил… критику» на произведения Сумарокова (см. выше, примеч. 107). Это доношение датировано 8 марта 1751 г., однако П. И. Рулин — ошибочно полагая, видимо, что оно было написано сразу после создания «Письма…», — считает, что в издании, которым он пользовался, допущена опечатка и что вместо 1751 г. следует читать 1750 г. Ошибку П. И. Рулина повторяет И. З. Серман, который (никак, впрочем, не комментируя своей датировки) пишет, что «Письмо…» было создано в марте 1750 г. (Серман, 1965, с. 118).

[109] Любопытно, что так же, как и при рецензировании «Гамлета» (см. выше, § **I-3.2**), Тредиаковский вновь берет на себя смелость улучшить стихи Сумарокова, и это ему, безусловно, удается. Действительно, упомянутое двустишие Сумарокова таково: «Когда погибло все, когда надежды нет, / Жизнь бремя, и одна она покой дает» (в последнем стихе подразумевается смерть); Тредиаковский же предлагает заменить здесь последний стих на «Уже́ бесчесна жизнь, оставить должно свет» или на «Несносно бремя жизнь, а смерть покой от бед» (с. 485–486).

[110] Тредиаковский обличает чванство Сумарокова и в связи со своеобразным автоцитированием, происходящим в явлении XI «Тресотиниуса»: «Еще мне вспало на ум некоторое из Хорева место, которым Автор безмерно чванится, так что внес оное и в Комедиишку свою́ недостойную, а именно:

Карать противников, и налагати дани» (с. 486).

В «Тресотиниусе» этот стих из «Хорева» произносит хвастливый воин Брамарбас, сватающийся к Кларисе. Если учесть, что «Хорев» и «Тресотиниус» давались в одном представлении (см. выше, § **I-5.1**), то нужно полагать, что Сумароков рассчитывал на особенный эффект, который должно было произвести повторение этого стиха в «нах-шпиле».

[111] В упомянутой басне также противопоставляются «большой зверь» (Тредиаковский) и «маленькая собачка» (Сумароков): там они представлены как мудрый «таварыщ стар годами» и злой, чванливый «щонок» (см. выше, § **I-4**).

[112] Этот же стих обыгрывает Ломоносов в эпиграмме на Сумарокова «Женился Стил, старик без мочи…» (Ломоносов, VIII, с. 211).

[113] Достойно внимания и то, как проявилось в «Письме…» отношение Тредиаковского к Ломоносову. Наружно автор «Письма…» выражает уважение к своему старому врагу, высоко оценивает его оды (с. 443, 447, 467) и, как может показаться, защищает его от нападок Сумарокова (с. 452), словно объединяясь с просвещенным коллегой в противостоянии невежественному зоилу. Это подтверждает, в частности, реплика Ксаксоксимениуса, который в сочиненной Тредиаковским сцене (см. § **I-6.2** наст. работы) говорит Архисотолашу-Сумарокову следующее: «Зографе! от сею обою по едином коемждо аще и бохма еси поревновал суемудрием твоим: обаче не к тому отселе неистов пребуди» (с. 500). Двое, о которых говорит здесь Ксаксоксимениус и с которыми пытается соперничать суемудрый Архисотолаш, — это Тресотиниус-Тредиаковский и Бобембиус-Ломоносов (о том, что в образе Бобембиуса выведен именно Ломоносов, см. выше, примеч. 65). Однако, как справедливо отмечает И. З. Серман, «громя Сумарокова за „ломоносовское“ в его одах, Тредиаковский одновременно наносил скрытый, но чувствительный удар по Ломоносову, высмеивая основы его одического стиля» (Серман, 1965, с. 118). (Следует при этом отметить, что примеры влияния «Письма…» на дальнейшую деятельность Ломоносова, которые приводит в своей работе И. З. Серман, не выглядят достаточно убедительными.)

Трудно не заметить и содержащихся в «Письме…» намеков на то, что какие-то лица подстрекают Сумарокова; имея в виду контекст литературной борьбы этого времени, нельзя исключить возможность, что Тредиаковский может подразумевать Ломоносова, когда, например, пишет: «Весьма б он [Сумароков] был щаслив, ежели б по крайней мере мог усматривать, кто как и каким духом его хвалит. … Думаю, что есть и такие, кои ненавидя его похваляют, дабы ободряющею своею похвалою возбудить его еще к явнейшей нерассудности, и тем бы его или погубить, или по крайней мере привесть в напасть и бедство» (с. 453).

Еще интереснее в этом отношении другое место «Письма…», где Тредиаковский упрекает Сумарокова в том, что тот не брезгает услугами наушников: «При представлении ея [комедии „Тресотиниус“], в не малое пришел я удивление слыша некоторые речи в ней, о которых я так рассуждал, хотя впрочем и не по охоте, (понеже знаю, что оне говорены негде на едине) что или Автор имеет пытливый дух, или толь его пиитический жар, называемый Энтузиасмом, есть силен, что он может все то знать; в чем ему нет и нужды» (с. 438). Из текста «Тресотиниуса» следует, что Тредиаковский имеет здесь в виду, скорее всего, спор Тресотиниуса и Бобембиуса о букве «твердо» (ср. выше, § **I-5.2**). Если это так, то приходится сделать вывод, что именно Ломоносов пересказал Сумарокову содержание какого-то своего спора о буквах с Тредиаковским и поставил ему материал для соответствующей сцены.

[114] В качестве курьеза можно отметить, что Ю. В. Стенник в относительно недавней публикации драматических произведений Сумарокова принял постскриптум Тредиаковского за чистую монету и опубликовал «новую» сцену из «Тресотиниуса» в качестве сумароковского сочинения (см. изд.: Сумароков, 1990, с. 467–470). Остается удивляться наивности публикатора, позиция которого замечательным образом вписывается в пародийно-гротескный контекст пьесы Тредиаковского. По мнению Ю. В. Стенника, под именем Архисотолаша здесь выведен Г. Н. Теплов; это, безусловно, не верно.

[115] Труднее определить две другие пьесы Сумарокова, входящие в эту семерку. Ими могут быть две комедии — комедия, которая фигурирует в «Камер-фурьерском журнале» за 1750 г. под названием «Нарт» и которую П. Н. Берков отождествляет с сумароковской комедией «Нарцисс» (Берков, 1977, с. 29), и комедия «Ссора у мужа с женой» (в последующей редакции «Пустая ссора»). Комедия «Нарт» игралась 8 февраля 1750 г. (КФЖ, 1750, с. 16); комедия «Ссора у мужа с женой» была первый раз представлена в январе 1751 г., но вполне вероятно, что она была написана раньше. Уместно отметить, что эта комедия обнаруживает значительное сходство с «Тресотиниусом» и «Третейным судом». Вместе с тем, существует по крайней мере еще одна пьеса Сумарокова, написанная не позже 1750 г., — это трагедия «Артистона», которая была представлена в октябре 1750 г. (Лонгинов, 1875, с. 7), и не исключено, что именно она и имеется в виду в данном случае.

[116] Кроме того, заикание Архисотолаша ассоциируется с называнием букв в процессе усвоения азбуки («ер, еры… юс»); возможно, это намек на невежество Сумарокова, чью малограмотность Тредиаковский обличает в «Письме…».

[117] Еще раньше в отзыве на трагедию «Гамлет» Тредиаковский критиковал Сумарокова за неправильное употребление слова *поборать*: «… А слово *поборать* и в противном употреблено знаменовании: ибо, *поборать*, значит *совокупно сражаться*, то есть стоять всеми силами за кого нибудь, или за что нибудь, а не сопротивляться кому нибудь, или чему нибудь» (ААН, ф. 3, оп. 1, № 122, л. 69; Пекарский, II, с. 130; Мат. АН, IX, с. 460–461). Ср. замечания Сумарокова о слове *поборник* в «Ответе на Критику» 1750 г. и в статье «О правописании» 1771–1773 гг. (Сумароков, X, с. 101, 14).

[118] Вспомним о насмешках над должностью Тредиаковского в сумароковском «Тресотиниусе» (см. выше, § **I-5.2**); в «Письме…» Тредиаковский отвечает на эти насмешки резкой отповедью: «Господину … Автору лехко касаться до чина и до поступок: Брамарбас его прямо и без закрышек говорит об общем нашем друге [т. е. о Тредиаковском] в XI. явлении, что *каков его чин, таков его и поступок*. Но я твердо знаю, что общий наш друг в чине благоговейно, со всеми добрыми, почитает верьховнейшее благоволение производящее в чин, и непрекословно повинуется руке предводительствующей, по тому ж благоволению, чин учрежденный. Высок ли сей? не его дело. Низок ли он? помнит что, по присловию, не можно всем старцам в игумнах быть. С моей стороны́, я еще и радуюсь, что поступки общаго нашего друга сходствуют с его чином: сие значит, что он не выходит из пределов своея должности. Напротив того, не дивлюсь, что поступка нашего Автора безмерно сходствует с цветом его волосов, с движением очей, с обращением языка, и с биением се́рдца» (с. 442–443).

[119] Особая стилистическая функция заимствований оттеняется в речи Архисотолаша специфическим глоссированием: «эта кисть, или лучше пензел, да и дощечка, или чесняе палет» (с. 497), «Амбиция, а по Руски высокомерие» (с. 498). Речь Архисотолаша напоминает в этом отношении речь Тресотиниуса (см. выше, § **I-5.2**) — с той, однако, разницей, что Тресотиниус ограничивается простым пояснением употребляемых им книжных слов («приятство ваше, то есть красота ваша, мне учинило, то есть зделало»), тогда как Архисотолаш вводит в свои глоссы оценки («лучше», «чесняе»).

[120] По-видимому, не случайно в сочетании *седалища стульнова*, вложенном в уста Архисотолаша — это сочетание само по себе являет пример стилистической какофонии

(славянизм здесь сочетается с уродливым новообразованием), — форма *стульнова*, будучи производной от заимствованного корня, представлена в «площадном» написании.

[121] Рус. *амбиция* заимствовано в Петровскую эпоху (из лат. *ambitio* через франц. *ambition*, польск. *ambicja* в значении ʽчестолюбие, тщеславие, высокомерие'). См.: И. Смирнов, 1910, с. 36; Хютль-Ворт, 1963а, с. 57; Биржакова, Воинова и Кутина, 1972, с. 233, 340.

[122] Ср. протесты Тредиаковского в «Письме…» против некорректного семантического калькирования, к которому прибегает Сумароков, не считаясь с характером русского употребления, то есть с принятыми значениями соответствующих русских слов (возражения против употребления *трогать* в значении франц. *toucher* — с. 476; *предрассудок* или *предрассуждение* — в значении ʽpréjugé' — с. 490; *пронзать* — вместо *проникать* — в значении ʽpénétrer' — с. 456, 469).

[123] Реплика Кимара — так же как и отвечающая ей реплика Архисотолаша — представляет собой вставку в более позднем списке письма (ААН, разр. II, оп. 1, № 140), написанную рукой Тредиаковского.

[124] Ср., например, реплики Гаира в драме «О Сарпиде, дуксе ассириском»: «Ох, ох, ох, ох, ох, много уж я примечал, что всегда мне с похмелья печаль. … Фуй, фуй, ах, тфу, тфу, воняет…»; в одной из интермедий: «Ах, а, ах! ну, ну, ну! да, да, да, фу, фу, фу! Етак-та на господа…» (Ранняя русская драматургия, V, с. 102, 713).

[125] Отметим, что и прием глоссирования, о котором шла речь выше (см. примеч. 119), также является одним из средств низового комизма — ср. в драме «О Сарпиде, дуксе ассириском…» реплики Гаира: «А-а, га-га, гер, гер Зимфон, сиречь, ачи чюеш, разтолкуй, подь сам вон!», «Гутен моргин, прощайте — по-нашему», «Ненасье великое во афендроне, а по-вашему в жопе, а по-нашему в гузне, а по-руски в седалищи, а по-словенски на металищи» (Ранняя русская драматургия, V, с. 96, 98, 105). Таким образом, этот прием служит Тредиаковскому для стилизации речи Архисотолаша в соответствующем ключе.

[126] Уже в самом начале «Письма…» Тредиаковский указывал, что видит в «Тресотиниусе» «скоморошество из скоморошества» и что «вся сия комедиишка достойна площаднаго минутнаго света, а потóм вечныя тьмы» (с. 438).

[127] У П. И. Рулина в хронологическом обзоре комедий Сумарокова ошибочно указано, что первое представление «Чудовищ» состоялось 21 июня 1750 г. (см.: Рулин, 1923, с. 133), — явная опечатка, поскольку Рулин при этом ссылается на Лонгинова (1875, с. 7), а у Лонгинова — правильная дата (такая же, как в «Камер-фурьерском журнале», откуда он и черпает свои сведения). Этой ошибке было суждено, однако, повториться в более позднем исследовании: П. Н. Берков дает для первого представления «Синава и Трувора» ту же неправильную дату, т. е. 21 июня 1750 г. (Берков, 1977, с. 30, примеч. 21), по-видимому, основываясь на сводке Рулина и исходя из того, что «Синав и Трувор» и «Чудовищи» были показаны в одном спектакле (необходимо отметить, что книга Беркова вышла посмертно, и за эту ошибку отвечают скорее редакторы книги — Н. Д. Кочеткова и Г. П. Макогоненко, — чем ее автор). В «Журналах дежурных генерал-адъютантов» отмечено, что данное представление состоялось 20 (а не 21) июля 1750 г. (Евдокимов, 1897, с. 209). Если в первом издании «Синава и Трувора» отмечено, что трагедия «представлена в перьвый раз в 1750 году июля 21 дня» (Св. кат. XVIII в., III, № 7036, с. 194),

то в одном из позднейших изданий мы встречаем менее точное указание: «Представлена в первый раз в начале 1750 года» (Сумароков, III, с. 121; Св. кат. XVIII в., III, с. 194, № 7038).

[128] Впервые комедия «Чудовищи» была напечатана Новиковым в собрании сочинений Сумарокова в 1781 г., после чего она дважды была опубликована в 1787 г. — во втором издании новиковского собрания сочинений (Сумароков, V, с. 249–256) и в «Российском Феатре» (ч. XVI, с. 5–70). Нам были доступны два списка этой комедии, хранящиеся в ААН (разр. II, оп. 1, № 141, л. 195–220 и л. 221–254) и носящие название «Чюдовище» (В. И. Резанов указывает, что эти списки совпадают с текстом новиковского издания, см.: Резанов 1904, с. 50; в действительности же они содержат некоторые — впрочем, несущественные — разночтения), а также хранящийся в Парижской национальной библиотеке список комедии «Третейной суд» (отдел рукописей, Slave, 38, л. 101–138). Как указал еще В. И. Резанов, эта комедия отличается от комедии «Чудовищи» тем, что в ней нет трех больших фрагментов: части с. 262 и всей с. 263, с. 267 и 268, части с. 279–280 новиковского издания 1787 г. (первые два фрагмента как раз и представляют собой сцены, связанные с «Письмом…» Тредиаковского); кроме того, отличается от новиковского издания текст стихотворения Критициондиуса к Инфимене (см.: Резанов, 1907, с. 159). «Третейной суд» и «Чудовищи» отличаются также несколькими мелкими разночтениями, не учтенными В. И. Резановым. Наконец, парижская рукопись содержит хор, завершавший комедию (см.: Гринберг, 1989, с. 65–66), — этот хор в собрании сочинений Сумарокова печатается отдельно (Сумароков, VIII, с. 323–324).

Известно также, что существовал список комедии «Чудовищи» из собрания Н. Н. Виноградова (см.: Н. Виноградов 1917, с. 33–34): в настоящее время он недоступен из-за пожара, происшедшего в костромском архиве (см. выше, примеч. 43).

[129] Некоторые основания для такого утверждения все же существуют. Так, в явл. I второго действия «Третейного суда» Критициондиус сообщает, что он пел перед Инфименой «французские песенки»: это может отсылать к «Езде в остров Любви», в приложение к которой («Стихи на разные случаи») Тредиаковский включил несколько стихотворений и песен на французском языке. В явл. VII первого действия Критициондиус заявляет: «… Я об етом напишу дисертацию, что ето, *день ли уж у вас*, говорится не правильно».

Здесь можно усмотреть намек на склонность Тредиаковского к пространным, но не имеющим никакой ценности (с точки зрения Сумарокова) ученым рассуждениям (ср. затем аллюзию на «Разговор об ортографии», о которой мы говорим на с. 259 наст. изд.). Наконец, обращает на себя внимание и то обстоятельство, что педант уже в «Третейном суде» носит имя Критициондиуса, что в первой же реплике этого героя обозначена его связь с критикой (см. явл. IV первого действия; здесь Критициондиус иронически отзывается о подьячем Хабзее: «Видно что он себя ни в чем не критикует») и что в дальнейшем эта связь подчеркнута еще раз (в явл. I второго действия Критициондиус говорит: «… Ето великой подвержено критике, что девицы так свободно с кавалерами обходятся, и я об етом, каким образом содержать молодых женщин, напишу книгу, хотя она молодым людям и негораздо приятна будет»). Вполне вероятно, что и в этой детали отразилось намерение Сумарокова уязвить Тредиаковского, не раз критиковавшего его сочинения.

[130] Если считать, что комедия уже в первоначальном варианте была направлена против Тредиаковского, то, видимо, нужно признать, что этот вариант (т. е. «Третейной

суд») был написан даже раньше, чем «Тресотиниус» (в самом деле, нельзя предположить, что Сумароков после написания «Тресотиниуса» мог столь резко снизить остроту своих нападок на Тредиаковского). Так или иначе, «Тресотиниус» остается в истории русского театра первой литературной комедией, поставленной на сцене.

[131] Тема «чудовищности» отрицательных персонажей комедии была намечена Сумароковым уже в хоре, завершавшем «Третейной суд» (позже он был изъят из текста комедии — см. подробнее: Гринберг, 1989, с. 65–66). Действительно, в последнем куплете этого хора, вложенном в уста Арликина, отрицательные персонажи характеризовались следующим образом:

Твари такие видом человеки,
в протчем поверьте что они скоты.

П. Н. Берков в одном случае говорит, что комедия «Чудовищи» была переименована в «Третейный суд», в другом — утверждает прямо противоположное, а именно, что комедия «Третейный суд» была переименована в «Чудовищи» (см.: Берков, 1977, с. 29, 35); основания ни для того, ни для другого утверждения не сообщаются. Отметим, что название «Третейский суд» (sic!) сообщается в «Сокращенной повести о жизни и писаниях Сумарокова» ([«Санкт-Петербургский вестник»], ч. 1, 1778, январь, с. 45–46), напечатанной после смерти писателя (см.: Рулин, 1923, с. 131, 134): автор посмертного очерка жизни Сумарокова, вообще довольно хорошо осведомленный, вспомнил раннее название комедии.

[132] Позднее Ломоносов в эпиграмме «Злобное примирение господина Сумарокова с господином Тредиаковским» пишет, именуя Сумарокова «Аколастом», а Тредиаковского — «Сотином»:

Коль много раз театр казал на смех Сотина
И у Аколаста он слыл всегда скотина.
(Сухомлинов, II, с. 158; Ломоносов, VIII, с. 859)

Говоря о театральных представлениях, высмеивающих Тредиаковского, Ломоносов, скорее всего, подразумевает как «Тресотиниуса», так и «Чудовищи».

[133] Фактически Критициондиус соединяет в себе три амплуа: щеголя, педанта и старика — в традиционном для жанра комедии сочетании с ролью отвергнутого жениха. Арликин называет его «шестидесятилетним Философом». Любопытно, что Критициондиус дружит со щеголем Дюлижем и, по всей видимости, сам в прошлом был щеголем. Когда в явлении VI первого действия Дюлиж демонстрирует свой кошелек для волос, опрыскивает духами и глядится в зеркальце, Критициондиус сетует: «Жаль что ушли мои лета, и что в то время как я был в поре, у нас еще ничево етова не знали. Час от часу свет к совершенству приближается». Эта сцена присутствует уже в «Третейном суде». Если согласиться с тем, что «Третейной суд» в какой-то степени был направлен против Тредиаковского (см. выше, примеч. 129), то следует думать, что Сумароков, изображая Критициондиуса отставшим от века щеголем, хочет подчеркнуть, что Тредиаковский — отставший от века писатель.

[134] Как мы помним, в «Письме от приятеля к приятелю» Тредиаковский уподоблял себя Сократу (см. выше, § **I-6.1**). Возможно, что именно это и обусловило данный выпад Сумарокова.

[135] Поскольку вопрос о полемической направленности раннего варианта сумароковской комедии остается открытым, мы в данном подборе цитат использовали только вставные фрагменты, отсутствующие в «Третейном суде». Отметим, что последняя из этих цитат, не учтенная в обзоре В. И. Резанова (Резанов, 1907), также является вставкой.

[136] Попутно отметим, что «малые робята» скорее должны были знать коллоквиально-обсценное значение слова *седалище* (‘задница’), нежели книжно-славенское (‘скамья’ и т. п.).

[137] В то же время в позднейшем издании «Хорева» (1768) реплика Кия, высмеянная в «Письме…», отсутствует: как кажется, Сумароков учел критику Тредиаковского (ср.: Серман, 1965, с. 121).

[138] В журнале «Всякая всячина», издававшемся Г. В. Козицким под наблюдением Екатерины, чтение «Тилемахиды» рекомендуется как средство от бессонницы («Всякая всячина», 1769, с. 15–16 и 30–31). Ср. здесь также нападки на «Тилемахиду» на с. 59–60, 104, 110, 371.

II. Идеологический фон: проблемы литературы и языка в полемических сочинениях Тредиаковского и Сумарокова

§ 1. Введение

Прослеживая развитие конфликта Тредиаковского и Сумарокова, мы видели, сколь большую роль играла во взаимоотношениях этих писателей личная конкуренция, стремление утвердить свое первенство в русской литературе (наложившее особенно заметный отпечаток на поступки и высказывания Сумарокова). Это, однако, отнюдь не означает, что противоборство Тредиаковского и Сумарокова целиком сводилось к соперничеству за высокое место в складывавшейся литературной иерархии и что с ним не были сопряжены расхождения принципиального порядка.

Ниже мы попытаемся описать такого рода расхождения; при этом нас будут интересовать главным образом проблемы литературного языка, особенно актуальные для рассматриваемой эпохи. Новая русская литература создается, как известно, в условиях интенсивного западноевропейского влияния. Специфика усвоения западной словесной культуры в России обусловлена особой русской языковой ситуацией, которая принципиально отличается от языковых ситуаций в странах Западной Европы. Это определяет тот общий культурный фон, на котором могут выявляться конкретные разногласия между теми или иными авторами. И Тредиаковский, и Сумароков в принципе ориентируются на западноевропейские литературные образцы, но форма рецепции западных идей для каждого из писателей существенным образом связана с их представлениями о русской языковой ситуации. В этих условиях первостепенное значение имеет их оценка этой ситуации; она во многом сказывается на формировании как нового литературного языка, так и новой русской литературы.

Именно поэтому в центре нашего внимания оказались высказывания Тредиаковского и Сумарокова о русском литературном языке. При интерпретации соответствующего материала — весьма разнородного по своему характеру — мы стремились, во-первых, разделять теоретические суждения и конкретную литературно-языковую практику, которая во многих случаях — и у Тредиаковского, и у Сумарокова — существенно расходится с теорией; во-вторых, в самих теоретических декларациях Тредиаковского и Сумарокова мы старались разграничить положения, связанные с влиянием западноевропейских источников (общность

источников может предопределять близость и даже полное тождество высказываний писателей), и принципиальные установки, раскрывающие существо их языковых позиций; наконец, необходимо было учитывать соотнесенность высказываний о языке с классицистической системой жанров: в большинстве случаев эти высказывания подразумевают какой-то определенный жанр (тем самым их нельзя рассматривать как декларации общего характера), иногда же они обнаруживают тенденцию к генерализации (заслуживая в этом случае особого внимания, так как обнажают направленность соответствующей лингвостилистической программы).

Сопоставляя позиции, которые занимали Тредиаковский и Сумароков по отношению к русскому литературному языку, следует иметь в виду, что они выражены не совсем одинаково и явно отличаются по степени осознанности: если Тредиаковский излагает глубоко продуманную и целостную программу, то воззрения Сумарокова носят разрозненно-фрагментарный и не вполне четкий характер; нередко его высказывания провоцируются необходимостью ответа на полемические нападки Тредиаковского. Учитывая все это, целесообразно избрать основой для сопоставления систему взглядов Тредиаковского. В общих чертах она может быть сведена к следующему (см.: Успенский, 1985, с. 70 сл. — наст. изд., с. 80 сл.).

Если в молодости Тредиаковский ориентируется на западноевропейскую языковую ситуацию, стремясь перенести ее на русскую почву, — иначе говоря, хочет организовать русский литературный язык по подобию литературных языков Западной Европы, с опорой на разговорную речь, — то теперь, начиная с середины 1740-х гг., он, напротив, исходит из признания специфики русской языковой ситуации по сравнению с ситуацией во Франции или Германии и провозглашает необходимость дистанции между литературным и разговорным языком, как это имело место и ранее — в условиях церковнославянско-русской диглоссии, когда литературным языком был язык церковнославянский (см.: Успенский, 1987/2002; Успенский, 1983/1994). Подобно церковнославянскому («славенскому») языку, русский литературный язык («славенороссийский») понимается теперь Тредиаковским как язык книжный, письменный по преимуществу, который в принципе не может использоваться в качестве средства разговорного общения. Молодой Тредиаковский демонстративно отказывался от «глубокословныя славенщизны» и призывал ориентироваться на разговорную речь (Тредиаковский, 1730, с. 12); программа зрелого Тредиаковского выглядит принципиально иной: «гражданский» литературный язык должен отталкиваться от разговорного и ориентироваться на церковнославянский, который провозглашается его структурной основой и — для высоких жанров — мерилом чистоты. В этот период Тредиаковский не противопоставляет «славенский» и «российский» языки, но подчеркивает их внутреннее единство: уже в первой редакции своей статьи о прилагательных (1746) он пишет о «сличии и сходстве, по са́мой бо́льшей части, славенскаго с нашим языка, о котором всем весьма есть извесно, что он нашему источник и корень, и с которым наш мало нечто разнится» (Вомперский, 1968, с. 87).

По мнению Тредиаковского, «российский наш язык имеет одну … природу с славенским» («Разговор об ортографии», 1748), и это положение иллюстрируется общностью их лексики, морфологии и синтаксиса: «… Так что руский наш язык и называется славенороссийский, то есть, российский по народу, а славенский по своей природе» (Тредиаковский, 1748, с. 299).

Развивая далее мысль о том, что церковнославянский и русский представляют собой две разновидности одного языка, по-разному реализующегося в церковной и гражданской сфере, Тредиаковский утверждает в «Разговоре об ортографии»: «… Всяк и не ученый наш совершенно разумеет славенский язык в церьковных наших употребляемый книгах, чему б отнюд быть невозможно, ежели б славенский язык не́ был один и тот же с нашим. Вся разность, которая находится у нашего с славенским, касается токмо, так сказать, до поверхности языка, а не до внутренности, тем что состоит она либо в нововводных словах, восприятых от чужих языков; либо в отменных весьма немногих словах, как за славенское *аще*, у нас *ежели*; либо в простейшем выговоре от народа введенном, как вместо *глава*, *голова*, вместо *пити*, *пить*, вместо *млеко*, *молоко*. Но такая разность не мешает нимало, быть нашему языку одним и тем же с славенским…» (там же, с. 299–300)[1].

Новая концепция русского литературного языка, разрабатываемая Тредиаковским, сочетается, как и раньше, с установкой на «употребление», но теперь это понятие получает принципиально иной смысл. В начале 1730-х годов Тредиаковский был верным последователем Вожела, который противопоставлял разговорное употребление («usage») разуму («raison») и решительно отвергал возможность какой бы то ни было рациональной мотивировки «доброго употребления» («bon usage»); теперь же Тредиаковский призывает «тому [употреблению]… следовать, которое согласнее с разумом» (Вомперский, 1968, с. 88), а в «Разговоре об ортографии» 1748 г. открыто признается: «Я не таюсь: я поныне подлинно думал, что власть употреблениева над языком есть ничем не ограниченная; но теперь вижу, что и им самим разум владеет» (Тредиаковский, 1748, с. 327).

Здесь же он настаивает на необходимости «благоразумного» употребления, которое в сущности предполагает ориентацию на рациональные грамматические правила — при том, что такая ориентация органически связывается у Тредиаковского с подчеркиванием церковнославянской основы русского литературного языка.

«Благоразумному» употреблению, т. е. употреблению знатоков, хорошо изучивших «славенские» книги (грамматику), Тредиаковский противопоставляет употребление невежд, которое он называет «подлым», «простонародным», «площадным» и т. п. Ср. в «Разговоре об ортографии»: «С умом ли обшчим употреблением называть, какое имеют деревенскии мужики, хотя их и больше, нежели какое цветет у тех, которыи лучшую силу знают в языке? Ибо годится ль перенимать речи у сапожника, или у ямшчика? А однако все сии люди тем же говорят языком, что и знаюшчии; (то есть, которыи или хорошее имеют воспитание,

или при дворе обращчаются, или от знатных рождены, или в науках, и в чтении книг с успехом упражнялись) но не толь исправным способом, природным языку, коль искусныи. Первыи говорят так, как они для нужды могут; но другии, как должно, и с рассуждением» (Тредиаковский, 1748, с. 315).

В эпитеты «мужицкий», «сельский», «подлый», «простонародный» и т. п., характеризующие такое употребление, Тредиаковский вовсе не обязательно вкладывает социолингвистическое содержание: как правило, они равнозначны для него понятиям «неискусный», «неученый» и в ряде случаев могут подразумевать разговорное употребление как таковое (ср.: Успенский, 1985, с. 188–193 — наст. изд., с. 190–193; Успенский, 1984/1996, с. 366–372 — наст. изд., с. 475–479).

§ 2. «Эпистола о русском языке» Сумарокова: проблемы языка и стиля

Анализируя сумароковскую «Эпистолу о русском языке» — произведение, фактически приведшее к началу открытой войны между Тредиаковским и Сумароковым (см. § **I-3**), — мы обнаруживаем в ней, вообще говоря, те же положения, которые ранее, в 1740-х годах, выдвигали Тредиаковский и Ломоносов. В то же время эти положения представлены здесь в несколько ином сочетании и акценты над ними расставлены Сумароковым не совсем так, как в сочинениях его конкурентов.

Начальные строки «Эпистолы…» посвящены защите тезиса о высоком достоинстве русского языка, потенциально не уступающего культивированным языкам Западной Европы:

Для общих благ мы то перед скотом имеем,
Что лутче, как они, друг друга разумеем,
И помощию слов пространна языка,
Все можем изъяснить, как мысль ни глубока.
Описываем все и чувствие и страсти,
И мысли голосом делим на мелки части.
Прияв драгой сей дар от щедраго Творца,
Изображением вселяемся в сердца.
То, что постигнем мы, друг другу сообщаем,
И в письмах то своих потомкам оставляем.
Но не такия, так полезны языки,
Какими говорят Мордва и Вотяки:
Возьмем себе в пример словесных человеков:
Такой нам надобен язык, как был у Греков,
Какой у Римлян был, и следуя в том им,
Как ныне говорят Италия и Рим,
Каков в прошедший век прекрасен стал Французской.
Иль на конец сказать, каков способен Русской.

(Сумароков, I, с. 331)

Сумароков недвусмысленно указывает, что русский язык должен отличаться от таких языков, которые не имеют литературной традиции («какими говорят Мордва и Вотяки»), — ему надлежит встать в один ряд с языками «словесных человеков» (выражение «словесный человек» соотносится с латинским «homo litteratus»)[2]. Одновременно подчеркивается, что языки Западной Европы обрели совершенство благодаря развитой литературе: так, французский язык стал прекрасным именно в «прошедший век», т. е. в результате деятельности великих французских писателей. Русский язык способен пройти тот же путь и обладает необходимым для этого лексическим богатством:

Довольно наш язык в себе имеет слов;
Но нет довольнаго числа на нем писцов.
(Там же)

Заметив, что в России еще не создана достаточно развитая литературная традиция, что в ней мало писателей («писцов»), Сумароков переходит далее (стихи 21–58) к критике плохих русских писателей (эта часть эпистолы рассмотрена нами в § I-3.1), после чего формулирует стилистические нормы для прозаических жанров.

Надо сказать, что «Две эпистолы» охватывают правила «обоего красноречия» — прозы («Эпистола о русском языке») и поэзии («Эпистола о стихотворстве»)[3] и в совокупности образуют нечто вроде краткого риторико-поэтического руководства для будущих «писцов», стараниями которых, по замыслу Сумарокова, и должен совершенствоваться русский язык[4] (показателен тот факт, что в 1774 г., публикуя новую редакцию своих эпистол, Сумароков сливает их тексты воедино и дает получившемуся сочинению название: «Наставление хотящим быти писателями»).

Прозаические жанры, описываемые в первой эпистоле Сумарокова, — это бытовое письмо и публичная речь:

Письмо, что грамоткой простой народ зовет,
С отсутствующими обычну речь ведет:
Быть должно без затей и кратко сочиненно,
Как просто говорим, так просто изъясненно,
Но кто ненаучен исправно говорить,
Тому не без труда и грамотку сложить.
Слова, которыя пред обществом бывают,
Хоть их пером, хотя языком предлагают,
Гораздо должны быть пышняе сложены,
И риторски б красы в них были включены,
Которыя в простых словах хоть необычны;
Но к важности речей потребны и приличны;
Для изъяснения рассудка и страстей,
Чтоб тем входить в сердца и привлекать людей.
Нам в оном щастлива природа путь являет
И двери чтение к искуству отверзает.
(Сумароков, I, с. 333)

Ср. первоначальный вариант стихов 61–64 в рукописи «Двух эпистол»:

Оно составлено быть должно без витеек[5];
Нет хуже ни чего ненадобных затеек.
Нам можно всяко их писать как мы хотим,
Однако должно так как просто говорим.

(ААН, разр. II, оп. 1, № 132, л. 3)[6]

Наряду с названными прозаическими жанрами Сумароков рассматривает в своей эпистоле искусство перевода, посвящая ему довольно много места (стихи 75–94), сообразно с той важной ролью, которую это искусство играло в литературном процессе середины XVIII в. Излагая свои представления о том, «какой похвален перевод», Сумароков критикует современных переводчиков за буквализм и копирование синтаксиса оригинала (возможно, имея при этом в виду Тредиаковского — ср. § **I-3.1**). Еще раз воздав затем хвалу русскому языку:

Язык наш сладок, чист и пышен и богат;
Но скупо вносим мы в него хороший склад.

(Сумароков, I, с. 334)

— он переходит к практическим советам, адресуемым тому, кто хочет «правильно писать», овладеть «исправным слогом». Совершенно недостаточно, с точки зрения Сумарокова, выучиться читать по складам и далее совершенствоваться в русском языке, переписывая давно устарелые книги, как это делают подьячие (ср.: Успенский, 1984/1996, с. 363, 395–396 — наст. изд., с. 473, 497; Живов, 1990, с. 82–83):

Лиш только ты склады немного поучи,
Изволь писать Бову, Петра златы ключи.
Подьячий говорит: писание тут нежно,
Ты будеш человек, учися лиш прилежно.
И я то думаю: что будеш человек;
Однако грамоте не станеш знать во век.

(Сумароков, I, с. 334)

То, что «нежно» для подьячего, очевидно, расценивается Сумароковым как вульгарный, псевдокнижный язык; учиться, подчеркивает он, нужно не по книгам типа «Бовы», а у образцовых авторов:

Перенимай у тех, хоть много их, хоть мало,
Которых тщание искуству ревновало,
И показало им, коль мысль сия дика,
Что не имеем мы богатства языка.

(Там же)

Дополнительным источником образования, по Сумарокову, могут служить церковные книги:

Имеем сверьх того духовных много книг:
Кто винен в том, что ты Псалтыри не постиг,
И бегучи по ней, как в быстром море судно,
С конца в конец раз сто промчался безразсудно.
Коль, АЩЕ, ТОЧИЮ, обычай истребил;
Кто нудит, чтоб ты их опять в язык вводил?
А что из старины поныне неотменно,
То, может быть тобой повсюду положенно.
Не мни, что наш язык, не тот, что в книгах чтем,
Которы мы с тобой, не Русскими зовем.
Он тот же, а когда б он был иной, как мыслиш,
Лиш только оттого, что ты ево не смыслиш;
Так что ж осталось бы при Русском языке?
От правды мысль твоя гораздо в далеке.

(Там же, с. 335)

Как видим, Сумароков — точно так же, как Тредиаковский и Ломоносов в этот период, — выдвигает тезис о единстве церковнославянского и русского языка[7] и утверждает, что лексическое богатство церковнославянского может служить нуждам нового литературного языка[8] — за исключением тех слов, которые «истребил обычай», т. е. архаизмов[9]. Вместе с тем, позиция Сумарокова отличается от позиции Тредиаковского: Тредиаковский, как уже говорилось, провозглашает церковнославянскую книжность фундаментом литературного языка и единственным мерилом его чистоты для высоких жанров, Сумароков же упоминает ее лишь как важный, но не первый по порядку источник обучения начинающего писателя («Имеем *сверх того* духовных много книг»). Стержнем его концепции оказывается, таким образом, идея подражания образцовым авторам. При этом выявляется противоречивость эпистолы Сумарокова, ибо сам он вынужден здесь же констатировать, что таких авторов в России еще нет или почти нет:

Довольно наш язык в себе имеет слов;
Но нет довольного числа на нем писцов

(Там же, с. 331)

117 Сердись, что мало книг у нас, и делай пени:
Когда *книг Русских нет*, за кем идти в степени?

(Там же, с. 334)

Правда, первоначальный (рукописный) вариант «Двух эпистол» содержал достаточно положительные отзывы о Феофане Прокоповиче и Кантемире, но впоследствии Сумароков снял их (см. § **I-3.2**)[10]; тем самым его декларации о необходимости подражать хорошим писателям («хоть много их, хоть мало») приобрели общий и абстрактный характер. Чувствуя, возможно, уязвимость своей позиции, Сумароков вынужден был апеллировать к индивидуальному вкусу начинающего писателя, его способности самостоятельно сформировать свой язык, выбирая в

читаемых книгах — не обязательно безупречных — то, что может пригодиться в писательской практике:

Однако больше ты сердися на себя,
Иль на отца, что он не выучил тебя [11],
А естьли б юность ты не прожил своевольно;
Ты б мог в писании искусен быть довольно.
Трудолюбивая пчела себе берет,
Отвсюду, то, что ей потребно в сладкий мед,
И посещающа благоуханну розу,
Берет в свои соты, частицы и с навозу.

(Там же, с. 334–335)

Заслуживает внимания и еще один нюанс рассуждений Сумарокова, имеющий, как кажется, немаловажное значение в контексте его последующей полемики с Тредиаковским. В уже цитированном выше фрагменте эпистолы, посвященном характеристике простейшего прозаического жанра — бытового письма, Сумароков связывает минимальный уровень владения литературным языком с умением «исправно говорить»:

Письмо, что грамоткой простой народ зовет,
С отсутствующими обычну речь ведет:
Быть должно без затей и кратко сочиненно,
Как просто говорим, так просто изъясненно.
Но кто ненаучен *исправно говорить*,
Тому не без труда и грамотку сложить.

(Там же, с. 333)

Этот фрагмент может быть сопоставлен со следующими стихами из «Эпистолы о стихотворстве»:

Нельзя, чтоб тот себя письмом своим прославил,
Кто грамматических не знает свойств ни правил,
И правильно письма не смысля сочинить,
Захочет вдруг творцом и стихотворцем быть.

(Там же, с. 336)

Создается впечатление, что Сумароков излагает здесь ту же мысль и что умение «исправно говорить» равнозначно для него знанию «грамматических правил»; слово *исправно*, судя по всему, означает ‘правильно, без ошибок’, ср. в «Эпистоле о русском языке»:

А *правильно* писать потребно всем уметь.
Но льзя ли требовать от нас *исправна* слога?

(Там же, с. 334)

Таким образом, говоря об элементарной грамотности, необходимой для составления простейшего текста на литературном языке, Сумароков подразумевает

одновременно и устную, и письменную речь, которые, очевидно, не противопоставлены в его сознании (во всяком случае, разговорная речь в рассматриваемом фрагменте «Эпистолы о русском языке» взята явно не в том ее аспекте, который противополагается грамматическим правилам)[12].

Здесь намечается расхождение Сумарокова с Тредиаковским, который в 1740–1750-х гг. требует четкого разграничения литературного языка и разговорной речи, — в частности, в своем втором трактате о прилагательных (1755) Тредиаковский прямо заявляет: «Никто не пишет ни письма о домашнем деле, чтоб он не тщался его написать отменнее от простаго разговора» (Пекарский, 1865, с. 109). Вполне вероятно, что он полемизирует здесь именно с эпистолой Сумарокова.

§ 3. «Письмо от приятеля к приятелю»: вопросы литературного языка и проблема дифференциации жанров

Итак, суждения о русском литературном языке, содержащиеся в эпистоле Сумарокова, не отличались оригинальностью[13] и в целом не вступали в противоречие с тем, что в это время (вторая половина 1740-х гг.) говорил Тредиаковский. Закономерным образом в «Письме от приятеля к приятелю» трудно обнаружить полемику с теоретическими постулатами, изложенными в сумароковской эпистоле[14]. В то же время «Письмо…» является первым документом, обнажающим коренное различие принципов, лежавших в основе литературно-языковой деятельности Тредиаковского и Сумарокова. По ходу обстоятельного и скрупулезного критического разбора напечатанных сочинений Сумарокова (двух од и двух трагедий) Тредиаковский впервые четко обозначает основные контуры своей новой языковой программы (ср.: Успенский, 1985, с. 158–160 — наст. изд., с. 170–172) и одновременно раскрывает существо той тенденции в развитии русского литературного языка, которая просматривается в творчестве его соперника[15].

Выработанная в течение 1740-х гг. новая ориентация Тредиаковского в вопросах языка целиком определяет перспективу, в которой им воспринимается и оценивается творчество Сумарокова. Провозглашая церковнославянские книги фундаментом литературного языка, Тредиаковский осуждает своего противника за то, что в его сочинениях под давлением «подлого» употребления (т. е. разговорного узуса) искажается семантика слов, которая, по мнению Тредиаковского, должна определяться текстами церковных книг: «… Должно видеть ложныя знаменования, данныя от Автора словам, а сие происходит от того, что Автор отнюд не знает кореннаго нашего языка Славенскаго. Пишет он *коль* производя от подлаго *коли*, за *когда* и *ежели*, весьма неправо и развращенно… Пишет же Автор *отселе* за *отсюду*, не зная, для того что *отселе* значит *отныне*. Пишет он *область* за *власть* ложно ж… Пишет он и *довлеют*, за *долженствуют*… однако, слово *довлеет*, значит *довольно есть*, а не *должно есть*[16]. Но славное в Га́млете слово *поборник*, в дейст. II. в явл. 1. выговоренное Клавдием, сколько в ложном знаменовании употреблено, столько и в смешном, для того что сие показывает, что или Автор мало бывает в церькве на великих вечернях, и на всенощных

бдениях, или бывает да не тогда, когда первый глас поется: ибо инако, то б Автор мог услышать в Богородичне начинающемся *Всемирную славу*, что слово *поборник* значит не *противника*, но *защитника*, и *споспешника*. Следовательно, Автор употребил сие слово за *противника*, говоря,

Се Боже пред Тобой сей мерский человек,
Который срамотой одной наполнил век,
Поборник истинны, безстыдных дел рачитель,

крайно в ложном знаменовании. … К словам употребленным в ложном же знаменовании от Автора принадлежит и то, что в Га́млете в I. дейст. в явл. 2. говорит Гертруда сыну своему, чтобы он бежал от тех мест, на которых они находились, ибо под ними, говорит она, *твердь трясется*. Но кто Славенский наш язык знает; тот совершенно ведает, что чрез слово *твердь* разумеется у нас… небо» (Куник, 1865, с. 479–480).

Кроме погрешностей в «знаменованиях» слов Тредиаковский обнаруживает в сочинениях Сумарокова и ряд нарушений сочетаемости, которая, как он считает, также должна регулироваться церковнославянскими образцами: «… Автор положил глагол *спасаю* с родительным падежем без предлога *от*. Мы прочии все положили б сию речь так: *Ты от грознаго меча спасаешь*, а не *Ты грознаго меча спасаешь*. Но Автору угодно писать по новому. Впрочем, сколько его сие сочинение ни новое, и ни противное языку; однако он ясно о себе показал, что он мало читывал молебный канон называемый Параклис: ибо там точно, да и праведно, стои́т: *от тяшких и лютых мя спаси*. Не лучше ль по сему Автору приняться за наши прежде книги, дабы научиться пра́вильному сочинению? Раси́н научит токмо вздыхать по пустому; а Боало́-Депро́ всех язвить и лучше себя: но оба сии нашему языку не научат» (с. 449).

Как видим, церковнославянские книги здесь прямо противопоставляются сочинениям западноевропейских авторов. Ср. еще: «… *На жизнь алкать*, сочинено весьма странно: ибо глагол *алчу* есть самостоятельный, и не правит никаким падежем, то есть, говорится просто *алчу*. Пусть прочтет автор послания Святаго Апостола Павла, то и увидит во многих местах мою́ правду, а свою́ превеликую погрешность… Во всех сих местах глагол *алчу* стои́т самостоятельно, как то называют наши Грамматисты» (с. 478).

Показательны и те критические замечания Тредиаковского, которые касаются «развращенных ударений», — по его мнению, у Сумарокова «неправо ударяется *вредне́йший*, за *вре́днейший*; *освирепе́л*, за *освире́пел*; *разру́шил*, за *разруши́л*; *важне́йше*, за *ва́жнейше*; *изы́дите*, за *изыди́те*; *кро́ме*, за *кроме́*; *мечно́е* за *ме́чное*; сие ж слово *проти́в*, пишет он непостоянно *про́тив* и *проти́в*; но первое ударение есть неправое» (с. 481). Из приведенных Тредиаковским примеров можно заключить, что источником акцентной нормы для него главным образом служат церковные книги, несмотря на то что он в данном случае не ссылается на них[17].

Отдельно должен быть рассмотрен ряд критических замечаний Тредиаковского, изобличающих неумение Сумарокова правильно «выбирать слова» в вы-

соких жанрах. Так, анализируя одну из од своего противника, Тредиаковский иронически вопрошает: «Помнит ли почтенный Автор, что он Оду сочинял, то есть самый высокий род стихотворений? Но положим, что он в твердой был памяти; то для чего ж не старался он о выборе слов? Ода не терпит обыкновенных народных речей: она совсем от тех удаляется, и приемлет в себя токмо высокие и великолепные. По сему, чего б ради ему не положить *воззри*, вместо *взгляни*!» (с. 456). Далее в разборе той же оды он замечает: «… Слово *миг*, есть подлое, и следовательно не одическое. Вместо его высоким стилем говорится *мгновение ока*» (с. 459).

Относя к высшим ступеням стилистической иерархии жанров не только оду, но и трагедию (см. подробнее § **II-4**)[18], Тредиаковский осуждает также аналогичные ошибки в сумароковских трагедиях: «… Худо он умеет сло́ва выбирать: ибо пишет в Трагедиях *опять* за *паки*, *этот* за *сей*, *эта* за *сия*, *это* за *сие*» (с. 476).

Сюда же, по-видимому, примыкают и случаи «неправого» и «досадного нежному слуху» выбора флексий (опять-таки в одах и трагедиях): *твоей державы* вместо *твоея державы* (с. 456), *любезной дщери* вместо *любезныя дщери* (с. 462), *красы безвестной* вместо *красы безвестныя*, *молнья* вместо *молния*, *к престолу Божьему* вместо *к престолу Божиему* (с. 469), *паденье* вместо *падение*, *отмщенье* вместо *отмщение* и т. п., *Офелью*, *Полонья* вместо *Офелию*, *Полония* (с. 477)[19].

Во всех этих случаях полемика Тредиаковского не распространяется на общие лингвистические установки, ограничиваясь вопросом о стилистической дифференциации жанров[20]. Предвосхищая ломоносовское «Предисловие о пользе книг церьковных…», Тредиаковский устанавливает здесь связь между генетической принадлежностью и стилистической характеристикой слова; соответственно, поскольку славянизмы наделяются ореолом «высокости и великолепия», умение «выбирать слова» для таких жанров, как ода и трагедия, состоит, по Тредиаковскому, в приискании лексических и морфологических славянизмов на место возможных коррелятов-русизмов (разумеется, при том условии, что эти славянизмы не вышли из литературного употребления — т. е. не стали архаизмами — и понятны просвещенному читателю) — например, в постановке *воззри* вместо *взгляни*, *любезныя* вместо *любезной* и т. п.[21] Другие жанры, очевидно, не требуют, чтобы автор столь же усиленно «старался о выборе слов», — в них допускаются и русизмы.

Оба фундаментальных порока Сумарокова — как искажение семантики слов и нарушение законов их сочетаемости, укорененных в церковнославянских текстах, так и неумение находить «избранные слова» для высоких жанров, — объясняются в глазах Тредиаковского одним и тем же: «Толикии недостатки … проистекают из перваго и главнейшаго сего источника, именно ж, что не имел в малолетстве своем Автор довольнаго чтения наших Церьковных книг; и потому нет у него ни обилия избранных слов, ни навыка к пра́вильному составу речей между собою» (с. 495–496).

§ 3.1. Полемика о мифологических образах

Мы видим, что полемика о литературном языке в принципе оказывается связанной с проблемой дифференциации жанров: высокие жанры предполагают вы-

сокий, славянизированный стиль — тем самым славянизация языка предстает как формальный признак высоких жанров. С этой же проблемой связана и полемика о мифологических образах, которая содержится в «Письме от приятеля к приятелю». Тредиаковский критикует здесь Сумарокова не только за недостаточно высокий стиль его од, но одновременно и за использование в них мифологических образов. При этом с точки зрения Тредиаковского мифологическое «баснословие» недопустимо именно в высоких жанрах, тогда как в низких, несерьезных жанрах — в частности, в песне — оно уместно. Соответственно, он упрекает Сумарокова за то, что тот в своих одах упоминает «ложных», «поганских» богов: «… На что толь в важной Оде, коею Автор Благочестивейшую Самодержицу нашу воспеть по достоинству тщался, Баснословец Гомер… и ложныи Боги?… Стих сей, *пускай Гомер Богов умножит*, есть и ложный по мысли, и нечестивый по разуму» (Куник, 1865, с. 455); «Боже мой! сколько Автор положил в… сии строфы прямыя и баснословныя истории! Да на что все сие толикое велеречие?» (с. 460); «Кого почтенный Автор разумеет… чрез *Нимф*, ко́и с покоем ждут *Авроры*, того я не знаю: знаю, что Нимфы были баснословные Богини; а что им в сей строфе де́ла, и какую оне приносят собою, и именем сво́им толь важной оде, а не песенке, красоту, о том пускай Автор нам скажет, буде ему угодно» (с. 463); «… Не знаю, пристойно ль, чтоб поганский Божок внесен был… от сочинителя Христианина, и вручал бы свой скиптр Правовернейшему Государю. О сем пускай благоразумнейшии рассуждают: но мне в сочинениях толикия важности не́-любы ни Нимфы, ни Нептуны, ни другие подобные сумозбродные тени: ибо можно без всех сих пу́стошей обойтись… Однако, в игрушках, или в некотором баснословном совсем сочинении, я не порочу сих Нимф, Нептунов, Беллон, Юнон, и Аполлинов, ведая, что оне несколько оживляют пустую или неважную, или всеконечно по всему баснословнаго рода мате́рию» (с. 465); «… На что сии Нептуновы песнопевцы здесь? Не можно ль бы Христианину было и без них обойтись толь в важном описании? Боже преблагий! Благочестивейшему Императору, истиннейшему Христолюбцу, и правовернейшему Христианину, в вере скончавшемуся, Богомерскии Тритоны песнь поют!» (с. 467)[22].

Таким образом, Тредиаковский протестует против упоминания языческих богов в высоких жанрах, где языческая мифология неизбежно смешивается с христианскими образами. Позиция Тредиаковского ближайшим образом соответствует позиции теоретиков французского классицизма — она отвечает как позиции «древних» (в частности, Буало), которые протестуют против смешения христианских и языческих элементов, так и позиции «новых», которые выступают против мифологических образов в серьезных жанрах (ср.: Живов и Успенский, 1984/1996, с. 460–464, 509–514).

Диаметрально противоположным образом трактует этот вопрос Сумароков в своей «Эпистоле о стихотворстве» (1748). Как известно, «Эпистола о стихотворстве» была задумана как свободное подражание «Поэтическому искусству» Буало; на этом фоне оказываются особенно заметными отличия Сумарокова от Буа-

ло — если совпадения с Буало могут быть случайными, то расхождения с ним всегда имеют сознательный, принципиальный характер. Эти отличия касаются, в частности, использования мифологических образов. Так, если Буало выступает против смешения христианских и языческих элементов в героической поэме, то Сумароков говорит о необходимости использования мифологических образов в высоких жанрах, в сущности провозглашая возможность такого смешения: поскольку высокие жанры в России ассоциируются с церковнославянской литературно-языковой традицией (прежде всего с традицией панегирической литературы), введение мифологических образов неизбежно должно приводить именно к тому, против чего выступал Буало. Так, описывая героическую поэму («эпический стих»), Сумароков говорит:

Сей стих есть полн претворств, в нем добродетель смело
Преходит в божество, приемлет дух и тело.
Минерва мудрость в нем, Дияна чистота,
Любовь, то Купидон, Венера красота.
Где гром и молния, там ярость возвещает
Разгневанный Зевес, и землю устрашает.
Когда встает в морях волнение и рев,
Не ветер то шумит, Нептун являет гнев.
И Ехо есть не звук, что гласы повторяет,
То, Нимфа во слезах Нарцисса вспоминает.

(Сумароков, I, с. 340)

Рассуждая об оде, Сумароков также говорит о мифологических образах как характерной черте одического стиля:

Гремящий в оде звук, как вихорь слух пронзает,
Хребет Рифейских гор далеко превышает.
В ней молния делит на полы горизонт,
То, верьх высоких гор скрывает бурный понт.
Едип гаданьем град от Сфинкса избавляет,
И сильный Геркулес злу Гидру низлагает.
Скамандрины брега богов зовут на брань.
Великий Александр кладет на Персов дань.
Великий ПЕТР свой гром с брегов Бальтийских мещет,
Российский меч во всех концах вселенной блещет.

(Там же, с. 339)

Одновременно Сумароков, в отличие от Буало (или Тредиаковского), заявляет, что в других (невысоких) жанрах подобная образность неуместна:

Слог песен должен быть, приятен, прост и ясен,
Витийств не надобно; он сам собой прекрасен
. . . .
Не делай из Богинь красавице примера,
И в страсти не вспевай: Прости моя Венера,

Хоть всех собрать Богинь, тебя прекрасняй нет:
Скажи прощаяся: Прости теперь мой свет!
. . . .
347 Когда с возлюбленной любовник разстается,
Тогда Венера в мысль ему не попадется.
(Там же, с. 346)

Соответственно, пародируя песни Тредиаковского, Сумароков может использовать мифологические образы: такие выражения, как «богиня всей любви» в песенке Тресотиниуса, «любви божок» в песне «О приятное приятство…», «богиня красоты» в стихах Критициондиуса из заключительного явления «Чудовищ» могут с равным успехом рассматриваться и как признаки старомодного галантного стиля (см. выше, **§ I-5.3**), и как наименование мифологических персонажей (таких как Венера, Купидон и т. п.).

Таким образом, мифологическая образность выступает у Сумарокова как формальный признак высокого поэтического стиля, принятого в высоких жанрах: она несет ту же функцию, что и славянизация языка. Это разительно отличает позицию Сумарокова от позиции как Буало (которому он стремится подражать в других случаях), так и Тредиаковского.

Необходимо заметить, что смешение христианских и языческих элементов, против которого возражают теоретики классицизма, характерно для эстетики барокко. Таким образом, Сумароков пытается соединить две литературные традиции — барокко и классицизма, распределив их по жанрам: традиция барокко соотносится с высокими жанрами, традиция классицизма — с невысокими: иначе говоря, если высокие жанры мыслятся в эстетическом коде барокко, то невысокие жанры мыслятся в коде классицизма. То же делает и Ломоносов; так складывается литературная традиция.

Эта традиция создается в условиях литературной борьбы. Действительно, совершенно иную позицию по отношению к мифологическим образам мы наблюдаем у Тредиаковского, который пытается ориентироваться исключительно на эстетику классицизма. Вслед за французами (особенно «новыми») Тредиаковский, как мы видели, протестует против мифологических образов в высоких жанрах, т. е. в серьезной («важной») литературе, но допускает их в невысоких жанрах, «в игрушках». В результате, если для Сумарокова мифологическая образность ассоциируется с высоким стилем (выступая как один из признаков этого стиля), то для Тредиаковского она ассоциируется, напротив, с низким, игровым стилем, не предполагающим важность содержания.

Если на Западе высокие жанры могут в принципе связываться либо с христианской, либо с античной культурной традицией, то в России (где не было Ренессанса) они, как правило, связаны с христианской, церковной традицией. При этом для Тредиаковского (как и для теоретиков французского классицизма) высокие жанры могут ассоциироваться с христианской тематикой в плане *содержания*; между тем для Сумарокова они в принципе ассоциируются с церковной

литературной традицией в плане *выражения*, т. е. с традицией проповеди и панегирика. Но церковная литература в России в описываемый период продолжает традицию барокко. Действительно, русская духовная культура нового времени (актуальная для Сумарокова) формируется в русле влияния западного барокко; эта культура в значительной степени создается выходцами из Юго-Западной Руси, носителями барочной традиции. Поскольку для барокко характерно смешение христианских и мифологических элементов, это смешение оказывается принятым и в духовной культуре. В силу своего консерватизма духовная культура продолжает сохранять барочный облик и тогда, когда барочные принципы на Западе теряют свою актуальность. Соответственно, оригинальные тексты, которые создаются в это время на церковнославянском языке — в рамках церковной литературы, — это, как правило, барочные тексты.

Именно поэтому Сумароков ассоциирует барочную эстетику с высоким стилем: он ориентируется на русскую поэтическую традицию, поскольку торжественная ода в России генетически связана с панегириком и проповедью, сложившимися в условиях барочной культуры (см.: Соболевский, 1890; Живов, 1981, с. 65–70; Живов и Успенский, 1983, с. 47–48; Живов, 1990, с. 58–59; Успенский, 1983/1994, с. 133–134; Живов и Успенский, 1984/1996, с. 492). Ориентация на церковнославянский язык, характерная для высокого стиля, естественным образом объединяется при этом с ориентацией на церковную литературу. Между тем, Тредиаковский ориентируется на французскую литературную традицию: в этой перспективе барочные тексты предстают как нечто архаичное или же периферийное (в частности, они могут ассоциироваться с любовными песнями Петровской эпохи).

Существенно, что как барокко, так и классицизм усваиваются в России в процессе общей ориентации на западную культуру. Это определяет специфику их рецепции: на Западе барокко и классицизм предстают как результат органического развития литературы и искусства, в Россию же они приходят почти одновременно. И то и другое литературное направление могут объединяться в рамках новой русской культуры, получая при этом новую функцию. То, что на Западе предстает (в диахроническом плане) как разные стадии процесса культурной эволюции, в России прежде всего ассоциируется с западной культурой. Таким образом, то, что на Западе находится в антитетическом противопоставлении (поскольку в процессе культурной эволюции новое отталкивается от старого), в России может сочетаться, объединяясь в рамках общей культурной ориентации. В результате происходит перераспределение эстетических кодов. Так, Сумароков соединяет эстетику барокко и классицизма, которые соотносятся у него с разными жанрами. Вполне закономерно это вызывает реакцию Тредиаковского, который пытается ориентировать русскую литературу на эстетику французского классицизма[23].

§ 4. «Ответ на Критику»: проблема стилистической иерархии жанров и соотношение позиций Тредиаковского и Сумарокова

Анализируя «Письмо от приятеля к приятелю», мы смотрели на Сумарокова глазами Тредиаковского; теперь мы попытаемся сопоставить оценки, содержавшиеся в этом трактате, с полемическими высказываниями Сумарокова в «Ответе на Критику» и описать реальное соотношение лингвостилистических позиций этих двух писателей.

Как мы видели, Тредиаковский обвинял Сумарокова в «подлом», «площадном», «сельском» употреблении: «у Автора и сельское употребление есть правильное и красное», «все ж то не основано у него на Грамматике, и на сочинении наших исправных книг, но на площадном употреблении», «многие он речи составляет подлым употреблением», «настоящия деепричастия за прошедшия пишет по площадному» (Куник, 1865, с. 469–470, 476, 477; ср. также с. 459, 479, 482). Во всех этих случаях критиковался неправильный выбор слов или словоформ в одах и трагедиях. «Благоразумное» употребление, о котором писал Тредиаковский в «Разговоре об ортографии», было для него впрямую связано со «славенским» языком как основным источником лексического изобилия и фундаментом лексико-грамматической нормы: все, что выходило за рамки такого «благоразумного» употребления, могло квалифицироваться как употребление «подлое». Основой литературно-языковой концепции Тредиаковского были понятия «знания» и «искусности»; естественно, что при этом Тредиаковский подчеркивал необходимость дистанции между языком высоких литературных жанров и разговорной речи[24].

В своей антикритике Сумароков главным образом защищается именно от обвинений в неправильном выборе слов и в «подлости»:

> «*Етот*, *ета*, *ето*, за *сей*, *сия*, *сие*, имею я за вольность, что в Оде положить нельзя, а в Трагедиях, в некоторых местах полагать можно; ибо они слова не чужестранныи и не простонародныи: да я ж кладу их и очень редко.
>
> *Братиев* вместо *братий*, есть вольность же, так же *следствиев*, и протчее: а *братиев* есть и весьма вольность малая; ибо хотя *братий* и правильняе, нежели *братиев*, однако вместо *братиев* сокращенно *братьев* еще употребительняе нежели *братий*: *зело зело братьев я здесь в угодность ево положил много*[25]. А я употреблению с таким же следую рачением как и правилам: правильныя слова делают чистоту, а употребительныя слова из склада грубость выгоняют, на пример: *Я люблю сего, а ты любишь другаго*, есть правильно; но грубо. *Я люблю етова, а ты другова*. — От употребления и от изгнания трех слогов *го* и *гаго* слышится приятняе. Вот для чево я ето делаю, а не от незнания, как гневаясь на меня г. Т. говорить изволит.
>
> Кладет в порок что я пишу *опять* за *паки*; но прилично ли положить в рот девице семьнатцати лет, когда она в крайней с любовником разговаривает страсти, между нежных слов *паки*, а *опять* слово совершенно употребительное, и ежели не писать *опять* за *паки*, так и *который*, *которая*, *которое*, надобно отставить и вместо того употреблять к превеликому себе посмешеству, не употребительныя ныне слова *иже*,

яже, и *еже*, которыя хорошо слышатся в церковных наших книгах, и очень будут дурны, не только в любовных, но и в геройских разговорах.

Правилы, *правы*, *леты* и протчия многия средняго рода слова, во множественном пишу я вместо *правила*, *права*, *лета*, и протч. от употребления, а я и общее употребление за устав же почитаю. Мне кажется все равно, *права* и *правы*, *лета* и *леты*. *Тронуть серце*, вместо *привесть в жалость*, говорит весь свет; так для чево, таких мне слов не употреблять, которых знаменование все люди знают и которыя все употребляют.

Ето кажется мне хуже, что г. Т. зделал себе правилы отменныя ото всего общества, и только сам им следует: пишет разделяя пречудно роды: *которыи*, *которые*, *которыя*. *Другии*, *другие*, *другия*. *Любовныи*, *любовные*, *любовныя* и протч. …[26]

Оба не грешат, и тот кто пишет *приятство*, и тот кто пишет *пріятство*.

Вольности *Паденье*, *Желанье*, за *Падение*, *Желание* и протч. называет он подлым употреблением. А то употребляют все, лутче бы он говорил, что то не правильно, а не в подлом употреблении. Да таких вольностей в Немецком Стопосложении, на которое он ссылается, тьма…

Напоследок есть столько ж правильно, как *впоследок*, а я пишу и то и другое.

Увидя за *увидевши* и протчее подобное тому, все малыя вольности…»

(Сумароков, X, с. 97–100)

Из приведенного текста можно сделать несколько важных выводов.

Во-первых, Сумароков расходится с Тредиаковским в решении проблемы поэтических вольностей, т. е. проблемы соотношения языка поэзии и языка прозы. Если Тредиаковский в своем «Письме…» ведет критику с позиций последовательного пуризма, отрицая допустимость любых отклонений от грамматической нормы как в прозаических, так и в поэтических сочинениях[27], то Сумароков в «Ответе…» выступает решительным защитником поэтических вольностей, причем его взгляды, как и в некоторых других отношениях, обнаруживают в данном случае совпадение с взглядами молодого Тредиаковского. Действительно, в «Новом и кратком способе…» 1735 г. среди перечисляемых Тредиаковским «вольностей» мы находим именно те, которые он осуждает в 1750 г., критикуя Сумарокова[28].

Во-вторых, Сумароков и Тредиаковский по-разному адаптируют теорию «двойного» употребления. Тредиаковский связывает «хорошее» («благоразумное») употребление с лексико-грамматическими нормами, укорененными в церковнославянском языке; все, что не укладывается в эти нормы, подлежит, с точки зрения Тредиаковского, изгнанию из литературного языка или оттеснению на его дальнюю периферию и клеймится как «подлое» употребление (ясно, что при таком подходе «подлое» употребление не обязательно включает социальные коннотации и может совпадать с ненормализованным употреблением в самом общем его понимании, т. е. с разговорным узусом). Сумароков, как кажется, ведет отсчет не от «хорошего», а от «дурного» употребления, относя к нему — в соответствии с европейской лингвистической традицией — архаизмы (*аще*, *точию* — «Эпистола о русском языке»; *иже*, *яже*, *еже* — «Ответ на Критику»),

канцеляризмы, заимствования и вульгаризмы; именно последние и трактуются им как «подлое» употребление (строго в социолингвистическом плане). Все, что не несет выраженного отпечатка «дурного» употребления, оценивается как «хорошее» («общее») употребление. Этот подход не предполагает ни намеренного отталкивания от разговорной речи, ни специальной ориентации на нормализованный язык: оставаясь в рамках «общего употребления», поэт может, вообще говоря, отклоняться от правил (ср.: «А то употребляют все, лутче бы он говорил, что то не правильно, а не в подлом употреблении»)[29] — возможность такого поведения предоставляют ему стихотворческие вольности[30]. Следует отметить, что в «Ответе на Критику» Сумароков, поставленный перед необходимостью защищаться от нападок Тредиаковского, порой ссылается именно на разговорное употребление, хотя в понятии «общего употребления», о котором он часто говорит и в «Ответе на Критику», и в других своих работах, могут, вообще говоря, сливаться устная и письменная традиции. Важно, однако, то, что при любом возможном понимании этого термина Сумароков, в отличие от Тредиаковского, не воздвигает перед элементами разговорной речи преграду, мешающую им проникать в литературный язык.

В-третьих, Сумароков и Тредиаковский не совсем одинаково соотносят классицистическую иерархию литературных жанров с наметившейся стилистической градацией лексического состава русского литературного языка. «*Етот*, *ета*, *ето* за *сей*, *сия*, *сие*, имею я за вольность, что в Оде положить нельзя, а в Трагедиях, в некоторых местах полагать можно», — пишет Сумароков, отвечая на критику Тредиаковского. Спор идет о словоупотреблении в трагедии: именно с этим жанром, как мы постараемся показать, связаны наиболее существенные разногласия Тредиаковского и Сумарокова. Хотя для Сумарокова, как и для Тредиаковского, славянизмы несомненно обладают стилистической «высотой» (это хорошо видно из приведенной нами цитаты), вопрос об обязательности употребления славянизмов в трагедии решается ими по-разному; объяснение этому следует, видимо, усматривать в разном подходе этих писателей к общим проблемам литературы и литературного языка.

Та смена культурно-языковой ориентации Тредиаковского, о которой говорилось выше (см. § **II-1**), закономерно перемещает в центр его внимания высокие литературные жанры и их язык. Из поэтических жанров сюда бесспорно относятся ода и эпическая поэма. Что касается трагедии, то Тредиаковский, с одной стороны, не считает для ее языка обязательной столь же высокую степень славянизации, какая необходима для оды, — в уже цитировавшейся рецензии на трагедию Сумарокова «Гамлет» он отмечает, что в некоторых местах этой трагедии автор пишет «весьма по славенски сверьх Театра»; с другой стороны, он всячески подчеркивает «высокость» этого жанра, которую понимает прежде всего как удаленность от «площадной» стихии, — в той же рецензии на трагедию «Гамлет» Тредиаковский указывает, что Сумароков пишет «инде очень по площадному ниже Трагедии» (см. § **I-3.1**), а в «Письме…», критикуя Сумарокова, неоднократно напоминает о единстве оды и трагедии. Ср.: «… Сие [одинаковые

рифмы в соседних строфах] от всех осуждается в стихотворце, и еще больше, ежели род стихотворения есть высокий, каков долженствует быть в Одах, и в Трагедиях» (Куник, 1865, с. 469); «Как Ода, так и Трагедия не терпит площаднаго употребления» (с. 482)[31].

Весьма показательно и то, каким образом Тредиаковский подает в своем прозаическом переводе «Послания к Пизонам», опубликованном в 1752 г. (в составе сборника «Сочинения и переводы…»), рассуждение Горация о театральных жанрах. Гораций оговаривает для драматурга возможность смены стилистических регистров: «Однако, иногда возносит голос и Комедия, так что и в ней гневающийся Хреме́т пышным ссорится словом: напротив того, часто и Трагическое Лице скорьбь свою́ изъявляет пешеходными речами. Телеф и Пелей, оба из Царей пришедшии в бедность, и бывшии в изгнании, на театре отвергают надутыя и полтарафутныя слова́, желая привесть в сожаление смотрителево сердце» (Тредиаковский, 1752, I, с. 59–61). Тредиаковский, стремящийся ограничить использование в трагедии «пешеходных речей», снабжает эту фразу специальным примечанием, которое максимально сужает лазейку, оставленную для них Горацием: «Мнится, что Трагедии меньше случаев, к простым и народным словам, нежели Комедия может говорить высоко. Не токмо в гневе, но и во всякой наглой страсти употребляет она высоту. … Что ж до Трагедии; то она, кажется, долженствует быть проста́ в скорби токмо, как то Гораций наставляет, и по нем Депре́» (там же, с. 60–61)[32].

Противопоставляя в своем «Ответе…» трагедию оде, Сумароков преследует вполне очевидную цель: он хочет вывести важнейший классицистический жанр из сферы «высокости» и максимально сблизить его с жанрами среднего яруса, которые занимают в его творчестве центральное место. Самая возможность такого «перетягивания» трагедии в сторону высоких или в сторону средних жанров создавалась, видимо, двойственностью ее стилистического статуса. Из сочинений русских авторов эту двойственность наиболее четко отразило «Предисловие о пользе книг церьковных…» Ломоносова, рекомендовавшего писать «средним штилем»[33] все театральные произведения, «в которых требуется обыкновенное человеческое слово к живому представлению действия», но в то же время допускавшего, что «может и первого рода [т. е. высокий] штиль иметь в них место, где потребно изобразить геройство и высокие мысли; в нежностях должно от того удаляться» (Ломоносов, VII, с. 589). Видно, что трагедия как бы разделяется на два тематических поля, одно из которых связано с «геройством», а другое — с «нежностями» (т. е. с любовной темой), причем специально оговаривается недопустимость использования в частях, посвященных «нежностям», высокого стиля[34].

Влияние тех же теоретических построений ощущается и в цитированном выше фрагменте «Ответа на Критику»: Сумароков обосновывает свое право употреблять в трагедии *опять*, а не *паки*, тем, что невозможно «положить в рот девице семьнатцати лет, когда она в крайней с любовником разговаривает страсти, между н е ж н ы х слов *паки*», и, проводя параллель между *паки* и *иже*, *яже*, *еже*,

пишет, что эти слова «хорошо слышатся в церковных наших книгах и очень будут дурны, не только в любовных, но и в геройских разговорах».

Сопоставление *паки* и *иже* является чисто полемическим приемом: *иже* относится к числу «обветшалых» славянизмов — таких как *аще*, *точию* и т. п.; *паки* же во времена Сумарокова употреблялось широко и свободно в самых разных текстах, употреблял это слово и сам Сумароков, причем не только в одах, но и в трагедиях (см.: В. Левин, 1964, с. 86, 88). Не совсем ясно, сознательно или бессознательно идет на этот подлог Сумароков, но в любом случае важно то, что он поворачивает обсуждаемую проблему несколько иной стороной, чем Тредиаковский: вместо того чтобы отстаивать право на употребление слова *опять*, доказывает неупотребимость — в данном контексте — слова *паки*. Это лишний раз оттеняет разницу в установках Тредиаковского и Сумарокова (специальное отталкивание от разговорной стихии у первого писателя и отсутствие такого отталкивания у второго).

Весьма существенно, что слово *нежный*, употребленное здесь Сумароковым, не только обозначает любовную тему, но может иметь также лингвостилистические коннотации и в этом качестве служить термином полемики о языке (см. подробнее: Успенский, 1975, с. 66–68; Успенский, 1985, с. 80–88 — наст. изд., с. 85–90; Успенский, 1984/1996, с. 385 — наст. изд., с. 489; Лотман и Успенский, 1975/1996, с. 477–484). В самом деле, противопоставление «нежное (приятное) — жесткое (грубое)» вплоть до начала XIX в. неоднократно используется русскими теоретиками для постановки и разработки лингвистических проблем, наполняясь в разных ситуациях различным содержанием. Представляется, однако, что за разнообразными манифестациями кроется одно и то же противопоставление, которое в самом общем виде может быть описано как «искусное – неискусное» или «культивированное – некультивированное».

Очень часто эта оппозиция осмысляется как «благозвучное – неблагозвучное», при этом — в определенных ситуациях — церковнославянские формы могут оцениваться как неблагозвучные (громкие, грубые, жесткие, суровые) и противопоставляться разговорным (нежным, приятным, сладким) формам. Именно о неблагозвучии «славенского» языка говорил когда-то (в 1730 г.) Тредиаковский в предисловии к «Езде в остров Любви», и теперь, в 1750 г., на это же качество формы *сей* (в сравнении с разговорным *этот*) указывает Сумароков: «… Правильные слова делают чистоту, а употребительные слова из склада грубость выгоняют, например: *Я люблю сего, а ты любишь другаго* — есть правильно, но грубо. *Я люблю этова, а ты другова* — от употребления и от изгнания трех слогов *го* и *гаго* слышится приятняе»[35]. Как и в случае с *паки*, Сумароков здесь совершает подлог, правда, несколько иного свойства — он, во-первых, переключает обсуждаемую проблему из плана стилистики в план благозвучия и, во-вторых, искусственно создает какофоническую конструкцию с тремя слогами *го* и *гаго*. Вместе с тем, утверждение Сумарокова, что обсуждаемая им фраза «слышится приятняе» как от изгнания близких по звучанию слогов, так и «от употребления», заставляет предполагать — коль скоро фраза эта принадлежит к сфе-

ре «нежностей», — что он оправдывает избрание слова *этот* вместо *сей* не только соображениями эвфонии, но и принципом соответствия лексических средств тематическому полю (так же, как в случае с *паки*).

Итак, любовная тема («нежности») в представлении Сумарокова служит мотивировкой и обоснованием возможности использования некнижных лексических (и, видимо, морфологических) средств[36]. Если принять во внимание, что с этой темой в той или иной степени связана большая часть стихотворных жанров классицистического репертуара — сюда относятся жанры среднего яруса (эклога и идиллия[37], элегия), а также те жанры, которые так или иначе вовлекаются Сумароковым в этот ярус (трагедия, с одной стороны, и песня, с другой; см. выше, § **I-5.3**), — если, кроме того, учесть, что именно эти жанры доминируют в творчестве Сумарокова, то, как нам представляется, становятся понятными соотношение и взаимосвязь факторов, определивших различие позиций Тредиаковского и Сумарокова в истории русского литературного языка.

На этом фоне особенно значимой выглядит остроумная манипуляция, осуществленная Сумароковым в «Эпистоле о стихотворстве». Характеризуя жанр песни, Сумароков «пересказывает» здесь в качестве своеобразного жанрового эталона собственную песню «Прости мой свет» (см. § **I-5.3**), посвященную теме расставания влюбленных. Требуя, чтобы слог песен был «приятен, прост и ясен», он ссылается на тезис классического учения Горация – Буало: фраза «Кудряво в горести никто не говорил» отсылает к мысли Горация о неуместности возвышенной речи при выражении скорби. Нетрудно видеть, что Сумароков прибегает к двойной подтасовке: во-первых, он говорит о песне, тогда как у Горация и Буало речь шла о трагедии (это служит «усреднению» стилистического статуса обоих этих жанров, о котором только что сказано); во-вторых, он существенно изменяет мысль законодателей классицизма, которые допускали использование обычной, неукрашенной речи в эпизодах бедствий, не имевших отношения к любовной теме (Гораций говорит о Телефе и Пелее, томимых нищетою и изгнанием, Буало — о несчастной Гекубе во время сожжения Трои), — эта санкция переносится Сумароковым на эпизоды «нежностей» («Кудряво в горести никто не говорил: / Когда с возлюбленной любовник разстается, / Тогда Венера в мысль ему не попадется»)[38]. И хотя в данном случае Сумароков лишь в самом общем виде противопоставляет псевдориторизированный («кудрявый») слог слогу «простому и ясному», очевидно, что этот теоретический кунштюк подводит солидную основу под идею прямой связи «нежного» языка и «нежной страсти» — идею, которую он использует в «Ответе на Критику», возражая своему оппоненту.

§ 5. Заключение

Анализируя взгляды Тредиаковского и Сумарокова на русский литературный язык, мы убедились, что фактически они содержат немало общего. Оба автора исходят из представления о субстанциональном единстве церковнославянского

и русского языков, оба они говорят о значении церковных книг для развития литературного языка; закономерным образом их объединяет представление о необходимости синтеза в рамках нового литературного языка разных языковых стихий. Различия в их позициях определяются по преимуществу пониманием того, каким путем должен осуществляться такой синтез.

Тредиаковский исходит прежде всего из значимости церковнославянской традиции, тогда как для Сумарокова эта традиция предстает лишь как один из возможных источников создаваемого литературного языка. Если для Тредиаковского в принципе характерно отталкивание от разговорного употребления, то у Сумарокова, исходящего из представления о равноправности тех источников, на которых должен базироваться литературный язык («Эпистола о русском языке»), мы ничего подобного не наблюдаем. Понятно, что в перспективе Тредиаковского Сумароков может восприниматься как сторонник ориентации на разговорное употребление, хотя для столь решительного вывода, строго говоря, нет оснований.

Ориентация Тредиаковского на церковнославянскую языковую стихию естественным образом определяет и другие особенности его концепции, отличающие ее от взглядов Сумарокова. Так, Тредиаковский является сторонником жесткой нормированности литературного языка, прямо связывая соответствующие нормы с церковнославянскими текстами; Сумароков же считает возможной вариативность форм и не стремится к их унификации («Ответ на Критику»). Соответственно, в ходе полемики в центре внимания Тредиаковского оказываются высокие жанры и их язык; между тем Сумароков по преимуществу сосредоточивает свое внимание на средних жанрах; при этом обнаруживаются весьма показательные расхождения в их представлениях о стилистическом статусе такого важного для эстетики классицизма жанра, как трагедия.

Естественно, что в контексте полемики принципиальную важность приобретало не сходство, а различие — мы могли в этом убедиться, анализируя такие сочинения, как «Письмо от приятеля к приятелю» Тредиаковского и «Ответ на Критику» Сумарокова. Можно сказать, что в полемическом противостоянии осуществляется поляризация позиций. Эта поляризация характеризует не только восприятие самих участников полемики — она в известной мере может определять и последующую оценку их деятельности.

Особенно показательно в этом отношении «Письмо о преобразителях Российского языка» Ф. Г. Карина, написанное по случаю кончины Сумарокова (Карин, 1778). Карин, который заявляет о себе как о последователе Сумарокова, видит в нем творца нового литературного языка, полностью порвавшего с церковнославянской традицией; язык Сумарокова, с точки зрения Карина, основывается на живом, разговорном употреблении, и именно в этом состоит главная заслуга Сумарокова как реформатора языка: «Естьли языки находящиися в одних книгах почитаются мертвыми: то и славянский наш язык, вышедший из общаго употребления, стал уже мертв. А по сему не чудно ли в наше время стараться им писать; и не чудняе ли еще того почитать окончания и склонения нашей речи, по

свойству его отменно умилительными? Ужасная разность между нашим языком и славянским… часто пресекает у нас способы изъясняться на нем с тою вольностию, которая одна оживляет красноречие, и которая приобретается не иным чем, как ежедневным разговором… Пра́вила каждаго языка производятся из его сво́йства, а перемены его из употребления разговорнаго; и по тому книжныя речения пребывают в непременном своем положении, а разговорныя выходят за границы его свойств, и делают такия в нем перемены, что на конец становится он не сходен сам с собою. Естьли же быть столько легкомысленну, чтобы полагать в том красоту нынешняго нашего языка, дабы только подделываться к славянскому: то будем мы изъясняться не своею, а чужею речью; и в таком слабом ему подражании покажем себя рабов неключимых; и едва ль не навлечем на себя такого ж нарекания, какому подвержены латинисты нынешняго времени. … Чувствуя коль старый наш язык противен трагедии, странен комедии, суров для елегии, высок для еклоги, нескладен для оперы, тяжел для притчей, и коль сатиры кантемировы оказывают его для себя неприятность, [Сумароков] преодолел все сии препятствия, проник до самого источника красоты стихотворства и простой речи, и тем преобразил его, и дал ему новую силу. Сей великий писатель превосходен еще тем, что в нем ничего не видно такого, что бы не свойственно было московскому наречию. И так имея пред глазами во всех родах письма́ толь прекрасныя примеры в живом нашем языке, какая нам нужда запутываться ныне в умершем славянском» (Карин, 1778, с. 5–7).

Замечательным образом Карин ставит в заслугу Сумарокову именно то, за что его критиковал Тредиаковский. Так, начиная с Тредиаковского, создается определенная традиция восприятия языковой деятельности Сумарокова. Эта традиция оказывается очень устойчивой. Независимо от реальных интенций самого Сумарокова она определяет дальнейшую ориентацию его последователей.

ПРИМЕЧАНИЯ

[1] Позиция Тредиаковского во многих отношениях близка к позиции Ломоносова, также подчеркивающего значение церковнославянской языковой традиции (см. подробнее: Успенский, 1985, с. 174, 176 — наст. изд., с. 180, 195–198; Успенский, 1983/1994, с. 140 сл.; Успенский, 1984/1996, с. 345, 381 — наст. изд., с. 460, 486).

[2] Выражение *словесный человек* может рассматриваться вообще как точная калька с лат. *homo litteratus*, если иметь в виду, что церковнослав. *слово* может иметь значение ‘буква’ (лат. *littera*), см.: Ягич, 1896, с. 499, 529.

[3] Ср. название напечатанной в том же 1748 г. риторики Ломоносова: «Краткое руководство к красноречию. Книга первая, в которой содержится риторика, показующая правила обоего красноречия, то есть оратории и поэзии».

[4] Композиционное единство сумароковских эпистол подчеркнуто финальными стихами «Эпистолы о стихотворстве», возвращающими читателя к начальной части первой эпистолы (тезису о высоких потенциальных качествах русского языка):

408 Слагай, к чему тебя влечет твоя природа;
Лишь просвещение писатель дай уму:
Прекрасный наш язык способен ко всему.

[5] *Витейка* — «виток, жгутик, … витой и украшенный гайтан; опояска на шляпу» (Даль, I, с. 510). В цитируемом тексте явно соотносится с «витийством, витиеватостью» и означает риторическое украшение.

[6] Намеченное здесь стилистическое противопоставление неукрашенного «письма» и более «пышных» речей, «которые пред обществом бывают», соотносится с тенденцией, выраженной в наиболее раннем варианте риторики Ломоносова («Краткое руководство к риторике, на пользу любителей сладкоречия сочиненное» 1743 г.; о датировке этого не напечатанного при жизни автора сочинения см.: Ломоносов, VII, с. 790), — здесь, описывая расположение «слов публичных» и «приватных речей и писем» (к первым относятся «проповедь, панегирик, надгробная и академическая речь», вторые суть «поздравление, сожаление, прошение и благодарение…, словесно или письменно предлагаемое»), Ломоносов делает специальное замечание о стиле проповеди и панегирика, говоря, что он должен быть «важен, великолепен, силен». В риторике 1748 г. Ломоносов не рассматривает данного вопроса (он, видимо, предполагал сделать это в следующей книге риторики, которую хотел посвятить оратории, — там же, с. 800); в «Предисловии о пользе книг церьковных в Российском языке» 1758 г. противопоставление стиля «прозаичных речей о важных материях» стилю «дружеских писем» выражено со всей очевидностью: первые отнесены к «высокому штилю», вторые — к «низкому» (там же, с. 589).

[7] То, что в цитированном выше отрывке Сумароков называет церковнославянские книги «не Русскими», не должно вводить в заблуждение: он явно имеет здесь в виду восприятие еще не обученного человека и, как бы снизойдя на мгновение к уровню этого гипотетического собеседника («Не мни, что наш язык, не тот, что в книгах чтем, / Которы мы с тобой не Русскими зовем»), тут же опровергает его мнение: «От правды мысль твоя гораздо в далеке».

Не исключено, что этим гипотетическим собеседником является не кто иной, как Тредиаковский — ведь именно он в предисловии к «Езде в остров Любви», противо-

поставляя «славенский» и русский языки, подчеркивает, что «язык славенскои… есть язык церковнои», из чего должно следовать, что церковные книги написаны не русским языком (Тредиаковский, 1730, предисл., с. [3–4]). Таким образом, здесь, по-видимому, имеет место полемика с молодым Тредиаковским; то, что Тредиаковский в середине 1740-х гг. изменил свои взгляды, Сумароковым не принимается во внимание.

[8] Представляют интерес следующие вычеркнутые Сумароковым в рукописи не вполне отделанные стихи (после стиха 130, в котором речь идет о необходимости изучать Псалтырь):

На нашем языке, хоть нечто темно в ней [Псалтыри],
Но знать согласие и красота речей,
Как писана она в творении преславно,
Есть нечто, что совсем преведено изправно,
Из Греческих нам книг в приятии их веры.
Довольны ли тебе к ученью те примеры? *
Ты скажеш: что там чту, я не пойму таво,
И что там писано, не знаю ничево
Я книжну языку и сроду не учился **.
На что ево учить, коль Русским ты родился

[и далее стих 131: Коль, АЩЕ, ТОЧИЮ… и т. д.]

* Вариант:

Из Греческих нам книг, для чтения в церквах;
Но то арабския слова в твоих ушах [зачеркнуто: глазах].

** Вариант:

Ты скажеш: языку я книжну не учился.
(ААН, разр. II, оп. 1, № 132, л. 5, 5 об., 6)

Ср. высказывания Тредиаковского в «Разговоре об ортографии» 1748 г., полностью совпадающие с тем, что говорит в этих стихах Сумароков: «… Всяк и не ученый наш совершенно разумеет славенский язык в церьковных наших употребляемый книгах… Мы все разумеем наш славенский и не учась» (Тредиаковский, 1748, с. 300).

[9] Против включения архаических славянизмов в литературный язык протестуют в это время также Ломоносов и Тредиаковский. Еще в раннем варианте своей риторики (1743) Ломоносов рекомендует проповеднику «убегать старых и неупотребительных славенских речений, которых народ не разумеет» (Ломоносов, VII, с. 70), а в «Предисловии о пользе книг церьковных…» 1758 г. исключает из состава русского литературного языка слова «неупотребительные и весьма обетшалые» (там же, с. 588). Точно так же Тредиаковский говорит о «славенских обыкновенных и всех [читай: всем] ведомых словах», подразумевая, что вне очерченного таким образом слоя церковнославянской лексики лежит известное количество архаизмов, выпадающих из состава литературного языка (Пекарский, 1865, с. 109).

[10] Одновременно с изъятием из текста эпистол этих фрагментов Сумароков устранил примечания к именам Кантемира и Феофана (см. выше, § **I-3.2**), как и к именам упоминаемых здесь же Демосфена, Златоуста, Цицерона, Мосгейма и Бурдалу. Примечание к имени Кантемира опубликовано В. И. Резановым (1904, с. 39) и затем П. Н. Берковым в

его издании произведений Сумарокова (см.: Сумароков, 1957, с. 127), но с одной неточностью: вместо «Разум ево [Кантемира] и в стихотворстве гораздо виден…» следует читать «Разум ево из стихотворств гораздо виден…» (см.: ААН, разр. II, оп. 1, № 132, л. 22); примечание к имени Феофана В. И. Резанов и П. Н. Берков не опубликовали. Приводим это примечание здесь: «ФЕОФАН, Архиепископ новà града. Ритор из числа самых лучших Риторов во всей Европе». Последняя фраза носит следы авторской правки. Первоначально она выглядела таким образом: «Преславный Ритор из числа знатнейших Риторов во всей Европе».

Далее следовал текст, вычеркнутый Сумароковым еще до того, как им было произведено полное и окончательное изъятие рассматриваемых фрагментов: «Некоторыя ево слова, а особливо из тех которыя теперь мне пришли на память: слово о полтавской победе, слово на рождение Петра Петровича, на смерть Государя императора Петра великаго, на смерть Государыни императрицы Екатерины Алексеевны, так хороши, что едва может ли человеческий разум показать изскусства в красноречии» (ААН, разр. II, оп. 1, № 132, л. 20).

Как видим, в выброшенных отрывках эпистол и в соответствующих примечаниях литературная деятельность Кантемира и Феофана оценивается высоко, но не без оговорок (особенно в отношении Кантемира, хотя и о Феофане говорится, что он «часто погрешал» в чистоте слога). Интересно, что и Ломоносов, готовя в том же 1748 г. к печати свою риторику, вычеркнул из нее фразу, содержавшую похвальный отзыв о Феофане (см.: Ломоносов, VIII, с. 174, 821).

[11] Примечательно, что в 1759 г. — в статье «К несмысленным рифмотворцам» — Сумароков возвращается к тем же идеям: «Русским языком и чистотою склада, ни Стихов, ни Прозы, не должен я ни кому кроме себя: да должен я за первыя основания в Русском языке отцу моему, а он тем должен Зейкену, который выписан был от Государя Императора Петра Великаго в учители, к господам Нарышкиным, и который после был учителем Государя Императора Петра Втораго» (Сумароков, IX, с. 278).

[12] Напомним, что в начальной части своей эпистолы Сумароков, говоря о языке, имеет в виду и разговорную («Мысли голосом делим на мелки части»), и письменную речь («То, что постигнем мы, друг другу сообщаем / И в письмах то своих потомкам оставляем»): будущее совершенствование русского литературного языка должно, по его мнению, охватывать обе эти сферы (в самом деле, русский язык должен стать таким, «как ныне говорят Италия и Рим», благодаря увеличению «числа на нем писцов»).

[13] Тредиаковский говорит в «Письме от приятеля к приятелю»: «В Эпистоле об языке Руском почитай все… чужие мысли» (Куник, 1865, с. 441).

[14] Как мы помним, причиной, побудившей Тредиаковского приняться за сочинение «Письма…», были прежде всего грубые нападки личного характера, которым он подвергся в «Двух эпистолах» и особенно в «Тресотиниусе». Об этом прямо говорят первые же строки «Письма…», в которых Тредиаковский пишет: «… Извесный Господин Пиит, по́сле употребленных в эпистолах своих… обидах и язвительствах, не токмо не рассудил за благо от тех уняться, но еще оныя и отчасу больше и несноснейше ныне размножил… Сочинил он небольшую комедию…» (Куник, 1865, с. 437).

Это же немногим позже подтвердил и Сумароков, заявивший в своем «Ответе на Критику», что Тредиаковский ненавидит его «за некоторыя в одной моей Епистоле стихи и за Комедию, которыя он берет на свой щот» (Сумароков, X, с. 102).

[15] Напомним, что признаки расхождений Тредиаковского и Сумарокова по вопросам языка и стиля можно усмотреть и в более ранних документах. По-видимому, именно этими расхождениями было обусловлено уже упоминавшееся нами требование академической канцелярии к Тредиаковскому: не касаться «штиля» сумароковской трагедии «Гамлет», отданной ему на рецензирование в октябре 1748 г. Это требование, как мы помним, осталось тщетным: Тредиаковский в своей рецензии не только осудил «неровность стиля» в «Гамлете» (попутно задев и первую трагедию Сумарокова — «Хорев»), но и испещрил рукопись критическими карандашными пометами (см. выше, § **I-3.2**). Своим содержанием эти пометы (стертые Сумароковым, но легко восстанавливаемые по рукописи) тождественны критическим замечаниям Тредиаковского в «Письме от приятеля к приятелю».

[16] Любопытно, что молодой Тредиаковский в «Езде в остров Любви» сам употребляет глагол *довлеть* в таком же значении: «надлежит мне доволну быти только НАДЕЖДОЮ, а в ПРЕТЕНЦИЮ пускаться недовлеет» (Тредиаковский, 1730, с. 23). Здесь же (с. 97) этот глагол употребляется и в своем исконном значении — отсюда можно заключить, что Тредиаковскому и в 1730 г. было известно, как употребляется этот глагол в церковных книгах, но он считал возможным игнорировать это употребление, что вполне отвечало общим языковым установкам, выраженным в предисловии к «Езде…».

[17] Об этом свидетельствует более поздний документ («Ответ на письмо о сафической и горацианской строфах», 1755 г.), в котором Тредиаковский, полемизирующий с тем же Сумароковым по вопросу о постановке ударения в слове *сии* (Тредиаковский считает, что оно должно ставиться на первом слоге), прямо апеллирует к авторитету церковных книг, а именно, Псалтыри (Пс., XIX, 8). См.: Пекарский, II, с. 256.

[18] Весьма показательным выглядит то обстоятельство, что Тредиаковский, первоначально намеревавшийся рассмотреть в своем трактате как оды и трагедии Сумарокова, так и его эпистолы, в дальнейшем оставил эпистолы (жанр, относящийся к среднему ярусу стилистической иерархии) практически без внимания. Ср. ниже, примеч. 20, о стиле эпистол самого Тредиаковского.

[19] Если в 1730 г. Тредиаковский говорит в предисловии к «Езде в остров Любви» о том, что «язык славенскои ныне жесток моим ушам слышится» (Тредиаковский, 1730, предисл., с. [4]), а его единомышленник Адодуров в грамматическом очерке 1731 г. квалифицирует формы типа *питье* как более «изящные» или «нежные» (zierlicher), чем *питие* (Адодуров, 1731, с. 27), то теперь, как видим, высказывания Тредиаковского носят прямо противоположный характер. Спустя несколько лет в своей эпиграмме, направленной против того же Сумарокова, Тредиаковский заявит, что церковнославянские книги наполнены «нежностями» (см. ниже, примеч. 20).

[20] В уже не раз упоминавшейся нами эпиграмме 1754 г., направленной против Сумарокова, Тредиаковский излагает те же идеи, что в «Письме…»:

Пусть вникнет он [Сумароков] в язык славенский наш степенный:
Престанет злобно врать и глупством быть надменный;
Увидит, что там *злой* кончится нежно *злый*
И что *чермной мигун — мигатель* там *чермный*,
Увидит, что там *коль* не за *когда*, но только
Кладется, как и долг, в количестве за *сколько*.
Не *голос* чтется там, но сладостнейший *глас*;
Читают *око* все, хоть говорят все ж *глаз*;

Не *лоб* там, но *чело*, не *щеки*, но *ланиты*,
Не *губы* и не *рот* — *уста* там багряниты;
Не *нынь* там и не *вал*, но *ныне* и *волна*.
Священна книга вся сих нежностей полна.
Но где ему то знать? он только что зевает,
Святых он книг отнюдь, как видно, не читает.

(Поэты XVIII века, II, с. 392–393; Успенский, 1984/1996, с. 377 — наст. изд., с. 483)

Хотя полемическое задание явно выдвинуто в эпиграмме Тредиаковского на первый план и по этой причине она может восприниматься как решительный призыв к славянизации литературного языка в целом — независимо от жанра, — следует полагать, что, критикуя Сумарокова, Тредиаковский по-прежнему имеет в виду его неумение «выбирать слова» в высоких жанрах, и только в них. Для того чтобы убедиться в этом, достаточно сравнить «Письмо…» и эпиграмму Тредиаковского с его философской поэмой «Феоптия», созданной в это же время (1750–1754 гг.). Жанр «Феоптии» (ученое послание) позволяет автору свободно использовать как славянизмы, так и коррелирующие с ними русизмы, заклейменные им в качестве «площадных и низких вольностей» в одах и трагедиях Сумарокова. Так, в одной из эпистол, составляющих эту поэму, можно обнаружить в непосредственном или близком соседстве такие коррелятивные пары, как *голос* — *глас*, *голова* — *глава*, *глаз* — *око*, *щеки* — *ланиты*, *рот* — *уста*, *плечи* — *рамена*, *живот* — *утроба*, *шея* — *выя* и др. (см.: Тредиаковский, 1963, с. 267–275); встречается здесь, наряду с *сі́и* (с. 199), осуждаемая Тредиаковским форма *сии́* (с. 288), — ср. выше, примеч. 17. В переводе комедии Теренция «Евнух», также выполненном Тредиаковским в начале 1750-х гг., употреблены такие слова, как *миг*, *опять* (в одной строке с *паки*), такие формы, как *перемирье*, и даже *сюды*, *маладенец*, *маненьку*, *тае* и т. п. (Тредиаковский, 1963, с. 164–174; между тем в «Письме от приятеля к приятелю» подобные формы подвергаются резкому осуждению, см.: Куник, 1865, с. 476–479). Все это наглядно показывает, что обсуждая языковые позиции Тредиаковского, мы не должны строить общие выводы на основе отдельных высказываний, изъятых из историко-литературного контекста.

[21] Ср. в эпиграмме 1754 г.:

Кто ближе подойдет к сему [славенскому языку] в словах избранных,
Тот и любее всем писец есть, и не в странных.

(Поэты XVIII века, II, с. 393; Успенский, 1984/1996, с. 377 — наст. изд., с. 483)

[22] Здесь же Тредиаковский противопоставляет на этом основании сумароковские оды оде Ломоносова 1746 г.: «О! Коль благоразумно в Оде на восприятие престола, Всепресветлейшей нашей Самодержице удивляется лик небесный зря идущую ея в нощном мраке: ибо Пиит оный [Ломоносов] знал что писал, и имел рассуждение: того ради и поет не вредя Христианства… Нет тут языческих Бошков, нет тут ни Нептунов, ни Тритонов…» (Куник, 1865, с. 467).

[23] Вместе с тем, и Тредиаковский может не вполне следовать французским литературно-эстетическим программам, но в какой-то мере их обобщать: некоторые различия, актуальные для французской литературной полемики, для России оказываются неактуальными. Так, в частности, ориентируя русскую литературу на эстетику французского классицизма, Тредиаковский не примыкает, строго говоря, ни к позиции «древних», ни к позиции «новых» (см.: Живов и Успенский, 1984/1996, с. 514–515).

[24] Предельно заостренно эти идеи выражены в эпиграмме 1754 г., где Тредиаковский пишет о Сумарокове:

Святых он книг отнюдь, как видно, не читает.
За образец ему в письме пирожный ряд,
На площади берет прегнусный свой наряд,
Не зная, что у нас писать в свет есть иное,
А просто говорить по-дружески — другое;
. . . .
У немцев то не так, ни у французов тож;
Им нравен тот язык, кой с общим самым схож.
Но нашей чистоте вся мера есть славенский,
Не щегольков, нижé и грубый деревенский.

(Поэты XVIII века, II, с. 393; Успенский, 1984/1996, с. 377 — наст. изд., с. 483)

[25] Полемический выпад против «Разговора об ортографии» Тредиаковского (см. выше, § **I-3.1**). Как мы знаем, слово *зело* выступает у Сумарокова (начиная с «Эпистолы о русском языке») как своего рода сигнал, позволяющий опознать Тредиаковского. Сконструированная Сумароковым фраза («Зело зело братьев я здесь в угодность ево [т. е. Тредиаковского] положил много») преследует двойную цель: с одной стороны, она дразнит Тредиаковского, с другой же стороны, Сумароков «в угодность» Тредиаковскому — как бы подчиняясь его требованиям — соединяет книжную форму *зело* с разговорной формой *братьев*, что приводит как к грамматической неправильности (*зело* выступает вместо *много*), так и к стилистической какофонии.

[26] Речь идет о правилах правописания прилагательных в именительном падеже множественного числа, на которых настаивал Тредиаковский и о которых он писал, в частности, в «Разговоре об ортографии» (Тредиаковский, 1748, с. 95–97, 292–312, 331–340). Вопрос о правописании прилагательных выступал в XVIII в. как признак языковой ориентации, прежде всего в рамках оппозиции церковнославянского и русского (см.: Успенский, 1984/1996, с. 378–381 — наст. изд., с. 484–486).

[27] Эта позиция сближает Тредиаковского с Малербом, не менее решительно боровшимся с поэтическими вольностями и требовавшим от поэтов столь же строгого подчинения общим риторико-грамматическим правилам, как и от прозаиков (см.: Лаусберг, 1950, с. 181 и сл.).

[28] Так, в «Новом и кратком способе…» Тредиаковский пишет, что имена существительные, оканчивающиеся на *їе*, «могут *ї* переменить в Стихе, смотря по нужде меры, на *ь*», а в «Письме…» квалифицирует подобные формы как «подлое употребление» и «площадную вольность»; допустимыми вольностями он считает в 1735 г. и такие формы, как прилагательные женского рода на *-ой*/*-ей* (вместо *-ыя*/*-ия*) в род. падеже ед. числа, прилагательные и существительные женского рода на *-ой*/*-ей* (вместо *-ою*/*-ею*) в твор. падеже ед. числа, тогда как в «Письме…» использование этих форм так или иначе осуждается. Примерно так же обстоит дело с вопросом о допустимости отклонений от акцентной нормы, о возможности замены родительного падежа на винительный в отрицательных конструкциях. Ср.: Тредиаковский, 1735а, с. 17–19, 86–87, и Куник, 1865, с. 456, 462, 469, 470 и др.

В этой связи нисколько не удивительно, что при переработке в 1752 г. своего «Способа…» Тредиаковский исключает из раздела о поэтических вольностях все конкретные примеры, ограничиваясь лишь общими фразами (см.: Тредиаковский, 1752, I, с. 141–142).

[29] Примечательно, что Тредиаковский в полемических целях может то подчеркивать противопоставленность «общего» употребления «подлому» («С умом ли обшчим употреблением называть, какое имеют деревенские мужики?» — «Разговор об ортографии», 1748 г.), то, напротив, отождествлять их («У немцев то не так, ни у французов тож; / Им нравен тот язык, кой с общим самым схож. / Но нашей чистоте вся мера есть славенский, / Не щегольков, ниже́ и грубый деревенский» — эпиграмма на Сумарокова 1754 г.). Эпитеты «щегольков» и «грубый деревенский» во второй цитате по существу утрачивают свое буквальное значение, как бы сливаясь с «самым общим» (т. е. разговорным узусом). Между тем Сумароков, пользуясь той же терминологией (он отстаивает свое право употреблять слова *этот*, *эта*, *это* на том основании, что они «не чужестранные и не простонародные»), вкладывает в нее существенно иной (буквальный) смысл.

[30] В другой своей работе того же времени — «Критике на Оду» 1747–1748 гг. — Сумароков прямо обосновывает право использования стихотворческих вольностей ссылкой на употребление. Комментируя ломоносовский стих «Великое светило миру», он пишет: «Я не говорю что мир здесь в дательном а не винительном поставлен падеже, и приемлю то за стихотворческую вольность, которую дает нам употребление, и сам оную вольность употребляю» (Сумароков, X, с. 78).

[31] Интересно, что разность в представлениях о стилистической иерархии жанров накладывает определенный отпечаток и на критический трактат Тредиаковского, и на антикритику Сумарокова. Если Тредиаковский в «Письме…» оставляет без внимания э п и с т о л ы своего противника (см. выше, примеч. 18), то Сумароков в «Ответе…» никак не реагирует на упреки, вызванные словоупотреблением в его о д а х, сосредоточивая свое внимание на трагедиях: для Тредиаковского важны прежде всего высокие жанры, для Сумарокова — средние.

[32] Упоминая здесь Буало-Депрео, Тредиаковский явно имеет в виду следующие стихи из третьей песни его «Поэтического искусства», посвященные трагедии:

Chaque passion parle un différent langage
La colère est superbe, et veut des mots altiers;
L’abattement s’explique en des termes moins fiers.
Que devant Troie en flamme Hécube désolée
Ne vienne pas pousser une plainte ampoulée
. . . .
Il faut dans la douleur que vous vous abaissiez:
Pour me tirer des pleurs, il faut que vous pleuriez.
Ces grands mots dont alors l’acteur emplit sa bouche
Ne partent point d’un coeur que sa misère touche.

Ср. это место в переводе самого Тредиаковского:

Страсть каждая сво́им язы́ком говорит.
Спесив есть гнев, речей желает величавных;
Болезнь не любит слов столь гордых, сколько плавных.
Чтоб пред Трое́й в огне, Гекуба в рысь и в скачь
Не бегала гласа смешно́ надутый плач,
. . . .

Вы в горести б своей себя уничижили,
Чтоб плакать мне, то б тут вы сами сле́зы лили.
В аршин слова́, игрок гласит что свысока́,
Из сердца не́йдут так, чтоб скорьбь была горька́.
(Тредиаковский, 1752, I, с. 29)

[33] Напомним, как определял средний стиль Ломоносов: «Средний штиль состоять должен из речений, больше в российском языке употребительных, куда можно принять некоторые речения славенские, в высоком штиле употребительные, однако с великой осторожностию, чтобы слог не казался надутым. Равным образом употребить в нем можно низкие слова, однако остерегаться, чтобы не опуститься в подлость. И, словом, в сем штиле должно наблюдать всевозможную равность, которая особливо тем теряется, когда речение славенское положено будет подле российского простонародного» (Ломоносов, VII, с. 589). Таким образом, Ломоносов, так же как Тредиаковский и Сумароков, разделял представления о том, что стиль трагедии должен иметь известные границы «сверху». Об этом говорит и его замечание в наброске статьи «О нынешнем состоянии словесных наук в России», относящееся к начальной сцене сумароковской трагедии «Синав и Трувор»: «Не у места славенчизна. Дщерь» (там же, с. 581; см. также: Гуковский, 1962, с. 74).

Характерно, что Сумароков, правя свои трагедии в 1760-х годах, в целом ряде случаев исключает из них слово *дщерь*.

[34] Эта двойственность имеет истоком французскую литературную традицию, где героическая трагедия предполагала ориентацию на Корнеля, а любовная трагедия — на Расина. Стилистические искания русских авторов отражают это противопоставление (ср.: Клейн, 2002, с. 31).

[35] Надо сказать, что Сумароков придавал критерию благозвучия гораздо большее значение, чем Тредиаковский (об отношении Ломоносова к этому критерию, также чрезвычайно внимательном, см.: Успенский, 1984/1996, с. 348–350 и особенно 383–384 — наст. изд., с. 462–464, 487–488). Не только в «Ответе на Критику», но и в других своих статьях Сумароков то и дело апеллирует к этому критерию (см., например, такие его работы, как «Критика на Оду», «К типографским наборщикам», «К несмысленным рифмотворцам», «О стопосложении», «О правописании»). Показательно, что в 1760-х гг., редактируя заново свои ранние сочинения (трагедию «Хорев», некоторые оды, эклоги, элегии), Сумароков уделяет чрезвычайно большое внимание улучшению качества стиха и приданию ему большего благозвучия (он выравнивает опорные согласные в рифмах, устраняет стечения согласных, зияния и т. п.). Достойно внимания и то, что Тредиаковский, полемизируя с Сумароковым по вопросу о сафической и горацианской строфе (1755), находит нужным подчеркнуть относительность этого критерия (в данном случае, правда, речь идет о стихотворных размерах): «… Что ва́шему толь нежному слуху неприятно; то Римскому было очень сладосно. Нежность слуха весьма различна» (Пекарский, II, с. 254).

[36] Нельзя не заметить, что в этом отношении взгляды Сумарокова обнаруживают сходство с теми идеями, которые высказывал молодой Тредиаковский в предисловии к «Езде в остров Любви»: свое решение перевести роман Талемана «почти самым простым Руским словом, то есть каковым мы меж собои говорим», Тредиаковский объяснял, среди прочего, тем, что «сия книга есть *сладкия любви*» (Тредиаковский, 1730, предисл.,

с. [4]). Сходным образом в «Рассуждении о оде во обще» (1734) Тредиаковский противопоставляет «мирскую песню» оде именно потому, что «материя песни часто и почти всегда, есть ЛЮБОВЬ», и, в прямом соответствии с этим, язык песен близок к разговорному: «речь… бывает в них иногда сладкая, а всегда льстящая, часто суетная, и шуточная, не редко мужицкая и ребячья» (Тредиаковский, 1734, л. С/4 об.).

[37] Ср. суждения И. Клейна в исследовании, посвященном буколической поэзии русского классицизма: «… Сумароков отстаивает литературные права элементов русской разговорной речи. Естественной сферой реализации сумароковской программы была пастушеская поэзия. В сознании современников она связывается с представлением о „приятном“ и „нежном“. … В рамках пастушеского жанра разговорный язык оказывался не средством выражения порочного, смешного, или тривиального, как в низких жанрах, но средством выражения поэтического и изящного, демонстрируя тем самым возможности благородного употребления разговорного языка. … Своей пастушеской поэзией Сумароков продолжает дело, начатое молодым Тредиаковским в его „Езде в остров Любви“. Пастушеская поэзия русского классицизма является той жанровой сферой, внутри которой „нежный“ разговорный язык приобретает литературное достоинство» (Клейн, 1988, с. 181, 184).

[38] Интересно, что Тредиаковский, критикуя в своем «Письме от приятеля к приятелю» концовку сумароковской трагедии «Хорев», как бы возвращает теоретический постулат Горация – Буало в исходный контекст.

Перед тем как покончить с собой, Хорев, только что узнавший о гибели своей возлюбленной Оснельды, говорит, обращаясь к ее отцу Завлоху:

А ты нещастный Князь, возми с собой то тело,
Которо в животе вспалить меня умело,
И током слез смочив лишенное душѝ,
Предай ево земле. Над гробом напиши:
«Девица, коей прах в сем месте почивает,
Хоре́ва потеряв к себе не ожидает,
Котораго она любила в жизни сей, —
Хоре́в ея лишась последовал за ней».
(Сумароков, 1747, с. 76)

Комментируя этот монолог Хорева, Тредиаковский язвительно замечает: «… Сей же наш любовник хотя был и в превеликом неистовстве, как то он себя при окончании показывал, только ж по делу видно, что он неистовился нарочно, даром что вправду убился: ибо неистовство не лишило его так совсем разума, чтоб он не мог себя показать добрым *Стихотворцом*, зделав, в са́мой непонятной скорости, четыре преизрядныи стиха в надгробную надпись Оснельде. … Извольте рассудить сами по справедливости, вероятно ль, чтоб человеку находящемуся в са́мом остром болезновании, в са́мом крайнем безпамятствии, и при са́мой кончине, иметь можно было столько смысла чтоб сочинить Эпитафий, и еще стихами? … *Крайняя горесть и печаль не умеет говорить витиевато*; сему и Автор наш не спорит в Эпистоле о Стихотворстве. Чего ж ради он дал умирающему Хореву толь кудрявые речи в сочинении Эпитафия? Можно заключить, что не Хорев был в беспамятствии, но сам Господин Автор» (Куник, 1865, 488).

ТРЕДИАКОВСКИЙ И ЯНСЕНИСТЫ

(совместно с А. Б. Шишкиным)

§ 1. Пролог: загадки биографии Тредиаковского

В биографии Тредиаковского, особенно раннего периода, много неясного и загадочного. Как известно, в 1710-х — начале 1720-х гг. он учился у итальянских ученых монахов-капуцинов — по всей видимости, у Патриция из Милана (Patritius da Milano, 1662–1753), бывшего в Астрахани в 1710–1713 гг. и в 1716–1718 гг., Бонавентуры из Читта ди Кастелло (Bonaventura Celestini da Citta di Castello) и Джанбаттисты из Норчии (Giovan Battista Primavera da Norcia), бывших в Астрахани в 1716–1718 гг., и определенно у Антония Марии д'Амелиа Луальди (Antonius Maria ab Amelia Lualdi, †1741), бывшего в Астрахани в 1718–1723 гг. (Захария, 1942, с. 534 сл.; Захария, 1955, с. 57–59; Флоровский, 1962, с. 332–334; Читаделла, 1944, с. 218–219; А. Шишкин, 1984, с. 129; о Патриции и д'Амелиа см.: Словарь капуцинов, 1951, с. 88, 1294, 1508)[1]. Есть основания полагать, что обучение Тредиаковского у капуцинов началось в 1712 г. и продолжалось около десяти лет; не исключено, впрочем, что это обучение началось несколько позже, а именно, в 1715 г.[2] До нас дошла грамматика церковнославянского языка, собственноручно переписанная Тредиаковским в 1721 г. в период учебы в капуцинском училище (ГИМ ОР, Чертк. 337; ср.: Черниловская и Шульгина, 1986, с. 85; Марков, 1980; Марков, 1983; Успенский, 1985, с. 112, примеч. 74 — наст. изд., с. 150, примеч. 81; Успенский, 2001 — наст. изд., с. 531–532)[3]; оригинальной частью этой рукописи является предисловие, подписанное «ученикъ латíнски^{x} шко́лъ: Basilius Trediacovensis» и датированное 30 сентября 1721 г., а также силлабическое четверостишие, которые и представляют собой, по-видимому, наиболее ранние из дошедших до нас произведений Тредиаковского[4].

В начале 1722 г. Тредиаковский просит астраханского вице-губернатора выдать ему паспорт для проезда в Киев «для учения латинскому языку» (челобитная Тредиаковского в губернскую канцелярию от 13 февраля 1722 г. — Самаренко, 1962, с. 360). Тредиаковский получил паспорт, однако в Киев не поехал и, по-видимому, продолжал учиться в капуцинской школе.

В начале 1723 г. Тредиаковский, как он сам писал позднее, «по охоте… к учению, оставил природный город, дом, и родителей, и убежал в Москву» (автобиографическая «ведомость» Тредиаковского 1754 г. — Пекарский, 1865а, с. 30)[5]. Весной того же года Тредиаковский был принят в московскую Славяно-греко-латинскую академию — прямо в майскую треть (т. е. весенний триместр) синтаксимы («ведомость» Академии — ОДДС, X, стлб. 1342), в 1724 г. он числится в сентябрьской трети риторики (см. там же). Как указывает Тредиаковский, в

Академии он окончил курс риторики: «по окончании Реторики» он покидает Академию (автобиографическая «ведомость» 1754 г. — Пекарский, 1865а, с. 30). Это произошло в 1725 г.[6]: по справке Академии, составленной ректором архимандритом Гедеоном Вишневским и выданной 5 апреля 1728 г. в ответ на запрос Синода, «бывшей в латинских школах… ученик Василий Третьяковский, во оныя школы в ученики определен был в прошлом 723 году из поповых детей, и был в риторической науке, и в прошлом 725 году из оной Академии бежал» (Чистович, 1859, стлб. 158; ОДДС, VIII, стлб. 206).

Учителем риторики в Славяно-греко-латинской академии в 1724–1726 гг. был иеромонах Софроний Мигалевич, впоследствии (в 1731–1732 гг.) ректор Академии; до этого, в 1723 г., он преподавал пиитику (ОДДС, V, стлб. 135; ОДДС, VI, стлб. 355; ОДДС, VIII, стлб. 516–517; ОДДС, X, стлб. 1331; С. Смирнов, 1855, с. 197; Харлампович, 1914, с. 655, 658). Именно у него и должен был заниматься Тредиаковский. Учителем синтаксимы в 1723 г. был иеромонах Георгий Данилов, который в 1724 г. покинул Академию и о котором почти ничего не известно (ОДДС, X, стлб. 1331; ср.: ОДДС, IV, стлб. 254–255, 343; ОДДС, VII, с. CLII).

«В начале 1726 года» Тредиаковский, по его словам, «получил… окказию выехать в Голландию» (письмо Тредиаковского в Синод из Парижа от 1/12 декабря 1727 г. — Чистович, 1859, стлб. 157); почти в тех же выражениях он пишет об этом и позднее: «По окончании Реторики, нашел я способ уехать в Голландию» (автобиографическая «ведомость» 1754 г. — Пекарский, 1865а, с. 30). Сам Тредиаковский объяснял свой отъезд желанием продолжить образование в Европе: «Проходя мои науки в Москве в Спасском Заиконном монастыре…, превеликое я… имел желание, чтобы оныя окончить в Европских краях, а особливо в Париже: для того, как всему свету известно, что в оном наиславнейшия находятся» (письмо в Синод от 1/12 декабря 1727 г. — Чистович, 1859, стлб. 157; ср. еще доношения в канцелярию Академии наук от 2 мая, 17 мая и 18 августа 1743 г. и в Сенат от 28 февраля 1744 г. — Мат. АН, V, с. 680, 837; «Москвитянин», 1853, № 15, с. 31; «Москвитянин», 1851, № 11, с. 228). Тредиаковский знал о предстоявшем ему путешествии за границу, еще учась в Славяно-греко-латинской академии: об этом свидетельствует «Песенка, которую я сочинил еще будучи в Московских школах на мои выезд в чужия краи», опубликованная впоследствии в приложении к «Езде в остров Любви» (Тредиаковский, III, с. 769–770)[7]. Можно полагать, что он выехал через Петербург (об этом говорится в посмертно опубликованной биографии Тредиаковского, правда, не всегда достоверной, — Тредиаковский, 1775, л. 1)[8]. Итак, по всей вероятности, Тредиаковский отбыл из Москвы в Петербург в конце 1725 г., с тем чтобы выехать оттуда в Голландию в начале 1726 г.

Заметим, что в упомянутой «Песенке… на мои выезд в чужия краи», которую Тредиаковский «сочинил, еще будучи в Московских школах», описывается путешествие морем, и при этом речь идет о весне. В действительности же путешествие состоялось зимой, когда морем было выехать невозможно: Тредиаковский, очевидно, прибыл в Голландию сухим путем. Итак, Тредиаковский перво-

начально предполагал уехать весной, однако ему представилась возможность (он «получил… окказию выехать в Голландию») сделать это раньше.

В Голландии Тредиаковский пребывал до осени 1727 г., «при полномочном министре, Его Сиятел[ьстве] Графе Иване Гавриловиче Головкине обретаяся» (письмо Тредиаковского в Синод от 1/12 декабря 1727 г. — Чистович, 1859, стлб. 157–158); это означает, что Тредиаковский жил в Гааге. Именно в Голландии Тредиаковский овладел французским языком (письмо в Синод от 1/12 декабря 1727 г. — Чистович, 1859, стлб. 157; автобиографическая «ведомость» 1754 г. — Пекарский, 1865а, с. 30)[9]. В ноябре 1727 г. Тредиаковский отправился в Париж (письмо И. Г. Головкина к А. Б. Куракину от 7 ноября 1727 г. — ГИМ ОПИ, ф. 3, оп. с., № 94, л. 21–21 об.; это письмо мы цитируем ниже, в § **3**), где по крайней мере первое время жил в доме кн. А. Б. Куракина (1697–1749), главы русской дипломатической миссии во Франции (письмо Тредиаковского в Синод от 1/12 декабря 1727 г. — Чистович, 1859, стлб. 158); в Париже он жил на деньги Куракина, см. посвящение А. Б. Куракину, открывающее «Езду в остров Любви» (Тредиаковский, III, с. 643), а также письмо И. Калушкина А. Г. Головкину, которое мы цитируем в § **3** наст. работы. Как позднее указывал Тредиаковский, он прибыл в Париж «с крайним претерпением бедности, и куда дошел… пеш из самаго Антверпена» (доношение в Сенат 1744 г. — «Москвитянин», 1851, № 11, с. 228; ср. также доношения в канцелярию Академии наук от 2 мая, 17 мая и 18 августа 1743 г. — «Москвитянин», 1853, № 15, с. 31; Мат. АН, V, с. 680, 837; автобиографическую «ведомость» 1754 г. — Пекарский, 1865а, с. 30).

В Париже Тредиаковский жил с конца 1727 г. (см. письмо Тредиаковского в Синод от 1/12 декабря 1727 г. — Чистович, 1859, стлб. 157–158)[10] и, видимо, до осени 1729 г.; о пребывании Тредиаковского в Париже еще в июле 1729 г. писал И. Калушкин кн. А. Б. Куракину 14/25 июля 1729 г. (ГИМ ОПИ, ф. 3, оп. с., № 40, л. 226; это письмо мы цитируем в §§ **3** и **4** наст. работы). Здесь Тредиаковский, по его свидетельству, «в Университете… обучался Математическим и философским Наукам, а Богословским тамже в Сорбоне» (автобиографическая «ведомость» 1754 г. — Пекарский, 1865а, с. 30)[11]; соответственно, в письме в Синод от 1/12 декабря 1727 г., написанном вскоре после прибытия в Париж, он просит определить ему «годовое жалованье», с тем, в частности, чтобы «науки… богословския и философския привесть к окончению» (Чистович, 1859, стлб. 158). Основное место среди этих занятий занимала, по-видимому, философия[12].

С начала ноября 1729 г. по середину августа 1730 г. Тредиаковский находился в Гамбурге: о времени его пребывания свидетельствует счет комиссионера Куракина Александра Брюгие (Alexandre Brugier)[13], подписанный в Гамбурге 18 августа 1730 г.: «payé en plusieurs fois au S^{r}. Trediakoffski pour son entretien… depuis le 5: 9^{bre} jusqu'au 9: août 1730: dont il m'a donné quittance» (ГИМ ОПИ, ф. 3, оп. с., № 74, л. 384)[14]. В Гамбурге Тредиаковский оказывается в связи с предполагавшимся назначением А. Б. Куракина на дипломатическую миссию в Пруссию: Куракин, который в июле 1728 г. уехал из Франции в Россию (Н. Бантыш-Каменский, IV, с. 97), в июле 1729 г. был назначен посланником в Берлин (де Ли-

риа, 1869, с. 176) и распорядился поэтому часть своего багажа перевезти в Гамбург[15]. Назначение это было, однако, отменено: 31 августа 1729 г. вместо Куракина определено было ехать в Берлин кн. С. Д. Голицыну (Н. Бантыш-Каменский, IV, с. 50; де Лириа, 1869, с. 180)[16], и таким образом Куракин остался в России[17]. Тредиаковский прибыл в Гамбург в первых числах ноября 1729 г., возможно, вместе с куракинским багажом; во всяком случае, ему было поручено позаботиться об имуществе Куракина, прибывшем в Гамбург на пути в Берлин (в том числе и об охотничьей собаке Куракина), и переправить его из Гамбурга в Петербург (см. об этом в письме Тредиаковского к С. Д. Голицыну из Гамбурга в Берлин от 3/13 (sic! вероятно, имеется в виду 3/14) июля 1730 г. — ГИМ ОПИ, ф. 3, оп. с., № 40, с. 287–287 об.); сопровождая это имущество, Тредиаковский и отбывает в Россию. Он отплывает из Гамбурга в середине августа 1730 г. на корабле «Die Liebe» (см. об этом в письмах Брюгие к Куракину из Гамбурга в Москву от 8 и 18 августа 1730 г., а также его приписку к счету, подписанному в Гамбурге 18 августа 1730 г., — ГИМ ОПИ, ф. 3, оп. с., № 40, л. 261–261 об., 263 об., 264 об.; № 74, л. 384 об.)[18].

В сентябре 1730 г. Тредиаковский возвращается в Россию (время приезда указано в его трактате «О древнем, среднем и новом стихотворении Российском» 1755 г. — Тредиаковский, I, с. 783). Здесь он очень скоро — в том же году — оказывается причислен к Академии наук. С 1730 по 1733 г. Тредиаковский числится студентом при Академии наук (иначе говоря, он является студентом Академического университета); так, в прошении на высочайшее имя от января 1759 г. он писал: «Служу я… при Академии наук… с 1730 года студентом, а с 1733… секретарем» (Пекарский, 1866, с. 185). То же показывал сын Тредиаковского, Лев, при прохождении смотра в петербургской Герольдмейстерской конторе 23 марта 1758 г.: согласно его показанию, «отец ево Василеи Кирилов сын Тредьяковъскои сначала в службы определен в 730^{м} году и был студентом при Академи наук, в 733 году определен при той же Академи секретарем…» (справка из Герольдмейстерской конторы — ЦГАДА, ф. 286, № 472, л. 538)[19]. О том, что Тредиаковский «служил» при Академии наук уже с 1730 г., он сообщает и в других документах, см., например, доношение в Академию наук от 14 ноября 1737 г. (Пекарский, II, с. 70; Мат. АН, III, с. 518; то же повторено в справке Академии от 30 ноября 1737 г. — там же, с. 529) или доношение президенту Академии наук графу К. Г. Разумовскому от 8 марта 1751 г. (Тредиаковский, I, с. 802; «Москвитянин», 1842, № 1, с. 122)[20]. В России перед Тредиаковским открываются широкие возможности, и он быстро приобретает высокие знакомства при дворе (см. ниже, § **6**).

Это все, что нам достоверно известно. Обозначенные факты ставят перед нами целый ряд вопросов. Не вполне понятна, в частности, причина «бегства» Тредиаковского из Астрахани. Неясно, почему он сперва намеревался учиться в Киеве и каким образом оказался в Москве. Некоторые исследователи полагают, что для поездки в Москву Тредиаковский воспользовался паспортом, выписанным для путешествия в Киев (Самаренко, 1962, с. 360); этому, кажется, противо-

речит признание Тредиаковского, что он «убежал» из Астрахани (см. выше). Существует также предположение, что отъезд Тредиаковского из Астрахани связан с отъездом оттуда кн. Д. Кантемира и его секретаря И. Ю. Ильинского, бывшего также учителем его детей (Л. Майков, 1897, с. 6)[21]; к этой гипотезе мы еще вернемся (см. ниже, § **3**).

Далее. Как мог Тредиаковский оказаться за границей? Не только переходить границы Российской империи, но и выезжать из города в город и передвигаться внутри страны без соответствующего паспорта было рискованно (ср.: Самаренко, 1962, с. 360); беспаспортных арестовывали и ссылали в столицу. Между тем, нет никаких сведений о том, что Тредиаковскому был выдан заграничный паспорт (см. ниже, § **3**). В московской Славяно-греко-латинской академии считали, что Тредиаковский «из оной Академии бежал…, а не по отпуску из оной Академии отбыл, и в Париж для вышших наук ни по какому указу из оной Академии отправлен не был», и при этом намекали даже на его способность подделывать паспорта («… бежал знатно для того, что он, Третьяковский, к побегу Спасского училищного монастыря иеродиакону Трифилию, который приличился в краже, написал воровской пашпорт» — справка Академии от 5 апреля 1728 г., составленная ректором Гедеоном Вишневским и выданная в ответ на запрос Синода, см.: Чистович, 1859, стлб. 158; ОДДС, VIII, стлб. 206). Однако, оказавшись в Париже, Тредиаковский обращается в Синод с просьбой о денежном вспомоществовании (письмо Тредиаковского от 1/12 декабря 1727 г., см. там же, стлб. 157–158); очевидно, он вовсе не считал себя беглецом и преступником[22]. Точно так же, вернувшись в Москву после своих заграничных скитаний — Тредиаковский приезжает в Москву из Петербурга 3 января 1731 г. (см. об этом в письме Тредиаковского к Шумахеру от начала января 1731 г. — Письма XVIII в., с. 44), — он очень скоро (видимо, не позднее 18 января 1731 г.) является к ректору Академии (см.: Успенский, 1985, с. 126–130 — наст. изд., с. 115–118; ср. ниже, § **6**).

Еще менее понятно, каким образом Тредиаковский мог быть принят в Гааге русским полномочным министром графом И. Г. Головкиным, сыном Г. И. Головкина, президента Коллегии иностранных дел, одного из самых влиятельных вельмож того времени и свойственника Петра I. Затем уже рекомендация гр. И. Г. Головкина вводит Тредиаковского в дом кн. А. Б. Куракина, также свойственника Петра I (см. упоминавшееся уже выше письмо И. Г. Головкина к А. Б. Куракину от 7 ноября 1727 г.).

Если считать, что Тредиаковский, как он это сам утверждал, отправился в Европу учиться, то совершенно непонятно, почему он потратил на учебу так мало времени: действительно, пробыв за границей около четырех с половиной лет, Тредиаковский учился только в Париже, где провел менее двух лет, — иначе говоря, он потратил на учебу меньше половины того времени, которое он прожил за границей. Обращает на себя внимание, что, покинув Париж, он провел в Гамбурге почти целый год; чем было вызвано столь длительное пребывание?

И, наконец, последнее. Вернувшись в Россию в сентябре 1730 г., Тредиаковский — безвестный студент, в свое время обвиненный в бегстве из Московской

академии, — неожиданно делает быструю и удачную карьеру: он принят при дворе, пользуясь поддержкой очень влиятельных особ, почти сразу делается студентом петербургской Академии наук и затем претендует на должность адъюнкта или ассоциата, в конце концов предпочтя должность секретаря Академии наук (Успенский, 1985, с. 137–139, 149 — наст. изд., с. 121–122, 127; ср. ниже, § **6**).

Поставленные вопросы требуют объяснений. Для объяснений недостает прямых данных, и можно полагать, что недостаток данных объясняется не только тем, что они до нас не дошли, но, в какой-то мере, и тем, что они были намеренно скрыты. В то же время имеется ряд косвенных указаний, которые, как кажется, позволяют восстановить реальную картину. Все эти вопросы оказываются частью более широкого комплекса проблем, связанных с одним из ключевых эпизодов русской культурной и церковной истории первой трети XVIII в.

§ 2. Планы янсенистов; Тредиаковский и миссия аббата Жюбе

Необходимо иметь в виду, что во время пребывания за границей Тредиаковский был близок к янсенистским кругам. Как Голландия, так и Париж были центрами янсенизма. Янсенистом был Шарль де Роллен (Charles de Rollin, 1661–1741), на которого Тредиаковский ссылался как на своего учителя (Успенский, 1985, с. 114 — наст. изд., с. 107), янсенисты были сосредоточены и в Сорбонне, где Тредиаковский, как он позднее сообщал, обучался «Богословским наукам» (см. выше, § **1**).

При этом Тредиаковский имел отношение к одному эпизоду, самым непосредственным образом связанному с деятельностью янсенистов. В 1727 г. княгиня Ирина Петровна Долгорукая (1700–1751), урожденная Голицына, супруга князя Сергея Петровича Долгорукого (1697–1761) и дочь сенатора князя Петра Алексеевича Голицына (1660–1722), во время своего пребывания в Голландии перешла вместе со своими детьми в католичество[23]. С 1726 г. она несколько раз исповедовалась и причащалась у католического священника ван Даленноорта (Guillaume-Frédéric van Dalennoort) (Пирлинг, IV, с. 308–309; Пекарский, 1868, с. 26; Чистович, 1868, с. 372, примеч.; ср.: Маан, 1949, с. 73). Находившийся в это время в Гааге Тредиаковский, несомненно, был знаком с И. П. Долгорукой и был в курсе этого дела. Обряд присоединения кн. И. П. Долгорукой был совершен 11 июня 1727 г. в Лейдене архиепископом утрехтским Бархманом (Corneille-Jean Barchman Wuitiers), посредницей — своего рода духовной восприемницей — выступила при этом принцесса Овернская (Marie-Anne, princesse d’Auvergne), дочь принца де Линя (Philippe-Charles de Ligne) (История, 1765, с. 547; Бурсье, 1753, с. 315; Пирлинг, IV, с. 309–311; Д. Толстой, 1863, с. 164; Долгоруков, 1867–1871, I, с. 6–7). Здесь важно отметить, что Утрехтская архиепископия возглавляла янсенистское движение, занимая вообще относительно независимое положение внутри католической церкви и находясь в оппозиции по отношению к папе

римскому: с 1723 г. утрехтский архиепископ избирался независимо от папы, причем Бархман (ставший архиепископом в 1725 г.) принимал активное участие в процессе отделения от Рима.

В Россию с кн. Долгорукой в качестве ее духовника отправился аббат Жюбе де ла Кур (Jacques Jubé de la Cour, 1674–1745), агент Сорбонны, которому Сорбонна поручила вести переговоры о соединении Восточной и Западной церквей, причем предполагалось воспользоваться той ролью, которую играли Долгорукие и Голицыны при дворе Петра II[24]. Жюбе был одним из видных янсенистских священников, создавшим даже особый янсенистский обряд, известный под названием «аньерской литургии» («liturgie d'Asnières»); он подвергался преследованиям за свои убеждения и вынужден был покинуть Францию (где его приход в Аньере-на-Сене стал одним из янсенистских центров) и искать прибежище в Голландии, не прекращая при этом связи со своими французскими единомышленниками (Пирлинг, IV, с. 312–314)[25]. Вместе с тем, он был полиглотом и, в частности, изучал славянские языки — церковнославянский («le Sclavon») и польский[26].

Аббату Жюбе было предложено вступить в переговоры с русскими епископами еще в начале октября 1726 г. (Бурсье, 1753, с. 317; ср.: Пирлинг, IV, с. 315). 21 ноября 1726 г. Сорбонна сносится по этому поводу с принцессой Овернской (Бурсье, 1753, с. 318); 3 декабря 1726 г. кн. И. П. Долгорукая обратилась к Жюбе с письмом, уговаривая его поехать с ней в Россию (там же, с. 324). 28 февраля 1727 г. архиепископ Бархман обратился к Жюбе с посланием, предлагая ему взять на себя эту миссию (там же, с. 324–325; Пирлинг, IV, с. 315), а 24 июня 1728 г. доктора Сорбонны выдали Жюбе письмо, уполномочивающее его вести переговоры от их имени с представителями Русской церкви (Бурсье, 1753, с. 329; История, 1765, с. 548; текст письма на французском и латинском языках см. у Бурсье, 1753, с. 439–467). Официальные предписания он получает и от архиепископа Бархмана непосредственно перед выездом в Россию; этот документ датирован 20 октября 1728 г. (Бурсье, 1753, с. 476–485, ср. с. 331–332; Арх. Пирлинга, л. 206); при этом Бархман, по-видимому, намеревался дать Жюбе весьма широкие полномочия, которые в ряде моментов могли уподобляться епископским функциям[27]. 27 сентября / 7 октября 1728 г. кн. С. П. Долгорукий в письме из России благодарит Жюбе за согласие сопровождать его жену и детей (Библ. Труа, № 2333, л. 17; Арх. Пирлинга, л. 197). Жюбе выехал в Россию 20 октября 1728 г. и прибыл в Москву 30 декабря того же года по нов. стилю (Бурсье, 1753, с. 331–332; История, 1765, с. 549)[28]; в Россию он приехал под именем Лакура, причем это имя Жюбе принял, по-видимому, в связи с данной миссией (см. ниже, § **5**).

Непосредственное отношение к миссии Жюбе имел доктор Сорбонны Бурсье (Laurent-François Boursier, 1679–1749), известный богослов и философ, который еще в 1717 г., во время пребывания Петра I в Париже, был инициатором проекта о воссоединении церквей.

Для того чтобы оценить действия янсенистов в интересующий нас период (т. е. во второй половине 1720-х гг.), необходимо иметь в виду, что Петр I во время своего посещения Сорбонны 14 июня 1717 г. отнесся к предложению о

воссоединении церквей достаточно благосклонно; во всяком случае, он явно предпочел вести переговоры об этом с янсенистами, а не с ортодоксальными сторонниками Рима (ультрамонтанами). Надо сказать вообще, что Петр I приезжает в Париж (7 мая 1717 г. по нов. стилю) в период, когда разногласия между янсенистами и Римом достигли критической стадии в результате папской буллы «Unigenitus» (1713) — буллы, направленной против янсенистов и стимулировавшей раскол католической церкви. 5 марта 1717 г. — непосредственно перед приездом Петра I — четыре французских епископа выступили против этой буллы и призвали к обсуждению ее на соборе католической церкви. К ним присоединились парижский архиепископ кардинал де Ноайль (Louis-Antoine de Noailles, 1651–1729) и сто докторов Сорбонны; принцип соборности противопоставлялся при этом авторитету папы. Петр I был хорошо информирован об этом конфликте и одобрял поведение кардинала де Ноайля как главы оппозиции (Бурсье, 1753, с. 288–289; Крейкрафт, 1971, с. 39). Программа янсенистов, ограничивающих авторитет папы чисто духовной сферой, определенно импонировала Петру[29]. Здесь следует отметить, что поездка Петра в Париж непосредственно предшествовала созданию «Духовного регламента» (1718–1720), и нет никакого сомнения в том, что царь интенсивно думал в это время о церковной реформе: движение янсенистов воспринималось им в перспективе намечаемых преобразований. Ограничение папской власти, на котором настаивали янсенисты, соответствовало ограничению власти патриарха в России[30], а апелляция к собору могла ассоциироваться с идеей коллегиального управления церковью — идеей, которая реализовалась в «Духовном регламенте». Настаивая на том, что церковные власти должны сосредоточиться на духовных делах и не вмешиваться в сферу светского правления, янсенисты исходили из стремления сохранить чистоту церкви, оградить ее от мирского. Однако то, что для янсенистов было связано с духовной моралью, для Петра представало как основание для полной изоляции церкви от административной и политической жизни государства. Янсенизм представляет собой вообще реформационное движение в католической церкви, и Петр, который явно симпатизировал протестантам, мог видеть в янсенистах своего рода католических пуритан.

Непосредственно перед посещением Сорбонны Петр имел встречу с папским нунцием архиепископом Бентивольо (Cornelio Bentivoglio), которая состоялась по настоянию Римской курии, причем разговор шел и о воссоединении церквей; это предложение не встретило никакого сочувствия у царя, и разговор оказался совершенно бесплодным (Крейкрафт, 1971, с. 39–40; ср.: Пирлинг, IV, с. 239–244, 427–430; Тамборра, 1986, с. 183 сл.; Д. Толстой, 1863, с. 150–153)[31]. На следующий же день, утром 14 июня 1717 г. (по нов. стилю), Петр появился в Сорбонне, где его встретил Бурсье, который завел с ним разговор на ту же тему; одновременно речь зашла о папской булле («Unigenitus») и о вызванных ею разногласиях в католической церкви (Бурсье, 1753, с. 285–291; Крейкрафт, 1971, с. 37–39; Журнал Петра, 1772, с. 411–412; Катифор, 1772, с. 354–355; Голиков, 1788–1789, V, с. 327–328; Голиков, 1790–1797, XI, с. 409–410). Замечательно, что на

этот раз реакция царя на предложение о соединении церквей оказалась более благожелательной — во всяком случае, он не уклонился от данной темы[32]. Петр предложил своим собеседникам составить записку по данному вопросу и обещал, что они получат ответ от русских епископов; записка была составлена 15 июня и вручена Петру 20 июня 1717 г. — окончательная редакция этого документа принадлежит Бурсье (см. французский текст записки: Бурсье, 1753, с. 369–392; Д. Толстой, 1863, с. 368–377; латинский перевод: Бурсье, 1753, с. 393–410; церковнославянский перевод: Журнал Петра, 1772, с. 425–435)[33].

Итак, Петр отказывается обсуждать проблему соединения церквей с папским нунцием и соглашается обсуждать ее с янсенистами; это отличие было очень знаменательным, и оно давало основания думать, что предложение Сорбонны имеет реальные шансы на успех[34]. Позднейшие действия Петра против иезуитов (в июле 1719 г. в связи с делом царевича Алексея Петровича иезуиты были изгнаны из России[35]) могли также давать янсенистам основания для надежды: в самом деле, эти действия были вызваны чисто политическими причинами и отнюдь не носили антикатолического характера — таким образом, не будучи направленными против католиков, действия эти были направлены против главных противников янсенистов.

Вернувшись в Россию, в декабре 1717 г. Петр передал сорбоннскую записку Стефану Яворскому, с тем чтобы тот позаботился о переводе этого документа. По распоряжению Стефана перевод с латинского на церковнославянский язык был осуществлен Феофилактом Лопатинским (см. текст перевода: Журнал Петра, 1772, с. 425–435)[36]. И в дальнейшем Петр помнил о своем обещании: в его записных книжках первой половины 1718 г. дважды фигурирует одна и та же фраза: «О ответе на Сорбонское писмо, понеже я обещал» (Н. Воскресенский, 1945, с. 55–56).

Ответ русских епископов был подготовлен Феофаном Прокоповичем и подписан им вместе со Стефаном Яворским и холмогорским архиепископом Варнавой (Волостковским); он датирован 15 июня 1718 г. (Журнал Петра, 1772, с. 436–438; Голиков, 1788–1789, VI, с. 171–175, ср. с. 157–158, 162; Стефан Яворский, III, с. 284–288; Бурсье, 1753, с. 411–424, ср. с. 292)[37], однако в Сорбонне смогли ознакомиться с его содержанием приблизительно через год (см. ниже). Стефан Яворский, по-видимому, остался не удовлетворен этим текстом и несколько позже подготовил другой ответ, написанный от лица епископов Великой, Малой и Белой России и датированный сентябрем 1718 г. (Журнал Петра, 1772, с. 438а–438е; Стефан Яворский, III, с. 289–298; Бурсье, 1753, с. 425–439)[38]; замечательно при этом, что ответ Стефана написан от имени всего епископата, а не правящего синклита — как это имеет место в случае первого документа. Бурсье получил возможность ознакомиться с этим посланием лишь несколько лет спустя — по всей вероятности, в 1722 г. (см.: Бурсье, 1753, с. 307–309). Следует полагать, что подготовленный Феофаном Прокоповичем ответ не был отправлен в Сорбонну по крайней мере до осени 1718 г., и можно думать, что он вообще не был туда отправлен официальным путем[39]; несомненно, это было связано с про-

тиводействием Стефана Яворского. Что касается ответа, подготовленного самим Стефаном, то он, во всяком случае, не был официально послан[40]. Так или иначе, оба ответа все же дошли до Сорбонны, и там имели возможность их сравнивать.

В обоих ответах говорится о невозможности в настоящий момент решить данную проблему, т. е. осуществить соединение церквей, но при этом они очень отличаются как по стилю, так и по содержанию: послание Феофана написано очень сдержанно, послание же Стефана составлено в гораздо более благоприятных для Сорбонны выражениях — существенно, в частности, что Стефан Яворский подчеркивает близость православного и католического вероисповедания, отмечая, что католики гораздо ближе православным, чем протестантам[41].

В послании Феофана Прокоповича невозможность соединения церквей мотивируется тем, что Русская церковь составляет лишь часть православной общины и в принципе не может решить этот вопрос самостоятельно, т. е. без согласования с другими православными церквами, в противном случае соединение с католиками вызвало бы раскол в православном мире. Соответственно, в принципе отвергается возможность созыва собора Русской церкви для решения данного вопроса: «… не так скоро и удобно статься то может, как вы, может быть, думаете, якоже от писания вашего догадуемся. Да не воспомянем бо зде о созвании собора или о публичном разговоре чрез послания обоих сторон, именем всецелой сей и оной церкве (а из двоих сих дел хотя одно потребное есть); сверх того и сие нам трудность задает, что единым нашим Российских Епископов действием нижѐ начатися дело сие может; а не толь, чтобы к совершению приити возмогло: понеже бо не едина Россия, хотя и превеликое государство есть, но и иные народы многие церковь исповедания нашего составляют. Не без укоризны бы оных было, если бы что у нас сделалось без их ведания и согласия всему обществу надлежащее: и того ради подобает нам во первых писать о сем ко иноземным братиям нашим, наипаче к высочайшим Епископам, четырем восточным Патриархам, да не возмнимся презирати их и раздражати, и ищуще новаго дружества, да не разторгнем давнее и готовое» (Журнал Петра, 1772, с. 437–438). Таким образом, говорится здесь, обсуждение инициативы Сорбонны предполагает сношение с другими православными епископами, прежде всего с восточными патриархами, сама же Русская церковь не правомочна вступать в переговоры; «и сия едина причина есть, — заключает Феофан Прокопович, — для чего мы и на ваша о примирении разсуждения публичным всея церкви именем ответствовать ныне оставили» (там же, с. 438).

Между тем, в послании Стефана Яворского, написанном от имени всех епископов Русской церкви, говорится, что в настоящее время этот вопрос невозможно решить, постольку поскольку в Русской церкви нет патриарха: «… возбраняет нам канон Апостольский, который Епископу без своего старейшины ничтоже, а наипаче в толь великом деле церковном, творити попущает. Престол же святейший Патрияршества Российскаго празден и вдовствующий быти мним, яко известно есть и иностранным. И сего ради Епископам без своего Патриярха хотети что либо замышляти, тожде было бы, аки бы членам без своея главы хо-

тети двигатися… Сей есть предел крайний, который в настоящем деле больше нам не попущает глаголати что либо, или творити» (Журнал Петра, 1772, с. 438д). Здесь же Стефан указывает, что в создавшейся ситуации единственный выход — это обращение к восточным патриархам, которые только и правомочны решить данную проблему: «Кий убо последний совет в настоящем деле подобаше нам восприяти? разве едино прибежище к Святейшим Апостольским престолам наших восточных православных Патриярхов, на них же яко на основаниях все исполнения и исправления церковнаго здание стоит благолепно» (там же, с. 438е). Такая позиция вообще соответствует представлениям Стефана Яворского об экклезиологической ситуации Русской церкви: по мнению Стефана, лишившись патриарха, Русская церковь не осталась безглавой (и, во всяком случае, не стала подчиняться царю), она оказалась в ведении восточных патриархов, которые и должны были сохранять иерархический порядок церковного устройства (см. особенно сочинение Стефана «Апология или словесная оборона о возношении явственном и воспоминании в молитвах церковных Святейших Православных Патриархов», 1721 г. — Живов, 2004, с. 245–265)[42].

Итак, если в одном ответе (Феофана Прокоповича) указывается, что русские епископы не могут даже начать переговоры о соединении церквей, то в другом ответе (Стефана Яворского) такая возможность не отвергается: это невозможно сделать сейчас, при отсутствии патриарха, говорится здесь, но при этом намечается конкретный план действий — обращение русских епископов к восточным патриархам, в юрисдикции которых, как считает Стефан Яворский, находится в настоящее время Русская церковь. Обращение к восточным патриархам упоминается в обоих посланиях, но в разной модальности: в послании Феофана говорится, что мы должны известить наших «иноземных братьев», в первую очередь, восточных патриархов, о полученном предложении, тогда как Стефан говорит о необходимости обратиться к восточным патриархам для того, чтобы получить от них благословение на переговоры.

Стефан Яворский и в самом деле собирался связаться с восточными патриархами по вопросу о соединении церквей — с тем чтобы предоставить им решение данного вопроса. В списках послания Стефана содержится особый пассаж, отсутствующий во всех печатных русских изданиях[43]; здесь говорится о созыве Освященного собора Русской церкви — с соизволения царя, — который будто бы и обратился к восточным патриархам[44]. Как видим, Стефан вполне серьезно отнесся к предложению Сорбонны и решился предпринять шаги, необходимые для реализации этого предложения. Однако, вопреки планам Стефана, идея созыва Освященного собора не была, по-видимому, одобрена Петром I, и таким образом обращение к восточным патриархам от имени всей Русской церкви стало невозможным; поэтому Стефан сократил свое послание, изъяв из него соответствующий пассаж. (Реликтом этого изъятого пассажа оказалась форма прошедшего времени *подобаше* во фразе, которую мы цитировали выше: «Кий убо последний совет в настоящем деле подобаше нам восприяти?».) Необходимо иметь в виду, что после суда над царевичем Алексеем Петровичем в июне

1717 г., где Стефан достаточно определенно высказался против казни царевича и против расстрижения ростовского епископа Досифея, положение Стефана было крайне непрочным (Крейкрафт, 1971, с. 146 сл.)[45]. Если послание, подготовленное Феофаном, скорее всего, не было официально отправлено ввиду противодействия Стефана, то послание Стефана вызвало, вероятно, противодействие со стороны Феофана. В результате этого конфликта ни то ни другое письмо, по-видимому, так и не было послано и предложение Сорбонны повисло в воздухе[46].

Так или иначе, именно полная версия послания Стефана Яворского стала известна за границей[47]; это послание — особенно в сопоставлении с посланием, подготовленным Феофаном Прокоповичем, — давало основание надеяться на благоприятное для янсенистов решение вопроса.

Сравнивая содержание писем Стефана Яворского и Феофана Прокоповича, мы видим, что их авторы расходятся в двух основных положениях, а именно, в вопросе о необходимости созыва собора Русской церкви в связи с предложением Сорбонны и в вопросе о роли патриарха в решении этой задачи[48]. Из ответа Стефана явствует, что необходимым условием для соединения церквей является восстановление патриаршества в России; обе эти проблемы оказались непосредственно связанными, и вполне закономерно, что янсенисты активизируют свою деятельность после смерти Петра I, когда вопрос о восстановлении патриаршества в России становится актуальным (см. ниже, § **5**)[49].

Такова была позиция русских иерархов. Что касается Сорбонны, то объединение церквей мыслилось — как в 1717, так и в 1728 г. — на янсенистско-галликанской основе, т. е. на основе признания авторитета папы, ограниченного исключительно духовной сферой, и полной самостоятельности христианских монархов во всех остальных вопросах (ср.: Крейкрафт, 1971, с. 40–44; Тамборра, 1986, с. 190–191; Бурсье, 1753, с. 288)[50]. Вместе с тем в 1728 г., в условиях раскола католической церкви, ознаменовавшегося фактическим отделением от Рима утрехтской иерархии, это объединение могло выглядеть как создание новой церкви (объединяющей янсенистов и православных), противопоставляющей себя ультрамонтанскому Риму (ср.: Пирлинг, IV, с. 353, 316; Винтер, II, с. 38, 47).

Таким образом, миссия Жюбе является непосредственным продолжением предприятия Сорбонны, начатого в 1717 г., — об этом прямо говорится в предписаниях, которые получил Жюбе от Сорбонны 24 июня 1728 г. (Бурсье, 1753, с. 440). Связь миссии Жюбе с предприятием Сорбонны вполне эксплицитно подчеркнута в письме Жюбе к австрийской императрице от 28 апреля 1737 г.: «Провидение после моего возвращения из Рима, куда я отправился вместе с его преосвященством кардиналом де Ноайлем в 1725 г., чтобы обсудить некоторые дела с его святейшеством папой Бенедиктом XIII, возложило на меня новое поручение, а именно: трудиться для соединения Греческой церкви Московии с Латинской римской церковью, сообразно с запиской, представленной в Париже его царскому величеству Петру I, и вследствие двух ответов, подготовленных по его приказу русскими епископами, которые просили, чтобы Сорбонна послала кого-нибудь для беседы с ними, поскольку такое важное дело не может обсуждаться

на расстоянии через переписку; мне поручили это дело от имени докторов, которые подписали эту записку; соответствующее поручение было изложено в письме, ими подписанном. Незадолго до того на меня была возложена обязанность наставлять в вере княгиню Ирину Петровну Долгорукую, урожденную княгиню Голицыну, которую направила ко мне принцесса Овернская д'Аремберг, и я привел ее к тому, что она отреклась от схизмы в 1728 г. [sic!]; в том же году я отправился с ней и ее семьей в Россию» («La providence, après mon retour de Rome où j'alley de concert avec son Em. M. le Card, de Noailles en 1725 pour une commission auprès de Sa Sainteté Benoit 13, me chargea d'une autre commission qui étoit de travailler a la réunion de l'Eglise grecque de Moscovie avec l'Eglise Latine Romaine conformement au Mémoire présenté a Paris a Sa M. Czarienne Pierre I par la Sorbonne et en conséquence de 2 réponses faites suivant ses ordres par les Evêques de Russie qui demandoient que la Sorbonne deputet quelqu'un pour conférer avec eux sur les lieux, une affaire de cette conséquence ne pourant se traiter de si loin et par lettres, je fus donc chargé de cette commission au nom des docteurs qui avaient signé le 1er Mémoire, avec un écrit signé d'eux. Quelque temps auparavant m'étant trouvé a portée d'instruire M^{e} la Princ. Irène Petrowna Dolgorouky née Princesse Galitzin qui me fut adressée par M^{e} la Princ. d'Auvergne d'Aremberg, je lui fis faire son abjuration du schisme en 1728 et je partea la même année avec elle et sa famille pour la Russie» — Библ. Труа, № 2156, л. 322–322 об.; Арх. Пирлинга, л. 232).

Знаменательно, что Жюбе позаботился о переводе на русский язык сорбоннской записки 1717 г. (таким образом, помимо церковнославянского перевода Феофилакта Лопатинского, о котором мы упоминали выше, существовал еще и русский перевод этого документа; ср. ниже, § **4**) и распространял ее как в русской, так и в латинской и французской версиях (см. конспективную записку о деятельности Жюбе в России, составленную после его смерти, — Библ. Труа, № 2156; Арх. Пирлинга, л. 222)[51]. Вместе с тем, Жюбе в России пытался раздобыть копии ответов русских иерархов сорбоннским богословам; в частности, ему было поручено убедиться в аутентичности этих документов (Бурсье, 1753, с. 297, 444, 458–459).

Основная роль в действиях, направленных на соединение церквей, как в 1717, так и в 1728 г. принадлежала Бурсье, признанному главе сорбоннских янсенистов. Именно после консультации с Бурсье, его коллегой Петипье (Nicolas Petitpied, 1665–1747), ораторианцем Фуке (P. Fouquet de l'Oratoire)[52], аббатом Этемаром (abbé d'Etemar) и их единомышленниками Жюбе отправился в Россию (Бурсье, 1753, с. 323, 328, 473; История, 1765, с. 548; Д. Толстой, 1863, с. 164). Одновременно Жюбе получил в Париже какое-то поручение от парижского архиепископа кардинала де Ноайля, который, как мы уже знаем, покровительствовал янсенистам (Бурсье, 1753, с. 328–329); это поручение, по-видимому, имело то или иное отношение к миссии Жюбе в России[53].

Для дальнейшего изложения важно отметить, что деятельность Жюбе в России отнюдь не сводилась к переговорам о соединении церквей. Он занимался религиозным просвещением, что выражалось прежде всего в распространении

книг, способствующих ознакомлению с основами католического вероучения[54]. Жюбе при этом в большой степени следовал инструкциям Сорбонны, которая придавала вообще первостепенное значение переводу и распространению в России духовной литературы, непосредственно связывая успех задуманного предприятия с миссионерской деятельностью. Так, перед отправлением Жюбе в Россию Бурсье наставлял его в письме от 11 июля 1728 г.: «… ничто не может быть более полезным для страны, куда вы направляетесь, чем перевод благочестивых книг, которые распространили бы там просвещение и дух подлинной религиозности. В частности, мне казалось бы исключительно важным перевести хороший Часовник и Новый Завет. Часовник аббатства Пор-Рояль представлялся бы превосходным [для этой цели]; кажется, что в нем нет ничего такого, что могло бы как-то задеть чувства обитателей этой страны; и если бы они оказались захваченными духом подлинной религиозности, если бы они вышли из темноты, в которой они пребывают, они едва ли замедлили бы сделать все остальное» (« … rien ne seroit plus efficace pour le bien du pays où vous allez, que de traduire quelques bons livres de piété qui y répandissent la lumière, et le vrai goût de la religion… En particulier il me paroot infiniment important de faire traduire de bonnes Heures, et le Nouveau Testament. Les Heures de Port-Royal seroient excellentes; il me semble qu'il n'y a rien qui pût blesser les personnes de ce pays; et s'ils embrassoient le vrai goût de la Religion, s'ils sortoient de l'ignorance où ils sont, ils ne tarderoient guère a faire le reste» — Бурсье, 1753, с. 473–474). Не вполне понятно, что имеет в виду Бурсье, говоря о необходимости перевода Нового Завета, но мы можем догадываться, что речь идет о переводе на русский (не на церковнославянский!) язык[55]; ориентиром в этом отношении мог служить известный труд Кенеля (Pasquier Quesnel, 1634–1719) «Le Nouveau Testament en françois, avec des réflexions morales sur chaque verset» — книга, которая спровоцировала буллу «Unigenitus» (1713), способствовавшую, в свою очередь, консолидации янсенистов как духовного движения. Как мы увидим, перевод и распространение «благочестивых сочинений» становится одним из центральных моментов практической деятельности Жюбе в России; не случайно в условном языке, которым пользуется Жюбе в своей переписке, миссионеры именуются «livres», т. е. книги (Пирлинг, IV, с. 333). Усилия Жюбе были специально направлены на воспитание русской молодежи в католическом духе, и он стремился даже к реформе русской духовной школы (см. ниже §§ **3**, **4**); все это, конечно, части более общей программы религиозного просвещения.

В связи с миссией Жюбе аббат Бурсье вошел в контакт с кн. А. Б. Куракиным, главой русской дипломатической миссии в Париже; это произошло, видимо, летом 1728 г. — не раньше 24 июня, когда Сорбонна выдала письмо Жюбе, и не позднее 11 июля, когда Куракин покинул Францию (Н. Бантыш-Каменский, IV, с. 97). Бурсье и Куракин имели личную встречу, причем Бурсье совещался с Куракиным о соединении церквей, поставив его в известность о предстоящем отправлении Жюбе в Россию (Бурсье, 1753, с. 330). Отметим, что Жюбе приезжал в Париж перед своим отъездом в Россию — видимо, летом 1728 г. (Бурсье, 1753,

с. 328; История, 1765, с. 548) — и Бурсье, по всей вероятности, рекомендовал его кн. А. Б. Куракину[56]. В письме от 11 июля 1728 г., которое мы отчасти уже цитировали выше, Бурсье извещал Жюбе: «… с тех пор как я вам писал, я имел встречу со знатным вельможей той страны, куда вы направляетесь. Это его светлость князь Куракин, русский посол во Франции. Он соблаговолил распорядиться о том, чтобы вам доставлялись известия о ваших друзьях; и мы были им очарованы. Вы его, возможно, увидите перед получением этого письма…» («… j'ai vû, depuis les Lettres que je vous ai adressées, un grand Seigneur du pays où vous allez. C'est Son Altesse M. le Prince Courakin, Ambassadeur de Russie en France. Il a bien voulu se charger de vous donner des nouvelles de vos amis; et nous avons été charmés de lui. Vous le verrez peut-être avant la réception de cette Lettre» — Бурсье, 1753, с. 473). Предлагая Жюбе позаботиться в России о переводе «благочестивых книг» («quelques bons livres de piété») — речь идет, как мы уже знаем, о переводе как Нового Завета, так и специфически янсенистских текстов, вышедших из аббатства Пор-Рояль, — Бурсье подчеркивает в этом же письме: «Вы найдете вельможу, о котором я говорю, весьма расположенным к этому делу» («Vous trouverez le Seigneur dont je vous parle, très-disposé a cela» — там же). Бурсье, видимо, посвятил Куракина в свои планы, изложив их достаточно подробно; так или иначе, Куракин получил исчерпывающую информацию о действиях Сорбонны[57] — при этом существенны как интерес русского дипломата к предприятию янсенистов, так и степень его информированности. Во время этой встречи Куракин, между прочим, обещал Бурсье несколько книг на церковнославянском языке, а именно, Библию и творения святых Григория Назианзина, Афанасия Великого и Иоанна Дамаскина (Бурсье, 1753, с. 330)[58].

Необходимо иметь в виду, что Библия или Новый Завет на церковнославянском языке были обещаны Сорбонне еще прежним русским послом в Париже князем Василием Лукичом Долгоруким; в свое время (а именно, после получения Сорбонной ответа русских иерархов в 1719 г. и до отзы́ва в Россию в сентябре-октябре 1722 г. — Н. Бантыш-Каменский, IV, с. 93) Долгорукий имел длительный разговор о соединении церквей с Бурсье и рядом других докторов Сорбонны; в ходе беседы русский дипломат высказался за созыв конференции между сорбоннскими и русскими богословами (Бурсье, 1753, с. 313; ср. записки Жюбе: Жюбе, 1992, с. 92, 138). Из-за неблагоприятного отношения французского двора к этим переговорам Долгорукий тогда не выполнил своего обещания относительно книг (см. там же); таким образом, Куракин фактически выполнял то, что должен был сделать еще Долгорукий. Можно догадываться, что разговор о книгах был важен для Бурсье не столько сам по себе, сколько как предлог, позволяющий вернуться к прежде начатой инициативе[59]. Следует думать, таким образом, что главной темой разговора и с кн. Куракиным было соединение церквей. В дальнейшем, вернувшись в Россию, куда он прибыл 7 декабря 1728 г. («Санктпетербургские ведомости», № 99 от 10 декабря 1728 г., с. 400; Мат. АН, VI, с. 172), т. е. почти одновременно с Жюбе, Куракин весьма активно содействует миссии Жюбе (см. ниже, § **5**). Знаменательно, что по пути в Россию Куракин несколько

раз встречался с Жюбе и И. П. Долгорукой, причем встречи эти носили, по-видимому, конспиративный характер[60]. Бурсье, как мы видели, предупреждал Жюбе о возможности такой встречи (см. цитированное выше письмо от 11 июля 1728 г.) — следовательно, ее нельзя считать случайной.

Итак, православные книги поступают в Сорбонну, а католические книги распространяются в России — этот обмен книгами явно преследует экуменические цели.

В этом контексте появляется имя Тредиаковского. Именно ему поручает Куракин передать книги в Сорбонну; и в этом случае книги оказываются своего рода предлогом, который связывает Тредиаковского с затеянным Бурсье предприятием.

После отъезда Куракина из Парижа Тредиаковский по поручению русского посланника и от его имени передает в дар библиотеке Сорбонны обещанные книги. 30 августа 1728 г. доктор и библиотекарь Сорбонны Сальмон (François Salmon) и Бурсье написали Куракину, находившемуся уже в Данциге, по письму с выражением благодарности за полученные книги, причем в письме Бурсье упоминается Тредиаковский как лицо, их передавшее (см. автографы писем — ГИМ ОПИ, ф. 3, оп. с., № 40, л. 199–199 об., л. 5–6 об.; ср. также современные копии: ГИМ ОПИ, ф. 3, оп. с., № 73, л. 66–67; МИД АВПР, ф. Константинопольская миссия, 1732–1733, д. 54, л. 4); здесь уместно отметить, что Сальмон был одним из тех богословов, которые вместе с Бурсье подписали сорбоннскую записку 1717 г.; оба они подписали также письмо Сорбонны к Жюбе от 24 июня 1728 г., уполномочивающее последнего вести переговоры о соединении церквей (см. выше)[61]. В ответном письме Куракина к Бурсье из Данцига от 5 ноября 1728 г. мы находим примечательный постскриптум: «Господин Тредиаковский, в судьбе которого я принимаю участие, должен слепо следовать приказаниям любого рода, которые вы будете давать ему, — это единственное [для него] средство мне угодить; я прошу вас почтить его этим» («Le S^{r}. Tretyakowsky, en qui je m'interesse, doit se conformer aveuglement aux ordres que Vous lui donnerez de toute façon; seul moÿen de me plaire; je vous suplie de l'en honnorer» — ГИМ ОПИ, ф. 3, оп. с., № 73, д. 68; ср. копию: МИД АВПР, ф. Константинопольская миссия, 1732–1733, д. 54, л. 6; ср. также: Бурсье, 1753, с. 330–331)[62].

Этот постскриптум для нас особенно важен. Ясно, что речь идет не только о книгах, но о «поручениях любого рода», которые Бурсье может возлагать на Тредиаковского. Книги фигурируют скорее как дипломатический прием, позволяющий реализовывать намеченное, не говоря об этом открыто. Тредиаковский оказывается в новой роли агента Сорбонны.

Действительно, «поручения любого рода» не ограничивались книжными интересами Сорбонны и имели прямое отношение к обращению в католичество кн. И. П. Долгорукой. Надо полагать, что Тредиаковский встречался с Жюбе как в Голландии, так и в Париже; как мы упоминали, Жюбе приезжал в Париж в 1728 г.[63] Естественно предположить вместе с тем, что Тредиаковский должен был содействовать миссии Жюбе и по возвращении в Россию.

Эта деятельность Тредиаковского отразилась, может быть, в его раннем творчестве. Примечателен, в частности, его разговор с вестником Меркурием, который мы находим в «Стихах эпиталамических на брак его сиятельства князя… Куракина», написанных весной 1730 г. в Гамбурге:

Во един день, прошлаго в город Гамбург лета
При самом ясном небе от солнечна света
Влетел вестник Меркурии; но весь запыхался
. . . .
Дышет Меркурии, а я: «Эх, сударь, уж скучиш!
Что хорошева? По что долго меня мучиш?
Веть я равно и тебе, как и Аполлону,
Служу, не болше чести имам твоеи ону».

(Тредиаковский, III, с. 742–743)

Итак, Тредиаковский, по его собственному признанию, служит Меркурию в той же степени, что и Аполлону: если в последнем случае идет речь о его занятиях поэзией, то в первом случае не имеется ли в виду роль агента-посредника? Другой намек на интересующую нас деятельность Тредиаковского при желании может быть усмотрен в его «Стихах похвальных России» 1728 г., где поэт говорит о России:

В тебе не будет веры двоиныя

(Тредиаковский, III, с. 741)

Нельзя ли предположить, что речь идет здесь не о старообрядческом расколе — старообрядчество ассоциировалось вообще не с «двоеверием», но с «суеверием», — а о расколе Западной и Восточной церкви; иначе говоря, не намекает ли здесь Тредиаковский на предстоящее соединение церквей? [64]

§ 3. Тредиаковский за границей

В дальнейшем, как мы увидим, Тредиаковскому приходилось скрывать компрометирующие его связи с католиками (см. ниже, § **6**). В то же время именно эти связи позволяют ответить — с большей или меньшей убедительностью — на те вопросы, которые были поставлены в начале настоящей работы. Действительно, в их контексте проясняются как некоторые моменты в биографии Тредиаковского, так и отсутствие информации о них.

В самом деле, в свете того, что Тредиаковский имел то или иное отношение к переходу кн. И. П. Долгорукой в католичество, правомерно предположить, что его переезд в Париж осенью 1727 г. был связан с намечавшейся миссией Жюбе. Как мы знаем, Жюбе был в Голландии тогда же, когда там был Тредиаковский, и не исключено, что их отношения завязались еще в то время. Позднее, по всей вероятности, они будут встречаться в Париже (см. выше, § **2**).

Все это означало бы, в свою очередь, что граф И. Г. Головкин, русский дипломатический представитель в Голландии, сочувствовал этой миссии, посколь-

ку он выдал рекомендательное письмо к кн. А. Б. Куракину. Подлинник этого письма сохранился в бумагах А. Б. Куракина; оно написано в Гааге 7/18 ноября 1727 г., и в нем говорится следующее: «Бывшей при мне росийской студент Василей Тредьяковский, желая науки свои совершить, отправился отсюда в Париж. И понеже он человек небогатой и требует протекции, того ради приемлю смелость вашу светлость просить дабы изволили явить к нему свою милость, за что я в подобных случаях взаимныя мои услуги отдать не премину…» (ГИМ ОПИ, ф. 3, оп. с., № 94, л. 21–21 об.). Предположению о том, что Тредиаковский был отправлен в Париж в связи с миссией Жюбе, ничуть не противоречит то обстоятельство, что в письме И. Г. Головкина, по-видимому, отсутствуют какие-либо намеки на это дело и что он ограничивается только указанием на интерес Тредиаковского к наукам: в дипломатической переписке — письмо шло, по-видимому, по почте, а не было отправлено с Тредиаковским — сведения о неофициальных сношениях с католическими кругами (которые к тому же не пользовались поддержкой французского двора) были по меньшей мере неуместны.

Позднее, излагая свою биографию, Тредиаковский считает нужным подчеркнуть, что в Париж он «прибыл своею охотою, не бывши послан ни от кого, и следовательно с крайним претерпением бедности, и куда дошел… пеш из самаго Антве́рпена (ка́к то известно Обер-стал-мейстеру, сенатору и обоих Российских ординов кавалеру, Его Сиятельству, Князю Александру Борисовичу Куракину)» (доношение в Сенат от 28 февраля 1744 г. — «Москвитянин», 1851, № 11, с. 228; ср. доношения в канцелярию Академии наук от 2 мая и от 17 мая 1743 г. — «Москвитянин», 1853, № 15, с. 31; Мат. АН, V, с. 837, 680, 935). Создается впечатление, что эта фраза имеет особую модальность: Тредиаковский, у которого есть причины скрывать некоторые детали своего прошлого, заранее отвергает предположение, что он был кем-то направлен в Париж, заявляя о том, что обстоятельства его заграничных передвижений известны кн. А. Б. Куракину, — он как бы предупреждает возможное обвинение, прикрываясь именем влиятельного вельможи.

В предположении о том, что И. Г. Головкин, так же как и А. Б. Куракин, был в курсе миссии Жюбе, нет, вообще говоря, ничего невероятного. Русские дипломаты в рассматриваемый период — это особая среда (ср. ниже, § **4**). Они говорили по-французски до того, как это стало общепринятым в русском дворянском обществе, они были прозападнически настроены и, как правило, сочувствовали католицизму: достаточно назвать имена В. Л. Долгорукого, А. Б. Куракина, И. Г. и А. Г. Головкиных, С. К. Нарышкина, А. Д. Кантемира, А. А. Вешнякова; о Кантемире и Вешнякове нам придется специально говорить ниже. Существенно, что в ряде случаев эти лица получили образование в московской школе иезуитов; в частности, это относится к И. Г. Головкину, а также к его брату А. Г. Головкину (Флоровский, 1962, с. 320).

Отметим, что гр. А. Г. Головкин (1689–1760) — младший брат И. Г. Головкина, в 1731 г. ставший русским послом в Голландии, — с мая 1728 по 1731 г. был на дипломатической службе во Франции (Н. Бантыш-Каменский, IV, с. 49, 96–

97). Для более позднего времени у нас есть вполне определенные сведения о его тесных связях с Жюбе (см. письмо Жюбе к Кантемиру от 6 мая 1743 г., которое мы цитируем в § **4**); не исключено, что эти отношения завязались еще в 1720-е гг. А. Г. Головкин, несомненно, покровительствовал Тредиаковскому; так, сотрудник русского посольства Иван Калушкин в письме от 14/25 июля 1729 г. сообщал кн. А. Б. Куракину, что Тредиаковскому вполне хватает определенной князем пенсии: «ибо он всегда столуется у графа Головкина, который снабдил его платьем…, при этом на месяц ему остается 400» («quant a la pension que votre altesse lui fait la grace de lui donner, il peut s'en passer facilement, parcequ'il est toujours nouri chez M^r^ le Comte de Golovkin, qui l'a fait habillé, ainsy il faut qu'il ait pour mois 400 de reste» — ГИМ ОПИ, ф. 3, оп. с., № 40, л. 226–226 об.)[65].

А. Г. Головкин был одним из просвещеннейших русских вельмож своего времени — его знания научных кругов Европы много способствовали успеху основания петербургской Академии наук[66]; связи А. Г. Головкина с петербургской Академией наук, возможно, объясняют то, что Тредиаковский был принят в Академию сразу по возвращении в Россию (ср. ниже, § **6**). Вместе с тем, А. Г. Головкин интересовался религиозными вопросами[67]. В дальнейшем он принял реформатское вероисповедание и вследствие этого не вернулся в Россию (см.: Головкин, 1912, с. 45); как видим, его религиозные искания шли в рамках западной религиозной мысли. Не исключено при этом, что именно связи с янсенистами в какой-то мере способствовали переходу А. Г. Головкина в протестантизм: янсенизм, как мы уже упоминали, в ряде отношений сходен с протестантизмом.

Очутившись в Париже, Тредиаковский оказывается прочно связанным с кн. А. Б. Куракиным, выступая как его доверенное лицо. В результате рекомендации И. Г. Головкина А. Б. Куракин принимает Тредиаковского к себе в дом (см. об этом в письме Тредиаковского в Синод от 1/12 декабря 1727 г. — Чистович, 1859, стлб. 158). Выехав из Парижа в Россию 11 июля 1728 г. (Н. Бантыш-Каменский, IV, с. 97), Куракин распорядился о выплате Тредиаковскому пенсии; см. об этом в только что цитированном письме И. Калушкина к Куракину от 14/25 июля 1729 г. из Парижа[68]. В дальнейшем пенсия выплачивалась Тредиаковскому в Гамбурге; см. счет на имя Куракина за содержание Тредиаковского в Гамбурге с 5 ноября 1729 г. по 9 августа 1730 г., который мы цитировали в § **1** наст. работы. Комиссионер Куракина Александр Брюгие в письме к своему нанимателю из Гамбурга в Москву от 9 мая 1730 г. сообщал о рвении Тредиаковского к делам, касающимся Куракина: «il a du mérite et un grand zèle pour le service de V. A.», указывая при этом, что он (Брюгие) каждый месяц должен был оплачивать расходы Тредиаковского (ГИМ ОПИ, ф. 3, оп. с., № 40, л. 283 об.). Мы не знаем, были ли ограничены обязанности Тредиаковского в Гамбурге одними имущественными задачами; даже если пребывание Тредиаковского в Гамбурге и не связано непосредственно с миссией янсенистов, мы вправе, по-видимому, утверждать, что он оказывается здесь в конечном счете благодаря данному предприятию — постольку, поскольку именно оно свело Тредиаковского с Куракиным[69].

Более того. Связь Тредиаковского с католиками объясняет, возможно, не только его передвижения за границей, но и само его появление там. Мог ли числившийся беглецом (см. цитированную выше справку Славяно-греко-латинской академии — Чистович, 1859, стлб. 158) найти приют и покровительство у высокопоставленных русских дипломатов? Войти своим человеком в дом русской дипломатической миссии было непросто, а беглецу и вовсе невероятно[70].

Если в доме кн. А. Б. Куракина Тредиаковский, как мы знаем, был принят благодаря рекомендации И. Г. Головкина, то для того, чтобы быть принятым И. Г. Головкиным, очевидно, также нужна была чья-то рекомендация, чье-то посредничество. Внимательное рассмотрение контактов, которые имел за границей Тредиаковский, подводит к предположению, что выполняемые им поручения были частью одного плана, в котором участвовали русские дипломаты и западные священнослужители.

Каким же образом Тредиаковский мог оказаться у И. Г. Головкина в Гааге? В «Книге для записи паспортов, выданных из Коллегии иностранных дел российским и иностранным подданным для выезда их за границу, и уплаченных за них пошлин» (во главе Коллегии иностранных дел стоял отец И. Г. и А. Г. Головкиных, граф Гаврила Иванович) за первую половину 1726 г. записи о выдаче паспорта Тредиаковскому нет (МИД АВПР, ф. Внутренние коллежские дела, 1726, оп. 2/6, д. 3541, л. 2–29); в противном случае мы точно бы знали, по чьему ходатайству получил паспорт Тредиаковский[71]. «Книга для записи паспортов…», однако, содержит две записи, прямо указывающие на отправление ряда людей в Голландию во время, совпадающее с отъездом Тредиаковского за границу. В один день — 27 января 1726 г. — были выданы паспорта графине Дарье Головкиной, «отпущенной из России и обретающиися при ней служители обоего полу… в Голандию», и «иеромонаху Иерониму Колпецкому, посланному для отправления божественныя службы в Голандию с одним служителем» (там же, л. 5 об.). Графиня Дарья Матвеевна Головкина (урожденная Гагарина, дочь казненного в 1721 г. сибирского губернатора кн. Матвея Петровича Гагарина) — жена И. Г. Головкина (Петров, 1872, с. 422); И. Г. Головкин был определен полномочным министром в Голландию 3 июня 1725 г. и прибыл туда 22 августа того же года (Н. Бантыш-Каменский, I, с. 200), между тем жена его должна была присоединиться к нему несколько позднее. Что же касается Иеронима Колпецкого, то он в 1722–1725 гг. был учителем и проповедником («концionатором») в московской Славяно-греко-латинской академии; несомненно, Иероним и Тредиаковский были знакомы[72]. По просьбе И. Г. Головкина Иероним Колпецкий был определен к русской посольской церкви в Голландии (Харлампович, 1914, с. 657–658; ср.: Н. Бантыш-Каменский, I, с. 201). 20 декабря 1725 г. в Московскую синодальную контору поступает прошение графини Дарьи Головкиной об отпуске Иеронима Колпецкого в Петербург, «для того чтобы там просить Святейший Синод о назначении его в Голландию к домовой церкви ея мужа, тайнаго советника и полномочнаго министра графа Ивана Гавриловича Головкина» (ОДДС, V, стлб. 356–357). На основании этого прошения Иероним получает разрешение выехать в

Петербург 31 декабря 1725 г. (Николаев, 1987, с. 95; ср.: ЦГИА, ф. 796, оп. 6, № 206, л. 7–7 об.)[73].

Итак, Иероним Колпецкий и графиня Дарья Головкина направлялись в Гаагу в русское посольство; невольно напрашивается предположение, что с ними, под видом одного из «служителей», ехал и Тредиаковский, чтобы быть введенным в дом И. Г. Головкина. Было ли при этом Тредиаковскому достаточно одного знакомства с Иеронимом? Вероятно, нет. Предыдущие и последующие обстоятельства жизни Тредиаковского заставляют думать, что к его отъезду в Голландию были причастны католические миссионеры, в распоряжении которых как на Западе, так и в России были многие скрытые пружины[74].

Как мы уже упоминали (см. § **1**), еще в Астрахани Тредиаковский знал итальянского капуцина Патриция из Милана; Патриций жил в Астрахани с 1710 по 1713 г. и затем с 1716 по конец 1718 г., и Тредиаковский, по всей вероятности, был его учеником (Флоровский, 1962, с. 332, 334; Читаделла, 1944, с. 218–219). После этого Патриций жил в Петербурге, а с декабря 1722 г. в Москве, причем какое-то время он являлся супериором над всеми миссионерами, находящимися в России (МИД АВПР, ф. Духовные дела иностранных вероисповеданий, 1721, д. 1, л. 16 об.). Тредиаковский мог поддерживать отношения с Патрицием в Москве до 1725 г., когда Патриций выехал из России (Читаделла, 1944, с. 218–219)[75]. В этой связи заслуживает внимания сообщение Г.-Ф. Миллера о том, что Тредиаковский попал в Голландию — прямо из Астрахани, как неверно считает Миллер, — именно благодаря содействию капуцинов: «Тредиаковский… бежал, и, не знаю, каким образом, попал в Голландию. По всем вероятиям, капуцины в Астрахани, у которых он учился, способствовали ему в побеге. Это обстоятельство Тредиаковский тщательно старался скрывать, хотя он не делал никакой тайны из прочих своих похождений» («Er war… entflohen und, ich weiss nicht wie, nach den Niederlanden gekommen. Allem ansehn nach müssen ihm die capuziner zu Astrachan, bei denen er in die schule gegangen, zur flucht behülflich gewesen seyn. Diesen umstand pflegte er sorgfältig zu verschweigen, ob er gleich aus seinen übrigen begebenheiten kein geheimniss machte» — Мат. АН, VI, с. 171; Пекарский, II, с. 4–5)[76]. В руках Патриция были сосредоточены самые различные нити — как внутри Российской империи, так и вне ее. Вполне вероятно, что с какого-то времени в планы Патриция стал входить как переезд Тредиаковского из Астрахани в Москву (или в Киев), так и переезд его в Западную Европу для завершения образования в одном из католических учебных центров.

Чтобы оценить правдоподобность гипотезы такого рода, уместно привести сообщение Бурсье (1753, с. 351) о проекте Жюбе, направленном на преобразование русской духовной школы. Согласно этому сообщению, Жюбе предлагал трехступенчатую систему образования. После окончания курса Московской академии учащиеся направлялись для продолжения образования в Киевскую академию. Следует иметь в виду, что в Московской академии были сосредоточены представители староцерковной партии, т. е. противники Феофана Прокоповича и сторонники Стефана Яворского (ср. ниже, § **5**), а Киевская академия, где сохра-

нялись традиции Петра Могилы, была под сильным влиянием католического богословия; при этом Жюбе был, видимо, достаточно тесно связан с киевским архиепископом Варлаамом Ванатовичем[77], который должен был направлять обучение в желательном для янсенистов духе. Овладев достаточными знаниями в Киеве, учащиеся оканчивали свои науки в янсенистском Парижском университете — согласно этому плану, Московская академия, Киевская академия и Парижский университет составляли, таким образом, единый образовательный комплекс[78]. Сама идея завершения духовного образования на Западе была естественна для католического миссионера; вместе с тем практика завершения (или продолжения) образования в католическом учебном заведении после Киевской или Московской академии имела уже определенную традицию — достаточно упомянуть Симеона Полоцкого, Стефана Яворского, Феофана Прокоповича, Палладия Роговского, Феофилакта Лопатинского, Гедеона Вишневского и т. д.

Как мы знаем, Тредиаковский уехал из Москвы, окончив в Московской академии курс риторики (см. выше, § **1**). Риторикой завершалось среднее образование; окончание риторики давало право получения образования высшего — за нею должна была следовать философия и, наконец, богословие[79]. В Париже Тредиаковский действительно учится философским и богословским наукам (впрочем, также и математическим) — учеба в Париже, очевидно, должна была завершить образование, начатое в Астрахани и продолженное в Москве, и мы можем догадываться, что такой план был санкционирован католическими наставниками Тредиаковского.

Итак, не кажется невероятной мысль, что капуцины содействовали побегу Тредиаковского как в Москву, так и в Западную Европу; в цитированном сообщении Миллера произошла, по-видимому, контаминация этих двух фактов.

Сказанному ничуть не противоречит предположение о том, что отъезд Тредиаковского из Астрахани был связан с отъездом оттуда князя Дмитрия Кантемира, который в начале 1723 г. возвращался из персидского похода (см. выше, § **1**). Отправляясь с царем в поход в 1722 г., Д. Кантемир захватил с собой семью; при этом его жена, дочь и младший сын Антиох не проследовали на поле военных действий, а остановились в Астрахани; в Астрахани остался и воспитатель А. Д. Кантемира — И. Ю. Ильинский. Антиох Кантемир был определен в капуцинскую школу, где он учился с 4 июля 1722 по 14 января 1723 г. Таким образом, Тредиаковский и А. Д. Кантемир вместе учились у капуцинов; именно тогда, по-видимому, они и познакомились (Грасгоф, 1966, с. 26–27)[80]. При этом у них были общие учители: после отъезда А. Д. Кантемира из Астрахани его воспитание было вверено двум капуцинам — Антонию Марии д'Амелиа Луальди (там же, с. 27) и Октавию Марии из Милана (Octavio Maria da Milano — Флоровский, 1962, с. 334); Тредиаковский во всяком случае учился у д'Амелиа (см. выше, § **1**)[81]. Оба капуцина покидают Астрахань в начале 1723 г. (Флоровский, 1962, с. 334), т. е. тогда же, когда оттуда уезжает Кантемир со своей семьей. Относительно Октавия Марии документально известно, что он отправляется вместе с Кантемирами (ОДДС, III, стлб. 465–466), но то же, скорее всего, верно и в

отношении д'Амелиа, который затем в 1724 г. в Москве преподает А. Д. Кантемиру латынь (Байер, 1783, с. 356, примеч.).

Если согласиться с тем, что в планы капуцинов входило отправление Тредиаковского в Москву (с тем чтобы тот продолжил свое образование в Славяно-греко-латинской академии), то вполне вероятно, что они могли воспользоваться для этого отъездом туда кн. Д. Кантемира. Итак, отправляясь в Москву с обозом кн. Д. Кантемира, капуцины, по-видимому, захватили с собой Тредиаковского[82].

В биографии Тредиаковского, опубликованной вскоре после его смерти, сообщается, что, учась в Славяно-греко-латинской академии, Тредиаковский был не на казенном содержании, а «на собственном иждивении» (Тредиаковский, 1775, л. 1; ср.: Л. Майков, 1897, с. 7). Равным образом в своем доношении в Академию наук от 2 мая 1743 г. Тредиаковский говорит, что он учился в Астрахани, Москве и Париже «своею охотою и на своем бедном иждивении» («Москвитянин», 1853, № 15, с. 31; Мат. АН, V, с. 837); наконец, в доношении в Академию наук от 14 ноября 1737 г. Тредиаковский сообщает, что он учился «во первых в России и потом в чужестранных государствах… на своем коште, имея при том крайнюю помощь от высоких моих благодетелей» (Пекарский, II, с. 70; Мат. АН, III, с. 518; то же повторяется в справке Академии наук от 30 ноября 1737 г. — там же, с. 529); упоминая о помощи, полученной от «высоких благодетелей», Тредиаковский имеет в виду, скорее всего, заграничный период своей жизни, т. е. учебу в Париже[83], — во всяком случае, из этого сообщения следует, что в период обучения в Славяно-греко-латинской академии Тредиаковский не получал никакого жалованья, т. е. он был своекоштным учеником Академии. Необходимо при этом подчеркнуть, что таких учеников было в Академии немного — абсолютное большинство учащихся здесь было на казенном содержании (С. Смирнов, 1855, с. 98–99). Но каким образом Тредиаковский, бежавший из дома, оторванный от семьи (ср.: Самаренко, 1962, с. 360–361), мог содержать себя в Москве? На какие средства он жил? Приходится предположить, что Тредиаковский пользовался чьей-то материальной помощью; скорее всего ему помогали капуцины.

Знаменательно, что в Славяно-греко-латинской академии Тредиаковский перевел «Аргениду» Барклая[84]. «Аргенида», как известно, представляет собой католический роман, содержащий полемику с кальвинизмом: впоследствии Тредиаковский специально подчеркивает в предисловии к «Аргениде», что в романе есть «рассуждение о гиперфанянах, то есть последователях Кальвину, и о неправом их разумении, и больше о вредительных воспоследствованиях от их разврата» (Тредиаковский, 1751, с. LIII). Вполне вероятно предположение Л. Майкова (1897, с. 13, примеч. 1), что знакомству с «Аргенидой» Тредиаковский был обязан капуцинам, и не исключено, что именно они подвигли его на перевод этой книги.

Выехав с «окказией» в Гаагу в начале 1726 г., Тредиаковский оказался в распоряжении гр. И. Г. Головкина в то время, когда в Голландии ожидалось присоединение к католической церкви кн. И. П. Долгорукой и когда готовилась миссия Жюбе. Действительно, кн. И. П. Долгорукая уже в 1726 г. причащалась у католического священника, и осенью того же года ведутся переговоры с Жюбе о поезд-

ке в Россию, причем инициатива исходит как от Сорбонны, так и от Долгорукой (см. выше, § **2**). К этому времени замысел янсенистов уже созрел. Этому должны были предшествовать предварительные обсуждения, и можно полагать, что, когда Тредиаковский появился в Голландии, он оказался вовлеченным в эти события[85]. Именно поэтому, видимо, он не направился сразу в Парижский университет и почти на полтора года задержался в Голландии. Отправление Тредиаковского в Париж в ноябре 1727 г. в равной мере отвечало как планам янсенистов, так и намерениям самого Тредиаковского.

§ 4. Русские сотрудники аббата Жюбе — знакомые Тредиаковского

Еще один ключ, который позволяет понять характер деятельности Тредиаковского за границей, дает рассмотрение того круга, который оказался вовлеченным в деятельность янсенистов после прибытия Жюбе в Россию. В частности, Жюбе был здесь непосредственно связан с Кантемиром и инспирировал некоторые его литературные занятия: по поручению Жюбе Кантемир занимался переводами «благочестивых сочинений» («ouvrages de piété») на русский язык, которые должны были распространяться в России; Жюбе очень высоко оценивал способности Кантемира и возлагал на него вообще большие надежды (Бурсье, 1753, с. 343–344; записки Жюбе — Жюбе, 1992, с. 108; ср.: Грасгоф, 1963, с. 5–6; Грасгоф, 1966, с. 66–67; Пирлинг, IV, с. 335; Пекарский, 1862, I, с. 43; см. особенно письмо Жюбе к архиепископу Бархману от 16 апреля 1730 г. — Библ. Труа, № 2229.17, л. 37; Арх. Пирлинга, л. 210)[86].

Достойно внимания, что именно в период общения с Жюбе в 1730 г. в Москве Кантемир переводит «Разговоры о множестве миров» Фонтенеля (см. автограф: БАН 20.3.71; Градова, 1985, с. 56). Жюбе рассказывает в своих записках о приезде Кантемира в Никольское, имение кн. С. П. Долгорукого, где жил Жюбе, для того, чтобы редактировать свой перевод («Le Prince Antiochus Cantemir, habile et studieux Seigneur, avoit fait une traduction en Russe d'un ouvrage de M. De Fontenelle, il vint a Nikolske, terre de S. Alt. Le prince Sergié Dolgorouki, où nous étions logés allors, pour revoir sa traduction avec le prince, un autre ami et moi pour le tour et la force des expressions françoises» — Жюбе, 1992, с. 136). Не объясняется ли это — в той или иной степени — картезианством Фонтенеля, столь близким к янсенистской традиции аббатства Пор-Рояль?

Когда в сентябре 1729 г. встал вопрос о том, чтобы послать Кантемира с дипломатической миссией за границу, Жюбе предполагал воспользоваться этим назначением для дальнейшего воспитания Кантемира в янсенистско-католическом духе (Грасгоф, 1963, с. 5–6; ср.: Бурсье, 1753, с. 343–344)[87]. Эта поездка тогда не состоялась в связи с изменившейся политической ситуацией: Кантемир выехал за границу два года спустя — 1 января 1732 г. (Стоюнин, 1867, с. LXXXI).

Вместе с тем, Кантемир был связан с кн. И. П. Долгорукой и ее семьей. В 1729–1730 гг. Жюбе одно время, кажется, собирался послать старшего сына И. П. Долгорукой с Кантемиром в Париж, хотя затем и отказался от этой мысли (Грасгоф,

1963, с. 6–7); Жюбе стремился вообще к тому, чтобы его воспитанники, дети И. П. Долгорукой (перешедшие в католичество вместе со своей матерью), получили образование за границей[88]. В царствование Анны Иоанновны этим планам не суждено было осуществиться: в 1732 г. И. П. Долгорукая подверглась опале и оказалась в ссылке, а Жюбе был выдворен из России (см. ниже, § **6**). Между тем, в феврале 1742 г. (после возвращения Долгоруких из ссылки при Елизавете Петровне) князья Александр и Владимир Сергеевичи Долгорукие — дети И. П. Долгорукой и воспитанники Жюбе — были отправлены в Париж к Кантемиру, который в это время был русским послом во Франции; там они учились французскому и итальянскому языкам, находясь под надзором Жюбе, причем их родители постоянно переписывались с Жюбе по этому поводу (Пирлинг, IV, с. 370–371; Бурсье, 1753, с. 352–353; Грасгоф, 1963, с. 8; Грасгоф, 1963а, с. 103; Кантемир, II, с. 247–248, примеч.); ср. упоминание об этих князьях Долгоруких в переписке Кантемира и Лестока от июня 1742 г. (Грасгоф, 1966, с. 73; Л. Майков, 1903, с. 174–175), а также в депешах Кантемира от 2/13 мая 1742 г., 28 октября / 8 ноября 1742 г., 17/28 февраля 1743 г. (Кантемир, II, с. 247–248, 278, 292). В письме к Кантемиру от 25 июня / 6 июля 1743 г. (из Петербурга) И. П. Долгорукая пишет о своих детях, указывая, что они должны во всем согласовываться с Жюбе, к которому она питает бесконечное доверие («… en se conformant en tout aux avis de M^r la Cour, en qui Votre Altesse sait que j'ai toûjours en toute la confiance imaginable» — ЦГИА, ф. 931, оп. 2, № 6, л. 1–1 об.). Наконец, до нас дошло письмо Жюбе к молодым князьям Долгоруким от 29 июля 1743 г., где упоминаются между прочим как Кантемир, так и графиня Головкина, супруга А. Г. Головкина (Библ. Труа, № 2213, л. 44; Арх. Пирлинга, л. без номера), а также переписка Жюбе с кн. С. П. Долгоруким, касающаяся его детей, — письма Долгорукого к Жюбе от 10/21 января 1744 г. и 3/14 ноября 1744 г. (Библ. Труа, № 2333.17, л. 13; Арх. Пирлинга, л. 235, 236), письмо Жюбе к Долгорукому без даты (Библ. Труа, № 2229.43; Арх. Пирлинга, л. 237). Таким образом, предприятие, задуманное Жюбе (относящееся к воспитанию детей И. П. Долгорукой), все же осуществляется, хотя и с большим опозданием. При этом Кантемир фигурирует в планах Жюбе как его непосредственный помощник[89].

В Париже Кантемир продолжал общение с Жюбе; в частности, из только что упомянутого письма И. П. Долгорукой к Кантемиру от 25 июня / 6 июля 1743 г. явствует, что переписка Долгорукой и Кантемира велась через Жюбе: «Если Ваша Светлость окажет мне честь, почтив меня ответом, — пишет Долгорукая Кантемиру, — я прошу сделать это через господина Лакура» («Je suplie Votre Altese que si Elle me fait l'honneur de me répondre, Elle ait la bonté de le faire par M^r la Cour» — ЦГИА, ф. 931, оп. 2, № 6, л. 2). В 1746 г. Александру и Владимиру Сергеевичам Долгоруким пришлось давать объяснение в Синод по поводу их связей с Жюбе (ср. ниже, § **6**); по их показанию, они «с… Лакуром в Париже свиделись, по приезде туда, в… 1742 году», причем «на квартиру к ним для посещения тот Лакур хаживал, понеже и у министра [т. е. Кантемира] его видели» (Пекарский, 1868, с. 28–29). Кантемир и Жюбе состояли в переписке; до нас дошло письмо Жюбе к Кантемиру из Утрехта в Париж от 6 мая 1743 г., посвященное

воспитанию молодых Долгоруких (которых Жюбе называет условным именем M^rs Richekowsky); в нем Жюбе сообщает, в частности, что через несколько дней собирается отправиться в Гаагу, «чтобы излить свою душу, поведав их превосходительствам графу и графине Головкиным [т. е. А. Г. Головкину и его супруге] о беспримерных благодеяниях и внимании, которые Ваша Светлость оказывает господам Ришековским», т. е. Долгоруким («répandre mon coeur a leurs Excellences Monsieur et Madame la Comtesse Galofkin sur les bontés et les attentions de Votre Altesse pour M^rs Richekowsky [que] rien n'égale» — МИД АВПР, ф. Парижская миссия, 1743, д. 11, л. 7–7 об.)[90]. Кстати сказать, дети И. П. Долгорукой встречались в Париже в 1740-е гг. с аббатом Этемаром — тем самым, с которым Жюбе консультировался перед поездкой в Россию (см. выше, § **2**): в письме к Жюбе от 18/29 июня 1745 г. Долгорукая просит поблагодарить Этемара («abbé d'Etmar») за его доброе отношение к детям (ЦГИА, ф. 931, оп. 2, № 5, л. 21).

Как видим, Кантемир сохранял связи с янсенистами до конца своих дней. Между прочим, его парижский друг и биограф аббат Гуаско (Octavian de Guasco, 1712–1781) также придерживался, по-видимому, янсенистских убеждений (ср.: Грасгоф, 1963, с. 2, 7–8)[91].

Именно эти князья Долгорукие, воспитанники Жюбе, во время своего пребывания в Париже перевели сатиры Кантемира с русского на итальянский язык — вероятно, с помощью Гуаско, — причем сам Гуаско или же секретарь Кантемира Генрих Гросс перевел затем эти сатиры с итальянского на французский (Грасгоф, 1963, с. 3, 8; Грасгоф, 1963а, с. 105; Морда Эванс, 1958, с. 194–195; ср.: Александренко, 1896, с. 11–12). После смерти Кантемира 31 марта / 11 апреля 1744 г. в майском номере издававшегося в Голландии янсенистского «Всеобщего журнала» («Le Journal universel ou Mémoires pour servir a l'Histoire civile») за 1744 г. была напечатана — вероятно, не без участия Жюбе — некрологическая заметка, посвященная Кантемиру; к ней прилагался прозаический перевод на французский язык отрывка из первой сатиры, основанный, возможно, на итальянском переводе князей Долгоруких — Долгорукие прямо названы здесь как переводчики данного произведения на итальянский язык (Грасгоф, 1963, с. 3, 8; Грасгоф, 1963а, с. 103–104)[92].

Для характеристики отношения Кантемира к католицизму и к проблеме соединения церквей любопытно сообщение аббата Гуаско: «Не принадлежа к Римской церкви, он [Кантемир] был полностью лишен духа схизмы. Никто более его не был удален от всего того, что отзывалось полемикой. Он охотно вдавался в объяснения относительно мнений Греческой и Латинской церкви. Он никогда не отвергал здравые доводы, которые ему предлагались. … Князь Кантемир признавал, что папа является главой церкви и преемником св. Петра; он соглашался признать за папой всю ту власть, которую ему приписывает монсеньер Флёри в своей церковной истории; однако когда речь заходила о последствиях этого признания, он добавлял, что злоупотребление этой властью более, чем какая-либо другая причина, всегда служило препятствием для соединения [церквей]. „Невозможно, — говорил он, — чтобы она ограничивалась только духовной сферой, и во всяком разумно устроенном государстве следует опасаться, что это злоупо-

требление способно породить большие беспорядки“. Его пристрастия не мешали ему сознавать, что было бы желательным, чтобы действия Петра Великого, направленные на воссоединение обеих церквей, увенчались успехом» («Tout séparé, qu'il étoit, de la Communion Romaine, il n'avoit nullement l'Esprit schismatique. Personne n'étoit plus éloigné que lui de tout ce qui avoit l'air de dispute. Il entroit volontiers en éclaircissement sur les sentimens de l'Eglise Grecque & de l'Eglise Latine. Il ne se refusoit pas même aux bonnes raisons, qu'on lui donnoit… Le Prince Cantemir avouoit, que le Pape est le Chef de l'Eglise, & Successeur de St. Pierre. Il lui accordoit toute l'autorité, que lui attribue Mr. de Fleuri dans son Histoire Ecclésiastique; mais lorsqu'on le pressoit sur les conséquences de cet aveu, il ajoûtoit, que l'abus de cette autorité plus que toute autre raison seroit toûjours un obstacle a la réünion. „Il est impossible, disoit-il, qu'elle ne se borne qu'au spirituel; & on doit craindre cet abus dans tout Etat sagement constitué, comme étant capable d'y causer les plus grands désordres“. Ses préventions ne l'empêchoient cependant pas de convenir, qu'il auroit été a désirer, que les démarches de Pierre le Grand pour la réünion des deux Eglises eussent réüssi» — Гуаско, 1749, с. 114–116)[93]. Характерно, что через тридцать лет после встречи Петра с сорбоннскими богословами Гуаско вспоминает об этом событии, причем именно Петру приписывает инициативу действий, направленных на соединение церквей[94].

Относительно знакомства Кантемира и Тредиаковского мы уже говорили выше (см. § **3**).

Другая фигура из русского круга Жюбе — Александр Андреевич Вешняков († 1745), дипломат, учившийся в Голландии; в 1724–1725 гг. Вешняков был консулом в Кадиксе, а с 1730 по 1745 г. находился на дипломатической службе в Константинополе — сначала в качестве второго резидента, помощника и заместителя министра-резидента И. И. Неплюева, а затем, в 1735–1745 гг., в качестве министра-резидента (см. о Вешнякове: Списки дипломатов, II, с. 329; Н. Бантыш-Каменский, I, с. 166; Кочубинский, 1899, с. 28, 54, 98–99, 117–118; Михнева, 1985, с. 73–76; Соловьев, XI, с. 195–196, 386–389; де Лириа, 1869, с. 172, 178; Манштейн, I, с. 158, 162; Н. Смирнов, 1962, с. 321; Грасгоф, 1966, с. 68; Л. Майков, 1903, с. 318). Между 1725 и 1730 г. Вешняков был в России[95], хотя сюда, возможно, он вернулся не сразу. Общение Вешнякова и Жюбе в Москве относится к 1729 г.[96]; не исключено, однако, что они встречались уже в Париже, поскольку Вешняков, надо думать, был в Париже в 1728 г., когда туда приезжал Жюбе (см. об этом ниже). Жюбе — знаменательным образом — называл Вешнякова «неофитом» («le Néophyte»): по всей вероятности, Вешняков перешел в католичество (Пирлинг, IV, с. 336; ср.: Гагарин, 1878, с. 18). В письме к неизвестному адресату от 9 мая 1731 г. Жюбе говорит о «неофите», т. е. Вешнякове, как о своем верном помощнике (Библ. Труа, № 2156; Арх. Пирлинга, № 15, л. 216).

Как и Кантемир, Вешняков под руководством Жюбе занимался переводом «благочестивых сочинений» на русский язык. Находясь в Москве в 1729 г., он перевел катехизис Флёри и приступил к переводу «Исповедания веры» Боссюэ (Пирлинг, IV, с. 336; ср. конспективную записку о деятельности Жюбе в России —

Библ. Труа, № 2156; Арх. Пирлинга, л. 222). Существенно при этом, что катехизис Флёри должен был противостоять, по замыслу янсенистов, учению Феофана Прокоповича (Бурсье, 1753, с. 349)[97]; с этой целью к книге Флёри прилагалось янсенистское предисловие Жюбе, переведенное, очевидно, тем же Вешняковым (записки Жюбе — Жюбе, 1992, с. 106; Пирлинг, IV, с. 334). Осенью 1729 г. — непосредственно перед отбытием в Константинополь — Вешняков перевел с французского на русский язык как сорбоннскую записку 1717 г., так и ответы на нее русских иерархов; сохранился автограф этого перевода (МИД АВПР, ф. Духовные дела иностранных вероисповеданий, 1729, оп. 10/1, д. 1, л. 26–49 об.; ср. в этой связи выше, § **2**)[98]. До нас дошла еще любопытная «Молитва к Богу» — на русском, не на церковнославянском языке, — также написанная рукой Вешнякова (там же, л. 50–51); и эта молитва была, по-видимому, переведена им с французского. После отъезда в Константинополь Вешняков переписывается с Жюбе (Пирлинг, IV, с. 336; ср. письмо Жюбе к архиепископу Бархману от 16 апреля 1730 г. — Библ. Труа, № 2229.17, л. 37; Арх. Пирлинга, л. 211); при этом Жюбе продолжает заказывать ему переводы тех или иных сочинений на религиозные темы (ср. письмо Жюбе к Вешнякову из Утрехта от января 1733 г. — МИД АВПР, ф. Константинопольская миссия, 1730–1736, д. 42, л. 14–15). Жюбе возлагал вообще на Вешнякова большие надежды, подчеркивая значение его переводческой деятельности: благодаря способностям Вешнякова, писал Жюбе, он в состоянии принести особую пользу Церкви («Dieu vous a donné une facilité merveilleuse. … Vous étes par la en état de faire partout un grand bien pour l'Eglise» — см. там же, л. 14).

Вешняков был, кажется, самым деятельным сотрудником Жюбе, причем его сотрудничество не сводилось к переводам. В своих записках Жюбе упоминает о приезде в Москву турецкого посла, в свите которого находился русский дворянин, приставленный к послу в Константинополе Вешняковым (последнего Жюбе называет здесь своим «другом»). Как писал Жюбе, «этому дворянину было поручено часто видеться со мной, это был умный человек, специально воспитанный Вешняковым, который был счастлив учиться, вкушая истины. Он провел со мной всю ночь до отъезда, и я снабдил наилучшими книгами как его, так и друга [т. е. Вешнякова]» («Cet Ambassadeur avoit a sa suite un gentilhomme Russien qui savoit égallement les trois langues Turque, Russe et françoise que M. Weysnykoff lui avoit donné pour l'accompagner jusqu'a Moskow, et le reconduire jusqu'a Constantinople; ce gentilhomme avoit ordre de me voir souvent, c'estoit un bon esprit, formé exprès par ce M. Weysnykoff, et qui etoit ravi de s'instruire, goutant les verités. Il passa toute la nuit avec moi, la veille de son depart, et je charg[e]ai de plus de bon livres qu'il me fut possible pour lui et pour l'ami» — Жюбе, 1992, с. 168).

Необходимо отметить, что Вешняков был знаком и с И. П. Долгорукой. Вешняков и И. П. Долгорукая встречались, в частности, уже в 1723 г. в Голландии: в августе 1723 г. в Амстердаме И. П. Долгорукая одолжила ему рукопись «Утешение духовное, или Книга следования Иисусу Христу» в переводе А. Ф. Хрущова, которая была тогда же переписана для Вешнякова. Хрущов, который учился в Голландии с 1712 по 1720 г., перевел сочинение Фомы Кемпийского о подражании

Христу с французского в 1719 г. (Соболевский, 1908, с. 4–5); в том же году, переписав книгу своей рукой набело, он подарил этот беловой экземпляр И. П. Долгорукой, которая в это время уже находилась в Голландии (см. запись на списке, принадлежавшем Вешнякову: ГПБ, F.I.856, л. 1–1 об.; ср. также: Соболевский, 1908, с. 5)[99]. В 1729 г. Жюбе поручает Кантемиру отредактировать перевод этого сочинения (записки Жюбе — Жюбе, 1992, с. 108: ср. конспективную записку о деятельности Жюбе в России — Библ. Труа, № 2156; Арх. Пирлинга, л. 223). Остается добавить, что находясь в Константинополе, Вешняков следит за судьбой кн. И. П. Долгорукой (см. ниже, § **6**).

Равным образом Вешняков был знаком с Кантемиром[100] и, вместе с тем, с А. Б. Куракиным (ср. письмо Куракина к Вешнякову от 30 октября 1730 г., которое мы цитируем ниже)[101]. Вешняков и Кантемир познакомились, несомненно, в России, тогда как знакомство с Куракиным завязалось, по всей видимости, еще за границей — всех этих людей так или иначе объединяла их причастность к миссии Жюбе. Характерно в этом смысле, что копии цитированных выше (в § **2**) писем Бурсье к Куракину (от 30 августа 1728 г.) и Куракина к Бурсье (от 9 ноября 1728 г.) с упоминаниями Тредиаковского находились в константинопольском архиве Вешнякова (МИД АВПР, ф. Константинопольская миссия, 1730–1736, д. 54, л. 4–6).

Наконец, Вешняков был хорошо знаком с Тредиаковским; знаменательно при этом, что они познакомились во Франции. В письме из Константинополя в Петербург к Федору Погонскому (своему управляющему) от 18 марта 1732 г. Вешняков называет себя «старым другом» Тредиаковского, упоминая о встрече во Франции, и поручает Погонскому завести с ним знакомство: «Зделаи знакомство с Господином Третияковским, которои был во Франции у Князь Александра Борисовича [Куракина], а ныне, как вижу, в Академии. Ему от меня нарочно отдаи поклон и скажи, что забыл стараго друга. И чтоб когда ко мне пожаловал отписал о себе и о книжных любопытных их Академии новизнах. Я б охотно желал с ним иметь о сем дружескую корреспонденцию, ежели похочет мне сию любовь зделать, за что ему от сердца благодарно служить обещаюся… И что сие прошу в том положении, ежели по сие время из него доброи дух учения не вышел и в тех любопытных мнения[х] [зачеркнуто: *о благоразумном своем*] находится, как я его знавал во Франции и мне бывал дружен. Ты сие ему прочти. Он тебе много может дать свету, толко [зачеркнуто: *опасаися*] буть опасен» (МИД АВПР, ф. Константинопольская миссия, 1730–1733, д. 24, л. 41–41 об.). Для нас особенно интересно многозначительное упоминание о «любопытных мнениях», которые служили предметом разговора Вешнякова и Тредиаковского в Париже, и следующее за этим упоминанием предупреждение о необходимости быть осторожным — предупреждение, которое может объясняться изгнанием из России Жюбе и опасностью, какой подвергалась в это время И. П. Долгорукая и те, кто был с ней связан (см. ниже, § **6**). Ф. Погонский явно связался с Тредиаковским, который 6 мая 1732 г. написал Вешнякову подробное письмо, сообщая как о публикациях Академии наук, так и о своих литературных занятиях; Тредиаковский говорит здесь, между прочим, о чувстве утраты, вызванном отсутствием Вешнякова (МИД

АВПР, ф. Константинопольская миссия, 1730–1735, д. 39, л. 267–268)[102]. Достойно внимания при этом, что Тредиаковский пишет к Вешнякову как к равному (что весьма существенно, если иметь в виду дипломатический ранг Вешнякова)[103].

Итак, Тредиаковский и Вешняков познакомились в Париже в 1727–1729 гг.; можно предположить, что это случилось летом 1728 г., когда, по-видимому, в Париж приезжал Жюбе (см. выше, § **2**). Скорее всего, их познакомил кн. А. Б. Куракин. Характерно в этой связи, что после возвращения Тредиаковского в Россию А. Б. Куракин считает нужным известить Вешнякова об этом событии. 30 октября 1730 г. Куракин писал Вешнякову в Константинополь: «Философ [т. е. Тредиаковский] прибыл в Петербург с моим багажом. Он мне сообщает, что перевел на русский язык книгу, которую он печатает там при Академии. Это „Езда в остров Любви“» («Le Philosophe est arrivé avec mon bagage a Petersbourg, il me mande qu il a traduit un livre en Russien qu il fait imprimer la dans l'Academie. C'est le voyage a l'isle d'Amour» — МИД АВПР, ф. Константинопольская миссия, 1730–1733, д. 37, л. 222 об.).

Отметим, что Вешняков не позднее 1733 г. перевел на французский язык первую сатиру Кантемира и какие-то другие его сочинения[104]; позднее, в 1737 г., он участвовал в издании книги Марсильи «Военное состояние Оттоманския империи», переведенной Тредиаковским (см. письмо Шумахера к Вешнякову от 3 октября 1737 г. — Пекарский, II, с. 66–67, примеч.; ср.: Марсильи, 1737)[105].

Как сообщает Бурсье (1753, с. 359), с Жюбе был связан и князь Сергей Дмитриевич Голицын (1696–1738), еще один русский дипломат; в 1723–1726 гг. С. Д. Голицын был русским дипломатическим представителем в Мадриде (достойно внимания при этом, что Голицын и Вешняков одновременно служили в Испании)[106], затем вернулся в Россию, где получил чин камергера и был награжден орденом Александра Невского (он был вообще в милости у Петра II); в 1729 г. Голицын был назначен посланником в Берлин[107], где находился с декабря 1729 по октябрь 1730 г., а в 1730-е гг. он был на дипломатической службе в Персии (при этом как в Пруссии, так и в Персии Голицын служил одновременно с И. Калушкиным, бывшим сотрудником А. Б. Куракина) (Н. Бантыш-Каменский, I, с. 166, 167; Н. Бантыш-Каменский, IV, с. 50, 52; Голицын, 1892, с. 135; де Лириа, 1869, с. 7, 13, 180, 184; Соловьев, IX, с. 449; Соловьев, X, с. 292, 402)[108]. С. Д. Голицын был в родстве с И. П. Долгорукой (он приходился ей троюродным братом) и в свойстве с А. Д. Кантемиром (его сестра доводилась Кантемиру невесткой) (Долгоруков, I, с. 288–289). Подобно Кантемиру и Вешнякову, С. Д. Голицын находился с Жюбе в переписке (см., например, письмо С. Д. Голицына к Жюбе 1729 г. — ЦГИА, ф. 931, оп. 2, № 1). Любопытно вместе с тем, что именно к С. Д. Голицыну обращается Тредиаковский 3/13 июля 1730 г. из Гамбурга в Берлин в связи с пересылкой багажа кн. А. Б. Куракина (ГИМ ОПИ, ф. 3, оп. с., № 40, л. 277–278 об.); из письма следует, что отношения между Куракиным и Голицыным были достаточно короткими. Письмо Тредиаковского Голицыну касается чисто деловых проблем, но мы определенно знаем, что все эти люди были так или иначе причастны к предприятию Жюбе[109].

Дошедшие до нас письма русских дипломатов — А. Д. Кантемира, А. А. Вешнякова, А. Б. Куракина, А. Г. Головкина, С. Д. Голицына, С. К. Нарышкина, А. И. Неплюева, И. А. Щербатова — дают представление об особом и очень тесном круге. Находясь за границей, эти люди активно переписываются друг с другом; их объединяют как дружеские отношения, так и вкус к новинкам европейского просвещения. Будучи ориентированы на западную культуру, они с большим интересом относятся к католицизму — может быть, не столько к его экклезиологической стороне, сколько к культурно-просветительской[110].

Судьба Тредиаковского во многом определена его общением с этим кругом. Ему становятся близки литературные и эстетические интересы этих людей, в частности интерес к прециозной культуре (см.: Успенский, 1985, с. 146 сл.; наст. изд., с. 126 сл.). Здесь читают его переводы, эпиграммы, другие сочинения. Так, 6 мая 1732 г. Тредиаковский писал Вешнякову из Петербурга в Константинополь: «… сочиненные мною пьесы будут Вам непременно посланы. Эти пьесы, некоторые из которых напечатаны, а некоторые еще не напечатаны, состоят из элегий, эпиграмм и других стихов. Среди них есть панегирик, который я сочинил по приказанию Ее Императорского Величества и который ей посвящен; он написан прозой, но в конце представлена ода, восхваляющая Ее Величество, и большое рондо в стихах в честь Ее Светлости герцогини Мекленбургской [Екатерины Иоанновны, сестры императрицы][111]. В настоящее время, сударь, я тружусь над очень большим произведением, которым, я надеюсь, Россия останется довольна, если ей хватит ума[112]; кроме того, я перевожу артиллерийские записки Сен-Реми[113]. Примите, сударь, сонет, который перед Вами, — первый на нашем языке. Это перевод французского сонета, который начинается словами: „GRAND DIEU! que tes jugemens sont remplis d'equité“ и который наделал во Франции столько шуму. Мой русский сонет напечатан в „Примечаниях“[114], но, если он получит одобрение у Вас, как у человека, который в этом понимает, я буду считать его удачным» («… les Pieces, qui sont faites par moy, vous seront envoyées immanquablement… Ces Pieces, dont il y a, qui sont imprimées, et il y en a, qui ne le sont pas encore, consistent en Elegies, Epigrammes, et en d'autres choses Poëtiques. Je y a un Panegyrique, que j'ai composé par ordre de sa maj^{te} imp^{le} a Elle meme, qui est en Prose, mais a la fin il contient une Ode avec des Eloges a Sa Majesté, et un grand Rondeau pour son altesse serenissime Madame La Duchesse de Meklenbourg en vers. A present, Monsieur, je travaille a un très grand ouvrage, dont, je me flatte, la Russie, si elle est sage, sera contente; outre que je traduis Les Memoires d'Artillerie de St. Remy. Agréez, Monsieur, le SONET, que Vous voyez, et qui est le Premier en notre Langue. Il est traduit de ce sonet François qui commence par: *GRAND DIEU! que tes jugemens sont remplis d'equité* et qui fait tant de bruit en France. Mon Russien est imprimé dans les Remarques; mais si je puis obtenir quelque approbation de vous, comme d'une Personne, qui s'y connoit, alors je le trouverai beau» — МИД АВПР, ф. Константинопольская миссия, 1730–1735, д. 39, л. 267 об. – 268).

Тредиаковского в этом кругу зовут «философом» («le Philosophe») — так его называет, например, А. Б. Куракин в цитированном выше письме к А. А. Вешня-

кову от 30 октября 1730 г. из Москвы в Константинополь (МИД АВПР, ф. Константинопольская миссия, 1730–1733, д. 37, л. 222 об.) или И. Калушкин в письме к А. Б. Куракину от 14/25 июля 1729 г. из Парижа в Москву (ГИМ ОПИ, ф. 3, оп. с., № 40, л. 226). Строго говоря, Тредиаковский мог именоваться «философом» уже потому, что он в Париже учился философии (см. выше, § **1**); есть основания полагать, тем не менее, что наименование Тредиаковского «философом» в кругу Куракина и Вешнякова имело более широкие коннотации. В упомянутом сейчас письме Калушкина к Куракину от 14/25 июля 1729 г. мы находим, между прочим, следующую характеристику Тредиаковского в парижский период жизни: «Что касается философа, то он все тот же, каким ваша светлость его оставили, иными словами, он готов кричать и спорить 24 часа напролет. Этот бедняга, заранее ложно настроенный в пользу вольностей этой страны, ужасно раздулся…, обнаглел и стал неблагодарным» («A l’egard du Philosophe, il est toujours le même, comme Vôtre Altesse l’avoit laissé, c’est a dire prêt a crier et a disputer pendant 24 heures sans discontinuer. Ce pauvre garçon étant faussement prevenu en faveur de la liberté de ce pais cy, donne dans un travers effroyable jusqu’a être insolent, et ingrat» — там же). Это не слишком лестная характеристика, что вполне естественно, — разумеется, на Тредиаковского в этом кругу могли смотреть сверху вниз. Вместе с тем, здесь отмечены некоторые интересные для нас черты характера Тредиаковского — его склонность к полемике и то сочувствие, которое вызывают у него «вольности этой страны»; при этом может иметься в виду как свобода поведения французов, так и французское вольномыслие.

§ 5. Аббат Жюбе в России

Объединение церквей, которое было целью миссии янсенистов, в позднейшей перспективе может казаться чистой утопией. Однако в царствование Петра II для такого объединения были вполне реальные предпосылки. Действительно, как мы видели, янсенисты пользовались поддержкой в очень влиятельных аристократических кругах — в частности, они предполагали воспользоваться той ролью, которую играли при дворе Долгорукие и Голицыны (см. выше, § **2**)[115]. Как мы знаем, Бурсье в какой-то мере рассчитывал на поддержку князя Василия Лукича Долгорукого, и эти ожидания, по-видимому, не оказались напрасными: Долгорукий в Москве проявил определенный интерес к проекту янсенистов (Бурсье, 1753, с. 341–343, ср. с. 313, 470). Отметим еще, что два брата И. П. Долгорукой, князья Голицыны — Николай Петрович (1708–1734) и Алексей Петрович (1710–1748), — перешли в католичество (Голицын, 1892, с. 345, 133–134)[116]; между прочим, один из братьев Голицыных предоставил в распоряжение Жюбе свой загородный дом в Перове, где был составлен какой-то мемуар о соединении церквей, который должен был служить программой дальнейших действий (записки Жюбе — Жюбе, 1992, с. 91; Бурсье, 1753, с. 339–340; Пирлинг, IV, с. 350–351)[117].

Знаменательно в этом смысле, что Жюбе прибывает в Россию под псевдонимом de la Cour, т. е. он именуется «придворным»; под этими инициалами (De la C.) он фигурирует в бумагах Сорбонны, копии которых получил кн. А. Б. Куракин (ГИМ

ОПИ, ф. 3, оп. с., № 73). Имя de la Cour употребляется уже в письме Бурсье к принцессе Овернской от 21 ноября 1726 г. (Бурсье, 1753, с. 318); по семейному преданию Долгоруких, Жюбе принял имя Лакур (de la Cour), переехав в Голландию (Долгоруков, 1867–1871, I, с. 7), т. е. в период общения с двумя аристократками — княгиней Долгорукой и принцессой Овернской[118].

Находясь в России, Жюбе числился при испанском посольстве, пользуясь покровительством посла герцога де Лириа (de Lihria), бывшего в хороших отношениях с князем Иваном Алексеевичем Долгоруким, фаворитом Петра II (Бурсье, 1753, с. 336–337; Пирлинг, IV, с. 330; История, 1765, с. 549)[119]. Положение, которое занимал Жюбе при испанском посольстве, открывало ему широкие и разнообразные возможности для контактов с высшей аристократией[120].

Роль герцога де Лириа в России позволяет предположить вообще, что при дворе Петра II сочувствовали католикам. Для характеристики эпохи показательно, в частности, что де Лириа и великая княжна Наталия Алексеевна (сестра императора Петра II) оказываются восприемниками ребенка некоего придворного (де Лириа, 1869, с. 100; Рибейра, 1733, I, с. 283). В другом случае де Лириа крестил младенца (т. е. был восприемником при крещении) вместе с баронессой Строгановой (Рибейра, 1733, I, с. 283). Таким образом католик и православная становятся кумом и кумой, т. е. оказываются в духовном родстве; по свидетельству Рибейры (Bernardus Ribera) — доминиканца, состоявшего при испанском посольстве в Москве, — подобная практика была распространена, причем крещение могло совершаться по латинскому обряду[121].

Как сообщает Бурсье, к Жюбе обратился за советом «один из первых вельмож [русского] двора» («un des premiers Seigneurs de la Cour»), желавший пожертвовать значительную сумму денег на богоугодное дело; этот вельможа — Бурсье именует его князем («Prince»), но не сообщает его имени — получил наследство, причем отец обязал его в завещании распорядиться полученной суммой именно таким образом. Жюбе посоветовал ему употребить эти деньги на просвещение русской молодежи и на распространение благочестивых книг («bons Livres»). При этом имелся в виду проект трехступенчатой системы образования (Москва — Киев — Париж), который предлагал Жюбе и о котором мы упоминали выше (см. § **3**). Вельможа последовал советам Жюбе и приобрел большое количество книг (псалтырей и творений св. Отцов, как греческих, так и латинских), которые распространялись среди священников и монахов; он также учредил 12 стипендий в московской Академии, которые должны были способствовать их образованию. Дальнейшие события, однако, помешали привести этот план в исполнение («Un des premiers Seigneurs de la Cour avoit été chargé par son pere a l'article de la mort, d'employer a des oeuvres pies des sommes considérables: il consulta sur cela M. Jubé, qui lui conseilla d'appliquer ces sommes spécialement a l'éducation de la jeunesse, et a la distribution de bons Livres. Suivant le plan que lui dressa M. Jubé, les jeunes gens auroient été placés d'abord au Collége de Moscou, ensuite ils auroient passé a celui de Kioff, sur lequel l'Archevêque qui étoit alors en place, veilloit d'une maniére particuliére. Quand les jeunes gens auroient été plus avancés, on les auroit envoyés a Paris,

étudier dans l'Université. Un plan si utile fut goûté du Prince. Il fit venir beaucoup de Livres, de Pseautiers, d'ouvrages des SS. Peres, Grecs et Latins, qu'il distribua aux Popes et aux Religieux, qui'il croyoit être plus en état d'en profiler. Il fonda douze bourses au Collége de Moscou: mais les révolutions arrivées depuis l'ont empêché d'aller plus loin, et une conduite si sage l'a fait accuser d'être Catholique, sur-tout a cause de ses liaisons connues avec M. Jubé» — Бурсье, 1753, с. 350–351)[122].

Этим вельможей, которого Бурсье не называет по имени, был не кто иной, как кн. А. Б. Куракин. Указание на это мы находим в конспективной заметке о деятельности Жюбе в России, составленной янсенистами после его смерти. Здесь говорится, что Жюбе в Москве «пользовался доверием князя Куракина» и убедил его «основать в Московской академии 12 стипендий», причем делается намек на далеко идущие планы; одновременно сообщается, что по совету Жюбе Куракин выписал книги религиозного содержания (псалтыри и сочинения св. Отцов), которые распространялись в России: «Il a la confiance du prince Kourakin (chambellan de l'impératrice en 1731) luy fait fonder 12 bourses au collège de Moscow (le projet alloit bien plus loin) et faire venir de Kiow et par Kiow, et de Berlin, beaucoup de psautiers, d'ouvrages des S. Pères… grecs & latins, qu'il distribua aux Popes et aux religieux qu'il croyoit être plus en état d'en profiler» — Библ. Труа, № 2156; Арх. Пирлинга, л. 223; ср.: Пирлинг, IV, с. 334)[123].

Как мы знаем, перевод и распространение духовной литературы занимали важное место в планах Сорбонны. Напомним, что Бурсье в письме к Жюбе от 11 июля 1728 г. предлагал ему позаботиться в России о переводе на русский язык «благочестивых книг» («quelques bons livres de piété»), подчеркивая при этом, что кн. А. Б. Куракин «весьма расположен к этому делу» («très-disposé a cela» — Бурсье, 1753, с. 473–474; ср. выше, § **2**). Как видим, это не пустые слова — Куракин деятельно участвует в предприятии Жюбе. Мы знаем, наконец, что переводом «благочестивых сочинений» («ouvrages de piété») занимался под руководством Жюбе еще один русский вельможа — кн. А. Д. Кантемир (Бурсье, 1753, с. 344; ср. выше, § **4**). Итак, русские аристократы занимались распространением янсенистской (или отобранной янсенистами) духовной литературы.

Вместе с тем, янсенисты определенно могли рассчитывать на поддержку и в церковных кругах. Как мы помним, в ответе на предложение о соединении церквей, написанном Стефаном Яворским, вопрос о соединении церквей был непосредственно связан с восстановлением патриаршества в России (см. выше, § **2**). Таким образом, интересы янсенистов в этом отношении совпадали с интересами староцерковной партии: янсенисты, подобно последователям Стефана Яворского, считали реформы Петра I антиканоническими (записки Жюбе — Жюбе, 1992, с. 107; Бурсье, 1753, с. 342; Пирлинг, IV, с. 350)[124]. При этом предполагалось воспользоваться шатким положением Феофана Прокоповича при Петре II: Бурсье сообщал Жюбе в письме от 11 июля 1728 г., что Феофаном недовольны и это ставит на повестку дня вопрос о восстановлении патриаршества («… qu'on est mécontent de lui; qu'il pourra être bien-tût exclus, et qu'on pourra faire un Patriarche» — Бурсье, 1753, с. 474).

Жюбе в Москве вел переговоры с такими яркими представителями староцерковной партии, как Феофилакт Лопатинский, Варлаам Ванатович и Евфимий Колетти (записки Жюбе — Жюбе, 1992, с. 102–103, 107; Бурсье, 1753, с. 345–346; История, 1765, с. 551; Пирлинг, IV, с. 352)[125], так же как, видимо, и с Сильвестром Холмским[126]. Жюбе, между прочим, предлагал русским епископам созвать конференцию для рассмотрения вопроса об объединении церквей, однако такая конференция не состоялась (Бурсье, 1753, с. 355)[127].

В царствование Петра II, который переехал в Москву и явно стремился возродить роль Москвы в противовес Петербургу — в эти годы определенно наблюдается вообще реставрация допетровского быта, — восстановление патриаршества было вполне реальным делом. Во второй сатире Кантемира высмеиваются надежды Георгия Дашкова, мечтающего о патриаршем клобуке (Кантемир, I, с. 32 и 51, 207 и 214; Кантемир, 1956, с. 68 и 77, 369); при этом обсуждаются притязания конкретного лица на патриарший престол, но не сама возможность восстановления патриаршества (о попытках Георгия Дашкова стать патриархом см. еще: Чистович, 1868, с. 229–230, 239). Другими кандидатами на патриарший престол были архиепископ Феофилакт Лопатинский (Чистович, 1868, с. 229–230) и князь Яков Петрович Долгорукий (Долгоруков, 1867–1871, I, с. 255, 294; Д. Бантыш-Каменский, 1847, I, с. 569). После воцарения Анны Иоанновны появляется еще один кандидат в патриархи — архимандрит Варлаам Высоцкий, духовник императрицы, бывший в свое время и духовником Екатерины I (см.: Соловьев, X, с. 242; Чистович, 1868, с. 274; Харлампович, 1914, с. 479)[128]. Наконец, на патриарший престол, по-видимому, метил также и митрополит Сильвестр Холмский, с которым имел общение Жюбе[129].

Если кандидатуры Феофилакта Лопатинского и Георгия Дашкова были выдвинуты в церковных кругах, то кандидатура Якова Долгорукого, который вообще не был духовным лицом (хотя после смерти жены и вел монашеский образ жизни), объясняется, конечно, родственными связями с семейством Долгоруких[130]. Существенно вместе с тем, что Яков Долгорукий был родным братом кн. С. П. Долгорукого, мужа И. П. Долгорукой (см.: Долгоруков, I, с. 92; Долгоруков, 1840, с. 42; Долгоруков, 1867–1871, I, с. 5, 255, 294); уместно отметить, что он учился в Париже у иезуитов и получил воспитание в католическом духе; при этом, по словам Жюбе, он был разочарован в иезуитах, считая их способными «повредить ум и сердце» («gater l'esprit et le cœur»), что сближало его с янсенистами. Знаменательно при этом, что предложение сделать Я. П. Долгорукого патриархом исходит от Жюбе (записки Жюбе — Жюбе, 1992, с. 92, 138, 230; Бурсье, 1753, с. 342; Пирлинг, IV, с. 350–351).

Итак, Жюбе в Москве имел контакты с представителями староцерковной партии, т. е. с последователями Стефана Яворского и противниками Феофана Прокоповича. Что касается Феофана, то между ним и Жюбе, казалось бы, не должно было быть ничего общего. Сорбонна не без основания видела в Феофане Прокоповиче противника соединения церквей. Еще в 1728 г. в Париже А. Б. Куракин, по-видимому, информировал Жюбе об отношении Феофана к идее соединения

церквей и о его склонности к лютеранству (Бурсье, 1753, с. 296). Как мы помним, Сорбонна получила два ответа на свое предложение, причем ответ, на котором стояло имя Феофана, был по существу вежливым отказом вступить в диалог (см. выше, § **2**). Надо полагать, что представители староцерковной партии, с которыми общался Жюбе, сообщили ему о том, что автором первого ответа был Феофан Прокопович, а автором другого ответа, который давал основания для начала диалога, — Стефан Яворский. Во всяком случае, Жюбе определенно был осведомлен об авторстве Феофана; по его мнению, Феофан высказался в своем ответе за сношения с восточными патриархами только для того, чтобы оттянуть дело (Бурсье, 1753, с. 298). Именно Феофан, как считает Бурсье, передал копию письма Сорбонны протестантскому богослову Буддею, который уже в 1719 г. издал в Йене сочинение, посвященное критике предложения Сорбонны (там же, с. 297–299; ср.: Буддей, 1719; Буддей, 1719а)[131]. В свою очередь Жюбе сообщал в своих донесениях из Москвы, что он подговорил одного монаха написать обличение на катехизис, составленный Феофаном (Бурсье, 1753, с. 348–350; ср. конспективную записку о деятельности Жюбе в России — Библ. Труа, № 2156; Арх. Пирлинга, л. 222)[132]. По словам Жюбе, Феофан был непосредственно заинтересован в том, чтобы соединение церквей не осуществилось, поскольку в этом случае он неминуемо потерял бы авторитет фактического главы Синода (Бурсье, 1753, с. 298, 348).

Тем не менее, вопреки ожиданиям мы видим, что в кругу русских сотрудников Жюбе наблюдается определенный интерес к Феофану. Это верно, в частности, в отношении Кантемира, Вешнякова, Тредиаковского. Первая сатира Кантемира (конец 1729 г.), как известно, написана в поддержку Феофана Прокоповича (Пумпянский, 1941, с. 181–182; ср.: Чистович, 1868, с. 607–612). Эта сатира была создана в период тесного общения Кантемира и Жюбе, и замечательно, что янсенисты сочувственно отнеслись к ней: Жюбе считал, по-видимому, что это произведение обличает вообще невежество и нежелание учиться[133], тогда как по мнению голландских янсенистов, которые опубликовали в 1744 г. перевод отрывка из этой сатиры (см. выше, § **4**), оно в равной мере было направлено против православных и католических ханжей — под последними, очевидно, имелись в виду противники янсенистов, в частности иезуиты и т. п. (Грасгоф, 1963, с. 3–4; Грасгоф, 1963а, с. 103–104; Грасгоф, 1966, с. 67)[134]. Характерно, что Вешняков переводит первую сатиру Кантемира на французский язык (см. выше, § **4**)[135]. Отношение Тредиаковского к Феофану Прокоповичу будет рассмотрено ниже (см. § **6**).

Интерес к Феофану Прокоповичу в кругу русских сотрудников Жюбе вполне понятен: их привлекала, конечно, роль Феофана как культурного деятеля. Все это были люди западной ориентации, и в контексте этой ориентации для них могли быть не столь важны протестантские черты идеологии Феофана. Представляется вероятным, что те черты Феофана Прокоповича, которые давали повод обвинять его в протестантизме, воспринимались Тредиаковским и его единомышленниками через призму янсенизма (ср.: Успенский, 1985, с. 131 — наст. изд., с. 118). Несомненно во всяком случае, что этих людей интересовала не

столько экклезиологическая, сколько просветительская сторона деятельности Феофана; само собой разумеется при этом, что их католических коллег интересовала именно экклезиологическая, но никак не культурно-идеологическая позиция Прокоповича[136].

§ 6. Тредиаковский в России

В 1730 г. после воцарения Анны Иоанновны положение Жюбе резко ухудшилось и связь с ним стала опасной. В марте 1730 г. Жюбе сообщает своим французским корреспондентам, чтобы они не писали ему больше; в августе 1731 г. Жюбе приказано покинуть Россию; в начале 1732 г. он выезжает из Москвы и в марте 1732 г. прибывает в Варшаву (Пирлинг, IV, с. 359, 365; Бурсье, 1753, с. 358–363)[137]. Жюбе сначала направился в Голландию, но в 1740-е гг. жил во Франции (в окрестностях Парижа), где и скончался в 1745 г. (Пирлинг, IV, с. 365, 370)[138].

Тредиаковский возвращается в Россию после падения Долгоруких, и нет ничего удивительного в том, что в годы правления Анны Иоанновны он не активизировал своих связей — напротив, он должен был их скрывать (как он скрывал, если верить Миллеру, помощь капуцинов в отъезде за границу — см. выше, § **3**). Вместе с тем связи, приобретенные за границей, оказались ему весьма полезны в России.

По возвращении из-за границы в сентябре 1730 г. Тредиаковский останавливается в Петербурге, чтобы напечатать в типографии Академии наук «Езду в остров Любви», посвященную князю А. Б. Куракину[139]. По правдоподобному предположению Г.-Ф. Миллера (Мат. АН, VI, с. 172, ср. с. 231), эта книга была напечатана на деньги Куракина[140]. Куракин, как мы помним, уже 30 октября 1730 г. извещает Вешнякова о возвращении Тредиаковского в Россию и о том, что «Езда в остров Любви» печатается при Академии наук (см. выше, § **4**). Замечательно, что на титульном листе этой книги, вышедшей в декабре 1730 г. (см. об этом: Успенский, 1985, с. 129, 137, примеч. 105, 123 — наст. изд., с. 156, 160, примеч. 114, 132) Тредиаковский назван «студентом», — как это подтверждают и другие документы, в 1730 г. он уже числится студентом Академии наук (см. выше, § **1**).

Сразу же после выхода «Езды в остров Любви» Тредиаковский отправляется в Москву, чтобы поднести эту книгу своему покровителю. В Москву он прибывает 3 января 1731 г. и останавливается в доме Куракина, который с большим удовлетворением встречает посвященную ему книгу (письмо Тредиаковского к И.-Д. Шумахеру от начала января 1731 г. — Письма XVIII в., с. 44). Уже в это время положение Тредиаковского при Академии наук определено: советник И.-Д. Шумахер, которому принадлежит реальная власть в Академии, явно перед ним заискивает — это видно из их переписки, касающейся «Езды в остров Любви» (Письма XVIII в., с. 44–48; Пекарский, II, с. 26–27). В частности, в письме от 1 февраля 1731 г. Шумахер советует Тредиаковскому побывать у президента Академии наук (Л. Блюментроста), намекая, что он может рассчитывать на благосклонное

отношение президента. «Радуюсь превосходному успеху Вашей книги среди умных людей не только из любви к Вам, но и в отношении к нам. Хорошо известно, что как скоро поэзия и музыка начнут смягчать нравы народа, каким бы варварским он ни был, владетели после того сумеют извлечь отсюда пользу. … Не захотите ли… перевести…, что Вам заблагорассудится, ибо все, что ни явится от Вас, нас очаровывает и знатоков услаждает. Вы мне не пишете, видели ли Вы нашего президента: он великий знаток, очень вежлив и всегда готов принимать умных людей, так что Вы хорошо сделаете, если побываете у него» («Je me réjouis du bon succés que votre livre a produit parmi les gens d'esprit non seulement pour l'amour de vous, mais aussi par rapport a nous. Sachant bien que quand une fois la poésie et la musique commencent a adoucir les moeurs d'une nation, quelque barbare qu'elle n'était, les princes trouveront bien leur compte après. … Aimeriez vous… a traduire… tout ce qui vous plaira, car tout ce qui vient de vous nous charme et chatouille ceux qui s'y connaossent. Vous ne m'avez pas marqué, si vous avez vu notre président ou non. Il est grand connaisseur et bien poli, toujours prêt a recevoir les gens d'esprit en sorte que vous feriez bien de ne le pas manquer» — Пекарский, II, с. 25–27). Отвечая на это письмо, Тредиаковский пишет Шумахеру 4 марта 1731 г.: «Хотя я постоянно был столь несчастлив, что не мог ни разу иметь случая видеть господина президента у него на дому для уверения его в глубочайшем почтении — тем более что это является моей обязанностью, — однако я имел честь исполнить свой долг по отношению к нему в доме, даже в покоях ее королевского высочества принцессы Екатерины, которая оказывает мне милости, превосходящие все мои ожидания…» («Quoique je fusse, Monsieur, toujours malheureux pour pouvoir attraper une seule fois l'occasion de voir Monsieur le président chez lui, et en même temps de l'assurer de mes très humbles respects d'autant plus, que c'étoit mon devoir; cependent j'ai eu l'hon-neur de m'en acquitter a son égard a l'hôtel, même dans la chambre de Son Al. Royale M-me la Princesse Catherine, laquelle me fait de telles grâces, qui passèrent mes espérances…» — там же, с. 27–28).

В письме к А. А. Вешнякову от 6 мая 1732 г. Тредиаковский сообщает, что он является «ассоциатом» («associé»), т. е. адъюнктом Академии наук («l'academie des sciences, où je suis en qualité d'Associé» — МИД АВПР, ф. Константинопольская миссия, 1730–1735, д. 39, л. 267). Соответственно, и Шумахер, отдавая 4 декабря 1732 г. распоряжение о публикации «Панегирика» Тредиаковского (см. изд.: Тредиаковский, 1732), именует Тредиаковского «адъюнктом» (Мат. АН, II, с. 213); так же называет себя и сам Тредиаковский в письме к гр. С. А. Салтыкову от 20 декабря 1732 г. (Забелин, 1858, стлб. 555–556). Особенно любопытна записка Тредиаковского от 10 сентября 1733 г., предшествующая контракту с Академией наук, где Тредиаковский формулирует те условия, на которых он согласен занять должность «ассоциата или, как говорят, адъюнкта» («associati, seu, ut vulgy, adjuncti» — Мат. АН, II, с. 380). Записка эта отличается решительным и безапелляционным тоном. Все условия, выдвинутые Тредиаковским, были приняты, и через месяц, 14 октября 1733 г., с ним подписывают контракт (Мат. АН,

II, с. 393; Пекарский, II, с. 43). Тредиаковский в конце концов останавливается на титуле секретаря Академии, предпочитая его титулу ассоциата или адъюнкта, — инициатива принятия этого титула принадлежала Тредиаковскому, который, по-видимому, уподоблял свою роль в петербургской Академии наук той, какую играл Фонтенель в парижской Академии наук (Успенский, 1985, с. 148–149 — наст. изд., с. 127)[141]. Как видим, перед Тредиаковским в это время открыты широкие возможности.

Вместе с тем, в начале 1730-х гг. Тредиаковский вращается в придворной среде (ср.: Успенский, 1985, с. 136–139 — наст. изд., с. 121–122). В письме к Шумахеру от начала января 1731 г., написанном сразу по прибытии в Москву[142], он сообщает своему корреспонденту, что надеется быть представленным императрице и преподнести ей «Езду в остров Любви» (Письма XVIII в., с. 44–45). Из другого письма к Шумахеру (письмо от 4 марта 1731 г., которое мы частично цитировали выше), мы узнаем, что Тредиаковский принят в доме Екатерины Иоанновны, герцогини Мекленбургской — сестры императрицы и матери будущей регентши Анны Леопольдовны, — и что она обещает представить его императрице (Пекарский, II, с. 27–28). Тредиаковский был представлен императрице в январе 1732 г., когда по случаю переезда Анны Иоанновны из Москвы в Петербург он произносит «Речь поздравительную Ея Императорскому Величеству по благополучном Ея прибытии в Санктпетербург» (Тредиаковский, 1732, с. 16–17; ср.: Пекарский, II, с. 30–31)[143]; после произнесения «Речи…» Тредиаковский по желанию императрицы сочиняет посвященные ей похвальное слово и стихи; все это было прочитано перед императрицей в день ее именин 3 февраля 1732 г. (Тредиаковский, 1732, с. 1–14; Тредиаковский, 1963, с. 125–126; ср.: Пекарский, II, с. 31–32; Мат. АН, II, с. 213; Строчков, 1963, с. 484)[144]. Равным образом Тредиаковский пишет стихи в честь прибытия в Петербург Екатерины Иоанновны и подносит ей эти стихи («Стихи Ея Высочеству государыне царевне и великой княжне Екатерине Иоанновне герцогине Меклембург-Шверингской, для благополучнаго Ея прибытия в Санктпетербург сочиненныя и Ея Высочеству поднесенныя» (Тредиаковский, 1732, с. 18–19; Тредиаковский, 1963, с. 127–128)[145]. В декабре 1732 г. по распоряжению императрицы эти произведения Тредиаковского были напечатаны в виде отдельной книги («Панегирик, или Слово похвальное…» — Мат. АН, II, с. 213). Наконец, Тредиаковский сочиняет духовные концерты, посвященные императрице и ее сестре (Успенский, 1985, с. 128 — наст. изд., с. 116–117). И позднее Тредиаковский был принят при дворе: так, по случаю нового, 1733 года он сочиняет «песнь», прославляющую императрицу, которая и была исполнена в ее присутствии 1 января 1733 г. («Песнь, сочиненная на голос, и петая пред Ея Императорским Величеством Анною Иоанновною, самодержицею всероссийскою» — Тредиаковский, 1735а, с. 74–79; Тредиаковский, 1963, с. 412–414; ср.: Пекарский, II, с. 38; Строчков, 1963, с. 534). Можно сказать, что Тредиаковский претендует на роль придворного поэта[146]; не случайно его произведения пользуются популярностью при дворе[147]. Следует предположить, что переезд Тредиаковского в Петербург связан с переездом туда двора (подоб-

но тому как его пребывание в Москве в 1731 г. в конечном счете связано с местонахождением здесь двора)[148].

Вполне закономерно в этой связи, что Тредиаковскому поручается преподавать русский язык принцу Антону-Ульриху, жениху Анны Леопольдовны (Пекарский, II, с. 58); это весьма ответственная и почетная обязанность. Равным образом он обучал русскому языку президента Академии наук Г. Кейзерлинга (Пекарский, I, с. 501; Пекарский, II, с. 43–44) — именно при Кейзерлинге, кстати сказать, Тредиаковский становится секретарем Академии наук.

Итак, недавние связи Тредиаковского обеспечивают ему многообещающее положение при дворе и в Академии наук.

Характерно, что Тредиаковский живет в Москве у Куракина (этот адрес фигурирует в письмах к Шумахеру от начала января и от 27 января 1731 г. — Письма XVIII в., с. 44, 47–48), а затем у С. К. Нарышкина (см. письмо к Шумахеру от 4 марта 1731 г. — Пекарский, II, с. 28–29). С. К. Нарышкин принадлежит к тому кружку русских дипломатов, о котором мы говорили выше (см. § **4**); между прочим, он близко знаком с Кантемиром и при этом определенно интересуется католицизмом (Лозинский, 1925, с. 241 сл.).

Можно предположить, что связь Тредиаковского с И. П. Долгорукой содействовала его знакомству с вице-канцлером гр. М. И. Воронцовым, которому он посвящает в 1745 г. свое «Слово о витийстве». Воронцов (вместе с Куракиным) в 1747 г. оказывает Тредиаковскому материальную помощь после случившегося у того пожара (см. об этом в письме Тредиаковского к Делилю от 13 декабря 1747 г. — Письма XVIII в., с. 55, 57; о пожаре — Пекарский, II, с. 121–122); в том же году вице-канцлер является (вместе с Н. И. Паниным) участником лотереи, целью которой было собрать средства для издания «Разговора об ортографии» Тредиаковского (Архив Воронцова, VII, с. 459–460; А. Шишкин, 1983, с. 236; ср. еще об этой лотерее: Тредиаковский, III, с. [779]; Винокур, 1959, с. 469). Действительно, И. П. Долгорукая и М. И. Воронцов были как-то связаны. В переписке И. П. Долгорукой с Жюбе регулярно упоминается вице-канцлер, т. е. Воронцов (см., например, письмо от 19 февраля / 1 марта 1745 г. — ЦГИА, ф. 931, оп. 2, № 7, л. 18). Характерно, что старший сын Долгорукой посылает из Парижа стихи прямо вице-канцлеру, который показывает их императрице Елизавете (см. там же, л. 15).

Одновременно у Тредиаковского находятся покровители и в духовной среде. Правда, его «Езда в остров Любви» вызвала ожесточенные нападки некоторых духовных лиц, которые нашли эту книгу безнравственной; но знаменательно, что, сообщая об этом в письме к Шумахеру от 18 января 1731 г., Тредиаковский подчеркивает, что всё это люди «незначительные» («ils sont d’une très petite conséquence»), которые никак не могут ему навредить: «Но оставим этим тартюфам их суеверное бешенство: они не из тех, кто может мне навредить, ведь это подонки, которых в просторечии зовут попами» («Mais passons a ces Tartufes leur folie superstitieuse; ils ne sont pas de ceux qui peuvent me nuire, car c’est la lie que l’on appelle vulgairement les pops» — Малеин, 1928, с. 431; Письма XVIII в., с. 45–

46). Слово *подонки* («la lie») означает при этом социальную характеристику, т. е. относится к низшим слоям общества. Совершенно ясно, тем самым, что речь не идет о представителях высшего духовенства; в то же время здесь отмечается, что другие представители духовенства благожелательно относятся к книге, подобно тому как ею довольны и придворные. Во всяком случае, Тредиаковский был более или менее близко знаком с очень влиятельными духовными лицами и, по-видимому, пользовался их расположением. Особого упоминания заслуживают отношения Тредиаковского с Феофаном Прокоповичем и с Петром Смеличем.

Мы не знаем, когда именно Тредиаковский познакомился с Феофаном Прокоповичем[149]; как бы то ни было, к 1732 г. знакомство уже определенно состоялось (см. ниже). По свидетельству Г. Н. Теплова, Тредиаковский был принят в доме Феофана (записка о Тредиаковском 1755 г. — Теплов, 1868, с. 78). Благожелательное отношение Феофана Прокоповича к Тредиаковскому в какой-то мере может объясняться близостью последнего к кн. А. Б. Куракину, позиции которого при дворе были очень сильны. Вполне возможно, что Феофан, который пользовался большим авторитетом в петербургской Академии наук, так или иначе способствовал определению Тредиаковского в Академию (о влиянии Феофана в Академии наук см., например: Чистович, 1868, с. 617–625)[150].

Отношения Тредиаковского и Феофана Прокоповича очень отчетливо проявились в 1732 г. при столкновении Тредиаковского с архимандритом Платоном Малиновским (впоследствии, в 1748–1754 гг., московским архиепископом). С Платоном Тредиаковский был знаком еще до отъезда за границу, поскольку тот с 1724 по 1727 г. был префектом московской Академии (С. Смирнов, 1855, с. 208). После возвращения из-за границы Тредиаковский встретился с Платоном в Москве в 1731 г. — видимо, сразу же по прибытии в Москву, в январе 1731 г. — у ректора Славяно-греко-латинской академии архимандрита Германа Копцевича (впоследствии, в 1731–1735 гг., архангелогородского епископа), причем уже тогда Платон обвинил Тредиаковского в неправославии, предположив, что тот заразился вольномыслием за границей. Согласно позднейшему отчету об этой встрече, Платон и Герман «спрашивали… Тредиаковского: каковы учении в чюжих странах он произошел? И Тредиаковской-де сказывал, что слушал он философию. И по разговорам о объявленной философии во окончании пришло так, что та философия самая отейская, яко бы Бога нет. И слыша-де о такой отейской философии, разсуждал он, Малиновской, и означенной епископ Герман, что и оной Тредиаковской, по слушании той философии, может быть во оном не без повреждения» («Экстракт о бывшем архимандрите Платоне Малиновском» — ЦГАДА, ф. 7, Преображенский приказ, № 515, л. 2; ср.: Пекарский, II, с. 30; Чистович, 1868, с. 384; Успенский, 1985, с. 128–130 — наст. изд., с. 117–118)[151]. Речь могла при этом идти как о рационалистической (картезианской) философии, с которой Тредиаковский познакомился в Парижском университете, так и о западном богословии, которому Тредиаковский учился в Сорбонне (ср. выше, § **1**). Другая встреча произошла после переезда Тредиаковского в Петербург. На этот раз поводом для столкновения Тредиаковского с Платоном Малиновским яви-

лась некая «псалма», сочиненная Тредиаковским, т. е. песнь духовного содержания[152], которую Тредиаковский пропел в присутствии духовных особ; дело происходило в монастырской слободе Александро-Невского монастыря («Невского монастыря в подмонастырской слободе у попа Василия»), причем среди присутствовавших был архимандрит этого монастыря Петр Смелич; на встрече присутствовали все члены Синода. К сожалению, до нас не дошел текст «псалмы» Тредиаковского, спровоцировавшей это столкновение, и мы можем догадываться о ее содержании лишь по позднейшему документу («Экстракт о бывшем архимандрите Платоне Малиновском» — ЦГАДА, ф. 7, № 515), который при этом сильно поврежден и содержит невосстановимые лакуны[153]. Вот что говорится в этом документе: «При пении Тредиаковским сочинения своего псалмы, оной Малиновской, для лучшаго вразумления, велел тое псалму оному Тредиаковскому 〈…〉 говорил, что оная псалма вере нашей противная и еретическая: вот бы он сочинял девичьи песни 〈…〉 когда кому не бес пролития крови отмстится, и многажды повторяя: кровию кровь-де это разве очистит. Не думайте-де 〈…〉 чтоб вам, бывши в чюжих краях и приехав, церковь православную порочить своими ересми. Дай Боже, всемилостивейшей государыне императрице здравие и прочим православным: прольется и ваша еретическая кровь! Право-де Бог ето даст» (ЦГАДА, ф. 7, № 515, л. 1; Пекарский, II, с. 36–37; ср.: Чистович, 1868, с. 385). Платон Малиновский говорил при этом: «Не его [Тредиаковского] 〈…〉 дело богословские сочинять вещи, для которых 〈…〉 многие имеются достойнейшие» (ЦГАДА, ф. 7, № 515, л. 1 об.; Пекарский, II, с. 37). Платона поддержал чудовский архимандрит Евфимий Колетти, который сказал, что в «псалме» Тредиаковского «подлинно… много противности нашей греческой православной церкви» (там же)[154]. Замечание о том, что лучше бы Тредиаковский «сочинял девичьи песни», явно намекает на «Езду в остров Любви», к которой Платон, видимо, вообще относился критически (см.: Успенский, 1985, с. 130 — наст. изд., с. 118).

Это последнее столкновение было спровоцировано, в сущности, самим Тредиаковским — всем его поведением во время этой встречи. В свою очередь, за действиями Тредиаковского стоял не кто иной, как Феофан Прокопович — именно Феофан, по всей видимости, и был режиссером всей сцены. Действительно, описанному эпизоду — столкновению насчет «псалмы» — предшествовали события, в которых вполне отчетливо выступает роль Феофана.

Последовательность событий восстанавливается таким образом[155]. Собравшись в монастырской слободе («на невском подворье… в компании у архимандрита Петра»), члены Синода прослушали духовный концерт великомученице Екатерине; автором этого концерта был, по-видимому, Тредиаковский (см. об этом: Успенский, 1985, с. 128 — наст. изд., с. 116), который был, вообще говоря, духовным композитором (см.: Сохраненкова, 1987), — и это обстоятельство объясняет его присутствие на данном собрании. После того как концерт был исполнен, Тредиаковский по поручению Феофана Прокоповича публично прочел сатиру, направленную против сторонников Стефана Яворского. Ср.: «И тогда-де пение было певчими концерт великомученицы Екатерины. А после-де пения по-

мянутой Тредиаковской, выняв у себя тетрать, и подал покойному Феофану, архиепископу новгородцкому. И оной Феофан, архиепископ, велел тое тетрать оному Тредиаковскому прочесть вслух, и Тредиаковский-де читал. В которой-де писано было стихи, зовомые сатиры, и во оных написана была укоризна на великороссийских богословия учителей, якобы они ничего не знают: ⟨…⟩ как прочтут книгу Камень веры, то-де учение в себе полагают и мудрыми себя ставят, и прочее ко укоризне учителем было писано ж» (ЦГАДА, ф. 7, № 515, л. 1 об. – 2; Пекарский, II, с. 37–38). Речь, конечно, идет о первой сатире Кантемира («На хулящих учение. К уму своему»), в первой редакции которой имелись выпады как против безграмотного духовенства, так и непосредственно против «Камня веры» Стефана Яворского (Кантемир, I, с. 190–191, ср. с. 199).

Создается впечатление, что члены Синода были созваны специально для прослушивания духовного концерта, посвященного Екатерине Иоанновне; исполнение концерта Тредиаковского в присутствии всего Синода приобретало официальный характер, и подобным же образом могло восприниматься публичное прочтение стихов Кантемира. Несомненно, это произошло по инициативе Феофана Прокоповича; все это выглядит как заранее продуманная акция, где Феофан был режиссером, а Тредиаковский — исполнителем.

Необходимо иметь в виду, что как Платон Малиновский, так и Евфимий Колетти были противниками Феофана Прокоповича и принадлежали к направлению Стефана Яворского и Феофилакта Лопатинского; вскоре им пришлось поплатиться за свои убеждения (Чистович, 1868, с. 299, 332, 371, 375, 379–380, 425, 430–434, 443)[156]. Вполне естественно, что Платон обратил свой гнев на Тредиаковского: когда Тредиаковский исполнил вслед за тем свою «псалму», Платон резко на нее отреагировал, подчеркнув при этом свою лояльность по отношению к императрице (это было тем более необходимо, что императрица поддерживала противников староцерковной партии). Давая впоследствии показания по этому делу, Платон Малиновский объяснял, «что он, Малиновской, про означенного Тредиаковского слова такие: не ево-де дело богословские сочинять вещи, для которых-де многие имеются достойнейшие, говорил, озлобясь на того Тредиаковского», — далее следовало упоминание прочитанных Тредиаковским «сатир» (ЦГАДА, ф. 7, № 515, л. 1 об.; Пекарский, II, с. 37). Вполне вероятно, что Платон считал Тредиаковского автором этой «сатиры» и что ее содержание как-то объединилось в его сознании с содержанием «псалмы» Тредиаковского.

Уже на следующий день Платон Малиновский просил у Тредиаковского прощения (ЦГАДА, ф. 7, № 515, л. 2 об.; Пекарский, II, с. 37; Чистович, 1868, с. 385)[157]; надо полагать, что это объясняется вмешательством Феофана Прокоповича или, по крайней мере, страхом перед Феофаном (ср.: Успенский, 1985, с. 127 — наст. изд., с. 115).

Описываемые события происходили не позднее августа 1732 г.: 10 августа был арестован Евфимий Колетти, 12 августа — Платон Малиновский (Чистович, 1868, с. 425), а 19 августа была запрещена книга Стефана Яворского (см. указ Анны Иоанновны гр. С. А. Салтыкову от 19 августа 1732 г. о конфискации «Камня

веры» — Кудрявцев, 1878, с. 45; «Древняя и новая Россия», 1879, № 1, стлб. 77–78)[158]. Вместе с тем, они не могли происходить ранее 1732 г., поскольку, видимо, в этом году — или в самом конце 1731 г. — Тредиаковский переезжает из Москвы в Петербург[159]; равным образом и Феофан Прокопович вместе со всем Синодом до 1732 г. находился в Москве (Чистович, 1868, с. 740, примеч.).

Позиция Тредиаковского, таким образом, очень существенно отличается от позиции Жюбе. Если Жюбе, как мы знаем, вел переговоры с представителями староцерковной партии, в частности с Евфимием Колетти (см. выше, § **5**), то Тредиаковский предстает как противник этой партии и сторонник Феофана Прокоповича. Ситуация изменилась: в 1732 г. Жюбе покидает Россию, в этом же году, как мы увидим, императрица высылает из Москвы кн. И. П. Долгорукую, и вместе с тем, сторонники Феофана Прокоповича явно одерживают верх над последователями Стефана Яворского. Едва ли, однако, позиция Тредиаковского определяется исключительно прагматическими соображениями. Тредиаковского и Феофана Прокоповича объединяет общая культурная программа. Более того, Тредиаковский явно находится в это время под влиянием Феофана, что проявляется, в частности, в его языковых установках; здесь необходимо отметить, что языковые вопросы, в частности отношение к церковнославянскому и к русскому языку, играют исключительно важную роль в русском культурном самосознании XVIII и начала XIX в. — то или иное решение этих вопросов, как правило, отражает более общую культурную установку (Успенский, 1985, с. 3–5 — наст. изд., с. 11–13; ср.: Лотман и Успенский, 1975/1996). Не случайно уже осенью 1730 г. Тредиаковский цитирует «Духовный регламент» Феофана в предисловии к «Езде в остров Любви»: именно к «Духовному регламенту» восходит известное заявление Тредиаковского о том, что «язык славенскои в нынешнем веке у нас очюнь темен» (Тредиаковский, III, с. 649; ср.: Успенский, 1985, с. 75, 123–124 — наст. изд., с. 82, 113–114); при этом еще за десять лет до этого выступления Тредиаковского Феофан заявлял о себе как стороннике «просторечия» и противнике «славенского высокого диалекта» («Первое учение отроком…» 1720 г., см.: Феофан Прокопович, 1721, л. 4 об. – 5; ср.: Успенский, 1983/1994, с. 95, 111–112, 199–200; Успенский, 1985, с. 122–126 — наст. изд., с. 112–115). Той же осенью 1730 г. Адодуров знакомит Тредиаковского с латинской одой Феофана Прокоповича, посвященной коронации Петра II, которая производит на Тредиаковского очень сильное впечатление (Тредиаковский, 1734, л. В/2 об.; ср.: Успенский, 1975, с. 64–65; Успенский, 1974/1997, с. 617 — наст. изд., с. 520). Отметим еще в этой связи крайне уважительное упоминание Тредиаковского о Феофане Прокоповиче в «Речи к членам Российского собрания» 1735 г. (Тредиаковский, 1735, с. 13; ср.: Успенский, 1985, с. 132–133 — наст. изд., с. 119).

Если в глазах Жюбе Феофан Прокопович выглядел прежде всего как противник католицизма, то в глазах Тредиаковского (так же, как и Кантемира) он представал в первую очередь как культуртрегер, продолжатель петровских культурных реформ. В этой перспективе представители староцерковной партии должны были восприниматься как закоснелые ретрограды — они выглядели примерно

так же, как выглядят старообрядцы в глазах православного духовенства. Вообще, если для Жюбе или Бурсье основным было противопоставление католического и не-католического, то для Тредиаковского или Кантемира основным было противопоставление культурного и не-культурного (просвещенного — непросвещенного). В контексте общей ориентации на западную культуру различия между католической и протестантской идеологией представали как вторичные; тем самым антикатолическая настроенность Феофана Прокоповича, его склонность к протестантизму не мешали Тредиаковскому, как и Кантемиру, видеть в нем единомышленника.

Особенно тесно Тредиаковский был связан с Петром Смеличем — сербом по происхождению, который с 1713 по 1725 г. был архимандритом Симонова монастыря в Москве, с 1725 по 1736 г. — архимандритом Александро-Невского монастыря в Петербурге, а с 1736 по 1742 г. — белгородским епископом и затем архиепископом (Скворцов, 1878; Харлампович, 1914, с. 543, 588; Лебедев, 1902, с. 55); Александро-Невскому монастырю в это время принадлежало первенствующее место среди русских монастырей (Рункевич, 1913, с. 388–389), и на иерархической лестнице Петр Смелич занимал место выше архимандрита Троице-Сергиева монастыря. При учреждении Синода Петр Смелич был назначен его первым советником (Скворцов, 1878, с. 30); Петр был вообще одной из самых влиятельных фигур в русском духовенстве (Рункевич, 1913, с. 383, 385). В свое время Петр Смелич поддерживал Стефана Яворского: в 1715 г. он выступал против Тверитинова (Тихонравов, II, с. 220, 299). Между тем, позднее он ориентируется, по-видимому, на Феофана Прокоповича[160]. Существенно, что во время столкновения Тредиаковского с Платоном Малиновским, о котором мы говорили, Петр Смелич выступает на стороне Тредиаковского: он защищает Тредиаковского, утверждая, что сочиненная последним «песнь… никаковой ереси в себе не имеет»; в результате он сам оказывается мишенью для обвинений: «и на то-де Колетти [архимандрит Евфимий Колетти, сторонник Платона Малиновского]… Петра поносил, что он ничего не знает и не смыслит, а то-де подлинно тут много противности нашей греческой православной церкви» (ЦГАДА, ф. 7, № 515, л. 1, 1 об.; ср.: Пекарский, II, с. 37; Чистович, 1868, с. 385). Именно «на невском подворье… в компании у архимандрита Петра», т. е. в подворье Александро-Невского монастыря, Тредиаковский публично читает по поручению Феофана Прокоповича первую сатиру Кантемира (см. там же); если согласиться с предположением о том, что это была заранее запланированная акция, то надо полагать, что она была согласована с настоятелем монастыря. При Петре Смеличе и, по всей вероятности, по его приглашению Тредиаковский жил в Александро-Невском монастыре. Г. Н. Теплов в записке о Тредиаковском 1755 года упоминает о «переводе Роллена, который им [Тредиаковским] еще в Невском монастыре прежде профессорства его окончан» (Теплов, 1868, с. 77); первый том «Древней истории» Роллена был переведен Тредиаковским в 1737 г. (Мат. АН, V, с. 976; ср.: Мат. АН, III, с. 629), когда Петр Смелич был уже в Белгороде, но естественно предположить, что Тредиаковский поселился в монастыре еще в то

время, когда Петр Смелич был там настоятелем. По-видимому, он жил там уже с 1732 г.: действительно, когда Платон Малиновский решил просить прощения у Тредиаковского, он отправился к обедне в Александро-Невский монастырь — явно рассчитывая найти там Тредиаковского (ЦГАДА, ф. 7, № 515, л. 1 об., 2 об.; Пекарский, II, с. 37). После перевода Петра Смелича в Белгород на архиерейскую кафедру (в 1736 г.) Тредиаковский, находясь в стесненных обстоятельствах, уезжает к нему и живет в Белгороде с февраля 1738 по февраль 1739 г. (Пекарский, II, с. 72–76; Мат. АН, III, с. 619–622, 638; Мат. АН, IV, с. 39–40). В 1737–1739 гг. Тредиаковский выполняет ряд поручений Петра Смелича[161].

Есть основания полагать, что Петр Смелич примыкал к той же культурной программе, которая объединяла Тредиаковского и Феофана Прокоповича. Это проявляется опять-таки в языковых установках: подобно Тредиаковскому и Феофану Прокоповичу, Петр Смелич является в принципе сторонником ориентации на разговорное употребление и противником церковнославянской языковой стихии[162]. Кажется, что это совпадение не случайно[163].

Для более позднего времени мы располагаем сведениями о знакомстве Тредиаковского и с другими представителями высшего духовенства — такими, например, как Феодосий Янковский, бывший в 1743–1745 гг. наместником Троице-Сергиева монастыря, а в 1745–1750 гг. — архиепископом Санкт-Петербургским (Харлампович, 1914, с. 563, 588); из письма Тредиаковского к Шумахеру 1749 г. явствует, что отношения между Тредиаковским и Феодосием были достаточно короткими (Пекарский, II, с. 146–147)[164]. Феодосий Янковский долгое время служил в Белгородской епархии (Харлампович, 1914, с. 543, 617; Лебедев, 1902, с. 36, примеч.), и Тредиаковский, вероятно, познакомился с ним в Белгороде в 1738–1739 гг. — при посредничестве Петра Смелича.

Итак, положение в обществе дает возможность Тредиаковскому заручиться связями в духовной среде. Эти связи в дальнейшем окажутся ему очень полезными. Так, благодаря аттестату, выданному Синодом в 1743 г., Тредиаковский смог получить (в 1745 г.) звание профессора петербургской Академии наук и таким образом стать ее полноправным членом (Пекарский, II, с. 100, 107–108). Особенно благоприятную позицию занял Синод в 1757 г. в отношении издания «Феоптии» Тредиаковского и его стихотворного переложения Псалтыри, определив всю выручку отдать автору «за таковой его немалой труд и рачение» (А. Шишкин, 1989, с. 481; ср.: А. Шишкин, 1986, с. 35). Как выдача аттестата, так и субсидирование издания были совершенно беспрецедентным явлением[165]. Равным образом в начале 1750-х гг. Тредиаковский получает от члена Синода епископа Гавриила Кременецкого и обер-секретаря Синода Я. Г. Леванидова крайне положительную оценку сочиненного им «Слова о премудрости, благоразумии и добродетели» (Пекарский, II, с. 167–168). Вышеприведенные свидетельства позволяют говорить об определенной близости Тредиаковского к высшей церковной иерархии. Всё это, по-видимому, косвенные следствия того положения в обществе, которое Тредиаковский приобретает, вернувшись из-за границы, и которое в конечном счете объясняется его причастностью к миссии Жюбе.

Личные связи с кн. И. П. Долгорукой отнюдь не мешают Тредиаковскому заявлять в царствование Анны Иоанновны о своей приверженности самодержавному строю, выступая против власти аристократии. Политическое кредо Тредиаковского декларировано в примечании к переведенной им книге Марсильи «Военное состояние Оттоманския империи». В примечании переводчика (Тредиаковского) мы читаем: «Обыкновенно щитается три рода Правлений: Первый называется Монархия, то есть, единоначалие. Сие Правление есть там, где одна токмо Особа самодержавно владеет всеми и всем. Понеже следствия сего Правления всегда благополучны; то несомненно можно зоключить [sic!], что сие токмо Правление премудрейший Творец положил над людьми своими, да и все в нем околичности свидетельствуют, что оное токмо согласно с самым естеством: того ради сей род Правления есть лучший и полезнейший всех прочих. Вторый называется: Аристократия, то есть, благородных Держава. Сей подвержен многим неспокойствам, смятениям, и весьма разоряющим и печальным следствиям, как то видимо в некоторых народах. Третий называется: Демократия, то есть, народная власть, или держава. Сей, не упоминая бывающих в нем непорятков, всякаго смеха достоин, и подобен мирскому сходу наших крестьян» (Тредиаковский, 1737, с. 23, примеч.). Надо полагать, что критика аристократического строя намекает на неудавшуюся попытку Долгоруких и Голицыных (членов Верховного тайного совета) в 1730 г. ограничить власть Анны Иоанновны согласованными с нею «кондициями». Аналогичные намеки содержатся также в «Слове похвальном… Анне Иоанновне», прочитанном перед императрицей в день ее тезоименитства 3 февраля 1732 г. (Тредиаковский, 1732, с. 9–10; ср.: Пекарский, II, с. 32; Строчков, 1963, с. 484), в «Песни…», петой при императрице на новогодних празднествах 1 января 1733 г. (Тредиаковский, 1735а, с. 74–79; Тредиаковский, 1963, с. 412–414; ср.: Строчков, 1963, с. 534–535), и в «Оде приветственной…» на восшествие на престол Анны Иоанновны, написанной в начале 1733 г. (Тредиаковский, 1733; ср.: Пекарский, II, с. 40). Разумеется, критика аристократического правления могла быть продиктована тактическими соображениями (тем более что кн. А. Б. Куракин, покровитель Тредиаковского, был во вражде с Долгорукими): не исключено, однако, что Тредиаковский действительно так думал. Во всяком случае, именно такую позицию занимал Кантемир (а также Феофан Прокопович, Татищев, Волынский), и мы вправе предположить, что взгляды Кантемира и Тредиаковского в данном случае совпадали.

Итак, в царствование Анны Иоанновны Тредиаковский должен был, по-видимому, скрывать прежние контакты с католиками, и прежде всего свою причастность к миссии Жюбе; однако именно благодаря связям, образовавшимся в результате этих контактов, он приобретает положение в обществе.

Значительно хуже, между тем, обстояли дела кн. И. П. Долгорукой. Помимо того, что все Долгорукие при Анне Иоанновне так или иначе подверглись опале, на ней тяготело обвинение в отпадении от православия (что по юридической практике того времени могло повлечь тяжелую кару)[166].

Еще в 1728 г., возвращаясь из Голландии в Россию, кн. И. П. Долгорукая остановилась в Митаве у герцогини Курляндской Анны Иоанновны и — умыш-

ленно или неумышленно — рассказала о своем переходе в католичество (Пирлинг, IV, с. 318, 360; ср.: Бурсье, 1753, с. 332, 359), не подозревая о том, что она говорит с будущей императрицей[167]. Таким образом, вероисповедание Долгорукой не составляло тайны для Анны Иоанновны. После восшествия Анны Иоанновны на престол И. П. Долгорукой и ее семье было приказано покинуть Москву (Долгоруков, 1867–1871, I, с. 364; Д. Бантыш-Каменский, 1847, I, с. 569)[168].

В 1732 г. в дом И. П. Долгорукой в Москве явился начальник тайной канцелярии генерал А. И. Ушаков, с тем чтобы от имени императрицы спросить, почему у нее нет духовного отца, и объявить ей, что она должна исповедоваться и причащаться; с этой целью к ней в тот же день был прислан иеромонах Лука Конашевич, который «объявил, яко она находится в католицком законе» (показания И. П. Долгорукой в Синоде в апреле-мае 1746 г. — Пекарский, 1868, с. 28). Именно после этого, видимо, И. П. Долгорукая и должна была уехать из Москвы. Перед отъездом она виделась с Анной Иоанновной; когда княгиня подошла к руке императрицы, та дала ей пощечину, прибавив: «Пошла вон, мерзавка» (Долгоруков, 1867–1871, I, с. 364). Если мы правильно восстанавливаем последовательность событий, этот инцидент имел место в первых числах января 1732 г., поскольку уже 8 января Анна Иоанновна выехала из Москвы в Петербург («Санктпетербургские ведомости», № 4 от 13 января 1732 г., с. 16)[169]. Долгорукая жила после этого в подмосковном имении Никольском[170]. Лишь с воцарением Елизаветы Петровны она получила возможность вернуться из ссылки (Д. Бантыш-Каменский, 1847, I, с. 570); вскоре после этого (в феврале 1742 г.) она отправила двух своих сыновей (Александра и Владимира) в Париж к Кантемиру и Жюбе (см. выше, § **4**).

Вместе с тем, и при Елизавете Петровне положение И. П. Долгорукой оставалось достаточно сложным. Ее с детьми (Николаем и Анной) заставили публично отречься от католической веры; церемония отречения состоялась в церкви Летнего дворца в присутствии императрицы в день Успения, 15 августа 1744 г. (Соловьев, XI, с. 406)[171]; однако в тексте, который княгиня произнесла по-латыни, фактически содержалось отречение не от католической, а от лютеранской веры (Бурсье, 1753, с. 367; Долгоруков, 1867–1871, I, с. 374; ср.: Пирлинг, IV, с. 386–387)[172]. То, что княгиня осталась верной католичеству, стало известно императрице; 27 марта 1746 г. последовал именной указ взять Долгорукую вместе с детьми в Синод для исследования и увещания (Пекарский, 1868, с. 25–26)[173]. После розыска устным повелением императрицы приказано было кн. С. П. Долгорукого с сыном Николаем сослать в Саввин-Сторожевский монастырь (муж И. П. Долгорукой был сослан на год, а сын — на несколько месяцев), а за женой его и дочерью Анной строжайше наблюдать, чтобы они исполняли все обряды православной церкви (Соловьев, XI, с. 406; Пекарский, 1868, с. 28)[174]. Летом того же года вернулись из Парижа два других сына И. П. Долгорукой — Александр и Владимир; по испытании их в Синоде они оказались в православной вере «не тверды и сумнительны», и их было приказано отправить для утверждения в православии в Александро-Невскую семинарию (Пекарский, 1868, с. 28–29; Чисто-

вич, 1868, с. 373, примеч.). И. П. Долгорукая хотела выехать за границу, однако ей было отказано в паспорте; она собиралась бежать через Смоленск и Польшу в Рим, но заболела и 28 ноября 1751 г. скончалась (Долгоруков, 1867–1871, I, с. 374; Д. Бантыш-Каменский, 1847, I, с. 570)[175].

Судьба кн. И. П. Долгорукой, естественно, волновала близких к ней людей — таких, как Кантемир, Вешняков, Тредиаковский[176]. Ее судьба отразилась, по-видимому, в творчестве А. Д. Кантемира. В приписываемой Кантемиру сатире «На Зоила» изображается Зоил, который всех осуждает:

Если с печальна сердца страждет, лицо в поте —
«Почто с детьми та ходит в французском бармоте?»
Обняла уж их нужда и бедность без меры —
«Не пора ли им отстать католицкой веры?»
(Кантемир, 1956, с. 190)

Есть все основания усматривать здесь образ опальной княгини (ср.: Берков, 1961, с. 219)[177].

Равным образом и Вешняков, находясь за границей, интересуется судьбой И. П. Долгорукой и получает сведения о ней. В частности, он регулярно справляется о И. П. Долгорукой у Федора Погонского, своего доверенного лица в России, давая ему разного рода связанные с ней поручения. Так, 18 октября 1731 г. он писал Погонскому: «… проси княгиню, чтоб она… не прогневалась, что я не пишу, ибо ей невозможно, о чем причины со временем изъясню, тогда сама меня оправить изволит» (МИД АВПР, ф. Константинопольская миссия, 1730–1733, д. 24, л. 16–16 об.); очевидно, переписка с И. П. Долгорукой стала опасной. В письме от 6 мая 1732 г. он поручал Погонскому: «… осведомься лутче также, что княгиня Ирина Петровна, также и при них учитель [имеется в виду Жюбе], о котором слышу, что уже давно в Полше» (там же, л. 54 об.). Между тем, в письме от 29 июня 1732 г. говорится: «Прилагаю при сем писмо ко княгине, которое ты отнеси и отдай ей самой или мамзеле [имеется в виду мадемуазель де Беер (m^{lle} de Beer)[178] — компаньонка И. П. Долгорукой, ревностная католичка, которая приехала к ней из Голландии] при моем всенижайшем поклонении и требуй ответа. О болезни Ея светлости сердечно сожалею, но уповаю, что следствия не имело [под „болезнью“ имеется в виду, несомненно, опала И. П. Долгорукой]; о чем пиши»; сразу же после этой фразы — может быть, не случайным образом — следует упоминание Тредиаковского, которое мы уже цитировали выше: «Василию Кириловичю Третияковскому отдай от меня мой всенижайший поклон…» (там же, л. 65 об.). См. еще места, относящиеся к И. П. Долгорукой в письмах Вешнякова к Ф. Погонскому от 31 мая, 22 июля, 27 августа и 12 октября 1732 г. (там же, л. 62–62 об., 69, 81 об.). Ф. Погонский регулярно (дважды в месяц) пишет Вешнякову в Константинополь, каждый раз сообщая о И. П. Долгорукой (МИД АВПР, ф. Константинопольская миссия, 1730–1739, д. 43, л. 2, 10 об., 19 об., 22 об., 46, 58 об., 71 об., 75, 81 об.)[179].

Тредиаковский, скорее всего, не мог встречаться с кн. И. П. Долгорукой в царствование Анны Иоанновны. Положение, однако, меняется с воцарением Елиза-

веты Петровны: ряд косвенных данных позволяет догадываться, что в это время они как-то сообщались[180].

23 февраля 1740 г. Тредиаковский по высочайшему повелению командируется из Петербурга в Москву. Он состоит при маркизе де ла Шетарди (Joachim-Jacques de la Chétardie), французском после, прибывшем в Москву на коронационные торжества; в Москве Тредиаковский находился до конца 1742 г. (Мат. АН, V, с. 49–50, ср. с. 410 и 448–449; Пекарский, II, с. 85–89). Тредиаковский жил здесь в одном доме с духовным лицом из свиты Шетарди, получал от него книги духовного содержания и, видимо, был с ним в достаточно тесном контакте[181]. При этом Шетарди специально интересовался судьбой русских католиков или людей, с симпатией относящихся к католицизму. В одной из своих депеш он сообщает: «Многие из значительнейших родов в этой стране тайно держатся католичества, особенно со времен Петра I, когда в пребывание его во Франции публично одобрили в Сорбонне его исповедание веры» (депеша от 13 февраля 1742 г. — Пекарский, 1862а, с. 546); особенно его занимает участь кн. И. П. Долгорукой. Уже с осени 1741 г. он хлопочет о том, чтобы ей была назначена пенсия от короля Франции (депеша от 3/14 октября 1741 г. — там же, с. 340–341); с этой целью он вступает в сношение с Долгорукой (депеши от 17 ноября, 11 декабря 1741 г. и 23 января/3 февраля 1742 г. — там же, с. 384, 451, 514). Позднее И. П. Долгорукая в письме к Кантемиру в Париж от 25 июня/6 июля 1743 г. (Шетарди в это время был уже в Париже) говорит о Шетарди как о человеке, с которым она хорошо знакома: «Маркиз Шетарди которои меня знает очень коротко» (ЦГИА, ф. 931, оп. 2, № 6, л. 2 об.); сыновья И. П. Долгорукой пишут матери из Парижа 7 июня 1743 г. о том дружеском внимании, с которым относится к ним Шетарди: «M^{r} de la Chetardie nous fait toujours beaucoup d'amitiés» (ЦГИА, ф. 931, оп. 2, № 5, л. 3)[182]. Известно также, что Долгорукая писала Шетарди в Париж: упоминание об этом содержится в ее письме к Жюбе от 18/29 июня 1745 г. (ЦГИА, ф. 931, оп. 2, № 5, л. 3).

Поскольку Тредиаковский состоял при Шетарди, мы можем догадываться, что он выступал посредником между французским дипломатом и Долгорукой. Позднее, после отъезда Шетарди во Францию, Тредиаковский переписывается с ним через посредничество Кантемира, см. письмо Тредиаковского от 14/25 марта 1743 г. (Письма XVIII в., с. 49–50) и ответ Кантемира от 21 апреля 1743 г. (Л. Майков, 1903, с. 185).

Вместе с тем, есть некоторые основания думать, что в 1740-е гг. Тредиаковский продолжает поддерживать отношения с французскими янсенистами.

В письмах Кантемиру от 16/27 мая и 11/22 августа 1743 г. Тредиаковский упоминает о студенте Петре Витынском, который находится в это время в Париже и с которым Тредиаковский переписывается через Кантемира (Кантемир, II, с. 440; Л. Майков, 1903, с. 186; Письма XVIII в., с. 50–51). Петр Витынский — брат профессора и «синдика» (префекта) Харьковского коллегиума Стефана Витынского, с которым Тредиаковский познакомился еще в 1739 г. в Белгороде при посредничестве белгородского архиепископа Петра Смелича[183]; Стефану Витын-

скому принадлежит стихотворный опыт, где автор выступил как подражатель Тредиаковского; стихи эти были отредактированы Тредиаковским и напечатаны под его наблюдением (Пекарский, II, с. 76; Куник, 1865, с. XX, 84–86; ср.: Мат. АН, IV, с. 204–205)[184]. В августе-сентябре 1742 г. Петр Витынский числился учеником гимназии при Академии наук (Мат. АН, V, с. 372), и очень вероятно, что именно Тредиаковский содействовал его поступлению в Академическую гимназию. Петр Витынский был отправлен в Париж своим братом для учения; после смерти брата (последовавшей не ранее 1742 г., скорее всего, в 1743 г.)[185] он впал в нужду, но благодаря попечению князей Долгоруких (детей И. П. Долгорукой), которые были в это время в Париже, и помощи аббатов де ла Кура (т. е. Жюбе!) и Расина (abbé Racine) поступил в коллегию де Бовэ, получил там квартиру и имел даровое обучение (Александренко, 1896, с. 7, примеч.)[186].

После смерти Кантемира в 1744 г. одно время обсуждается вопрос о том, что Петр Витынский будет сопровождать гроб с телом покойного на родину (Кантемир завещал похоронить себя в России); в письме душеприказчиков Кантемира его братьям и сестре упоминается, что «русский студент [несомненно, имеется в виду Витынский] по приказанию ла Кура отбывает на следующей неделе в Голландию» («l'etudiant Russien part la semaine qui vient par ordre de la Cour pour la Hollande» — Архив Воронцова, I, с. 399)[187]. Итак, Петр Витынский оказывается связан с Жюбе и его воспитанниками (молодыми Долгорукими); соответственно, сношения Тредиаковского с Витынским могут косвенно свидетельствовать о его продолжающихся связях с янсенистами.

Остается отметить, что какие-то контакты с Сорбонной были у Тредиаковского еще в 1747 г. См. его письмо к Делилю (Joseph-Nicolas Delisle) от 13 декабря 1747 г., из которого видно, что Сорбонна обратилась к нему с какими-то богословскими вопросами. Тредиаковский дает понять, что, хотя он и сам в состоянии ответить на поставленные вопросы, он считает нужным, чтобы это сделал кто-нибудь из русских священнослужителей, кому он их и обещает переадресовать; при этом подчеркивается, что ответ будет послан по официальному каналу — через посредство Коллегии иностранных дел и русского посла в Париже (Г. Гросса) (Письма XVIII в., с. 54–55, 56; ср. ответ Делиля: Шабен, 1983, с. 270–271). Создается впечатление, что Сорбонна пытается возобновить свои связи с Тредиаковским, однако на сей раз он предпочитает уклониться от прямых контактов[188].

§ 7. Трагедия Ледяного дома

Итак, своим успехом при дворе, положением в Академии наук Тредиаковский в значительной мере обязан своим католическим связям. В царствование Анны Иоанновны эти связи приходилось скрывать, однако именно благодаря им он приобрел положение в обществе. И вместе с тем, Тредиаковскому, по-видимому, пришлось за них поплатиться: можно предположить, что сношения с католиками оказались главной причиной того, что он против своей воли стал участ-

ником бесчеловечного шутовского действа, разыгранного в присутствии императрицы в феврале 1740 г., — свадьбы шута и шутихи Анны Иоанновны в Ледяном доме. Вся эта история, происшедшая в преддверии масленицы, носит отпечаток масленичного розыгрыша и глумления[189].

Именно с розыгрыша началось участие Тредиаковского в этом деле. Вечером 4 февраля 1740 г. к Тредиаковскому на дом приехал кадет Криницын и объявил, что Тредиаковский призывается в Кабинет, т.е. в верховное государственное учреждение Российской империи того времени; это известие, естественно, Тредиаковского до крайности напугало. Повез Криницын Тредиаковского на самом деле не в Кабинет, а на Слоновый двор, где приготовлениями к маскараду занимался кабинет-министр А. П. Волынский («где маскарад обучался»). Когда Тредиаковский начал жаловаться кабинет-министру на сыгравшего с ним столь неприятную шутку кадета, Волынский в ответ принялся бить Тредиаковского и приказал бить его и Криницыну. Затем Тредиаковскому было повелено сочинить для «дурацкой свадьбы» шутовское приветствие на заданную «материю» и прочесть его на самой свадьбе, т. е. по замыслу устроителей Тредиаковский должен был сам играть на этой свадьбе роль шута. После того как Тредиаковский сочинил эти стихи, его забрали в Маскарадную комиссию, где он должен был провести две ночи под стражей; там его снова жестоко избили, обрядили в потешное платье и заставили участвовать в шутовском действе (см. рапорт Тредиаковского в Академию наук от 10 февраля 1740 г. и его прошение на высочайшее имя от апреля того же года — Пекарский, II, с. 77–79; «Москвитянин», 1845, № 2, с. 43–46; Мат. АН, IV, с. 306–309)[190].

Здесь важно отметить, что главным персонажем этого действа, т. е. «дурацкой свадьбы», был князь Михаил Алексеевич Голицын (1697–1775)[191]. В 1716 г. кн. М. А. Голицын был отправлен Петром I за границу для обучения (ДРВ, IV, с. 193); по семейному преданию, он учился в Сорбонне (Голицын, 1880, с. 124); за границей М. А. Голицын принял католичество (Манштейн, II, с. 73; Голицын, 1892, с. 141, 346). Известно также, что он не менее года провел в Риме; по-видимому, он был уже католиком[192]. В 1722 г. М. А. Голицын вернулся в Россию (ОДДС, IV, стлб. 552). В царствование Анны Иоанновны, в 1732 г. он был вызван ко двору и определен в придворные шуты (Голицын, 1892, с. 141)[193]. По авторитетному свидетельству К. Г. Манштейна, М. А. Голицын был превращен в шута именно в наказание за переход в католичество: «Князь Голицын, — писал Манштейн, — несмотря на свою принадлежность к одному из самых знатных семейств империи, был принужден сделаться шутом. Его наградили этой должностью, чтобы наказать за то, что во время своего путешествия он принял католическое вероисповедание» («Le Prince Galitzin, quoique d’une des premieres maisons de l’Empire, fut forcé de devenir bouffon. On lui donna cet emploi pour le punir d’avoir embrassé la Religion Catholique dans ses voyages» — Манштейн, II, с. 72–73).

Характерно также, что по той же причине, т. е. за отказ от православия и обращение в католичество, шутом был сделан и другой родовитый дворянин — граф Алексей Петрович Апраксин (†1735 или 1738). По словам П. В. Долгоруко-

ва, «граф Алексей Апраксин был сделан придворным шутом в наказание за то, что он тайно обратился в католичество под влиянием своего тестя Михаила Голицына» («Le comte Alexis Apraxine avait été enrôlé parmi les bouffons de cour pour le punir d'avoir secrètement embrassé le catholicisme sous l'influence de son beau-père Michel Galitsyne» — Долгоруков, 1867–1871, I, с. 383); А. П. Апраксин был женат на дочери М. А. Голицына от первого брака, Елене Михайловне (1712–1747) (Долгоруков, I, с. 293; Голицын, 1892, с. 154). Католиками были и другие шуты Анны Иоанновны — итальянец Педрилло и португалец (или крещеный еврей из Португалии) Лакоста.

Вообще при дворе Анны Иоанновны было шесть постоянных шутов: кн. М. А. Голицын, гр. А. П. Апраксин, Лакоста, Педрилло, кн. Н. Ф. Волконский и И. А. Балакирев (Манштейн, II, с. 70; Долгоруков, 1867–1871, I, с. 380; Забелин, 1869, с. 416; Голицын, 1880, с. 125; Шубинский, 1888, с. 38 сл.); четверо из них были католиками. При этом Лакоста и, возможно, Балакирев стали придворными шутами еще при Петре I, они, так сказать, достались Анне Иоанновне в наследство[194]. Таким образом, при Анне Иоанновне шутами становятся три представителя русской знати — князь Михаил Алексеевич Голицын, граф Алексей Петрович Апраксин и князь Никита Федорович Волконский; знаменательно, что двое из этих троих были сделаны шутами именно из-за обращения в католическую веру[195].

Анна Иоанновна учредила специальный шутовской орден «Сан-Бенедетто», т. е. св. Бенедикта, которым наградила Педрилло и Лакосту, чтобы отличить их перед другими шутами: «Pour distinguer Pedrillo et la Costa des autres bouffons, Sa Majesté fit en leur faveur un Ordre qu'elle nomma l'ordre de S. Benedetto, dont elle revêtit ces deux Messieurs; c'étoit la croix de S. Alexandre en petit qu'ils portoient a un ruban rouge a la boutonniere» — Манштейн, II, с. 72). Хотя св. Бенедикт (Венедикт) почитается, вообще говоря, как католической, так и православной церковью, он воспринимается в данной ситуации как западный католический святой; во всяком случае, итальянская форма имени явно предполагает католические коннотации[196].

Кн. М. А. Голицын при дворе Анны Иоанновны должен был сидеть в лукошке на яйцах и кудахтать курицей в то время, когда императрица молилась в дворцовой церкви (Державин, I, с. 100, примеч. 32; Дашкова, 1906, с. 68–69, примеч.; Долгоруков, 1867–1871, I, с. 383; Голицын, 1880, с. 125). Позднее (в 1765 г.) об этом как-то зашла речь за столом великого князя Павла Петровича: говорили «о Бироне… и прочие анекдоты… царства Анны Иоанновны… Шуты на яйцах сидели, куры Богу молились в образной» (Порошин, 1881, стлб. 342). Н. Н. Голицын, историк рода Голицыных, видит в последних словах намек на М. А. Голицына: «Не намек ли тут, что князя Михаила Алексеевича, исправлявшего роль курицы, как прежнего католика, учили молиться в образной?» (Голицын, 1880, с. 125, примеч. 9). Можно предположить вместе с тем, что здесь обыгрывались языческие по своему происхождению представления о так называемом «курином боге» — так именовался амулет в виде камня с естественной дырой (изображающий женское плодоносящее начало), который вешали в курятнике и который понимался как средство, оберегающее кур, и вместе с тем как идол, помещенный

сюда для того, чтобы «куры молились» (М. Смирнов, 1927, с. 61; Завойко, 1914, с. 126; см. вообще о «курином боге»: Успенский, 1982, с. 150 сл.). Итак, католик кн. М. А. Голицын должен был молиться языческому идолу — католицизм пародийно обличается в данном случае как язычество…

Необходимо при этом иметь в виду, что яйца устойчиво связываются с плодородием и оплодотворением; тем самым символика яиц имеет определенный эротический смысл (ср. обнажение этого смысла в народных обрядах: Успенский, 1982, с. 74, примеч. 81, с. 105, примеч. 145); равным образом и «куриный бог» определенно связан с сексуальной символикой (там же, с. 150 сл.). Этот смысл может так или иначе обыгрываться и в шутовском сидении на яйцах (при этом не исключена ассоциация с эротической новеллой «Муж на яйцах», см.: Афанасьев, 1872, с. 41–43)[197]. Тем самым забавы Анны Иоанновны заставляют вспомнить о церемониях петровского «Всешутейшего собора», когда при избрании князь-папы избираемых кандидатов сажали в кресла с прорезью, после чего их свидетельствовали «крепким осязанием», восклицая: *габет, габет, габет*, т. е. ‘habet, habet, habet’ (ЦГАДА, ф. 199, оп. 1, № 240, д. 14, л. 5, 6 об.; ЦГАДА, ф. 9, оп. 1, № 67, л. 32; ср.: Семевский, 1885, с. 303). Одновременно в чине избрания князь-папы обыгрывалась эротическая символика яиц как таковых (т. е. яйца в смысле ‘ovum’, а не в смысле ‘testiculus’): так, например, вместо шаров для баллотировки служили яйца, которые при этом именовались *муде*, и т. п.[198]

Шутовские обычаи при дворе Анны Иоанновны преемственно связаны вообще с потешными церемониями Петра I и, в частности, с церемониями «Всешутейшего собора»[199]. Соответственно, петровская традиция в принципе позволяет понять скрытое значение аннинских увеселений. «Всешутейший собор», во главе которого находился князь-*папа* и члены которого изображали кардиналов, имел явно выраженную антикатолическую направленность; эта направленность особенно отчетливо проявляется в только что упоминавшемся чине избрания князь-папы, где очевидным образом обыгрывается легенда о папессе Иоанне (ср.: Семевский, 1885, с. 303–304 примеч.)[200]. Не исключено, таким образом, что и сидение на яйцах М. А. Голицына имело тот же антикатолический подтекст.

«Дурацкая свадьба» кн. М. А. Голицына также была связана, по-видимому, с его обращением в католичество. Дело в том, что это обращение имело, так сказать, матримониальный аспект. Находясь за границей, М. А. Голицын вступил в брак с некоей баронессой-иноземкой, по всей вероятности также католичкой, — ее звали Мария-Франциска, фамилия ее неизвестна; при этом он уже был женат, и жена его была в это время еще жива (ОДДС, IV, стлб. 552)[201]. М. А. Голицын считал, возможно, что переход в католичество освобождает его от обязательств перед первой женой, т. е. делает его первый брак недействительным. Между тем в России, напротив, был признан недействительным его второй брак[202]; в 1722 г. М. А. Голицын и его новая жена были насильно разлучены[203], а в ноябре 1723 г. по этому делу в Синоде было начато следствие, которое кончилось тем, что на Голицына была наложена пятнадцатилетняя епитимия (там же, стлб. 552–553)[204]. Тем не менее, у нас есть вполне достоверные сведения о том, что жена М. А. Го-

лицына, которую он вывез из-за границы, — католичка по вероисповеданию, а по происхождению итальянка — жила после этого в Москве, в Немецкой слободе (см. письма Анны Иоанновны к С. А. Салтыкову по этому поводу от 16 января 1735 г. и от 2 сентября 1736 г. — Кудрявцев, 1878, с. 151–152, 177; Дубровский, 1865, с. 64–66; ср.: Долгоруков, 1867–1871, I, с. 382; Шубинский, 1888, с. 50–51); либо это все та же баронесса, либо какая-то другая женщина — существенно во всяком случае, что речь идет о католичке[205]. В 1736 г. по распоряжению Анны Иоанновны эта жена Голицына была арестована, тайно доставлена в Петербург и отдана в Тайную канцелярию, где следы ее теряются[206].

Мы не знаем, вообще говоря, в какой мере обращение М. А. Голицына в католичество было обусловлено его желанием жениться на католичке: во всяком случае, дело могло выглядеть именно таким образом. Разлучая М. А. Голицына с женой-католичкой, Анна Иоанновна распорядилась женить его на своей приживалке, калмычке Евдокии Ивановне Бужениновой (1710–1742); тем самым высмеивалось желание Голицына жениться — императрица как бы шла навстречу этому желанию, в действительности же неравный и издевательский брак превращался в новое средство унижения несчастного князя-шута, заставляя вспомнить о его измене православию и представляя эту измену как результат его матримониальных устремлений.

В церемониале описания свадьбы в Ледяном доме («Описание дурацкой свадьбы» — ГПБ, F.XVII.12, л. 350–354; Успенский и Шишкин, 1997, с. 304–312 — наст. изд., с. 539–545; ср.: Калайдович и Строев, 1825, с. 642) невеста именуется «блядью», и это как бы ее титул («невеста блядь Буженинова» — см.: «Описание…», л. 350) — таким образом, *князь* Голицын женился на *бляди* Бужениновой[207]. Одновременно М. А. Голицын называется здесь «Кваснин» и выступает в роли сына самоедского хана («дурак самоятской ханской сын Кваснин», см.: «Описание…», л. 352)[208], а его невеста Буженинова — в роли дочери мордовской ханши; соответственно, все действо носит название «Дурацкой свадбы под образом самоятскаго хана сына ево имянуемого Кваснина, которой женитца у ханши мордовской на дочери ея на дурке и блятке имянуемой Бужениновой» («Описание…», л. 350; ИРЛИ, ф. 93, оп. 3, № 1235, л. 1 об.; ср.: Калайдович и Строев, 825, с. 642; «Москвитянин», 1842, № 3, с. 117; Тредиаковский, I, с. 754)[209]. Прозвище «Кваснин» или «Квасник» было вообще принятым наименованием М. А. Голицына при дворе (Долгоруков, 1867–1871, I, с. 383; Шубинский, 1888, с. 46; Голицын, 1892, с. 357); сочетание *Кваснина* и *Бужениновой* явно обыгрывает гастрономическую семантику того и другого наименования — если прозвище «Квасник» соответствует обязанности Голицына подавать императрице квас (см. там же)[210], то буженина была любимым кушаньем Анны Иоанновны (Долгоруков, 1867–1871, I, с. 382; Шубинский, 1888, с. 46)[211]. При этом свадебная процессия состояла, в частности, из ряженых колдунов с колтунами в бороде[212] или языческих жрецов, которые вели жертвенных быков и баранов и несли «вид сонца, которого идолопоклонники за бога почитают» («Описание…», л. 350–350 об., 352 об. – 353); участники процессии были одеты в вывернутые наизнанку шубы, в медвежьи

шкуры и т. п.[213] Вообще здесь явно обозначены элементы масленичного карнавала и народных обычаев языческого происхождения, ср., например: «… а на средине плясунов пойдет коза по старому обыкновению в козловой одежде з золотыми рогами и колоколчиками» (там же, л. 351); колдуны присутствуют «для охранения поезду по обыкновению идолопоклонническому», как это принято в традиционной народной свадьбе (там же, л. 350); и т. д. и т. п.[214] Шутовская свадьба предстает, таким образом, как обличение неправоверия — и в этом случае католицизм обличается, по-видимому, как языческая религия.

Для жениха и невесты на Неве был сооружен дворец из льда (что соответствовало шутовской роли кн. Голицына как сына самоедского хана) с ледяной же брачной постелью и, между прочим, с ледяной баней, в которой можно было париться (Крафт, 1741, с. 20; Нащокин, 1842, с. 65)[215]; как известно, банные ритуалы составляют необходимый компонент народной свадьбы; одновременно карнавальное изображение бани входило в масленичное, святочное и т. п. действа (Городцов, 1915, с. 19–20, 27; Преображенский, I, с. 510; Добровольский, 1900, с. 47–48; Добровольский, 1900а, с. 282–283)[216]. В этом Ледяном доме молодые должны были провести свою брачную ночь[217]. К дому был приставлен караул, который, как сообщает К. Г. Манштейн, должен был не выпускать молодых ранее утра (Манштейн, II, с. 75; ср.: Шубинский, 1888, с. 49); в то же время это отвечало старинному свадебному обычаю, когда вооруженная стража охраняла покой новобрачных (ср., например: Котошихин, 1906, с. 11; Сумцов, 1881, с. 21)[218].

В этом чудовищном карнавале и должен был, по распоряжению А. П. Волынского, участвовать Тредиаковский. Избитый, в маскарадном платье и в маске, Тредиаковский был приведен под караулом в потешную залу[219] и читал сочиненные им для этого случая по приказанию того же Волынского похабные вирши — шутовское приветствие новобрачным («Здравствуйте женившись, дурак и дура…» — Тредиаковский, 1935, с. 171; Голицын, 1880, с. 129; ИРЛИ, ф. 93, оп. 3, № 1235, л. 1; ГПБ, F. XVII. 12, л. 354; Успенский и Шишкин, 1997, с. 311–312 — наст. изд., с. 544–545)[220]. Знаменательно, что в церемониале «Описания дурацкой свадьбы» эти вирши Тредиаковского именуются «казаньем» или же «срамным казанием» (ИРЛИ, ф. 93, оп. 3, № 1235, л. 1–1 об.; ГПБ, F. XVII. 12, л. 354; Успенский и Шишкин, 1997, с. 311 — наст. изд., с. 544; Калайдович и Строев, 1825, с. 642). Слово *казанье* восходит к польскому *kazanie* и означает ‘проповедь’ — будучи полонизмом, оно может иметь католические коннотации[221].

Итак, Тредиаковского превращают в шута и заставляют участвовать в шутовском действе, в какой-то мере задуманном, по-видимому, как глумление над католиками и католическим вероисповеданием[222].

Надо иметь в виду, что главному режиссеру этого действа, кабинет-министру и обер-егермейстеру А. П. Волынскому, были хорошо известны связи Тредиаковского с католиками. Волынский был губернатором в Астрахани в 1719–1724 гг., т. е. именно в то время, когда Тредиаковский учился в школе капуцинов[223]; скорее всего, ему была известна и та роль, которую сыграли капуцины в побеге Тредиаковского из Астрахани (см. выше, § **3**). Более того, Волынский мог распо-

лагать информацией и о дальнейших сношениях Тредиаковского с католиками. В самом деле, ближайшим помощником и конфидентом Волынского с конца 1730-х гг. был А. Ф. Хрущов, который, как мы знаем, был достаточно хорошо знаком с кн. И. П. Долгорукой (по крайней мере с 1719 г. — см. выше, § **4**). Если предположить, что Хрущов был осведомлен о причастности Тредиаковского к предприятию Жюбе, то об этом, скорее всего, должен был знать и Волынский. Немаловажную роль при этом могло играть и то обстоятельство, что казанский митрополит Сильвестр Холмский, также связанный, по-видимому, с Жюбе (см. выше, § **5**), был врагом Волынского: когда Волынский был казанским губернатором, Сильвестр обвинил его в злоупотреблениях и добился отстранения его от должности (Соловьев, X, с. 247–251; Чистович, 1868, с. 343; Знаменский, 1878, с. 112–129). Если Волынский знал о связях Жюбе как с Тредиаковским, так и с Сильвестром Холмским, его нерасположение к Тредиаковскому становится вполне объяснимым[224].

Таким образом, участие Тредиаковского в «дурацкой свадьбе» М. А. Голицына было, можно думать, отнюдь не случайным.

Участие Тредиаковского в «дурацкой свадьбе» — фактически на положении шута — было одним из самых трагических эпизодов в его жизни: едва ли ему когда-либо приходилось переживать большее унижение. Правда, после опалы Волынского он был признан невинно пострадавшим и вознагражден «за бесчестье и увечье» (см.: Пекарский, II, с. 80–81; Мат. АН, IV, с. 308–309; Письма XVIII в., с. 48–49, 63). Тем не менее, история эта не забывалась: позднее, когда Тредиаковский оказался фактически на положении изгоя и когда он стал восприниматься как гротескный, комический персонаж[225], в такого рода восприятие естественно вписывается представление об амплуа шута. Соответственно, шутовская роль Тредиаковского на «дурацкой свадьбе» может обыгрываться его литературными противниками[226].

§ 8. Эпилог

Итак, и взлеты, и падения Тредиаковского — его успехи и неудачи — в большой степени объясняются, по-видимому, его связями с католиками, т. е. связями, приобретенными им в годы учения и скитаний[227]. Но что, собственно, означали эти связи для самого Тредиаковского? Каково было его отношение к католичеству? Можно ли считать, что Тредиаковский стал — или какое-то время был — католиком?

Тредиаковский до конца жизни интересовался проблемой отношения между православием и католичеством. На склоне лет он переводит брошюру Вольтера «Essai historique et critique sur les dissentions des églises de Pologne», в которой говорится о гонениях на православных в Польше со стороны католиков и подчеркивается преимущество православия перед католичеством; этот перевод был издан всего за год до смерти Тредиаковского (Пекарский, II, с. 227–229; Св. кат. XVIII в., № 1127). Должны ли мы думать, что его отношение к католичеству изменилось?

Едва ли. Можно предположить, напротив, что Тредиаковский был более или менее последователен в своем поведении.

Полагаем, что Тредиаковский (так же, как и Кантемир) никогда и ни в каком смысле не принадлежал к католической церкви. Его интересовало другое: просвещение своего отечества, которое он, как сын своего времени, связывал с западноевропейским культурным влиянием. Кажется, он был вообще человеком одной идеи: свою культурную миссию, свое предназначение он видел в том, чтобы образовать свое отечество, познакомить свою страну с достижениями западноевропейской цивилизации. К этой миссии он относился почти религиозно — самоотверженно и с полной отдачей. Все остальное интересовало его постольку, поскольку способствовало выполнению этой задачи.

Связь с католиками, как мы видели, помогла Тредиаковскому получить образование, обрести положение в обществе и приступить к выполнению намеченной программы. Мы знаем, какие масштабы — поистине титанические — приняла эта деятельность. Можно сказать, таким образом, что лицо Тредиаковского в конечном счете определялось его культурно-идеологической ориентацией: если за границей она обусловила его связь с католиками, то в России она обратила его к Феофану Прокоповичу.

В облике Тредиаковского просматривается образ разночинца-интеллигента, который столетием позже станет типичным явлением русской культурной жизни — тип человека, который всеми способами стремится получить образование, выбиться в люди только для того, чтобы затем бескорыстно и самоотверженно служить своему отечеству. Самый тип русского интеллигента определяется вообще культурным противостоянием России и Запада, возникающим как следствие петровских реформ (поэтому интеллигенция в этом смысле — именно русское культурное явление). Русский интеллигент всегда так или иначе — позитивно или негативно — ориентирован на западную культуру (даже стремясь к сохранению национальной самобытности, он не теряет связи с этой культурой, хотя ориентация на нее и имеет в данном случае негативный характер); обычно он выступает при этом как культуртрегер, который видит в культурной миссии свое призвание и оправдание своего существования.

Эта позиция очень напоминает позицию Тредиаковского. Судьба Тредиаковского вообще — быть предшественником; именно поэтому он так часто оставался непонятым (ср.: Пумпянский, 1941, с. 220; Успенский, 1985, с. 198 — наст. изд., с. 200). Тредиаковский, как правило, опережает свое время — это относится не только к его литературно-языковой деятельности, но и вообще к его культурно-идеологической позиции. Поэтому Тредиаковский, в сущности, принадлежит двум эпохам — времени, в котором он живет, и времени, которое он предвосхищает. Он вписывается одновременно в разные системы ценностей, его жизнь как бы соответствует принципиально различным жанрам и тем самым может быть описана на разных культурных языках. В системе понятий середины XIX в. Тредиаковский выглядел бы как типичный русский интеллигент-разночинец. Между тем, в первой половине XVIII в. он может восприниматься как герой плутовского романа.

ПРИМЕЧАНИЯ

[1] Приехавший в Астрахань в 1718 г. д'Амелиа после отъезда отцов Бонавентуры и Джанбаттисты более двух лет оставался здесь единственным католическим священником (Захария, 1955, с. 59; Флоровский, 1962, с. 333); очевидно, что он должен был вести и педагогическую деятельность, и Тредиаковский не мог учиться в это время ни у кого другого. Лишь 1722 г. к отцу д'Амелиа присоединились еще два капуцина, Казимир и Фиделий (Полн. собр. пост. и распоряж., II, с. 215–216, № 571, ср. с. 162, № 514). Отвечая на вопрос о возможности разрешить их приезд, астраханский губернатор А. П. Волынский доносил: «Что же в грамоте Его Императорского Величества упомянуто, что ежели оные патеры допущены будут в Астрахань, не будет ли какой от них опасности или подозрения, но я по моему мнению быть не чаю, а повидимому была бы со временем от них и польза, понеже из тамошнего такого сурового народа обучаются от них молодые люди Латинского и протчих языков» (там же, с. 217, № 571).

[2] Тредиаковский неоднократно указывает позднее, что он употребил на учение в общей сложности 18 лет, начиная с учебы у астраханских капуцинов и кончая учебой в Парижском университете. Так, в доношении Тредиаковского в канцелярию Академии наук от 17 мая 1743 г. читаем: «… я, … обучаяся языкам, также свободным и филозовским наукам, употребил на то осмнадцать лет, сперва в отечестве моем, Астрахани, у римских монахов, потом, оставя мое отечество, … через самое краткое время в Москве, в Заиконоспасском училище; а наконец в парижском университете… А в сем помянутом университете и скончил я свои науки, сколько Господь даровал мне их понять» (Мат. АН, V, с. 680; то же повторено в справке Академии наук от 29 ноября 1743 г. — там же, с. 975). Те же сведения сообщаются в доношениях Тредиаковского в канцелярию Академии наук от 2 мая и 18 августа 1743 г. («Москвитянин», 1853, № 15, с. 31; Мат. АН, V, с. 837) и в Сенат от 28 февраля 1744 г. («Москвитянин», 1851, № 11, с. 227–228). Поскольку Тредиаковский, как мы увидим, уехал из Парижа в 1729 г., мы должны думать, что он поступил к капуцинам в 1712 г. (ср.: Самаренко, 1962, с. 358–359; Самаренко, основываясь на представлении, что Тредиаковский уехал из Парижа в 1730 г., считает, что учеба у капуцинов началась в 1713 г.).

Вместе с тем, в одном документе Тредиаковский, говоря о своей учебе в России и за границей, называет другую цифру — не 18, а 15 лет. Так, в доношении в Академию наук от 14 ноября 1737 г. Тредиаковский писал: «Учившись во первых в России и потом в чужестранных государствах чрез 15 лет на своем коште, имея при том крайнюю помощь от высоких моих благодетелей, прибыл я обратно в Россию прошедшаго 1730 году…» (Пекарский, II, с. 70; Мат. АН, III, с. 518; то же повторено в справке Академии наук от 30 ноября 1737 г. — там же, с. 529). Если исходить из этого сообщения, приходится признать, что Тредиаковский приступил к учению в 1715 г.

Кажется, что первая дата (1712 г.) более достоверна — как потому, что соответствующая цифра повторяется в целом ряде документов, так и потому, что в последнем случае выходит, что Тредиаковский начал учиться в двенадцатилетнем возрасте, что маловероятно. Обучению у капуцинов, скорее всего, предшествовало обучение чтению по складам, т. е. элементарное обучение церковнославянской грамоте по букварю (ср.: Л. Майков, 1897, с. 4), но едва ли Тредиаковский затратил на него много времени: обучение грамоте начиналось обычно в возрасте от 7 до 9 лет (Миропольский, I, с. 37).

[3] Текст данной грамматики воспроизводит — с относительно незначительными отклонениями — текст печатной грамматики, изданной в Кременце в 1638 г. (см.: Грамматика, 1638), которая, в свою очередь, представляет собой сокращение грамматики Мелетия Смотрицкого 1619 г. (см.: Смотрицкий, 1619).

Для историков русского стиха отметим, что знакомство Тредиаковского с грамматикой 1638 г. проливает свет на один из источников, определивших его представления о стихосложении. Действительно, в конце грамматики 1638 г. мы находим рассуждение о том, что «стихотворная просодия», основывающаяся на протяженности слогов, присущая греческому и латинскому стихосложению и излагаемая в грамматике Смотрицкого применительно к славянскому стиху, славянам не нужна, «понеже Славяном несть еще обычай, мерами, временми, и степенми стихи составляти» (л. 104). Далее следует ссылка на «Полских стихотворцов», которые основываются не на долготе, а на числе слогов и рифме. Соответственно, в грамматике 1638 г. опущен раздел «стихотворной просодии», представленный в грамматике Смотрицкого, и оставлена лишь просодия «со препинанием строчным», т. е. раздел о знаках препинания. Все это рассуждение дословно повторяется и в списке Тредиаковского (ГИМ ОР, Чертк. 337, л. 77 об. – 78 об.). В дальнейшем, как известно, Тредиаковский начинает свой «Новый и краткий способ к сложению Российских стихов» именно с критики «количественной просодии», предлагаемой Смотрицким (Тредиаковский, 1735а, с. 1–2, 4). Таким образом, знакомство Тредиаковского с грамматикой 1638 г. подготовило почву для последующей реформы русского стихосложения. См.: Успенский, 2001 (наст. изд., с. 531).

[4] Если только не считать, что эти тексты списаны Тредиаковским с какого-то неизвестного нам оригинала. Что касается грамматики 1638 г., к которой восходит собственно грамматическая часть данной рукописи, то предисловие к ней существенно отличается от предисловия в списке Тредиаковского, а четверостишие и вовсе отсутствует.

[5] Тредиаковский не указывает времени своего отъезда из Астрахани в Москву. То, что это произошло в 1723 г., видно из челобитной тестя Тредиаковского Фаддея Кузьмина от 15 декабря 1728 г., где говорится, что «в прошлом 723 году зять ево астраханского архиерейского дому певчей Василий Кирилов волею своею бежал из Астрахани в Москву и в Санкт Питербурх» (Самаренко, 1962, с. 361). Поскольку весной 1723 г. Тредиаковский уже учится в Московской академии (ОДДС, X, стлб. 1342), мы можем утверждать, что он уехал из Астрахани в начале 1723 г. В доношении Тредиаковского в канцелярию Академии наук от 17 мая 1743 г. говорится, что он прибыл в Москву «чрез самое краткое время» после того, как оставил Астрахань (Мат. АН, V, с. 680; ср. доношение в канцелярию Академии наук от 2 мая 1743 г. — «Москвитянин», 1853, № 15, с. 31).

О том, что Тредиаковский именно «убежал» («entflohen») из Астрахани, говорит и Г.-Ф. Миллер (Мат. АН, VI, с. 171). По словам Миллера, отец Тредиаковского (Тредиаковский был сыном священника) готовил сына к духовному званию и с этой целью хотел его женить; Тредиаковский будто бы бежал из Астрахани за день до своей свадьбы (там же). В действительности Тредиаковский покинул Астрахань, будучи уже женатым; жена Тредиаковского Федосья Фадеева и его отец священник Кирилл Яковлев (в монашестве иеромонах Климент) умерли в 1728 г. во время чумной эпидемии (Самаренко, 1962, с. 360).

[6] Класс синтаксимы был следующим за классом грамматики: если в классе грамматики преподавали латинскую грамматику до синтаксиса и всю славянскую грамматику, то в классе синтаксимы читался латинский синтаксис; кроме того, в обоих классах изу-

чали катехизис, арифметику, географию и историю. За синтаксимой следовали пиитика и риторика; при этом изучение синтаксимы занимало год, пиитики — также год, риторики — два года (С. Смирнов, 1855, с. 109–110, 181; ср.: Г. Воскресенский, 1891, с. 17; Линчевский, 1870, с. 490; Летопись, 1961, с. 24–28).

По-видимому, Тредиаковский, поступив в Академию, вскоре смог сдать экзамен за курс синтаксимы и, соответственно, перешел в класс пиитики: можно предположить, следовательно, что с сентября 1723 г. он числился по классу пиитики. Это тем более вероятно, что в «сентябрьской пиитике» в 1723 г. занимались В. Е. Адодуров и И. Л. Магницкий (ОДДС, X, стлб. 1338, 1332), с которыми Тредиаковский в дальнейшем поддерживает дружеские отношения (между прочим, вернувшись из-за границы, осенью 1730 г. Тредиаковский останавливается на квартире у Адодурова — Мат. АН, VI, с. 172; о их общении в 1730-е гг. см.: Успенский, 1974/1997, с. 616–617 — наст. изд., с. 519; Успенский, 1975, с. 64–71); эти отношения позволяют думать, что Тредиаковский, Адодуров и Магницкий были одноклассниками (см. ниже, примеч. 139).

Через год Тредиаковский должен был окончить курс пиитики; соответственно, с сентября 1724 г. он числился по классу риторики (в это же время там числится и И. Л. Магницкий — ОДДС, X, стлб. 1332).

Если при этом верить сообщению Тредиаковского о том, что он оставил Академию «по окончании Реторики» (автобиографическая «ведомость» 1754 г. — Пекарский, 1865а, с. 30), получается, что на прохождение данного курса ему понадобилось не более полутора лет. Косвенным подтверждением этого сообщения является то обстоятельство, что, оказавшись в Париже, Тредиаковский обращается в Синод с просьбой о материальной поддержке, отмечая, что он находится здесь, в частности, для того, чтобы «науки… богословския и философския привесть к окончению» (письмо в Синод от 1/12 декабря 1727 г. — Чистович, 1859, стлб. 158); риторикой завершалось среднее образование, и окончание риторики давало право перейти к изучению философии и богословия (ср. § **3** наст. работы). В ответ на запрос Синода Славяно-греко-латинская академия сообщала 5 апреля 1728 г., что «бывшей в латинских школах, ныне же обретающийся в Париже для учения философских и богословских наук ученик Василий Третьяковский… в Париж для вышших наук ни по какому указу из… Академии отправлен не был» (Чистович, 1859, стлб. 158; ОДДС, VIII, стлб. 206); при этом само право Тредиаковского изучать «высшие науки», т. е. философию и богословие, здесь, вообще говоря, не ставится под сомнение. Ср. в этой связи еще ниже, примеч. 12.

Пекарский (II, с. 5) считал, что Тредиаковский был принят в Московской академии прямо в класс риторики; по указанию Л. Майкова (1897, с. 8, примеч. 2), он поступил в класс пиитики. Обоим исследователям осталась неизвестной «ведомость» Академии, где сообщается, что Тредиаковский поступил в класс синтаксимы (ОДДС, X, стлб. 1342); они исходили из утверждения Тредиаковского о том, что он прошел в Академии курс риторики, однако по-разному исчисляли время, необходимое для прохождения этого курса. При этом Майков исходил из неверной предпосылки, что Тредиаковский покинул Академию весной 1726 г.; в действительности это произошло раньше.

[7] Это стихотворение датируют иногда весной 1726 г. (см.: Строчков, 1963, с. 478), однако оно, очевидно, не могло быть написано позднее 1725 г., когда Тредиаковский оставил «московские школы».

[8] Показательно в этом смысле, что в 1728–1729 гг., когда Тредиаковский находится за границей, его астраханские родные считают, что он пребывает в Петербурге (Сама-

ренко, 1962, с. 361–363). Возможно, они знали об отъезде Тредиаковского из Москвы в Петербург, но не знали о его последующем отбытии за границу.

[9] Г.-Ф. Миллер говорит, что Тредиаковский выучил французский язык в Париже (Мат. АН, VI, с. 172), но это неточно.

[10] Г.-Ф. Миллер сообщает, что кн. Б. И. Куракин, русский посол, аккредитованный в Гааге и при французском дворе, встретил Тредиаковского в одном из своих путешествий и вывез его в Париж (Мат. АН, VI, с. 172). Этому противоречит цитируемое в § **3** наст. работы рекомендательное письмо И. Г. Головкина к кн. А. Б. Куракину — сыну Б. И. Куракина, который после смерти своего отца, последовавшей 17 октября 1727 г., возглавил русскую дипломатическую миссию во Франции (Н. Бантыш-Каменский, IV, с. 96–97). Во всяком случае, Тредиаковский появляется в Париже, когда Б. И. Куракина уже не было в живых; тем самым Пекарский (II, с. 9), безусловно, ошибается, называя Б. И. Куракина вместе с А. Б. Куракиным «благодетелями Тредиаковского в Париже».

Утверждение П. Н. Беркова (1958, с. 10, примеч. 2) о том, что Тредиаковский переехал в Париж из Голландии в конце 1726 г., основывается на каком-то недоразумении и не выдерживает критики. Это утверждение очевидным образом противоречит показаниям самого Тредиаковского, который 1/12 декабря 1727 г. писал в Синод: «Ныне в окончении 1727 года, прибыл я, по всегдашнему моему желанию, в Париж…» (Чистович, 1859, стлб. 158).

[11] Сорбонной в это время называли теологический факультет Парижского университета.

[12] Действительно, в своих доношениях в канцелярию Академии наук от 2 мая и 18 августа 1743 г. Тредиаковский говорит, что учился (в Париже) «математическим и философским знаниям», но не упоминает о богословии («Москвитянин», 1853, № 15, с. 31; Мат. АН, V, с. 837); между тем в доношении в канцелярию Академии наук от 17 мая 1743 г. он говорит лишь о «свободных и филозовских науках» (Мат. АН, V, с. 680; то же повторено в справке Академии наук от 29 ноября 1743 г. — там же, с. 975). В 1731 г., вскоре после возвращения Тредиаковского в Россию, архимандрит Платон Малиновский, встретившись с Тредиаковским у ректора московской Славяно-греко-латинской академии Германа Копцевича, спрашивал Тредиаковского: «каковы учении в чюжих странах он произошел? И Тредиаковской-де сказывал, что слушал он философию» (ЦГАДА, ф. 7, № 515, л. 2; ср.: Пекарский, II, с. 129; Чистович, 1868, с. 384; см. также § **6** наст. работы); между прочим, этот Платон Малиновский во время обучения Тредиаковского в московской Академии был ее префектом, т. е. преподавал там именно философию (С. Смирнов, 1855, с. 208, ср. с. 108). Соответственно, и в предисловии к своему переводу «Езды в остров Любви» (1730) Тредиаковский сообщает, что он познакомился с этой книгой в Париже и уже там возымел желание ее перевести, однако «в продолжении тамо философии время мое к тому меня не допустило» (Тредиаковский, III, с. 647–648). Намек на овладение «математическими и философскими знаниями» может слышаться и в следующих шутливых словах из этого предисловия: «А буде кто тому не верит, тому я способно могу доказать еще Математическим Методом, что я правду сказал. А у! я не думая по Философски уж и ссорюсь ни за что!» (там же, с. 649). Как мы увидим, парижские знакомые Тредиаковского звали его «философом» (см. ниже, § **4**).

Изучение высших наук, каковыми являлись философия и богословие, давало право Тредиаковскому вести публичные диспуты. Тредиаковский участвовал в подобных дис-

путах и получил об этом письменное свидетельство. Сообщая в автобиографической «ведомости» 1754 г. о обучении в Париже математическим, философским и богословским наукам, Тредиаковский прибавляет: «… чему всему имел я писменное засвидетельствование, за рукою так называемаго Ректора Магнифика Парижскаго Университета, для того что я там содержал публичныи диспуты, в Мазаринской Коллегии; но писменный сей Атестат, в бывшее пожарное приключение в конце 1746 года здесь в Санктпетербурге у меня згорел» (Пекарский, 1865а, с. 30).

[13] Фамилию Brugier мы передаем по-русски как *Брюгие*, поскольку так пишет ее Тредиаковский (см. письмо Тредиаковского от 3/13 июля 1730 г. — ГИМ ОПИ, ф. 3, оп. с., № 40, л. 287–288 об.).

[14] Весной 1730 г., находясь в Гамбурге, Тредиаковский пишет «Стихи эпиталамическия» (Тредиаковский, III, с. 742–746), посвященные бракосочетанию А. Б. Куракина и А. И. Паниной; бракосочетание состоялось в Москве 26 апреля 1730 г., и это позволяет датировать стихи Тредиаковского (см.: «Санктпетербургские ведомости», № 6 от 4 мая 1730 г., с. 144; Строчков, 1963, с. 474). Тредиаковский рассказывает здесь, как «во един день прошлаго в город Гамбург лета» к поэту «влетел вестник Меркурий», извещая его о помолвке Куракина. Комментируя эти стихи Тредиаковского, Я. М. Строчков делает вывод, что Тредиаковский находился в Гамбурге летом 1729 г. (см. там же). Этот вывод неоснователен: слово *лето*, скорее всего, означает в данном случае не ʻлетоʼ, а ʻгодʼ; надо полагать, таким образом, что помолвка Куракина состоялась осенью 1729 г. (относительно матримониальных планов А. Б. Куракина см. запись в дневнике де Лириа под 10 января 1729 г. — де Лириа, 1869, с. 134).

Накануне своего отъезда в Россию Тредиаковский участвует в торжествах по случаю коронации Анны Иоанновны, ср. его «Песнь сочинена в Гамбурге к торжественному празднованию коронации… Анны Иоанновны, самодержицы всероссийския, бывшему тамо августа 10-го (по-новому стилю) 1730» (Тредиаковский, III, с. 735–736). В Гамбурге же Тредиаковский переводит «Езду в остров Любви» Талемана (Paul Tallemant) — книгу, с которой он познакомился еще в Париже (там же, с. 648); в предисловии к этой книге Тредиаковский сообщает, что он потратил на ее перевод меньше месяца; мы не знаем, однако, когда именно он ее переводил.

Гейтус (1978, с. 310) предполагает, что Тредиаковский в Гамбурге познакомился с композитором Телеманом (Georg Philipp Telemann) и поэтом Брокесом (Barthold Heinrich Brockes).

[15] Ср. прошение А. Б. Куракина Анне Иоанновне от 15 декабря 1731 г.: «… в прошлом 729 году определен я был указом ко двору прусскому и того ради принужден был чинить всякия приуготовления и часть багажу своего ис Парижа вывесть в Гамбурх, також и в Париже принужден был содержать дом и несколько людей… понеже от того двора не был отозван» (МИД АВПР, ф. Внутренние коллежские дела, 1731, оп. 2/6, д. 173, л. 1–1 об.).

[16] Ср.: «Ко двору прусскому он князь Александр был назначен, и по прошению ж самого ево князь Александра от того уволнен» (МИД АВПР, ф. Внутренние коллежские дела, 1731, оп. 2/6, д. 173, л. 3). Несколько иначе освещает события де Лириа (1869, с. 180), по словам которого решение о назначении С. Д. Голицына было принято без ведома А. Б. Куракина и он узнал о нем лишь после того, как оно состоялось; де Лириа приписывает это решение интригам Долгоруких, которые недолюбливали Куракина и вместе с тем боялись растущего влияния Голицына, пользовавшегося расположением царя.

[17] В литературе встречаются сведения о том, что А. Б. Куракин вернулся в Париж 17 января 1729 г. (Н. Бантыш-Каменский, IV, с. 97; Строчков, 1963, с. 474). Это недоразумение, которое основывается на предположении, что Куракин первоначально уехал в Россию в отпуск (в июле 1728 г.) и должен был вернуться во Францию (Н. Бантыш-Каменский, IV, с. 97; ср.: Списки дипломатов, II, с. 319). Кажется, дело обстояло не так. Э. Миних (сын фельдмаршала), посетивший Куракина в Париже летом 1728 г. (вместе с А. Г. Головкиным, которого Миних сопровождал на Суассонский конгресс), пишет о Куракине как о человеке, который после смерти отца временно исполнял обязанности главы дипломатической миссии и ждал, чтобы его сменили на этом посту; ср.: «В Париже застали мы Князя Александра Борисовича Куракина, который по смерти отца своего оставлен во Франции для дел до России касающихся, и ожидал токмо приезда Графа Головкина, дабы самому отправиться в Москву» (Миних, 1817, с. 38). По-видимому, к этому времени уже был решен вопрос о том, что Куракина сменит А. Г. Головкин; в 1729 г. Головкин был аккредитован посланником при французском дворе (там же, с. 41).

Так или иначе, выехав из Парижа в июле 1728 г., Куракин более туда не возвращался. По пути в Россию Куракин задержался в Данциге, где он находился с августа по ноябрь 1728 г. (см. его переписку с докторами Сорбонны, которую мы цитируем в § **2** наст. работы). 7 декабря 1728 г. Куракин прибыл в Петербург, а 11 декабря того же года отбыл в Москву («Санктпетербургские ведомости», № 99 от 10 декабря 1728 г., с. 400; Мат. АН, VI, с. 172). В конце декабря 1728 г. Куракин приезжает в Москву (де Лириа, 1869, с. 134) и остается в России.

[18] В бумагах А. Б. Куракина сохранился ряд деловых документов, в которых имя Тредиаковского фигурирует в связи с отправлением багажа Куракина из Гамбурга в Петербург. См. письма Брюгие к Куракину из Гамбурга от 9 мая 1730 г. (ГИМ ОПИ, ф. 3, оп. с., № 40, л. 283 об.), от 8 августа 1730 г. (там же, л. 263 об. – 264 об.), от 18 августа 1730 г. (там же, л. 261–261 об.), от 27 августа 1730 г. (там же, л. 252), а также представленные Куракину счета — счет, подписанный Брюгие в Гамбурге 18 августа 1730 г. (ГИМ ОПИ, ф. 3, оп. с., № 74, л. 384–384 об.), и счета, подписанные Яном Кройсом (Jan Cruÿs) в Петербурге 15 октября и 24 декабря 1730 г. (там же, л. 394–396); эти счета касаются как перевозки багажа, так и содержания Тредиаковского.

[19] То же говорит и Н. И. Новиков в биографии Тредиаковского: «В 1730 году по возвращении в Санкпетербург определен был в Императорскую Академию наук студентом» (Новиков, 1772, с. 217). Тредиаковский обозначен «студентом» на титульном листе переведенной им «Езды в остров Любви», которая вышла в свет в конце 1730 г. (скорее всего, в конце декабря 1730 г. — Успенский, 1985, с. 129, с. 137, примеч. 105, 123; наст. изд., с. 156, 160, примеч. 114, 132), а также в выходных данных «Песни…», посвященной коронации Анны Иоанновны, которая также была напечатана в 1730 г. — видимо, одновременно с «Ездой в остров Любви» (Св. кат. XVIII в., III, с. 207, 243, № 7130, 7352).

Вообще говоря, Тредиаковский мог именоваться студентом уже в Париже, поскольку он учился в Парижском университете: действительно, переход от риторики к философии давал ему право на это наименование (ср.: Линчевский, 1870, с. 635; Г. Воскресенский, 1891, с. 17). В виду приведенных сейчас свидетельств можно полагать, тем не менее, что Тредиаковский обозначен в указанных изданиях «студентом» не потому, что он был в свое время студентом Парижского университета, а потому, что к моменту публикации этих произведений он являлся студентом петербургской Академии наук.

Сказанное может в какой-то мере объяснять сообщение Евгения Болховитинова, согласно которому Тредиаковский проходил обучение при Академии наук сразу же после обучения в Славяно-греко-латинской академии и до своего отбытия за границу: по словам Евгения, Тредиаковский «обучался сперва в Московской Славяно-Греко-Латинской Академии Латинскому и Греческому языкам, поэзии и реторике; а по открытии С.-Петербургской Академии наук взят был с некоторыми из соучеников своих в тамошнюю Академическую Гимназию и в оной учился Немецкому и Французскому языкам и разным наукам. В 1727 г., для усовершенствования в занятиях, отправился он в Парижский университет…» (Евгений, 1845, II, с. 210). Это сообщение, безусловно, неправильно, однако оно основывается, видимо, на том, что Тредиаковский числился при Академии студентом: надо полагать, что Евгений, основываясь на относительно верной информации, неверно восстанавливает последовательность событий.

[20] В автобиографической «ведомости» 1754 г. Тредиаковский указывал: «По возвращении моем из Парижа в Санктпетербург в 1730 годе, употреблен я был с того самаго года при Императорской Академии Наук до 1733 года; а в 1733 годе определен при ней в Секретари…» (Пекарский, 1865а, с. 30). В доношении Тредиаковского К. Г. Разумовскому от 8 марта 1751 г. допущена неточность: «Служу я при Академи наук двадцать лет беспорочно… с 1730 по 1745 год с титулом секретаря» («Москвитянин», 1842, № 1, с. 122); «титул секретаря» Тредиаковский получил в 1733 г. Об обстоятельствах определения Тредиаковского в секретари Академии наук см.: Успенский, 1985, с. 149 (наст. изд., с. 127); ср. также § **6** наст. работы.

[21] Ср. панегирический отзыв Тредиаковского об Ильинском в статье «О древнем, среднем и новом стихотворении Российском» 1755 г. (Тредиаковский, I, с. 777).

[22] Понятно, почему Тредиаковский шлет это прошение из Парижа (в декабре 1727 г.), а не из Голландии: полуторагодовое пребывание его в Голландии явно не имело ничего общего с тем, что ожидалось от студента московской Академии. Иначе обстояло дело с пребыванием в Париже — студенты московской Академии посылались на обучение в Парижский университет и Сорбонну. Так, 17 февраля 1717 г. по указу Петра I из московских школ были отправлены в Амстердам и Париж (т. е., видимо, в Париж через Амстердам) Тарасий Постников, Иван Каргопольский и Иван Горлецкий «для наук литеральных»; после пятилетнего учения в Париже они вернулись в Россию (ОДДС, II, 2, стлб. 318–322; Пекарский, 1862, I, с. 238–240; Рогов, 1959, с. 141 — Рогов, цитируя тот же источник, дает: «для наук литерных»). В Париже эти студенты «учинили поспешство в философии, во французском языке и в других учениях» (ОДДС, II, 2, стлб. 318; ср.: Рогов, 1959, с. 141); относительно Постникова известно, что он был послан «для довершения учения» «достигши риторики» (ОДДС, VIII, стлб. 335–336).

Постников и Каргопольский, которые в 1724–1725 гг. преподавали в Славяно-греко-латинской академии (ОДДС, II, 2, стлб. 321; ОДДС, IV, стлб. 135, 343–344; ОДДС, VIII, стлб. 335–337; С. Смирнов, 1855, с. 236; неточно у Пекарского, 1862, I, с. 240), скорее всего, были знакомы с Тредиаковским. С Горлецким Тредиаковский служил впоследствии в Академии наук (где Горлецкий состоял переводчиком и преподавал в Академической гимназии).

[23] Муж И. П. Долгорукой, кн. С. П. Долгорукий, находившийся с семьей в Голландии, после смерти Екатерины I (случившейся 6 мая 1727 г. по ст. стилю) срочно выехал в

Россию (Д. Бантыш-Каменский, 1847, I, с. 567; ср.: Бурсье, 1753, с. 314; Пирлинг, IV, с. 308). Примерно через месяц (11 июня 1727 г. по нов. стилю) состоялось официальное присоединение И. П. Долгорукой к католической вере. Похоже, что она воспользовалась отсутствием мужа, для того чтобы осуществить свое намерение; во всяком случае, кн. С. П. Долгорукий оставался верным православию (Бурсье, 1753, с. 366).

С. П. Долгорукий и И. П. Долгорукая обвенчались в 1716 г. (Долгоруков, 1840, с. 42) и вскоре после свадьбы выехали за границу, где прожили много лет (Д. Бантыш-Каменский, 1847, I, с. 567). У них было девять детей: Владимир (1717–1803), Александр (годы жизни неизвестны; скончался после 1762 г.), Николай (1718–1781), Петр (1721–1773), Мария старшая (1719–1786), Анна (1719–1778), Екатерина (1722–1781), Мария младшая (†1763), Анастасия (1731–1787); см.: Долгоруков, I, с. 96, 107–108; ср. также: Долгоруков, 1840, с. 168–170.

Любопытно отметить, что И. П. Долгорукая доводится прабабкой Петру Андреевичу Вяземскому: ее дочь Мария Сергеевна Долгорукая (1719–1786) вышла замуж за Ивана Андреевича Вяземского, деда П. А. Вяземского (Долгоруков, 1867–1871, I, с. 5; Долгоруков, I, с. 96).

[24] Жюбе говорит в своих записках, что Ирина Петровна Долгорукая была очень дружна с Екатериной Алексеевной Долгорукой, сестрой фаворита князя Ивана Алексеевича Долгорукого и обрученной невестой императора Петра II. По словам Жюбе, Е. А. Долгорукая заявляла во всеуслышание, что как только она станет императрицей, княгиня Ирина Петровна станет первой при дворе («elle aimoit de tout son cœur la princesse Yrene Petrowna Dolgorouki Galitzin et lui disoit, et a tout le monde, que sitot qu'elle seroit Imperatrice, elle seroit la premiere de sa cour» — Жюбе, 1992, с. 147).

[25] Основные сведения о Жюбе можно найти хотя бы в Большой французской энциклопедии (XXI, с. 233) или в Биографическом словаре (XXVII, с. 122–124); ср. также библиографические указания в изд.: Жюбе, 1992 (с. 234–235). В именном указе Елизаветы Петровны по делу Долгорукой от 27 марта 1746 г. Жюбе называется иезуитом (Пекарский, 1868, с. 25; мы цитируем этот указ ниже, см. примеч. 173). О связи Жюбе с иезуитами говорит и П. В. Долгоруков (1867–1871, I, с. 7). Это — несомненное недоразумение (ср.: Пирлинг, IV, с. 382).

[26] В письме из Гааги от 14 марта 1727 г. Жюбе сообщает, что начал изучать славянский язык: «… je commence a aprendre la langue Esclavone qui est une langue matrice, et des caracteres extraordinaires» (Библ. Труа, № 2213, л. 48; Арх. Пирлинга, л. без номера).

[27] В письме к неизвестному лицу от 16 октября 1728 г. архиепископ Бархман обсуждает полномочия, которые он намерен дать Жюбе: «… je demande en particulier si vous croyez que ces pouvoirs se peuvent étendre a toutes les fonctions épiscopates, éxempté l'ordination» (Библ. Труа, № 2336.5; Арх. Пирлинга, л. 205). Между тем, в официальном письме от 20 октября 1728 г., которое Жюбе получает от Бархмана, подчеркивается, что во всей России нет ни одного католика, облеченного епископской властью, но теперь, с обращением Долгорукой, возникают благоприятные возможности для изменения сложившейся ситуации (Бурсье, 1753, с. 476, 479–480; Арх. Пирлинга, л. 206).

По некоторым сведениям, Бархман первоначально предполагал посвятить Жюбе в епископы, что давало бы Жюбе право совершать миропомазание над теми, кто обращался в католицизм (см.: Маан, 1949, с. 74).

[28] Пекарский (1866а, с. 129) и Чистович (1868, с. 369–370) сообщают другую дату прибытия, а именно, 20 декабря. Это, по-видимому, недоразумение.

[29] В представлении янсенистов папа обладал первенством моральным, но не юридическим, т. е. авторитет папы не распространялся на сферу церковной юрисдикции. Именно такое понимание обусловило отделение Утрехтской архиепископии от Рима в 1723 г. Еще ранее А. А. Матвеев (побывавший в Париже в 1705–1706 гг.) отмечал, что Сорбоннское собрание вместе с французским епископатом «во времена вражды, бывшей у короля, ныне государствующаго Людовика 14-го, с папою римским… намерение взяло… королю папиной отлучиться власти и церкви французской избрать самовластнаго особно себе патриарха без повиновения всякаго впредь папе» (Матвеев, 1972, с. 213; имеются в виду «Объяснения галликанского клира о церковной власти», подписанные тридцатью пятью епископами и тридцатью семью церковными деятелями, в том числе и представителями Сорбонны).

Бурсье (1753, с. 288–289) передает разговор Петра I с регентом, где Петр с похвалой отозвался о поведении кардинала де Ноайля и затронул вопрос о непогрешимости папы: «Если папа считает себя непогрешимым, он дурак; если же он так не считает, он мошенник» («Si le Pape se croit infaillible… il soit un sot; et s'il ne le croit pas… il soit un fourbe»). По словам Бурсье, Петр заявил, что не понимает, как человек может вбить себе в голову, что он, будучи существом человеческим, обладает даром непогрешимости («Il ne pouvoit pas comprendre qu'un homme pût se persuader qu'étant homme, il eût le don de l'infaillibilité»). Вопрос о непогрешимости папы был актуальным для полемики янсенистов и ультрамонтанов; соответственно, в записке сорбоннских докторов от 15 июня 1717 г., врученной Петру I, которая специально рассматривается в нашей работе, мы читаем: «Такожде содержим, яко разсуждение Римскаго Епископа не есть непогрешительное веры правило…» (Журнал Петра, 1772, с. 429); ср. во французском оригинале: «De plus, nous tenons que le jugement de l'Evêque de Rome n'est point une régle infaillible de la foi…» (Бурсье, 1753, с. 379). См. ниже, примеч. 50.

[30] Вопрос об упразднении патриаршества в это время не был еще решен. См.: Верховской, I, с. 152–153; ср. еще: Пекарский, II, с. 444.

[31] Бентивольо, между прочим, склонен был объяснять неудачный исход своей встречи с царем происками янсенистов. Извещая Рим о результатах переговоров, он указывал, что перед тем как дать ему аудиенцию, утром того же дня (13 июня) Петр принял какого-то янсенистского священника, который доставил ему некое послание; одновременно Бентивольо сообщал, что на следующий день (14 июня) сорбоннские янсенисты предложили русскому царю проект воссоединения церквей (Тамборра, 1986, с. 191; Крейкрафт, 1971, с. 40). Не исключено, что накануне встречи с папским нунцием Петр получил послание из Сорбонны — возможно, предложение посетить Сорбонну, — что затем и определило его появление там. Бурсье, правда, пишет, что Петр явился в Сорбонну неожиданно (Бурсье, 1753, с. 286), однако это сообщение может относиться лишь к времени визита царя, но не к самому факту визита.

Надо сказать, что у Бентивольо были все основания надеяться на благополучный исход своих переговоров с Петром, поскольку их встрече предшествовала длительная подготовка, в которую был вовлечен кн. Б. И. Куракин. В инструкции, полученной из Рима, папскому нунцию поручалось напомнить царю, что папа исполнил обещанное Куракину в отношении поддержки польского короля во время русско-шведской войны и что те-

перь очередь за Петром исполнить то, что тот обещал через Куракина (Тамборра, 1986, с. 184; ср.: Пирлинг, IV, с. 240). Речь шла, в первую очередь, о свободе католического культа в России. В записках Сен-Симона сообщается, что Петр был в свое время крайне заинтересован в дипломатических контактах с Римом и даже будто бы хотел сделать Россию католической страной, что обеспечило бы возможность династических браков членов царской семьи с католическими монархами. Именно с этой целью, по словам Сен-Симона, в Рим был послан инкогнито кн. Б. И. Куракин (в 1707 г.), который и подал папе надежду на то, что царь обеспечит свободу католического вероисповедания в России; это, в свою очередь, обусловило характер инструкции, которую получил Бентивольо и которой он должен был руководствоваться в своих переговорах с царем (Сен-Симон, XIV, с. 17–20, 68; ср.: Тамборра, 1986, с. 175, passim; Боргезе, 1961, с. 294–300; о католических связях Б. И. Куракина см. также: Флоровский, 1975, с. 228–233). Сен-Симон ссылается при этом на Куракина, который сам ему рассказывал о планах Петра и о своей миссии в Рим; можно предположить, что эти откровения русского дипломата были частью определенной дипломатической игры — Петр мог вполне сознательно распространять слухи о своем интересе к Риму. Соответственно, в Риме на Петра возлагались большие надежды. Уже в конце XVII в. в связи с поездкой Петра в Западную Европу здесь ожидали, что Петр подчинится папе и примет унию; предполагалось, что Петр посетит Рим (Флоровский, 1966, с. 194–195). Иезуит Франциск Эмилиан (Franciscus Aemilianus) сообщал из Москвы в письме от 23 июня 1699 г., что царский духовник Иоанн Поборский весьма доброжелательно относится к католикам (Письма и донесения иезуитов, 1904, с. 29–30 и 234). Поборский был в 1687–1701 гг. священником церкви Воскресения Христова, «что у великого государя в верху» (Харлампович, 1914, с. 313–314), и ездил с царем за границу в составе Великого Посольства (Пам. дипл. снош., VIII, с. 565). Петр неоднократно говорил католическим священнослужителям, что сожалеет о том, что государственные дела препятствуют ему отправиться в Рим на поклонение апостолам Петру и Павлу (см., например, доношение 1716 г.: Арх. Конгр. проп. веры, Sc. Moscovia, Polonia e Ruteni, 1700–1719, т. 3, л. 535; ср. также письмо кардинала Corrado dell'Assunta кардиналу-префекту коллегии от 29 апреля 1705 г. — там же, л. 153–153 об.); заявления эти, несомненно, преследовали политические цели — они должны были создать представление о заинтересованности царя в контактах с Римом.

Встреча Петра I Бентивольо в Париже имела особое значение, поскольку это был первый прямой контакт Петра с официальным представителем Римской курии.

[32] Согласно ультрамонтанскому автору, аббату Пишону (abbé Jean Pichon, 1683–1751), инициатива переговоров о соединении церквей принадлежала русскому царю, который обратился к Сорбонне, чтобы получить ответ на некоторые трудные и деликатные вопросы, касающиеся этого дела (Пишон, 1894, с. 213–222; ср.: Пирлинг, IV, с. 244–250). Пишон не упоминает при этом о последующих действиях Сорбонны, но излагает свой проект соединения церквей.

Пишон явно ошибается в изложении событий, однако эта ошибка характерна: она показывает, как воспринимался Петр в католических кругах.

[33] Записка сорбоннских докторов была составлена по-французски, но по совету маршала Тессе (René de Froulay, comte de Tessé), который сопровождал Петра I во Франции, она была сразу же переведена на латинский язык (Бурсье, 1753, с. 290; Пирлинг, IV, с. 259). Чтобы придать записке официальный характер, она была заверена (легализована)

генеральным викарием парижского архиепископа Франциском Вивантом (François Vivant). Различные источники по-разному сообщают дату этой легализации: 19 июня 1717 г. (Пирлинг, IV, с. 259; Крейкрафт, 1971, с. 38), 9 июля 1717 г. (Вебер, 1721, с. 444; Журнал Петра, 1772, с. 435; ОДДС, I, стлб. 28; Д. Толстой, 1863, с. 377; см. также Арх. Конгр. проп. веры, Sc. Moscovia, Polonia e Ruteni, 1700–1719, т. 3, л. 544–552), 19 июля 1717 г. (Бурсье, 1753, с. 392).

[34] Показательным образом Бентивольо считал, что письмо сорбоннских богословов — это инструкция о способе присоединения к латинской церкви без признания зависимости от папы; такого же мнения, кажется, придерживался и австрийский посол в Париже граф Кёнигсег (Leopold Wilhelm von Koenigsegg) (письмо Бентивольо к кардиналу Паулуччи [Fabrizio Paulucci] от 24 июня 1717 г. — Пирлинг, IV, с. 243, 428–429).

По словам Сен-Симона, Петр «сказал маршалу Тессе, что не отказывается признать папу первым православным патриархом, но не может согласиться с некоторыми ограничениями, которые римский двор притязает налагать на государей в ущерб их власти, что он не прочь признать его непогрешимым, но не иначе как во главе вселенского собора» («… le czar avait dit au maréchal de Tessé qu'il ne s'éloignerait pas de reconnaotre le pape pour premier patriarche orthodoxe, mais aussi qu'il ne s'accomoderait pas de certains assujéttissements que la cour de Rome prétendait imposer aux princes, au préjudice de leur souveraineté: qu'il voulait bien croire le pape infaillible, mais a la tête du concile général» — Сен-Симон, XIV, с. 69; ср.: Пирлинг, IV, с. 242). Это, в сущности, янсенистская программа.

[35] Указ Петра I об удалении иезуитов из России был отменен Екатериной II в 1772 г. (после первого раздела Польши); в 1820 г. иезуиты были вновь изгнаны из Российской империи. См.: Майе, 1977.

[36] Церковнославянский перевод записки сорбоннских богословов в одной из ранних рукописных копий (рукопись первой пол. XVIII в.) сопровождается следующей припиской: «Егда… его Царское величество по присутствии из Парижа благоволил приити в царствующий свой град Москву того ж 1717 лета декемвриа в 20 день, и тогда в селе его государеве Преображенском бывшым Преосвященному Стефану митрополиту Рязанскому, и прочым Архиереем, сицевое писание, на латинском языке запечатаное, он, Государь, сие вдаде тогда Преосвященному Стефану митрополиту Рязанскому, да повелит превести его. Он же, прияв сие, повеле Спасова монастыря, что за Иконным рядом, Архимандриту Феофилакту Лопатинскому превести на славенский диалект, якоже зде зрится» (ЦГАДА, ф. 381, № 360, л. 7).

Жюбе цитирует в своих записках (отрывки из которых частично воспроизводятся в книге Бурсье) рассказ Феофилакта Лопатинского: «Тверской архиерей [т. е. Феофилакт Лопатинский] и те, кто находился в Петербурге во время приезда императора, уверяют, что он принял это дело [предложение Сорбонны] близко к сердцу и поручил его незамедлительно рассмотреть, чтобы увидеть, что можно сделать для соединения церквей; он предложил также написать благодарственное письмо сорбоннским докторам и изложить свою точку зрения на эту идею и на способы ее осуществления» («M. l'Evêque de Twer, et ceux qui se font trouvés a Petersbourg a l'arrivé de l'Empereur, assurent qu'il avoit cette affaire fort a coeur, et qu'il leur recommanda de l'examiner sans délai; de voir ce qu'on pourroit faire pour parvenir a l'union, et de la favoriser, et qu'il leur ordonne de faire au plutôt une Lettre de remerciment aux Docteurs de Sorbonne, et de leur proposer leurs vûes et les moyens propres a réussir» — Бурсье, 1753, с. 197–198).

Орфелин (II, с. 118–120) подробно описывает совещание русских епископов по поводу письма Сорбонны и их отрицательную реакцию на предложение о соединении церквей, однако источники его сведений остаются неясными и сообщаемые им факты вызывают сомнения (ср. еще: Голиков, 1788–1789, VI, с. 167–170).

[37] В собрании сочинений Стефана Яворского на этом документе значится дата 15 июля 1718 г., несомненно, ошибочная (см.: Стефан Яворский, III, с. 288); эту ошибку повторяет Самарин (V, с. 277). Авторство Феофана засвидетельствовано Стефаном Яворским: так, в сборнике сочинений Яворского, скопированных С. С. Волчковым непосредственно с оригинала (ЦГАДА, ф. 181, № 677/1179), этот текст озаглавлен: «Ответ… преосвященнаго Феофана епископа псковскаго» (л. 55 об.); ср. запись Волчкова в конце этого сборника: «Содержащиеся здесь пиесы скопированы с оригиналов покойна[го] Стефана митр. Рязанского из его собственной библиотеки взяты» (л. 61 об.); ср. еще другой волчковский список: БАН, 34.4.26, л. 14, а также позднейшую копию со списка С. С. Волчкова, сделанную неизвестным нам сотрудником Академии наук: ГПБ, Помял. 40, л. 31 (см. запись на л. 33). Аналогичные сведения встречаются и в других рукописных источниках (ГБЛ, ф. 247, № 567, л. 115; ГБЛ, ф. 256, № 467, л. 52; ГБЛ, ф. 733, № 6, л. 29; ГБЛ, ф. 173/I, № 118, л. 12 об.; ГИМ ОР, Увар. 776/4°, л. 23; ГПБ, Погод. 1125, л. 16 об.; ГПБ, Петерб. дух. акад. 427, л. 310; ГПБ, Помял. 41, л. 59 об.). О том, что автором данного документа является Феофан Прокопович, свидетельствует, между прочим, и петербургский пастор Петер Мюллер (Peter Müller) в письме к И. Ф. Буддею (Johann Franz Buddeus) от 28 января 1720 г. (Винтер, 1953, с. 357–358, ср. с. 360–381).

[38] В публикации Бурсье дата отсутствует (см.: Бурсье, 1753, с. 439). Авторство Стефана Яворского устанавливается на основании целого ряда источников; в частности, это послание входит как в собрание сочинений Стефана, переписанное и засвидетельствованное С. С. Волчковым (ЦГАДА, ф. 181, № 677/1179, л. 41 и сл.; ср. еще другой волчковский список: БАН, 34.4.26, л. 10 об. и сл.; копию с волчковского списка: ГПБ, Помял. 40, л. 24), так и в опубликованное позднее собрание его сочинений (Стефан Яворский, III, с. 289). Аналогичное указание встречаем и в других рукописных источниках (ГБЛ, ф. 247, № 567, л. 115; ГБЛ, ф. 256, № 467, л. 44; ГПБ, Погод. 1125, л. 16 об.; ГПБ, Помял. 41, л. 48; ГИМ ОР, Увар. 775/4°, л. 18 об. – 19; ГИМ ОР, Увар. 885/4°, л. 18 об. – 19).

[39] 18 мая 1719 г. аббат Дюбуа (Guillaume Dubois), министр иностранных дел Франции, вызвал к себе Бурсье и ознакомил его с копией данного текста, пояснив, что он не уполномочен ее вручить ему; некоторое время спустя копия послания, подготовленного Феофаном Прокоповичем, была получена в Сорбонне от парижского архиепископа кардинала де Ноайля; сорбоннские доктора так и не получили официально заверенного текста самого послания и вынуждены были довольствоваться копией, которая имела информационный, но не юридический характер (см.: Бурсье, 1753, с. 299–300; Пирлинг, IV, с. 264–265). Позднее, приблизительно в 1722 г., Бурсье обратился к Дюбуа с письмом, напоминая ему об их встрече и уведомляя его, что Сорбонна так и не получила никакого ответа на свое послание; несомненно, речь шла об отсутствии официального документа, на который можно было бы реагировать тем или иным образом. В бумагах А. Б. Куракина, где собраны материалы, касающиеся данной переписки, сообщается, что оригинал этого послания остался при дворе (ГИМ ОПИ, ф. 3, оп. с., № 73, л. 6, 35 об., 52); такое же указание содержится и в бумагах И. П. Долгорукой (МИД АВПР, ф. Духовные дела иностранных вероисповеданий, 1729, оп. 10/1, д. 1, л. 4, ср. также л. 38). Здесь уместно отме-

тить, что французский двор не поддерживал янсенистов (ср. красноречивые свидетельства на этот счет в письмах мадемуазель Аиссе — Аиссе, 1853, с. 97–100, 233).

В силу сказанного не обязательно соглашаться с мнением исследователей, которые более или менее единодушно считают, что ответ, подготовленный Феофаном, был официально отправлен в Сорбонну (Голиков, 1788–1789, VI, с. 170–171; Самарин, V, с. 277; Пекарский, 1862, I, с. 41; Пекарский, 1866а, с. 128; Д. Толстой, 1863, с. 162; Полуденский, 1865, с. 688; Чистович, 1868, с. 44; П. Морозов, 1880, с. 210; Пирлинг, IV, с. 264; Винтер, II, с. 309; Крейкрафт, 1971, с. 45; ср. еще: Стефан Яворский, III, с. 284).

Д. Толстой (1863, с. 162) указывает, что данный документ был отправлен в Сорбонну в 1720 г., но это недоразумение, поскольку в статье, на которую он ссылается (ср.: Тургенев, 1843, с. 147), соответствующие сведения отсутствуют. Петер Мюллер в упоминавшемся выше письме к Буддею от 28 января 1720 г. свидетельствует, что документ этот был отправлен во Францию 7–8 месяцами ранее (Винтер, 1953, с. 357); это соответствует дате встречи Бурсье и аббата Дюбуа.

[40] О том, как этот ответ был получен в Сорбонне — через неофициальные каналы, — подробно рассказывает Бурсье (1753, с. 307–309). Характерно в этом смысле, что Бурсье публикует французский перевод данного послания, но не публикует латинский текст (при том что послание, подготовленное Феофаном, дано как на французском, так и на латинском языке — см. ниже, примеч. 49). Если бы послание Стефана было официально послано из России в Сорбонну, Бурсье, несомненно, располагал бы латинским текстом; между тем в письме докторов Сорбонны к аббату Жюбе от 24 июня 1723 г. определенно говорится о том, что Сорбонна получила именно французский текст этого документа (Бурсье, 1753, с. 440). По сообщению Бурсье, некое лицо, принадлежащее к университетской корпорации, нашло его (т. е. Бурсье) и объявило, что некто поручил ему (этому лицу) передать, что располагает копией письма русских епископов — имеется в виду ответ Стефана Яворского — и был бы готов вручить эту копию Бурсье («… une personne en place dans l'Université de Paris… vint trouver M. Boursier, et lui annonça que quelque'un lui avoit dit que s'il le jugeoit a propos, il lui donneroit copie d'une Lettre écrite par les Evêques de Moscovie» — Бурсье, 1753, с. 307). Нельзя ли предположить, что к Бурсье обратился один из трех русских студентов (Т. П. Постников, И. С. Горлецкий, И. И. Каргопольский), учившихся в это время (1717–1722) в Париже?

Любопытно, что в русских рукописных источниках, где содержится текст ответа Стефана, можно встретить указание, что именно ответ Стефана был отправлен в Париж (ГБЛ, ф. 733, № 6, л. 20; ГБЛ, ф. 247, № 567, л. 106; ГПБ, F.I.181, л. 20 об.; ГПБ, Погод. 1125, л. 10 об.; ГПБ, Петерб. дух. акад. 427, л. 301; ИРЛИ, Усть-Цилем. 14, л. 124; ИРЛИ, Перетц 155, л. 360; БАН, Устюж. 39, л. 17; ГИМ ОР, Увар. 766/4°, л. 14); такое же указание находим и у Орфелина (II, с. 121).

[41] Ср.: «… яко не предлежат нам сицевая препятия к согласию, яко у протестантов и у иных соборищ обретаются: ибо между нами и Латинами согласие есть во многих членах веры…» (Журнал Петра, 1772, с. 438б–438в).

[42] Позиция Стефана Яворского была не лишена оснований, поскольку после смерти патриарха Адриана (1700) и вплоть до принятия «Духовного регламента» (1721) восточные патриархи поминались в русских церквах за богослужением вместо патриарха московского и русские епископы при поставлении давали обещание им во всем повиноваться (Живов, 2004, с. 77–96, ср. с. 106–109). В принципе это означало каноническое подчи-

нение Русской церкви восточным патриархам, и так именно смотрел на дело Стефан. О возможности — и опасности — такого восприятия говорил и Феофан Прокопович, заявляя, что после учреждения Синода поминание патриархов не должно иметь места, поскольку в противном случае лица, привлеченные к церковному суду, могут апеллировать к восточным патриархам (Феофан Прокопович, 1721а, л. 11 об. – 12; см.: Живов, 2004, с. 80, 88). Следует, вместе с тем, иметь в виду, что поминание восточных патриархов, по-видимому, не было поименным и при этом патриархи поминались все вместе; и то и другое представляло собой существенное отклонение от канонической практики и давало возможность понимать дело иначе — не как признание канонического подчинения, а как выражение единения веры со всей православной церковью в лице ее основных представителей (наша интерпретация данного вопроса не всегда совпадает с той, которая предложена В. М. Живовым). Существенно при этом, что в печатных служебниках, выходивших в это время, по-прежнему фигурировал патриарх московский «имярек» (Живов, 2004, с. 92–94) и это давало понять, что отсутствие патриарха на московской кафедре было временным явлением.

Характерным образом в рассматриваемый период к восточным патриархам могли обращаться для решения тех или иных вопросов русской церковной практики. Как правило, это делал непосредственно сам Петр, причем он обращался к патриарху константинопольскому, которому принадлежало иерархическое первенство. Отношения русского царя и константинопольского патриарха как бы строились по модели византийского императора и первоиерарха православной империи.

Так, 11 февраля 1718 г. Петр обратился к константинопольскому патриарху Иеремии III с просьбой, чтобы тот разрешил не перекрещивать протестантов, обращающихся в православие, а присоединять их через миропомазание; в ответ на эту просьбу патриарх (в грамоте от 31 августа 1718 г.) санкционировал такую практику, и Петр 7 февраля 1719 г. разослал патриаршее соборное определение всем епархиальным архиереям, повелевая «отныне навсегда во обращение к нашей церкви другого закона християн поступать по оному» (Голиков, 1788–1789, VI, с. 56–57; Амман, 1948, с. 334; Крейкрафт, 1971, с. 137; ПСЗ, V, с. 586, 650–651, № 3225, 3300). Еще ранее, 4 июля 1715 г., Петр обращался к константинопольскому патриарху Косьме III с грамотами, испрашивая разрешение употреблять скоромную пищу — для себя вообще во все посты (мотивируя это слабостью здоровья), а для русского войска во время воинских походов (за границей); соответствующее разрешение было дано в 1716 г. патриархом Иеремией III (сменившим в этом году Косьму III), с той оговоркой, что Петру было предписано не есть мясо неделю перед причастием (Каптерев, 1914, с. 549–552, прилож. № 6, 7; Соловьев, VIII, с. 575; Верховской, I, с. 662; ПСЗ, V, с. 466–469, 500–552, № 3020, 3178).

В 1718 г. Стефан Яворский, выступая против поставления Феофана Прокоповича в епископы и указывая на неправославное учение, содержащееся в его сочинениях, требовал, чтобы Феофан отрекся от своего «учения», как несовместимого с православием, заявляя, что в противном случае вопрос о православии Феофана должен быть передан на суд восточных патриархов. По мнению Стефана, в случае упорства Феофана надлежало «просить благочестивейшаго государя, дабы… благоволил сия его учения послати к святейшим патриархам ради подлиннаго известия, не противна ли сия суть святей нашей церкви» (Чистович, 1861, прилож. 1, с. 2; Чистович, 1868, с. 40–41; Голиков, 1790–1797, XII, с. 75–76, примеч.). Как видим, и в этом случае обращение к восточным патриархам должно было осуществляться через царя. Феофан Прокопович был поставлен в еписко-

пы 1 июня 1718 г. — всего за две недели до написания им ответа на сорбоннский мемуар! — и таким образом вопрос об обращении к восточным патриархам приобретал в рассматриваемый нами период (при составлении ответов Сорбонне) особую остроту.

[43] Этот пассаж отсутствует и в списках С. С. Волчкова, о которых мы уже упоминали (ЦГАДА, ф. 181, № 677/1179; БАН, 34.4.26), а также в копии волчковского списка (ГПБ, Помял. 40); можно полагать, что именно волчковский список послания Стефана Яворского и воспроизводится в печатном издании (см.: Журнал Петра, 1772, с. 438а–438е; Стефан Яворский, III, с. 289–298). Кроме того, данный фрагмент отсутствует в рукописи: ЦГАДА, ф. 381, № 360 — но это, кажется, цензурный экземпляр издания: Стефан Яворский, III. Вместе с тем, интересующий нас пассаж находится во всех других известных нам списках послания Стефана Яворского (ср. ниже, примеч. 44), так же как и в заграничных изданиях этого послания.

[44] Мы читаем здесь: «Изволися всему освященному собору, за милостивым соизволением и снизходителством благочестивейшаго нашего монарха, сие церковное дело послати чрез особинное писание к разсуждению и богомудрому разсмотрению и наставлению оных главнейших наших пастырей и церкви святыя чиноначалников. Каков же оттуду ответ восприимем, и кое будет благоволение и последнее оных превысочайших судей церковных определение, о сем и вам, честнейшии мужие, по должности взаимнаго любления нашего не пренебрежем возвестити. Между же сим ведомо быти хощем, яко не за страх, нижи за невежество любопрения о вере в сем ответе оставихом; малодушных сих порок буди, от нас же далече малодушие прогонит ово истинна, на ню же уповаем, ово увещание святаго верховнаго апостола Петра, глаголющаго: страха их не убоитеся, нижи смущайтеся, Господа же Бога святите в сердцах ваших [I Петр, III, 14–15]. Готови присно ко ответу всякому вопрошающему вы слово о вашем уповании, молчание бо убо наше в настоящем деле и обуздание пера от любопрения несть страхования, но кротости прилежание, и правила апостольскаго вышереченнаго опасное хранение. Лучше бо есть с кротостию правилное молчание, нежели с повреждением правила многоречие» (ГБЛ, ф. 354, № 182, л. 336–336 об.; ср. еще: ГБЛ, ф. 733, № 6, л. 26–27; ГБЛ, ф. 256, № 467, л. 50–50 об.; ГБЛ, ф. 247, № 567, л. 112 об. – 113; ГБЛ, ф. 173/I, № 118, л. 11 об. – 12; ГПБ, F.I.181, л. 20–20 об.; ГПБ, Погод. 1125, л. 15–16 об.; ГПБ, Помял. 41, л. 56 об. – 59; ГПБ, Петерб. дух. акад. 427, л. 307–308; ГИМ ОР, Увар. 776/4°, л. 21–22; ГИМ ОР, Увар., 885/4°, л. 28–29; ИРЛИ, Усть-Цилем. 14, л. 130 об. – 132 об.; ИРЛИ, Перетц 155, л. 365–366 об.; МИД АВПР, ф. Духовные дела иностранных вероисповеданий, 1729, оп. 10/1, д. 1, л. 48–48 об.).

Освященный собор был призван олицетворять всю Русскую церковь и мыслился как собрание всех русских иерархов (см.: Лихницкий, 1906, с. 239–244); при отсутствии патриарха функции Освященного собора становятся особенно значимыми.

[45] Под влиянием Стефана Яворского духовенство, спрошенное царем о его праве казнить сына, высказалось за помилование царевича. Стефан отпевал и хоронил Алексея Петровича (который скончался 26 июня 1718 г.) и восстал против расстрижения епископа Досифея, замешанного в дело царевича (Досифей был арестован 19 февраля и казнен 27 марта 1718 г.).

Достойно внимания, что рассмотрение письма сорбоннских богословов шло одновременно с процессом царевича: «Монарх предал Царевича суду Июня четырнадцатаго дня, а пятнадцатаго числа… разсматривал учиненной Российскими Архиереями ответ на

представление Сорбонския Академии…» (Голиков, 1788–1789, VI, с. 157–158); здесь имеется в виду ответ, составленный Феофаном Прокоповичем.

Осенью 1718 г. Петр отстраняет Яворского от управления церковью, а в феврале 1720 г. Феофаном Прокоповичем был написан «Духовный регламент», означавший упразднение патриаршества в России и замену его синодальным правлением. Крейкрафт (1971, с. 48) прямо связывает различие в двух версиях ответа Сорбонне, написанного Стефаном Яворским, с упразднением патриаршества: по его мнению, упомянутый пассаж о созыве Освященного собора Русской церкви и обращении к восточным патриархам был вставлен Стефаном после этого события. Более вероятно, однако, что полная редакция предшествовала краткой.

[46] Исследователи, которые касаются переписки Сорбонны с русскими иерархами, обычно не обращают внимания на даты, которые проставлены в обоих ответах, что лишает их возможности правильно восстановить последовательность событий (см.: Голиков, 1788–1789, VI, с. 170–171; Пекарский, 1862, I, с. 40–41; Пекарский, 1866а, с. 128; Чистович, 1868, с. 44; П. Морозов, 1880, с. 210; Пирлинг, IV, с. 264; Винтер, II, с. 39; Крейкрафт, 1971, с. 45–46). Соответственно, в научной литературе можно встретить утверждение, что сначала был написан ответ Стефана Яворского, но он не понравился царю, который приказал написать другой, более умеренный ответ, что и было исполнено Феофаном Прокоповичем (см., например: Голиков, 1788–1789, VI, с. 170–171; Полуденский, 1865, стлб. 688; Л. Майков, 1897, с. 19); между прочим, именно так считал и Петер Мюллер в цитированном его письме к Буддею от 28 января 1720 г. (Винтер, 1953, с. 357). Равным образом и в некоторых рукописях, где содержатся оба ответа на письмо Сорбонны, ответ Феофана может быть обозначен как «второй» ответ (см., например: ГБЛ, ф. 247, № 567, л. 115; ГБЛ, ф. 256, № 467, л. 52). Между тем, в собрании сочинений Яворского ответ Феофана обозначен как «ответ первый, посланный в Парижскую Академию» (Стефан Яворский, III, с. 284); и в документах, которые привез из России Жюбе (см. о них ниже, примеч. 51), ответ Стефана обозначен как «второй» ответ (МИД АВПР, ф. Духовные дела иностранных вероисповеданий, 1729, оп. 10/1, д. 1, л. 7, ср. также л. 42).

Точно так же исследователи, как правило, не замечают того обстоятельства, что послание Стефана Яворского существует в двух версиях — полной и краткой. Насколько мы знаем, на это обстоятельство обратил внимание только Крейкрафт (1971, с. 46–47), который, однако, при этом неверно восстанавливает историю написания данного текста. Крейкрафт заметил, что в немецком переводе послания Стефана, опубликованном в 1720 г. (см. ниже, примеч. 47), есть особый пассаж, отсутствующий в печатных русских источниках; на этом основании он сделал вывод, что Стефан добавил его специально для заграничного издания. Исследователю осталось, однако, неизвестным, что тот же текст читается и в русских рукописных источниках.

[47] Полная версия послания Стефана Яворского была опубликована сначала в немецком переводе 1720 г. в брошюре «Die Reussischen Clerisen Antwort auf das schreiben welches die doctores der Sorbonne, wegen Vereinigung der Reussischen und Franssosischen Kirchen» ([Stettin], 1720), а затем во французском переводе в издании Бурсье (1753, с. 425–439).

[48] Ср. письмо архиепископа Бархмана к янсенистскому епископу бабилонскому от 15 марта 1725 г., где обсуждается отношение Петра I и кн. В. Л. Долгорукого к предложению Сорбонны и упоминается ответ русских епископов; при этом подчеркивается, что, по мнению епископов, объединение церквей невозможно без собора Русской церкви: «M. Ger-

main croyait que le Czar y seroit assez disposé, qu'il avait paru incliné a envoyer les Evêques s'il se tenoit un Concile, que les Evêques même avaient répondu aux Doct[eurs] de Sorb[onne] que la réunion ne se pouvoit traiter que dans un Concile. Il croyoit que le prince Dolgorouky étoit aussi dans ces sentiments et qu'il seroit facile de faire faire par lui la proposilion et de l'y engager etant encore en Hollande» (Библ. Труа, № 2156, л. 13; Арх. Пирлинга, л. 196).

[49] Характерен острый интерес, с которым были встречены письмо Сорбонны к русскому епископату и ответы, составленные Стефаном Яворским и Феофаном Прокоповичем. Переписка Сорбонны с русскими иерархами сразу же получила широкую огласку за границей.

Уже в 1719 г. протестантский богослов Буддей издал на латыни книгу, направленную против инициативы Сорбонны, где было опубликовано письмо сорбоннских докторов; одновременно книга Буддея вышла и на немецком языке (Буддей, 1719; Буддей, 1719а). Буддей, по всей видимости, получил это письмо от Феофана Прокоповича (см.: Буддей, 1719, с. 8–9; П. Морозов, 1880, с. 211–212; Пирлинг, IV, с. 259; Верховской, I, с. VII; Крейкрафт, 1971, с. 47). Вполне вероятно, что именно Феофан Прокопович инспирировал появление книги Буддея; известно во всяком случае, что Феофан собирался перевести ее и преподнести Петру I (см. об этом в письме Петера Мюллера к Буддею от 28 января 1720 г. — Винтер, 1953, с. 357). Селлий упоминает в своем каталоге 1736 г. «Сорбоннское сочинение на немецком языке» в 4-ю долю листа, изданное в 1719 г. под заглавием «Curioses Schreiben der Sorbonne an den Czaaren» («Sorbonicum Scriptum Germ. prodiit S. T. *Curioses Schreiben der Sorbonne an den Czaaren* 4:to 1719») (Селлий, 1736, № 19); может быть, имеется в виду издание Буддея? Копию письма Сорбонны на латинском языке получила Конгрегация пропаганды веры в Риме (Арх. Конгр. проп. веры, Sc. Moscovia, Polonia e Ruteni, 1700–1719, т. 3, л. 544–552; ср.: Россия и Италия, IV, с. 256); латинский текст сорбоннской записки был затем опубликован и в книге Вебера (1721, с. 433–444). В 1723 г. письмо Сорбонны было опубликовано в переводе с латинского на английский язык в книге «The Russian Catechism» (см.: Филиппс, 1723; книга вышла вторым изданием в 1725 г.), а затем и в голландском переводе (см. о голландском издании: Бурсье, 1753, с. 310). Отклик на письмо Сорбонны находим, между прочим, у Коля (1723, с. 27, 127), а затем в переписке немецких пиетистов 1730-х гг. (Винтер, 1953, с. 367).

Ответ Стефана Яворского в немецком переводе в 1720 г. вышел отдельной брошюрой: «Die Reussischen Clerisen Antwort…», о которой мы уже упоминали выше. Крейкрафт (1971, с. 46, примеч. 4) предполагает, что французский перевод послания Стефана Яворского, опубликованный в книге Бурсье (1753, с. 425–439), восходит именно к этой немецкой брошюре, однако у Бурсье ни слова не говорится о том, что это перевод с немецкого; кажется, что это предположение никак не вытекает из обстоятельств дела.

Ответ Феофана Прокоповича также вскоре получил известность за границей: 28 января 1720 г. петербургский пастор Петер Мюллер послал Буддею церковнославянский текст этого документа, а также его латинский перевод, изготовленный самим Мюллером и санкционированный Феофаном Прокоповичем; соответствующие тексты были посланы вообще «со специальным разрешением и с согласия» Прокоповича («cum speciali permissione et consensu des Ertzbischofs») (Винтер, 1953, с. 357–359; ср. еще: П. Морозов, 1880, с. 215). Бурсье опубликовал этот ответ как в латинской, так и во французской версии (Бурсье, 1753, с. 411–424).

Не меньший интерес вызвала данная переписка в России. Большое количество списков письма сорбоннских богословов (в церковнославянском переводе) и ответов на него

русских иерархов хранится в различных русских архивах. См., в частности: ГБЛ, ф. 733, № 6, л. 3–32; ГБЛ, ф. 256, № 467, л. 32–54 об.; ГБЛ, ф. 354, № 182, л. 319–337; ГБЛ, ф. 247, № 567, л. 92 об.–118; ГБЛ, ф. 173/I, № 118, л. 1–14; ГПБ, Погод. 1125, л. 1–18 об.; ГПБ, Петерб. дух. акад. 427, л. 300–312 об. (ср.: Родосский, 1893, с. 385); ГПБ, F.I.181, л. 13 об. – 20 об.; ГПБ, Помял. 40, л. 9 об. – 33; ГПБ, Помял. 41, л. 1–63 об.; ГИМ ОР, Увар. 776/4°, л. 1–26 (ср.: Леонид, I, № 466); ГИМ ОР, Увар. 885/4°, л. 1–30 (ср.: Леонид, № 465); ЦГАДА, ф. 181, № 677/1, л. 14–61 об.; ЦГАДА, ф. 381, № 360, л. 1–7 об., 13 об. – 20 об.; ЦГАДА, ф. 93, № 1717 (ср.: Автократова, I, с. 307); ИРЛИ, Усть-Цилем. 14, л. 124–136; ИРЛИ, Перетц 155, л. 360–366 об.; БАН, Собр. тек. пост. 482, л. 320–337 об. (ср.: Бубнов и др., 1971, I, с. 110); БАН, 12.6.220, л. 1–2; БАН, 45.8.273, л. 1–17; БАН, Устюж. 39, л. 1–26; БАН, 34.4.26, л. 4 об. – 15; ЦГИА, ф. 834, оп. 3, № 1891, л. 1–11.

[50] Об этом очень ясно говорится в письме сорбоннских докторов к русским иерархам:

«Научаем во первых; яко Епископы властию божиею наследницы суть Апостолов и Христовы наместницы; Римский же Епископ, иже истинный есть С. Петра наследник, такожде властию божиею первый есть Епископ и первый Христов наместник, и по сему имени соединения кентр и сообщения видимый союз, от него же имать Апостольский престол *сильнейшее первоначальство*, яко же глаголет святый Ириней… Первоначалие сие Римскаго епископа на Евангельских словесех основанное, древним первых церкве веков преданием освидетельствованное, исповедаша осмь оныи первыи, яже церковь Российская приемлет, соборы Вселенскии. Сие едино есть о первоначальстве Римскаго Епископа, еже во всей церкви согласною и единодушною верою содержим. Прочая в нихже несть сицеваго согласия между Кафоликами, не суть сицевыя догматы, яже бы в веры Кафолическия уставе или исповедании содержалися…

Во истинну Французов учение сие есть: яко сия, юже святый престол имать во всей церкви, и надо всяким церкве пастырем особенно, власть, не вручена есть воле Римскаго Епископа, нижѐ по его хотению и изволению совершатися имать: но употребление ея, по святым правилам духом божиим уставленным и первых веков честию освященным, умерено быти имать: пастырей собранию подана есть непосредственне от Христа Господа вящшая власть, ей же повиноватися должен и сам Папа, о вещех надлежащих к вере ко искоренению раздора и исправлению церкве, якоже уставлено есть на соборех наших Вселенских Константиенском и Василиенском, явно объявлено от клира Французкаго, и от священнаго богословов Парижских чина всегда защищено.

Такожде содержим, яко разсуждение Римскаго Епископа не есть непогрешительное веры правило; разве приступит согласное всея церкви разсуждение. Власти Папиной, сиречь, токмо духовной, ни едина от Христа дана власть прямая или непрямая на имения времянная Царей, и не может он ни коея ради вины и ради самаго благочестия подданных от послушания ко Государем, или от клятвы верности разрешити. Сия же и учим и содержим ведущим Римлянам, и сим, иже власть Римскаго Епископа пространнее разширяюще, противно нам мудрствуют. Обаче понеже веры самыя сия различных мнений распри о первоначальстве Римском не досязают; того ради мира нижѐ мы с ними разрушаем, нижѐ они с нами разрушают; но вси в едином и том же сообщении пребываем. Сие токмо прилагаем, яко что либо властию нынешнею во избрании Епископов или подтверждении или в разрешениях творит Римский Епископ или по церквей попущениям, или по уговорам с Королями составленным, или по Патриаршескому своему достоинству, сия глаголю, власть не может простертися к сим церквам, в них же обычаем не утвердися сицевое политическое уставление; нижѐ сие, когда в кое либо время, в неже о

устроении мира между обеима Латинскою и Греческою церквами бяше действие, в союз предложенное чтохом» (Журнал Петра, 1772, с. 428–430).

Ср. соответствующий текст в французском оригинале:

«D'abord nous enseignons que les Evêques sont, par l'institution de Dieu, les successeurs des Apôtres et les Vicaires de Jesus-Christ; que l'Evêque de Rome, qui est le successeur légitime de S. Pierre, est aussi de droit divin le premier des Evêques, et le premier Vicaire de Jesus-Christ, et qu'en cette qualité, il est le centre de l'unité et le lien visible de la communion. C'est ce qui fait dire a saint Irenée que le Siège Apostolique de l'Evêque de Rome a une *principauté plus puissante*…

Cette primauté de l'Evêque de Rome, qui est fondée sur les paroles de l'évangile et sur la tradition des premiers siècles de l'Eglise a été reconnue par les huit premiers Conciles généraux que l'Eglise de Russie reçoit, et dont elle respecte l'autorité.

Voila la seule chose que nous faisons profession de croire d'une foi unanime dans l'Eglise universelle, touchant la primauté du Pape. Quant aux autres points sur lesquels on ne trouve pas le même concert entre les Catholiques, ce ne sont point des dogmes qui soient compris dans la régle de la foi…

En effet, l'Eglise Gallicane enseigne que le saint Pere ne doit point se servir de l'autorité qu'il a dans toute l'Eglise, et sur chaque Evêque en particulier, de son propre mouvement, et d'une maniere arbitraire; mais que l'usage de cette autorité doit être réglé selon des saints canons, dictés par l'esprit de Dieu, et consacrés par le respect des premiers siècles: que la souveraine puissance a été immédiatement accordée de Dieu au corps des Evêques, auquel le Pape lui-même est obligé d'obéir dans tout ce qui regarde la foi, l'extinction du schisme, et la réformation de l'Eglise. Doctrine expressément définie par nos Conciles oecuméniques de Constance et de Bâle, solemnellement reconnue et autorisée par le Clergé de France, et constamment deffendue par les Théologiens de Paris.

De plus, nous tenons que le jugement de l'Evêque de Rome n'est point une régle infaillible de la foi, a moins qu'il ne soit confirmé par celui de l'Eglise universelle; et que le Pape n'ayant qu'un pouvoir purement spirituel, n'a reçu de Jesus-Christ aucun droit, ni directement, ni indirectement, sur le temporel des Rois, et qu'il ne peut, sous aucun prétexte, même de Religion, dispenser les sujets d'un Prince de l'obéissance qu'ils lui doivent, ni les dégager du serment de fidélité.

Or l'Eglise Romaine n'ignore point que nous tenons, et que nous enseignons cette doctrine; et s'il y a des Théologiens qui pensent différemment, et qui donnent plus d'étendue aux droits du Pontife Romain, comme cette diversité de sentimens ne touche point le dogme de la primauté, nous ne rompons point avec eux, ni eux avec nous; et nous demeurons unis par les liens d'une seule et même Communion.

Enfin, nous ajoûtons que toute l'autorité que le Pape exerce selon le droit nouveau, soit pour élire les Evêques, soit pour confirmer leurs élections, soit même pour les dispenses, ne lui appartient que par les concessions des Eglises, ou par les concordats qu'il a faits avec les Rois, ou enfin a cause de sa dignité Patriarchale; de sorte que cette autorité n'aura point lieu par rapport aux Eglises où elle n'a point encore été introduite; et nous ne voyons pas qu'on ait proposé aux Grecs de s'y soumettre, quand il s'est agi de concilier l'Eglise Grecque avec l'Eglise Latine» (Бурсье, 1753, с. 376–380).

[51] Достойно внимания, что копия записки сорбоннских богословов и ответов русских иерархов (в переводе на французский язык) была сделана в Гааге в августе 1728 г., т. е. перед отъездом Жюбе в Россию, и затем оказалась у кн. И. П. Долгорукой. В Никольском —

подмосковном имении Долгорукой — находился документ, озаглавленный: «Memoire des M[rs] de Sorbonne presenté a S. Mj[te] Czarienne pour les Eveques de Russie, touchant la reunion de l'Eglise de Russie avec Latine, suivi de deux Responses des Eveques de Russie fait a la Haye le 18 Aout 1728; le 11 Octobre… 1729. A Nicolsque» (МИД АВПР, ф. Духовные дела иностранных исповеданий, 1729, оп. 10/1, д. 1, л. 3, 17–25 об.); на документе помечено, что копия записки и первого ответа (т. е. ответа, подготовленного Феофаном Прокоповичем) снята компаньонкой И. П. Долгорукой (прибывшей с ней из Голландии) мадемуазель де Беер (M[lle] de Beer) (л. 3). С этой копии был сделан, видимо, перевод данных документов на «простой русский язык» (см. ниже, примеч. 98). То обстоятельство, что ответы на сорбоннскую записку были переведены с французского на русский, может означать, что Жюбе не удалось познакомиться с этими документами в оригинале.

[52] Петипье — доктор Сорбонны, видный янсенист, как и Бурсье; см. о нем, в частности: История, 1765, с. 459; Пирлинг, 1882, с. 73 (примеч. 1), 76. Вместе с Бурсье он был одним из инициаторов миссии Жюбе; 20 марта 1727 г. Петипье обратился к Жюбе с письмом, уговаривая его взяться за это дело (Бурсье, 1753, с. 319–323). Что касается ордена ораторианцев, то это был оплот янсенистов.

[53] См. письма Бурсье к Жюбе от 27 июня и 11 июля 1728 г. (Бурсье, 1753, с. 468–475), а также принцессы Овернской к Жюбе от 21 ноября 1726 г. (там же, с. 318).

[54] Жюбе писал позднее, что ему удалось распространить в Москве более 400 книг религиозного содержания (на разных языках). См. его письмо к брату Клоду-Роберу от 10 августа 1733 г. из Лейдена (Библ. Труа, № 2337.13; Арх. Пирлинга, л. 227; ср.: Пирлинг, IV, с. 334).

[55] В самом деле, Бурсье определенно знал о существовании церковнославянского перевода Библии (о церковнославянской Библии шла речь в беседах Бурсье как с кн. В. Л. Долгоруким в 1719–1722 гг., так и с кн. А. Б. Куракиным в 1728 г., см. с. 334–336 наст. изд.). Вообще, Бурсье был достаточно хорошо подготовлен для того, чтобы давать Жюбе компетентные советы (его информированность о Русской церкви проявилась, между прочим, уже во время встречи с Петром I в Сорбонне 14 июня 1717 г., когда французский богослов оказался более сведущим в вопросах православного вероучения, чем русский царь, — Бурсье, 1753, с. 285–291; ср.: Пирлинг, IV, с. 253; Крейкрафт, 1971, с. 38). Существующий (церковнославянский) перевод Св. Писания, по-видимому, не устраивал янсенистов, которые были вообще сторонниками перевода церковных книг на живые национальные языки (Брюно, V, с. 25–31; ср.: Успенский, 1985, с. 131 — наст. изд., с. 118). Интересуясь Россией, Бурсье мог быть в курсе русской языковой ситуации и отдавать себе отчет в различиях между церковнославянским и русским языком.

Источником сведений Бурсье о русской языковой ситуации могла быть между прочим грамматика русского языка («Grammaire et Methode Russes et Françoises»), составленная в 1724 г. Жаном Сойе, «переводчиком славенского, российского и польского языков» в Королевской библиотеке (Jean Sohier, Interprete en Langues Esclavonne, Russe et Polonnoise dans la Bibliotheque du Roy). Эта грамматика была поднесена автором аббату Биньону (Jean Paul Bignon), королевскому библиотекарю и президенту парижских академий, и с 12 января 1725 г. хранилась в Королевской библиотеке (в настоящее время хранится в парижской Национальной библиотеке под шифром: Slave 5/Anc. 462; см. изд.: Сойе, I–II; ср. также: Успенский, 1988). В грамматике Сойе проводится четкое различие

между церковнославянским и русским литературным (письменным) языком, который при этом противопоставляется стилистически неупорядоченной разговорной речи; при этом подчеркивается относительно бóльшая близость литературного языка к церковнославянскому, а не к разговорной речи (л. H об. – J, ср. л. L; ч. I, с. 29–33, ср. с. 18–20, 24). В образцах русских фраз, которые приводит Сойе в своей грамматике, могут слышаться отголоски разговоров о соединении церквей, ср., например: «Церкви на таком основании, как до сего времене были, остаться будут» (ч. II, с. 296). Уместно отметить в этой связи, что аббат Биньон, которому Сойе посвятил свой труд, был янсенистом.

[56] Пирлинг (IV, с. 313) указывает, что Бурсье рекомендовал аббата Жюбе кн. Б. И. Куракину; это могло случиться до 17 октября 1727 г. (дата смерти Куракина); первые известия о возобновлении интереса Сорбонны к России датируются октябрем 1726 г. (там же, с. 315). Гораздо более вероятно, однако, что речь идет не о Борисе Ивановиче, но о его сыне Александре Борисовиче Куракине.

[57] Свидетельство тому — хранящаяся среди прочих дипломатических документов Б. И. и А. Б. Куракиных папка документов, озаглавленная «Бумаги, касающиеся до Сорбонны» (ГИМ ОПИ, ф. 3, оп. с., № 73). Среди них — несколько списков записки сорбоннских богословов в обратном переводе с латинского на французский язык (л. 28–35 об., 46–52 об.) и обоих ответов русских иерархов (ответ в редакции Феофана Прокоповича на латинском языке на л. 6–8; тот же ответ по-французски на л. 35 об. – 38, 52–54 об.; ответ в редакции Стефана Яворского на французском языке на л. 38–43 об., 55–59), теологическое рассуждение о Евхаристии по католической догматике («Demonstration de la possibilité de la presence réelle du corps de Jesus Christ dans l'Eucharistie conformément aux sentiments des Catholiques», л. 12–17 об.), трактаты на эту же тему Б. Рибейры (Bernardus Ribera), Доминика Аргуэлле (Dominico Arguelle) и других, где обсуждается отношение католиков к православной церкви (л. 20–27), письмо Сорбонны аббату Жюбе от 24 июня 1728 г. (л. 60–65). Здесь же — копии благодарственных писем за русские книги кн. А. Б. Куракину от докторов Бурсье и Сальмона и ответы на них Куракина (л. 66–68 об.; см. ниже).

[58] Характерен сам выбор книг: Куракин передает в библиотеку Сорбонны книги, одинаково признаваемые как Восточной, так и Западной церковью, т. е. книги, объединяющие эти церкви. Речь отнюдь не идет об ознакомлении сорбоннских богословов со специфически русской православной литературой или же с текстами нового, синодального периода (типа «Духовного регламента» и т. п.). Передача книг имеет, таким образом, не познавательный, а скорее символический характер.

[59] Характерны в этом смысле предписания, которые Бурсье дает Жюбе перед отправлением его в Россию. По плану Бурсье, Жюбе должен был встретиться в России с кн. В. Л. Долгоруким и вернуться к разговору о сношениях Сорбонны с представителями Русской церкви — разговору, который в свое время сам Долгорукий вел в Сорбонне с Бурсье. «Чтобы лучше напомнить ему обстоятельства этого разговора, — наставлял Бурсье своего эмиссара, — можно упомянуть о географической карте и Библии, которые он обещал; но при этом не следует, как вы хорошо понимаете, намекать ему, что мы просим их, ибо на самом деле речь идет не об этом» («Pour lui rappeler davantage les circonstances de cette conversation, on pourra lui parler d'une Carte géographique et d'un Bible qu'il avoit eu la bonté de promettre; mais il ne faut pas, comme vous comprenez bien, lui donner lieu de

croire qu'on demande, comme en effet on n'en est pas la» — письмо Бурсье к Жюбе от 27 июня 1728 г., см.: Бурсье 1753, с. 470). Во всех этих случаях разговор о книгах выступает как средство, позволяющее перейти к более важным материям.

Любопытно отметить, что упоминание церковнославянских книг фигурирует и в начале записки сорбоннских богословов (см.: Бурсье, 1753, с. 369 или 393; Д. Толстой, 1863, с. 368; Журнал Петра, 1772, с. 425). Тема книг оказывается, таким образом, регулярным мотивом в акциях, направленных на соединение церквей.

[60] По пути в Россию Жюбе сообщает в одном из писем (написанном, по-видимому, в Данциге): «Князь Куракин, посол во Франции, еще находится здесь. Хотя в дороге княгиня изменила свое имя, он нас разыскал, мы провели много времени вчера вместе, и я должен встретиться с ним сегодня утром по поводу письма г**...** [Бурсье], которое он получил» («Le Prince Kurakin ambassadeur en France s'est trouvé encore ici. Quoique la Princesse ait changé de nom sur la route et ici, il nous a deterré, nous fumes longtemps hier ensemble et je dois passer la matinée aujourd'hui avec lui au sujet d'une lettre de M**...** [Boursier] et qu'il a reçue» — Библ. Труа, № 2213, л. 45; Арх. Пирлинга, л. 3; имя Бурсье вписано над строкой чужой рукой). В другом письме — из Данцига, от 9 ноября 1728 г. — Жюбе писал: «Князь Куракин, который выехал из Берлина в воскресенье вечером, тогда как мы выехали на следующий день, также имел остановку в дороге, потому что у него сломалась ось. Мы встретились перед воротами, хотя он приехал вчера; мы стараемся как можно меньше встречаться и вместе путешествовать, так как тогда потребовалось бы слишком много лошадей для наших экипажей. Я прочитал два письма, которые он получил. Мы приедем в Ригу до него, потому что он задержится на несколько дней в дороге» («Le Prince Kurakin qui partit de Berlin dimanche au soir et nous le lendemain, s'est trouvé aussi arreté en chemin par des essieux cassés, etc. Nous nous sommes rencontré aux portes, neantmoins il est arrivé hier, on fait ce qu'on peut pour ne pas se rencontrer ni aller ensemble a cause du grand nombre de chevaux qu'il faudroit a la fois pour fournir les voitures. J'ai lu les 2 lettres qu il'a reçues. Nous arriverons a Riga avant lui parce qu'il reste quelques jours en chemin» — Библ. Труа, № 2213, л. 39; Арх. Пирлинга, л. без номера). Через несколько дней Жюбе сообщал из Пиллау другому своему корреспонденту: «Мы встретились в Данциге с князем Куракиным, которого его дела вынудили избрать другой маршрут. Мы соединимся в любом случае в Курляндии, у герцогини, которую княгиня не может не повидать, потому что они подруги» («Nous avons encore trouvé a Dantzik le Prince Kurakin que ses affaires ont obligé de prendre une autre route. Nous nous rejoindrons au moins en Courlande chés la Duchesse que la Princesse ne peut se dispenser de voir, étant son amie» — Библ. Труа, № 2213, л. 42 об. – 43; Арх. Пирлинга, л. без номера). Тем не менее, они встречаются уже в Кенигсберге; в письме из Кенигсберга от 16 ноября 1728 г. Жюбе писал: «Мы снова соединились здесь с князем Куракиным, который также уезжает сегодня» («Nous avons rejoint ici le Prince Kurakin qui part aussi aujourd'hui» — Библ. Труа, № 2213, л. 38; Арх. Пирлинга, л. без номера). Как видим, маршруты Куракина и Жюбе пересекались.

[61] В письме Бурсье от 30 августа 1728 г. есть постскриптум, где упоминается о знакомстве Куракина с еще одним видным янсенистом, а именно, аббатом Франсьером: «Аббат Франсьер, который имел честь принимать Вас у себя, берет на себя смелость выразить свое нижайшее почтение» («M[r] l'abbé de Franciere qui a eu l'honneur de vous reçevoir chez lui, prend la liberté de vous presenter ses tres humbles respects» — ГИМ ОПИ, ф. 3, оп. с., № 40, л. 6 об.; ГИМ ОПИ, ф. 3, оп. с., № 73, л. 66 об.). Аббат Франсьер (Vincent Charles

Antoine Belloy de Francière) — один из докторов Сорбонны, которые подписали как сорбоннскую записку 1717 г., так и письмо Сорбонны к Жюбе от 24 июня 1728 г.

[62] По указанию Пирлинга (IV, с. 368), Тредиаковский был рекомендован Бурсье в 1728 г. кн. Василием Лукичом Долгоруким. По всей видимости, это недоразумение, поскольку Долгорукий, кажется, не выезжал в это время из России и нет никаких указаний на его знакомство с Тредиаковским. По-видимому, Пирлинга ввело в заблуждение то обстоятельство, что Тредиаковский способствовал выполнению обещания (относительно книг), данного в свое время В. Л. Долгоруким, — имена Тредиаковского и Долгорукого фигурируют в одном и том же контексте.

[63] Пирлинг (IV, с. 368) указывает, что в связи с миссией Жюбе Тредиаковский был в Англии: по его словам, Тредиаковский отправился в Лондон, отвозя в своем чемодане драгоценную шпагу, украшенную бриллиантами, которую доверила ему кн. И. П. Долгорукая, чтобы выручить за нее деньги; деньги эти были, по-видимому, предназначены для задуманного предприятия.

Это недоразумение: Пирлинг спутал Тредиаковского с Андреем Третьяковым, который еще в 1715 г. был послан для обучения в Англию, а потом пребывал в Голландии при после кн. Б. И. Куракине (см. о нем реляцию Кантемира от 18 апреля 1732 г. — Александренко, I, с. 8–9). Именно Андрей Третьяков и был тем лицом, которому кн. И. П. Долгорукая доверила свою драгоценную шпагу; Третьякову не удалось выручить за нее необходимые деньги, и она осталась в Англии. Жюбе отмечает в своих записках, что 7 февраля 1736 г. в Лондон был отправлен некий человек, которому дали расписку, полученную в свое время от Третьякова, и который должен был у него забрать шпагу И. П. Долгорукой, а также ее письма и записки (выписка из записок Жюбе — Библ. Труа, № 2213, л. 36–37; Арх. Пирлинга, л. 5–6).

Любопытно, что в биографиях Тредиаковского, опубликованных после его смерти и в значительной степени основывавшихся на устных источниках, указывается, что Тредиаковский, оказавшись за границей, побывал в Голландии, во Франции и в Англии (см.: Новиков, 1772, с. 217; Тредиаковский, 1775, л. 1); можно предположить, что эти сведения также отражают отождествление Тредиаковского и Третьякова.

[64] В издание «Сочинений и переводов» 1752 г. эти стихи вошли в переработанном виде, причем соответствующее место читается так:

И не двоякий твой догмат:
Раскол стремится только в ад.

Как справедливо указывает комментатор сочинений Тредиаковского Я. М. Строчков (1963, с. 473), здесь, скорее всего, имеются в виду не расхождения православных и старообрядцев, которые не носили догматического характера, а догматические расхождения между православными и католиками по вопросу об исхождении Святого Духа.

[65] И. Калушкин замещал А. Б. Куракина (т. е. управлял делами посольства) после того, как тот отбыл из Парижа в Россию в июле 1728 г.; Калушкин служил в Париже еще при кн. В. Л. Долгоруком (он числился при нем учеником). Впоследствии Калушкин был поверенным в делах в Пруссии (в 1730 г.) и в Дании (в 1731 г.); в 1733 г. он отправляется в Персию (см. ниже, примеч. 108) и в 1737 г. становится там резидентом. См.: Н. Бантыш-Каменский, IV, с. 96–97, 52–53; Списки дипломатов, II, с. 319; ср. еще: Архив Куракина, II, с. 149, 156; Архив Куракина, III, с. 77; Архив Воронцова, I, с. 98.

[66] По рекомендации А. Г. Головкина в Петербург были приглашены многие европейские ученые; его роль в организации Академии наук особо отмечалась в инаугурационной академической речи. См.: Копелевич, 1977, с. 76–77.

[67] Характерно, что А. Г. Головкину посвящается немецкий перевод Большого катехизиса Петра Могилы, изданный в 1727 г. И. Л. Фришем (1666–1743); Фриш в свое время был учителем И. Г. и А. Г. Головкиных. См.: Пекарский, 1862, II, с. 190; Пекарский, 1864, с. 9–10; Айхлер, 1967, с. 16, 18.

[68] Как мы уже отмечали, Тредиаковский пользовался денежной помощью А. Б. Куракина и до отбытия последнего в Россию. В посвящении «Езды в остров Любви» А. Б. Куракину Тредиаковский пишет, что тот в «чюжестранных краях» содержал его на своем иждивении «чрез несколько лет» (Тредиаковский, III, с. 643). Этому не противоречит то обстоятельство, что, оказавшись в Париже, Тредиаковский сразу же (1/12 декабря 1727 г.) обращается в Синод с просьбой о денежном вспомоществовании (Чистович, 1859, стлб. 157–158). Вероятно, он сделал это по совету Куракина. Тредиаковскому, очевидно, было отказано (см. отзыв о нем московской Славяно-греко-латинской академии от 5 апреля 1728 г., данный в ответ на запрос Синода, — там же, стлб. 158), после чего Куракин и принял его на свой кошт. В автобиографической «ведомости» 1754 г. Тредиаковский упоминает своих парижских «благодетелей», на средства которых он обучался наукам: «… пришел в Париж, где в Университете, при щедром Благодетелей моих меня содержании, обучался Математическим и философским Наукам, а Богословским тамже в Сорбонне» (Пекарский, 1865а, с. 30). О «высоких благодетелях», помогавших ему в годы учения, Тредиаковский говорит также в своем доношении в Академию наук от 14 ноября 1737 г. (Мат. АН, III, с. 518; то же повторяется в справке Академии наук от 30 ноября 1737 г. — там же, с. 529). Под «благодетелями» имеются в виду А. Б. Куракин и, скорее всего, А. Г. Головкин.

О покровительстве, которое оказывал А. Б. Куракин Тредиаковскому в Париже, было достаточно хорошо известно в XVIII в. Г.-Ф. Миллер в истории Академии наук утверждает, что Куракин постоянно покровительствовал Тредиаковскому: «Allein der fürst Kurakin war allezeit sein grosser gunner» (Мат. АН, VI, с. 172). 23 ноября 1753 г. петербургский купец Василий Никитич Коржавин, отправивший сына Федора (впоследствии известного культурного деятеля) учиться в Париж, писал брату Ерофею Никитичу: «А когда ж требовать у меня будет Париж по 300 р. в год, то, друг мой, я не князь Куракин, который кормил в Париже Тредиаковскаго! Я могу на будущую весну парнишка своего и обратно в Петербург взять и для науки определить в Академию» (Пекарский, 1872, с. 412).

[69] В предисловии к «Езде в остров Любви», объясняя обстоятельства, при которых он взялся за перевод этой книги, Тредиаковский говорит: «Когда я был в Гамбурге по случаю чрез несколкое время, где не имея никакова дела со скуки я пропадал. Между тем его сиятелство князь Александр Борисовичь Куракин, которои отеческую и щедрую свою милость и по ныне мне кажет, повелел мне чрез одно свое писмо из Москвы перевесть какую нибудь книжку Французскую на наш язык, и то для того, дабы всуе мое время не тратилось» (Тредиаковский, III, с. 648). Создается впечатление, что Тредиаковский находился в Гамбурге, ожидая какого-то поручения.

[70] Характерно, что тот же А. Г. Головкин, у которого столовался Тредиаковский в Париже, будучи послом в Гааге, решительно отказал в помощи обратившемуся к нему другому русскому студенту — М. В. Ломоносову. См.: Ломоносов, X, с. 425–426; А. Морозов, 1962, с. 389.

[71] Ср., например, запись от 6 февраля 1726 г. в «Книге для записи паспортов…» о выдаче паспорта «по требованию Феофана архиепископа новгородского студенту Леонтию Зенковскому, отпущенному из Росии для наук во окрестные европские государства» (МИД АВПР, ф. Внутренние коллежские дела, 1726, оп. 2/6, д. 3541, л. 6 об.). Текст ходатайства Феофана см. в «Трудах Киевской духовной академии», 1865, октябрь, с. 267.

[72] Иероним Колпецкий, насколько мы знаем, не преподавал в классе Тредиаковского. Во всяком случае, Иероним был тесно связан с Софронием Мигалевичем, который преподавал Тредиаковскому риторику и, видимо, пиитику (см. § **1** наст. работы): Софроний Мигалевич, Иероним Колпецкий, а также Герман Копцевич, постриженники Киево-Печерского монастыря, были вызваны из Киева осенью 1721 г. ректором Славяно-греко-латинской академии Феофилактом Лопатинским, как «мужи, ко учению философии, риторики и пиитике способные»; в Москву они прибыли в мае 1722 г. (ОДДС, I, стлб. 675–676, 678; Харлампович, 1914, с. 655).

Достойно внимания при этом, что, вернувшись в Москву 3 января 1731 г. (см. письмо Тредиаковского к Шумахеру от начала января 1731 г. — Письма XVIII в., с. 44), Тредиаковский счел нужным немедленно явиться к Герману Копцевичу, который стал к этому времени ректором Славяно-греко-латинской академии; по-видимому, это произошло не позднее 18 января 1731 г. (см.: Успенский, 1985, с. 128–130 — наст. изд., с. 117–118; ср. также § **6** наст. работы). Не исключено, что Герман Копцевич был в той или иной мере осведомлен об обстоятельствах отъезда Тредиаковского за границу.

[73] 24 января 1726 г. служитель И. Г. Головкина Алексей Трубачев обращается в Синод с просьбой «отпустить с иеромонахом Иеронимом в Голландию святой антиминс и святое миро…; что и разрешено Святейшим Синодом в тот же день» (ОДДС, V, стлб. 357); быстрота исполнения этой просьбы заставляет думать, что Иероним и Д. М. Головкина выехали сразу же после получения паспортов, т. е. после 27 января.

[74] Францисканцы и их «меньшие братья» капуцины («fratres minores»), как они сами себя называли, в качестве домашних учителей или домашних священников были вхожи во многие знатные и могущественные семейства того времени: домашними учителями А. Д. Кантемира (отец его кн. Дмитрий Кантемир был одним из первых вельмож при Петре I) были капуцины Антоний Мария д’Амелиа Луальди (Грасгоф, 1966, с. 27), о котором мы уже упоминали, и Октавий Мария из Милана (Octavio Maria da Milano — Флоровский, 1962, с. 334). В 1721–1723 гг. в петербургской школе капуцинов под руководством Аполлинария из Швица (Apollinaire de Schwyz) обучались русские «нобли» и сын одного из царских фаворитов (Флоровский, 1962, с. 335); сам Аполлинарий преподавал немецкий язык секретарю Кабинета Петра (Захария, 1942а, с. 369). Церковную службу в петербургском доме гр. Растрелли отправлял францисканец Кондилье из Парижа (МИД АВПР, ф. Духовные дела иностранных вероисповеданий, 1721, д. 1, л. 16), а в доме контр-адмирала М. Змаевича — францисканец Микель Анджело де Вестинье (Michael Angelus a Vestignè) из Турина (там же); заметим, что контр-адмирал Змаевич был братом архиепископа Винцента Змаевича, известного католического деятеля в Далмации, который специально интересовался католицизмом в России (Пирлинг, IV, с. 298).

Орден капуцинов пользовался, по-видимому, особым расположением Петра I, см. об этом в письме капуцина Аполлинария в Рим от 11 марта 1723 г. (Захария, 1942а, с. 369). В этом письме Аполлинарий упоминает, между прочим, об особых дружеских отношениях с «главным фаворитом царя» («un principale favorito di Sua Maesta Czariana mio

special'amico» — там же). Равным образом и Патриций пользовался покровительством «одного из самых могущественных министров этого [т. е. русского] двора» («d'uno de piû potenti Ministri di quella Corte» — письмо Микель Анджело де Вестинье 1724 г., см.: Арх. Конгр. проп. веры, SORC, т. 643 [1724], л. 392). Антоний Мария д'Амелиа Луальди, бывший учителем как Кантемира, так и Тредиаковского, встречался в Астрахани с Петром I, который, по его словам, одобрил его начинания (Захария, 1942, с. 16; Флоровский, 1962, с. 333). Во время пребывания Петра в Париже в 1717 г. Б. И. Куракин сообщил папскому нунцию кардиналу Бентивольо, что царь желал бы, чтобы в его новой столице (Петербурге) был капуцинский монастырь («… sua Maesta desiderava, che si stabilisse un Convento de Cappuccini nella sua nuova Citta di Peterbourg» — Арх. Конгр. проп. веры, Acta, т. 87 [1717], л. 274).

[75] Вернувшись в Италию, Патриций не забывал о России, продолжая в какой-то мере способствовать католическому просвещению в этой стране. Свидетельством тому может служить книга «Cathechismo cioe Instrutione secondo il Decreto del Concillo di Trento… In Venetia, MDCLXXXIV», которая была привезена в 1733 г. из Италии в Астрахань капуцином Giuseppe dalle Cese. На книге находится надпись: «Questo libro é [нрзб.] di me fra Patritio Milanese Capucino Missionario Apostolico in Giorgia e in Russia [нрзб.] molti Anni. Il P. Patritio parti di Moscha [нрзб.] Italia l'Anno 1725» (Астраханский гос. объединенный историко-археологический музей-заповедник, шифр: АМЗ $\frac{\text{КП 3256/20}}{\text{кн.}}$).

[76] Миллер вообще может ошибаться в конкретных деталях, правильно излагая суть событий. Так, например, он сообщает, что кн. А. Б. Куракин, выезжая из Парижа, взял с собой Тредиаковского и они вместе прибыли в Петербург 10 декабря 1728 г. (Мат. АН, VI, с. 172). Это неверно, поскольку Тредиаковский, как мы знаем, по поручению Куракина задержался в Гамбурге. Вместе с тем, отношения Тредиаковского и Куракина и зависимость передвижений Тредиаковского от передвижений Куракина охарактеризованы более или менее правильно.

[77] По словам Бурсье, «к числу членов Синода, которые были расположены [к предприятию Жюбе], необходимо прибавить киевского архиепископа, которого ценил Жюбе» («A ces membres du Synode assez bien intentionnés, il faut joindre l'Archevêque de Kioff, pour qui M. Jubé avoit de l'estime» — Бурсье, 1753, с. 346); ср. записки Жюбе — Жюбе, 1992, с. 102; История, 1765, с. 551. О Варлааме Ванатовиче см.: Рыболовский, 1908; Крыжановский, 1861.

[78] Ср.: «… молодые люди сначала должны были быть помещены в Московскую коллегию, затем перейти в Киевскую, где тамошний архиепископ имел бы о них особое попечение. После того как они овладевали достаточными познаниями, их надлежало направить в Париж для обучения в университете» («… les jeunes gens auroient été placés d'abord au Collége de Moscou, ensuite ils auroient passé a celui de Kioff, sur lequel l'Archevêque, qui étoit alors en place, veilloit d'une maniére particuliére. Quand les jeunes gens auroient été plus avancés, on les auroit envoyés a Paris, étudier dans l'Université» — Бурсье, 1753, с. 351). См. подробнее ниже, примеч. 122.

[79] Характерно, что, упоминая о своей учебе в Славяно-греко-латинской академии, Тредиаковский, как правило, называет ее «училищем», «училищами» (см., например, предисловие к «Аргениде» — Тредиаковский, 1751, с. LVIII; доношения в канцелярию Академии наук от 2 и 17 мая 1743 г. — «Москвитянин», 1851, № 11, с. 227; «Москвитянин», 1853, № 15, с. 31; Мат. АН, V, с. 680) или же говорит об обучении в Заиконоспасском

монастыре (письмо в Синод от 1/12 декабря 1727 г. — Чистович, 1859, стлб. 157; автобиографическая «ведомость» 1754 г. — Пекарский, 1865а, с. 30); письмо в Синод из Парижа от 1/12 декабря подписано: «былый ученик Московских школ…» (Чистович, 1859, стлб. 158). Между тем, в трактате «О древнем, среднем, и новом стихотворении Российском» (1755) Тредиаковский говорит о «училище… Московском в Заиконоспасском монастыре, называемом также, по Богословскому факултету, Академиею» (Тредиаковский, I, с. 774–775).

Равным образом и в Киево-Могилянской академии название «академия» в принципе относилось лишь к классам философии и богословия (Линчевский, 1870, с. 535).

[80] Кантемир и Тредиаковский позднее состояли в переписке. См. письма Тредиаковского к Кантемиру от 14/25 марта 1743 г. (Письма XVIII в., с. 49–50; ср. ответ Кантемира от 21 апреля 1743 г. — Л. Майков, 1903, с. 185), от 16/27 мая 1743 г. (Кантемир, II, с. 440), от 11/22 августа 1743 г. (Письма XVIII в., с. 50–51). Есть основания полагать, что они переписывались и раньше: так, в письме Гроссу от 2 сентября 1737 г. Кантемир пишет о латинском словаре, который Тредиаковский упоминал в письме к нему (Л. Майков, 1903, с. 89; ср.: Письма XVIII в., с. 62; Бабаева, 2004, с. XI, примеч. 11).

[81] Октавий Мария прибыл в Астрахань в 1722 г. и пробыл здесь совсем недолго (ОДДС, III, стлб. 466).

[82] Кн. Д. Кантемир выехал из Астрахани в Москву 27 января 1723 г. (ср. запись в дневнике И. Ю. Ильинского под этим числом: «поехали из Астрахани к Москве…» — Л. Майков, 1903, с. 310). Ему не суждено было, однако, доехать до Москвы: в дороге князь почувствовал себя плохо, и это заставило его, по-видимому, изменить свои планы. Ввиду обострения болезни Д. Кантемир останавливается в своем имении — селе Дмитровке Орловского уезда, недалеко от Севска. Д. Кантемир и сопровождающие его лица прибыли в Дмитровку 19 марта 1723 г., а 22 августа того же года он скончался; 29 сентября тело покойного перевезли в Москву, и 1 октября 1723 г. его похоронили (см. дневниковые записи И. Ю. Ильинского — там же, с. 311–312). Тогда же, по-видимому, переезжает в Москву и семья покойного князя, в том числе и А. Д. Кантемир; 26 июня 1724 г. А. Д. Кантемир вместе с братьями и сестрами, а также сопровождающим их И. Ю. Ильинским выехали из Москвы в Петербург, куда прибыли 9 июля того же года (дневник И. Ю. Ильинского — там же, с. 312).

Равным образом и Октавий Мария, выехавший из Астрахани с Д. Кантемиром, «поехал в его вотчину [т. е. в Дмитровку], где его светлостью и был удержан ради учения детей его»; позднее он отправился в Москву, откуда затем переехал в Петербург (ОДДС, III, стлб. 465–466).

Таким образом, если Тредиаковский выехал из Астрахани с обозом Д. Кантемира, он мог доехать с ним только до Дмитровки, что составляло приблизительно три четверти пути. Нам неизвестно, каким образом он добрался из Дмитровки до Москвы, куда он попадает не позднее весны 1723 г. (см. выше, § **1** наст. работы), но это, вообще говоря, не имеет отношения к обсуждаемой проблеме: поскольку по первоначальному плану обоз Д. Кантемира направлялся из Астрахани именно в Москву, Тредиаковский вполне мог отправиться с ним, чтобы попасть в Славяно-греко-латинскую академию.

[83] Как мы уже отмечали, под «высокими благодетелями», от которых получал Тредиаковский «крайнюю помощь», подразумеваются, по всей вероятности, А. Б. Куракин и А. Г. Головкин. См. выше, примеч. 68.

[84] Позднее, в 1749 г., Тредиаковский перевел «Аргениду» заново (Пекарский, II, с. 146; Мат. АН, IX, с. 51); этот перевод был издан в 1751 г., и Тредиаковский сообщает в предисловии, что он впервые перевел эту книгу, «будучи еще в Московских училищах, почитай токмо вступивши в реторический класс», т. е. в 1724–1725 гг. (Тредиаковский, 1751, с. LVIII).

Автограф первоначального перевода «Аргениды», выполненного Тредиаковским в период обучения в Славяно-греко-латинской академии (с авторскими исправлениями), попал затем в библиотеку Иеронима Колпецкого. Рукопись с владельческой записью Иеронима в настоящее время хранится в Библиотеке Украинской академии наук, собр. Киево-Печерской лавры, № 335п/226. Надо полагать, что, уезжая за границу (вместе с Иеронимом), Тредиаковский захватил с собой рукопись «Аргениды» наряду с другими своими сочинениями (в статье «О древнем, среднем, и новом стихотворении Российском» он сообщает, что вывез с собой за границу драмы «Язон» и «Тит, Веспасианов сын» — Тредиаковский, I, с. 778). В Гааге Тредиаковский и передал, по-видимому, эту рукопись Иерониму Колпецкому; скорее всего, он сделал это перед своим отбытием в Париж (поскольку, как мы знаем, ему пришлось идти туда пешком). Возвратившись из Голландии в 1728 г., Иероним Колпецкий уехал в Киев (Харлампович, 1914, с. 560; ОДДС, VIII, стлб. 131), и таким образом данная рукопись оказалась в собрании Киево-Печерской лавры (напомним, что Иероним был постриженником этого монастыря). Выпуская в свет новый перевод «Аргениды» и говоря о том, что ранее ему уже приходилось переводить это произведение, Тредиаковский отмечает, «что во всей России один токмо, и в одних руках экземпляр того перевода находится поныне, который точно самый тот ныне паки мною отъискан, и так сохранен, что уже́ и я сам увидеть его никогда не возмогу» (Тредиаковский, 1751, с. LVIII–LIX). Конечно, речь идет именно о том экземпляре, который был отдан Иерониму Колпецкому. См.: Николаев, 1987.

[85] По всей вероятности, это не соответствовало программе капуцинов, которые едва ли могли сочувствовать предприятию янсенистов. Капуцины, во всяком случае, знали о том, что кн. И. П. Долгорукая связана именно с янсенистами. Как сообщал в 1739 г. Матвей Караман (Matteo Caraman), петербургские капуцины считали, что княгиня «infetta di Jansenismo», т. е. заражена янсенизмом: «Французский священник был учителем в доме единственного из Долгоруких, который находится здесь после изгнания [т. е. после опалы Долгоруких], — того Долгорукого, семью которого отец Рибейра называет католической и супругу которого отцы капуцины считают зараженной янсенизмом. Правда, этот французский священник был изгнан из Петербурга» («Un prete francese fu maestro in casa dell'unico Pr. Dolgorouki presente dall'esilio questo o quel Dolgorouki, la di cui famiglia il P. Ribera chiama cattolica e la cui moglie li P. P. Cappuccini considerano infetta di Jansenismo. E vero che il Prete francese fu scacciato da Pietroburg». См.: Relazione dello stato presente si Politico che Ecclesiastico della Gran Russia presentata alla Sagra Congregazione di Propaganda Fide l'anno 1739 dal Sacerdote Matteo Caraman missionario Ap[osto]lico in quell Imperio — Арх. Конгр. проп. веры, Moscovia, Polonia e Ruteni, Misc., т. 1, л. 120).

[86] Приводя записку испанского посла в Москве герцога де Лириа (de Lihria) к Жюбе, где обсуждается предполагающееся назначение Кантемира на дипломатическую службу и, между прочим, упоминается кн. И. П. Долгорукая (записка относится, видимо, к сентябрю 1729 г.; о герцоге де Лириа мы говорим в § **5** наст. работы), Бурсье замечает: «Князь Валашский, о котором идет речь в этой записке, — это Антиох Касимир [sic!], которого

Жюбе считал одним из самых ученых вельмож в этой стране или, скорее, единственным, кто заслуживает звания ученого. Он [Жюбе] был с ним [Кантемиром] тесно связан; и он поручил князю перевести на русский язык многие благочестивые сочинения, с тем чтобы затем их распространять» («Le Prince de Valachie dont il est question dans ce billet, est Antiochus Casimir que M. Jubé regardoit comme un des plus sçavans Seigneurs du pays, ou plutût comme le seul que méritât le nom de sçavant. Il étoit fort lié avec lui; et il avoit engagé ce Prince a traduire en Russe plusieurs Ouvrages de piété, pour les répandre ensuite» — Бурсье, 1753, с. 344; ср.: Пекарский, 1862, I, с. 43). Отзыв Жюбе о Кантемире, который приводит Бурсье, содержится в его записках, см.: Жюбе, 1992, с. 108; ср. также с. 136.

В письме к архиепископу Бархману от 16 апреля 1730 г. Жюбе говорит о Кантемире: «Князь переводит с французского на русский превосходно и с большой легкостью. Он взялся за перевод довольно обширного произведения, которое я дал ему не больше месяца назад, и мне сообщают, что перевод уже почти закончен» («Ce prince traduit le françois en russe en perfection et avec la plus grande facilité. Il s'est chargé de traduire une pièce assez considérable que je lui donnai il y a moins d'un mois et on m'annonce qu'elle est presque faite» — Библ. Труа, № 2229.17, л. 37; Арх. Пирлинга, л. 210; ср.: Грасгоф, 1963, с. 6; Грасгоф, 1966, с. 67; Пирлинг, IV, с. 335).

[87] В цитированном письме к архиепископу Бархману от 16 апреля 1730 г. Жюбе писал: «Князь Валашский, которому 22 года, этой весной отправляется в Париж, с тем чтобы получить руководство у лучших наставников; с ним едут два других господина примерно того же возраста, об одном из которых, гвардейском офицере, я упоминал в предыдущих письмах; на его отъезд получено, наконец, согласие двора» («Le prince de Valachie, âgé de 22 ans, part ce printemps pour Paris dans le dessein de se former sur les meilleurs guides et par occasion deux autres seigneurs a peu près de même âge dont l'un est celui dont j'ai parlé dans mes précédentes, officier dans les gardes, au départ du quel la Cour a enfin consenti» — Библ. Труа, № 2229.17, л. 37; Арх. Пирлинга, л. 210; ср.: Грасгоф, 1963, с. 6; Грасгоф, 1966, с. 88). Здесь же говорится, что эти двое будущих спутников Кантемира находятся под его влиянием («… les deux autres qui suivront ses allures») и горят желанием учиться («Les deux autres ont au moins une ardeur incroyable de s'instruire» — там же). Г. Грасгоф, опубликовавший данное письмо в отрывках, утверждает в своем монографическом исследовании о Кантемире, что речь идет здесь о сыновьях И. П. Долгорукой, которые, как полагает Грасгоф, должны были отправиться вместе с Кантемиром в Париж (Грасгоф, 1966, с. 67). Кажется, это недоразумение: сыновья Долгорукой были гораздо моложе Кантемира (ее старшему сыну было в это время не более тринадцати лет), тогда как в цитированном письме говорится о его ровесниках. Ср. еще ниже, примеч. 88.

В том же письме Жюбе упоминает о близости Кантемира к Феофану Прокоповичу, опасаясь дурного влияния Феофана на Кантемира, которое могло бы помешать планам Жюбе (планам, связанным с предстоящей поездкой Кантемира в Париж, которая должна была бы способствовать дальнейшему сближению Кантемира с католиками): «Князь Валашский обладает подлинным талантом, но я очень боюсь, как бы он не был слишком общителен и не попал бы в искусные руки — так же как и двое других, которые находятся под его влиянием. Он тесно связан здесь с новгородским архиепископом, и было бы досадно, если бы эта поездка оказалась для него и двух его спутников не столь полезной, какой она могла бы быть» («Le prince de Valachie a de vrais talents mais je crains fort pour lui s'il se répand trop et s'il ne tombe en bonnes mains, aussi bien que pour les deux autres qui suivront ses allures. Il est étroitement lié ici avec M. l'arch. de Novgorod, ce serait

dommage que ce voyage ne lui fut pas aussi avantageux qu'il le peut être pour lui et pour les deux autres» — Библ. Труа, № 2229.17, л. 37; Арх. Пирлинга, л. 210).

[88] В том же письме от 16 апреля 1730 г. Жюбе писал архиепископу Бархману: «Я всячески хлопочу о том, чтобы отправить старшего князя Долгорукого не в Париж с тремя господами [имеются в виду А. Д. Кантемир и его спутники, о которых говорится в том же письме, см. выше, примеч. 87] — я опасаюсь, как бы они не стали там помехой его благим намерениям, — но в Амерсфорт. В настоящее время он у меня исповедуется и хорошо учится, по примеру других, и он, мне кажется, так же любит молиться, как и они… Сообщите, пожалуйста, какова годовая плата в Амерсфорте для тех, кто учится в колледже. Я был бы спокоен за него, если бы он оказался в таком хорошем училище» («Je sollicite par toutes les voies que je puis d'envoyer le prince aoné Dolgorouky non a Paris avec ces trois seigneurs, où je craindrois qu'ils ne fussent un obstacle a son vrai bien, mais a Amersfort. Il se confesse a moi a present et étudie bien a l'exemple des autres et il me paroit aussi ardent qu'eux pour la prière… Mandez moi de combien je vous prie est la pension annuelle d'Amersfort pour chacun qui suit le cours du collège, je vous prie. Je serois bien tranquille sur son sujet s'il étoit en si bonne école» — Библ. Труа, № 2229.17, л. 37; Арх. Пирлинга, л. 210; ср.: Грасгоф, 1963, с. 6–7). Речь идет, по-видимому, о князе Владимире Сергеевиче Долгоруком; насколько можно понять, Жюбе собирается поместить его в какое-то янсенистское учебное заведение; при этом Жюбе выражает в данном письме беспокойство относительно духовного развития своего воспитанника. Беспокойство Жюбе имело основания: кн. В. С. Долгорукий, впоследствии известный дипломат (в 1762–1787 гг. он был посланником при дворе Фридриха Великого), был вольнодумцем и едва ли не атеистом (см.: Долгоруков, 1840, с. 168).

[89] Между прочим, один из сыновей И. П. Долгорукой, князь Петр Сергеевич Долгорукий (1721–1773), был женат на Софье Петровне Апостол (Долгоруков, I, с. 96, 108), внучке гетмана Даниила Апостола и дочери Петра Апостола, близкого друга Кантемира (об отношениях Кантемира и Петра Апостола см.: Берков, 1961, с. 196–199; Грасгоф, 1966, с. 61–66). Петр Сергеевич Долгорукий был крестным сыном царицы Прасковьи Федоровны (матери императрицы Анны Иоанновны), которая завещала ему большое состояние (Долгоруков, 1867–1871, I, с. 373).

[90] Кантемир и А. Г. Головкин были хорошо знакомы и переписывались (их переписка за 1732 г. опубликована в изд.: Л. Майков, 1903, с. 3–4, 10, 13–14; относительно позднейшей переписки см., в частности: Грасгоф, 1966, с. 203, 289; в архиве Кантемира сохранились 32 письма от А. Г. Головкина из Гааги за 1742 г. — МИД АВПР, ф. Парижская миссия, 1742, оп. 94, д. 6). Отметим, что выехав из России в начале 1732 г., Кантемир специально останавливается (по пути в Лондон) в Гааге, чтобы встретиться с А. Г. Головкиным (Грасгоф, 1966, с. 92–93; Стоюнин, 1867, с. LXXXI; ср.: Л. Майков, 1903, с. 5, примеч. 3). Мы можем догадываться, что беседа двух дипломатов касалась не только международных отношений, но также затрагивала — в той или иной мере — и религиозные проблемы.

[91] Заслуживает внимания то обстоятельство, что два брата аббата Гуаско — Giovan Francesco Antonio Guasco (1708–1763) и Pier Alessandro Guasco (1714–1780) — в 1739–1741 гг. служили в русской армии; они попали сюда по протекции Кантемира, который снабдил их рекомендательными письмами. Для дальнейшего изложения любопытно отметить, что эти братья Гуаско были как-то связаны с французским послом в России

маркизом де ла Шетарди: благодаря рекомендации кардинала де Флёри, они жили в его доме. См.: Де Микелис, 1982–1983, с. 91, 101–102, 106; ср.: Лортолари, 1951, с. 34; Монтескье, 1914, с. 380–384; Кантемир, II, с. 148, примеч.; Л. Майков, 1903, с. 140.

[92] Это не единственный литературный опыт Долгоруких: так, князь Александр Сергеевич Долгорукий перевел на французский язык трагедию Сумарокова «Синав и Трувор»; в 1751 г. этот перевод был издан в Петербурге в типографии Академии наук (Св. кат. XVIII в. на иностр. яз., III, с. 88, № 2822).

[93] Ср. в этой связи письмо А. Кантемира к И.-Д. Шумахеру от 24 февраля 1729 г. относительно печатания «Турецкой истории» Д. Кантемира. Говоря о достоинствах и недостатках книги своего отца, Кантемир замечает: «Всяк человек (кроме папы) будучи повинен прегрешению, ведаю что не нет и в сем сочинении несовершенств…» (Мат. АН, I, с. 456). Кантемир явно пишет о непогрешимости папы в ироническом контексте. Это не противоречит, как мы знаем, его янсенистской ориентации (ср. выше, примеч. 29 и 50).

[94] Как справедливо отмечает Гуаско (1749, с. 114), при всех своих связях с католиками Кантемир не принадлежал к католической церкви. Показательно в этом смысле, что заболев и чувствуя приближение смерти, Кантемир в октябре 1740 г. обратился в Синод (через Коллегию иностранных дел) с просьбой назначить в Париж священника и выслать походную церковь с антиминсом; в Париже никогда не было до этого православной церкви (при кн. Б. И. Куракине в 1725–1727 гг. здесь был православный священник Даниил Яковлев, однако без церкви); последний раз Кантемир исповедовался и причащался в Лондоне, по-видимому, в 1737 г. (в марте 1744 г. Кантемир объявил своему духовнику, «что за неимением при нем священника, семь лет не исповедывался и Божиих таин не причащался»).

27 мая 1741 г. Синод остановился выбором на вдовом и бездетном священнике из Белгородской епархии Андрее Григорьеве Геневском; в причетники были назначены студенты московской Славяно-греко-латинской академии Федор Бутырский (он же и Ушаков) и Александр Стахиев. 3 августа 1742 г. священник с причтом выехал из Петербурга, 21 октября 1742 г. он прибыл в Париж; однако походной церкви с антиминсом ему не дали, и следовательно, он не мог отслужить литургию и причастить Кантемира. Правда, у него были с собой запасные дары, однако Кантемир не захотел ими причаститься, поскольку, как сообщал впоследствии священник, «он в запасных дарах имел некое сумнительство».

Узнав о том, что его ожидания были напрасны, Кантемир пришел в ярость. Приняв причетников в свой дом, он отказал священнику в крове и пропитании. Священник оказался в необыкновенно трудном положении и, по существу, был обречен на голодную смерть; однако и Кантемиру становилось все хуже. В конце концов умирающий Кантемир заставил священника освятить церковь и служить литургию без антиминса, что совершенно невозможно по православным канонам. После смерти Кантемира, 8 апреля 1744 г. (по ст. стилю), священник обратился в Синод с покаянным письмом, сообщая о случившемся. Упомянув о том, что покойный «за непривозку к нему из России церкви» поступал с ним «прежестоким образом», священник Андрей Геневский писал, что он «принужден был без антиминса кратким освящением освятить 25 марта, в день Св. Пасхи, церковь в доме министра во имя св. пророка Иоанна Предтечи, в которой, по освящении, отпев божественную литургию точию на одном илитоне, в тот самый день удостоил его, министра, общником быти св. Таин». «В новоосвященном храме, — писал далее Анд-

рей Геневский, — при жизни министра, отпето шесть божественных литургий [т. е. литургии служились ежедневно до смерти Кантемира, последовавшей 31 марта / 11 апреля 1744 г.], а по умертвии министра, я оный храм запечатал и не дерзаю более священнодействовать в нем без благословения Св. Синода»; в заключение священник слезно просил у Синода прощения за свою вину. Между прочим, на этих службах дважды присутствовали князья Александр и Владимир Сергеевичи Долгорукие, однако не исповедовались и не причащались. См.: Здравомыслов, 1894, с. 213–214; Кантемир, II, с. 276; Пекарский, 1868, с. 28; Архив Воронцова, VI, с. 45.

Достойно внимания, что А. Г. Геневский пользовался материальной поддержкой со стороны Жюбе и князей Долгоруких (см. об этом в письме Жюбе к Кантемиру от 6 мая 1743 г. и Александру и Владимиру Сергеевичам Долгоруким от 29 июля 1743 г., которые мы цитируем ниже, в примеч. 186).

Эти сведения, почерпнутые из русских архивных источников (главным образом из документов, хранящихся в архиве Синода), дополняет Гуаско, который сообщает, что Кантемир перед смертью обратился к парижскому архиепископу с просьбой предоставить ему престол для алтаря его домовой церкви («une Pierre Sacrée… pour l'Autel, qu'il faisoit construire dans sa Chapelle Domestique»); католический престол должен был заменить, очевидно, православный антиминс. Архиепископ парижский согласился удовлетворить желание Кантемира при условии, что в его церкви будет отправляться лишь католическая месса. Кантемир не принял этого условия и предпочел, чтобы служба была по православному обряду, хотя и без антиминса. См.: Гуаско, 1749, с. 118–119.

Как видим, Кантемир решительно отвергал возможность исповедаться и причаститься у католического священника. Принадлежность Кантемира к православному вероисповеданию подчеркнута в его завещании, написанном в Париже 21 марта 1744 г. (по ст. стилю), где говорится: «… исполняя то, что Богу долженствовал по христианской православной греческаго исповедания вере, в которой я родился и умираю…» (Кантемир, II, с. 350).

Для отношения Кантемира к католицизму показательна его эпиграмма «На икону святаго Петра», написанная в 1730 г., т. е. в период особенно тесного общения с Жюбе:

«Что с ключем, Петре, стоишь?» — «Хочу впустить дети
Восточныя церкви в рай». — «А что в папски сети
Впали, будут ли они стоять за дверями?» —
«Есть, есть у них свой ключарь; войдут те и сами».

В примечании Кантемир объясняет, что под «ключарем» имеется в виду папа римский: «Папа римский называется наследником святаго Петра, которому одному из апостолов, по мнению церкви римской, власть от Христа дана решить и вязать грехи» (Кантемир, I, с. 335, 337; Кантемир, 1956, с. 233, 235). Эта эпиграмма двусмысленна по своему содержанию: с одной стороны, папа римский уподобляется апостолу Петру и уполномочен открыть райские двери для своей паствы, с другой же стороны, апостол Петр как бы снимает с себя попечение о католиках. Эта двусмысленность хорошо характеризует отношение Кантемира к этим вопросам.

[95] Вешняков был также в России с осени 1736 по осень 1739 г. — во время русско-турецкой войны (Кочубинский, 1899, с. 168–171).

[96] Осенью 1729 г. Вешняков отбыл из Москвы в Константинополь (Кочубинский, 1899, с. 27, 117–118; ср.: де Лириа, 1869, с. 172, 178). Жюбе же, как мы знаем, появляется

в Москве лишь в самом конце 1728 г. (см. выше, § **2**). Таким образом, общение Вешнякова и Жюбе в России ограничивается 1729-м годом.

[97] Жюбе, как мы увидим, инспирировал критику катехизиса Феофана (см. ниже, § **5**).

[98] См.: «Traduction en Langue Russienne de Memoire des Mr^{s} de Sorbonne touchant la reunion de l'Eglise de Russie avec la Latine, avec les Responses des Eveques de Russie a Mr^{s} de Sorbonne. Перевод на Простой руской язык Предлога Г[оспо]д Сорбонских учителей о соединении Россииския церкве с Латинскою. Тут же и ответы россииских архиереев оным Г[оспо]дам Сорбонским учителем. В октябре м[е]с[я]це 1729» (МИД АВПР, Духовные дела иностранных вероисповеданий, 1729, оп. 10/1, д. 1, л. 1, 26–49 об.). Это черновая рукопись с многочисленными исправлениями, отражающими работу над текстом; почерк выдает руку А. А. Вешнякова, что и позволяет говорить о нем как о переводчике данного текста. На рукописи имеется помета, что с нее снята беловая копия, которая куда-то отправлена 7/26 (sic!) октября 1729 г.: «La copie au net da [sic!] memoire a été fait et envoyé le 7/26 8re 1729» (л. 1). Анализу языка этого перевода посвящены работы: Литвина, 1993; Литвина, 1999.

Как видим, сорбоннская записка была переведена в России как на церковнославянский, так и на русский язык: если церковнославянский перевод (Феофилакта Лопатинского) был выполнен с латинского текста, то русский перевод (А. А. Вешнякова) был сделан с французского оригинала. Равным образом с французского на русский были переведены и ответы русских иерархов на сорбоннскую записку (л. 38–49 об.).

Характерно, что перевод на русский язык осуществляется независимо от церковнославянской языковой традиции: лишь один раз, приводя слова 44-го псалма, Вешняков приводит церковнославянский текст этого отрывка.

[99] Процитируем запись Вешнякова: «Утешение духовное или книга следования Іисусу Христу переведена с французскаго на славенский диалект чрез господина Андреа Феодоровича Хрущова. Алексей Вышняков в Амстердаме. 1719. Списано верно с аржиналнаго [т. е. оригинального] манускрипта в Амстердаме 1723 году. Увещание о сем манускрипте. Сей манускрипт есть первая копия с манускрипта Андрея Феодоровича Хрущова, которой он при от[ъ]езде своем из Галандии в Россию, переписав на бело своею рукою и оставя у себя черной, подарил ея светлости княгине Ирине Петровне Голицыной Долгорукой в 1719 году, а мне изволила она пожаловать онои для читания на время и позволила взять сию копию, которая писана в Амстердаме в месяце августе 1723 году, а писал Андрей Матвеев сын Кобылин, которой в то время учился живописному по указу государыни императрицы, которой завсегда сохранен будет на зна[к] ея к себе милости, такожде и за хорошство переводу друга моего Андреа Феодоровича Хрущова. Алексей Вышняков».

Известны и другие списки хрущовского перевода Фомы Кемпийского, см., например: ГИМ ОР, Син. 685 (Горский и Невоструев, II, 3, с. 208–210), ГИМ ОР, Царск. 671; ГИМ ОР, Царск. 672 (Леонид, I, № 437, 438); ГПБ, Солов. 1130/1240. Ср. также списки, указанные у Соболевского (1908, с. 4–5).

Относительно А. Ф. Хрущова и круга его чтения см.: Пореш, 1978; Луппов, 1976, с. 227–234; Луппов, 1981; Хотеев, 1986, с. 38–44; о его переводах см.: Николаев, 1988, с. 167–172.

[100] Ср. упоминания Кантемира в письмах А. Аргамакова к Вешнякову в Константинополь от 8 августа 1730 г., 15 апреля 1731 г. и 13 июня 1732 г. (МИД АВПР, ф. Кон-

стантинопольская миссия, 1730–1733, д. 37, л. 4; 1730–1732, д. 40, л. 6 об., 13–13 об.). В письме от 15 апреля 1731 г. Аргамаков между прочим советовал Вешнякову: «Не прогневайся, батюшка братец, что я принял столко смелости тебе сказать, что напрасно не пишеш князь Антиоху Дмитреевичю: он бы не зделал так, как другие делают для тово, что в нем чесной совести и добродетели гораздо болши, нежели в других» (там же, д. 40, л. 6 об.). Вероятно, речь идет о ситуации, изменившейся с воцарением Анны Иоанновны. Аргамаков — двоюродный брат Вешнякова; впоследствии он стал первым директором Московского университета. В цитированном письме к Вешнякову от 15 апреля 1731 г. Аргамаков сообщает, что он готовится к отъезду за границу вместе с Кантемиром и С. К. Нарышкиным. Из письма Вешнякова к Кантемиру от 26 ноября 1732 г. мы узнаем, что Кантемир и Аргамаков поддерживают переписку («J'entends que vous honorez de votre correspondance mon cousin, Monsr. Argamakow; je vois certes avec plaisir les progrès qu'il fait; sans me flatter, c'est a moi qu'il a cette obligation» — МИД АВПР, ф. Сношения России с Англией, 1734, д. 553, л. 57–57 об.; Грасгоф, 1966, с. 280). В этом же письме Вешняков, жалуясь на судьбу, которая заставила его находиться в нехристианской стране, просит Кантемира по-прежнему писать к нему в Константинополь и, в частности, знакомить его с новинками литературы («Ah, que j'envie, mon cher Prince, le sort de ceux qui sont en chrétienté. Surtout le vôtre, étant dans un païs où ne règne que la raison et la vérité qui est dans les sciences, au lieu qu'on ne voit ici règner que la Barbarie, le Mensonge, l'injustice, et enfin l'ignorance même. … Je vous suplie, mon cher prince, de m'accorder la continuation de vos bonnes grâces & de votre correspondance, surtout de me donner quelques fois de nouvelles de littérature, au milieu de laquelle, et de la meilleure, vous êtes présentement…» — там же).

Переписка Кантемира и Вешнякова за 1733 г. отчасти опубликована Л. Майковым (1903, с. 19–21).

[101] 14 марта 1735 г. Ф. Сеняков писал Вешнякову из Петербурга в Константинополь: «На сих днях был у Его Сиятельства Князь Александра Борисовича Куракина, а потом в другом месте вместе имел я честь быть при обеде, причем доволно о вас разговор с почтением продолжался, и всей компанией пили про ваше здаровье …» (МИД АВПР, ф. Константинопольская миссия, 1730–1739, д. 43, л. 140).

Федор Сеняков или Сенюков служил в свое время в Константинополе, где он, очевидно, и познакомился с Вешняковым: переводчик Сенюков упоминается в реляции Вешнякова с Босфора от 5 января 1731 г. (Кочубинский, 1899, с. XVII). В 1726 г. в Константинополе он перевел книгу «Краткое описание Турецкого государства» (Луппов, 1976, с. 107).

[102] В письме к Ф. Погонскому от 29 июня 1732 г. Вешняков подтверждает получение этого письма Тредиаковского: «Василию Кириловичю Третияковскому отдай от меня мой всенижайший поклон со благодарением за его писмо, на которое... при сем отпуске ответствовать не успел, но буду с будущею [почтой]»; ср. затем в следующем письме Погонскому от 22 июля того же года: «При сем прилагаю писмо к Господину Третияковскому, которому вручи при отдании моего поклона и прошения о приятной его корреспонденции» (МИД АВПР, ф. Константинопольская миссия, 1730–1733, д. 24, л. 65 об., 69; ср. еще упоминание Тредиаковского в письме от 27 августа 1732 г. — там же, л. 72 об.).

[103] С осени 1729 г. в связи с назначением в Константинополь Вешняков может именоваться надворным советником (Кочубинский, 1899, с. 27, 118, примеч.), хотя формально этот чин был закреплен за ним лишь в 1733 г. Ср. ниже, примеч. 179.

[104] 8 августа 1730 г. А. Аргамаков писал Вешнякову из Москвы в Константинополь: «Сатира которую вы получили князь Антиохом Волоским на рознои корактеры енерално и еще и другую к вам пришлю новую. Телемака я достал и… сколь скоро спишу, немедля к вам пришлю» (МИД АВПР, ф. Константинопольская миссия, 1730–1733, д. 37, л. 4); под «Телемаком» имеется в виду, вероятно, одна из ранних версий выполненного А. Ф. Хрущовым перевода «Похождений Телемака» Фенелона (ср.: Орлов, 1935, с. 11–15). И позднее, в письме от 13 июня 1732 г. из Женевы в Константинополь, Аргамаков сообщал Вешнякову: «Князь Кантемир прислал мне из Лондона письма, наполненные изъявлениями дружеских чувств, и мы продолжаем переписываться как два истинных друга. Что касается сатир, то Вы должны были получить две: одна — разговор с музой [т. е. четвертая сатира], другая — против дворян [т. е. вторая сатира]. Еще есть пять или шесть других сатир, большое количество эпиграмм, он приготовил также перевод рассуждения о множестве миров господина Фонтенеля и, наконец, много чудесных стихов» («Le Prince de Kantemir m a ecrit de Londres des lettres pleines d'amitie et nous continuons notre correspondance comme deux veritable amis. Touchant les Satires vous deves avoir recu deux: l une est un entretien avec Sa Muse et l'autre est contre la noblesse. Il y en a encore cinq ou six autres, plusieurs Epigrammes, il'a fait aussi une traduction de la Pluralités des mondes de Mr. Fontenelle, enfin plusieurs poësies qui sont tres jolies» — МИД АВПР, ф. Константинопольская миссия, 1730–1732, д. 40, л. 13–13 об.). Между тем, Вешняков писал Кантемиру 26 ноября 1732 г. из Константинополя в Лондон: «Я получил несколько Ваших прекрасных произведений, дорогой князь, и даже кое-что перевел, как мог, на французский язык по просьбе одного из Ваших друзей» («J'ai reçu quelques-uns de vos beaux ouvrages, mon cher Prince, et même j'en ai traduit le mieux que j'avois pu en françois a la sollicitation d'un de vos amis» — Грасгоф, 1966, с. 280). Полгода спустя, в письме от 21 мая 1733 г., Вешняков извещает Кантемира о том, что он подготовил прозаический перевод «первыя… сатиры» Кантемира: «С нетерпеливостью буду ожидать знаков вашей ко мне милости присылкою стихов, я же с радостию бы прислал перевод первыя вашей сатиры, но имянно, милостивой государь мой, время не допустило переписать, однакожь с доброю оказиею, повинуясь повелению вашему, я исполнить не премину. Весьма великая есть в том моя продерзость, que j'ai osé défigurer un si bel ouvrage, car vous ne devez pas vous attendre, mon cher prince, qu'a une très mauvaise prose, faite a la hate n'ayant pas pu désobeir a de très fortes sollicitations des personnes auxquelles j'ai beaucoup d'obligations» (Л. Майков, 1903, с. 21). Нумерация кантемировских сатир была определена, по-видимому, не позднее 1731 г., когда Кантемир составил первый сборник своих стихов (см.: Гершкович, 1956, с. 438, 502); таким образом, говоря о первой сатире, Вешняков имеет в виду, надо думать, ту сатиру, которая в последующих изданиях произведений Кантемира именуется «первой».

[105] Уже в 1723 г. Сергей Голицын пишет Вешнякову из Парижа в Амстердам о книге Марсильи, отмечая, что она «велми куриозна et très utile au publique» (МИД АВПР, ф. Константинопольская миссия, 1723–1724, д. 15, л. 10). Вполне вероятно, что именно Вешняков обратил внимание Тредиаковского на эту книгу. Вешнякову, по-видимому, принадлежит толкование турецких слов и мусульманских реалий в примечаниях к «Военному состоянию…».

[106] А. А. Вешняков и С. Д. Голицын регулярно переписывались: так, в 1730 г. Вешняков писал Голицыну из Константинополя с каждой второй почтой.

[107] Как мы уже знаем, первоначально предполагалось отправить в Берлин кн. А. Б. Куракина. Назначение Куракина было, однако, отменено, и вместо Куракина на этот пост был назначен С. Д. Голицын. См. выше, § **1**.

[108] 12 октября 1733 г. Федор Погонский сообщал Вешнякову в Константинополь: «А князь Сергии Дмитриевич Голицын поехал в Персию, с ним поехал Иван Петрович Калушкин» (МИД АВПР, ф. Константинопольская миссия, 1730–1739, д. 43, л. 19).

[109] Как иногда полагают, С. Д. Голицын является автором сочинения «Ведение о торговле Российской», хотя П. П. Пекарский приписывает это сочинение другому русскому дипломату, кн. И. А. Щербатову. См.: Голицын, 1880, с. 170; Голицын, 1892, с. 374; Пекарский, 1862, I, с. 247–248, 564–567.

[110] Достойно внимания, что представители этого круга переписываются друг с другом по-французски задолго до того, как это становится общепринятым в русском дворянском обществе. Характерно также, что Жюбе распространяет в России книги на французском языке, в частности, Новый Завет во французском переводе (см. письмо Жюбе к неизвестному лицу от 1 ноября 1730 г. — Библ. Труа, № 2156; Арх. Пирлинга, л. 215).

[111] Речь идет о работе над книгой «Панегирик, или Слово похвальное всемилостивейшей государыне… Анне Иоанновне» (см.: Тредиаковский, 1732; Тредиаковский, 1963, с. 125–128). Во время написания данного письма книга эта не была еще напечатана: она вышла из печати в декабре 1732 г., а именно между 4 декабря (см. распоряжение Шумахера от 4 декабря 1732 г. о ее печатании — Мат. АН, II, с. 213) и 20 декабря (20 декабря 1732 г. Тредиаковский посылает эту книгу гр. С. А. Салтыкову вместе с сопроводительным письмом — Забелин, 1858, стлб. 555–556; Пекарский, II, с. 32–33).

Книга, над которой работает в это время Тредиаковский, включает прозаическое «Слово похвальное…», а также «Стихи всемилостивейшей государыне… Анне Иоанновне по Слове похвальном», которые Тредиаковский в цитируемом письме называет «одой». Кроме того, здесь содержатся «Стихи Ея Высочеству государыне царевне и великой княжне Екатерине Иоанновне, герцогине Мекленбург-Шверингской…», которые Тредиаковский определяет в данном письме как «рондо». Отметим, что эти стихи не соответствуют тому содержанию термина «рондо», которое дается Тредиаковским в «Новом и кратком способе к сложению Российских стихов» 1735 г. (см.: Тредиаковский, 1735а, с. 32–33; Тредиаковский, 1963, с. 388). Тредиаковский еще не пытается следовать французскому определению стихотворной формы рондо, предписывающему, в частности, тринадцать стихов (или строф) и всего две рифмы (ср.: Остолопов, III, с. 51 сл.), но довольствуется приближением к французской модели: это приближение осуществляется в данном случае за счет повторения первой строки в начале каждой строфы, а также повторения первой строфы в конце всего стихотворения. В дальнейшем — в «Новом и кратком способе…» — он будет, напротив, точно следовать французской модели, предлагая читателю образец русского рондо (Тредиаковский, 1735а, с. 33; Тредиаковский, 1963, с. 388). Равным образом Тредиаковский употребляет здесь термин «ода» в ином смысле, чем французы: он называет «одой» панегирическое стихотворение, не предписывая ему какой-либо обязательной стихотворной формы (строфической структуры, рифмовки и т. п.). Характерно, что полгода спустя, выпуская в свет свою книгу («Панегирик, или Слово похвальное…»), Тредиаковский не пользуется ни термином «рондо», ни термином «ода»: соответствующие произведения называются просто «стихи».

Мы можем заключить, что на данном этапе Тредиаковский занят экспериментальным поиском стихотворных форм, которые в той или иной степени соответствуют французским образцам.

112 Речь идет, видимо, о работе над «Новым и кратким способом к сложению Российских стихов» (см.: Тредиаковский, 1735а; Тредиаковский, 1963, с. 365–420). Употребление таких терминов, как «ода» или «рондо», показывает, что Тредиаковский находится в это время на достаточно раннем этапе работы (см. выше, примеч. 111).

113 Речь идет о книге «Mémoires d'artillerie par Surirey de Saint-Remy». Эта книга была переведена на русский язык по повелению Петра I; в феврале 1732 г. исправление перевода было поручено Тредиаковскому. Исправленный Тредиаковским перевод был издан в 1732–1733 гг.; см.: Св. кат. XVIII в., № 6429; Мат. АН, II, с. 109–110; Пекарский, II, с. 35–36.

114 Речь идет о сонете Ж. Барро (J. Des Barreaux, 1599–1673). Барро был либертином чрезвычайно вольных взглядов и поведения; проповедник атеизма, под конец жизни Барро раскаялся и написал этот сонет, знаменующий его обращение (см. о нем: Лашевр, 1902).

Оригинальный текст Барро и стихотворный перевод Тредиаковского напечатаны в «Примечаниях к Ведомостям» (СПб., 1732, с. 132). Позднее Тредиаковский включил свой перевод сонета в «Новый и краткий способ к сложению Российских стихов» (см.: Тредиаковский, 1735а, с. 31; Тредиаковский, 1963, с. 387), а затем, в переработанном виде, в «Сочинения…» 1752 г. (см.: Тредиаковский, I, с. 563–564).

115 7 декабря 1729 г. Жюбе сообщал из Никольского об обручении Петра II с княжной Екатериной Долгорукой, отмечая особое благоволение будущей императрицы к Ирине Петровне Долгорукой и ее сыну Александру: «Le 30 9[bre] s'est celebrée la céremonie des fiançailles de sa M[ajesté] Imp[eriale] avec son A[ltesse] la Princ[esse] Cath[ne] Dolg[orouky]. L'impératrice a toujours aomé [en] particulier le jeune Prince Alexandre et la Princ[esse] sa mère qui a toujours été dans la confiance de l'Impératrice» — Библ. Труа, № 2213, л. 41; Арх. Пирлинга, л. без номера). См. также в этой связи записки Жюбе: Жюбе, 1992, с. 147–148.

116 Историк рода Голицыных утверждает, что Николай Петрович и Алексей Петрович Голицыны перешли в католичество одновременно со своей сестрой И. П. Долгорукой (Голицын, 1892, с. 345). Если это утверждение верно, мы должны принять, что они были в 1720-е гг. в Голландии вместе с семьей кн. С. П. Долгорукого.

117 Текст этого документа, к сожалению, до нас не дошел. У И. П. Долгорукой было еще два брата, а именно, Василий Петрович Голицын (род. в 1682 г.) и Александр Петрович Голицын (1714–1753) (Долгоруков, I, с. 288); надо полагать, однако, что речь идет о доме одного из тех князей Голицыных, которые стали католиками и были непосредственно связаны с Жюбе.

118 Прозвища Жюбе вообще достаточно прозрачны: так, в 1724 г. во Франции он принимает имя abbé Ambon, поскольку слово *jubé* означает ʽамвонʼ в католических храмах (Пирлинг, IV, с. 314). Точно так же Жюбе, как мы видели, называет «господами Ришековскими» (M[rs] Richekowsky) своих воспитанников молодых князей Долгоруких, сыновей И. П. Долгорукой, — явно образуя это прозвище от слова *riche* ʽбогатыйʼ (см. цитированное выше письмо Жюбе Кантемиру от 6 мая 1743 г. — § **4**). Мы уже упоми-

нали о прозвище «неофит» (Néophyte), которое Жюбе дает Вешнякову (см. выше, § **4**); равным образом Жюбе называет в своей переписке кн. И. П. Долгорукую *pelisse* 'шуба', принцессу Овернскую — *Madame Isora*, императрицу Анну Иоанновну — *fourrure* 'меха', католическая религия обозначается у него словом *boulevard* 'ограда, оплот, защита', миссионеры — словом *livres* 'книги', русские епископы — словом *dorures* 'позолота', Рига — словом *barque* 'барка, лодка' (Пирлинг, IV, с. 333, 360; относительно криптонима *livres* см. также § **2** наст. работы); ср. письмо Жюбе к архиепископу Бархману от 16 апреля 1730 г.: «La fourrure [императрица] dit que le boulevard [католическая религия] est diabolique… La fourrure disait ces jours-ci a la p[e]lisse qu'elle reçevoit souvent apparemment des lettres de M-me Isora [принцесса Овернская] qui lui a dit la liaison qu'elles ont eu ensemble! Vous mentez, lui dit-elle, par ce que celle-ci répondit qu'elle n'en avoit point reçu depuis la barque [Рига]. Quoique le gouverneur de la barque soit catholique, on vient d'en chasser en deux livres [католические миссионеры], qui servaient aux 300 catholiques. On a ôté de leurs places 4 dorures [русские епископы]» (Библ. Труа, № 2229.17, л. 37; Арх. Пирлинга, л. 210).

Остается открытым вопрос: не объясняется ли таким же образом и прозвище «философ» (Philosophe), которое, как мы знаем, получил в Париже Тредиаковский (см. выше, § **4**)? Не исключено, вообще говоря, что это прозвище является одним из тех условных имен, которые Жюбе давал лицам, так или иначе связанным с его предприятием.

[119] 1 марта 1729 г. де Лириа выдал Жюбе свидетельство, удостоверяющее, что тот является его «капелланом и духовником» («… est mon Aumônier et mon Confesseur») и приехал в Россию по его приглашению; здесь же говорится, что, поскольку кн. Сергей Долгорукий пожелал использовать Жюбе для обучения своих детей, он, де Лириа, разрешил Жюбе жить у Долгорукого (Бурсье, 1753, с. 336–337).

Покровительство герцога де Лириа объясняется посредничеством австрийской императрицы Елизаветы-Христины. Опасаясь, что переход И. П. Долгорукой в католичество может навлечь на нее преследование, сорбоннские янсенисты обратились за помощью к австрийской императрице. Та в свою очередь связалась с де Лириа (через испанское посольство в Вене) и переслала ему это письмо Сорбонны, сопроводив его просьбой помочь Долгорукой и вообще католикам в России; просьба австрийской императрицы была изложена в шифрованном письме испанского посла в Вене испанскому послу в Москве от 30 марта 1729 г. Письмо Сорбонны, пересланное герцогу де Лириа, вновь касалось действий, необходимых для успешных переговоров о соединении церквей. 15 мая 1729 г. де Лириа послал в Вену доношение, где предложил свою линию действий. Определенное значение при этом могло иметь и то обстоятельство, что братом герцога де Лириа был янсенистский епископ. См.: Пирлинг, IV, с. 345–350, 337.

Следует иметь в виду вообще, что янсенисты пользовались в Австрии определенной поддержкой (см.: Дайнгардт, 1929, с. 36–41). В письме из Москвы от 16 июня 1729 г. Жюбе сообщал архиепископу Бархману: «Венский двор к нам благосклонен» («La Cour de Vienne no[us] est favorable» — Библ. Труа, № 2213, л. 41; Арх. Пирлинга, л. без номера). Соответственно, 28 апреля 1737 г. Жюбе обращается к австрийской императрице с просьбой помочь И. П. Долгорукой, находящейся в это время в бедственном положении (Библ. Труа, № 2156, л. 322; Арх. Пирлинга, л. 232–233; Пирлинг, IV, с. 368; относительно положения Долгорукой см. § **6** наст. работы).

При всем том янсенистский характер миссии Жюбе мог беспокоить как де Лириа, так, видимо, и некоторых русских католиков (возможно, каким-то образом с ним связан-

ных). Жюбе вспоминает в своих записках: «Ему [де Лириа] было крайне важно узнать, в чем состояли упреки буллы Unigenitus [в адрес янсенистов]. Он настаивал до надоедливости и требовал, чтобы я перевел ему текст буллы, но, к сожалению, я забыл взять с собой латинский оригинал. Тщетно я уверял его, что у меня только французский перевод: он был уверен, что я не хочу показать ему буллу. Не зная, что делать, я решил тогда, чтобы успокоить его и других лиц, которые желали познакомиться с буллой, перевести ее на русский язык. Но они все настойчивее требовали латинский оригинал, т. к. не могли поверить, что большинство этих тезисов было осуждено» («Il cherchoit a s'instruire… sur les contestations de la bulle Unigenitus, il me pressa jusqu'a l'importunité de la lui donner mais par malheur j'avois oublié d'en porter en latin avec moi, et j'avais beau l'assurer que je n'en avois qu'en françois; il se persuadoit que je ne voulois pas la lui faire voir. Je m'avisai ne sachant que faire pour le contenter et d'autres qui ne le desiroient pas moins que lui de la faire traduire en russe: mais ils souhaitoient encore plus voir l'original latin, ne pouvant croire qu'on eut condamné la plupart des ces propositions» — Жюбе, 1992, с. 93–94).

[120] В одном из своих писем Жюбе называет своим другом польского посла в Москве: «L'ambassadeur de Pologne m'est amy» (письмо к неизвестному лицу от 1 ноября 1730 г. — Библ. Труа, № 2156; Арх. Пирлинга, л. 215).

[121] Ср.: «Уже увидели русские, что мы, в противоположность лютеранам, храним истинно семь таинств, обряд, посты, призывание святых, почитание икон и прочее, за немногими исключениями соблюдаем общие с ними (русскими) догматы. Уже благоразумные русские не избегают наших храмов и не закрывают для нас свои; напротив, я, несчетное число раз их принимавший и ими принятый, свидетельствую: мы присутствуем на богослужениях друг друга, я служил мессу в присутствии монахов и, со своей стороны, находился на богослужении, совершаемом ими, в первенствующем их Троицком монастыре; они становятся восприемниками тех, кто должен креститься по нашему обряду; и для многих своих, кого надо крестить, приглашают восприемниками католиков; я крестил дочь матери-католички, а принимала ее из святой воды великая княжна Московии герцогиня Наталия с испанским послом, и когда должны были крестить девочку из русского прихода, я, присутствуя, увидел в качестве крестного отца того же сиятельнейшего господина посла с одной из знатнейших дам из баронской семьи Строгановых» («Viderunt jam Rutheni, nos, contra Lutheranos, vera septem Sacramenta tueri, Ritum, Traditiones, Jejunia, Sanctorum invocationem, Imaginum cultum, coeteraque, paucis exceptis, servare cum eis communia dogmata. Jam Ruthenos cordatos Templa nostra non fugere, nobisque sua non prohibere; testabor, millies eos recipiens, et ab eisdem receptus: Sacris mutuy interesse; qui celebravi Missam, adstantibus Monachis, ab ipsisque celebratae vicissim adfui, in praecipuo eorum Monasterio *Troitzae:* Baptizandorum nostrô Ritu, Patrinos eos fieri; ad eorumque baptizandos plures, Catholicos Patrinos vocari; qui Catholicae Matris puellam baptizavi, levante eam é Sacro fonte, cum nostro Legato Hyspaniae, Patrinâ *Magnâ Moskoviae Ducissâ Nataliâ*; baptizandaeque puellae á Rutheno Parocho, Patrinum vidi, assistens, Exc[mum] D. eundem Legatum cum Nobilissima D[na] ex Baronibus *Strogonow*» — Рибейра, 1733, II, с. 283).

И в другом своем сочинении Рибейра утверждает, что он служил мессу в Троицком монастыре: по его словам, «мудрые греки [т. е. православные] не гнушаются латинянами [т. е. католиками], но еще и священнослужения их почитают; так, когда я отправлял святую мессу в великом Троицком монастыре, тогда с благоговением предстоял Архимандрит [монастыря] со многими, о чем тысячекратно свидетельствовать буду…» («Graeci sapientes, Latinos non respuunt, imò horum sacra venerantur, sicut a me celebrate sacro Missae

sacrificio in magno Monasterio Trinitatis (*Troitza*) devotissimè astitisse Archimandritam cum pluribus, testabor millies» — Рибейра, 1731, с. 35). Феофан Прокопович язвительно осмеял это заявление Рибейры, однако в его обличении улавливается отголосок реальных событий: «Кто бо толь безстудних врак не поплюет? И с чего бы Троецкому Архимандриту (который и церемонии Папежской Церкви никогда прежде не видал, не толко силы их отнюдь не знает, а одно то знает, что Римляны отступники), и с чего бы ему родилось при шептании миссы их умиление и благоговеинство? Стоял попик Рибера в необычном платье, в некоей избе, у стола простаго, и неведомо что тихо пошептуя, с угла стола к углу передавался, пошатывался, на одно колено приламывался, и не однократно к предстоящим незапно, будто спугать хощет, обращался. А сие действие привело бы Архимандрита к теплейшему набоженству? Не паче ли в недоумение приходил Архимандрит, удивляясь, что то делается, комедия ли какая, или волшебство; а когда ему сказано, что то Латинская обедня, не могл он, воистинну, не соблазнится, видя, как их священнослужение не благообразно, без пения, в частых шатостях, в тихих пошептах, в тайных некиих и кратких с одним мужичком переговорках, ни от кого не слышимо, толко зримо, а наипаче, что в простой избе и на простом столе, где обычно и ядят и пьют… Но и почему Рибера об Архимандричем благоговеинстве уведал? Сам ли то усмотрил? Да он спиною к зрителям стоял, и разве нарочно оглядывался, как в школьных диспутациях? и если так, то он не о том мыслил, что делал, набожный священник. А если ему кто сказал о том, то как он о том тысящнократно свидетельствовать смеет? Подлинно, сие не рядовое вранье!» (Феофан Прокопович, 1863, с. 8–9; Чистович, 1861, прилож., с. 23).

[122] Более подробно говорится об этом в записках Жюбе: «Князь сообщил мне в приватном разговоре, почтив меня своим доверием, что его отец поручил ему пожертвовать значительную сумму денег на благочестивые дела, распорядившись ею по своему усмотрению; он спрашивал, как это следовало бы устроить наиболее полезным и надлежащим образом. Я выразил радость по поводу этого намерения, сказал ему, что подумаю об этом, и спросил его, шло ли дело о единократной выплате и как далеко могла простираться его добрая воля. Он отвечал мне, что князь его отец думал, быть может, о возможности основать какой-нибудь госпиталь. Это очень хорошо, сказал я, но нельзя ли здесь сделать что-нибудь лучшее. Думаете ли Вы, что Богу было бы приятно, если бы Вы послали в Китай [имеется в виду: в нехристианскую страну] 2 или 3 тысячи рублей, чтобы основать там какой-нибудь госпиталь? Между тем Вы сами чувствуете, что было бы куда лучше предпринять много дел более полезных во всех отношениях, например, распространять в монастырях хорошие книги, хотя бы для тех, кто возглавляют монастыри, если нет возможности одарить всех других; помогать воспитанию стольких молодых людей, которые только и жаждут получить образование. Стоило бы подумать, нет ли способа реализовать этот план таким образом, чтобы он мог принести пользу всей стране и дать ей возможность насладиться единением [церквей], просвещая ее. Он сразу одобрил этот план и попросил меня подготовить проект, чтобы осуществить последнее намерение, которое ему пришлось больше по вкусу, но показалось более трудным. Архиепископ Киевский был добр и мне благоволил; у него была коллегия, за которой он лично следил и которая была много лучше, чем московская, или, чтобы говорить точнее, менее плохая. Я подготовил проект на латинском языке и по-французски, в силу которого московской коллегии выделялся денежный фонд для содержания и питания 12 студентов, выбор которых был бы предоставлен князю, а в случае его отсутствия назначенным им лицам. Студенты эти по мере их успехов в учении после экзамена, учиненного

принципалом, должны были быть посланы в киевскую коллегию, чтобы там продолжать свои занятия; они должны были быть тут же замещены в Москве другими юношами, выбранными на землях князя или в других местах по его желанию. Такого же рода учреждение для 12 студентов должно было быть основано в Киеве. Как только среди них оказывалось возможным выбрать четырех, способных изучать риторику или философию, архиепископ и принципал выбирали этих четырех студентов, для того чтобы они продолжили учение в парижском университете. Для этого должен был быть создан специальный фонд, доверенный заботам и совести одного из умелых и добродетельных докторов Сорбонны. Доктор этот наблюдал бы за их жизнью в Париже, заботясь как о их размещении и питании, так и о воспитании и учебе. Этот подробный мемуар был благожелательно принят князем; оставалось договориться с обеими коллегиями и создать фонд в Париже, что для князя также было нетрудно сделать, так как он располагает большими суммами в Англии. Я писал об этом в свое время как о предприятии, которое меня крайне радовало; оно, однако, не вполне закончено из-за некоторых препятствий, но ничто еще не потеряно… В данный момент мы имеем дело только с московской коллегией, в которой находятся 12 студентов, содержащиеся и питающиеся на деньги князя. Помимо того, он [князь] выписал из Киева большое количество псалтырей in folio, прекрасно изданных, и других псалтырей разного формата, а также произведения св. Отцов на русском языке для распределения их между священниками и монахами в монастырях… Из Берлина он выписал несколько трактатов св. Златоуста и св. Василия по-гречески и на латыни, которые он также распространил… При дворе его стали считать католиком. Он защищается [от этих обвинений]; до меня каждый день доходят слухи, что он слабеет [в вере], он, со своей стороны, уверяет меня, что у него никогда не будет другого наставника, кроме книги о покаянии, которую он всегда читал с радостью начиная с 1730 г. … В настоящее время он состоит обер-шталмейстером двора» («… Le Prince me dit en particulier comme m'aïant donné sa confiance que son pere l'avoit chargé d'emploïer une somme considerable en œuvres pies qu'il avoit laissés a sa volonté, et me demanda ce que je croirois qu'il fût plus utile et plus convenable de faire. Je lui marquai ma joie de cette disposition, et lui dis que j'y penserois, en lui demandant si c'étoit une aumone une fois païée et jusqu'où sa bonne volonté pourroit bien s'etendre. Il me dit que le prince son pere pouvoit peut être avoir en vüe l'etablissement de quelqu'hopital. Cela est bon, lui dis-je, mais n'y a t'il rien de meilleur a faire ici? Croiriés-vous que ce seroit une œuvre bien agreable a Dieu que d'envoïer deux ou trois milliers de roubles a la Chine pour y fonder quelque hopital? Et celle ci vaudroit elle beaucoup mieux, tandis que vous sentés vous-même qu'il y a quantité de choses bien plus avantageuses a tous égards, comme de répandre dans des couvens de bons livres, au moins pour l'usage de ceux qui sont a la tête si on ne le peut en faveur des autres; contribuer a l'education de tant de jeunes gens qui ne demanderoient pas mieux que d'être instruits, et voir s'il n'y auroit pas moïen de tourner ce plan d'une maniere qu'il pu devenir un jour une ressource pour tout le païs, et un moïen d'y faire gouter l'unité en y portant la lumiere. Il approuva aussitot ce plan, et me demanda un projet pour executer le dernier moïen qu'il trouvoit plus de son gout, mais plus difficile. Comme l'Archevêque de Kioff étoit bon, et me étoit favorable, et qu'il avoit un college sur lequel il veilloit lui même, et beaucoup meilleur que celui de Moskow, ou pour parler plus exactement moins mauvais, je dressai un projet en Latin et en françois selon la teneur duquel il s'engageoit de fournir un fond au College de Moskow pour l'entretien et la nourriture de douse écoliers dont le choix seroit fait par le prince, et a son deffaut par ceux qu'il auroit designés; qui a mesure qu'ils seroient un peu avancés seroient envoïés après l'examen du Principal au College de Kioff afin d'y poursuivre leurs études, et aussitot rem-

placés a Moskow par d’autres tirés des terres du prince ou d’ailleurs a sa volonté. Que pareille fondation seroit faite a Kioff de douze étudians parmi lesquels sitot qu’il y en auroit en état de pouvoir étudier en Rethorique ou en Philosophie, il en seroit chaque année autant que cela se pourroit choisis quatre par l’Archevêque et le principal pour les envoïer étudier dans l’université de Paris; et qu’il seroit pour cela fait un fond dont l’administration seroit remise aux soins et a la conscience de quelque habile et vertueux docteur de Sorbonne qui en prendroit soin, soit pour leur entretien et nourriture, soit pour leur education et instruction. Ce memoire détaillé fut bien reçu du Prince, il ne s’agissoit que de traiter avec les deux colleges, de pourvoir aux fonds de Paris, ce qui lui étoit egallement aisé par les gros fonds qu’il a en Angleterre. J’en ecrivis dans le tems comme d’une affaire qui me causoit une joie sensible. Elle n’est pas encore consommée par les traverses survenues, mais elle n’est pas manquée non plus… Ainsi on n’en est encore qu’au college de Moskow où il a 12 ecoliers nourris, entretenus et instruits aux depens du Prince. Il a deplus fait venir de Kioff quantité de pseautiers in folio de la plus belle edition qu’on puisse voir, d’autres pseautiers de diverses formes, quelques ouvrages des peres traduits en Russe, et d’autres livres semblables qu’il a distribués en grand nombre aux popes et dans les couvents… Il a tiré de Berlin divers traités de saint Chrysostome, de S. Bazile, grecs et latins, qu’il a aussi distribués… On l’a taxé a la Cour d’etre Catholique. Il s’en est defendu, et je aprens chaque jour qu’il s’affoiblit. Il me proteste qu’il n’aura jamais d’autre directeur que l’instruction de la penitence qu’il a touĵours lu avec gout depuis 1730… Il est actuelment grand écuïer de la Cour» — Жюбе, 1992, с. 102–103).

Ср. еще письмо Жюбе к неизвестному лицу от 9 августа 1730 г.: «В настоящее время создается фонд для четырех молодых учащихся как в Москве, так и в Киеве, а также в двух других городах, где имеются учебные заведения. Из этих 16 студентов на эти средства четверо будут отправлены в Париж, где для них будет существовать другой фонд…, там будет избран верный человек, которому будут поручены дела фонда и связь с киевской Академией» («Actuellement on fait une fondation de 4 jeunes étudians tant a Moscou qu’a Kiow et a 2 autres villes où il y a [un] college. De ces 16 étudiants la fondation porte qu’on en enverra 4 tous les ans a Paris, où il y aura une fondation…, dont sera chargé un homme de bien et qui aura relation avec le college de Kiow» — Библ. Труа, № 2156; Арх. Пирлинга, л. 214).

Несколько иначе излагает этот эпизод анонимный автор «Истории утрехтской иерархии»: «Один… из первых вельмож [русского] двора, которого не называют по имени, пожертвовал значительные суммы, по совету Жюбе, на создание в Москве учебного заведения, которое должно было находиться в сношениях с Парижским университетом» («Un… des premiers Seigneurs de la Cour qu’on ne nomme pas, avoit déja consacré des sommes considérables, par le conseil de M. Jubé, pour fonder un College a Moscou, qui devoit être en correspondance avec l’Université de Paris» — История, 1765, с. 550).

[123] А. Б. Куракин был обер-шталмейстером при дворе Анны Иоанновны. Это соответствует тому, что говорит Жюбе в своих записках о не называемом им князе-меценате (Жюбе, 1992, с. 103; мы цитируем это место выше, в примеч. 122).

[124] В записках Жюбе мы находим рассуждение о том, что после падения Константинополя Россия имеет больше оснований для патриаршего титула, нежели Константинополь, — поскольку русская империя является единственной православной империей: «depuis que Mahomet II a pris Constantinople, La Moskovie auroit plutot droit auĵourd hui de prendre ce titre que le Patriarche de Constantinople, puisque L’Empire de Russie-Moskovie est le seul de toute L’Eglise grecque qui soit Chrétien» (Жюбе, 1992, с. 90). То, что говорит здесь

Жюбе, прямо соответствует пониманию Москвы как Третьего Рима и Нового Константинополя; нетрудно предположить, что Жюбе усвоил эту аргументацию от своих союзников из среды русского духовенства.

[125] Характерно, что как Феофилакт Лопатинский, так и Варлаам Ванатович осуществили издание «Камня веры» Стефана Яворского: Феофилакт в Москве в 1728 г. (Соловьев, X, с. 560; ср. также московские издания 1729 и 1730 гг. — Зернова и Каменева, 1968, с. 76–77, № 200, 202; Луппов, 1980, с. 33), Варлаам в Киеве в 1730 г. (Крыжановский, 1861, с. 282). Евфимий Колетти был близок к доминиканцу Рибейре, капеллану при испанском посольстве (Чистович, 1868, с. 379–380). Достойно внимания, что с Рибейрой общался и Софроний Мигалевич, бывший учитель Тредиаковского в Славяно-греко-латинской академии (см. § **1** наст. работы): по признанию Софрония, они с Рибейрой «хаживали друг к другу» (Чистович, 1868, с. 500).

Между прочим, как с герцогом де Лириа, так и с Рибейрой был, видимо, достаточно хорошо знаком Вешняков. В письме к Жюбе из Константинополя от 24 февраля / 7 марта 1730 г. Вешняков просит передать им привет (Арх. Пирлинга, л. 208). Вешняков мог познакомиться с де Лириа еще в бытность свою консулом в Кадиксе (1724–1725).

[126] Бурсье (1753, с. 345–346, 356, 358), основываясь на записках Жюбе (см.: Жюбе, 1992, с. 95, 103–104, 230), говорит о частых сношениях Жюбе с рязанским архиепископом и полагает, что это Стефан Яворский (ср. то же: История, 1765, с. 550–551). Это явное недоразумение: речь может идти либо о Гаврииле Бужинском, но в таком случае Жюбе путает даты (Гавриил умер в Москве 27 апреля 1731 г., тогда как Жюбе говорит о том, что в июне 1731 г. этот епископ был арестован), либо о Сильвестре Холмском, но в таком случае Жюбе путает Рязань и Казань (ср.: Пекарский, 1866а, с. 130, примеч.). Последнее кажется гораздо более вероятным: действительно, Сильвестр в 1731 г. был лишен сана и заключен в крепость, и при этом он был сторонником восстановления патриаршества; в царствование Петра II он пользовался поддержкой Голицыных и Долгоруких (см.: Знаменский, 1878, с. 88–89, 109–110); заметим, что Сильвестр был в 1723–1725 гг. рязанским архиереем (Харлампович, 1914, с. 528). Гагарин (1878, с. 16) определенно называет именно Сильвестра Холмского в этом контексте: по его словам, Жюбе общался в России с Феофилактом Лопатинским, Варлаамом Ванатовичем, Евфимием Колетти и Сильвестром Холмским; не исключено, впрочем, что Гагарин воспользовался указаниями Пекарского (1866а, с. 130, примеч.).

По словам Жюбе, «рязанский архиепископ» (т. е. Сильвестр Холмский) умер католиком (записки Жюбе — Жюбе, 1992, с. 95). Сильвестр скончался 31 мая 1735 г. в Выборгской крепости.

[127] В связь с деятельностью Жюбе следует поставить то обстоятельство, что в 1729–1730 гг. известный традиционалист М. П. Аврамов, директор Петербургской синодальной типографии, вновь обратился к переписке Сорбонны с русским епископатом и даже поручил Маркеллу Родышевскому написать новый трактат относительно соединения церквей (Пекарский, 1866а, с. 127; Чистович, 1868, с. 298, 453). Характерно, что тот же Аврамов в 1730 г. подал императрице Анне Иоанновне проект, где доказывал, что «наипаче… потребно быти в России паки святейшему патриарху» (И. Шишкин, 1867, с. 405; Чистович, 1868, с. 269, ср. также с. 98, примеч. 1); Аврамов прочил на патриарший престол архимандрита Варлаама Высоцкого (ср. ниже, примеч. 128). Активным сторонником восстановления патриаршества был и Маркелл Родышевский (см. обоснование необхо-

димости патриаршей власти в его критике на «Духовный регламент», 1731 г. — Верховской, II, отд. IV, с. 107 сл.).

До нас дошел анонимный трактат, сочиненный в августе 1730 г. и направленный против предложения сорбоннских богословов (начало: «Премноги уже суть на греческом, и на славенском, и на польском от благочестивых греческаго исповедания людей по разных государствах живущих, якоже и в Полщи, такожде и на латинском языке книги изданные …)» — ГБЛ, ф. 247, № 567, л. 1–92; другой список того же сочинения: ГПБ, Q.1.281, л. 1–164 об.). Ср. запись в конце трактата: «Начася сия книжица или кратки[й] ответ на писание парижских дому Сорбонского учителей феологов к российским епископом писанное о соединении веры с российскою церковию костела римского писатися 1730 году и совершися в том же году месяца августа 18 дня» — ГБЛ, ф. 247, № 567, л. 91 об. – 92). Здесь, между прочим, говорится, что сорбоннские доктора, поднося свою записку Петру I, надеялись, видимо, на то, что русский монарх, не будучи сведущ в богословии, обладает абсолютной властью и может отдать распоряжение о соединении церквей: «… или надеялися [сорбоннские богословы], что де монарх наш — воин и в книжном чтении не упражняется; к тому же зело силен и самодержец крепки[й] всея России: как де прочтет токмо наше писание, данное его величеству, и ему понравится, паче же егда увидит и прочтет согласие римскаго костела, в писании изображенное, с церковию российскою, то де властию своею высокою повелит быти соединению церкви российской с костелом римским» — там же, л. 27 об. – 28); автор данного сочинения, кажется, отнюдь не является сторонником церковных реформ Петра I, поставивших церковь в полную зависимость от самодержавной власти.

Полагаем, что автором этого трактата и является Маркелл Родышевский, т. е. именно этот трактат был написан им по поручению М. П. Аврамова.

[128] См. вообще о Варлааме Высоцком: Чистович, 1878, с. 270–273. Кантемир изображает Варлаама во второй редакции третьей сатиры, обращенной к Феофану Прокоповичу (Кантемир, I, с. 69; Кантемир, 1956, с. 94); в первой редакции, которая датируется августом 1730 г., этот портрет отсутствует.

[129] В конспективной записке о деятельности Жюбе в России отмечается, что «рязанский архиепископ» («l'archevêque de Rezan»), с которым общался Жюбе, — имеется в виду, по-видимому, Сильвестр Холмский (см. выше, примеч. 126) — «вообразил, что в случае соединения церквей он станет патриархом». Это противоречило планам Жюбе, согласно которым патриархом должен был стать князь Яков Петрович Долгорукий («Il s'etoit imaginé que dans la réunion il seroit Patriarche. Mauvais motif et sans fondement puisqu'on avoit jetté les yeux sur un autre tout autrement instruit et qualifié le Prince Jacques Dolgorouky»). См.: Библ. Труа, № 2156 (Арх. Пирлинга, л. 223); записки Жюбе — Жюбе, 1992, с. 230, ср. также с. 104.

[130] Жюбе (1992, с. 92, 109, 138), Бурсье (1753, с. 342, 357) и Пирлинг (IV, с. 351) сообщают, что Яков Петрович Долгорукий приходился племянником князю Василию Лукичу Долгорукому. Это неверно, однако бесспорным остается тот факт, что родственные отношения сыграли здесь свою роль. Во всяком случае, именно В. Л. Долгорукий, как указывает Жюбе в своих записках, поддерживал идею выдвижения Я. П. Долгорукого в патриархи (Жюбе, 1992, с. 92).

[131] Характерно, что, возвращаясь из России в 1732 г., Жюбе специально останавливается в Лейпциге, чтобы навести справки относительно того, был ли Буддей автором кни-

ги, вышедшей под его именем и направленной против «Камня веры» Стефана Яворского; Жюбе был уверен, что в действительности эту книгу написал Феофан Прокопович (записки Жюбе — Жюбе, 1992, с. 105; Бурсье, 1753, с. 304–306; ср.: Буддей, 1729). Даже покинув Россию, Жюбе продолжает интересоваться борьбой двух тенденций в Русской церкви — тенденций, связанных с именем Стефана Яворского и Феофана Прокоповича.

В письме к брату Клоду-Роберу от 10 августа 1733 г. Жюбе отзывается о Феофане как о заклятом враге католической церкви: «C'est l'ennemi juré de L'Église latine» — Библ. Труа, № 2337.13; Арх. Пирлинга, л. 227; Пирлинг, IV, с. 373). В письме к австрийской императрице от 27 июня 1737 г. Жюбе объясняет неудачу своей миссии именно противодействием Феофана как врага католической церкви: по его словам, ему пришлось уехать из России, потому что «он был в конфликте с архиепископом новгородским, главой российского духовенства, который, несмотря на то, что был взращен в Риме и на деньги Римской церкви, стал ее самым большим противником и больше всего высказывался против соединения церквей. Всем, кто его близко знал, известно, что он склонялся к лютеранству» («… j'étois en butte a M. l'archev[êque] de Novogorod président du Clergé de Russie, qui quoiqu'elevé a Rome et aux dépens de l'Eglise Romaine étoit son plus grand ennemy et le plus déclaré contre le réunion. C'est un fait notoire a ceux qui l'ont connu de près qu'il inclinoit pour le Luthéranisme» — Библ. Труа, № 2156.1, л. 322 об.; Арх. Пирлинга, л. 233). Аналогичный отзыв Жюбе о Феофане приводит Бурсье (1753, с. 299).

Ср. еще о склонности Феофана к лютеранству в конспективной записке о деятельности Жюбе в России: «Ce prélat président du Synode favorisoit ouvertement le luthéranisme… il avait donné… un cathechisme tout luthérien…» — Библ. Труа, № 2156; Арх. Пирлинга, л. 222. См. также записки Жюбе: Жюбе, 1992, с. 104–108.

[132] Не ясно, о каком сочинении идет речь. Жюбе указывает, что катехизис Феофана Прокоповича был опубликован под другим именем, ср. «Ce prélat président du Synode favorisoit ouvertement le luthéranisme. Avant d'être élévé par le siège de Nowog[orod] il avoit donné sous le nom de son prédécesseur qu'il gouvernoit un catéchisme tous lutherien» (конспективная записка о деятельности Жюбе в России — Библ. Труа, № 2156; Арх. Пирлинга, л. 222; ср. также записки Жюбе — Жюбе, 1992, с. 105). Надо ли понимать эти слова в том смысле, что Феофан выпустил катехизис под именем Феодосия Яновского, своего предшественника по новгородской кафедре? О таком катехизисе ничего не известно. Не исключено, однако, что говоря об обличении на этот не известный нам катехизис, Жюбе имеет в виду критику Маркелла Родышевского на «Духовный регламент» — в этом случае речь идет о сочинении Маркелла Родышевского, написанном 3 марта 1731 г., т. е. еще во время пребывания Жюбе в России (см. издание этого сочинения: Верховской, II, отд. IV, с. 87 сл.); ср.: Пекарский, 1862, I, с. 42, 497–498; см. также выше, примеч. 127. Жюбе мог приписать «Духовный регламент» Феодосию Яновскому, поскольку тот был первым вице-президентом Синода. Жюбе говорит в своих записках, что катехизис Феофана был напечатан «новыми русскими буквами» («avec les nouveaux caracteres Russes»), т. е. гражданским шрифтом (Жюбе, 1992, с. 106), и это отвечает тому, как был издан «Духовный регламент».

Самому Феофану принадлежат два сочинения, которые могли трактоваться как катехизис, — «Книжица учения христианского», написанная в 1717 г., либо о «Первом учении отроком» 1720 г. Оба сочинения Феофана связаны друг с другом (В. В. Майков, 1913; Успенский, 1983/1994, с. 199–200), и при этом последнее сочинение могло именоваться катехизисом. Так, Дмитрий Кантемир критикует «Первое учение отроком» в трактате под названием «Места примрачныя в Катихизисе, иже от безъименнаго автора

на славенском языке издан и первое учение отроком именован есть» (Извеков, 1870, с. 10; ср.: И. Шишкин, 1867, с. 386; Чистович, 1868, с. 50). Его сын, А. Д. Кантемир, говоря о данном сочинении, в примечании к третьей сатире (вторая редакция) также называет его «Катехисм православныя веры» (Кантемир, I, с. 78; Кантемир, 1956, с. 100); в английском переводе оно вышло под названием: The Russian Catechism (см.: Филиппс, 1723); это перевод с немецкого издания: Erste Unterweisung der Jugend… s. l., s. a. Как бы то ни было, ни то, ни другое сочинение Феофана не соответствует описанию Жюбе. «Первое учение отроком» не издавалось гражданской печатью, тогда как «Книжица учения христианского» оставалась неизданной до 1757 г.

[133] В письме к архиепископу Бархману от 16 апреля 1730 г., которое мы уже неоднократно цитировали, Жюбе замечает: «Князь Валашский сочинил сатиры в стихах на русском языке; в них обличается презрение к наукам, которое господствует в этой нации, и главные недостатки, здесь преобладающие; это хорошие пьесы, которые пользуются успехом среди людей выше среднего уровня» («Le prince de Valachie a fait des satires en vers russes sur le mépris que la nation a des sciences et contre les principaux défauts qui y règnent, ce sont de bon nes pièces et qui ont vogue parmi ceux qui se distinguent un peu» — Библ. Труа, № 2229.17, л. 37; Арх. Пирлинга, л. 210; ср.: Грасгоф, 1963, с. 6; Грасгоф, 1966, с. 67). Речь идет здесь о первых двух сатирах Кантемира («На хулящих учение. К уму своему» и «На зависть и гордость дворян злонравных»), которые были созданы к весне 1730 г. (ср.: Кантемир, I, с. 22, 50; Кантемир, 1956, с. 62, 77). Во всяком случае, Жюбе был, несомненно, посвящен в содержание первой сатиры. В то же время, не зная русского языка, он, естественно, не мог вполне оценить всех оттенков полемической направленности этого произведения.

[134] Вообще Жюбе (вместе со своими последователями) и Феофан в каких-то вопросах могут быть единомышленниками. Показательно в этом смысле письмо Вешнякова к Жюбе от 24 февраля / 7 марта 1730 г. из Константинополя: «Здесь патриарх иерусалимский [Хрисанф, †1731], очень ученый человек и друг аббата Севена [François Sévin, †1741, известный ориенталист и путешественник по Востоку]; он сочинил много трудов по-гречески; все они касаются вопроса разделения церквей, наряду с другими вопросами. Он получил из Лондона книгу, которую там напечатал (в Лондоне изданы почти все его труды). Это трактат на латинском языке, где доказываются на основании учения св. Отцов и церковных соборов, как он говорит, недействительность крещения, совершаемого каким-либо иным способом, нежели погружение в воду. Мы, однако, показали одному из его друзей книгу, которая была выпущена нашим русским Синодом, посвященную действительности или, вернее, тождественности [обливательного крещения]» («Nous avons ici le patriarche de Jérusalem, qui est un homme fort savant et grand ami de M[r] L'Abbé Sévin; il a composé beaucoup des ouvrages en grec, tout touchant les causes de la séparation des Eglises; et d'autres sujets, et en dernier lieu, il vient de recevoir de Londres un ouvrage qu'il y a fait imprimé (car c'est la où l'étoient la plus grand partie), c'est un traité où il demontre par les Saints Peres et Conciles, a ce qu'il dit l'invalidité du baptême qui ne se fait pas par immersion dans l'eau, en latin; quoique nous avons bien fait voir a un de ses amis un ouvrage, qui a été fait par notre sinode de l'Empire de Russie, de la validité ou plus tôt de l'égalité…» — Арх. Пирлинга, л. 207–207 об.). Речь идет о книге Феофана Прокоповича «Истинное оправдание правоверных христиан, крещением поливательным во Христа крещаемых» (СПб., 1724), в которой доказывается, что «тайнодействие св. крещения поливанием творимое, равне как и творимое погружением, быти правилное важное и силное». Итак, книга Прокоповича служит

сторонникам янсенистов аргументом в религиозной полемике с православными греками — полемике, направленной на соединение церквей.

Точно так же Жюбе мог обсуждать с Прокоповичем проблему filioque и рекомендовать ему в этой связи богословскую литературу (см. конспективную записку о деятельности Жюбе в России — Арх. Пирлинга, л. 222); можно предположить, что и в этом вопросе у них не было расхождений.

[135] Достойно внимания при этом, что, находясь за границей, Вешняков следит за творчеством Феофана Прокоповича. В августе 1733 г., например, А. Неплюев посылает Вешнякову «une piece nouvelle de cette année de l'Archeveque de Novgorode» (МИД АВПР, ф. Константинопольская миссия, 1730–1736, д. 54, л. 138 об.).

[136] Этот интерес к Феофану Прокоповичу, естественно, беспокоил Жюбе. Так, 16 апреля 1730 г., обсуждая намечающуюся поездку Кантемира за границу (см. § **4** наст. работы), Жюбе писал архиепископу Бархману: «Князь Валашский обладает подлинными талантами, но я очень боюсь, что он слишком разбрасывается и не попадет в хорошие руки… Он тесно связан здесь с архиепископом Новгородским…» («Le prince de Valachie a de vrais talents mais je crains fort pour lui s'il se répand trop et s'il ne tombe en bonnes mains… Il est étroitement lié ici avec M. l'arch[evêque] de Novgorod…» — Библ. Труа, № 2229.17, л. 37; Арх. Пирлинга, л. 210; ср.: Грасгоф, 1963, с. 6; Грасгоф, 1966, с. 67).

[137] Еще раньше Москву покидает герцог де Лириа: с октября 1730 г. он готовится к отъезду, а 19 ноября 1730 г. отбывает в Варшаву. См.: «Санктпетербургские ведомости», № 89 от 5 ноября 1730 г., с. 356; № 90 от 9 ноября 1730 г., с. 360; № 91 от 12 ноября 1730 г., с. 363; № 96 от 30 ноября 1730 г., с. 384.

[138] Неудача миссии Жюбе не заставила французов потерять интерес к инициативе Сорбонны. Так, в мае 1810 г. сенатор граф Грегуар (бывший епископ Блоаский, сделавшийся при Наполеоне сенатором и графом; Henri Grégoire, 1750–1831) по поручению Наполеона написал Платону, митрополиту Московскому, письмо, напоминая об этой инициативе и о том, что во Франции до сих пор не получен ответ восточных патриархов, к которым предполагали обратиться русские епископы: «Вам известно, что когда царь Петр был в Париже, тогда учители Сорбонские предоставили ему записку о соединении Церкви Греческой с Римскою. Российские Архиереи, находившиеся при С.-Петербургском Дворе, сделали в следующем 1718 году ответ, который не привел к желанной цели: они хотели, по их словам, иметь совещание с Греческими патриархами Восточной Церкви. Думать надобно, что совещание сие уже было; но во Францию не сообщены ответы Греческих Патриархов, а меня уверяли, что оные находятся в Архивах св. Синода в Москве. Не почтите с моей стороны нескромностью, В[аше] В[ысокопреосвященство], просьбу о списке с оных… К сему присоединю обет об исполнении этого соединения, которое могло бы утешить Церковь и которое сближением умов и сердец доставило бы им новые средства к низложению неверия и к торжеству откровенных истин. Это будет всегдашним предметом молитв моих». Митрополит Платон передал это письмо на рассмотрение в Синод через обер-прокурора Синода кн. А. Н. Голицына, который познакомил с ним императора Александра I. Ответ митрополита был согласован с императором. В 1811 г. Платон писал Грегуару: «Мне весьма было бы приятно ответствовать той доверенности, какую мне изъявляете, и на то лестное мнение, которое мне посчастливилось Вам внушить. Но все поиски в архивах для открытия требуемых Вами документов остались тщетными; в них даже не найдено ни малейшего следа совещания восточных патриар-

хов. С царствования Петра I деланные покушения касательно сближения двух церквей остаются безуспешными; потому что надобно убедиться, что подобная мысль совершенно противна духу народа русского. Это до сих пор еще не решено: народ наш столько привязан к своей вере, сколько проникнут обязанностью сохранять оную во всей целости, что всякая в ней перемена может сделаться для русских оскорбительною и пагубною. Не мне теперь, среди недугов старости и при конце своего земного странствия, начинать дело, столь важное и великое...» (Снегирев, II, с. 33–35). Грегуар попытался вернуться к этому вопросу в 1814 г., во время пребывания в Париже императора Александра I, однако и эта попытка не увенчалась успехом (Пирлинг, V, с. 449).

139 В Петербурге Тредиаковский нашел приют у Адодурова, бывшего в то время академическим студентом и жившего при Академии наук (Мат. АН, VI, с. 172). Адодуров и Тредиаковский были знакомы, вероятно, с 1723 г., когда они вместе учились в Славяно-греко-латинской академии: в 1723 г. Тредиаковский числился в майской трети синтаксимы, а Адодуров — в сентябрьской трети пиитики (ОДДС, X, стлб. 1342, 1338). Поскольку Тредиаковский, видимо, к сентябрю 1723 г. перешел в класс пиитики (см. выше, примеч. 6), следует думать, что Тредиаковский и Адодуров были в одном классе. В том же классе (в «сентябрьской пиитике» в 1723 г.) числится, между прочим, и Иван Магницкий, сын Леонтия Магницкого (ОДДС, X, стлб. 1332).

140 11 января 1731 г. И.-Д. Шумахер писал к президенту Академии наук Л. Блюментросту о выходе в свет «Езды в остров Любви», упоминая при этом, что кн. А. Б. Куракин обращался в Академию в связи с изданием этой книги. Здесь же отмечается, что на данной книге не указано место печатания, однако не потому, что книга незначительна по своему содержанию, а «по другим причинам» (Пекарский, II, с. 19, примеч. 1).

141 В дальнейшем, став «профессором элоквенции» петербургской Академии наук (1745 г.), Тредиаковский явно уподобляет себя Роллену, который был профессором элоквенции в Парижском университете. Этот параллелизм подчеркнут в названиях «Древней истории» и «Римской истории» Роллена, вышедших в переводе Тредиаковского (см.: Роллен, 1749–1762, I–X; Роллен, 1761–1767, I–XVI).

142 Это письмо (дата на котором не обозначена) было написано между 3 января 1731 г., когда Тредиаковский прибывает в Москву (о чем он и извещает Шумахера), и 9 января того же года, когда оно было получено в Петербурге (Малеин, 1928, с. 430).

143 Императрица прибыла в Петербург 15 января 1732 г. См.: «Санктпетербургские ведомости», № 5 от 17 января 1732 г., с. 22; Пекарский, II, с. 30; ср. письмо Анны Иоанновны московскому главнокомандующему гр. С. А. Салтыкову от 15 января 1732 г., извещающее о ее прибытии в Петербург (Кудрявцев, 1878, с. 1). Торжественный въезд императрицы в Петербург состоялся в воскресенье 16 января 1732 г., см. описание в «Санктпетербургских ведомостях», № 6 от 20 января 1732 г., супплемент, с. 27.

Еще ранее в Петербург прибыла из Москвы Екатерина Иоанновна, герцогиня Мекленбургская (30 декабря 1731 г. — см. ниже, примеч. 145), и вслед за ней цесаревна Елизавета Петровна (5 января 1732 г. — «Санктпетербургские ведомости», № 2 от 6 января 1732 г., с. 8).

144 О том, что похвальное слово было сочинено по желанию императрицы, Тредиаковский говорит в самом этом сочинении (Тредиаковский, 1732, с. 1; Пекарский, II, с. 31–32), а также в письме к Вешнякову от 6 мая 1732 г., которое мы цитируем в § **4** наст.

работы (МИД АВПР, ф. Константинопольская миссия, 1730–1735, д. 39, л. 267–268). Стихи, восхваляющие императрицу, в этом письме именуются «одой».

[145] Екатерина Иоанновна выехала из Москвы в Петербург 20 декабря и прибыла в Петербург 30 декабря 1731 г. См.: «Санктпетербургские ведомости», № 103 от 27 декабря 1731 г., с. 416; № 104 от 30 декабря 1731 г., с. 420; № 1 от 3 января 1732 г., с. 4.

[146] Евгений Болховитинов полагал даже, что Тредиаковский «имел при Императрице Анне Иоанновне титло *Придворнаго стихотворца*» (см.: Евгений, 1845, II, с. 215).

[147] В письме к Шумахеру от 18 января 1731 г. Тредиаковский сообщает, что «Езда в остров Любви» пользуется успехом при дворе («ceux qui sont a la cour en sont tout a fait contents») и что «многие придворные» («plusieurs courtisans») просят у него «Песнь», посвященную коронации Анны Иоанновны (Малеин, 1928, с. 431; Письма XVIII в., с. 45–47); в письме к нему же от 27 января 1731 г. Тредиаковский писал: «Я могу поистине сказать, что моя книга [„Езда в остров Любви“] входит здесь в моду, и, к несчастью или же к счастью, я также вместе с ней. Честное слово, сударь, я не знаю, что делать: меня ищут со всех сторон, всюду просят мою книгу…» («Je puis dire veritablement, que mon livre devint ici a la mode, et par malheur ou bien par bonheur, moi aussi avec lui. Ma foy, Monsieur, je ne sais que faire; on vient me chercher de tous cotés, on me demande par tout mon livre…» — Малеин, 1928, с. 432, примеч.; Письма XVIII в., с. 47). Соответственно, Тредиаковский регулярно просит Шумахера прислать ему экземпляры его книги и «Песни» (Письма XVIII в., с. 44, 47; Пекарский, II, с. 26–28) — эти экземпляры явно предназначены для распространения в придворной среде. Равным образом среди придворных распространялся затем «Панегирик, или Слово похвальное… Анне Иоанновне» 1732 г. (Забелин, 1858, стлб. 555–556; Пекарский, II, с. 32–33). Позднее, приводя в трактате о стихотворстве свое рондо, посвященное дню рождения императрицы, Тредиаковский отмечает, что это рондо «зделано во всеподданнейшее поздравление, по прошению некоторыя придворныя особы» (Тредиаковский, 1735а, с. 32; Тредиаковский, 1963, с. 387–388). Как видим, придворные даже заказывают в это время Тредиаковскому поздравительные стихи, что вполне соответствует его роли придворного виршеплета.

[148] Очень вероятно, что Тредиаковский прибыл в Петербург в составе свиты, сопровождающей Екатерину Иоанновну, т. е. 30 декабря 1731 г. См. выше, примеч. 145.

[149] Один из авторов настоящей работы ранее высказал предположение, что Тредиаковский и Феофан Прокопович могли познакомиться осенью 1730 г. в Петербурге, т. е. сразу же после возвращения Тредиаковского из-за границы (см.: Успенский, 1985, с. 126, примеч. 97; ср. теперь иначе: наст. изд., с. 155, примеч. 106). Основанием для такого предположения было свидетельство Г. Н. Теплова (в записке о Тредиаковском 1755 г.) о том, что Тредиаковский был вхож в дом Феофана, когда Теплов был малолетним ребенком и учился в петербургской школе последнего (Теплов, 1868, с. 78). Поскольку в 1731 г. Тредиаковский, видимо, находился в Москве (ср. выше, примеч. 148), это свидетельство Теплова могло относиться либо к осени 1730 г., либо к периоду, начинающемуся с 1732 г. Первое предположение по ряду причин казалось более вероятным.

Тем не менее, Тредиаковский и Феофан Прокопович едва ли могли встретиться в Петербурге осенью 1730 г., поскольку Феофан в это время был в Москве или под Москвой: он жил в своей подмосковной резиденции Владыкине. 20 июля 1730 г. императрица удостоила его посещения «в его увеселительной маетности Владыкине» («Санктпетер-

бургские ведомости», № 60 от 27 июля 1730 г., с. 240). В 1730 г. он несколько раз участвует в торжественных богослужениях; так, 8 января он отправляет церемонию освящения воды, 16 февраля встречает Анну Иоанновну в Москве с приветственной речью, 2 марта произносит речь по случаю присяги императрице, 30 марта служит в Великий четверг («Санктпетербургские ведомости», № 4, 16, 20, 28 от 12 января, 23 февраля, 9 марта, 6 апреля 1730 г., с. 16, 62, 80, 112). По указанию Чистовича (1868, с. 740, примеч.), Феофан Прокопович с 1729 по 1732 г. вместе со всем Синодом находился в Москве. У нас нет данных о том, что Феофан выезжал в Петербург; во всяком случае маловероятно, чтобы он успел коротко познакомиться там с Тредиаковским.

[150] С другой стороны, как нам уже приходилось отмечать, к зачислению Тредиаковского в Академию наук мог иметь отношение и гр. А. Г. Головкин (см. выше, § **3**). Оба предположения, разумеется, не противоречат друг другу.

[151] Как мы уже упоминали, Герман Копцевич мог быть в какой-то мере осведомлен об обстоятельствах отъезда Тредиаковского за границу (см. выше, примеч. 72) и, следовательно, о его католических связях. Вполне вероятно, что он не сочувствовал этим связям. Во всяком случае, Жюбе в письме к неизвестному лицу от 9 мая 1731 г. называет его — в не вполне понятном контексте — в числе тех священнослужителей, которые настроены оппозиционно (возможно, имеется в виду оппозиция по отношению к идее соединения церквей), ср.: «Il doit y avoir ici une dessente du 2 prélats plus opposés dont l'un est le nouvel evêque d'Archangel auteur de certaine thèse dont j'ay parlé» (Библ. Труа, № 2156; Арх. Пирлинга, л. 216). Если мы правильно понимаем этот текст, Герман Копцевич находился в оппозиции к деятельности Жюбе и сочинил какую-то «тезу», выражающую его антикатолические настроения.

Жюбе в своих записках упоминает об общении с Германом Копцевичем и дает его характеристику (Жюбе, 1992, с. 93, 101, 229).

[152] Слово *псалма*, вообще говоря, не обязательно обозначало песню духовного содержания. Так, например, песня-кант Тредиаковского «Начну на флейте стихи печальны…» (1728), опубликованная в приложении к «Езде в остров Любви» под заглавием «Стихи похвалныя России» (Тредиаковский, III, с. 741–742), может фигурировать в рукописных песенниках XVIII в. под названием «Псалом России» (см. об этом: Сохраненкова, 1987, с. 211).

[153] Цитированный документ был сильно поврежден уже и в середине позапрошлого века, когда его исследовал П. П. Пекарский (см.: Пекарский, II, с. 36). Тем не менее, Пекарский имел возможность прочесть какие-то слова, которые сейчас полностью утрачены; таких слов, впрочем, совсем немного. Приводя соответствующий текст, мы исходим прежде всего из рукописи — постольку, поскольку она поддается прочтению, — но восстанавливаем те слова, которые были прочитаны Пекарским и которые сейчас прочесть невозможно. Невосстановимые лакуны обозначаем многоточиями, взятыми в угловые скобки.

Этот документ был составлен не ранее 1738 г., когда Платон Малиновский был лишен сана и монашества, и не позднее 1741 г., когда он был восстановлен в сане архимандрита.

[154] Впрочем, сам Колетти впоследствии отрицал, что он обвинял Тредиаковского в ереси: давая показания по этому делу, он заявил, что не усмотрел в песне Тредиаковского никакого отклонения от православного вероучения («еретичества и противность

он, Колетий, не усмотрел…»), хотя она показалась ему сложенной «не по правилам грамотическим» и грешившей злоупотреблением «наречениями иностранных»; «… говорили ему, Тредиаковскому, что в тех псалмах иностранных наречиев употреблять было не надобно» (ЦГАДА, ф. 7, № 515, л. 2 об.).

155 Последовательность событий неверно представлена в работах: Чистович, 1868, с. 384–385; Успенский, 1985, с. 126–127 (ср. теперь иначе: наст. изд., с. 115–116).

156 И в рассматриваемом эпизоде (столкновении с Тредиаковским) Платон Малиновский выступает как верный последователь Стефана Яворского. Как известно, в своем «Камне веры» (книге, написанной в связи с известным делом Тверитинова) Стефан Яворский обосновывал необходимость казни еретиков, которые, по его мнению, лишь смертью могут очиститься от своих заблуждений. То же самое говорит и Платон Малиновский: обвиняя Тредиаковского в ереси, он заявляет: «Кому не бес пролития крови отмстится… кровию кровь-де это разве очистит… прольется и ваша еретическая кровь» (ЦГАДА, ф. 7, № 515, л. 1; Пекарский, II, с. 37).

157 Объяснению Платона Малиновского с Тредиаковским предшествовало какое-то письмо Тредиаковского к Платону, написанное на латыни; вместе с письмом Тредиаковский послал Платону свою «псалму» (ЦГАДА, ф. 7, № 515, л. 1 об., 2 об.). По другим сведениям Тредиаковский послал Платону какую-то «книгу» (там же, л. 3) — по всей видимости, имеется в виду рукописная книга с «псалмой» Тредиаковского.

158 Чистович (1868, с. 385) указывает, что столкновение Тредиаковского с Платоном Малиновским в Петербурге имело место в марте или апреле 1732 г.; это вполне вероятно, хотя мы не знаем, на каком основании исследователь пришел к этому выводу.

159 Как мы уже упоминали, переезд Тредиаковского из Москвы в Петербург был, вероятно, связан с переездом туда двора; не исключено, что он приехал сюда вместе с герцогиней Мекленбургской (см. выше, примеч. 148).

160 В 1725 г. Петр Смелич вместе с Феофаном Прокоповичем, Афанасием Кондоиди и Рафаилом, архимандритом Калязинским, давал показания против Феодосия Яновского; в 1726 г. он замешан в деле Маркелла Родышевского. См.: Скворцов, 1878, с. 34–35; Соловьев, X, с. 102.

Для 1724 г. мы располагаем не вполне определенными сведениями о каких-то связях Петра Смелича с католиками: так, францисканец Микель Анджело де Вестинье сообщал в Рим, что Петр Смелич, один из первых советников Синода, был «истинным другом» католика адмирала М. Змаевича («P. Archimandrita Petro… é uno de primi Conseglieri del… Sinodo, vero amico del… admirale Zmaievich con cui, me presente, si consultó il mezzo d’impedire il ricorso» — Арх. Конгр. проп. веры, SORC, т. 643 (1724), л. 398 об. – 399).

161 После отъезда в Белгород Петр Смелич регулярно сносится через Тредиаковского с Академией наук в связи с нуждами Харьковского коллегиума. Харьковский коллегиум находился вообще под надзором белгородского архиерея. В 1737 г. Тредиаковский, по поручению Петра, хлопочет об изготовлении при Академии наук необходимых для Коллегиума инструментов, а также заботится о пополнении библиотеки Коллегиума (Пекарский, II, с. 68; Мат. АН, III, с. 316–318; ср.: Лебедев, 1885, с. 9), в 1738 г. он передает просьбу Петра об организации ученой переписки между Академией и Коллегиумом (Пекарский, II, с. 74–75), наконец, в 1737 и 1739 г. Петр просит Тредиаковского содейство-

вать напечатанию в академической типографии тех или иных произведений, включая сюда и стихи Стефана Витынского (Пекарский, II, с. 68, 76; Куник, 1865, с. 85; Мат. АН, IV, с. 204–205, 249).

[162] О языковых взглядах Петра Смелича мы знаем из письма Адама Селлия (Burchard Adam Sellius) к Г. А. Франке (Gotthilf August Francke) от 1737 г., направленного из Москвы в Галле. Вот что пишет Селлий: «Приехав несколько лет тому назад в Россию, я занимался русским языком — более из любопытства, а не потому, что предполагал остаться в этой стране. Вскоре мне посчастливилось попасть в один монастырь, в Невский в Санктпетербурге, прелатом которого был очень любезный господин, при каковой оказии я по его совету довольно много упражнялся в общеупотребительном русском языке, и при этом почти получил отвращение к славянскому — по крайней мере в разговоре и в писании; когда я впоследствии хотел однажды продемонстрировать свои познания в славянском, он самым учтивым образом сделал мне выговор и рекомендовал, чтобы я в будущем, как и до того времени, оставался при общеупотребительном стиле. Когда аббат был посвящен в архиереи, я тоже покинул монастырь и уехал в Москву…» («Wie ich vor etlichen Jahren nach Rußland kam, befliesse ich mich der rußischen Sprache, mehr aus Curiosité, als daß ich gedacht hätte, hier im Lande zu verbleiben. Bald darauf fügte mich das Glück in ein Kloster, im Newischen zu St. Petersburg, deßen Praelat ein sehr artiger Herr war, bey welcher Gelegenheit ich mich dann auf desselben Rath in der gemeinen rußischen Sprache ziemlich übte, dabey aber für die sclavonische einen halben Abscheu, wenigstens im Reden und Schreiben, bekam, ja wie ich mich hernachmahls einsten bey ihm in der schlavonischen Sprache wolte sehen laßen, so verwieß er mir solches auf eine höffliche Art, befehlend, daß ich inskünfftige wie bis anhero bei der gemeinen Schreib-Art verbleiben möchte. Wie der Abt zum Archierei erkohren ward, verließ ich auch zugleich das Kloster und ging nach Moscau…» — Винтер, 1953, с. 413).

Э. Винтер, опубликовавший цитированное письмо Селлия, неправильно его прокомментировал. Вслед за Евгением Болховитиновым и многими другими биографами Селлия, Винтер считал, что Селлий приехал в Россию около 1722 г. (ср., в частности: Евгений, 1827, II, с. 103); соответственно, он относил пребывание Селлия в Александро-Невском монастыре к 1722–1725 гг. (Винтер, 1953, с. 235), т. е. к тому времени, когда монастырем управлял Феодосий Яновский; Феодосий Яновский, однако, был уже к тому времени архиереем (он был поставлен в новгородские архиепископы в 1721 г. и управлял монастырем в 1721–1725 гг. в сане архиепископа — Строев, 1877, стлб. 269; Харлампович, 1914, с. 588); следовательно, в письме Селлия говорится не о Феодосии Яновском, а о ком-то другом. Время приезда Селлия в Россию (1732 г.) окончательно установлено Берковым (1966, с. 101; 1966а, с. 269, примеч. 4). Очевидно, таким образом, что в цитированном письме речь идет о Петре Смеличе, который управлял Александро-Невским монастырем после Феодосия Яновского (до своего поставления в епископы). Селлий был преподавателем Александро-Невской семинарии: в июле 1734 г. Петр Смелич поручает ему преподавание латинского языка и управление школой, т. е. наблюдение за организацией преподавания в семинарии (Чистович, 1857, с. 18; Берков, 1966, с. 103; Рункевич, 1913, с. 50; Дрейдж и Салливан, 1992, с. 611). После поставления Петра Смелича в епископы (11 января 1736 г. — ОДДС, XVI, стлб. 3; Рункевич, 1913, с. 396) Селлий уехал из Петербурга в Москву (22 мая 1736 г. — Берков, 1966, с. 103; Берков, 1966а, с. 270). Достойно внимания, что Тредиаковский и Селлий, по-видимому, жили в Александро-Невском монастыре в одно и то же время. См. подробнее: Успенский, 1992/1997, с. 512 и сл.

[163] Отметим еще, что Петр Смелич был поэтом. Он написал стихи на взятие Хотина и хотел напечатать их при Академии наук. 23 октября 1739 г. эта возможность рассматривалась в Академии, причем Тредиаковский ходатайствовал об издании данной книги (Мат. АН, IV, с. 249). Стихи, по-видимому, не были изданы — во всяком случае, сведения о подобном издании отсутствуют в «Сводном каталоге русской книги гражданской печати XVIII века» (см.: Св. кат. XVIII в.).

[164] В 1749 г., представляя в канцелярию Академии наук свой перевод «Аргениды», Тредиаковский сопровождает его следующим письмом, обращенным к Шумахеру: «Примите, сударь, работу, которая стоила мне многого труда… Я буду пить сегодня за г. советника [т. е. Шумахера] в Невском монастыре у его преосвященства, архиепископа [т. е. Феодосия Янковского], потому что у него доброе вино и доброе сердце. Я буду праздновать — не примите этого во гнев, — пока я буду жив, тот день, в который я имел удовольствие вручить канцелярии мою любезную Аргениду» («Prenez, Monsieur, cet ouvrage qui m’a fait bien de la peine… Je fêterai aujourd’hui M. le conseiller au couvent Nevsky chez son emminence Monseigneur l’Archevêque parcequ’il a du bon vin et de bon coeur. Je fêterai — ne vous en déplaise pas — pendant que je vivrai le jour auquel j’ai eu la satisfaction de remettre a la chancellerie mon aimable Argenis» — Пекарский, II, с. 146–147).

Феодосию Янковскому Тредиаковский, между прочим, подарил в 1747 г. свою «Пасхалию» — рукописный трактат о истории календаря (Невская, 1984, с. 196; ср.: ГПБ, Петерб. дух. акад. 240).

[165] При этом Тредиаковский предлагал напечатать «Феоптию» и переложение Псалтыри за собственный счет, хотя и намекал, что в воле Синода разрешить финансовый вопрос более благоприятным для автора образом (см. его доношение в Синод от апреля 1757 г. — «Москвитянин», 1851, № 19–20, с. 540; А. Шишкин, 1989, с. 480); тем более знаменательно, что Синод все же берет расходы на себя. Оба сочинения должны были быть изданы под одной обложкой, как одна книга — по-видимому, она рассматривалась Тредиаковским как единое целое.

[166] Показательна в этом отношении судьба А. Ю. Ладыженского, дворянина, который при Петре I был отправлен в Европу для обучения, там перешел в католичество и вступил в орден иезуитов. В 1735 г. в Вильне его арестовал генерал Ласси и привез в Петербург, где Ладыженский был заключен в Петропавловскую крепость. Ладыженский не согласился отречься от своей веры; в 1737 г. он был бит шелепами и отослан в Сибирь в солдаты; в ссылке он пробыл около 20 лет (Флоровский, 1948; ср.: ОДДС, XVI, стлб. 126–129; Пирлинг, IV, с. 293).

Попутно отметим (поскольку это представляет интерес для нашей темы), что в вопросе о непогрешимости папы Ладыженский занимал позицию, в какой-то мере близкую к позиции янсенистов. Так, будучи испытан в вере, Ладыженский заявлял, что «папу почитает за перваго епископа и когда де он один бывает, кроме соборов вселенских, то и погрешить может, а что де на вселенских соборах узаконяет обще, в том погрешать не может» (ОДДС, XVI, стлб. 128). О значении этого вопроса для разногласий между янсенистами и ультрамонтанами см. § **2** наст. работы (см., в частности, выше, примеч. 29 и 50).

[167] Ср. упоминания об этой встрече в письмах Жюбе, написанных по пути в Россию. Так, в письме из Пиллау от ноября 1728 г. Жюбе сообщал, что они встретятся с кн. А. Б. Куракиным «в Курляндии, у герцогини, которую княгиня [И. П. Долгорукая] не может не

повидать, потому что они подруги» («Nous nous rejoindrons au moins en Courlande chés la Duchesse que la Princesse ne peut se dispenser de voir, étant son amie» — Библ. Труа, № 2213, л. 42 об.–43; Арх. Пирлинга, л. без номера). В письме из Кенигсберга от 16 ноября 1728 г. Жюбе отмечает, что «герцогиня Курляндская обещала дать лошадей и шесть драгунов» («La Duchesse de Courlande avoit promis des chevaux pour les voitures et six dragons» — Библ. Труа, № 2213, л. 38; Арх. Пирлинга, л. без номера).

[168] Гонения на И. П. Долгорукую и ее семью начались, можно думать, уже в 1731 г. Примечательно письмо Жюбе неизвестному лицу от 9 мая 1731 г. из Москвы: «Гром грянул на последней неделе поста. Князь был первым актером, он выступал как глава дома, возмущенный родней. Молодой человек, старший по возрасту, торжественно отрекся. Князь всем своим видом, а также и письменной декларацией означил, что не признает более других членов семьи своими детьми» («Le coup d'éclat s'est fait la dernière semaine de carême. Le prince a été le 1[er] acteur, il a agi en maotre poussé par le parenté. Le jeune homme, l'aoné a déserté solemnellement. Le prince de vive voix et par écrit a marqué qu'il ne reconnoit plus les autres pour ses enfants» — Библ. Труа, № 2156; Арх. Пирлинга, л. 216). Кажется, что речь идет о спектакле, публично разыгранном кн. С. П. Долгоруким, после того как вероисповедание его жены и детей перестало быть тайной: князь сделал вид, что ничего не знал об этом, и сыграл роль разгневанного главы семейства. Жюбе говорит в своих записках (1735), что князь Сергей Петрович — единственный из Долгоруких, который осмеливается показываться при дворе (см.: Жюбе, 1992, с. 110), т. е. его, видимо, не коснулись преследования, которым были подвергнуты другие представители этого рода (ср.: Д. Бантыш-Каменский, 1847, I, с. 569; см. также выше, примеч. 85).

Следует отметить, что вначале императрица какое-то время защищала И. П. Долгорукую от обвинений в католицизме, заявляя, что она сама является «исповедницей (доверенным лицом) княгини Голицыной»; вместе с тем в разговорах с Долгорукой она отзывалась о католицизме как о «дьявольской религии» и даже склоняла ее к принятию лютеранства. Ср.: «D'abord, l'Impératrice, par amitié pour la Princesse chez qui demeuroit M. Jubé, détourna les coups; et quand on cherchoit a la prévenir, elle disoit qu'elle en sçavoit plus qu'on n'en débitoit sur leur compte, parce qu'elle étoit le *Confesseur de la Princesse Galitzin*: mais quand elle conversoit avec cette Princesse, elle lui avouoit qu'elle ne haïssoit rien tant que la Religion Catholique Romaine, et elle la tratoit de *Diabolique — Dus que vous vouliez changer de Religion*, lui ajoûtoit-elle, *que ne preniez-vous la Luthérienne?*» (Бурсье, 1753, с. 352). Именно этот разговор передает Жюбе в своем письме к архиепископу Бархману от 16 апреля 1730 г.: «La fourrure [императрица] dit que la boulevard [католическая религия] est diabolique» (Библ. Труа, № 2229.17, л. 37; Арх. Пирлинга, л. 210; ср.: Пирлинг, IV, с. 360; — относительно условных обозначений, которыми пользуется Жюбе в своем письме, см. выше, примеч. 118). Более подробно об этом говорит Жюбе в своих записках: «Ее Императорское Величество… порой защищала от нападений меня и княгиню, уверяя тех, кто восставали против меня и княжеской семьи, что она знает больше, чем другие, поскольку является исповедницей [доверенным лицом] княгини Голицыной… Однако… не проходило ни одной встречи ее сиятельства княгини с Ее Величеством, когда императрица не требовала бы, чтобы она переменила свое поведение; она прибегала при этом не только к настоятельным внушениям, но и к мольбам… Мы могли всего ожидать. Иногда Ее Величество говорила, что нет людей более умелых, чтобы найти дорогу и пробиться, чем римские католики, потому что они что-то перенимали у всех религий и этим самым показывали, где бы они ни были, что нет разницы между одной религией и другой, что

достаточно сговориться и что скоро все будет полюбовно решено [т. е. разногласия будут сняты]; иногда же она говорила, что эта религия дьявольская и что она ничего не ненавидит больше, чем римскую религию и людей, которые ее исповедуют; если вам нужно было переменить религию, говорила она княгине, почему вы не перешли в лютеранство? Иногда она спрашивала княгиню, причастилась ли она в тот или иной праздничный день. Она задавала много вопросов такого рода, как только это приходило ей в голову. А княгиня отвечала: я все сказала Вашему Величеству, ничего не утаила и не скрыла от вас, или что-нибудь в этом роде, и на этом дело кончалось» («Sa Majesté Imperiale… de tems en tems detournoit les coups qu'on me portoit, et a la princesse, disant a ceux qui s'elevoient contre moi et cette famille, qu'elle en savoit plus qu'on n'en disoit parce qu'elle étoit le confesseur de la princesse Galitzin… Mais… l'Imperatrice ne voïoit point de fois S. Alt. Madame la princesse qu'elle ne la pressât vivement de changer, non seulement par les fortes insinuations mais par des exhortations… Nous avions tout a craindre de ce tems la. Tantôt Sa Majesté disoit qu'il n'y avoit personne plus adroit a s'insinuer, et gagner du terrain que les Catholiques Romains, parce qu'ils avoient pris un peu de toutes les religions, avec quoi ils faisoient entendre partout où ils se trouvoient que la difference n'etoit pas grande de l'une a l'autre, qu'il n'y avoit qu'a s'entendre, et que la chose seroit bientôt faite, et decidée a l'amiable; tantot elle disoit que c'etoit une religion diabolique, tantôt qu'elle ne haïssoit rien tant que la religion Romaine et ceux qui la professoient; si vous aviez a changer la religion, disoit elle a la princesse, pourquoi ne preniés vous pas la lutherienne? tantot elle lui demandoit avés vous comminié a telle fête, et bien de semblambles questions, toutes les fois qu'elle la voïoit; a quoi la princesse repondoit: tantot j'ai tout dit a Votre Majesté, je ne lui ai rien caché ni deguisé, et quelques mots semblables, et c'etoit tout» — Жюбе, 1992, с. 108–109).

Можно предположить, что твердая позиция И. П. Долгорукой во время этого разговора вызвала гнев императрицы и привела к разрыву между ними. Таким образом, изменение отношения Анны Иоанновны к И. П. Долгорукой можно датировать второй половиной апреля или началом мая 1731 г.

[169] Как мы уже знаем, императрица прибыла в Петербург 15 января 1732 г. (см. выше, примеч. 143).

[170] После удаления И. П. Долгорукой из Москвы Анна Иоанновна распоряжается через московского главнокомандующего гр. С. А. Салтыкова, чтобы ее (Долгорукой) дети были отправлены в Петербург и отданы в кадетский корпус. Это распоряжение не предвещало для Долгоруких ничего хорошего, и Салтыков, кажется, попытался оттянуть его исполнение, чем навлек на себя неудовольствие императрицы. Ср. письмо Анны Иоанновны к С. А. Салтыкову от 13 февраля 1735 г.: «Давно послан к тебе указ о посылке детей князь Сергея Петрова сына Долгорукова сюда в кадетский корпус, на который ты тогда ответствовал, что они больны и за тем не высланы, а с тех пор выздоровели они или померли, о том никакой ведомости от тебя и поныне не прислано, того ради по получении сего немедленно их сюда вышли по помянутому прежнему указу, и чтоб конечно ничем не отговаривались, лучше вам по нашим указам исполнять, нежели смотреть на их прихоти» (Кудрявцев, 1878, с. 153–154). Получив это письмо 18 февраля 1732 г., С. А. Салтыков пометил: «Онаго князя Сергея Долгорукова жена и со означенными детьми поехала в Петербург февраля 13 дня до получения сего указа, и о том к Ея Императорскому Величеству репортовано февраля 13 дня» (там же). Нам не известно, зачем И. П. Долгорукая отправилась в Петербург (только ли для сопровождения детей?) и каким образом она решилась это сделать, будучи в немилости у императрицы.

[171] Пирлинг (IV, с. 386) указывает, что это событие произошло 15 августа 1745 г., однако он ссылается при этом на Соловьева, который, насколько можно понять, говорит именно о 1744 годе.

[172] Этот факт можно признать достаточно достоверным, поскольку мы знаем о нем из двух независимых источников — из книги Бурсье и из записок кн. П. В. Долгорукова, известного генеалога, специально занимавшегося историей рода Долгоруких. П. В. Долгоруков не был знаком с книгой Бурсье, и он основывается, надо думать, на семейном предании. Необходимо при этом иметь в виду, что П. В. Долгоруков был прямым потомком И. П. Долгорукой, которая доводилась ему прапрабабкой: его отец Владимир Петрович (1773–1817) был сыном Петра Петровича (1744–1815), который, в свою очередь, был сыном Петра Сергеевича (1721–1773) — сына Сергея Петровича и Ирины Петровны Долгоруких. См.: Долгоруков, I, с. 92, 96, 99, 103, 104; Долгоруков, 1840, с. 168–170, 172–174; Долгоруков, 1867–1871, I, с. 364.

[173] См. именной указ императрицы Елизаветы Петровны Синоду от 27 марта 1746 г.: «Статскаго советника князя Сергия княжь Петрова сына Долгорукова жена, княгиня Ирина княжь Петрова дочь Голицына в прошлых годех, будучи при муже своем в Голландии, пришла во отвращение от православныя кафолическия веры, приняла веру римскую и вывезла в Россию учителя своего иезуита. И как о том было уведано, то еще при сестре нашей блаженныя памяти Императрице Анне Иоанновне чрез генерала графа Ушакова и бывшаго в кадетском корпусе иеромонаха Луку Конашевича увещевана и паки ко обращению православнаго греческаго исповедания приведена и помянутый учитель ея за границу выслан» (Пекарский, 1868, с. 25–26). Ср. предложение Синоду обер-прокурора Синода кн. Я. П. Шаховского от 16 апреля 1746 г.: «Ея императорское величество, всемилостивейшая наша государыня императрица Елисавет Петровна, самодержица всероссийская, минувшаго марта 29-го дня изустно мне повелеть соизволила святейшему синоду предложить, чтоб с княгинею Долгоруковою, по начавшемуся об ней делу, не слабо поступать и чего ради она в ответах своих ея императорскому величеству неправду показала, в том ее допрашивать и из дому своего никуда ей не выезжать, и о произшедшем от нея, во отпадении от православия, преступлении надлежит ей публичное покаяние учинить. Того ради, я о сем вашему святейшеству, для надлежащаго исполнения предлагаю…» (Шаховской, 1872, с. 287).

[174] Ср. предложение Синоду обер-прокурора Синода кн. Я. П. Шаховского от 18 августа 1746 г.: «Ея императорское величество, всемилостивейшая наша государыня императрица Елисавет Петровна, самодержица всероссийская, присутствуя в Питергофе, сего августа 17-го дня изустно мне повелеть соизволила святейшему синоду объявить, дабы, по силе ея императорскаго величества святейшаго синода членам изустнаго повеления о штрафовании князь Сергия Долгорукова, учинить исполнение, также чтоб и сыну ево князь Николаю с ним же на несколько время в монастыре быть и при том за ним истинно ль он православной наш закон содержит и довольно ль тому обучен, по надлежащему наблюдать; а за княгинею Ириною и за дочерью ее, княжною Анною, чтоб оне православную греческую веру, во всю свою жизнь, твердо и ненарушимо содержали и во оной непоколеблемо пребывая, в установленные посты, по долгу християнскому, исповедывались и святых тайн сообщались, накрепко духовным их отцом предусматривать приказать; о чем вашему святейшеству, для надлежащаго исполнения, — чрез сие и предлагаю» (Шаховской, 1872, с. 288–289).

[175] И. П. Долгорукая похоронена в московском Богоявленском монастыре (Голицын, 1892, с. 133, 389; Долгоруков, I, с. 92), в родовой усыпальнице князей Долгоруких; по словам П. В. Долгорукова, «в старину почти все Долгоруковы бывали погребаемы в Богоявленском монастыре (в Китай-городе на Никольской улице), до указа 1771 г., коим воспрещено хоронить внутри Москвы» (Долгоруков, I, с. 92, примеч.; ср.: Благово, 1885, с. 192). Указ, о котором упоминает П. В. Долгоруков, был издан в связи с московской чумой 1771 г.

[176] Судьба И. П. Долгорукой, естественно, волновала и французов. До нас дошел документ, озаглавленный «Mémoire pour mettre au fait de ce qui regarde Madame la Princesse Dolgorouky avec sa famille, pour communiquer avec eux et les secourir, copié sur le Mémoire de M. De La Cour» — Библ. Труа, № 2213, л. 36–37; Арх. Пирлинга, л. 1–6). Этот документ, как явствует из его названия, основывается на какой-то записке Жюбе, однако он был составлен после смерти Жюбе, последовавшей в 1745 г.

[177] Указывая, что Кантемир имеет здесь в виду кн. И. П. Долгорукую, П. Н. Берков (1961, с. 219) почему-то полагает, что цитируемая сатира написана до 1729 г.; З. И. Гершкович (1956, с. 462) датирует эту сатиру 1729–1730 гг. Ни с той, ни с другой датировкой согласиться невозможно: если речь идет здесь о И. П. Долгорукой, данное произведение могло быть написано только после ссылки княгини, т. е. не ранее 1732 г. В это время Кантемир был уже за границей. И. П. Долгорукая находилась в тяжелом материальном положении с 1731 г. (Пирлинг, IV, с. 367).

Слово *бармот* означает какую-то принадлежность одежды и, возможно, восходит к франц. *marmotte* как обозначению женского головного убора (Сл. рус. яз. XVIII в., I, с. 143; Берков, 1961, с. 219, примеч. 66).

[178] Долгоруков (1867–1871, I, с. 364) передает ее фамилию как Behr.

[179] Так, 8 сентября 1733 г. Федор Погонский писал Вешнякову: «А княгиня Ирина Петровъна Долгорукова живет в Никольском и зь детьми и мамъзель при ней, все в добром здаровъи, а сестру кнегине Ирины Петровны зьговорили замуж за Петра Ивановича Салътыкова…» (МИД АВПР, ф. Константинопольская миссия, 1730–1739, д. 43, л. 2). 23 сентября 1733 г.: «А княгине Ирине Петровъны от вас кланялъся я и писма ваши она получила от меня, которые получал от Александра Барьтенева, присланы ис Питеръбурха, а имено два писма — одно в юне, а другое в сентябре, на которое она до вас писала сего сентября, и писмо ея послано…» (там же, л. 10 об.). 12 октября 1733 г.: «Княгиня Ирина Петровна и з детми все в добром здравии, и мамзель при ней, и я у ней был и сказывал про отправу куриера, и она приказала отписать свой поклон. И я спрашивал, как будет свадба у Петра Ивановича Салтыкова, и она изволила сказать, что мы, де, и сами не знаем, как будет свадьба, в нынешней мясоед или в рождественской» (там же, л. 19 об.). 2 ноября 1733 г.: «А княиня Ирина Петровъна Долгорукова и зь детьми своими и при ней мамзель в Никольском, все в добром здаровьи, а князь Серьгий Петровичь в Питербурхе, а сестра кнеини Ирины Петровъны Долъгорукова еще замуж не вышъла, и Петр Иванович Салтыков к ней ездит часто» (там же, л. 22 об.). 29 ноября 1733 г.: «А Петр Ивановичь Салтыков женилъся на кнежьне Голицыной, на сестре кнегине Ирины Петровъны Долъгорукова сего ноября 12 дня, а веньчали у Гребеньской Богородицы, и у них на свадьбе был Семен Андреевичь Салтыков и других господ много было, також цуков с тритцать было, в томь числе дворъцовых было два цука. И княгиня Ирина Петровъна

была тут жа на свадьбе. И ныне она в Никольском и дети все при ней, и мамъзель в добром здоровъи» (там же, л. 46). 15 декабря 1733 г.: «А княгиня Ирина Петровна живет в Николском и з детми и мамзель при ней, все в добром здоровьи» (там же, л. 58 об.). 14 января 1734 г.: «Також княгине Ирины Петровъны Долгорукова от вас позьдравлял и донасил ея светлости, что вы получили Ея Императоръского Величества милость, велено вам писатъца надворъным советъником. И она изьволила рассмеятца и сказала, что и так, ди, был спесив, а ныне, де, и пущи, писать к нам не станит, и обещала к вам писать сама. А дети и мамъзель в Никольском все в добром здаровъи» (там же, л. 71 об.). 10 февраля 1735 г.: «К тому ж, государь, донашу вам: ея светла[с]ть княгиня Ирина Петровъна Долгорукова изьволила по меня присылать нарочьно. И я у нея бываю часто. И она изьволила говарить, что, ди, Алексеи Андреевичь оставил меня своими писмами, за что — не знаю, чего ради к нам не пишить. И я, ди, ему во въсем служила от всего серъца моего, не так, как другия, а он, ди, меня оставил ныне напърасно. Изволила приказывать, чтоб я к вам, государь, о сем отписал. А дети ея и мамъзель все в добром здаровъи и живут в Никольском» (там же, л. 75). В письмах от 8 сентября и 2 ноября 1733 г. упоминается и князь Яков Петрович Долгорукий; так, в письме от 8 сентября читаем «князь Яков Петрович в Москве» (л. 2); в письме от 2 ноября — «князь Яков Петровичь Долгоруков с кнежною и з детьми своими в Москве» (л. 22 об.).

Сведения о И. П. Долгорукой поступают к Вешнякову и от других корреспондентов. Так, 13 июня 1732 г. А. Аргамаков писал Вешнякову из Женевы в Константинополь: «Я оставил милую обитательницу Никольского [т. е. И. П. Долгорукую] в добром здравии вместе со всей ее семьей» («J'ai laissé cette aimable habitante de Nikolski en bonne santé avec toute sa Famille» — МИД АВПР, ф. Константинопольская миссия, 1730–1732, д. 40, л. 13 об.); 8 сентября 1733 г. Ф. Сеняков сообщал Вешнякову: «А княгиня Ирина Петровна Долгорукова живет в Никольском з детми» (МИД АВПР, ф. Константинопольская миссия, 1730–1739, д. 43, л. 21); ср. также неоднократные упоминания о семействе И. П. Долгорукой в письме Жюбе Вешнякову от января 1733 г. (МИД АВПР, ф. Константинопольская миссия, 1730–1736, д. 42, л. 14–14 об.).

[180] Между прочим, воцарение Елизаветы Петровны, по-видимому, стимулирует интерес янсенистов к России. В частности, некоторые янсенисты, жившие в Голландии, обратились к Елизавете Петровне с просьбой разрешить им поселиться в России, однако императрица холодно отнеслась к этой идее (см. депешу Кантемира от 12/23 мая 1743 г. и ответный рескрипт от 14 июня 1743 г. — Кантемир, II, с. 297–298).

[181] Тредиаковский получил от этого духовного лица, в частности, сочинения Иоанна Дамаскина. Об этом Тредиаковский пишет в «Пасхалии» (1747), предваряя свой перевод жизнеописания Иоанна Дамаскина из Дюпена (Louis Ellies Dupin, 1657–1719), «то мы увидим в следующем наблюдении, выбранном из знатнаго писателя, сорбоннскаго доктора господина Дюпеня из шестаго тома новыя его библиотеки о церковных авторах, которое во всем есть согласно с житием Святаго Иоанна Дамаскина, давно ведомое на нашем языке: однако в нашем нет росписи его сочинениям, а в Дюпеневом все до единаго описаны, и я из них в прошедшем 1742-м годе, будучи в Москве, почитай всех до единого имел печатныя в разных местах, которыи мне были даны на время от некоторого чужестраннаго духовнаго человека, в одном доме со мною пребывавшаго, а ныне или в Париже, или в Руане пребывающаго» (ААН, разр. II, оп. 1, № 138, л. 94–94 об.). Любопытно, что Дюпен — активный янсенист, друг Роллена и, вместе с тем, автор проекта о воссоединении католиков и англикан.

От этого же человека Тредиаковский получил, по-видимому, «Речи краткия и сильныя…» Иоанна Евсевия Ниремберга, которые он затем переводит с латинского на русский язык (см. рукопись перевода: ААН, разр. II, оп. 1, № 67). В письме к Я. Я. Штелину от 28 января 1744 г. и в письме к И.-Д. Шумахеру от 2 февраля 1744 г. Тредиаковский сообщает, что латинский оригинал этой книги был ему одолжен на время каким-то иностранцем, который за несколько недель перед тем покинул Россию (Пекарский, II, с. 101–102).

[182] Шетарди, возможно, имел отношение к отправлению сыновей И. П. Долгорукой — князей Александра и Владимира Сергеевичей Долгоруких — в Париж в феврале 1742 г. (см. § **4** наст. работы). Во всяком случае, к этому имел отношение Лесток: см. упоминание об этом как в письме Лестока к Кантемиру от 14 июня 1742 г. (Грасгоф, 1966, с. 73), так и в ответном письме Кантемира к Лестоку от 4/15 июня 1742 г. (Л. Майков, 1903, с. 174–175); между тем, как известно, Лесток и Шетарди были непосредственно связаны друг с другом.

[183] В 1739 г. архиепископ белгородский Петр Смелич по причине свирепствовавшей в Харькове эпидемии перевел славено-латинский коллегиум из Харькова в свою архиерейскую слободу Грайвороны, поместив его там в архиерейских хоромах (Лебедев, 1885, с. 9; Лебедев, 1902, с. 56); Тредиаковский, как мы уже знаем, с февраля 1738 г. по февраль 1739 г. жил в Белгороде у Петра Смелича.

В этой же связи заслуживает внимания то обстоятельство, что, когда Кантемир в октябре 1740 г. обратился в Синод с просьбой назначить к нему в Париж священника, после долгих поисков (так как желающих ехать в Париж не было) выбор пал на священника Белгородской епархии Андрея Григорьева Геневского (см. выше, примеч. 94). Выбор священника из Белгородской епархии позволяет предположить посредничество в этом деле Тредиаковского, поскольку тот был связан с белгородским архиереем (Петром Смеличем) и знаком с Кантемиром.

[184] Стихи Стефана Витынского с корректурными исправлениями Тредиаковского хранятся в Архиве Академии наук. См.: Берков, 1936, с. 291, примеч. 72.

[185] В 1742 г. Стефан Витынский просит об увольнении на покой (Харлампович, 1914, с. 717, 719). В упоминавшемся письме от 11/22 августа 1743 г. Тредиаковский передает Кантемиру просьбу троицкого архимандрита Кирилла Флоринского ссудить Петру Витынскому 1000 ливров для оплаты долгов в Париже, с тем чтобы тот мог их оплатить и вернуться в Россию (Письма XVIII в., с. 50–51); вероятно, Стефан Витынский уже скончался к этому времени. Кирилл Флоринский был до 1736 г. префектом Харьковского коллегиума и, следовательно, коллегой Стефана Витынского (С. Смирнов, 1855, с. 198; Харлампович, 1914, с. 661, 718).

[186] Жюбе в письмах к Кантемиру от 6 мая 1743 г. и к Александру и Владимиру Сергеевичам Долгоруким от 29 июля 1743 г. упоминает о каком-то «молодом русском», который живет у Расина и получает деньги через Долгоруких, а также о неком православном священнике («попе»), который тоже одно время там жил. Так, Жюбе писал Кантемиру: «… помимо 200 франков за одежду, белье и другие вещи, причитающихся от меня за молодого русского, которого я поместил у Расина, последнему полагается 300 франков за еду в течение 6 месяцев, включая сюда и то время, когда там жил православный священник. Прошу Вашу светлость распорядиться о выплате этих денег Расину, который обя-

зался бесплатно обучать молодого русского; он им очень доволен и поместил его в хороший пансион по соседству с собой…» («… outre 200 [fr.] pour habits, lingues et autres choses dont je me suis chargé en faveur du jeune Russe que j’ai placé chez M. Racine; il lui est dû 300 [fr.] pour la nourruture depuis 6 mois, y compris le tems que le Pope a vecu chez lui. Je supplie Votre Altesse de donner ses ordres pour les faire remettre a M. Racine qui s’est chargé d’instruire gratis le jeune Russe dont il est parfaitement content et l’a placé dans une bonne pension de son voisinage…» — МИД АВПР, ф. Парижская миссия, 1743, д. 11, л. 7–7 об.). Вскоре Жюбе писал Долгоруким: «Вы должны отчитаться в выплате пенсии православному священнику и части пенсии в 500 франков молодому русскому, поскольку он жил у г. Расина. Вы знаете, что такова была наша договоренность, и я сказал г. Расину, что ему будут платить только из этой суммы в 500 франков в год; ему уже вернули то, что он истратил на белье, одежду и т. п.» («Vous me devez aussi une reponse par rapport au païement de la pension du pope, et de la portion de celle de 500# du jeune Russe au pro rata de ce qu’il a été chez M. Racine. Vous savez bien que c’a été la convention, en consequence j’ai donné parole a M. Racine qu’il seroit payé seulement de cette somme de 500 [fr.] par an. Il a été payé des avances faites par lui d’ailleurs pour linges, habits, etc.» — Библ. Труа, № 2213, л. 44 об.; Арх. Пирлинга, л. без номера). Надо полагать, что этот «молодой русский» — не кто иной, как Петр Витынский; что же касается православного священника, то это, несомненно, А. Г. Геневский (см. о нем выше, примеч. 94 и 183). Как видим, Жюбе заботился о их содержании.

Бурсье (1753, с. 352) упоминает о каком-то русском священнике («un Pope»), который был послан в 1740-х гг. неким русским архиереем во Францию для получения образования и который во Франции был связан с Жюбе; надо полагать, что в этом сообщении произошла контаминация Петра Витынского, который действительно был послан во Францию для получения образования, однако не был священником, и А. Г. Геневского, который был священником, но приехал во Францию вовсе не для того, чтобы получить образование; оба они были связаны с Жюбе. Архиерей, о котором упоминает Бурсье, — это, видимо, белгородский архиепископ Петр Смелич: как Петр Витынский, так и Андрей Геневский — выходцы из Белгородской епархии, и Петр Смелич должен был иметь то или иное отношение к их отправлению во Францию.

[187] Слово «La Cour» в этой фразе может, вообще говоря, пониматься и как имя собственное (т. е. наименование аббата Жюбе), и как имя нарицательное («двор»). В последнем случае мы должны считать, что Витынский выехал в Голландию по приказанию французского или русского двора, что совершенно невероятно: даже если считать, что Витынский получил официальное распоряжение выехать в Голландию, он мог получить его от администрации, но никак не от двора. Поскольку нам доподлинно известно, что Витынский был связан с Жюбе и пользовался его покровительством, наша интерпретация данной фразы кажется единственно возможной; дополнительным подтверждением может служить и отъезд именно в Голландию — Голландия, как мы знаем, была центром янсенизма, и Жюбе имел прямое отношение к этой стране.

Упоминание о каком-то «Делакуре» мы находим в депеше Шетарди от 11/22 февраля 1742 г. из Петербурга, которая была перлюстрирована и известна нам в русском переводе (Архив Куракина, I, с. 492), однако содержание этого документа неясно и не дает оснований для каких-либо выводов.

[188] Тредиаковский упоминает в своем письме о каком-то «докторе и библиотекаре Сорбонны» («mr le docteur et bibliothécaire de Sorbonne») (Письма XVIII в., с. 54, 56).

Библиотекарем Сорбонны в это время (с 1742 по 1765 г.) был Жан-Батист Ладвока (Jean Baptiste Ladvocat, 1709–1765), известный гебраист, работавший в области критики текста Ветхого Завета (Франклен, 1875, с. 205). Как явствует из письма, Тредиаковский не был знаком с Ладвока.

[189] Свадьба в Ледяном доме не могла быть отпразднована непосредственно на масленой неделе, поскольку согласно уставу православной церкви на этой неделе не совершаются браки. Равным образом браки не совершаются в «неделю мясопустную», т. е. в воскресенье, предшествующее масленице («седмице сыропустной»), в субботу перед «неделей мясопустной» (поскольку браки не совершаются вообще накануне воскресных дней), в пятницу, предшествующую этой субботе (поскольку браки не совершаются накануне «родительских», т. е. поминальных, суббот, а суббота перед «неделей мясопустной» является именно «родительской» субботой), и, наконец, в четверг (поскольку браки никогда не совершаются по четвергам). Таким образом, последним днем перед масленой неделей, когда можно было отпраздновать свадьбу, была среда на неделе, предшествующей масленице (так называемой «пестрой» неделе). Именно в этот день — 6 февраля 1740 г. — и была устроена «дурацкая свадьба» в Ледяном доме; непосредственно примыкая к масленице, это празднество как бы предвосхищало предстоявшее масленичное веселье и, соответственно, включало в себя типичные атрибуты масленичного поведения. При всем том эта свадьба была подлинной, а не чисто карнавальной, поскольку свадебному торжеству предшествовало венчание в церкви — подобно тому, как это происходило на потешных свадьбах при Петре I, например, на свадьбе князь-папы или «патриарха» Н. М. Зотова в 1715 г. (Голиков, 1790–1797, X, с. 232–252) или на свадьбе князь-папы П. И. Бутурлина в 1721 г. (Берхгольц, I, с. 115–121; Кашин, 1895, с. 13–14), а также на потешной свадьбе карликов в 1710 г. (Юль, 1899, с. 261–263, 455; Вебер, 1721, с. 385–388, № 472; Описание С.-Петербурга, 1860, с. 98–103; Семевский, 1989, с. 44–45) и на свадьбах шутов Петра I (Тургенева в 1694 г., Шанского в 1702 г., Кокошкина в 1705 г. — Желябужский, 1840, с. 39–40, 209, 211–212; Голиков, 1790–1797, IV, с. 115; Голиков, 1788–1789, II, с. 76; Голиков, 1790–1797, VI, с. 318; Орфелин, I, с. 291–292; Перри, 1716, с. 238–241).

По другим сведениям свадьба в Ледяном доме происходила 12 февраля 1740 г., т. е. непосредственно на масленой неделе: эту дату сообщает Г. В. Крафт в статье «Описание льдяного дому» (статья подписана инициалами: В. К.), помещенной в «Примечаниях на [Санктпетербургские] ведомости», ч. 99, от 9 декабря 1740 г., с. 393; ср.: Голицын, 1880, с. 132–133. Крафт, несомненно, ошибается, поскольку его указание расходится с показаниями других источников — в частности, с рапортом Тредиаковского в Академию наук от 10 февраля 1740 г. (Пекарский, II, с. 77–79; «Москвитянин», 1845, № 2, с. 43–46; Мат. АН, IV, с. 306–309), с письмом маркиза де ла Шетарди от 19 февраля / 1 марта 1740 г. из Петербурга (Пекарский, 1862а, с. 55), с архивными дворцовыми документами (Внутренний быт, I, с. 292, 295) — однако характерно само стремление приурочить данное событие к масленице.

[190] Маскарадная комиссия была учреждена в 1739 г. и прекратила свое существование в мае 1740 г., см.: Внутренний быт, I, с. 292–296. Относительно Слонового двора (который помещался на берегу Фонтанки) см. там же, с. 326–341.

[191] П. В. Долгоруков сообщает другой год рождения кн. М. А. Голицына, а именно, 1689 г. (Долгоруков, I, с. 290; Долгоруков, 1867–1871, I, с. 382; ср. также: Лонгинов, 1915,

с. 304); Н. Н. Голицын указывает 1687 г. (Голицын, 1880, с. 124; Голицын, 1892, с. 141; ср. также: ДРВ, IV, с. 290). На могиле М. А. Голицына в Братовщине (по дороге к Троице-Сергиеву монастырю) значилось, однако, что он скончался 18 июня 1775 г. 78 лет от роду — следовательно, он родился в 1697 г. (П. Полевой, 1890, с. 171–174).

[192] До нас дошло его послание к тосканскому великому герцогу Козимо III Медичи (1670–1723) без даты, написанное в Риме, где он жил уже год. «Московский князь Михаил Голицын» просит тосканского герцога помочь ему получить место при венском дворе и сообщает, что он получил от папы римского рекомендательные письма к императору (очевидно, Карлу VI) и обеим императрицам (вдовствующей и царствующей). См.: Бутурлин, II, с. 347–349 (архив Медичи во Флоренции, св. № 1032).

[193] Указание Н. Н. Голицына насчет того, что М. А. Голицын был сделан придворным шутом в 1732 г. (Голицын, 1892, с. 141), подтверждается, по-видимому, письмом Анны Иоанновны к С. А. Салтыкову от 20 февраля 1733 г.: «… благодарна за присылку Голицына, Милютина и Балакиревой жены, а Голицын всех лучше, и здесь всех дураков победил…» (Кудрявцев, 1878, с. 66). Алексей Милютин — истопник императрицы, см. о нем в записках П. В. Долгорукова (1867–1871, I, с. 380).

[194] Петров (1882, с. 166–167) утверждает, впрочем, что И. А. Балакирев не был шутом при Петре I, а стал им при Анне Иоанновне.

[195] Что касается кн. Н. Ф. Волконского, то его превращение в шута было вызвано, несомненно, чисто личными причинами: жена Н. Ф. Волконского, княгиня Аграфена Петровна Волконская, дочь Петра Михайловича Бестужева-Рюмина, бывшего обер-гофмейстером в Курляндии при дворе Анны Иоанновны, в свое время интриговала против Анны Иоанновны и Бирона (Соловьев, X, с. 91, 131, 135–136, 259; Долгоруков, 1867–1871, I, с. 381); отношения их, по-видимому, определялись тем обстоятельством, что П. М. Бестужев-Рюмин был некогда (перед Бироном) любовником Анны Иоанновны (см.: Щербатов, II, стлб. 188; Семевский, 1989, с. 48, 60). После восшествия Анны Иоанновны на престол кн. А. П. Волконская была отправлена в Тихвинский монастырь (Соловьев, X, с. 259; Шубинский, 1869, с. 30); когда же она умирает, муж ее становится придворным шутом — так мстит императрица своему бывшему врагу. 15 августа 1732 г. Анна Иоанновна писала в Москву гр. С. А. Салтыкову: «Объявляю вам, что княгиня Аграфена Волконская умерла, того ради изволь сыскать мужа ея князя Никиту Волконскаго и к нам его немедленно выслать в Петербург и скажи ему, что ему велено быть за милость, а не за гнев…» (Кудрявцев, 1878, с. 44). В дальнейшем императрица поручает С. А. Салтыкову составить шуточное «Житие князь Никиты Волконскаго». Так, в письме от 2 ноября 1732 г. она велит Салтыкову: «Пошли кого нарочно князь Никиты Волконскаго в деревню его Селявино и вели распросить людей, которые больше при нем были в бытность его тамо, как он жил и с кем соседями знался, и как их принимал, спесиво или просто, так же чем забавлялся, с собаками ль ездил, или другую какую имел забаву, и собак много ль держал, и каковы, а когда дома, то каково жил, и чисто ли в хоромах у него было, и какова была пища, не едал ли кочерыжек и не леживал ли на печи, и о том обо всем и тех его людей распрося их подлинно, вели взять сказки и пришли к нам…, и где он сыпал, бывали ль у него тут горшки и кувшины, так же и деревянная посуда, и о том обо всем его житии сделав тетрадку, написав подлинно, и подписать сперва „Житие князь Никиты Волконскаго“…» (там же, с. 53). В следующем письме Салтыкову от 6 ноября

1732 г. императрица добавляет: «… к житию Волконскаго вели приписать, спрося у людей, сколько у него рубах было и по скольку дней он нашивал рубаху…» (там же, с. 54). Во исполнение этого поручения были «о житье его князь Никиты Волконскаго сочинены две тетрадки и отправлены к Ея Императорскому Величеству при доношении ноября 27 [1732 г.]» (там же, с. 53, примеч.). Ср. еще распоряжение Салтыкову в письме от 16 апреля 1733 г.: «По получении сего изволь послать в дом князь Никиты Волконскаго и все письма его взять и сюда к нам прислать, так же и в деревню его послать осмотреть, нет ли и там каких писем, а деревня та ж, в которой описывали его житие… А нам письма Волконскаго надобно ради смеху» (там же, с. 76).

Продолжая свои развлечения, Анна Иоанновна затем «женит» одного шута на другом — Н. Ф. Волконского на М. А. Голицыне, причем заставляет Волконского написать к своему приказчику, что он подлинно женился. 2 сентября 1734 г. императрица сообщала Салтыкову: «… да здесь играючи женила я князь Никиту Волконскаго на Голицыном, и при сем прилагается его письмо к человеку его, в котором написано, что он женился в правду, и ты оное сошли к нему в дом стороною, чтоб тот человек не дознался, и о том ему ничего сказывать не вели, а отдать так что будто то письмо прямо от него писано…» (Кудрявцев, 1878, с. 138). Ср. затем следующее предписание от 1 октября 1734 г.: «Возьми у человека князь Никиты Волконскаго то письмо, которое он к нему о женитьбе своей писал, и взяв подлинное пришли сюда, а у него вели оставить копию…» (там же, с. 142–143).

На кн. Н. Ф. Волконского была возложена, между прочим, обязанность ухаживать за любимой левреткой Анны Иоанновны, Цытринькой (Миних, 1817, с. 159; Манштейн, II, с. 70; Внутренний быт, I, с. 221; Шубинский, 1888, с. 43–44).

[196] Как сообщает Манштейн (II, с. 72), орден «Сан-Бенедетто» внешне походил на уменьшенный орден св. Александра Невского и носился в петлице на красной ленте (ср.: Долгоруков, 1867–1871, I, с. 381; Шубинский, 1873, с. 342; Спасский, 1963, с. 115). Таким образом, он мог восприниматься одновременно и как насмешка над национальными чувствами и православной религией — подобно тому как петровский Всешутейший собор одновременно был направлен против патриарха и против папы римского (ср.: Успенский, 1982/1996, с. 158, 177–178, примеч. 38). Отметим, что орденом «Сан-Бенедетто» были награждены шуты-иностранцы: можно предположить, что этот орден представал как вариант ордена Александра Невского, предназначенный для иноземцев.

Традиция шутовских орденов восходит в России к петровскому времени: так, при Петре I был шутовской орден Иуды-Предателя, который носил князь Юрий Федорович Шаховской (Юль, 1899, с. 93, 220), шут при дворе Петра I и участник «Всешутейшего собора» (где он выступал как «архидиакон Гедеон»), а также всешутейший «патриарх» Никита Моисеевич Зотов (Голиков, 1790–1797, X, с. 235); таким образом, орден этот имел, возможно, какое-то отношение к церемониям «Всешутейшего собора». Орден Иуды был изготовлен в 1709 г. и первоначально предназначался, вероятно, для гетмана Мазепы (Платонов, 1927, с. 193–198; Спасский, 1963, с. 109–110).

[197] Вообще шутовские потехи при дворе Анны Иоанновны нередко выходили за границы пристойности. Позднее, после падения Бирона, это ставилось ему (Бирону) в вину: Бирон обвинялся в том, что он «будто для забавы ея величества… под образом шуток и балагурства, такия мерзкия и Богу противныя дела затеял, о которых до его времени в свете мало слыхано: умалчивая о нечеловеческом поругании, произведенном не токмо

над бедными от рождения, или каким случаем дальняго ума и разсуждения лишенными, но и над другими людьми, между которыми и честной породы находились, о частых между оными заведенных до крови драках и о других оным учиненных мучительствах и безстыдных мужеска и женска пола обнажениях и иных скаредных между ними, его вымыслом произведенных пакостях, уже и то чинить их заставливал и принуждал, что натуре противно и объявлять стыдно и непристойно» («Дело о Бироне» — Пекарский, 1862а, с. 64–65).

[198] Ср. в «Чине избирания» князь-папы (1717): «Князь-цесарь повелевает принести яйцы [так в черновом автографе Петра; в беловом списке: *муде*] для выбирания, и служители раздают по два каждому; на каждое имя едино натуральное и другое обшитое, отцем же сидящим в епанчах и муде тайно держащим. Потом князь-цесарь осматривает чашу покрытую и заключает оную своею печатью и повелевает гласити перваго имя и носити на его имя, поднося чашу к каждому. Отцем же подобает класти яйца [так в черновом автографе Петра; в беловом списке: *муде*]; аще кого соизволяет, то натуральное, аще же кого не соизволяет, то обшитое да кладет. Когда же всем яйцы уже положившим, тогда приносят чашу пред цесаря, он же отверзает пред всеми и сыплет на стол пред собою, и разделяет, сколько натуральных и сколько обшитых, и повелит записать. Потом паки пустую чашу заключает и равным же образом на другова имя и третьяго балатирует. Потом же, когда уже на все имена балатировано, тогда архидиякон велегласно читает пред князь-цесарем, сколько на кого вынялось, и на ком более натуральных будет, тот да наречется… И потом бывает орлочитание за радость избраннаго [т. е. пьют за него]. Когда все совершится, тогда князь-цесарь повелевает новоизбранному и прочим итти к столу, где точию поставляются яйца [так в черновом автографе Петра; в беловом списке: *муде*], бывшия на избрании, прочее же ничто» (ЦГАДА, ф. 9, оп. 1, № 67, л. 30 [черновой автограф Петра I], 32 [беловой список, выполненный писцом]; ЦГАДА, ф. 199, оп. 1, № 240, д. 14, л. 9 [другой беловой список]; ср.: Семевский, 1885, с. 304—305). При завершении данной церемонии новоизбранного князь-папу «целуют в яя», под которыми на этот раз определенно понимаются testiculi: «Потом целуют его [князь-папу] все в руку, держащую орла [т. е. кубок] и в яя под лоном и пиют из десницы в знак присяги в верности закона» (ЦГАДА, ф. 9, оп. 1, № 67, л. 9 об., 11 об., 16; ЦГАДА, ф. 199, оп. 1, № 240, л. 5 об., 7; Семевский, 1885, с. 305).

[199] Эта преемственность отчетливо проявляется, между прочим, и в шутовской свадьбе М. А. Голицына, которая, как мы уже отмечали, непосредственно продолжает традицию потешных свадеб петровского времени (см. выше, примеч. 189). Она, т. е. преемственность, прослеживается даже в конкретных деталях: так, изображение «Весны», которым открывалась процессия участников «Всешутейшего собора» (ЦГАДА, ф. 9, оп. 1, № 67, л. 4, 10, 12, 13; Семевский, 1885, с. 300; Кашин, 1895, с. 12–14), находит затем точное соответствие в процессии участников шутовской свадьбы М. А. Голицына в 1740 г. (см. ниже, примеч. 218). Равным образом к петровскому потешному ритуалу восходит традиция шутовских орденов (см. выше, примеч. 196), а также шутовских титулов: к петровскому времени восходит, в частности, шутовской титул «самоедского хана» в церемониале свадьбы М. А. Голицына (см. ниже, примеч. 208).

[200] Не менее показательны потешные свадьбы всешутейшего «патриарха» Н. М. Зотова в 1715 г. или князь-папы П. И. Бутурлина в 1721 г., о которых мы упоминали выше (см. примеч. 189): в первом случае жених был в облачении кардинала, во втором — в об-

лачении римского первосвященника. По словам И. И. Голикова, наряжая Зотова в «папские уборы», Петр высмеивал обряды католической церкви: «Мудрый Государь, дабы мечтаемую Папою власть над Христианством и самую его особу в большее привесть у подданых своих презрение, наимяновал бывшаго учителя своего, реченнаго Г. Зотова, папою, наряжал его смешным образом в его папские уборы, представлял многие обряды папские в таком же смешном виде» (Голиков, 1790–1797, X, с. 233, ср. с. 238). Орфелин сообщает, что Петр поставил «своего дворнаго [т. е. придворного] шута в достоинство Папежское, во обличение тех, которые обожают оное» (Орфелин, II, с. 121; ср.: Голиков, 1788–1789, VI, с. 175); имеется в виду, по-видимому, П. И. Бутурлин.

Характерно, что кардиналом именовался и Вымени, шут Петра I (см. ниже, примеч. 208).

[201] Первой женой М. А. Голицына была Марфа Максимовна Хвостова (Долгоруков, I, с. 290; Голицын, 1892, с. 141). По сведениям Н. Н. Голицына, М. М. Хвостова родилась в 1694 и скончалась в 1721 г. (Голицын, 1892, с. 141); между тем из прошения второй жены М. А. Голицына, Марии-Франциски, на высочайшее имя выясняется, что по крайней мере в 1722 г., когда она с мужем направлялась из-за границы в Петербург, первая жена М. А. Голицына была жива (ОДДС, IV, стлб. 552); более правдоподобно поэтому указание С. Н. Шубинского, согласно которому М. М. Хвостова умерла в 1729 г. (Шубинский, 1888, с. 44). Бракосочетание М. А. Голицына с Марией-Франциской состоялось в Ганновере не позднее 1722 г., см. определение Синода «о наложении на князя Михаила Алексеевича Голицына пятнадцатилетней епитимии, за вступление в Ганновере во второй брак при жизни первой жены» (ОДДС, IV, стлб. 551–554). Эта Мария-Франциска именуется в документах как «баронессой», так и «фрейгершей» (от *Freiherr* ‘барон’).

[202] В дальнейшем, после смерти Е. И. Бужениновой в 1742 г. — приживалки Анны Иоанновны, с которой М. А. Голицын был обвенчан в 1740 г., — Голицын еще раз женился: в 1744 г. он сочетался браком с Аграфеной Алексеевной Хвостовой (1723–1750) (Голицын, 1892, с. 142; Долгоруков, I, с. 290; Шубинский, 1869, с. 39). По православным канонам четвертый брак невозможен — ясно, что с точки зрения православной церкви это был не четвертый, а третий брак, т. е. брак М. А. Голицына с Марией-Франциской не считался законным. В декабре 1744 г. Синод дал специальное разъяснение по этому поводу (ОДДС, IV, стлб. 554).

Между прочим, дочь М. А. Голицына от его брака с А. А. Хвостовой, Анна Михайловна (1748—1813), была замужем за поэтом Ф. Г. Кариным (Долгоруков, I, с. 293; Голицын, 1892, с. 154).

[203] 5 октября 1724 г. Мария-Франциска представила в Синодальную канцелярию заключенное между нею и М. А. Голицыным соглашение о расторжении брака (ОДДС, IV, стлб. 552–553). По-видимому, она была к этому принуждена; не исключено, однако, что соглашение было фиктивным (см. ниже, примеч. 205, 206).

[204] Определение Синода о наложении епитимии было вынесено 24 февраля 1725 г. и объявлено кн. М. А. Голицыну 11 августа того же года. 16 октября 1726 г. отец М. А. Голицына, князь Алексей Васильевич Голицын, подал в Синод прошение об освобождении сына от епитимии. 30 октября 1727 г. Синод предписал Леониду, архиепископу сарскому и подонскому, «освидетельствовать достоверно, и буде он, князь Михаило Голицын, познав свое согрешение, истинное приносит покаяние…, от помянутой епитимии разре-

шить…». Как Леонид выполнил это предписание, из дела не видно (ОДДС, IV, стлб. 553–554).

По сообщению Н. Н. Голицына, М. А. Голицын не подчинился наложенной на него епитимии (Голицын, 1892, с. 247); означает ли это, что он продолжал считать себя католиком и не признавал епитимию, наложенную православной церковью?

[205] Документы устойчиво именуют эту итальянку «женой» М. А. Голицына, и это определенно говорит о том, что их связь признавалась законной, т. е. они, видимо, были венчаны. Если они были венчаны по католическому обряду, то это могла быть не Мария-Франциска, а какая-то другая женщина только в том случае, если Мария-Франциска умерла: только тогда было бы возможно предположить, что М. А. Голицын женился на какой-то другой католичке. Отметим при этом, что, когда в 1744 г. обсуждается вопрос о возможности бракосочетания М. А. Голицына и А. А. Хвостовой — что предполагает, как мы уже упоминали, решение вопроса о том, сколько жен было у Голицына до этого времени, — разъяснения даются лишь по поводу его брака с Марией-Франциской и речь не идет ни о какой другой жене-иноземке (ОДДС, IV, стлб. 554); см. выше, примеч. 202. Не исключено, таким образом, что Мария-Франциска и итальянка — это одно и то же лицо; ср. подробнее ниже примеч. 206.

[206] 16 января 1735 г. Анна Иоанновна писала в Москву главнокомандующему гр. С. А. Салтыкову: «Осведомься под рукою в Немецкой слободе, где живет князь Михаила Голицына жена, которую он с собою из Италии привез, а больше надобно спрашивать у католицких попов, какое она пропитание имеет и от кого, о том обо всем отпиши к нам немедленно, буде же ея в Москве нет, то куда съехала и с кем и на чьем коште…» (Кудрявцев, 1878, с. 151–152). Выполнение этого поручения было возложено С. А. Салтыковым на каптенармуса Преображенского полка Лакостова, который явился к католическому священнику в Немецкой слободе под видом офицера, якобы приехавшего из Воронежа от адмирала Змаевича; Змаевич, как мы уже знаем, был католиком (см. выше, примеч. 74, 160), и ссылки на его имя оказалось достаточно, чтобы получить нужную информацию; после этого Лакостов без труда разыскал княгиню Голицыну и нашел ее в самом бедственном положении.

21 января 1735 г. Лакостов доносил С. А. Салтыкову: «Пришел я католицкой церкви к патеру Фабиянусу и объявил ему, что я приехал из Воронежа офицер, и при отъезде оттуда просил меня итальянский патер, который при вице-адмирале Змаевиче службу отправляет, чтоб я уведомился о жене князя Михаила Алексеевича Голицына, на которой женился он, князь Голицын, в Италии, где отечество ея ныне, от кого она пропитание имеет и на чьем коште живет. На что оный Фабиянус объявил мне: она нанимает квартиру бедную, и в той квартире хозяин выставил двери и окошки за то, что она княгиня за квартиру не платит, а ей де не токмо платить деньги, и дневной пищи не имеет; и для ея бедности дал ей два рубля денег, и не откуда, никакой помощи к пропитанию не имеет, и валяется де на полу, постлать и одеться нечем; в праздник Рождества Христова пришла сюда и говорит де мне, что я умираю с голоду, не имею куска хлеба, и в то время дал ей денег семь алтын; она де хуже всякой нищей, одежи и пищи никакой не имеет. И приказал оный Фабиянус служителю своему указать квартиру, где она живет; в Старой Басманной, в доме лейб-гвардии Преображенскаго полка, у сержантской жены Андреевской, Полозова вдовы Марьи Федоровой [т. е. у Марьи Федоровны Полозовой, вдовы сержанта Андрея Полозова], в маленькой комнаточке, найму дает по три

рубля в год. Оная княгиня объявила мне, что она от князя Михаила Алексеевича Голицына ничего после разлучения с ним от него не получала, и пищи ни откуда не имеет, разве кто милостыню подаст, и со рвением говорила: „хотя бы де мне дьявол денег дал, я бы ему душу свою отдала; видишь де ты, какое на мне платье и какая у меня постель“. Одежда на ней понитянная, черная, ветха; постель наволока холстинная толстая, набита сеном; одевается нагольною шубою ветхою. При том же она говорила и тужила, где де ныне мой сын, князь Иван, котораго я родила с ним, князем Михаилом Алексеевичем» (Шубинский, 1888, с. 50–51). Из этого сообщения видно, что жена М. А. Голицына была разлучена не только со своим мужем, но и с сыном (о судьбе которого мы ничего не знаем).

Через некоторое время после этого княгиня Голицына по высочайшему повелению была секретно вытребована в Петербург. 2 сентября 1736 г. Анна Иоанновна отдает Салтыкову следующее распоряжение: «Вели в слободе Немецкой сыскать Голицына жену, Италианку, и как скорее пришли ее к нам в Петербург на почте, дав провожатова, чтоб ее бережно довес, только [бы] никто про это не ведал в Москве, пока она к нам приедет, и дорогою не вели сказывать, что она едет. А как привезут ее в Петербург, вели явитца у Генерала Ушакова тайным же образом» (Дубровский, 1865, с. 64; Кудрявцев, 1878, с. 177). 9 сентября 1736 г. жена кн. М. А. Голицына была секретно отправлена в Петербург с солдатом Измайловского полка Иваном Раевским, которому была дана следующая инструкция за подписью С. А. Салтыкова: «Ехать тебе с нею до С.-Петербурга денно и ночно со всяким поспешением, к тому ж дорогою о ней никому не сказывать, что она едет; а как скоро в Петербург приедеш, то тайным же образом явитца тебе и посланное с тобою к Ея Императорскому Величеству письмо подать Генералу и Кавалеру Г. Ушакову, и сие тебе иметь секретно; буде же против сего ты не исполниш, и за то штрафован будеш по военному артикулу» (Дубровский, 1865, с. 64–65). С тем же солдатом Салтыков отправил письмо на имя генерала Родиона Кошелева (от того же числа), в котором сообщал, что «по именному Ея Императорскаго Величества Указу, отправлена отсюда к Ея Императорскому Величеству, Всемилостивейшей Государыне, некоторая посылка…, под которую куплена здесь, на щет Придворной Конюшенной Конторы, покоевая коляска», и просил эту коляску принять (там же, с. 65–66). Рапортуя об исполнении возложенного на него поручения, Салтыков в тот же день (т. е. 9 сентября 1736 г.) извещал императрицу: «… по тому Вашего Императорскаго Величества, Всемилостивейшей Государыни, Указу оная Голицына жена Италиянка тайно здесь сыскана, и в Москве о ней никто не ведает, которую к Вашему Императорскому Величеству, Всемилостивейшей Государыни, всенижайше рабски отправил при сем с нарочным, Лейб-Гвардии Измайловскаго полку солдатом, Иваном Раевским, на почте, которому от меня найкрепчайше приказано, чтобы он ее вес бережно и никому про нее не объявлял, и по приезде в С.-Петербург велел явитца у Генерала Ушакова тайным образом» (там же, с. 65).

15 сентября 1736 г. жена М. А. Голицына была доставлена в Петербург (см. ответное письмо Р. Кошелева к С. А. Салтыкову от 16 сентября 1736 г. — Дубровский, 1865, с. 66). Дальнейшая судьба ее неизвестна.

Любопытно сопоставить эти сведения с сообщением П. В. Долгорукова, которому цитированные документы, по-видимому, не были известны. Вот что говорит Долгоруков: «Овдовев, князь Михаил [Голицын] отправился путешествовать; в Италии он женился на итальянке и под ее влиянием обратился в католичество. Поскольку его жена была самого простого происхождения, он не решился объявить о своем браке, опасаясь упреков со стороны своей родни, которая состояла из богатых и высокопоставленных людей. Вернувшись в Россию со своей женой, он поселил ее в Москве, в Немецкой слободе, и лишь

в 1736 г. при дворе узнали о его браке и о местонахождении его жены… Князь Михаил Алексеевич был приговорен к роли придворного шута… Жена его была арестована в Москве, препровождена в Петербург и передана в Тайную канцелярию; не знаю, что с ней стало, но брак был расторгнут и признан недействительным» («Devenu veuf, le prince Michel avait voyagé; en Italie il avait épousé une personne du pays, et sous son influence, il avait embrassé le catholicisme. Cette personne étant d'une naissance fort ordinaire, il n'avait osé déclarer ce mariage, craignant les reproches de sa parenté, composée de gens riches et haut placés dans la société russe. Revenu en Russie avec sa femme, il l'avait logée a Moscou, au quartier allemand (*niemetskaia sloboda*), et ce fut seulement en 1736 qu'a la cour l'on apprit son mariage et le lieu de séjour de sa femme… Le prince Michel Alexéiévitch fut condamné a remplir, a la cour, l'office de bouffon… Sa femme fut arrêtée a Moscou, conduite a Pétersbourg, et remise entre les mains de la chancellerie secrète; j'ignore ce qu'elle devint, mais le mariage fut cassé et declaré non-avenu» — Долгоруков, 1867–1871, I, с. 382). Сведения Долгорукова в ряде моментов могут быть неточны, но кое-что ему определенно было известно: так, он правильно указывает, где жила княгиня Голицына (итальянка) в Москве и когда она была отправлена в Петербург. Вместе с тем, сообщение о незнатном происхождении этой женщины, как кажется, находит подтверждение в письме маркиза де ла Шетарди от 19 февраля / 1 марта 1740 г. из Петербурга. Говоря здесь о свадьбе в Ледяном доме, Шетарди отмечает, что «князь Голицын… подал к тому повод, хотев вступить в неравный брак. Дело шло о предании осмеянию подобной свадьбы» (Пекарский, 1862a, с. 55). Впрочем, эта фраза Шетарди может, вообще говоря, быть понята и в другом смысле (см. об этом ниже).

Итак, цитированное сообщение П. В. Долгорукова в принципе заслуживает внимания. Если отнестись к этому сообщению с доверием, то можно предположить, что М. А. Голицын не ранее 1727 г. (когда рассматривалось дело о снятии с него епитимии и когда он определенно находился в России — см. выше, примеч. 204) еще раз отправился за границу и женился там на итальянке, которую привез в Россию; возможно, это случилось после смерти Марии-Франциски (см. выше, примеч. 205).

В этой связи представляют интерес следующие указания С. Н. Шубинского (который основывался на каких-то неизвестных нам источниках): «Потеряв в 1729 г. первую жену, Марфу Максимовну, рожденную Хвостову…, Голицын испросил себе позволение ехать за границу… Во время пребывания своего во Флоренции [он] влюбился в одну итальянку низкаго происхождения, женился на ней и по ее внушению перешел в католическую веру. По возвращении в Россию, в 1732 г., князь Михаил Алексеевич жил в Москве, тщательно скрывая от всех жену и перемену религии; обстоятельство это скоро обнаружилось, привело в отчаяние всю многочисленную фамилию Голицыных и, разумеется, дошло до сведения императрицы… Она велела представить его себе… и тотчас сделала своим шутом… Разумеется, брак князя Михаила Алексеевича был признан недействительным, и он более уже не увидел своей жены-итальянки» (Шубинский, 1888, с. 44–46). Заслуживает внимания при этом замечание С. Н. Шубинского, что М. А. Голицын вернулся из-за границы в 1732 г.; как мы уже отмечали, именно в этом году (и во всяком случае не позднее февраля 1733 г.) Голицын был призван ко двору, для того чтобы стать придворным шутом (Голицын, 1892, с. 141; ср. письмо Анны Иоанновны к С. А. Салтыкову от 20 февраля 1733 г. — Кудрявцев, 1878, с. 60), — это совпадение, видимо, подтверждает достоверность сообщаемых С. Н. Шубинским сведений. При этом ни П. В. Долгоруков, ни С. Н. Шубинский ничего не говорят о браке М. А. Голицына с баронессой (Ма-

рией-Франциской): оба они утверждают, что М. А. Голицын женился на итальянке (в Италии) после того, как он овдовел; речь идет при этом о смерти первой жены М. А. Голицына, Марфы Максимовны (урожденной Хвостовой), но нельзя ли считать, что они смешивают двух жен — Марфу Максимовну и Марию-Франциску? Поскольку ни тот, ни другой автор явно не знали о существовании Марии-Франциски, такое предположение кажется в принципе возможным. Тогда мы можем считать, что М. А. Голицын женился на итальянке после смерти Марии-Франциски.

Вместе с тем, цитированное выше свидетельство маркиза де ла Шетарди (в письме из Петербурга от 19 февраля / 1 марта 1740 г.) о том, что кн. М. А. Голицын сам подал повод к шутовской свадьбе, «хотев вступить в неравный брак», и что «дело шло о предании осмеянию подобной свадьбы», — может быть понято и иначе: слова о «неравном браке» в принципе могут относиться не к браку Голицына с итальянкой, а к его браку с калмычкой Е. И. Бужениновой (приживалкой Анны Иоанновны), т. е. непосредственно к свадьбе в Ледяном доме. Шетарди, возможно, полагал, что инициатива этого последнего брака принадлежала М. А. Голицыну, т. е. что он сам захотел жениться на Бужениновой; тогда его слова означают, что императрица пошла навстречу его (Голицына) желанию, однако сделала это бракосочетание посмешищем. Такая интерпретация кажется вполне возможной, если принять во внимание то, что пишет Манштейн: «Поскольку его [Голицына] первая жена умерла, императрица предложила ему жениться, обещав взять на себя расходы по устройству свадьбы. Голицын принял предложение; выбрав девушку простого происхождения, он потребовал от ее величества, чтобы она сдержала слово. Желая позабавиться, императрица вознамерилась вместе с тем продемонстрировать свое могущество, показав огромное количество разных народов, ей подчиненных» («Sa premiere femme étant morte, l'Impératrice lui dit qu'il feroit bien de se remarier, et qu'elle se chargeroit volontiers des frais de ses noces. Galitzin accepta la proposition, et ayant choisi une fille du commun, il somma Sa Majesté de tenir sa parole. L'Impératrice voulant s'amuser, se proposoit aussi de donner une idée de sa puissance, en montrant le grand nombre de nations diverses qui obéissoient a ses lois» — Манштейн, II, с. 73). Итак, Манштейн считал, что М. А. Голицын сам выбрал Е. И. Буженинову в невесты; при этом подчеркивается ее простое происхождение. То же мог иметь в виду и Шетарди; очевидно во всяком случае, что такого рода слухи могли ходить в Петербурге. Не исключено, вообще говоря, что подобные слухи отразились и в приведенных выше высказываниях П. В. Долгорукова и С. Н. Шубинского, а именно, в указании, что жена М. А. Голицына, которую он привез из-за границы (итальянка), была простолюдинкой. Если предположить, что произошла контаминация двух браков М. А. Голицына — его брака за границей и свадьбы в Ледяном доме, — то это указание может не соответствовать действительности. В таком случае его жена-итальянка может быть тем же самым лицом, что и баронесса Мария-Франциска.

Итак, вопрос о том, сколько жен иностранного происхождения было у М. А. Голицына (т. е. являются ли Мария-Франциска и «итальянка» одним и тем же лицом или разными лицами), остается открытым. Вопрос этот, однако, не так важен для нашей темы: нам достаточно констатировать, что М. А. Голицын был женат на католичке и что этот брак так или иначе связан, по-видимому, с его обращением в католическое вероисповедание.

[207] В церемониале свадьбы фигурирует, между прочим, «дурацкий герб» жениха на оловянном жетоне, висящем на медных цепочках, — явно высмеивающий княжеское достоинство М. А. Голицына. См.: «Описание дурацкой свадьбы» (ГПБ, F.XVII.12, л. 352 об. — Успенский и Шишкин, 1997, с. 308; наст. изд., с. 542).

[208] «Самоедским королем» или «самоедским ханом» именовался, между прочим, — еще во времена Петра I — шут Лакоста (Вебер, 1721, с. 339, § 432; Катифор, 1772, с. 408–409; Голиков, 1788–1789, VII, с. 36–37; Манштейн, II, с. 71). Может быть, Лакоста был посаженым отцом М. А. Голицына (подобно тому, как другой придворный шут — Балакирев — выступал в роли тысяцкого, см.: «Описание дурацкой свадьбы» — ГПБ, F.XVII.12, л. 351 об.)? Вместе с тем, это был обычный шутовской титул — так, «самоедским королем» был прозван Вимени (†1714), шут Петра I, который, кстати сказать, именовался и «кардиналом»; он также был католиком (Письма и бумаги Петра, V, с. 148 и примеч. на с. 562; Вебер, 1721, с. 20, 29, § 107, 151). По свидетельству Х. Ф. Вебера, «самоедский король» по традиции «всегда занимал должность советника увеселений» при дворе («allemal ein lustiger Rath bekleidet» — Вебер, 1721, с. 339, § 432). Титул «самоедского короля» или «самоедского хана», несомненно, соотносится с Петровским островом в Петербурге, где жили привезенные из Лапландии «самоеды» (т. е. лопари) вместе со своими оленями и куда Петр I приезжал для развлечения (см.: Описание С.-Петербурга, 1860, с. 25–26); надо полагать, что «самоедский король» считался владетелем этого острова.

Как указывает А. Катифор, шут Лакоста был произведен в графы (Катифор, 1772, с. 408–409; ср.: Голиков, 1788–1789, VII, с. 36–37). Кажется, титул графа мог выступать в петровское время как шутовской титул, который в этом случае не переходил по наследству: так, в частности, всешутейший «патриарх» Н. М. Зотов в 1710 г. также получил графское достоинство — он именовался «графом „магнусом на клевании“ (что намекало, видимо, на великую способность клевания носом во время выпивки), однако после смерти Н. М. Зотова, последовавшей в 1717 г., его сыновьям и внукам запрещено было называться графами (Корсакова, 1916, с. 478–480).

[209] Н. Н. Голицын почему-то полагает, что М. А. Голицын выступал в роли самоедского хана, а Буженинова — в роли мордовской ханши (Голицын, 1892, с. 359–360). Это очевидное недоразумение.

[210] Одновременно наименование «Кваснин» или «Квасник» обыгрывало, видимо, фамилию матери М. А. Голицына, которая была из рода Квашниных (Семевский, 1857, с. 565). Это прозвище послужило поводом для очередных издевательств над князем-шутом: однажды, например, императрица сочла нужным вылить квас ему на голову (Долгоруков, 1867–1871, I, с. 383). Прозвище Голицына должно было, видимо, заменить его фамилию; ср. сообщение маркиза де ла Шетарди в письме от 19 февраля / 1 марта 1740 г. о том, что М. А. Голицына после свадьбы в Ледяном доме запрещали называть «иначе, как только по имени, данном при крещении» (Пекарский, 1862а, с. 57), а также свидетельство В. А. Нащокина, по словам которого князь Голицын «тогда имел новую фамилию Квасник» (Нащокин, 1842, с. 64).

Гастрономический характер этого прозвища распространялся, между прочим, на отца М. А. Голицына, князя Алексея Васильевича Голицына: если М. А. Голицына императрица называет «Квасником» или «Квасниным», то отца его она именует соответственно «Кислыщиным». Так, 20 июня 1737 г. Анна Иоанновна писала в Москву С. А. Салтыкову: «Семен Андреевич. При сем прилагается письмо Михаилы Кваснина, которое отдать отцу его, князь Алексею Кислыщину… Отпишите к нам, как он сие письмо примет и что говорить будет» (Кудрявцев, 1878, с. 187). Судя по всему, императрица заставила М. А. Голицына написать своему отцу какое-то шутовское письмо, унизительное как для того, так и для другого.

[211] Ср. в шутовском приветствии Тредиаковского, прочитанном на «дурацкой свадьбе»:

Кваснин дурак и Буженинова блядка
Сошлись любовно, но любовь их гадка.

(Тредиаковский, 1935, с. 171; Голицын, 1880, с. 129;
Успенский и Шишкин, 1997, с. 311 — наст. изд., с. 545)

[212] Об особом отношении к колтунам и к бороде см.: Успенский, 1982, с. 171–175. Наличие бороды приобретает особый смысл после гонений на бороду при Петре I.

[213] Шуба, вывернутая наизнанку (т. е. обращенная мехом наружу), представляет собой обычный компонент ритуалов языческого происхождения, восходящих в конечном счете к культу Велеса-Волоса; в частности, ряженые в вывернутых шубах могли изображать медведя и т. п. Существенно при этом, что вывернутая шуба играет важную роль в свадебных обрядах. См.: Успенский, 1982, с. 101–102, ср. также с. 106, 168.

[214] Старинная гравюра с изображением свадебного поезда во время «дурацкой свадьбы» М. А. Голицына и Е. И. Бужениновой воспроизведена в изд.: Шубинский, 1888, с. 45. Изображение Ледяного дома см. в изд.: Крафт, 1741.

[215] Ледяной дом был построен (в начале января 1740 г.) на Неве между Адмиралтейской крепостью и императорским Зимним домом (стоявшим на том же месте, что и нынешний Зимний дворец); инициатором этого сооружения был камергер Алексей Данилович Татищев (Крафт, 1741, с. 11, 13; Внутренний быт, I, с. 294–295; ср.: Семевский, 1857, с. 558–559; И. Шишкин, 1860, с. 94).

[216] Мотив ледяного дома с ледяными атрибутами встречается в русских заговорах на остуду (призванных охладить любовь человека, от имени которого произносится заговор, отвлечь его от предмета его вожделений). Ср. заговор на остуду, дошедший до нас в записи 1734 г.: «… есть под севером ветром ледяная клетка. И в той ледянной клетки стоит ледянный престол. И на том ледянном престоле седит ледянный муж и пред ним стоят 39 слуг ледянных» (Н. Покровский, 1987, с. 260; ср. также заговор на остуду с упоминанием ледяного острова — Н. Виноградов, I, с. 27, № 32). Нельзя ли предположить, что идея Ледяного дома для «дурацкой свадьбы» кн. М. А. Голицына возникла под влиянием такого рода заговоров, т. е. что Ледяной дом как бы призван был остудить чувство Голицына к жене-католичке, с которой его разлучили? Таким образом, Ледяной дом, сооруженный для князя-шута, возможно, сочетал в себе две противоположные символические функции — символика брачного чертога могла соединяться здесь с символикой колдовской остуды.

[217] От брака М. А. Голицына и Е. И. Бужениновой 24 ноября 1740 г. родился сын, князь Андрей; потомки князя Андрея Михайловича Голицына по мужской линии составляли в дальнейшем старшую ветвь рода Голицыных (Голицын, 1880, с. 132; Голицын, 1892, с. 142, 249; Долгоруков, 1867–1871, I, с. 382).

По некоторым сведениям, у М. А. Голицына и Е. И. Бужениновой был еше один сын — князь Алексей, не оставивший потомства (Шубинский, 1888, с. 51; Долгоруков, I, с. 290). Вероятно, при этом имеется в виду князь Алексей Михайлович Голицын (1749–1751), родившийся уже после смерти Е. И. Бужениновой — от брака М. А. Голицына и А. А. Хвостовой (Голицын, 1892, с. 142, 154, 248).

218 Несчастная судьба М. А. Голицына и его свадьба запомнились XVIII веку. Г. Р. Державин писал в оде «Фелица» о гуманном царствовании Екатерины II, когда

… свадеб шутовских не парят,
В ледовых банях их не жарят,
Не щелкают в усы вельмож,
Князья наседками не клохчут…
(Державин, I, с. 88)

И сама Екатерина, полемизируя с Фонвизиным, говорит от имени вымышленного ею персонажа: «Дедушка замечает, что шуты были и прежде, что он помнит маскарад, бывший при Петре Великом, когда Бахус, сидя на бочке и в сопровождении семидесяти кардиналов переехал через Неву; знает все похождения неусыпаемой обители и может рассказать о свадьбе в ледяном доме и как весна свистела» (Афанасьев, 1860, с. 201). «Неусыпаемая обитель», о которой упоминает здесь Екатерина, — то же, что потешный «беспокойный монастырь» (das unruhige Kloster) в петровских карнавальных церемониях, о котором пишет, в частности, в своем дневнике Берхгольц (II, с. 49; III, с. 26, 142; IV, с. 16, 18). Что же касается упоминания того, «как весна свистела», то это, возможно, прямая цитата из стихотворного приветствия Тредиаковского, прочитанного на шутовской свадьбе: «Свищи весна, свищи красна!» (Тредиаковский, 1935, с. 171; Голицын, 1880, с. 129; Успенский и Шишкин, 1997, с. 311 — наст. изд., с. 545) — эти слова Тредиаковского были обращены к людям, представлявшим «Весну» в свадебном маскараде. «Весну» изображали здесь 12 человек, которые специально для этой цели были привезены из Твери (Соловьев, X, с. 530); по воспоминанию В. А. Нащокина, «поезжане каждой показывал свое веселье, где у котораго народа какие веселья употребляются, в том числе города Твери ямщики оказывали весну разными высвисты по птичью» (Нащокин, 1842, с. 65); ср. в этой связи изображение «Весны» в процессии петровского «Всешутейшего собора» (см. выше, примеч. 199).

Равным образом Щербатов в трактате «О повреждении нравов в России» вспоминал, что Анна Иоанновна «любила шутов и дураков, и были при ней князь Никита Федорович Волконской, Балакирев и князь Михаило Голицын, которые иногда и с бульными есть [sic!] шутками ее веселили. Се высший знак деспотичества, что благороднейших родов люди в толь подлую должность были определены» (Щербатов, II, стлб. 192).

219 «Потешная салла» находилась в манеже герцога Курляндского, т. е. Бирона, где для участников маскарада был устроен обед после того, как свадебный поезд проехал мимо императорского дворца и объехал главные улицы города; именно во время обеда и был сюда доставлен Тредиаковский (И. Шишкин, 1860, с. 99–100). После обеда начался бал, по окончании которого новобрачные были отвезены в Ледяной дом (там же; см. еще: Манштейн, II, с. 74–75; Семевский, 1857, с. 567 сл.).

220 Эти стихи были сочинены Тредиаковским на заданную тему, которая была определена устроителями празднества и письменно изложена в краткой записке. Тредиаковский так говорит об этом в своем рапорте в Академию наук от 10 февраля 1740 г.: «… его превосходительство [А. П. Волынский], не выслушав моея жалобы [на кадета Криницына], начал меня бить сам пред всеми толь немилостиво по обеим щекам, а притом всячески браня, что правое мое ухо оглушил, а левый глаз подбил, что он изволил чинить в три или четыре приема. Сие видя, помянутый господин кадет ободрился и стал притом на меня жаловаться его превосходительству, что я его будто доро́гою бранил и поносил.

Тогда его превосходительство повелел и оному кадету бить меня по обеим же щекам публично. Потом, с час времени спустя, его превосходительство приказал мне спроситься зачем я призван у господина архитектора и полковника Петра Михайловича Еропкина, который мне и дал на письме самую краткую материю, из которой должно мне было сочинить приличные стихи к маскараду» (Мат. АН, IV, с. 307; «Москвитянин», 1845, № 2, с. 44–45). В прошении на высочайшее имя от апреля 1740 г. Тредиаковский заявлял, что он сочинил эти стихи, находясь уже в «несостоянии ума» от побоев: «После тех побой получил я от него, г. Волынскаго, приказ, дабы спросить у г. полковника Еропкина: что мне делать надобно? А оный Еропкин велел сочинить вирши к дурацкой свадьбы [sic!], которыя по тому приказу в самом моем уже несостоянии ума и исполнил, пришел в дом…» (Пекарский, II, с. 78).

Стихи Тредиаковского по списку ИРЛИ (ф. 93, оп. 3, № 1235, л. 1) опубликованы с купюрами в изд.: Тредиаковский, 1935 (с. 171) и затем в изд.: Тредиаковский, 1963 (с. 354–355); по списку ГПБ (F.XVII.12, л. 354) они опубликованы — также с купюрами — в изд.: Голицын, 1880, с. 129, и, наконец, без купюр в изд.: Успенский и Шишкин, 1997, с. 311–312 — наст. изд., с. 544–545. Предшествующие публикации («Москвитянин», 1842, № 3, с. 117; Тредиаковский, I, с. 754) содержат невосстановимые лакуны. Для понимания обсценного смысла этих стихов необходимо иметь в виду, что глагол *пахать* означает ‘futuere’ (ср.: Успенский, 1983–1987/1996, с. 89–90, с. 51–52; Успенский, 1988а, с. 217–218 и с. 269, примеч. 61); *плешницы* — производное от *плешь* ‘penis, vulva’ (Успенский, 1982, с. 105), *волочайки* — ‘потаскушки’ (Даль-Бодуэн, I, стлб. 580; СРНГ, V, с. 69).

221 В публикации М. П. Погодина («Москвитянин», 1842, № 3, с. 117), повторенной затем — с некоторыми исправлениями — в издании А. Ф. Смирдина (Тредиаковский, I, с. 754), стихи Тредиаковского называются не «казанием», а «сказанием»: «Сказание, говоренное Васильем Тредьяковским при дурацкой свадьбе, под изображением Самоядскаго Хана, сына его дурака, именуемаго Кваснина, который женится у ханши Мордовской, на дочери ея, на дурке и**…** именуемой Бужениновой». Мы не знаем, по какому списку здесь публикуются стихи Тредиаковского; по-видимому, переписчик (или издатель?) воспринял слово *казание* как описку и исправил его на *сказание.*

222 Это превращение в шута было ознаменовано, помимо всего прочего, избиением Тредиаковского, которое имело, по-видимому, в какой-то мере ритуальный характер. Необходимо иметь в виду, что шутовские драки были одним из любимых развлечений Анны Иоанновны: шутов заставляли нападать друг на друга, бить друг друга по лицу и т. п.; эти драки нередко доходили до кровавых потасовок (Долгоруков, 1867–1871, I, с. 384; Шубинский, 1888, с. 37; ср. «Дело о Бироне» — Пекарский, 1862а, с. 64–65; см. также выше, примеч. 197). Показательно в этой связи, что Волынский бьет Тредиаковского «по обеим… щекам публично», а затем то же делает по распоряжению Волынского и кадет Криницын (см. выше, примеч. 220): избиение превращается для окружающих в буффонаду. Тредиаковского бьют 4 февраля на Слоновом дворе, «где маскарад обучался» (куда его привез кадет Криницын), затем 5 февраля — сначала во дворце Бирона (куда Тредиаковский явился с жалобой и где его встретил Волынский) и потом в Маскарадной комиссии (где Тредиаковский находился под караулом с 5 по 7 февраля) — и, наконец, 7 февраля уже по завершении всего действа в доме Волынского (когда Волынский, как сообщает Тредиаковский, «объявил… мне, что разстаться со мною хочет еще побивши меня», после чего велел «по отдании уже шпаги, кланяться себе в землю»; см. рапорт Тредиаковского в Академию наук от 10 февраля и его доношение на высочайшее

имя от апреля 1740 г. (Пекарский, II, с. 78–79; «Москвитянин», 1845, № 2, с. 45–46; Мат. АН, IV, с. 307–308). Не случайно в «Оде Тресотину», сочиненной в связи с ломоносовским «Гимном бороде» (1757), — «Ода Тресотину» также приписывается иногда Ломоносову, причем под именем *Тресотин* здесь выведен Тредиаковский (ср.: Успенский, 1984/1996, с. 358–359, 391, примеч. 29 — наст. изд., с. 469–470, 494), — Тредиаковский изображен как шут, которого для потехи избивают другие шуты, Педрилло и Балакирев:

Ну ж хватай
Поскоряй!
Не теряй минуты!
Тешся так,
Как и сам,
В пляску, в валку, в жгуты!
Как Петрил тебя катал
И Балакирев гонял.
Все ревут тебе: «Кураж,
Тресотин, угодник наш!»

(Ломоносов, VIII, с. 829)

Можно предположить, что в основу этой картины легло избиение Тредиаковского, учиненное Волынским.

223 Будучи астраханским губернатором, Волынский покровительствовал капуцинам. Л. Н. Майков и вслед за ним А. В. Флоровский высказывали предположение, что Волынский не только был хорошо осведомлен о деятельности капуцинов, но и причастен к определению молодого Тредиаковского к ним в учение (Л. Майков, 1897, с. 5; Флоровский, 1962, с. 333). Тредиаковский, однако, поступил на учение к капуцинам до того, как Волынский стал губернатором (см. § **1** наст. работы).

224 Некоторые исследователи предполагают, что Тредиаковский стал жертвой антагонизма между А. Б. Куракиным и А. П. Волынским и что Волынский будто бы мстил за какую-то сатирическую песню, сочиненную Тредиаковским и направленную против Волынского (Соловьев, X, с. 533; Корсаков, 1891, с. 317, 319). Кажется не слишком вероятным, чтобы Тредиаковский осмелился публично выступить против кабинет-министра. Во всяком случае, басня Тредиаковского «Самохвал», которую цитирует по этому поводу Соловьев, не имеет к Волынскому никакого отношения.

225 Этому восприятию в большой степени способствовали сумароковские комедии «Тресотиниус» и «Чудовищи», которые были сыграны в придворном театре в 1750 г. в присутствии будущей императрицы Екатерины II. См.: Гринберг и Успенский, 1992/2001, с. 59–60 — наст. изд., с. 261.

226 См., например, приписываемую Ломоносову «Оду Тресотину», которую мы цитировали выше (в примеч. 222) и где Тредиаковский, наряду с Педрилло и Балакиревым, выведен именно как придворный шут.

227 Ср. проницательное замечание Л. Н. Майкова: «По нашему мнению, до сих пор всего менее разъясненными остаются Lehr- und Wanderjahre Тредиаковского, а между тем именно эти годы оказали, как нам думается, самое решительное влияние на всю его дальнейшую судьбу» (Л. Майков, 1897, с. 3).

ПРИЛОЖЕНИЕ

I

И. Г. Головкин — А. Б. Куракину. Гаага, 7 ноября 1727

Из Гаги 7го ноября. 1727.

Государь мой Князь Александр Барисовичь, вашей светлости высокопочтенное писание от 30 октября я получил, за которое, такоже и за учиненное мне сообщение по премногу Вам Государю моему благодарствую.

Бывшей при мне росийской студент Василей Тред[ь]яковский, желая науки свои совершить, отправился отсюда в Париж, и понеже он человек небогатой и требует протекции, того ради приемлю смелость вашу светлость просить, дабы изволили явить к нему свою милость. За что я в подобных случая взаимныя мои услуги отдавать не премину, пребывая в протчем с надлежащим почтением

Вашей светлости
Покорный и послушный
Слуга Иван Головкин

(ГИМ ОПИ, ф. 3, оп. с., № 94, л. 21–21об.)

II

Л.-Ф. Бурсье — А. Б. Куракину. Париж, 30 августа 1728 г.

Monseigneur

quelques voiages que j'ai été obligé de faire a la campagne ont empêché monsieur Treodiafoski [sic!] de me remettre sitot le present magnifiques, que Votre Altesse m'a fait l'honneur de m'envoier pour la Bibliotheque de Sorbonne. Plus je suis touché d'une telle liberalité, plus j'ai de regret que ce dérangement ait retardé les temoignages de ma vive reconnoissance. Ce present a été reçu par toute la maison avec des sentimens que je voudrois pouvoir vous exprimer. Aiant aussy peu de livres que nous en avons en langue sclavone, rien ne pouvoit faire plus de plaisir que d'avoir une Bible de la meilleure edition en cette langue, et les ouvrages d'un pere aussy respectable que l'est S^{t}. Gregoire de Nazianze avec quelgues livres de S. Athanase, de S. Basile et de S. Jean de Damas. Ce seront des monumens qui annonceront a perpetuité le bon gout et la generositè du prince de qui nous les tenons. La maison a fait une deliberation pour vous en rendre Monseigneur de tres humbles actions de grace, et elle a chargé M^{r} le Bibliothequaire d'avoir l'honneur de vous en ecrire au nom de la compagnie. Mais je ne puis ceder a personne l'avantage de vous temoigner en particulier Monseigneur, combien je suis sensible aux marques de bonté que je reçois d'un Prince qui est né pour les plus grandes choses, qui a des talens si superieurs, et de qui l'on peut tout esperer pour le bien de la Religion.

J'ai l'honneur d'etre avec un tres profond respect

Monseigneur
de votre altesse
le tres humble et tres obeissant serviteur
Boursier

En Sorbone le 30. aout 1728

Mr l'abbe de Franciere qui a eu l'honneur de vous recevoir chez lui, prend la liberté de vous presenter ses tres humbles respects.

(ГИМ ОПИ, ф. 3, оп. с., № 40, л. 5–6 об.)

III

Л.-Ф. Бурсье — А. Б. Куракину. Париж, 30 августа 1728 г.

Lettre
à
Monsieur L'Abbé de Boursier, Prêtre et Docteur de La Maison et Societé de Sorbonne.

A Danzig le 5. de Novembre 1728

Monsieur

Il est trop glorieux pour moi, que Vôtre Illustre Compagnie soit sensible aux Livres qui leur ont été presentés de ma part, pour en exiger d'autres reconnoissen[ces] que celle qui est düe a mes bonnes intentions, le seul bien qu'on ait à offrir à des Genies si superieurs; agree, Monsieur, que je m'y borne, et qu'en exitant Vôtre Cenerosité sur mon sujet, je Vous engage de répondre pour moi comme Vous faites pour eux, de tous les sentimens que j'ai de consideration pour des hommes qui aprennent aux autres de se connoître: c'est l'Avantage [sic!], Monsieur, que j'acquerrai de Leurs Lumieres, qui me rendent autant peur qu'elle me font ambitioner l'honneur de Vous voir de près, ou de meriter de Loin La consideration que Vous me marquez avoir pour moi. Vous ne sçauriez, Monsieur, m'en assûrer assez souvent et me donner les Occasions qui Vous affirment que j'ai l'honneur d'être

Monsieur

Vôtre très humble et tres obeissant serviteur
Alexandre Prince Kourakin

P.S.

Agrée que je vous suplie de faire mes Complimens à Mr. L'Abbé Franciere, et je le remersie de l'honneur de son Souvenir. Le Sr. Tretyakowsky, en qui je m'interesse, doit se conformer aveuglement aux ordres que vous lui donnerez de toute façon; seul moÿen de me plaire; je Vous suplie de l'en honnorer.

(ГИМ ОПИ, ф. 3, оп. с., № 73, л. 68)

IV

Тредиаковский — С. Д. Голицыну. Гамбург, 3/14 июля 1730 г.

Светлейший князь

Письмо Вашея Светлости к Господину Брюгие мне чрез негож самово сообщено. Того ради я возприемлю смелость сим Вашей Светлости донесть следующее. Господин Брюгие в великом затруднении ныне находится, потому что Его Светлость Князь Александр Борисович Куракин писал к нему, чтоб отправить весь его багаж обретающейся здесь в С.питербурх, а денег на заплату помянутому господину Брюгие не прислал. Я

мог из слов онаго Господина Брюгие выразуметь, что он не думает тот багаж отсюду отправить пока денги ему все заплачены не будут, что может долго продлиться, и тем убыточную остановку учинить, понеже время хорошое почитай нечювствително проходит к отправлению онаго багажу. С другой стороны, Светлейший Князь, как Господин Брюгие, так и я не знаем, что нам надлежит чинить ныне: ибо его Светлость Князь Александр Борисовичь в письме своем к Господину Брюгие пишет, чтоб оной багаж отправить весь в С.питербурх, а в моем изволил мне дать указ чтоб с ним со всем же ехать в Ригу, кроме кареты толко одной, которую надлежить послать в С.питербурх. Что же касается до двух ящиках [sic!] с серебром, оныя и по се время обретаются у Господина Рецани, для того что надлежало за них платить несколко Господину Рецани, чего Господин Брюгие не захотел учинить отговариваяся что его Светлость Князь Александр Борисовичь писал к нему толко чтоб их принять, а не писал чтоб за них платить; а помянутой Рецани без заплаты их не отдал. О чем я к Его Светлости Князю Александру Борисовичю писал уже тому недель с шесть.

Всепокорнейше прошу Вашу Светлость извинить мне мою дерзость, в том что я утрудил Вашу Светлость сим писмом. Ибо я должности моей быть нашол чтоб о всем Вашей Светлости предложить тем наипаче, что Господин Брюгие, как мне он сказал, не хотел сам Вашей Светлости ответствовать, чего ради? не знаю.

В протчем, Светлейший Князь, засвидетелствуя Вашей Светлости глубочайшее мое почтение, смею об’явить, что я не желал никогда иметь вящшей себе в свете чести, как найти случай назваться

Светлейший Князь
Вашея Светлости
всенижайший, всепокорнейший, и всепослушнейший слуга
Василей Тред[ь]яковский.

Из Гамбурга 3/14 июля 1730.

[Внизу первого листа]
Его Светлости Князь Сергию Дмитреевичу Галицыну

(ГИМ ОПИ, ф. 3, оп. с., № 40, л. 287–288 об.)

V

В. К. Тредиаковский — А. А. Вешнякову. Санкт-Петербург, 6 мая 1732 г.

Monsieur

Vous m’avez prevenû dans une Prierre, que j’avois dessein de vous faire. Et peut être n’y auroit il pas longtems, que j’aurois pris la Liberté de vous adresser ces lignes si j’avois scû, par quel Canal il falloit faire mes devoirs envers vous. Aussi, Monsieur, je vous supplie de n’avoir plus cette mauvaise opinion de moy, que de croire, que je vous ai oublié. Cette injustice fait Prejudice à mes bonnes intentions, que j’ai, et que j’aurai toute ma vie: vos Bontés, dont je suis comblés excitent toujours ces sentimens en moy.

Suivant vos ordres, j’ai procuré à Vôtre Domestique quelques Pieces nouvellement imprimée dans l’academie des sciences, où je suis en qualité d’Associé; et il reste encore bien des choses qu’il est bon d’acheter, Comme par example Toutes les Remarques sur differentes ma-

tieres, que l'on compose ordinairement chéz nous, Traité touchant la Geometrie, et la Fortification en Russien; Maniere d'enseigner Pierre II de sa pieuse memoire. Mais les Pieces, qui sont faites par moy, vous seront envoyées immanquablement, pour vû que J'aye vos ordres. Ces Pieces, dont il y a, qui sont imprimées, et il y en a, qui ne le sont pas encore, consistent en Elegies, Epigrammes, et en d'autres choses Poëtique. Il y a un Panegyrique, que j'ai composé par ordre de sa maj.[te] Imp.[le] a Elle-même, qui est en Prose, mail a la fin il contient une Ode avec des Eloges a Sa Majesté, et un grand Rondeau pour son altesse serenissime Madame la Duchesse de Meklenbourg en vers. A present, Monsieur, je travaille a un très grand ouvrage, dont, je me flatte, la Russie, si elle est sage, sera contente[1]; outre que je traduis Lés Memoires d'Artillerie de St. Remy.

Aggréez, Monsieur, Le SONET, que Vous voyéz, et qui est le Premier en notre Langue. Il est traduit de ce sonet Français qui commence par: *GRAND DIEU! que tes jugemens sont remplis d'equité* et qui fait tant de bruit en France. Mon Russien est imprimé dans les Remarques; mais si je puis obtenir quelque approbation de vous, comme d'une Personne, qui s'y Connoit, alors je le trouverai beau.

Au reste, je vous prie très humblement d'avoir la Bonté de me permettre, que je vous entretiens de temps en temps par mes lettres; par ce moyen je reparerai en quelque façon la Perte, que je fais en vôtre absence; et trouvéz pour agreable, que je vous dise souvent, que je suis avec respect, Monsieur, Votre très humble, très obeissant et très reconnoissant serviteur,

à S:[t] Petersbourg
Le 6, May, 1732 B:Trediakoffski
V:S:

На письме помета рукой Вешнякова:
De M[r] Trediakowski de St Peters Bourg du 6 May 1732
reçu a Buyukdere le 13 Juine – " –
repondu le 22 Juillet – " –

(МИД АВПР, ф. Константинопольская миссия, д. 39, л. 267–268, автограф)

[1] Видимо, речь идет о работе над «Новым и кратким способом к сложению Российских стихов».

СТАТЬИ

К истории одной эпиграммы Тредиаковского (эпизод языковой полемики середины XVIII века)

Памяти Герты Хютль-Фольтер

1. Эпиграмма Тредиаковского «Не знаю, кто певцов в стих вкинул сумасбродный…» — впервые обнародованная Афанасьевым (1859а, стлб. 518–520) по рукописи так называемого Казанского сборника[1], перепечатанная затем Сухомлиновым (II, примеч., с. 138–139) и, наконец, опубликованная в изд. «Поэты XVIII века» (II, с. 392–393) по той же рукописи с исправлениями по списку Г.-Ф. Миллера[2] — датируется обычно либо 1753 годом (Ломоносов, VIII, с. 1025; Поэты XVIII в., II, с. 393), либо 1755 годом (Пекарский, 1865, с. 101; Пекарский, II, с. 179; Сухомлинов, II, примеч., с. 138–139). Основания для той и другой датировки будут рассмотрены ниже, тогда же будет предложена и более точная дата; пока нам достаточно констатировать, что эпиграмма эта написана, во всяком случае, в первой половине 1750-х гг.

Рассматриваемое сочинение с полным основанием может считаться программным произведением, мимо которого не может пройти историк русского литературного языка XVIII в. В самом деле, здесь в полемической форме изложена языковая программа Тредиаковского во второй период его творчества. Если в молодости Тредиаковский ориентируется на западноевропейскую языковую ситуацию, стремясь перенести ее на русскую почву, — иначе говоря, он стремится организовать русский литературный язык по подобию литературных языков Западной Европы, ориентировать его на разговорную речь и таким образом создать здесь литературный язык того же типа, что западноевропейские литературные языки, — то во второй период творчества (со второй половины 1740-х гг.) он, напротив, исходит из признания специфики языковой ситуации в России по сравнению с ситуацией во Франции или Германии и провозглашает необходимость дистанции между литературным и разговорным языком, как это имело место и ранее — в условиях церковнославянско-русской диглоссии, когда литературным языком был язык церковнославянский (см.: Успенский, 1985, с. 70 сл. — наст. изд., с. 80 сл.; относительно диглоссии на Руси см. вообще: Успенский, 1983/1994; Успенский, 1987/2002). Подобно церковнославянскому («славенскому») языку, русский литературный язык («славенороссийский») понимается теперь Тредиаковским как язык книжный, письменный по преимуществу, который в принципе не может использоваться в качестве средства разговорного общения. Можно сказать, что Тредиаковский на этом этапе стремится воссоздать ситуацию ди-

глоссии в специальных рамках гражданского языка: русский литературный язык мыслится, в сущности, как гражданский вариант церковнославянского, приспособленный к расширяющимся потребностям литературного развития. Отсюда определяется отношение как к церковнославянской языковой традиции, так и к разговорной речевой стихии. Если молодой Тредиаковский демонстративно отказывается от «глубокословныя славенщизны» и призывает ориентироваться на разговорную речь (предисловие к «Езде в остров Любви» 1730 г. — Тредиаковский, 1730, предисл., с. [3]; Тредиаковский, III, с. 649), то позиция зрелого Тредиаковского диаметрально противоположна: «гражданский» литературный язык должен отталкиваться от разговорного («самого общего») и ориентироваться на церковнославянский; церковнославянский, соответственно, провозглашается «мерой чистоты» русской речи (см. ниже). Опора на церковнославянскую литературно-языковую традицию и определяет, по мысли Тредиаковского, специфику русской языковой ситуации по сравнению с западноевропейской: в отличие от французского и немецкого языков, «не имеющих кроме гражданскаго употребления», русский литературный язык имеет специальную книжную (литературную) языковую традицию, противопоставленную разговорной; отсюда «скудость и теснота Французская» противопоставляется «богатству и пространству Славенороссийскому» (предисловие к «Тилемахиде» 1766 г. — Тредиаковский, 1766, с. LX, примеч., и с. LI; Тредиаковский, II, 1, с. LXXIV, примеч., и с. LXIII). Нетрудно заметить, что эта позиция очень близка к позиции Ломоносова, который также подчеркивает значение церковнославянской языковой традиции для создания русского литературного языка и, соответственно, специфику русской языковой ситуации: «… Преимуществует Российский язык перед многими нынешними Европейскими, пользуясь языком Славенским из книг церьковных» (рассуждение «О пользе книг церьковных в Российском языке» 1758 г., ср. также § 116 ломоносовской «Российской грамматики» 1757 г. — Сухомлинов, IV, с. 227 и 53; Ломоносов, VII, с. 589 и 431). Позиция Ломоносова сложилась, может быть, не без влияния Тредиаковского; во всяком случае Тредиаковскому, несомненно, принадлежит приоритет в этом отношении[3].

Именно эта языковая программа и сформулирована Тредиаковским в рассматриваемой эпиграмме, причем впервые она находит столь ясное, последовательное и декларативное выражение. Тредиаковский призывает здесь писателей «вникнуть в язык славенский наш степенный» и читать «святые книги»:

Славенский наш язык есть правило неложно,
Как книги нам писать, и чище коль возможно,
В гражданском и доднесь, однак не в площадном,
Славенском по всему составу в нас одном.
Кто ближе подойдет к сему в словах избранных,
Тот и любее всем писец есть, и не в странных.
У немцев то не так, ни у французов тож:
Им нравен тот язык, кой с общим самым схож.
Но нашей чистоте вся мера есть славенский,
Не щогольков, нижé и грубый деревенский.

Итак, «гражданский, но не площадной», т. е. русский литературный язык, совпадает в своем составе с «славенским», т. е. церковнославянским языком, поэтому «кто ближе подойдет к сему в словах избранных, тот и любее всем писец есть»[4]; одновременно Тредиаковский предупреждает против употребления «странных», т. е. заимствованных слов, причем противопоставление славянизмов и заимствований (европеизмов) осмысляется, видимо, в плане оппозиции книжного и разговорного начала: славянизмы относятся к книжной языковой стихии, а европеизмы — к разговорной (ср.: Лотман и Успенский, 1975/1996, с. 487). Тредиаковский иллюстрирует свою мысль, приводя примеры этих «избранных слов» в литературном языке, которые предполагают ориентацию на церковнославянский и отталкивание от русского разговорного языка. Он рекомендует своему литературному противнику:

Пусть вникнет он в язык славенский наш степенный,
Престанет злобно врать и глупством быть надменный:
Увидит, что там *злой* кончится нежно *злый*
И что *чермной мигун* — *мигатель* там *чермный*,
Увидит, что там *коль* не за *когда*, но только
Кладется, как и долг, в количестве за *сколько*.
Не *голос* чтется там, но сладостнейший *глас*;
Читают *око* все, хоть говорят все ж *глаз*;
Не *лоб* там, но *чело*, не *щеки*, но *ланиты*,
Не *губы* и не *рот* — *уста* там багряниты;
Не *нынь* там и не *вал*, но *ныне* и *волна*.
Священна книга вся сих нежностей полна.
Но где ему то знать? он только что зевает,
Святых он книг отнюдь, как видно, не читает…[5]

Провозглашая свою языковую программу, Тредиаковский одновременно столь же ясно формулирует и программу своего оппонента — того, на кого направлена данная эпиграмма, — причем оказывается, что программа эта совпадает с программой самого Тредиаковского в первый период творчества. Таким образом, этот оппонент является, в сущности, последователем молодого Тредиаковского, он фактически стоит на позициях, сформулированных Тредиаковским в его программных выступлениях 1730-х гг.; полемика Тредиаковского оказывается — под известным углом зрения — полемикой с самим собой. В самом деле, оппонент Тредиаковского характеризуется как сторонник ориентации на разговорное («площадное») употребление. Подобно молодому Тредиаковскому, он призывает писать, как говорят, т. е. стремится привести русский литературный язык в то же отношение к разговорной речи, какое имеет место во Франции или Германии, построить его по западноевропейской модели:

За образец ему в письме пирожной ряд,
На площади берет прегнусной свой наряд,
Не зная, что у нас писать в свет есть иное,
А просто говорить по-дружески — другое.

. . . .
У немцев то не так, ни у французов тож:
Им нравен тот язык, кой с общим самым схож.
Но нашей чистоте вся мера есть славенский,
Не щогольков, нижé и грубый деревенский.

Ср. также:

Он красотой зовет, что есть языку вред:
Или ямщичей вздор, или мужицкий бред.
Пусть вникнет он в язык славенский наш степенный…

Соответственно, этот оппонент Тредиаковского предстает как противник славянизмов:

Ты ж, ядовитый *змий*, или как любишь — *змей*,
Когда меня язвить престанешь ты, злодей!

На кого же направлена эпиграмма Тредиаковского? Вопрос этот по ряду причин представляется небезынтересным.

2. Обстоятельства появления эпиграммы Тредиаковского, вообще говоря, более или менее очевидны. Она является ответом на сатиру Ломоносова «Искусные певцы всегда в напевах тщатся …» (см. изд.: Сухомлинов, II, с. 132; Ломоносов, VIII, с. 542), датируемую 4–11 ноября 1753 г. (см.: Ломоносов, VIII, с. 1024; Летопись, 1961, с. 225), поводом для написания которой послужили, в свою очередь, предложения Тредиаковского о правописании прилагательных в именительном падеже множественного числа.

Как известно, Тредиаковский в 1746 г. предложил славянизированное правописание, согласно которому прилагательные в мужском роде оканчиваются на *-и*, в женском на *-е*, в среднем на *-я* (см.: Вомперский, 1968; Сухомлинов, IV, примеч., с. 3–26). Это славянизированное правописание прилагательных противостояло правописанию, установленному в Академической типографии в 1733 г. и в какой-то мере опирающемуся на традицию приказного языка, которое предписывало окончание *-е* в мужском роде, *-я* в женском и среднем. Соответствующие правила написания прилагательных были, возможно, введены в Академической типографии Адодуровым, в то время единомышленником Тредиаковского (ср.: Успенский, 1974/1997 — наст. изд., с. 509–527; Успенский, 1975, с. 64–71); во всяком случае Адодуров регламентирует именно такое правописание в своей грамматике 1738–1740 гг. (Успенский, 1975, с. 31–34)[6]. Тем самым, эти противопоставленные друг другу системы орфографии отражают языковые установки, соответствующие разным этапам эволюции взглядов Тредиаковского на литературный язык[7].

По поручению Академии наук Ломоносов тогда же (в 1746 г.) написал возражения на предложение Тредиаковского, в которых, между прочим, ссылался на то, что предлагаемое Тредиаковским правописание приводит к какофонии: «… Помянутое окончение на *и* не мало воспящает употреблять Какофония, то

есть звон слуху противной, от стечения гласных подобное произношение имеющих; ибо легче выговорить и приятнее слышать: *истинные свидѣтели*, нежели *истинныи свидѣтели*» (Пекарский, 1865, с. 118; Сухомлинов, IV, с. 3; Ломоносов, VII, с. 86)[8]. К этому вопросу — и той же аргументации — Ломоносов возвратится позднее в своей грамматике 1757 г. (в § 119): «Чтож до слуху надлежит, в том уверяют музыканты [в немецком переводе грамматики 1764 г. — *die Sänger* ʽпевцы’], которые в протяжных распевах не даром букву *и* обходят, не протягивая на ней долгих выходок, но выбирая к тому *а* или *е*. Сверьх того свóйство нашего Российскаго языка убегает от скучной буквы *и*, которая от окончания неопределенных глаголов и от втораго лицá единственнаго числá давно отставлена, и вместо *писати*, *пишеши*, *напишеши*, употребляем, *писать*, *пишешь*, *напишешь*. Также и во множественном числе многих существительных вместо *и* выговаривают и пишут *а*: *облакá*, *островá*, *лугá*, *лѣсá*, *берегá*, *колоколá*, *бокá*, *рогá*, *глазá*, вместо *облаки*, *островы*, *луги*, *лѣсы*, *береги*, *боки*, и протч. … Не должно в Российской язык вводить несвойственных безобразий, каковыя в *истинныи извѣстiи*, и во многих подобных не без отвращения чувствительны» (Сухомлинов, IV, с. 55–56; Ломоносов, VII, с. 432–433)[9]. В последней фразе, как видим, — прямая полемика с Тредиаковским[10]. То же самое говорит Ломоносов и в своей эпиграмме 1753 г., написанной в период работы над «Российской грамматикой» и отражающей процесс этой работы; эпиграмма Ломоносова датируется началом ноября 1753 г. (см.: Ломоносов, VIII, с. 1024). Ломоносов и в этом случае ссылается на требования благозвучия, причем здесь фигурируют те же примеры, что и в цитированном параграфе грамматики. Вот это стихотворение Ломоносова:

Искусные певцы всегда в напевах тщатся,
Дабы на букве *а* всех доле остояться;
На *е*, на *о* притом умеренность иметь;
Чрез *у* и через *и* с поспешностью лететь:
Чтоб оным нежному была приятность слуху,
А сими не принесть несносной скуки уху.
Великая Москва в язы́ке толь нежна,
Что *а* произносить за *о* велит она.
В музыке что распев, то над словами сила;
Природа нас блюсти закон сей научила.
Без силы *бéреги*, но с силой *берегá*
И *снѣги* без нея мы говорим *снѣгá*.
Довольно кажут нам толь ясныя доводы,
Что ищет наш язык везде от *и* свободы.
Или уж стало *иль*; *коли* уж стало *коль*;
Изволи ныне все везде твердят *изволь*.
За *спиши спишь*, и *спать* мы говорим за *спати*.
На что же, Трисотин, к нам тянешь *и* не к’стати?
Напрасно злобной сей ты предприял совет,
Чтоб л’стя тебе когда Российской принял свет

Свиныи визги вси и дикiи и злыи
И истинныи ти, и лживы и кривыи.
Языка нашего небесна красота
Не будет никогда попранна от скота.
От яду твоего он сам себя избавит,
И вред сей выплюнув, поверь, тебя заставит
Скончать твой скверной визг стенанием совы,
Негодным в руской стих и пропастным *увы*!

(Сухомлинов, II, с. 132; Ломоносов, VIII, с. 542)[11]

Эпиграмма Ломоносова больно задела Тредиаковского, и он откликнулся на нее как рассматриваемыми стихами («Не знаю, кто певцов в стих вкинул сумасбродный…»)[12], так и новым трактатом о правописании прилагательных, в котором упоминаются некие авторы, «Эпиграмками играющии» и «безъимянная ПѢса [т. е. пьеса], начинающаяся искусными певцами» (Пекарский, 1865, с. 105, 116). Трактат Тредиаковского обнаруживает разительное сходство с его стихами: в сущности, оба произведения говорят об одном и том же — в разной форме. Ср.: «Ведомо, что во-французском язы́ке, дружеский разговор есть пра́вило красным сочинениям [т. е. изящной словесности] (de la conversation a la tribune), для того что у них нет другаго. Но у нас дружеский разговор есть употребление простонародное; а краснейшее сочинение есть иное изряднейшее употребление, отменное от простаго разговора, и подобное больше книжному Славенскому, о котором-можно-пра́ведно сказать, что-оно-есть-ва́жное, приятное, дельное, сильное, философическое, приличествующее больше высоким наукам, нежели нежным, для того что Славенский язык есть мужественный. Никто не пишет ни письма́ о домашнем деле, чтоб он не тщался его написать отменнее от простаго разговора: так что сие всеобщим у нас правилом названо быть может, что „кто-ближе подходит писанием гражданским к Славенскому язы́ку, или, кто-бо́льше славенских обыкновенных и всех ведомых слов употребляет, тот у нас и не подло пишет, и есть лучший писец“. Не дружеский разговор (la conversation) у нас пра́вилом писания; но книжный церьковный язык (la tribune), который-ра́вно в духовном обществе есть живущим, как-и-бесе́дный в гражданстве. Великое наше счастие в сем, пред многими Европейскими народами!» (Пекарский, 1865, с. 109)[13].

Трактат Тредиаковского был написан, по-видимому, в январе 1755 г. или во всяком случае не позднее этого времени; 1 февраля 1755 г. Тредиаковский читал свое «рассуждение о правописании прилагательных в именительном падеже множественного числа» на очередном заседании Конференции Академии наук (Прот. АН, II, с. 322)[14]. Что же касается эпиграммы Тредиаковского, то она, по-видимому, написана несколько раньше трактата о правописании. В самом деле, если в трактате 1755 г. Тредиаковский считает неуместным выражение *небесна красота* в применении к языку (Пекарский, 1865, с. 106), то в своей эпиграмме он и сам употребляет это выражение, не находя, по-видимому, в нем ничего предосудительного:

В небесной красоте — не твоего лишь зыка,
Нелепостей где тьма, — российского языка,
Когда, по-твоему, сова и скот уж я,
То сам ты нетопырь и подлинно свинья!

Итак, эпиграмма Тредиаковского была создана не ранее конца 1753 г. (когда было написано спровоцировавшее ее стихотворение Ломоносова) и не позднее начала 1755 г. (когда был написан трактат Тредиаковского). Поскольку эта эпиграмма обнаруживает явное сходство с трактатом 1755 г., следует думать, что оба произведения относительно близки по времени написания. По-видимому, стихи Ломоносова, посланные И. И. Шувалову между 4 и 11 ноября 1753 г., сразу же по их сочинении (еще в черновом виде, см.: Ломоносов, VIII, с. 1016, 1024), стали известны Тредиаковскому не сразу, и он написал свой ответ незадолго перед трактатом 1755 г. Таким образом, нашу эпиграмму можно смело датировать 1754 годом и с большой вероятностью — второй половиной этого года[15].

3. Так кому же посвящена рассматриваемая эпиграмма Тредиаковского? Ответ на этот вопрос кажется очевидным: после обнаружения ломоносовского автографа стихотворения «Искусные певцы…» (см.: Модзалевский, 1937, с. 83), т. е. после того, как было установлено авторство Ломоносова, почти ни у кого не возникало сомнения в том, что объектом сатирических нападок Тредиаковского является Ломоносов (см., например: Пекарский, II, с. 178; Сухомлинов, II, примеч., с. 136–139; Ломоносов, VIII, с. 1025; Поэты XVIII в., II, с. 534; исключение составляет только проницательное замечание Гуковского, 1962, с. 99). Однако то, что Тредиаковский говорит о языковой позиции своего литературного противника, совершенно не соответствует взглядам Ломоносова на литературный язык. Ломоносов ни в коей мере не может — по крайней мере в рассматриваемый период — считаться сторонником ориентации на разговорное употребление. Напротив, как мы уже отмечали, его позиция обнаруживает в этот период определенное сходство с позицией Тредиаковского (другое дело, что сходные взгляды могут на практике приводить к существенно различным результатам у того и у другого автора, т. е. реализоваться неодинаковым образом). Тредиаковскому, казалось бы, нет необходимости обращать внимание Ломоносова на специфику русской языковой ситуации и полемически заостренно подчеркивать значение церковнославянской языковой стихии для русского литературного языка: как раз в этих вопросах Ломоносов является его единомышленником.

Правда, некоторые места в стихотворении Ломоносова могут создать впечатление, что автор является сторонником ориентации на разговорную языковую стихию:

Или уж стало *иль*; *коли* уж стало *коль*;
Изволи ныне все везде твердят *изволь*.
За *спиши спишь*, и *спать* мы говорим за *спати*.

Но Ломоносов, в сущности, говорит здесь о другом, а именно, о глубинных законах благозвучия, проявляющихся, в частности, и в эволюции русского языка; то

же имеет он в виду и тогда, когда говорит о «нежности» московского аканья (см. выше, § **2** наст. работы). Подход Ломоносова, вообще говоря, и в этом случае близок Тредиаковскому, который также пытается опираться в своей нормализаторской деятельности на панхронические закономерности употребления, отвечающие природе данного языка на всех этапах его развития[16]. Тем не менее, цитированные высказывания были восприняты Тредиаковским именно как призыв к коллоквизации литературного языка, и, соответственно, в трактате о прилагательных 1755 г. упоминаются «некоторые народные и стихотворческие вольности, каковы суть сии: *иль*, вместо *или*; *спать*, вместо *спати*» (Пекарский, 1865, с. 106)[17]; такую же интерпретацию получает здесь и *коль* вместо *коли* (там же, с. 109). Совершенно так же и в эпиграмме Тредиаковский подчеркивает, что в «славенском степенном» языке — а следовательно, и в русском, поскольку он ориентируется на «славенский», — *коль* означает не ʽкогда’, но ʽсколько’.

Указанное восприятие обусловлено тем, что Тредиаковский отвечает не Ломоносову, а другому своему литературному противнику[18].

Хотя Тредиаковский и начинает свою эпиграмму с признания, что он не знает, кто является автором стихотворения «Искусные певцы…»: «Не знаю, кто певцов в стих вкинул сумасбродный…», есть все основания думать, что у него не было на этот счет никаких сомнений. Он, безусловно, догадывался о том, кто автор этой сатиры, однако догадки его были неверны: не подозревая об авторстве Ломоносова, он приписал это произведение Сумарокову.

В тексте эпиграммы есть совершенно ясные указания на этот счет — почти настолько же ясные, как если бы Сумароков был прямо назван по имени. Об этом со всей определенностью говорят намеки на рыжизну литературного противника Тредиаковского и на его привычку моргать (мигать). «Мне рыжу тварь никак в добро не пременить», — жалуется Тредиаковский, язвительно указывая вместе с тем, что русскому *чермной мигун* соответствует церковнославянское *мигатель чермный*; оба выражения в одинаковой степени рисуют нам облик Сумарокова. Сумароков был рыж и подслеповат, что проявлялось в частом моргании[19], причем и то и другое свойство постоянно обыгрывается в направленной против него сатирической литературе — обыгрывается настолько регулярно, последовательно и навязчиво, что упоминание рыжизны или моргания (мигания) становится своего рода литературным штампом, позволяющим сразу и безошибочно узнать, кто является мишенью сатирических нападок; рыжизна и моргание выступают, таким образом, как своеобразные сигналы при сатирических зашифровках — фактически на правах имени собственного, поскольку прямое наименование в эпиграммах противоречило принятым нормам поведения[20].

Примеры подобного обыгрывания не трудно найти как у Тредиаковского, так и у других авторов. Так, Тредиаковский в другой эпиграмме, обращенной против Сумарокова («Надпись на Сумарокова»), говорит о последнем:

Кто рыж, плешив, мигун, заика и картав,
Не может быти в том никак хороший нрав!
(Афанасьев, 1859a, с. 519, примеч.)[21]

На моргание и рыжизну Сумарокова Тредиаковский намекает и в «Письме от приятеля к приятелю» (1750): «… Не дивлюсь, что поступка нашего Автора безмерно сходствует с цветом его волосов, с движением очей, с обращением языка, и с биением се́рдца»[22]; «… Еще больше трепетало мое сердце с стыда, пото́м с негодования, напоследок с сожаления…, нежели Авторовы моргали очи с радости, и с внутренняго самолюбнаго удовольствия»; «… Слово *миг*, есть подлое, и следовательно, не одическое. Вместо его высоким стилем говорится *мгновение ока*. Может статься, что слово *миг*, Автор предпочитает *мгновению* по привычке своих очей» (Куник, 1865, с. 443, 439, 459).

Наконец, выпад против Сумарокова мы находим и в «Феоптии» Тредиаковского (1754), и именно в том месте, где обсуждается разнообразие человеческой внешности и отражение в чертах лица внутренних свойств личности:

Человек с лица иной есть весьма господствен,
А иной с того ж лица совершенно скотствен;
. . . .
Зол, кого в знак естество сроду запятнало:
Как плешивых и заик, рыжих так немало.
Хоть чело, и очи, и лице почасту лгут,
Но от моргослепых люди в опыте бегут.
(Тредиаковский, 1963, с. 265)

Полемическая направленность этих стихов не осталась незамеченной современниками, и, соответственно, в доношении московской Синодальной конторы в Синод от 14 декабря 1758 г., посвященном критическому рассмотрению «Феоптии», цитированный пассаж сопровождается следующим замечанием: «Сие честным и знатным обидно и болше сатирам, а не такой материи прилично» (А. Шишкин, 1989, с. 510)[23].

Как кажется, Тредиаковский умудрился вставить соответствующую аллюзию даже в стихотворное переложение Псалтыри (1753), а именно, в псалом LI («Что хвалишися во злобе…»), где описывается злоречивый человек, занимающий положение в обществе, — образ, который очень легко мог ассоциироваться с Сумароковым. Тредиаковский говорит здесь, что человек этот за свое злоречие понесет наказание от Бога п р е ж д е, ч е м у с п е е т м о р г н у т ь г л а з о м; в данном случае он отклоняется от текста Псалтыри, и это придает его переложению особую полемическую направленность — в результате псалом оказывается обращенным против его врага и зоила. Ср.:

Что́ во злобе, Сильный, похваляешься всегда?
в беззаконии вседневно?
Твой язык и помысл без лукавства никогда:
Льщение, втай не безгневно,
Ты как-бри́тву изострил;
Злобу паче возлюбил,
Нежель мирну благостыню,
И неправду неж Святыню;

Все сло́ва́ твои беда;
От злоречий же плачевно.
Бог, по сей причине, разруши́т тебя вконец;
Он и яро толь восторгнет
От утех сладчайших, и ласкающих сердец,
Что-ни-глаз так скоро мо́ргнет:
Тем себя не удовлит…
(Тредиаковский, 1989, с. 134)

Совершенно так же и Ломоносов, высмеивая Сумарокова, вводит те же сигнализирующие признаки. Так, например, в эпиграмме «Злобное примирение господина Сумарокова с господином Тредиаковским» (1759), где Сумароков выведен под именем Аколаста, мы читаем:

Аколаст, злобствуя, всем уши раскричал,
Картавил и сипел [вариант: картавил, шепелял], качался и мигал…
(Сухомлинов, II, с. 158; Ломоносов, VIII, с. 659)

Подобным же образом в притче «Свинья в лисьей коже» (1760–1761), представляющей собой ответ на притчу Сумарокова «Осел во львовой шкуре» (1760), которую Ломоносов имел все основания принять на свой счет, Ломоносов говорит о Сумарокове:

Надела на себя
Свинья
Лисицы кожу,
Кривляла рожу,
Моргала…
(Сухомлинов, II, с. 174; Ломоносов, VIII, с. 737)[24]

По всей вероятности, намеки на Сумарокова содержатся и в стихотворении Ломоносова «О сомнительном произношении буквы *г* в Российском языке» 1753–1754 гг. (Сухомлинов, II, с. 286; Ломоносов, VIII, с. 580–583; разбор этого стихотворения см. в работе: Успенский, 1973/1996), ср. здесь:

И кто горазд гадать, и лгать да не мигать,
Играть, гулять, рыгать и ногти огрызать…

Упоминание мигания в условиях литературной полемики того времени не могло быть нейтральным (незначимым, проходным), и мы должны думать, что фраза «горазд мигать» относится к Сумарокову; к нему же может относиться и упоминание «багровых глаз» в этом же стихотворении, т. е. воспаленных, налитых кровью, а также выражение *гневливые враги*, под которыми имеются в виду, по-видимому, Сумароков и Тредиаковский[25]. Ломоносов перечисляет здесь тех, кто так или иначе участвует в решении вопроса, которому посвящено вообще данное стихотворение: «где быть *га* и где стоять *глаголю*», т. е. вопроса о взрывном или фрикативном произношении буквы *г* в том или ином конкретном слове; среди них он упоминает и своих литературных противников — своих «гневливых

врагов»: Тредиаковского как представителя ориентации на книжнославянские языковые нормы (предполагающей фрикативное произношение) и Сумарокова как сторонника ориентации на разговорную речь (предполагающей произношение взрывное); см. подробнее: Успенский, 1973/1996, с. 278–279, 281.

Аналогичный прием мы встречаем и у других авторов — в направленных против Сумарокова эпиграммах. Так, в одной эпиграмме на Сумарокова, автор которой неизвестен (в Казанском сборнике она озаглавлена: «На Сум[арокова] чрез Н.»), читаем:

Хотя учением Аколаст голопер,
Но думает взлететь стихами как Гомер.
Постой! Он впрямь ему изрядно подражает:
Гомер был слеп, он до того же домигает.
(Афанасьев, 1859а, с. 520; Сухомлинов, II, примеч., с. 235)[26]

В другой эпиграмме (представленной в том же Казанском сборнике) собачка Жучко обращается к Аколасту-Сумарокову со словами:

Я вижу, ты, кобель, назойливый нахал;
Эй, полно наглиться! ты, красношерстый лыско…
(Афанасьев, 1859а, с. 520; Сухомлинов, II, примеч., с. 235)

Наконец, еще в одной анонимной эпиграмме (все из того же сборника) о Сумарокове говорится:

В одну минуту сто мигов жмур сделал вдруг…
(Афанасьев, 1859а, с. 519, примеч.)[27]

Совокупность подобных фактов не оставляет сомнения в том, что рассматриваемая в настоящей работе сатира Тредиаковского («Не знаю, кто певцов в стих вкинул сумасбродный…») метит именно в Сумарокова. Адресат эпиграммы Тредиаковского был совершенно ясен современникам (не случайно в Казанском сборнике эта эпиграмма носит название «Ответ Сум[арокову] от Тред[иаковского]», см.: Поэты XVIII в., II, с. 534). Отсюда, в свою очередь, и стихотворение «Искусные певцы…», давшее повод для данной эпиграммы, приписывалось именно Сумарокову (например, в миллеровском списке это стихотворение озаглавлено «Сатира на Третьяковскаго чрез Суморокова» — РГАДА, ф. 199, № 150, ч. I, д. 20, л. 9 об.; ср. также Казанский сборник — Афанасьев, 1859а, стлб. 518–519). До обнаружения ломоносовского автографа этого последнего стихотворения (см. выше, § 2 наст. работы) так полагали и исследователи. С обнаружением этого автографа стало очевидно, что «Искусные певцы…» — ломоносовское произведение. Тем не менее, ответная эпиграмма Тредиаковского является ответом Сумарокову, а не Ломоносову.

4. Нетрудно понять, почему Тредиаковский приписал ломоносовскую эпиграмму Сумарокову. В своей эпиграмме Ломоносов называет Тредиаковского *Трисотином*:

На что же, Трисотин, к нам тянешь *и* не к’стати?

Прозвище *Трисотин* восходит, конечно, к «Les femmes savantés» Мольера, где под именем Триссотена (Trissotin) выведен аббат Котен (l’abbé Cotin) — салонный поэт, высмеянный Буало[28]; для Тредиаковского оно должно было ассоциироваться прежде всего с именем *Тресотиниус*, которым наделил Тредиаковского Сумароков в одноименной пьесе («Тресотиниус» 1750 г. — Сумароков, V, с. 297–324). Если Ломоносов прилагает к Тредиаковскому имя мольеровского персонажа, не изменяя его, то Сумароков явно сближает его с фамилией Тредиаковского (*Тре*сотиниус); латинизированное окончание *-ус* в сумароковской пьесе соответствует амплуа педанта, под маской которого выведен Тредиаковский (см. подробнее: Гринберг и Успенский, 1992/2001, с. 33 — наст. изд., с. 241–242). Так или иначе, в контексте русской литературной полемики 1750-х гг. прозвище *Трисотин* как наименование Тредиаковского должно было ассоциироваться прежде всего не с Мольером, а с Сумароковым. Ломоносов был, кажется, первым, кто начал пользоваться — пусть в измененном виде — кличкой, пущенной в ход Сумароковым[29]; вполне понятно поэтому, что для Тредиаковского естественно было считать автором данной эпиграммы именно Сумарокова. Существенно также и то, что в своем «Ответе на Критику» (1750), продолжающем полемику, вызванную «Тресотиниусом», Сумароков выступил с критикой правописания прилагательных, насаждаемого Тредиаковским (Сумароков, X, с. 98).

Приписав сатиру «Искусные певцы…» Сумарокову, Тредиаковский явно усмотрел в ней продолжение тех нападок, которые были начаты Сумароковым еще в эпистолах 1748 г. (будучи продолжены затем в «Тресотиниусе» 1750 г., а также в «Чудовищах» 1750 г., в «Ответе на Критику» 1750 г. и в пародийной песне «О приятное приятство» 1750 г.). Так, в «Эпистоле о русском языке» Сумароков писал о Тредиаковском:

Тот прозой и стихом ползет, и письма оны,
Ругаючи себя, дает писцам в законы.
Хоть знает, что ему во мзду смеется всяк;
Однако он своих не хочет видеть врак.
Пускай, он думает, меня никто не хвалит,
То сердца моево нимало не печалит:
Я сам себя хвалю: на что мне похвала?
И знаю то, что я искусен дозела.
Зело, зело, зело, дружок мой ты искусен,
Я спорить не хочу, да только склад твой гнусен.
(Сумароков, I, с. 332; Сумароков, 1957, с. 113)[30]

Между тем, в «Эпистоле о стихотворстве» Сумароков дает Тредиаковскому прозвище «Штивелиус» (Штивелиус — имя педанта из комедии Гольберга), обращаясь к нему со словами:

А ты Штивелиус лиш только врать способен.
(Сумароков, I, с. 347; Сумароков, 1957, с. 125)[31]

Уместно отметить, что та же комедия Гольберга, из которой Сумароков заимствует прозвище Штивелиус[32], положена им в основу пьесы «Тресотиниус»; при этом гольберговскому «магистру Штифелиусу» соответствует у Сумарокова: «Тресотиниус, педант» (см.: Сухомлинов, II, примеч., с. 392–399; Рулин, 1929, с. 255–257, 261–263, 266–269; Резанов, 1931, с. 231–234)[33] — в обоих случаях гольберговский персонаж соотносится у Сумарокова с Тредиаковским.

Эпистолы Сумарокова в свое время были отданы на апробацию Тредиаковскому и Ломоносову, и как в своем предварительном отзыве от 12 октября, так и в окончательном отзыве от 10 ноября 1748 г. Тредиаковский указывает на непозволительные «язвительства», допущенные Сумароковым (Пекарский, II, с. 131–132; Мат. АН, IX, № 579, 650, с. 473–474, 535)[34]. Об «обидах и язвительствах», учиненных в сумароковских эпистолах, Тредиаковский упоминает и в «Письме от приятеля к приятелю» 1750 г.: «извесный Господин Пиит, по́сле употребленных в эпистолах своих… обидах и язвительствах [sic!], не токмо не рассудил за благо от тех уняться, но еще оныя и отчасу больше и несноснейше ныне размножил» (Куник, 1865, с. 437); равным образом и Сумароков свидетельствует в «Ответе на Критику» (1750): «Меня он [Тредиаковский] всех пуще не любит, за некоторыя в одной моей Епистоле стихи и за Комедию [«Тресотиниус»], которыя он берет на свой щот» (Сумароков, X, с. 102). Вполне понятно, что в этом же контексте Тредиаковский воспринимает и эпиграмму «Искусные певцы…». Соответственно, в своем ответе на эту эпиграмму Тредиаковский говорит, обращаясь к Сумарокову:

Ты ж, ядовитый змий, или как любишь — змей,
Когда меня язвить престанешь ты, злодей!
Престань, прошу, престань! к тебе я не касаюсь;
Злонравием твоим как демонским гнушаюсь.
. . . .
Что ж ядом ты блюешь и всем в меня стреляешь,
То только злым себя тем свету объявляешь.
Уймись, пора уже, пора давно, злыдарь!
Смерть помни, и что есть Бог, правда, мой сударь!

То же говорит Тредиаковский и несколько позднее, отвечая на письмо Сумарокова о сафической и горацианской строфах (1755): «… Не полноль, Г. М., вам на меня без причин нападáть? Я устал отражая ваши обвинения. Более по истинне не хочу; и сие письмо есть последний мой вам ответ, в чем по Христианству и по чесности кленусь, хотя что-вы-ни-бу́дете по сем на меня взводить, и чем и как-ни-стáнете впредь язвить… Позабудьте, прошу, меня; оставьте человека возлюбившаго уединение, тишину, и спокойствие своего духа. Дайте мне препровождать безмятежно остаточныи мои дни в некоторую пользу общества по званию моему, и по делам положенным на меня от главных моих. Попусти́те мне несмущенно размышлять иногда и о совести моей: настанет время и мне туда явиться, куда-должно-все́м человекам. Там не спросят меня, знал ли я хорошую

силу в Сафической и Горацианской строфах, но был ли добродетельный христианин… Паки, и паки прошу, оставьте меня отныне в покое» (Пекарский, II, с. 256–257).

5. Итак, Тредиаковский явно связывает эпиграмму «Искусные певцы…» с сумароковскими эпистолами 1748 г.: он видит в них те же «язвительства» и приписывает их одному автору. Соответственно, в рассматриваемой сатире Тредиаковского мы находим прямую полемику с сумароковской «Эпистолой о русском языке». Когда Тредиаковский говорит о специфике русской литературно-языковой ситуации, о том, что русский литературный язык, в отличие от литературных языков Западной Европы, не совпадает с разговорным, он полемизирует, видимо, с Сумароковым, который в своей эпистоле призывает именно ориентироваться на западноевропейскую языковую ситуацию:

Для общих благ мы то перед скотом имеем,
Что лутче, как они[35], друг друга разумеем,
И помощию слов пространна языка,
Все можем изъяснить, как мысль ни глубока.
Описываем все и чувствие и страсти,
И мысли голосом делим на мелки части.
Прияв драгой сей дар от щедраго Творца,
Изображением вселяемся в сердца.
То, что постигнем мы, друг другу сообщаем,
И в письмах то своих потомкам оставляем.
Но не такия, так полезны языки,
Какими говорят Мордва и Вотяки[36]:
Возмем себе в пример словесных человеков:
Такой нам надобен язык, как был у Греков,
Какой у Римлян был, и следуя в том им,
Как ныне говорит Италия и Рим,
Каков в прошедший век прекрасен стал Французской.
Иль на конец сказать, каков способен Русской.

(Сумароков, I, с. 331, ср. с. 363;
Сумароков, 1957, с. 112, ср. с. 134)

Таким образом, по мысли Сумарокова, литературный язык должен основываться прежде всего на разговорной речи просвещенного общества; непосредственным образцом при этом выступает французский язык: русский язык способен стать таким же, каким стал французский[37]. Ориентация на разговорную речь предстает при этом как необходимое условие литературного творчества, и, соответственно, в той же эпистоле Сумароков подчеркивает, что

… кто не научен исправно говорить,
Тому не без труда и грамотку сложить.

(Сумароков, I, с. 333; Сумароков, 1957, с. 113)[38]

Одновременно Сумароков выступает здесь против славянизмов — именно постольку, поскольку они неупотребительны в разговорной речи, т. е. не соответствуют принятому «обычаю» (употреблению):

Коль, *аще*, *точию*, обычай истребил;
Кто нудит, чтоб ты их опять в язык вводил?
(Сумароков, I, с. 335; Сумароков, 1957, с. 115)

Слово *обычай* в этом контексте предстает как калька с франц. *usage*[39].

Установка на употребление проявляется и в следующем пассаже из сумароковской «Эпистолы о русском языке»:

Но льзя ли требовать от нас исправна слога;
Затворена к нему в учении дорога.
Лиш только ты склады немного поучи,
Изволь писать Бову, Петра златы ключи.
Подьячий говорит: писание тут нежно,
Ты будеш человек, учися лиш прилежно.
И я то думаю: что будеш человек;
Однако грамоте не станеш знать во век.
(Сумароков, I, с. 334; Сумароков, 1957, с. 114)

Сумароков воспринимает язык «Бовы» или «Петра Златых Ключей» как книжный язык[40]: «нежным», т. е. русским языком он является только в перспективе подьячего[41]. По мнению Сумарокова, русскому языку надо учиться не по складам, а исходя из естественного употребления — иными словами, учиться следует не письменному (книжному), но разговорному языку[42]. Позднее Тредиаковский в «Письме от приятеля к приятелю» (1750) полемизирует с этим местом сумароковской эпистолы, говоря: «… Автор мало печется о наших ударениях, или лучше, не хочет их знать, для того что сие до букв, и из них до складов принадлежит: ему токмо надобны речи и не зная складов, а сие значит, и не зная азбуки» (Куник, 1865, с. 450)[43]. Это замечание Тредиаковского может служить комментарием к цитированным стихам Сумарокова.

Необходимо заметить при этом, что Сумароков, вообще говоря, не был столь решительным противником славянизмов и сторонником ориентации исключительно на разговорную языковую стихию, как это воспринималось Тредиаковским (см. подробнее: Гринберг и Успенский, 1992/2001, с. 65–71; наст. изд., с. 290–295). Он выступал не столько против славянизмов как таковых, сколько против архаизмов и специфически книжных элементов в языке. Как и Тредиаковский (в рассматриваемый период), Сумароков исходил из единства церковнославянского и русского языка; однако, в отличие от Тредиаковского, он не рассматривал церковнославянский как основу русского литературного языка и мерило его чистоты. Призывая совершенствовать разговорный язык, он призывал одновременно следовать литературной традиции; вообще устная и письменная речь не были у него четко противопоставлены, и это отличает Сумарокова от Тредиаковского,

который в 1740–1750-х гг. требовал четкого разграничения литературного языка и разговорной речи. Понятно поэтому, что в перспективе Тредиаковского Сумароков мог восприниматься именно как сторонник той языковой программы, которая в свое время была сформулирована самим Тредиаковским — и от которой сам же он впоследствии отказался.

6. Вполне закономерно, ввиду вышеизложенного, что мы находим существенные совпадения между рассматриваемой эпиграммой Тредиаковского и его «Письмом от приятеля к приятелю» (1750) — это и естественно, поскольку оба произведения непосредственно посвящены критике Сумарокова. Так, мысль о том, что языковые погрешности Сумарокова происходят прежде всего от недостаточного знакомства с церковнославянским языком, от того, что

Святых он книг отнюдь, как видно, не читает, —

находит точное соответствие в «Письме от приятеля к приятелю». Подытоживая критическое рассмотрение сочинений Сумарокова, Тредиаковский здесь заключает: «Толикии недостатки… проистекают из перваго и главнейшаго сего источника, именнож, что не имел в малолетстве своем Автор довольнаго чтения наших Церьковных книг; и потому нет у него ни обилия избранных слов, ни навыка к пра́вильному составу речей между собою» (Куник, 1865, с. 495–436)[44]; именно недостаточным знакомством с церковными книгами Тредиаковский объясняет, в частности, как синтаксические ошибки Сумарокова[45], так и случаи семантически неправильного употребления славянизмов[46]. Церковные книги, таким образом, предстают для Тредиаковского не только как регулятор стилистической правильности (что выражается в обилии «избранных слов», т. е. славянизмов), но и как критерий, позволяющий судить о правильном употреблении того или иного слова — и на грамматическом, и на семантическом уровне. При этом мысль о том, что чтение церковных книг способствует обилию «избранных слов» и стилистической чистоте, высказанная в «Письме от приятеля к приятелю», также содержится в нашей эпиграмме:

Славенский наш язык есть правило неложно,
Как книги нам писать, и чище коль возможно,
. . . .
Кто ближе подойдет к сему [славенскому языку] в словах избранных,
Тот и любее всем писец есть…
. . . .
… нашей чистоте вся мера есть славенский…[47]

Вместе с тем, в «Письме от приятеля к приятелю» Тредиаковский объясняет языковые неудачи Сумарокова и тем, что «полагается он больше надлежащаго на Французских писателей» (Куник, 1865, с. 496). Французская литература эксплицитно противопоставляется при этом церковным книгам, задающим образец правильного употребления: «Не лучшель… Автору приняться за наши прежде

[т. е. церковные] книги, дабы научиться пра́вильному сочинению? Раси́н научит токмо вздыхать по пустому; а Боало́-Депро́ всех язвить и лучше себя: но оба сии нашему языку не научат» (там же, с. 449)[48]. Тредиаковский явно полемизирует в данном случае с эпистолой Сумарокова о русском языке (см. выше, § **5** наст. работы); полемика с этой эпистолой представлена, как мы видели, и в рассматриваемой эпиграмме.

Совпадения с «Письмом от приятеля к приятелю» наблюдаются и в конкретных деталях. Так, в «Письме…» Тредиаковский говорит о Сумарокове: «должно видеть ложныя знаменования, данныя от Автора словам, а сие происходит от того, что Автор отнюд не знает кореннаго нашего языка Славенскаго. Пишет он *коль* производя от подлаго *коли*, за *когда* и *ежели*, весьма неправо и развращенно…, потому что *коль* значит *колико*» (Куник, 1865, с. 479). То же говорится и в эпиграмме:

Пусть вникнет он в язык славенский наш степенный,
Престанет злобно врать и глупством быть надменный:
. . . .
Увидит, что там *коль* не за *когда*, но только[49]
Кладется, как и долг, в количестве за *сколько*.

О том, что *коль* не следует употреблять, производя «от подлаго *коли*, вместо преизряднаго *когда*», Тредиаковский упоминает затем и в трактате о правописании прилагательных 1755 г. (Пекарский, 1865, с. 109), непосредственно связанном, как мы уже знаем, с нашей эпиграммой. Этот пример имеет особое значение, поскольку он фигурирует и в эпиграмме Ломоносова «Искусные певцы…»:

Или уж стало *иль*; *коли* уж стало *коль*;
. . . .
На что же, Трисотин, к нам тянешь *и* не к'стати?

Как видим, Ломоносов в своей трактовке формы *коль* совпадает в данном случае с Сумароковым (которого критикует за это Тредиаковский в «Письме от приятеля к приятелю»); совпадение такого рода, наряду с употреблением прозвища *Трисотин*, должно было укрепить Тредиаковского в мысли, что эпиграмма «Искусные певцы…» написана Сумароковым[50].

7. Критикуя Сумарокова, как мы видели, Тредиаковский обвиняет его в «площадном», «мужицком» употреблении:

Он красотой зовет, что есть язы́ку вред:
Или ямщичей вздор, или мужицкий бред.
. . . .
За образец ему в письме пирожной ряд,
На площади берет прегнусной свой наряд,
Не зная, что у нас писать в свет есть иное,
А просто говорить по-дружески — другое.

Противопоставляя «гражданский», т. е. русский литературный язык, «площадному», Тредиаковский утверждает:

> … нашей чистоте вся мера есть славенский,
> Не щогольков, нижé и грубый деревенский.

Равным образом и в «Письме от приятеля к приятелю» Тредиаковский усматривает в сочинениях Сумарокова «площадное», «сельское», «подлое» употребление: «у Автора и сельское употребление, есть прáвильное и красное», «всеж то не основано у него на Грамматике, и на сочинении наших исправных книг, но на площадном употреблении», «многие он речи составляет подлым употреблением», «настоящия деепричастия за прошедшия пишет по площадному» и т. д. и т. п. (Куник, 1865, с. 469–470, 476, 477, ср. еще с. 459, 479, 482)[51]. Поскольку объектом подобных нападок является аристократ Сумароков, невозможно понимать эти слова в буквальном социолингвистическом смысле — речь идет здесь об ориентации на разговорную языковую стихию. В частности, эпитет *сельский* представляет собой, надо полагать, буквальный перевод лат. *rusticus*, ср. лат. *lingua rustica* как обозначение языка, противопоставленного книжной латыни[52]. Такой же смысл имеют, по всей видимости, и эпитеты *грубый деревенский*[53], а также *мужицкий* в нашей эпиграмме — «сельское», «деревенское», «мужицкое» выступают, таким образом, как общие характеристики разговорной речи.

Совершенно аналогично в статье о правописании прилагательных 1755 г. Тредиаковский говорит: «кто-ближе подходит писанием гражданским к Славенскому язы́ку, или, кто-бóльше славенских… слов употребляет, тот у нас и не подло пишет» (Пекарский, 1865, с. 109); как видим, *писать подло* означает у Тредиаковского, в сущности, «писать, как говорят» — поскольку Сумароков ориентирует литературный язык на разговорное употребление, он пишет «подло», «по площадному». Вместе с тем, и «площадное» употребление противопоставляется у Тредиаковского именно «славенскому» языку: соответственно, в отзыве 1748 г. на сумароковскую трагедию «Гамлет» Тредиаковский критикует «неравность стиля»: «инде весьма по славенски сверьх Театра, а инде очень по плошчадному ниже Трагедии» (Мат. АН, IX, № 576, с. 461; Пекарский, II, с. 130); в точности такой же смысл имеет, конечно, и противопоставление «площадного употребления» и «грамматики» в «Письме от приятеля к приятелю» (Куник, 1865, с. 476) — речь идет о выборе между разговорным и книжным началом, и именно с этих позиций Тредиаковский критикует здесь Сумарокова. «Подлое» и «площадное» оказываются, таким образом, у Тредиаковского равнозначными характеристиками[54], которые появляются в том же семантическом ряду, что и «сельское» или «деревенское» и т. п.

Наконец, и слово «простонародный» применительно к характеристике языка и стиля выступает у Тредиаковского в том же значении. Соответственно, в «Разговоре об ортографии» 1748 г. Тредиаковский подчеркивает «необходимость различия между простонародным и подлым языком с таким, которому надлежит быть благороднее и чишче, длятого что сей последний долженствует употреб-

ляем быть в писменных и ученых сочинениях» (Тредиаковский, 1748, с. 295; Тредиаковский, III, с. 200): *простонародный* и *подлый* здесь предстают как синонимы, причем если *простонародный* антитетически соотносится с *благородным*, то *подлый* так же соотносится с *чистым*. Поскольку эпитет *простонародный*, как и *подлый*, у Тредиаковского относится к разговорной речи (всех слоев общества), эпитет *благородный* может служить ему для характеристики славянизмов, т. е. относиться к языку высокого слога, а не к языку высшего (аристократического) общества. Соответственно, в статье о правописании прилагательных 1755 г. «простонародные» окончания прилагательных, введенные в 1733 г. и ориентированные на традицию приказного языка (см. выше, § **2** наст. работы), противопоставляются «благородному» правописанию, ориентированному на церковнославянскую традицию[55]. Между тем, в письме к Г.-Ф. Миллеру от 7 августа 1757 г., посвященном редакционным исправлениям в его (Тредиаковского) статье «О беспорочности и приятности деревенския жизни» (опубликованной в июльской книжке «Ежемесячных сочинений» за 1757 г.), Тредиаковский заявляет: «… *исскакивать*… благороднейшее, нежели *выскакивать*» (Разоренова, 1959, с. 210) и, вместе с тем, говорит об употребленном им глаголе *восследствовать*: «Подлинно, он есть не простонародный: да можно ж было приметить, что и сочиненийце-мое-все удаляется несколько от площадныя грязи» (там же, с. 209–210). Протестуя в том же письме против замены причастной формы деепричастием на *-чи* (*снимающий — снимаючи*), Тредиаковский замечает: «… Деепричастия-на-(*чи*), кроме *будучи*, в высоком стиле, а особливо в стихах, не сносны… Удивительно, чего ради Справщик силою меня толкает в грязь и в тесноту площади? Я люблю всегда не за многими пробираться там, где-чище» (там же, с. 214); «грязь» площадной речи явно противопоставляется при этом «чистоте» церковнославянского языка и соотнесенного с ним высокого слога. Можно с уверенностью утверждать, что, говоря о площадной грязи, о подлости, простонародности, Тредиаковский не имеет в виду навыков низших слоев общества и вообще какого бы то ни было социального противопоставления. Так, например, он говорит здесь же о «подлом выговоре», не различающем *ѣ* и *е* (с. 215); но различение *ѣ* и *е*, описанное Тредиаковским в «Разговоре об ортографии», было присуще исключительно норме книжного произношения и отнюдь не было свойственно разговорной речи, включая сюда и речь культурной и социальной элиты, — следует полагать, что и сам Тредиаковский не различал соответствующие звуки в обычном разговоре (ср.: Успенский, 1968, с. 29 и сл., 54 и сл.; Успенский, 1971а, с. 13–15; Успенский, 1975, с. 187, 192; Успенский, 1987/2002, с. 63 и сл., § 7.8)[56].

Не исключено, что с упоминанием «площадной грязи», столь характерной вообще для Тредиаковского, как-то соотносится выражение *парнасска грязь*, выступающее в нашей эпиграмме как определение Сумарокова:

> Тебе ль, парнасска грязь, маратель, не творец,
> Учить людей писать, ты истинно глупец…

Действительно, в контексте обвинения Сумарокова в «площадном употреблении» это определение приобретает особые коннотации.

Итак, такие стилистические характеристики, как *подлый*, *простонародный*, *благородный* и т. п., относятся у Тредиаковского в данный период к противопоставлению книжного (литературного) и разговорного языка, но не имеют отношения к социолингвистическому расслоению общества, т. е. к социальной диалектологии. Свойственное Тредиаковскому употребление эпитетов *подлый* и *благородный* высмеивает Сумароков в «Тресотиниусе» (1750), где педанты Тресотиниус и Бобембиус спорят о форме буквы *т* (Тресотиниус выступает за «твердо об одной ноге», а Бобембиус — за «треножное твердо»), причем Тресотиниус говорит: «Твое твердо есть подлое и по премногу подлое, а мое благородное, и не только Славено-Российское, но и Греческое» (Сумароков, V, с. 306)[57]; одновременно педант Бобембиус величает слугу Кимара «высоко-благородным господином» (там же, с. 305). Поскольку «треножное твердо» ассоциируется со скорописью, а «твердо об одной ноге» — с книжным («славенским») письмом, в их противопоставлении усматривается оппозиция русской (разговорной) и церковнославянской языковой стихии, которая в терминологии Тредиаковского, действительно, соответствует противопоставлению «подлого» и «благородного» употребления — Сумароков в своей пародии на Тредиаковского в общем совершенно правильно передает тот принцип, из которого исходит Тредиаковский[58].

Сам Сумароков последовательно употребляет эпитеты *подлый* и *благородный* как социальные, и в частности, социолингвистические характеристики, ср., например, критику выражения *Нептун чудился* в оде Ломоносова: «*Чудúлся* слово самое подлое и так подло как *дивовался*. Нептун не чудился, удивлялся» («Критика на Оду», не позднее 1751 г. — Сумароков, X, с. 84); в другом месте он объясняет языковые погрешности Ломоносова его происхождением «от поселян», противопоставляя происхождение Ломоносова собственному «благородству» («О правописании» 1768–1771 гг. — там же, с. 7–8). В заметке «Истолкование личных местоимений…» (1759) Сумароков протестует против того, что *ты* «ныне зделано местоимением подлым», поскольку «только для подлости осталось, на пр.: для холопей, для мужиков, для извощиков, для трубочистов…», при том что «говоря с человеком достойным почтения или паче имеющим благородство, или чин, или в чем нибудь от подлаго народа отличность, *ты*, сказать противно граматике» (Сумароков, VI, с. 294). Характерна в этом отношении также притча Сумарокова «Подьяческая дочь»:

По благородному она всю речь варила,
Новоманерными словами говорила:
Казалося что в ней была господска кровь:
То *фрукты* у нее, что в подлости *морковь*.
(Сумароков, VII, с. 72–73)[59]

Соответственно, отвечая на «Письмо от приятеля к приятелю», Сумароков протестует против того значения, которое Тредиаковский вкладывает в слово *подлый*: «Вольности *Паденье*, *Желанье* за *Паденіе*, *Желаніе* и протч. называет он подлым употреблением. А то употребляют все, лутче бы он говорил, что то не правиль-

но, а не в подлом употреблении» («Ответ на Критику» 1750 г. — Сумароков, X, с. 99)[60]. Расхождения совершенно очевидны: если для Тредиаковского писать, как говорят, и означает писать «подло», то для Сумарокова ссылка на общее (разговорное) употребление не является аргументом в пользу возможности подобной характеристики. Точно так же, возражая Тредиаковскому, который соотносит в «Письме от приятеля к приятелю» разговорные местоимения *этот*, *эта*, *это* (вместо *сей*, *сия*, *сие*) с «площадным употреблением», и обосновывая возможность употребления этих местоимений в трагедиях, Сумароков говорит в своем «Ответе на Критику»: «они слова не чужестранныя и не простонародныя» (Сумароков, X, с. 97), т. е. ссылается на их социальную неотмеченность, на их употребляемость в речи хорошего общества. Отсюда, в частности, если Тредиаковский может квалифицировать произношение, не различающее *е* и *ѣ* и отличающееся тем самым от книжного произношения, как «подлый выговор» (письмо к Г.-Ф. Миллеру от 7 августа 1757 г. — Разоренова, 1959, с. 215; см. выше), то Сумароков, напротив, соотносит произношение такого рода с речью «благородных людей» («Примечание о правописании», не ранее 1773 г. — Сумароков, X, с. 42). Таким образом, говоря о «благородном» или «подлом», «простонародном» употреблении, Сумароков переводит стилистическую полемику в социолингвистический план[61].

Отметим, что совершенно аналогичное различие в употреблении подобных эпитетов как стилистических характеристик (*подлый*, *простонародный*, *благородный* и т. п.) прослеживается в дальнейшем у «архаистов» (сторонников Шишкова) и «новаторов» (карамзинистов): если у первых эти эпитеты фигурируют безотносительно к социальному расслоению общества, то у вторых они в принципе выступают именно как социолингвистические оценки (см.: Лотман и Успенский, 1975/1996, с. 491–493). Таким образом, шишковисты следуют тому же употреблению, которого придерживается Тредиаковский, тогда как карамзинисты совпадают в своем употреблении с Сумароковым[62].

8. Итак, языковая программа Сумарокова связана с социолингвистическим расслоением общества: вслед за молодым Тредиаковским (который, в свою очередь, следует Вожела — см.: Успенский, 1985, с. 131 сл. — наст. изд., с. 118 сл.), Сумароков ориентирует литературный язык на разговорную речь элитарного, дворянского общества. Вполне закономерно в этом смысле, что в рассматриваемой эпиграмме установка на церковнославянский язык полемически противопоставляется «щегольскому» употреблению:

Но нашей чистоте вся мера есть славенский,
Не щогольков, нижé и грубый деревенский.

Упоминание «щегольков» в этом контексте может относиться непосредственно к Сумарокову; не случайно Тредиаковский в этой же эпиграмме характеризует Сумарокова как «вертопраха» — слово *вертопрах* выступает как обычная характеристика щеголя-петиметра в сатирической литературе XVIII в.[63]

В этой связи заслуживает самого пристального внимания присочиненная Тредиаковским «новая сцена» (сцена XVII) из комедии «Тресотиниус», которую якобы обнаружил Тредиаковский и которая фигурирует в качестве постскриптума к «Письму от приятеля к приятелю» (см.: Куник, 1865, с. 497–500). В этой сцене появляется новый персонаж, а именно, некий «маляр шалун» Архисотолаш (Архисотолаш Филавтонович Кривобаев), в лице которого Тредиаковский выводит Сумарокова (см. подробнее: Гринберг и Успенский, 1992/2001, с. 49–56 — наст. изд., с. 253–258)[64]. Слова *маляр* 'художник', *малевать* 'изображать' представляют собой полонизмы (*malarz, malować*), которые характерны для Тредиаковского и которые, вообще говоря, не имеют у него отрицательного смысла (см.: Кохман, 1972, с. 46–47); в данном случае имеется в виду, видимо, претензия Сумарокова на живописный стиль изображения (Архисотолаш-Сумароков говорит о себе, что он «малюет картины говоруньи» и «намалевал на рынок картин с семь, которые так живы, что все говорят как сойки» — Куник, 1865, с. 500, 498)[65]. Вместе с тем, слуга Кимар называет его не *маляр*, но *мараль* (с. 499), и это явно соответствует той характеристике, которую дает Сумарокову Тредиаковский в своей эпиграмме: «парнасска грязь, маратель, не творец». При этом Архисотолаш говорит о себе, что он «публичной маляр» (с. 498) или «всерыношной» (с. 500), — имеется в виду, по-видимому, ориентация Сумарокова на «площадное» употребление, т. е. на разговорную речь (см. выше, § **7** наст. работы); Архисотолаш-Сумароков прямо заявляет в этой сцене: «Я говорю так, как все» (с. 498). Особенно же существенно, что он претендует на знание света (ср.: «ежели в ком нет амбиции, тот или незнающий света, или прямо дурак», с. 498), заявляя при этом: «Я знаю щогольское употребление» (с. 498). Не вполне ясный намек на «щегольство» Архисотолаша находим и у слуги Кимара (с. 499)[66].

Ассоциация Сумарокова с щеголем несколько неожиданна, поскольку сам Сумароков неоднократно выступает с обличениями щеголей-петиметров. И тем не менее, в перспективе Тредиаковского Сумароков предстает именно как щеголь — этому способствует аристократическое происхождение Сумарокова, его положение при дворе (в качестве «генеральс-адъютанта» при графе А. Г. Разумовском он входит в придворную сферу), его высокомерие («амбиция»)[67]; языковая полемика приобретает, тем самым, социальный аспект[68]. Наконец, восприятию такого рода отнюдь не в последнюю очередь способствует и языковая позиция Сумарокова, т. е. установка на разговорное употребление.

Необходимо иметь в виду, что щеголи были принципиальными сторонниками ориентации на устную, разговорную языковую стихию: «щегольское наречие» базируется на просторечии, причем социальный престиж элитарного общества определяет его восприятие и значимость присущей ему разговорной традиции. «Щегольское наречие» и может, собственно, рассматриваться как дворянский социальный диалект в его специфических формах — иначе говоря, речь дворянства, постольку поскольку она не нейтральна, социально маркирована; можно сказать, что это тот вид просторечия, который претендует на культурную значимость (ср. в этой связи: В. Виноградов, 1935, с. 195–196; Лотман и Успенский, 1975/1996, с. 478–479, 496–499).

Само собой разумеется, что с позиции Тредиаковского (в рассматриваемый период), в перспективе книжного языка щегольская речь принципиально не отличается от других видов просторечия. Если согласиться, что выражение *грубый деревенский* в цитированном заявлении Тредиаковского:

… нашей чистоте вся мера есть славенский,
Не щогольков, нижé и грубый деревенский

выступает как семантическая калька с лат. *rusticus* и относится к разговорному употреблению (см. выше, § **7** наст. работы), не приходится усматривать здесь социолингвистическое противопоставление щегольской и крестьянской речи. Идея ориентации на крестьянскую речь была абсолютно чужда этому времени и, тем самым, совсем не нуждалась в полемическом опровержении: крестьянская речь может фигурировать только как пример неправильной речи (так, в частности, у Сумарокова, который в комедии «Опекун» 1765 г. заставляет крестьян цокать, а в статье «О правописании» 1768–1771 гг. говорит о «провинциальных» особенностях языка Ломоносова, обусловленных его крестьянским происхождением, — Сумароков, V, с. 45–46; Сумароков, X, с. 7). Таким образом, союз *нижé* в цитированном пассаже может иметь не противительный, но соединительный смысл — он может означать не столько противопоставленность «щегольского» и «грубого деревенского» языка, сколько их общую природу: и то и другое относится к просторечию.

Настаивая на необходимости различать книжное и некнижное употребление (первое предполагает обращение к церковнославянской языковой стихии, второе — ориентацию на разговорную речь), Тредиаковский констатирует, что традиционное для России понимание литературного языка как книжного языка, принципиально противопоставленного живой речи, разделяется далеко не всеми. В «Разговоре об ортографии» (1748), он указывает, что «при дворе некоторыи не принимают двоякаго употребления в языке, и ссылаются по большой ча́сти на непрямое, и испорченное от простаков» (Тредиаковский, 1748, с. 314; Тредиаковский, III, с. 213)[69]. Равным образом и в предисловии к «Тилемахиде» (1766) Тредиаковский пишет: «Когда некоторыи из Наших (привыкших к Французскому и Немецкому Язы́кам, не имеющим кроме гражданскаго употребления, а в нашем Гражданском Сочинении увидевших два, три, речения Славенския, или Славенороссийския) восклицают как будто негодуя, *Это не порусски*: то жалоба их не в том, чтоб те речения были противны сво́йству Российскаго Язы́ка, но что оныя положены не Площадныя, не Рыночныя, и словом, не Подлыя, да и знающим знаемыя» (Тредиаковский, 1766, с. LX, примеч.; Тредиаковский, II, 1, с. LXXIV, примеч.). Итак, по свидетельству Тредиаковского, не перестают раздаваться голоса в пользу полной эмансипации русского языка, освобождения его от специфически книжных элементов, сближения литературного языка с разговорной речью (как это имеет место в странах Западной Европы). Упоминаемые Тредиаковским лица как бы продолжают следовать той программе, сторонником которой был в свое время и он сам. Соответствующая позиция, как указывает Тредиаковский, характерна для светского (придворного) общества, для тех, кто владеет ино-

странными языками и ориентируется на Запад. Речь идет, по-видимому, о «щеголях», т. е. носителях «щегольского наречия»; вместе с тем, в этих случаях может иметься в виду и конкретно Сумароков, который, с точки зрения Тредиаковского, является именно сторонником ориентации на «площадное», «рыночное», «подлое» употребление (см. выше, § **7** наст. работы), — одно другому нисколько не противоречит, поскольку Сумароков, как мы знаем, в глазах Тредиаковского может ассоциироваться с щеголем. В частности, когда Тредиаковский упоминает (в 1748 г.) о «некоторых» «при дворе», которые характеризуются как сторонники ориентации русского литературного языка на разговорную речь, он, по всей вероятности, говорит не вообще о носителях «щегольского наречия», но именно о Сумарокове[70].

Сумароков не оставил сколько-нибудь четкого и последовательного изложения своей языковой концепции. Отдельные замечания, разбросанные по разным его произведениям, не дают целостной картины: нередко они противоречивы и, как правило, посвящены частным вопросам. Тем более важно понять, как воспринималась сумароковская языковая программа современной ему аудиторией — взглянуть на Сумарокова глазами его современников. В настоящей работе мы увидели Сумарокова глазами Тредиаковского.

В этой перспективе Сумароков предстает как последователь молодого Тредиаковского — как верный приверженец той программы литературного языка, которая была сформулирована Тредиаковским (вместе с Адодуровым) в 1730-е гг. и от которой Тредиаковский отказывается во второй половине 1740-х гг. Полемизируя с Сумароковым, Тредиаковский как бы полемизирует с самим собой.

ПРИЛОЖЕНИЕ I

Эпиграмма Тредиаковского по списку Г.-Ф. Миллера[71]

Не знаю кто пѣвцовъ в стихъ вкинулъ сумозбро^{д}но^{и}. **л. 9 об.**
Но видно что дуракъ и вертопра^{х} негодно^{и}.
Онъ красотои зоветъ что есть языку вредъ.
Или ямщичеи вздоръ или мужицкі бредъ.
Пусть вникнетъ онъ въ языкъ славенски нашъ степенныи. **л. 10**
Престанетъ злобно врать, и глубство^{м} бы^{т} надменный.
Увидитъ что та^{м} ѕлой кончится нѣжно ѕлыи.
И что чермнои мигунъ мигате^{л} та^{м} чермны^{и}.
Увидитъ что та^{м} ко^{л} не за когда но то^{л}ко
Кладется какъ и долгъ в количестве за ско^{л}ко.
Не голосъ чтется та^{м}, но сладостнеиши гласъ,
Читаютъ око всѣ, хоть говорятъ все жъ глазъ
Не лобъ тамъ но чело, не щоки но ланиты,
Не губы и не ротъ, уста та^{м} багряниты.
Не нынь та^{м} и не ва^{л}, но нынѣ и во^{л}на,
Священна книга вся си^{х} нежностеи полна.
Но где ему то знать, онъ толко что зеваетъ,
Святы^{х} онъ книгъ о^{т}нюдь, какъ видно, не читаетъ
За образецъ ему в писме пирожнои рядъ
На площади беретъ прегнусно^{и} свои наря^{д}
Не зная что у на^{с} писа^{т} в свѣтъ есть иное
А просто говорить по дружески другое
Славенскіи нашъ языкъ есть правило неложно,
Какъ книги на^{м} писа^{т}, и чище ко^{л} возможно
В Гражданско^{м} и доднесь однакъ не в площадно^{м}
Славенско^{м} по всѣму составу в на^{с} одно^{м}.
Кто ближе подоиде^{т} к сему в слова^{х} избра^{н}ны^{х}
Тотъ и любея все^{м} писецъ есть и не в стра^{н}ныхъ
У немце^{в} то не такъ ни у французо^{в} тожъ,
Имъ нравенъ то^{т} языкъ кой съ общи^{м} самы^{м} схожъ.
Но нашеи чистотѣ вся мѣра есть славенскіи
Не щого^{л}ко^{в} ниже и грубы^{и} деревенски.
Ты жь ядовиты змій, или какъ любишь змѣи.
Когда меня язвить престанешь ты злодѣи.
Преста^{н} прошу преста^{н}, к тебѣ я не касаюсь
Ѕлонравіе^{м} твои^{м} какъ д̧мо^{н}ски^{м} гнушаюсь
Тебе ль парнасска гря^{з}, марате^{л} не творецъ,
Учить людеи писа^{т}, ты истинно глупецъ.

Повѣрь мнѣ крокоди$^{\text{л}}$, повѣрь кленусь я бого$^{\text{м}}$ **л. 10 об.**
Что знаніе твое все в роде есть убого$^{\text{м}}$
Не штука сти$^{\text{х}}$ слагать да и того ты пустъ.
Безплоденъ ты во всемъ хо$^{\text{т}}$ и шумишь какъ кустъ
Что жь ядо$^{\text{м}}$ ты блюешь, и все$^{\text{м}}$ в меня стреляешь
То то$^{\text{л}}$ко злы$^{\text{м}}$ себя те$^{\text{м}}$ свѣту о$^{\text{б}}$являешь.
Уими$^{\text{с}}$ пора уже пора давно злыдарь,
Смерть помни и что есть богь. правда мо$^{\text{и}}$ суда$^{\text{р}}$,
Хоть тресни ты, в труда$^{\text{х}}$ я токмо пребываю,
В труда$^{\text{х}}$ не в пустоте твое жь зло презираю.
Но тщетно правотои к добру тебя склонить.
Мне рыжу тва$^{\text{р}}$ никакъ в добро не пременить.
В небѣснои красоте не твоего лишь зыка,
Нѣлепостеи где тма россискаго языка,
Когда по твоему сова и ско$^{\text{т}}$ ужь я
То са$^{\text{м}}$ ты нетопырь и подлинно сви$^{\text{н}}$я.

ПРИЛОЖЕНИЕ II

Вопрос о правописании прилагательных в свете оппозиции русского и церковнославянского

В приказном языке прилагательные в именительном падеже множественного числа имели обычно окончания *-е* и *-я* без различения родов (ср.: Пеннингтон, 1980, с. 251, 253); такое правописание принято было и в русской гражданской орфографии до 1733 г. См. об этом — со ссылкой на приказную традицию — у Тредиаковского в статье о правописании прилагательных 1755 г. (Пекарский, 1865, с. 108) и в «Разговоре об ортографии» 1748 г. (Тредиаковский, 1748, с. 97, 292–293, 331–332, 339; Тредиаковский, III, с. 62, 198, 225, 230), а также у Ломоносова в примечаниях на предложения Тредиаковского 1746 г. (Сухомлинов, IV, с. 2; Ломоносов, VII, с. 84); несколько иначе пишет об этом Тредиаковский в первой статье о прилагательных 1746 г. (Вомперский, 1968, с. 88; Сухомлинов, IV, примеч., с. 19), но под влиянием возражений Ломоносова он изменил свою формулировку. Такое правописание определено и в краткой грамматике Адодурова 1731 г., т. е. окончания *-е* и *-я* употребляются как вариантные для всех трех родов (Адодуров, 1731, с. 29–30). Ломоносов в своей грамматике 1757 г. (в § 116 и 161) также допускает возможность подобной орфографии (Сухомлинов, IV, с. 53, 78–80; Ломоносов, VII, с. 430–431, 452–454); между тем, Сумароков в статьях «К типографским наборщикам» (1759), «О правописании» (1768–1771) и «Примечание о правописании» (не ранее 1773 г.) даже настаивает на правописании такого рода, признавая единственно возможным только окончание *-я* для всех трех родов (Сумароков, VI, с. 309; Сумароков, X, с. 29–30; Сумароков, X, с. 42); впрочем, в статье «О стопосложении» (не ранее 1771 г.) он дает вариантную форму окончания *-и* или *-я*, общего для всех родов (Сумароков, X, с. 75).

Таким образом, правописание прилагательных, вводимое правилами 1733 г., предписывающими окончание *-е* в мужском роде, окончание *-я* в женском и среднем, на формальном уровне (в плане выражения) совпадает с нормами приказного языка; однако в

плане содержания вводится противопоставление по роду — противопоставляется мужской и немужской род, и употребление окончаний *-е* и *-я* распределяется в соответствии с этим противопоставлением. Не исключено, что противопоставление форм мужского и немужского рода появилось под влиянием польского языка, где во множественном числе маркированы формы мужского личного рода (ср.: Милейковская, 1984, с. 126). Ориентация на польский язык представляет собой, вообще говоря, вполне естественное явление для рассматриваемого периода.

Правописание прилагательных, предлагаемое Тредиаковским — в статьях 1746 г. (см.: Вомперский, 1968; Сухомлинов, IV, примеч., с. 3–26) и 1755 г. (см.: Пекарский, 1865), специально посвященных данному вопросу, а также в «Разговоре об ортографии» 1748 г. (Тредиаковский, 1748, с. 95–97, 292–312, 331–340; Тредиаковский, III, с. 61–62, 197–212, 224–225, 230), — вообще говоря, отличается от церковнославянского: так, если в церковнославянском различаются формы *добрiи* (мужской род), *добрыя* (женский род), *добрая* (средний род), то Тредиаковский предлагает писать *добрыи* (мужской род), *добрые* (женский род), *добрыя* (средний род)[72]. Тем не менее, по сравнению с правилами 1733 г. это правописание закономерно воспринимается как славянизированное[73]. В самом деле, в плане содержания, т. е. на категориальном уровне, правописание Тредиаковского однозначно коррелирует с церковнославянским — в обоих случаях различаются все три рода. Между тем, в плане выражения, т. е на чисто формальном уровне, рассматривающем самый инвентарь морфологических показателей, новым в правописании Тредиаковского является окончание *-и*, которое не соответствует репертуару русских окончаний (*-е* и *-я*) и в то же время непосредственно соответствует церковнославянскому окончанию с тем же значением: если окончание *-е*, отсутствующее в церковнославянском, является специфически русским[74], то окончание *-и*, напротив, является специфически церковнославянским[75] (окончание *-я* нейтрально в этом отношении, соответствуя и русскому, и церковнославянскому набору показателей). Естественно, что именно окончание *-и* оказывается наиболее значимым моментом в правилах Тредиаковского, который определяет восприятие его правописания. На этом окончании и сосредоточивают свою критику противники Тредиаковского (в частности, Ломоносов — в «Примечаниях на предложение [Тредиаковского] о множественном окончании прилагательных имен», в § 119 «Российской грамматики» и, наконец, в стихотворении «Искусные певцы…»).

Таким образом, вопрос о правописании прилагательных получает принципиальное значение, выступая как признак языковой ориентации (в рамках оппозиции: церковнославянское — русское). Во всяком случае именно так воспринимал эту проблему Тредиаковский. Чрезвычайно характерно в этом смысле доношение Тредиаковского в Академию наук от 28 сентября 1758 г., где Тредиаковский объясняет, почему он перестал ходить в Академию: «ненавидимый в лице, — говорит о себе Тредиаковский, — презираемый в словах, уничтожаемый в делах, охуждаемый в искусстве, прободаемый сатирическими рогами, изображаемый чудовищем, еще и во нравах (что сего безсовеснее?) оглашаемый, всеж то или по злобе, или по ухишрению, или по чаянию от того пользы, или наконец его собственной потребности, чтоб употребляющаго меня праведно и с твердым основанием (*и*), в окончаниях прилагательных множественных мужеских целых, всемерно низвергнуть в пропасть безславия, всеконечно уже́ изнемог я в силах к бодрствованию: чего ради и настала мне нужда уединиться» (Пекарский, 1866, с. 179; Пекарский, II, с. 208–209). Итак, Тредиаковский считает предложенное им правописание одной из основных своих заслуг и, вместе с тем, видит в нем одну из главных причин тех преследований, которым ему приходится подвергаться.

ПРИМЕЧАНИЯ

[1] «Разныя стиходействии» — рукопись 1770-х гг. библиотеки Казанского ун-та № 4542, IV/1 (старый № 19953).

[2] РГАДА, ф. 199 (Портфели Миллера), № 150, ч. I, д. 20, л. 9 об. – 10 об. Миллеровский список является и более ранним (интересующее нас стихотворение написано на бумаге с водяными знаками 1761 г. — Клепиков, 1978, № 745), и гораздо более исправным; таким образом, соединение двух списков в издании «Поэты XVIII века» (к тому же с точно не оговоренными конъектурами) текстологически никак не оправдано. В дальнейшем мы цитируем данную эпиграмму именно по списку Миллера; при этом в цитатах мы несколько модернизируем орфографию и расставляем знаки препинания в соответствии с современными нормами. В приложении к настоящей работе миллеровский список воспроизводится полностью — с точным соблюдением правописания и пунктуации (см. Прилож. I).

[3] Так, еще в «Риторике» 1748 г. Ломоносов писал (в § 165): «Что до чтения книг надлежит, то перед прочими советую держаться книг церковных (для изобилия речений, не для чистоты)» (Сухомлинов, III, с. 219–220; Ломоносов, VII, с. 237). Примечательна эта оговорка: Ломоносов еще далек от того, чтобы связывать чтение церковных книг с чистотой российского слога, как он это делает впоследствии в рассуждении «О пользе книг церьковных…»; правда, в рукописном тексте «Риторики» данная оговорка отсутствует, но тем более знаменательно, что она появляется в печатном издании 1748 г. (см.: Сухомлинов, III, примеч., с. 209). Между тем, Тредиаковский уже в первой половине 1750-х гг. говорит о пользе чтения церковных книг для овладения правильным русским слогом («Письмо от приятеля к приятелю», 1750 г. — Куник, 1865, с. 496) и рассматривает церковнославянский язык как «меру чистоты» русской речи.

[4] Как будет показано ниже, под «избранными словами» имеются в виду славянизмы (см. примеч. 44).

[5] Церковнославянско-русские соответствия, которые фигурируют в этом пассаже, отчасти повторяют тот набор соответствий, которые даются Тредиаковским в «Мнении… о диссертации господина профессора Миллера» 1750 г.: Тредиаковский писал здесь, что «язык наш стал славенороссийским [из „славенского“, т. е. церковнославянского], для того что уже́ он начал принимать слова́ варяжския, то есть Российския, каковы, может быть, *лоб* вместо *чела́*, *вор* вместо *татя*, *глаз* вместо *ока*, *рот* вместо *уста́*, *губы* вместо *устне*, *изба* вместо *клеть*, *крик* вместо *вопль*, и прочия премногия…» (Пекарский, II, с. 246).

[6] В статье о правописании прилагательных 1755 г. Тредиаковский отмечает, что окончание прилагательных мужского рода в именительном падеже множественного числа на *-е* введено в Академической типографии в 1733 г. каким-то лицом, которого Тредиаковский не называет по имени (Пекарский, 1865, с. 103, 107, 109). Адодуров служил в это время при Академии наук и специально занимался в 1730-е гг. вопросами русской гражданской орфографии (см.: Успенский, 1975, с. 28 и сл.). Вместе с тем, в грамматическом очерке Адодурова 1731 г. правописание прилагательных еще не соответствует данной норме (см.: Адодуров, 1731, с. 29–30). В пространной грамматике Адодурова 1738–1740 гг., дошедшей до нас в шведском переводе Михаила Грёнинга (см. об этом: Успенский, 1975),

правила правописания прилагательных соответствуют правилам 1733 г. (см. изд.: Грёнинг, 1750, с. 107, 110–111).

Правописание прилагательных во множественном числе, кодифицированное правилами 1733 г. (противопоставляющее формы мужского рода с окончанием *-е* и формы женского и среднего родов с окончанием *-я*), впервые фиксируется в грамматике Жана Сойе (*Jean Sohier.* Grammaire et Methode Russes et Françoises, рукопись парижской Национальной библиотеки, Ms. Slave 5), написанной в Париже в 1724 г. при участии какого-то русского информанта (см.: Успенский, 1987, с. XII). Грамматика Сойе, предназначенная для иностранной (французской) аудитории и к тому же не опубликованная, не могла, конечно, оказать влияние на кодификацию русской орфографии. Не исключено, однако, что неизвестный нам русский сотрудник Сойе позднее имел какое-то отношение к орфографической реформе 1733 г., осуществленной в Академической типографии.

Значение орфографических норм, принятых в Академической типографии, определялось тем обстоятельством, что именно здесь первоначально была сосредоточена вся издательская деятельность по выпуску книг светского характера. После того как данная типография была основана, в октябре 1727 г. вышло постановление о распределении функций между типографиями. Согласно этому постановлению, все церковные книги должны были печататься в Москве в Синодальной типографии, а светские книги — в Петербурге в типографии Академии наук; указы должны были печататься в типографии Сената (см.: Юферов и Соколовский, 1929, с. 9; Гаврилов, 1911, с. 131; Шицгал, 1974, с. 49). Таким образом, правописание, принятое в Академической типографии, фактически регламентировало в это время русское гражданское правописание.

[7] Вопрос о правописании прилагательных в свете оппозиции русского и церковнославянского специально рассматривается нами в Прилож. II.

[8] Критерию благозвучия Ломоносов придавал вообще большое значение. В наброске плана к статье «О нынешнем состоянии словесных наук в России» (1756–1757 ?), посвященной проблемам «чистоты российского штиля», Ломоносов вторым пунктом помечает: «[Против] какофонии» (Берков, 1936, с. 158; Ломоносов, VII, с. 581), видя таким образом в какофонии одно из основных препятствий к чистоте стиля. Об этом же говорится и в ломоносовских риториках 1744 г. (§ 113) и 1748 г. (§ 170), где Ломоносов специально предупреждает, между прочим, против соединения «гласных литер одного или подобнаго звона» (Сухомлинов, III, с. 61–62, 222; Ломоносов, VII, с. 64–65, 240).

Необходимо иметь в виду вместе с тем, что Ломоносов склонен был приписывать звукам определенные семантические или эмоциональные характеристики. Так, в риторике 1748 г. он говорит (в § 172): «В Российском языке, как кажется, частое повторение писмени *а* способствовать может к изображению великолепия, великаго пространства, глубины и вышины, также и внезапнаго страха; учащение писмен *е*, *и*, *ѣ*, *ю*, к изображению нежности, ласкательства, плачевных или малых вещей. Чрез *я* показать можно приятность, увеселение, нежность и склонность; чрез *о*, *у*, *ы*, страшныя и сильныя вещи, гнев, зависть, боязнь и печаль» (Сухомлинов, III, с. 223, ср. примеч., с. 451; Ломоносов, VII, с. 241). Совершенно так же Ломоносов полагает, что тому или иному стихотворному размеру присуща специфическая эмоциональная окраска, определяющая обязательность сочетания его с той или иной тематикой: так, ямбу приписывается благородство, и поэтому он должен применяться в героическом стихе, тогда как хорей связан с любовными чувствами и потому уместен в элегиях (Тредиаковский, 1744, с. 3–5; Куник, 1865, с. 421–

422; Тредиаковский, 1963, с. 421–422; ср.: Гуковский, 1928, с. 128; Гуковский, 1962, с. 95–98; Томашевский, 1959, с. 333–334). Как благозвучие, так и эмоциональная окраска выступают при этом у Ломоносова как онтологически заданные категории, изначально присущие в том или ином сочетании.

[9] Соответственно, Сумароков в статье «К несмысленным рифмотворцам» (1759), полемизируя с Ломоносовым, выводит его противником буквы *и*: «Не знаю кому, или лутче не хочу сказать кому, не показалася Литера I. и того же произношения Литера И; и для того уставил он новое и странное правило очень часто пременяти ее в Литеру Е. А то еще и странняе, что многия правилу сему, ни на естестве языка, ни на древних книгах, ни на употреблении основанному, следуют, то только в доказательство приемля: *Тако сказал Пифагор*; а Пифагор Московскаго наречия не знает; ибо он родился в деревне такова уезда, где говорят не только крестьяня, но и дворяня очень дурно; а мы Москвитяня должны ли сему правилу повиноваться, хотя бы оно золотыми Литерами напечатано было? *Достоин* называется *Достоен*, *Бывшій Бывшей* и пр. Все которыя в Русском языке сильны, в опровержении сего со мною согласны; не отрава ли такия правила нашему языку?» (Сумароков, IX, с. 278–279). Почти в тех же выражениях Сумароков говорит о Ломоносове в статье «О правописании» (1768–1771 гг. — Сумароков, X, с. 6–7, ср. еще с. 16, 24, 28, 37), а также в примыкающей заметке «Примечание о правописании» (не ранее 1773 г. — там же, с. 38). В этой последней заметке Сумароков защищает форму *облаки*, отвергаемую Ломоносовым: «Надобно знати, когда написать *Облака*, и когда *Облаки*…» (там же, с. 45). Здесь же Сумароков выступает и в защиту инфинитивов на *-ти*, что также, видимо, в какой-то мере объясняется полемикой с ломоносовской грамматикой: «Глаголы *любити*, *слышати* и протч. в неопределенном без вольности ТИ, а по вольности, приятой и утвержденной ко красоте языка *любить* могут великое производить изобилие и легкость, *Любить хвалу* хуже, нежели *любити хвалу*» (там же, с. 43). Не обязательно, вообще говоря, видеть в данном случае ориентацию на церковнославянский, поскольку в XVIII в. формы на *-ти* не были чужды разговорному языку. Барсов в своей грамматике 1783–1788 гг. рассматривает подобные формы как черту «городского выговора» (впрочем, не московского!): «В новейшия времена покусились некоторые и кроме стихов и проч. употреблять *ти* вместо *ть*, да еще и в комедиях и проч. Но в сем случае оное есть не иное что как городской а не московской выговор; при том же и употребляют оное большая часть не постоянно и без всякаго, как видно, и для самих себя пра́вила» (Барсов, 1981, с. 592); при этом «городской выговор» Барсов противопоставляет вообще литературному произношению (там же, с. 57). Скорее всего, Барсов говорит в данном случае о Сумарокове.

[10] Этому не противоречит то обстоятельство, что форма *истинныи* в данном случае предстает у Ломоносова — вопреки Тредиаковскому — как форма среднего, а не мужского рода. Это объясняется тем, что одновременно (в том же параграфе грамматики) Ломоносов протестует против неправильного, с его точки зрения, образования именительного падежа множественного числа существительных среднего рода на *-и*, а не на *-я*, типа «*учрежденіи*, вместо *учрежденія*». Таким образом, выражение *истинныи извѣстіи* оказывается сугубо и утрированно неправильным: здесь демонстративно соединяются две неправильные по своему образованию формы — неправильная форма прилагательного и неправильная форма существительного. Что касается Тредиаковского, то форма *истинныи*, с его точки зрения, является формой мужского рода, тогда как форму *извѣстіи* он также признает неправильной (см. об этом ниже, примеч. 51).

[11] Последние строки этой эпиграммы перекликаются с притчей Сумарокова «Сова и Рифмач», где Тредиаковский выведен в образе совы (Сумароков, VII, с. 49; Сумароков, 1957, с. 203–204). Скорее всего, образ совы у Сумарокова непосредственно восходит к цитированным ломоносовским стихам; если это так, то сумароковская притча была написана не ранее конца 1753 г. (когда была создана эпиграмма Ломоносова). П. Н. Берков датирует эту притчу 1752 г., связывая ее с выходом в свет «Сочинений и переводов» Тредиаковского (см.: Сумароков, 1957, с. 204, 540).

Замечание Ломоносова о «нежности» московского аканья (ср. отчасти сходное замечание в § 115 ломоносовской грамматики — Сухомлинов, IV, с. 52–53; Ломоносов, VII, с. 430) фактически повторяет высказывание Тредиаковского в «Разговоре об ортографии» 1748 г., по словам которого «нежнейший московский выговор необходимо произносит… (о) как (а)» (Тредиаковский, 1748, с. 305; Тредиаковский, III, с. 207); ср.: Успенский, 1975, с. 67, примеч., и с. 12. Эпитет *нежный* — обычная характеристика русского языка в его противопоставленности церковнославянскому (см.: Успенский, 1975, с. 67, примеч.; Лотман и Успенский, 1975/1996, с. 477 и сл.). Если Тредиаковский в рассматриваемой эпиграмме называет «нежными» славянизмы (ср.: «Увидит, что там *злой* кончится нежно *злый*»; «Священна книга вся сих нежностей полна»), то это объясняется именно тем, что данная эпиграмма соотносится со стихами Ломоносова и полемически им противопоставлена: Тредиаковский как бы заимствует эпитет *нежный* из ломоносовского стихотворения, но прилагает его не к русской, а к церковнославянской языковой стихии. Впрочем, уже в «Разговоре об ортографии» 1748 г. Тредиаковский замечает, что способность различать *е* и *ѣ* есть свойство «нежного слуха» (Тредиаковский, 1748, с. 194; Тредиаковский, III, с. 128) — при том, что описываемый им принцип различения в чтении этих букв соответствует церковному произношению (см.: Успенский, 1968, с. 29 и сл., с. 54 и сл.; Успенский, 1971а, с. 13–15); соответственно, и в «Письме от приятеля к приятелю» 1750 г. такие формы, как *подобьем*, *твоей державы*, *любезной дщери*, вместо *подобіем*, *твоея державы*, *любезныя дщери*, характеризуются Тредиаковским как «досадные нежному слуху» (Куник, 1865, с. 450, 456, 462).

Вообще о восприятии аканья в XVIII в. см.: Успенский, 1983/1994, с. 200–202.

[12] Представляется очевидным недоразумением утверждение Моисеевой (1973, с. 60), что эти стихи Тредиаковского представляют собой ответ не на цитированную эпиграмму Ломоносова, но на «Сатиру на Елагина», приписываемую Поповскому; в свою очередь, эпиграмма Ломоносова («Искусные певцы…») совершенно безосновательно объявляется здесь ответом на рассматриваемое стихотворение Тредиаковского («Не знаю, кто певцов в стих вкинул сумасбродный…»). Статья Моисеевой обнаруживает явную некомпетентность ее автора.

[13] В этом пассаже может быть усмотрена полемика с сумароковской эпистолой о русском языке (см. ниже, примеч. 38). Выражение *красные сочинения* у Тредиаковского — конечно, калька с франц. *belles-lettres* (это выражение Тредиаковский употребляет и в «Письме от приятеля к приятелю» — Куник, 1865, с. 474). В других случаях Тредиаковский может передавать *belles-lettres* как *красное письмо* (в том же трактате о прилагательных — Пекарский, 1865, с. 107) или *красная Словесность* (в предисловии к «Тилемахиде» — Тредиаковский, 1766, с. LIII, примеч.; Тредиаковский, II, 1, с. LXVI, примеч.).

[14] В предисловии к этому трактату Тредиаковский сообщает, что он был сочинен в связи с публикацией какой-то его статьи в журнале «Ежемесячные сочинения, к пользе и

увеселению служащие», издаваемом при Академии наук: по его словам, при обсуждении этой статьи в Академии орфография ее вызвала дискуссию, т. е. возникло сомнение в целесообразности отступления от правил, принятых в академических изданиях, — что и послужило поводом для специального рассуждения, призванного обосновать правомерность орфографии такого рода (Пекарский, 1865, с. 102; Сухомлинов, IV, примеч., с. 25). «Ежемесячные сочинения» начали выходить с января 1755 г.; статьи Тредиаковского опубликованы в мартовской и июньской книжках за этот год, причем в обеих статьях сохраняется правописание автора (Неустроев, 1874, с. 50–51; Пекарский, II, с. 177; в февральской книжке было опубликовано еще стихотворение Тредиаковского, но оно непоказательно в отношении правописания). Вместе с тем, первая их этих статей («Об истине сражения у Горациев с Куриациями…») была прочитана Тредиаковским на заседании академической Конференции 15 февраля 1755 г. (Прот. АН, II, с. 322), т. е. уже после рассмотрения статьи о прилагательных (вторая статья — «О древнем, среднем и новом стихотворении Российском» — была прочитана им 5 апреля 1755 г., см.: там же, с. 326). Таким образом, заявление Тредиаковского не соответствует действительности: трактат о правописании прилагательных был написан независимо от других статей Тредиаковского, однако опубликование этих статей рассматривалось им как повод для публикации данного трактата. (Следует к тому же иметь в виду, что в «Предуведомлении» к «Ежемесячным сочинениям» специально оговаривалось намерение издателей допускать «разность в слоге», что, очевидно, предусматривало возможность и разнообразия в правописании, — «Ежемесячные сочинения», 1755, январь, с. 10–11.)

Рассуждение Тредиаковского о правописании прилагательных предназначалось для печати и было даже начато набором; оно должно было появиться в августовской книжке «Ежемесячных сочинений» за 1755 г., однако было отвергнуто редактором журнала, профессором Миллером. 15 ноября 1755 г. Тредиаковский подает в Академию наук жалобу на Миллера, обвиняя редактора академического журнала в том, что тот отказывается его печатать. Здесь, между прочим, говорится: «… Сочинения, которыя уже удостоены вами печати и давно изготовлены для занятия места в наших Эфемеридах, он, профессор Мюллер, презрительно пренебрегает, так что по учиненной автором корректуре перваго, как говорится, набраннаго с письма и напечатаннаго листа, выбрасывает оныя яко недостойныя: ибо сочиненьеце мое о российском окончании в множественном числе имен прилагательных, здесь чтенное и удостоенное, также мною подправленное на первом напечатанном листе, которому надлежало иметь место в месяце августе, и до ныне не является, а лежит презренно и брошенно профессором Мюллером» (Пекарский, II, с. 195). И позднее в своем доношении в Академию наук от 28 сентября 1758 г. Тредиаковский вспоминает о «Разсуждении… об окончании наших прилагательных множественных мужеских имен, которое не токмо аппробовано, но уже́ начато было и печатию производиться [в „Ежемесячных сочинениях“]: однако брошено и уничтожено, да и где оно ныне, не знаю» (Пекарский, 1866, с. 178; Пекарский, II, с. 183).

[15] Невозможно согласиться с мнением Пекарского (II, с. 178), Сухомлинова (II, примеч., с. 136–137), Модзалевского (1937, с. 83) и других исследователей, которые видят в сатире Ломоносова («Искусные певцы…») отклик на орфографию статей Тредиаковского, помещенных в «Ежемесячных сочинениях»; тогда приходится считать, что она написана не ранее 1755 г., в результате чего отодвигается и дата написания ответной эпиграммы Тредиаковского, так же как и его трактата о правописании прилагательных. Аргументация Г. П. Блока, датирующего стихи Ломоносова ноябрем 1753 г. (см.: Ломоносов, VIII, с. 1016, 1024), представляется вполне убедительной.

[16] Ср., например, в «Разговоре об ортографии» 1748 г.: «Оно [употребление] так есть благорассудное, что ежели ему и случится нечто переменить в языке, или новое ввесть, не переменяет и не вводит просто и устремительно; но прежде справливается с своими уставами, … не будет ли та перемена, или какое новое введение, противно природе того языка, чье есть употребление» (Тредиаковский, 1748, с. 315–316; Тредиаковский, III, с. 214); здесь же Тредиаковский говорит «о первоначальной древности нашего языка, в котором хотя ужé и многие… находятся перемены; однако всегда в нем одно и тож пребывает свóйство» (Тредиаковский, 1748, с. 292; Тредиаковский, III, с. 197). В трактате о правописании прилагательных 1755 г. читаем: «Нет всеобщаго употребления, как-бы-оно-по-различию-времен-ни-различáлось [т. е. к какой бы эпохе в эволюции языка оно ни относилось], которое-всеконéчноб противно было всеобщему свóйству того язы́ка, в коем-оно употреблéнием: ибо, в противном случае, нé былоб ужé оно употреблением живущаго язы́ка, но всесовершенным его истреблением» (Пекарский, 1865, с. 107). В первой редакции статьи о прилагательных (1746) эта мысль формулируется так: «Коль ни пременяемое само в себе есть употребление, по прошествии нескольких лет, однако никогда не бывает в нем такия перемены, которая бы всеконечно противна была природе того языка, котораго она ввелась в употребление. Инако, не была бы она употреблением переменившемся в том языке, но совершенным онаго истреблением» (Вомперский, 1968, с. 88; Сухомлинов, IV, примеч., с. 17). При таком подходе задача кодификатора — вывести те или иные закономерности, определяющие природу данного языка, с точки зрения которых и следует оценивать все нововведения в языке.

[17] О форме *иль* как о поэтической вольности (licence) Тредиаковский упоминает уже в «Новом и кратком способе к сложению Российских стихов» 1735 г. (Тредиаковский, 1735а, с. 17; Куник, 1865, с. 31; Тредиаковский, 1963, с. 378). Замечательно вместе с тем, что если в 1755 г. для него является «вольностью» «*спать*, вместо *спати*» (Пекарский, 1865, с. 106), то в 1735 г. его позиция прямо противоположна и поэтическими «вольностями» объявляются «*пишеши*, вместо *пишешь*, и *писати*, вместо *писать*» (Тредиаковский, 1735а, с. 16; Куник, 1865, с. 31; Тредиаковский, 1963, с. 377). Это наглядно демонстрирует ту эволюцию взглядов Тредиаковского на литературный язык, о которой мы говорили выше (см. § **1** наст. работы): в 1730-е гг. Тредиаковский в принципе ориентируется на разговорное употребление и, соответственно, исходит из русских форм, трактуя славянизмы как возможное отклонение от языковой нормы (допустимое в поэтическом тексте); напротив, в 1750-е гг. он в принципе ориентируется на церковнославянский язык и, соответственно, в качестве отклонения от нормы может расценивать русизмы.

Не случайно во второй редакции трактата о стихотворстве (1752) Тредиаковский исключает из раздела о поэтических «вольностях» все конкретные примеры, ограничиваясь лишь общими фразами (см.: Тредиаковский, 1752, I, с. 141–142; Тредиаковский, I, с. 165–166).

[18] Впрочем, в одном случае Тредиаковский, кажется, попутно задевает и Ломоносова (см. ниже, примеч. 50).

[19] Жалобы на плохое зрение — частый мотив в письмах Сумарокова, см., например: Письма XVIII в., с. 115, 121, 123, 124.

[20] Как отмечает Г. А. Гуковский (1962, с. 73), обычаи того времени легче допускали «самые резкие нападки и брань по адресу литературных неприятелей, чем открытое

указание их имен». Тредиаковский в «Новом и кратком способе к сложению Российских стихов» (1735) учил: «В Сатирических Эпи́столах так должно человека хулить, чтоб только худыя его дела́ порочить, и то не без закрышек и не без отверниц, укрывая, как можно, имя, и все то, по чему можно догадаться, что то конечно и точно о сем, а не о другом человеке пишется» (Тредиаковский, 1735a, с. 35; Куник, 1865, с. 42); слово *отверница* означает здесь ʻусловный, тайный языкʼ (это слово в данном значении зафиксировано в XVII в. в записях Исаака Массы и Ричарда Джемса, см.: Масса, 1937, с. 77 и 194, примеч. 98; Ларин, 1959, с. 156; к его этимологии см.: Архипов, 1982, с. 14, а также Архипов, 1980, с. 82). Ср., между прочим, характерный протест Сумарокова против нарушения данного правила: в письме Екатерине II от 4 марта 1770 г. Сумароков пишет о А. П. Шувалове: «он и явственно меня, о т х о д я о т п р а в и л к р и т и к и, по Парнасу ругал; а я еще молчу, хотя и не должен» (Письма XVIII в., с. 138). Отметим еще в этой связи доношение Тредиаковского в канцелярию Академии наук от 12 октября 1748 г., где речь идет о сумароковской «Эпистоле о русском языке»: «В ней толь великое чтется язвительство, что не пороки пишушчих больше пятнаются, сколько сами писатели, так что и звательный падеж одного употреблен, и только что не собственное имя, по примеру, так называемыя древния Аристофановы комедии, которая впрочем в Афинах тогда на́крепко запрешчена была начальствуюшчими, как мы видим из истории…» (Мат. АН, IX, № 579, с. 473; Пекарский, II, с. 131); Тредиаковский имеет в виду, по-видимому, «Облака» Аристофана (ср. упоминание этой комедии в аналогичном контексте у Буало в «L’art poétique», песнь III).

[21] Вероятно, к этой эпиграмме восходят стихи о Сумарокове, которые цитирует Берков (1962, с. 368), не называя автора и не ссылаясь на источник: «Который рыж, заика и мигун». Берков считает — на основании этих строк, — что Сумароков был болен тиком, однако привычка мигать, скорее всего, объясняется болезнью глаз.

[22] Отвечая на этот выпад, Сумароков писал в своем «Ответе на Критику»: «О каком он говорит биении серца, того я не понимаю…» (Сумароков, X, с. 93), — признавая, тем самым, что прочие намеки Тредиаковского ему понятны.

[23] Тредиаковский, заручившись поддержкой Синода, пытался напечатать «Феоптию» в московской Синодальной типографии, однако эта попытка не увенчалась успехом (см.: Пекарский, II, с. 204–205; Тредиаковский, 1963, с. 507–509; О Феоптии, 1851, с. 536–552; А. Шишкин, 1989). Как предполагает А. Б. Шишкин (1989, с. 531, 533), нежелание московской Синодальной типографии печатать «Феоптию» (отразившееся и в цитированном доношении московской Синодальной конторы) обусловлено тем обстоятельством, что во главе этой типографии стоял тогда М. М. Херасков: в литературной борьбе Сумарокова и Тредиаковского Херасков, конечно, был на стороне Сумарокова, что, видимо, и решило судьбу «Феоптии».

[24] Ср., между тем, описание Ломоносова в сумароковской притче:

Ворчал,
Мичал,
Рычал,
Кричал,
На всех сердился…

(Сумароков, VII, с. 69; Сумароков, 1957, с. 208)

[25] Выражение *горазд лгать, да не мигать* в цитированных стихах может относиться именно к Тредиаковскому, который объединяется у Ломоносова с Сумароковым по признаку лганья, но противопоставляется по признаку миганья (лжет, как Сумароков, но не мигает, ср.: Успенский, 1973/1996, с. 278). В той же ломоносовской эпиграмме 1759 г. («Злобное примирение…») между прочим читаем:

Аколаст [= Сумароков] написал:
Сотин [= Тредиаковский] лишь врать способен,
А ныне доказал, что сам ему подобен.

При этом имеется в виду фраза из «Эпистолы о стихотворстве» Сумарокова 1748 г., где речь идет о том, что Тредиаковский «лишь только врать способен» (Сумароков, I, с. 347; Сумароков, 1957, с. 125). Если считать, что глагол *лгать* в стихотворении Ломоносова «О сомнительном произношении…» заменяет собой близкий по значению глагол *врать* в цитированной фразе Сумарокова, то можно усмотреть здесь совершенно определенное указание на то, что выражение *горазд лгать, да не мигать* относится именно к Тредиаковскому. Точно так же и выражение *ногти огрызать*, кажется, намекает опять-таки на Тредиаковского, ср. «Сатиру на самохвала» И. С. Баркова (1752 ?), направленную, как предполагают, против Тредиаковского:

Бегает тебя всяк: думает, что еретик,
Что необычайны шутки делать ты обык.
Руки на лоб иногда невзначай закинешь,
Иногда з а к у с и ш ь п е р с т, да вдруг и вынешь…
(Поэты XVIII в., II, с. 371)

Между тем, сам Тредиаковский, обсуждая вопрос о рифмах в предисловии к «Тилемахиде» (1766), говорит о себе: «могу… без вертопрашнаго тщеславия сказать, что приобрел я в приискании себе их, не грызя ногтей и без поражения ладонию челá, некоторый нáвык…» (Тредиаковский, 1766, с. LV; Тредиаковский, II, с. LXVIII). Не исключено, что Тредиаковский реагирует здесь именно на «Сатиру на самохвала».

[26] Ср. тот же мотив в письме Сумарокова к Г. В. Козицкому от 24 июля 1769 г.: «А я едва вижу, так мои глаза испорчены, и думаю, что и я скоро буду Омиром в рассуждении глаз, как некий Вас. Петров в рассуждении высокого склада к чести нашего века» (Письма XVIII в., с. 123). Отметим, что Сумароков, как правило, употреблял форму *Гомер*, а не *Омир*: в связи с упоминанием высокого слога форма *Омир* звучит пародийно-иронически. Сопоставление Сумарокова с Гомером по признаку плохого зрения было, по-видимому, избитой остротой.

[27] Прозвище *Аколаст* в цитированных эпиграммах восходит, по-видимому, к стихотворению Ломоносова «Злобное примирение господина Сумарокова с господином Тредиаковским» (1759); таким образом, эти эпиграммы написаны не ранее 1759 г.

[28] В первых версиях комедии Мольера имя героя звучало ближе к его прототипу: *Tricotin*, и только впоследствии изменилось оно в *Trissotin*; в последнем случае обыгрывается корень *sot-* ‘глупый’, т. е. *Trissotin* как бы равносильно *Trois fois sot*.

[29] Ломоносов пользуется подобной кличкой и позднее: так, в «Злобном примирении господина Сумарокова с господином Тредиаковским» (1759) он называет Тредиаковского *Сотином*:

С Сотином — что за вздор? — Аколаст примирился!
(Сухомлинов, II, с. 158; Ломоносов, VIII, с. 659)

Имя *Сотин* — конечно, результат усечения от *Трисотин*.

Тредиаковский именуется «Тресотином» и в приписываемой Ломоносову «Оде Тресотину», написанной в связи с ломоносовским «Гимном бороде» 1757 г. (см.: Сухомлинов, II, примеч., с. 179–182; Ломоносов, VIII, с. 826–829). Ломоносовский «Гимн бороде» спровоцировал в том же 1757 г. направленные против Ломоносова письма, написанные будто бы Христофором Зубницким. Хотя, как доказал Перетц (1911, с. 85–86), письма эти не были написаны Тредиаковским, Ломоносов, как, по-видимому, и другие, приписывал их Тредиковскому (см. ломоносовскую эпиграмму «Зубницкому» 1757 г., явно обращенную к Тредиаковскому, — Сухомлинов, II, с. 142; Ломоносов, VIII, с. 630). Следствием этого и явилась «Ода Тресотину».

[30] В последних строках может быть усмотрен намек на «Разговор об ортографии» Тредиаковского (1748), где формулируется требование исключить из гражданского алфавита букву «земля» (*з*) и последовательно писать вместо нее «зело» (*s*) (Тредиаковский, 1748, с. 54–55, 136–138, 361, примеч.; Тредиаковский, III, с. 34, 87–89, 248, примеч.); сам Тредиаковский придерживался этой орфографии, и при печатании «Разговора об ортографии» специально для этой книги была изготовлена прописная буква *S* (Пекарский, II, с. 121; Успенский, 1975, с. 209, примеч. 45). Соответственно, в «Тресотиниусе» Сумароков заставляет Тресотиниуса, т. е. Тредиаковского, спорить с подьячим, настаивая на таком правописании: «Тресотиниус. Тут поставь зело. Подьячий. Благодетель мой, у нас зела в приказах не пишут; ныне зела и в писменных азбуках нет. Тресотиниус. Я хочу, и действительно хочу, чтоб стояло зело, а не земля» (Сумароков, V, с. 319). Ср. еще: «Подьячий. Да как знал я, что и зело, а не землю в заглавии написал. Тресотиниус. Покажи. Хорошо, вижу, вижу, хорошо и смотреть нечево, и все написано по орфографии. Видно, что в тебе путь есть. Достоин ты секретарем быть» (там же, с. 320–321). Сам Сумароков в статье «О правописании» (1768–1771) выступает противником буквы «зело» (Сумароков, X, с. 10–11), критикуя при этом орфографические рекомендации Тредиаковского.

Вообще Тредиаковский изображен в «Тресотиниусе» как педант, который рассуждает о буквах (имеется в виду, конечно, «Разговор об ортографии»): в частности, он заявляет себя приверженцем «тверда об одной ноге» и противником «треножного тверда». В присочиненной Тредиаковским «новой сцене» к «Тресотиниусу» выведен Сумароков (см. § **8** наст. работы), причем Тресотиниус говорит ему: «Как бы я вам не сказал тако́ва одноножнова тверда, которое будет зело, зело, зело твердо» (Куник, 1865, с. 498). Слова Тресотиниуса у Тредиаковского полемически противопоставлены все тем же стихам сумароковской «Эпистолы о русском языке» («зело, зело, зело, дружок мой ты искусен…») и должны восприниматься именно на этом фоне: если Сумароков обыгрывает двойное значение слова *зело*, то Тредиаковский обыгрывает двойное значение слова *твердо* — у того и у другого автора соответствующее слово выступает и как название буквы, и как наречие.

Сходным образом в «Ответе на Критику» (1750), полемизируя с Тредиаковским и отстаивая «употребительную» форму *братьев* (вместо формы *братiй*, которую рекомендует Тредиаковский в «Письме от приятеля к приятелю»), Сумароков пишет, пародируя стиль Тредиаковского: «зело зело братьев я здесь в угодность ево положил много» (Сумароков, X, с. 97). Выражение *зело зело* становится, таким образом, опознавательным сиг-

налом, обозначая полемическую направленность против Тредиаковского; соответственно, на основании позднейших примеров проясняется и смысл данного сочетания в «Эпистоле о русском языке».

[31] Это место цитирует впоследствии Ломоносов в эпиграмме «Злобное примирение господина Сумарокова с господином Тредиаковским» (1759), называя при этом Сумарокова «Аколастом», а Тредиаковского — «Сотином»:

Аколаст написал: «Сотин лишь врать способен»,
А ныне доказал, что сам ему подобен.

(Сухомлинов, II, с. 158; Ломоносов, VIII, с. 659)

Между тем, в стихотворении «На сочетание стихов Российских» Ломоносов непосредственно называет Тредиаковского именем «Штивелий» (Сухомлинов, II, с. 287; Ломоносов, VIII, с. 543). Скорее всего, Ломоносов воспользовался прозвищем, заимствованным у Сумарокова. Мы не знаем, однако, когда было написано это последнее стихотворение Ломоносова, представляющее собой отклик на стиховедческий трактат Тредиаковского 1735 г. и непосредственно перекликающееся с ломоносовским «Письмом о правилах Российского стихотворства» 1739 г. (Ломоносов, VII, с. 16; Сухомлинов, III, с. 9–10; ср.: Сухомлинов, II, примеч., с. 390–391): в принципе не исключено, что оно предшествует сумароковской эпистоле, и тогда надо полагать, что не Ломоносов заимствовал данное прозвище у Сумарокова, а наоборот — Сумароков у Ломоносова. Правда, Тредиаковский в «Письме от приятеля к приятелю» упрекает именно Сумарокова, а не Ломоносова, в заимствовании данного имени у Гольберга: «Автор [Сумароков] толь мал в вымысле, что ни имен для смеха выдумать от себя не мог: его и Штивелиус в Эпистоле о стихотворстве так же чужой, а именно из… Голберга» (Куник, 1865, с. 442); Берков (1936, с. 96) видит здесь явное указание на то, что сумароковская эпистола предшествовала упомянутому стихотворению Ломоносова, — в противном случае, по мнению Беркова, Тредиаковский не преминул бы упомянуть Ломоносова. Но «Письмо…» Тредиаковского посвящено всецело и исключительно критическому рассмотрению творчества Сумарокова (к Ломоносову, напротив, Тредиаковский выказывает здесь крайнее уважение, противопоставляя его Сумарокову, — Куник, 1865, с. 467, 476): Тредиаковскому важно в данном случае указать, что Сумароков не оригинален в своем творчестве. К тому же он вполне мог не знать о том, что Ломоносов является автором стихотворения «На сочетание стихов Российских». Вопрос, таким образом, остается открытым.

Именем «Штивелиус» по отношению к Тредиаковскому пользуется и Н. Н. Поповский в сатире «Возражение, или Превращенный петиметр» (1753), направленной против И. П. Елагина; Поповский цитирует при этом сумароковскую «Эпистолу о стихотворстве»:

Всей силой тщился ты то свету показать,
Что сам Штивелиус не может так соврать.

(Поэты XVIII в., II, с. 385)

Относительно авторства Поповского см.: Берков, 1936, с. 114–134; Модзалевский, 1958, с. 130–132; совершенно абсурдно предположение Моисеевой (1973, с. 58), что автором этой сатиры является Тредиаковский (!).

[32] *Магистр Штифелиус* (Magister Stiefelius) — имя педанта в немецком переводе комедии Гольберга «Jacob von Tyboe eller den stortalende Soldat», которая по-немецки называется «Bramarbas oder der groszsprecherische Officier»; в датском оригинале соответствующий персонаж носит имя Magister Stygotius (см.: Сухомлинов, II, примеч., с. 392–399).

[33] Ср. замечания Тредиаковского в «Письме от приятеля к приятелю» 1750 г. (Куник, 1865, с. 441, 442, 485) и возражения Сумарокова в «Ответе на Критику» 1750 г. (Сумароков, X, с. 102–103).

[34] В первоначальном варианте сумароковских эпистол наиболее резкие выпады против Тредиаковского отсутствовали; раздраженный отзывом Тредиаковского от 12 октября 1748 г., Сумароков усиливает свои «язвительства» (см.: Ломоносов, IX, с. 938–939). См. подробнее: Гринберг и Успенский, 1992/2002, с. 15–21; наст. изд., с. 228–232.

[35] *Как они* — германизм у Сумарокова: слово *как* калькирует нем. *als.*

[36] Ср. противопоставление русского и мордовского языка в позднейшем стихотворении Сумарокова «О французском языке», опубликованном в 1774 г.: говоря о недопустимости заимствований, Сумароков спрашивает: «Или уж наш язык мордовскова гнусняе?» (Сумароков, VII, с. 369; Сумароков, 1957, с. 192). Мордовский язык выступает как пример нелитературного языка — языка, лишенного литературной традиции.

[37] Характерен в этом плане следующий эпизод. В 1768 г. Сумароков представил И. П. Елагину, назначенному перед тем директором театров, свою трагедию «Вышеслав»; тот вернул ее, указав, что четыре стиха трагедии, противные «его нежному слуху», следует изменить (необходимо иметь в виду, что Елагин, бывший в свое время ревностным почитателем Сумарокова, стал к этому времени его врагом; впоследствии они помирились). Сумароков в письме к императрице от 15 августа 1768 г. находит эти притязания несостоятельными, ссылаясь на то, что Елагин не имеет «довольного знания во французском языке и никакого в поэзии» (Письма XVIII в., с. 111, ср. с. 202; Лонгинов, 1871, стлб. 1653). Итак, апелляция к «нежному слуху» в принципе предполагает владение французским языком: французский язык и французская языковая ситуация оказываются эталоном (моделью) для России.

[38] Ср. более широкий контекст:

Письмо, что грамоткой простой народ зовет,
С отсутствующими обычну речь ведет:
Быть должно без затей и кратко сочиненно,
Как просто говорим, так просто изъясненно,
Но кто не научен исправно говорить,
Тому не без труда и грамотку сложить.

Выражение *обычна речь* означает ʻразговорная речьʼ. Эти слова Сумарокова любопытно сопоставить с прямо противоположным заявлением Тредиаковского (в статье о правописании прилагательных 1755 г.), которое мы уже цитировали выше: «Никто не пишет ни письма́ о домашнем деле, чтоб он не тщался его написать отменнее от простаго разговора» (Пекарский, 1865, с. 109). Не исключено, что Тредиаковский и в данном случае полемизирует с эпистолой Сумарокова.

[39] И в другом, более позднем стихотворении — «Письме ко князю Александру Михайловичу Голицыну» (после 1769 г.?) — Сумароков бранит писателей, которые

… словами нас дарят
Какими никогда нигде не говорят.

(Сумароков, IX, с. 208; Сумароков, 1957, с. 302)

Эта фраза дается в контексте противопоставления «надутых» и «нежных» слов: эпитетом *надутый* квалифицируются высокие славянизмы, тогда как *нежный* характеризует разговорную языковую стихию (ср. выше, примеч. 11).

[40] Ср. совершенно такое же восприятие «Бовы» и у Ивана Сечихина, переводчика «Анфроскопии» (латинского физиогномического трактата). В предисловиях к своему переводу (1732) Сечихин заявляет себя приверженцем языковой программы молодого Тредиаковского и превозносит «Езду в остров Любви» (ГБЛ, ф. 29, № 47/1559, л. 1 об., 3–3 об.); при этом «Езда в остров Любви» противопоставляется «Бове» и — характерным образом — церковнославянской «Пчеле»: оба произведения объединяются в своей противопоставленности новой литературе и новому литературному языку. Так, в предисловии «К Зоилу» Сечихин выражает уверенность в том, что его труд не избежит нападок Зоила, поскольку тот перед тем осудил «Езду в остров Любви»: «Знать, деревенския бабы, на попрядуху собравшись, … с тобою конференцию имели и цензеровать тебя научали. Хорошо для вас книга о Бове Королевиче, в которои повествуются древния оныя о Лукопере исполине, преславном Полкане и Милитрисе истории; еще ж и книга Пчела, не знаю по истинне которым автором изданная, без всякого погрешения… яко благочестия своего наставница, апробации достойна, ис которои ты многия доводы в публичных деспутациах на свадбах у мужиков деревенских и у братины по празникам со учеными оными дьячками и пьяным клиром привести можешь» (там же, л. 4). Знаменательна ссылка на клириков, носителей церковной культуры, которые ассоциируются с деревенскими мужиками, постольку поскольку и те и другие принадлежат к патриархальной культуре.

Итак, и Сумароков и Сечихин воспринимают язык «Бовы» как книжный, противопоставляя его новому литературному языку, и это обусловлено ориентацией литературного языка на разговорное употребление. Списки «Бовы» разнородны в языковом отношении: язык «Бовы» варьируется от упрощенного церковнославянского с большим количеством русизмов до окнижненного русского, изобилующего славянизмами и архаизмами; как бы то ни было, в перспективе разговорной речи язык этот может восприниматься как книжный и даже ассоциироваться с церковнославянским.

Любопытно, что говоря о необходимости ориентироваться на Францию и на «весь политичный свет», Сечихин иронически замечает, обращаясь к Зоилу: «Разве ты у мордвы и чуваши инако научился?» (там же, л. 3 об.); как мы видели, противопоставление французского и мордовского языков представлено и в «Эпистоле о русском языке» Сумарокова. Общая установка может приводить, таким образом, к совпадениям, доходящим до деталей.

[41] Ср. выше (примеч. 11) об эпитете *нежный* как характеристике русского языка. Следует иметь в виду, что Сумароков может объединять — в перспективе живой русской речи — церковнославянский и приказный язык: не случайно такое слово, как *понеже*, — слово церковнославянского словаря, широко представленное в церковных книгах, — регулярно выступает у него как символ подьяческой речи.

Подобно Сумарокову, и М. Д. Чулков связывал «Бову» и «Петра Златых Ключей», так же как и другие повести такого же рода, именно с приказным сословием; не исключено, что это обусловлено прямым влиянием сумароковской эпистолы. Так, в журнале «И то и сьо» (1769, неделя 10, с. [5]) Чулков говорит о подьячем, который промышлял переписыванием книг: «По прекращении приказной службы, кормит он голову свою переписыванием разных историй, которыя продаются на рынке, как то например: Бову Королевича, Петра златых ключей, Еруслана Лазаревича, о Франце Венециянине, о Гери-

оне, о Евдоне и Берфе, о Арсасе и Размере, о Российском Дворенине Александре, о Фроле Скобееве, о Барбосе разбойнике и прочия весьма полезныя истории, и сказывал он мне, что уже сорок раз переписал историю Бовы Королевича…». См. вообще о восприятии этих произведений в XVIII в.: Кузьмина, 1964, с. 56–59, 187–193.

Отметим еще, что Лукин в предисловии к «Моту, любовию исправленному» (1765) указывает на язык повести о Еруслане Лазаревиче как на типичный пример дурной прозы, при том что в качестве примера плохой поэзии фигурируют у него стихи Шапелена (см.: Лукин, I, с. XXI; Лукин и Ельчанинов, 1868, с. 13); если упоминание «Шапеленских стихов» в этом контексте свидетельствует о влиянии Буало, то ссылка на повесть о Еруслане Лазаревиче определяется собственно русской литературной традицией — вполне возможно, что и Лукин ассоциирует язык этой повести с приказным языком.

[42] Понятие грамоты прочно связывается для Сумарокова с русским, а не с церковнославянским языком. Показательно в этом смысле его письмо к Екатерине II от октября 1767 г., где он пишет о своем зяте, что тот «за неумением грамоты…, кроме Часовника ничего не читает» (Письма XVIII в., с. 104). Само собой разумеется, что умение читать Часовник предполагает определенное обучение — однако именно обучение по складам.

Сообщение Сумарокова, что по «Бове» и «Петру Златых Ключей» могли в XVIII в. учиться грамоте, заслуживает, по-видимому, полного доверия. Так, в одном списке «Петра Златых Ключей» 1750-х гг. [собр. С.-Петерб. гос. ун-та, Ms. Europ. CXII (Ms. E. III. 39)] мы встречаем характерную запись: «Сия История о преславном рыцаре и ковалере Петре Златых Ключей и о прекрасной французской Магилене королевне дворцового Сяскаго рятку крестьянина Фомы Кузнецова. А купил сию Историю в Сантпитер-бурхе на рынке сын ево Кирил Фомин сын Кузнецова в 1753 года марта 26 дня для научения писать, притом и для внимания писания. В сей Истории потписал своею рукою Кирилл Кузнецов» (Кузьмина, 1964, с. 191).

[43] В свою очередь, полемика с Тредиаковским — с сумароковских позиций — может быть, содержится в следующих стихах из «Сатиры, сочиненной чрез напольного поручика Бра**…**» (Я. И. Брандта?):

Иной, лишь выучив псалтырь да часослов,
Подумал о себе, что он и богослов.
Умея написать лишь только *аз* и *буки*,
Возмнил, что знает все искусства и науки.
Искусен ты до *бук*, но не достиг *зела*,
И ты вступаешься днесь в письменны дела.
(Поэты XVIII в., II, с. 396)

Нетрудно усмотреть здесь прямую аллюзию к тому месту сумароковской «Эпистолы о русском языке», которое направлено против Тредиаковского («зело, зело, зело, дружок мой ты искусен» и т. п. — ср. выше, примеч. 30).

[44] Равным образом, отвечая на критику своего посвящения («дедикации») к «Аргениде», Тредиаковский заявляет, что в нем «слова все избранныя», и ссылается при этом на «церковныя наши книги» («Доношение в Академию наук на экзаменаторов дедикации к Барклаевой Аргениде» 1750 г. — Тредиаковский, 1849, с. 136–137). «Дедикация» Тредиаковского была отдана на рассмотрение Крашенинникову, Ломоносову и Попову, которые подвергли ее критике (Мат. АН, X, № 689, 693, 733, с. 534, 536–537, 559–560; Пекарский, II, с. 147–151).

Что именно подразумевает Тредиаковский под «избранными словами», позволяют понять конкретные его замечания в «Письме от приятеля к приятелю» относительно необходимости «выбора слов» и правильного «избрания речей». Так, например, Тредиаковский говорит здесь о Сумарокове: «Помнит ли почтенный Автор, что он Оду сочинял, т. е. самый высокий род стихотворения? … для чегож не старался он о выборе слов? Ода не терпит обыкновенных народных речей: она совсем от тех удаляется, и приемлет в себя токмо высокие и великолепные. По сему, чегоб ради ему не положить *воззри*, вместо *взгляни*?» (Куник, 1865, с. 456); «худо он умеет слова́ выбирать: ибо пишет в Трагедиях *опять* за *паки*, *этот* за *сей*, *эта* за *сія*, *это* за *сіе*» (там же, с. 476); ср. еще утверждение Тредиаковского, что «он [Сумароков] никако́ва отнюд не имеет искусства в употреблении, и в избрании речей» (там же, с. 483) — поводом для этого последнего замечания послужило неправильное употребление славянизма *седалище*.

[45] Так, Тредиаковский говорит по поводу ошибок Сумарокова, касающихся глагольного управления: «… Автор положил глагол *спасаю* с родительным падежем без предлога *от*. Мы прочия все положилиб сию речь так: *Ты от грознаго меча спасаешь*, а не *Ты грознаго меча спасаешь*. Но автору угодно писать по новому. Впрочем, сколько его сие сочинение ни новое, и ни противное языку; однако он ясно о себе показал, что он мало читывал молебный канон, называемый Параклис: ибо там точно, да и праведно, стои́т: *от тяшких и лютых мя спаси*. Не лучшель по сему Автору приняться за наши прежде книги, дабы научиться пра́вильному сочинению?» (Куник, 1865, с. 449); «… *На жизнь алкать*, сочинено весьма странно: ибо глагол *алчу* есть самостоятельный, и не правит никаким падежом, то есть, говорится просто *алчу*. Пусть прочтет Автор послания Святаго Апостола Павла, то и увидит во многих местах мою́ правду, а свою́ превеликую погрешность» (там же, с. 478).

[46] Так, например, констатируя неправильное употребление слова *поборник* у Сумарокова, Тредиаковский замечает: «… Сие показывает, что или Автор мало бывает в церькве на великих вечернях, и на всенощных бдениях, или бывает да не тогда, когда первый глас поется: ибо инако, тоб Автор мог услышать в Богородичне начинающемся *Всемирную славу*, что слово *поборник* значит не *противника*, но *защитника*, и *споспешника*» (Куник, 1865, с. 480; ср. в этой связи критические замечания относительно употребления слова *поборать* в отзыве Тредиаковского о сумароковской трагедии «Гамлет» от 10 октября 1748 г. — Мат. АН, IX, № 576, с. 461; Пекарский, II, с. 130). Сходным образом выяснение значения слова *твердь* предполагает, по мнению Тредиаковского, обращение к Псалтыри, т. е. анализ употребления этого слова в церковных книгах (Куник, 1865, с. 481).

Любопытны в этой связи позднейшие рассуждения Сумарокова по поводу слова *поборник* в статье «О правописании» (1768–1771): «… Слово *Поборник*, не то знаменует каково оно, но совсем противное; Поборник мой по естеству своему тот, который меня поборает: а по употреблению тот, который за меня другова поборает» (Сумароков, X, с. 14). Итак, «естество», т. е. естественное (непосредственное) восприятие данного слова, обусловленное его этимологическими связями, противопоставляется «употреблению» — под «употреблением» в данном случае понимается употребление в церковных книгах, т. е. Сумароков признает, что слово *поборник* употребляется в значении ʽзащитникʼ, но констатирует неестественность такого употребления, несоответствие его здравому смыслу. Не исключено, что на эти рассуждения Сумарокова оказала какое-то влияние критика со стороны Тредиаковского.

[47] Ср. характеристику церковнославянского языка как «чистого», а отсюда и ориентацию на этот язык при установлении русских языковых норм, уже в «Разговоре об ортографии» 1748 г.: обсуждая здесь правописание прилагательных, Тредиаковский говорит, что необходимо писать так, «как нам чистый наш язык велит, а именно, славенский» (Тредиаковский, 1748, с. 309; Тредиаковский, III, с. 210).

[48] Соответственно, в статье о правописании прилагательных 1755 г. Тредиаковский называет церковные книги «классическими» (Пекарский, 1865, с. 108) — как бы подчеркивая, что они призваны играть в России такую же роль, какую на Западе играют классические (образцовые) авторы.

[49] В Казанском сборнике эта строка читается иначе: «Увидит, что там *коль*, не за *коли*…». Оба варианта, вообще говоря, правомерны; при этом миллеровский список дословно соответствует «Письму от приятеля к приятелю».

[50] Если форма *коль* в равной мере указывает на Ломоносова и на Сумарокова, то форма *нынь*, которую также критикует Тредиаковский в своей эпиграмме (ср.: «не *нынь* там и не *вал*, но *ныне* и *волна*»), характерна для Ломоносова. Сумароков в статье «О правописании» (1768–1771) выступает против этой формы, приписывая ее именно Ломоносову (Сумароков, X, с. 16); соответственно, в своих пародиях на Ломоносова 1759 г. — в «Одах вздорных», а также в «Дифирамве» («Позволь, великий Бахус, нынь…») — Сумароков регулярно ее употребляет (Сумароков, II, с. 205, 209, 214; Сумароков, 1957, с. 286, 287). Итак, если эпиграмма Тредиаковского в принципе направлена против Сумарокова, то в данном случае, очевидно, Тредиаковский попутно задевает и Ломоносова.

Что касается слова *вал* (в значении ʻволнаʼ), то мы также находим его как у Сумарокова, так и у Ломоносова. В «Письме от приятеля к приятелю» Тредиаковский рассматривает сумароковские строки

Делá, что Небеса пронзают,
Лесá, и гордые валы,

замечая по этому поводу: «что то у нас за разум, когда делá прободают небо, лес, и гордую вóлну?» (Куник, 1865, с. 455–456), — итак, сумароковское *вал* соотносится у Тредиаковского со словом *волна* (ср. еще рассуждения в связи со словом *вал* там же, с. 464–466). Не менее характерно употребление слова *вал* в значении ʻволнаʼ и для Ломоносова: между прочим, как *нынь* ʻнынеʼ, так и *вал* ʻволнаʼ фигурируют в одной и той же сцене трагедии Ломоносова «Тамира и Селим» 1750 г. (действ. I, явл. 3 — Сухомлинов, I, с. 226, 228; Ломоносов, VII, с. 298–299), которая в принципе и могла спровоцировать критическое выступление Тредиаковского.

[51] Ср. здесь соответствующие характеристики конкретных слов или словоформ. Так, Тредиаковский расценивает как «подлое» слово *миг* (в отличие от *мгновение* — Куник, 1865, с. 459), а также слово *коли* (там же, с. 479; такая же характеристика этого слова дается и в статье о правописании прилагательных 1755 г. — Пекарский, 1865, с. 109). «Подлыми» или «площадными» он именует такие формы, как *паденье* (вместо *паденіе*), *отмщенье* (вместо *отмщеніе*), *желанье* (вместо *желаніе*), *воспоминанье* (вместо *воспоминаніе*), а также *Офелью*, *Полонья* (вместо *Офелію*, *Полонія*), *Божьему* (вместо *Божіему*) (Куник, 1865, с. 477, 469). Точно так же он относит к «площадному» употреблению «*опять* за *паки*, *этот* за *сей*, *эта* за *сія*, *это* за *сіе*» (там же, с. 476), а также такие деепричастные формы, как «*премѣня* вместо *премѣнив* и *премѣнивши*, *увидя* за *увидѣвши*,

усладясь за *усладившись*, *утомя* за *утомивши*» (там же, с. 477). Наконец, к «площадному употреблению» относятся в «Письме от приятеля к приятелю» формы им. падежа мн. числа ср. рода на *-іи* вместо *-ія* («*воздыханіи* за *воздыханія*,… *дѣ́йствіи* за *дѣ́йствія*»), на *-ы* вместо *-а* («*озéры* за *озéра*, *достоинствы* за *достоинства*, … *прáвилы* за *прáвила*, *правы* за *права* … *блаты* за *блата*, *желѣ́зы* за *желѣ́за*, *посольствы* за *посольства*») и формы род. падежа мн. числа на *-іев* вместо *-ій* («*братіев* за *братій*, *подозрѣ́ніев* за *подозрѣ́ній*, … *слѣ́дствіев* за *слѣ́дствій*, *нещастіев* за *нещастій*, *отсутствіев* за *отсутствій*») (там же, с. 476).

Замечательно, что в подметном письме, написанном в октябре 1755 г. и подкинутом к Ломоносову, Тредиаковский, чтобы замаскировать себя, специально употреблял эти «площадные» формы, но не сумел сделать это достаточно последовательно и сбился на правильное употребление, чем себя, между прочим, и выдал. Г. Н. Теплов в специально сочиненной записке так говорит об этом: «хотя подкрадывался под других писателей в некоторых местах сначала *желаим*, *по Рускіи*, *награжденіев*, *предувѣреніев*, *началы*, *основаніи*, вм[есто] *желаем*, *по Руски*, *награжденій*, *предувѣреній*, *начала*, *основанія*; но того нимало уже не наблюдал, когда дале заврался» (Пекарский, 1870, с. XXVII; ср.: Пекарский, II, с. 188), — для Теплова это служит одним из основных признаков, свидетельствующих о принадлежности данного сочинения Тредиаковскому.

Помимо «Письма от приятеля к приятелю», Тредиаковский обсуждает подобные формы в целом ряде своих сочинений: в «Разговоре об ортографии» 1748 г. (Тредиаковский, 1748, с. 329; Тредиаковский, III, с. 223), в Ответе на письмо Сумарокова о сафической и горацианской строфах 1755 г. (Пекарский, II, с. 256), в статье о правописании прилагательных 1755 г. (Пекарский, 1865, с. 109).

[52] Когда Тредиаковский заявляет в предисловии к «Езде в остров Любви» (1730), что он эту книгу «неславенским языком перевел, но почти самым простым Руским словом, то есть каковым мы меж собои говорим» (Тредиаковский, 1730, с. [12]; Тредиаковский, III, с. 649), то выражение *простое слово* может рассматриваться именно как калька с лат. *lingua rustica*.

[53] Ср. в Вейсманновом лексиконе 1731 г.: «homo rusticus — грубыи, простыи человек, деревенскии мужик» (с. 513); вместе с тем, выражение *homo rusticus*, в противоположность *homo litteratus*, означало в свое время человека, не владеющего книжной латынью.

Что касается эпитета *грубый* по отношению к языку, то он, видимо, имеет тот же смысл, что и *подлый*: в качестве языковой (стилистической) характеристики оба эпитета могут представать как синонимы, характерно в этом смысле, что в рукописном оригинале «Разговора об ортографии» (ААН, разр. II, оп. 1, № 137) Тредиаковский исправляет выражение *грубым языком* на *подлым языком*, явно воспринимая оба выражения как равнозначные; в другом случае он исправляет здесь *грубаго… выговора* на *неисправнаго… выговора* (ср. соответствующие места в исправленном виде: Тредиаковский, 1748, с. 295, 292; Тредиаковский, III, с. 200, 197). В примечании к «Науке о стихотворстве и поэзии» Буало Тредиаковский замечает (имея в виду переводческую деятельность д'Ассуси [Charles d' Assouci] — французского переводчика Овидия): «Перевод сей есть збор изображений сáмых подлых и грубых» (Тредиаковский, 1752, I, с. 7, примеч.; Тредиаковский, I, с. 32, примеч.) — оба эпитета в этом контексте выступают как равнозначные.

[54] Так, например, в «Письме от приятеля к приятелю» Тредиаковский относит такие формы, как *паденье*, *отмщенье*, *желанье*, *воспоминанье*, *оружье*, *сомненье*, *понятье*, *бе-*

зумье, *Офелью*, *Полонья* (вместо *паденіе*, *желаніе*, *Офелію*, *Полонія* и т. п.), к «подлому употреблению», тогда как форма *Божьему* (вместо *Божіему*) относится у него к «площадной вольности» (Куник, 1865, с. 477, 469).

Сказанному не противоречит то обстоятельство, что слова *подлый* и *площадной* спорадически могут соотноситься с теми или иными французскими словами, передавая в этом случае оттенки французского словоупотребления. Так, в «Разсуждении о комедии вобще» (1752) Тредиаковский говорит: «… Подлыя и площадныя слова не долженствуют быть позволены на Театре, ежели они не будут подкреплены некоторым родом разума» (Тредиаковский, 1752, II, с. 208; Тредиаковский, I, с. 429). Соответствующий отрывок представляет собой дословный перевод из Рапена, причем слово *подлый* соответствует франц. *bas*, а *площадной* — *vulgaire*, ср. во французском оригинале: «… Les termes bas & vulgaires ne doivent pas estre permis sur le theatre, s'ils ne sont soûtenus de quelque sorte d'esprit» (Рапен, 1675, с. 140). Совершенно очевидно вместе с тем, что вне специальных контекстов такого рода «подлое» и «площадное» могут выражать у Тредиаковского одно и то же значение.

[55] Ср. здесь: «… Мне сие дивно, чего уж ради, при сáмом заведении простонароднаго окончания множественнаго в прилагательных именах мужеских на (е), вместо на (и), не подтверждены и сии, именнож *примѣчаніи*, вместо *примѣчаній* [видимо, описка: следует читать либо „*примѣчаніи*, вместо *примѣчанія*“, либо „*примѣчаніев*, вместо *примѣчаній*“]; *еѣ* вместо *ея*; *коль* от подлаго *коли*, вместо преизряднаго *когда* и прочаго? Ибо все сии окончания и употребления хотя вожделенною, но ложноюж тем что неблагородною простотою хвастаются и величаются» (Пекарский, 1865, с. 109–110).

[56] Совершенно так же употребляет эпитеты *площадной* и *простонародный* Г. Н. Теплов, взгляды которого на литературный язык обнаруживают вообще прямую зависимость от Тредиаковского. Так, в трактате «О качествах стихотворца рассуждение», опубликованном в майской книжке «Ежемесячных сочинений» за 1755 г. (переиздано: Берков, 1935, с. 336–351; Берков, 1936, с. 179–190; Берков ошибочно приписал этот трактат Ломоносову, авторство Теплова раскрыто Модзалевским, 1962) — направленном против Сумарокова и сумароковского последователя Елагина (см.: Берков, 1935, с. 330–331; Берков, 1936, с. 167–170; Модзалевский, 1962, с. 147–156), — Теплов, вслед за Тредиаковским, говорит о пользе чтения церковных книг для овладения правильным русским слогом, о необходимости ориентации на грамматические правила, а не на языковой узус и, вместе с тем, обвиняет Сумарокова в «речах площадных и простонародных» (Теплов, 1755, с. 378, 383, 387; см. изд.: Берков, 1935, с. 340, 342–343, 345; Берков, 1936, с. 181, 183, 185). «Площадные и простонародные» речи явно относятся при этом к разговорному началу, т. е. имеется в виду установка на разговорное употребление, присущая Сумарокову. Можно сказать, что статья Теплова написана с позиций Тредиаковского (Тредиаковский и Теплов были в это время единомышленниками, отношения их испортились к осени 1755 г.).

[57] Некоторые исследователи полагают, что в лице педанта Бобембиуса Сумароков вывел Ломоносова, т. е. спор Тресотиниуса и Бобембиуса о форме буквы *т* пародирует полемику Тредиаковского и Ломоносова (см.: Рулин, 1929, с. 240, 248–249). Действительно, Бобембиуса поддерживает в этом споре слуга Кимар, который заявляет, что предпочитает «твердо треножное тверду одноножному»: «У етова, ежели нога подломится, так ево и брось; а у тово хотя и две ноги переломятся, так еще третья останется» (Сумаро-

ков, V, с. 305). Аргументация Кимара в какой-то мере напоминает заявление Ломоносова относительно букв *ф* и *ѳ*, о которой вспоминает Сумароков в статье «О правописании» (1768–1771): «Спрашивал я г. Ломоносова, ради чего он Ф а не Ѳ оставил; на что мне он отвечал тако: *Ета де литера стоит подпершися; и следовательно бодряе*: ответ издевочен, но не важен» (Сумароков, X, с. 10–11). Близкое высказывание можно найти и в «Разговоре об ортографии» Тредиаковского (1748), где Чужестранный человек говорит Российскому: «я думаю, что вам буква (ф), для того лучше нравится, что она скосыреватее буквы (ѳ)» (Тредиаковский, 1748, с. 165; Тредиаковский, III, с. 107; ср.: Успенский, 1975, с. 198, примеч. 34); не исключено, что реплика Ломоносова восходит именно к этому сочинению Тредиаковского, и тогда в принципе возможно предположить, что цитированная беседа Ломоносова и Сумарокова о буквах *ф* и *ѳ* состоялась перед 1750 г. — в этом случае она могла найти отражение в «Тресотиниусе» (Ломоносов уже в письме от 27 мая 1749 г. сообщал Эйлеру, что он занят «совершенствованием родного языка» — Ломоносов, X, с. 464). Более вероятно, однако, что эта беседа имела место после выхода в свет ломоносовской грамматики (где в § 22 говорится о фите как избыточной букве — Сухомлинов, IV, с. 20; Ломоносов, VII, с. 401), т. е. не ранее 1757 г.

[58] Ассоциация «треножного тверда» со скорописью была совершенно очевидна для Петра I, который, определяя начертания букв гражданского алфавита, писал М. П. Гагарину 8 ноября 1708 г.: «Только *добро*, *твердо* напечатать, которые сходны к печати, а не к скорописи как здесь объявлено: Д, Т [а не *д*, *т*]» (Письма и бумаги Петра, VIII, 1, с. 289). Как видим, Петра волнуют те же проблемы, что и сумароковских педантов. Вопреки указанию Петра, «треножное твердо» (строчное, не прописное) употребляется в течение всего XVIII и начала XIX в. — вплоть до 1830-х гг. (Шицгал, 1974, с. 43); характерно, что оно сохраняется и в курсиве, который вообще ближайшим образом соответствует скорописи.

[59] Отметим еще противопоставление «благородства» — «подлородству» в заметке Сумарокова «Сон. Счастливое общество» 1759 г. (Сумароков, VI, с. 367), а также его замечание на «Наказ» Екатерины II: «… Наш низкий народ никаких благородных чувствий еще не имеет» (Сб. РИО, X, с. 86). Ср. в письме к Екатерине II от 24 января 1773 г.: «… Бедность рождает подлость, а поэзия подлости и крайних недостатков не терпит» (Письма XVIII в., с. 161).

[60] Противопоставляя «употребительные» обороты «правильным», Сумароков здесь же подчеркивает, что он следует именно употреблению. Вот что он пишет по поводу форм *братіев*, *правилы* и т. п., которые подверг критике Тредиаковский в «Письме от приятеля к приятелю» (Куник, 1865, с. 476; см. выше, примеч. 51): «… Я употреблению с таким же следую рачением как и правилам: правильныя слова делают чистоту, а употребительныя слова из склада грубость выгоняют, на пример: *Я люблю сего, а ты любишь другаго*, есть правильно; но грубо. *Я люблю етова, а ты другова*. — От употребления и от изгнания трех слогов *го* и *гаго* слышится приятняе… *Правилы*, *правы*, *лѣты* и протчия многия средняго рода слова, во множественном пишу я вместо *правила*, *права*, *лѣта*, и протч. от употребления, а я и общее употребление за устав же почитаю» («Ответ на Критику» 1750 г. — Сумароков, X, с. 97–98). И позднее, обсуждая формы такого рода, Сумароков говорит: «Надобно знати, когда написать *Облака*, и когда *Облаки*: что до нежнаго слуха надлежит, то весьма пространнаго истолкования требует. Но *Основаніи*, *Желаніи*, вместо *Основанія* и *Желанія*, редко употреблены быть могут, да и то для весьма

редко случающейся красоты: а в Поэзии *Облаки* за *Облака*, и часто и кроме рифмы класти, не только можно но и должно. Иногда и в прозе, коли я не поставлю *Облаки*, я изображу не то» («Примечание о правописании», не ранее 1773 г. — Сумароков, X, с. 45–46).

[61] Ср. совершенно такой же подход у С. Волчкова в его полемике с Тредиаковским по поводу перевода Плутарха. В 1750 г. Волчков прислал в Академию наук свой перевод «Житий славных мужей» Плутарха; перевод был отдан на рассмотрение Тредиаковскому, Ломоносову, Крашенинникову и Попову, и они подписали отзыв, сочиненный, по всей видимости, Тредиаковским, где отмечались разнообразные погрешности в стиле перевода (Мат. АН, X, № 623, с. 477–478; Ломоносов, IX, с. 628–630; Пекарский, II, с. 154–155). Отвечая на критику, Волчков между прочим писал: «Когда я имел честь при четырех российских, у прусскаго двора бывших министрах служить, то не один из их сиятельств штиля моего площадным признавать не изволил» (Пекарский, II, с. 156). В отличие от Тредиаковского и других рецензентов, Волчков явно решает проблему стиля как проблему социолингвистическую.

[62] В отношении слова *подлый* следует заметить, что это заимствование из польского, которое получило распространение в русском языке только в XVIII в. При этом именно в русском языке развивается особое значение слова *подлый*, связанное с социальным противопоставлением высших и низших слоев общества, т. е. именно здесь эпитет *подлый* приобретает социальную окраску — при том, что соответствующее польское слово (*podły*) не имеет такого значения (см.: Кохман, 1977). Таким образом, Тредиаковский и шишковисты исходят из первичного значения данного слова (представленного в польском языке), тогда как Сумароков и карамзинисты пользуются специфически русским его значением.

[63] О истории и семантике слова *вертопрах* см.: В. Виноградов, 1966а, с. 42; Хютль-Ворт, 1956, с, 84. Это слово обнаруживает явные семантические связи с такими словами, как *ветреник*, *ветреный* и с таким фразеологизмом, как *пускать пыль в глаза*, что, может быть, проясняет его этимологию (В. Виноградов, 1966, с. 42). Ср. в этой связи *Ветромах* как имя щеголя в комедии Княжнина «Чудаки» (1790); может быть, не случайно *петиметр* обычно рифмуется с *ветр* в поэзии XVIII в. (см., например: Поэты XVIII в., II, с. 374, 384, 387). Слово *ветреный* при этом — семантическая калька с франц. *volage* (ср. еще *papillon*, *léger* с тем же значением).

[64] Имя *Архисотолаш* явно образовано по той же модели, что и *Тресотиниус*: префикс *архи-* соотносится по значению с префиксом *тре-*, а латинизированное окончание *-ус* соответствует просторечному окончанию *-аш*; эта разница в окончаниях отвечает различию языковой установки у Тредиаковского и Сумарокова. Таким образом, в обоих именах выделяется корень *-сот-* (франц. *sot* ‘глупый’), и они оформляются аналогичным образом — Тредиаковский как бы принимает вызов Сумарокова и возвращает полученную от него кличку в модифицированном и усиленном виде: если *Тресотиниус* читается как ‘очень глупый’, то *Архисотолаш* означает еще бóльшую степень глупости.

Вместе с тем, и то и другое наименование обнаруживает связь с литературной традицией. Если *Тресотиниус* намекает на пьесу Мольера и имя аббата Котена (см. выше), то *Архисотолаш* выступает как производное от имени Архилоха. Предыстория этого наименования такова. В первоначальном варианте предисловия к «Аргениде», написанном не позднее января 1750 г., Тредиаковский допустил резкие полемические выпады против Сумарокова, насмешливо величая его Архилашем Архилохичем Суффеновым и обвиняя в незнании основных правил стихосложения; эти выпады были вычеркнуты из предисло-

вия еще до сдачи книги в набор (см.: Ломоносов, IX, с. 949), но, тем не менее, данное прозвище стало известно Сумарокову (см. свидетельство об этом в «Письме от приятеля к приятелю» — Куник, 1865, с. 484). Прозвище это образовано от имен греческого поэта Архилоха и римского Суффена. Тредиаковский специально подчеркивает в этой связи, что Суффен (Suffenas) — поэт, известный своим тщеславием, бездарностью и несносностью, явно намекая на то, что все эти качества в равной мере характеризуют и Сумарокова («Письмо от приятеля к приятелю» — Куник, 1865, с. 484); надо сказать вообще, что Суффен знаменит главным образом тем, что Катулл высмеял его за плохие стихи, и Тредиаковский оказывается, тем самым, в положении Катулла. Между тем, имя Архилоха связывается с введением ямбического размера — применение этого имени к Сумарокову обусловлено претензиями последнего на создание русского ямбического стиха (о которых говорит Тредиаковский в предисловии к «Аргениде» — Тредиаковский, 1751, с. LXV–LXVI; ср.: Ломоносов, IX, с. 949–950; Куник, 1865, с. XLII–XLIV). К имени *Архилох* и восходит *Архисотолаш*, которое появилось под влиянием имени *Тресотиниус*, отражая полемику с «Тресотиниусом» Сумарокова; итак, прозвище *Архисотолаш* заключает в себе двойную зашифровку — оно соотносится как с «Тресотиниусом», так и со стиховедческими притязаниями Сумарокова.

[65] В «Письме от приятеля к приятелю» — в самом названии этого сочинения — Сумароков характеризуется как «автор двух од, двух трагедий и двух эпистол»; если прибавить сюда еще комедию «Тресотиниус», появление которой явилось непосредственным поводом для сочинения данного трактата, то мы получим те семь «картин», которые «намалевал» Архисотолаш-Сумароков. Ср.: Гринберг и Успенский, 1992/2002, с. 50–51 — наст. изд., с. 254.

[66] Ремарка Кимара: «Вот так то с высока́ носка́ нада по щогольские!» (Куник, 1865, с. 499), может быть, подразумевает приверженность Сумарокова к ямбу (которая отразилась, между прочим, в прозвище *Архисотолаш* — ср. выше, примеч. 64). В предисловии к «Трем одам парафрастическим» Тредиаковский передает отзывы о ямбе Ломоносова, согласно которому «Стопа́, называемая Иамб, высокое сама собою имеет благородство, для того что она возносится с низу в верьх, от чего всякому чувствительно слышна высокость ея и великолепие», а также Сумарокова, который «в Иамбе находит высокость, благородство и живность»; свойственное ямбу «восхождение или вознесение», т. е. переход от безударного слога к ударному, Тредиаковский именует при этом «вскоком» (Тредиаковский, 1744, с. 3, 5; Куник, 1865, с. 421, 423). Отголоски подобных рассуждений и слышатся, кажется, в цитированных словах Кимара.

[67] Архисотолаш-Сумароков говорит у Тредиаковского: «есть ли у вас Амбиция, а по Руски высокомерие…» (Куник, 1865, с. 498); при этом обыгрываются различные значения слова *амбиция* (лат. *ambitio*, польск. *ambicja*, франц. *ambition*): ‘честолюбие, тщеславие’ и ‘стремление, искание, домогательство’. Характерно в этом смысле, что Сумароков в своих письмах постоянно заявляет о своем «любочестии» (Письма XVIII в., с. 128, 137, 163) — слово *любочестие* в XVIII в. коррелирует со словом *амбиция*, выступая как регулярный русский эквивалент к этому заимствованию.

Ср. в этой связи характеристику Сумарокова в рассматриваемой эпиграмме как «надменного»: «Престанет злобно врать и глупством быть надменный».

[68] Ср. в сумароковском «Тресотиниусе» отзыв капитана Брамарбаса о Тресотиниусе-Тредиаковском: «… Каков ево чин, таков ево и поступок мне показался. Прямой ти-

тулярной неведомых нам языков учитель» (Сумароков, V, с. 315). Тредиаковского задели эти слова, и он резко реагирует на них в «Письме от приятеля к приятелю»: «Господину … Автору лехко касаться до чина и до поступок: Брамарбас его прямо и без закрышек говорит об общем нашем друге [т. е. о Тредиаковском]…, что *каков его чин, таков его и поступок*. Но я твердо знаю, что общий наш друг в чине благоговейно, со всеми добрыми, почитает верьховнейшее благоволение производящее в чин, и непрекословно повинуется руке предводительствующей, по томуж благоволению, чин учрежденный. Высок ли сей? не его дело. Низок ли он? помнит что, по присловию, не можно всем старцам в игумнах быть. С моей стороны́, я еще и радуюсь, что поступки общаго нашего друга сходствуют с его чином: сие значит, что он не выходит из пределов своея должности. Напротив того, не дивлюсь, что поступка нашего Автора безмерно сходствует с цветом его волосов, с движением очей, с обращением языка, и с биением се́рдца» (Куник, 1865, с. 442–443).

[69] Тредиаковский различает здесь «прямое» и «непрямое» употребление, причем «прямое» соответствует книжному, а «непрямое» — разговорному языку. Разговорную (обиходную) речь, в соответствии с традицией, он рассматривает как результат порчи книжного языка.

[70] Мнение о том, что писать славянизированным слогом означает писать «не по-русски», в известном смысле согласуется с заявлением Сумарокова в «Эпистоле о русском языке» (1748):

Не мни что наш язык, не тот, что в книгах чтем,
Которы мы с тобой нерусскими зовем.

(Сумароков, I, с. 335; Сумароков, 1957, с. 115)

Церковнославянские книги для Сумарокова — это во всяком случае книги «нерусские», и соответствующее восприятие может определять отношение к славянизмам.

[71] РГАДА, ф. 199 (Портфели Миллера), № 150, ч. I, д. 20, л. 9 об. – 10 об. Бумага с водяным знаком ѲМ (Клепиков, 1978, № 745 — 1761 г.). При воспроизведении текста сохраняем орфографию и пунктуацию оригинала, за исключением строчных букв в начале строки и деления на слова.

[72] Предложения Тредиаковского опираются, возможно, на определенную традицию. Действительно, отчасти сходное правописание прилагательных — приближенное к церковнославянскому (коррелирующее с ним), но все же от него отличающееся — показано в первых грамматиках русского языка конца XVII в. Так, в грамматике Глюка 1704 г. кодифицированы формы *добрые* (мужской род), *добрыя* (женский род), *добрая* (средний род) (см.: Глюк, 1994, с. 230). Сходным образом в грамматике Лудольфа 1696 г. даются формы *бѣлие* (мужской род), *бѣлия* (женский род), *бѣла* (средний род; не исключено, что это опечатка, вместо *бѣлая*), а также формы *которие* (мужской род), *которияя* (женский род), *которая* (средний род); впрочем, эти правила не соблюдаются в примерах русских разговоров у Лудольфа, где мы находим *различние речи простие*, *пригожие женщини* и т. п. (см.: Лудольф, 1696, с. 19, 25, 46, 60).

[73] Характерно, что Тредиаковский настаивает на таком правописании и тогда, когда речь идет об издании его стихотворной Псалтыри и «Феоптии» — при том, что он предполагал напечатать эти книги в Синодальной типографии «церковным типом, как по

всему духовные» (О Феоптии, 1851, с. 537) и, соответственно, допускал здесь определенные элементы церковнославянской орфографии (см. там же, с. 538, 541–542). В письме справщикам Синодальной типографии от 1 мая 1757 г. Тредиаковский говорит: «Вы изволите увидеть в подлиннике, что имена прилагательныя целыя множественнаго числа окончаваются мною мужеския на *и*, как: *святыи*, женския на *е*, как: *святые*, а средния токмо на *я*, как: *святыя*: сему всемерно непременну быть желаю» (там же, с. 543).

Вместе с тем, в предисловии к своему переводу философских сочинений Сенеки (1759) Тредиаковский допускает принятое правописание прилагательных в именительном падеже множественного числа (*-е* в мужском роде, *-я* в женском и среднем), мотивируя это тем, что стиль Сенеки лишен «высокоценных прикрас». При этом Тредиаковский продолжает настаивать, вообще говоря, на своих правилах («что праведно и не преодоляемо по всеобщему и самолучшему употреблению язы́ка, то не может никогда быть криво»), но считает возможным отступить от них в данном случае, с тем чтобы соответствовать простому, неукрашенному стилю оригинала. Ср.: «Я... здесь и прилагательныя множественныя имена мужскаго рода (что ныне у нас как пятая сущность [на полях: quinta essentia]) окончиваю на *е*, а не на *и*, как то во всех моих прочих писаниях делал... Чего же ради я здесь поступил сам против всеобщаго и самолучшаго того употребления? Переводя Сенеку, восхотел я некак Сенеке уподобиться, доношу. При расточении во всей его латинской словесности, не весьма высокоценных прикрас, надобно стало пустить дешевле и Российскаго слова токмо те окончания, так чтоб продаваться уже им хотя пятерным числом бывшим по осмерному, нежели ни за что быть отдаваемым на *-я*» («Сенекины мысли... переведенные на Российский язык В. Тредиаковским в Санктпетербурге 1759 г.» — Архив Петерб. отд. Ин-та истории АН, ф. 36, собр. Воронцовых, оп. 1, ед. хр. 726, с. XXI; ср.: Дерюгин, 1985, с. 102). Как пишет А. А. Дерюгин, свою уступку допустить окончание *-е* вместо *-и* «как более дешевое» Тредиаковский маскирует шуткой, основанной на числовом значении этих букв: *е* = 5, *и* = 8. Вместе с тем, в замечании о том, что окончания на *-я* отдаются вовсе «ни за что», может быть усмотрен выпад как против Ломоносова, который склонен был рассматривать окончания *-е* и *-я* как вариантные («Примечания на предложение [Тредиаковского] о множественном окончении прилагательных имен», «Российская грамматика», §§ 116, 161 — Сухомлинов, IV, с. 4, 53, 78–80; Ломоносов, VII, с. 87, 430–431, 452–454), так и против Сумарокова, который предлагал писать окончание *-я* во всех трех родах («К типографским наборщикам», «О правописании», «Примечание о правописании» — Сумароков, VI, с. 309; Сумароков, X, с. 29–30, 42).

74 Соответственно, Сумароков в статьях «Примечание о правописании» и «О стопосложении» утверждает, что это окончание выдумали подьячие, непосредственно связывая его таким образом с традицией приказного языка (Сумароков, X, с. 42, 75). Ср. еще его заметку «О правописании» (там же, с. 29–30).

75 Соответственно, Сумароков говорит в статье «Примечание о правописании»: «Ежели следовати старине; так должно писати *Непорочніи*, *непорочныя*, *непорочна*[*я*]; но *іи* пахнет отверженною от нас, хотя и не дельно, Славенщизною: и осталось писати во всех трех родах *непорочныя*» (Сумароков, X, с. 42); в другой статье («О правописании») Сумароков заявляет, что окончание *-и* отставлено «употреблением», т. е. также рассматривает его как архаизм (там же, с. 29). Следует иметь в виду, что в это время (конец 1760-х — 1770-е гг.) Сумароков не отвергает церковнославянской традиции столь решительно, как он это делал в молодости; предпочтение, отдаваемое им окончанию *-я*, мотивируется

тем, что окончание это стилистически нейтрально, оно не отмечено ни как специфически церковнославянское, ни как специфически русское. Вместе с тем, в статье «О стопосложении», по-видимому, несколько более поздней, Сумароков делает еще больший шаг в сторону славянизации, признавая возможность окончания *-и*, наряду с окончанием *-я*: он критикует тех, кто пишет «*которые* вместо *которыи*», подчеркивая, что «должно писать или *которыи*, или *которыя*. А *которые* дают подьячия…» (там же, с. 75). Как видим, форма на *-и* теперь не только допускается, но фактически фигурирует как основная.

Между тем, еще в статье «К типографским наборщикам» (1759) Сумароков отвергает окончание *-и* как славянизм, чуждый русскому языку: «Ежели нам следуя тому поступать; так мы Славенским мужеским окончанием введем нечто не свойственное в нынешний язык наш, к чему народ не только привыкать не может, но и не станет» (Сумароков, VI, с. 309); ср. также критические замечания о правописании Тредиаковского в сумароковских статьях «Ответ на Критику» (1750) и «Примечание о правописании» (Сумароков, X, с. 98, 42).

Доломоносовский период отечественной русистики: Адодуров и Тредиаковский

1. В настоящее время можно со всей определенностью утверждать, что «Российская грамматика» М. В. Ломоносова не была (как это считалось до сих пор) первым опытом кодификации русской речи, иначе говоря, первой грамматикой русского языка, предназначенной непосредственно для самих его носителей. Ей предшествовала в этом качестве грамматика В. Е. Адодурова, написанная (по всей видимости, в 1738–1740 гг.) по-русски, а затем (в 1750 г.) опубликованная в шведском переводе под именем переводчика М. Грёнинга (см.: Успенский, 1972/1997; Успенский, 1975); это сочинение обозначается далее: Грамматика[1].

Рассмотрение этой грамматики, ее источников и ее последующей судьбы позволяет исследовать отношение лингвистических взглядов предшественников Ломоносова и говорить вообще об особом — доломоносовском — периоде отечественной русистики, основными представителями которого являются В. Е. Адодуров и В. К. Тредиаковский, а также В. Н. Татищев.

Естественно, что в центре внимания находились при этом вопросы орфографии: орфография вообще играет доминирующую роль в самосознании литературного языка; с другой же стороны, именно в графических различиях (начиная с противопоставления гражданской и церковной азбуки) с наибольшей наглядностью выражалось противопоставление русской и церковнославянской языковой стихии. При этом если правописание церковнославянских текстов опиралось на собственно орфографическую традицию, то правописание русских (иначе говоря, гражданских) текстов в той или иной степени могло приближаться к транскрипции реального произношения (но могло быть обусловлено, вообще говоря, как живым, так и книжным произношением).

2. Вышеупомянутая (рукописная) Грамматика Адодурова была определенно известна Тредиаковскому, который использовал ее в своем знаменитом орфографическом трактате 1748 г. («Разговоръ между Чужестраннымъ человѣкомъ і Россійскімъ объ Ортографіі старінной і новой і о всемъ что прінадлежітъ къ сей матеріі», СПб., 1748. Далее — «Разговор об ортографии» или Тредиаковский, 1748). Вместе с тем, рассмотрение трактата Тредиаковского позволяет реконструировать более полный текст этой грамматики, а также определить некоторые источники, которыми пользовались оба автора.

Прежде всего необходимо отметить общность принципиальных идей, касающихся устроения новой гражданской орфографии, у Адодурова и у Тредиаков-

ского; особенно же знаменательно при этом то обстоятельство, что выражение этих идей в ряде случаев оказывается у них текстуально близким.

2.1. Для обоих авторов характерна вообще ориентация на устную речь (что прямо связано с отмеченным выше характером противопоставления церковнославянской и русской языковой стихии). Важно подчеркнуть, что именно в Грамматике Адодурова был впервые — на русской почве — провозглашен фонетический принцип (русской) орфографии, игравший затем столь большую роль как в орфографической теории Тредиаковского, так и в его практических рекомендациях.

Действительно, и Адодуров, и Тредиаковский выступают за фонетическое письмо (Ломоносов, как известно, окажется позднее более консервативным в данном отношении). Это касается как самого инвентаря знаков, так и правил их сочетаемости. В первом случае речь идет о призыве исключить лишние буквы из алфавита. «Для прави^{л}ного изображенїя словъ и рѣчей надлежало бы имѣ^{т} то, что сто^{л}ко особливы^{х} знаковъ, ско^{л}ко есть въ которо^{м} ѩзыкѣ особливы^{х} голосовъ или звоно^{в}, словà того языка составляющихъ», — пишет Адодуров, и с этих позиций критикует русскую гражданскую азбуку, в которой «нѣкоторыя гласы двумя или тремя знаками и^{з}являются, и прито^{м} еще одинъ знакъ [имеется в виду буква ъ] весма никакого гласа не значащїи» (Грамматика, § 4, с. 3–4, ср. также § 15, с. 7–10). Точно такого же мнения и Тредиаковский (Тредиаковский, 1748, с. 108), который также считает, что «лішніѩ буквы всеконечно долженствуютъ быть выключéны isъ нашея ортографіі», и, как известно, основывается на этом положении в изобретенной им орфографии.

Во втором случае речь идет о требовании фонетических написаний, отражающих позиционные изменения звуков. В Грамматике Адодурова говорится, что «до^{л}жны мы… во пе^{р}вы^{х} самое прои^{з}ношенїе почита^{т} за н҃ше главное правило и оно^{му} въ писмѣ ско^{л}ко мо^{ж}но точно послѣдова^{т}» (§ 61, с. 60, см. также §§ 23–24, с. 12–17); уже во вторую очередь учитываются этимологический и другие критерии. Еще более последовательно высказывается та же мысль в «Разговоре об ортографии» (Тредиаковский, 1748, с. 94, 277–283, 410, 415–416)[2]; от этого положения, между прочим, Тредиаковский не отказывается и в дальнейшем, когда он не настаивает уже на той специальной орфографии, описание которой содержится в его трактате 1748 г.: ср. в «Предуведомлении» к первому тому переведенной им «Римской истории» Роллена: «Орѳографїя моя́, большою частїю, есть по изглашенїю для слуха, а не по произведенїю ради óка» (Тредиаковский, 1761–1767, I, с. 28).

Концептуальная общность Адодурова и Тредиаковского проявляется при этом и в конкретной реализации соответствующих идей. Так, оба автора считают явлением одного порядка позиционные фонетические изменения (типа оглушения звонких согласных и т. п.) и морфологизированные звуковые чередования[3], что в общем отрицательно сказывается на провозглашаемых ими принципах фонетического письма[4]. Вместе с тем, соответствующая трактовка обусловлена, по-видимому, стремлением приспособить заимствованную из славянской грамматиче-

ской традиции категорию «изменяемых», или «переменяющихся», согласных к описанию *живой русской речи*[5], т. е. наполнить данный термин принципиально новым содержанием.

Любопытно, что как у того, так и у другого автора орфографические реформы ограничиваются главным образом областью консонантизма и почти совсем не касаются вокализма.

2.2. В Грамматике Адодурова настойчиво проводится мысль об условном характере как произносительной, так и орфографической нормы, вполне созвучная позднейшим высказываниям Тредиаковского. См. у Адодурова: «Знаки которыми человѣческая рѣчь въ писмѣ изображается… сами по себѣ никакова схо^{д}ства съ тѣми звонами или гласами не имѣюю^{т} [sic!], изъ которыхъ слова составляются, но сїе знаменованїе придано имъ о^{т} одного токмо согласїя, или произволенїя людей и для того нѣтъ въ томъ никакой силы, каки^{м} бы знакомъ которыи голось или зво^{н} спе^{р}ва изображенъ ни бы^{л}» (§ 3, с. 2–3); «понеже прои^{з}ношенїе словъ и рѣчей утве^{р}ждае^{т}ся на о^{д}но^{м} то^{л}ко сои^{з}воленїи людей, которые въ само^{м} началѣ о причина^{х} таки^{х} вѣщей може^{т} бы^{т} и не ра^{з}суждали то не дивно, что не всегда тому мо^{ж}но сыскива^{т} по^{д}линную причину для чего они одно слово такъ а другое инакъ стали выговарива^{т}» (§ 61, с. 59–60). Близкие замечания на ту же тему можно найти и в «Разговоре об ортографии». По Тредиаковскому, орфография изображает «по проіѕволенію, иѕвѣсныі го́лоса нашего ѕвоны, і ѕвоновъ раѕныі способы; а целыя слова́ не ѕначатъ ѕвоновъ, ні іхъ способовъ, но самыЕ вешчі імі іѕображаЕМЫЕ, по обшчему всего како́ва нібудь народа согласію» (Тредиаковский, 1748, с. 119–120). Или в другом месте того же сочинения: «какъ буква, такъ і складъ Есть проіѕвольный ѕнакъ, лібо ѕвона проісходяшчаго отъ нашего го́лоса, лібо Его растворенія» (с. 25)[6]. О том же пишет Тредиаковский и в более позднем рассуждении «О словѣ, или словесности», помещенном в качестве первой части «Предуведомления» к VII тому «Римской истории» (Тредиаковский, 1761–1767, VII, с. XI; Копорский, 1961, с. 292–293).

Отсюда первостепенное вообще значение придается «общему (resp.: обыкновенному) употреблению» (или, в частном случае, «общему произношению») как критерию языковой правильности. Соответствующую ссылку неоднократно встречаем в Грамматике Адодурова [§§ 23, 24, 29, 56, 61, с. 15, 16, 19, 43–44, 59, а также §§ 73, 90, 95, 97, 100, дошедшие до нас, ввиду лакуны в русском списке Грамматики, лишь в шведском переводе М. Грёнинга (см. соответственно: Грёнинг, 1750, с. 40, 41, 50, 52, 54, 55); ср. еще ссылку на «нынешнее употребление» в §§ 110, 115, с. 124, 130, а также программное заявление о необходимости следовать «доброму употреблению» в предисловии к Грамматике (с. 2)][7]. Апелляция к «общему употреблению» (resp.: «произношению») в высшей степени характерна и для «Разговора об ортографии» Тредиаковского (Тредиаковский, 1748, с. 45, а также примеч. к этой странице, 63, 68 примеч., 94, 370–371, 373, ср. еще с. 405, 462). Следует заметить, что такого рода ссылку можно встретить и в более ранних работах как того, так и другого автора (ср. ниже).

2.3. Мы можем сказать вообще, что Адодурова и Тредиаковского объединяет представление о самостоятельности и независимости гражданской орфографии, связанное с отчетливым стремлением противопоставить русское и церковнославянское правописание, подобно тому как противопоставлены русская гражданская и церковная азбука; отсюда именно и стремление к радикальной перестройке гражданской орфографии. Это проявляется, между прочим, при написании заимствованных слов, которое, по мысли обоих авторов, должно основываться на произношении соответствующих слов, но не на орфографии того языка, откуда они были заимствованы, — как это характерно, между тем, для церковнославянской письменности[8]. Опять-таки, и в этом случае можно констатировать отмеченный выше характер противопоставления церковной и гражданской орфографии: первая продолжает собственно орфографическую традицию, которая может достаточно сильно отклоняться от произносительной нормы, вторая ориентирована именно на фонетику. С известным огрублением можно сказать, что церковнославянская орфография ориентируется в этих случаях на транслитерацию, а противостоящая ей русская гражданская орфография — на транскрипцию.

См. об этом в §§ 77, 72 Грамматики Адодурова и, с другой стороны, на с. 68–69, 99, 118–119, 124 и сл., 342–353 «Разговора об ортографии» (Тредиаковский, 1748). При этом важно отметить текстуальную близость обоих источников. Ср.:

Адодуров, Грамматика (§ 77, с. 44 шведского перевода)[9]	Тредиаковский, «Разговор об ортографии» (с. 345–346)
… hwarföre skulle man påtaga sig sådane swårigheter, som ingen nytta med sig hafwa, och hwilka man ganska wäl kan wara förutan: och hwarföre skulle man öfwerlasta Ryska Språket med Reglor, som höra til Grekiska, Hebraiska och Latinska Språken, emedan thet med them ingen likhet hafwer: wille man theras Orthographie följa, så borde man äfwen hålla sig wid Turckiska, Persianska, Arabiska, Indianska och alla andra Språks Orthographie, hwilka thertil lika rätt äga.	Какъ? Ежелі кто россіанінъ ѕахочетъ прямо пороссійскі пісать; тому необходімо должно ѕнать всѣ въ свѣтѣ яѕыкі, нашімі буквамі по случаю іногда іѕображаемыЕ? Надобно єму ѕнать поіндійскі, поперсіцкі, поарапскі, потурецкі, покітайскі, пояпонскі, поамеріканскі, помалабарскі, словомъ, надобно Ему ѕнать всея Европы, всея Asii, всея Афрікі, і всея Америкі всѣ нá-все яѕыкі…

Показательно, что непосредственно перед этим в обоих источниках обсуждается правописание одних и тех же форм: *ангелъ* — *аггелъ*, *Панкратій* — *Пагкратій*.

В соответствии с изложенной установкой как Адодуров, так и Тредиаковский считают возможным исключить из гражданской орфографии фиту: см. § 72 адодуровской Грамматики (ср. еще § 5 шведского перевода — Грёнинг, 1750, с. 5; то же и в адодуровском очерке 1731 г. — Адодуров, 1731, с. 3) и «Разговоре об ортографии» (Тредиаковский, 1748, с. 158–166, 183–191, 61–64). Особенно же знаменательно, что оба автора совершенно одинаково полемизируют с

мнением, высказанным в свое время Федором Поликарповым, который призывал в своем трехъязычном букваре сохранять различие между *ф* и *ѳ*, ссылаясь на то, что если *Ѳеодор* (через *ѳ*) означает по-гречески ʽбогодар’, то *Феодор* (через *ф*) означает ʽзмиодар’[10]. Ср.:

Адодуров, Грамматика (§ 72, с. 79)	Тредиаковский, «Разговор об ортографии» (с. 186–187)
… какое ра^{з}личïе произошли [описка; читай: «произошло»] бы въ томъ и въ само^{м} знаменованïи буде бы слово *ѳеодо*^{р} у насъ чре [sic! читай: чрезъ] *ф* написано было; напрасно нѣкоторые думаютъ бу^{т}то *ѳеодо*^{р} написанное чре^{з} *ф* значи^{т} *да*^{р} *змïѧ* а то^{ж} слово изображенное лïтерою *ѳ* на наше^{м} языкѣ и^{з}являетъ *да*^{р} *Бжïй*, для того что змïи у греко^{в} называе^{т}ся не ϑεὸς [sic! должно быть: φεὸς], но ὄφις.	… (ф), написанный вмѣсто (ѳ), не перемѣнiтъ, нi iстребiтъ ѕнаменованiя въ словѣ Феодоръ… праведно, что слово Ѳеодоръ на греческомъ яѕыкѣ, напiсанноɛ чреѕъ (ϑ), ѕначiтъ *божiй даръ*; но весьма ложно, что оножъ ѕначiтъ, *ѕмiɛвъ даръ*, напiсанноɛ чреѕъ (φ), длятого что погреческi ѕмiй не φεὸς, но ὄφις.

Рассмотрение вопроса о фите дает возможность Адодурову, а вслед за ним и Тредиаковскому противопоставить не только правописание, но и произношение грецизмов в церковном и гражданском языке. Так, весьма знаменательное указание адодуровской Грамматики (§ 69, с. 75–76), что «нн҃ѣ и въ приняты^{х} и^{з} греческаго языка слова^{х} [а не только в греческих словах, пришедших через латынь] вмѣсто ϑ по бо^{л}шой части употребляе^{т}ся *т*», причем приводятся примеры: *театръ*, *кате*^{д}*ра*, *тронъ*, но отмечается, что это правило не распространяется на некоторые имена собственные[11], — вполне соответствует аналогичному заявлению Тредиаковского в «Разговоре об ортографии». Говоря о произношении русских слов, соответствующих греческим формам ϑεολογία, ϑέμα, μαϑηματική, Тредиаковский свидетельствует, что «нынѣ ɛдва, i ɛдва лi ɛшче, кто можетъ найтiсь, который бы iхъ [эти слова] не чреѕъ (т) выговарiвалъ сiмъ обраѕомъ: Теологiа, Тема, Математiка: i потому, не токмо въ семъ нiкакóва грѣха не находятъ, но ɛшче сiɛ самоɛ i ѕа красоту почiтаютъ. Напротiвъ того, — отмечает, вместе с тем, Тредиаковский, — нiктожъ не проiѕнесетъ у насъ сiхъ греческiхъ словъ, Θεράποντα, Θεοδόσιον, Терапонтомъ, Теодосiɛмъ; но всѣ выговарiваютъ Ферапонтомъ, Феодосiɛмъ» (Тредиаковский, 1748, с. 189–190). Еще определеннее Тредиаковский высказывается на этот счет в предисловии к «Тилемахиде», где фигурируют, между прочим, те же самые примеры, которые приводит в своей грамматике Адодуров: «Званïя внѣшнихъ или гражданскихъ Наукъ, гласятъ у насъ нынѣ обыкновеннѣе по выговору Зáпадныхъ. На примѣръ, пишемъ и произносимъ мы… *Тронъ*, а не *Ѳронъ*; *Театръ*, а не *Ѳеатръ…*». И далее: «въ Гражданскомъ язы́кѣ писать бы по Зáпадныхъ Выговору, а въ Церковнѣйшемъ нѣсколько по Восточныхъ и Правописанïю для взора, и Произношенïю для слуха» (Тредиаковский, 1766, с. LIX–LXI)[12].

В приведенных цитатах особенно наглядно проявляется стремление определить специальные нормы светского книжного языка, противопоставляемого языку церковнославянскому и в принципе ему равноправного.

2.4. Достаточно показательные совпадения оба автора обнаруживают и при рассмотрении букв *ъ* и *ь*.

Если в Грамматике Адодурова сообщается, что буква *ь* «имѣетъ силу половину гласныя лїтеры *ї*» (§ 14, с. 7)[13], то такую же точно формулировку можно встретить и в «Разговоре об ортографии» Тредиаковского: «нашъ (ь), ᴇсть половіна буквы (і)» (с. 34, примеч.)[14], причем в другом месте данного сочинения Тредиаковский специально отмечает, что это положение высказывалось уже неоднократно (см. с. 47–48); очень вероятно, что при этом имеются в виду как раз сочинения Адодурова.

Адодуров выступает в своей Грамматике противником буквы *ъ* и предлагает исключить эту букву из гражданской азбуки. По его словам, «ъ не изьявляе^{т} никакого чл҃вческагω голоса и для того въ прои^{з}ношенїи словъ ничего не спосо^{б}ствуетъ сїе подае^{т} праве^{д}ную причину почитать сей знакъ въ н҃шей а^{з}букѣ за и^{з}лишней… ежели бы онъ и^{з} числа н҃ш^{х} лїте^{р} о^{б}щи^{м} согласїе^{м} бы^{л} выключенъ то бы не… произошло о^{т}тогω въ и^{з}ображенїи н҃ши^{х} рѣчей лїтерами ни какой неспосо^{б}ности» (§ 15, с. 7–8). Возможность исключения буквы *ъ* обсуждает затем и Тредиаковский в «Разговоре об ортографии» (Тредиаковский, 1748, с. 220–222) — с некоторым полемическим оттенком, направленным, видимо, против предложения Адодурова; при этом он ссылается на те же примеры (*подъемлю*, *объявляю*), которые фигурируют в Грамматике Адодурова, а отчасти и в его предшествующих работах (ср.: Успенский, 1972/1997, с. 585–586; Успенский, 1975, с. 36). Тредиаковский не является, вообще говоря, сторонником самой идеи, и тем не менее, он упоминает в этой связи о принципиальной возможности использовать в подобных случаях апостроф или дефис (*об-являю*, *с-ᴇдаю* и т. п.). Замечательно, что оба способа (*под-емлю*, *под’емлю*) можно найти в шведском переводе адодуровской Грамматики — во фразе, отсутствующей в русском списке (Грёнинг, 1750, § 15, с. 9). Если согласиться с предположением, что разночтения русского и шведского текстов объясняются разными редакциями исходного текста, а не инициативой шведского переводчика[15], то и этот пример, очевидно, свидетельствует о знакомстве Тредиаковского с данной грамматикой.

Тредиаковский повторяет и мнение Адодурова, что ер (ъ) вообще не является буквой в собственном смысле этого слова; оба грамматиста более или менее последовательно именуют ер не буквой, а знаком. Однако, в отличие от Тредиаковского, который в точности так же трактует и букву *ь*, Адодуров считает ерь буквой, определяя ее как «полгласную литеру»; см. §§ 4, 15, 16 Грамматики Адодурова (с. 4, 7–10) и с. 47, 19–20, 69–70, 112 трактата Тредиаковского. Добавим, что и Адодуров (Грамматика, § 16, с. 10) и Тредиаковский («Разговор об ортографии», с. 70) возражают против идущего от Мелетия Смотрицкого определения еров как «припряжногласных».

2.5. Наконец, и принципы слогоделения, описываемые в §§ 78–89 адодуровской Грамматики, чрезвычайно близки к тому способу деления на слоги, который излагается у Тредиаковского («Разговор об ортографии», с. 423–427). Ср.:

Адодуров, Грамматика (§ 83–87, с. 47–48 шведского перевода — Грёнинг, 1750)[16]	Тредиаковский, «Разговор об ортографии» (с. 423–427)
När en medljudande bokstaf kommer at stå emellan twenne sielfljudande bokstäfwer, så måste then fogas til sista stafwelsen, och icke lemnas wid then första, som sielfwa uttalet tydeligen med sig bringer (§ 83, с. 47).	Ежелі… между двѣмя гласнымі, ілі двугласнымі… найдется одна буква согласная; то оная прінадлежать долженствуетъ ко второй, тоесть къ послѣдуюшчей гласной, ілі двугласной: прічіна сему, натура нашего проіsношенія (с. 423).
… sådane medljudande bokstäfwer midt uti orden icke skiljas, hwilka i början af ordet kunna förenas (§ 86, с. 408, ср. также § 85, с. 47).	Буде… между двѣмя гласнымі… найдутся двѣ буквы согласные… одінакіе обѣ, тоесть, ілі двоі (б), ілі два (д) і прочая, то одна іsъ сіхъ долженствуетъ прінадлежать къ предідушчей гласной, а другая къ послѣдуюшчей (с. 423).
Sammansatte ord åtskiljas i the delar, af hwilka the sammanfogade äro (§ 87, с. 48).	Сложныя слова́ должно… раsдѣліть на тѣ ча́сті, іsъ которыхъ оні слагаются (с. 426–427).

Показательно также признание в некоторых случаях возможности разного деления на слоги одного и того же слова, причем оба автора даже приводят один и тот же пример: *пе-рвый* и *пер-вый* (§ 85 у Адодурова, см. изд.: Грёнинг, 1750, с. 47; с. 424 у Тредиаковского). Следует подчеркнуть, что мы имеем здесь описание специального слогоделения гражданских текстов, отчетливо противопоставленного слогоделению церковных книг (см.: Успенский, 1970/1997, с. 255). Это противопоставление в дальнейшем проявлялось на письме при переносе со строки на строку, а в процессе обучения грамоте — при чтении по складам[17].

2.6. Список совпадений между указанными сочинениями Адодурова и Тредиаковского можно продолжить, сославшись на ряд более частных замечаний или рекомендаций.

Предложение ввести в алфавит букву ґ для передачи взрывного [g], которое отсутствует в дошедшем до нас русском списке Грамматики Адодурова, но содержится в ее шведском переводе (см.: Грёнинг, 1750, § 5, с. 5), так же как и в более раннем грамматическом очерке Адодурова 1731 г. (Адодуров, 1731, с. 3–4), — высказывает затем и Тредиаковский («Разговор об ортографии», с. 380–383). Еще Я. К. Грот предполагал, что Адодуров и Тредиаковский могли заимствовать эту мысль один у другого (см.: Грот, II, с. 643, примеч. 1). Необходимо заметить, что введение в азбуку специального обозначения для взрывного [g] знаменует опре-

деленную легитимацию русской некнижной фонетики, т. е. признание возможности включения ее в сферу литературного (письменного) языка: в нормативном книжном произношении букве *г* соответствовал фрикативный [γ] (см.: Успенский, 1968, с. 41–42; Успенский, 1973/1996).

Точно так же оба автора довольно близки в своей трактовке буквы *ы*, отмечая вообще ту трудность, которую представляет соответствующий звук для иностранцев, и в частности то обстоятельство, что последние произносят данную букву то как [i], то как [u]. Ср.:

Адодуров, Грамматика (§ 58, с. 55–56)	Тредиаковский, «Разговор об ортографии» (с. 49–50)
Не ме^{н}шую трудность находя^{т} чужестранныя и при гласны^{х} *ы* и *и* иногда прои^{з}носятъ они сїе *ы* такъ, какъ самое *и* а иногда какъ *у*. Пото^{му} что недостае^{т} имъ въ свое^{м} языкѣ онаго гласа которой наше^{му} *ы* свойстве^{н}но приличенъ или которой бы съ лї^{т}: *ы* бы^{л} сове^{р}шенно сходе^{н}.	Полякí Ея [буквы *ы*] ѕвонъ чiсто проiѕносятъ, для того что она Есть iхъ (y) несокращенноЕ. Но всѣ прочiи Европейцы Едва, iлi Ешче Едва, раѕвѣ чреѕъ весьма долгоЕ обхожденiЕ прiвыкшiи съ нашiмi, могутъ Ея выговорiть… онi всегда проiѕносятъ Ея iлi какъ простоЕ (i) iлi какъ француское (ou).

Замечание о соответствии русской буквы *ы* и польской буквы *y*, имеющееся у Тредиаковского, отсутствует в Грамматике Адодурова, но содержится, между тем, в его кратком очерке 1731 г. (Адодуров, 1731, с. 5).

Не меньшее сходство наблюдается и в трактовке позиционного поведения звуков. Так, наблюдение о несочетаемости «двоегласных» букв *я* и *ю* с буквами *ж*, *ч*, *ш* (*щ*), а также с *г* (ґ), *к*, *х*, которое встречаем в Грамматике Адодурова (§ 64, с. 68)[18], повторяется затем и у Тредиаковского («Разговор об ортографии», с. 408–409), причем оба автора могут даже ссылаться на один и тот же пример: «*чудо*, а не *чюдо*». Предположение о влиянии Адодурова на Тредиаковского в данном случае тем более вероятно, что в ранних своих произведениях Тредиаковский совсем не следовал этому правилу, а более или менее регулярно писал, напротив, *чювство*, *очюнь*, *плачютъ* и т. п. (см. эти и подобные формы в «Езде в остров Любви» 1730 г.).

То же относится и к замечаниям об ассимиляции согласных, ср., например, об ассимиляции *з* > *ж*, *с* > *ш* в § 23 (пункт VI; с. 14–15) Грамматики Адодурова и на с. 410 трактата Тредиаковского. В §§ 23–24 своей Грамматики Адодуров формулирует общую тенденцию русского произношения, согласно которой перед «умягченными» (т. е. звонкими) полагаются обычно также «умягченные», а перед «жестокими» (т. е. глухими) — «жестокие» же (с. 12–17). Очень близкую формулировку можно найти затем у Тредиаковского, который называет звонкие «мяхкими», а глухие «твердыми»: «выговоръ россiйскiй соЕдiняЕтъ мяхкiЕ буквы съ мяхкiмi, а твердыЕ съ твердымi» («Разговор об ортографии», с. 404). По мысли обоих грамматистов, это явление должно отражаться на правописании.

Уместно отметить в этой связи, что оба автора, называя «мягкими» (или «умягченными») звонкие согласные, считают возможным одновременно говорить при

этом, что буква *ь* «умягчает» предшествующий согласный (см. § 14, с. 7 Грамматики Адодурова[19] и с. 223 «Разговора об ортографии» Тредиаковского), т. е. используют соответствующий термин в существенно отличном значении. Подобная непоследовательность особенно наглядно демонстрирует близость Адодурова и Тредиаковского, которая проявляется не только в содержательном, но и в чисто формальном (в данном случае — терминологическом) плане.

3. Итак, сопоставление пространной грамматики Адодурова и «Разговора об ортографии» Тредиаковского обнаруживает целый ряд разительных совпадений, позволяя оценить то влияние, которое оказала адодуровская Грамматика на трактат Тредиаковского. Но в одном случае Тредиаковский, по-видимому, сообщает в своем сочинении о важном лингвистическом наблюдении Адодурова, не вошедшем в данную грамматику — во всяком случае в тот текст, который известен нам по единственному русскому списку и по шведскому переводу Грёнинга. Тредиаковский не называет прямо имени Адодурова (как не называет в других случаях Татищева и иных современных ему авторов, на мнения которых он ссылается[20]), но указывает, что данное наблюдение «прімѣчено… прежде всѣхъ iѕъ нашiхъ отъ тако́ва человѣка, бывшаго нѣкогда прi Академiі, который нынѣ і не въ такiе проніцаетъ мѣлочі, такъ что мы велiкую імѣемъ прічіну, хвалiться столькожъ iѕрядствомъ его раѕума, сколько похваляемъ чесные его поступки, учтiвое обхожденiе, і добронравiе» («Разговор об ортографии», с. 148–149, примеч.); и в другом месте он говорит, что автор данного наблюдения — «нѣкто iѕъ нашiхъ весма довольнаго ученія человѣкъ, котораго я къ себѣ дружбу почiтаю» (там же, с. 398). Уже Пекарский (I, с. 506) предположил, что речь идет здесь об Адодурове, который к 1748 г. оставил Академию и служил в Сенате; едва ли можно сомневаться в справедливости этого предположения (его, кстати, безоговорочно принимает и Винокур, 1959, с. 482).

Это наблюдение Адодурова относится к аканью. Тредиаковский пересказывает его следующим образом: «Всѣ (о), во всемъ Россійскомъ проiѕношенiі, проiѕглашаются такъ, какъ того требуетъ ѕвонъ. Но московскiй яѕыкъ, і сiмъ самымъ первенствуюшчiй iѕъ всѣхъ прочiхъ провiнцiальныхъ, проiѕносiтъ всѣ (о) ударяемыi сiлою, какъ (о); но которыi не ударяются сiлою, тѣ оный главнѣйшiй выговоръ проiѕносiтъ какъ (а). Напрiмѣръ, въ семъ словѣ хорошо́, понеже оба первыi оны неударяемыi; то онi проiѕносятся такъ, какъ бутто напiсаны чреѕъ (а) сiмъ образомъ: харашо́. Ономъ токмо третiй (о) проiѕносiтся въ семъ словѣ, для того что тотъ Онъ сiлою ударяется» («Разговор об ортографии», с. 148–149, примеч.). И в другом месте: «въ московскомъ выговорѣ всѣ (о) неударяемыi ѕа (а) проiѕносятся. Прiмѣръ: *малако́*, вмѣсто *молоко́*» (там же, с. 398, ср. еще и на с. 305, 368). Тредиаковский так комментирует это наблюдение: «поiстiннѣ, сiе коль нi коротiнькое пра́вiло, однако всему яѕыку равное: надобно токмо ѕнать, которыi О́ны ударяемыi, і которыi неударяемыi» («Разговор об ортографии», с. 149, примеч.).

Мы можем только догадываться о том, почему данное наблюдение — действительно замечательное для своего времени — не вошло в тот текст Грамматики

Адодурова, который имеется в нашем распоряжении. Однако с известной вероятностью можно предположить, что соответствующее правило должно было войти в специальную часть Грамматики, посвященную «просодии». В самом деле, в том плане грамматики, который представлен в ее начале («О Грамматїкѣ во обще», с. 1), предполагаются не три, а четыре части Грамматики, а именно: Орфография, Этимология (т. е. морфология), Синтаксис и Просодия, причем если в Орфографии надлежит «ра^{з}су^{ж}дать о лїтера^{х}, ихъ ра^{з}дѣленїи и употребленїи», то Просодия призвана сообщить, «какъ всякое въ рѣчи положе^{н}ное слово правилно выговарива^{т}»; см. еще об этом в § 102, где говорится, что в соответствующей части изъясняется, «какъ писмо^{м} изображе^{н}ную рѣчь, живы^{м} голосо^{м} прои^{з}нести, или прочитать до^{л}жно» (с. 111). Можно сказать, что как орфография, так и просодия рассуждают об одном и том же предмете — соотношении фонетического и графического облика текста, — но с противоположно направленных позиций: если в орфографии в тривиальном случае рассуждение ведется от звука к букве, то в просодии, напротив, — от буквы к звуку[21].

Между тем, в наиболее полном по составу текста шведском издании Грамматики Адодурова представлены только три первые части и отсутствует часть, посвященная «просодии».

Вместе с тем, еще в своем очерке 1731 г. (Адодуров, 1731, с. 48) Адодуров сообщал читателю, что он мог бы привести некоторые правила, относящиеся к просодии, но что изложение данных правил ему приходится оставить для более пространного сочинения. Мы вправе предположить, что речь идет при этом именно о наблюдении над аканьем: последнее могло быть отнесено к просодии как в узком значении этого термина (в связи с зависимостью аканья от ударения), так и в том более общем смысле, который придается данному слову Адодуровым (как, видимо, и некоторыми другими авторами того времени)[22]. Это наблюдение, таким образом, должно было войти в заключительную часть Грамматики, до нас не дошедшую и, может быть, вообще не написанную. Выполнению первоначального плана могло помешать как прекращение публичных лекций при Академии наук осенью 1740 г., так и особенно отзы́в Адодурова из Академии в апреле 1741 г.

Итак, орфографический трактат Тредиаковского 1748 г. может выступать в качестве источника, позволяющего судить о лингвистических взглядах Адодурова. Более того, в некоторых случаях этот источник может прямо способствовать реконструкции более полного текста адодуровской Грамматики.

Так, в §§ 116–117 Грамматики Адодурова мы встречаем упоминание о какой-то дискуссии относительно знаков препинания, имевшей место еще до написания этого сочинения. Свидетельство о такого рода дискуссии можно найти и у Тредиаковского, причем Тредиаковский приводит обширное рассуждение о знаках препинания, выбранное «isъ кнішкі нѣкотораго не бessнатнаго пісателя» («Разговор об ортографии», с. 260–266, примеч.). С большой вероятностью можно полагать, что изложение этого же самого рассуждения должно было завершать первую часть Грамматики Адодурова (посвященную орфографии). В самом деле, в

заключительной фразе дошедшего до нас отрывка русского текста Грамматики Адодурова (в русском списке представлена именно первая часть данной грамматики) автор обещает, «послѣдуя рассужденїю нѣкоторого писателя наши^{х} временъ», изложить правила употребления знаков препинания (с. 133–134); однако же текст на этом обрывается, и соответствующие правила отсутствуют. (Что касается шведского перевода, то в нем вообще отсутствуют параграфы, посвященные знакам препинания, иначе говоря, §§ 115–118 первой части[23].) Есть все основания предполагать, что здесь имеется в виду тот же самый «не беззнатный писатель», о котором говорит Тредиаковский. Действительно, те немногие характеристики знаков препинания, которые даются в адодуровской Грамматике (причем автор ясно указывает в § 118, что соответствующие характеристики принадлежат не ему), могут почти дословно совпадать с цитируемым у Тредиаковского рассуждением этого писателя. Ср.:

Адодуров, Грамматика (§ 117, с. 132–133)	Рассуждение неизвестного автора, цитируемое у Тредиаковского («Разговор об ортографии», с. 261–263, примеч.)
Запятая съ точкою, значи^{т} смыслъ бо^{л}ше совершенный нежели одна запятая, а не такъ полной, какой и^{з}является чре^{з} двоеточїе (с. 133).	Точка съ ѕапятою… по содержанiю полнЕ нѣсколько ѕапятыя, а меньше тѣмже содержанiЕмъ двоЕточiя… (с. 263).
Запятая употребляется для раздѣленїя имѣ^{н}, глаголовъ, наречїй, и таки^{х} частей в стихѣ [т. е. в предложении], которыя ме^{ж}ду собою не по нуждѣ соединяются[24] (с. 32).	Должность ѕапятыя… раѕныя iмена, глаголы, i другiе скланяЕмые ча́стi, до одной надлежашчiЕ вешчi, раѕдѣлять (с. 261–262).

4. Представленный выше фактический материал демонстрирует значительную близость лингвистических концепций Адодурова и Тредиаковского, давая возможность рассматривать пространную грамматику Адодурова как один из тех источников, которыми пользовался Тредиаковский при создании своего «Разговора об ортографии». Собственно говоря, это совершенно естественно, и дело вообще едва ли могло обстоять иным образом. Адодуров и Тредиаковский были близко знакомы уже с осени 1730 г., когда только что возвратившийся из-за границы Тредиаковский жил на квартире у Адодурова, бывшего в то время академическим студентом (см.: Пекарский, I, с. 504; Пекарский, II, с. 18).

Надо полагать, что именно по совету Адодурова Тредиаковский опубликовал в качестве приложения к переводу «Езды в остров Любви» свои собственные стихотворные опыты. Действительно, в специальном предисловии к этому приложению («Извѣстїе читателю») Тредиаковский сообщает, что печатает свои стихи «по совѣту… прїятелей», которые ведают «въ стихахъ силу»: «ежелибъ онымъ [стихам] здесь небыть, то бы имъ надлежало въ вѣчномъ безъизвѣстїи пропасть, чего имъ друзья мои вѣдущїя въ стихахъ силу непожелали» (Тредиа-

ковский, 1730, с. 150; ср.: Берков, 1936, с. 27). Едва ли возможно сомневаться, что речь идет при этом об Адодурове: ведь книга вышла в свет очень скоро после приезда Тредиаковского в Петербург, т. е. в период особенно тесных контактов между Адодуровым и Тредиаковским[25]. Тредиаковский вполне мог считать Адодурова «ведущим в стихах силу»: документально известно, что они обсуждали в то время поэтические произведения — так, Адодуров познакомил Тредиаковского с латинской одой Феофана Прокоповича на коронацию Петра II, которая произвела на Тредиаковского очень сильное впечатление[26].

Наконец, с начала 1735 г. Тредиаковского и Адодурова связывала и совместная работа в Российском собрании при Академии наук.

Текстуальная близость лингвистических выступлений Адодурова и Тредиаковского обнаруживается вообще уже с первых литературных дебютов того и другого. Достаточно указать, что знаменитая (хрестоматийная!) фраза Тредиаковского в предисловии к «Езде в остров Любви»: «Языкъ славенскои нынѣ жестокъ моимъ ушамъ слышится» — находит дословное соответствие в грамматическом очерке Адодурова 1731 г.: «nunmehro aller *Slavonismus*… einen greßlichen Laut in denen Ohren derer Heutigen erreget» (Адодуров, 1731, с. 26; ср.: Унбегаун, 1958, с. 110–111); то обстоятельство, что Адодуров имел, видимо, ближайшее отношение к публикации «Езды в остров Любви», делает это совпадение особенно знаменательным. Если считать, что очерк Адодурова переводился с русского (а не сочинялся непосредственно по-немецки), то следует предположить, что слово *greßlich* (в современном правописании: *gräßlich*) именно и представляет собой прямой перевод русского слова *жестокий* ~ *жесткий*[27]. Трудно с уверенностью сказать, какое произведение было раньше написано (что касается предисловия к «Езде в остров Любви», то оно было сочинено Тредиаковским, по всей видимости, осенью 1730 г., по приезде в Петербург; между тем, подготовка издания, в котором был опубликован адодуровский очерк, началась, вообще говоря, еще до 1729 г., но сам очерк при этом мог быть написан и позже). Важно, однако, иметь в виду, что у Адодурова эпитет *greßlich* 'жестокий' выступает в противопоставлении к *zierlich* 'нежный': если церковнославянские формы характеризуются у Адодурова эпитетом *greßlich*, то соответствующие русские формы оцениваются как *zierlich*: так, здесь сообщается, что форма *питье* нежнее («zierlicher»), нежели *питïе*. Между тем, цитированное высказывание, как и указанное противопоставление, без преувеличения может считаться эпохальным: с одной стороны, оно знаменует очевидную переоценку ценностей, так как ранее положительный эпитет ожидался бы скорее применительно к церковнославянскому языку, а эпитет отрицательного значения — применительно к языку русскому; с другой стороны, отныне соответствующее противопоставление прочно входит в языковое сознание носителя литературного языка[28].

В орфографических рекомендациях Тредиаковского 40-х годов в большой степени реализуются те предложения, которые были высказаны в том же адодуровском очерке 1731 г. В самом деле, уже в этом очерке говорится о возможности исключить из русской (гражданской) азбуки буквы *з*, *и*, *ѳ*, заменив их со-

ответственно через *s*, *ї*, *ф* (Адодуров, 1731, с. 3), что и реализуется практически в орфографии Тредиаковского; то же относится и к предложению ввести букву ґ для обозначения взрывного [g], о чем уже упоминалось выше. Ср. еще замечание о противопоставлении церковной и гражданской пунктуации в очерке 1731 г. (Адодуров, 1731, с. 6), предвосхищающее соответствующие рекомендации Тредиаковского в «Разговоре об ортографии» (Тредиаковский, 1748, с. 258–272). Наконец, именно в этом сочинении Адодурова мы впервые находим ссылку на «обыкновенное употребление и произношение» («gewöhnliche Gebrauch und Aussprache» — Адодуров, 1731, с. 3), игравшую затем столь важную роль в стилистической теории и нормализаторской практике Тредиаковского.

Особенно же разительны текстуальные совпадения «Разговора об ортографии» Тредиаковского с более поздней пространной Грамматикой Адодурова, которые и были специально рассмотрены выше.

Ясно, что отмеченные совпадения, может быть, не всегда говорят о прямом заимствовании. При столь близких отношениях почти невозможно вообще определить, кому в конце концов принадлежала та или иная идея или формулировка, — можно только фиксировать, кто первым ее публично высказал. Но мы вправе предположить, во всяком случае, что влияние Адодурова на лингвистические воззрения Тредиаковского было очень значительным.

В высшей степени знаменательной представляется сама общность интересов Тредиаковского и Адодурова. Тредиаковский также начинал работать над грамматикой русского языка — написать которую суждено было, однако, Адодурову. Так, в перечне обязанностей Тредиаковского, составленном при поступлении его на службу в Академию наук и подписанном президентом Академии Г. Кейзерлингом 14 октября 1733 г., говорится, что «помянутой Тредіаковскій ѡбязу́ется... вычищáть ѩзы́къ рꙋ́ской пи́шучи какъ стíхами, тáкъ и҆ не стíхами... ѡкончи́ть Грамматікꙋ, котѡ́рꙋю ѻ҆́нъ началъ, и҆ трꙋди́ться совокупно съ прочіими надъ Дікціонаріемъ рꙋскимъ» (Пекарский, II, с. 43)[29]. Нет никаких данных, которые позволяли бы предположить, что грамматика Тредиаковского была завершена или вообще что Тредиаковский сколько-нибудь далеко продвинулся в этом начинании. Что же касается начала данной грамматики — которое, в соответствии с традицией, вероятно, было посвящено орфографии, — то надо полагать, что соответствующие разделы легли в основу «Разговора об ортографии», а также работы о правописании прилагательных (1746 и 1755 гг.)[30].

Замечательно при этом, что задачи, поставленные Академией наук перед Тредиаковским, совпадают с теми задачами, которые были сформулированы полтора года спустя самим Тредиаковским перед Российским собранием. Во вступительной речи Тредиаковского, обращенной к членам Российского собрания (произнесенной на первом заседании 14 марта 1735 г.), также говорится «о Грамматїкѣ доброй и исправной, согласной мудрыхъ употребленїю, и основанной на ономъ... и о дїкцїонарїѣ полномъ и довольномъ» (Тредиаковский, 1735, с. 6). Аналогично и в написанном позднее (11 октября 1736 г.) «Письме некоего россиянина к своему другу» Тредиаковский подчеркивал, что Российское собрание «учреждено...

не только для поощрения и усовершенствования российского языка как в прозе, так и в стихах, но… также и для создания грамматики, коей до сих пор мы были лишены и каковая должна быть основана на наилучшем употреблении двора и людей искусных; а также, наконец, и для составления полного словаря» (Тредиаковский, 1935, с. 354)[31]. Таким образом, Тредиаковский — которому, по всей вероятности, и принадлежит вообще сама идея организации Российского собрания (видимо, по образцу Французской Академии, см.: Берков, 1936, с. 25), — как бы переадресует Российскому собранию те задачи, которые первоначально стояли перед ним одним. Между тем, с деятельностью этого собрания в конечном счете и связано, видимо, создание пространной Грамматики Адодурова (ср.: Успенский, 1972/1997, с. 591; Успенский, 1975, с. 44).

Если Тредиаковский начинал работать над грамматикой русского языка, предвосхищавшей Грамматику Адодурова, то Адодуров работал в свое время (в 1740 г.) над «Правилами Российской орфографии» (см.: Успенский, 1972/1997, с. 584; Успенский, 1975, с. 28–30), предвосхищавшими орфографический трактат Тредиаковского. В свою очередь, если работа Тредиаковского над данной грамматикой русского языка отразилась, очевидно, в его орфографических работах, то, напротив, изыскания Адодурова в области русской (гражданской) орфографии вошли, по всей видимости, в первую часть его пространной грамматики.

Влияние Адодурова играло, может быть, не последнюю роль в хорошо известной эволюции взглядов Тредиаковского на русский литературный язык. Нельзя не заметить, по крайней мере, что декларативные заявления Тредиаковского об отказе от «славенщизны» более или менее совпадают хронологически именно с временем общения его с Адодуровым (1730–1742). Как бы то ни было, мы во всяком случае можем утверждать, что «Разговор об ортографии» Тредиаковского явился в той или иной мере проводником лингвистических взглядов Адодурова[32]. Доломоносовский период отечественной русистики, и прежде всего деятельность Адодурова и Тредиаковского, в значительной степени подготовили почву для появления как грамматики Ломоносова, так и последующих опытов кодификации русской речи.

ПРИМЕЧАНИЯ

[1] Русский текст Грамматики Адодурова сохранился лишь частично в рукописи Библиотеки Академии наук (шифр 6.7.3). Более полный текст может быть восстановлен по переводу Грёнинга, см. изд.: Грёнинг, 1750 (далее — Адодуров, Грамматика, шведский перевод). Страницы при ссылках указываем по *русскому списку*, если только специально не оговаривается обратное; ссылки на параграфы всегда относятся к *первой части* Грамматики Адодурова.

Эту — пространную — грамматику Адодурова не следует смешивать с его более ранним, кратким грамматическим очерком на немецком языке, см.: Адодуров, 1731.

[2] Ср. разбор соответствующих высказываний Тредиаковского у Г. О. Винокура (1959).

[3] См. §§ 26 и сл. адодуровской Грамматики. О Тредиаковском см. специально: Винокур, 1959, с. 476–477, 488.

[4] Ср. в этом отношении критику орфографических принципов Тредиаковского у Г. О. Винокура (там же).

[5] Понятие «изменяемых» («переменяющихся») согласных заимствовано Адодуровым и Тредиаковским, вероятно, из грамматики Смотрицкого, но распространено за счет позиционных альтернаций: тем самым этимологически обусловленные чередования отождествляются здесь с изменениями типа сандхи и т. п.

[6] Под «растворением звона» (или «способом звона») Тредиаковский понимает согласные звуки, тогда как гласным соответствуют собственно «звоны» в чистом виде. См.: Тредиаковский, 1748, с. 23.

[7] Характерно, что, являясь вообще сторонником фонетического принципа орфографии, Адодуров не решается, однако, реализовать этот принцип в тех случаях, когда он определенно противоречит «общему употреблению». Так, обсуждая отражение на письме фонетических явлений, Адодуров может специально оговариваться, что «общее употребленїе того во всѣ$^{\text{х}}$ случая [sic!] еще не по$^{\text{д}}$тре$^{\text{р}}$ждае$^{\text{т}}$ [sic! читай: подтверждаетъ] (§ 23, пункт VI, с. 15) или же даже что хотя «то о$^{\text{б}}$щее всѣ$^{\text{х}}$ людей произношенїе по$^{\text{д}}$тве$^{\text{р}}$ждаетъ о$^{\text{д}}$нако$^{\text{ж}}$ во употребленїе еще не вошло» (§ 29, с. 19) и что многие слова «обыкновенны$^{\text{м}}$ о$^{\text{б}}$разо$^{\text{м}}$ весма инако пишу$^{\text{т}}$ся нежели какъ они выговариваются» (§ 24, с. 16–17).

«Общее (обыкновенное) употребление» выступает, тем самым, для Адодурова как последняя и окончательная инстанция. Следует сказать, что Тредиаковский гораздо более радикален в отношении фонетического письма, хотя и он может признавать, что «многія ешче слова́» пишет «не по звону, но *по обыкновенію*» (Тредиаковский, 1748, с. 282).

[8] Ср. в грамматике Смотрицкого: «Ѻпа́снѡ про́чее блюдо́мо боу́ди: вогре́ческихъ рече́нїихъ, ѻ̓рѳогра́фїи гре́ческой, в’ лати́нскихъ латі́нстѣй храни́мѣй бы́ти: и̓ во є̓вре́йскихъ, є̓вре́йстѣй» (Смотрицкий, 1648, л. 58 об.; ср. 1-е изд. этой грамматики — Смотрицкий, 1619, л. Б/2). Соответствующее правило очень часто цитируется в сочинениях о церковнославянском языке.

[9] Этот параграф не вписан в русский текст и дошел до нас только в шведском переводе М. Грёнинга (Грёнинг, 1750).

[10] См.: Поликарпов, 1701, л. 7.

[11] Личные собственные имена (входящие в православные святцы) относились по преимуществу к церковнославянскому языку, см.: Успенский, 1969; Успенский, 1969/1997.

[12] Ср. о том же еще и в «Предуведомлении» к первому тому «Римской истории»: «при Греческихъ именахъ слѣдую, в нынѣшнемъ Гражданствѣ, больше Западному, а не восточному произношенiю» (Тредиаковский, 1761–1767, I, с. 29).

Замечательно, что предлагая (в 1757 г.) напечатать «Псалтырь стихотворную» и «Феоптию» в Синодальной типографии — «церковным типом, как по всему духовные [книги]» — Тредиаковский все же настаивает на правописании *Гомер*, а не *Омир* и т. п. (О Феоптии, 1851, с. 541).

[13] Соответствующие указания можно найти и в более ранних сочинениях Адодурова, см. об этом: Успенский, 1972/1997, с. 586–587; Успенский, 1975, с. 36–37.

[14] Ср. еще у Тредиаковского во второй редакции статьи «Объ окончанiи прилагательныхъ именъ…» (1755): «зна́къ сей (ь), есть не-что́ иное, какъ-то́ жъ са́мое (и), но токмо осла́бленное звономъ» (Пекарский, 1865, с. 106).

[15] Подробную аргументацию см.: Успенский, 1972/1997, с. 580 сл.; Успенский, 1975, с. 24 сл.

[16] Соответствующие параграфы дошли до нас лишь в шведском переводе.

[17] Ср. соответствующую разницу складов в букварях церковной и гражданской печати, а также различие в переносе слов в церковнославянских и в русских гражданских книгах.

[18] Это наблюдение, между прочим, дает повод Адодурову сделать следующее замечание: «вмѣсто гласного *е* въ словѣ *очень* многiе кладу^{т} двоегласное *ю* которое какъ для согласныя лiтеры *ч*, в семъ слогѣ стоя^{т} не може^{т}, но до^{л}женствова^{ло} бы… перемѣнено бы^{т} въ лiтеру *у*, такъ противно то и наилучшему прои^{з}ношенiю, для того что всѣ которы^{м} мы въ то^{м} до^{л}жны послѣдова^{т}, выговариваю^{т} сiе слово *очень* а не *очунь*, нижѐ *очюнь*…» (§ 65, с. 69).

Едва ли можно сомневаться в том, что это замечание полемически направлено против Тредиаковского, для которого форма *очюнь* была (в свое время) настолько характерна, что могла служить даже объектом насмешек. Так, Сумароков в пародийной комедии «Тресотиниус» (1750) специально передразнивает эту манеру Тредиаковского, выводимого под именем Тресотиниуса: «Т р е с о т и н i у с ъ. Однакожъ, не поскучитель послушать, а пѣсенка сочинена *очюнь*, *очюнь*, подлинно говорю, что *очюнь* хорошо… К л а р и с а. *Очень* сударь хорошо; я вамъ вѣрю, что ета пѣсня хороша» (Сумароков, V, с. 301).

[19] Эта омонимия сохранена и в шведском переводе; ср. здесь термин *wek* в разных значениях: ‛мягкий’ и ‛звонкий’ (Грёнинг, 1750, с. 8 и 11).

[20] Это вполне обычно для того времени. Характерно, что обращаясь осенью 1747 г. к Татищеву с просьбой прислать ему список «Рассуждения о буквах кирилловских» для опубликования в своем «Разговоре об ортографии», Тредиаковский считает нужным дать специальное обещание, что не будет открывать имени составителя «Рассуждения…» (см. переписку Татищева с Тредиаковским и Шумахером за 1747 г. в изд.: Андреев, 1951). Итак, цитирование чужого мнения не предполагало ссылку на его автора, и даже наоборот — в определенных случаях исключало ссылку такого рода.

[21] Если подобное деление грамматики соответствует вообще славянской, а в конечном счете и греческой грамматической традиции (см., в частности, грамматику Смотрицкого), то изложенное здесь понимание термина «просодия», кажется, в гораздо меньшей степени опирается на традицию. Так, например, у Смотрицкого хотя и подчеркивается неоднозначность данного термина, но отмечаются только следующие два его значения: просодия как учение о слогах в связи с правилами версификации и просодия как совокупность акцентных или вообще диакритических знаков (см.: Смотрицкий, 1619, л. Б/3 об.; Смотрицкий, 1648, л. 59). Мы можем сослаться, однако, на грамматический трактат Федора Поликарпова «Технолόгїа то есть художное собесѣдованїе ѡ грамматíческо^м художествѣ…» (рукопись ГПБ, шифр: НСРК F 1921.60; см. теперь изд.: Поликарпов, 2000), где соответствующие разделы грамматики определяются следующим образом: «Ὀрѳогрáфїа ýчи́тъ знáть рáзнство пи́сменъ. Ѐтѵ́молóгїа речéнїй. Сѵ́нтаѯїсъ ѻ́ныхъ речéнїй сложéнїе. Просѡ́дїа же всѣхъ си́хъ глáсомъ произношéнїе» (с. 7); и далее здесь же: «просѡ́дїа є́сть познáнїе чрéзъ знáки прáвагѡ писáнїя и҆ произношéнїя и҆лѝ чтéнїя» (с. 11). В свою очередь, чтение определяется здесь как «вторóе знáнїе, занѐ пéрвое знáнїе бывáетъ чреꙁ пи́смена» (с. 196), и подразделяется «на прáвое пи́сменъ произношéнїе, на ýдарéнїе, на стрóчное препинáнїе, и҆ на поглáсицꙋ» (с. 197).

Можно полагать, что понимание термина «просодия», проявившееся как в «Технологии…» 1725 г., так и в Грамматике Адодурова, обусловлено непосредственным влиянием со стороны западноевропейских языков, где соответствующее слово, восходящее к лат. *accentus*, может означать как ʻударениеʼ, так и вообще ʻпроизношениеʼ (ср., между прочим, сохранение последнего значения в русском заимствованном слове *акцент*). Установление лексической корреляции «просодия — акцент» могло повлечь за собой изменение значения первого слова под влиянием второго.

Нетрудно усмотреть здесь тенденцию сохранить формальную схему славянской грамматики, наполнив ее новым содержанием. Выше мы отмечали уже проявление подобной тенденции в Грамматике Адодурова (в связи с термином «переменяющиеся» согласные, см. с. 510–511 наст. работы).

[22] Ср. в этой связи в черновых материалах Ломоносова к «Российской грамматике»: «*Онъ* отъ *аза* для перемѣны ударенiй и для аналогiи знать, различать неотмѣнно надобно как *ѣ* от *е*, такъже и для перорацiи» (Ломоносов, VII, с. 691).

[23] Пропуск §§ 115–118 в шведском переводе может объясняться как раз тем, что раздел, посвященный употреблению знаков препинания, не был закончен в Грамматике Адодурова. Во всяком случае этот раздел не имеет конца в известном нам списке; можно предположить, что он не имел конца и в том оригинале, которым располагал шведский переводчик (М. Грёнинг), ввиду чего последний мог предпочесть вовсе выпустить весь соответствующий тематический раздел как незавершенный. Вполне вероятно, что данный раздел вообще не был дописан, поскольку далее (после § 118) должен был следовать не оригинальный текст, а изложение рассуждений данного «писателя» или даже прямая цитата из его сочинения; поэтому автор мог пропустить соответствующее место и затем по тем или иным причинам к нему не вернуться.

[24] В тексте сначала говорится: «по нуждѣ не соединяются», но затем при пересказе этого места в § 118 (с. 133) дается более осмысленное сочетание данных слов. В приведенной цитате произведена соответствующая конъектура.

[25] Что касается формы множественного числа в приведенных цитатах, то, разумеется, вовсе не обязательно трактовать ее буквально — она имеет здесь значение неопределенности, что вообще характерно для стиля Тредиаковского. Доказательством сказанного может служить, между прочим, авторская правка в рукописном оригинале «Разговора об ортографии» (см.: ААН, разр. II, оп. 1, ед. хр. 137). Здесь видно, как Тредиаковский более или менее последовательно исправлял форму единственного числа на безличное множественное (в случае глухих персональных ссылок такого же рода).

[26] В написанном летом 1734 г. «Разсужденїи о одѣ во обще» Тредиаковский так вспоминал об этом: «Я когда прїѣхалъ изъ Францїи въ Санктпетербургъ, и чрезъ прїятство одного мнѣ друга, въ Санктпетербургскои Імператорскои Академїи наукъ, достоинаго Адъюнкта, лишъ въ первые сталъ читать сообщенную мнѣ ту Оду, и почувствовалъ Энтузїасмъ Ея превысокїи, то въ толь великїи Энтузїасмъ удивленїя и самъ пришолъ, что не могъ, свидѣтельствуюся совѣстїю моею, удержаться, чтобъ съ дважды, или съ трижды не вскричать: БОЖЕ МОИ! Какъ эта Ода хорошо, и мастерски сдѣлана!» (см.: Тредиаковский, 1734, л. 14 об.). Несомненно, имеется в виду Адодуров, который был ко времени написания этих строк уже адъюнктом (с 1733 г.).

Позднее Адодурову приходилось переводить и немецкие стихи (см.: Куник, 1865, с. 81, 83). Вполне закономерно, что именно Адодурову, вместе с Таубертом, было поручено в 1740 г. рассматривать известный спор Тредиаковского и Ломоносова о стихосложении.

[27] Форма *жестокъ* не имеет акцента у Тредиаковского, но можно думать, что прилагательные *жестокий* и *жесткий* могли дифференцироваться лишь стилистически, но не семантически (ср. в этой связи: Кипарский, 1962, с. 273). К пониманию семантики слова *жест(о)кий* в данном употреблении можно сослаться на относящийся к тому же времени, что и цитируемые сочинения Тредиаковского и Адодурова (а именно, к 1730 г.), кантемировский перевод «Разговора о множестве миров» Фонтенеля. В предисловии Фонтенеля здесь говорится, что автор старался философию «привести въ такую мѣру, чтобъ была ни весьма ж е с к а для всѣхъ общества людеи, ни гораздо шутлива для ученыхъ», причем к слову *жеска* Кантемир делает следующее примечание: «Жеска. Пофранцуски въ орїгїналѣ стоитъ *seche*, что въ семъ мѣстѣ значитъ своиство непрїятное, недающее ни какои забавы» (см. примеч. 3 к «Авторову предисловию» в изд.: Фонтенель, 1740). См. подробнее: Успенский, 1985, с. 80 сл. — наст. изд., с. 85 сл.

[28] Отражение цитированной выше фразы нетрудно усмотреть, например, в «Наставлении хотящим быти писателями» А. П. Сумарокова (1774), где говорится, что «в пастушьих стихах», т. е. идиллиях, эклогах, «громкие слова чтеца ушам ж е с т о к и»; под «громкими» словами понимаются, несомненно, слова высокого слога. Точно так же и Батюшков в своем полемическом «Видении на брегах Леты» (1809) писал позднее о поэтах-славенороссах:

Их мысль на небеса вперенна,
Слова ж из Библии берут.
Стихи их хоть немного ж о с т к и, —
Но истинно варяго-росски.

У того же Батюшкова в сцене «Вечер у Кантемира» Кантемир говорит: «Я первый изгнал из языка нашего г р у б ы я с л о в а С л а в я н с к и я, чужестранныя, несвойственныя языку Русскому»; эпитет *грубый*, очевидно, выступает здесь как эквивалент слова *жесткий*.

Напротив, явления собственно русской языковой стихии с достаточной регулярностью могут характеризоваться эпитетом *нежный*. Так оценивается, например, аканье: по словам Тредиаковского (1748, с. 305), «нѣжнѣйшій московскій выговоръ необходімо проіѕноситъ… (о), какъ (а)»; также и у Ломоносова в эпиграмме «Искусные певцы…» (1753 ?) говорится, что

Великая Москва в язы̀ке толь нежна,
Что *А* произносить за *О* велит она.

Таким же образом могут характеризоваться вообще все явления, противопоставляемые в сознании носителя языка церковнославянской языковой стихии и, соответственно, ассоциируемые с «нынешним» языком. См. подробнее: Успенский, 1985, с. 83 сл. — наст. изд., с. 86 сл.

[29] Ср. соответствующие документы на французском языке: Мат. АН, II, с. 392–393. См. в этой связи: Успенский, 1992/1997, с. 517–519; Успенский, 1975, с. 69.

[30] Трактат Тредиаковского о правописании прилагательных 1746 г. опубликован Сухомлиновым (IV, примеч., с. 3–26) и Вомперским (1968); трактат 1755 г. опубликован Пекарским (1865, с. 102–116). О значении этого вопроса для русской орфографии см. вообще: Успенский, 1984/1996, с. 378–381 — наст. изд., с. 484–485.

[31] Ср. соответствующий французский текст в изд.: Тредиаковский, 1849, с. 105.

[32] Действительно, многие идеи, которые приписывались как современниками, так и позднейшими исследователями Тредиаковскому, были впервые высказаны Адодуровым. Знаменательно, например, что в упоминавшейся выше сумароковской комедии «Тресотиниус», представляющей собой пародию на Тредиаковского, Тресотиниус-Тредиаковский учит писать *ѕ* вместо *з*, употребляет форму *слатенька*; предполагалось, что по этим (и некоторым другим) признакам зрители должны были узнать Тредиаковского. Между тем, в действительности соответствующие орфографические рекомендации принадлежат, по всей видимости, Адодурову (насколько об этом можно судить вообще по дошедшим источникам).

Грамматические штудии Тредиаковского

10 сентября 1733 г. Тредиаковский обратился в Академию наук с предложением принять его на службу, причем он выражал готовность заботиться, в частности, «обо всем, что до изъяснения русской грамматики… способно относиться» («quidquid ad explanandas regulas grammaticae, nempe rossicae… spectare valeat» — Мат. АН, II, с. 380). Вскоре после этого, 14 октября 1733 г., президент Академии наук Г. К. фон Кейзерлинг подписал контракт с Тредиаковским; согласно этому контракту Тредиаковский, между прочим, обязуется «совершенствовать русский язык, будь то в прозе или стихах, преподавать его, если этого от него потребуют, окончить грамматику, которую он начал...» («de perfectioner la langue russienne, soit par la prose, ou par les vers, d'y donner des leçons, en cas qu'on le demandera, d'achever la grammaire qu'il a commencée…» — Мат. АН, II, с. 392–393)[1].

Грамматика Тредиаковского, о которой говорится в этом контракте, по всей видимости, так и осталась незавершенной. Во всяком случае она явно не была окончена в 1735 г., когда было образовано Российское собрание при Академии наук: действительно, выступая с программной речью на первом заседании Российского собрания 14 марта 1735 г., Тредиаковский призывает к созданию грамматики русского языка (Тредиаковский, 1735, с. 6); то же говорится и в написанном позднее (11 октября 1736 г.) письме Тредиаковского, посвященном описанию работы Российского собрания («Lettre d'un Russien» — Тредиаковский, 1849, с. 105; Тредиаковский, 1935, с. 354). Создается впечатление вообще, что Тредиаковский, которому и принадлежит, несомненно, сама идея организации Российского собрания, как бы переадресует этому ученому обществу те задачи, которые первоначально стояли перед ним одним (Успенский, 1974/1997, с. 620 — наст. изд., с. 521–522; Успенский, 1975, с. 70; Успенский, 1985, с. 72 — наст. изд., с. 81). С деятельностью Российского собрания связано в конечном итоге создание пространной грамматики Адодурова 1738–1740 гг. (Успенский, 1972/1997, с. 591; Успенский, 1975, с. 44–49, 70). Поскольку Тредиаковский и Адодуров работали в тесном контакте и разделяли одну и ту же языковую концепцию (см. об этом: Успенский, 1974/1997 — наст. изд., с. 509–527; Успенский, 1975, с. 64 сл.), появление грамматики Адодурова могло освобождать Тредиаковского от принятого им в свое время обязательства, т. е. от необходимости завершить работу над грамматическим описанием русского языка. Что же касается начала данной грамматики, которое в соответствии с традицией должно было быть посвящено орфографии, то вполне возможно, что соответствующие разделы легли в основу «Разговора

между Чужестранным человеком и Российским об ортографии…» Тредиаковского (1748), т. е. трактата, посвященного обоснованию фонетического правописания.

Мы не знаем, насколько продвинулся Тредиаковский в работе над своей грамматикой и вышел ли он за рамки рассмотрения орфографических проблем. Во всяком случае ему приходилось заниматься не только орфографией — это было связано с его преподавательской деятельностью. В контракте 1733 г., как мы видели, была предусмотрена возможность использования Тредиаковского в качестве преподавателя русского языка. Действительно, после поступления на службу в Академию наук Тредиаковскому время от времени приходилось этим заниматься. Так, Тредиаковский обучал русскому языку президента Академии наук Г. К. фон Кейзерлинга (Пекарский, I, с. 501; Пекарский, II, с. 44) — Кейзерлинг был президентом с 9 августа 1733 г. по 23 сентября 1734 г. Затем Тредиаковскому поручается преподавать русский язык принцу Антону-Ульриху, жениху будущей регентши Анны Леопольдовны, причем эти занятия продолжались два года (Пекарский, II, с. 58).

Уроки русского языка, которые давал Тредиаковский своим высокопоставленным ученикам, предполагали тщательную подготовку и какие-то письменные разработки, в частности, письменную фиксацию текстов. Мы можем судить об этом, например, по практике Адодурова, которому в 1744 г. пришлось преподавать русский язык будущей императрице Екатерине II: Екатерина упоминает в своих мемуарах о тетрадях, которые готовил для нее Адодуров и которые она заучивала наизусть (Екатерина, XII, с. 203). Такого рода практика была, видимо, достаточно обычной.

Нам не удалось обнаружить каких-либо материалов, отражающих грамматические штудии Тредиаковского, т. е. материалов, относящихся к его грамматике или же к его занятиям, связанным с преподаванием русского языка. Не исключено, что материалы эти погибли вместе со всем его имуществом во время одного из пожаров, в 1736 или в 1747 г. (Мат. АН, II, с. 736; Мат. АН, VIII, с. 583; Пекарский, II, с. 70, 121–122). Как бы то ни было, любые сведения, касающиеся филологической деятельности Тредиаковского, заслуживают самого пристального внимания со стороны историка русского литературного языка и русской культуры.

ПРИМЕЧАНИЯ

[1] До нас дошел перевод этого контракта, выполненный Тредиаковским и написанный его рукой. Любопытно, что Тредиаковский несколько отступает здесь от французского оригинала: он предпочитает говорить не об уроках русского языка, а о лекциях вообще, не уточняя их тематику. Согласно этому переводу, Тредиаковский должен «вычищать ѩзыкъ рꙋской пишучи какъ стіхами, такъ и не стіхами; давать лекціи, ежели о[т] него потребовано будетъ; ωкончить Грамматикꙋ, котωрꙋю онъ началъ...» (Пекарский, II, с. 43; ср. еще: Мат. АН, VII, с. 286). По-видимому, Тредиаковский думал уже о будущей карьере профессора, и он не собирался ограничивать свою преподавательскую деятельность практическими уроками русского языка. Преподавание русского языка, о котором говорится в контракте, вероятно, относится к занятиям с президентом Академии наук фон Кейзерлингом: занятия эти начались, кажется, вскоре после заключения контракта (см. с. 529 наст. работы).

Об обстоятельствах заключения Тредиаковским контракта с Академией наук см. вообще: Успенский, 1985, с. 72, 148–149 — наст. изд., с. 81, 127; Успенский и Шишкин, 1990, с. 151–152 — наст. изд., с. 358–359.

Первое произведение Тредиаковского

В 1712–1722 гг. Тредиаковский был учеником латинской школы, основанной в Астрахани итальянскими капуцинами (см.: Самаренко, 1962, с. 358–359; Успенский и Шишкин, 1990, с. 105–106 и с. 178, примеч. 22 — наст. изд., с. 321, 379). До нас дошла грамматика церковнославянского языка, собственноручно им переписанная в этот период — именно в 1721 г. (см.: Марков, 1980). Рукопись эта была подарена Тредиаковским — по всей вероятности, при отъезде из Астрахани в начале 1723 г. — некоему Сунгаре Притомовичу (индийскому купцу, интересовавшемуся, вероятно, русским языком, см.: Марков, 1983); ср. дарственную надпись на первом листе: «**Сї́ю кнг҃ꙋ грамма́тїкꙋ подари**ⷧ **ꙗ Василе**ⷤ **Тре**ⷣ**ꙗковскїи Сꙋ**ⷩ**гарѣ Притомовичѵ да владѣетъ єю вѣчнѣ**». Впоследствии эта рукопись оказалась в собрании Черткова, а затем в составе собрания перешла в московский Исторический музей, где в настоящее время и хранится (под шифром: Чертк. 337; см.: Черниловская и Шульгина, 1986, с. 85).

Текст грамматики воспроизводит — с незначительными отклонениями — текст печатной грамматики церковнославянского языка, изданной в Кременце в 1638 г. (см.: Грамматика, 1638); последняя, в свою очередь, представляет собой сокращение грамматики Мелетия Смотрицкого 1619 г. (см.: Смотрицкий, 1619). Некоторые отличия от печатного издания 1638 г. могут быть обнаружены в парадигме глагола, преимущественно в сослагательном наклонении, но мы не знаем, были ли эти изменения сделаны самим Тредиаковским: оригиналом могло служить ему не само печатное издание, а какой-то список, не вполне точно его воспроизводящий. Заслуживает внимания, вместе с тем, то обстоятельство, что Тредиаковский учился церковнославянскому языку по книге, отражающей югозападнорусскую, а не великорусскую норму церковнославянского языка.

Знакомство Тредиаковского с грамматикой 1638 г. проливает свет на один из источников, определивших его представления о стихосложении. Действительно, в конце грамматики 1638 г. мы находим рассуждение о том, что «стихотворная просодия», основывающаяся на протяженности слогов, присущая греческому и латинскому стихосложению и излагаемая в грамматике Смотрицкого применительно к славянскому стиху, славянам не нужна, «понеже Славяном несть еще обычай, мерами, временми и степенми стихи составляти» (л. 104). Далее следует ссылка на «Полских стихотворцев», которые основываются не на долготе, а на числе слогов и рифме. Соответственно, в грамматике 1638 г. опущен раздел «стихотворной просодии», представленный в грамматике Смотрицкого, и остав-

лена лишь просодия «со препинанием строчным», т. е. раздел о знаках препинания. Все это рассуждение дословно повторяется и в списке Тредиаковского (л. 77 об. – 78 об.). В дальнейшем Тредиаковский начинает свой «Новый и краткий способ к сложению Российских стихов» именно с критики «количественной просодии», предлагаемой Смотрицким (Тредиаковский, 1735а, с. 1–2, 4). Таким образом, знакомство Тредиаковского с грамматикой 1638 г. подготовило почву для последующей реформы русского стихосложения.

Итак, сама грамматика, представленная в списке Тредиаковского, не содержит почти ничего оригинального по сравнению с печатным изданием 1638 г. Оригинальной частью рукописи является, однако, предисловие, написанное по правилам школьной риторики и говорящее о необходимости изучения грамматики для совершенного владения языком; оно сопровождается рифмованным четверостишием (л. 4–5). Предисловие подписано: «**ѵченикъ латїнскиⷯ школъ**: Basilius Tretiacoue^{n}sis». Что касается четверостишия, то оно может условно рассматриваться как силлабическое, хотя в первой строке имеется лишний слог (15 слогов в первой строке, 14 — во второй, третьей и четвертой): возможно, чтение этой строки предполагало опущение союза «и». Предисловие и четверостишие представляют собой наиболее ранние из дошедших до нас произведений Тредиаковского: они написаны на витиеватом церковнославянском языке и показательны для характеристики языковой позиции Тредиаковского в период, предшествующий его отъезду за границу.

Текст их воспроизводится ниже с соблюдением орфографии источника. Исключение делается лишь для прописных букв, которые вводятся в начале предложения, и для имен собственных; в рукописи Тредиаковского различение прописных и строчных начертаний, по-видимому, относится к каллиграфии, а не к орфографии. Словоразделение приближено к современному.

Ко чтѵщемѵ

Пе́рвѣе, тща́телный чита́телю, вѣ́дѣти е́сѝ до́лженъ: ѡ са́моⷨ и҆мени грамма́тїки, кі́имъ дїале́ктомъ нарица́ется, и҆́ и҆́с чесогѡ̀ произво́дится. Зане́ бо грамма́тїка, е҆ллинскимъ я҆зы́комъ нарица́ется, ѿ гл҃а гре́ческагѡ гра́фо: е҆́же славе́нскимъ дїале́ктом разꙋмѣ́ется: пи́сменница, ѿ гл҃а пишꙋ: поне́же бо писмꙋ, безъ писа́нїя быти нѐ ѵ҆́добь. Но и҆́ сегѡ̀ бо ра́ди, сїю наꙋ́кꙋ грамматі́кꙋ нарица́ють антономаⷭти́чнѣ ключе́мъ: понеже[*] а҆́ки бы две̑рь хра́мины на́шея, заключеⷩныя т҅мо́ю неразѵмїа ѿключа́етъ, в не́йже, богатосвѣтлопростра́ннѣйшїй цар҅ствꙋющїи ѵ҆́мъ на́шъ ѡ҆битат́ель е҆́сть: и невозбра́нный пꙋ́ть, до

[*] Слово «**понеже**» — вместо зачеркнутого «**ѵбо**».

премѹ́дрыⷯ наѹ́къ чре́зъ степе́ни ше́ствовати[**] **попѹска́еть, пе́рвою степе́нїю лѣ́ствицы ся̀ ѹ҆подоби́ти бл҃говолѝ. Но до ни́хже кто̀, не прикоснѹ́выйся се́й понѹ́дится ше́ствовати: бѹ́детъ**[***] **пребыва́ти ꙗ҆́ко въ ма́лѣмъ, и҆ нетве́рдѣмъ кораблецѣ̀, на вели́кости волне́нїй вели́кагѡ ѡ҆кїа́на: въ не́мже дѹ́хомъ бѹ́рнымъ вла́емъ, изы́бляся лю́тѣ потопи́тся: А҆́ще нѐ пре́же возьмѣ̀ ꙗ҆́корь, и смо́лѹ, (наде́ждѹ и҆ ѹ҆твержде́нїе) ко̀ ѹ҆тве́рждѣнїю и҆ наде́жномѹ пребыва́нїю кораблецѹ̀ своемѹ̀, а҆́ще бы и҆ вѣ́трило, ско́рое преноше́нїе ѹ҆ма̀ своегѡ имѣ̀. Грамма́тика бо по сѹществѹ̀ и собствѹ̀, нарица́ется пи́сменница, зане́же бо сїѧ̀ ѿкрыва́ет разѹмѣнїе и҆ позна́нїе пи́сменъ, ꙗ҆́же ѡ҆́бще нарица́ются лїте́рами: и҆ раздѣля́етъ ѻ҆нѣ́хъ, и҆ є҆́же и҆з ни́хъ быва́етъ. По се́мъже кни́гъ рече́нїя, и҆ соверше́нная слѡвъ позна́нїя, дае́тъ разѹмѣ́ти, и҆ разсѹжда́ти: и҆ во писа́нїяхъ положе́нїя, средоположе́нїя, соверше́нная положе́нїя, и҆спы́тно наѹча́етъ разѹмѣва́ти, по гл҃ющемѹ: и҆спыта́йте писа́нїя**[****]. **Но без сея̀ бо невозмо́жно писа́нїя испытова́ти, како бо ѹ҆до́бь разрѣши́ши въ писа́нїяхъ тво́рческїя сѷллогі́змы? Занѐ не вѣ́си что̀ є҆́сть, и҆ ка́я и҆мена̀, глаго́лы, прича́стїя, нарѣ́чїя, мѣ́сто и҆ме́нїя, предложе́нїа, сою́зы, и҆ междоме́тїя: но и҆ всего̀ ѡ҆смоча́стнагѡ разѹмѣ́нїя съ послѣ́дѹющими ѻ҆ нѣ́мъ, ꙗ҆́кѡ: ѹ҆равне́нїя, ро́ды, чи́сла, начерта́нїя, ѵ҆поста́си, и҆лѝ ви́ды, паде́жи, склоне́нїя, знаменова́нїя, ка́чества, ли́ца, зало́ги, наклоненїя, времена̀, сѹпрѹ́жества, и҆лѝ спряженїя, и҆ чи́ны сою́за: поне́же сїя всѧ̀ расѹжда́етъ грамма́тїка. И҆ сего̀ ра́ди до́лжнѡ всѣ́мъ тща́телемъ дїале́кта славенска вѣ́дѣти хѹдо́жество грамматі́чное: без сея́же а҆́ще и҆ мня́йся кто̀ вѣ́дѹщїй, всяче́ски погрѣши́тъ. Здравствѹ́й.**

Всѣ́хъ бл҃гъ ти жела́ю пода́тися ѿ Бг҃а,
ѹ҆чени́къ латі́нскиⷯ шко́лъ:

Basilius Tretiacouensis
Anno Domini MDCCXXI
Mensis Septembri «30» [D]

Бг҃ дх҃ъ ст҃ый, разѹма, и҆ премѹдрости пода́тель,
токмо бѹ́ди прилѣ́жнѣ чл҃вкъ сиⷯ и҆скатель.
А҆́ще чте́нїю, ѹ҆че́нїю восприлѣжи́ши
по Па́ѵлѹ, всѧ̀ сїѧ̀ си ѡ҆брѣсти полѹ́чиши.

(ГИМ, Чертк. 337, л. 4–5)

[**] Слово «**ше́ствовати**» добавлено над строкой.
[***] К слову «**бѹ́детъ**» на полях дана глосса: «**иматъ**».
[****] Цитата: Ин. V, 39.

«Дурацкая свадьба» в Петербурге в 1740 г.*

Начинался последний год царствования императрицы Анны Иоанновны, и кабинет-министр Артемий Петрович Волынский, еще не предвидевший близко уготовленной ему страшной участи, готовился поразить Петербург невиданным шутовским праздником. Центром его была свадьба князя Михаила Алексеевича Голицына (1697–1775) — перешедший за границей в католичество, он был сделан в наказание придворным шутом; теперь Голицын, представитель одного из самых знатных семейств в империи, женился на царской приживалке и шутихе калмычке Евдокии Ивановне Бужениновой (1710–1742). Приходившаяся на преддверие масленицы свадьба должна была сопровождаться грандиозным маскарадом, где главную роль играли экзотические народы, населявшие Российскую империю. О том, как готовился праздник, можно судить по одному из указов, посланных в Казань: «Указали мы для некоторого приуготовляемого здесь маскарата выбрать в Казанской губернии из татарского, черемисского и чувашского народов каждого по три пары мужеска и женска полы пополам и смотреть того, чтобы они собою были не гнусные, и убрать их в наилучшее платье со всеми приборы по их обыкновению, и чтоб при мужеском поле были луки и прочее их оружие и музыка, какая у них употребляется…».

Такие же указы пошли в Архангельск, на Украину; в Москве требовалось сыскать «восемь баб молодых и столько ж мужей их, умеющих плясать, которые б собою были не гнусны, … из пастухов шесть человек молодых людей, которые бы умели на рожках играть… меделянских 15 хороших собак… петуховых больших перьев, колькольчиков разных…»; из Твери забиралось 12 человек для аллегории *Весны,* уже представлявшейся на прошлых маскарадах; из Новгорода — 50 козлов да баранов четверорогих и пятирогих до десяти, из Сибири — хвостов лисьих и волчьих, тулупов медвежьих и т. д.; всего было выписано около 300 инородцев (Соловьев, X, с. 530, 517–518).

Под руководством того же Волынского был составлен подробнейший церемониал маскарадного шествия (его мы публикуем ниже) и рисунки маскарадных костюмов (они нам неизвестны). Свадебный поезд должен был проехать мимо императорского дворца и объехать главные улицы города. Открывал шествие римский бог Сатурн на колеснице, запряженной четырьмя оленями с позолоченными рогами — аллегория «золотого века» (Saturnia regna)[1]; за ним астрологический символ Полярной звезды, в коляске на восьми журавлях, затем четыре пас-

* Совместно с А. Б. Шишкиным.

туха, играющие на рожках, верхом на коровах, за ними фурьер с жезлом в руке на верблюде, потом трое колдунов с накладными носами, пешие; дальше сказочный богатырь с четырьмя руками, двумя лицами, но одной головой; потом потешная «гвардия» жениха — 24 воина в вывороченных заячьих шубах верхом на козлах; вслед им музыканты с гудками, волынками, рылями, балалайками и рожками, за ними линейки и сани, запряженные быками или собаками, на которых ехали вотяки, лопари, камчадалы и просто ряженые «под видами разных диких народов»; Бахус верхом на винной бочке, с ним два сатира, и кругом них аллегория Весны — тверские ямщики, свиставшие по-птичьи[2], и Нептун на морской рыбе — последнего бога представлял доставшийся Анне в наследство петровский шут И. А. Балакирев; кидающие в толпу мерзлую рыбу камчадалы[3], потом скороходы, и наконец, женихова конюшня: оседланные осел, козел и баран, а потом уже, в санях на шести оленях, и сам жених — «дурак самоятской ханской сын Кваснин»[4], бывший князь Голицын[5]; за ним сваха «во образе Юноны» с четырьмя купидонами, наряженными обезьянами, с нею по две подсвахи, одни на петухах, другие на гусях; затем на слоне управитель всего маскарадного поезда, с большой седою бородой, в черном платье, на груди на медной цепи «дурацкий герб» жениха, а в руках помело, кругом его — 12 арапов и трое помощников на верблюдах; вслед им пешком со служителями, жертвенными быками и баранами главный жрец-идолотворец, на голове шапка с полумесяцем, в руках серповидный нож, с ними изображение солнца, «которого идолопоклонники за бога почитают»; за ними аллегории четырех времен года, и вот уж, наконец, на верблюдах сама «невеста блядь Буженинова» (таков ее официальный титул на шутовской свадьбе) со «своднею свекровью», погонщиками у них купидоны, бросающие в народ овощи[6], на санях, запряженных свиньями, их сопровождают мордвины, чуваши и черемисы, всех по шесть человек[7]; заключают дикий шутовской поезд музыканты и пешая потешная «гвардия» невесты.

Одним из главных участников шутовского действа был Тредиаковский. В маске и потешном платье он принужден был сочинить для «дурацкой свадьбы» шутовское приветствие на заданную материю и прочесть его на свадьбе. Это приветствие в церемониале именовалось «казаньем» или «срамным казаньем»; слово *казанье* восходит к польскому *kazanie* и означает ʽпроповедьʼ — о смысле этого названия мы скажем ниже. Вот шутовское «казанье», написанное Тредиаковским[8]:

Здравствуйте женившись дурак и дура[9],
еще и блядочка, то-та[10] и фигура.
Теперь-то прямое время вам повеселится,
теперь-то всячески поезжанам[11] должно бесится,
кваснин[12] дурак и буженинова блядка
сошлись любовно, но любовь их гадка.
Ну мордва, ну чуваша[13], ну самоеды[14],
Начните веселые молоды деды[15].
Балалайки, гудки, рошки[16] и волынки,
сберите и вы бурлацки рынки[17],

плешницы[18], волочайки[19] и скверные бляди,
ах вижу как вы теперь ради,
гремите, гудите, брянчите, скачите,
шалите, кричите, пляшите,
Свищи весна, свищи красна[20].
не можно вам иметь лучшее время,
спрягся ханской сын[21], взял хамское племя[22].
Ханской сын кваснин, буженинова ханка,
Кому того не видно кажет их осанка!
О, пара! О, нестара!
Не жить они станут, но зоблют сахар[23],
А как он устанет, то другой будет пахарь[24].
Ей и двоих иметь диковинки нету,
Знает она и десять для привету.
Так надлежит новобрачным приветствовать ныне,
дабы они во все свое время жили в благостыне.
Спалось бы им, да вралось, пилось бы, да елось[25].
Здравствуйте женившись дурак и дурка,
и еще блядочка то-та и фигурка.

Содержание стихов прямо соответствует фигурам и аллегориям «дурацкой свадьбы» и ее цели: лютому унижению несчастного князя.

Участие Тредиаковского в этой издевательской буффонаде было отнюдь не добровольным: ему предшествовали розыгрыш и избиение. Накануне, вечером 4 февраля 1740 г., к Тредиаковскому приехал кадет Криницын и объявил, что Тредиаковский призывается в Кабинет его императорского величества, т. е. в верховное государственное учреждение Российской империи того времени; это известие, естественно, Тредиаковского до крайности напугало. Повез Криницын Тредиаковского на самом деле не в Кабинет, а на Слоновый двор, где приготовлениями к маскараду занимался Волынский. Когда Тредиаковский стал жаловаться кабинет-министру на сыгравшего с ним столь неприятную шутку кадета, Волынский в ответ принялся бить Тредиаковского и приказал бить его и Криницыну. Затем Тредиаковскому было повелено сочинить для «дурацкой свадьбы» шутовское приветствие на заданную «материю» и читать его на свадьбе. После того, как Тредиаковский сочинил эти стихи, его забрали в Маскарадную комиссию, где он должен был провести две ночи под стражей; там его снова жестоко избили, обрядили в потешное платье и заставили участвовать в шутовском действе.

С первого момента, таким образом, Тредиаковский против своей воли оказался в роли шута; он выступает не в качестве субъекта, а в качестве объекта шутовского действа, не только как сочинитель виршей, но как объект карнавальной игры. Это было самым трагическим эпизодом в жизни Тредиаковского, который никогда так и не сумел оправиться от нанесенного ему оскорбления. Несмотря на то, что через некоторое время он был реабилитирован и получил звание профессора петербургской Академии наук, а нанесенные ему побои были использо-

ваны потом как один из формальных поводов для обвинения Волынского, Тредиаковский — с точки зрения двора, в перспективе которого определялась иерархия культурных ценностей того времени, — всю оставшуюся жизнь нес клеймо шута. Не случайно в «Оде Тресотину», приписываемой иногда Ломоносову, Тредиаковский (он здесь выведен под именем Тресотин) изображен как шут, которого для потехи избивают другие шуты, Педрилло и Балакирев:

Ну ж хватай
Поскоряй!
Не теряй минуты!
Тешся так,
Как и сам,
В пляску, в валку, в жгуты!
Как Петрил тебя катал
И Балакирев гонял.
Все ревут тебе: «Кураж,
Тресотин, угодник наш!»
(Ломоносов, VIII, с. 829)

Это отношение к Тредиаковскому затем поддерживается Екатериной II, которая в наказание за ту или иную провинность предписывала прочесть или выучить наизусть стихи из «Тилемахиды»; наказание было придумано самой императрицей. Именно таким был выведен Тредиаковский в известном романе Лажечникова «Ледяной дом». Этот портрет Тредиаковского вызвал резкий протест Пушкина, который писал автору: «За Василия Тредьяковского, признаюсь, я готов с вами поспорить. Вы оскорбляете человека, достойного во многих отношениях уважения и благодарности нашей. В деле же Волынского играет он лице мученика» (Пушкин, X, с. 555). Если говорить об эволюции статуса писателя в послепетровской России, то именно Пушкин начинает новую эпоху. По Пушкину, писатель имеет право жить своим трудом, получать за него деньги, и это не унизительно. Пушкину удалось утвердить представление о ценности и самодостаточности писательского труда. Закономерно, что он увидел в Тредиаковском не буффона, а мученика.

Остается сказать, что одной из целей шутовского действа 1740 г. было осмеяние католиков. Как мы уже указали в начале, князь М. А. Голицын был сделан шутом в наказание за переход в католичество. Отметим, что из шести придворных шутов Анны Иоанновны четверо были католиками. При этом двое — князь М. А. Голицын и граф А. П. Апраксин — были сделаны шутами именно за их обращение в католическую веру (Успенский и Шишкин, 1990, с. 169–170; наст. изд., с. 373). Характерно, что в свадебной процессии участвовали ряженые колдуны и языческие жрецы, которые вели жертвенных баранов и быков, несли «вид солнца, которого идолопоклонники за бога почитают», и языческие боги; тем самым подчеркивалось «неправоверие» брачующихся.

Таким образом, Тредиаковского заставляют участвовать в шутовском действии, в какой-то мере задуманном как глумление над католиками и католическим

вероисповеданием. Это, по-видимому, не случайно. Действительно, Тредиаковский был тесно связан с католиками как в Астрахани, где он учился в капуцинской школе в 1710-х — начале 1720-х гг., так затем в Голландии и во Франции, где он выполнял задание католиков-янсенистов (Успенский и Шишкин, 1990, с. 105, 107–109, 112 сл.; наст. изд., с. 321–324, 326 сл.). Волынский, который был губернатором Астрахани в 1719–1724 гг., безусловно знал о связи Тредиаковского с капуцинами, и ему, скорее всего, было известно об отношениях Тредиаковского с янсенистами. В этом контексте становится понятным наименование стихов Тредиаковского «казаньем», т. е. польским словом, означающим ʽпроповедьʼ: католическая проповедь уподобляется таким образом шутовским непристойным виршам, и это соответствует всей цели церемонии, направленной на осмеяние католичества.

ПРИМЕЧАНИЯ

[1] Ср.: «Бегут к нам из всей мочи сатурновы веки» (Песнь… к торжественному празднованию коронации ея величества государыни императрицы Анны Иоанновны…, 1730 г. — Тредиаковский, 1963, с. 55).

[2] Ср. в описании потешных славлений Петра I, где участвуют «весны двадцать четыре человека»: «И архидиакон возглашает: „Всешутейший князь-папа, благослови в чаше вино!“. И потом папа с стола берет по пузырю в руку и, обмочив их в чаше в вине, бьет плешивых по головам, и весна ему закричит многа лета разными птичьими голосами» (Кашин, 1895, с. 12). Равным образом в описании свадьбы князь-папы П. И. Бутурлина в 1721 г. читаем: «А жениха вели ево присутствующие плешивые, а мантию нести охраняли от тех же плешивых заики, а весна шла и кричала разными голосами птиц»; и далее: «Князь-папа пузыри мочил в пиве и бил по головам плешивых, в то время пела весна всех родов птичьими голосами» (там же, с. 13–14).

По воспоминанию В. А. Нащокина, «поезжане каждой показывал свое веселье, где у котораго народа какие веселья употребляются, в том числе города Твери ямщики оказывали весну разными высвисты по птичью» (Нащокин, 1842, с. 184).

[3] Это действие пародийно соотносится с обычаем бросать деньги, принятым в свадебном обряде.

[4] Вообще, титул самоедского хана или самоедского короля присваивался шутам Петра — Лакосте, по происхождению португальскому еврею (см.: Манштейн, II, с. 71) и Вомини (или Вымени, †1714), по происхождению поляку (Письма и бумаги Петра, IX, № 3356). Нельзя не отметить, что оба они были католиками.

По свидетельству Вебера, «самоедский король» по традиции «всегда занимал должность советника увеселений» при дворе (Вебер, 1721, с. 339).

[5] Маркиз де ла Шетарди сообщал в письме от 19 февраля/1 марта 1740 г., что М. А. Голицына после шутовской свадьбы запрещали называть «иначе, как только по имени, данном при крещении» (Пекарский, 1862а, с. 57).

[6] Овощи, как и рыба, изображают деньги.

[7] Совершенно так же на устраиваемых при Анне карнавалах в 1730 и 1731 г. участвовали маски на санях, ряженные самоедами, татарами, калмыками, китайцами, персами, турками, поляками, немцами и другими народами, — «зрелище единственное в своем роде, но малопристойное», замечает иностранный наблюдатель (Жюбе, 1992, с. 195).

[8] Упрощенный вариант прежде полностью не публиковавшегося «казанья»; его точное воспроизведение — по наиболее раннему и достоверному списку (ГПБ, F.XVII.12, л. 354; ср. другой список: ИРЛИ, ф. 93, оп. 3, № 1235, л. 1–1об.) — следует ниже.

[9] *Дурак* и *дура* — обычные обозначения шута и шутихи.

[10] *То-та*, т. е. ‘вот какая!’.

[11] Поезжане — участники свадебного «поезда».

[12] Прозвище М. А. Голицына при дворе. Сочетание Кваснина (Квасника) и Бужениновой обыгрывает семантику того и другого наименования: прозвище *Квасник* соответствует обязанности Голицына подавать императрице квас, буженина же была любимым кушаньем Анны Иоанновны.

[13] Ср. «6 человек мордвы с мордовками в своем мордовском платье на свиньях»; «6 человек чюваш в своем уборе ехать на козлах» в «Описании дурацкой свадьбы» ниже.

[14] См. выше, примеч. 4.

[15] Т. е. балаганные деды.

[16] Т. е. рожки.

[17] Т. е. сборища бродяг.

[18] Слово *плешница* образовано от *плешь*, последнее слово обозначает половой орган (как мужчины, так и женщины). Отсюда в петровских шутовских церемониях участвуют плешивые люди (см. описание: Кашин, 1895, с. 12–14).

[19] Потаскушки.

[20] См. выше, примеч. 2.

[21] Княжеский титул Голицына уподобляется ханскому.

[22] Обыгрывается созвучие *хамский* — *ханский*.

[23] Имеется в виду сладкая жизнь, но из контекста видно, что эта сладость состоит в плотских удовольствиях.

[24] Образ пахания как coitus’а известен и в античной, и в славянской культуре.

[25] Обыгрываются ритуальные свадебные формулы с пожеланиями благополучия.

ПРИЛОЖЕНИЕ

Церемониал маскарадного шествия

Описание Дурацко^{и} Свадбы по^{д} ѡбразо^{м} самоя^{т}скаго ха^{на} сн҃а ево дура^{ка} имянуемого Кваснина, ко^{т}орой жени^{т}ца у ха^{н}ши мордо^{в}скои на дочери ея на дурке и бля^{т}ке имянуемо^{и} Бужениновой, которая сва^{д}ба имѣе^{т} учреждена быть слѣдующи^{м} поря^{т}ко^{м}.

“1”

Проводитель сва^{д}бы лякистячь [sic!] і неувершию во образе Сатурна которои на четырехъ оленя^{х} с позолоченными рѡгами, куча^{р} в свое^{м} платье.

“2”

За ним слѣдуе^{т} планета [illegible] Севе^{р}ная звѣ^{з}да в коляске на “8” журавляхъ з дышло^{м} і два помощника назади в странном уборе, та^{к}же и други^{х} колясокъ птичьихъ, о^{т}того дышла то^{н}кая веревка привязана к саня^{м} самоя^{д}ски^{м}.

“3”

4” пастуха с рошка^{ми} вместо трубаче^{в} убраны в пестрое платье, а оные поедутъ верхами на корова^{х}.

“4”

За оными слѣдуетъ фурие^{р} поеде^{т} на ве^{р}блюде убра^{н} проти^{в} рису^{н}ка в руке имѣет значи^{к} с по^{д}писание^{м} жестяно^{и}, ве^{р}блюда оди^{н} в стра^{н}но^{м} же уборе вел [?]

“5”

Следовать “3” пѣши^{м} во ѡ^{б}разе ко^{л}дуно^{в} для о^{х}ранения пое^{з}ду по обыкновению идолопо^{к}ло^{н}ническо^{му} оны убраны. Один осыпа^{н} бѣлы^{м} пухо^{м} і перьемъ на голове і в боро^{де}, че^{р}ные волосы с ко^{л}туна^{ми} за ни^{м} следующие два в че^{р}но^{м} платье с седыми борода^{ми} і волоса^{ми} с натыкаными изре^{т}ка бѣлыми перьями чре^{з} плеча іс цветов же зделаны перевези х которым привязать бере^{н}деръ ка^{к} у стре^{л}цо^{в} бывало оныхъ выбрать і^{з} мужико^{в} у которыхъ приделать носы а лице не закрывать

“6”

“2” чл҃ка з бу^{б}на^{ми} в мохнато^{м} пла^{т}е имѣю^{т} ѣхать на бык^{ах}.

“7”

Вои^{н} во ѡ^{б}разе богатыря об о^{д}нои голове “2” лица “4” руки “4” ноги в пла^{т}е болшо^{м} по руке в бо^{л}шо^{м} ко^{л}паке с перье^{м} “2” бороды у о^{д}ного лица че^{р}ная а у другова седая которая у^{б}рана наподобие Единорога.

“8”

Воино^{в} жениховы^{х} “24” чл҃ка ѣха^{т} по 2” чл҃ка в ря^{д} на ко^{з}ла^{х} шубы заечьи навыворо^{т} в рука^{х} дубины с ко^{л}цами что^{б} гремели чре^{з} плечо зделаны і^{з} елнику перевези на которы^{х} повешены ѳляги на голов^{ах} шишаки а на ни^{х} вдето вместо перья сосновыя сучья з бума^{ж}ны^{ми} цветами у оных мужико^{в} по^{д}дѣла^{т} ноги цокули высокие.

“9”

Позади воино^{в} друго^{и} кома^{н}ди^{р} у которого по тому^{ж} приме^{ру} имѣе^{т} быть придѣлана болшая голо^{ва} з бо^{л}ши^{м} ко^{л}пако^{м} с перье^{м}.

“10”

Друшка на ко^{з}ле проти^{в} рису^{н}ка уборо^{м} чре^{з} плеча перевяза^{н} бума^{ж}ными цветами в руках долго^{и} бич с мохрами.

“11”

Два по^{д}ру^{ж}я в туганско^{м} пла^{т}е с такими^{ж} бичами.

“12”

“18” чл҃к музыки з гу^{т}ка^{ми} волы^{н}ка^{ми} рыля^{ми} балала^{и}ками с ро^{ш}ка^{ми} а ме^{ж}ду им^{и} на^{з}наче^{н}ныя .6. чл҃къ плясуно^{в} с ло^{ш}ка^{ми} с колоко^{л}чика^{ми} которы^{м} і припевать а на средине плясуно^{в} по^{и}де^{т} коза по старому обыкновению в ко^{з}лово^{и} одежде з золоты^{ми} рога^{ми} і колоколчиками музыка^{н}ты и плясуны все в бу^{р}лацко^{м} платье.

“13”

Линнея с пое^{з}жана^{ми} съ .8. чл҃ки ра^{з}ны^{х} народо^{в} поеду^{т} на “6” быка^{х} которы^{х} быко^{в} прибра^{т} с холка^{ми} і про^{т}чи^{м} уборо^{м} пово^{з}нико^{в} оди^{н} і^{з} стра^{н}нω у^{б}раныхъ же люде^{и} в ме^{д}вежье навывороте пла^{т}е і штанами ме^{д}вежьими і в шапке тако^{и} же.

“14”

Хвостъ линеи “24” чл҃ка по 1^{му} чл҃ку на линеи по^{д} видами дики^{х} ра^{з}ны^{х} народо^{в}.

“15”

“3” персоны во ω^{б}разе шаѳеро^{в} которые убраны е^{л}ю наподобие пирамиды с ни^{зу} до само^{и} головы а на голове ко^{л}пакъ елово^{и} же на которо^{м} ве^{т}ви распустить напωдобие перья подо^{б}ныхъ людеи по^{д}дѣлать по^{д} ноги высокие цокули.

“16”

“6” чл҃къ вотяко^{в} в свое^{м} уборе на сабака^{х} ка^{ж}до^{и} ехать на “2” сабака^{х} на са^{н}ка^{х}.

“17”

“6” чл҃къ лопа^{н}цо^{в} в свое^{м} уборе на сабака^{х} еха^{т} таки^{м} же порятко^{м}.

“18”

“6” чл҃къ ка^{м}чидало^{в} на 6 оленя^{х} в саня^{х} в свое^{м} уборе.

“19”

Баху^{с} на линеи с погребом ево при не^{м} “2” служителя наряжены сатирами* а линею повезут 12 чл҃къ убраны ка^{к} ме^{д}веди.

“20”

Вкру^{х} бахусово^{и} линіи весна в свое^{м} уборе оны^{х} “12” чл҃къ с ними плясуно^{в} 6 чл҃къ и 6 плясунеи

* В рукописи описка: «сапирами».

"21"

Тысяцко^{и} Балакире^{в} с острогою в о^{б}разе Нептуна на морско^{и} рыбе іли звере около по^{и}де^{т} во ѡ^{б}разе морски^{х} людеи і .6. убраны приличными ра^{з}ными манирами которые оного і повезу^{т}

"22"

За ними следуют 2 ка^{н}чадала в о^{с}трабацких ло^{т}ка^{х} которы^{х} вышео^{з}наченные^{ж} повезу^{т}, а оные остробаты вместо овощеи і^{з} лото^{к} в наро^{д} будутъ мета^{т} ме^{р}злую рыбу.

"23"

4. скорохода рожи бо^{л}шие а руки і ноги коро^{т}кие ка^{к} назначены в ѳигуре.

"24"

За скорохода^{ми} следуе^{т} женихо^{ва} конюшня пре^{д} которою поеде^{т} конюше^{и} на четырерого^{м} баране в самоятцко^{м} пла^{т}е за ни^{м} напереди ішакъ осе^{д}лано^{и} чюхо^{н}скою деревяшкою мy-штук у се^{д}ла и стремена деревянные чепракъ рогожной с кистьми моча^{л}ными, за ішако^{м} козе^{л} осе^{д}лано^{и} убра^{н} таки^{м} же поря^{т}ко^{м} за ко^{з}ло^{м} бара^{н} осе^{д}лано^{и} с таки^{м}же уборо^{м} оны^{х} поведу^{т} люди убра^{н}ные в ви^{д}е самояд^{о}в за конюшнею по^{и}дутъ пре^{д} женихом "6" чл҃къ паже^{в} по "2" в ря^{д}.

"25"

Сани на "6" оленя^{х} на которы^{х} поеде^{т} дура^{к} самоя^{т}ско^{и} ха^{н}ско^{и} сн҃ъ Квасни^{н} а с ни^{м} по правою сторону во ѡ^{б}разе о^{т}ца посадя^{т} самояда уни^{т} [sic!] во о^{б}разе время.

"26"

Вкругъ жениха по^{и}ду^{т} на лыж^{ах} двора ево люди "12" чл҃къ убраны проти^{в} того ка^{к} зна-читъ в ѳигуре ка^{ж}дого со^{р}та по 2 чл҃ка и о^{з}наче^{н}ные люди понесу^{т} щи^{т}, шишакъ булаву, бердышъ, лукъ, стрелы, копье да охоту ево іс птицъ, ѳилина і сову, да .2. собаки хо^{х}латые.

"27"

За ни^{м} поеду^{т} в ра^{з}ны^{х} убора^{х} ево бли^{ж}ние люди "12" чл҃къ на ко^{з}ла^{х} на оленя^{х} і на ме^{л}ки^{х} лошедя^{х} убраны в стра^{н}ных убора^{х}.

"28"

Сваха во ѡ^{б}разе юноны поеде^{т} в коляске на інде^{и}ски^{х} "8" петуха^{х} вкругъ ея купидо^{в} "4" с луками і стрела^{ми} наря^{ж}ены обе^{з}яна^{ми}.

"29"

За свахою следуютъ 2 по^{д}свахи о^{д}на на руски^{х} петуха^{х} а другая на гуся^{х} по "8"^{ж} птицъ зделаны^{х} коляска^{х} імею^{т} ітти пеши а ви^{д} та^{к} о^{б}стои^{т} ка^{к} бы сидели при тех 3^{х} коляска^{х} по .2. ка^{к} значи^{т} въ 1^{м} № назад^{и} [?] для помощи колясокъ все убраны в дики^{х} одежда^{х}

"30"

Вид опре^{д}еления іліро^{к} [sic!] за ни^{м} че^{р}каско^{и} музыки "8" чл҃къ да плесуно^{в} женшинъ і девокъ "8" в свое^{м} казачье уборе.

"31"

Главнои управитель всего пое^{з}ду поеде^{т} ве^{р}хо^{м} на слоне убра^{н} седою бо^{л}шою бородою в че^{р}ное коро^{т}кое по пое^{с} пла^{т}е и о^{т} пояса дѡ коленеи юпка с ѳа^{л}барами башмаки і^{з}гнуты

вве^{р}хъ крючко^{м} но^{с}ками і ^{з} бантами і^{з} лентъ на груди манета оловянная з жениховы^{м} ге^{р}бо^{м} дурацки^{м} повешена на ме^{д}ны^{х} чепя^{х} на шее перья і колоко^{л} к неи на плеча накинута епа^{н}ча полосатая все^{х} цвето^{в} суко^{н} сиде^{т} оно^{и} управител* по^{д} че^{р}дако^{м} в рука^{х} вместо посоха імеетъ помело.

“32”

Около ево поеду^{т} арапо^{в} “12” чл҃къ убра^{н}ные въ и^{х} платье.

“33”

За ни^{м} 2 помошника ево на ве^{р}блюда^{х} убраны так ка^{к} на^{з}наче^{н} а понец [sic!] в рука^{х} имеютъ вместо посохо^{в} по песту.

“34”

Гла^{в}но^{и} ідоло^{т}ворецъ жре^{ц} у него на головѣ шапка с полумѣ^{с}цо^{м} в рука^{х} се^{р}пови^{д}но^{и} но^{ж} борода і волосы седые на не^{м} пла^{т}е о^{д}но другова короче с мо^{х}рами и колоко^{л}чиками оно^{и} іде^{т} пешко^{м}

“35”

Позади жреца поведу^{т} двое же^{р}тве^{н}ного быка а за ни^{м} по сторона^{м} два барана тѣ которые поведу^{т} в бѣло^{м} одѣяніи на ни^{х} венки ис цвето^{в} быка і баранов убрать цветами а роги вызолотить.

“36”

Со служителми же^{р}цо^{в} 4. жреца на голова^{х} і в боро^{де} волосы бо^{л}шие “4” на голов^{ах} венцы іс цвето^{в} в рук^{ах} понесу^{т} присто^{и}ные к жертве и^{х} а іменно но^{ж} сосу^{д} позолочено^{и} в го^{р}шке уголье кубышку глиненую бо^{л}шую и до^{л}бню

“37”

Ви^{д} сонца которого идолопокло^{н}ницы за бг҃а почитаю^{т} у которого лице выста^{в}лено а лучи ско^{л}ко о^{т} лица до ногъ сто^{л}кожь і в верхъ и по сторона^{м} в рука^{х}.

“38”

“4” годовые време^{на} то есть весна лѣто осень зима убраны по и^{х} вида^{м} в нарочитое пла^{т}е за оны^{ми} по^{и}дуть пере^{д} невестою 6 пажеи по 2 ^{ж} чл҃ка в ря^{д}.

“39”

Невеста бля^{д} Буженино^{ва} с своею сво^{д}нею свекро^{в}ю наря^{ж}ены какъ значит на рисунке оные імѣютъ еха^{т} в коча^{л}ке на дву в^{е}рблюда^{х} ве^{р}хъ у коча^{л}ки убра^{н} по^{д}со^{л}ношниками с ма^{х}рами и колокольчиками коча^{л}ка о^{б}вешена вол^{ч}ими и верхъ у по^{д}со^{л}ношника лисьи^{ми} хвоста^{ми} на те^{х} ве^{р}блюда^{х} пово^{з}никами по “2” чл҃ка на ве^{р}блюде купиды выбраны іс карло^{в} или небо^{л}ши^{х} ребятъ наряжены какъ значи^{т} ѳигура оные купиды в наро^{д} будутъ мета^{т} овощи.

“40”

Убо^{р} невести^{н} понесу^{т} дико^{о}бра^{з}ны^{х} 12. чл҃къ пешко^{м} ка^{к} значи^{т} на ѳигура^{х} ка^{ж}дого со^{р}та по “2” оные імеютъ нести прилично^{и} убо^{р} гребень веретена зе^{р}калы кубышки братинки решеты ступы песты і коро^{б}ку писаную.

* В рукописи описка: «у правителя».

“41”

Бли^{ж}ние невестины боярони поеду^{т} в кле^{т}ка^{х} по персидско^{му} обычаю на 4^{х} ве^{р}блюда^{х} на ка^{ж}до^{м} оные наряжены ка^{к} явствует ^{ф}игура по^{д} ни^{ми} верблюдо^{в} имею^{т} весть колмыки в вычу^{р}чьи^{х} тулупа^{х} на голова^{х} и^{х} шапки с лисьи^{ми} хвостами.

“42”

3” свешника нарежены ка^{к} я^{в}ствуе^{т} ѳигу^{ра} прие^{з}жие^{ж} депутаты дики^{х} разных народо^{в} поеду^{т} на линеяхъ.

“43”

6 чл̅къ мо^{р}двы с мо^{р}довка^{ми} в свое^{м} мо^{р}до^{в}ско^{м} пла^{т}е на свиньяхъ по 2 чл̅ка на санкахъ по 4 сви^{н}и впрежены

“44”

6 чл̅къ чюва^{ш} в свое^{м} уборе ѣха^{т} на ко^{з}ла^{х} проти^{в} того ж і с са^{н}ми ихъ чювашскими.

“45”

6 чл̅къ черемисо^{в} въ и^{х} уборе поеду^{т} і с са^{н}ми и^{х} жены на сви^{н}я^{х} проти^{в} тогожь

“46”

3 короваешника убо^{р} проти^{в} того ка^{к} назначены ѳигуры в рука^{х} имеютъ до^{л}гие витушки во^{т}кнутые на шеста^{х}.

“47”

Линея на 6 быка^{х} на которы^{х} посажены о^{т} певицъ в кичках і понава^{х} повозники у них и^{з} бу^{р}лако^{в}

“48”

В рука^{х} оны^{х} музыка 20 чл̅къ з гу^{т}ками волы^{н}ками балала^{и}ка^{ми} лошками і рылями наряжены бу^{р}лаками

“49”

Хвост о^{т} линеи на которы^{х} посажены ра^{з}ные народы на саласка^{х} на которы^{х} изо^{б}ражены лебеди журавли свиньи сабаки во^{л}ки черепахи раки лягушки всехъ .24. чл̅ка.

“50”

2 человека з бу^{б}нами пеши^{х} та^{к} ка^{к} в ѳигуре изо^{б}ражено.

“51”

Пешея музыка .6. чл̅къ с свирелями і з дутками

“52”

Кама^{н}ди^{р} воино^{в} убра^{н} та^{к} какъ значи^{т} ѳигура.

“53”

Пешее во^{и}ско с невестино^{и} стороны .24. чл̅ка убраны ка^{к} значи^{т} фигура.

“54”

Замыкающеи весъ пое$^{\text{з}}$дъ дурацко$^{\text{и}}$ вои$^{\text{н}}$ имѣя о$^{\text{д}}$ну голову а у не$^{\text{и}}$ 2. болшие лица з бородами ка$^{\text{к}}$ напреди та$^{\text{к}}$ і назади с четы$^{\text{р}}$мя руками і с четы$^{\text{р}}$мя ногами.

При то$^{\text{и}}$ сва$^{\text{д}}$бѣ говорено каза$^{\text{н}}$е о$^{\text{т}}$ васи$^{\text{л}}$я тре$^{\text{т}}$яковского

Здра$^{\text{в}}$ству$^{\text{и}}$те женивши$^{\text{с}}$ туракъ і дура,
еще і блядочка тота і ѳигура.
тепе$^{\text{р}}$ то прямое время ва$^{\text{м}}$ повесели$^{\text{т}}$ца,
тепе$^{\text{р}}$ то всячески пое$^{\text{з}}$жано$^{\text{м}}$ до$^{\text{л}}$жно беси$^{\text{т}}$ца
кваснинъ дура$^{\text{к}}$ і буженинова бля$^{\text{т}}$ка,
сошли$^{\text{с}}$ любовно, но любовь и$^{\text{х}}$ га$^{\text{т}}$ка.
Ну мо$^{\text{р}}$два, ну чуваша ну самоеды,
Начните вѣселые молоды дѣды.
балала$^{\text{и}}$ки гу$^{\text{т}}$ки рошки і волынки,
Зберите і вы бурлацки рынки
Плешницы волоча$^{\text{и}}$ки і скве$^{\text{р}}$ные бляди
а$^{\text{х}}$ вижу какъ вы теперь ради
Гремите гудите бря$^{\text{н}}$чите скачите,
шелите кричите пляшите,
Свищи весна, свищи красна.
Не мо$^{\text{ж}}$но ва$^{\text{м}}$ іме$^{\text{т}}$ лу$^{\text{т}}$чее время,
Спрягся ханско$^{\text{и}}$ сн҃ъ, взя$^{\text{л}}$ ха$^{\text{м}}$ское племя
Ханско$^{\text{и}}$ сн҃ъ два$^{\text{с}}$ни$^{\text{н}}$ буженино$^{\text{ва}}$ ханка,
Ко$^{\text{му}}$ того не ви$^{\text{д}}$но каже$^{\text{т}}$ и$^{\text{х}}$ оса$^{\text{н}}$ка.
О, пара. О, нестара.
Не жи$^{\text{т}}$ они стану$^{\text{т}}$ но злоблю$^{\text{т}}$ саха$^{\text{р}}$
А какъ о$^{\text{н}}$ устане$^{\text{т}}$ то друго$^{\text{и}}$ буде$^{\text{т}}$ пахарь.
Еи двои$^{\text{х}}$ іметь дикови$^{\text{н}}$ки нету,
Знае$^{\text{т}}$ она и деся$^{\text{т}}$ для привету.
Так на$^{\text{д}}$лежи$^{\text{т}}$ новобрачны$^{\text{м}}$ приве$^{\text{т}}$ствова$^{\text{т}}$ н҃нѣ
дабы они во все свое время жили в бл҃гостынѣ.
Спало$^{\text{с}}$ бы и$^{\text{м}}$ да $^{\text{в}}$рало$^{\text{с}}$ пило$^{\text{с}}$ бы да ѣлось.
Здра$^{\text{в}}$ству$^{\text{и}}$те жени$^{\text{в}}$ши$^{\text{с}}$ туракъ і дурка,
і еще блядочка тота і ѳигурка.

(ГПБ, F. XVII. 12, л. 350–354)

Цитируемая литература

ААЭ, I–IV — Акты, собранные в библиотеках и архивах Российской империи Археографическою экспедицею имп. Академии наук, т. I–IV. СПб., 1836.

Автократова, I–IV — Центральный государственный архив древних актов: Путеводитель в четырех томах / Отв. ред. М. И. Автократова, т. I–IV. М., 1991–1999.

Адодуров, 1731 — [*Адодуров В. Е.*] Anfangs-Gründe der russischen Sprache // Deutsch-Lateinisch- und Rußisches Lexicon… St. Petersburg, 1731 (Приложение). Репринты: Унбегаун, 1969; Weismanns Petersburger Lexicon von 1731, Teil III: Grammatischer Anhang. München, 1983 (Specimina philologiae slavicae, Bd 48).

Аиссе, 1853 — [*Aïssé Ch.-E.*]. Lettres de mademoiselle Aïssé à Madame Calandrini. Paris, 1853.

Айхлер, 1967 — *Eichler E.* Die slawistischen Studien des Johann Leonhard Frisch: Ein Beitrag zur Geschichte der deutschen Slawistik. Berlin, 1967 (Deutsche Akademie der Wissenschaften zu Berlin. Veröffentlichungen des Instituts für Slawistik / Hrsg. von H. H. Bielfeldt, № 40).

Александренко, I–II — Реляции князя А. Д. Кантемира из Лондона / С введ. и примеч. В. Н. Александренко, т. I (1732–1733 гг.); т. II (1734–1735 гг.). М., 1892–1903.

Александренко, 1896 — *Александренко В. Н.* К биографии кн. А. Д. Кантемира. Варшава, 1896.

Алексеев, 1972 — *Алексеев А. А.* Промышленность // Русская речь, 1972, № 4.

Алексеев, 1977 — *Алексеев А. А.* Старое и новое в языке Радищева // XVIII век, сб. 12 (А. Н. Радищев и литература его времени). Л., 1977.

Алексеев, 1981 — *Алексеев А. А.* Эпический стиль «Тилемахиды» // Язык русских писателей XVIII в. Л., 1981.

Алексеев, 1982 — *Алексеев А. А.* Эволюция языковой теории и языковая практика Тредиаковского // Литературный язык XVIII в.: Проблемы стилистики. Л., 1982.

Алексеев, 1984 — *Алексеев А. А.* Язык светских дам и развитие языковой нормы в XVIII в. // Функциональные и социальные разновидности русского литературного языка XVIII в. Л., 1984.

Альтшуллер, 1968 — *Альтшуллер М. Г.* Лиро-дидактическое послание Н. П. Николева // Учен. зап. Ленингр. ун-та, 1968, № 339 (Сер. филол. наук, вып. 72).

Альтшуллер, 1975 — *Альтшуллер М. Г.* Неизвестный эпизод журнальной полемики начала XVIII в. «Друг просвещения» и «Московский зритель» // XVIII век, сб. 10 (Русская литература XVIII века и ее международные связи). Л., 1975.

Альтшуллер, 1976 — *Альтшуллер М. Г.* Творческое наследие Тредиаковского в «Беседе любителей русского слова» // Венок Тредиаковскому. Волгоград, 1976.

Амман, 1948 — *Amman A. M.* Storia della Chiesa russa e dei paesi limitrofi. Torino, 1948.

Андреев, 1951 — *Андреев А. И.* Переписка В. Н. Татищева за 1746–1750 гг. // Исторический архив, [т.] VI. М.–Л., 1951.

Аргенида, см.: Барклай, 1751.

Арзуманова, 1965 — *Арзуманова М. А.* Из истории литературно-общественной борьбы 90-х гг. XVIII в. // Вестник Ленингр. ун-та, 1965, № 20 (Сер. истории, языка и лит., вып. 4).

Архив Воронцова, I–XL — Архив князя Воронцова, кн. I–XL. М., 1870–1895. Роспись сорока книгам с азбучным указателем… М., 1897.

Архив Куракина, I–X — Архив князя Ф. А. Куракина, I–X. СПб.–Саратов–Астрахань, 1890–1892.

Архипов, 1980 — *Архипов А. А.* О происхождении древнеславянской тайнописи // Советское славяноведение, 1980, № 6.

Архипов, 1982 — *Архипов А. А.* Из истории гебраизмов в русском книжном языке XV–XVI веков. Автореф. дис. … канд. филол. наук. М., 1982.

Афанасьев, 1859 — *Афанасьев А. Н.* Русские сатирические журналы 1769–1774 годов (Эпизод из истории русской литературы XVIII века). М., 1859. То же под загл. «Русские журналы 1769–1774 годов» — Отечеств. записки, 1855, № 3 (с. 1–58), № 4 (с. 59–100), № 6 (с. 61–110); продолжение под загл. «Черты русских нравов XVIII столетия» — Русский вестник, 1857, № 16 (с. 623–644), № 18 (с. 248–382).

Афанасьев, 1859а — *Афанасьев А. Н.* Образцы литературной полемики прошлого столетия // Библиогр. записки, 1859, № 15 (стлб. 449–476); № 17 (стлб. 513–528).

Афанасьев, 1860 — *Афанасьев А. Н.* Литературные труды княгини Е. Р. Дашковой // Отечеств. записки, 1860, № 3–4.

Афанасьев, 1872 — [*Афанасьев А. Н.*] Русские заветные сказки. [Женева, 1872.]

Ахингер, 1970 — *Achinger G.* Der französische Anteil an der russischen Literaturkritik des 18. Jahrhunderts unter besonderer Berücksichtung der Zeitschrift (1730–1780). Bad Homburg v[or] d[er] H[öhe]–Berlin–Zürich, 1970 (Osteuropastudien der Hochschulen des Landes Hessen, Reihe III: Frankfurter Abhandlungen zur Slavistik, Bd 15).

Ахматова, 1936 — *Ахматова А. А.* «Адольф» Бенжамена Констана в творчестве Пушкина // Пушкин: Временник Пушкинской комиссии АН СССР, т. I. М.–Л., 1936.

Бабаева, 2004 — *Бабаева Е. Э.* Русско-французский словарь Антиоха Кантемира: описание, лексикографические источники // Русско-французский словарь Антиоха Кантемира / Вступ. ст. и публ. Е. Бабаевой, т. I. М., 2004.

Байер, 1783 — [*Bayer G.-S.*] История о жизни и делах молдавского господаря князя Константина Кантемира, сочиненная С.-Петербургской Академии наук покойным профессором Бером, с российским переводом и с приложением родословия князей Кантемиров / [Перевел и издал Н. Н. Бантыш-Каменский]. М., 1783.

Бак, 1984 — *Buck Chr. D.* The Russian language question in the Imperial Academy of Sciences, 1724–1770 // Aspects of the Slavic Language Question / Ed. R. Picchio, H. Goldblatt, vol. II. New Haven, 1984.

Д. Бантыш-Каменский, 1836, I–V — *Бантыш-Каменский Д.* Словарь достопамятных людей Русской земли…, ч. I–V. М., 1836.

Д. Бантыш-Каменский, 1847, I–III — *Бантыш-Каменский* [*Д.*]. Словарь достопамятных людей Русской земли, ч. I–III. СПб., 1847. Дополнение к изд.: Д. Бантыш-Каменский, 1836, I–V.

Н. Бантыш-Каменский, I–IV — *Бантыш-Каменский Н. Н.* Обзор внешних сношений России, ч. I–IV. М., 1894–1902.

Баратынский, 1902 — *Баратынский Е. А.* Письма А. С. Пушкина, барона А. А. Дельвига, Е. А. Баратынского и П. А. Плетнева к князю П. А. Вяземскому 1824–1843 годов (из Остафьевского Архива) // Старина и новизна, 1902, кн. V.

Барклай, 1751 — [*Barclay J.*] Аргенида повесть героическая, сочиненная Иоанном Барклаием, а с латинскаго на славено-российский переведенная и Митологическими изъяснениями умноженная от Василья Тредиаковскаго, профессора элоквенции и члена Императорския Академии Наук, т. I–II. СПб., 1751.

Барсков, 1915 — *Барсков Я. Л.* Переписка московских масонов XVIII в. Пг., 1915.

Барсов, 1786 — *А. Б.* [= *Барсов А. А.*]. О древности и превосходстве Славенскаго языка и о способе возвысить оный до первоначальнаго его величия // Новый Санкт-Петербургский вестник, 1786, кн. 2.

Барсов, 1981 — Российская грамматика Антона Алексеевича Барсова [1783–1788 гг.] / Подгот. текста и текстолог. коммент. М. П. Тоболовой. Под ред. и с предисл. Б. А. Успенского. М., 1981.

Бартенев, I–IV — Осмнадцатый век: Исторический сб. / Изд. П. Бартеневым, кн. I–IV. М., 1869.

Батюшков, I–III — *Батюшков К. Н.* Сочинения, т. I–III. СПб., 1885–1887.

Бахтин, 1822 — Список с письма М. И. [= Н. И. Бахтина] к г. Издателю Сына Отечества от 28 марта 1822 г. // Вестник Европы, 1822, № 13–14.

Бельчиков, Бегунов и Рождественский, 1963 — *Бельчиков Н. Ф.*, *Бегунов Ю. К.*, *Рождественский Н. П.* Справочник-указатель печатных описаний славяно-русских рукописей. М.–Л., 1963.

Березайский, 1798 — *Березайский В.* Анекдоты древних пошехонцев. СПб., 1798.

Берков, 1930 — *Берков П. Н.* Изучение русской литературы иностранцами в XVIII веке // Язык и литература, кн. V. Л., 1930.

Берков, 1935 — *Берков П. Н.* Неиспользованные материалы для истории русской литературы XVIII века, I. Анонимная статья Ломоносова (1755) // XVIII век, сб. 1. М.–Л., 1935.

Берков, 1936 — *Берков П. Н.* Ломоносов и литературная полемика его времени. 1750–1765. М.–Л., 1936.

Берков, 1951 — Сатирические журналы Н. И. Новикова / Ред., вступ. ст. и коммент. П. Н. Беркова. М.–Л., 1951.

Берков, 1952 — *Берков П. Н.* История русской журналистики XVIII века. М.–Л., 1952.

Берков, 1958 — *Berkov P. N.* Des relations littéraires franco-russes entre 1720 et 1730: Trediakovskij et l’abbé Girard // RÉS, t. XXXV, 1958, fasc. 1–4.

Берков, 1961 — *Берков П. Н.* Первые годы литературной деятельности Антиоха Кантемира (1726–1729) // Проблемы русского просвещения в литературе XVIII века. М.–Л., 1961.

Берков, 1962 — *Берков П. Н.* Несколько справок для биографии А. П. Сумарокова // XVIII век, сб. 5. М.–Л., 1962.

Берков, 1966 — *Берков П. Н.* Бурхард-Адам (Никодим) Селлий и его «Каталог писателей о России» (1736 г.) // Вестник Ленингр. ун-та, 1966, № 20 (Сер. ист., яз. и лит., № 4).

Берков, 1966а — *Berkov P. N.* Zwei Dokumente zur Biographie von Burchard Adam Sellius // Ost und West in der Geschichte des Denkens und der kulturellen Beziehungen: Festschrift für E. Winter zum 70. Geburtstag. Berlin, 1966 (Deutsche Akademie der Wissenschaften zu Berlin. Quellen und Studien zur Geschichte Osteuropas, Bd XV).

Берков, 1977 — *Берков П. Н.* История русской комедии XVIII в. Л., 1977.

Берхгольц, I–IV — [*Bergholz F. W. von.*] Дневник камер-юнкера Ф. В. Берхгольца (1721–1725), ч. I–IV / Перев. с нем. И. Ф. Аммона. Новое [3-е] изд. с доп. и примеч. М., 1902–1903. Прилож. к «Русскому архиву» за 1902 г. (№ 9–12) и 1903 г. (№ 1–5).

Бестужев, 1822 — *Бестужев А. А.* Замечания на Критику, помещенную в 13-м № Сына Отечества, касательно Опыта Краткой Истории Русской Литературы [Н. И. Греча] // Сын Отечества, 1822, ч. 77, № 20.

Бестужев, 1823 — *Бестужев А.* Взгляд на старую и новую Словесность в России // Полярная звезда… на 1823 г. СПб., [1823].

Библиотека Жуковского, I–II — Библиотека В. А. Жуковского в Томске, ч. I–III. Томск, 1978–1988.

Биографический словарь, I–XLVI — Nouvelle biographie générale depuis les temps les plus reculés jusqu'à nos jours avec les renseignements bibliographiques et l'indication des sources à consulter / Publié par M. M. Firmin Didot frères, sous la direction de M. le D^{r} Hoefer, t. I–XLVI. Paris, 1862–1877.

Биргегорд, 1981 — *Биргегорд У.* Воззрение И. Г. Спарвенфельда на взаимные отношения славянских языков и отражение этого взгляда в его большом славяно-латинском словаре // Българистични изследвания: Први българо-скандинавски симпозиум. София, 1981.

Биржакова, 1981 — *Биржакова Е. Э.* Щеголи и щегольской жаргон в русской комедии XVIII в. // Язык русских писателей XVIII в. Л., 1981.

Биржакова, Воинова и Кутина, 1972 — *Биржакова Е. Э.*, *Воинова Л. А.*, *Кутина Л. Л.* Очерки по исторической лексикологии русского языка XVIII в.: Языковые контакты и заимствования. Л., 1972.

Бицилли, 1936 — *Бицилли П.* К вопросу о характере русского языкового и литературного развития в новое время // Годишник на Софийския университет: Историко-филологически факултет, 1936, кн. XXXVII, № 4.

Благово, 1885 — Рассказы бабушки [Яньковой Е. П. (1768–1861)]. Из воспоминаний пяти поколений / Записанные и собранные ее внуком Д. Благово. СПб., 1885.

Бобров, I–IV — *Бобров Е.* Литература и просвещение в России XIX в. Материалы, исследования и заметки, т. I–IV. Казань, 1901–1902.

Бодянский, 1859 — *Бодянский О.* Предисловие // см.: Крижанич, 1859 (с. I–XX).

Болотов, I–III — Жизнь и приключения Андрея Болотова, описанные самим им для своих потомков, т. I–III. М.–Л., 1931.

Бонди, 1935 — *Бонди С.* Тредиаковский, Ломоносов, Сумароков // *Тредиаковский* [*В. К.*] Стихотворения / Под ред. А. С. Орлова… [Л.], 1935.

Боргезе, 1961 — *Borghese D.* B. I. Kurakin a Roma // Studi Romani. 1961.

Бородин, 1936 — *Бородин А. В.* Московская гражданская типография и библиотекари Киприановы // Труды Ин-та книги, документа и письма [АН СССР], т. V. М.–Л., 1936.

Браиловский, 1894 — *Браиловский С. Н.* Федор Поликарпович Поликарпов-Орлов, директор Московской типографии // ЖМНП, 1894, № 9 (с. 1–37), № 10 (с. 242–286), № 11 (с. 50–91).

Брусилов, 1805 — [*Брусилов Н. П.*]. Письмо к приятелю о Руском Театре // Журнал российской словесности, 1805, ч. I, № 2.

Брюно, I–XI — *Brunot F.* Histoire de la langue Française des origines à 1900, t. I–XI. Paris, 1966–1969.

Бубнов и др., 1971 — Исторические сборники XVIII–XIX вв. / Сост. Н. Ю. Бубнов, А. И. Копанев, М. В. Кукушкина, О. П. Лихачева. Л., 1971 (Описание рукописного собрания Библиотеки Академии наук СССР, т. III, вып. 3).

Буддей, 1719 — Ecclesia Romana cum Ruthenica irreconciliabilis seu scriptum aliquod doctorum quorundam Sorbonicorum Augustissimo Russorum Imperatori ad utriusque ecclesiae unionem ei suadendam exhibitum, modeste expensum et animadversionibus illustratum ab Joan. Francisco Buddeo… Jenae, 1719.

Буддей, 1719а — *Buddeus J. F.* Erörterung der Frage, ob eine Vereinigung der Römisch-Catholischen und Russischen Kirchen zu hoffen sei? Aus Lateinischen ins Teutsche übersetzt… Jena, 1719.

Буддей, 1729 — Epistola apologetica pro Ecclesia Lutherana contra calumnias et obtrectationes Stephani Javorskii Resanensis et Muromiensis Metropolitae. Ad amicum Moscuae degentem scripta a Joanne Francisco Buddeo… Jenae, 1729.

Булаховский, 1941 — *Булаховский Л. А.* Введение в синтаксис русского литературного языка первой пол. XIX в. // Наукові записки Харківського держ. пед. інституту, 1941, вип. VII.

Булгарин, 1831 — *Ф. Б.* [= *Булгарин Ф. В.*] Петербургские записки. Письма из Петербурга в Москву // Северная пчела, 1831, № 280–281, 284–288.

Булич, 1904 — *Булич С. К.* Очерки истории языкознания в России. СПб., 1904.

Бурсье, 1753 — [*Boursier L-F.*] Relation des demarches faites par les Docteurs de Sorbonne pour la réunion de l'Eglise de Russie dans les années 1717 et suivantes // Histoire et analyse du livre de l'action de Dieu; opuscules de M. Boursier relatifs à cet ouvrage…, t. 3. S. l., 1753.

Бутурлин, I–II — Documenti che si conservano nel R. Archivio di Stato in Firenze, sezione Medicea, riguardanti l'antica Moscovia (Russia). Testo italiano e latino copiato da i documenti originali, colla traduzione in russo, dal conte Michele Boutourlin, pt. I–II. Mosca, 1871. Авантитул: Бумаги Флорентинского центрального архива, касающиеся до России. Итальянские и латинские подлинники с русским переводом гр. М. Д. Бутурлина, ч. I–II. М., 1871.

Быстрова, 1966 — *Быстрова Е. А.* Термины *литература*, *словесность* и *письменность* // Современная русская лексикология. М., 1966.

Бюфье, 1754 — *Buffier C.* Grammaire Françoise sur un plan nouveau… Paris, 1754 (изд. 1-е: Paris, 1709).

Вебер, 1721 — [*Weber Fr. Chr.*] Das Veränderte Rußland, in welchem die jetzige Verfassung des Geist- und Weltlichen Regiments; der Krieges-Staat zu Lande und zu Wasser; der wahre Zustand der Rußischen Finantzen; die geöffneten Berg-Wercke, die eingeführte Academien, Künste, Manufacturen, ergangene Verordnungen, Geschäfte mit denen Asiatischen Nachbahren und Vasallen, nebst der allerneuesten Nachricht von diesen Völkern, die Begebenheiten des Tzarewitzen und was sonst merckwürdiges in Rußland zugetragen. Nebst verschiedenen andern bißher unbekannten Nachrichten. In einen biß 1720. gehenden Journal vorgestellet werden… Franckfurth, 1721.

Вейнрих, 1960 — *Weinrich H.* Vaugelas und die Lehre vom guten Sprachgebrauch // Zeitschrift für romanische Philologie, 1960, Bd LXXVI, Hft 1/2.

Вейсманнов лексикон — Teutsch-Lateinisch-und Rußisches Lexicon, samt denen Anfangs-Gründen der Rußischen Sprache. Zu allgemeinem Nutzen bey der Kayserl. Academie der Wissenschaften zum Druck befördert. Нѣмецко-латинскiи и рускiи леѯиконъ купно съ первыми началами рускаго языка къ общей пользѣ при iмператорскои академiи наукъ печатiю изданъ. St. Petersburg, 1731. Репринт: Weismanns Petersburger Lexicon von 1731, Teile I–III. München, 1982–1983 (Specimina philologiae slavicae, Bde 46–48).

Верховской, I–II — *Верховской П. В.* Учреждение Духовной коллегии и Духовный регламент: К вопросу об отношении Церкви и государства в России. Исследование в области истории русского церковного права, т. I–II. Ростов н/Д, 1916.

Веселитский, 1972 — *Веселитский В. В.* Отвлеченная лексика в русском литературном языке XVIII — нач. XIX в. М., 1972.

Веселитский, 1974 — *Веселитский В. В.* Антиох Кантемир и развитие русского литературного языка. М., 1974.

Вигель, I–II — *Вигель Ф. Ф.* Записки, т. I–II. М., 1928.

Викторов, 1881 — *Викторов А.* Московский Публичный и Румянцевский музей. Собрание рукописей И. Д. Беляева. М., 1881.

А. Виноградов, 1928 — *Виноградов А. К.* Мериме в письмах к Соболевскому. М., 1928.

В. Виноградов, 1935 — *Виноградов В. В.* Язык Пушкина: Пушкин и история русского литературного языка. М.–Л., 1935.

В. Виноградов, 1938 — *Виноградов В. В.* Очерки по истории русского литературного языка XVII–XIX вв. Изд. 2-е, перераб. и доп. М., 1938.

В. Виноградов, 1941 — *Виноградов В. В.* Стиль Пушкина. М., 1941.

В. Виноградов, 1949 — *Виноградов В. В.* Из наблюдений над языком и стилем И. И. Дмитриева // Материалы и исследования по истории русского литературного языка, т. I. М.–Л., 1949.

В. Виноградов, 1953 — *Виноградов В. В.* О некоторых вопросах русской исторической лексикологии // Изв. АН СССР. Отд. лит. и яз, 1953, т. XII, вып. 3.

В. Виноградов, 1966 — *Виноградов В. В.* История слова *изящный* (в связи с образованием выражений *изящная словесность*, *изящные искусства*) // XVIII век, сб. 7 (Роль и значение XVIII века в истории русской культуры). М.–Л., 1966.

В. Виноградов, 1966а — *Виноградов В. В.* Из истории русских слов и выражений (*подковырка*, *пригвоздить*, *фортель*, *вертопрах* и *щелкопер*) // Вопросы стилистики: Сб. ст. к 70-летию со дня рожд. проф. К. И. Былинского. М., 1966.

Н. Виноградов, I–III — *Виноградов Н. Н.* Заговоры, обереги, спасительные молитвы и проч., вып. I–III. СПб., 1907–1910. Оттиск из ЖС, 1907–1909.

Н. Виноградов, 1917 — *Виноградов Н. Н.* Историко-литературные и этнографические заметки. III. Один из неведомых собирателей рукописных книг // ИОРЯС, т. XXII, 1917, кн. 2.

Винокур, 1959 — *Винокур Г. О.* Орфографическая теория Тредиаковского // *Винокур Г. О.* Избранные работы по русскому языку. М., 1959.

Винокур, 1959а — *Винокур Г. О.* Наследство XVIII века в стихотворном языке Пушкина // *Винокур Г. О.* Избранные работы по русскому языку. М., 1959.

Винтер, I–III — *Winter E.* Russland und das Papstum, Teile I–III. Berlin, 1960–1972 (Deutsche Akademie der Wissenschaften zu Berlin. Quellen und Studien zur Geschichte Osteuropas / Hrsg. von E. Winter, Bd VI, Teile 1–3).

Винтер, 1953 — *Winter E.* Halle als Ausgangspunkt der deutschen Russlandkunde in 18. Jahrhundert. Berlin, 1953 (Deutsche Akademie der Wissenschaften zu Berlin. Veröffentlichungen des Instituts für Slawistik / Hrsg. von H. H. Bielfeldt, № 2).

Внутренний быт, I–II — Внутренний быт русского государства с 17-го октября 1740 года по 25-е ноября 1741 года по документам, хранящимся в Московском архиве Министерства юстиции, кн. I–II. М., 1880–1886.

Воейков, 1808 — *Воейков* [*А. Ф.*]. Мнение беспристрастного о «Способе сочинять книги и судить о них» [Е. Станевича] // Вестник Европы, 1808, ч. 41.

Вожела, 1647 — [*Vaugelas C. F. de*]. Remarques sur la langue Françoise… Paris, 1647. (Ссылки на листы относятся к предисловию, ссылки на страницы — к основному тексту данного издания.)

Войцехович, 1823 — [*Войцехович Ив.*]. Сокращение речи г. Тредьяковскаго о «богатом, различном, искусном и несходственном витийстве» с латинскаго // Сочинения в прозе и стихах: Труды Об-ва любителей Российской словесности при Моск. ун-те, ч. III. М., 1823.

Волков и театр, 1953 — Ф. Г. Волков и русский театр его времени. М., 1953.

Вольман, 1957 — *Вольман Б.* Русские печатные ноты XVIII в. Л., 1957.

Вомперский, 1968 — *Вомперский В. П.* Ненапечатанная статья В. К. Тредиаковского «О множественном прилагательных целых имен окончении» // Научные доклады Высшей школы. Филологические науки, 1967, № 5 (47).

Вомперский, 1970 — *Вомперский В. П.* Стилистическое учение М. В. Ломоносова и теория трех стилей. М., 1970.

Воронцова, 1979 — *Воронцова В. Л.* Русское литературное ударение XVIII–XX вв.: Формы словоизменения. М., 1979.

Г. Воскресенский, 1891 — *Воскресенский Г.* Ломоносов и Московская славяно-греко-латинская академия (К стодвадцатипятилетней годовщине Ломоносова). Речь, произнесенная на публичном акте Московской духовной академии 1 октября 1890 г. М., 1891.

Н. Воскресенский, 1945 — *Воскресенский Н. А.* Законодательные акты Петра I: Редакции и проекты законов, заметки, доклады, доношения, челобитья и иностранные источники. М.–Л., 1945.

Всякая всячина, 1769–1770 — Всякая всячина. СПб., 1769. Еженедельный журнал, издававшийся Г. В. Козицким под наблюдением Екатерины II.

Вяземский, I–XII — *Вяземский П. А.* Полное собрание сочинений, т. I–XII. СПб., 1878–1896.

фон Гавен, 1743 — *Haven P. von.* Reise udi Rusland. Kjebenhavn, 1743.

Гаврилов, 1911 — *Гаврилов А. В.* Очерк истории Санкт-Петербургской синодальной типографии, вып. I (1711–1839). СПб., 1911.

Гагарин, 1878 — *P*[*ère*] *Gagarin J.* L'impératrice Anne et les catholiques en Russie. Lyon, 1878.

Галахов, I–III — *Галахов А. Д.* История русской словесности, древней и новой, т. I–III. СПб., 1863–1875.

Гейтус, 1978 — *Heithus C.* V. K. Trediakovskij und Hamburg // Die Welt der Slaven, Jg. 23 (Neue Folge, 2), 1978, Hft 2.

Геннади, 1854 — *Геннади Г.* П. И. Макаров и его журнал «Московский Меркурий» // Современник, т. XIV, 1854, № 10.

Герасимова-Персидская, 1983 — *Герасимова-Персидская Н.* Партесный концерт в истории музыкальной культуры. М., 1983.

Герман, 1878 — Герман, архиепископ Холмогорский и Важеский // Странник, 1878, сентябрь.

Гершкович, 1956 — *Гершкович З. И.* Примечания // см.: Кантемир, 1956 (с. 429–525).

Глушков, 1801 — *Глушков И. Ф.* Ручной дорожник для употребления на пути между Императорскими Всероссийскими столицами. СПб., 1801.

Глюк, 1994 — *Glück J. E.* Grammatik der russischen Sprache (1704) / Hrsg. und mit einer Einleitung versehen von H. Keipert, B. Uspenskij und V. Živov. Köln–Weimar–Wien, 1994 (Bausteine zur slavischen Philologie und Kulturgeschichte, Reihe B: Editionen. Neue Folge, Bd 5 [20]).

Гнедич, 1814 — *Гнедич Н. И.* Рассуждение о причинах, замедляющих развитие нашей словесности // Описание Торжественного открытия императорской Публичной библиотеки, бывшего Генваря 2 дня 1814 года… СПб., 1814.

Гнедич, 1821 — *Гнедич Н. И.* Речь // Соревнователь просвещения и благотворения: Труды Вольного об-ва любителей Российской словесности, ч. XV. СПб., 1821.

Гоголь, I–XIV — *Гоголь Н. В.* Полное собрание сочинений, т. I–XIV. [М.], 1940–1952.

Голенищев-Кутузов, 1973 — *Голенищев-Кутузов И. Н.* Александрийский стих в России и на Западе // Славянские литературы. М., 1973.

Голиков, 1788–1789, I–XII — *Голиков И. И.* Деяния Петра Великаго, мудраго преобразителя России, собранныя из достоверных источников и расположенныя по годам, ч. I–XII. М., 1788–1789.

Голиков, 1790–1797, I–XVIII — *Голиков И. И.* Дополнения к Деяниям Петра Великаго, т. I–XVIII. М., 1790–1797.

Голицын, 1880 — *Голицын Н. Н.* Материалы для полной родословной росписи князей Голицыных. Киев, 1880.

Голицын, 1892 — *Голицын Н. Н.* Род князей Голицыных, т. I. СПб., 1892.

Головкин, 1912 — *Головкин Ф. Г.* Двор и царствование Павла I: Портреты, воспоминания и анекдоты. М., 1912.

Городцов, 1915 — *Городцов П. А.* Праздники и обряды крестьян Тюменского уезда // Ежегодник Тобольского губернского музея, год 24, 1915, вып. 26. Тобольск, 1916.

Горский и Невоструев, I–III — *Горский А. В.*, *Невоструев К. И.* Описание славянских рукописей Московской Синодальной библиотеки, отд. I–III. М., 1855–1917. Ср.: Е. М. Витошинский. Указатель именной и предметный к труду А. В. Горского и К. И. Невоструева... Варшава, 1915. Репринт (включая указатель): Wiesbaden, 1966 (Monumenta linguae slavicae dialecti veteris: Fontes et dissertationes, t. VI). При ссылках на это издание римская цифра обозначает отдел, арабская — часть.

Градова, 1985 — *Градова Б. А.* Первые переводы Антиоха Кантемира // Исследование памятников письменной культуры в собраниях и архивах Отдела рукописей и редких книг [Гос. Публичной б-ки им. М. Е. Салтыкова-Щедрина]. Л., 1985.

Грамматика французская и русская, 1730 — Grammaire Francoise [sic] et Russe en langue moderne accompagnée d’un petit dictionnaire pour la facilité du commerce. Грамматика французская и руская нынѣшняго языка сообщена съ малымъ Леѯикономъ ради удобности сообщества. A St. Petersbourg ~ Въ Санктъ Петербургѣ, 1730.

Грамматика, 1638 — Грамматики или писмєнница ꙗзыка Словен’скагω тщателемъ въкратъцѣ издана в Кремѧнци Рокꙋ, ҂а҃, х҃, л҃и [= 1638]. Ср. изд.: Hrammatiki ili pismennica jazyka sloven’skaho (Kremjaneć 1638): Eine gekürzte Fassung der kirchenslavischen Grammatik von Meletij Smotryćkyj / Hrsg. und eingel. von O. Horbatsch. Frankfurt am Main, 1977 (Specimina philologiae slavicae, Bd 11).

Грант, 1954 — Dictionnaire des lettres françaises publié sous la direction du Cardinal G. Grente… Le dix-septième siècle. Paris, 1954.

Грасгоф, 1963 — *Graßhoff H.* A. Kantemirs Verhältnis zu den Jansenisten: Eine französische Übersetzung der 1. Satire aus dem Jahre 1744 // Zeitschrift für Slawistik, Bd VIII, 1963, Hft 1.

Грасгоф, 1963а — *Грассгоф Х.* Первые переводы сатир А. Д. Кантемира // Международные связи русской литературы. М.–Л., 1963.

Грасгоф, 1966 — *Graßhoff H.* Antioch Dmitrievič Kantemir und Westeuropa: Ein russischer Schriftsteller des 18. Jahrhunderts und seine Beziehungen zur westeuropäischen Literatur und Kunst. Berlin, 1966 (Deutsche Akademie der Wissenschaften zu Berlin. Veröffentlichungen des Instituts für Slawistik / Hrsg. von H. H. Bielfeldt, № 35).

Греч, I–II — *Греч Н. И.* Чтения о русском языке, ч. I–II. СПб., 1840.

Грёнинг, 1750 — Російская грамматика. Thet är Grammatica Russica, Eller Grundelig Handledning Til Ryska Språket [...]. Utgifwen af Michael Groening. Stockholm, 1750. Репринт: Drei russische Grammatiken des 18. Jahrhunderts / Nachdruck der Ausgaben von 1706, 1731 und 1750 mit einer Einleitung von B. O. Unbegaun. München, 1969 (Slavische Propyläen, Bd 55).

Гринберг, 1989 — *Гринберг М. С.* Новые материалы о жизни и творчестве А. П. Сумарокова // Изв. АН СССР. Сер. лит. и яз., 1989, № 1.

Гринберг, 1990 — *Гринберг М. С.* Об отношениях Сумарокова и Ломоносова в 1740-х годах // Slavica, XXIV: Annales Instituti philologiae slavicae Universitatis Debreceniensis de Ludovico Kossuth nominatae. Debreczen, 1990. В выходных данных здесь по недоразумению указаны два автора: М. Ш. [sic!] Гринберг и Б. А. Успенский; ответственность за эту ошибку лежит всецело на издателях тома.

Гринберг и Успенский, 1992/2001 — *Гринберг М. С.*, *Успенский Б. А.* Литературная война Тредиаковского и Сумарокова в 1740-х — начале 1750-х годов. // Russian Literature, 1992, vol. XXXI, № 2 (Отд. вып. журнала). Цит. по изд.: М., 2001 (Рос. гос. гуманитарный ун-т: Ин-т высших гуманитарных исслед. Чтения по истории и теории культуры, вып. 29). См. наст. изд., с. 219–318.

Грот, I–V — *Грот Я. К.* Труды, т. I–V. СПб., 1898–1903.

Грот, 1868 — *Грот Я. К.* Переписка Евгения [Болховитинова] с Державиным // Сб. ОРЯС, т. V, вып. 1. СПб., 1868.

Грот и Пекарский, 1866 — Письма Н. М. Карамзина к И. И. Дмитриеву / Издали… Я. Грот и П. Пекарский. СПб., 1866.

Гуаско, 1749 — [*Guasco O. de.*] Vie du Prince Antiochus Cantemir // Satyres de Monsieur le Prince Cantemir avec l'histoire de sa vie: Traduites en François. A Londres, 1749.

Губерти, 1887 — *Губерти Н. В.* Историко-литературные и библиографические материалы (из журнала «Библиограф»). СПб., 1887.

Гуковская, 1957 — *Гуковская З. В.* «Заметки о французском языке» Вожля и проблема французского языка XVII в. // Учен. зап. Ленингр. пед. ин-та им. Покровского, 1957, т. XXVIII.

Гуковский, 1927 — *Гуковский Г.* Русская поэзия XVIII века. Л., 1927 (Гос. Ин-т истории искусств. Вопросы поэтики, вып. X). Репринт: München, 1971 (Slavische Propyläen, Bd 136).

Гуковский, 1928 — *Гуковский Г.* К вопросу о русском классицизме. Состязания и переводы // Поэтика: Сб. ст. Л., 1928 (Временник Отдела словесных искусств Государственного ин-та истории искусств, IV).

Гуковский, 1962 — *Гуковский Г.* Ломоносов — критик // Литературное творчество М. В. Ломоносова: Исследования и материалы. М.–Л., 1962.

Гуковский, 1962а — *Гуковский Г. А.* Русская литературно-критическая мысль в 1730–1750-е годы // XVIII век, сб. 5. М.–Л., 1962.

Дайнгард, 1929 — *Deinhardt W.* Der Jansenismus in deutschen Ländern. München, 1929.

Даль-Бодуэн, I–IV — *Даль В.* Толковый словарь живого великорусского языка. Изд. 4-е, испр. и значительно доп. / Под ред. И. А. Бодуэна-де-Куртенэ, т. I–IV. СПб.–М., 1911–1914.

Дашков, 1810 — *-въ* [= *Дашков Д. В.*] Рец.: Перевод двух статей из Лагарпа с примечаниями переводчика [А. С. Шишкова] // Цветник, ч. VIII, 1810, № 11 (с. 256–303); № 12 (с. 404–467).

Дашков, 1811 — *Дашков Д.* О легчайшем способе возражать на критики. СПб., 1811.

Дашкова, 1906 — Записки княгини Е. Дашковой. СПб., 1906.

Де Микелис, 1982–1983 — *De Michelis C. G.* Storie di spionaggio del XVIII secolo (in margine al rapporto di A. Kantemir con i fratelli Guasco) // Annali del Dipartimento di Studi

dell'Europa Orientale [dell'Istituto Universitario Orientale di Napoli]. Sezione storico-politico-soziale, IV–V. 1982–1983.

Демидов, 1806— *Demidoff P. de.* Catalogue systématique des livres de la bibliotheque de Paul de Demidoff… disposé et mis un ordre par lui-même / Publie avec une préface par le professeur Fischer. Moscou, 1806.

Державин, I–VII — [*Державин Г. Р.*] Сочинения Державина / С объяснительными примеч. Я. Грота. Изд. 2-е академич. (без рисунков), т. I–VII. СПб., 1868–1878.

Дерюгин, 1985 — *Дерюгин А. А.* В. К. Тредиаковский — переводчик: Становление классицистического перевода в России. Саратов, 1985.

И. Дмитриев, I–II — *Дмитриев И. И.* Сочинения / Ред. и коммент. А. А. Флоридова, т. I–II. СПб., 1893.

М. Дмитриев, 1869 — *Дмитриев М. А.* Мелочи из запаса моей памяти. М., 1869.

Добровольский, 1900 — *Добровольский В. Н.* Значение народного праздника «Свечи» // ЭО, кн. XLVII, 1900, № 4.

Добровольский, 1900а — *Добровольский В. Н.* О некоторых архаических обычаях, переживаемых народом в Смоленской губернии // Известия имп. Общества любителей естествознания, антропологии и этнографии при имп. Московском университете, т. XCVII. Труды этнографического отдела, т. XIV: Юбилейный сб. в честь В. Ф. Миллера… М., 1900.

Добровский, 1791 — *Dobrowsky J.* Geschichte der böhmischen Sprache und Literatur // Neuere Abhandlungen der k. Böhmischen Gesellschaft der Wissenschaften, Bd I. Wien und Prag, 1791.

Добрынин, 1872 — Истинное повествование, или Жизнь Гавриила Добрынина, им самим писанная в Могилеве и в Витебске. СПб., 1872.

Добрянский, 1882 — *Добрянский Ф.* Описание рукописей Виленской публичной библиотеки церковно-славянских и русских. Вильна, 1882.

Долгоруков, I–IV — [*Долгоруков П. В.*] Российская родословная книга, издаваемая кн. Петром Долгоруковым, ч. I–IV. СПб., 1854–1857.

Долгоруков, 1840 — [*Долгоруков П. В.*] Сказания о роде князей Долгоруковых. СПб., 1840.

Долгоруков, 1867–1871 — [*Долгоруков П. В.*] Mémoires du Prince Pierre Dolgoroukow, t. I–II. Genève, 1867–1871.

ДРВ, I–X — Древняя российская вивлиофика, или Собрание древностей российских, до российския истории, географии и генеалогии касающихся, издаваемая помесячно Н. Новиковым, ч. I–X. СПб., 1773–1775.

Дрейдж, 1962 — *Drage C. L.* The *Anacreontea* and the 18th Century Russian Poetry // SEER, vol. XLI, 1962, december.

Дрейдж и Салливан, 1992 — *Drage C. L.*, *Sullivan J.* Adam Burchardt Sellius and *Zertsalo istoricheskoie gosudarei rossiiskich* // SEER, vol. LXX, 1992, № 4.

Дубровский, 1865 — *Дубровский Н.* О жене князя Михаила Алексеевича Голицына, италиянке // ЧОИДР, 1865, кн. 3.

Евгений, 1827, I–II — [*Евгений* (*Болховитинов*)]. Словарь исторический о бывших в России писателях духовнаго чина Греко-Российской церкви. Изд. 2-е, испр. и умнож., т. I–II. СПб., 1827.

Евгений, 1845, I–II — *Евгений* [*Болховитинов*]. Словарь русских светских писателей, соотечественников и чужестранцев, писавших в России, т. I–II. М., 1845.

Евдокимов, 1897 — *Евдокимов Л. В.* Журнал дежурных генерал-адъютантов. Царствование императрицы Елисаветы Петровны: Повседневные записки генерального ея императорского величества дежурства, вып. 1-й. 1745, 1748–1751 гг. СПб., 1897 (так на тит. листе, на обложке — 1898).

Ежемесячные сочинения, 1755–1764 — Ежемесячные сочинения, к пользе и увеселению служащие. СПб., 1755–1764. В 1758 г. журнал выходил под названием: «Сочинения и переводы, к пользе и увеселению служащие», в 1763–1764 гг. — «Ежемесячные сочинения и известия о ученых делах». Издавался Академией наук под ред. Г. Ф. Миллера.

Екатерина, I–XII — Сочинения императрицы Екатерины II на основании подлинных рукописей и с объяснительными примеч. А. Н. Пыпина, т. I–XII. СПб., 1901–1907.

Желябужский, 1840 — *Желябужский И. А.* Дневные записки. СПб., 1840.

Живов, 1981 — *Живов В. М.* Кощунственная поэзия в системе русской культуры XVIII — начала XIX века // Учен. зап. Тартуск. ун-та, вып. 546. Тарту, 1981 (Труды по знаковым системам, XIII).

Живов, 1986 — *Живов В. М.* Азбучная реформа Петра I как семиотическое преобразование // Учен. зап. Тартуск. ун-та, вып. 720. Тарту, 1986 (Труды по знаковым системам, XIX).

Живов, 1990 — *Живов В. М.* Культурные конфликты в истории русского литературного языка XVIII — начала XIX века. М., 1990.

Живов, 2004 — *Живов В. М.* Из церковной истории времен Петра Великого: Исследования и материалы. М., 2004.

Живов и Успенский, 1983 — *Živov V. M.*, *Uspenskij B. A.* Zur Spezifik des Barock in Rußland (Das Verfahren der Äquivokation in der russischen Poesie des 18. Jahrhunderts) // Slavische Barocliteratur, II: Gedankschrift für Dmitrij Tschiževsky / Hrsg. von R. Lachmann. München, 1983 (Forum Siavicum, Bd 54).

Живов и Успенский, 1984/1996 — *Живов В. М.*, *Успенский Б. А.* Метаморфозы античного язычества в истории русской культуры XVII–XVIII вв. // Античность в культуре и искусстве последующих веков: Материалы науч. конф. [Гос. музея изобразительных искусств], 1982 г. / Под ред. И. Е. Даниловой. М., 1984. Цит. по изд.: Из истории русской культуры, т. IV (XVIII — начало XIX в.). М., 1996 (с. 449–535).

Жирар, I–II — *Girard G.* Les vrais principes de la langue Françoise ou la Parole réduite en méthode, conformément aux loix de l'usage, en seize discours, t. I–II. Paris, 1747.

Жирар, 1718 — *Girard G.* La justesse de la langue Françoise ou les Différentes significations des mots qui passent pour synonimes. Paris, 1718.

Жирар, 1719 — *Girard G.* Lettre d'un abbé à un Gentilhomme de province contenant des observations sur le stile et les pensées de la nouvelle tragédie d'Œdipe, et des réflexions sur la dernière lettre de M. de Voltaire. Paris, 1719.

Жуковский, I–XII — *Жуковский В. А.* Полное собрание сочинений, т. I–XII. СПб., 1902.

Жуковский, 1948 — *Жуковский В. А.* Неизданный конспект по истории русской литературы // Труды отдела новой русской литературы Ин-та русской литературы АН СССР, т. I. М.–Л., 1948.

Журнал Петра, 1722 — Журнал, или Поденная записка, блаженныя и вечнодостойныя памяти государя императора Петра Великаго с 1698 г., даже до заключения Нейштатскаго мира. Напечатан с обретающихся в Кабинетной архиве списков, правленных собственною рукою его императорскаго величества, ч. II, отд. 1. СПб., 1772.

Жюбе, 1992 — *Jubé J.* La religion, les mœurs et les usages des Moscovites / Texte présenté et annoté par M. Mervaud. Oxford, 1992 (Studies on Voltaire and the Eighteenth Century, 294). (Записки Жюбе, которые велись в разное время, были завершены в 1735 г.)

Забелин, 1858 — Письмо В. К. Тредьяковского к графу С. А. Салтыкову и ответ последнего / Сообщено И. Е. Забелиным // Библиогр. записки, 1858, т. I, № 18.

Забелин, 1859 — *Забелин И. Е.* Письма и записки от разных лиц к гр. Д. И. Хвостову // Библиогр. записки, 1859, № 8.

Забелин, 1869 — *Забелин И.* Домашний быт русских цариц в XVI и XVII ст. М., 1869 (= *Забелин И.* Домашний быт русского народа в XVI и XVII ст., т. II).

Завойко, 1914 — *Завойко Г. К.* Верования, обряды и обычаи великороссов Владимирской губернии // ЭО, кн. CIII–CIV, 1914, № 3–4.

Замкова, 1974 — *Замкова В. В.* Славянизм как термин стилистики // Вопросы исторической лексикологии и лексикографии восточнославянских языков. М., 1974.

Запольская, 1985 — *Запольская Н. Н.* Усеченные причастия в русском литературном языке XVIII века // Вестник Моск. ун-та. Сер. Филология, 1985, № 3.

Засадкевич, 1883 — *Засадкевич Н.* Мелетий Смотрицкий как филолог. Одесса, 1883.

Захария, 1942 — *P*[*ère*] *Zacharie d'Haarlem.* Les Capucins à Astrakhan' (1710–1725) et à Moscou (1720–1725) // Collectanea Franciscana, t. XII. Roma, 1942, fasc. 4.

Захария, 1942а — *P*[*ère*] *Zacharie d'Haarlem*. Les Capucins à Saint-Pétersbourg (1720–1725) // Collectanea Franciscana, t. XII. Roma, 1942, fasc. 2–3 (p. 210–245, 351–376).

Захария, 1955 — *P*[*ère*] *Zacharias Anthoniss*. Die Anfänge der Kapuzinerniederlassungen in Russland // Analecta Slavica: A Slavonic Miscellany Presented for His Seventieth Birthday to Bruno Becker, Professor of Russian History, Language and Literature in the University of Amsterdam. Amsterdam, 1955.

Здравомыслов, 1894 — *Здравомыслов К. Я.* К истории основания русской церкви в Петербурге (по поводу 150-летия со дня кончины князя А. Д. Кантемира) // Церковный вестник, 1894, № 14.

Зернова и Каменева, 1968 — [*Зернова А. С.*, *Каменева Т. Н.*] Сводный каталог русской книги кирилловской печати XVIII века. М., 1968.

Знаменский, 1878 — *Знаменский П. В.* Сильвестр, митрополит Казанский // Православное обозрение, 1878, апрель (с. 573–595) — май (с. 68–139).

И то и сьо, 1769 — И то и сьо. СПб., 1869. Еженедельный журнал, издававшийся М. Д. Чулковым. В первых пяти выпусках название журнала писалось «И то и сîо», после чего (начиная с второго февральского выпуска) устанавливается написание «И то и сьо».

Иванов, 1853 — [*Иванов П. И.*] Проект Указа [Академии наук], составленный в конце 1725 г. // Учен. зап. Академии наук по I и III отделениям, т. II, вып. 1. СПб., 1853.

Извеков, 1870 — *Д. И-в* [= *Извеков Д.*] Один из малоизвестных литературных противников Феофана Прокоповича // Заря, год II. СПб., 1870, август.

Измайлов, 1804 — *Измайлов В. В.* Рец.: Великодушие, или Рекрутский набор. Драма… Н. Ильина // Патриот, т. II, 1804, май.

Исаченко, 1974 — *Issatschenko A.* Vorgeschichte und Entstehung der modernen russischen Literatursprache // ZslPh, Bd XXXVII, 1974, Hft 2.

Исаченко, 1976 — *Isačenko A. V.* Opera selecta. München, 1976 (Forum slavicum, Bd 45).

Исаченко, 1977 — *Исаченко А. В.* Влияние словенского языка на разработку истории русского языка в XVI и XVII вв. // Slovansko jezikoslovje: Nahtigalov zbornik ob stoletnici rojstva. Ljubljana, 1977.

Истинная политика знатных и благородных особ, см.: Ремон де Кур, 1737.

История, 1765 — Histoire abregée de l'Eglise metropolitaine d'Utrecht, principalement depuis la revolution arrivée dans les VII Provinces-Unies des Pays-Bas sous Philippe II jusqu'à présent. Utrecht, 1765.

Казанский сборник — «Разныя стиходействии». Библиотека Казанского ун-та, Ms. № 4542, IV/1 (старый № 19953). Рукопись 1770-х гг.

Калайдович и Строев, 1825 — *Калайдович К.*, *Строев П.* Обстоятельное описание славяно-российских рукописей, хранящихся в Москве в библиотеке графа Ф. А. Толстова. М., 1725.

Кантемир, I–II — *Кантемир А. Д.* Сочинения, письма и избранные переводы, т. I–II. СПб., 1867–1868.

Кантемир, 1956 — *Кантемир А. Д.* Собрание стихотворений / Вступ. ст. Ф. Я. Приймы. Подгот. текста и примеч. З. И. Гершковича. Л., 1956 (Б-ка поэта; Большая сер.).

Капнист, 1823 — Письмо В. В. Капниста к А. А. Прокоповичу-Антонскому от 17 января 1793 г. // Сочинения в прозе и стихах: Труды Об-ва любителей Российской словесности при Моск. ун-те, ч. III. М., 1823.

Каптерев, 1914 — *Каптерев Н. Ф.* Характер отношений России к православному Востоку в XVI и XVII столетиях. Изд. 2-е. Сергиев Посад, 1914.

Карамзин, I–III — *Карамзин* [*Н. М.*]. Сочинения, т. I–III. СПб., 1848 (Полное собрание сочинений русских авторов / Изд. А. Смирдина).

Карамзин, 1797 — [*Карамзин Н. М.*]. [Предисловие] // Аониды, или Собрание разных новых стихотворений, кн. II. М., 1797.

Карамзин, 1801–1802, I–IV — [*Карамзин Н. М.*]. Пантеон Российских авторов, ч. I, тетр. I–IV. М., 1801–1802.

Карамзин, 1802 — [*Карамзин Н. М.*]. К Читателем Вестника // Вестник Европы, 1802, № 23.

Карамзин, 1818–1829, I–XII — *Карамзин Н. М.* История Государства Российского, т. I–XII. Изд. 2-е. СПб., 1818–1829.

Карамзин, 1862 — Неизданные сочинения и переписка Николая Михайловича Карамзина, ч. I. СПб., 1862.

Карамзин, 1984 — *Карамзин Н. М.* Письма русского путешественника / Изд. подгот. Ю. М. Лотман, Н. А. Марченко, Б. А. Успенский. Л., 1984 (Лит. памятники).

Карин, 1778 — *Карин Ф. Г.* Письмо к Николаю Петровичу Николеву о преобразителях Российскаго языка на случай преставления Александра Петровича Сумарокова. М., 1778.

Катенин, 1822 — *Катенин П.* Письмо к Издателю С[ына] О[течества] // Сын Отечества, ч. 76, 1822, № 13.

Катенин, 1833 — *Катенин П.* Ответ Г-ну Полевому на Критику, помещенную в Московском Телеграфе // Московский телеграф, ч. LI, 1833, № 11.

Катенин, 1911 — Письма П. А. Катенина к Н. И. Бахтину / Вступ. ст. и коммент. А. А. Чебышева. СПб., 1911.

Катифор, 1772 — [*Catiforo A.* / *Катифор А.*] Житие Петра Великаго императора и самодержца всероссийскаго, отца отечества, собранное из разных книг, во Франции и Голландии изданных, и напечатанное в Венеции, Медиолане и Неаполе на диалекте италианском, а потом и на греческом, с коего на российской язык перевел статский советник Стефан Писарев. СПб., 1772.

Каченовский, 1809 — *Каченовский М. Т.* Об источниках для русской истории // Вестник Европы, 1809, ч. 43, 44, 46.

Каченовский, 1816 — *Каченовский М. Т.* О славянском языке вообще и в особенности о церковном // Вестник Европы, 1816, ч. 89.

Кашин, 1895 — [*Кашин Н. И.*]. Поступки и забавы императора Петра Великого (запись современника). СПб., 1895 ([Общество любителей древней письменности]: Памятники древней письменности, вып. CX).

Кибальник, 1981 — *Кибальник С. А.* Об одном французском источнике эстетических взглядов Тредиаковского // XVIII век, сб. 13 (Проблемы историзма в русской литературе: Конец XVIII — начало XIX в.) Л., 1981.

Кипарский, 1962 — *Kiparsky V.* Der Wortakzent der russischen Schriftsprache. Heidelberg, 1962.

Кларк, 1975 — *Clarke J. E. M.* Karamzin's Conception of Church Slavonic // SEER, vol. LIII, 1975, № 133.

Клейн, 1984 — *Klein J.* Trompete, Schalmei, Lyra und Fiedel (Poetologische Sinnbilder im russischen Klassizismus) // ZslPh, Bd XLIV, 1984, Hft 1.

Клейн, 1988 — *Klein J.* Die Schäferdichtung des russischen Klassizismus. Berlin, 1988. Ср. теперь рус. перевод: *Клейн И.* Пасторальная поэзия русского классицизма // *Клейн И.* Пути культурного импорта: Труды по русской литературе XVIII века. М., 2005. С. 19–215.

Клейн, 2002 — *Клейн Й.* Ломоносов и трагедия // XVIII век, сб. 22. СПб., 2002.

Клепиков, 1978 — *Клепиков С. А.* Филиграни на бумаге русского производства XVIII — начала XX века. М., 1978.

Княжнин, 1961 — *Княжнин Я. Б.* Избранные произведения / Вступ. ст., подгот. текста и примеч. Л. И. Кулаковой. Л., 1961 (Б-ка поэта; Большая сер.).

Князькова, 1965 — *Князькова Г. П.* Лексика народной разговорной речи в комедии и комической опере 60–70-х гг. XVIII в. // Материалы и исследования по лексике русского языка XVIII в. М.–Л., 1965.

Князькова, 1966 — *Князькова Г. П.* О диалектной лексике в русском языке XVIII в. // Процессы формирования лексики русского литературного языка. М.–Л., 1966.

Кобеко, 1861 — *Кобеко Д.* Несколько псевдонимов в русской литературе XVIII в. // Библиогр. записки, 1861, № 4.

Ковалевская, 1958 — *Ковалевская Е. Г.* Славянизмы и русская архаическая лексика в произведениях Н. М. Карамзина // Учен. зап. Ленингр. пед. ин-та. им. Герцена, т. 173. Л., 1958.

Ковалевская, 1976 — *Ковалевская Е. Г.* Интимные диалоги в переводных светских драмах петровского времени // Новые черты в русской литературе и искусстве (XVII — нач. XVIII в.). М., 1976.

Ковтунова, 1969 — *Ковтунова И. И.* Порядок слов в русском литературном языке XVIII — первой трети XIX в. М., 1969.

Козельский, 1768 — *Козельской Я.* Философическия предложения. СПб., 1768.

Колуччи, 1972 — *Colucci M.* Il pensiero linguistico e critico di A. S. Šiškov // Studi sulla questione della lingua presso gli Slavi / A cura di R. Picchio. Roma, 1972.

Коль, 1723 — *Kohlius J. P.* Ecclesia Graeca Lutheranizans sive exercitatio de consensu et dissensu orientalis Graecae speciatim Russicae, et occidentalis Lutheranae Ecclesiae, in dogmatibus… Lubecae, 1723.

Копелевич, 1977 — *Копелевич Ю. Х.* Основание Петербургской Академии наук. Л., 1977.

Копорский, 1961 — *Копорский С. А.* Забытые страницы В. К. Тредиаковского «О слове, или словесности» // Учен. зап. Моск. обл. пед. ин-та, т. С, 1961 (Труды каф. рус. яз., вып. 6).

Корсаков, 1891 — *Корсаков Д. А.* Из жизни русских деятелей XVIII века. Казань, 1891.

Корсакова, 1916 — *Корсакова В. А.* Зотов, Никита Моисеевич // Русский биографический словарь, т. «Жабокритский — Зяловский». Пг., 1916.

Котошихин, 1906 — *Котошихин Григорий.* О России в царствование Алексея Михайловича. Изд. 4-е. СПб., 1906.

Кохман, 1972 — *Kochman S.* W. Trediakowski w kręgu polskich wpływów językowych // Acta Universitatis Wratislaviensis, 1972, № 170 (Slavica Wratislaviensia, III).

Кохман, 1977 — *Kochman S. Podły* i jego innojęzyczne nawiązania (Z badań nad słownictwem słowiańskim) // Poradnik językowy, zesz. 10 (354), 1977.

Кохман, 1978 — *Kochman S.* Z badań nad słownictwem wschodniosłowiańskim // Sprawozdania OTPN (Opolskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk), wydz. II, Seria B, № 13, 1978.

Кочубинский, 1899 — *Кочубинский Ал.* Граф Андрей Иванович Остерман и раздел Турции: Из истории восточного вопроса. Война пяти лет (1735–1739). Одесса, 1899.

Крафт, 1740 — *В. К.* [*Крафт В.* / *Krafft G. W.*] Описание льдяного дому // Примечания на [Санктпетербургские] ведомости, ч. 99, от 9 декабря 1740 г. СПб., 1740 (с. 393–396).

Крафт, 1741 — *Крафт Г. В.* [*Krafft G. W.*] Подлинное и обстоятельное описание построеннаго в Санкт-Петербурге в генваре месяце 1740 года Ледянаго дома и всех находящихся в нем домовых вещей и уборов… СПб., 1741.

Крейкрафт, 1971 — *Cracraft J.* The Church Reform of Peter the Great. Stanford, 1971.

Крейкрафт, 1975 — *Cracraft J.* Feofan Prokopovich: a Bibliography of His Works // Oxford Slavonic Papers, New ser., vol. VIII, 1975.

Крижанич, 1859 — Грамати́чно изказâнје об ру́ском јези́ку попа́ Ју́рка Крижа́нища. М., 1859.

Крыжановский, 1861 — *Крыжановский Е.* Феофан Прокопович и Варлаам Ванатович // Труды Киевской духовной академии, 1863, март. Перепечатано: *Крыжановский Е. М.* Собрание сочинений, т. 1. Киев, 1890 (с. 296–343).

Крылов, I–III — *Крылов И. А.* Полное собрание сочинений, т. I–III. М., 1944–1946.

Кудрявцев, 1878 — Книга записная имянным письмам и указам императриц Анны Иоанновны и Елисаветы Петровны Семену Андреевичу Салтыкову 1732–1742 гг. / С предисл. А. Кудрявцева // ЧОИДР, 1878, кн. 1.

Кузьмина, 1964 — *Кузьмина В. Д.* Рыцарский роман на Руси (Бова, Петр Златых Ключей). М., 1964.

Кулябко и Бешенковский, 1975 — *Кулябко Е. С.*, *Бешенковский Е. Б.* Судьба библиотеки и архива М. В. Ломоносова. Л., 1975.

Куник, 1853 — *К.* [= *Куник А. А.*]. Штелинов реестр официальных бумаг, относящихся к истории Академии от 1725 по 1749 год // Учен. зап. Академии наук по I и III отделениям, т. II, вып. 1. СПб., 1853.

Куник, 1865 — Сборник материалов для истории Императорской Академии наук в XVIII веке / Изд. А. Куник, ч. I–II. СПб., 1865. Продолжающаяся пагинация в обеих частях.

Кунце, 1971 — *Kuntze K.* Studien zur Geschichte der russischen satirischen Typenkomodie 1750–1772. Frankfurt am Main, 1971 (Frankfurter Abhandlungen zur Slavistik, Bd 16).

Куприанов, 1853 — *Куприанов И.* К Зоилу (образец старинных критик) // Москвитянин, 1853, № 7.

Курганов, 1769 — *Курганов Н.* Российская универсальная грамматика, или Всеобщее писмословие, предлагающее легчайший способ основательнаго учения русскому языку с седмью присовокуплениями разных учебных и полезнозабавных вещей. СПб., 1769.

КФЖ, 1750 — Камер-фурьерский церемониальный и походный журнал 1750 года. [СПб.], s. a.

Кюхельбекер, 1979 — *Кюхельбекер В. К.* Путешествие. Дневник. Статьи. Л., 1979.

Ларин, 1959 — *Ларин Б. А.* Русско-английский словарь-дневник Ричарда Джемса (1618–1619). Л., 1959.

Латюйер, 1966 — *Lathuillère R.* La préciosité: Étude historique et linguistique. Genève, 1966.

Лаусберг, 1950 — *Lausberg H.* Zur Stellung Malherbes in der Geschichte der franzosischen Schriftsprache // Romanische Forschungen, Bd 62, 1950, Hft 2/3.

Лашевр, 1902 — *Lachèvre F.* Le prince des libertins du XVII^{e} siècle: Jacques vallée des Barreaux, sa vie et ses poésies (1599–1673). Paris, 1902.

Лебедев, 1885 —*Лебедев А. С.* Харьковский Коллегиум как просветительный центр Слободской Украины до учреждения в Харькове университета // ЧОИДР, 1885, кн. 4.

Лебедев, 1902 — *Лебедев А. С.* Белгородские архиереи и среда их архипастырской деятельности (по архивным документам). С портретами и автографами. Харьков, 1902.

В. Левин, 1962 — *Левин В. Д.* Традиции высокого стиля в лексике русского литературного языка первой пол. XIX в. // Материалы и исследования по истории русского литературного языка, т. V. М., 1962.

В. Левин, 1964 — *Левин В.Д.* Очерк стилистики русского литературного языка конца XVIII — начала XIX в. (Лексика). М., 1964.

В. Левин, 1972 — *Левин В.Д.* Петр I и русский язык // Изв. АН СССР. Сер. лит. и яз., т. XXXI, 1972, вып. 3.

Ю. Левин, 1967 — *Левин Ю.Д.* Английская просветительская журналистика в русской литературе XVIII в. // Эпоха Просвещения: Из истории международных связей русской литературы. Л., 1967.

Леонид, I–IV —*Леонид* [*Кавелин*]. Систематическое описание в 4 частях, с 13 снимками славяно-русских рукописей собрания графа А. С. Уварова, ч. I–IV. М., 1893–1894.

Летопись, 1961 — Летопись жизни и творчества М. В. Ломоносова / Под ред. А. В. Топчиева, Н. А. Фигуровского и В. Л. Ченакала. М.–Л., 1961.

Ливанова, I–II — *Ливанова Т.* Русская музыкальная культура XVIII века в ее связях с литературой, театром и бытом (исследования и материалы), т. I–II. М., 1952–1953.

Линчевский, 1870 — *Линчевский М.* Педагогия древних братских школ и преимущественно древней Киевской Академии // Труды Киевской духовной академии, т. III, вып. 7 (с. 104–154); вып. 8 (с. 437–500); вып. 9 (с. 535–588). Киев, 1870.

де Лириа, 1869 — Письма о России в Испанию дука де-Лирия, бывшаго первым испанским посланником в России при императоре Петре II и в начале царствования Анны Иоанновны / [Перев. с исп. К. Л. Кустодиева] // см.: Бартенев, II. Ср.: Diario del Viaje a Moscovia del Duque de Liria y Xérica // Colección de Documentos Inéditos para la Historia de España, t. XCIII. Madrid, 1889.

Литвина, 1993 — *Литвина А. Ф.* Славянская и неславянская норма: порядок слов в текстах XVIII в. // Типологический и сопоставительный методы в славянском языкознании. М., 1993.

Литвина, 1999 — *Литвина А. Ф.* К вопросу о синтаксисе текстов на «простом» языке // Russian Linguistics, vol. XXIII, 1999, № 2.

Лихницкий, 1906 — *Лихницкий И.* Освященный собор в Москве в XVI–XVII веках // Христианское чтение, 1906, № 1 (с. 71–93); № 2 (с. 239–255); № 3 (с. 437–453); № 5 (с. 716–734).

Личные архивные фонды, I–III — Личные архивные фонды в (государственных) хранилищах СССР: Указатель, т. I–III. М., 1962–1980.

Лозинский, 1925 — *Lozinski G.* Le prince Cantemir et la police parisienne (1741) // Le monde slave, 1925, № 2.

Ломоносов, I–XI — *Ломоносов М. В.* Полное собрание сочинений, т. I–XI. М.–Л., 1950–1983.

Лонгинов, 1871 — *Лонгинов М. Н.* Последние годы жизни А. П. Сумарокова (1766–1777) // Русский архив, 1871, № 10 (стлб. 1637–1717), № 11 (стлб. 1956–1960).

Лонгинов, 1875 — *Лонгинов М. Н.* Русский театр в Петербурге (1749–1774) // Сб. ОРЯС, т. XI, 1875, вып. 1.

Лонгинов, 1915 — *Лонгинов М. Н.* Придворный шут князь Д. А. [sic!] Голицын // *Лонгинов М. Н.* Сочинения, т. I. М., 1915.

Лортолари, 1951 — *Lortholary A.* Le mirage russe en France au XVIII[e] siècle. Paris, [1951].

Лотман, 1970 — *Лотман Ю. М.* О соотношении поэтической лексики русского романтизма и церковнославянской традиции // Тезисы докладов IV Летней школы по вторичным моделирующим системам. Тарту, 1970.

Лотман, 1973 — *Лотман Ю. М.* Сатира Воейкова «Дом сумасшедших» // Учен. зап. Тартуск. ун-та, вып. 306. Тарту, 1973 (Труды по русской и славянской филологии, XXI).

Лотман, 1979 — *Лотман Ю. М.* Речевая маска Слюняя // Вторичные моделирующие системы. Тарту, 1979.

Лотман, 1980 — *Лотман Ю. М.* Роман А. С. Пушкина «Евгений Онегин»: Комментарий. Л., 1980.

Лотман, 1985 — *Лотман Ю. М.* «Езда в остров любви» Тредиаковского и функция переводной литературы в русской культуре первой пол. XVIII в. // Проблемы изучения культурного наследия. М., 1985.

Лотман и Успенский, 1974 — *Лотман Ю. М.*, *Успенский Б. А.* К семиотической типологии русской культуры XVIII века // Художественная культура XVIII века: Материалы науч. конф. [Гос. музея изобразительных искусств], 1973 г. / Под общ. ред. И. Е. Даниловой. М., 1974.

Лотман и Успенский, 1975/1996 — *Лотман Ю.*, *Успенский Б.* Споры о языке в начале XIX в. как факт русской культуры («Происшествие в царстве теней, или Судьбина Российского языка» — неизвестное сочинение Семена Боброва) // Учен. зап. Тартуского ун-та, вып. 358. Тарту, 1975 (Труды по русской и славянской филологии, XXIV). Цит. по изд.: Успенский, II (с. 411–683).

Лотман и Успенский, 1982/1996 — *Лотман Ю. М.*, *Успенский Б. А.* Отзвуки концепции «Москва — третий Рим» в идеологии Петра Первого // Художественный язык Средневековья. М., 1982. Цит. по изд.: Успенский, I (с. 124–141).

Лотман и Успенский, 1984 — *Лотман Ю. М.*, *Успенский Б. А.* «Письма русского путешественника» Карамзина и их место в развитии русской культуры // см.: Карамзин, 1984 (с. 525–607).

Лудольф, 1696 — Henrici Wilheimi Ludolfi *Grammatica Russica* quæ continet non tantum præcipua fundamenta Russicæ Linguæ, verum etiam Manuductionem quandam ad Grammaticam Slavonicam... Oxonii A. D. MDCXCVI. Репринт: Henrici Wilhelmi Ludolfi Grammatica Russica Oxonii A. D. MDCXCVI / Ed. by B. O. Unbegaun. Oxford, 1959.

Лузанов, 1907 — *Лузанов П.* Сухопутный шляхетный кадетский корпус (ныне 1-й кадетский корпус) при графе Минихе (с 1732 по 1741 г.): Ист. очерк, вып. I, кн. 1. СПб., 1907.

Лукин, I–II — Сочинения и переводы Владимира Лукина, ч. I–II. СПб., 1765.

Лукин и Ельчанинов, 1868 — Сочинения и переводы Владимира Игнатьевича Лукина и Богдана Егоровича Ельчанинова / С портретом Ельчанинова и со статьею о Лукине А. Н. Пыпина. Под ред. П. А. Ефремова. СПб., 1868.

Луппов, 1976 — *Луппов С. П.* Книга в России в послепетровское время. 1725–1740. Л., 1976.

Луппов, 1980 — *Луппов С. П.* К вопросу об уточнении репертуара русской книги первой половины XVIII века // Книжное дело в России в XVI–XIX веках. Л., 1980.

Луппов, 1981 — *Луппов С. П.* Новое о библиотеке А. Ф. Хрущова // Памятники культуры: Новые открытия (Письменность. Искусство. Археология). Ежегодник, 1980. Л., 1981.

Маан, 1949 — *Maan P. J.* Das Episkopat des Cornelis Johannes Barchman Wuytiers, Erzbischof von Utrecht (1725–1733). Inauguraldissertation zur Erlangung der theologischen Doktorwürde eingereicht bei der christkatholisch-theologischen Fakultät der Universität Bern. Ässen, 1949.

Мазон, 1958 — *Mazon A.* L'abbé Gabriel Girard, grammairien et russisant // RÉS, t. XXXV, 1958, fasc. 1–4.

Майе, 1977 — *Майе П.* Как Россия спасла орден иезуитов // Логос. (Paris–Bruxelles), 1977, № 25–28.

В. В. Майков, 1913 — *Майков В. В.* Заметка о «Катехизисе» Феофана Прокоповича // Сборник статей в честь Д. Ф. Кобеко. СПб., 1913.

В. И. Майков, 1867 — *Майков В. И.* Сочинения и переводы. СПб., 1867.

Л. Майков, 1897 — *Майков Л.* Молодость Тредиаковского до его поездки за границу // ЖМНП, 1897, № 7.

Л. Майков, 1903 — *Майков Л. Н.* Материалы для биографии князя А. Д. Кантемира. СПб., 1903 (Сб. ОРЯС, т. LXXXIII, № 1).

Макаров, 1795 — [*Макаров П. И.*] К тем, у которых достанет терпения прочесть // [*Мемьо Ж. де*]. Граф Сент Меран, или Новые заблуждения сердца и ума / Перев. с франц. [П. И. Макарова], ч. I. СПб., 1795 (с. VII–XXII).

Максимов, 1723 — [*Федор Максимов*] Грамматíка славенскаѧ въ кратцѣ собрáннаѧ въ Грекославéнской шкóлѣ ѩже въ великомъ Новѣ градѣ при домѣ Архїерейском... СПб., 1723.

Малеин, 1928 — *Малеин А. И.* Новые данные для биографии В. К. Тредиаковского // Статьи по славянской филологии и русской словесности: Сб. ст. в честь акад. Алексея Ивановича Соболевского… Л., 1928 (Сб. ОРЯС, т. CI, № 3).

Манштейн, I–II — [*Manstein Chr. H. von*]. Mémoires historiques, politiques et militaires sur la Russie… depuis l'année MDCCXXVII, jusqu'à MDCCXLIV par le Général de Manstein, t. I–II. Lyon, 1772.

Марков, 1980 — *Марков А.* Автограф В. Тредиаковского // Волга (Астрахань), № 25 (18201) от 31 января 1980 г. (с. [4]).

Марков, 1983 — *Марков А.* Кому подарил книгу Василий Тредиаковский // Волга (Астрахань), № 13 (19086) от 16 января 1983 г. (с. [4]).

Марсильи, 1737 — [*Marsigli L. F. de*]. Военное состояние Оттоманския империи с ея приращением и упадком, сочинено чрез графа де Марсильи… / [Перев. и примеч. В. К. Тредиаковского], ч. I–II. СПб., 1737.

Масса, 1937 — *Масса И.* Краткое известие о Московии в начале XVII в. / [Перев. с гол. А. А. Морозова]. М., 1937.

Мат. АН, I–X — Материалы для истории имп. Академии наук, т. I–X. СПб., 1885–1900.

Матвеев, 1972 — Русский дипломат во Франции (Записки Андрея Матвеева) / Публ. И. С. Шарковой. Под ред. А. Д. Люблинской. Л., 1972.

Махновец 1960 —Українські письменники: Біо-бібліографічний словник у 5 т. Т. I: Давня українська література (XI–XVIII ст.) / Уклав Л. Є. Махновець. Київ, 1960.

Мегре, 1545 — *Meigret L.* Traité touchant le commun usage de l'escriture francoise. Paris, 1545.

МЖ, I–VIII — Московский журнал, 1791–1792, ч. I–VIII. Издатель — Н. М. Карамзин.

Милев, 1966 — *Милев А.* Гръцките жития на Климент Охридски. София, 1966.

Милейковская, 1984 — *Милейковская Г.* Польские заимствования в русском литературном языке XV–XVIII веков. Warszawa, 1984 (Studia z filologii rosyjskiej i słowiańskiej, t. VII).

Миних, 1817 — [*Munnich I.-E. von*] Записки графа [И.-Э.] Миниха, сына фельдмаршала, писанные им для детей своих. СПб., 1817.

Миропольский, I–III — *Миропольский С.* Очерк истории церковно-приходской школы от первого ее возникновения на Руси до настоящего времени, вып. I–III. СПб., 1894–1895.

Михальчи, 1969 — *Михальчи Д. Е.* Славяно-русская грамматика Иоганна Вернера Паузе. Дис. … докт. филол. наук. Л., 1969 (машинопись).

Михнева, 1985 — *Михнева Р.* Россия и Османская империя в международных отношениях в середине XVIII века (1739–1756). М., 1985.

Мишин, 1958 — *Мишин М. П.* Несколько справок из истории лексики русского литературного языка (к вопросу о неологизмах Н. М. Карамзина) // Учен. зап. Пермского пед. ин-та, вып. 17. Пермь, 1958.

Мишо, I–XLV — Biographie universelle (Michaud) ancienne et moderne, ou Histoire, par ordre alphabétique, de la vie publique et privée de tous les hommes qui se sont fait remarquer par leurs écrits, leurs actions, leurs talents, leurs vertus ou leurs crimes, t. I–XLV. Paris–Leipzig, 1843–1865.

ММ, I–IV — Московский Меркурий, 1803, ч. I–IV. Издатель — П. И. Макаров.

Модзалевский, 1935— *Модзалевский Л. Б.* «Евнух» В. К. Тредиаковского» // XVIII век: Сб. ст. и материалов, [кн. I]. М.–Л., 1935.

Модзалевский, 1937 — Рукописи Ломоносова в Академии наук СССР. Науч. описание / Сост. Л. Б. Модзалевский. Л.–М., 1937 (Труды Архива АН СССР, вып. 3).

Модзалевский, 1958 — *Модзалевский Л. Б.* Ломоносов и его ученик Поповский (о литературной преемственности) // XVIII век, сб. 3. М.–Л., 1958.

Модзалевский, 1962 — *Модзалевский Л. Б.* Ломоносов и «О качествах стихотворца рассуждение» (из истории русской журналистики 1755 г.) // Литературное творчество М. В. Ломоносова: Исследования и материалы. М.–Л., 1962.

Моисеева, 1973 — *Моисеева Г. Н.* К истории литературно-общественной полемики XVIII века // Искусство слова: Сб. ст. к 80-летию чл.-кор. АН СССР Дмитрия Дмитриевича Благого. М., 1973.

Монтескье, 1914 — [*Montesquieu Ch.-L. de*]. Correspondance de Montesquieu / Publié par F. Gébelin avec la collab. de A. Morize, t. I–II. Paris, 1914.

Морда Эванс, 1958 — *Morda Evans R. J.* Antiokh Kantemir and his first biographer and translator // SEER, vol. 37, 1958, № 88.

Мордовченко, 1959 — *Мордовченко Н. И.* Русская критика первой четверти XIX в. М.–Л., 1959.

А. Морозов, 1960 — *Морозов А. А.* Примечания // Русская стихотворная пародия (XVIII — начало XX в.) / Вступ. ст., подгот. текста и примеч. А. А. Морозова. Л., 1960 (Б-ка поэта; Большая сер.).

А. Морозов, 1962 — *Морозов А. А.* М. В. Ломоносов — путь к зрелости (1711–1741). М.–Л., 1962.

П. Морозов, 1880 — *Морозов П.* Феофан Прокопович как писатель. СПб., 1880.

Морозов и Кучеров, 1933 — *Морозов И.*, *Кучеров А.* Из неизданного литературного наследия Болотова // Литературное наследство, т. 9–10. М., 1933.

Нащокин, 1842 — Записки Василия Александровича Нащокина / Изд. и примеч. Д. Языкова. СПб., 1842.

Невская, 1984 — *Невская Н. И.* Петербургская астрономическая школа XVIII века. Л., 1984.

Неустроев, 1874 — *Неустроев А. Н.* Историческое разыскание о русских повременных изданиях и сборниках за 1703–1802 гг., библиографически и в хронологическом порядке описанных. СПб., 1874. Ср.: *Неустроев А. Н.* Указатель к русским повременным изданиям и сборникам за 1703–1802 гг. и к «Историческому разысканию» о них. СПб., 1898.

Никитенко, I–III — *Никитенко А. В.* Дневник, т. I–III. [Л.], 1955–1956.

Николаев, 1987 — *Николаев С. И.* Ранний Тредиаковский (первый перевод «Аргениды» Д. Барклая) // Русская литература, 1987, № 2.

Николаев, 1988 — *Николаев С. И.* Об атрибуции переводных памятников Петровской эпохи // Русская литература, 1988, № 1.

Николев, I–V — *Николев Н. П.* Творении, ч. I–V. М., 1795–1798.

Николев, 1781 — *Николев Н. П.* Розана и Любим. [М]., 1781.

Новиков, 1772 — Опыт историческаго словаря о Российских писателях / Из разных печатных и рукописных книг, сообщенных известий и словесных преданий собрал Николай Новиков. СПб., 1772.

О Феоптии, 1851 — О «Феоптии» В. К. Тредиаковского // Москвитянин, 1851, № 19–20.

Обнорский и Бархударов, I–II — *Обнорский С. П., Бархударов С. Г.* Хрестоматия по истории русского языка, ч. I–II. М., 1948–1952.

ОДДС, I–L — Описание документов и дел, хранящихся в архиве Святейшаго правительствующаго Синода, т. I–L. СПб., 1868–1916.

Описание С.-Петербурга, 1860 — Описание Санктпетербурга и Кроншлота в 1710-м и 1711-м годах / Перев. с нем. с примеч. [А. Ф. Бычкова]. СПб., 1860 (то же в изд.: Русская старина, т. XXXVI, 1882, октябрь, с. 33–60; ноябрь, с. 293–312). Ср.: *Exacte Relation* von der von Sr. Czaarschen Majestät Petro Alexiowitz, an dem grossen Newa Strohm und der Ost-See neu erbaueten Vestung und Stadt St. Petersburg, wie auch von dem *Castel* Cron Schloss und derselben umliegenden Gegend… Nebst einigen besondern Anmerkungen auffgezeichnet von H. G. Leipzig, 1713.

Орлов, 1935 — *Орлов А. С.* «Тилемахида» В. К. Тредиаковского // XVIII век: Сб. ст. и материалов, [кн. I] / Под ред. А. С. Орлова. М.–Л., 1935.

Орфелин, I–II — [*Орфелин З.*] Житие и славныя дела государя императора Петра Великаго самодержца всероссийскаго с предположением [sic!] краткой географической и политической истории о Российском царстве, ныне первее на славенском языке списана и издана, ч. I–II. Венеция, 1772.

Ост. архив, I–V — Остафьевский архив князей Вяземских, ч. I–V. СПб., 1899–1913.

Остолопов, I–III — *Остолопов Н.* Словарь древней и новой поэзии, ч. I–III. СПб., 1821. Репринт: München, 1971 (Slavische Propyläen, Bd 113/I–III).

Памва Берында, 1627 — *Памва Берында.* Леѯїконъ славенорωсскїй и именъ тлъкованїе. Киев, 1627. Репринт: Лексикон словеноросьский Памви Беринди / Підготовка тексту і вступна стаття В. В. Німчука. Київ, 1961 (Пам'ятки української мови XVII ст. Серія наукової літератури).

Памва Берында, 1653 — *Памва Берында.* Леѯїконъ славенωросскїй, именъ толъкованїе. Кутейн, 1653.

Пам. дипл. снош., I–X — Памятники дипломатических сношений древней России с державами иностранными, т. I–X. СПб., 1851–1871.

Панов, 1956 — *Панов В. М.* Сборник областных слов И. Яхонтова и И. Г. Гмелина // Труды науч. конф. пед. ин-та, вып. I. Кемерово, 1956.

Пекарский, I–II — *Пекарский П.* История императорской Академии наук в Петербурге, т. I–II. СПб., 1870–1873.

Пекарский, 1862, I–II — *Пекарский П.* Наука и литература в России при Петре Великом, т. I–II. СПб., 1862. Т. I: Введение в историю просвещения в России XVIII столетия. Т. II: Описание славяно-русских книг и типографий 1698–1725 годов.

Пекарский, 1862а — *Пекарский П.* Маркиз де-ла-Шетарди в России 1740–1742 годов. Перевод рукописных депеш французского посольства в Петербурге… / Издал с примечаниями и дополнениями П. Пекарский. СПб., 1862.

Пекарский, 1864 — *Пекарский П.* Переписка Лейбница с разными лицами о славянских наречиях и древностях: По поводу письма Лейбница к Петру Великому, 22 января 1715 г. // Записки имп. Академии наук, т. IV. СПб., 1864.

Пекарский, 1865 — *Пекарский П.* Дополнительные известия для биографии Ломоносова. СПб., 1865. Оттиск из изд.: Записки имп. Академии наук, т. VIII, кн. 2, прилож. № 7. СПб., 1866.

Пекарский, 1865а — *Пекарский П.* Отчет о занятиях в 1863–64 гг. по составлению истории Академии наук. СПб., 1865. Оттиск из изд.: Записки имп. Академии наук, т. VII, прилож. 4.

Пекарский, 1866 — *Пекарский П.* Материалы для биографии Тредиаковского // Записки имп. Академии наук, т. IX, кн. 2. СПб., 1866. То же в изд.: Сб. ОРЯС, т. I. СПб., 1867.

Пекарский, 1866а — *Пекарский* [*П.*] Разбор сочинения г. Чистовича «Феофан Прокопович» // Тридцать четвертое, и последнее, присуждение учрежденных П. Н. Демидовым наград, 25 июня 1865 г. СПб., 1866.

Пекарский, 1868 — *Пекарский П.* Отзыв о сочинении г. Чистовича «Феофан Прокопович» // Отчет о десятом присуждении наград графа Уварова 25 сентября 1867 г. СПб., 1868.

Пекарский, 1870 — Записка о Тредиаковском / [Публ. П. П. Пекарского] // Сб. ОРЯС, т. VII. СПб., 1870 (с. XXVI–XXXV). То же в изд.: Записки имп. Академии наук, ч. XIV, кн. 1, прилож. 5. СПб., 1868 (с. 71–80).

Пекарский, 1872 — *Пекарский П.* Известия о братьях Коржавиных (1753–1760 гг.) // Исторические бумаги, собранные Константином Ивановичем Арсеньевым / Приведены в порядок и изданы П. Пекарским. СПб., 1872 (Сб. ОРЯС, т. IX).

Пелетье, 1550 — Dialogue de l'ortografe e prononciation françoeze departi an deus livres, par J. Peletier du Mans. Poitiers, 1550.

Пеннингтон, 1980 — *Grigorij Kotošixin.* O Rossii v carstvovanie Alekseja Mixajloviča: Text and Commentary / Ed. and with a comment. by A. E. Pennington. Oxford, 1980.

Перетц, I–II — *Перетц В. Н.* Очерки по истории поэтического стиля в России (Эпоха Петра Великого и начало XVIII столетия), вып. I–II. СПб., 1905–1907.

Перетц, 1911 — *Перетц В. Н.* К биографии М. В. Ломоносова (Кто был «Христофор Зубницкий»?) // Ломоносовский сборник, 1711–1911 / Под ред. В. В. Сиповского. СПб., 1911.

Перетц, 1917 — *Перетц В. Н.* Итальянские комедии и интермедии, представленные при дворе императрицы Анны Иоановны в 1733–1735 гг.: Тексты. Пг., 1917.

Перри, 1716 — *Perry J.* The State of Russia under the Present Czar... London, 1716. Ср.: *Перри Д.* Состояние России при нынешнем царе / Перев. с англ. О. М. Дондуковой-Корсаковой. Предисл. М. И. Семевского // ЧОИДР, 1871, кн. 1–2.

Песков, 1982 — *Песков А. М.* Сумароков и Буало // Научные доклады Высшей школы. Филологические науки, 1982, № 2.

Петров, 1872 — *Петров П. Н.* Головкины // Всемирная иллюстрация, 1872, № 208 (с. 422).

Петров, 1882 — *Петров П. Н.* Иван Алексеевич Балакирев (1699–1763 гг.) // Русская старина, т. XXXVI, 1882.

Петрова, 1966 — *Петрова З. М.* Сложные прилагательные в поэзии второй пол. XVIII в. // Процессы формирования лексики русского литературного языка. М. – Л., 1966.

Пиккио, 1984 — *Picchio R.* Guidelines for a comparative study of the Language Question among the Slavs // Aspects of the Slavic Language Question / Ed. R. Picchio, H. Goldblatt, vol. I. New Haven, 1984.

Пиккио-Симонелли, 1976 — *Picchio Simonelli M.* Aspects of the Language Question in Italy // Aquila: Chestnut Hill Studies in Modern Languages and Literatures, vol. III. Chestnut Hill – The Hague, 1976.

Пирлинг, I–V — *P*[*ère*] *Pierling* [*P.*]. La Russie et le Saint-Siege: Etudes diplomatiques, t. I–V. Paris, 1896–1912.

Пирлинг, 1882 — *P*[*ère*] *Pierling* [*P.*]. La Sorbonne et la Russie (1717–1747). Paris, 1882 (Bibliothèque slave Elzévirienne, III).

Письма XVIII в. — Письма русских писателей XVIII века. Л., 1980.

Письма и бумаги Петра, I–XII — Письма и бумаги императора Петра Великого, т. I–XII. СПб. – М., 1887–1977.

Письма и донесения иезуитов, 1904 — Письма и донесения иезуитов о России конца XVII и начала XVIII века. СПб., 1904. Репринт : The Hague, 1965 (Russian Reprint Series, vol. XVI).

Письмо к издателям, 1804 — *И: Г:* Письмо к издателям от неизвестнаго в разсуждении рецензии драмы «Рекрутской набор» [Н. Ильина], помещенной в Патриоте // Северный вестник, ч. III, 1804, № 7. Автором письма является, возможно, И. И. Мартынов (см.: Русские писатели 1800–1917: Биогр. словарь, т. II. М., 1992, с. 414).

Письмо от неизвестного, 1804 — *А: З:* Письмо от неизвестнаго // Северный вестник, ч. I, 1804, № 1. Автором письма является, скорее всего, Д. И. Языков (см.: Мордовченко, 1959, с. 80–81).

Пишон, 1894 — [*l'abbé Jean Pichon*]. Motifs et Moyens pour procurer la réunion de l'église de Moscovie à l'orthodoxe de l'église Latine [1717] // см.: Шмурло, 1894, приложения (с. 213–222).

Плаксин, 1833 — *Плаксин В.* Руководство к познанию истории литературы. СПб., 1833.

Платонов, 1927 — *Платонов С. Ф.* Орден Иуды 1709 года // Летопись занятий постоянной Историко-археографической комиссии за 1926 год, вып. 1 (34). Л., 1927.

Победоносцев, 1863 — *Победоносцев К. П.* Материалы для истории Академии наук // Летописи русской литературы и древности, т. V. М., 1863.

Погодин, 1865 — Немецкие стихи на Ломоносова / [Сообщение М. П. Погодина] // Русский архив, 1865, № 1 (стлб. 87–90).

Погорелов, 1899 — Библиотека Московской Синодальной типографии, т. I, вып. 2 / Описал В. Погорелов. М., 1899.

Подшивалов, 1796 — [*Подшивалов В. С.*]. Сокращенный курс Российского слога / Изд. Александром Скворцовым. М., 1796.

Подшивалов, 1798 — [*Подшивалов В. С.*]. Краткая русская просодия, или Правила, как писать русские стихи. М., 1798.

Позднеев, 1958 — *Позднеев А. В.* Рукописные песенники XVII–XVIII вв. // Учен. зап. Моск. заочн. пед. ин-та, т. I. М., 1958.

Позднеев, 1964 — *Позднеев А. В.* Произведения В. Тредиаковского в рукописных песенниках // Проблемы истории литературы. М., 1964.

Позднеев, 1970 — *Pozdneev A.* Sechs unbekannte Lieder V. Trediakovskijs // Zeitschrift für Slawistik, Bd XV, 1970, Hft 6.

В. Покровский, 1903 — *Покровский В.* Щеголихи в сатирической литературе XVIII в. М., 1903.

В. Покровский, 1910 — *Покровский В. И.* Книга и читатель двести лет назад // Двухсотлетие гражданского шрифта, 1708–1908. Доклады, сделанные 8 марта 1908 г. на общем собрании Русского библиографического общества при имп. Московском ун-те… М., 1910.

Н. Покровский, 1987 — *Покровский Н. Н.* Тетрадь заговоров 1734 года // Научный атеизм, религия и современность. Новосибирск, 1987.

К. Полевой, 1833 — [*Полевой К. А.*]. Рец.: Сочинения и Переводы в стихах Павла Катенина // Московский телеграф, ч. L, 1833, № 8.

Н. Полевой, 1824 — *Полевой Н.* О древнем языке словенском // Сочинения в прозе и стихах: Труды Об-ва любителей Российской словесности при Моск. ун-те, ч. IV, кн. 10. М., 1824.

П. Полевой, 1890 — *Полевой П. Н.* Могила князя-шута // Исторический вестник, год XI, 1890, январь.

Поликарпов, 1701 — [*Федор Поликарпов*]. Бȣкварь славенскими, греческими, римскими писмены, оучитисѧ хотѧщымъ, и любомȣдрїе в' ползȣ дȣшеспасителнȣю ѡбрести тщащымсѧ. М., 1701.

Поликарпов, 1704 — [*Федор Поликарпов*]. Леѯиконъ треѧзычный, сирѣчь реченїй славенских, еллиногреческих и латїнских сокровище… М., 1704. Репринт: *Polikarpov F.*

Leksikon trejazyčnyj: Dictionarium trilingue. Moskva 1704 / Nachdruck und Einleitung von H. Keipert. München, 1988 (Specimina philologiae slavicae, Bd 79).

Поликарпов, 2000 — *Федор Поликарпов.* Технологія: Искусство грамматики / Изд. и исслед. Е. Бабаевой. М., 2000.

Полн. собр. пост. и распоряж., I–X — Полное собрание постановлений и распоряжений по ведомству православного вероисповедания Российской империи, т. I–X. СПб., 1869–1911. (Том I вышел 2-м изд. в 1879 г.)

Полуденский, 1865 — *Полуденский М.* Петр Великий в Париже // Русский архив, 1865, III, (стлб. 675–702).

Попов, 1772 — *Попов М.* Известие // Освобожденный Иерусалим, ироическая поема Италиянскаго стихотворца Тасса / Переведена с Французскаго М. Поповым, ч. I. СПб., 1772.

Пореш, 1978 — *Пореш В. Ю.* Библиотека А. Ф. Хрущова (собрание преимущественно французских книг) // Книга в России до середины XIX века: Сб. материалов. Л., 1978.

Порошин, 1881 — *Порошин С.* Записки, служащие к истории его имп. высочества… Павла Петровича. Изд. 2-е, испр. и значит. доп. по рукописям… СПб., 1881.

Поэты 1790–1810 гг. — Поэты 1790–1810-х годов / Вступ. ст. и сост. Ю. М. Лотмана. Подгот. текста М. Г. Альтшуллера. Вступ. заметки, биогр. справки и примеч. М. Г. Альтшуллера и Ю. М. Лотмана. Л., 1971 (Б-ка поэта; Большая сер.).

Поэты XVIII в., I–II — Поэты XVIII века, т. I–II / Вступ. ст. Г. П. Макогоненко. Биогр. справки И. З. Сермана. Сост. Г. П. Макогоненко и И. З. Сермана. Подгот. текста и примеч. Н. Д. Кочетковой и Г. С. Татищевой. Л., 1972 (Б-ка поэта; Большая сер.).

Праздное время, 1759–1760 — Праздное время, в пользу употребленное. СПб., 1759–1760. Еженедельный журнал Сухопутного шляхетского кадетского корпуса.

Преображенский, I–II — *Н. Пр-ский* [= *Преображенский Н. С.*] Этнографические очерки Кадниковского уезда [Вологодской губернии], [ч.] I (Баня, игрище, слушанье и шестое января) // Современник, 1864, № 10; [ч.] II (Сельский праздник) // Современник, 1865, № 2.

Прокопович-Антонский, 1812 — *Прокопович-Антонский А.* Мысли о различии ударений в одних и тех же словах // Труды Об-ва любителей Российской словесности при Моск. ун-те, 1812, ч. IV.

Прот. АН, I–IV — Протоколы заседаний конференции императорской Академии наук с 1725 по 1803 г., т. I–IV. СПб., 1897–1911.

ПСЗ, I–XLV — Полное собрание законов Российской империи с 1649 года [Собрание 1-е: с 1649 по 12 декабря 1825 г.], т. I–XLV. СПб., 1830.

Пумпянский, 1937 — *Пумпянский Л. В.* Тредиаковский и немецкая школа разума // Западный сборник, вып. I. М.–Л., 1937.

Пумпянский, 1939 — *Пумпянский Л. В.* Кантемир; Тредиаковский // *Гуковский Г. А.* Русская литература XVIII века. М., 1939.

Пумпянский, 1941 — *Пумпянский Л. В.* Кантемир; Тредиаковский // История русской литературы, т. III, ч. 1. М.–Л., 1941.

Пушкин, I–XVI — *Пушкин* [*А. С.*]. Полное собрание сочинений, т. I–XVI. М., 1937–1949.

Пыпин, 1868 — *Пыпин А. Н.* В. И. Лукин // Сочинения и переводы Владимира Игнатьевича Лукина и Богдана Егоровича Ельчанинова. СПб., 1868.

Радищев, I–III — *Радищев А. Н.* Полное собрание сочинений, т. I–III. М.–Л., 1938–1952.

Разоренова, 1959 — *Разоренова А. В.* Неизвестное письмо В. К. Тредиаковского // Из истории русской журналистики. М., 1959.

Ранняя русская драматургия, I–V — Ранняя русская драматургия (XVII — первая половина XVIII в.), т. I–V. М., 1972–1976.

Рапен, 1675 — [*Rapin R.*]. Réflexions sur la poétique de ce temps, et sur les ouvrages des Poètes anciens et modernes. 2[e] éd., rev. et augm. Paris, 1675.

Резанов, 1904 — *Резанов В. И.* Рукописные тексты сочинений А. П. Сумарокова // ИОРЯС, т. IX, 1904, кн. 3.

Резанов, 1907 — *Резанов В. И.* Парижские рукописные тексты сочинений А. П. Сумарокова // ИОРЯС, т. XII, 1907, кн. 2.

Резанов, 1931 — *Резанов В. И.* Из разысканий о комедиях Сумарокова (отрывки) // Памяти П. Н. Саккулина: Сб. ст. М., 1931.

Ремон де Кур, 1737 — [*Rémond des Cours N.*]. Истинная политика знатных и благородных особ / Переведена с французскаго чрез Василья Тредиаковскаго Санктпетербургския императорския Академии наук секретаря. СПб., 1737.

Ремон де Кур, 1750 — [*Rémond des Cours N.*]. La véritable politique des personnes de qualité. Jene, 1750.

Рибейра, 1731 — *Ribera Bernardus.* Responsum ant-apologeticum Ecclesiae catholicae contra calumniosas blasphemias Joannis Francisci Buddei nomine evulgatas in orthodoxos Latinos et Graecos. Viennae, 1731.

Рибейра, 1733 — *Ribera Bernardus.* Echo Fidei. Ab Orientali Ecclesia Moscoviae personans, Romanam Vocem vix non ingeminans, Arctoae Hydrae Strepitus superans, Photianô licét vinclô balbutiens; Angelicae theologiae Pharmacô convalescens; Etherodoxiâ repurgata Ecclesiam adunans. Opus theologicum…, t. I–II. Viennae, [1733].

Рогов, 1959 — *Рогов А. И.* Новые данные о составе учеников Славяно-греко-латинской академии // История СССР, 1959, № 3.

Родосский, 1893 — *Родосский А.* Описание 432-х рукописей, принадлежащих С.-Петербургской духовной академии и составляющих ее первое по времени собрание. СПб., 1893.

Роллен, 1749–1762, I–X — Древняя история об египтянах, о карфагенянах, об ассирианах, о вавилонянах, о мидянах, персах, о македонянах и о греках / Сочиненная чрез Г. Ролленя, бывшаго ректора Парижскаго университета, профессора элоквенции и прочая. А ныне с французскаго переведенная чрез Василья Тредиаковскаго, профессора элоквенции и члена Санктпетербургския императорския Академии наук, т. I–X. СПб., 1749–1762.

Роллен, 1761–1767, I–XVI — Римская история от создания Рима до битвы Актийския тоесть по окончание Республики / Сочиненная Г. Ролленем, преждебывшим ректором Парижскаго университета и члена Королевския академии надписей и словесных на-

ук. А ныне с французскаго переведенная тщанием и трудами Василья Тредиаковскаго, профессора и члена Санктпетербургския императорския Академии наук, т. I–XVI. СПб., 1761–1767.

Российский Феатр, I–XLIII — Российский Феатр, или Полное собрание всех Российских феатральных сочинений, ч. I–XLIII. СПб., 1786–1794.

Россия и Италия, I–IV — Россия и Италия: Сб. ист. материалов и исслед., касающихся сношений России с Италией, т. I–IV. СПб./Л., 1907–1927.

Рулин, 1923— *Рулин П. И.* К хронологии и библиографии комедий А. П. Сумарокова // ИОРЯС, т. XXVIII, 1923. Л., 1924.

Рулин, 1929 — *Рулин П. И.* Первая комедия Сумарокова // ИРЯС, т. II, 1929, кн. 1.

Румянцев, 1916 — *Румянцев И.* Никита Константинов Добрынин («Пустосвят»). Сергиев Посад, 1916.

Рункевич, 1913 — *Рункевич С. Г.* Александро-Невская лавра, 1713–1913. СПб., 1913.

Рыболовский, 1908 — *Рыболовский А. П.* Варлаам Ванатович, архиепископ киевский, галицкий и Малыя России // Труды Киевской духовной академии, 1908, май.

Самаренко, 1962 — *Самаренко В. П.* В. К. Тредиаковский в Астрахани (Новые материалы к биографии В. К. Тредиаковского) // XVIII век, сб. 5. М.–Л., 1962.

Самарин, I–V — *Самарин Ю. Ф.* Сочинения, т. I–XII. М., 1877–1911.

Самилов, 1978 — *Samilov M.* Kartavoe R in Russian // Studies in Slavic Linguistics and Poetics in Honor of B. O. Unbegaun / Ed. by R. Magidoff et al. New York–London, 1968.

Санкт-Петербургский вестник, 1778–1781 — Санкт-Петербургский вестник. СПб., 1778–1781.

Сб. РИО, I–CXLVIII — Сборник Русского исторического общества, т. I–CXLVIII. СПб., 1867–1916.

Св. кат. XVIII в., I–V — Сводный каталог русской книги гражданской печати XVIII в., т. I–V. М., 1963–1967. То же: Дополнения, разыскиваемые материалы, уточнения. М., 1975.

Св. кат. XVIII в. на иностр. яз., I–III — Сводный каталог книг на иностранных языках, изданных в России в XVIII веке, т. I–III. Л., 1984–1986.

Селлий, 1736 — [*Sellius Burchard Adam* (Никодим)] Schediasma literarium de scriptoribus qui historiam politico-ecclesiasticam Rossiae scriptis illustrarunt… Reveliae, 1736.

Семевский, 1857 — *Семевский М.* Ледяной дом: Шуты и забавы при дворе Анны Иоанновны // Общезанимательный вестник, год I, 1857, № 16.

Семевский, 1885 — *Семевский М. И.* Петр Великий как юморист (1682–1725) // *Семевский М. И.* Слово и дело! 1700–1725. Изд. 3-е. СПб., 1885 (с. 279–338).

Семевский, 1989 — *Семевский М.* Царица Прасковья (1664–1723): Очерк из русской истории XVIII века. М., 1989.

Сен-Симон, I–XXII — [*Saint-Simon Louis, duc de*]. Memoires du duc de Saint-Simon, vol. I–XXII. Paris, 1873–1886.

Серман, 1961 — *Серман И.* Неизданная философская поэма В. Тредиаковского («Феоптия») // Русская литература, 1961, № 1.

Серман, 1962 — *Серман И. З.* Тредиаковский и просветительство (1730-е годы) // XVIII век, сб. 5. М.–Л., 1962.

Серман, 1965 — *Серман И. З.* Ломоносов в работе над текстом «Собрания разных сочинений в стихах и прозе» 1751 года // Материалы и исследования по лексике русского языка XVIII века. М.–Л., 1965.

Серман, 1973 — *Серман И. З.* Русский классицизм: Поэзия. Драма. Сатира. Л., 1973.

Сечихин, 1732 — [*Сечихин И.*]. К Меценату. Беспристрастному читателю. К Зоилу [предисловие Ивана Сечихина к переведенной им в 1732 г. с латыни «Анфроскопии» Андрея Оттона Кольберга Померана]. Рукопись ГБЛ, ф. 29 (собр. И. Д. Беляева), № 47 (1559), л. 1–4 об. Ср. другой список: ГБЛ, ф. 200 (собр. Ниловой пустыни), № 82, л. 1–9 об.

Сидорова, 1956 — *Сидорова Л. П.* Рукописные замечания современника на первом издании трагедии В. А. Озерова «Димитрий Донской» // Записки Отдела рукописей [ГБЛ], вып. 18. М., 1956.

Сизова, 1982 — *Сизова А. А.* Отражение в русском языковом развитии лингвистического учения французского классицизма. Дипл. работа (филол. фак. МГУ). М., 1982 (машинопись).

Симони, 1898 — *Симони П. К.* Два старинных областных словаря XVIII ст. // ЖС, год VIII, 1898, вып. 3–4.

Сиповский, 1899 — *Сиповский В. В.* Н. М. Карамзин, автор «Писем русского путешественника». СПб., 1899.

Скворцов, 1878 — *Скворцов В.* Петр Смелич, архиепископ Белгородский и Обоянский // Курские епарх. ведомости, год VIII, 1878, № 1 (с. 29–41); № 2 (с. 85–91).

Сл. польск. XVI в., I–XXXI — Słownik polszczyzny XVI wieku, t. I–XXXI. Wrocław – Warszawa – Kraków – Gdańsk, 1966–2003 (изд. продолжается).

Сл. рус. яз. XI–XVII вв., I– XXVII — Словарь русского языка XI–XVII вв., вып. I–XXVII. М., 1975–2006 (изд. продолжается).

Сл. рус. яз. XVIII в., I–XVI — Словарь русского языка XVIII века, вып. I–XVI. Л./СПб., 1984–2006 (изд. продолжается).

Сл. Фр. Академии, I–II — Dictionnaire de l'Académie Françoise, t. I–II. Paris, 1740.

Словарь капуцинов, 1951 — Lexicon capuccinum. Promptuarium historico-bibliographicum Ordinis Fratrum Minorum Capuccinorum (1525–1950). Romae, 1951.

М. Смирнов, 1927 — *Смирнов М. И.* Культ и крестьянское хозяйство в Переславль-Залесском уезде: по этнографическим наблюдениям // Труды Переславль-Залесского историко-художественного и краеведного музея, вып. I (Старый быт и хозяйство Переславской деревни). Переславль-Залесский, 1927.

Н. Смирнов, 1910 — *Смирнов Н. А.* Западное влияние на русский язык в Петровскую эпоху. СПб., 1910 (Сб. ОРЯС, т. LXXXVIII, № 2).

Н. Смирнов, 1962 — *Смирнов Н. А.* Описания о бунтах в Константинополе в 1730–1731 гг. // Археографический ежегодник за 1960 год. М., 1962.

С. Смирнов, 1855 — *Смирнов С.* История Московской Славяно-греко-латинской академии. М., 1855.

Смотрицкий, 1619 — Грамматіки Славенскиѧ правилное Сvнтаґма, Потщанїемъ Многогрѣшнагѡ Мнїха Мелетїѧ Смотрицкогѡ… В Євю, 1619. Репринт: *Мелетій Смотрицький.* Грамматика / Підготовка факсимільного видання та дослідження пам'ятки В. В. Німчука. Київ, 1979. Ср. изд.: *Meletij Smotryćkyj*. Hrammatiki slavenskija pravilnoe syntagma. Jevje 1619. Kirchenslavische Grammatik (Erstausgabe) / Hrsg. und eingel. von O. Horbatsch. Frankfurt am Main, 1974 (Specimina philologiae slavicae, Bd 4).

Смотрицкий, 1648 — [*Мелетий Смотрицкий*]. Грамматика. М., 1648.

Смотрицкий, 1721 — [*Мелетий Смотрицкий*]. Грамматика. М., 1721.

Снегирев, I–II — *Снегирев И. М.* Жизнь московского митрополита Платона, ч. I–II. М., 1856.

Соболевский, 1890 — *Соболевский А. И.* Когда начался у нас ложноклассицизм? // Библиограф, год VI (1890), № 1.

Соболевский, 1903 — *Соболевский А. И.* Переводная литература Московской Руси XIV–XVII веков СПб., 1903 (Сб. ОРЯС, т. LXXIV, № 1). Репринт: *Sobolevskij A. I.* Perevodnaja literatura [...]. Iz perevodnoj literatury [...] / Mit einer russisch-deutschen Nachbemerkung von B. A. Uspenskij und D. Freydank. Köln–Wien, 1989 (Bausteine zur Geschichte der Literatur bei den Slaven, Bd 34). То же: Leipzig, 1989.

Соболевский, 1908 — *Соболевский А. И.* Из переводной литературы Петровской эпохи: Библиогр. материалы. СПб., 1908 (Сб. ОРЯС, т. LXXXIV, № 3). Репринт: *Sobolevskij A. I.* Perevodnaja literatura [...]. Iz perevodnoj literatury [...] / Mit einer russisch-deutschen Nachbemerkung von B. A. Uspenskij und D. Freydank. Köln–Wien, 1989 (Bausteine zur Geschichte der Literatur bei den Slaven, Bd 34); то же: Leipzig, 1989.

Сойе, I–II — *Sohier J.* Grammaire et Methode Russes et Françoises. 1724 [рукопись парижской Национальной б-ки, Slave 5]. Факсим. изд. / Под ред. и с предисл. Б. А. Успенского, [vol.] I–II. München, 1987 (Specimina philologiae slavicae, Bde 69–70).

Соловьев, I–XV — *Соловьев С. М.* История России с древнейших времен, кн. I–XV. М., 1962–1966.

Сомэз, I–II — *Somaize* [*A.-B. de*]. Le dictionnaire des precieuses, t. I–II. Paris, 1856.

Сорокин, 1976 — *Сорокин Ю. С.* Стилистическая теория и речевая практика молодого Тредиаковского // Венок Тредиаковскому. Волгоград, 1976.

Сохраненкова, 1987 — *Сохраненкова М. М.* В. К. Тредиаковский как композитор // Памятники культуры: Новые открытия (Письменность. Искусство. Археология). Ежегодник, 1986. Л., 1987.

Спасский, 1963 — *Спасский И. Г.* Иностранные и русские ордена до 1917 года. Л., 1963.

Списки дипломатов, I–III — Repertorium der diplomatischen Vertreter aller Länder seit dem Westfälischen Frieden (1648), Bd I (1648–1715) / Hrsg. von L. Bittner und L. Groß. Oldenburg–Berlin, 1936; Bd II (1716–1763) / Hrsg. von F. Hausmann. Zürich, 1950; Bd III (1764–1815) / Hrsg. von O. F. Winter. Graz–Köln, 1965.

Срезневский, I–III — *Срезневский И. И.* Материалы для словаря древнерусскаго языка, т. I–III. СПб., 1893–1903. Репринты: М., 1958; М., 2003.

СРНГ, I–XLI — Словарь русских народных говоров, вып. I–XLI. Л./СПб., 1965–2007 (изд. продолжается).

Степанов, 1976 — *Степанов В. П.* Тредиаковский и Екатерина II // Венок Тредиаковскому. Волгоград, 1976.

Стефан Яворский, I–III — Проповеди блаженной памяти Стефана Яворскаго, местоблюстителя Рязанскаго и Муромскаго, бывшаго местоблюстителя престола патриаршаго, ч. I–III. М., 1804–1805.

Стоюнин, 1867 — *Стоюнин В.* Князь Антиох Кантемир // см.: Кантемир, I, 1867 (с. XI–CXIII).

Страхов, 1791 — [*Страхов Н. И.*]. Переписка Моды, содержащая письма безруких Мод, размышления неодушевленных нарядов, разговоры бессловесных чепцов, чувствования мебелей, карет, записных книжек… Нравственное и критическое сочинение, в коем с истинной стороны открыты нравы, образ жизни и разныя смешныя и важныя сцены модного века. М., 1791.

Строев, 1877 — *Строев П.* Списки иерархов и настоятелей монастырей Российския церкви. СПб., 1877. Репринты: Köln–Wien, 1990 (Bausteine zur Geschichte der Literatur bei den Slaven, Bd 35); М., 2007.

Строчков, 1963 — *Строчков Я. М.* Примечания // *Тредиаковский В. К.* Избранные произведения. М.–Л., 1963 (с. 465–541).

Стрыйковский, 1582 — *Striykowski M.* Kronika polska, litewska, zmodźka y wszystkiey Rusi… Krolewec, 1582.

Сумароков, I–X — *Сумароков А. П.* Полное собрание всех сочинений в стихах и прозе… / Собраны и изданы в удовольствие Любителей Российской Учености Н. Новиковым…, ч. I–X. Изд. 2-е. М., 1787.

Сумароков, 1740 — *Сумароков А. П.* Ея императорскому величеству… Анне Иоанновне поздравительныя оды в первый день новаго года 1740 от Кадетскаго корпуса сочиненныя чрез Александра Сумарокова. СПб., 1740.

Сумароков, 1747 — Хорев трагедия Александра Сумарокова. СПб., 1747.

Сумароков, 1935 — *Сумароков А. П.* Стихотворения / Под ред. А. С. Орлова, при участии А. Малеина, П. Беркова и Г. Гуковского. Л., 1935 (Б-ка поэта; [Большая сер.]).

Сумароков, 1957 — *Сумароков А. П.* Избранные произведения / Вступ. ст., подгот. текста и примеч. П. Н. Беркова. Л., 1957 (Б-ка поэта; Большая сер., 2-е изд.)

Сумароков, 1990 — *Сумароков А. П.* Драматические сочинения / Сост., вступ. ст. и примеч. Ю. В. Стенника. Л., 1990 (Б-ка рус. драматургии).

Сумцов, 1881 — *Сумцов Н.* О свадебных обрядах, преимущественно русских. Харьков, 1881.

Сухомлинов, I–V — Сочинения М. В. Ломоносова / С объяснительными примеч. акад. М. И. Сухомлинова, т. I–V. СПб., 1891–1902.

Сухомлинов, 1874–1888, I–VIII — *Сухомлинов М. И.* История Российской Академии, вып. I–VIII. СПб., 1874–1888 (вып. I — Сб. ОРЯС, т. XI, № 2, 1874; вып. II — там же, т. XIV, 1875; вып. III — там же, т. XVI, 1877; вып. IV — там же, т. XIX, 1878; вып. V — там же, т. XXII, 1885; вып. VI — там же, т. XXXI, № 3, 1882; вып. VII — там же, т. XXXVII, № 1, 1885; вып. IV — там же, т. XLIII, № 4, 1888).

Талеман, 1671 — [*Tallemant P.*]. Le voyage de l'isle d'amour, à Licidas. Leyde, 1671.

Талеман, 1730, см.: Тредиаковский, 1730.

Талеман де Рео, I–X — *Tallemant des Réaux G.* Les historiettes, t. I–X. Paris, 1840.

Тамборра, 1986 — *Tamborra A.* Studi storici sull'Europa orientale. [Roma, 1986.]

Тарановский, 1975 — *Тарановский К. Ф.* Ранние русские ямбы и их немецкие образцы // XVIII век, сб. 10 (Русская литература XVIII в. и ее международные связи). Л., 1975.

Татищев, 1979 — *Татищев В. Н.* Избранные произведения / Под ред. С. Н. Валка. Л., 1979.

Татищев, 1990 — *Татищев В. Н.* Записки, письма 1717–1750 гг. / Ред., вступ. ст. и примеч. А. И. Юхта. М., 1990 (Научное наследство, т. XIV).

Теплов, 1755 — [*Теплов Г. Н.*]. О качествах стихотворца рассуждение // Ежемесячные сочинения, 1755, май. Переиздано (с неправильным указанием автора): Берков, 1935 (с. 336–351); Берков, 1936 (с. 179–190). Относительно авторства Теплова см.: Модзалевский, 1962.

Теплов, 1868 — *Теплов Г. Н.* Записка о Тредиаковском [1755 г.] // Записки имп. Академии наук, т. XIV. СПб., 1868.

Тилемахида, см.: Фенелон, 1766.

Титлинов, 1913 — *Титлинов Б.* Феофан Прокопович // Русский биографический словарь, т. «Яблоновский — Ѳомин». СПб., 1913.

Тихонравов, I–III — *Тихонравов Н. С.* Сочинения, т. I–III. М., 1898.

Тихонравов, 1874, I–II — *Тихонравов Н.* Русские драматические произведения 1672–1725 гг., т. I–II. СПб., 1874. Примечания к т. II этого издания были набраны, но не вышли в свет; корректурный экземпляр хранится в Музее книги ГБЛ.

Д. Толстой, 1863 — *Tolstoy D.* Le catholicisme romain en Russie: Études historiques, t. I. Paris, 1863.

Н. Толстой, 1976 — *Толстой Н. И.* Старинные представления о народно-языковой базе древнеславянского литературного языка // Вопросы русского языкознания, вып. I. М., 1976.

Томашевский, 1959 — *Томашевский Б. В.* Стилистика и стихосложение: Курс лекций. Л., 1959.

Томашевский, 1959а — *Томашевский Б. В.* Стих и язык. М.–Л., 1959.

Тредиаковский, I–III — *Тредьяковский* [*В. К.*]. Сочинения, т. I–III. СПб., 1849 (Полное собрание сочинений русских авторов / Изд. А. Смирдина).

Тредиаковский, 1730 — [*Тредиаковский В. К.*]. Езда в остров Любви / Переведена с французскаго на рускои чрез студента Василья Тредиаковскаго... [СПб.], 1730. Помимо перевода романа П. Талемана (P. Tallemant) «Le voyage de l'isle d'amour», в книге содержатся «Стихи на разныя случаи» на русском и французском языке, принадлежащие В. К. Тредиаковскому; ее предваряет обширное посвящение кн. А. Б. Куракину и предисловие переводчика («К читателю»).

Тредиаковский, 1732 — Панегирик, или Слово похвальное всемилостивейшеи государыне императрице самодержице всероссиискои Анне Иоанновне чрез всеподданнейшаго ея величества раба Василья Тредиаковскаго сочиненное, и ея императорскому величеству в день тезоименитства ея поднесенное февраля в 3 день 732 года. Ныне же повелением ея императорскаго величества напечатанное. [СПб.], 1732.

Тредиаковский, 1733 — [*Тредиаковский В. К.*] Ода приветственная всемилостивейшеи государыне императрице самодержице всероссиискои Анне Иоанновне в день отправляющагося торжества тоесть 19 генваря для радостнаго всем нам возшествия ея величества на всероссиискии престол. СПб., 1733.

Тредиаковский, 1734 — Ода торжественная о здаче города Гданска, сочиненная в вящшую славу имени всепресветлейшия, державнейшия великия государыни Анны Иоанновны императрицы и самодержицы всероссиискиия. Чрез Василья Тредиаковскаго Санктпетербургския императорския Академии наук секретаря. СПб., 1734.

Тредиаковский, 1735 — Речь, которую в Санктпетербургской императорской Академии наук к членам Российскаго собрания во время перваго оных заседания, марта 14 дня, 1735 года, говорил Василий Тредиаковский Санктпетербургския императорския Академии наук секретарь. СПб., 1735. Ср. изд.: Куник, 1865 (с. 8–15).

Тредиаковский, 1735а — Новый и краткий способ к сложению Российских стихов с определениями до сего надлежащих званий чрез Василья Тредиаковскаго, С. Петербургския императорския Академии наук Секретаря. СПб., 1735. Переиздано: Куник, 1865 (с. 17–74); Тредиаковский, 1963 (с. 365–420).

Тредиаковский, 1737 — [*Тредиаковский В. К.*] Примечания // см.: Марсильи, 1737.

Тредиаковский, 1744 — [*Тредиаковский В. К.*] Для известия // Три оды парафрастическия псалма 143, сочиненныя чрез трех стихотворцов, из которых каждой одну сложил особливо. СПб., 1744. Переиздано: Куник, 1865 (с. 419–424); Тредиаковский, 1963 (с. 421–424).

Тредиаковский, 1745 — Слово о богатом, различном, искусном и несхотственном витийстве говорено почт[енным] благород[ным] ученней[шим] профессорам в императорской академии наук Санктпетербургской чрез Василья Тредиаковскаго профессора публичнаго ординарнаго элоквенции российския и латинския л[ета] Г[осподня] 1745 августа 12 дня. Переведено чрез негож с латинскаго его сочинения. СПб., 1745. Переиздано: Тредиаковский, III (с. 541–604).

Тредиаковский, 1748 — Разговор между Чужестранным человеком и Российским об Ортографии старинной и новой и о всем, что принадлежит к сей материи, сочинен Васильем Тредиаковским, профессором елоквенции. СПб., 1748. Переиздано: Тредиаковский, III (с. 1–316, I–IV).

Тредиаковский, 1751 — [*Тредиаковский В. К.*] Предуведомление от трудившагося в переводе // см.: Барклай, 1751, т. I. СПб., 1751 (с. I–CIV).

Тредиаковский, 1752, I–II — Сочинения и переводы как стихами так и прозою Василья Тредиаковскаго, т. I–II. СПб., 1752. Переиздано: Тредиаковский, I (с. V–XXIV, 25–578).

Тредиаковский, 1761–1767, I–XVI — [*Тредиаковский В. К.*] [Предисловия и примечания переводчика] // Римская история от создания Рима до битвы Актийския тоесть по окончание Республики сочиненная г. Ролленем…, а с французскаго переведенная тщанием и трудами Василья Тредиаковскаго профессора и члена Санктпетербургския императорския Академии наук, т. I–XVI. СПб., 1761–1767.

Тредиаковский, 1766 — [*Тредиаковский В. К.*] Предъизъяснение об Ироической Пииме // см.: Фенелон, т. I. Переиздано: Тредиаковский, II/1 (с. III–LXXIX).

Тредиаковский, 1775 — Деидамия трагедия, покойным надворным советником и императорской Санктпетербургской Академии наук красноречия профессором Васильем Кириловичем Тредиаковским, сочиненная в 1750 году. М., 1775. Переиздано: Тредиаковский, I (с. 579–721).

Тредиаковский, 1849 — *Тредиаковский В. К.* Избранные сочинения. [М.], 1849 (Собрание сочинений известнейших русских писателей / Изд. П. Перевлесского, вып. III).

Тредиаковский, 1851 — Просьба Тредиаковского в Сенат [доношение в Сенат от 28 февраля 1744 г.] // Москвитянин, 1851, № 11.

Тредиаковский, 1935 — *Тредиаковский* [*В. К.*] Стихотворения / Под ред. А. С. Орлова при участии А. И. Малеина, П. Н. Беркова и Г. А. Гуковского. Вступ. ст. С. М. Бонди. [Л.], 1935 (Б-ка поэта; [Большая сер., 1-е изд.]).

Тредиаковский, 1963 — *Тредиаковский В. К.* Избранные произведения / Вступ. ст. и подгот. текста Л. И. Тимофеева; Примеч. Я. М. Строчкова. М.–Л., 1963 (Б-ка поэта; Большая сер., 2-е изд.).

Тредиаковский, 1989 — *Trediakovskij V. K.* Psalter 1753 / Besorgt und kommentiert von A. Levitsky. Paderborn–München–Wien–Zürich, 1989 (Biblia Slavica, Ser. III: Ostslavische Bibeln. Bd 4: Russische Psalmenübersetzungen, b. Vasilij Kirillovič Trediakovskij).

Тредиаковский, рукопись «Разговора об ортографии» — *Тредиаковский В. К.* Разговор… об ортографии… (автограф с авторской правкой) // ААН, разр. II, оп. 1, № 137. Ср.: Тредиаковский, 1748.

Трубецкой, 1927/1995 — *Трубецкой Н. С.* Общеславянский элемент в русской культуре // *Трубецкой Н. С.* К проблеме русского самопознания. Б. м., 1927. Цит. по изд.: *Трубецкой Н. С.* История. Культура. Язык. М., 1995 (с. 162–208).

Трудолюбивая пчела, 1759 — Трудолюбивая пчела. СПб., 1759. Издатель — А. П. Сумароков.

Тургенев, 1843 — Обозрение известий о России в век Петра Великого, извлеченных… А. И. Тургеневым из разных актов и донесений… // ЖМНП, 1843, ч. XXXVII.

Тынянов, 1929 — *Тынянов Ю. Н.* Архаисты и новаторы. Л., 1929. Репринт: München, 1967 (Slavische Propyläen, Bd 31).

Тынянов, 1929а — *Тынянов Ю. Н.* Предисловие // *Кюхельбекер В. К.* Дневник. Л., 1929.

Унбегаун, 1936 — *Unbegaun B. O.* Les noms des villes russes: la mode slavonne // RÉS, t. XVI, 1936, fasc. 1–2.

Унбегаун, 1939 — *Unbegaun B.* Un point d'histoire de la politesse russe: tutoiement et vousoiment // Mélanges en l'honneur de Jules Legras. Paris, 1939 (Travaux publiés par l'Institut d'études slaves, t. 19).

Унбегаун, 1958 — *Unbegaun B. O.* Russian grammars before Lomonosov // Oxford Slavonic Papers, vol. VIII, 1958.

Унбегаун, 1969 — Drei russische Grammatiken des 18. Jahrhunderts / Nachdruck der Ausgaben von 1706, 1731 und 1750 mit einer Einleitung von B. O. Unbegaun. München, 1969 (Slavische Propyläen, Bd 55).

Унбегаун, 1973 — *Unbegaun B. O.* The Russian literary language: a comparative view // The Modern Language Review, vol. LXVIII, 1973, № 4.

Ундольский, 1846 — *Ундольский В.* Пав. Григ. Демидов и его славянорусская библиотека // ЧОИДР, 1846, кн. 2.

Успенский, I–III — *Успенский Б. А.* Избранные труды, т. I–III. Изд. 2-е, испр. и перераб. М., 1996–1997 (т. I. Семиотика истории; Семиотика культуры. Изд. 2-е, испр. и перераб. М., 1996; т. II. Язык и культура. Изд. 2-е, испр. и перераб. М., 1996; т. III. Общее и славянское языкознание. М., 1997).

Успенский, 1968 — *Успенский Б. А.* Архаическая система церковнославянского произношения (Из истории литургического произношения в России). М., 1968.

Успенский, 1969 — *Успенский Б. А.* Из истории русских канонических имен (История ударения в канонических именах собственных в их отношении к русским литературным и разговорным формам). М., 1969.

Успенский, 1969/1997 — *Успенский Б. А.* Никоновская справа и русский литературный язык (Из истории ударения русских собственных имен) // ВЯ, 1969, № 5. Цит. по изд.: Успенский, III (с. 320–362).

Успенский, 1970/1997 — *Успенский Б. А.* Старинная система чтения по складам (Глава из истории русской грамоты) // ВЯ, 1970, № 5. Цит. по изд.: Успенский, III (с. 246–288).

Успенский, 1971 — *Успенский Б. А.* Книжное произношение в России (Опыт исторического исследования). Дис. … докт. филол. наук. М., 1971. Машинопись.

Успенский, 1971а — *Успенский Б. А.* Книжное произношение в России (Опыт исторического исследования). Автореф. дис. … докт. филол. наук. М., 1971.

Успенский, 1972/1997 — *Успенский Б. А.* Первая грамматика русского языка на родном языке (Неизвестная русская грамматика 30-х годов XVIII века) // ВЯ, 1972, № 6. Цит. по изд.: Успенский, III (с. 573–600).

Успенский, 1973/1996 — *Успенский Б. А.* Фонетическая структура одного стихотворения Ломоносова (Историко-филологический этюд) // Semiotyka i struktura tekstu: Studia poświęcone VII Międzynarodowemu kongresowi slawistów (Warszawa, 1973) / Praca zbiorowa pod red. M. R. Mayenowej. Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk, 1973. Цит. по изд.: Успенский, II (с. 255–298).

Успенский, 1974/1997 — *Успенский Б. А.* Доломоносовский период отечественной русистики: Адодуров и Тредиаковский // ВЯ, 1974, № 2. Цит. по изд.: Успенский, III (с. 601–627). См. наст. изд., с. 509–527.

Успенский, 1975 — *Успенский Б. А.* Первая русская грамматика на родном языке (Доломоносовский период отечественной русистики). М., 1975.

Успенский, 1979/1996 — *Успенский Б. А.* Вопрос о сирийском языке в славянской письменности: Почему дьявол может говорить по-сирийски // Вторичные моделирующие системы. Тарту, 1979. Цит. по изд.: Успенский, II (с. 59–64).

Успенский, 1981/1997 — *Успенский Б. А.* О «Российской грамматике» А. А. Барсова (1783–1788 гг.) // см.: Успенский, III (с. 628–656). Ср. первоначальный вариант этой работы: *Успенский Б. А.* Предисловие // см.: Барсов, 1981.

Успенский, 1982 — *Успенский Б. А.* Филологические разыскания в области славянских древностей (Реликты язычества в восточнославянском культе Николая Мирликийского). М. 1982.

Успенский, 1982/1996 — *Успенский Б. А.* Царь и самозванец: самозванчество в России как культурно-исторический феномен // Художественный язык Средневековья. М., 1982. Цит. по изд.: Успенский, I (с. 142–183).

Успенский, 1983–1987/1997 — *Успенский Б. А.* Мифологический аспект русской экспрессивной фразеологии (статья первая) // Studia slavica Academiae scientiarum Hungaricae, vol. XIX (1983); vol. XXXIII (1987). Цит. по изд.: Успенский, II (с. 67–161).

Успенский, 1983/1994 — *Успенский Б. А.* Краткий очерк истории русского литературного языка (XI–XIX вв.). М., 1994. Ср. первоначальный вариант этой работы: *Успенский Б. А.* Языковая ситуация Киевской Руси и ее значение для истории русского литературного языка. М., 1983.

Успенский 1984/1996 — *Успенский Б. А.* К истории одной эпиграммы Тредиаковского (Эпизод языковой полемики середины XVIII в.) // Russian Linguistics, vol. VIII, 1984, № 2. Цит. по изд.: Успенский, II (с. 343–410). См. наст. изд., с. 459–508.

Успенский, 1985 — *Успенский Б. А.* Из истории русского литературного языка XVIII — начала XIX века (Языковая программа Карамзина и ее исторические корни). М., 1985. См. наст. изд., с. 9–218.

Успенский, 1987 — *Успенский Б. А.* Предисловие // см.: Сойе, I (с. III–XXXVI).

Успенский, 1987/2002 — *Успенский Б. А.* История русского литературного языка (XI–XVII вв.). München, 1987. Цит. по 3-му изд., испр. и доп.: М., 2002.

Успенский, 1988 — *Успенский Б. А.* Одна из первых грамматик русского языка (Грамматика Жана Сойе 1724 г.) // ВЯ, 1988, № 1.

Успенский, 1988а — *Успенский Б. А.* Религиозно-мифологический аспект русской экспрессивной фразеологии (Семантика русского мата в историческом освещении) // Semiotics and the History of Culture. In Honor of Jurij Lotman. Studies in Russian / Eds M. Halle, K. Pomorska, E. Semeka-Pankratov, B. Uspenskij. Columbus, [1988].

Успенский, 1988/1997 — *Успенский Б. А.* М. В. Ломоносов о соотношении церковнославянского, древнерусского и «древнего славянского» языков (на материале его записки о А. Л. Шлёцере) // Kalbotyra, 1988, № 39 (2). Цит. по изд.: Успенский, III (с. 557–666).

Успенский, 1992/1997 — *Успенский Б. А.* Доломоносовские грамматики русского языка (Итоги и перспективы) // Доломоносовский период русского литературного языка = The Pre-Lomonosov Period of the Russian Literary Language (Материалы конференции на Фагерудде, 20–25 мая 1989 г.) // Ed. A. Sjöberg, Ľ. Ďurovič and U. Birgegård. Stockholm, 1992 (Slavica Suecana; Series B, Studies, vol. 1). Цит. по изд.: Успенский, III (с. 437–572).

Успенский, 2001 — *Успенский Б. А.* Первое произведение Тредиаковского // Translating Culture: Essays in Honour of Erik Egeberg / Ed. by G. Kjetsaa, L. Lönngren, G. Opeide. Oslo, 2001. См. наст. изд., с. 531–533.

Успенский и Шишкин, 1990 — *Успенский Б. А.*, *Шишкин А. Б.* Тредиаковский и янсенисты // Символ: Журнал христианской культуры при Славянской библиотеке в Париже, 1990, № 23, июль. См. наст. изд., с. 319–456.

Успенский и Шишкин, 1997 — *Успенский Б.*, *Шишкин А.* «Дурацкая свадьба» в Петербурге в 1740 г. // Europa Orientalis, vol. XVI, 1997, № 1. См. наст. изд., с. 534–545.

Уставы АН — Уставы Академии наук СССР. М., 1974.

Фенелон, 1766 — [*Fénelon François de Salignac de La Mothe*] Тилемахида, или Странствование Тилемаха сына Одиссеева, описанное в составе Ироическия Пиимы Василием Тредиаковским, Надворным Советником, Членом Санктпетербургския Императорския Академии наук, с Французския нестихословныя речи, сочиненныя Франциском де-Салиньняком де-ла-Мотом Фенелоном…, т. I. СПб., 1766. Переиздано: Тредиаковский, II/1–2. СПб., 1849).

Феофан Прокопович, 1721 — [*Феофан Прокопович*]. Первое учение отроком в немъже буквы и слоги… СПб., 1721.

Феофан Прокопович, 1721а — [*Феофан Прокопович*]. О возношении Имене патриаршаго в церковных молитвах: чесо ради оное ныне в церквах Российских оставлено. СПб, 1721.

Феофан Прокопович, 1782 — Christianae orthodoxae theologiae in Academia Kiowiensi a Theophane Prokopowicz, eiusdem Academiae Rectore, postea Archiepiscopo Novogorodensi adornatae et propositae. Lipsia, 1782.

Феофан Прокопович, 1863 — Примечания на книгу, изданную доминиканцем Бернадом Риберою, бывшим [sic!] при испанском посланнике герцоге де Лирии, в Москве, во время коронации императрицы Анны Иоанновны (собственноручная записка Феофана Прокоповича) [1734 г.] // ЧОИДР, 1863, кн. 2.

Филиппов, 1928 — *Филиппов В. А.* К вопросу об источниках комедий А. П. Сумарокова // ИРЯС, т. I, 1928, кн. 1.

Филиппс, 1723 — [*Philipps J. Th*]. The Russian Catechism. Compos'd and Publish'd by order of the CZAR: To which is Annex'd, a Short Account of the Church-Government and Ceremonies of the Moscovites. London, 1723 (2nd ed.: London, 1725). Перевод на англ. яз. книги Феофана Прокоповича «Первое учение отроком» 1720 г. (перевод сделан с немецкого изд.: Erste Unterweisung der Jugend, s. l., s. a.), с приложением описания русской литургии и мемуара Сорбонны о соединении церквей 1717 г. (перевод мемуара Сорбонны осуществлен с латыни). Переводчик и составитель — Jenkin Thomas Philipps.

Флетчер, 1591 — [*Fletcher G.*] Of the Russe Common Wealth or Manner of Governement by the Russe Emperor… London, 1591. Ср.: *Флетчер*. О государстве русском. Изд. 2-е. СПб., 1905.

Флоровский, 1948 — *Флоровский А. В.* Первый иезуит из московских дворян // Acta Academiae Velehradensis, XIX. Olomouc, 1948.

Флоровский, 1962 — *Флоровский А. В.* Латинские школы в России в эпоху Петра I // XVIII век, сб. 5. М.–Л., 1962.

Флоровский, 1966 — *Флоровский А.* Московские навигаторы в Венеции в 1697–1698 гг. и римская церковь // Ost und West in der Geschichte des Denkens und der kulturellen Beziehungen: Festschrift für E. Winter zum 70. Geburtstag. Berlin, 1966 (Deutsche Akademie der Wissenschaften zu Berlin. Quellen und Studien zur Geschichte Osteuropas, Bd XV).

Флоровский, 1975 — *Флоровский А. В.* Из истории русских «встреч с Западом» на переломе XVII и XVIII веков // The Religious World of Russian Culture / Ed. A. Blane. The Hague–Paris, 1975 (Russia and Orthodoxy: Essays in Honor of Georges Florovsky, vol. II).

Флютр, 1954 — *Flutre L.-F.* Du rôle des femmes dans l'élaboration des «Remarques» de Vaugelas // Neophilologus, Jg. XXXVIII, 1954, № 4.

Фомин, 1787 — *Фомин А. И.* Письмо к любителям Российскаго языка // Новые ежемесячные сочинения, 1787, ч. XI.

Фонвизин, I–II — *Фонвизин Д. И.* Собрание сочинений, т. I–II. М.–Л., 1959.

Фонтенель, 1740 — [*Fontenelle Bernard Le Bovier de*]. Разговоры о множестве миров г. Фонтенелла… / С французскаго перевел и потребными примечаниями изъяснил князь Антиох Кантемир в Москве 1730 году. СПб., 1740.

Франклен, 1875 — *Franklin A.* La Sorbonne, ses origines, sa bibliothèque, les débuts de l'imprimerie à Paris, et la succession de Richelieu, d'après des documents inédits. 2e éd., correct. et augm. Paris, 1875.

Фурнель, 1862 — *Fournel V.* La littérature indépendente et les écrivains oubliés. Paris, 1862.

Фюретьер, 1727, I–IV — *Furetiere A.* Dictionnaire universel, contenant généralement les mots français, tant vieux que modernes, et le termes de toutes les sciences et des arts, etc., т. I–IV. La Haye, 1727.

Хазагеров, 1973 — *Хазагеров Т. Г.* Развитие типов ударения в системе русского именного склонения. М., 1973.

Харлампович, 1914 — *Харлампович К. В.* Малороссийское влияние на великорусскую церковную жизнь, I. Казань, 1914. Репринт: The Hague – Paris, 1968 (Slavistic Printings and Reprintings, vol. 119). Том II в свет не выходил.

Хотеев, 1986 — *Хотеев П. И.* Французская книга в Библиотеке петербургской Академии наук (1714–1742 гг.) // Французская книга в России в XVIII веке: Очерки истории. Л., 1986.

Хютль-Ворт, 1956 — *Hüttl-Worth G.* Die Bereicherung des russischen Wortschatzes im XVIII. Jahrhundert. Wien, 1956.

Хютль-Ворт, 1963 — *Хютль-Ворт Г.* Проблемы межславянских и славяно-неславянских лексических отношений // American Contributions to the 5th International Congress of Slavists. The Hague, 1963.

Хютль-Ворт, 1963а — *Hüttl-Worth G.* Foreign Words in Russian: A Historical Sketch, 1550–1800. Berkeley – Los Angeles, 1963 (University of California Publications in Linguistics, vol. 28).

Хютль-Ворт, 1966 — *H*[*üttl*] *Worth G.* Trediakovskijs «Feoptija». Ein Beitrag zur abstrakten Terminologie // Orbis scriptus: Festschrift für Dmitrij Tschižewskij zum 70. Geburtstag. München, 1966.

Хютль-Ворт, 1967 — *H*[*üttl*] *Worth G.* On word-formation and semantic change in 19th century Russian: their West European origins // To honor Roman Jakobson, vol. III. The Hague – Paris, 1967.

Хютль-Ворт, 1970 — *H*[*üttl*] *Worth G.* Thoughts on the turning point in the history of literary Russian: The Eighteenth-century // International Journal of Slavic Linguistics and Poetics, vol. XIII, 1970.

Хютль-Ворт, 1974 — *Хютль-Ворт Г.* О проблемах русского литературного языка конца XVIII — начала XIX в. // Slovanské spisovné jazyky v době obrození. [Praha], 1974.

Цявловский, 1931 — *Цявловский М. А.* Книга воспоминаний о Пушкине. М., 1931.

Черниловская и Шульгина, 1986 — Описание рукописей собрания Черткова / Сост. М. М. Черниловская, Э. В. Шульгина. Новосибирск, 1986.

Черных, 1948 — *Черных Л. Я.* Заметки об употреблении местоимения «вы» вместо «ты» в качестве вежливости в русском литературном языке XVIII–XIX вв. // Учен. зап. Моск. ун-та, вып. 137. М., 1948.

Чижевский, 1940 — *Čyževśkyj D.* Literarische Lesefrüchte, 69. Zu den Komposita in der Sprache Trediakoyskijs // ZslPh, Bd XVII, 1940, Hft 1.

Чижевский, 1942 — *Čyževśkyj D.* Literarische Lesefrüchte, 77. Zu den Komposita in der russischen Literatur // ZslPh, Bd XVIII, 1942, Hft 1.

Чижевский, 1947 — *Čyževśkyj D.* Literarische Lesefrüchte, 98. Zu den Neologismen Karamzins // ZslPh, Bd XIX, 1947, Hft 2.

Чиоранеску, I–III — *Cioranescu A.* Bibliographie de la littérature française du dix-septième siècle, t. I–III. Paris, 1965–1966.

Чистович, 1857 — *Чистович И.* История С.-Петербургской Духовной Академии. СПб., 1857.

Чистович, 1859 — *Чистович И. А.* Заметка о В. К. Тредьяковском // Известия имп. Академии наук по отделению русского языка и словесности, т. VIII, 1859, вып. 2.

Чистович, 1861 — *Чистович И.* Решиловское дело: Феофан Прокопович и Феофилакт Лопатинский. Материалы для истории первой половины XVIII столетия. СПб., 1861.

Чистович, 1868 — *Чистович И.* Феофан Прокопович и его время. СПб., 1868 (Сб. ОРЯС, IV).

Читаделла, 1944 — *Gio Crisostomo da Citadella.* Biblioteca dei Fratri minori cappuccini della Provincia di Venezia. Padova, 1944.

Шабен, 1983 — *Chabin M.-A.* Les Français et la Russie dans la première moitié du XVIII[e] siècle: la famille Delisle et les milieux savants. Thèse de l'École nationale des chartes. 1983. Dactyloscript.

Шаховской, 1872 — Записки князя Якова Петровича Шаховского, полицмейстера при Бироне, обер-прокурора Св. Синода, генерал-прокурора и конференц-министра при Елизавете, сенатора при Екатерине II / [Предисл. и примеч. М. И. Семевского]. СПб., 1872.

Шевырев, 1854 — *Шевырев С.* Отрывки оригинальные и переводные Н. М. Карамзина [из «Московских ведомостей» за 1795 г., отдел «Смесь»] // Москвитянин, 1854, № 3–4, 6–7, 9–12.

Шицгал, 1974 — *Шицгал А. Г.* Русский типографский шрифт. Вопросы истории и практика применения. М., 1974.

А. Шишкин, 1983 — *Шишкин А. Б.* Поэтическое состязание Тредиаковского, Ломоносова и Сумарокова // XVIII век, сб. 14 (Русская литература XVIII — начала XIX века в общественно-культурном контексте). Л., 1983.

А. Шишкин, 1984 — *Шишкин А. Б.* В. К. Тредиаковский: годы ученья // Studia slavica Academiae scientiarum Hungaricae, XXX, 1984.

А. Шишкин, 1986 — *Шишкин А. Б.* Из неопубликованных поэтических трудов В. К. Тредиаковского (стихотворная «Псалтирь») // Памятники культуры: Новые открытия (Письменность. Искусство. Археология). Ежегодник, 1984. Л., 1986.

А. Шишкин, 1989 — *Шишкин А.* Документы Архива Синода о книгах В. К. Тредиаковского; Судьба «Псалтири» Тредиаковского // см.: Тредиаковский, 1989 (с. 471–535).

И. Шишкин, 1860 — *Шишкин И.* Артемий Петрович Волынский // Отечеств. записки, т. CXXX, 1860.

И. Шишкин, 1867 — *Шишкин И.* Михаил Аврамов, один из противников петровской реформы // Невский сборник (учено-литературный), т. I. СПб., 1867.

Шишков, I–XVII — *Шишков* [*А. С.*]. Собрание сочинений и переводов, ч. I–XVII. СПб., 1818–1839.

Шишков, 1870, I–II — Записки, мнения и переписка адмирала А. С. Шишкова / Изд. Н. Киселева и Ю. Самарина, т. I–II. Berlin, 1870.

Шмурло, 1894 — *Шмурло Е.* Отчет о двух командировках в Россию и за границу в 1892/3 и 1893/4 гг. // Учен. зап. Юрьевского имп. ун-рта, год 2-й, 1894, № 1–4.

Шубинский, 1869 — *Шубинский С. Н.* Придворные шуты и шутовские свадьбы в царствование Петра Великого и Анны Ивановны // *Шубинский С. Н.* Исторические очерки и рассказы. СПб., 1869.

Шубинский, 1873 — *Шубинский С. Н.* Императрица Анна Иоанновна: Придворный быт и забавы // Русская старина, т. VII, 1873.

Шубинский, 1888 — *Шубинский С. Н.* Очерки из жизни и быта прошлого времени. СПб., 1888.

Щербатов, I–II — *Щербатов М. М.* Сочинения / Под ред. И. П. Хрущова и А. Г. Воронова, т. I–II. СПб., 1896–1898.

Юль, 1899 — [*Juel J.*] Записки Юста Юля, датского посланника при Петре Великом (1709–1711) / Перев. с дат. Ю. Н. Щербачева // ЧОИДР, 1899, кн. 2–4.

Юферов и Соколовский, 1929 — [*Юферов Д. В.*, *Соколовский Г. Н.*]. Академическая типография в первый период ее существования (1727–1747) // Академическая типография (1728–1928). Л., 1929.

Ягич, 1896 — [*Jagić V.* / *Ягич И. В.*] Codex slovenicus rerum grammaticarum / Edidit V. Jagić = Разсуждения южнославянской и русской старины о церковнославянском языке / Собрал и объяснил И. В. Ягич. Petropoli, 1896. Оттиск из изд.: Исследования по русскому языку, т. I. СПб., 1885–1895. Репринт: München, 1968 (Slavische Propyläen, Bd 25).

Якобсон, 1966 — *Якобсон Р. О.* Влияние народной словесности на Тредиаковского // *Jakobson R.* Selected Writings, vol. IV (Slavic Epic Studies). The Hague – Paris, 1966.

Используемые сокращения

Библиографические сокращения (к разделу «Цитируемая литература»)

Библиогр. записки — Библиографические записки (Москва)

ВЯ — Вопросы языкознания (Москва)

ЖМНП — Журнал Министерства народного просвещения (Санкт-Петербург)

ЖС — Живая старина (Санкт-Петербург / Петроград)

Изв. АН СССР — Известия Академии наук СССР (Москва)

ИОРЯС — Известия Отделения русского языка и словесности императорской [Российской] Академии наук (Санкт-Петербург / Петроград / Ленинград)

ИРЯС — Известия по русскому языку и словесности Академии наук СССР (Ленинград)

Отечеств. записки — Отечественные записки (Санкт-Петербург)

Сб. ОРЯС — Сборник Отделения русского языка и словесности императорской [Российской] Академии наук (Санкт-Петербург / Петроград / Ленинград)

ЧОИДР — Чтения в Обществе истории и древностей российских при императорском Московском университете (Москва)

ЭО — Этнографическое обозрение (Москва)

RÉS — Revue des études slaves (Paris)

SEER — Slavonic and East European Review (London)

ZslPh — Zeitschrift für slavische Philologie (Hamburg)

Сокращения при ссылках на архивные источники

ААН — Архив Российской академии наук (Санкт-Петербург)

Арх. Конгр. проп. веры — Конгрегация распространения веры. Архив (Sacra Congregatio pro Gentium Evangelizatione seu de Propaganda Fide. Archivum) (Roma)

Арх. Пирлинга — Славянская библиотека в Париже. Отдел рукописей, собрание Пирлинга, папка 63.2 (boîte 63.2) (Bibliothèque Slave. Section des manuscrits, Archives Pierling) (Meudon). Мы всякий раз ссылаемся на документы, помещенные в папке 63.2 (boîte 63.2) собрания Пирлинга, не отмечая этого специально при ссылках; иначе говоря, цитируя Арх. Пирлинга, мы указываем номер документа, но не указываем номер папки [1].

---

[1] Мы цитируем копии, снятые П. Пирлингом с документов Муниципальной библиотеки г. Труа (см.: Библ. Труа); именно они хранятся в папке 63.2 архива Пирлинга. Как правило, мы ссылаемся как на подлинные документы библиотеки Труа, так и на копии Пирлинга. В отдельных случаях, однако, ссылки делаются только на копии Пирлинга: это означает, что в библиотеке Труа нам не удалось обнаружить соответствующих оригиналов (по-видимому, они утеряны). Если мы ссылаемся на лист архива Пирлинга, не указывая номер дела, это означает, что соответствующая тетрадь не имеет номера.

ААН — Архив Российской академии наук (Санкт-Петербург)

БАН — Библиотека Академии наук (Санкт-Петербург)

Библ. Труа — Муниципальная библиотека города Труа. Рукописный отдел (Bibliothèque municipale de Troyes. Section des manuscripts) (Troyes)

ГБЛ — Российская государственная библиотека, бывш. Государственная библиотека СССР им. В. И. Ленина (Москва). Отдел рукописей

ГИМ ОПИ — Государственный исторический музей (Москва). Отдел письменных источников

ГИМ ОР — Государственный исторический музей (Москва). Отдел рукописей

ГПБ — Российская Национальная библиотека, бывш. Государственная Публичная библиотека им. М. Е. Салтыкова-Щедрина (Санкт-Петербург). Отдел рукописей

ИРЛИ — Рукописный отдел Института русской литературы Академии наук (Пушкинского Дома) (Санкт-Петербург) .

МИД АВПР — Архив внешней политики России Министерства иностранных дел Российской Федерации (Москва)

ЦГАДА — Российский государственный архив древних актов, бывш. Центральный государственный архив древних актов (Москва)

ЦГАЛИ — Российский государственный архив литературы и искусства, бывш. Центральный государственный архив литературы и искусства (Москва)

ЦГИА — Российский государственный исторический архив, бывш. Центральный государственный исторический архив (Санкт-Петербург)

УКАЗАТЕЛЬ ИМЕН*

* Имена исследователей выделены курсивом.

Библиографическая справка

Представленные в книге работы публикуются по следующим изданиям:

Б. А. Успенский. Из истории русского литературного языка XVIII — начала XIX века: Языковая программа Карамзина и ее исторические корни. [М.]: Изд-во Моск. ун-та, 1985. Публикуется с дополнениями.

М. С. Гринберг и Б. А. Успенский. Литературная война Тредиаковского и Сумарокова в 1740-х — начале 1750-х годов. М.: Изд-во Рос. гос. гуманитарного ун-та, 2001 (= Чтения по истории и теории культуры, вып. 29).

Б. А. Успенский и А. Б. Шишкин. Тредиаковский и янсенисты // Символ: Журнал христианской культуры при Славянской библиотеке в Париже, № 23, июль 1990 г. (с. 105–264). Публикуется с дополнениями.

Б. А. Успенский. К истории одной эпиграммы Тредиаковского (эпизод языковой полемики середины XVIII в.) // *Б. А. Успенский.* Избранные труды, т. II: Язык и культура. Изд. 2-е, испр. и перераб. М.: Школа «Языки русской культуры», 1996 (с. 343–410). Публикуется в переработанном виде.

Б. А. Успенский. Доломоносовский период отечественной русистики: Адодуров и Тредиаковский // *Б. А. Успенский.* Избранные труды, т. III: Общее и славянское языкознание. М.: Школа «Языки русской культуры», 1997 (с. 601–627). Публикуется с редакционными изменениями.

Статья «Грамматические штудии Тредиаковского» представляет собой эксцерпт из работы: *Б. А. Успенский.* Доломоносовские грамматики русского языка (Итоги и перспективы) // *Б. А. Успенский.* Избранные труды, т. III: Общее и славянское языкознание. М.: Школа «Языки русской культуры», 1997 (с. 517–520 и с. 562, примеч. 167).

Б. А. Успенский. Первое произведение Тредиаковского // Translating Culture: Essays in Honour of Erik Egeberg / Ed. by G. Kjetsaa, L. Lönngren, G. Opeide. Oslo: Solum forlag, 2001 (с. 246–250).

Б. А. Успенский и А. Б. Шишкин. «Дурацкая свадьба» в Петербурге в 1740 году // Europa Orientalis, vol. XVI, 1997, № 1 (Быт старого Петербурга, I) (с. 297–312). Публикуется с редакционными изменениями.

Научное издание

Борис Андреевич Успенский

Вокруг Тредиаковского.
Труды по истории русского языка и русской культуры

Издательство «Индрик»

Корректор *М. Н. Толстая*
Оригинал-макет *М. Н. Толстая*

INDRIK Publishers has the exceptional right to sell this book outside Russia and CIS countries. This book as well as other **INDRIK** publications may be ordered by
e-mail: nina_dom@mtu-net.ru
or by tel./fax: **+7 495 959-21-03**

Налоговая льгота — общероссийский классификатор продукции (ОКП) — 95 3800 5

Формат 70×100$^{1}/_{16}$. Печать офсетная.
38,0 п. л. Тираж 800 экз. Заказ №

Отпечатано с оригинал-макета
в ППП «Типография „Наука“».
121099, Москва, Г–99, Шубинский пер., д. 6